

Ю. С. Степанов

Ю. С. СТЕПАНОВ

ЯЗЫК И МЕТОД

К СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

ЯЗЫК И МЕТОД

К СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

ЗНАК

ПОНЯТИЕ

МЕНТАЛЬНЫЙ МИР

РЕАЛЬНОСТЬ

НОМИНАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ

НОВЫЙ РЕАЛИЗМ

«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Москва 1998



ББК 81
С 79

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 97-04-16041

Степанов Ю. С.

Язык и Метод. К современной философии языка. — М.: «Языки русской культуры», 1998. — 784 с., 1 илл.

ISBN 5-7859-0054-8

В этой книге под одним заголовком собраны три работы разных лет: «Семиотика» (1971), «В трехмерном пространстве языка» (1985) и еще не публиковавшаяся «Новый реализм» (1997). Каждая из них раскрывает какое-либо одно из трех основных противопоставлений (принципов) семиотики, науки о знаковых системах, и в соответствии с этим получает в настоящем издании второй заголовок: «Семиотика» — «Означающее и Означаемое», «В трехмерном пространстве языка» — «Семантика, Синтактика, Прагматика», «Новый реализм» — «Система и Текст».

Таким образом в совокупности три части образуют нечто достаточно единое — очерк философии языка, развертывающийся по плану, предзаданному самой семиотикой.

Слово «Язык» в заголовке означает, естественно, предмет, а «Метод», в согласии со своим греческим прототипом (*méthodos, metá+hodós*), «движение к цели, к познанию» в соответствии с истинным путем». «Путь» же, «Истинный Путь», концепт, играющий столь важную роль в русской философии начиная с учения Восточных отцов, — это и есть язык, снова «Язык».

Фотография автора на вклейке выполнена Ильей Долгопольским.

ББК 81

© Ю. С. Степанов, 1998

© А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика.
Культура», 1995

© В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	11
---------------	----

ЧАСТЬ I. ОЗНАЧАЕМОЕ И ОЗНАЧАЮЩЕЕ

Книга «Семиотика» (1971 г. с изменениями и дополнениями)

<i>Предисловие</i>	19
I. ФАКТЫ И ПЕРВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ	21
1. Факты, которые изучает семиотика.....	21
2. Из истории семиотических идей.....	28
II. НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМИОТИКЕ	37
1. Биосемиотика.....	37
2. Этносемиотика и семиотика культуры.....	41
3. Лингвосемиотика.....	52
4. Абстрактная семиотика.....	75
5. Общая семиотика.....	77
6. Культурно-семиотические ряды. Семиотика концептов.....	78
III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ СЕМИОТИКИ	89
A. Объективные законы. Синтактика.....	90
1. Знаковая система. Гамма типов.....	90
2. Знак. Треугольник Фреге.....	92
3. Треугольник Фреге. Формализация — «лямбда»- и «йота»-операторы.....	98
4. Иерархическое строение.....	100
5. Иерархическое строение в свете философии.....	109
6. Иерархическое строение. Формализация и методы.....	115
7. Эквивалентность.....	122
B. Законы, зависящие от позиции наблюдателя	
(а) Прагматика.....	124
8. Материальное — идеальное.....	124
9. Диапазон знаковости. «Язык — менее язык — ещё менее язык — не язык».....	127
10. Гетерогенные и гомогенные знаковые системы. Логические парадоксы.....	133
11. Операционность знака.....	141
B. Законы, зависящие от позиции наблюдателя, (б) Семантика.....	143
12. Отношение «означаемое — означающее».....	143
13. Отношение «микрокосм — макрокосм».....	150
<i>Примечания и литература</i>	153

ЧАСТЬ II. СЕМАНТИКА — СИНТАКТИКА — ПРАГМАТИКА

Книга «В трехмерном пространстве языка» (1985 г.)

<i>Предисловие</i>	175
Глава I	
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА («Философия имени» как выражение семантического подхода к языку)	
0. Общие черты.....	181
1. Понятия имени и именованья.....	184
2. «Философия имени» в античности. Платон и Аристотель.....	194
3. Проблемы языка в средневековой схоластике. Петр Испанский и Оккам.....	210
4. «Философия имени» на рубеже схоластики и философии	

нового времени. Николай Кузанский.....	219
5. «Философия имени» А. Ф. Лосева.....	225
6. Поэтика имени. Символизм.....	232
6.0. Вводные замечания. Поэзия, поэтика, семиотика имени.....	232
6.1. «Сущность» как предмет искусства. Символ.....	235
6.2. Имя явления и имя сущности.....	239
6.3. Ритмы.....	245
6.4. «Соответствия-корреспонденции».....	248
6.5. Интенциональный мир.....	253

Глава II

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVII В.

(Межпарадигматический период)

0. Общие черты.....	258
1. Декарт и Лейбниц.....	259
2. Спиноза.....	267
3. Парадигма «двух языков» и учения Пор-Рояля.....	271

Глава III

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVIII —

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (Межпарадигматический период)

0. Общие черты.....	277
1. Парадигма «двух языков» в философии языка просветителей.....	279
2. Некоторые логико-философские идеи Канта и Гегеля.....	282

Глава IV

СИНТАКТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

(«Философия предиката» как выражение синтактического подхода к языку)

0. Общие черты.....	287
1. Понятие предиката.....	292
2. Элементы «философии предиката» в учении античных стоиков.....	303
3. Язык в концепциях Б. Рассела 1920—1940-х годов.....	311
4. От парадигмы «двух языков» Р. Карнапа к лингвистическому конструктивизму.....	325
5. «Поэтики предиката», или «синтактические поэтики».....	339
5.0. Вводные замечания. Формальные и содержательные поэтики.....	339
5.1. Поэтика «человека без свойств». Достоевский и Ибсен.....	341
5.2. Поэтика русского футуризма и В. Хлебникова.....	353

Глава V

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ

(Межпарадигматический период)

0. Общие черты.....	358
1. Некоторые понятия, относящиеся к языку, в феноменологии Э. Гуссерля.....	358
2. М. Мерло-Понти и французские семиологи 1950—1960-х годов.....	367
3. Поэтика феноменологии. Р. Ингарден.....	371

Глава VI

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ (ДЕКТИЧЕСКАЯ) ПАРАДИГМА

(«Философия эгоцентрических слов» как выражение прагматического подхода к языку)

0. Общие черты.....	373
0.1. О термине «прагматика» и его замене термином «дектика».....	377
1. Понятие «эгоцентрических слов».....	381
2. Новые понятия в работах К. И. Льюиса и Р. Карнапа 1950-х годов.....	391

3.	Картина языка в концепциях модальных и интенциональных логик 1980-х годов.....	397
4.	Поэтики эгоцентрических слов.....	410
4.0.	Вводные замечания	410
4.1.	Поэтика «человека без свойств» в XX в. Р. Музиль.....	412
4.2.	Русский имажинизм — «малая поэтика эгоцентрических слов».....	414
4.3.	«Поэтика очевидца» в автобиографической трилогии и в «Жизни Клим Самгина» М. Горького.....	416
4.4.	Эгоцентрическая поэтика М. Пруста.....	422
4.5.	Элементы эгоцентрической эстетики в театре Б. Брехта.....	426
Глава VII		
ОБЩАЯ КАРТИНА ЯЗЫКА В СВЕТЕ ЭТАПОВ (ПАРАДИГМ) ЕГО ПОЗНАНИЯ. ТРИ МОДЕЛИ		
0.	Вводные замечания	430
1.	Язык-1 (с семантикой только).....	433
2.	Язык-2 (с семантикой и синтактикой).....	445
3.	Язык-3 (с семантикой, синтактикой и прагматикой — дектикой).....	455
	<i>Литература</i>	464

Часть III. СИСТЕМА И ТЕКСТ

Эссе «Новый реализм» (1997г.)

Вводные замечания

Третье членение объекта семиотики и философии языка: Система и Текст. Это членение как основа композиции настоящей, третьей части книги.....

Глава I

МЕТОД. Восхождения от «наблюдения»

(от естественного языка) к «логико-философскому представлению» (на примерах).....

0.	Введение к примерам.....	481
1.	Пример 1. Время в речевой цепи. От «моделей Квятковского» к машине Поста.....	485
2.	Пример 2. От «описания состояния» Карнапа к «дистрибутивной нормальной форме» Хинтикки. Некоторые предшествующие параллели у Канта, В. Н. Карпова и Л. Витгенштейна.....	491
3.	Пример 3. «Бог есть любовь», «Любовь есть Бог». Отношения тождества и два подхода к лингво-философскому анализу языка — историко-филологический и логический	507
4.	Пример 4. Концепт «Причина» и два подхода к лингво-философскому анализу языка — логический и сублогический (семиотический).....	521
5.	Пример 5. «Шлиманн искал Троию». «Вращение» семантического треугольника Фреге.....	531
6.	Пример 6. «Я сказал Ивану в присутствии Петра, что не следует	

упрекать себя в том, что он провалился на экзамене». Сложная референция в косвенных контекстах.....

Глава II

СИСТЕМА. От Системы к «тому, что по ту сторону от нее». Реализм — первая философия языка. Аристотель

0.	Вводные замечания.....	542
1.	Аристотель. Первая классификация (основная таксономия) предикатов. Категории. Неконтрастный уровень семантики.....	542
2.	Элементы учения о строении «короткого Текста» в концепции Аристотеля. Субъект и предикат простого предложения в отношении к «дереву Порфирия». «Языковое ядро» этого учения.....	561
3.	Элементы учения о строении «длинного Текста» в концепции Аристотеля. Тексты как «речевые акты» и тексты как семантические единства, как «дискурсы». Анализ последних в отношении к понятиям «сущностное» и «случайное». Вторая классификация предикатов — Предикабилии. «Теоретический силлогизм» и «практический силлогизм».....	575

Глава III

ТЕКСТ. От Текста к «тому, что извлекается из Текста».

Номинализм — вторая философия языка

0.	Вводные замечания	581
1.	В плане выражения: длинный фонетический компонент; понятие фонемы зависит от естественного членения речи на слоги	581
2.	В плане содержания: длинный семантический компонент; понятия субъекта и предиката зависят от членения высказывания.....	595
3.	Категории Канта как пример построения категорий по «длинному компоненту» высказывания-суждения.....	605
4.	Оккам — первый представитель номинализма Нового времени.....	608
5.	Понятие и значение слова в системе, основывающейся на номинализме Канта. Логика В. Н. Карпова (1856 г.). Относительность понятия. Истоки современной формализации.....	612
6.	Плодотворная идея номинализма: возможность различных семантических определений одного семантического объекта (плюрализм в современной лингвистике)	622

Глава IV

МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ТЕКСТОМ — ДИСКУРС

0.	Вводные замечания о «новом философствовании о языке». Пространства и миры — «новый», «воображаемый», «ментальный» и прочие.....	655
1.	Между Системой и Текстом — Дискурс. Дискурс — языковое выражение «Мира» (любого из «миров»).....	670
2.	Логические проблемы «внутри дискурса»: «описание состояния», «твердые» и «нетвердые» десигнаторы, и др.....	677
3.	Между Системой и Текстом: выражения «Фактов»	681

Глава V

МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ТЕКСТОМ

Новый реализм — третья философия языка

1.	Философия языка не знает границ, но языки философии языка знают. Новый реализм в англосаксонских странах	689
2.	«Субъект умер — да здравствует субъект!». Новая проблемная ситуация в гуманитарных науках во Франции	

и в России (вводные замечания).....	697
3. Из недавней предыстории Нового реализма. В поисках прагматики (Проблема субъекта).....	698
4. Предчувствия Нового реализма. Об одной платоновской идее в современной лингвистике.....	708
5. Новый реализм в современной России («Три источника и три составные части»).....	712
Глава VI	
РЕАЛИЗМ И НОМИНАЛИЗМ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ	
Философия языка и мораль (о форме моральных предписаний)	
0. Вводные замечания.....	739
1. Логико-лингвистическая форма моральных предписаний в библейском мире.....	740
2. «Категорический императив» Канта (против «Моральной необходимости» Лейбница).....	745
3. «Моральная необходимость» Лейбница.....	749
<i>Литература</i>	754
<i>Указатель имен ко всей книге</i>	771

ВВЕДЕНИЕ

Философия языка — если взглянуть на нее в настоящий момент и в масштабе мировой науки — это «весьма широкая и не вполне определенная область исследований, находящихся на стыке философии, логики и языкознания». Такие контуры этой области мы сами (вместе с В. З. Демьянковым) чертили несколько лет назад (статья «Философия языка» в книге: Современная западная философия. Словарь. М.: Изд. полит. литер., 1991).

Но данная книга — о «философии языка», понимаемой несколько более четко. В самом деле, странно было бы посвящать книгу «весьма широкому и не вполне определенному предмету». В чем же состоит наше уточнение его контуров?

Прежде всего, нужно констатировать, что «философия языка», рассматриваемая в мировом масштабе, представлена несколькими национальными вариантами, национальными школами, характеризующимися — каждая — своими излюбленными темами и способами работы с ними.

Англосаксонская школа (особенно ее наиболее оформленное ядро — Пенсильванская школа в США) центрируется главным образом вокруг проблем логико-лингвистической формализации языка и речевой деятельности — междисциплинарных исследований с привлечением математической теории моделей, логической теории доказательства, различных концепций истинности, анализа связей между языком и метаязыком, концепции «возможных миров», исследований денотации и референции, и т. д.

Французская школа, переживающая после «майской молодежной революции» 1968 года период интеллектуального возбуждения и подъема, видит свой «центр интереса» в другом — в проблематике «дискурса»; в социальных, ментальных и психоаналитических отношениях «Я» и «Ты»; в «интерсубъективности»; в анализе «Эго»; в проблемах произвольности и непроизвольности языкового знака; в анализе «новой эссеистики», нового «литературного» текстообразования («письма») при исчезновении самой «художественной литературы» в традиционном смысле, и т. д.

Российская школа характеризуется устремлением к тонкому «концептуальному анализу», его расширениями в виде «логического анализа языка», лингвофилософского анализа и возрожденным интересом к основаниям последнего, прежде всего к

наследиям патристики Восточной церкви, «великой тройки» (Флоренский — Лосев — Булгаков), русского символизма и модернизма.

Между тремя школами существуют отношения «семейного сходства», заключающиеся в том, что некоторые признаки (темы и методы) одной школы принадлежат также и другой, некоторые (не обязательно те же самые) признаки другой школы принадлежат третьей, а некоторые признаки третьей — снова первой. Словом, все здесь обстоит так, как в большой семье, где, скажем, цвет глаз соединяет отца и старшего сына, форма носа — мать и младшего сына, форма губ — всех братьев и сестер, и т. д. (Нужно напомнить, что «отношения семейного сходства», еще до попытки их формализации Л. Витгенштейном, были обнаружены Й. Шмидтом в их языковом прототипе — в «волновых отношениях» между языками индоевропейской языковой семьи.)

Можно сказать, что данная книга посвящена в первую очередь темам и методам, составляющим черты «семейного сходства», т. е. не являющимся принадлежностью одной какой-либо национальной школы. Но все же общность американской и российской школ выдвинулась при этом на первый план, в то время как французская и вообще европейская остается здесь, к сожалению, на втором. В этом, конечно, нельзя видеть какой-либо принципиальной установки автора (зато последняя — «франко-русская», «евро-русская» общность сказалась больше при обращении к проблемам искусства).

Отечественная традиция «философии языка» всюду является, конечно, естественной для автора основой. Российские особенности этого предмета — в силу самой эволюции «философии языка» в России в последние годы — проступают сильнее по мере продвижения к последней части этой книги. Так что последнюю (третью) часть автор счел возможным назвать по ее наиболее четко проступающей линии — «Новым реализмом».

Собственно «авторская особенность» состоит в том, что в композицию этой книги положено семиотическое основание — базовые членения самой семиотики. Довольно неожиданным для самого автора обстоятельством оказалось то, что его работы разных лет, составившие настоящую книгу, развертывались, в сущности, по плану, предначертанному организацией самой семиотики. Поэтому трем частям,

представленным тремя работами разных лет, были даны вторые, семиотические названия:

Часть I. Означающее и Означаемое. Книга «Семиотика» (1971 г.).

Часть II. Семантика — Синтактика — Прагматика. Книга «В трехмерном пространстве языка» (1985 г.)

Часть III. Система и Текст. Эссе «Новый реализм» (1997 г.; публикуется впервые)

Автор хотел бы надеяться, что и от читателя не скроется внутреннее единство всей книги, ее единый семиотический план.

Теоретическим ядром всей нашей концепции, ее оригинальным авторским основанием, является соединение семиотики и философии языка в узком логико-лингвистическом смысле слова. И далее, на этом основании развертывается, путем последовательных расширений, подход к современной философии языка, в широком смысле слова.

Предмет семиотики рассматривается по линии эволюции, от движений (тропизмов) растений — к коммуникативным системам животных и далее к человеческому языку. Если расположить естественные знаковые системы в некоторую последовательность в соответствии с известной нам в настоящее время линией эволюции, то естественный Язык займет в этой последовательности вполне определенное место, так что вся последовательность расположится в некоторую иерархию: Движения (тропизмы) растений => Коммуникативные системы животных => Человеческий язык => Искусственные языки типа языка математической логики.

Язык здесь действительно является лишь одной знаковой системой в некотором ряду знаковых систем, т. е. Язык включен — в прямом и материальном смысле слова — в некоторый класс объектов (систем, «языков») как член этого класса, на материальном основании.

Между тем, в другом отношении Язык включает в себя все эти (и многие другие) знаковые системы — на том именно основании, что все они интерпретируются посредством языка. Эти отношения также являются отношениями включения, но включения не материального, а информационного. (Мы будем использовать также выражение «ментальное отношение включения».) Двойное отношение Языка к системам, лежащим по разные стороны от него, — специфично, оно не встречается, по-

видимому, более нигде. Это специфическое двойное отношение, имеющее своим центром сферу человеческого языка, и составляет главный предмет философии языка как мы ее понимаем, т. е. в широком современном смысле слова.

Выражения «быть включенным» и «включать в себя» требуют, конечно, с самого начала некоторого комментария. Если, например, мы, в соответствии с нашими современными научными данными, знаем, что язык человека появился позже «языка пчел» (т. е. системы коммуникации пчел), то, значит, в классе систем коммуникаций, существующих в живой природе, появился еще один член — человеческий язык. И этим отношение материального включения («язык включен в...») достаточно разъяснено.

Сложнее обстоит дело с ментальным отношением «включать в себя». Когда человек, посредством своего языка, интерпретирует «язык пчел», то тем самым человеческий язык «включает его в себя», делает

14

частью своего информационного содержания. Поскольку пчелы, как показал Карл фон Фриш (Нобелевский лауреат 1973 г.), могут интерпретировать данные о растениях (о типе растительного массива, его объеме и состоянии — богат он или беден, цветет или не цветет, о расстоянии до него и направлении полета к нему), то можно сказать, что «язык пчел» информационно включает в себя «язык растений», — т. е. все обстоит так же, как и в предыдущем случае.

Но что сказать об отношении между общим человеческим языком и, скажем, языком математической логики или «языком компьютера»? Два последних на линии эволюции возникли, очевидно, позже человеческого языка, но что здесь интерпретируется посредством чего? Не является ли язык человека (естественный язык) объектом интерпретации для языка математической логики и «языка компьютера»? По-видимому, так можно сказать. Но тогда, как кажется, последовательность отношений, описанная выше, нарушается?

Однако это значит лишь то, что только положения на шкале эволюции (т. е. только ответа на вопрос «Что возникло раньше, что позже?») недостаточно для понимания отношений «быть включенным» и «включать в себя», что «возникнуть позже» и «включать в себя» содержательно не тождественны (не «синонимичны»), — необходимо понятие о субъекте (субъекте знания, понимания, интерпретации).

(Изложить эти вопросы в «Предисловии», конечно, невозможно, — см. далее в ч. I [«Семиотика»] особ. гл. III, 6.)

Принцип философии языка — двойное отношение «включать в себя» и «быть включенным» — не открыт впервые в этих рамках, но он сформулирован в них с максимальной возможной в настоящее время четкостью. Поскольку же мы можем подметить в истории подходы к этому принципу — последовательные или спиралеобразные, — мы должны подойти к философии языка как к культурологии.

Лучше всего и, по-видимому, первым выразил это отношение Блэз Паскаль (1623—1662) в одной из своих «Мыслей», которую мы назовем максимой, или принципом, Паскаля: «Вовсе не на основе пространства должен я искать свое достоинство [человека], а на основе упорядоченной организации своего мышления. Мне ничего не прибудет от владения землями: пространство мира охватывает меня и поглощает как точку; мыслью же я охватываю его» (разрядка моя. — Ю. С.). (Паскаль при этом обыгрывает два значения французского глагола *comprendre* — «охватывать» и «понимать», они связаны также и в происхождении этих концептов.)

«Принцип Паскаля» принят Вл. Соловьевым в работе «Оправдание добра» и еще раз повторен и изложен Н. О. Лосским в его книге «Условия абсолютного добра» (гл. 4 «Предвестники нравственности в человеческой природе»).

15

Третий раз, в современных семиотических терминах, сформулировал тот же принцип Эмиль Бенвенист (1902—1976) в работе «Семиология языка» (1969).

Намеченные здесь двойные отношения составляют самую сущность языка как предмета современной философии: с одной стороны, язык включен в линию эволюции знаковых систем и сам, в конечном счете, является лишь ступенью в этой эволюции, с другой — включает в себя все знаковые системы в ментальном, информационном смысле. Именно эта особенность и позволяет вводить в контекст современного философствования различные философские системы, в частности, и только что названных авторов.

Последние не являются для нас ни завершением, ни единственным вариантом «философии языка» или «вариантом философии, основанной на языке». Мы, в соответствии со своей задачей, должны рассмотреть вообще возможности,

предоставляемые языком для такой деятельности. А это рассмотрение само не может быть отрешенным от философского подхода.

Из сказанного ясно, что Я з ы к в заголовке этой книги понимается широко, охватывая, по существу, всё, что может быть названо этим словом. Все необходимые сужения, уточнения и т. д. делаются уже в соответствующих местах в тексте.

Так же широко понимается в заголовке и Метод. Собственно говоря, в согласии с лингво-философской традицией, восходящей к Восточной патристике, метод — до различных специальных и терминологических уточнений — следует понимать просто в соответствии с этимологией этого слова — греч. μετά+ὁδός «сообразно + правильный путь», как движение сообразно Правильному Пути. Но Правильный Путь опять-таки указан самим Языком.

Часть I **Означаемое и Означающее**

Книга
«СЕМИОТИКА»

(1971 г.)

Семиотика — наука о знаковых системах в природе и обществе.

Она близка к кибернетике, которая исследует процессы связи и управления в живом организме, природе и обществе [1]. Она отличается от кибернетики прежде всего тем, что кибернетика изучает динамический и количественный аспект этой связи, а семиотика — статический и качественный. Кибернетика изучает процессы, семиотика — системы, в которых и на основе которых реализуются процессы. С этой точки зрения отношение между семиотикой и кибернетикой подобно отношению между азбукой (алфавитом) и письмом и чтением на основе этого алфавита.

Семиотика близка также к лингвистике, поскольку последняя изучает самую полную и совершенную из систем связи — человеческий язык.

Семиотика черпает свой материал из лингвистики, кибернетики (с теорией информации), биологии, психологии, обществоведения (этнографии и социологии), истории культуры, литературоведения, но также и отдает в свою очередь этим наукам свои обобщения. Она развивается на стыке наук.

Срединное положение семиотики и кибернетики среди ряда наук позволяет в принципе переходить от любой из последних к первым. Этот путь действительно использован в нескольких книгах: существует введение в кибернетику от биологии (У. Росс Эшби, 1956), введение в кибернетику от эстетики (А. Моль, 1958), введение в семиотику от лингвистики (Л. Ельмслев, 1943; В. В. Мартынов, 1966) [2]. Автор данной книги — лингвист, и эта книга — введение в семиотику от лингвистики, истории культуры, литературоведения. Но она может быть прочитана, по крайней мере, отчасти и иначе — как семиотическое введение в лингвистику.

Срединное положение семиотики среди ряда наук и то, что семиотика — наиболее оформленная часть современных системно-структурных исследований, составляет ее аналогию с философией.

Это качество семиотики (как и кибернетики) — их непосредственная близость к философии — позволяет в принципе наиболее естественно и просто переходить от них к философии, в особенности к теории

познания (гносеологии). Действительно, существуют уже введения в гносеологию от лингвистики (А. Ф. Лосев, 1968) [3], от кибернетики (например, Г. Клаус, 1961, 1963; И. Земан, 1962) [4]. Эта особенность семиотики использована и здесь, данная книга представляет собой также опыт введения в теорию познания от семиотики, семиотическое введение в гносеологию.

Как и все науки, кроме математики, семиотика имеет не только более или менее формализованную часть (такова «абстрактная семиотика», см. II, 5), но и широкое поле наблюдений над фактами, где семиотика, как и биология, и лингвистика, является наукой индуктивной. Ученый-семиотик должен уметь наблюдать повсюду, среди примитивных племен или в современных индустриальных городах, как путешественник, биолог, этнограф, лингвист, терпеливый исследователь всякой и особенно человеческой природы.

I. ФАКТЫ И ПЕРВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

1. ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ИЗУЧАЕТ СЕМИОТИКА

Всякая новая отрасль науки имеет цель: она создается для исследования и объяснения определенных фактов. Семиотика объясняет в частности такие факты, которые давно и в большом количестве накоплены пытливыми наблюдателями над человеческим родом — писателями и путешественниками.

Всем известны знаменитые слова Ломоносова о различии языков: как говаривал Карл Пятый, римский император, испанским языком пристойно говорить с богом, немецким — с врагами, французским — с друзьями, итальянским — с женским полом, а русским — «со всеми оными». В этом афоризме скрывается глубокая мысль о сродстве языка и характера народа. О том же говорит Гоголь («Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство...») и т. д. «Мертвые души», I, V), современник Пушкина П. А. Вяземский («Французская остроота шутит словами и блещет удачным подбором слов. Русская — удачным приведением противоречащих понятий.

Французы шутят для уха, русские для глаз. Почти каждую русскую шутку можно переложить в карикатуру. Наши шутки все в лицах...» «Старая записная книжка». Соч., т. IX, стр. 22) и наконец — Пушкин: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (неоконченная статья «О народности в литературе»), «Один писатель сказал мне, — пишет И. Эренбург о Китае, — что не мог встретиться со мной — его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются — это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться» [1].

В Китае, продолжает И. Эренбург, он впервые задумался об условностях в обычаях, нравах, правилах поведения. Европейцы, здороваясь, протягивают для пожатия руку, что способно не только удивить, но и оттолкнуть китайца, японца или индийца (пожать руку чужого человека!). Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, на самом деле целует ей руку. Англичанин начинает письмо словами «Дорогой сэръ», даже если в

письме он обвиняет своего конкурента в мошенничестве. Христиане-мужчины, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой

головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае — белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским — ширма не позволяла войти прямо, в Китае это связано с преданием о том, что черт идет напрямик. Русский черт, напротив, лукав и заходит всегда сбоку, по кривой («лукавый» и произведено от «лука», «излучина», «дуга»). Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восхищаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует вежливость. Мы говорим детям, что в гостях ничего нельзя оставлять на тарелке, в Китае же к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается, — правила вежливости требуют показать, что ты сыт.

Эти наблюдения И. Эренбург завершает следующим размышлением: «Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище, положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку, открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала — расплакалась» [2].

Из подобных наблюдений естественно вытекает вопрос: не являются ли «жизненные формы», «формы жизни», как называет их И. Эренбург, — позы, жесты, некоторые выражения лица, манеры — не столько содержанием, сколько знаками «жизненного содержания» — чувств, переживаний, верований? Притом знаками, принятыми только в данной стране и у данного народа?

Утвердительный ответ напрашивается здесь сам собой, и наблюдения подобного рода, естественно, обобщаются в следующем, первом выводе: чувства, переживания, верования людей протекают в особых формах — позах, жестах, манерах; эти формы двойственны по своей сути: они одновременно и часть самого переживания, чувства,

верования, но и до некоторой степени отчужденная его часть, ставшая чисто традиционной, его внешнее проявление, могущее быть его знаком.

Вслед за этим сразу же возникает новый вопрос: являются ли эти внешние знаки лишь различными национальными и традиционными формами одних и тех же общечеловеческих чувств и переживаний, подобно тому как на разных национальных языках могут быть переданы одни и те же мысли? Или эти внешние проявления глубоко содержательны и внешняя разница обычаев, разница этих знаков, выражает глубокое различие чувств и переживаний (не говоря уже, конечно, о верованиях) разных социальных групп и целых народов?

Наблюдатели по-разному отвечали на этот вопрос. И. Эренбург, как мы видели, вероятно, склонялся к первому ответу, считая, что вообще

23

«форма жизни различнее, чем ее содержание». Но не менее убедителен и совершенно иной ответ. В особенности отчетливо он обоснован этнографами, наблюдавшими различное отношение людей к пространству, времени, цвету, природе вообще.

Мы отчетливо осознаем, что обращение с пространством — определенным образом нормированный аспект человеческого поведения, когда замечаем, что люди, воспитанные в разных национальных культурах, обращаются по существу с ним по-разному, в соответствии с принятыми в их стране «моделями» (patterns), по выражению американского исследователя Э. Т. Холла. На Ближнем Востоке, замечает этот автор, он чувствовал себя как бы в давке, и это часто вызывало у него ощущение тревоги. Дома и служебные помещения были устроены столь отлично от американских, что его соотечественники приспособлялись к ним с трудом и постоянно жаловались на то, что места или слишком мало или слишком много и оно пропадает напрасно. Различия организации пространства этим не ограничиваются. В Японии пересечения улиц имеют названия, а сами улицы — нет. Араб на простой вопрос, как пройти, дает такие указания, что европейцу невозможно ими воспользоваться, пока он не постигнет всю арабскую систему указаний. Для немца из Пруссии вы «в комнате», если вы можете говорить и видеть кого-нибудь в комнате, хотя бы вы и стояли на пороге. Для американца вы «в комнате» только тогда, когда внутри целиком ваше тело и вы можете оторвать руку от дверного косяка. Колумбиец или мексиканец часто находят, что североамериканец, с которым они разговаривают, держится холодно и отчужденно

только потому, что североамериканец не любит, чтобы до него дотрагивались и отступает назад как раз тогда, когда колумбиец считает, что он подошел достаточно близко, чтобы заговорить. Для американца удобным расстоянием при разговоре будет 75 см, но для мексиканца это слишком далеко [3].

Итак, при ответе на вопрос о том, действительно ли «формы жизни», обычаи значат нечто особенное, национальное, не встречающееся у других народов, предварительно получается второй вывод: могут не значить, но могут и значить.

Из этнографических наблюдений следует вполне определенный, третий вывод: внешние формы жизни, о которых здесь идет речь, определенным образом упорядочены, они образуют системы, — это довольно ясно уже и из приведенных примеров, а как увидим ниже, эти системы еще и до некоторой степени аналогичны системе языка. (Не случайно только что упомянутый американский этнограф Э. Т. Холл назвал свою книгу об этом предмете «Язык пространства».) Наиболее четко эта идея была сформулирована именно лингвистами: «Совокупность обычаев какого-нибудь народа всегда отмечена особым стилем. Обычаи образуют системы. Я убежден, что эти системы не существуют в неограниченном количестве и что человеческие общества, подобно отдельным

24

людям, никогда не создают чего-либо абсолютно нового, но лишь составляют некоторые комбинации из идеального набора возможностей, который можно исчислить», — писал в 1943 г. датский лингвист В. Брэндалль [4]. Хотя с мыслью В. Брэндалля об историческом творчестве, как и с его пониманием языка, может быть, и нельзя полностью согласиться, но его рассуждения об аналогии между системой обычаев и языком, притом языком высоко формальным («исчислением»), весьма примечательно.

Легко привести и другие наблюдения, подобные этим, над отношением людей к времени, цвету, пространству жилищ и общественных зданий и т. д. Время — не менее важная часть поведения, чем пространство. Телефонный звонок около 10 часов вечера во многих странах не может быть служебным. Гости чувствуют себя по-разному, смотря по тому, приглашены они до 5 дня или после. На официальных приемах время подчеркивается костюмом. Сам костюм, особенно его покрой и цвет, сообщают не меньше, чем манера вести разговор.

О цвете как роде языка, то есть прежде всего о значениях цветов, всем известно так много, что ограничимся только одним примером. (Чехов. Три сестры, I):

«Наталья Ивановна входит; она в розовом платье, с зеленым поясом.

Наталья. С именинницей. У вас такое большое общество, я смущена ужасно...

Ольга. Полно, у нас все свои. (Вполголоса, испуганно): На вас зеленый пояс!

Милая, это нехорошо!

Наталья. Разве есть примета?

Ольга. Нет, просто не идет ... и как-то странно ...

Наталья (плачущим голосом). Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый. (Идет за Ольгой в залу)».

Все будущее столкновение трех сестер с Натальей, — двух миров, двух культур — дано здесь сразу, в этом цветовом конфликте.

Отношение людей к пространству отчетливее всего проявляется в архитектуре, которая позволяет подметить, как меняется это отношение в пределах одной культуры, например европейской, за сравнительно небольшое время.

Лариса Рейснер так описывала Зимний Дворец первых дней после революции: «И внутри никакие разрушения, разбитые окна, сорванные рамы — ничего не отнимает у этой постройки плавный ход ее галерей, соразмерность стен и потолков, полукруги зал и, прежде всего, изумительное, единственное в мире расположение тени и света.

На пороге каждой комнаты вы сразу замечаете окна: они высоки и цельны, и каждое с тяжелыми складками кружева или сукна, отодвинутыми на две стороны, напоминает сцену, живую, открытую сцену.

Все остальное — камин, люстры, мебель — возведены и поставлены так, чтобы со всякого места зрителю открывалась новая перспектива,

— 25 —

свой собственный кусок декорации: бледного неба, Невы, биржи и крепости. Концертные и балльные залы, вечерние и ночные комнаты из золота и малахита лежат в сердцевине здания. Круглые, накрытые куполом, сосредоточенные и замкнутые в себе.

Зеркала заменяют здесь то, что для внешних, наружных покоев делают окна. Всякая связь со внешним миром разорвана, город бесконечно далек, ни один из его гудков и колокольных звонов сюда не проникает. Как на дне морском, покоится жемчужная ротонда посреди призрачного царства лестниц, коридоров и зал. Зеркала,

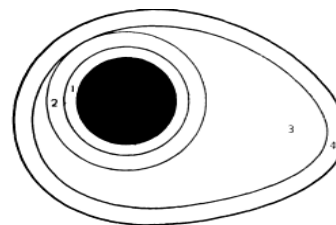
которыми она переполнена, дробят искусственный свет, как сонные, соленые, к самому дну прижатые воды» [5] (рис.1).

Сравним с этим современные здания, например театр Советской Армии в Москве, где стена, отделяющая кулисы сцены от зрительного зала, — внутренняя стена, обращенная в зал, сделана как наружная, как бы из крупных глыб серого камня.

Еще отчетливее проявилась та же, неуклонно развивающаяся тенденция в планировке «подвижного театра» в Доме культуры города Гренобля (Франция), построенного в самые последние годы [6] (рис.1).

В этом театре зрители, а не актеры, находятся внутри сцены. Решетчатый потолок позволяет ходить по нему сверху, кабина режиссера подвешена к потолку как «глубоководный батискаф», стереофоника дополняет новый пространственный эффект. Этот принцип планировки театрального пространства соответствует новому пониманию театра вообще, самого театрального искусства (см. ниже, гл. III, 7).

Но может быть еще ярче, еще нагляднее это новое обращение с пространством в учреждениях бытовых, в кафе, закусочных, каких много строится в последнее время: вы сидите за столиком в зале, отделенном от наружного пространства только огромными, от пола до потолка стеклами. Этой преграды как бы нет.



Новое отношение к пространству в наши дни. План «Подвижного театра» в Гренобле (Франция). Черным обозначено пространство для публики. 1 — галерея для прохода и обозрения и запасной выход, 2 — крутящаяся сцена, 3 — неподвижная сцена; 4 — кулисы и задники.

Рис.1

Зал отделяет от кухни или от другой части зала стена из теса или грубого, нарочито необработанного камня. Эта стена внутренняя, но она кажется наружной: наружной как бы нет, а внутренняя подчеркнута наружная. Пространство как бы вывернуто наизнанку. Внешнее и внутреннее пространства сознательно спутаны,

— 26 —

слиты, границы между ними нет, вы внутри и одновременно как бы вне здания, — полная противоположность интерьеру Зимнего Дворца, каким описывает его Рейснер. Но в этой разнице планировок не только разница стилей — здесь разный взгляд на мир.

Оноре де Бальзак, тончайший наблюдатель человеческой природы, замечавший такие подробности поведения, которые ускользали от ученых психологов и физиологов (ведь он, как теперь считают, предсказал открытие ферментов), написал в 1833 году трактат «Теория походки» [7]. Он так определял свою задачу: «Я решил просто подмечать следствия, производимые вне человека его движениями, какова бы ни была природа этих явлений, описывать их и классифицировать. Затем, когда анализ будет закончен, вывести законы идеальной красоты в движениях и составить свод их для тех, кто желает внушить благоприятное впечатление о себе, своих нравах и привычках, ибо походка, по моему убеждению, — точное указание на образ мыслей и жизни» [8].

Один из очерков этого трактата Бальзак отвел французскому писателю Фонтенелю, прославившемуся своей воздержанностью, умеренностью во всем и долголетием (он жил с 1657 до 1757 г.). Свой жизненный принцип Фонтенель выразил такими словами: «Чтобы быть счастливым, надо занимать мало места и редко менять место». Отношение к людям и к себе здесь тесно переплетается с отношением к пространству и времени, последнее делается показателем первого. Бальзак назвал этот «принцип Фонтенеля» — «азиатским». Во Франции времен Бальзака, когда революция стерла старые границы обособленных провинций, когда окрепло сознание единой национальной территории, когда был измерен меридиан и т. п., это отношение к пространству действительно должно было казаться «азиатским».

Полтора года спустя после Фонтенеля, у А. П. Чехова, в его знаменитом афоризме прозвучал новый принцип нового человека: «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа» (рассказ «Крыжовник», 1898 г.).

Отсюда четвертый вывод: устанавливая общее в различных знаковых системах, семиотика заставляет видеть всеобщую связь между принципами организации а) языка;

б) материальной культуры (в нашем примере планировки пространства); в) духовной культуры (в нашем примере — духовного отношения к пространству, этики).

Описывая язык (подробнее об этом см. ниже), современные лингвисты сначала устанавливают отношение каждого элемента языка (например, слова) к другим таким же элементам данной системы. Это отношение составляет «относительное значение» данного элемента (называемое еще «значимостью», «ценностью», «десигнатом» или «концептом»). А уж потом определяют, к какому явлению внешнего мира, вне языка, относится этот элемент нашим сознанием, это как бы «безотносительное значение» данного элемента (называемое еще «денотатом», см. подробнее ниже, II, 3; III, 1). Например, у русского слова «зеленый» относительное значение такое: «один из семи цветов солнечного спектра, между желтым и голубым», для разъяснения же безотносительного значения надо указать какой-нибудь предмет, который имеет цвет, называемый зеленым. В словарях обычно так и делается: «*зеленый* — цвета зелени, травы, листвы» (Толковый словарь русского языка, под ред. проф. Д. Н. Ушакова). Теоретики (т. е. лингвисты) обычно исходят из относительного значения, а просто пользующиеся языком — из безотносительного, для них значение всегда связывается с каким-нибудь предметом, лежащим вне языка. Но сама эта разница в отношении к значению подмечается и описывается в семиотике. Так вот, очень интересно, что этот общий семиотический взгляд распространяется за пределы лингвистики и семиотики. Осознанно или неосознанно им начинают пользоваться писатели, писатели приписывают его своим героям (или открывают его у них), литературные персонажи формируют взгляды читателей, и: семиотические идеи проникают в быт [9].

Доведенная до конца (или еще не до конца?), односторонняя семиотическая концепция языка и литературы как системы знаков, объединенных только внутренними отношениями, выливается в течение «абстрактной литературы», или «антиромана». В этой связи современный французский критик П. де Буадефф справедливо замечает: «Конечно, большинство наших писателей продолжает видеть в языке просто средство общения. Не враждуя со словами, они желают только одного: быть понятными без перифраз. От Мориака до Симоны де Бовуар и от Камю до Франсуазы Саган, огромное большинство романистов удовлетворено этим прозрачным посредником — языком — и лишь окрашивают его тонами своей палитры. Они хотят изображать действительность,

даже когда намерены ее преломлять. Но появилось уже небольшое число романистов, несколько драматургов, десятков-другой поэтов, отказывающихся принять для изображения окружающую нас действительность. Подставляя абстрактное вместо конкретного, ценности (т. е. «относительные, внутренние значения». — Ю. С.) вместо образов, они стараются разрушить реальность и покушаются и на сам язык. Теперь существует не только абстрактная живопись, но и абстрактная литература» [10].

Подобно тому как есть внутренняя логика развития изобразительного искусства (историческая преемственность школ и методов), при

— 28 —

известных общественных условиях доходящая до абстрактной живописи, так есть и внутренняя семиотическая логика развития словесных искусств, под влиянием определенных общественных, идейных и исторических условий, приводящая к абстрактной литературе. И эту логику нужно знать, чтобы уметь правильно понимать и при необходимости критиковать эти явления.

2. ИЗ ИСТОРИИ СЕМИОТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Здесь мы остановимся на истории идей, которые в течение вот уже нескольких сот лет постепенно выдвигаются для объяснения фактов, подобных упомянутому выше. В этой истории отчетливо прослеживаются два потока идей, все полнее сливающихся в последние десятилетия в русле создающейся семиотики.

Один поток идет от изучения национальных особенностей человечества.

Народность и нация — такие совокупности людей, которые определяются общностью языка, психического склада, территории, материальной жизни и культуры. Все эти элементы характеризуют именно единое целое, единство. Как единство, они всегда и изучались, хотя разные наблюдатели выделяли и соединяли элементы этого единства по-разному [11].

Ученые начинают интересоваться этим вопросом впервые в начале XIX века, вслед за писателями-романтиками. Крупнейший языковед той поры немец В. Гумбольдт создал учение о внутренней форме языка, своеобразной и неповторимой у каждого народа. Язык, по мнению В. Гумбольдта, есть внешнее проявление народности, ее душа, а ее душа — ее язык.

В конце века, в русле тогдашнего психологического направления в гуманитарных науках над этим работают В. Вундт в Германии и А. А. Потебня в России. Потебня устанавливает поразительное сходство между происхождением и зависимостью слов и происхождением и зависимостью мифических образов народного творчества: «... все многообразие его трудов, вся кропотливая работа его колоссальных «Записок по русской грамматике» клонятся к установлению аналогии между словом и мифом», — писал известный русский поэт и филолог Андрей Белый [12].

Андрей Белый, сам интересуясь этой проблемой и давая ей отчасти неверную трактовку (в попытке приспособить ее к теории русского символизма), в целом верно оценил заслуги А. А. Потебни в ее решении.

До некоторой степени сходные идеи, но основанные на идеалистических теориях В. Гумбольдта и Б. Кроче развивались в языкознании так называемой эстетической школой К. Фосслера. Как и А. А. Потебня, К. Фосслер придавал большое значение аналогии между языком и

— 29 —

искусством, но в отличие от точной концепции А. А. Потебни делал из этого скорее не научные, а поэтические выводы.

О взглядах К. Фосслера дает представление следующее его высказывание: «Исключительнейшая индивидуальность в связи со всеобъемлющей универсальностью — вот идеал языковой мысли. Как видно, без дальнейших рассуждений (характерный для К. Фосслера ход мысли! — Ю. С.), это есть идеал писателя, живописца, музыканта, вообще каждого художника. Идея языка по существу есть поэтическая идея, истина языка есть художественная истина, есть осмысленная красота» [13].

Такие наблюдения накоплены теперь в большом количестве, но многие из них слишком субъективны или выражены в слишком субъективной форме. Поэтому задачей современной науки становится строгая систематизация таких фактов и создание стройной теории. Остановимся в этой связи на одной из недавних попыток — книге Поля Гриеже «Этническая характерология. Сближение и взаимопонимание народов» [14].

Основное понятие в теории Гриеже — этния (ethnie) — форма социальной группировки людей, представляющая собой абстракцию от конкретно-социальной организации. Под этническим характером Гриеже понимает совокупность общих

свойств, образующих внутреннюю структуру этнии. Поэтому этнический характер, по его мнению, нельзя смешивать ни с национальным темпераментом, ни с «душой народа». Анкетными и статистическими методами П. Гриеже устанавливает прежде общие свойства — «доминанты этнического характера», а затем — разные комбинации доминант. Таких комбинаций четыре, и каждая из них является типом этнического характера: I — направленный внутрь (introverti), II — колеблющийся (fluctuant), III — устойчивый (perpetuant), IV — направленный вовне (extraverti). Далее Гриеже соотносит установленные им типы с реальными народами и рассматривает основные проявления типических характеров в социальной, культурной и прочих областях. Мы приведем один-два примера национального характера, как он проявляется в способе мышления вообще, в искусстве в частности, по выкладкам П. Гриеже (не вдаваясь здесь в вопрос о том, насколько правильны его оценки и сам метод). Тип III: Слабая эмоциональность, отсюда — меньший интерес к субъективному, «нервному» искусству, больший — к пластическим искусствам, к аналитической литературе, к спокойной музыке; любовь к конкретному, к спорту. В способе мышления идея опирается на факты; преобладание идей над образами (3,24 против 2,62); «объективность» мышления, ясность и точность мысли. Образец — английский характер. Тип. IV: Интерес к аналитическим и эмпирическим знаниям; искусство строгое и логичное, предпочтение в нем отдается жанру очерка, «эссе» или описательным жанрам, близким к журналистике; в мышлении и строении фразы — стремление отличать главное от деталей; преобладание анализа; преобладание идей над образами (2,21 против 3,75); наряду с этим, мышление

30

часто поверхностное, но отличающееся быстротой; нет ни богатства в оттенках чувства, ни теоретической систематизации. Образец — французский характер.

Гриеже поступает здесь совершенно так же, как современные языковеды, описывая какое-либо сложное явление языка в виде совокупности, комбинации первичных элементов.

Но еще задолго до него и до лингвистов-структуралистов подобным образом рассуждал Л. Толстой: «Можно так определять характеры:

1. Чуткость большая, меньшая и до ... тупости.
2. Ум большой, меньший и до ... глупости.
3. Страстность большая, меньшая и до... апатии, холодности.

4. Смирение большое, меньшее и до... самоуверенности. Можно присоединить еще правдивость и живость, хотя это свойство не такое основное. И характеры определять проводимыми чертами». (Дневник, запись 26 декабря 1906 г.).

У Гриеже интересна, однако, связь национального характера с художественным творчеством. Различие между III и IV типами он иллюстрирует описанием национальных черт английской и французской литератур: «Почти все французские романы единообразно построены по тому плану, который И. Тэн характеризовал как классический ... Преобладающее над всем, стремление к ясности и красоте расположения захватывает читателя и делает его снисходительным созерцателем, почти соучастником искусства, творимого в соответствии с этой концепцией, столь сильной своим единством. Идеал же английского романа в том, чтобы изображать реальную жизнь во всей ее широте, во всем ее бесконечном разнообразии ... Тут не заботятся об иерархии персонажей, о том, чтобы выдвинуть на передний план одних, затушевать других, все имеют равное право на интерес читателя, ибо все равно участвуют в мощном потоке жизни, охватывающем все произведение ... В сущности, англичанин не стремится к драматическому единству в романе, он стремится больше всего к тому, чтобы куски реальной жизни подавались ему последовательно, со всей правдивостью и глубиной» [15].

Испанский филолог Р. Менендес-Пидаль, сравнивая эпос разных народов, отмечает почти те же черты: «„Песнь о Роланде“ своей схематичной простотой, единством действия, времени и тщательностью отделки предвещает классическую французскую трагедию. Благодаря большой исторической достоверности, поискам высшей художественной правды, охватывающей все сложные перипетии жизни, и малой заботе о форме, „Мой Сид“ выступает перед нами как предвестник шедевров испанской комедии. „Нибелунги“ гигантской разбросанностью действия, многоплановостью доказывают свое родство с шекспировской концепцией трагедии» [16].

Более точные структурные аналогии между языком литературой были установлены русскими исследователями 20-х годов XX века — Ю. Н. Тыняновым, Б. А. Лариным, Б. В. Томашевским, А. Белым, Б. Эйхенбаумом и др. Русские исследователи шли в этом вопросе от литературы. (К выработанному в те годы методу анализа мы вернемся ниже — раздел II, 3, «Аналогии».)

С другой стороны, от истории к социологии (в Европе) и от этнографии к антропологии (в Америке) двигались исследователи на Западе. В США проблемой языка занялись этнография и так называемая социальная антропология, ставящие себе задачей в той их части, которая касается языка, ответить на вопрос, есть ли соответствия между системой языка и этнической организацией общества, и если есть, то какие. Широко известны работы Ф. Боаса, Э. Сепира, Б. Л. Уорфа. Во Франции эта проблема ставится в более тесной связи с социологией (см. ниже, II, 2) [17].

В работах И. Трира, Л. Вейсгербера и других возникают теории «языковых» или «понятийных полей», увязывающие системное изучение лексики с историей народа и «национальным духом». Оригинально ставится эта проблема лингвистами Японии [18].

Эти направления представляют собой серьезные попытки увязать в рамках одной теории проблемы языкознания, психологии, социологии и истории культуры.

. Оригинальные семиотические идеи высказали современные советские лингвисты, литературоведы и философы (см. ниже II, III и прим.).

Возвращаясь же к истории семиотики, мы видим, как на смену разрозненным представлениям о языке, психическом складе и культуре, материальной и духовной, приходит идея их единства, понимание их как комплекса, и как затем в этом комплексе вычлениются два слоя, два Уровня — явный и неявный.

Напомним в связи с приведенными уже примерами, что такое эти два уровня. Когда человек машет рукой в знак прощания — это факт им осознанный и факт «явной культуры». Когда же человек, обращаясь с вопросом к прохожему, останавливается от него на определенном расстоянии, то размеры этого расстояния — факт им неосознанный, факт «неявной культуры». Точно так же способы махания рукой при прощании от себя вперед — типичный для России, из стороны в сторону — типичный для Франции, — факты уже «неявной культуры». Факты неявной культуры различны в зависимости от страны, нации, континента и часто образуют системы. (Подробнее см. ниже, гл. II, 2 и др.).

При изучении неявного уровня движение шло от изучения психики, через изучение языка к изучению материальной культуры, так что неявный, скрытый уровень в самом явном — в материальной культуре — был обнаружен позднее всего. Современный исследователь вопроса (лучше сказать, части вопроса, так как речь у него идет только о психике), Л. Ло

Уайт, дал своей книге «Бессознательное до Фрейда» характерный подзаголовок «История эволюции человеческой осознанности». Скрытый уровень в человеческой психике как индивидуальной психологии, так и коллективной, и общественной, автор этой книги называет общим термином «неосознанное», «неосознанность» (unconscious). Список людей, которые размышляли над неосознанностью, открывается у Ло Уайта именами Плотина (204—270), Св. Августина (354—430), через Данте и Шекспира, Сервантеса, Декарта и Паскаля и многих других подходит к философии нового времени.

Конечно, не следует представлять себе дело так, что все эти многие писатели, философы и ученые сознательно занимались неявным уровнем человеческой психики, как мы его теперь понимаем. Как именно они этим занимались, можно судить по следующему отрывку из «Божественной комедии» Данте («Чистилище», песнь 33, стих 91. Данте разговаривает с Беатриче):

На что я молвил: «Я не вспоминаю,
Чтоб я когда-либо чуждался вас,
И в этом я себя не упрекаю».
Она же: «Если ты на этот раз
Забыл, — и улыбнулась зримо, —
То вспомни, как ты Лету пил сейчас;
Как судят об огне по клубам дыма,
Само твое забвенье — приговор
Виновной воле, устремленной мимо».

Беатриче хочет сказать здесь, что если бы Данте не считал себя виноватым перед ней, он бы не забыл об этом, потому и забыл, что сам осознает себя виноватым. Современные психологи справедливо считают, что Данте нащупал здесь один из законов нашей психики: мы стремимся забыть то, чего стыдимся [20].

Наличие двух ярусов — явного и неявного — в языке было осознано позже, чем в отношении психики. В основном это поняли тогда, когда сложилась особая отрасль языкознания — стилистика, в особенности сопоставительная стилистика разных языков.

Стилистика — это такое явление в использовании языка, когда в языке имеется несколько разных способов для выражения в общем одной и той же мысли, а говорящий выбирает один из них. При этом начинает значить нечто и сам факт его выбора. Например, если в русском языке существует, по крайней мере, два слова для обозначения лицевой части головы человека — «лицо» и «морда» и говорящий выбирает второе, то этим одновременно выражается а) мысль о лице какого-либо

человека и б) отношение говорящего к данному человеку (желание оскорбить, рассердить и т. п.). Если же говорящий постоянно

употребляет в своей речи слово «морда» вместо слово «лицо», то тем самым этот выбор делается знаком некультурности говорящего. Стилистика заключается в образовании таких и других сложных знаков, знаков «второго порядка». (Подробнее см. об этом в разделе III, 3.) Пользование же знаками второго порядка очень часто в практической жизни происходит неосознанно для человека, если он не писатель, не лектор, не учитель. Например, если говорящий на русском языке регулярно пользуется словом «морда» вместо слова «лицо», то в большинстве случаев он не осознает, что произвел выбор. Поэтому и весь этот уровень, стилистика, в бытовой практической речи является неявным. (Следует подчеркнуть, что в этом теоретико-лингвистическом и семиотическом употреблении термин «стилистика», конечно, имеет несколько иное значение, чем в литературном языке, где «стилистика» — «учение о выразительных средствах языка».)

В настоящее время исследования национальной культуры, языка и психологии стали гораздо определеннее и конкретнее именно благодаря появлению стилистики как особой отрасли языкознания, особенно внешней или сопоставительной стилистики разных языков. (См. подробнее раздел «Лингвoseмиотика», II, 3.)

В областях культуры к явному уровню принадлежат, например, осознанные обычаи: религиозные, свадебные, правила вежливости и т. п., а к неявному — те факты, о которых было сказано выше. Эдварду Холлу принадлежат удачные термины — явная культура (*overt culture*) — неявная культура (*covert culture*), соответствующие в изучении психики терминам — осознанное и неосознанное [21].

Сказанное о двух уровнях в психике, языке и материальной культуре, можно приблизительно обобщить так.

Явный уровень: в психике — все, что осознано, осознаваемое; в языке — простые знаки без переноса, в том смысле, как сказано выше; в материальной культуре — «явная культура» в том смысле, как сказано выше.

Неявный уровень: в психике — неосознаваемое; в языке — знаки с переносом, стилистика; в материальной культуре — неявная культура в вышеуказанном смысле.

Второй поток семиотических идей связан с понятием знака. Проблемами знака занимались в античности Аристотель и стоики [22]. Но самое интересное в истории проблемы знака, пожалуй, то, что европейцы занимались ею все время, сами этого не сознавая. И вот каким образом. Еще в поздней римской античности сложилась традиция преподавать в высшей школе «семь свободных искусств», которые распределялись на два цикла — квадривий (*quadrivium* буквально четырехдорожье, пере-

кресток четырех дорог) — арифметика, геометрия, астрономия и музыка и тривий (*trivium* — трехдорожье) — грамматика, риторика и диалектика (так тогда называлась логика). В средние века, с V—VI в., эти циклы утвердились и в европейской схоластической школе, а позднее преобразовались, тривий — в гуманитарные, а квадривий — в реальные науки, из последних в свою очередь еще позднее выросли современные естественные науки.

Один из основателей современной семиотики, Ч. Моррис [23] обратил внимание на то, что части тривия в точности соответствуют трем частям нынешней семиотики:

<i>В тривии</i>	<i>В семиотике</i>	<i>Что изучается</i>
Грамматика	Синтактика	Отношение знака к знаку
Диалектика (логика)	Семантика	Отношение знака к значению, к смыслу
Риторика	Прагматика	Отношение знака к тому, кто знаками пользуется, к человеку

(Подробнее о частях семиотики сказано дальше, III.)

В XVII—XVIII вв. проблемами знака занимались философы — Локк [24], Гассенди, Кондильяк. В XIX в. — логик Ч. Пирс, философ Ч. Моррис, математик Г. Фреге [25], работы которых имеют особенно актуальное значение, лингвист Фердинанд де Соссюр.

Последний рассматривал языковой знак в общем виде как неразрывное свойство двух сторон — означаемого и означающего, которые нельзя разделить точно так же, как нельзя разделить лицевую и оборотную стороны листа бумаги. Его схема знака (к которой и мы будем прибегать ниже) — круг с чертой, проведенной по диаметру. Очень важно подчеркнуть, что в своей теории знака де Соссюр использовал идею двух видов стоимости Адама Смита и позднейшей политэкономии. Как известно, товар может иметь конкретную потребительскую стоимость, заключающуюся в неповторимом

материальном качестве данного товара, в том, что его можно потреть (съесть, выпить, надеть и т. п.), и абстрактную меновую стоимость, определяемую отношением данного товара к другим товарам. По аналогии с этим де Соссюр открыл в языковом знаке два значения: а) его конкретное значение, определяемое неповторимыми качествами данного знака как отдельного явления (например, таковы значения слов, записанные в толковых словарях; как бы ни были абстрактны эти значения сами по себе, они являются конкретными значениями слов-знаков, так как их можно описать обычными словарными способами), б) абстрактное значение знака, определяемое относительно, то есть отношением данного слова ко всем другим словам языка (практически ко всем словам той же смысловой группы) (см. подробнее ниже, раздел «Лингвосемиотика»). Для семиотики небезынтересно также отметить, что Адам

35

Смит, идея которого, благодаря де Соссюру, сослужила столь большую службу лингвистике, сам начинал как лингвист, и, таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что в каждую эпоху существует обмен идеями и даже общность идей между самыми разными науками, что само по себе есть факт, изучаемый семиотикой (см. ниже «Этносемиотика», о работе М. Фуко).

Де Соссюр предвидел и появление общей науки о знаковых системах, семиотики, или семиологии: «Замечание мимоходом. Когда организуется семиология, она должна будет поставить вопрос, относятся ли к ее компетенции способы выражения, покоящиеся на знаках, в полной мере естественных, как, например, пантомима. Даже если она включит их в область своего исследования, все же главным объектом ее рассмотрения останется совокупность систем, основанных на произвольности знака. В самом деле, всякий принятый в данном обществе способ выражения в основном покоится на коллективной привычке или, что то же, на условности. Знаки учтивости, например, часто характеризуемые некоторой естественной выразительностью (вспомним о китайцах, приветствовавших своего императора девятикратным падением ниц), тем не менее фиксируются правилом; именно это правило заставляет их применять, а не их внутренняя значимость. Можно, следовательно, сказать, что знаки целиком произвольные лучше других реализуют принцип семиологического процесса: вот почему язык, самая сложная и самая распространенная из систем выражения, вместе с тем и наиболее характерна из них всех; в этом смысле лингвистика может служить

прототипом вообще всей семиологии, хотя язык только одна из многих семиологических систем» [27].

Теперь изучение знаковых систем разграничилось в общем так, как это предвидел де Соссюр, но отчетливее и резче, чем это казалось ему.

Одно направление исследует системы, основанные на знаках естественных, или, точнее, в той или иной степени важных для самого существования организма, то есть биологически существенных, или, выражаясь терминологически, биологически релевантных. Его можно назвать биологической семиотикой, или биосемиотикой, оно отправляется от изучения систем сигнализации (коммуникации) животных, включая низших животных, насекомых и др., то есть опирается на вообще биологию (Ч. Хоккетт, США; Н. И. Жинкин, СССР). Другое направление — самое обширное, внутри него несколько течений, одно ориентируется на антропологию и этнографию, т. е. изучение преимущественно примитивных обществ (Э. Холл, США; К. Леви-Стросс, Франция); еще одно течение — на социальную психологию и инженерную психологию, т. е. изучение высокоразвитых обществ (исследователи «Истории ментальностей», см. примеч. 17, Франция; А. Чапанис и др., США; Тартуская группа и московские авторы, СССР); третье течение —

36

на историю философии и литературы (Р. Барт, М. Фуко и др., Франция). В целом это разностороннее направление условно можно назвать этносемиотикой. Третье направление — л и н г в о с е м и о т и к а — ориентируется на изучение естественного языка с его стилистикой и исследует другие знаковые системы постольку, поскольку а) они функционируют параллельно с речью (так называемая паралингвистика — например, жесты и мимика, сопровождающие речь); б) компенсируют речь (например, выразительная, стилистическая интонация; типографские шрифты); в) видоизменяют ее функции и ее знаковый характер (например, художественная речь). В последние годы в связи с бурным развитием моделирования естественного языка и появлением различных семей искусственных языков (информационных, информационно-логических, языков программирования и др.) расширился и объект лингвосемиотики. Четвертое направление изучает лишь наиболее общие свойства и отношения, характеризующие знаковые системы, независимо от их материального воплощения (Р. Карнап за рубежом; В. Б. Бирюков, Д. П. Горский, А. А. Зиновьев, В. В. и др., СССР). В рамках этого

направления создается наиболее абстрактная, логико-математическая знаковых систем, и потому его можно назвать абстрактной семиотикой.

Все направления существуют в самых тесных контактах друг с другом, и их общие вопросы разрешаются в рамках одной науки — семиологии, или семиотики в широком смысле слова, или общей семиотики.

В следующей главе будут коротко рассмотрены эти направления.

Может быть, можно выделить пятое направление, которое занимается семиотикой в связи с кибернетикой и теорией информации (Г. Клаус, И. Земан, А. Моль за рубежом; В. Мартынов и др., СССР), это то, что можно было бы назвать кибернетической семиотикой, но точнее — это уже один из разделов самой кибернетики.

Что касается так называемой семиотики искусства, то вряд ли можно говорить о существовании ее как особой самостоятельной отрасли семиотики, по крайней мере в настоящее время, когда недоказанным и недоказанным остается характер искусства и литературы как знаковых систем. Тем не менее чрезвычайно интересно и плодотворно применение семиотических идей к некоторым явлениям в литературе и искусстве, и примеры этого приводятся ниже.

II. НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМИОТИКЕ

1. БИОСЕМИОТИКА

Особое место в биосемиотике принадлежит немецкому биологу Якобу фон Икскюлю.

Сначала о его работе «Внешний и внутренний мир животных» (1909 г.) [1]. Говоря о распространении дарвинизма, Икскюль обращает внимание на отрицательные стороны этого процесса, в том его виде, какой он принял в биологии и философии конца XIX — начала XX века: в ряду животных видов начинают видеть только ступени исторического совершенствования животного организма, от простейшего к более сложному; при этом забывают, что сложность» организма сама по себе вовсе не равносильна совершенству: самая лучшая лошадь не исполнит в совершенстве функций дождевого червя. Вопрос о степени совершенства живого организма должен, по мнению Икскюля, решаться сравнением «структурного плана организма» (Bauplan) и осуществления этого плана, совершенство заключается в наилучшем исполнении плана. Далее, дарвинизм ставит вопрос о потребностях организма и считает наиболее совершенным тот организм, который наилучшим образом отвечает своим потребностям. При этом мерой совершенства считается человек, а ступень совершенства животного рассматривается по отношению к этой мере. И по этому вопросу Я. Икскюль высказывает иное мнение: не организм отвечает потребностям, а потребности создаются как следствие организации животного, его «структурного плана». Из необозримого многообразия мира каждое животное выбирает, как бы «выкраивает» для себя то, что отвечает его собственной организации. Количество и связи выкроенных таким образом участков окружающего животного мира и создают «внешний мир животного» (Umwelt). Внешний мир Каждого животного одного вида глубоко отличен от внешнего мира другого вида и от внешнего мира человека. Даже внешний мир одной особи до некоторой степени отличен от внешнего мира другой особи того же вида. Произведенные этим внешним миром действия в организации животного, в особенности в его нервной системе, согласованные и упорядоченные его структурным планом, образуют в совокупности «внутренний мир» животного (Innenwelt).

Этот ход мыслей привел Я. Иксюля к общей формулировке: биологическая связь между организмом и внешней средой, включая и связь между одним организмом и другими, основанная на соответствии «структурного плана» организма и его «внешнего мира», и есть значе-

ние в органической природе. Эта мысль высказана Я. Иксюлем в работе с характерным названием «Учение о значении» («Bedeutungslehre») [2]. В этом понимании значения Я. Иксюль прозорливо предвосхитил как одну из главных идей современной кибернетики, науки о связях и управлении в организме, природе и обществе (см. Предисловие), так и одну из главных идей современной семиотики: само явление «значения» не является каким-либо исключительным свойством человеческого языка или человеческой психики, в иной форме оно присутствует всюду в органической природе.

Сформулированное таким образом определение включает явление значения в еще более широкий круг явлений, известных под названием «отражения». Общее свойство отражения в различных видах и степенях пронизывает всю известную нам природу, включая и неорганическую.

Акад. С. И. Вавилов высказал в свое время мысль о том, что будущая физика, возможно, станет рассматривать в качестве первичного, наиболее простого явления «способность, родственную ощущениям, и на ее основе объяснит многие другие вещи» [3].

В четкой философской форме эта материалистическая идея была сформулирована В. И. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм»: «... „в фундаменте самого здания материи” можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением» [4].

«Теория отражения» развита в капитальном исследовании болгарского философа Т. Павлова. Многие идей этой работы имеют непосредственное отношение к рассматриваемому нами вопросу. Ограничимся одной (по необходимости длинной) цитатой:

«Строго говоря, если последовательно представить различные формы отражения вообще как свойства всей материи, то необходимо будет на самой верхней ступени эволюции этого общего свойства материи поставить осознанное отражение (причем человеческое осознанное отражение), т. е. сознание, при наличии которого уже

возможны и явления вроде чисто субъективных фантастических, научных, художественных представлений, которые почти лишены всякой чувствительно-предметной непосредственности и реальной действенной силы, что касается реагирования — отражения у растений, то необходимо отметить, что здесь и речи быть не может ни о каком сознании, ни о каких ощущениях, представлениях, памяти или фантазии и т. п. Однако и в этом случае отражение проявляется как особая форма внутреннего состояния живой материи, которое продолжает существовать в виде следов внутри самого организма и может (судя по внешним действиям организмов) оказывать определенное влияние на его поведение, которое нельзя было бы объяснить без остатка только последующими внешними воздействиями на организм новой среды и вызванными в нем физико-химическими реакциями. Чем ниже спускаемся мы по ступеням эволюции отражения вообще как свойства всей материи, тем труднее отличить внешние ответные (химические, физические, меха-

нические) реакции тела от внутренних состояний отражений-следов или актуального отражения окружающей среды в испытывающем ее воздействие теле. Здесь нет уже субъективных представлений фантазии, ни биологических рефлексов отражений (накапливающихся в организме как самый низший вид бессознательной памяти). В этом случае внешняя ответная реакция тела (химическая, физическая или механическая) сливается в значительной степени с внутренним состоянием отражения, и, следовательно, о последнем мы можем также судить в значительной мере по внешним ответным реакциям данных «отражающих свою среду» тел. Мы и здесь понимаем мысль акад. Вавилова в том смысле, что внешние ответные реакции и внутренние отражения (актуальные или в виде прошлых следов) не совпадают и не могут совпадать абсолютно и без остатка. В этом именно и заключается большое научное методическое значение мысли Вавилова в смысле признания неабсолютного совпадения внешних реакций тел с их внутренними состояниями отражения... И для того, чтобы уяснить себе исчерпывающим образом их «поведение», нам необходимо было бы (поскольку мы не хотим приписывать всякой материи сознание и способность свободного выбора своего поведения) допустить с логической необходимостью существование отражения как свойства всей материи вообще и с его помощью объяснить некоторые явления поведения атомов, ядер, электронов и т. д. Эта мысль Ленина об отражении как свойстве

всей материи имеет огромное гносеологическое значение для понимания глубокой связи между мышлением и практикой» [5].

Об отражающих свойствах живых «донервных» организмов, например о долговременной памяти растений, было известно давно. Но в последнее время специальные исследования обнаружили у них и кратковременную память. Объектами эксперимента были фасоль, огурцы, картофель, пшеница, лютик и др. Информационными сигналами служили световые импульсы ксеноно-водородной лампы, причем частота импульсов подбиралась для каждого растения индивидуально. Реакция растения регистрировалась электроэнцефалографами и полиграфами, применяемыми обычно для изучения электрических сигналов мозга. Опыты показали, что практически все растения запоминают задаваемый ритм импульсного освещения. Например, лютик сохранял след запоминания ритма в течение целых восемнадцати часов после прекращения светового воздействия и все это время с исключительной точностью воспроизводил усвоенный ритм. Специалисты полагают, что растение не только удерживает полученную информацию, но, как и любая живая система, активно ищет нужную ему информацию в условиях постоянно изменяющейся среды [6].

Для биосемиотики очень важно изучение поведения животных. В зарубежной психологии этим занимается прежде всего этологическая

40

школа (название от греческого слова *ethos* — правило, обычай). Для семиотики наиболее интересны следующие выводы исследователей этой школы.

1. Животные обладают врожденной способностью узнавать важные для существования их вида и их особи объекты: врага, пищу, особь другого пола. Узнавание всегда происходит по небольшому количеству элементарных различительных (дифференциальных) признаков, которыми животное отличает один объект или один ряд объектов из своего «внешнего мира». Это позволило ученым смоделировать такие предметы, воспроизведя только те черты их, которые существенны для того, чтобы животное их опознало. Например, самец бабочки-перламутровки обычно начинает свой брачный танец при виде порхающей самки, но в условиях опыта он танцует также и при виде бумажной модели самки, подвешенной на конце прута: на величину реакции самца не влияла ни форма модели, ни рисунок, а только особенности порхания и общий цвет. Самец рыбы-колюшки начинает брачный танец при виде самки с раздувшимся от икры

брюшком, но его танец может быть вызван и моделью самки, причем он реагирует даже сильнее на такую модель, которая представляет брюшко утрированно, преувеличенно раздутым [7].

Если связь организма с внешней средой, в том виде как эта связь описана Я. Икскулем, считать первой, низшей ступенью знаковости, то явления, описанные этологами, составляют вторую, более высокую на эволюционной лестнице, ступень знаков. Явление здесь, например самка для самца, биологически важно (релевантно) для существования животного, но это явление в процессе связи между животным, в данном случае самцом, и внешним миром раздваивается: биологически важно явление в целом (самка) как особь, для информации же важны лишь некоторые черты явления (форма порхания; форма и объем брюшка), которые делаются представителем всего явления, сигналом о нем или его знаком. Знак здесь уже не тождествен тому, что он означает, не тождествен означаемому (самой самке), хотя и составляет его неотъемлемую часть.

2. Этологи обнаружили также, что весь комплекс инстинктивного поведения животных, в особенности низших, распадается на ряд довольно отчетливо отграниченных друг от друга типичных «кадров». Благодаря этому исследователи смогут составить «каталоги», или «инвентарь» актов поведения («этограмму» поведения) [8]. Этот вывод также очень важен для семиотики; если инстинктивные акты, по крайней мере некоторые (например, акт распознавания), основаны на явлении сигнала или знака, а поведение животного распадается на цепь таких актов, то, следовательно, по крайней мере, некоторые звенья этой цепи являются постоянно, регулярно и в типичной форме воспроизводимыми знаками.

До сих пор односторонне ставили вопрос о «языке животных». Между тем, с точки зрения современной семиотики, вопрос следует ста-

41

вить не так: «Есть ли «язык животных» и в чем он проявляется?», а иначе: само инстинктивное поведение животных есть род языка, основанного на знаковости низшего порядка. В гамме языковых, или языкоподобных явлений, оно, по сути дела, не что иное, как «язык слабой степени».

У некоторых видов животных есть и еще более самостоятельные системы связи и сигнализации, основанные на несколько более абстрактных явлениях знака. Такова

система «танцев» у пчел, возможно, некоторые виды связи у муравьев. Обо всем этом писалось уже так много, что здесь достаточно просто сослаться на литературу [9].

Наконец, у обезьян обнаружена и описана (Н. И. Жинкиным) звуковая система связи, в некоторых отношениях уже близкая к человеческому языку [10].

2. ЭТНОСЕМИОТИКА И СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ

В целом предмет этносемиотики можно определить как изучение «неявного уровня» человеческой культуры. (О понятии «неявного уровня» см. выше, гл. I.) Даже когда отдельным объектом наблюдения для этносемиотики выступает что-либо вполне осязаемое, например фольклорная свадебная песня или заговор, точка зрения семиотики на этот предмет отличается от точки зрения науки о фольклоре: семиотика изучает его как часть таких знаковых систем данного общества, смысл и роль которых самими членами общества не осознается.

Этносемиотика — молодая и быстро развивающаяся наука, в ней нет еще общепризнанных обобщающих теорий. За рубежом, особенно в США, проводится большое количество отдельных конкретных исследований в рамках этнографии (называемой там «культурной и социальной антропологией») [11]. Широко развернулись семиотические исследования в Польше и особенно в СССР; часто это очень ценные работы по частным вопросам, но без больших обобщений. Однако делаются попытки создания и общих теорий.

Остановимся прежде на частных исследованиях, ведущихся в культурной и социальной антропологии, взяв в качестве типичного примера исследования человеческих поз. Как уже было сказано в первой главе, позы могут быть частью знаковых систем. В рамках культурной и социальной антропологии исследование поз может проводиться с разных сторон.

С одной стороны, позы могут изучаться с точки зрения физиологии человеческого организма (точно так же можно изучать плач, смех, физиологические отправления и т. д.), это так называемая этологическая точка зрения (ср. выше раздел 1 гл. II). Описание поз важно для инженерной психологии, заключающейся в изучении человека в контакте

данной национальности важно при планировке квартир, мебели и т. д.; для психиатрии: психиатрическое наблюдение над позами в свою очередь может пролить свет на физическое поведение здорового человека.

С другой стороны, позы могут изучаться как положения человеческого тела, типичные для данной культуры. Это этнологическая точка зрения. Общее количество различных устойчивых положений, которые способно принять человеческое тело, около 1000. Но из них в силу культурной традиции каждого племени и народа некоторые запрещаются (табуируются), а другие закрепляются. Поэтому изучение поз обязательно должно быть сравнительным, «межкультурным». Для того чтобы определить, значима ли какая-либо поза, например, поза сидения за едой, т. е. имеет ли она этнологическое значение, нужно сравнить позы сидения за едой в разных культурах, например у индейцев Северной Америки и аборигенов Новой Зеландии. Если позы окажутся устойчиво различными, то они — факт культуры.

После этого может быть составлен каталог этнологических поз (см. рис. 2 — таблицу). После выделения мельчайших, элементарных единиц пространственного поведения человека — поз и составления каталогов — начинается глубинное культурно-этнографическое их изучение, которое может проводиться по следующим линиям: а) взаимосвязь поз с другими знаковыми и незнаковыми системами культуры: одежда, планировка жилищ и т. д.; б) культурно-историческая традиция — устойчивость некоторых поз на протяжении длительных периодов существования народов [12].

Собственно семиотическое или, лучше сказать, семиотическое в узком смысле, изучение поз начинается тогда, когда к выделенным и каталогизированным этнологическим позам начинают применять те же принципы анализа, которые выработаны в современной лингвистике для описания языка (развернутый пример такого описания дается ниже, в гл. II, 3. «Аналогии»).

Как ни мало подчас семиотической теории в работах такого рода, но накопленный в них материал позволяет поставить важные семиотические вопросы. Мы сформулируем здесь только несколько таких вопросов.

Вопрос о месте наблюдателя по отношению к наблюдаемым фактам. Исследователь, наблюдающий, например, позы, не может вполне обнаружить их культурное (этнологическое) значение до тех пор, пока наблюдает их «изнутри», живя среди данного народа. Для этого ему нужно переместиться в среду другого народа и

с машиной: реакции и поведение человека, размещение человека перед машиной или станком, конструкция рукояток, пультов управления и т. д.; знание типичных поз для

сравнить факты «извне». Само пересечение какой-либо этнографической границы оказывается достаточным, чтобы увидеть общий семиотический или, напротив, несемиотический (биологический, этологический) характер обычаев. Это

положение дел можно сравнить с тем, как человек, долго проживший в какой-нибудь стране и знающий ее не лучше и не хуже, чем любой ее житель, делается обладателем ценнейших знаний об этой стране, как только переезжает в другую страну. Всем известно, например, как ценятся преподаватели иностранного языка, жившие в стране этого языка и знающие, как там в действительности выражаются люди в определенных жизненных ситуациях. Между тем, в стране этого языка их знания ни для кого не представляют интереса.

В подобном положении оказывается и наблюдатель, изучающий стилистику языка и сталкивающийся с «парадоксом сопоставительной стилистики» (см. III, 3).

Вопрос о культурной вообще и в частности языковой относительности первоначально был сформулирован двумя американскими лингвистами Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом, но ими он не ставился ни в какую связь с вопросом о позиции наблюдателя. В настоящее время мы должны рассматривать проблему языковой относительности как часть более общего вопроса о позиции наблюдателя при исследовании культуры и языка.

Гипотеза языковой относительности Сепира—Уорфа утверждает, что те различия в языке, которые самими носителями языка не осознаются, а наблюдателем обнаруживаются при сравнении с другим языком (т. е., сказали бы мы, при пересечении наблюдателем языковой границы), не безразличны для мышления, не являются ничего не значащей формой, но, напротив, формируют глубинные стороны, самые основы мышления. Б. Л. Уорф приводит следующий пример. В европейских языках (так же, как, естественно, в американских вариантах европейских языков — английского, французского, испанского и португальского) понятия времени «объективизируются как исчисляемые количества, т. е. отрезки, состоящие из отдельных величин, в частности длины, так как длина может быть реально разделена на дюймы. «Длина», «отрезок» времени мыслится в виде одинаковых единиц, подобно, скажем, ряду бутылок. В языке хопи (один из языков североамериканских индейцев. — Ю. С.) положение совершенно иное. Множественное число и количественные числительные употребляются только для

обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу. Там не существует воображаемых множественных чисел, вместо них употребляются порядковые числительные в единственном числе. Такое выражение, как «десять дней», не употребляется. Эквивалентом его служит выражение, указывающее на процесс счета. Таким образом, «они пробыли десять дней» превращается в «они прожили до одиннадцатого дня» или «они уехали после десятого дня». «Десять дней больше, чем девять дней» превращается в «десятый день позже девятого». Наше понятие «продолжительность времени» рассматривается там не как

фактическая продолжительность или протяженность, а как соотношение между двумя событиями, одно из которых произошло раньше другого. Вместо нашей лингвистически осмысленной объективизации той области сознания, которую мы называем «время», язык хопи не дал никакого способа, содержащего идею «становиться позднее», являющуюся сущностью понятия времени» [13].



«Различные широкие обобщения западной культуры, как, например, время, скорость, материя, не являются существенными для построения всеобъемлющей картины Вселенной. Психические переживания, которые мы подводим под эти категории, конечно, никуда не исчезают, но управлять космологией могут и иные категории, связанные с переживаниями иного рода, и функционируют они, по-видимому, ничуть не хуже наших. Хопи, например, можно назвать языком, не имеющим времени. В нем различают психологическое время..., но это «время» совершенно отлично от математического времени, исследуемого физиками» [14].

Как мы видим, этносемиотика тесно смыкается с лингвистикой и историей культуры. Связь семиотики с историей духовной культуры характерна в особенности для семиотических исследований в СССР, в настоящее время привлекающих все больше

и больше специалистов из разных областей науки, главным образом, из лингвистики [15].

Остановимся теперь на некоторых общих теориях в области этносемиотики. Широкую известность, но не столь же широкое признание, получила теория французского антрополога Клода Леви-Стросса [16]. У этого автора в рамках одной теории, по-видимому, соединяются философская экзистенциалистская основа и структуралистская, тяготеющая к совершенно иной философской основе. Глубокое несходство той и другой можно показать на примере следующих двух противоположных высказываний, противоположность которых особенно ярко видна потому, что речь в них идет об одном и том же — о человеке как предмете познания.



Часть каталога поз, значимых с этнологической точки зрения (по Г. Хьюзу). Такие позы передаются по традиции и сохраняются на протяжении длительных периодов времени. Предполагается, что они могут служить, подобно формам языка и предметам материальной культуры, для установления древнейших передвижений и контактов племен. Так, поза в третьем ряду сверху, четвертая колонка слева, характерная для населения островов Самоа в Тихом океане, по-видимому, указывает на опосредованные контакты с Индией, где она связана с религиозными обычаями.

Рис. 2

1. Представители структурализма: на основании опыта новейшей лингвистики, член коллектива может рассматриваться как пучок дифференциальных признаков».

2. Один из создателей экзистенциальной философии Ж.-П. Сартр (замечание на очерк о психологии писателя Г. Флобера): «Но, во-первых, подобный психологический анализ исходит из постулата, что индивидуальный факт

возникает на пересечении абстрактных универсальных законов. Подлежащий объяснению факт — в данном случае литературные склонности молодого Флобера — разрешается в комбинацию абстрактных типичных желаний, встречаемых у «подростка вообще». Конкретного здесь только их комбинация, сами па себе они лишь схемы. Абстрактное, таким образом, по гипотезе, первично по отношению к конкретному, а конкретное — всего лишь определенная организация абстрактных качеств;

индивидуальное — лишь пересечение универсальных схем. Но, не говоря уже о логической абсурдности подобного постулата, мы ясно видим, хотя бы на выбранном примере, что он бессилен объяснить то, что как раз и составляет данную индивидуальность» [17].

К. Леви-Стросс отчасти осознавал, по-видимому, эту коренную двойственность своей теории, вытекающую из ее двойственного философского основания. Он пытался преодолеть ее указанием на то, что необходимо различать уровень наблюдения и уровень эксперимента, чтобы избежать противоречия между конкретным и индивидуальным характером объекта наблюдения в культурной антропологии и абстрактно универсальным и формальным характером структурного анализа [18]. Но полностью выполнить это требование ему не удалось [19].

Экзистенциальные предпосылки теории вызывают в ней следующие положения.

Удовлетворительно понять социальный факт можно только путем его «глобального охвата», а не как воссоединение отдельных черт — технических, экономических, юридических, религиозных и т. д. Истинным является не отдельный факт молитвы, не право в целом, а человек — «меланезец такого-то определенного острова» — или социальная общность людей в целом в данном конкретном времени и пространстве: Рим, Афины и т. п.

«Глобальный охват» далее требует непосредственного включения наблюдателя в наблюдаемую действительность, его «сопереживания», происходящего в ней. «Все, что наблюдается, является частью акта наблюдения, но его частью является и сам наблюдатель». (Здесь в более разработанной, тонкой форме ставится упомянутый уже выше вопрос о «месте наблюдателя».) Но, погружаясь в изучаемую действительность, исследователь живет в ней как участник, вместо того чтобы наблюдать ее как этнограф. Это противоречие было бы неразрешимым, если бы различие между объективным и субъективным было в социологии и

науке о культуре таким же строгим, как в физике. Но этого нет, потому что человек как субъект наблюдения может путем взгляда на себя со стороны, путем «процесса отчуждения, объективации», все больше и больше, практически бесконечно, приближаться к самому себе как объекту наблюдения. Этот процесс происходит скачками, сначала крупными, потом все более и более мелкими, приближающимися в

совокупности к плавной линии перехода: всякое общество, отличное от нашего, есть объект наблюдения; всякая социальная группа в нашем обществе, отличная от нашей группы, есть объект наблюдения; всякий обычай нашей группы, который мы сами не разделяем, есть объект наблюдения и т. д.

Структуральный же метод теории требует сведения социального факта к совокупности отношений, или «пучку различительных (дифференциальных) признаков», подобно тому как это делается в лингвистике и лингвосомиотике (см. II, 3).

Невозможность соединить этот метод с идеями экзистенциализма очень ярко проявилась в том, как К. Леви-Стросс представляет себе происхождение языка. Ход мыслей при этом таков: 1) язык основан на системе отношений, она — сама сущность языка (известное положение знаменитого лингвиста Ф. де Соссюра, 1916 г.); 2) сущность же системы в том, что любое изменение хотя бы одного элемента в ней влечет за собой изменение всей системы; ее превращение в другую систему, либо исчезновение: система либо есть, либо ее нет; 3) следовательно, язык мог возникнуть только сразу и целиком, подобно тому как перенасыщенный раствор мгновенно кристаллизуется. «Каков бы ни был исторический момент и обстоятельства его появления на ступени эволюции животной жизни, язык мог возникнуть только сразу (tout d'un coup). Вещи не могли начинать значить постепенно... Имел место переход от стадии, когда ничто не обладало значением, к другой стадии, когда все стало иметь значение... В отличие от этого сознание развивается медленно и последовательно» [20].

Эта идея стоит в решительном противоречии с основным положением той теории семиотики, которая проводится в данной книге: вещи стали значить постепенно и градуально, что касается частного положения К. Леви-Стросса в том, что «всё стало значить», то оно развивается впоследствии в идею «глобального знака». Представление об устройстве знака, состоящего из «означаемого» (смысла) и «означающего» (внешнего выражения), распространяется на весь общественный мир человека, на всю социальную действительность, которая в этой концепции становится одним гигантским знаком и делится, как всякий знак, на «глобальное означаемое» (называемое по-разному у разных авторов: «коллективное неосознанное» у Леви-Стросса; «социальная реальность» у Мерло-Понти) и соответствующее ему «глобальное означающее», например, так:

<p><i>Глобальное означаемое</i> совокупность сообщений общность женщин совокупность материальных благ и услуг совокупность производительных сил</p>	<p><i>Глобальное означающее</i> языковые структуры структуры родства экономические структуры производственные отношения и т. п.[21]</p>
---	---

Конечно, такое широкое толкование угрожает потопить многие здравые, конкретные и ясные идеи этносемиотики.

Особенный интерес (не только для этносемиотики, но и для общей семиотики) представляет другое направление, складывающееся в работах французских авторов Р. Барта и М. Фуко. Оба исследователя работают совершенно независимо друг от друга, но в их работах много общего, и в материале исследования — оба изучают историю культуры развитых европейских стран, в особенности Франции, — и в выводах.

Ролан Барт, начиная с 1947 года, в течение ряда лет публиковал в прессе статьи по теоретическим вопросам современной литературы. В 1953 г. они вышли под заголовком «Нулевая ступень письма» отдельным сборником, сыгравшим значительную роль во всем дальнейшем развитии французской семиотики. Слово «письмо» (франц. *écriture*) Барт употребляет приблизительно в том первоначальном смысле, в каком по-русски употребляется слово «письмо» в выражениях: у этого писателя широкая манера письма; икона новгородского письма и т. п. Но далее Барт использует этот термин для обозначения особого, как выяснилось позже, семиотического, явления. Барт обратил внимание на то, что между общим национальным языком и индивидуальным стилем писателя существует еще промежуточная ступень — как бы диалект литературного языка, присущий нескольким писателям одновременно.

Эту ступень Барт и назвал «письмом». Общность письма объединяет вовсе не обязательно писателей одного времени: так, французские писатели Фенелон (1651 — 1715) и Мериме (1803—1870) различаются языком и индивидуальным стилем, но общи по «письму», напротив, Мериме и его современник Лотреамон или наши современники — Камю и Клодель — резко различаются «письмом». «Письмо — мораль формы», — в такой афоризм вкладывает Барт свое определение. Но «письмо» вместе с тем и глубоко исторично: одно «письмо» существует лишь в течение того времени, пока в обществе существует один и тот же взгляд на литературную форму. Бальзака и Флобера разделяет резкий разрыв «письма», своего рода революция «письма». Так Барт вводит очень

важное понятие семиотической революции. Если первая семиотическая революция, по мнению Барта, разделяет Бальзака и Флобера, то вторая совершается во Франции на наших глазах: Барт видит ее в том, что появляется тип «писателя без литературы», например А. Камю, — писа-

теля, стремящегося освободить «письмо» от всяких наследственных и традиционных литературных связей. В этом факте Барт справедливо находит новые противоречия буржуазного самосознания. Такую новую форму «письма» Барт и назвал «нулевой ступенью письма» — термином, давшим название всей его книге [22].

Мишель Фуко — автор своеобразной трилогии по истории науки: «История психозов», «Слова и вещи» (1966), «Археология познания» (1968). Начиная со второй, и особенно в третьей книге, история науки переходит у него в теорию, по выражению автора, в «теорию исторического развития эмпирических наук». В качестве таких наук М. Фуко рассматривает естественные науки, науку о языке и науку об экономике (главным образом в эпоху от XVI до начала XIX века), то есть те отрасли знания и в тот именно период, когда из них постепенно оформлялись соответственно биология с медициной, языкознание и политическая экономия. Фуко справедливо указывает, что хотя «наукой по преимуществу» считается абстрактная теоретическая наука — математика, однако наиболее непосредственное воздействие на жизнь общества оказывают именно эти, эмпирические, науки.

Сам М. Фуко, как уже было сказано, не ощущает свою близость к семиотическим идеям, в частности Р. Барта, но эта близость несомненна. Подобно тому как для литературы Р. Барт выделил промежуточный уровень между индивидуальным стилем писателя и общим литературным языком — «письмо», Фуко для эмпирических наук выделяет промежуточный уровень между индивидуальным научным творчеством и общественно признанной научной теорией с ее объективным содержанием. Этот промежуточный уровень — типичная для каждой эпохи повседневная практика научной работы, представляющая собой существующую объективно, независимо от сознания и психологии людей, семиотическую систему. Фуко поясняет это следующим примером. В XVII веке натуралисты занимались преимущественно описаниями и классификацией отдельных животных и растений. История этого периода науки может быть написана с двух точек зрения: либо историк науки исходит из вещей, то есть в данном случае из

каталога растений и животных, известных ему в настоящее время, и показывает, что выделяли, что опускали, чего не замечали в животном и растительном мире натуралисты XVII века, — это путь «от вещей»; либо историк науки исходит из терминов, которые были в научном обиходе XVII века, и показывает, каким образом ученые той поры накладывали «сетку слов» на объективный мир, — это путь «от слов». Оба пути Фуко называет традиционными и намечает третий путь: исследовать, каким образом ученые XVII века приводили в связь «слова» и «вещи», как они рассуждали обычно, каковы были принятые в то время способы введения объектов в науку, утверждения новых понятий и т. д. Эти явления и составляют в смысле Р. Барта «письмо» науки. Если элементарная ячейка

содержания научной теории — логическое суждение (и ее рассматривает исследователь, идущий по «первому» пути), а элементарная ячейка научного языка — грамматическое предложение (и ее рассматривает исследователь при «втором» пути), то элементарной ячейкой промежуточного уровня, который исследует Фуко, оказывается обычный научный оборот, обычный способ изъяснения в повседневной практике ученого, совокупность неосознаваемых им самим знаков (иногда Фуко называет это *énoncé*). Фуко показывает, что этот промежуточный уровень, «научное письмо», развивается по объективным семиотическим законам (хотя сам автор не употребляет термина «семиотический»). Книга «Слова и вещи» имеет поэтому, по мысли автора, до некоторой степени иронический заголовок: она противостоит всем традиционным анализам (как «от слов», так и «от вещей») [23].

Из содержания этой обширной монографии мы остановимся только на одном моменте. Так же как Р. Барт в истории литературы, Фуко в истории эмпирических наук обнаруживает явления семиотической революции. Таких революций на протяжении XVI—XIX веков он видит две: одна — отделяет эпоху Возрождения от XVII века, другая — разделяет конец XVIII и начало XIX века. В эпоху Возрождения научная мысль постоянно и последовательно опирается на принцип сходства, аналогии.

«Аналогия» — вот ключевое слово для понимания истории науки Возрождения. Очень ясно эту мысль выразил знаменитый врач XVI века Парацельс: «Мы, люди, открываем то, что скрыто в недрах, благодаря знакам и внешним соответствиям; и таким образом мы находим все свойства трав и все, что есть в камнях. Нет ничего ни в глуби

морей, ни в вышине небесного свода, чего человек не был бы способен открыть. Нет такой горы, как бы велика она ни была, которая могла бы скрыть от взгляда человека то, что внутри нее; оно открывает нам свое присутствие через соответственные знаки» (эти знаки получили название «сигнатур», см. подробнее ниже, раздел III, 9). Тот же принцип царил и в тогдашней филологии. Французский филолог Рамю разделил свою «Граматику» (1572) на две части: в первой, посвященной этимологии, изучались неотъемлемые свойства букв, слогов и слов, притом слов писанных, то есть внешние признаки их; во второй части, синтаксисе, описывались правила «построений из слов согласно качествам слов», при этом качество слова мыслилось как его внешняя форма — та же «сигнатура».

В начале XVII века происходит семиотическая революция. Принципом научного мышления делается теперь не «сходство» — сходство рассматривается теперь как источник заблуждения, ошибки [24], а не как путь к открытию, — а принцип «тождество — различие»: за внешним сходством может скрываться как внутреннее тождество, так и внутреннее различие. В грамматике, составленной в это время группой французских ученых, работавших при монастыре Пор-Рояль, так называе-

мой «Грамматике Пор-Рояля», этот новый принцип принимает такой вид: слова есть внешняя форма мысли, мысль же, логика, у всех народов едина, поэтому на основе логики можно составить одну «Всеобщую, или универсальную, грамматику», пригодную для всех языков. В естественных науках тот же принцип выглядит как принцип классификации. Вообще, в естественных науках — это эпоха классификаций, таких, как знаменитая классификация растений и животных Карла Линнея. Классификация XVII века предполагает, что в мире есть логический порядок, и, для того чтобы отнести какое-либо растение или животное к определенному разряду классификации, нужно в этой особи обнаружить за внешними чертами внутренние сходства и различия с другими особями, свести индивидуальное к всеобщему и универсальному. Аналогично проявляется общий принцип и в экономических учениях. У «экономистов» Возрождения благородные металлы выступали как деньги в силу своих индивидуальных свойств, выражающихся в их внешних качествах, признаках. В XVII веке благородные металлы осознаются в науке как деньги лишь в силу того, что за их индивидуальными свойствами вскрывается их общее, универсальное свойство —

свойство обмениваемости на все товары. Вторая семиотическая революция проходит на рубеже XVIII—XIX веков, с нею ключевым словом для истории науки делается «время, история», появляются естественная история, например Кювье, сравнительно-историческое языкознание Боппа и Раска и экономическая история [25].

Более удачно, чем его предшественники, решает Фуко и вопрос о месте структурализма в гуманитарных науках. Он считает, что в наши дни происходит процесс преобразования гуманитарных наук и суть этого процесса не столько в анализе структур, сколько в выработке объективного, «не антропологического» метода в гуманитарных науках. И метод, разрабатываемый Фуко в его книгах, а мы сказали бы, что это общий семиотический метод, вписывается в эту трансформацию науки на тех же правах, что и структурализм — рядом с ним, а не внутри него [26].

Следует отметить, что М. Фуко обобщил те идеи, которые в более или менее отчетливой форме и по частным поводам высказывались и до него. Так, физик Макс Борн еще в 50-е годы писал: «Я все же рискну сделать некоторые предположения (о развитии физики. — Ю. С.), благодаря явлению, которое можно было бы назвать «устойчивостью принципов». Я не хочу сказать, что (кроме математики) существуют какие-либо неизменные принципы, априорные в строгом смысле этого слова. Но я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в науке. Паули в недавнем

письме ко мне употребил выражение «стили»: стили мышления — стили не только в искусстве, но и в науке. Принимая этот термин, я утверждаю, что стили бывают и в физической теории и именно это обстоятельство придает своего рода устойчивость ее принципам. Последние являются, так сказать, относительно априорными, по отношению к данному периоду» [27]. Эта очень глубокая мысль М. Борна отмечает воздействие на мышление человека и «неявного языка» («стиля» у М. Борна, «письма» у Р. Барта), совершенно аналогичное тому воздействию, которое раньше отмечал для обычного «явного» языка Б. Л. Уорф.

3. ЛИНГВОСЕМИОТИКА

Естественный звуковой язык людей является самой полной и совершенной из всех систем связи, существующих в известном человеку мире. Другие, искусственные, созданные человеком, системы и языки (например, письмо, сигнализация флажками, азбука Морзе, азбука Брайля для слепых, искусственные языки типа эсперанто или волапюк, информационно-логические языки и др.) воплощают лишь некоторые из свойств естественного языка. Эти системы могут значительно усиливать язык и превосходить его в каком-либо одном или нескольких отношениях, но одновременно уступать ему в других, точно так же как телефон, телевидение, радио (вообще всякое орудие, всякий инструмент) усиливают некоторые свойства отдельных органов человека.

Письмо резко усиливает время, в течение которого языковой сигнал может быть воспринят: звучащая речь доступна восприятию лишь в момент говорения, запись же сохраняет речь на сотни и тысячи лет. Искусственные языки типа «эсперанто» резко усиливают регулярность естественного языка, снимают все его лексические, фонетические, орфографические и в особенности грамматические аномалии и «исключения», а также все национальное своеобразие, одним словом, все особенности, затрудняющие общение между людьми разных национальностей. Искусственные языки типа информационно-логических языков резко уменьшают несоответствия (несимметричные связи) между планом содержания (значением) и планом выражения (внешней формой) языка, резко усиливают «логичность» языка, однозначное соответствие между этими планами, то есть устраняют те особенности естественного языка, которые мешают общению между человеком и электронно-вычислительной машиной. Поскольку все искусственные системы связи только или усиливают, или подавляют какие-либо из свойств, имеющих в естественном языке, постольку естественный язык и является по отношению к искусственным языкам самым общим случаем «языков» вообще. Что касается естественных систем связи, т. е. знаковых систем (как природных, так и социальных), то, как мы видели выше, они пред-

ставляют те или иные аналогии с естественным языком, и мы познаем их через призму наших знаний о языке. Естественные знаковые системы предшествуют языку на лестнице эволюции живой природы, первичны по отношению к нему, а искусственные

языки в том же порядке эволюции следуют за языком, вторичны по отношению к нему. Таким образом, со всех точек зрения естественный человеческий язык занимает центральное место в ряду знаковых систем, а изучение естественного языка с семиотической точки зрения — лингвосемиотика — занимает центральное место в науке семиотике.

Из сказанного вытекает и дальнейший план этой книги: сначала рассказать о системе языка так, как ее представляет современная лингвистика, а затем показать аналогии между системой языка и другими знаковыми системами.

Система языка в связи с семиотикой

Устройство языка описывается в современной лингвистике в системе основных лингвистических понятий, как бы понятийных координат, обычно парных: содержание — выражение, конкретное — абстрактное, синхрония — диахрония (т. е. одновременность, сосуществование — разновременность, предшествование, история) и т. д. План выражения языка составляет система Звуков — фонетика (или система графических знаков — письмо), план содержания языка — система значений слов и значений грамматических форм — семантика,

Далее во всех областях современной науки отчетливо различают под теми или иными названиями и иногда с дальнейшими более мелкими подразделениями уровень наблюдения (или конкретный) и уровень представления (или абстрактный). Прежде всего следует указать на такое именно разделение времени и пространства в физике и математике. Сравним тезис о времени у Ньютона: «Абсолютное, истинное, математическое время, само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью. Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обычной жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год» [28]. Здесь у Ньютона «обыденное время» соответствует наблюдаемому уровню, а «абсолютное, или истинное», — представляемому, абстрактному.

Геометрия занимается определенными, неизменными во времени, формами и свойствами идеального, или представляемого, или абсолютного, пространства, в отличие от видимого, или наблюдаемого, или отно-

сительного, пространства. Геометрические объекты и отношения принадлежат к идеальному пространству, а в наблюдаемом пространстве им соответствуют конкретные образы: фигуры, нарисованные мелом на доске, лишь приближенно и несовершенно передающие рассматриваемые геометрические понятия. Идеальные, или представляемые, геометрические объекты, не исключая и самого пространства, возникают в результате процесса абстракции от наблюдаемых явлений: геометрическая точка — это место в пространстве, не имеющее никакого протяжения, прямая — не отрезок, начерченный при помощи линейки, а в точности одномерная и нигде не искривленная линия.

Совершенно так же и современная лингвистика различает в языке два основных уровня — конкретный, или непосредственно наблюдаемый, и абстрактный, или представляемый. Соответственно в плане выражения конкретным уровнем будет фонетика, а абстрактным — фонология; в плане содержания (семантике) конкретным уровнем будут наблюдаемые (например, записанные в словаре) значения, абстрактным будет — абстрактная, или структурная, семантика. Все членения относятся всегда к какому-либо одному данному времени существования языка — к синхронии языка.

Между основными членениями нет абсолютных границ и могут быть выделены различные промежуточные уровни. Основными единицами фонетики, как конкретного уровня, являются звуки речи, единицами фонологии, как абстрактного — фонемы; промежуточный уровень как бы верхнюю границу конкретного, составляют звукотипы. Соответственно в плане содержания: конкретное — значения слова в контексте, абстрактное — инвариант значения (или структурное значение), промежуточный уровень — главное, или свободное, значение слова, могущее существовать в минимальном контексте или вне контекста. Как свободные, так и контекстные значения слов записываются в обычных толковых словарях, структурные же значения (инварианты) составляют предмет специальных лингвистических описаний (компонентного анализа, семемного анализа и т. п.). Нет абсолютных границ и между планами выражения и содержания: промежуточным слоем является грамматика, которая

есть не что иное, как часть плана содержания, служащая оформлению всей остальной части содержания (например, слово стол имеет предметное значение лишь при том условии, что имеет грамматические категории: род, число, падеж); по отношению к плану выражения грамматика есть не что иное, как принцип группировки фонем в основные сочетания — морфы (см. ниже). В силу отсутствия абсолютной границы между основными членениями, ее нет и между синхронией, данным состоянием языка во времени, и его другими состояниями во времени, составляющими последовательный ряд изменений во времени — диахронией. То, что образует промежуточное явление между двумя какими-

либо членениями, то тем самым образует и переходный этап между двумя состояниями во времени (принцип недискретности). Например, так называемые морфологические чередования фонем *з/ж* в русском языке *могу — можешь* отражают переходный этап от системы древнерусского языка, когда всякое *з* перед гласным типа *э* переходило в *ж* (было так называемым обусловленным, или фонетическим, чередованием), к системе современного русского языка, когда никакое *з* не переходит в *ж*. Пример содержательной категории: категория пола как отдел грамматической категории рода русского языка, выражающаяся в особых суффиксах и окончаниях типа *лось — лос-их-а, студент — студент-к-а*, есть промежуточный этап между доисторической эпохой, когда различия пола выражались в разных словах, то есть пол был категорией лексики: *бык — корова, петух — курица, баран — овца*, и современной эпохой, когда пол перестает выражаться в русском языке: *секретариш-а сказал-а — секретарь сказал-а — секретарь (она!) сказал*.

Одним из самых существенных членений языка является членение на язык в узком смысле слова (в других системах терминологии парадигматика; система) и речь (соответственно синтагматика; текст).

Я з ы к н а к о н к р е т н о м у р о в н е. Л е к с и к а. Элементарную ячейку лексики составляет слово, имеющее в большинстве случаев не одно, а несколько значений (многозначность, полисемия). Значение слова на конкретном уровне определяется простым указанием на обозначаемый предмет (например, зелёный — «цвета травы, листвы»), либо способом идентификации, приравнивания (например,

хилый = слабый, болезненный, тщедушный). Значения перечисляются в словарях под цифрами 1, 2, и т. д. Порядок нумерации не случаен, а закономерен. Под цифрой 1 стоит обычно, в хорошо составленном словаре, главное, или свободное, значение слова. Из главного в настоящее время (в данной синхронии) во многих случаях (может быть, в большинстве случаев) последовательно выводимы остальные значения. Выводимость одного значения из другого называется актуальной деривацией, или порождением [29]. Она может носить или характер последовательного подчинения, 1→2→3→4 (например, номер: 1) порядковое число предмета: номер билета; 2) ярлык, бляха с изображением цифры: номер от гардероба; 3) предмет, обозначенный определенным номером: я живу в девятом номере; 4) комната в гостинице), или характер параллельного подчинения (например, 3-му значению слова номер подчиняется параллельно с 4-м еще и 5-е значение; 5) отдельно исполняемая часть сборного концерта, а 5-му значению опять последовательно подчиняется б-е: б) затея,

поступок). Отношения актуальной деривации однонаправлены, несимметричны [30].

Одна элементарная ячейка лексики соединена с другой отношениями синонимии, которые могут быть как симметричными (*номер* в б-м значении заменим на *выходка* и обратно), так и несимметричными (*номер* в 1-м значении может быть заменим, т. е. описан, словом *число*, но не обратно, *номер* есть *число*, но *число* не есть *номер*) [31]. Эта разница стоит в связи с порядковым номером значения: обычно 1-е, иногда и 2-е, значение не имеют синонимов или вступают в несимметричные синонимичные отношения; 2-е, 3-е, 4-е и т. д. имеют симметричные синонимические связи, причем, по видимому, тем более развитые, чем больше номер значения (см. ниже «принцип вторичной функции»). Рассмотренные и другие отношения словарного типа составляют парадигматику (иначе, систему; язык в узком смысле слова). Синтагматику (речь, текст) составляет соединение слов в высказывание. В синтагматическом плане различие между главным и неглавными значениями слова проявляется в том, что главное минимально связано со словесным окружением, т. е. минимально зависит от позиции, тогда как неглавные зависят от окружения, позиции, гораздо более [32], причем тем больше, чем больше словарный номер значения. Под самыми большими номерами, в конце списка значений, в словарях идут обычно значения, теснейшим образом спаянные с каким-либо словесным окружением в фразеологическое единство. Поэтому главное значение

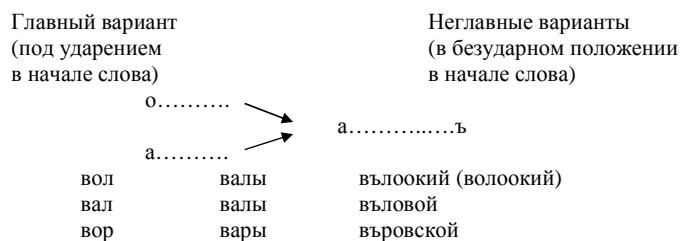
является свободным вариантом, а неглавные — несвободными, позиционно обусловленными вариантами.

Фонетика представляет собой совокупность звуков речи, каждый из которых с акустической точки зрения имеет определенные параметры и допускает некоторый естественный индивидуальный «разброс», зависящий от возраста, пола, эмоционального состояния и т. д. говорящего. С точки зрения производства артикуляции каждый из звуков речи имеет столь же определений, национально своеобразный уклад органов речи. Аналогично значению на конкретном уровне, звук речи определяется через указание (например, чтобы определить звук «а», нужно сказать «а» в слове *клад*) или через идентификацию (например, чтобы определить звук «а» способом идентификации нужно сказать: «такое „а“», как в слове *клад, плат* и т. д.»).

Внутренняя организация фонетики также во многом аналогична организации лексики. Звуки речи объединяются в ряды, или типы, на основе общности уклада и акустических параметров (например, в русском языке ряд «а»: *ад — клад — кладь — кляп — клясть*). Член звукового ряда, минимально зависимый от позиции (полная независимость невозможна) называется позиционно независимым, или главным, членом звукоряда (в приведенном примере «а» в *ад*), другие члены — позиционно обусловленными. Между членами каж-

дого звукоряда существуют отношения, подобные актуальной деривации, или порождению, в слове, так что каждый следующий член звукоряда может быть получен из предыдущего путем изменения некоторого минимального числа акустических или артикуляционных параметров и в конечном счете выведен из главного члена [33]. Этот принцип теоретически осознан лишь недавно, но практически давно уже применяется при обучении иностранным языкам: преподаватель обычно указывает, какой звук следует научиться произносить сначала, чтобы затем, несколько изменяя положение органов речи, получить из него (а не наоборот) такие-то иные звуки. Звукоряд, определенный по главному члену, составляет звукотип. В сознании носителей языка звукотип является представителем всего звукоряда, различия между отдельными членами ряда могут совершенно не сознаваться. Так, для русских в словах *ад — кладь* «одно и то же «а», несмотря на существенные различия в акустике и артикуляции. Неглавные члены разных рядов могут совпадать друг с другом — явление, аналогичное

[34]. (Например, в русском «о» и «а» как звукоряды совпадают в тех своих членах, которые находятся в безударной позиции: *волы* и *валы*):



Я з ы к н а а б с т р а к т н о м у р о в н е. Единицами языка на абстрактном уровне являются те же классы явлений, которые определяются для конкретного уровня, но рассматриваемые как целое. Таким образом, соотношение уровней определяется принципом: на конкретном уровне — класс как множество, на абстрактном уровне — класс как целое [35]. Этот принцип объясняет, почему при описании на конкретном уровне языка преобладают индуктивные методы, а на абстрактном — дедуктивные. Класс как целое может быть хорошо определен не перечислением его членов, а установлением его отношения к другим классам. Так, для плана выражения на конкретном уровне мы имеем звукотип как класс звуков речи, определенных по их близости к главно-

му члену класса; на абстрактном уровне мы имеем тот же класс звуков речи, звукотип, но уже определенный относительно других звукотипов, то есть фонему [36]. Единица плана содержания на абстрактном уровне — инвариант значения есть класс значений одного слова, определенный относительно других таких классов. Разница между определением фонемы, с одной стороны, и определением инварианта значения, с другой, — при этом лишь в том что количество фонем в каждом языке конечно (от 10 до 70—80), а количество слов практически бесконечно, инвариант значения определяют относительно не всех слов данного языка, а лишь относительно некоторой заранее определенной совокупности ближайших к нему по значению слов, так называемого лексического, или семантического поля. Например: *отец* — *мать* — *брат* — *сестра* — *дядя* — *тетка* — *дед* — *бабка* и т. д. — лексическое поле родства. Классификация этих слов выявляет классификационные признаки, в данном случае: 1) какой пол, 2) какое поколение по отношению к «я», 3) какая линия родства — прямая или непрямая,

боковая, 4) какое родство — кровное или некровное. Совокупность ответов на все классификационные вопросы составляет инвариант значения любого из названий родства. Каждый ответ есть дифференциальный элемент значения, или семантический множитель. (Точно так же *зеленый* на абстрактном уровне определяется как 1/7 часть спектра между *желтым* и *голубым*, ср. выше.) Совокупность дифференциальных элементов и будет инвариантом значения данного слова (или его общим значением). Инварианты, как мы видим, устанавливаются только относительно — данное слово значит нечто лишь по соотношению с другими словами этого поля. Инварианты значения — это «ценности» (ср. пример выше, на стр. 27). Они в принципе устанавливаются так же, как градуируется шкала термометра: диапазон температур от точки кипения до точки замерзания воды один и тот же, но разные термометры делят этот диапазон на разное количество градусов: одно — по Цельсию, другое — по Реомюру, третье — по Фаренгейту. В этом примере диапазон температуры — семантическое поле, разные термометры — разные языки, а значение каждого деления градуса — инвариант значения отдельного слова, или его инвариант значения. Инварианты и относятся к абстрактному, или представляемому, уровню, называемому еще иногда «эмическим» от окончания термина «фонема» — «эма». Варианты же значения относятся к ряду конкретному, наблюдаемому. Наблюдаемым его можно назвать как раз потому, что варианты значения существуют психологически, их можно, например, прочесть в словаре, как мы это и делали, вспомнить, что кто-то так говорил и т. п. Из вариантов один, а именно главное значение слова, соотносится с инвариантом более непосредственно, а остальные варианты связаны с инвариантом через главный вариант.

В принципе так же определяются ф о н е м ы. Так, русское [д] есть совокупность дифференциальных признаков: 1) взрывная, 2) переднеязычная, 3) звонкая, 4) твердая. Замена 3-го признака на «незвонкость» дает фонему [т], замена 1-го признака на «невзрывность», «плавность» дает фонему [н] и т. д. Для характеристики фонемы [г] достаточно двух признаков: 2) заднеязычная и 3) звонкая, тогда как признаки 1-го и 4-го разряда для нее не существенны, «пусты». Но [г] как звукотип характеризуется четырьмя параметрами: еще и как смычная или щелевая (1) и мягкая или твердая (4), класс как целое несводим к классу как множеству.

Морфы являются элементарными знаками, имеющими определенное звучание и связанными с определенным смыслом. Элементы слов *рук-*, *руч-* (как части слов *рук-а*, *рук-е*, *руч-ка*, *руч-ной* и т. д.) или *ног-*, *нож-* (как части слов *ног-а*, *ног-е*, *нож-ка*, *нож-ной*) являются морфами. Но ни звучание, ни смысл морфов, будучи определенными, не являются однозначно определенными. Так, в приведенном примере звучание частично зависит от звучания соседних морфов, сравни: *руч-ка*, но *рук-а*, в морфе чередуются к—ч; а значение частично зависит от значения соседних морфов: *рук-* возбуждает в нашем сознаний мысль о связи со словами *рука*, *руководить*, а *руч-* — с *ручка*, *ручной*, *приручать*, *выручать*. Это констатируется в следующем выводе: морф есть элементарный знак, частично зависимый от позиции в речи.

При движении «вверх», от наблюдаемого к представляемому уровню, лингвист освобождает морф от влияния позиции. Для этого он собирает все морфы, имеющие сходное общее значение (в определенной корреляции слов), и отмечает только то, что у них общего например: *но г-/-ж* *ру к-/ч-*

Полученный таким образом более абстрактный знак называется морфемой (о названиях на *-ема* см. выше). Чем абстрактнее знак, тем меньше у него в употреблении ограничений позиций, тем большая у него свобода встречаемости в разных позициях. Так, *рук-* встречается только перед окончаниями падежей единственного числа (*-а*, *-у*, *-е* и т. д.) и в глаголе *руководить*, а *руч-* перед суффиксами *-к*, *-н*. Но морфема, обозначенная выше, встречается как в тех, так и в других позициях. В общей и абстрактной семиотике (а также в конструктивной математике А. А. Маркова) этому различению соответствуют термины «экземпляр знака» (англ. a token) и «знак» (англ. a sign); так, морф — это «a token», а морфема — «a sign», точно также разные изображения одной и той же буквы в разных шрифтах — это «tokens», «знак же» это сама, как бы стоя-

щая над ними, буква. Здесь мы снова столкнулись с очень важным отношением в системе языка — отношением эквивалентности: если один языковой элемент встречается только в одной позиции, а другой только в другой, то они эквивалентны и на абстрактном уровне принадлежат одному инварианту (см. дальше об аналогиях между языком и другими семиотическими системами и в разделе III, 4). Морфемы одной грамматической корреляции группируются в элементарную грамматическую

категорию — «категория именит. пад. ед. числа мужск. рода», «категория именит. пад. ед. числа женск. рода» и т. д. Элементарные категории соединяются в более общие — «категория именит. пад. ед. числа», то есть не что иное, как «именит. пад. ед. числа всех родов». Такие более общие категории последовательно соединяются в еще более общие: «категория падежа», «категория числа», «категория лица» и т. п., их соединение и есть принцип иерархии. Между грамматическими морфами существуют синонимические отношения, симметричные и несимметричные, подобные таким же отношениям в лексике (пример см. несколькими строками ниже). Отношения между парадигматикой (системой) и синтагматикой (текстом) в грамматике таковы, что принцип иерархии классов в парадигматике проявляется как принцип развертывания или иерархии длин в синтагматике: чем выше ярус парадигмы, тем длиннее синтагма, в которой эта парадигма реализуется. Например, вопрос «какая форма одного падежа?» решается в пределах длины слова: *ламп-ой*, но *стол-ом*; вопрос «какой падеж?» решается минимум на длине двух слов: *под ламп-ой*, но *от ламп-ы*; вопрос «падеж или непадежная форма?» решается на длине целого предложения: *дети отошли* — *от лампы*, но *дети отошли* — *неохотно*.

В некоторых позициях в речи за некоторыми основами идут некоторые окончания:

1) стол-у пол-ю и т. д.;

за некоторыми другими основами идут другие окончания:

2) мам-е ламп-е и т. д.

Если расширить наблюдаемые отрезки речи, то видно, что 1-я и 2-я пары могут быть взаимозаменяемы:

3) иду к стол-у пол-ю мам-е ламп-е
61

На основании наблюдений 1, 2, 3 мы считаем морфы «у» и «ю» близко тождественными, и они объединяются в один узкий класс, морф «е» считаем не относящимся к этому узкому классу, но образующим вместе с ним другой, более широкий класс; запишем это так: (е (у, ю)), или так: (е (у (ю))). Морфы *-у*, *-ю* и являются морфами синонимами, при этом отношения синонимии их направлены так, что *-у* можно подставить вместо *-ю* (*-у* автоматически в произношении обратится в *-ю* после мягкого согласного), но не наоборот. Если расширить наблюдаемые отрезки речи еще больше, то видно, что этот широкий класс морфем в некоторых условиях должен быть заменен на класс (*ы*, (*а* (*я*))) (который установлен таким же образом, как предыдущий):

4) иду	к	стол-у	сиджу	у	стол-а
		пол-ю			пол-я
		мам-е			мам-ы
		ламп-е			ламп-ы

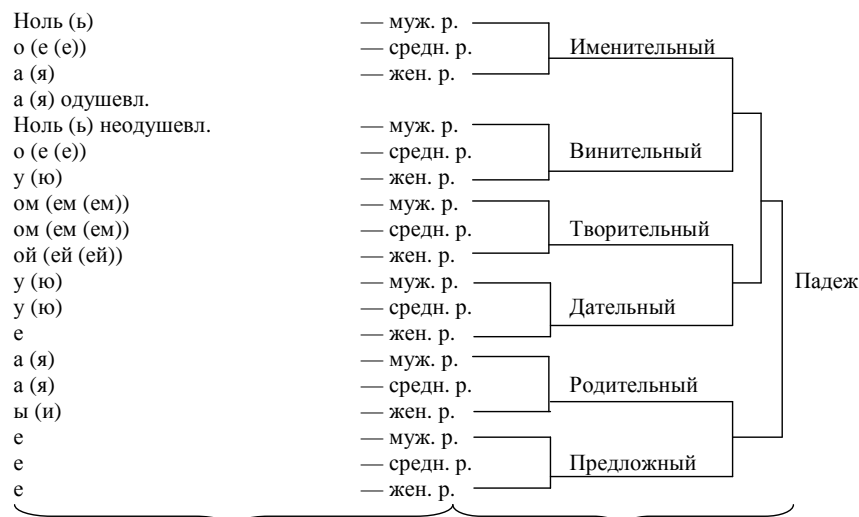
Эти два класса опять могут быть сведены в новый, еще более широкий класс:

(ы(а(я))) (е(у(ю))) и т. д.

Вскрывается следующая — ступенчатая зависимость, иерархия: морфема заменяема на морфему, узкий класс на узкий класс, широкий класс на широкий класс и т. д. Причины замены связаны с длиной речевого отрезка: чередование *у, ю* разъясняется на кратчайшем отрезке, совсем рядом: если предшествующая фонема твердая, то будет *у*, если мягкая, то *ю* (*стол-у, пол-ю*). Чередование классов *е* (*у, ю*) определяется на более длинном отрезке, на длине слова: основы мужского рода требуют *у, ю*, основы женского рода — *е*. (Традиционная «морфология» обычно здесь кончала свою задачу. Следующая часть относилась к области «синтаксиса»). Чередование широких классов (ы (а, я)) и (е (у, ю)) вызвано изменениями на отрезке, превосходящем слово, — на отрезке равном словосочетанию, и т. д. Некоторые чередования объясняются только на длине предложения (например отличия именительного падежа от всех остальных).

62

Грамматическая категория «падеж» в русском языке



Эти классы устанавливаются анализом на длине слова

Эти классы устанавливаются анализом на длине словосочетания и предложения

На этом обычно заканчивается процедура грамматического описания языка. Но окончание это теоретически не оправдано и делается скорее из соображений практического удобства. Теоретически же удлинение отрезков и соответствующее укрупнение классов можно продолжать. Наиболее общее проявление этот принцип находит в том, что, по мере увеличения длины высказывания, для говорящего возрастает свобода выбора форм. Поэтому степень выражения индивидуальности личности или коллектива является функцией длины текста. Например, структура высказывания характеризует национальную языковую культуру, структура «абзаца» (последовательность высказываний) — коллектив внутри национальной культуры, структура совокупности абзацев (например, роман, повесть) — личность внутри коллектива. В силу общего принципа иерархии индивидуальность обнаруживается и вне текста, в структуре глубинных («скрытых», «метаграмматических») парадигм. Например, в предпочтении одним автором глагольности, другим, напротив, именности высказывания: ср. именность,

63

назывные предложения, у Фета: *Шенот. Робкое дыханье. Трели соловья. ..* и глагольность у Маяковского: *Строит, / рушит / кроет / и рвет. / Стучит, / говорит / и ленился...* Индивидуальность проявляется, в силу того же общего принципа, и в индивидуальной синонимике: синий — синоним милый у Есенина (*Несказанное, синее, нежное*); жалость синоним сочувствия у Достоевского (*униженные и оскорбленные*) и синоним осуждения у Горького (*не жалеть, не унижать человека жалостью...; жадные и жалкие*) и т. д. (См. также выше понятие «письма» в смысле Р. Барта, II, 2.) Поэтому и можно сказать, что семиотический анализ художественного произведения может быть во многих отношениях непосредственным продолжением лингвистического анализа и притом на тех же общих принципах (см. ниже).

Н а ц и о н а л ь н о е и у н и в е р с а л ь н о е в я з ы к е. Ни один язык не имеет чего-либо такого, чего нет или в принципе не могло бы быть в другом языке. Звукотипы в принципе отличаются большим национальным своеобразием (слово «национальный» употребляется в широком смысле, как «свойственный данной нации, народности, племени, диалекту»), но и они могут быть представлены как комбинация небольшого числа различительных признаков, которые обнаруживаются во всех языках мира и, следовательно, являются универсальными. Полный набор этих признаков составляет 12

двоичных противопоставлений: 1) гласный — негласный, 2) согласный — несогласный, 3) прерванный — непрерывный, 4) глоттализированный — неглоттализированный, 5) резкий — нерезкий, 6) звонкий — глухой, 7) компактный — диффузный и т. д. [37] Элементарные компоненты могут быть, в принципе, выделены и для плана содержания, но составление их универсального набора — более сложная задача. Лексический состав языков разнообразен уже потому, что отражает своеобразие жизни каждого общества и коллектива. В языке аборигенов Бразилии есть множество слов для обозначения разных видов попугаев и пальм, в лапландском языке — для обозначения разных видов снега, во французском два разных слова для обозначения двух видов каштана, в русском же по одному слову *попугай*, *пальма*, *снег*, *каштан* и т. д. и т. п. Словари разнообразны также в силу большой доли случайности в процессах называния. Слово *человек* имеется во всех индоевропейских языках, но в древнегреческом и древнеиндийском оно произведено от корня со значением «смертный», в латинском и литовском — «зем(ля)ной» и т. п. В силу этого сопоставимые значения в разных языках не только представляют собой до известной степени разные сочетания элементарных семантических компонентов, но и включаются в состав значений разных слов, т. е. присоединяются к совершенно разным главным значениям. Например, в русском *палец руки* и *палец ноги* являются значениями одного слова *палец*, а во французском — значениями двух разных слов *doigt*, *orteil*. Поэтому национально различны и отношения синонимии. Так, русское *общий* входит в

синонимический ряд *всеобщий*, *коллективный*, *единодушный*, а французское *commun* в такой же ряд и еще в ряд *банальный*, *заурядный*, *вульгарный*. Аналогично обстоит дело и с грамматическими категориями. Те семантические признаки, которые в одном языке вступают в грамматические корреляции и образуют грамматические категории, в другом языке могут вступать в различные другие корреляции — неграмматические, лексические. Например, «уменьшительность» в языке суахили образует грамматическую категорию (класс уменьшительных существительных) в русском языке — словообразовательную категорию (суффиксы *-ик*, *-чик*, *-мок* и т. п.), в английском — лексическую категорию (свободные сочетания существительных с прилагательным *little*). Таким образом, своеобразие конкретного уровня каждого языка может быть в

значительной степени сведено к различной группировке одних и тех же или сходных основных элементов.

Однако подлинная универсальность устройства языка вскрывается на абстрактном уровне как универсальность системы внутренних отношений, причем обнаруживаются также глубокие связи языка с логикой. Самый общий структурный принцип языка — принцип иерархии, проявляющийся в парадигматике как иерархия классов, а в синтагматике как иерархия длин или иерархия развертывания, существует также в других знаковых системах, например в так называемой кинесике — системе значимых поз человека (разъяснения и пример см. ниже). Классы в парадигматике и длины в синтагматике связаны соответственно одними и теми же внутренними отношениями, сводящимися к трем типам зависимостей: (Л. Ельмслев [38]): 1) детерминация — зависимость между постоянной и переменной (знак \rightarrow); 2) интердепенденция (взаимозависимость) — зависимость между двумя постоянными (знак \leftrightarrow), 3) констелляция — зависимость между двумя переменными (знак $\succ\leftarrow$). К одному из этих типов могут быть сведены разнообразные частные случаи языковых отношений. Так, из упомянутых выше: симметричная синонимия есть интердепенденция (пример: номер \leftrightarrow выходка); несимметричная синонимия — детерминация (пример: номер \leftarrow число). Детерминация признается вообще главнейшим типом языковых отношений (Е. Курилович). Пример констелляции дают синтаксические связи в сложных числительных в русском языке (сто $\succ\leftarrow$ двадцать $\succ\leftarrow$ четыре).

Отношения, пронизывающие систему языка, создающие самую ее системность, вскрываются в том или ином виде во всех других семиотических системах как естественных (био-, этно-), так и искусственных (в искусственных языках). Если теперь рассматривать, как языковые отношения проявляются во всех других системах, то это составит предмет общей семиотики. Если же рассматривать эти отношения как абстрактные отношения, независимо от того, в какой материальной семиотической системе они проявляются, но зато в зависимости друг от друга, то

есть рассматривать их как «алгебру», то это составит предмет абстрактной семиотики (см. ниже разд. 4).

Все же мы сочли необходимым выделить из этих следующих разделов некоторые наиболее яркие аналогии и рассказать о них в разделе «Лингвосемиотика». Во-первых,

потому что на этих аналогиях лучше разъяснятся и сами отношения. Во-вторых, в истории семиотики дело действительно обстоит так, что некоторыми аналогиями языка с другими семиотическими системами занимались именно лингвисты и продолжают заниматься до сих пор. Так что, хотя по существу эти занятия должны бы относиться к общей семиотике, они до сих пор не вполне выделились из лингвистической, освещаются в лингвистических изданиях, обсуждаются на лингвистических конференциях и т. д. Именно несколько таких аналогий мы и включили в этот раздел.

Резюмируем прежде языковые отношения, как мы их выяснили в этом разделе, а в скобках укажем, в каких еще отделах общей семиотики они рассматриваются.

1) Отношения иерархии: иерархия в парадигматике и иерархия в синтагматике — общий принцип строения языка (в общем виде — раздел III, 3);

2) иерархия в парадигматике — отношения класса и его элементов: фонемы (варианты фонемы) составляют класс — фонему, морфы составляют класс — морфему; грамматические морфы собираются в классы, затем в классы классов, затем в класс классов классов и т. д., образуя грамматическую категорию; значения слова составляют класс значений («Аналогии» и III, 3, 4, 5);

3) иерархия в синтагматике — принцип эквивалентности: по мере того как мы обобщаем элементы в классы, мы устанавливаем и эквивалентность этих элементов в разных позициях («Аналогии», в общем виде — III, 3, 4);

4) в описании большое количество уровней иерарху сводится в два основных — наблюдаемый уровень и представляемый уровень (III, 5);

5) класс языковых элементов на наблюдаемом уровне есть класс как множество, класс вариантов; тот же класс на представляемом уровне есть класс как целое — инвариант («Аналогии», о кинесике — III, 3, 4);

6) отношения синонимии пронизывают все уровни; варианты вступают друг с другом в отношения более или менее полной синонимии, инварианты — всегда в отношения неполной синонимии — точнее синонимии по отдельным своим сторонам, признакам (III, 4; 6);

7) каждый признак инварианта, по которому он синонимичен другому инварианту составляет различительный или дифференциальный признак («Аналогии»);

8) варианты, вступая в отношения синонимии, создают вторичные функции знаков — один из принципов развития (истории) семиотической системы (III, 6, 11);

10) отношения синонимии бывают симметричные в несимметричные, последние занимают особенно важное место и называются детерминацией (II, 4);

11) вариант связан с вариантом того же класса отношениями порождения (актуальной деривации);

12) план содержания и план выражения имеют одинаковую внутреннюю структуру (III, 9), но при этом не находятся в однозначном соответствии, то есть структура одного плана как бы сдвинута (расположена несимметрично) по отношению к структуре другого плана.

*Аналогии в строении языка
и строении других семиотических систем*

Рассмотрим теперь некоторые ближайшие аналогии языка и других семиотических систем. Первый случай — сходство между языком просто и «языком пространства» как одним из аспектов неявной культуры. Мы рассмотрим такой случай на примере французских предлогов, обозначающих пространство [39].

Во французском языке существует два основных предлога для выражения местонахождения: *en* и *à*. Противопоставление между ними сохраняется неизменным около пяти веков (приблизительно, с начала XV века). Одни слова, обозначающие географическое понятие, сочетаются всегда с предлогом *en* (образуя один класс), другие — всегда с предлогом *à* (другой класс).

С предлогом <i>en</i> :	<i>en France</i>	во Франции (страна)
	<i>en Belgique</i>	в Бельгии (страна)
	<i>en Auvergne</i>	в Оверни (провинция во Франции)
	<i>en ce lieu</i>	в этом месте (здесь)
	<i>en ce moment</i>	в этот момент (теперь) и т. д.
С предлогом <i>à</i> :	<i>à la Martinique</i>	на Мартинике (остров)
	<i>à Madagascar</i>	на Мадагаскаре (остров)
	<i>au lointain</i>	вдали (там)
	<i>à ce moment</i>	в тот момент (тогда) и т. д.

Если теперь посмотреть, какие пространственные явления стоят за тем и другим классом слов, то видим, что для французского языка пространства характерно четкое членение на два плана: далекое (с предлогом *à*) — близкое (с предлогом *en*). Эта структурная основа сохраняется здесь неизменной на протяжении столетий.

Однако за пятьсот лет, особенно начиная приблизительно с конца XVIII века, произошли и кое-какие изменения, отраженные в следующей таблице:

<i>До конца XVIII века</i>		<i>С конца XVIII века</i>													
Предлог <i>en</i> (близкое)	<table border="0"> <tr> <td>en France</td> <td>во Франции</td> </tr> <tr> <td>en Belgique</td> <td>в Бельгии</td> </tr> <tr> <td>en Auvergne</td> <td>в Оверни</td> </tr> </table>	en France	во Франции	en Belgique	в Бельгии	en Auvergne	в Оверни	<table border="0"> <tr> <td>en France</td> <td></td> </tr> <tr> <td>en Belgique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>en Auvergne</td> <td></td> </tr> </table>	en France		en Belgique		en Auvergne		Предлог <i>en</i> (часть континента)
en France	во Франции														
en Belgique	в Бельгии														
en Auvergne	в Оверни														
en France															
en Belgique															
en Auvergne															
Предлог <i>à</i> (далекое)	<table border="0"> <tr> <td>à la Martinique</td> <td>на Мартинике</td> </tr> <tr> <td>à Madagascar</td> <td>на Мадагаскаре</td> </tr> <tr> <td>à la Jamaïque</td> <td>на Ямайке</td> </tr> </table>	à la Martinique	на Мартинике	à Madagascar	на Мадагаскаре	à la Jamaïque	на Ямайке	<table border="0"> <tr> <td>à la Martinique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>à Madagascar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>à la Jamaïque</td> <td></td> </tr> </table>	à la Martinique		à Madagascar		à la Jamaïque		Предлог <i>à</i> (остров)
à la Martinique	на Мартинике														
à Madagascar	на Мадагаскаре														
à la Jamaïque	на Ямайке														
à la Martinique															
à Madagascar															
à la Jamaïque															

Отсюда следует вывод: система словесного языка здесь не претерпела существенных изменений — предлог *en* так же противопоставляется предлогу *à*, как и до конца XVIII века; но система языка пространства существенно изменилась — выражения с предлогом *en* теперь уже не означают близкое, а с предлогом *à* не означают далекое; первые означают страны, части континента, вторые — острова. Правда, новая система не вытеснила старую, а как бы наложилась на нее, ведь структурное ядро, как уже было сказано, осталось неизменным. Поэтому возможны промежуточные гибридные случаи: например, близкие большие острова трактуются как страны: *en Corse* — на Корсике, *en Sardaigne* — в Сардинии, а дальние маленькие страны — как острова: *à la Guadeloupe* — в Гваделупе. Если какое-либо название воспринимается как название политическое, как название государства, то оно употребляется с *à*, если же как географическое, как название страны, то с *en*: поэтому сначала говорили *à l'URSS* — в СССР, а теперь — *en URSS*.

Таким образом, на протяжении не многим более 150 лет во Франции произошла смена в воззрениях на географическое пространство, в языке географического пространства, но новый пространственный язык сочетается со старым словесным без какой-либо перестройки последнего.

Как видно из предыдущего изложения, вывод об изменении языка пространства получен только из наблюдений над изменениями в словесном языке. Однако можно привести и социологические доказательства. Если первоначальной структуре языка пространства — «близкое противопоставляется далекому» — приходит на смену новая структура — «часть континента, страна противопоставляется острову», то должен был быть такой переходный момент, характеризующийся плотным наложением друг на

друга обеих систем, когда близкая страна противопоставляется далекому острову. Такой момент должен был отразиться в документах эпохи, и мы действительно находим это отражение, прежде всего в литературно-эстетических взглядах: начиная с эпохи великих географических открытий, писатели приурочивают идеальные, утопические и фантастические миры обычно к о с т р о в у, противопоставляя этот мир реальному, как дальний остров близкой стране: Пантагрюэль, герой романа Рабле, посещает несколько островов. «Обычность острова как мес-

та приключений сатирически использована Сервантесом в „Дон Кихоте“», — замечает В. Шкловский [40]

Добавим к этому, что сухопутный остров Санчо Пансы — это не только сатирический прием, но и прием идеализации: на острове — вымышленный мир, где правит мудрый крестьянин. «В эпоху, когда буржуазия создает свой роман, она начинает осознавать и внутренние трудности своего существования и сразу же приучается о многом умалчивать. Двадцативосьмилетнее пребывание Робинзона на его необитаемом острове — это более чем четверть века радостного предчувствия того, чего не будет» [41]. Утопические острова есть у Свифта, романтический остров у Бернардена де Сен Пьера, где происходит действие в его «Поле и Виргинии» и т. д.

Мы видим еще раз, как лингвосемиотика соприкасается с историей литературы и социальных идей.

Каким образом возможно замещение одного пространственного языка другим (одной ситуации другою) при неизменном словесном языке (в данном случае — классе предлогов)? Возможность эта заключается в аналогии между строением категорий словесных и несловесных языков, единстве их иерархической структуры.

Естественный язык тесно соприкасается (и даже сливается иногда) с другой, ближайшей к нему семиотической системой — системой жестов. При выборе средств выражения говорящий выбирает иногда не только между чисто языковыми средствами, но и между языковыми, с одной стороны, и неязыковыми — с другой. Так, выражение «Уйдите!» может включаться в две различные знаковые системы, члены которых находятся в попарном соответствии между собой [42].

Второй ряд знаковых систем, сопровождающих речь или восполняющих (компенсирующих) речь в случае, если по каким-либо причинам она оказывается

недостаточно эффективной, изучается в особой отрасли лингвосомиотики, получившей в последнее время название кинесики (англ. kinesics, от греч. слова kinesis — движение).

I. Знаковая система — звуковой язык:	« <i>Ūidume!</i> »	а) « <i>Прошу вас выйти!</i> »	б) « <i>Удали- тесь!</i> »	в) « <i>Вон!</i> » и т. д.
II. Знаковая система — система жестов:		а) вежливый жест, указы- вающий на выход	б) вежли- во-ирони- ческий жест, ука- зывающий на выход	в) грубый жест г) вытал- кивание из комна- ты силой и т.д.

В кинесике исследователи жестов и поз выделяют простейшую (далее не разложимую без потери смысла) позу человеческого тела, кинеморф. Класс взаимозаменяемых кинеморфов образует кинеморфему. Заметим, что как и морф в языке может быть разложен на фонемы, так и кинеморф вообще может быть разложен на «кины»; «кин» — мельчайшее доступное восприятию движение отдельного органа или отдельной части человеческого тела; но это разложение уже будет переходом к другой знаковой системе — биологической (этологической, см. II, 1 и III, 1). Здесь же мы остаемся в пределах значимых движений, то есть системы этнологической (см. «Этносемиотика», I, 2) [43].

Однако весь смысл и вся трудность исследовательской работы заключается здесь в том, чтобы установить такие позы и вообще ситуации, которые действительно не что значат в данной культуре. Их предложено называть изолятами (англ. isolates) [44]. Практически один из способов отличить такие ситуации от других — это то, что про них как раз невозможно спросить: «Что бы это значило?», так как всякому, знакомому с данной культурой, и так ясно, что это значит. Пример: вы ведете, сидя, официальный разговор. Небольшая пауза. Вот ваш собеседник встает, ровно, держа руки вдоль тела. Подчеркнутое выражение и описывает как раз ту минимальную ситуацию, изолят, которая значит разговор окончен. Здесь сразу ясно, что с точки зрения передачи информации, «сообщения» эта ситуация неразложима — отдельные компоненты ее: человек, собеседник, вставание человека, положение рук (ровно, вдоль тела) — ничего не значат. Эта комплексная поза является кинеморфом, аналогом морфа в языке.

Но дальше, увидев, что собеседник встал, и зная, что это значит «разговор окончен», мы можем спросить себя: «А что бы все это значило?», т. е. «А что бы это значило, что разговор окончен?» [45] Это будет дополнительным значением в данной индивидуальной ситуации и переходом к другому уровню значения (говоря лингвистически, коннотативному, или свободным вариациям). Что же будет в описании этой ситуации абстрактным уровнем, аналогом морфемы? Ее противопоставление другим позам (и телесным движениям), которые в данной культуре также не что значат (ср. выше пример со значением слова — II, 3). Пример: в данной культуре (например, в «среднеевропейском стандарте») отмечаются следующие позы:

человек стоит	—	держа ступни носками внутрь
»	»	развернув носки
человек сидит на стуле, диване	—	нога на ногу
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
человек держит руки в карманах брюк	—	раздвинув носки
и т. д. и т. п.		

Различие поз «человек сидит» — «человек стоит» имеет значение. Различие поз «человек стоит (или сидит), держа ступни носками внутрь» — «человек стоит (или сидит), развернув носки» не имеет значения (нерелевантно). Поэтому первая пара поз имеет структурные, различительные (дифференциальные) признаки — различие стояния и сидения. Вторая пара поз не имеет структурного значения, и различие поз (носки внутрь — носки врозь) не является дифференциальным признаком в среднеевропейской культуре. Так, для всех примеров таблицы поз (рис. 2) нерелевантно положение головы и руки от плеча до локтя. Но подобные различия могут быть значимыми при членении языка несловесных сообщений в другом отношении, например, не социальном, а половом. Вспомним, как хитрая тетя Полли в «Томе Сойере» узнала мальчика, переодетого девочкой, она неожиданно бросила ему на колени клубок, и он быстро сомкнул колени, а девочка, привыкшая ловить падающие предметы в подол, разомкнула бы их. Разные членения несловесных сообщений подобны стилям речи, одни из которых — функциональные (социальные) — книжный, фамильярный, жаргон; другие — возрастные и половые — детская речь, женский вариант произношения и т. п.

Внутри одной культуры могут быть более узкие, национальные различия. Так, противопоставление «стоять, держа руки в карманах брюк» — «стоять, не держа руки в карманах брюк» значит не что (релевантно) в русской культуре и не значит ничего

(нерелевантно) во Франции. Для выделения изолятов, встречающихся в окружающее нас мире, пока не существует никакой определенной операции. Изоляты устанавливаются простым наблюдением, и по отношению к дальнейшим стадиям анализа это выглядит так, что «они задаются списком» [46].

Но после того как изоляты установлены (заданы списком), дальнейшие операции над ними совпадают с операциями лингвистики: ставится аналогичная задача — после того как установлены изоляты, ситуации минимально зависимые от контекста и поэтому попадающие среди каких угодно ситуаций и контекстов или, как еще говорят, обладающие большой свободой встречаемости, описать ограничения встречаемости изолятов (провести принцип эквивалентности, см. выше).

Эти ограничения проявляются как устойчивые сочетания изолятов друг с другом или с незначимой частью ситуации (контекста). Сказанное можно пояснить следующим примером.

Возьмем противопоставленную пару изолятов *мужчина сидит* ~ *мужчина встает* (~ — знак противопоставленности) и рассмотрим ее в двух ситуациях. Одну ситуацию — *подходит другой мужчина* — можно записать так:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| I. Подходит (другой) мужчина | { | 1. мужчина встает ~ а мог бы сидеть
2. мужчина сидит ~ а мог бы встать |
|------------------------------|---|---|

71

Эту запись можно упростить так:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| I. Подходит (другой) мужчина | { | 1. мужчина встает
~
2. мужчина сидит (ср. выше точно
такое же сведение морфов в морфему:
<i>рук-</i> ; <i>руч-</i> ; <i>ноч-</i> ; <i>нож-</i>). |
|------------------------------|---|---|

Вторая ситуация такова:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| II. Подходит женщина | { | 1. мужчина встает
~
2. мужчина сидит |
|----------------------|---|--|

В ситуации I оба изолята (1 и 2) встречаются одинаково часто, встречаемость каждого из них данной ситуацией не ограничена. В ситуации II изолят 1 встречается чаще, чем изолят 2. (Напомним, что мы с самого начала взяли такой тип поведения, в котором изоляты 1 и 2 противопоставлены. Если они противопоставлены, то, значит, имеются такие ситуации, в которых различие 1 и 2 «функционально нагружено», несет

какой-либо смысл. В частности, в этом типе поведения «вставать перед женщиной» встречается чаще, чем «сидеть перед женщиной.») Поэтому в целом ситуация «подходит женщина, мужчина встает» (II, 1) встречается чаще, чем в целом ситуация «подходит женщина, мужчина сидит» (II, 2), или, иначе, первое сочетание более устойчиво, чем второе.

Раз в ситуации II различие сочетаний II, 1 и II, 2 отклоняется от средней статистической вероятности (законам которой подчинена встречаемость I, 1 и I, 2), то каждая из ситуаций — II, 1 и II, 2 — может получить новое значение. Этим значением является для II, 1 — «вежливость», для II, 2 — «невежливость».

Причем чаще встречающееся сочетание (II, 1), по-видимому, в свою очередь должно иметь более узкую сферу применения, чем второе [47]. В самом деле, в данном случае ситуация II, 1 выражает вежливость, тогда как ситуация II, 2 может выражать как невежливость, так и полное неразличение вежливости и невежливости, например, когда мужчина не думает выказывать то или другое, или когда более широкая ситуация, в которую попадает данная, снимает это различие: в лесу, на пляже, у станка и т. п.

Наконец, возможна и такая более широкая ситуация (т. е. более широкий контекст), в которой уже ограниченная свобода встречаемости II, 1 и II, 2 еще более ограничивается каким-либо дополнительным правилом, например, исключением, запретом либо одного, либо другого. Так, если исключить II, 2, то II, 1 принимает форму правила: «Когда подходит женщина, мужчина встает», обязательного всегда, но только в узкой сфере жизни, определяемой этикетом.

72

В поэтике. Словесное художественное произведение может образовывать само по себе индивидуальную знаковую систему. Поэтому проанализировать словесное художественное произведение семиотически (если оно этому поддается) — значит установить повторяющиеся в нем предельные, далее неразложимые без потери смысла словесные образы или фигуры (аналог морфов и изолятов), а затем начинать обобщать их как по линии синтагматики, «в длину», так и одновременно с этим по линии парадигматики, «в глубину». Движение по линии синтагматики основано на принципе эквивалентности (см. выше) и заключается в том, чтобы: а) определить отношение произведения к ближайшей к нему литературной среде и к общенациональной норме речи, б) установить его собственную, или внутреннюю, норму, в) установить

отклонения в ходе повествования от его собственной, или внутренней, нормы. Норма произведения, развертывание его текста составляет его синтагматику. Движение по линии парадигматики основано на принципе иерархии (см. выше) и заключается в том, чтобы выделенные на разных этапах синтагматического анализа образы и фигуры сводить в классы, обобщать, подобно тому как лингвист сводит морфы в морфему и в грамматическую категорию.

В таком виде приемы семиотического анализа были намечены русскими исследователями 20-х годов нашего века Б. А. Лариным, Ю. Н. Тыняновым и др. В особенности подробно и тщательно было исследовано ими понятие нормы. В последнее время оно было перенято и отчасти развито в американской лингвистике [48].

Разбирая одно из стихотворений Хлебникова, Б. А. Ларин и создает понятие нормы.

Немь лукает
луком
немным
в
Закричальности
зари!
Ночь роняет душам
темным
Кличп старые: гори!

Это стихотворение Хлебникова Ларин сопоставляет с другими, близкими по лирической теме и предшествующими по времени.

1. Мгла тусклая легла по придорожью
И тишина.
Едва зарница вспыхнет беглой дрожью
Едва видна

73

Несчастных звезд мерцающая россыпь,
Издалека
Свирелит жаба. Чья-то в поле поступь —
Легка, легка...

и т. д.

Вяч. Иванов

2. Звон вечерний гудит, уносясь
В вышину. Я молчу, я доволен.
Светогорные волны, искрясь,
Зажигают кресты колоколен.
В тучу прячется солнечный диск.

Ярко блещет чуть видный остаток.
Над сверкнувшим крестом дружный визг
Белогрудых счастливых касаток.

А. Белый

«Сделав раньше, — продолжает Б. А. Ларин, — сопоставление этого стихотворения с аналогичными из Вяч. Иванова и А. Белого, я и хотел вызвать в сознании читателя ту ближайшую традиционную среду поэтического стиля, от которой Хлебников «отгалкивается» и от которой зависит... Но этот традиционный поэтический опыт — присущий нам, читателям, — настолько же неощутим, как давно привычен: он невыделим из состава ощущения свежести или банальности поэтического произведения. Обнаружить его с совершенно бесспорной наглядностью трудно. Можно только сказать, что мы едва ли что-нибудь поняли бы в первой части четверостишия Хлебникова и могли бы самым неожиданным и неверным способом толковать вторую часть и все в целом, если бы не было повелительной необходимости предуказанного традицией понимания его. Попробую это показать.

Допустим, надо истолковать анонимный, недатированный заведомо не современный стихотворный фрагмент:

Ночь роняет душам темным

Кличи старые: гори.

Это могло бы быть обрывком религиозно-обрядового гимна огнепоклонников, где ночь — учредительница жертвоприношения огню. Это могли бы быть стихи из Мистической лирики созерцателей — исихастов — об озарении экстагическим откровением в тиши и мраке ночи. Такими же стихами в подцензурной метафоричности можно было бы призывать к революции против ночи — реакции и т. д. и т. д. Но этого ничего нет в данном случае, возможные толкования ограничены и пре-

74

допределены прежде всего тем, что известно начало стихотворения, дата и автор, и тем, что есть ряд стихотворений написанных хотя бы со времен Тютчева, с той же лирической темой ночи; читая Хлебникова, мы смутно припоминаем их. И, уяснив себе таким образом эти стихи, мы образуем далее и свое понимание начальной части стихотворения:

Немь лукает луком немным
в закричальности зари!

Ритмико-синтаксический параллелизм этой части с последними двумя стихами (цитированные выше) заставляет нас видеть соответствие слова «немь» слову «ночь», и раз они этим обособленно сопоставлены в нашем восприятии, то по тенденции обратного семантического соединения в стихотворении «немь» осмысливается применительно к «ночь» как природное, стихийное и конкретное понятие. Здесь-то и сказывается действие «ожидания новизны», мы образуем представление «немь» как новое, и притом, в данных условиях контекста, оно становится семантическим ядром стихотворения, на нем сосредоточивается смысловой эффект всех выразительных элементов его. Я указал выше, что в этом стихотворении ощутимо убывание неологизмов — и знакового и семантического порядка. Эстетическая целесообразность такого убывания в том, что мы вынуждены в понимании стихотворения идти с конца к началу, — и это характерно для футуристов. У них преобладает регрессивный, обратный семантический ход, тогда как у символистов, например, чаще встречаем смысловое нарастание, обогащение концовки смысловым эхом передних стихов. При обратном ходе, как в данном случае у Хлебникова, семантической доминантой только и может оказаться зачин, неясное сперва «немь».

Мы видим, что в понятии нормы у Ларина подчеркнуты два признака: ближайшая литературная среда (и сопоставление читаемого произведения с нею) и «ожидание новизны», которое есть не что иное, как сопоставление читаемого в данный момент с только что прочитанным.

Выделенные таким образом при установлении нормы произведения предельные словесные образы собираются далее в более общий образ, индивидуальный у данного поэта или в данном его произведении, делается метаописание. (Оно аналогично переходу от морфа к морфеме или от кинеморфа к кинеморфеме.) Впервые Андрей Белый применил метаописание как способ анализа словесного художественного произведения в книге «Поэзия слова» [49]: «Каково отношение Пушкина к воде, воздуху, солнцу, небу и прочим стихиям природы? Оно — в сумме всех слов о солнце, а не в цитате, не в их ограниченной серии. Каково отличие солнца Пушкина от солнца Тютчева? Лишь цитатные суммы решат нам этот вопрос...»

А. Белый выписывает из произведений трех поэтов — Пушкина, Баратынского и Тютчева — все места, где говорится о небе. «Отдельные изображения неба

„суммируются” в три классические модели о небе: *небосвод дальний блещет* — гласит нам поэзия Пушкина; и гласит поэзия Тютчева: *пламенная твердь — глядит, и — облачно небо родное* — сказал бы нам Баратынский на основании собрания и обработки суммы всех материалов о нем. Из подобных классических, синтетических фраз воссоздаема картина природы в любой из поэзии». И далее А. Белый воссоздает три картины, все три картины — разные. Поэты по-разному дробят природу. Это открытие А. Белого намного лет опередило тезис Б. Л. Уорфа (см. II, 2) о языковой «картине мира».

4. АБСТРАКТНАЯ СЕМИОТИКА

В соответствии со сказанным в предыдущем разделе мы определяем абстрактную семиотику как абстрактную теорию знаковых систем (любых, а не только языка или языкоподобных). Ее предмет — общие языковые отношения, затем — правила эквивалентности знаков, правила построения сложных знаков, правила введения новых знаков с помощью имеющихся знаков и т. д. Эта теория сама есть знаковая система, семиотика в первом смысле слова (см. прим. 52).

Абстрактная семиотика есть алгебра языка. И она может существовать в науке в различных вариантах иными словами, возможны многие алгебры языка, в зависимости от способа построения теории и в зависимости — это особенно важно подчеркнуть — от того, из какого понимания естественного языка исходил исследователь, какова была в его понимании система естественного языка.

Наиболее полно абстрактная семиотика представлена в настоящее время в работах Рудольфа Карнапа, например в книге «Логический синтаксис языка» («Logische Syntax der Sprache», 1934; англ. авторизованный перевод 1937). Но эта система является, по видимому, не лучшей для построения полной абстрактной теории знаковых систем, так как она ориентирована на логику.

Другой широко известный вариант алгебры языка представил датский лингвист Луи Ельмслев в ряде работ, в особенности в «Пролегоменах к теории языка» (1943 г., русский перевод 1960 г.) [50]. Его система лучше, чем система Карнапа, отвечает задаче построения абстрактной теории знаковых систем, потому что ориентирована не на логику, а на язык, язык же послужил и ее исходной точкой.

Если последовательно обобщить (формализовать) те представления о системе языка, которые изложены выше, в разделе «Лингвосемиотика», то получится еще иной вариант алгебры языка, абстрактной теории знаковых систем.

Примером того, как происходит такое обобщение, может служить следующее. Мы видели в разделе «Лингвосемиотика», что синонимические отношения могут быть как симметричными, так и несимметричными, однонаправленными. Отношения порождения, или актуальной деривации между вариантами, как фонем, так и морфем и значений слов, также являются однонаправленными отношениями. Те и другие могут быть обобщены в виде отношения «детерминации». Таким образом, детерминация оказывается одним из самых общих языковых отношений. Формула детерминации такова: «Если А, то В», то есть элемент А непременно требует элемента В, обратное же, наличие элемента В ничего не говорит о наличии А. В синтагматике примером детерминаций оказывается русский предложный падеж (элемент А) и сочетании с предлогом (элемент В): предложный падеж никогда не может быть употреблен без предлога (*об отце, в лесу*), но предлог может быть употреблен без предложного падежа (например, с винительным падежом *удариться о камень, пойти в лес*). В парадигматике детерминацию можно иллюстрировать зависимостью между фонемами «т», «ц», «с». Во всех языках, где имеются фонемы «т» (t) и «ц» (ts) (обе вместе они составляют член А в формуле: «Если А, то В»), должна быть и фонема «с» (s) (член В в этой формуле), обратное же не обязательно. Так, в русском есть «т», «ц» и, следовательно, «с»; во французском есть «t» и «s», но нет «ts».

Отношения детерминации, интердепенденции и констелляции могут быть представлены каждое как комбинация двух более общих и более элементарных зависимостей транзитивности и симметричности: детерминация есть транзитивность и несимметричность, интердепенденция — транзитивность и симметричность, констелляция — нетранзитивность и симметричность. Последовательное выявление системы абстрактных языковых отношений создает особый вариант «алгебры языка». В зависимости от того, как понимаются транзитивность и симметричность — как свойства абстрактных объектов или как отношения между абстрактными объектами, — алгебра языка принимает форму соответственно либо логики классов, либо исчисления

предикатов. Первая система алгебры языка соответствует также тому, что за исходный аспект описания принимается парадигматика языка, вторая — синтагматика языка.

Алгебра, или логика, языка имеет существенные расхождения со всеми существующими вариантами логик. В парадигматике, например, значение слова *дядя* в русском языке включает противоречащие признаки (в 4-м разряде, см. выше): «брат отца или матери» — признак кровного родства, «муж тетки» — признак некровного родства; в терминах Булевой алгебры инвариант значения *дядя* (см. выше, стр. 58) (если a, b, c, d, e — соответственно классификационные признаки: a) мужской пол, b) поколение родителей, c) линия родства боковая, d) родство кровное, e) родство некровное) принимает такой вид: a.b.c.[(dVe).(d.e.)'], a в

алгебре языка — иной вид, только: a.b.c., при исключении обоих противоречащих признаков. Это одно из самых общих свойств языковых отношений, делающих возможным, в частности, употребление одной парадигматической единицы в частично взаимоисключающих положениях в синтагматике без дополнительных обозначений, оно называется нейтрализацией признаков. В синтагматике языка: партиитивность (часть целого представляется как не подчиненное, а равноправное целому, например, латин. *extremi digites* буквально «последние пальцы», т. е. кончики пальцев); эргативность (когда определяющим в предложении является падеж объекта, а не субъекта. Например, в эскимосском языке в предложении типа *ag' nak' ukinik' u-k' nasjpra-myin* буквально «женщина шьет шапкой (занята шитьем шапки)» подлежащее ставится в абсолютном падеже, что зависит от оформления объекта как косвенного дополнения; в предложении же типа *ag' na-m ukini-k'a nasjprak'* буквально «женщина шьет — она — ее — шапку» подлежащее ставится в относительном падеже, что зависит от формы объекта — прямого дополнения; в последнем случае отмечается активность субъекта в действии) [51].

Поскольку абстрактных семиотик может быть много, то можно представить себе и такую, еще более абстрактную семиотику, которая описывала бы лишь те отношения, которые являются общими для каждой из абстрактных семиотик. Это будет какая-либо, возможно неизвестная еще, разновидность символической (математической) логики. Л. Ельмслев первым сделал важный шаг и на этом пути. Но в настоящее время эта задача еще далека от разрешения [52].

Различные иные варианты абстрактных семиотик, во многом восходящие к идеям либо Р. Карнапа, либо Л. Ельмслева, представили советские ученые А. А. Зиновьев (1963) и В. В. Мартынов (1966) [53].

(Другие особенности абстрактной семиотики рассматриваются ниже, в разделах III, 2, 3, 5, 7 и прим. к ним.)

5. ОБЩАЯ СЕМИОТИКА

Предметом общей семиотики является сравнение, сопоставление и обобщение результатов частных семиотик; рассмотрение того, как абстрактные языковые отношения проявляются в различных знаковых системах; формулирование выясняющихся при этом общих семиотических законов; разрешение гносеологических вопросов и т. д.

Естественно поэтому, что общая семиотика сама не может быть знаковой системой, семиотикой в первом смысле слова, но включает в себя как свое ядро и центр лингвосемиотику и весь круг частных семиотик, из которых абстрактная семиотика, пожалуй, выделяется тем, что

78

служит орудием формализации тех данных общей семиотики, которые можно формализовать.

Настоящая книга, взятая в целом, и есть опыт изложения общей семиотики. Поэтому все, что следует в ней сказать дальше об общей семиотике, и составляет просто следующие разделы.

6. КУЛЬТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ РЯДЫ. СЕМИОТИКА КОНЦЕПТОВ

Это новое направление, составляющее по содержанию часть семиотики культуры (см. выше раздел 2), все же должно быть выделено, поскольку является наиболее структурированной частью последней, обладающей собственным исследовательским аппаратом [54]. Оно примыкает также к «Истории ментальностей» французской школы («Histoire des mentalités») и к «Концептуальному анализу языка» московской группы лингвистов и культурологов. От двух последних направлений данное отличается скорее общими философскими установками. Остановимся кратко на его истории.

Эволюционные ряды Тайлора. Эдвард Бернетт Тайлор (E. V. Tylor, 1832—1917), как и другие представители эволюционной школы, считал, что все явления культуры распределяются по видам: созданные человеком материальные предметы (оружие, утварь, инструменты), обычаи, ритуалы, верования и т. д., — все это виды, аналогичные видам растений и животных. Эволюция совершается внутри этих видов — скажем, боевой топор какой-либо данной эпохи является результатом тензора предшествующей эпохи и основой топора последующей эпохи (но не результатам, скажем, развития ложки, которая относится к другому эволюционному ряду и, тем самым, к другому виду). Таким образом, эти виды составляют эволюционные ряды.

Последователь Тайлора, археолог и коллекционер О. Питт-Риверс создал целую коллекцию, главным образом оружия, систематизированную по эволюционным рядам (в настоящее время она находится в Оксфордском университете). Некоторые примеры Тайлора поразительно близки к рядам с семиотической закономерностью, описанной нами (см. ниже) на примере автомобиля: «Любопытные орудия, время от времени открываемые археологами, например, бронзовые цельты (резцы), выделанные по образцу неуклюжего каменного топора, вряд ли представляют собой что-либо иное, чем первые шаги при переходе от каменного века к бронзовому. За ними следуют дальнейшие стадии прогресса, где уже заметно, что новый материал приспособляется для более удобных и менее невыгодных моделей» (Э. Тайлор. Первобытная культура. Пер. с англ. М.: Изд. полит, литер., 1989, с. 28, — работа 1871 г.)

79

В этом примере Тайлора идет речь о материальных вещах, но мы уже знаем, что в культуре нет ни чисто материальных, ни чисто духовных явлений, те и другие идут парами. И в данном случае также, топор как вещь предполагает топор как концепт, концепт топора; да и сам Тайлор говорит о «модели». А что такое модель как не «план», «прообраз» задуманной к изготовлению вещи?

Впрочем в других случаях и даже главным образом в случаях другого типа, Тайлор сопоставляет скорм «духовные концепты» такие, как «вера в божество», «представление о душе», о «духах» и т.п. Ему принадлежит теория возникновения одного специфического ряда таких концептов — теория анимизма. Но и здесь, вполне справедливо, Тайлор сопровождает рассуждения о «духовных сущностях» демонстрацией их материальных пар — обрядов и ритуалов.

Свои наблюдения над эволюционными рядами Тайлор поднимает до типологических обобщений: «Точно так же, как каталог всех видов растений и животных известной местности дает вам представление о ее флоре и фауне, полный перечень явлений, составляющих общую принадлежность жизни известного народа, суммирует собою то целое, что мы называем его культурой. Мы знаем, что отдаленные одна от другой области земного шара порождают такие виды растений и животных, между которыми существует удивительное сходство, которое, однако, отнюдь не является тождеством. Но ведь то же самое мы обнаруживаем в отдельных чертах развития и цивилизации обитателей этих стран» (там же, с. 23).

В меньшей степени Тайлор обращал внимание на взаимоотношения эволюционных рядов друг с другом. Позднейшая критика ваша, что в этой методике самым неудачным было признание эволюционных рядов независимыми друг от друга.

В современном семиотическом подходе к культуре восполняется именно этот недостаток концепции Тайлора. Ряды образуют семантические, точнее — семиотические, цепи, а между соответствующими одновременными, синхронными звеньями различных эволюционных рядов в свою очередь устанавливаются отношения сходства, образующие «парадигмы», или стили данной эпохи (см. здесь ниже).

Со времени Э. Б. Тайлора исследование рядов, «систематизация по рядам», стала обязательным правилом в истории материальной культуры. Но постепенно к ней стала присоединяться и работа в области культуры духовной, — начиная со слов естественного языка. В 1909 г. в Германии стал выходить журнал «Wörter und Sachen» («Слова и Вещи»), основанный Ф. Мерингером; исследователи, группировавшиеся вокруг этого издания, работали именно по данному принципу. Но к 1943—1944 гг. это издание заглохло. (Лишь недавно эта традиция снова ожила в публикации «Wörter und Sachen im Lichte der Bezeichnungsforschung». Hrsg. von Schmidt-Wiegand. Berlin: De Gruyter, 1981, — «Слова и Вещи в свете исследований способов обозначений».)

Французский исследователь А. Леруа-Гуран, в 1940-е гг. собравший огромные данные — каталоги, относящиеся к древнейшей истории хозяйства, позднее перешел также к рядам «материально-духовным» чему посвящена его книга «Религии предыстории» (André Leroi-Gourhan. Les religions de la préhistoire. Paris: P.U.F., 1964; 3-е

éd., 1976). По принципу «эволюционного ряда» он рассматривает также стили наскальных изображений эпохи палеолита.

К принципу «эволюционного ряда» успешно прибегает в своих работах также исследователь поведения высших животных Конрад Лоренц (см., например, его «Эволюция ритуала в биологической и культурной сферах» — журн. «Природа», 1969, № 11). В сущности по тому же принципу (в иных терминах) упорядочен материал в книге: О. Н. Трубачев. Славянская ремесленная терминология. Опыт групповой реконструкции (М.: Наука, 1966), и во мн. др.

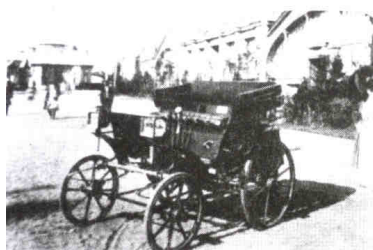
Принцип эволюционного ряда — главный принцип упорядочения материала в нашем Словаре. Собственно говоря, так строится каждая отдельная статья, в той мере, в какой ее материал, т. е. концепты культуры, допускает — в пределах каждого концепта — расположение в ряды. Но этот принцип существенно дополняется: в отношениях между членами каждого отдельного ряда зачастую вскрываются связи иного рода — когда нечто от предшествующего звена становится знаком в звене последующем (мы увидим это тотчас ниже на примере эволюции от кареты к автомобилю). Поскольку понятие «знака» принадлежит к более широкой сфере знаковых систем, семиотики, то мы называем теперь весь такой ряд эволюционным семиотическим рядом.

Кроме таких рядов, располагающихся по ходу времени, в культуре очень важны и ряды иного рода — соединяющие концепты (а также предметы, «вещи») одной эпохи из разных рядов в некое единое целое. Это последнее можно назвать «парадигмой эпохи», или «стилем».

Эволюционные семиотические ряды. Ряды в культуре — структура культуры.

Как мы уже сказали, это — основной тип рядов. В такие ряды соединяются и «вещи» (например, топоры; отдельно — прялки; в третий ряд — оружие; в четвертый — средства передвижения, кареты, автомобили; и т. д.). Но в такие же ряды группируются и «концепты» (разные по времени понятия «веры»; отдельно — представления о «грехе», о «страхе» и т. д.). В наиболее типичном и общем случае, ряды «вещей» сочетаются с соответствующими им представлениями, «ков» центрами, и вступают в отношения знаковости. Так, «храм» — внешнее выражение и знак «веры»; определенные «ритуалы» — выражение и знаки «любви», и т. п.

Начнем с простого примера из истории автомобиля (мы уже приводили его в нашей книге 1971 г.: Ю. С. Степанов. Семиотика, М.). Первые автомобили, в конце XIX — начале XX в., разделялись подобно каретам, на «городские (лимузины)» и «дорожные», и сохраняли соответствующий этому разделению облик. Первые имели «салон», отделенный от помещения для шофера, который, впрочем, тоже, как и пассажир, находился в автомобилях этого типа под крышей; экипажи были отделаны черным блестящим лаком, выступающие детали — фонари, ручки дверей и т. д. — блестели медью, а иногда и позолотой; окна были из хрустального стекла, т. е. с гранями по краям; сиденья кожаные, и т. д. Вторые, «дорожные», были устроены гораздо проще и грубее, но зато и практичнее; на легких рессорах, с колесами, как у брички; шофер и пассажир часто помещались без перегородки между ними, под одной крышей, а иногда крыши и вовсе не было, по крайней мере, над шофером.



«дорожные» (вверху).

Две представленные на рис. модели разделяет около 15 лет, что сразу видно по типу шин: литые у более старых моделей (ок. 1894—1896 гг.), надувные у более новых (ок. 1912—1915 гг.).

Примечание.

В современном языке автомобилистов термин «городской автомобиль» имеет другое значение — малогабаритная маневренная машина, удобная для узких улиц, запруженных транспортом».

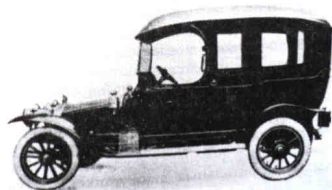


Рис. 3. Иллюстрация: два типа автомобилей

Чем объясняется подобное различие? Оно не диктовалось никакими потребностями техники. Скорее наоборот, новые технические данные автомобиля требовали как можно скорее избавиться от старых форм. Очевидно, что причина здесь не техническая, а

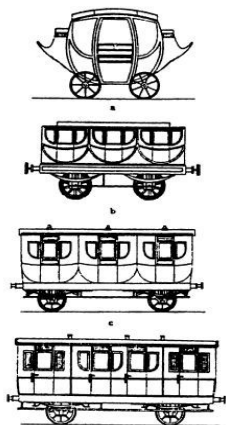
какая-то иная: автомобиль занял место кареты. И, заместив в общественном быту карету, автомобиль должен был — неизбежно и вопреки всем техническим требованиям — по крайней мере, на первое время, принять и ее облик. Кареты же к концу XIX в. именно разделялись на два класса — городских и дорожных (загородных), с соответствующими различиями во внешнем виде. Перед нами пример замещения: карета => автомобиль.

На первый взгляд кажется, что этот процесс замещения касается только формы. Действительно, он затрагивает прежде всего и обязательно форму. Легко можно представить себе, что новое, и без того уже пугающее изобретение — самодвижущийся экипаж, притом способный на «бешеную скорость» (ок. 20 км/час!), отпугивал бы еще больше, если бы у него была какая-нибудь непривычная — например, обтекаемая — форма. Подобно этому, т. е. как бы в соответствии с требованием «не пугать!», первые электрические лампы получали форму керосиновых или газовых, первые электрические лифты — форму открытых лестничных площадок с узорными сквозными решетками и перилами, без крыши; первые входы в метро (в Париже) — форму парадных подъездов в жилых домах, и т. п.

В технически более сложном случае прежний предмет мог трансформироваться в процессе технической эволюции и как-то иначе, например та же карета — включаться в состав более сложного целого — железнодорожного поезда, образуя там сначала отдельный вагон, так в самых первых поездах, а позже — купе в составе многокупейного, т. е. «многокаретного», вагона (рис. 4).

Первые аэропорты, в полном несоответствии с их задачами, строились, как железнодорожные вокзалы, — поскольку именно их они заместили. Вот как описывал их американский романист Артур Хейли в конце 1960-х гг.: «Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорожных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много „вытянутых“ аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю... Кое-где строятся циркообразные аэропорты — вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри; там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных движущихся тротуаров, а кроме того, самолеты подъезжают к

пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а



Эволюция железнодорожного вагона
а) ок. 1825; б) ок. 1840; в) ок. 1850; г) ок. 1900
Из кн.: Reallexicon der germanischen Altertumskunde.
Von J. Hoops. Zweite, völlig neu bearb. und erwait.
Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
Berlin — N. 4: DeGruyter. 1. Bd. 1973 — (изд. про-
должающееся).

Рис. 4

не просто приставка к чему-то» (Аэропорт. — «Иностр. литерат.». № 10, 1972, с. 202).

Нетрудно, однако, убедиться, что дело во всех этих случаях в чем-то большем, чем просто в консервативности человеческих привычек и в нежелании испытывать шок при виде новых форм. Ведь процесс охватывает и такие случаи, где ничто не может испугать или шокировать. Например, — Наполеон III заказывает для своего сына погремушки из алюминия с драгоценными камнями, тогда как раньше такие вещи для императорских семей изготавливались из золота. Почему из алюминия? Потому что этот новооткрытый тогда металл (впервые в виде кусочков металла он был получен в 1845 г.) на короткое время занял в ювелирном деле место золота.

Не следует думать, что подобные процессы происходят только в современном мире и связаны с бурным прогрессом техники. Нет. В

так называемом Пазырыкском кургане на Восточном Алтае в 1929 г. во время археологически раскопок были обнаружены останки лошадей как бы «переодетых» под оленя, или в «масках» оленя, — см. рис. 5. Это явление объясняется тем, что у данного народа лошади, по-видимому сменили в какой-то период оленей в различных хозяйственных функциях, и в некоторых ритуалах требовалось поэтому «освящать» лошадей обозначая их связь с оленями (см. подробнее ниже).



Из кн.: Lexicon früher Kulturen.
Bde I und 2. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag, 1984.

Рис. 5. Лошадь в маске оленя. Из раскопок
Пазырыкского кургана на Алтае (реконструкция).

Итак, дело, очевидно, в том, что новый предмет (изобретение, вещь, вещество, социальное явление) занимает в общественном быту и в общественном сознании место какого-то прежнего предмета, принимая его функцию. И, следовательно, форма — в широком понимании формы — здесь выступает знаком занятого места, функции или назначения, форма — значима, форма санкционирует предмет. Поэтому такие процессы и создаваемые ими ряды явлений мы называем семиотическими (семиотика — наука о знаковых системах). Семиотический процесс замещения есть одновременно процесс преемственности и эволюции. Закрепим это понятие в термине: эволюционный семиотический процесс и ряд.

Термин семиотический входит в этот термин еще и по другой причине, — потому, что основное отношение между замещаемым и замещающим явлениями в эволюционном ряду очень часто оформляется знаком в прямом смысле, т. е. словом языка: название замещенного предмета или действия переходит на замещающее его. Так, в ряду карета => автомобиль и карета => вагон само название

лошадного экипажа перешло на самодвижущийся, кажется, только в одном английском языке (ср «повозка» и «автомобиль») и отчасти в немецком (der Wagen «повозка, телега» и «вагон», — см. иллюстрацию выше). Но зато многие специальные термины автомобильного и железнодорожного дела появились вследствие переноса по функции: так, рус. *шофёр* заимствовано из франц. *chauffeur*, где оно значило последовательно 1. «истопник» => 2. «кочегар» (т. е. «истопник паровой машины, паровоза») => 3. «водитель автомобиля, шофер», и мн. др.

Эволюционные семиотические ряды показывают, что в сфере культуры замещение одного предмета другим и перенос на второй формы и облика первого — это явления того же порядка, что перенос имени с одного предмета на другой; а в более частном и специальном случае, образование нового слова на основе прежнего (снег →

подснежник), — это явление того же порядка, что включение прежнего предмета в состав более сложного нового (карета 1820-х гг. → железнодорожный вагон 1825 г. → железнодорожный вагон 1850 г. → купе вагона 1900 г.) (см. выше рис. 4). Часто все три типа процессов могут совмещаться, захватывая как материальную, так и духовную сферу; примером может служить европейская в частности, русская, философская терминология, образовавшаяся в значительной степени на основе терминологии прядения и ткачества» [55].

Частным случаем рядов является «функциональная семантика».

Наиболее отчетливо закон был сформулирован акад. Н. Я. Марром: название одного предмета переходит на название другого предмета, принявшего в хозяйстве и общественном производстве функции первого. Например, в современном русском: *консервный нож* — предмет, ничем не похожий на нож, кроме функции. Также: *киножурнал*; *радиогазета*; *карета скорой помощи*; *отбойный молоток* и т. п. (Ср. немецкий *Fernsprecher* — телефон, *Fernsehen* — телевидение) [56]. Закон имеет несколько разновидностей.

В наиболее древней форме этот закон был тесно связан с отношением «микрокосм — макрокосм», так как названия переходили первоначально с органа человеческого тела на инструмент, выполняющий функцию этого органа. По предположению Н. Я. Марра, древнейшее название топора во многих языках восходит к названию руки. В более общей форме та же космологическая связь проявляется в переносе названия с органа тела на другой предмет уже не по функции последнего, а по сходству признаков. Такова целая компактная группа слов в русском языке: *ручка* (двери), *ножка* (стола), *спинка* (стула), *глазок*, *ушко*, *носик*, *головка*, *шейка*, *зубец*, *бородка*, *желудочек* и т. д.

Другая разновидность того же закона проявляется в переносе названия с хозяйственной утвари или с предмета производства на общие абстрактные понятия. Таково русское *основа* от ткац-

кого термина. Французское *travailler* (работать) восходит в прошлом к старофранцузскому *travaillier* (ходить туда-сюда), к этому же слову восходит и английское *to travel* (путешествовать) и еще далее, в прошлом, к слову *travouil, treuil* — мотовило, ворот — тоже термину ткацкого дела. Примеры такого рода для славянских языков можно найти в широко документированной работе О. Н. Трубачева.

Н. Я. Марр лингвистически установил, что с появлением в хозяйстве нового животного на него переходило название того животного, которое передало новому свои функции, например, название оленя во многих языках перешло на лошадь [57]. Эта мысль нашла, по-видимому, интересное семиотическое подтверждение при раскопках одного из Пазырьских курганов на Алтае (так называемого 1-го Пазырьского кургана). Приведем выписку из тогдашнего (1931 г.) отчета: «Нетронутые и хорошо сохранившиеся вследствие могильной (вечной. — Ю. С.) мерзлоты конские погребения дали чрезвычайно богатый материал.

Прежде всего заслуживают упоминания сами трупы десяти жеребцов. Лошади были убиты ударом бронзового чекана в лоб, пробившего черепную коробку, и брошены на дно погребальной ямы. Поверх них было брошено десять седел с наборами и уздами. На голове одной из лошадей была сделанная из кожи, войлока и меха маска в виде головы северного оленя с рогами натуральной величины, а на шее той же лошади нагрявник из войлока, кожи и конского волоса. Другая маска и нагрявник лежали вместе с седлами...

Своеобразными художественными произведениями насыщена не только конская сбруя. Все предметы, найденные в конском погребении, нагрявники из войлока и кожи с крашеным конским волосом украшены изображениями птиц, покрыты орнаментом нахвостники, и особенно сложную композицию представляют собою маски, сшитые из войлока и кожи, покрытые мехом и листовым золотом. На лицевой части маски, снятой с головы лошади, распластанная фигура барса, вырезанная из меха. Вторая маска представляет собою композицию из двух зверей — борьбу барса и грифона. Последний с большими крыльями и скульптурной головой, увенчанной бычьими рогами...

Весьма интересен вопрос, имелся ли у этого скотоводческого народа в числе прирученных животных северный олень... (Автор отчета, С. Руденко, тут же указывает, что, по его мнению, был. — Ю. С.)

Погребенные лошади — это те животные, которыми пользовались при жизни и в погребальной процессии; это те животные, которые вслед за умершим направлялись в загробный мир. Если северный олень был исконным туземным домашним животным и вместе с тем средством передвижения, он должен был за своим хозяином следовать в загробный мир. С заменой в хозяйственном быту оленя лошадью, он должен был

сохраниться в погребальном ритуале. Позднее консервативный ритуал потребовал маскировки нового животного, лошади, оленем» [58]

От видоизменений самого этого закона надо отличать его современную, уточненную формулировку: функциональная семантика осуществляется более последовательно (более непрерывно) в материальных знаковых системах (изображениях, орнаментах, живописи, оформлении утвари) и менее последовательно в языке. В материальных знаковых системах она проявляется отчетливее всего в том, что новый предмет, принимающий общественные хозяйственные функции прежнего, принимает на некоторое время и его форму: первые автомобили были похожи на кареты; первые электрические лампы — на керосиновые; электронным музыкальным инструментам придают форму пианино и т. д. и т. п. Относительно языка приведем прекрасно аргументированную формулировку О. Н. Трубачева: «Плетение тесно связано с текстильным, деревообделочным и гончарным производством... изучение этих отражений в лексике ярко демонстрирует автономность языкового плана и своеобразие его связи с внеязыковым планом. Оказывается, что отражение этой связи минимально представлено именно в текстильной лексике, в то время как связь самого текстильного производства с плетением, казалось бы, очевидна до банальности, и максимально выражена связь с плетением в этимологизирующей гончарной лексике, названиях глиняной посуды, где соответствующая связь гончарного производства и плетения не только не очевидна, но вообще доступна лишь глубокому историческому исследованию» [59].

Эволюционные семиотические ряды в социальной организации общества, в «институциях», открыты, я думаю, В. О. Ключевским, который, однако, не называл их, разумеется, этим термином и вообще, по-видимому, затруднялся дать название открытому им явлению. Вот как выглядит его открытие.

В «Методологии русской истории» (Лекция IV, — здесь цит. по изд: В. О. Ключевский. Соч. в 9-и томах. Т. VI. Специальные курсы. М.: Мысль, 1989). «Итак, можно признать четыре исторических силы, создающих и направляющих общежитие: 1) природа страны; 2) физическая природа человека; 3) личность и 4) общество.

...Я думаю, что более точный анализ явлений общежития приведет не только к более точному определению и обозначению сил, но введет в их ряд и другие. Так, например, мне кажется, что к перечисленным силам можно прибавить пятую, о чем, впрочем, надо еще подумать. Мысль об этой силе возбуждается одним рядом явлений, который нельзя вывести из указанных четырех сил. Мы замечаем, что рядом с физическими свойствами и факты чисто исторические, связывающие наличных людей в союзы, не умирают вместе с ними, но переходят по наследству и в этом переходе даже перерождаются: из фактов, часто вызванных временною необходимостью, превращаются в привычки, в предание, действующее, даже когда минует эта временная необходимость. Говоря еще

общее, мы находим, что все действующее в данном поколении, все им устроенное и выработанное не умирает с поколением, а переходит к дальнейшим, осложняя их общежитие, и часто гнетет их, как бремя, наложенное предками, от которого трудно, а иногда и невозможно освободиться, как трудно или невозможно освободиться от физического недостатка, наследованного сыном от отца. Вот почему явления эти, которые только и связаны сменяющимся одно за другим поколением, и могли бы быть соединены как явления особой силы, ибо эти явления не вытекают ни из природы страны, ни из физической природы человека, ни из потребностей личности, ни из потребностей общества, которое живет в данную минуту. Эти явления вызываются каким-то особенным свойством духа человеческого. Мы бы и назвали это пятой конкретной формой, в которой проявляется историческая деятельность последнего и которую можно назвать так предварительно, провизорно — до подыскания лучшего термина — историческим преемством» (с. 23).

Действие «пятой силы», исторического преемства «проявляется в ряде явлений, скрепляющих человеческое общежитие, как-то: в обычае, в предании; точнее говоря, обычай и предание суть синонимические выражения исторического преемства» (с. 26).

Ярким примером конкретного действия «пятой силы» может служить то, что говорит В. О. Ключевский в другой работе — «Терминология русской истории» (тот же том, с. 140—141). Ключевский настолько точен и краток, что лучше его не пересказать, а процитировать. Речь идет о *чинах*. «*Чины* в Московском государстве различались между собою государственными повинностями, а не политическими правами, но

повинности различных классов приносили государству неодинаковую пользу, поэтому и классы, которые несли их, пользовались неодинаковым значением в государстве. Это различие ... выражалось в различии чиновных „честей”. Каждый класс имел свою чиновную „честь”, которая точно формулировалась законом. „Честь“ боярина была иная, чем „честь“ московского дворянина; „честь“ последнего была выше „чести“ дворянина городского и т. д. до самого низа общества. Самым наглядным выражением этого различия служил тариф „бесчестий”, т. е. пеней или штрафов за бесчестие... В XVIII в. из-под этих „честей” стали исчезать их основания, т. е. с классов стали сниматься их специальные государственные повинности, но „чести”, с этими повинностями связанные, остались за классами. ... Как скоро чиновная „честь” лишалась своего основания — обязательной специальной государственной повинности, падавшей на известный класс, она тотчас облекалась в известные преимущества и становилась сословным правом. Так из чиновных „честей” XVII в. в XVIII в. выросли *сословные права*. ... Эту связь можно выразить так: *основанием каждого последующего деления общества становились последствия, вытекавшие из деления предыдущего*. Этой есть коренной факт в истории наших сословий, или, пользуясь привычным языком, есть схема нашей социальной истории» (с. 141).

III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ СЕМИОТИКИ

В этой главе излагаются некоторые основные закономерности знаковых систем, включая и закономерности науки о них, семиотики, которая в некоторой части сама есть знаковая система. Законами же эти закономерности можно назвать в том смысле, что они наблюдаются, зарегистрированы и проверены на более или менее длинном ряде фактов. Некоторые из этих законов широко известны (и излагались и на предыдущих страницах, но здесь все же целесообразно их повторить в сжатой формулировке); другие известны менее; наконец, тот или иной, возможно, формулируется впервые.

Законы семиотики с самого ее возникновения в виде отдельной науки распределялись по трем ее разделам, которым один из ее основателей, Ч. Моррис, дал следующие названия: си-итак тика — изучающая отношения между знаками; семантика — изучающая отношения между знаками и обозначаемым предметом; прагматика — изучающая отношения между знаком и человеком. Членение на три раздела восходит к разделению наук еще в средневековье (см. I, 2) и сохраняется в семиотике и теперь [1]. Но содержание каждого раздела существенно расширилось в связи с тем, что появились частные, конкретные семиотики, тогда как Ч. Моррис устанавливал свое деление применительно к абстрактной семиотике, которая одна только и была достаточно развита в его время. Теперь соотношение частных семиотик с указанными частями общей семиотики, с одной стороны, таково: 1) биосемиотика, изучающая вопрос, каким образом в процессе эволюции нечто стало значить нечто, более отвечает семантике; 2) этосемиотика — прагматике; 3) абстрактная семиотика — синтактике (подробнее см. прим. 54 к гл. II). Лингвосемиотика отвечает всем трем частям, так как она сама и есть прообраз общей семиотики. Но это скорее исторические соответствия.

Самая же суть общей семиотики заключается в том, что она рассматривает общие законы, черпая материал для обобщений в разных частных семиотиках. Важнее подчеркнуть эту сторону в семиотических законах. Мы разделим их на три группы: а) объективные законы устройства знаковых систем (синтактика); б) законы, зависящие от позиции наблюдателя (прагматика); в) законы смысла (семантика). Эта классификация, конечно, условна и относительна. Если какой-нибудь закон можно отнести и к тому и к другому разделу, он отнесен к первому по порядку. Каждый закон иллюстрируется более или менее развернутым очерком.

А. ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ (СИНТАКТИКА)

1. Знаковая система. Гамма типов

Знаковая система есть материальный посредник, служащий обмену информацией между двумя другими материальными системами.

Поскольку мы так определили знаковую систему, не требуется никакого первоначального определения знака, которое предшествовало бы определению системы.

Напротив, знак в дальнейшем определяется как нечто выделяющееся из системы [2]. (Об определении знака см. закон 2.)

Но зато определение знаковой системы как материального посредника требует всякий раз сразу указывать ту более широкую материальную систему, в которую как звено-посредник включается данная знаковая система. Перебрав достаточно большое количество таких систем, мы опытным путем убеждаемся в том, что их можно расположить в определенной последовательности. Можно было бы считать, что эта последовательность, «гамма», составляет особый закон семиотики. Но из практических соображений, потому что характер материального посредника только и разъясняется полностью указанием этой гаммы, можно давать констатацию этого факта в рамках 1-го закона.

Итак, знаковые системы в совокупности образуют непрерывный ряд явлений в объективной действительности, континуум. Человек (наблюдатель) членит этот ряд (см. закон 9). В наиболее грубой, обобщенной форме эта классификация существует уже в самом разделении семиотик (био-, этно-, лингво- и т. д.). Для более полной и точной классификации необходимо учитывать различные ступени знаковости, наблюдаемые в пределах каждой из семиотик. Наиболее объективна классификация по типу «гаммы», или «спектра» (см. таблицу на стр. 91).

После введения классификации по принципу гаммы («градуальной классификации») можно до некоторой степени, если не определить, то разъяснить понятие «информация», которое входит в определение знаковой системы [3].

Информация всегда есть энергия меньшая, чем та энергия, которая необходима для вещественного существования указанных материальных систем. И это видно из того, как информация постепенно вычленяется из общего объема биологически существенной (биологической релевантной) энергии (см. таблицу на стр. 91).

Энергетические затраты на существование самой знаковой системы пропорциональны энергетическому объему передаваемой ею информации. Чем более высоко организована знаковая система, тем меньшую часть общей энергии составляет передаваемая ею информация и тем меньше энергия, необходимая для существования самой знаковой системы. В предельном низшем случае информация стремится к общему количеству энергии, обмениваемой между двумя материальными

системами, а знаковая система — посредник — стремится при этом слиться с самими материальными системами (пример: физические взаимодействия в смысле С. И. Вавилова и Т. Павлова, см. тип I в таблице).

Наиболее четко информация отличается от общей энергии в самонастраивающихся системах (растение, животное, человек, электронная машина), т. е. в среднем диапазоне (пример: переходный случай от физического взаимодействия, явление знака и значения по Я. фон Икскулью; Этограммы, см. II, 1).

В предельном высшем случае энергия, слитая с информацией, стремится к нулю, а знаковая система — к максимальному отличию от материальных систем, посредником между которыми она является (пример: символическая логика, абстрактная семиотика, см. II, 4, 5).

При градуальной классификации выясняется и еще одна важная сквозная линия. Если взять естественный человеческий язык, «просто язык», мерой семиотических языковых свойств, то, накладывая VIII рубрику шкалы на разные другие рубрики, передвигая ее по шкале классификации, мы должны будем сказать, что свойства языка последовательно возникают на ступенях эволюции. По отношению к каждой отдельной ступени имеет смысл не только вопрос «язык это или не язык?» — т. е. полностью или неполностью совпадают свойства данного явления со свойствами языка, но и вопрос: «насколько это язык?» — т. е. до какой степени совпадают свойства данного явления со свойствами языка [4].

Но язык человека является не просто удобной меркой, он — естественная мерка оценки знаковых систем. Сам по себе тот факт, что это «естественно», тоже есть один из законов семиотики (см. законы 6, 9).

Что касается знака, то хотя его полное определение и должно следовать ниже, однако дадим здесь его предварительное определение: знаком будем называть всякое

Основные типы знаковых систем, расположенные по степени нарастания семиотических свойств

Тип	Пример и в каком разделе рассмотрен	Семиотическое название	Семиотические свойства
I	След на камне от удара о другой камень (II, 1)	Внутреннее состояние отражения	След на камне хранит информацию об ударе, но этот след есть часть камня; знак не обладает свойством отдельности, система-посредник не выделима из двух систем, между которыми она посредник.
II	Растение поворачивается под влиянием света (II, 1)	Тропизм	Изгиб растения хранит информацию о воздействии луча света, этот знак есть часть растения, но свойства отдельности знака нарастают: до падения луча изгиб был иным; знак необходим для существования растения (биологически релевантен); система-посредник не выделима; означающее знака и означаемое им одно и то же (тождественные друг другу).
III	В семействе пчел: распределение капелек жидкости с поверхности тела пчелы-матки (II, 1)	Физиологическая система связи	Знак полностью биологически релевантен но означаемое и означающее не тождественны; система-посредник выделима.
IV	Раздувание брюшка у рыбки-колюшки; порхания бабочки-перламутровки (II, 1)	Этограмма	Знак биологически релевантен; означающее и означаемое нетождественны; знак выделим, выделима и вся система-посредник, ее можно смоделировать в обобщенной форме (в виде этограммы).
V	Действия, жесты и позы человека, такие, как подталкивание — знак удалиться (стр. 57 сл.)	Паралингвистика	Знак воздействует физически, но биологически нерелевантен (не важен для существования организмов); знак выделим не всегда (например: «Все поведение его выражало неприязнь»), система также; означаемое и означающее не тождественны, но подобны друг другу.
VI	Действия, жесты и позы человека, такие, как культовый танец; манера сидеть; расстановка мебели (I, II, 2)	Неявный уровень материальной культуры	Знак выделим не всегда, система также; означаемое и означающее уже не всегда подобны.
VII	Эмоциональная интонация, неосознанный отбор слов, неосознанная стилистика речи (21)	Неявный уровень языка; коннотативный уровень языка	Означаемое неявный уровень психики, поэтому знак, как и в предыдущем типе, выражает внутреннее состояние самого говорящего (оно — означаемое), означаемое и означающее не подобны друг другу, но принадлежат одной системе (одному и тому же организму).
VIII	Обычная устная и письменная речь (II, 3)	Денотативный уровень языка	Означаемое знака (слова) есть предмет объективного мира (называемый «денотат»), означающее принадлежит субъекту; знак не обладает абсолютной выделимостью, хотя и хорошо выделим.
IX	Формальное описание обычной устной и письменной речи (II, 3)	Структурный уровень языка	Означаемое и означающее сближаются: означаемое — общие отношения в системе языка, а означающее (запись) — форма этих отношений; знак абсолютно выделим.
X	Символическая (математическая) логика I (II, 4; «Примечания»)	Абстрактная семиотика	Означаемое и означающее совпадают, возникает иллюзия того, что символическая логика не имеет плана содержания (см. прим. 54, к разделу II, 4).

состояние знаковой системы в каждый данный момент времени, если это состояние отлично от предыдущего и последующего. Например, изгиб стебля цветка под воздействием солнечного света есть знак, мы отличаем его от положения стебля до этого и после этого.

2. Знак. Треугольник Фреге

Определение знака вытекает из определения знаковой системы: если знаковая система есть материальный посредник между двумя другими материальными системами (III, I), то таков же и знак в простейшем случае:

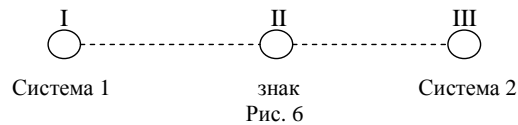


Рис. 6

Однако в развитых знаковых системах — языках — знак имеет более сложное устройство. Усложнение заключается в том, что те части обеих систем, которые непосредственно контактируют со знаком, в свою очередь контактируют друг с другом:

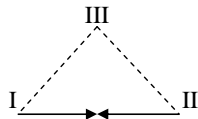


Рис. 7

и все три системы образуют своеобразное триединство, треугольник. Это определение принадлежит известному немецкому логика и математику Готтлобу Фреге [5].

Возьмем сначала два частных случая треугольника Фреге (по А. А. Реформатскому) [6]:

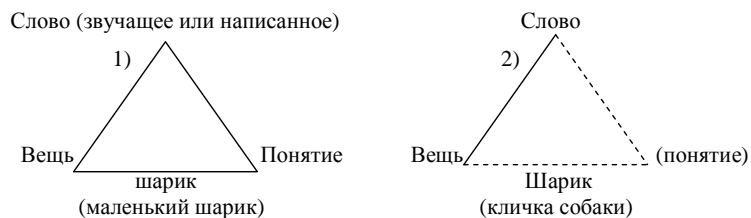
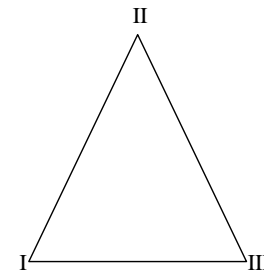


Рис. 8

В первом случае звучащее или писаное слово связано и с вещью — любой вещью, сферичной и небольшой, и с понятием о такой вещи, в котором существенны именно

эти два признака — сферичность и небольшой размер, прочие же признаки (какого цвета, из какого материала и т. п.) неважны. Во втором случае, став собственным именем, кличкой собаки, слово утратило связь с прежним понятием, но не приобрело и связи с новым понятием «собака», поскольку оно не нарицательное, а лишь собственное имя. В более общем случае треугольник Фреге схематизируется так.



Строение знака — треугольник Фреге

I. Предмет, вещь, явление действительности, в математике число и т. д. Иное название — денотат.
 II. Знак: в лингвистике, например, фонетическое слово или написанное слово; в математике — математический символ: иное название, принятое особенно в философии и математической логике — имя.
 III. Понятие о предмете, вещи. Иные названия: в лингвистике — сигнификат, в математике — смысл имени, или концепт денотата.

Рис. 9

Эта схема, однако, определяет такой общий случай, когда свойства знака представлены с максимальной полнотой, а вместе с тем и жестко фиксированы, как это и имеет место в хорошо развитых естественных и искусственных языках. Следовательно, для общей семиотики это не достаточно общий случай, и его требуется еще обобщить, что мы сделаем следующим образом.

Между элементами, обозначенными цифрами I—II—III, имеют место следующие отношения: отношение II—I, т. е. знака к предмету, или денотату, называется словом «обозначать», или, в частных случаях, словами «называть», «именовать»: знак обозначает предмет; отношение II—III, знака к понятию, или сигнификату, называется словосочетанием «иметь сигнификат» или словом «выражать», последний частный случай имеет место в особенности в математике, там выражаются так: «знак выражает смысл»; отношение I—III не имеет общего обозначения, в частном случае, в математике, говорят так: «концепт денотата определяет денотат».

Мы видим, что отношения между указанными тремя элементами I—II—III рассматриваются в каждой отдельной области знания несколько различно, в лингвистике не совсем так, как в математике, в обычной жизни не так, как в лингвистике, и обозначаются эти отношения разными словами и терминами. Кроме того, эти отношения рассматриваются и в разном направлении: от II к I, от I к III, от II к III.

Семиотика же, будучи общей теорией знаковых систем, должна снять все эти ограничения и рассматривать треугольник Фреге в любом направлении. Прежде всего для этой цели необходимо найти общий термин, по отношению к которому слова «называет», «выражает» и т. д., приведенные выше, были бы частными случаями. Если не гнаться — в данном случае — за стилистической красотой, помня, что речь идет о техническом, семиотическом термине, то таким общим термином может быть слово «иметь». С помощью этого термина мы можем рассматривать треугольник Фреге в любом направлении и выражаться так:

— 95 —

от II к III — знак имеет понятие, или смысл, или сигнификат; от III к II — понятие, или смысл, или сигнификат, имеет (свой) знак; от II к I — знак имеет предмет, или денотат; от I к II — предмет имеет знак; от I к III — предмет имеет понятие, или смысл, или концепт; от III к I — понятие имеет предмет. Конечно, во всех этих выражениях, в особенности последних, которые могут показаться непривычными, если не иметь постоянно в виду терминологический смысл глагола «иметь», нужно помнить ограничительный смысл: «в теории знаковых систем».

Для краткости, хотя это, может быть, и чересчур образно, назовем это обобщение так: «обобщение треугольника Фреге путем вращения» (в самом деле, на схеме мы как бы вращаем треугольник с закрепленными в вершинах сущностями, оставляя неподвижными семиотические названия вершин (язык — предмет — сигнификат) [7]).

Получив возможность выражаться таким образом в общей форме, мы можем теперь сказать, что нет никаких теоретических препятствий к тому, чтобы в той или иной ситуации посредником стал любой из трех элементов: не только знак между предметом и смыслом, но и смысл между предметом и знаком (например, с этимчастным случаем мы сталкиваемся тогда, когда, идя от смысла, руководствуясь им как знаком, подыскиваем нужное слово, внешний знак, в идеографическом словаре для описания какого-либо предмета, см. подробнее ниже, III, 9) и предмет между знаком и смыслом. В одной из современных книг по семиотике рассматривается такая ситуация: звонит звонок, собака, приученная к этому звонку как сигналу, идет и берет мясо. В связи с этой ситуацией часто ставятся такие, например, вопросы: останется ли звонок знаком при отсутствии воспринимающей его собаки и т. п. Гораздо интереснее, однако, не этот вопрос, а парадокс самой ситуации. В самом деле, если следовать принятому

нами определению знаковой системы как системы-посредника между двумя другими материальными системами (см. III, 1), то посредником (знаком или знаковой системой) оказывается в данном случае не звонок, а собака: ведь именно собака связывает звонок и мясо как разные концы одной цепи. Этот вывод не покажется теперь, после обобщения треугольника Фреге, таким уж парадоксальным. Вполне реальный смысл знака в этой ситуации собака может иметь также, например, для внешнего наблюдателя всей системы, скажем, для экспериментатора, сидящего за звукопроницаемой перегородкой, когда, не слыша звонка и не видя мяса, но видя, что собака поднялась и делает определенные движения, он заключает, что прозвенел звонок и мясо подано, или для служителя, который не услышал звонка руководителя эксперимента, но по движениям собаки понял, что пора подавать мясо.

Сказанным не исчерпывается физический смысл обобщенного таким образом треугольника Фреге. Ведь мы сейчас ограничивались такими случаями, когда так или иначе в ситуации участвует человек, со

— 96 —

свойственным ему отражением предметов внешнего мира в сознании, «удвоением» мира. Подчеркнем теперь это удвоение, чтобы затем снять его, так как для семиотики оно — лишь частный случай.

В вершине I — денотат, вещь, предмет — есть предмет объективного мира, но в голове человека находится, разумеется, не сам предмет, а уже то или иное предварительное — до знака, до понятия — совершившееся отражение (это отражение есть или непосредственное восприятие, например, какого-то круглого предмета для случая «шарик», или представление о нем). В вершине III — понятие — есть результат работы мозга и результат совершившегося обобщения знания о предмете, т. е. тоже особое отражение, но за этим отражением стоит сам материальный мозг, он-то и есть та материальная, другая система, которую знак связывает с первой системой — объективным миром. Наконец, сам знак, и это мы уже достаточно выяснили, может быть как звучащим (фонетическим) или писанным словом, так и любым другим материальным предметом, и, конечно, в любом случае вторично отражаться в сознании (в виде представления о звучащем слове и в виде правил производства слова, его «порождения»). Итак, в каждой вершине треугольника Фреге за идеальными явлениями — явлениями отражения в сознании человека — стоят материальные явления:

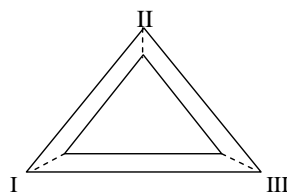


Рис. 10

Теперь мы и понимаем, какой физический смысл может иметь обобщенная схема Фреге, то есть какой смысл может она иметь в применении к низшим семиотическим системам, био- и этно-, рассмотренным в предыдущих разделах (II, 1; II, 2; таблица в III, 1): треугольник и там символизирует ту же тройственную связь, но только без «удвоения» связанных частей в виде их идеального отражения в мозгу, — связь по внешнему, большому, а не по внутреннему треугольнику.

Возьмем например, явление тропизма: стебель цветка изгибается под воздействием луча света, цветок поворачивается к солнцу. Первая материальная система здесь «солнце» (на схеме I); другая материальная система — «Цветок» (на схеме треугольника — III); система-по-

—97—

средник, знак (на схеме треугольника — II) — «изгиб стебля». Изгиб стебля есть и знак воздействия солнца и одновременно он есть и состояние самой второй системы — цветка, он неполностью отделен от системы, что вообще характерно для низших семиотических систем; но все-таки достаточно отделен, так как в предыдущий момент времени — до воздействия луча и в последующий момент — при перемещении солнца изгиб стебля изменится, а сам стебель сохранится. Изгиб стебля, тропизм, не случайно занял на схеме место II—III: он элементарное явление отражения в живой материи, прообраз будущего понятия. Вот, что коротко можно сказать в связи с первым обобщением треугольника.

Но и проделанного обобщения недостаточно. Треугольник Фреге можно обобщить еще и в другом отношении: придав подвижность его ребрам, позволив им сходиться. В самом деле, вернувшись к примеру со словом «Шарик» как кличкой собаки, мы можем представить себе схему этого случая как предел сближения стороны СВ («слово» — «вещь») и стороны СП («сдво» — «понятие»):

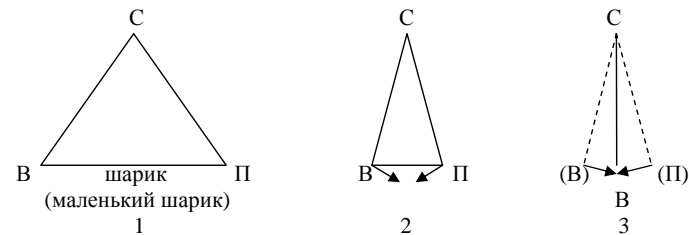
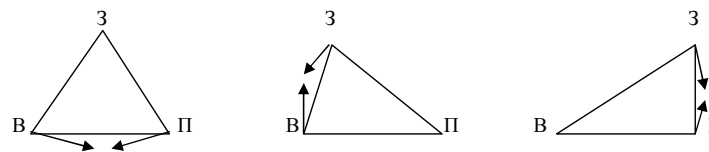


Рис. 11

Такое сближение должно, конечно, иметь место попарно для всех сторон треугольника, и при каждом сближении (совмещение сторон, подобное случаю с кличкой Шарик, нужно представлять себе лишь как предел сближения) мы будем получать соответствие какому-либо из реальных известных типов в гамме семиотических систем (см. таблицу в разделе III, 1). Для краткости это можно обобщить в схеме совмещения сторон.

—98—



Обобщение треугольника Фреге путем совмещения сторон. Денотат (вещь) — В — сближается с понятием (десигнатом или концептом денотата). Процесс имеет место в абстрактных семиотиках типа символической (математической) логики. Знак (3) сближается с вещью (денотатом). Процесс имеет место в семиотике человеческих жестов, поз и т. п. (поза есть и сам факт физического положения тела и может выражать нечто), а также на еще более низких ступенях знаковости (тропизмы, этограммы; см. таблицу на стр. 91). Знак сближается с понятием (десигнатом) — П. Процесс имеет место в явлениях так называемых «сигнатур» и «панзнаковости» (подробнее см. ниже, III, 9). А если принять во внимание и «первое обобщение» треугольника, то есть то, что место понятия и знака может занимать реакция организма, например, изгиб стебля, тропизм, то этот процесс имеет место и в низших семиотических системах.

Рис. 12

3. Треугольник Фреге.

Формализация — «лямбда»- и «йота»-операторы

В предыдущем параграфе, применив мысленную операцию «вращения треугольника Фреге», мы видели, что сущности, обозначенные в его вершинах, —

материальный знак, его денотат, его концепт (смысл, сигнификат, понятие) — могут как бы меняться местами, сохраняя свои сущностные обозначения. Скажем, обозначаемый предмет, обычно выступающий денотатом знака, может стать знаком для некоего понятия; напротив, в другом случае, знаком может стать понятие, к которому подбирается некоторый предмет-денотат; сам знак может стать предметом обозначения для того же знака (при так называемом «автонимном» употреблении слова: «Человек состоит из 7 букв») и т. п.

Г. Фреге показал, что в естественных языках наряду с обычным, или прямым, употреблением имени (нем. *gewöhnlich*, англ. *ordinary*), возможно еще и косвенное (нем. *ungerade*, англ. *oblique*), когда денотатом имени становится то, что было смыслом (сигнификатом) при прямом употреблении, так в предложении «Шлиманн искал местоположение Трои». Представим себе такую ситуацию: где-то в труднодоступной пересеченной местности, среди похожих и трудно различимых участков Шлиманн искал известное ему место, стараясь только отличить его от других похожих мест, т. е. как бы искал потерянное им место. В такой ситуации слова «местоположение Трои», — а это сложное имя, — имели

бы обычный смысл и обычный денотат — «некоторое положение не урстности». Одняко ситуация, к которой относится данное выказывание — иная: Шлиманн искал неизвестное ему место, которое Подходило бы под определение «быть местоположением Трои»; выделенные слова в этом случае имеют денотатом то, что является смыслом в первом случае. Рассмотрев этот пример, А. Чёрч («Введение в математическую логику». Пер. с англ. Т. I. М.: Изд. иностр. литер., 1960, с. 345, здесь и далее стр. по этому изд.), делает тонкое замечание: «Отношение, существующее между Шлиманном и концептом, выражаемым именем „местоположение Трои“, не передается глаголом „искать“, и употребление этого глагола может ввести в заблуждение». Действительно, «обращения», подобные только что рассмотренному (смысл имени становится его денотатом), связаны с глубинным строением всего высказывания, в котором такое имя употреблено, — и поэтому мы вынесем их для рассмотрения в специальный раздел части III настоящей книги (ч. III, Гл. I, 3), где собраны различные случаи отношения между «логическим» и «историческим», т. е. формальной логикой и реальными историческими языками.

Для темы же данного раздела, о формализации, нам важно то общее, о чем говорят рассмотренные выше примеры, а именно: сущности, обозначаемые вершинами треугольника Фреге, включают в себя некоторые свойства, которые могут быть отвлечены от них и представлены в более абстрактной форме. В этом и заключается в данном случае процесс формализации. Мы представим его в системе Чёрча, по его названной книге.

Начнем сначала со своего (семантически довольно грубого) примера. Русское слово *наконечник* в соответствии со своей формой — «предмет (о чем говорит суффикс *-ник*), надеваемый на конец чего-то, на какой-то другой предмет (о чем говорит *на-конец/ч-*)» раскрывает свой смысл. Исходя из этого смысла, как мы только что его описали, мы можем искать денотат данного имени. Для естественного языка так будет во всех случаях для слов, имеющих четкую форму, т. е. для производных слов, построенных по четкой, действующей словообразовательной модели, что можно обобщить в следующем формальном утверждении:

денотат имени есть функция смысла имени, или:

денотат имени $N = f$ (смысл имени N)

(Чёрч, указ. соч., с. 27).

Что касается формализованных языков, то (если язык фиксирован) так будет обстоять дело всегда, в общем случае. Это и позволяет выделить ту компоненту смысла (подобную «серебристой» компоненте певческого голоса), от которой зависит определение (нахождение) денотата, т. е. выделить саму функцию f . Она получила название «присоеди-

ненной функции данной формы», — т. е. присоединенной к тому выражению, которое стоит в записи справа от нее. Для ее обозначения используется греческая буква λ «лямбда», справа от которой пишется обозначение свободной переменной, например, x , входящей в данную сингулярную форму (сингулярной называется форма, содержащая одну, единственную свободную переменную). Таким же образом «лямбда-оператор» может быть приписан и константам формализованного языка. Поскольку в математике собственные имена чисел являются константами, то, например,

является обозначением для функции, область определения которой состоит из всех действительных чисел и значением которой для всех аргументов является 2 (Чёрч, с. 28, 355).

Подобным же образом можно выделить компоненту самого знака, несущую описание (ср. выше описание, содержащееся в слове *наконечник*). Этот оператор, так называемый оператор дескрипции, или «йота-оператор», обозначается перевернутой греческой буквой йота — ι . В этом случае, приписывая слева к форме (ix), мы получим имя этого значения переменной x (читается: «тот x , который») (Чёрч, с. 43).

Наконец, и это может быть, самое важное, понятие знака необходимо обобщить и для протекающего времени. В самом деле, одно и то же утверждение, как один и тот же знак, данные в разное время, могут быть утверждениями о разных вещах и знаками разных вещей. Но это обобщение невозможно проделать на статичной схеме треугольника Фреге, и мы отложим его до одного из следующих разделов (Б. 10). Пока же придадим форму определения тому, что нам удалось обобщить до сих пор. Знаком будем называть всякий элемент знаковой системы, структура которого есть треугольник Фреге с возможными изменениями ее по одному из двух типов: а) «обобщение треугольника Фреге путем вращения», б) «обобщение треугольника Фреге путем сближения сторон» или по обоим типам одновременно.

Это определение является достаточно общим, во всяком случае, покрывает те типы знаков, которые рассматриваются в этой книге. Признак времени в определении знака будет, как уже сказано, введен дополнительно ниже (Б. 10) [8—9].

4. Иерархическое строение

В общем виде закон иерархии проявляется в том, что всякой семиотической системе может быть сопоставлено две других системы, одна — низшего порядка, другая — высшего порядка по отношению к данной. Гамма классификации (Ш, 1) иллюстрирует этот общий закон.

101

Очень важный частный случай этого закона касается семиотических систем, действующих в человеческом обществе и объединенных в одну группу тем, что они действуют в человеческом коллективе, тогда как другие системы действуют в различных других коллективах организмов. Тут отношения семиотических систем более

тесные, и одна не просто выше или ниже другой на иерархической лестнице, но одна служит сверх этого либо кланом выражения, либо планом содержания другой. Рассмотрим сначала эти отношения попарно и на подробных примерах, а потом сведем все в общую картину.

Представим себе сначала упрощенный человеческий язык, в котором знаки-слова имеют только по одному «главному» значению (о том, что такое главное значение, подробно говорилось выше: II, 3). Такой язык до некоторой степени существует в действительности, поскольку в каждом реально существующем естественном языке у каждого слова есть хотя бы одно значение, мы как бы и отсекаем все непервые, неглавные значения, оставляя за каждым словом придуманного нами языка только по одному, главному значению. Такой язык не имеет синонимов (и это опять-таки опирается на реальность, потому что, как мы видели в разделе «Лингвосемиотика», развитые синонимические отношения соединяют неглавные значения слов), а поэтому не имеет и стилистики. Он весь лежит в «явном уровне»: все, о чем говорится, названо прямо и определено одним каким-нибудь словом. В таком языке его элементы-знаки состоят из того, что означает — содержания, мысли, «означаемого» и того, чем это содержание означает — из «означающего».



Рис. 13

Обычно знак схематизируется в виде круга, разделенного пополам, одна половина которого символизирует означаемое, другая — означающее. Для данного примера схема будет такой:



Рис. 14

102

Пользуясь таким языком, говорящий просто приводит свою мысль о предмете (означаемое) в соответствие с означающим.

Представим себе теперь, что мы усложнили этот язык, то есть просто приблизили его к естественному реальному языку: включили в круг значений каждого слова, кроме единственного, главного, значения, еще и другие, неглавные. Эти неглавные значения разных слов, тотчас, как это и имеет место в действительных языках, вступили друг с другом в отношения синонимии (см. II, 3), для одного означаемого появилось несколько означающих. Например, у слова *лицо* появился грубый синоним *морда*:

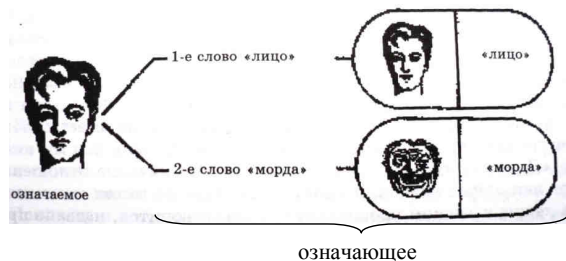


Рис. 15

Пользуясь этим усложненным языком, говорящий, прежде чем сказать то, что говорил в первом случае, должен выбрать означающее: или «лицо» или «морда». Предположим, что он выбрал «морда». В таком случае устройство знака усложняется: прежний знак «морда», состоящий из означающего и означаемого, начинает целиком играть роль только одной стороны, — означающего, в новом, более сложном знаке:



Рис. 16

Новый сложный знак принадлежит, с одной стороны, к «явной культуре», поскольку все знающие данный язык понимают и осознают, что вновь употребленный новый знак «морда» означает «лицо», а не морду животного которой у человека не может быть. С другой стороны, новый сложный знак принадлежит к «неявной культуре», поскольку знаком здесь делается, и это важно подчеркнуть, не слово «морда» в новом значении (ни при каких обогатительствах это слово не могло бы получить такой

выразительности, просто добавив новое значение к своему списку значений), а самый факт выбора одного слова из двух, отбрасывание слова «лицо» столь же важно, сколько и использование слова «морда». Выбор слова «морда» для обозначения лица может означать: а) некультурность говорящего, б) грубость говорящего. Принадлежность нового знака «неявной культуре» может быть схематизирована следующим образом:



Грубость говорящего, желание оскорбить –
означаемое в неявной культуре

Рис. 17

Неявный уровень употребления знаков (а это и есть стилистика языка) изучается в особой отрасли языкознания, которая также называется стилистикой (Точно такое же двойное значение имеют термины «грамматика», «семиотика» (см. прим. 54 к гл. II), хотя очень часто предметом стилистики ошибочно считают только употребление сложных знаков в явном уровне: например, просто замещение слова «лицо» словом «морда»; как переносное значение и т. п.) и есть дело ученых-стилистов (см. II, 3).

Таким образом, стилистика языка это: а) неосознанный, неявный уровень употребления языка; б) стилистика состоит из знаков знаков, это язык на второй ступени знаковости; в) стилистика вообще есть только там, где есть возможность выбора. (Это несколько не противоречит тому, что писатели, лекторы, агитаторы сознательно и тщательно выбирают

часть своих средств выражения, в отличие от других людей у них стилистика осознанная.)

Итак, язык в целом, со всей его лексикой (но без развитой системы синонимов) и грамматикой служит одним планом, а именно планом выражения для стилистики. Планом же содержания стилистики являются все те «оттенки» значений, которые, мы видели, при этом выражаются, например «грубость говорящего», «некультурность говорящего» или, напротив, «деликатность говорящего», «его высокая образованность» и т. д. и т. п. Все эти оттенки называются в семиотике «коннотаты» (от англ. слова

connote — «соозначать», от этого термина и весь неявный уровень употребления языка называется иногда «коннотативным», см. таблицу в III, 1).

Стилистика одного какого-либо языка может изучаться и с иной точки зрения, в сопоставлении со стилистикой другого языка, то есть по отношению к каждому языку «извне». Это предмет особого раздела семиотики — сопоставительной стилистики, или внешней стилистики. Общий принцип сопоставительной стилистики такой: сначала изучают все выборы, которые регулярно, обычно, «типично» делают в своей речи все люди, говорящие на данном языке, пытаются установить общую тенденцию этих выборов, а затем сравнивают эти данные с аналогичными данными, полученными из наблюдений над другим языком. Например, сопоставительная стилистика французского и немецкого языков приводит к таким выводам: немецкий язык идет от факта к идее, а французский от идеи к факту. Точнее, говорящий на французском языке сначала как бы видит факт, затем составляет суждение о нем и, наконец, выражает этот факт через составленное суждение. Таким образом, читателю или слушателю приходится проделывать обратный путь от выдуманного суждения к факту. «Когда француз говорит *ce potage est bon — суп вкусный* или *c'est la guerre — ничего не поделаешь — война!*, то немец передает это с описанием действия: *Die Suppe schmeckt gut* и *So geht es nun mal im Kriege her*» [10].

Из сопоставительной стилистики русского и французского языков выясняются следующие яркие особенности.

Если можно выбирать между тем, какой предмет сделать подлежащим своего высказывания, то французы предпочитают сделать подлежащим тот предмет или то лицо которое реально действует, а русские — тот предмет или лицо, которое конкретнее.

Русск. *Особенно бросалась в глаза эта картина.*

Фр. *On regardait surtout cette toile* буквально «Особенно рассматривали эту картину».

Русск. *В катастрофе пострадало 5 человек.*

Фр. *La catastrophe a fait 5 victimes* буквально «Катастрофа сделала пять жертв».

Если возможен выбор между активно действующим предметом и действующим лицом, то по-французски предпочитается лицо.

Русск. *Дверь хлопнула меня по носу, или меня хлопнуло дверью по носу.*

Фр. *J'ai reçu la porte au nez* буквально «Я получил дверь в нос».

Если возможен выбор между двумя действующими лицами, то по-французски предпочитается то, о котором вообще идет речь в данной ситуации, — «главный персонаж».

Русск. *Кто-то ей говорит...*

Фр. *Elle s'entend dire par quelqu'un. ..* буквально «Она слышит, как ей говоримо кем-то».

Русск. *Прическу ей сделал очень хороший парикмахер.*

Фр. *Elle s'est fait faire la coiffure par un tres bon coiffeur* буквально «Она велела себе сделать прическу хорошим парикмахером».

Русск. *Ей сделали операцию.*

Фр. *Elle s'est fait opérer* буквально «Она заставила прооперировать себя».

Русск. *Надо, чтобы дети уехали.*

Фр. *Il faut faire partir les enfants* буквально «Надо заставить детей уехать».

Русск. *Пусть кто-нибудь отнесет это письмо.*

Фр. *Il faut faire porter la lettre par quelqu'un* буквально «Надо сделать письмо относимым кем-либо» и т. д. и т. п.

Эту особенность можно назвать «субъективностью» или «эгоцентризмом» французского высказывания [11].

В каждом языке имеются разные способы выражения, и говорящие обычно и регулярно предпочитают лишь один из них, оставляя другие почти без употребления, но этот факт остается, во-первых, ими самими совершенно не осознанным и, во-вторых, сам выбор как бы почти и не имеет места (поскольку второй возможный способ выражения почти никогда не выбирается). Но этот факт делается предметом стилистики, как только наблюдатель пересекает языковую границу и обнаруживает, что в другом языке при наличии таких же двух способов выражения предпочитается и выбирается как раз другой. (Ср. выше французские, русские и немецкие примеры: при желании по-французски можно было бы сказать, как по-русски, а по-русски можно было бы сказать, как по-французски и т. д.) Сопоставительная стилистика подводит к тем же вопросам, какие поставила этносемиотика: к «парадоксу сопоставительной стилистики», к вопросу о месте наблюдателя и о языковой относительности (см. гипотезу Сепира—Уорфа), а значения — «коннотаты», выражаемые стилистикой, входят в неявную культуру как одна из ее частей (см. гл. I и II, 2).

Таким образом, стилистика языка оказывается планом выражения более широкой знаковой системы, основанной на языке, но имеющей своим содержанием неявный уровень индивидуальной, коллективной и национальной психики и культуры. Эту знаковую систему можно также назвать семиотикой.

Итак, язык в целом служит планом выражения для семиотической системы, семиотики более высокого яруса — стилистики, а стилистика служит планом выражения для семиотики еще более высокого яруса — внешней стилистики, или семиологии.

Можно пойти от языка и в другую сторону. Если описывать в общей (т. е. формализованной) форме общие языковые отношения (см. об этом раздел II, 4), то мы получим «алгебру языка», или, что то же самое, какой-либо вариант структурной лингвистики. Таким образом, язык в целом будет для нее предметом описания, или планом содержания. Планом же выражения будет та система символов, подобная системе символической логики, которая избрана в качестве формы этой структурной лингвистики.

Та или иная структурная лингвистика, «алгебра языка», является планом содержания символической, или математической, логики (это семиотическое соотношение несколько не меняется оттого, что символическая логика в некоторых своих вариантах, например алгебра Буля, была создана задолго до исторического появления структурной лингвистики; структурная лингвистика лишь заняла уже приготовленное ей место).

Наконец, сам язык имеет, как мы знаем, план выражения — фонемы и звуковые оболочки слов и морфем (см. II, 3) и план содержания — совокупность значений слов и значений грамматических категорий. Поскольку эти значения так или иначе связаны с предметами внешнего мира, называемыми денотатами, язык называется денотативной семиотикой (и так же называется соответствующая клетка в таблице. — III, 1). План выражения языка сам построен по семиотическому принципу, так как фонемы в совокупности составляют план выражения, а звуковые оболочки морфем и слов их план содержания, то есть значение фонем; значение фонемы заключается в отличии звуковой оболочки одного слова от звуковой оболочки другого (а уже звуковые оболочки в целом выражают смысл слова) [12].

Сказанное можно обобщить в такой схеме (рис. 18).

Примечания к схеме. Сначала несколько мелких разъяснений. Стрелки надо понимать так: стрелка от кружка «Язык» к кружку «Стилистика» с надписью на ней «План выражения» означает, что язык является планом выражения для стилистики. Выражение «Одна из алгебр языка» означает, что таких алгебр может быть много (см. выше, раздел II, 4) [13], что они могут быть обобщены в какой-либо из математических логик (которых в настоящее время также известно несколько

ко), а эти логики могут быть обобщены в каком-либо из более общих разделов математики; не желая вдаваться в чисто математическую сторону вопроса о том, в каком именно разделе математики происходит это обобщение и как этот раздел называется, мы назвали его на данный случай, чисто условно, «математическим метаязыком». Далее, поскольку схема является обобщением принципа иерархии, она позволяет сделать и некоторые общие выводы из этого принципа.



Прежде всего следует сказать, что эта схема обобщает различные другие схемы, которые даются в разных местах этой книги как до, так и после нее. Так, если обойти центральный треугольник, начиная с точки «Математический метаязык» — «Структурная лингвистика» — «Язык» — «Стилистика» — «Семиология», то мы получим клетки X—IX—VIII—VII таблицы «Основных типов знаковых систем» (III, 1). Линия «Звуковые оболочки морфем и слов» — «План содержания языка (денотаты)» — «Коннотаты» — «Неявная культура» показывает общий объем науки о языковых значениях (семантики или семасиологии) и к тому же в том именно порядке, в каком эта

наука исторически развивалась (см. выше I, 2). Линия «Фонемы» — «План выражения языка» — «Одна из алгебр языка» — «Математический метаязык» по-

казывает общий объем формальных приемов описания языка и притом также в том именно порядке, в каком они исторически развивались (известно, что первые опыты последовательно формальных приемов описания были выработаны первоначально для фонологии). Различные треугольники, например, треугольник «План выражения языка» — «План содержания (денотаты)» — «Язык» — это частные случаи так называемого «треугольника значений» (см. об этом выше — «Треугольник Фреге», III, 2 и прим.).

Наконец, если мы перегнем схему по центральной оси симметрии, мы увидим, что каждому типу языковых значений в правой крайней линии большого треугольника соответствует определенный тип формального способа описания в левой линии, например, коннотатам — одна из алгебр языка, неявной культуре — одна из символических логик. В действительности мы находим некоторые такие совпадения осуществившимися в научной практике. Что касается приема «совмещения планов», как здесь при сгибании схемы, то о нем см. также ниже (III, 11, 12).

Ввиду иерархического строения семиотик, было бы очень желательно, и это вполне осуществимо, иметь какой-либо единообразный способ называния от принятой точки отсчета, например, от уровня № 1 на схеме или от уровня № 3 каждого следующего уровня (его можно было бы назвать «рекурсивным правилом»). Однако в настоящее время такого правила не существует. В математике принято называть язык, описывающий другой язык, метаязыком (от греческого слова «мета» — «после, по ту сторону»). Можно было бы воспользоваться этим приемом и называть каждый следующий от точки отсчета уровень, присоединяя приставку «мета», например (следите по схеме): язык есть семиотика (нестрогая и не нестрогая, и та, и та другая одновременно, в разных отношениях, т.е. просто «семиотика»), структурная лингвистика есть «строгая метасемиотика», математический метаязык — «строгая метасемиотика»; стилистика есть «нестрогая метасемиотика»; семиология — «нестрогая мета-метасемиотика». Но называние ярусов, низших по отношению к языку (на схеме они расположены выше точки «Язык»), составит трудности [15].

В том участке гаммы семиотических систем, которые существуют в человеческих коллективах и которые представлены на разобранной выше схеме, иллюстрирующей

иерархию (III, 4), закон иерархии проявляется и еще в одном частном виде: иерархия проявляется в том, что всякий класс семиотических элементов (знаков) в свою очередь составляет элемент высшего класса. Поскольку это так, то при описании семиотической системы это свойство отражается в описании как свойство саморасширяемости описания: правила построения описания для одного яруса применимы и ко всем другим ярусам. Мы только что столкнулись с частным случаем принципа саморасширяе-

мости на примере называния семиотик. Другой пример: общий принцип соотношения вариантов фонемы, фонов, с самой фонемой тот же, что для соотношения вариантов морфемы, морфов, с самой морфемой, а поэтому при описании до известных пределов верна пропорция — фон : фонема=морф : морфема (см. II, 3).

Наконец, совершенно в другом отношении иерархия проявляется в виде закона эквивалентности.

5. Иерархическое строение в свете философии

Принцип иерархического строения получил у нас «собственное имя» — как «принцип Паскаля» (см. Введение ко всей книге). Но, раз подметив, мы обнаруживаем его и у некоторых других философов под другими названиями или вообще без названия.

Вл. Серг. Соловьев (1853—1900) развивает этот принцип в своем сочинении «Оправдание добра. Нравственная философия» (1894—1897 гг.). Предварительно нужно заметить, что термин «оправдание» употреблен здесь, конечно, не в бытовом смысле, — ведь никто не «обвиняет» добро. Он создан Соловьевым по аналогии с термином «теодицея», букв. «оправдание Бога», который в свою очередь был Изобретен Лейбницем для его трактата «Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» (1710 г.). И вопросы обоих трактатов в значительной степени пересекаются.

Точка зрения Вл. Соловьева уясняется особенно из гл. 9 его трактата «Действительность нравственного порядка» (в ней разд. IV), из которой приведем по необходимости длинную выписку. «Взаимоотношение между основными типами бытия (которые являются и главными ступенями мирового процесса) не исчерпывается тем отрицательным фактом, в силу которого эти типы, имея каждый свою особенность, несводимы один к другому: между ними есть прямая связь, дающая положительное единство и всему процессу. Это единство (внутреннее существо которого мы не можем

здесь исследовать) открывается с трех сторон: во-первых, в том, что каждый новый тип представляет *новое условие*, необходимое для осуществления высшей и окончательной цели — действительного явления в мире совершенного нравственного порядка, Царства Божия, или «откровения свободы и славы сынов Божиих» (Соловьев ссылается здесь на мысль ап. Павла: Рим. 8, 14—21. — *Ю. С.*). Для того чтобы достигнуть своей высшей цели, или проявить свое безусловное значение, существо должно прежде всего *быть*, затем оно должно быть *живым*, потом — *сознательным*, далее — быть *разум-*

110

ным и, наконец, — уже совершенным (Вл. Соловьев использует здесь классификацию Аристотеля, изложенную в виде «древа Порфирия», — см. подробнее в этой книге, ч. III, гл. II, 2.). Дефективные понятия небытия безжизненности, бессознательности и неразумности логически несовместимы с понятием совершенства. Конкретное воплощение каждой из положительных степеней существования и образует действительные дар. ства вселенной, так что и низшие входят в нравственный порядок как необходимые условия его осуществления.

Но этим инорументальным отношением (явная, данная в опыте) мировая связь не исчерпывается: низшие типы сами тяготеют к высшим, стремятся их достигнуть, имея в них как бы свой предел и свою цель, в чем также обнаруживается целесообразный характер всего процесса (самое наглядное проявление этого стремления есть уже указанный факт человекообразности обезьяны). Наконец, положительная связь постепенных царств в том, что каждый тип (и чем далее, тем полнее) обнимает собою или в к л ю ч а е т в с е б я (разрядка моя. — *Ю. С.*) низшие, так что мировой процесс не есть только процесс развития и совершенствования, но и *процесс собирания вселенной*. Растения физиологически вбирают в себя окружающую среду (неорганические вещества и физические воздействия, благодаря которым они питаются и растут); животные сверх того, что питаются растениями, и психологически вбирают в себя (в свое сознание) уже более широкий круг соотносящихся с ними, через ощущения, явлений; человек, кроме того, разумом в к л ю ч а е т в с е б я (разрядка моя. — *Ю. С.*) и отдаленные, непосредственно не ощущаемые круги бытия, он может (на высокой степени развития) обнять все в одном или понять смысл всего; наконец, богочеловек, или суший разум (Логос), не отвлеченно только понимает, а в действительности осуществляет смысл всего, или совершенный нравственный порядок, обнимая и связывая все живую личною

силой любви. Высшая задача человека как такового (чистого человека) и чисто человеческой сферы бытия состоит в том, чтобы собирать вселенную в идее, задача богочеловека и Царства Божия состоит в том, чтобы собирать вселенную в действительности» (В. С. Соловьев. Соч. в 2-х томах. Т. I. М.: Мысль, 1988. С. 274—275).

В этом рассуждении Вл. Соловьева проходит также — если выразить ее в современных терминах — мысль о том, что в процессе эволюции «типов», или «царств бытия» (как он их называет), происходит высвобождение, «эмансипация», информации, информационного взаимодействия, из взаимодействия материального, — см. также здесь в Примечаниях к этому разделу.

Информация может рассматриваться и в плане познания, «информация как познание». Именно так рассматривал весь этот вопрос Паскаль (1623—1662), и мы можем вернуться здесь к «принципу Паскаля» в его первоначальной формулировке. Мы находим ее в довольно

111

развернутом виде в знаменитом «Предисловии к Трактату о пустоте» (1647 г.) («Préface pour le Traité du vide» (Pascal. Œuvres complètes. Bibl. de la Pleiade. P.: NRF, 1954. P. 529—535]). Пафос этого Предисловия состоит в том, чтобы противопоставить мнениям, основанным на «авторитете», — идет речь об авторитете античных философов, — суждения, основанные на данных опыта и научного обобщения, — причем последние предстают как накапливаемые, аккумулируемые на протяжении веков. Интересно, что Паскаль употребляет здесь тот же термин «degrés» — «степени», что и Соловьев в русском варианте. Паскаль, в частности, говорит: «Странно, что уважение к ним (к предшествующим мыслителям, к «авторитетам». — *Ю. С.*) проявляется таким образом. Считается преступлением спорить с ними и преступным замыслом — добавлять нечто новое к оставленным ими знаниям, как будто бы после них не остается уже и истин для открытия. Но ведь это значит обращаться недостойно с разумом человека, уподоблять его инстинкту животных, лишая их основного различия, состоящего в том, что результаты работы разума непрерывно прирастают, в то время как инстинкт пребывает постоянно на одном уровне. Пчелиные соты в ульях были так же точно размерены и тысячу лет назад, как и теперь, и каждая ячейка имела точно такую же строго шестигранную форму при первой постройке, как и в наши дни. (...) Не так в знании у

человека, которое производится лишь в соображении бесконечности (pour l'infinité). Он пребывает в незнании в первый период своей жизни, но непрерывно образовывается по мере своего развития, поскольку он извлекает пользу не только из собственного опыта, но и из опыта своих предшественников, поскольку он хранит в памяти и приобретенные знания, и те, что передаются ему от предшественников благодаря книгам. [...] Отсюда и происходит то, что, в силу особой прерогативы, не только каждый отдельный человек день ото дня продвигается в познании, но и все люди вместе совершают непрерывный прогресс по мере того, как увеличивается возраст мира, потому что то же самое происходит в поколениях людей, что и в различных периодах жизни одного человека. Таким образом, вся череда людей, на протяжении стольких веков, должна рассматриваться как один и тот же человек, существующий всегда и непрерывно усваивающий знания... (doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement) (р. 533—534). (В смысле «существует» Паскаль употребил не глагол «exister», означающий «существовать во времени», а глагол «subsister», несколько в данной связи двусмысленный: он означает «продолжать существовать», т. е. «все еще существует», и «существовать вне времени, идеально» — философский термин со времен схоластики.)

Здесь тема нашего философского обсуждения раздваивается: с одной стороны, подчеркивается принцип «непрерывности познания», вытекающий, как видим, из самого иерархического строе-

ним семиотических объектов: с другой стороны, выделяется, даже прямо вытекает, тезис о «гносеологическом субъекте» — субъекте непрерывного процесса человеческого познания. Мы коснемся этих тезисов здесь же в такой именно последовательности.

Первый из них был в русской философии особенно резко выражен П. Я. Чаадаевым и более того, использован им для подтверждения своего основного тезиса — об особом, ущербном положении России, вне хода европейской цивилизации. «Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. [...] Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас

совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда...» (Философические письма. Письмо первое. — П. Я. Чаадаев. Полное собр. соч. и избр. письма. Т. I. М.: Наука, 1991. С. 326). «Повторю еще раз: разумеется в странах Европы не все исполнено ума, добродетели, религии, совсем нет. Но все там таинственно подчинено силе, безраздельно царившей на протяжении столетий: все является результатом того продолжительного сцепления актов и идей, которым создано теперешнее состояние общества» (там же, с. 355). В «Письме пятом» П. Я. Чаадаев раскрывает философское (и, добавим мы, семиотическое) основание своего взгляда: «Как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно, и каждый из нас — участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков» (там же, с. 380). Благодаря этой ссылке Чаадаева, мы и обратились к Паскалю, к его «Предисловию к Трактату о пустоте» (см. выше).

Дальнейшее — о семиотической связи идей в «ряды», и о связи «вещей», осознанных как семиотические культурные объекты, также в «ряды», выносим в отдельный раздел (6, здесь ниже).

Понятие «гносеологического субъекта», как мы только что видели, и у Паскаля, и у следующего ему Чаадаева, вырастает из «принципа иерархии», или из (широкого) «принципа Паскаля». Употребляя в данном случае выражение «вырастает из», мы хотим сказать лишь то, что в рамках нашей системы семиотики-философии языка неизбежно, в силу внутренней логики этой системы, возникает понятие «гносеологический субъект», а вовсе не то, что у этого понятия не было других источников в истории философии. Его употребляет, например, неокантианец Г. Риккерт. В отечественной философии этот термин редок, но необходим, а вместе с тем еще и не до конца обоснован.

В. Зеньковский указывает, что «гносеологический субъект» есть пока «предварительное понятие», вытекающее из открытия Кантом трансцендентального материала, с одной стороны, и введения понятий «универсальный субъект», «космический ум», «мировой Логос» на основа соответствующих понятий античной философии у С. Трубецкого и, в ином варианте, у Е. Трубецкого, с другой стороны (В. Зеньковский. Основы христианской философии. М.: Изд. Свято-Владимирского

братства. 1992. С. 46). Самому В. Зеньковскому принадлежит решающий шаг в обосновании этого понятия, который мы сейчас и изложим.

Предварительно заметим, что из «принципа Паскаля» вытекают два. так сказать, «специальных варианта» этого понятия: если представлять себе процесс человеческого познания всей последовательности людей на протяжении веков как принадлежащий «одному человеку», то и «гносеологический субъект» как субъект этого познания нужно относить к этому единому человеку. Но этот «субъект» можно мыслить двумя способами: либо как субъект самого процесса, в его динамике, либо как системного хранителя знания, в его статике и системности. Система же доминирует над процессом. (Простой лингвистический аналог: каждый отдельный человек является подлинным субъектом — производителем своей речи, но речь возможна лишь на основе я з ы к а, по отношению же к языку — как системе, в отличие от речи — процесса — нельзя сказать, что каждый человек является его, языка, субъектом; язык есть в этом смысле нечто надсубъектное, или интерсубъектное.)

В. Зеньковский исходит из общепризнанного со времени Декарта тезиса: «Разум индивидуален в его эмпирическом явлении, но он не вмещается в пределы индивидуального сознания, он шире его, т. е. он и не принадлежит индивидуальному сознанию (хотя только в нем и являет себя)» (с. 43 указ. изд.). Исходя из этого, Зеньковский показывает, что в истории философии развивались два понятия «субъекта разума» (соот ветствующие тем двум возможностям, о которых мы только что выше сказали). С одной стороны, начиная с Платона, вплоть до Плотина в греческой философии развивалось учение о «κόσμος νοετός» («космос умопостигаемый, осмысленный») как вместилище идей, но не было понятия субъекта этих идей. Но уже у Платона, особенно в диалоге «Парменид», вскрываются уже диалектические взаимоотношения в мире идей, «что ясно говорит о какой-то „жизни идей“, об их включенности в какую-то „живую систему“». Со II в. до н. э. к этому присоединилась концепция, согласно которой идеи — это «мысли Божии», которая стала быстро утверждаться благодаря главным образом Филону. «Но, — заключает этот вопрос Зеньковский, — все это движение мысли касалось вопроса об идеях, вопроса об их метафизической основе, — а как же быть с вопросом о том, где искать субъекта познания?» (с. 44). Уйти здесь от онтологической темы, справедливо считает

Зеньковский. оставаясь только в рамках гносеологии, — нельзя. «Тот сдвиг в анализах, который связан

с учением кн. С. Трубецкого о „соборной природе человеческого сознания“, важен потому, что он указывает нам, в каком направлении должны производиться поиски „онтологии познания» (с. 46). «Ясно, однако что движение здесь идет таким образом в сторону понятия „всечеловеческого единства“, — сюда должно идти и наше дальнейшее исследование» (с. 47).

Результат этого исследования суммарно может быть представлен так: «Общечеловеческое единство» (как то онтологическое «место», где мы ищем «субъекта разума) не может быть понимаемо в смысле «подобосущия» (термин тринитарного богословия): если индивидуальные умы только «подобны» один другому — а без «подобия» не были бы возможны и общие для всех трансцендентальные основы, то чем же обуславливается само их «подобие»? Основы их единства надо искать за пределами индивидуального сознания. Их (основы) можно объяснить лишь с помощью понятия *единосущия человечества*. Это понятие В. Зеньковский разъясняет, пользуясь аналогией с понятиями тринитарного богословия (ход совершенно верный, так как в последнем достигнут такой уровень концептуального анализа, который неизвестен в других направлениях мысли). «„Единосущие“ человечества не зачеркивает факта индивидуальных сознаний, *многостасности* человечества. Каждое индивидуальное сознание обладает некоей основой своего своеобразия, своей „отдельности“, и это начало ипостасности, непроемное и ни из чего не выводимое, должно быть признано *метафизически* устойчивым, неразрушимым, бессмертным. Но самое понятие ипостаси *не должно быть абсолютизировано*. [...] Источник единства разума должен быть понимаем в реальном соотношении единства человечества с началом ипостасности — т. е. немислим вне его многоипостасного бытия, как немислима и обратно ипостасность в человечестве вне его единой сущности (всечеловечества). Ясно однако, что неверно и не нужно *ипостазировать эту единую сущность* — она является сущностью лишь для ипостасей. Коррелятивность этих понятий есть и их взаимозаменяемость» (с. 47). «Значит „субъект“ разума, искомый нами, и заключается в *этой метафизической связанности „единой сущности“ и многостасности всечеловечества»* (с. 48), «субъектом разума является

нерасторжимая связь единой сущности человечества и его многоипостасного эмпирического бытия» (там же).

Суть у В. Зеньковского изложена прекрасно, но метод оставлен в тени. Чтобы уделить внимание методу, обратимся к самому обычному, т. е. словарному, определению: «Современная западная философия. Словарь» (М.: Изд. полит, литер., 1991, с. 306): *трансцендентальный* — относящийся к априорным (вне-опытным или до-опытным) условиям возможности познания. [...] По Хайдеггеру, Т[рансцендентальный] уровень рассмотрения — важнейший шаг на пути к онтологической постановке вопроса. Трансцендентальное познание исследует „возможность

115

понимания бытия“, бытийственное устройство сущего, оно затрагивает тем самым „переход (трансценденцию) чистого разума к сущему“, тогда как онтологическое познание исследует „саму возможность этой трансценденции“» (автор словарной статьи — В. С. Малахов). Мы видим здесь типичный фрагмент общего метода: одна часть затрагивает «возможность (того-то и того-то)», а другая, следующая часть — «возможность этой возможности». Это — подход рекурсивный, или итеративный, вытекающий из самой природы семиотической иерархии. Уже до этой причине мы вынесем его в отдельный раздел.

6. Иерархическое строение. Формализация и методы

Выше, в разделе 4 (стр. 82 и сл. и рис. 18), мы видели, каким образом язык, в том или ином его ярусе, служит либо средством описания другого его яруса (или другого языка), либо, напротив, содержанием для яруса или языка, которые выступают средством описания этого содержания как предмета описания.

Упомянутые явления иерархии и саморасширяемости семиотических систем были в первом варианте формализованы Л. Ельмслевом, представителем Копенгагенского лингвистического кружка и его главой, в знаменитой работе «Пролегомены к теории языка» (1943 г. — по-датски, 1953 г. — по-английски, 1960 г. — в русском переводе Ю. К. Лекомцева — «Новое в лингвистике», вып. 1. М.: Изд. иностр. литер.). Приведенная выше схема («пирамида») основана на системе Ельмслева с нашими дополнениями, вытекающими из излагаемой здесь концепции.

Однако, как нередко бывает в семиотике, другим источником формализаций, и в некотором смысле более активным, явился научно-художественный очерк-эссе. Мы имеем в виду не столько то или иное конкретное произведение, сколько весь этот жанр — художественную практику этого нового жанра XX века. Но можно указать и конкретный полный аналог — серийное, или сериальное, построение Джона Уильяма Данна (J. W. Dunne), фрагмент его книги «Сериальный универсум» («Serial Universe», 1927) (здесь по публикации В. П. Руднева: «Художественный журнал» [Москва], 1995, №8, с. 62—65).

Один художник, сбежавший из сумасшедшего дома (что, впрочем, никак не может свидетельствовать против его замысла, — как мы увидим, замечательного), сел за работу с целью изобразить как можно полнее картину мира. Он начал с того, что изобразил на холсте пейзаж, который открывался перед ним, и пометил его x_1 (рис. 19).

Однако, закончив рисунок, он понял, что в нем чего-то не хватает, а именно — не хватает его самого, хотя он — часть мира и часть данного ландшафта. Художник отодвинул свой мольберт немного, чтобы

116

расширить поле зрения, и на увеличенной картине пририсовал себя работающего над картиной x_1 . Получившуюся новую картину он пометил индексом x_2 (рис. 20).

Но он опять остался неудовлетворен: художник, изображенный на картине x_2 , — в некотором смысле не тот художник, который писал последний уже смотрел на себя как бы извне, т. е. смотрел на художника в x_2 , тогда как художник картины x_2 смотрит извне только на художника картины x_1 . Тогда наш художник, — тот, который производит

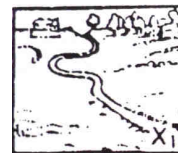


Рис. 19

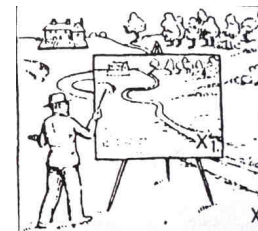


Рис. 20

Рис. 21) весь этот процесс рассуждения, сделал еще один рисунок — x_3 (рис. 21). И, разумеется, мыслящий художник опять оказался неудовлетворен. Но он понял, по крайней мере, одно: изображенный человек никогда не может быть адекватным изображением изображающего этот объект человека. Автор публикации, В. П. Руднев, склонен трактовать эту притчу широко, с чем можно согласиться: разум, который может быть описан какой-либо человеческой наукой, никогда не сможет быть адекватным представлением разума, который творит это представление. Возможен — для

корректирования этой неадекватности — лишь бесконечный сериальный процесс (если прибегнуть к рисунку, то: рис. 1 → рис. 2 → рис. 3 и т. д.).

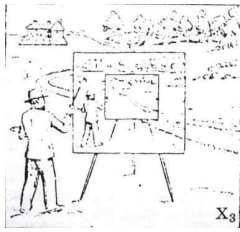


Рис. 21

Сериальное мышление Д. У. Данна (а, кроме упомянутого трактата, он написал еще «Эксперимент со временем», 1920) очень близко — в области художественных исканий — музыке нововенской школы композиторов-«сериалистов», размышлениям Марселя Пруста (см. здесь) и многих других людей искусства XX века.

В области науки с ним естественно сопоставить теоремы

Гёделя (1931 г.), а в настоящее время положения теории фракталов.

Но, поскольку наш главный предмет — язык, мы остановимся на двух аналогах сериального

мышления, точнее даже — сериального метода, ил этой области. Первый из них — работа Я. А. Слинина «Об итерированных модальностях в современной логике» (1970 г.) (далее стр. по этому изд.). Двтор обращает внимание на то, что в обычном языке утвердительное предложение (высказывание) выполняет одновременно (нерасчлененно) две функции описание (или называние) некоторой ситуации и утверждение этой ситуации как действительно существующей. Для логической точности вторая функция должна быть вычленена тем или иным особым приемом. Так, для высказывания «В Арктике живут белые медведи»:

Имеет место, что	}	в Арктике живут белые медведи.
Существует, что		
Действительно, что		

Далее Слинин обращает тот же прием к модальной логике, в которой, как известно, понятие «существует» модифицируется:

основная модальность: «существует» (p)

усиленная модальность: «необходимо существует», «необходимо, что p »

ослабленная модальность: «возможно существует», «возможно, что p »

Но высказывание «Необходимо, что p » само должно быть подвергнуто той же процедуре — вычленения «действительности существования»:

Действительно (имеет место, существует), что необходимо, что p .

«Какую же дополнительную ситуацию описывает и утверждает высказывание „Необходимо, что p “? На этот вопрос можно ответить, если считать модальность существования p (в данном случае необходимость) некоторым внешним предикатом утверждаемой ситуации p , существование которого нуждается в свою очередь в утверждении и квалификации. Другими словами, требуется еще утверждение существования самой необходимости существования ситуации p » (с. 291). — Получается возобновление (итерация) модальности «действительно, что». Таким же путем должны быть итерированы все модальности. Например, «высказывания NNp („Необходимо, что необходимо p “) и Np („Необходимо, что p “) отнюдь не равносильны, ибо первое утверждает необходимость существования необходимости ситуации p , а второе — только действительность этой необходимости. [...] NNp далее не равносильно высказыванию $NNNp$ по тем же причинам, по которым Np не равносильно NNp . И так далее. Получается бесконечный ряд итерирующихся независимых модальностей необходимости» (с. 292). Очевидно, что вывод Я. А. Слинина, как он сам это показывает, будет справедлив и относительно смешанных модальностей типа $NMMNMP$: здесь первая по сче-

ту слева модальность обладает действительным существованием, прочие — либо необходимым (знак N), либо возможным (знак M).

Я. А. Слинин не обратил внимание на одно очень существенное обстоятельство. Если высказывания Np и NNp утверждают первое — «действительность необходимости p », а второе — «необходимость этой необходимости p », то они относятся к разным мирам. И так — в каждом случае итерации модальности: всякое выражение, предшествующее союзу «что» в этом ряду, относится к иному миру, нежели выражение, стоящее после союза «что» (справа от него). Таким образом, мы подошли и с этой стороны к уже возникшему в нашем рассуждении вопросу о различных мирах.

(В качестве отступления заметим, что каждый мир, приуроченный к выражению, стоящему «левее», можно рассматривать как в некотором смысле более «широкий», т. е. включающий в себя мир, означаемый выражением, стоящим «правее». Фактически это намечает Я. А. Слинин, когда говорит, что между итерированными модальностями существует отношение подчинения: «если необходимо, что p , то p ; если p , то возможно, что p , следовательно (в силу транзитивности следования), если необходимо, что p то

возможно, что *p*. Это общеизвестное обстоятельство соблюдается во всех интересующих нас модальных системах, фигурируя в них в виде теоремы $Np \supset Mp$ (с. 290). Однако самого понятия «возможного мира», вообще понятия «мир» и тем более понятия «отношение между мирами» в этих рассуждениях еще нет. Кажется, однако, что понятие «включения» и понятие «быть более широким миром» — не единственно пригодные для описания таких отношений между мирами. Заметим еще, что под «интересующими нас модальными системами» Я. А. Слинин понимал системы Льюиса типа S_2 и подобн. [см. о них: Feys R. *Modal Logics*. Louvain — Paris, 1965, p. 43—78; 122—127. — примеч. Слинина].)

Точно такой же прием, как у Я. А. Слинина для модальностей, независимо описан для времени в работе А. А. Ивина «Логика времени» (1970 г., в том же сборнике «Неклассическая логика», отв. ред. П. В. Таванец. М.: Наука, 1970). В такой логике для характеристики положения события во времени может использоваться не только «первичный» момент соотношения — настоящее время с точки зрения оценивающего индивида, но и «вторичный» — определяемый относительно «первичного», «третичный» — определяемый относительно «вторичного» и т. д. Состояния или события при использовании таких оценок времени могут рассматриваться не только как настоящие, бывшие или будущие, но и как такие, что было, что они будут; такие, что будет, что они были; такие, что будет, что было, что..., и т. д.

Вторым формальным аналогом к итерации миров по Д. Данну может служить работа «американской школы семантики» принадлежащая Джону Роберту Россу, «О декларативных предложениях»

(J. R. Ross. *On declarative sentences // Readings in English transformational grammar* by R. A. Jacobs, P. S. Rosenbaum. Waltham (Mass.): Ginn and Co. A Xerox Co., 1970, p. 222—277, далее стр. по этому изд.). Работа Росса возникла в конце 1960-х гг. в ходе обсуждения некоторых специфических проблем трансформационной грамматики, занимавших в то время американских лингвистов. Но непосредственным импульсом для ее создания послужило открытие языкового явления «перформативов», четко определенного Дж. Остином (J. Austin) в 1962—1963 гг.

Перформатив — это речевой акт, речевое действие, высказывание, являющееся социальным поступком: «Клянусь», «Обещаю», «Нарекаю этот корабль именем „Алла

Тарасова“», «Нарекаю вас мужем и женой» и т. п. В широком смысле многие речевые акты могут быть социальным поступком, — например, публикация какого-либо произведения: «На смерть поэта» Лермонтова, «Не могу молчать!» Льва Толстого, «Я обвиняю!» Золя, и т. п. Но перформативы обладают своими особенностями: это высказывания, чаще всего в форме отдельного предложения; они произносятся от имени 1-го лица «Я», притом лица, обладающего полномочиями для соответствующего акта; последствия перформативного акта могут быть очень далеко идущими, но сам акт длится ровно столько времени, сколько длится само высказывание, и т. д.

Росс выдвинул новую гипотезу — тезис о том, что всякое декларативное высказывание тоже является перформативом своего рода, так как содержит невыраженный («глубинный») компонент — мы назовем его «синтаксическим префиксом» — «Я говорю, что», после чего следует выраженная («поверхностная») часть, — например (если взять уже использованный нами выше пример): «(Я говорю, что) В Арктике живут белые медведи». Обследуя английскую грамматику с этой точки зрения, Росс установил много новых интересных ее особенностей, — прежде всего то, что «префиксы» могут повторяться более одного раза — итерироваться. Фактически Росс выделил и итерировал ту функцию высказывания, а именно само его произнесение, говорение, которую оставил не выделенной Я. А. Слинин.

Для нас статья Росса интересна прежде всего этим ее аспектом, и мы сопоставим ее с работой Слинина. Последний, как уже было сказано выше, показал, что модальности могут итерироваться бесконечно и не «синонимично», т. е. модальность «действительно, что» может предшествовать модальности «возможно, что» или следовать за ней, и т. п. Росс же показал, что итерация собственно перформативов («Обещаю», «Клянусь» и т. п.) невозможны — перформатив ослабевает и «гасится» при первой же итерации префикса «Я говорю, что»: в самом деле, «Я обещаю» является недвусмысленным актом обещания, но «Я говорю, что Я обещаю» — вряд ли. Но перформативы в смысле Росса, т. е. «Я говорю, что», могут итерироваться бесконечно, «синонимично» (разумеется,

естественный язык кладет этому процессу естественные ограничения, но это не принципиально).

Подобно тому, как итерации в смысле Слинина порождают — каждая новый «мир», точно так же и итерации в смысле Росса являются «миропорождающими»,

особенно если они сопровождаются меной некоторых других языковых параметров, например, — «Я говорю, что Он (а не «Я») обещает». (Обратим внимание читателя на то, что термины, в которых мы проводим здесь это обсуждение, — «итерация перформатива», «мир», «миропорождающие языковые параметры» и т. д. — являются нашими, необходимыми именно для нашей темы.)

В отличие от Слинина, метод работы Росса — индуктивный: Росс просто рассматривает множество английских высказываний, содержащих один или несколько перформативов (т. е. «итерированных») «я говорю, что», а также содержащих различные другие языковые выражения (особенно местоимения типа *him, himself, themselves*), и отбрасывает те из них, которые являются с точки зрения английской грамматики неправильными или сомнительными. Правильные высказывания, по его мнению, как раз и подтверждают то, что в них имеется скрытый, «глубинный» элемент — перформатив в смысле Росса: «Я говорю, что». С точки зрения нашей темы, — это как раз те высказывания, в которых выражается «правильно построенный ментальный мир» и языковые параметры которых являются «правильно миропорождающими».

Вот несколько типичных примеров Росса — звездочка означает неправильность, а знак вопроса — сомнительность, т. е. «правильность» есть понятие градуальное:

- a. Tom believed that the paper had been written by Ann and himself.
- b. ?? Tom believed that the paper had been written by himself.
- c. ? Tom believed that Ann and himself had written the paper.
- d. *Tom believed that himself had written the paper.
- e. ? Tom believed that the lioness might attack Ann and himself.
- f. *Tom believed that the lioness might attack himself. (p. 228).

Все подобные случаи регулируются одним из правил Росса (с. 227), которое мы изложим в своих (не американских трансформационных) терминах: «Если в независимом предложении имеется пара местоимений типа *he — himself*, из которых первое является анафорическим, т. е. отсылает к какому-то „он“, упомянутому ранее, а второе — усилительным, эмфатическим, то первое может быть устранено, если оно попадает в зависимость от префикса „X говорит, что“, с которым оно имеет анафорическое отношение (т. е. „X“ и есть „он“».

Сам Росс считал, что правила, открываемые им в грамматике английского языка, применимы ко всем языкам мира, — во всяком случае

контраргументов им не найдено (с. 224), и с этим самодовольным утверждением можно согласиться. Однако, пребывая, по-видимому, в полном неведении европейской грамматической традиции, Росс не заметил следующего.

А именно, фактически Росс создал обширный новый фрагмент грамматики английского языка, аналоги которого — как в области фактов языка, так и в области их грамматического описания давно имеются в грамматиках классических древних языков, прежде всего латинского, и известны там как «*Oratio obliqua*» — «Косвенная речь». Поскольку Дж. Росс строит свой анализ на современной логике языка, а мы хотим соотнести его с историей — историей и языка, и метода, мы продолжим начатое здесь обсуждение в части III настоящей книги (в гл. I, 3 и в гл. II, 3 и 4).

Здесь же закончим одной небезытересной аналогией. Для этого сначала рассмотрим — в наших целях — один пример Росса:

Harry believes that the students know that Glinda has been saying

если речь о $\left. \begin{array}{l} \text{herself, she} \\ * \text{themselves, they} \\ * \text{himself, he} \end{array} \right\}$ won't be invited».

«Гарри думает, что студенты знают, что Глинда говорила, что,

если речь о $\left. \begin{array}{l} \text{ней самой, она} \\ * \text{них самих, они} \\ * \text{нем самом, он} \end{array} \right\}$ не будет (не будут) приглашены».

Особенность этого примера — в наличии в нем вставного выражения («вводных слов» — в терминах русской грамматики) *as for* «что касается...», «если речь идет о...», «поскольку речь идет о...»; в рамках этого выражения в английском языке требуется перевести в эмфатическое любое местоимение, находящееся внутри этих рамок, если все выражение выступает префиксом к предложению с *that* «что» и если это местоимение указывает на субъект итерированного, высшего ранга «...сказал, что». Это мы и видим в одном правильном и двух неправильных, нарушающих это правило, высказываниях.

Теперь переделаем пример Росса, заменив имя Глинда на Том: Harry believes that the students know that Tom has been saying that as for himself, he won't be invited «Гарри

думает, что студенты знают, что Том говорил, что, если речь идет о нем самом, он не будет приглашен».

Теперь высказывание является правильным — если читать его, так сказать, «справа» — до части «...что Том ...» и т. д. включительно. Но оно является неправильным, двусмысленным, поскольку этой части

предшествует еще одна итерация, имеющая также «он» — «Гарри думает, что...». Здесь перед нами пример того, как одно и то же правило выполняется в одной части высказывания и не выполняется в другой, что делает совмещение обеих таких частей в одном целом — неправильным, можно даже сказать, абсурдным.

7. Эквивалентность

В общей форме закон формулируется просто: один знак может быть эквивалентен другому. Но установить и описать хотя бы основные случаи его действия, пожалуй, труднее, чем для других законов.

Действие этого закона связано с проблемой тождества: два знака должны быть различны и в то же время тождественны в том или ином отношении. Все дело, следовательно, в том, чтобы определить различные линии отношений, в которых имеет смысл семиотически изучать эквивалентности знаков. Мы остановимся здесь только на двух таких линиях: первая — «вверх» — «вниз» по семиотической лестнице, и эти слова теперь уже не метафора, а имеют точный семиотический смысл, так как нам известна иерархия систем (см. таблицу в III, 1 и в III, 4); вторая линия — «вширь» (в пределах одной ступени семиотической лестницы). Можно было бы сказать иначе, в особенности тогда, когда мы будем говорить о естественном языке и искусственных языках типа символической логики: «вверх» — «вниз» значит в парадигматическом отношении, «вширь» — в синтагматическом отношении (эти термины разъяснены в разделе «Лингвoseмиотика», II, 3).

Начнем с парадигматических отношений. Мы уже видели при описании морфов и фонем, вариантов фонем, что чем абстрактнее знак, тем меньше у него ограничений в позиции при употреблении, тем большая у него свобода встречаемости в разных позициях. Так, из двух фонем меньше ограничений встречает та, у которой меньше существенных (дифференциальных) признаков, чем у другой фонемы той же категории:

в русском фонема «д» имеет все те же дифференциальные признаки, что и фонема «т», но сверх того еще признак звонкости, которого нет у «т», значит, последняя должна иметь большую свободу встречаемости. И действительно, в русском языке фонема «т» встречается в общем в том же количестве случаев (позиций), что и «д», но еще и в конце слова, где она представляет и саму себя и невозможное в этой позиции «д»: кот = 1) код, 2) кот (животное). В этом случае в конце русских слов мы встречаемся с эквивалентностью двух знаков, фонем «т» и «д», но эквивалентностью несимметричной: «д» заменяется через «т», но не обратно.

При движении от фонем к фонеме или от морфов к морфеме эквивалентность делается более полной: любой из морфов представляет морфему, любой из фонем — фонему и обратно — фонема представляет

любой из своих фонем, морфема — любой из своих морфов. Явление эквивалентности при таком движении «вверх» — «вниз» даже как будто значительно усиливается: чем абстрактнее ярус семиотики, тем больше знаков нижних ярусов этот абстрактный знак представляет. Например, знак детерминации (см. раздел «Абстрактная семиотика», II, 4) представляет и отношения между фонемами, и между морфемами, и между значениями одного слова, и еще другие конкретные отношения. Но ограничение остается при этом в другом: более абстрактный знак, хоть и представляет большое количество более конкретных знаков, однако относится к иной знаковой системе, чем они: знаки символической логики, когда ими описывается система фонем, принадлежат к иному языку, чем фонемы; знаки фонем, когда ими описываются и классифицируются звуки речи, принадлежат к иной семиотической системе, чем звуки речи; бумажка, болтающаяся на прутике, принадлежит к иной семиотической системе, чем порхающая бабочка (см. «Биосемиотика», II, 1). Все можно обобщить так:

1. В парадигматических отношениях — при движении «вверх» — «вниз» по ярусам семиотических систем отношения эквивалентности носят модельный характер: знак одного яруса является моделью знаков другого яруса, моделирует те или иные его свойства.

2. В синтагматических отношениях эквивалентность проявляется иначе. Тут возможны такие основные случаи эквивалентности:

А. Оба элемента встречаются в одном и том же окружении, в одной и той же позиции. При этом, в свою очередь, возможны два случая:

Аа) элементы взаимозаменяемы, и при замене все в совокупности, то есть и заменяемые элементы и их окружение, остаются тождественными, эквивалентными друг другу: *между бревен — между бревнами* — такой случай;

Аб) элементы взаимозаменяемы, но при замене все в совокупности тождества не сохраняет: *на стол — на столе*.

Б. Оба элемента не встречаются в одной позиции. В таком случае их непосредственное сравнение невозможно, например: *я иду — мы идем*, невозможно ни *я идем*, ни *мы иду*. В этом случае нужно рассматривать как элемент все сочетание в целом и дальше поступать так, как в случае А.

Случай типа Б представляет самый большой интерес для общей семиотики. Во-первых, потому что он очень часто встречается в низших семиотических системах, таких, где знак не полностью выделим. Для иллюстрации этого случая можно просто перечитать то, что сказано о позах в разделе II, 3. Во-вторых, этот случай интересен, потому что очень часто встречается и в абстрактных семиотических системах типа символической логики, значительная часть правил которых

сводится к правилам установления эквивалентности, когда эта эквивалентность не очевидна с первого взгляда, то есть к выявлению скрытой эквивалентности (например, при решении уравнений или вообще в выражениях, содержащих знак =).

Б. ЗАКОНЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЗИЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ.

(а) ПРАГМАТИКА

8. Материальное — идеальное

Поскольку все знаковые системы, все семиотики, располагаются в континуум, ряд по убыванию энергетической силы (или релевантности) знака: биосемиотика → этносемиотика → лингвесемиотика (звуковой язык) → абстрактная семиотика и убывание энергетического уровня знака происходит до тех пор, пока знак, как это имеет место в абстрактной семиотике, не становится только информационным явлением, постольку различие между, с одной стороны, материальным знаком и знаковой системой (соответственно, конкретными семиотиками) и, с другой стороны, идеальным

(соответственно, абстрактной семиотикой) не составляет резкой границы, а заключается в различии между энергетическими сильными явлениями и энергетическими слабыми, последние и называются информационными, или в данной связи идеальными.

Здесь возникает чрезвычайно важный вопрос об отношении абстрактной семиотики к конкретным — био-, этно-, отчасти лингво- (поскольку она в определенной своей части — конкретная семиотика). Вопрос этот важен, потому что абстрактная семиотика — наука того же типа, что и математическая, или символическая, логика, и, конечно, было бы очень важно и интересно знать, как, с точки зрения семиотики, решается вопрос об отношении между абстрактным теоретическим знанием таким, как символическая логика, и конкретными эмпирическими науками, не вносит ли семиотика чего-нибудь нового в решение этого вопроса. Вот как освещается вопрос с точки зрения той теории семиотики, которая принята в этой книге.

Абстрактная семиотика — явление двойственное. С самого начала, в предисловии, мы обращали внимание на эту двойственность (см. также прим. 52 к гл. II).

С одной стороны, всякая абстрактная семиотика (например, структурное описание языка; символическая логика) есть наука, имеющая своим предметом общие языковые отношения, рассмотренные в абстракции от их конкретного материального воплощения в той или иной семиотической системе. Как наука абстрактная семиотика находит себе место в двучленном ряду, состоящем из конкретного, наблюдаемого, уровня и абстрактного, представляемого, уровня, а именно: во втором, абстрактном разделе этого ряда. Содержание этой науки от

носится к представляемому уровню (см. II, 3). Общие языковые отношения представлены в абстрактной семиотике в наиболее полном и чистом виде. Другой, конкретный, раздел этого двучленного ряда занимают конкретные семиотики (био-, этно-, лингво-), предмет которых языковые отношения в том или ином конкретном воплощении. С другой стороны, всякая абстрактная семиотика есть семиотическая система, «язык». Как язык абстрактная семиотика занимает место в длинном, многочленном ряду знаковых систем, открытых к настоящему времени в природе и обществе (см. таблицу из десяти ступеней в III, 1), члены этого ряда располагаются по убыванию энергетического уровня. Абстрактная семиотика в этом ряду занимает последний ярус, воплощая такой язык, в котором энергетический уровень доведен до

минимального предела, а информационный — выступает поэтому в наиболее чистом виде.

С точки зрения излагаемой в этой книге теории семиотики нет никакого двойственного или двоичного, вообще окончательного по количеству уровней, разнесения языковых явлений, в частности знаков, между или конкретным или абстрактным уровнем. Уровней может быть любое количество: в современной семиотике их столько, сколько самих семиотик, с присущим каждой особым явлением знака, и даже с еще более дробным, ступенчатым делением по уровням знаковости внутри каждой из них.

Сведение многочисленного ряда семиотических систем к двучленному, принятому во всей науке (уровень наблюдения— уровень представления), резкое разделение длинного грамматического ряда одной чертой есть лишь существующее «де факто» положение, положение, несомненно, оправданное, объясняемое глубокими причинами, и все же, с чисто теоретической точки зрения, не единственно возможное. Другое возможное положение заключалось бы в том, чтобы каждому научному понятию, и теории в целом, приписывать один из многих уровней абстракции. Грамматическая категория дает прекрасный пример этого. Именительный падеж женского рода, именительный падеж мужского рода, именительный падеж среднего рода; далее — винительный падеж мужского рода, винительный падеж женского рода и т. д. составляли бы, с этой точки зрения, один ярус, были бы понятиями первой ступени абстракции, они суть почти наблюдаемые факты, но все же и не вполне наблюдаемые, поскольку представляют собой уже некоторый класс частных проявлений каждого падежа в сумме слов. В той степени, в какой они не вполне наблюдаемые факты, они гипотезы, «слегка гипотезы», такова же и та теория грамматики, которая занимается такими фактами. Именительный падеж вообще, винительный падеж вообще, родительный падеж вообще и т. д. — другой ярус, факты более высокого уровня абстракции, еще менее наблюдаемые, еще более гипотезы; такова же и занимающаяся ими теория грамматики. Падеж вообще — факт

еще более высокого уровня абстракции, занимающаяся им теория в гораздо большей степени состоит из не проверяемых непосредственно понятий — конструктов. И мы в действительности знаем, что существуют разные теории одних и тех же падежей (Л.

Ельмслева, Е. Куриловича, Р. Якобсона). Однако фактически в науке принято не многочисленное деление по степеням абстракции, а двучленное: предмет относится либо к наблюдаемому, либо к представляемому уровню науки. Вернемся к этому теперешнему положению.

В некоторых семиотических работах признается только два уровня знаковых систем: уровень наблюдения (конкретный, материальный или называемый еще как-либо иначе) и уровень конструктов (абстрактный, идеальный) — по аналогии с тем, что имеет место в научном познании (см. выше). Особенности абстрактной семиотики как науки переносятся на ее особенности как знаковой системы. С этой точки зрения знаки относятся к абстрактному уровню: знак есть идеальное. И знак как идеальное лишь воплощается, проявляется в материальном явлении. Знак в этом смысле смешивается с объективно существующим материальным знаком, языковым и другим, и свойства идеального знака «как конструкта» переносятся, экстраполируются на материальный знак (Ф. де Соссюр, С. К. Шаумян, иногда Л. Ельмслев) [16].

Сущность языка с такой точки зрения заключается в том, что он — система идеальных знаков, которые определяются лишь как пучки чистых отношений; и эти идеальные знаки только проявляются, «манифестируются» в чем-либо материальном. Поскольку тем самым признается только два уровня — идеальный (уровень конструктов) и материальный (проявление знаков), поскольку, следуя этой точке зрения, мы должны были бы в таблице знаковых систем (см. стр. 82) провести резкую черту между клетками VIII и IX: все, что ниже этой черты, было бы идеальным знаком, знаком в полном смысле слова, а все, что выше этой черты, было бы не знаком и не знаковой системой, а лишь проявлением знаковой системы, ее более или менее случайной материальной оболочкой.

Такое понимание знака, которое мы находим у де Соссюра и некоторых других авторов, есть, если рассуждать с последовательной семиотической точки зрения, смешение разных явлений и имеет причиной двоякую сущность самой абстрактной семиотики [17].

Тот факт, что абстрактная семиотика занимает место в многочисленном ряду языков, разъясняет, в частности, некоторые парадоксы логических языков (см. ниже о парадоксах Рассела).

Но раз уж гносеологический вопрос о соотношении абстрактной и конкретных семиотик сам составляет содержание семиотического закона о материальном-идеальном, то нельзя ли объяснить семиотически и то, что так долго и упорно удерживаются противоречивые толкования этого соотношения семиотик? По-видимому, это возможно. Такое поло-

жение дел связано с тремя следующими семиотическими законами и разъясняется третьим из них.

9. Диапазон знаковости.

«Язык — менее язык — еще менее язык — не язык»

Знаковая система есть система, передающая информацию, отличную от энергии (закон 1). Поэтому мы придаем, что знаковые системы существуют объективно, независимо от того, наблюдает их человек или не наблюдает, в той мере, в какой мы признаем, что в природе, особенно в живой природе, существует обмен информацией. Гамма знаковых явлений в диапазоне I—IV таблицы III, 1 дает представление о знаковых системах независимых от восприятия их человеком.

Однако в диапазоне систем, действующих в человеческих коллективах (V—X в таблице; см. также схему иерархии на стр. 91), всякая знаковая система существует в той или иной мере осознанно тем или иным количеством людей. Если в какой-либо ситуации знаковая система совершенно не осознается человеком, то этот случай принципиально не отличается от типов I—IV, поэтому здесь мы будем говорить только о таких случаях, которые так или иначе кем-либо осознаются как знаковые. В этом случае человек может оказаться по отношению к знаковой системе в одной из трех позиций, которые можно выразить такими словами:

1) пользуется языком, но не осознает этого: он участник системы, но не наблюдатель; кто-либо другой может оказаться в этом случае наблюдателем;

2) пользуется языком и осознает: «это — язык и это — мой язык, я им пользуюсь»; он участник и наблюдатель одновременно;

3) осознает, что перед ним язык, но не пользуется им: «это — язык, но не мой, я им не пользуюсь»; он только наблюдатель (четвертым окажется здесь названный выше

случай: язык существует, но человек не осознает, что это — язык, и, следовательно, не пользуется им; он не участник и не наблюдатель).

Закон, относящийся к диапазону знаковости, может быть сформулирован так: свойство быть знаковой системой в некоторой степени зависит от позиции наблюдателя.

Возможно, что этот закон следует связывать со способностью человека предсказывать явления, и свойство предсказуемости, может быть, поможет с иной стороны отделить знаковую, информационную систему от сильно энергетических, физических, взаимодействий.

«При определении, — пишет специалист по теории связи К. Черри, — немедленно возникает некоторая трудность. Как можно отличить связь как таковую, осуществляющуюся путем использования разговорного языка или подобных эмпирических символов, от других форм при-

чинности? Например, если я приказал кому-то прыгнуть в озеро и в страхе он выполнил приказание, то между мной и им была связь; если, однако, я толкнул его, то состояние этого человека может оказаться аналогичным, но едва ли можно говорить при этом о связи между нами, в чем же в таком случае заключается различие между моим устным сообщением и моим толчком?

Провести четкую грань между тем и другим затруднительно: различные символы, используемые животными — крики, движения, положения позы (так неудачно сказано в русском переводе. — Ю. С.), цветовая окраска, предусматривают реакции полуавтоматического, произвольного типа. Однако такого рода реакции все же не составляют прямых форм воздействия... На уровне человека, с его наиболее гибкой системой символов (язык), отличие от форм прямого воздействия становится наибольшим. Если я толкну человека в озеро, он неизбежно окажется там, но если я прикажу ему прыгнуть туда, то его поведение может быть самым различным» [18].

Действительно, для человеческих систем знак можно определить как то, что имеет значение. Значение же в самом общем виде определяется как частичная предсказуемость явления.

Из этого положения может следовать по крайней мере два важных следствия:

1. Любое наблюдаемое человеком явление природы (общества, действительности вообще) может быть описано как элемент языка, если оно обладает частичной

предсказуемостью. Полная предсказуемость образует физический мир причинности. Но если это так, то в объективном мире должно существовать множество явлений, которые, с точки зрения человека, обладают основными свойствами языка. Таким образом, первое следствие заключается в утверждении о множественности «языков». И мы иным, дедуктивным путем приходим к тому же выводу, к которому пришли раньше, наблюдая факты.

С точки зрения наиболее общей науки о строении мира — физики, это следствие объясняется просто тем, что в мире существует множество явлений, взаимосвязанных частичной предсказуемостью. Явления, поддающиеся описанию в рамках ньютоновской физики, не могут быть языком. Если я толкну человека так, что он обязательно упадет, то ни о связи, ни о языке здесь, конечно, не может быть речи. Но если толчок, о котором говорит Черри, будет не так силен или не так направлен, чтобы вызвать это единственное следствие, то он же может быть описан как элемент языка: средство привлечь внимание; знак, равносильный выражению «Ступай прочь!» и мн. др. С Черри нельзя согласиться в одном отношении как мы видели, понятия «язык» и «символ» требует не вопроса «язык или не язык?», «символ или не символ?» и не ответа «да» или «нет», а вопроса «в какой степени язык?», «в какой степени символ?»

2. Второе следствие заключается в следующем. Значение есть частичная предсказуемость. С мерой предсказуемости связано качество быть языком в большей или меньшей степени. Предсказуемость зависит от положения наблюдателя по отношению к наблюдаемой системе. Следовательно, одно и то же явление может быть больше или меньше языком в зависимости от положения наблюдателя.

Однако в настоящее время вопрос еще слишком мало исследован, чтобы можно было решить, следует или нет связывать различие между «языком — не языком» с предсказуемостью. Дело в том, что в физическом микромире обнаружены, как известно, такие явления, в которых причинная связь определяется как определенная, частичная предсказуемость. Мы будем исходить из другого различия.

Наблюдатель, являющийся одновременно участником знаковой системы, способен оценить ее в более узком диапазоне, чем наблюдатель со стороны, в связи с тем, что там, где энергия знаковой системы сильно приближается к верхнему или нижнему пределу (верхний энергетический предел — биологическое или физическое воздействие знаков,

нижний энергетический предел — абстрактность знаков), она для участника системы сливается с его биологическим состоянием (при верхнем пределе) или его духовным состоянием (при нижнем пределе). Наблюдатель же со стороны продолжает отличать такую знаковую систему как от физического взаимодействия, обмена большими энергиями, так и от кажущегося отсутствия связи.

Это проявляется, например, в том, что наблюдатель-участник не воспринимает значения некоторых мелких движений тела (частей кинеморфов) или некоторых различительных признаков вариантов фонем — некоторых акустических признаков, проявляющихся в той или иной позиции в слове и улавливаемых специальными приборами (о вариантах фонемы, см. II, 3), поскольку и те и другие становятся слишком существенными энергетическими, биологическими состояниями его организма. Но наблюдатель со стороны — врач или специалист по акустике — могут продолжать наблюдение, рассматривая, например, такие позы, как знаки-симптомы. Точно так же при приближении к противоположному пределу — при полном очищении, полной сублимации от биологического значения, например, в совокупности общественных привычек обращения с пространством, временем и проч. — можно обнаружить знаковость лишь при выходе за пределы данной культуры, при переезде в другую страну и т. д. (см. выше. «Парадокс сопоставительной стилистики»). Отсюда следует и обратное, чрезвычайно важное соотношение: наблюдатель со стороны не в состоянии объективно установить порог знаковости данной системы для ее участников, ему открывается гаммообразная (в смысле таблицы III, 1) последовательность переходов, ступеней знаковости, и он не может воспринять предел, при котором система

перестает быть знаковой для ее участников. Для участников же системы знаковость данной системы существует лишь в диапазоне их осознанного восприятия. В частности, вопрос о том, что относится к языку, что существенно, а что несущественно, может быть решен только непосредственным созерцанием самими участниками [19].

После сказанного можно сформулировать рассматриваемый закон более определенно: вместо формулировки «свойство быть знаковой системой зависит от позиции наблюдателя» можно сказать: «наблюдатель извне относит к наблюдаемой знаковой системе, но крайней мере, на один ярус больше («сверху» или «снизу» или «сверху» и «снизу»), чем наблюдатель-участник.

Наконец, ту же закономерность можно сформулировать и в более общей форме: наблюдатель извне отчетливо различает ступени знаковости, но не знает, сколько ступеней включает сам участник в свой «язык» (где пределы «языка»). Наблюдатель-участник, напротив, знает, где пределы его языка, но не различает внутренних ступеней знаковости внутри последнего. В такой формулировке эта закономерность отчетливо выявляется в логических парадоксах (см. ниже, закон 7).

Приведем одну иллюстрацию из области культуры. Возьмем «язык театра», «язык» в том смысле, как сказано в предыдущей главе. Один из вопросов языка (то есть поэтики) театра таков: переживает ли или, по крайней мере, может ли, а потому и должен ли переживать актер-участник спектакля так же, как переживает зритель. Существует два противоположных ответа на него. Один ответ — знаменитая система К. С. Станиславского, согласно которой актер может и должен вжиться в образ, перевоплотиться в него, а зритель тогда поверит происходящему на сцене, когда целиком поверит и вжившийся в образ актер. Но этот ответ не согласуется с многочисленными свидетельствами обратного: зритель верит и плохим актерам, тогда как актеры не всегда верят (а может быть, и никогда до конца не верят) даже своему гениальному партнеру по спектаклю.

С точки зрения семиотики, в нашу эпоху должно быть верно именно последнее утверждение. В самом деле, для актера спектакль — язык объектов, и он участвует в сообщении на этом языке как коммуникант. Для такого наблюдателя (см. здесь и гл. II, возможные позиции наблюдателя по отношению к объекту) четко различаются условные и безусловные сообщения — воздействия партнера, и забыть о различии он может только в том (болезненном) случае, если забудет вообще, что он на сцене, т. е. в случае действительной потери памяти. Но в этом случае не будет спектакля. В доказательство приведем одно свидетельство — из современного очерка.

«Мне нравится, — сказала актриса, — слово „лицедейство”. Очень жаль, что его заменили всякими перевоплощениями. Ничего в нем нет

плохого, „лицедей” куда точнее, чем „актер”. Я лицедейка в хорошем, профессиональном смысле. Меня лицедейству учили в институте пять лет. Выучили играть и героинь и мерзавок, и умных и дур. И королев в том числе. Но это не перевоплощение, я не знаю, что это. Как бы я себя ни ввинчивала в чужую кожу, —

никогда не отключаюсь от реальной обстановки, от того, что меня окружает в действительности. Вот, говорят, Михаил Чехов, был такой актер, тот играл сумасшедшего и на самом деле сошел с ума, прямо после спектакля в психиатрическую увезли. Может быть, это гениальность, не знаю. Я ни на секунду не забываю, что я на сцене. Все замечаю: и как играют товарищи, и реакцию публики, и каждую накладку... когда должна выехать фурка и не выезжает, заело, или окно повесили криво, или актер забыл реплику и несет от себя... А реакцию публики я так наблюдаю. Выберу два-три лица поближе и слежу, какое на них производит впечатление. Не обязательно самые умные лица, лучше, наоборот, попроще, они воспринимают непосредственной, а еще лучше какое-нибудь сонное, зевающее, — уморился, знаешь, на работе, пришел в театр, сел в кресло и чуть не спит... И вот если перестанут зевать, кашлять, вертеться, начнут смотреть и слушать как следует, — значит, все в порядке, ты понимаешь? Понимаешь?! А если еще смеются, где нужно, а тем более если плачут, — ну, тогда!.. Тут что говорить. Тут и аплодисментов не нужно. Что эти хлопки по сравнению с их слезами. Тут, кажется, жизнь бы им отдала...

А сама в то же время представляю. Люблю, интригую, спасаю, убиваю, умираю! А как все оно слито, не могу объяснить. И вряд ли кто-нибудь может объяснить» [20].

Что касается реакции зрителя, которая каждому из нас, побывавшему в роли зрителя, по себе хорошо известна, то тут теория К. С. Станиславского заставляет ожидать такой эволюции: чем правдивее, то есть менее условно, играют актеры, тем сильнее реакция и переживания зрителя. Но и этот вывод плохо согласуется с известными историческими фактами, в которых такой зависимости не обнаруживается. Не обнаруживается, кажется, ни по направлению от времени Станиславского в глубь веков, ни, в особенности, по направлению от этого времени к нашим дням. Вот свидетельство первого, т. е. из древней истории театра: «... в эпоху Гогенштауфенов в немецкой мистерии господствует почти чистая латынь (даже светскую песню в честь любви и весны, в бенедиктинской Рождественской игре, египетский царь поет по-латыни), и авторы их проявляют глубокомыслие и большую ученость; создания их могли быть доступны народу только со стороны обстановки, в общем весьма несовершенной, но на б о л е е р а з в и т ы х з р и т е л е й (разрядка моя. — Ю. С.) эти представления оказывали очень сильное действие. В 1322 г. эйзенахские монахи

представляли притчу о 10 девах в присутствии ландграфа тюрингского Фридриха; когда он увидел,

что ни мольбы святых, ни даже просьба богоматери не могли смягчить гнева божественного жениха и он отдал неразумных дев — детей мира — дьяволам, он впал в такое тяжелое душевное состояние, что через несколько дней был поражен ударом, пролежал 3 года в постели и умер 55 лет от роду» [21].

Поэтому другой ответ на поставленный выше вопрос дал Б. Брехт. «Изучая систему Станиславского и его учеников, видишь, — писал Брехт, — что вынуждение вживания было сопряжено с немалыми трудностями: добиваться соответствующего психического акта было все трудней и трудней. Нужно было изобретать хитроумную педагогику, чтобы актер не «выпадал из роли» и ничто не мешало контакту между ним и зрителем, основанному на внушении. Станиславский относился к этим помехам очень наивно, только как к чисто отрицательным, преходящим явлениям, которые непременно будут устранены. Искусство явно все больше превращалось в искусство добиваться вживания. Мысль о том, что трудности идут от уже неустранимых изменений в сознании современного человека, не появлялась, и ожидать ее можно было тем меньше, чем больше предпринималось весьма перспективных на вид усилий, которые должны были гарантировать вживание. На эти трудности можно было бы реагировать иначе, а именно: поставить вопрос, желательна ли еще полное вживание.

Этот вопрос поставила теория эпического театра. Она всерьез отнеслась к трудностям, объяснила происхождение общественными изменениями исторического характера и попыталась найти такую манеру игры, которая могла бы отказать от полного вживания. Контакт между актерами и зрителем должен был возникнуть на иной основе, чем внушение. Зрителя следовало освободить от гипноза, а с актера снять бремя полного перевоплощения в изображаемый им персонаж. В игру актера нужно было как-то ввести некоторую отдаленность от изображаемого им персонажа. Актер должен был получить возможность критиковать его. Наряду с данным поведением действующего лица, нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможным выбор и, следовательно, критику» [22].

В этом, во многих отношениях замечательном, высказывании для семиотики особенно важна подмеченная Б. Брехтом связь между повышением условности «языка»

спектакля и понятием «выбора», не однозначной предопределенности (не однозначной детерминированности) поступков персонажа.

Для зрителя, сидящего в зале, все происходящее на сцене выглядит как однородный условный язык (в том числе и так называемые «накладки»; отсюда — многочисленные случаи, когда реальное происшествие на сцене — настоящее ранение шпагой, настоящий обморок и т.п. — зритель воспринимал как условленное и условное). Поэтому зритель видит однородное сообщение, и ему достаточно один раз установить ассо-

циации изображаемого — как знака — с реальной жизнью, чтобы он начал «верить» и «переживать». Но ни безусловность (правдоподобие) спектакля, ни его условность сами по себе не обеспечивают ни этой ассоциации, ни сильной реакции зрителя. Ее обеспечивает однородная позиция зрителя-наблюдателя по отношению к языку происходящего перед ним (поэтому, например, появление животных на сцене, особенно крупных, вместо усиления иллюзии разрушает ее), достигаемая однородностью художественного языка спектакля. Цирк, мюзик-холл, эстрадный концерт противостоят театру. Природа удовольствия от них другая: она сходна с тем удовольствием от созерцания мастерства, которое мы испытываем, наблюдая, например, за работой резчика по дереву, гончара, ковровщицы на кустарной выставке, за выступлением спортсмена, скачками лошадей и т. п., то есть за явлениями не знаковыми. (В балете же, например, объединяются оба рода удовольствия.)

Подчеркнем, что семиотика вовсе не сливается с психологией, так как не объясняет психических причин переживаний зрителя, актера и т. д., но объясняет ситуации знакового характера, ов которых те или иные переживания, психические состояния, «реакции и прочее преимущественно должны иметь место.

Семиотически, применяя вторую формулировку рассматриваемого здесь закона, можно объяснить различие теорий Станиславского и Брехта так. Актеры на сцене — участники и одновременно наблюдатели творимой ими знаковой системы (разумеется, театральное действие не сводится исключительно и без остатка к знаковой системе; напротив, в нем, по-видимому, гораздо больше иного), зрители в зале — только наблюдатели. Для зрителей как наблюдателей извне заметно, по крайней мере на один ярус больше знаковости (т. е. в данном случае, условности), чем для актеров. По

Станиславскому, если актер целиком забудет об условности, то зритель, вслед за ним, почти забудет, что он в театре. Но между актером и зрителем при этом останется очевидный разрыв. По Брехту, актер не должен забывать об условности, тогда зритель не забудет об этом также, и зритель и актер окажутся в равном положении по отношению к творимому действию, между зрителем и актерами установится полное единство равных участников спектакля.

В заключение этого раздела отметим, что вторая форма мулировка этого закона, данная выше, составляет естественный переход к следующему закону, вскрывая связь между обоими.

10. Гетерогенные и гомогенные знаковые системы.

Логические парадоксы

В этом разделе, в отличие от предыдущих, мы сначала сформулируем более частные и конкретные проявления этого закона, а затем дадим его более общую формулировку, связанную с формулировкой закона 9.

134

Существует зависимость между свойством языка «быть не языком» (физическим воздействием) и устройством знаков этого языка.

«Язык в высшей степени», естественный язык слов, может оказаться и в меньшей степени языком, например в тех случаях, когда словом гипнотизируют людей или воздействуют на животных (известно, что собаки реагируют на обращенную к ним речь не как на членораздельный язык, а как на ласковый или грубый оклик, из каких бы звуков он ни состоял), или хотят привлечь внимание и т. п. Во всех этих случаях другие знаки могли бы сыграть ту же роль воздействия и даже еще эффективнее: гипнотизировать можно блестящим предметом, собаку подманить или прогнать рукой, пинком или палкой, человека потянуть за рукав и т. д.

Очевидно, что чем больше какие-либо знаки подобны физическим действиям, тем больше язык, состоящий из этих знаков, способен к роли не языка, а средства физического воздействия, или, точнее, тем больше такой язык может приближаться к физическому явлению, не языку.

Знак может быть тождествен означаемому: плевков — знак физического отвращения, заключающегося отчасти в обильном слюноотделении, плевков — это и

знак и самое существование этого аффекта; знак может быть только подобен означаемому: такова имитация плевка, сопровождающаяся часто восклицанием «тьфу!»; знак может быть условен, т. е. связан с означаемым чисто условно: таково слово «тьфу!» или, еще больше, восклицание «наплевать!» и вообще слова.

Разные степени перехода от чисто физического явления к языку могут быть схематично сведены тоже к трем. Это вполне достаточная точность для наших целей. Хотя, по-видимому, естественного предела различий и количества ступеней нет, их может быть сколько угодно. В этой главе мы говорим только о связи между людьми, оставляя в стороне связь между человеком и неодушевленным миром и между человеком и живой природой (к этим видам связи мы перейдем ниже). Язык приобретает свойство быть «не языком» (т. е. физическим воздействием) тогда, когда явления, образующие язык, в то же время так или иначе биологически воздействуют либо на получателя сообщения, либо на самого отправителя, когда эти явления биологически существенны, биологически релевантны. Знаки такого языка по необходимости тождественны означаемым. Это низшая ступень. На второй ступени язык дальше отошел от прямого физического воздействия, он биологически частично релевантен; знаки же такого языка всего лишь подобны означаемым. На третьей ступени язык биологически нерелевантен. (Один лингвист остроумно заметил о естественном языке, что звук даже самого горячего спора неспособен поднять температуру в комнате и на один градус.) Знаки такого языка условны. Таков, например, естественный звуковой язык. Сказанное можно представить на следующей схеме. Клетки схемы заполнены примерами знаков. Соотноситель-

135

ные примеры разных клеток имеют одинаковый номер. Для отличения во всех случаях несобственного употребления слова «язык» берем его в кавычки.

В таблице несколько «языков» характеризуются через отдельные знаки этих «языков», взятые как единицы словаря (как парадигматика, ср. выше), а не как части цельного сообщения (не как синтагматика, о ней см. III, 3, пример с позами человека), потому что здесь мы будем заниматься такими вопросами, для которых удобно и достаточно пользоваться примерами сочетаний знаков.

Рассматривая схему, легко видеть, что разные типы языка (разные клетки схемы) сосуществуют и в настоящее время, но каждая клетка соответствует разным этапам

становления знака (становление знака называется семиосисом). Можно предполагать, что разные типы языка отражают исторически (генетически) разные типы семиосиса. Так, тип языка, представленный в клетке I, 1, появляется раньше, чем II, 2, а этот последний раньше, чем III, 3. Таков первый вывод из схемы.

Таблица, иллюстрирующая множественность языков с семиотической точки зрения и переход от биологической ритуализации к культурной

Каков знак:		Типы знаков (основные типы взяты в рамки)		
		ИДЕНТИЧЕН с объектом 1	ПОДОБЕН объекту 2	УСЛОВЕН (КОНВЕНЦИОНАЛЕН) по отношению к объекту 3
Уровень знаковост	I (низший) биологически полностью релевантен (этология, биосемиотика)	а) удары, побои б) плевков в человека в) поцелуй		
	II (средний) биологически частично релевантен (этнология, культурная антропология, этносемиотика)		а) удар палкой, наказание розгами; замахивание «жест вместо акта» б) имитация плевка в) имитация поцелуя, чмоканье губами («от жеста к акту»)	б) «Плевал я на тебя!» (в прямой речи) в) «воздушный поцелуй» (жест рукой)
	III (высший) биологически нерелевантен (лингвосемиотика, лингвистика)		а) замахивание палкой или рукой как знак угрозы («от жеста к акту») «жест вместо акта» б) целование руки кому-либо	а) «Сейчас как врежу!» б) «Тьфу!»; «Плевал я на него!» (в не прямой речи, в обращении к третьему лицу) в) «Поцелуй Машу!» (к треть- ему лицу, Маше, через второе лицо, собеседника)

Далее тип I, 1 — исторически древнейший — вместе с тем является признаком человеческого рода *homo sapiens* вообще, в его отличии от животных. Иными словами,

языки типа I, 1 — та часть множества несловесных «языков», которая не зависит от цивилизации и национальной культуры, точнее, присутствует во всякой цивилизации и во всякой национальной культуре, и в этом смысле — общая (инвариантная) часть.

Тип II, 2 характеризует каждую цивилизацию в ее противопоставлении другим цивилизациям. Например, так называемый средневропейский стандарт в отличие от японского или юго-восточно-азиатского (ср. примеры И. Эренбурга, I). Все цивилизации имеют какие-либо «языки» типа II, 2, но не обязательно одни и те же «языки» этого типа. С другой стороны, несколько разных национальных культур, принадлежащих к одной цивилизации, могут совершенно совпадать во всех «языках» типа II, 2.

Наконец, тип III, 3 характеризует каждую национальную культуру в ее противопоставлении другим национальным культурам той же цивилизации. Например, русскую национальную культуру в сравнении с польской, французскую — в сравнении с испанской, английскую — в сравнении с американской. (См. примеры в III, 3 — «сопоставительная стилистика».)

Приведенная схема удобна еще и тем, что, представляя собой нечто вроде конспекта, она позволяет легко охватить много проблем. Так, мы видим, что пустые клетки соответствуют языкам смешанного, переходного типа, отличающимся некоторой двойственностью: знаки в них могут быть тождественны явлениям, но биологически нерелевантны или, напротив, биологически релевантны, но зато часто условны. Примером такого знака является воздушный поцелуй. Его следует поместить в клетку III, 2, он так же подобен настоящему поцелую, как поцелуй в руку, но в то же время биологически гораздо менее релевантен, чем тот и другой, то есть вообще нерелевантен. Другой пример: жест, описываемый глаголами «замахнуться на кого-нибудь и слегка ударить», должен стоять в той же колонке (I), что и «побои», но во II горизонтальном ряду, так как биологическое воздействие этого жеста не так сильно, как в случае побоев. Вообще II горизонтальный ряд состоит из таких знаковых явлений, которые биологически релевантны лишь частично, потому что они как бы не доведены до конца, остановлены в процессе их совершения, но, будучи доведенными до конца, сделались бы биологически полностью релевантны и попали бы в горизонтальный ряд I. И еще один пример, чисто условное, словесное выражение может приобретать биологическое значение (релевантность), как уже было сказано, в гипнозе, крике боли и т. п., тогда в таблице будет передвигаться вверх от клетки III, 3.

Таким образом, языки основных трех типов, располагающиеся в клетках I, 1; II, 2 и III, 3, могут приобретать вторичные функции, каждая из которых совпадает с первичной функцией какого-либо другого языка.

Мы уже видели в разделе «Лингвoseмиотика», что этот принцип один из тех, которые управляют историческим развитием естественного языка (см. II, 3 и прим. 32 к гл. II), что он тесно связан с отношениями синонимии (даже опирается на них), пронизывающими словарь, лексику, в каждый данный период времени. Теперь нужно подчеркнуть, что и в несловесных языках этот принцип опирается на синонимию, представление о которой дает табличка синонимии слова и жеста (в разделе III, 3). Можно предполагать, что развитие систем несловесных сообщений в историческое время, т. е. в период писаной истории человечества, заключается именно в такой смене функций. Это развитие необходимо отличать от предисторического развития, приведшего к созданию трех основных языков (I, 1; II, 2 и III, 3).

Сказанное можно представить на следующей таблице, где основные «языки» заключены в рамки.

На схеме хорошо видно, что знаковые системы (по крайней мере, те, которые действуют в человеческом обществе) распадаются на два типа:

I тип — любая система в пределах одной клетки таблицы, состоящая из знаков, однородных во всех отношениях. Назовем такие знаковые системы гомогенными (однородными);

II тип — знаковые системы, составленные из знаков разных клеток, разнородных в каком-либо отношении, назовем их гетерогенными (разнородными); они отчетливо разделяются на два подтипа.

A. Система, составленная из знаков, относящихся к одному горизонтальному ряду таблицы, например:

плевок в человека — имитация плевок — восклицание «тьфу!» —

назовем ее гетерогенным языком «А». Он состоит из знаков разной структуры, но в общем одной ступени биологической релевантности. Такой язык, по-видимому, не описывает какой-либо законченной жизненной ситуации, но поставляет синонимичные средства выражения для разных ситуаций.

B. Система, составленная из знаков одной вертикальной колонки, например:

погрозить кулаком — замахнуться — ударить —

назовем ее гетерогенным языком «Б». Он состоит из знаков разной степени биологической релевантности, но одной структуры. Такой язык часто описывает какую-либо относительно законченную жизненную ситуацию, которая сама является своего рода сложным знаком, например: «драка» (ср. известное описание ку-

ланных боев у Горького), «этикет», «поцелуй». Языки этого типа могут быть описаны в работах типа «семиотика (или язык) драки» (в том числе обрядовой), «семиотика (или язык) театра» и т. п. Поскольку произведение писателя в совокупности его биологических, личностных, эстетических и социальных черт может рассматриваться как своего рода относительно законченная жизненная ситуация, то возможны описания типа «семиотика данного писателя», что и будет не чем иным, как поэтикой данного писателя (не исчерпывающей его социологии и биографии, но и не сводимой к ним) [23].

Возможно, в некоторых случаях целесообразно учитывать и третий тип — гетерогенный язык «В», составленный из знаков, разнородных во всех отношениях, т. е. из клеток, расположенных по диагонали таблицы.

Естественный язык совмещает в себе свойства гетерогенной системы типа А и гетерогенной системы типа Б. Это видно из того, что те условные знаки языка, которые обладают в какой-либо мере биологической релевантностью: «тьфу!», звук чмоканья, междометия «ах!» «ой!» и т. п. (см. таблицу), в той же мере обладают и свойствами тождества или подобия означаемому предмету: междометия боли суть крики боли («ой!»), слово «тьфу!» похоже на плевок и т. д.

Это свойство языка при использовании его в определенных условиях может привести к так называемым логическим парадоксам.

Простейший случай — так называемый парадокс гетерологичности. Существуют имена («Имя» — применяемое в логике название, тождественное названию «слово» в лингвистике. См. схему знака — треугольник Фреге (III, 2)), сами обладающие тем свойством, которое ими обозначено: имя «коротко» — коротко, состоит из короткого ряда звуков и букв, имя «старо» — старо, давно существует в русском языке (ср. выше тождество знака, слова «тьфу!», «ой!» и т. д.). Эти имена называются автологичными. Существуют другие имена, которые не обладают означаемыми ими свойствами:

«мощный» само не является мощным, имя «активный» само не является активным (ср. выше условность знака). Эти имена называются гетерологичными. Парадокс возникает при обсуждении этого вопроса в общем виде.

Обозначим свойство «быть гетерологичным» знаком G. Возникает вопрос, является ли слово G гетерологичным или автологичным? Если G автологично, оно должно обладать тем свойством, которое им обозначено, т. е. оно само должно быть гетерологичным. Если же G гетерологично, то оно применимо к самому себе, т. е. автологично. Таким образом, мы приходим к логическому парадоксу [24].

В более сложной форме те же парадоксы проявляются в теории множеств, в так называемых парадоксах Кантора и Рассела. Например, известный парадокс Рассела гласит: «Рассмотрим множество

R всех множеств, не являющихся своими элементами. Тогда R является собственным элементом в том и только в том случае, если R не является собственным элементом. Поэтому допущение о том, что R является собственным элементом, приводит к противоречию и R не является собственным элементом, а значит (в силу предыдущей фразы), R является собственным элементом [25].

Нетрудно видеть, что парадоксы такого типа являются абстрактным аналогом конкретного семиотического свойства знаковых систем — их гетерогенности. Раскроем подробнее семиотическую причину этих парадоксов.

Гомогенная знаковая система, в частности язык, не знала бы таких парадоксов. Однако каждый язык «выкраивается» из гаммы континуума объективных знаковых систем не с точки зрения наблюдателя извне, который отчетливо различает ступени знаковости и мог бы хорошо выделить гомогенную систему (см. законы 9 и 10), а с точки зрения участника. При этом в «один язык» оказываются включенными знаковые системы разного Уровня знаковости, а сам язык оказывается гетерогенным. Закон 9 можно сформулировать следующим образом: объективно существующая гетерогенность языка субъективно проявляется в сознании участника-наблюдателя как констатация логического парадокса. Поскольку человек не может стать в позицию независимого наблюдателя по отношению к собственному языку, постольку разрешение парадокса заключается в ступенчатом, последовательном отчуждении человека как наблюдателя языка от чело века как участника, пользователя языком.

Человек стремится осознать тот язык, которым он пользуется, и для этого начинает описывать его извне, т. е. другим языком; гетерогенность, разнородность, языков при этом, разумеется, остается, остается и парадокс гетерологичности, хотя уже и не столь грубый по форме; человек стремится далее описать и второй язык извне, третьим языком и т. д. Человек движется при этом по ступеням иерархии (см. схему иерархии). Так как всякий язык, являющийся средством описания другого языка, называется в общей форме метаязыком, то, выражаясь в общей форме, можно сказать так: эта процедура отчетливо выявляет парадокс, но, вообще говоря, не устраняет его, а лишь как бы последовательно, гра дуально уменьшает, перенося парадокс в метаязык, из метаязыка в мета-метаязык и т. д. Не случайно так обстоит дело и в данном примере: гетерологический парадокс возникает при обсуждении свойств естественного языка в общей форме, т. е. средствами метаязыка. Логические парадоксы этого типа имеют совершенно ту же природу, что парадокс этносемиотики (см. выше, II, 2, стр. 40) и парадокс сопоставительной стилистики (см. III, 3, стр. 105).

Как уже сказано (см. Предисловие), семиотика связана с теорией информации таким образом, что первая изучает статический, а вторая —

динамический аспект знаковых систем. Поэтому и рассматриваемые здесь логические парадоксы также должны иметь динамический аспект и быть связаны с теорией информации. На эту связь указал Н. Винер. Он обратил внимание на то, что «развитие той или иной математико-логической теории подчиняется ограничениям того же рода, что и работа вычислительной машины». С этой точки зрения Н. Винер и интерпретировал парадоксы Кантора и Рассела. Разрешение этих парадоксов в теории информации отличается от разрешения их в семиотике именно тем, чем теория информации вообще отличается от семиотики — учетом динамики. «Способ, которым мы решаем наши парадоксы, — указывает Н. Винер, — тоже состоит в том, что каждому утверждению приписывается некоторый параметр, а именно: м о м е н т в р е м е н и (разрядка моя. — Ю. С.), в который оно высказано» [26]. Это положение можно раскрыть следующим образом. Тожественные утверждения не тождественны, если они высказаны в существенно разные моменты времени, точно так же тождественные сами по себе классификационные признаки не тождественны, если они занимают разные места в классификационной схеме (например, в разных узлах математического «дерева»,

а примером такого «дерева» служит и схема иерархии). И наконец, в общей форме: если обратиться к конечному автомату — кибернетическому устройству, схема которого приведена выше, а точки на схеме соответствуют состояниям автомата, — то одна и та же точка не тождественна сама себе, если к ней можно попасть из исходной точки различными путями.

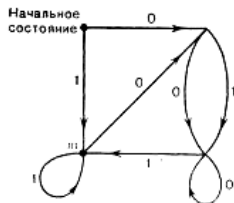


Схема конечного автомата (диграф). Знаки 0 и 1, называемые «входами», служат для обозначения каждого слеующего состояния автомата, считая от начального, т. е. двигаться по схеме нужно так, чтобы 0 и 1 все время чередовались. Точка «т» — пример точки, нетождественной самой себе при трех разных состояниях, так как в нее можно попасть тремя различными путями.

Рис. 23

Рассмотренная здесь параллель семиотики с теорией информации одновременно раскрывает связь конкретных семиотик с абстрактной.

Сказанное позволяет также ввести еще одну черту к общее определение знака — время. Теперь можно сказать так: знак есть дискретное состояние знаковой системы в данный момент времени. Словом «дискретный» здесь обозначено то, что между одним состоянием системы и другим есть перерыв, пауза, кото-

рую может заметить наблюдатель извне и благодаря этому отделить одно состояние от другого. Этой чертой должно быть дополнено определение знака, данное на стр. 100 [27].

11. Операционность знака

Мы не раз уже видели, что в низших семиотических системах знак неотделим от его носителя: изгиб стебля цветка неотделим от самого стебля. Чтобы воспроизвести знак, нужно воспроизвести его носителя. Но по мере того как мы продвигаемся в иерархии семиотических систем по пути абстракции, эти отношения меняются: при изображении на бумаге изгиба стебля (это может потребоваться, например, в условиях опыта, описанного в разделе «Биосемиотика», II, 1) нет никакой необходимости не только в подлинном стебле, но даже и в полном рисунке стебля, достаточно прочертить две кривые линии разной формы, одна из них будет изображать положение стебля до, другая — после воздействия на него света. Эта возможность отделять знак от его

носителя, как бы снимать слой, образующий знак, увеличивается по мере продвижения в иерархии систем к абстрактной семиотике. Это качество знака можно обобщить в следующем виде: в условиях знаковой ситуации знак имеет тенденцию отождествляться со способом производства знака, причем эта тенденция усиливается по мере возрастания абстрактности семиотической системы. Этот закон естественно назвать законом операционности знака (термин «операционность» является производным от «операционный», «операциональный» в обычном логикоматематическом смысле).

Закон может иметь нежелательные последствия в одних случаях и очень полезные — в других. Рассмотрим несколько примеров из различных областей науки.

В психологической науке на рубеже XX в. в центре внимания оказывается проблема взаимоотношений «действующий организм — среда». Взаимодействие организма со средой осуществляется посредством движений, движений мышц, членов, посредством «двигательной активности». Если прежде эти движения считали следствием воли, волевых состояний сознания, то теперь, в начале века, зависимости меняются местами: состояния сознания расцениваются как производные, как следствия от мышечных процессов. Согласно этой точке зрения, мы не потому плачем, что нам грустно, а нам потому грустно, что мы плачем. Эту теорию выдвинули одновременно Джемс и Г. Ланге. Но уже раньше, в дарвиновской трактовке выразительных движений, поз и мимики было указано, что переживания являются значениями «мышечных формул». Таким образом, в целом это течение в психологии является частным случаем указанного семиотического закона: ведь

переживание как содержание отождествляется с его мышечным выражением, а мышечное выражение отождествляется в свою очередь со способом его производства [28].

В философии. Если в психологии указанная выше концепция расценивается теперь как в целом неверная, но содержащая верные частности (например, несомненно, существует условно-рефлекторная связь между мимикой и соответствующим ей чувством), то гораздо более нежелательные последствия произвел этот семиотический закон в области философии, явившись одной из объективных гносеологических предпосылок логического позитивизма во всех его направлениях.

Здесь указанный семиотический закон приводит к такому объективному следствию: язык как система знаков (точнее семиотическая система) отождествляется со способом его производства, функционирования, а так как производство, функционирование языка неразрывно от процесса мышления, то в конечном счете мышление отождествляется с языком. Поскольку язык имеет различные функции, постольку это общее положение далее своеобразно конкретизировалось соответственно тому, какой функцией языка более интересовался данный философ. Для логического позитивизма как философии науки характерен преимущественный интерес к функции языка быть средством мышления и познания, и соответственно этому в этом философском направлении язык как средство научного мышления отождествляется с самим научным мышлением (например, у Р. Карнапа и др.). Для логического позитивизма как философии жизни (в виде так называемой семантической философии характерен интерес к языку как средству общения, и язык в функции общения отождествляется с самим общением, из чего делается вывод о решающей роли языковых форм мышления в развитии общества (С. Чейз и др., ср. выше о гипотезе языковой относительности «Этносемиотика», II, 2). Тот же общий принцип был распространен на поэтическую функцию языка, в силу чего язык как средство художественного творчества отождествляется с самим художественным творчеством, а художественное произведение с его языком (со структурой его текста). Сравним параллелизм тезисов о поэтической функции языка: «Формальный метод не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы. Мысль так же противопоставляется мысли, как слово слову, образ образу» (В. Шкловский, 1924 г.), и о мыслительной функции языка: «Понятия „времени” и „пространства” не даны из опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят от природы языка или языков, благодаря употреблению которых они развивались» (В. Л. Уорф, 1939 г.) [29]. В области поэтики тезис, аналогичный положению формального метода, утверждали лингвисты Пражского лингвистического кружка (язык в поэтиче-

ской функции есть установка на автономную ценность языкового знака, 1929 г.) и в последнее время Р. Якобсон: поэтическая функция — это установка на высказывание как таковое (1960 г.) [30].

Зато в других случаях указанный семиотический закон позволяет найти выход из трудных ситуаций.

Так, в математике во многих случаях определение способа производства понятия заменяет само понятие, которое в противном случае осталось бы определенным недостаточно точно. Характерно в этой связи так называемое «аксиоматическое определение вероятности», отличное от «классического определения вероятности». Последнее гласит, что вероятность есть доля удачных исходов в данной массовой операции. Таким образом, вероятность определяется как одно из качеств массовых операций, характеризуемое правилом сложения вероятностей (известная формула $P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B)$ и правилом умножения вероятностей ($P(A \text{ и } B) = P(A) \cdot P(B)$), где — P — вероятность; A, B — независимые события). Аксиоматическое же определение вероятности определяет ее как свойство множества, такого, что для него выполняются следующие четыре условия (f — обозначение функции):

$$(1) 0 \leq f \leq 1.$$

$$(2) \text{ Если } f(A) = 1, \text{ то } f(\bar{A}) = 0,$$

$$(3) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B),$$

$$(4) f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Здесь свойства множества соответствуют свойствам вероятностей как качества массовых операций. Процесс замены одного (неаксиоматического, классического) определения другим (аксиоматическим) основан на свойстве операционности знака [31].

В. ЗАКОНЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЗИЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ.

(в) СЕМАНТИКА

12. Отношения «означаемое — означающее»

Поскольку знак является посредником между двумя материальными системами (закон 1), постольку любая одна из них может рассматриваться как означающее другой. В частном случае, в языке как звучание может быть означающим (знаком) для смысла, так и смысл может быть означающим (знаком) для звучания. Это положение не нуждается в особых доказательствах, оно с очевидностью вытекает уже из того факта, что мы пользуемся двумя типами словарей: с одной стороны, толковым словарем русского языка или, например, англо-русским словарем, когда желаем узнать смысл, принимая звучание и написание

слова за означающее этого смысла, за его знак, с другой стороны, словарем синонимов (а также «словарем идей»), когда желаем найти слово, отвечающее нашей мысли, в этом случае принимая известный нам смысл за форму (означающее) разыскиваемых нами звучания и написания [32].

Закон был впервые констатирован Л. Ельмслевом: «Термины „план выражения” и „план содержания”, а также „выражение” и „содержание” выбраны в соответствии с установившимися понятиями и совершенно произвольны; их функциональное определение не содержит требования, чтобы тот, а не иной план называли “выражением” или “содержанием”» [33].

Таким образом, закон обращения планов в общей Форме иллюстрируется треугольником Фреге, любая вершина которого теоретически может быть принята за исходную точку при установлении направленных отношений. Разумеется, что в такой общей формулировке закон имеет силу для наблюдателя знаковой системы извне, а для участника знаковой системы (коммуниканта), Может быть, только в некоторых особенных случаях. Но для наблюдателя извне закон обращения планов, о котором здесь идет речь, имеет силу для любой ступени знаковости какую бы ступень наблюдатель ни наблюдал. На ступени отражения в неживой материи (в смысле С. И. Вавилова и Т. Павлова, см. II, 1) он соответствует тому более общему явлению, что всякое действие вызывает соответствующее противодействие, действие и противодействие в определенных случаях могут рассматриваться как взаимнообратимые по названию. На ступени биологического значения (в смысле Я. фон Иксюля, см. II, 1) этот закон составляет одно из проявлений более общего соотношения: в той мере, в какой живой организм приспособляется к среде, он и изменяет ее.

Поскольку, однако, здесь мы рассматриваем этот закон применительно к знаковым системам человека, ему можно придать более узкую и более определенную формулировку. Обращение планов (план содержания становится планом выражения, план выражения — планом содержания) имеет место тогда, когда от мыслительного содержания, смысла знака, мы идем к самому знаку. Закон проявляется, следовательно, при активном настрое мысли: от познающего субъекта (человека) к внешнему миру, объекту. Закон связан с принципом активности человека в мире.

При такой формулировке мы получаем возможность связать этот закон с различными явлениями символизма и некоторыми формами идеализма, известными из истории познания, и объяснить их также и семиотически.

Связь семиотического закона обращения планов содержания — выражения с названными здесь более сложными явлениями делается отчетливой, если ввести промежуточное звено объяснения, как бы упро-

щающего модель этих более сложных явлений. Такой моделью оказывается принятая в античном мире теория зрения, в частности, теория отражения в зеркале. В довольно полном виде она изложена в диалоге Платона «Тимей». Разбирая эту теорию в своей книге «Глаз и Солнце», акад. С. И. Вавилов обратил особое внимание на принцип активности (хоть и не называл его так): древние знали закон прямолинейного распространения света и закон отражения, но им не было известно устройство глаза. Поэтому простейшим условием для решения задачи об отражении и оказалось для них представление о лучах, исходящих из глаза (то есть активно направленных во внешний мир), подобно щупальцам. «В самом деле, — писал С. И. Вавилов, — примем, что лучи, создающие изображение, идут не от источника к глазу, а наоборот, и что глаз каким-то образом чувствует первоначальное направление вышедших из него зрительных лучей. Эти лучи в рассматриваемом примере отражения от зеркала отразятся, как и световые, из зеркала в точках *C* и *B* и соберутся в «источнике» в точке *A*. Первоначальное направление лучей, вышедших из глаза, «сигнализируется», по предположению древних, каким-то способом в мозг, и кажется, что встреча лучей произошла не после отражения, а в мнимой точке *A*, где пересекаются продолжения лучей, первоначально вышедших из глаза» («Глаз и Солнце», изд. 7, стр. 11—12).

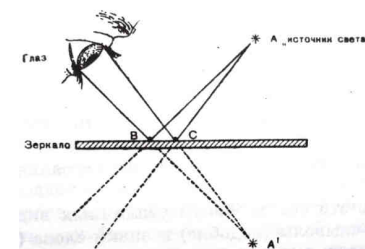
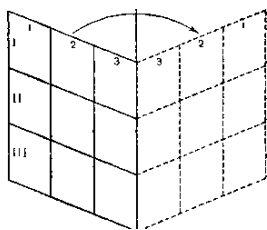


Схема отражения, разъясняющая теорию зрения, принятую у древних греков (по С. И. Вавилову),

С точки зрения семиотики здесь важны следующие моменты. 1. Отражение в зеркале становится материальным посредником — знаком — между глазом

(соответственно мозгом) и светящимся предметом, «источником». 2. Предмет видимым образом раздваивается: мы отчетливо воспринимаем и сам предмет А, и его отражение в мнимой точке A^1 за зеркалом. 3. Если бы лучи исходили из «источника» А, то точка A^1 за зеркалом была бы для древних, не знавших

устройства глаза, явным обманом зрения, явной иллюзией. Но поскольку лучи, по представлениям древних, исходили из глаза, то точка A^1 за зеркалом — не иллюзия, а истина: ведь лучи из глаза в самом деле сошлись бы там, не будь на пути зеркала (см. чертеж). Следовательно, принцип активности (лучи исходят из глаза, а не направляются в него) требует признать, что изображение за зеркалом, в точке A^1 , есть постижимое глазом (соответственно мозгом) идеальное изображение предмета, его сущность.



Схема, иллюстрирующая процесс идеального удвоения знаков, имеющий место в истории человеческого познания. Процесс удвоения объясняется аналогией с зеркальным удвоением, более простым случаем которого является античная теория зрения (см. рис. на предыдущей странице)

Рис. 25

Если теперь место зеркала в этой теории займет голова человека с ее способностью отражения, то совершенно закономерно образы предметов, имеющиеся в индивидуальном сознании, должны быть приняты за образы-знаки как предметов, так и их существующих пн о сознания идеальных сущностей.

Таким образом, основанная на таком принципе отражения теория познания требует, чтобы всякий образ, имеющийся в сознании человека, рассматривался как знак идеальной сущности, объективно («реально») существующей вне человека.

Представим себе теперь, что эти знаки-образы различных видов: знаки-образы (тождества), знаки-символы (подобие) и знаки-слова (условности). Тогда в силу такой теории должны существовать идеальные сущности трех различных видов. С семиотической точки зрения это означает, что основывающийся на этом принципе (сознательно или неосознанно) человек произвел обращение планов. Если взять классификационную схему, приведенную выше (гл. III, 10), то этот гносеологический и семиотический процесс можно схематизировать следующим образом: как обращение, вообразимое удвоение, или, точнее всего, как зеркальное отражение, при котором

вообразимое «за зеркалом» воспринимается как идеальная, но объективно существующая сущность (ср. схему зеркального отражения, принятую в античном мире, на предыдущей странице).

Такая операция действительно имела место в истории познания человеком окружающего мира, проявляясь в различных видах концепции всеобщей знаковости, панзнаковости. В наиболее яркой форме мы находим эту концепцию в средневековой схоластике. В ней «объективный мир в целом и частях является символом мира сверхопытного, мира чистых понятий и духовных сущностей. Каждый элемент первого есть символ соответственного элемента второго. Так, Рабан Мавр (в IX веке) в своем „Universum“ составил курьезный „словарь“ символов, охватывающий все — от конской сбруи и печного горшка до „святой троицы“» [34].

«Обращение схемы» интересно еще и тем, что указывает ступени в развитии панзнаковых воззрений: последняя колонка правой схемы — естественный язык — при обращении оказывается первой колонкой, и это положение действительно совпадает с тем, какое отмечается в истории философии: исторически первоначально именно с л о в о осознается как условный символ обозначенной им вещи — так в античных учениях о логосе, в философии Платона с его миром идей-пробразов и в средневековом реализме [35].

Идея знаковости вещей как подобных своим означаемым характерна для следующего, второго, этапа идеализма (например, для учения Рабана Мавра и поздней схоластики).

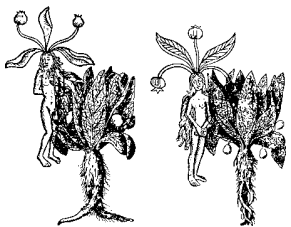
Наконец, на третьем этапе идея тождественности вещей их смыслом в мире человека развивается в современных концепциях социальной антропологии (Леви-Стросс, Мерло-Понти, см. выше, II, 2, пример, стр. 48).

Рассмотрим еще один любопытный пример, относящийся ко второму этапу. Возьмем «язык» научного исследования (который, как и в примере с «языком театра», понимаем в соответствии с высказанными выше положениями не как «язык науки» — формулы, терминологии и проч., — а как трактовку ученым одних явлений наблюдаемых им, в качестве знаков других, наблюдаемых или ненаблюдаемых явлений). Эксперимент в научном исследовании можно считать как бы вопросом который наблюдатель задает природе, чтобы получить ответ. Таким образом, позиция

ученого, ставящего эксперименты, сходна с позицией наблюдателя — участника сообщения, а позиция ученого, не ставящего экспериментов, — в ситуации, где можно их поставить, например, в естественных науках, — приближается к позиции стороннего наблюдателя (ср. выше, III, 6). В истории науки второй период предшествовал первому: экспериментальный метод складывается в европейском естествознании с началом нового времени, с XVII века. И вот какой любопытный пример всеобщей знаковости мы находим в медицине XVI века. Знаменитый врач Парацельс (1493—1541) в выборе лекарственных растений основывался на возникшем еще в глубокой древности учении о так называемых сигнатурах — внеш-

148

них знаках внутренней сущности: форма растения, его окраска, вкус и запах могут служить указанием на заболевание, при котором оно может быть полезным. Так, например, от желтухи следовало, согласно учению о сигнатурах, применять растения с желтыми цветами, при заболеваниях почек — растения с почковидными листьями и т. д. Учение Парацельса послужило одной из основ для изучения химического состава растений [36]. Явление панзнаковости и сигнатур с исторической точки зрения объяснено М. Фуко (см. «Этносемиотика», II, 2, стр. 50).



Одна из сигнатур средневековья — растение мандрагора (Mandragora Juss.) из семейства пасленовых. Мандрагоре приписывались самые чудодейственные свойства, потому что она напоминала человека в целом, ее корневище использовалось как амулет и приворотное зелье. Упоминается в Библии и в «Ромео и Джульетте» Шекспира.

Рис. 26

Как бы «вторичное» применение идеи знаковости наблюдается и в истории вкуса, тесно связанной с историей объективных форм, жанров и стилей литературы и искусства. Но поскольку позиция стороннего наблюдателя здесь оказывается тогда, когда соответствующие формы и жанры перестают твориться, уходят в прошлое, то усиления знаковости здесь как будто бы нужно ожидать в ближайшие к нам эпохи, то есть в направлении, обратном тому, какое обнаруживается в истории науки. Некоторые факты, по-видимому, это подтверждают. «Мы знаем, — писал В. Шкловский, — что часты случаи восприятия как чего-то поэтического, созданного для художественного

любования, таких выражений, которые были сделаны без расчета на такое восприятие; таково, например, мнение Анненского об особой поэтичности славянского языка, таково, например, и восхищение А. Белого приемом русских поэтов XVIII века помещать прилагательное после существительного. Белый восхищается этим как чем-то художественным или, точнее, считая это художеством намеренным, на самом деле это общая особенность данного языка (влияние церковнославянского). Таким образом, вещь может быть: 1) создана как прозаическая (это слово употреблено здесь в значении «нехудожественная». — Ю. С.) и воспринята

149

как поэтическая (художественная. — Ю. С.), 2) создана как поэтическая и воспринята как прозаическая. Это указывает, что художественность, относимость к поэзии данной вещи, есть результат способа нашего восприятия, вещами художественными же в тесном смысле мы будем называть вещи, которые были созданы особыми приемами, цель которых состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка воспринимались как художественные» [37].

Интересный пример обратного — картины мира как «неинтерпретированной» системы внешних отношений через которую нужно угадать их смысл, сам по себе вовсе не выраженный, — мы находим в творчестве немецкого романтика Гофмана. В одном его рассказе описывается такая ситуация: в верхнем этаже дома сидит обезноживший человек (кузен), все время он проводит у окна, наблюдает за рыночной площадью, но, не слыша разговоров, которые там происходят, «подставляет» смысл к тому, что (видит только глазами. Дается живая картина рынка:

«Кузен. Эти две женщины вечно сидят вместе, и, хотя они торгуют разными вещами и между ними поэтому не должно быть столкновений, а следовательно, и настоящей зависти, все же они до сего дня всегда злобно косились друг на друга и, насколько я смею доверять себе или опытному физиономисту, язвительно переругивались. О, смотри, брат! Скоро они будут — одна душа. Торговка платками предлагает чашечку кофе продавщице чулок. Что бы это значило? Я-то знаю. Несколько минут тому назад к ее кухне подошла, привлеченная заманчивым товаром, девушка лет шестнадцати, не старше, хорошенькая как ангел, и вся ее манера держаться говорила о благонравии и стыдливой бедности. Желания ее устремлялись к белому платку с пестрой каемкой, который ей, вероятно, очень был нужен. Она к нему приценилась, старуха пустила в ход

всю свою торговую хитрость и развернула платок так, что пестрые краски еще ярче заиграли в солнечных лучах. Насчет цены сговорились. Но, когда бедняжка развязала уголок носового платка и извлекла все, что было в ее скудной казне, наличность оказалась недостаточной для такой покупки. Со слезами на глазах, с пылающими щеками девушка поспешила прочь, а старуха злобно рассмеялась, сложила платок и бросила в корзину. Можно себе представить, какие изысканные выражения она при этом пустила в ход. Но, вот, оказывается, другая старуха, — такая же чертовка — знает эту бедняжку и может позабавить разочарованную соседку печальной повестью о разорившейся семье, превратив ее в скандальную хронику жизни легкомысленной, чуть ли не преступной. Чашка кофе была, несомненно, наградой за безбожную клевету.

Я. Во всем, что ты тут придумываешь, дорогой кузен, лет, должно быть, и крупницы правды, но я смотрю на этих женщин — и вот благода-

—150—

ря живости твоего описания все мне кажется таким правдоподобным, что я волея-неволей должен поверить» [38].

Этот случай интересен как один из первых в мировой литературе примеров «абстрактной» литературы, в наши дни развивающейся в одном из направлений «нового романа» во Франции (см. выше, стр. 27).

13. Отношение «микросом — макросом»

В его наиболее простой и, возможно, наиболее древней форме этот семантический закон можно свести к формуле «глаз — солнце» [39]. В естественных знаковых системах человека существует семантическая связь между микросомом (органами тела человека и его внутренним, духовным миром) и макросомом (Землей, небом, светилами). Как видно из формулы «глаз — солнце», в наиболее простых проявлениях этим законом устанавливалась связь между каким-либо фрагментом внешнего мира и тем именно органом чувств, которым этот фрагмент воспринимается. Об этом свидетельствуют многочисленные параллели из древнеродственных слов:

древнеирландское *suil* — глаз (микросом) — готское *sauil*, литовское *saule* — солще (макросом);

славянское меркнуть, смеркаться (макросом) — литовское *mérkti* — *мигать*, *моргать*, *смежить* глаза (микросом);

русское *студить*, *стужа* (макросом) — *стыдить*, *стыд* (микросом);

русское *мороз*, *мраз* (макросом) — *мразь*, *мерзость* (микросом);

русское *воз-дух* (макросом) — *дух* (микросом) и т. д.

Подобные параллели наблюдаются не только в индоевропейских языках (из которых взяты приведенные йнце примеры), но и во многих других. Закон имеет Многочисленные вариации, из которых укажем здесь только некоторые.

Отношение «сверх — низ». В простой форме находим это семиотическое отношение в том, что в индоевропейских языках довольно часто эти понятия выражаются одним словом: литовское *šaka* — ветвь — *šaknis* — корень; латинское *altus* — высокий (о дереве, горе) — глубокий (о море, реке, ране) и т. п. Далее, если брань — принижение, а хвала — возвышение, превознесение, то этот же закон проявляется в частом слиянии хвалы и брани в одном слове и в одном образе (ср. русские грубые восклицания).

Другой пример — Иван-дурак (в сказках, он и самый глупый и в конце концов самый умный. По этому поводу М. М. Бахтин в книге о Рабле замечает: «Явление это чрезвычайно важно для понимания целых больших этапов в развитии образного мышления человечества в прошлом, но оно до сих пор не было ни раскрыто, ни изучено. Отметим здесь предварительно и несколько упрощенно, что в основе этого явле-

—151—

ния лежит представление о мире как о вечно неготовом, как об умирающем и рождающемся одновременно, как о двутелом мире. Двутонный образ, сочетающий хвалу и брань, стремится уловить самый момент смены, самый переход от старого к новому, от смерти к рождению. Такой образ, — М. М. Бахтин иллюстрирует свою мысль сочными образами Рабле, — развенчивает и увенчивает одновременно. В условиях развития классового общества такое мироощущение может найти выражение только в неофициальной культуре, в культуре же господствующих классов ему нет места» [40]. Многие приемы карнавала основаны на перемещении иерархического верха вниз: шуга объявляли королем, на праздниках дураков — шутовского аббата, архиепископа, папу; на многих праздниках выбирали королей и королев праздника («бобовый король») [41]. Этот обычай сохранился во Франции и до сих пор (на рождество тот король, кому достанется в пироге монетка).

Семантические пучки «солнце — колесо»; «солнце — птицы, животные (духи племени, тотемы)»; «дерево — вода — женское божество» и т. д., отмечаемые исследователями в разных древних культурах [42], — другой вид этого закона.

Своеобразное преломление того же закона находим в членении цветовой гаммы, спектра, в языках разных народов. Общая историческая закономерность здесь прочно установлена: красный и желтый различаются раньше и отчетливее, обозначаются издревле разными словами; зеленый, голубой, синий — различаются позднее и хуже, часто смешиваются или обозначаются одним словом; к тому же это слово иногда обозначает и черный цвет. Особенно поразительны цветообозначения у древних греков: самые обычные, с нашей точки зрения, определения — «голубое небо», «зеленая трава», «синее море» у них отсутствуют. Гомер никогда не называет небо и море синими, траву зеленой. Цвет воды, земли, облака, железа он обозначает одинаково как черный. О причинах этого явления много спорили, выдвигая самые разные объяснения: и биологические особенности древних народов, и уровень материального производства [43]. Наиболее здравое объяснение, по-видимому, все же семиотическое. Его можно резюмировать так: тонкое языковое различие и обозначение красок внешнего мира (макрокосма) наступает тогда, когда в своем внутреннем мире (микрокосме) человек начинает тонко разграничивать состояния духа; это различие приходит позже, не с эпосом, а с лирикой. А у древних греков был развит преимущественно эпос и Гомер был не лирическим, а эпическим поэтом [44].

Говоря о семиотическом законе 13, следует подчеркнуть различие собственно языковой семантики и семантики других знаковых систем, например мифов. На это указывали археологи и этнологи в связи с критикой ошибок акад. Н. Я. Марра. Отмечалось, например, что хотя семантические связи типа «глаз — солнце» несомненны, но они вовсе не всегда выражаются в языковой семантике. «В египетском языке нет и

не было совпадения основного термина „солнце“ и „глаз“. Название „солнце“ никогда не переносилось (в этом языке. — Ю. С.) на орган зрения человека, и семантические связи не означают тождество понятий» [45].

В заключение приведем еще один, довольно частный, семиотический закон (скорее закономерность), вытекающий из предыдущего. Он покажет, как в русло семиотики стекаются старые и новые истины и как актуальна она сама.

Если на новый, хозяйственно и общественно важный предмет переносится название старого, в особенности целых пластов слов (например, терминов древнего плетения на гончарное дело), то налицо постоянное отставание терминологии. «Эта как бы постоянная недостаточность терминологии, отстающей от реально-технического прогресса, представляет собой архаизирующую сущность любой традиционной терминологии» (О. Н. Трубачев).

Сравним с этим высказывание директора Новокраматорского машиностроительного завода: «Наши землеройные машины — самые крупные в стране. Прокатные станы с маркой НКМЗ не уступают мировым образцам. Конечно, такие агрегаты мы не можем делать без помощи других заводов. По кооперации мы получаем механизмы, а порой и целые компоненты оборудования, от десятков заводов страны. В этих условиях особую роль играют стандарты, унификация деталей.

Однако система стандартизации и унификации налажена плохо. Это относится не только к одному заводу или отрасли, но и ко всему народному хозяйству. Многие ГОСТы и стандарты устарели. Современный уровень техники требует, чтобы они в значительной мере обновлялись в течение четырех-пяти лет. У нас же многие из них не меняются уже пятнадцать лет.

Старые ГОСТы — это старые представления, старые нормы, и если ГОСТу пятнадцать лет, то в нем как бы заложены уровень технологии, мастерство людей, возможности машин, стойкости и разрешающей способности инструмента, физико-химических свойств материала пятнадцатилетней давности. Мы как бы искусственно при тормаживаем развитие техники» (В. Масол. Единый язык техники. «Известия», 9.VI.1965 г.).

Этим документом, подтверждающим важность семиотики в жизни современного общества, мы и закончим книгу.

ПРИМЕЧАНИЯ И ЛИТЕРАТУРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] «Кибернетика занимается изучением систем любой природы, способных воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и использовать ее для управления и регулирования». См. *А. Колмогоров*. Предисловие к русскому изданию книги *У. Росс Эшби*. Введение в кибернетику. М. 1959, стр. 8.

[2] *У. Росс Эшби*. Введение в кибернетику, пер. с англ. М., 1959; *А. Моль*. Теория информации и эстетическое восприятие, пер. с франц. М. 1966; *Л. Ельмслев*. Прологомены к теории языка, пер. с англ., в сборнике «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960; *В. В. Мартынов*. Кибернетика. Семиотика. Лингвистика. Минск, 1966.

[3] *А. Ф. Лосев*. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968 («Уч. Зап. Госуд. пед. ин-та им. В. И. Ленина»).

[4] *Г. Клаус*. Кибернетика и философия, пер. с нем., М., 1963; *Г. Клаус*. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка, пер. с нем. М., 1967; *И. Земан*. Познание и информация. Гносеологические проблемы кибернетики, пер. с чешек. М., 1966.

I. ФАКТЫ И ПЕРВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

[1] *И. Эренбург*. Люди, годы, жизнь... «Новый мир», 1965, № 4, стр. 35.

[2] Там же, стр. 39.

[3] *Е. Т. Халл*. The language of space. «Journal of the American Institute of Architects», 1961, February.

[4] *V. Brøndal*. Essais de linguistique générale. Copenhague, 1943, p. 96.

[5] *Лариса Рейснер*. Зимний дворец (очерк 1917 г.). *Лариса Рейснер*. Избр. произв. М., 1958, стр. 489—490.

[6] Схема театра и описание — из бюллетеня «Brèves nouvelles de France», 16.III.1968.

[7] «Théorie de la démarche» цитируется по изданию *H. de Balzac*. Œuvres diverses, II. Paris. Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902.

[8] *О. де Бальзак*. Указ. соч., стр. 23. Заметим, что французское «démarche» по значению шире, чем русское «походка», это «походка и все телесные движения».

[9] В плане философии это явление рассматривается в этой книге ниже: ч. III, гл. V, 2—3

[10] *P. de Boisdeffre*. Une histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui. P., 1958, p. 729.

[11] Следующие несколько абзацев воспроизводят с некоторыми изменениями и дополнениями соответствующий раздел моей книги «Французская стилистика» (М., 1965, стр. 14—19).

[12] *А. Белый*. Мысль и язык (философия языка А. А. Потебни). Сб. «Логос» М., 1910, стр. 245.

[13] *К. Фосслер*. Грамматика и история языка. (К вопросу об отношении между «правильным» и «истинным» в языкознании.) Сб. «Логос», кн. 1, М., 1910, стр. 167.

[14] *P. Griéger*. La caractérologie ethnique. Approche et compréhension des peuples. P., 1961, p. 279—280.

[15] Гриеже основывается здесь на книге *Е. Бутму*. Esquisse d'une psychologie du peuple anglais. P., 1901. Сочинения, подобные указанной книге Гриеже, мы потому и относим к истории семиотики, что аналогичные попытки предпринимались уже очень давно, хотя, по видимому, и на иной философской основе. Так, ученик известного психолога Дильтея, Шпрангер, еще в 1914 г. выпустил сочинение «Формы жизни», в котором описывал шесть типов человеческого поведения по отношению к культуре. См. *М. Г. Ярошевский*. История психологии, М., 1966, стр. 407. Выделенные Шпрангером типы личности — теоретический, экономический, эстетический, социальный, политический, религиозный — очень напоминают типы Гриеже.

[16] *Р. Менендес-Пидаль*. Песнь о моем Сиде. *Р. Менендес-Пидаль*. Избр. произв., пер. с исп. М., 1961, стр. 199.

[17] В настоящее время см. об этом сборник: «История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах». М.: Изд. РГГУ, 1996. Под этими специфическими названиями развивается целое научное направление, связанное во Франции со «Школой анналов» — группировкой историков во Франции. В России см. цикл работ *Валерия Подороги*: Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии. М.: Ad Marginem, 1995; *Ю. С. Степанов*. Константы. Словарь русской культуры. М.: Изд. Школа «Языки русской культуры», 1997.

[18] См. *Н. И. Конрад*. О «языковом существовании». «Японский лингвистический сборник». М., 1959.

[19] *L. Law Whyte*. The Unconscious before Freud, a History of the Evolution of human awareness. N. Y., 1960. В нашей литературе можно указать интересную книгу на эту тему: *М. С. Роговин*. Философские проблемы теории памяти. М., 1966.

[20] Это место из Данте цитируется в книге Уайта. Мы даем его здесь в переводе М. Лозинского: *Данте Алигьери*. Божественная Комедия. М., 1961.

[21] Для истории указанных идей показательна история терминов и, самое главное, очень разное время их появления. Немецкое Unbewusstsein (бессознательность) и bewusstlos (бессознательный) были впервые употреблены в 1776 г., а затем получили широкое

распространение благодаря Гёте, Шиллеру и Шеллингу между 1780—1820 гг. Английское unconscious (неосознанный) появляется в 1751 г. и чаще встречается после 1800 г. в писаниях Вордсворта и Колдриджа. Во Франции inconscient (бессознательный) как прилагательное или существительное, по-видимому, употребляется не раньше 1850 г. и то только в переводах с немецкого. Словарь французской Академии включил это слово только в 1878 г. (*L. Law Whyte. The Unconscious before Freud*, p. 66).

Слово «стилистика» в филологии, по наблюдениям Л. Шпицера, появляется во Франции в 1835 г., в Англии в 1845 г., в Германии, по-видимому, несколько раньше. Термины «внешняя стилистика» (то есть сопоставительная стилистика) и «внутренняя» введены Ш. Балли в начале XX в.

Что касается терминов, относящихся к изучению материальной культуры, «явная культура» (*overt culture*) и «неявная культура» (*covert culture*), то, как уже было сказано, они введены Э. Холлом только в 50-х годах нашего века. (*E. T. Hall. The Silent Language*. N. Y., 1959).

[22] См. *А. Ф. Лосев*. Статьи по истории античной философии для IV—V томов «Философской энциклопедии». М., 1965, стр. 38—39; он же, *Логос*. «Философская энциклопедия», т. 3. М., 1964, стр. 246; *С. Н. Трубецкой*. *Логос*. «Новый энциклопедический словарь», изд. Брокгауз—Ефрон, том 24, Пг. (1915), стр. 798.

[23] *Ch. W. Morris*. *Logical positivism, pragmatism and scientific empiricism*. «Actualites scientifiques et industrielles, N 449, Exposés de philosophie scientifique», ed. Hermann et C^{ie}, P., 1937, p. 4.

[24] *Д. Локк*. Опыт о человеческом разуме, книга III. *Д. Локк*. Избр. философские произведения, т. I. М., 1960, стр. 402 и след.

[25] См. *Б. В. Бирюков*. О взглядах Г. Фреге на роль знаков и исчисления в познании. Сб. «Логическая структура научного знания». М., 1965, стр. 91—108. Подробнее см. III, 3.

[26] См. об этом *Е. Coseriu*. *Adam Smit und die Anfänge der Sprachtypologie*. «Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans Marchand». Mouton, 1968.

[27] *Ф. де Соссюр*. Курс общей лингвистики, пер. с франц. М., 1933, стр. 79.

II. НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМИОТИКЕ

1. Биосемиотика

[1] *Jakob von Uexküll*. *Umwelt und Innenwelt der Tiere*. Berlin 1909.

[2] *Jakob von Uexküll*. *Bedeutungslehre*. В серии «Bios. Abhandlungen zur theoretischen Biologie und ihrer Geschichte, sowie zur Philosophie der organischen Naturwissenschaften», Bd. 10. Leipzig, 1940; другие издания в серии Rowohls Deutsche Encyclopedia 1956; 1958; 1962.

[3] Цитирую по работе: *Т. Павлов*. Избр. философские произведения, т. 3, М., 1962.

[4] *В. И. Ленин*. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 40.

[5] *Т. Павлов*. Теория отражения, гл. 1. «Материя и движение. Отражение как свойство, присущее всей материи, родственное по существу с ощущением, но не тождественное с ним». *Т. Павлов*. Избр. философские произведения, т. 3. М., 1962, стр. 38. Уже по этому высказыванию можно видеть, что теория отражения дает очень важные аргументы как против бихевиоризма блумфильдовского типа в языкознании, так и против концепции языка и семиотики как «речевой деятельности», основанной на гипертрофированном принципе «активности субъекта». (Ср. концепцию А. А. Леонтьева в ряде работ этого автора.) Что

касается идеи акад. С. И. Вавилова, то по этому поводу Т. Павлов справедливо замечает: «Некоторые советские рецензенты отвергли мысль акад. Вавилова, но нам представляется, что это сделано не столько вследствие серьезного обдумывания вопроса и понимания его глубокого научно-методологического значения, сколько из страха, “как бы чего не вышло”, т. е. как бы не открылась дверь для идеализма и витализма. Боязнь сама по себе понятна, но в данном случае она явно ничем не оправданна» (стр. 36).

[6] По данным Института фотосинтеза и Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР, см. *Е. Грузинов*. «Кратковременная память» растений. «Вечерняя Москва», 20.IX.1969 г., № 221 (13957).

[7] См. «Современная психология в капиталистических странах», М., 1963, стр. 214—215; *N. Tinbergen*. *The study of instinct*, 4-th ed. Oxford, 1958, p. 38, 44.

[8] Сб. «Современная психология в капиталистических странах», стр. 219. Следует подчеркнуть, что здесь идет речь главным образом о низших животных, именно у них находим эту ступень знаковости в чистом виде. У высших животных поведение гораздо более сложно. Лучшим обобщением по этой линии является статья: *К. Лоренц*. Эволюция ритуала в биологической и культурной сферах. Журнал «Природа». Москва, 1969, № 11.

[9] Три блестящих сочинения о жизни пчел, термитов и муравьев написаны знаменитым бельгийским писателем М. Метерлинком (см. *Maurice Maeterlinck*. *La vie des abeilles*. *La vie des termites*. *La vie des fourmis*, разные издания). Метерлинк тщательно изучил специальную энтомологическую литературу своего времени, но, конечно, он создавал эти книги как художник и философ, пытаясь разрешить не столько энтомологические, сколько волновавшие общество того времени гуманистические философские вопросы. Популярные работы на

русском языке: *И. Халифман*. Пчелы. М., 1963; *он же*. Муравьи. М., 1963. О значении этих вопросов для теории языка см. в книге: *Ю. С. Степанов*. Основы языкознания. М., 1966, стр. 244 и след.

[10] *Н. И. Жинкин*. Звуковая коммуникативная система обезьян. «Известия Ак. пед. наук РСФСР», вып. 113. М., 1960.

2. Этносемиотика и семиотика культуры

[11] См. издающиеся в США журналы «American Anthropologist» (в частности, vol. 57, 1955; vol. 64, 1962); «Behavioral Science» (в частности, vol. 7., 1962); «Psychiatry» (в частности, vol. 20, 1957; vol. 24, 1961); «Sociometry», «Current Anthropology», выходящий с 1962 г. специальный журнал «Ethnology. An international journal of cultural and social anthropology». University of Pittsburgh Press. Другое направление уделяет основное внимание связям между языком, мышлением, национальным характером: см. сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960; также ряд рецензий на работы этой школы в сб. «Структурно-типологические исследования». М., 1962. Довольно полный обзор литературы в этой области см. в книге: *H. C. J. Duijker and N. H. Frijda*. National Character and National Stereotypes. «Confluence», a series edited by the International Committee for Social Sciences Documentation, vol. I. Amsterdam, 1960, специально по лингвистическому анализу, стр. 88—89. О работах французской школы см.

—157—

M. Mauss. Sociologie et Anthropologie, P.U.F., P., 1950 (введение *C. Lévi-Strauss*); *C. Lévi-Strauss*. Anthropologie structurale. P., 1958, рецензия *В. Н. Топорова* в сб. «Структурно-типологические исследования». *G. Matoré*. La méthode en lexicologie. P., 1953; *он же*. L'espace humain, l'expression de l'espace dans la vie, la pensée et l'art contemporains. P., 1962, рецензии: *G. Gougenheim*. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 1963, fascicule 2; *Э. М. Медникова*, *И. В. Гюббенет*. «Вопросы языкознания», 1970, № 3; также упомянутая работа *П. Гриеже* и сборник «История ментальностей...», 1996 (см. прим. 17 к разд. 1).

[12] Начало такому изучению поз было положено известной статьей французского этнографа *М. Мосса* (*M. Mauss*. Les techniques du corps. «Journal de psychologie normale et pathologique», t. 32, № 3—4, 1935). В настоящее время культурно-антропологическая библиография по вопросу о позах огромна, она, например, занимает 100 страниц только в одном обзоре: *F. Hayes*. Gestures. A working bibliography. «Southern Folklore Quarterly», vol. 21, 1957. Здесь нами использованы в основном работы: *Gordon W. Hewes*. World distribution of certain postural habits. «American Anthropologist», vol. 57, № 2, part I, 1955 (с библиографией, отсюда же таблица, стр. 235); *Weston La Barre*. Paralinguistics, kinesics and cultural anthropology. «Approaches to semiotics». Mouton, The Hague, 1964. Другие работы см. сноску 11 здесь и

сборник «Approaches to semiotics. Cultural anthropology. Education. Linguistics. Psychiatry. Psychology», ed. by *T. A. Sebeok*, *A. S. Hayes*, *M. C. Bateston*; Mouton, The Hague, 1964, в этом же сборнике большая библиография, но крайне односторонняя: только американско-английская. Рецензия: *Т. М. Николаева* и *Б. А. Успенский*. «Вопросы языкознания», № 5, 1965. Об инженерной психологии и, шире, технической психологии см. *М. И. Бобнева*. Техническая психология, М., 1966 (популярное изложение, с библиографией); «Инженерная психология», сб. статей, пер. с англ., под ред. *Д. Ю. Панова* и *В. П. Зинченко*. М., 1964; «Инженерная психология», под ред. *А. Н. Леонтьева*, *В. П. Зинченко* и *Д. Ю. Панова*. М., 1964.

[13] *Б. Л. Уорф*. Отношение норм поведения и мышления к языку. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, пер. с англ. М., 1960, стр. 142.

[14] Там же, стр. 178.

[15] Периодические публикации тартуской группы семиотиков см.: «Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам». В вып. 1 этой серии вышла книга: *Ю. М. Лотман*. Лекции по структуральной поэтике. Тарту, 1964. См. также: Сб. «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов». М., 1962. *Вяч. Вс. Иванов*, *В. Н. Топоров*. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. Публикации московской группы семиотиков: сб. «Материалы к конференции “Язык как знаковая система особого рода”». М., 1967. При филологическом факультете Московского университета работает проблемная группа по семиотике под руководством *А. Г. Волкова*. Из более поздних публикаций см. сб. «Семиотика». Составит. *Ю. С. Степанов*. М.: Радуга, 1983.

[16] Здесь в основном по работе: *C. Lévi-Strauss*. Introduction à l'œuvre de *Marcel Mauss*, в книге: *M. Mauss*. Sociologie et anthropologie. Presses Universitaires de France. P., 1950. *М. Мосса* был во Франции предшественником того направления, которое впоследствии развивает *К. Леви-Стросс*. В указанной работе последний излагает некоторые общие основы этого направления, уже далеко ушедшего вперед со време-

—158—

ни *М. Мосса*, ср. *M. Mauss*. Manuel d'ethnographie (1-е изд., 1947), 2-е изд., P., 1967. См. также специальный номер французского журнала «La Pensée», целиком посвященный как изложению, так и критике структурализма в общественных науках, в том числе и критике культурной антропологии *К. Леви-Стросса*: «La Pensée», Numéro Spécial «Structuralisme et marxisme», N 135, octobre, 1967.

[17] *J.-P. Sartre*. L'être et le néant, Essai d'ontologie phénoménologique, éd. NRF, Gallimard, P., 1960, p. 644.

[18] *C. Lévi-Strauss*. Anthropologie structurale. P., 1958 (раздел «Социальная структура»).

[19] Когда К. Леви-Стросс указал, что его анализ волшебной сказки в свете идей структуральной антропологии продолжает и развивает идеи русской формальной школы 20-х годов, в особенности идеи книги В. Я. Проппа «Морфология сказки» (1-е изд., Л., 1928; 2-е изд., М.—Л., 1967), то В. Я. Пропп с этим не согласился и анализа Леви-Стросса не принял. См. материалы этой дискуссии в сборнике *Vladimir Ja. Propp. Morfologia della fiaba. Con un intervento di C. Lévi-Strauss e una replica dell'autore*, ed. Einaudi, Torino, 1966. См. также и в указанной выше (прим. 15) книге «Семиотика» 1983 г.

[20] *C. Lévi-Strauss. Introduction à l'œuvre de M. Mauss*, в книге: *M. Mauss. Sociologie et anthropologie...*, p. XLVII.

[21] См. об этом: *A. J. Greimas. L'actualité du saussurisme*. «Le Français Moderne», 1956, t. 22.

[22] *R. Barthes. Le degré Zéro de l'écriture, suivi d'Eléments de sémiologie*, ed. Gonthier, P., 1968.

[23] См. интервью М. Фуко парижскому журналу «Экспресс», май, 1969. Этой линией в своем содержании книга Фуко противопоставлена, по-видимому, и так называемой лингвистической, или семантической, философии, утверждающей «примат слов», и такой критике этой философии, как, например, книга *М. Геллер. Слова и вещи*. М., 1962.

[24] М. Фуко в этом месте своей книги «*Les mots et les choses*» (стр. 60) ссылается на роман Сервантеса «Дон Кихот». До Фуко блестящий анализ заблуждений Дон Кихота именно с этой точки зрения дал известный лингвист и историк литературы Л. Шпицер: *L. Spitzer. Linguistics and Literary History*, Princeton, 1948. Шпицер показал, что в романе Сервантеса отразился перелом во взглядах культурных европейцев того времени на язык и литературу.

[25] *M. Foucault. Les mots et les choses*, NRF, Gallimard, P., 1966.

[26] Интервью М. Фуко журналу «Экспресс» (см. выше прим. 25). Подробный критический разбор сочинений М. Фуко французскими критиками-коммунистами можно найти в специальном номере журнала «*La Pensée*». Numéro spécial «*Structuralisme et marxisme*», N 135, octobre, 1967.

[27] М. Борн. Состояние идей в физике и перспективы их дальнейшего развития. Сб. «Вопросы причинности в квантовой механике». М., 1955, стр. 102.

3. Лингвосемиотика

[28] *И. Ньютон. Математические начала натуральной философии*, пер. А. Н. Крылова. Пг, 1915—1916, стр. 30.

[29] Подробнее об этих отношениях см. *С. Д. Кацнельсон. Содержание слова, значение и обозначение*. М.—Л., 1965, стр. 55 и след.

[30] В силу своей однонаправленности отношения актуальной деривации составляют частный случай детерминации (по терминологии Л. Ельмслева), см. ниже II, 4.

[31] Эти два типа синонимических отношений составляют частный случай общих языковых отношений: разнонаправленная синонимия есть разновидность реципроции, а однонаправленная — разновидность детерминации (по терминологии Л. Ельмслева). (См. ниже резюме раздела «Лингвосемиотика» и раздел «Абстрактная семиотика».)

[32] Эта концепция всесторонне развита Е. Куриловичем в целом ряде работ, см. в особенности: *Е. Курилович. Очерки по лингвистике*. М., 1962 (статьи «Проблема классификации падежей» и «Заметки о значении слова» из этого сборника); на материале главным образом древних индоевропейских языков см. он же: *L'apophonie en Indo-Europeen*, Wroclaw (1956), (об общих принципах, в частности о детерминации, особенно стр. 5—23).

В отечественной литературе вопрос прекрасно разработан в статье: И. П. Иванова. Об основном грамматическом значении. Уч. зап. ЛГУ, серия филол. наук, вып. 60, № 301, 1961. Первоначально независимо от идей Е. Куриловича эту концепцию развивал и автор данной книги, см.: *Ю. С. Степанов. Структура французского языка*. М., 1965; *он же. Структурно-семантическое описание языка* (автореферат докт. дисс). М., 1966.

[33] То, что варианты одной фонемы связаны отношениями актуальной деривации (порождения), хорошо показано недавно в работе ученика известного русского лингвиста, проф. П. С. Кузнецова, — В. М. Бельдяна. См. *В. М. Бельдян. Звуковая система современного русского языка и вопросы нейтрализации фонем*, автореф. кандидат. дисс. МГУ, М., 1968. В. М. Бельдян называет порождение «трансформацией» (трансформацией главного вида фонемы).

[34] *Примечание для лингвиста*. Необходимо подробнее остановиться на аналогии между указанными отношениями в лексической системе и в фонологической системе. Отношения значений внутри одного слова, связанные актуальной деривацией, ведут к омонимии. Вообще, омонимия есть предел, к которому стремится актуальная деривация (см. об этом: *О. С. Ахманова. Очерки по общей и русской лексикологии*. М., 1957; *Ю. С. Степанов. Основы языкознания*. М., 1966). Но если омонимия — предел, то всякая полисемия — предел противоположный, начало омонимии. Отношения же между значениями разных слов — синонимия (см. выше, в тексте II, 3).

Что касается фонологической системы, то аналогия с указанными отношениями давно была подмечена (см. *Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка*. М., 1955,

стр. 195; Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров. Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I. Фонетика и морфология. М., 1945, стр. 43). Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров писали: «... можно сказать, что вариация это есть как бы позиционно-обусловленный синоним основного вида фонемы». Синоним ли? Если считать, что фонемы — смыслоразличитель-

ные единицы (как Н. С. Трубецкой), то синоним: смысловое тождество и слова в разных словоформах и морфемы сохраняется. Но если считать, что фонемы различают не смыслы, а в полном и прямом смысле «звуковые оболочки слов», т. е. «фонетические слова», а мы стоим на этой точке зрения, то эти отношения не синонимия, а омонимия: ведь звуковая оболочка здесь как раз не остается тождественной сама себе, она постоянно меняется, варьируется при неизменном смысле слова, но фонемы различают не смыслы, а «звуковые оболочки», следовательно, в сфере плана выражения языка одна звуковая оболочка предстает по отношению к другой измененной при сохранении тождества смысла слова, то есть точно так, как в плане содержания как бы в зеркальном отражении варьируются смыслы при тождестве фонетической формы (к этому принципу мы сейчас вернемся). Так, отношения вариантов одной фонемы друг к другу есть отношения омонимии, а отношения равнозвучащих вариантов разных фонем — отношения синонимии. При уяснении этого устанавливается полный изоморфизм между структурой плана выражения (фонетикой, фонологией) и структурой плана содержания (лексикой и грамматикой).

Возвращаясь же к только что изложенному принципу вариаций, нужно подчеркнуть следующее: он есть частный случай более общего принципа — равноправия обоих планов языка, плана выражения и плана содержания, и их обратимости (см. об этом принципе III, 9).

[35] *Примечание для лингвиста.* В этом принципе различения класса как множества и класса как целого мы видим и разрешение «проблемы морфемы». Проблема эта заключается, как известно, в том, что морфы — единицы двусторонние, обладающие и планом содержания и планом выражения и относящиеся к наблюдаемому уровню (каждый морф можно слышать), при попытке возвести их к абстрактному уровню, к одной морфеме, не подчиняются единому принципу сведения: со стороны значения они образуют один класс, а со стороны формы — другой. Например: морфы множественного числа существительных в английском языке: -s, -z, -iz, -en — все имеют общее в плане содержания, но все различны по форме. Таким образом, с точки зрения всех существующих теорий языка, морфема как единица есть фикция. Отсюда и предложенный выход: исключить понятие морфемы, заменить его понятием «семь» — единицы только плана содержания, объединяющей со стороны содержания несколько двусторонних единиц — морфов. См. в работе: Н. Д. Арутюнова. О значимых единицах языка. Сб. «Исследования по общей теории языка». М., 1968. С точки зрения нашей теории, проблема

решается совершенно иначе: морфема сохраняется и как понятие и как единица языка, но она единица совсем не в том смысле, как «морф», который есть отдельное, морфема — единица абстрактного, представляемого уровня языка, единица в смысле «класс как целое», отличная от «класса как множество» («класс как множество» — совокупность морфов, входящих в данную морфему).

[36] Так определял фонему акад. Л. В. Щерба: «В живой речи произносится значительно большее, чем мы обыкновенно думаем, количество разнообразных

звуков, которые в каждом данном языке объединяются в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных дифференцировать слова и их формы, т. е. служить условием человеческого общения. Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных звуках речи. Мы будем называть их фонемами. Реально же произносимые различные звуки, являющиеся тем частным, в котором реализуется общее (фонема), будем называть оттенками фонем. Среди оттенков одной фонемы обыкновенно бывает один, который по разным причинам является самым типичным для данной фонемы: он произносится в изолированном виде, и, собственно, он один только и сознается нами как речевой элемент (Фонетика французского языка, изд. 7. М., 1963, стр. 18). Так же у английского фонолога Д. Джоунза: фонема — это «семья звуков, состоящая из основного (т. е. наиболее часто встречающегося звука этой семьи) и других; родственных звуков, заменяющих его в определенном звуковом окружении» (цитирую по сборнику «Общее и индоевропейское языкознание». М., 1956, стр. 63). И американские лингвисты дескриптивной школы: фонема — класс взаимозаменяемых звуков (Э. Хэмп. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964, стр. 89, 236). Общее у всех этих определений то, что фонема рассматривается как класс.

[37] См. Р. Якобсон, Г. М. Фант и М. Халле. Введение в анализ речи, пер. с англ. Сб. «Новое в лингвистике», вып. II. М., 1962.

[38] См. Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка, пер. с англ. Сб. «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960.

[39] Ввиду того что настоящая книга не рассчитана специально на занимающихся французским языком, этот материал в тексте дан с упрощениями, которые, однако, не затрагивают существа дела. Вот что следовало бы еще добавить: в современном языке *dans* — вариант предлога *en*, ставящийся при географических названиях автоматически там, где слово начинается с артикля мужского рода *le*. Поэтому в некоторых случаях различия между *en*, а устранялись, нейтрализовались, слившись в одной форме сочетания с *dans*:

en Danemark — в Дании *dans* le (или au) Danemark,
au Canada — в Канаде *dans* le Canada

Кроме того, независимо от рода, названия всех департаментов употребляются с *dans* (например: *dans la Marne* — в департаменте Марны) за очень редкими исключениями: *en Seine-et-Oise* — в Сене-и-Уазе, но и тут возможно *dans la Seine-et-Oise*.

[40] «Об островах отдаленных, летающих, необитаемых и о значении топа, а также о Санчо-Панса — губернаторе сухопутного острова» см. *В. Шкловский*. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1961, стр. 255.

[41] Там же, стр. 259. О робинзопадах XVIII в. см. *К. Маркс, Ф. Энгельс*. Собрание сочинений, т. 12, стр. 709—710.

[42] Ш. Балли впервые обратил внимание на тесное соприкосновение и частичное совпадение словесных и несловесных сообщений, см. *Ш. Балли*. Общая лингвистика и вопросы французского языка, пер. с франц. М., 1955, стр. 48—50. Современные работы можно найти в сборнике «Approaches to semiotics». Mouton,

The Hague, 1964; рецензия: *Т. М. Николаева* и *Б. А. Успенский*, «Вопросы языкознания», № 5, 1965.

[43] Настоящий очерк был уже написан (1963 г.) и прочитан в виде доклада в МГУ, когда вышла статья (*A. S. Hayes*. Paralinguistics and kinesics: pedagogical perspectives. «Approaches to semiotics». Mouton, The Hague, 1964), из которой мы заимствуем название «кинеформ» и «кинеморфема» (стр. 153), чтобы подчеркнуть аналогию с лингвистикой. Однако вся суть кинетики заключается в установлении «изолятов» — проблема, которая в упомянутой статье не ставится.

[44] Понятие «изолята» предложено в 1959 г. Э. Холлом: *E. Hall*. The silent language. N. Y., 1959.

[45] Некоторое время спустя подобные отношения между значимыми актами стали изучаться в их собственно языковой форме, как различия, в английской терминологии “The sentence means”, “The speaker means” («предложение значит, имеет в виду то-то и то-то» — «говорящий (употребивший данное выражение) имеет в виду то-то и то-то» — возникла теория речевых актов.

[46] В действительности имеются, по-видимому, некоторые рабочие приемы отыскания изолятов, например известная в лингвистике «методика минимальных пар».

[47] Первое сочетание изолятов (II, 1), подобно сильной (маркированной) форме в языке, которая встречается в более узкой сфере, в меньшем количестве окружений, чем парная с ней слабая (немаркированная) форма.

[48] *Б. А. Ларин*. О лирике как разновидности художественной речи (Семантические этюды) (1925 г.). «Русская речь», новая серия, I. Л., 1927; далее цитируется эта работа стр. 52—

53 и др. *Ю. Н. Тынянов*. Проблема стихотворного языка. Academia, 1924. *M. Riffaterre*. Criteria for style analysis. «Word», vol. 15 n° 1, 1959.

[49] *А. Белый*. Поэзия слова. Пг., 1922, цитируется эта книга, стр. 9, 13—14. Другие подробные примеры см. *Ю. С. Степанов*. Французская стилистика, стр. 290—294.

4. Абстрактная семиотика

[50] *Л. Ельмслев*. Прологомены к теории языка, пер. с англ. Ю. К. Лекомцева. Сб. «Новое в лингвистике», вып. I, М., 1960. В дальнейшем сноски на это издание.

[51] *Н. М. Мецианинов*. Структура предложения. М.—Л., 1963, стр. 59.

[52] Трудность здесь вот в чем: является ли абстрактная теория знаковых систем сама знаковой системой, семиотикой, или нет? Исследователи по-разному смотрят на этот вопрос.

Во-первых, чтобы абстрактная теория знаковых систем была семиотикой (т. е. «языком»), необходимо, чтобы эта теория не включала в себя ни описательных разделов (весь такой материал должен быть в таком случае для теории знаковых систем предварительным, собранным в био-, этно- и лингвосемиотике), ни вопросов, разрешаемых путем эмпирического исследования (им место в «общей семиотике»). А некоторые исследователи включают эти вопросы в абстрактную теорию знаковых систем. Например, *А. А. Зиновьев* включает в пред-

мет абстрактной теории знаков также установление соответствия между знаком и предметом (*А. А. Зиновьев*. Об основах абстрактной теории знаков. Сб. «Проблемы структурной лингвистики». М., 1963, стр. 15). Мы этот вопрос относим к общей семиотике (см. здесь ниже, след. раздел). По нашему определению, предмет абстрактной семиотики есть, в общем, только синтактика. Это, также в общем, совпадает с пониманием Р. Карнапа («логический синтаксис языка») и соответствует только одной части общей семиотики; двумя другими ее частями являются, если следовать Ч. Моррису, семантика и прагматика.

А. А. Зиновьев в своей статье говорит сразу о двух вещах: об абстрактной теории знаков (синтактике) и об общей теории знаков, включающей вопрос о семантике (об отношении знака к предмету). Но дальше он сам поправляет свое определение, говоря: «... вполне допустимой с этой точки зрения оказывается абстракция, при которой в качестве значения признается только знаковое значение и отношение знака и значения расценивается как отношение знака к знаку» (т. е. в конечном счете, через синтаксис или синтактику. — *Ю. С. Разрядка моя*). После этого совершенно справедливо и заключение *А. А. Зиновьева*: «Семантическая проблематика здесь перерастает в своего рода синтаксическую» (стр. 16). С этим вполне можно согласиться. (Недаром Р. Карнап и другие создавали именно «логический синтаксис языка».)

Таким образом, в самом ядре вопроса между точкой зрения А. А. Зиновьева (с указанной поправкой) и нашей нет расхождений.

Во-вторых, чтобы абстрактная теория знаковых систем была семиотикой, мало того, что сказано выше, необходимо также разрешить вопрос, может ли быть семиотикой (т. е. «языком») нечто, не имеющее плана содержания в том виде, в каком план содержания имеет естественный язык? (А абстрактная теория знаковых систем в том виде, как мы определили ее до сих пор, ведь не имеет языкового плана содержания.) И на этот вопрос исследователи отвечают по-разному. Одни, Гилберт, Р. Карнап, считают, что следует относить к семиотике все такие системы, например математическую логику.

Другие ученые считают, что к семиотике следует относить только такие явления, которые обладают двуплановой структурой, то есть имеют план выражения и план содержания, подобные таковым в языке. С этой точки зрения математическая логика не является семиотикой. Наиболее последовательно этот взгляд проведен датским лингвистом Луи Ельмслевом в его работе «Пролегомены в теории языка». По мнению Ельмслева, математическая логика

может лишь стать планом выражения какой-либо знаковой системы, семиотики, и становится им, например, тогда, когда посредством математической логики описывают язык; в этом случае язык в целом становится планом содержания в системе описания.

По нашему мнению, вопрос разрешается следующим образом. Подобно грамматике, и слово, и явление «семиотика» двусмысленно. С одной стороны, грамматика — это особая часть языка, и мы в этом смысле употребляем слово «грамматика», когда говорим «у этого языка сложная грамматика» или «в школе изучают грамматику русского языка». С другой стороны, во втором смысле, слово «грамматика» означает описание этой особой части языка, и в этом втором смысле мы употребляем слово «грамматика» тогда, когда говорим: «вот грамматика Академии» или «посмотрите грамматику С. Г. Бархударова и С. Е. Крючкова для средней школы». Точно так же и слово «семиотика» обозначает, с одной стороны, самые знаковые системы, а с другой стороны, описание этих систем и составляющих их внутренних отношений. Пока сами эти отношения достаточно наглядны и осязаемы, например грамматические отношения в языке, до тех пор и описание их — грамматика во втором смысле — не кажется лишенным плана содержания. Но по мере того как предметом описания становятся отношения все более и более общие, все более и более абстрактные, все менее и менее наглядные и непосредственно наблюдаемые, возникает иллюзия исчерпывания содержания описания и иллюзия его отсутствия. Между тем оно остается. И так, и математическая логика, и логический синтаксис Р. Карнапа имеют содержанием абстрактные отношения языкового типа и поэтому

сами являются семиотиками. Мы видим, что в конечном счете для признания абстрактной теории знаков семиотикой нужно только стать на материалистическую точку зрения и признать, что теория отражает действительность и соответствует ей. Л. Ельмслев признать этого не мог: для него теория в принципе не может отражать объективную действительность, она лишь «приложима» к объективной действительности. Таким образом, совершенно конкретный, вполне «исследовательский» вопрос о том, что считать семиотикой, разрешался у Л. Ельмслева на основе его общего мировоззрения, хотя он и хотел думать, что решение здесь тоже чисто исследовательское, логическое, «операционное».

Другое дело — не математическая логика, а, например, шахматы. Шахматы действительно одноплановая система, не имеющая плана содержания, отличного от плана выражения. Они занимают совершенно иное место в классификации знаковых систем (у Л. Ельмслева же они считались столь же ложносемиотической, «квазисемиотической» системой, как, по его мнению, и математическая логика).

Другие особенности абстрактной семиотики рассматриваются ниже в разделе III, 2, 3, 5, 7 и в примечаниях к ним.

[53] О работе А. А. Зиновьева см. предыдущие примечания. Работа В. В. Мартынова: *В. В. Мартынов. Кибернетика. Семиотика. Лингвистика. Минск, 1966.*

б. Культурно-семиотические ряды. Семиотика концептов

[54] Этот раздел является дополнением 1997 г. к книге 1971 г., возникшим на основе нашей работы над «Словарем концептов» (*Ю. С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.*)

[55] *О. Н. Трубочев. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966;* на материале германских языков: *А. А. Уфимцева. Опыт изучения лексики как системы. М., 1962* (название земли в его различных вариантах и функциях в английском языке на протяжении его истории); на материале романских языков см. серию известных работ Г. Рольфа, первая работа: *G. Rohlfs. Sprache und Kultur, 1928;* новейшее испанское издание с существенными дополнениями М. Альвара: *G. Rohlfs. Lengua y cultura. Anotaciones de Manuel Alvar, ed. Alcalá, Madrid, 1966;* см. также: *Р. А. Будагов. Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки). М., 1963.*

[56] См. *Н. Я. Мартынов. Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории. Он же. Происхождение терминов «книга» и «письмо». Н. Я. Мартынов. Избранные работы, т. III. Л., 1934.*

[57] *Н. Я. Мартынов. Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории. Н. Я. Мартынов. Избранные работы, т. III, стр. 135.*

[58] С. Р. (С. Руденко). «Скифское» погребение восточного Алтая, Сообщения ГАИМК, № 2, 1931, стр. 26—28 (в каталогах некоторых библиотек журнал идет под названием «Проблемы истории материальной культуры»).

[59] О. Н. Трубочев. Указ. соч., стр. 9.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ СЕМИОТИКИ

А. Объективные законы (синтактика)

[1] Система семиотики складывается из синтактики, семантики, прагматики. Г. Клаусу не удалось убедительно обосновать необходимость четвертого аспекта — сигматики, которая, по мысли Г. Клауса, должна была бы заниматься процессами называния, отношения знака к объекту, тогда как семантика занималась бы лишь отношением знака к его отражению в сознании. См. *G. Klaus. Die Macht des Wortes. Ein erkenntnis-theoretisch-pragmatisches Traktat.* VEB, Berlin, 1965, S. 126. Имеется русский перевод Н. Г. Комлева со вступительной статьей Г. В. Колшанского: *Г. Клаус. Сила слова.* М., 1967.

[2] Определение семиотики как теории знаковых систем является у нас наиболее общепризнанным. Ср. *Б. В. Бирюков.* О некоторых чертах семиотического подхода к естественным языкам. Сб. «Материалы к конференции „Язык как знаковая система особого рода”». М., 1967, стр. 3—5; *Б. В. Бирюков, С. Я. Плотников.* Вступительная статья к книге: *Л. Моль.* Теория информации и эстетическое восприятие, пер. с франц. М., 1966, стр. 19; *В. В. Мартынов.* Семиотические методы описания естественных языков. Сб. «Материалы к конференции „Язык как знаковая система особого рода”», стр. 39 и др.

К несколько иному пониманию семиотики как науки о системах знаков (или иногда даже о знаках) склоняются А. Ветров, Д. Горский, Л. Резников, Ю. Гастев (авторы статей «Знак» и «Семиотика». «Философская энциклопедия», т. 2, М., 1962, стр. 177—180; т. 4, М., 1967, стр. 577).

Различие между знаковыми ситуациями как до некоторой степени неразложимыми (недискретными) частями знаковых систем, с одной стороны, и знаками как повторяющимися частями этих знаковых ситуаций, с другой, — также намечено в нашей литературе, хотя часто под противоположными названиями.

Ср. высказывание: знаковая ситуация — «полный знак», непосредственно соотносящийся с действительностью; ее повторяющаяся часть — слово — «частичный знак» (*В. Г. Гак.* О двух типах знаков в языке. Сб. «Материалы к конференции...», стр. 15); иначе: «сигналы как единицы, отображающие повторяющиеся элементы представлений» (*В. В. Мартынов.* Семиотические методы описания естественных языков. Там же, стр. 39).

[3] Понятие информации в настоящее время, будучи одним из фундаментальных понятий науки, является тем не менее неопределимым. Оно стоит в ряду трех фундаментальных понятий: материя — энергия — информация. И, поскольку два других понятия в этом ряду достаточно определены, понятие информации может быть, по крайней мере, отделено от них, на чем сходятся все современные исследователи, имеющие дело с этим понятием. Однако далее они разделяются на две группы:

а) одни (например, Н. Винер, см. в особенности его работу: *Кибернетика или управление и связь в животном и машине.* М., 1958) просто отделяют информацию от материи и энергии. Эта точка зрения соответствует отождествлению абстрактной, в частности математической, теории знаков с общей теорией знаков, общей семиотикой. Соответствие заключается здесь в том, что как информация, по мнению этих исследователей, не связана с энергией и материей непосредственно, так и теория информации и общая семиотика не связаны непосредственно с теорией материальных знаковых систем, т. е. являются абстрактными теориями;

б) другие (Т. Павлов, И. Земан, Г. П. Мельников, автор настоящей книги и др.) рассматривают информацию как особую часть энергии, хотя в настоящее время мы и не можем исчерпывающим образом показать, в чем именно все особенности этой части энергии. Эта точка зрения связана с разграничением абстрактной и общей семиотик: общая семиотика изучает все материальные и энергетические знаковые системы (и подразделяется на био-, лингво- и другие семиотики соответственно материальным и энергетическим особенностям каждого типа систем), а абстрактная семиотика является лишь одним из разделов общей семиотики, изучая лишь энергетически слабые знаковые системы, т. е. такие, где информация действительно максимально отличается от энергии (Н. Винер же обобщает этот частный случай, экстраполирует его особенности на общую теорию информации, а также и на общую семиотику). Будучи частью энергии, информация определяется как упорядоченная, организованная энергия; в более узком смысле, в математической части, теории информации — как мера организованности или определенности сообщения, противопоставленная неорганизованной энергии — энтропии.

[4] Ответ на первый вопрос может быть дан в двойной форме «или да — или нет»; вопрос и ответ здесь дискретны. Ответ на второй вопрос может быть дан только в форме: «более или менее», при желании — с указанием меры. Ответ и вопрос здесь недискретны. Есть какая-то ирония судьбы (или логики развития науки?) в том, что некоторые лингвисты, считающие себя противниками всякой структуральности, панически боящиеся «двойных систем», «бинарности» и т. п., отвечают на вопрос о сущности языка так, что для них всякое явление есть или язык, или не язык, то есть отвечают как раз бинарным способом, и они подвергают себя этому искусству

именно потому, что не желают признать связь языка с другими явлениями действительности и связь языкознания с негуманитарными науками.

[5] Весьма полное изложение теории Готтлоба Фреге (1848—1925) в свете современных научных данных можно найти в двух работах Б. В. Бирюкова: «Теория смысла Готтлоба Фреге». Сб. «Применение логики в науке и технике».

М. (1960); и «О взглядах Г. Фреге на роль знаков и исчисления в познании». Сб. «Логическая структура научного знания». М., 1965. Применение треугольника Фреге в математической логике см. в книге: *А. Черч*. Введение в математическую логику, т. 1. пер. с англ. М., 1960, стр. 17 и след.

[6] Треугольник Фреге часто называется также «семантическим треугольником», и он описан во многих работах самой различной теоретической ориентации.

[7] К идее вращения треугольника, не формулируя ее, подходил и сам Фреге. Он указывал, что бывают случаи, например в косвенной речи, когда мы говорим о «смысле» речи другого лица, поэтому и вообще следует различать обычное значение слова от его непрямого значения, а его обычный смысл от его непрямого смысла. «Непрямое значение слова есть также его обычный смысл» (*G. Frege. Über Sinn und Bedeutung. «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100 B., Leipzig, 1892, S. 28*).

[8—9] Г. П. Мельников предлагает назвать каждую вершину треугольника Фреге и весь треугольник в целом моделью. И в этом есть глубокое основание: в самом деле, знаковая система и отдельный знак в миниатюре воспроизводят, т. е. моделируют, те структуры и те процессы «больших» систем, между которыми они служат посредниками. Для нас термин «модель» имеет более узкое, но вместе с тем более определенное содержание, см. раздел «Эквивалентность» (III, 4).

Еще об одном возможном обобщении треугольника Фреге, связанном с тем, что схема «Иерархии в строении семиотических систем» (III, 3) распадается на ряд фрагментов, подобных треугольнику Фреге, здесь приходится только упомянуть (см. гл. III, 4).

[10] *A. Malblanc. Stylistique comparée du français et de l'allemand, éd Didier. P., 1961, p. 74*. Подробнее см.: *Ю. С. Степанов*. Французская стилистика. М., 1965 (в сопоставлении с русской). Основателем стилистики как внутренней, так и внешней был французский лингвист Ш. Балли (см. гл. I, 2 и прим. 21).

[11] Другие примеры и сравнения с русским языком можно найти в книге *Ю. С. Степанов*. Французская стилистика (§§ 94, 96, 97). М., 1965.

[12] Фонемы, конечно, знаки иной ступени, чем морфемы, но они суть знаки. Эта точка зрения в настоящее время разделяется все большим числом лингвистов. Обоснование ее см., в

частности, в работах: *А. А. Уфимцева*. Основные особенности словесного знака; *Н. А. Слюсарева*. Теория ценности единиц языка и проблема смысла; *Г. П. Мельников*. Кибернетический аспект различения сознания, мышления, языка и речи. Сб. «Язык и мышление». М., 1967, стр. 238. Дальнейшее обоснование того, что фонемы суть знаки, основанное на том, что между ними те же отношения синонимии и омонимии, что и между словами и морфемами, см. здесь в прим. 36 к разделу «Лингвосемиотика». (II, 3).

[13] Вот примеры некоторых алгебр языка: у Л. Ельмслева («Пролегомены к теории языка» и мн. др. работы); у В. Я. Проппа («Морфология сказки». Л., 1928); у Ю. С. Мартемьянова («О форме записи ситуаций». Сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика». Труды I МГПИИЯ им. М. Горького, вып. 8, М, 1964).

[14] Ю. К. Лекомцев. Введение в формальный язык лингвистики. Система различения и синтаксис. М.: Наука, 1983.

[15] Л. Ельмслев сделал попытку создать общие правила называния, но правила получились в целом или малоудачные, или, с нашей точки зрения, непоследовательные, вот в каких пунктах: 1) термину «строгий» у Ельмслева соответствует термин «научный», а термину «нестрогий» — «ненаучный», вторые термины кажутся нам неприемлемыми, потому что слово «ненаучный» влечет ассоциа-

ции другого порядка: «неистинный, ложный», Ельмслев же считает «наукой» только дедуктивную науку; 2) одни семиотики называются у него словосочетаниями с прилагательным, например язык — «денотативная семиотика», стилистика — «коннотативная семиотика», а другие одним словом с приставкой «мета» — семиология есть метасемиотика; 3) наконец, иерархии как свойству естественных семиотик и саморасширяемости как соответствующему свойству искусственных семиотик у Ельмслева соответствует одно понятие «операции» (как описания, удовлетворяющего определенному принципу, по Ельмслеву, «эмпирическому принципу»); таким образом, у Ельмслева различие между объективными свойствами системы и их отражением в описании не подчеркнуто.

Б. Законы, зависящие от позиции наблюдателя. (а) Прагматика

[16] Это не относится к работе А. А. Зиновьева об основах абстрактной теории знаков и к работе В. В. Мартынова «Кибернетика. Семиотика. Лингвистика» (см. выше, прим. 54, 55 к гл. II). Правильное, с нашей точки зрения, решение вопроса о знаке с иной стороны дается также в работе: *Г. П. Мельников*. Кибернетический аспект различения сознания, мышления, языка и речи. Сб. «Язык и мышление». М., 1967, стр. 238. Ср. также опубликованные в этом сборнике интересные работы Д. П. Горского, Н. Г. Комлева, Н. А. Слюсаревой. Интересный по замыслу,

хотя и спорный, опыт решения вопроса о материальности знака дается в книге: *А. Г. Волков. Язык как система знаков. М., 1966.*

[17] Перечислим коротко эти два ряда аналогий. Аналогии абстрактной семиотики как языка с другими семиотическими системами:

а) основное явление знака одно и то же в абстрактной семиотике и других знаковых системах, изучаемых конкретными семиотиками;

б) в конкретных семиотиках часто приходится иметь дело с более сложными явлениями языка, когда знак первого яруса, являющийся единством означаемого и означающего, в свою очередь становится лишь означающим для знака более высокого уровня, чем основной знак (например, в стилистике естественного языка: выбрав слово «лик» вместо слова «лицо», говорящий сделал тем самым слово «лик», в целом лишь означающим новое содержание — своего торжественного отношения к названному предмету— (см. III, 4). В абстрактной семиотике этому явлению соответствует метазнак, а знаковым системам второго яруса знаковости, какова, например, стилистика естественного знака, соответствует в абстрактной семиотике явление метаязыка, или метасемиотики (см. о «Принципе иерархии» в III, 4);

в) поскольку основной знак в целом может служить лишь означающим (а иногда и лишь означаемым) для знака более высокого порядка, постольку все семиотики как конкретные, так и абстрактные обнаруживают иерархическое строение (см. III, 4);

г) если система описания семиотики (эту систему также называют словом «семиотика», ср. аналогичное двойное употребление термина «грамматика») хорошо построена, то иерархия знаковых систем проявляется в описании как свойство его саморасширяемости, т. е. принципы описания одного яруса иерархии должны быть в общем случае применимы также и к другим ярусам. (См. схему «Принципы иерархии» в III, 4 и там же далее);

д) кроме знаков основного яруса и более высокого, чем основной, метаяруса, все семиотики имеют дело и со знаками более низкого, чем основной, яруса. (Явления низшей знаковости изучены гораздо хуже») В конкретных семиотиках таковыми являются, например, случаи биологической релевантности знаков, когда знак выступает как носитель не только информации, но и энергии, необходимой для физического существования знаковой системы (например, позы че-

ловека). В абстрактной семиотике этому до некоторой степени соответствуют те случаи, когда способ производства знака сам является знаком, например, в математике, знак дроби ($3/4$) означает самую дробь только тем, что означает процесс ее получения (самоделение).

Аналогии абстрактной семиотики как науки с конкретными семиотиками. Отношения этих двух видов семиотик подобны отношениям между геометрией и пространственным опытом человека и резюмируются в следующих пунктах:

а) положения абстрактной семиотики допускают проверку опытными данными конкретных семиотик. Для этого положения абстрактной семиотики приводятся, в соответствие с наблюдаемыми фактами, или «интерпретируются»;

б) если положения абстрактной семиотики не согласуются с результатами опыта (более чем возможно вследствие ошибок наблюдения), то эти положения следует считать отвергнутыми;

в) если положения абстрактной семиотики согласуются с данными опыта, то эти положения возможно правильны, однако безусловная правильность их остается недоказанной;

г) таким образом, вопрос об эмпирическом доказательстве абстрактных семиотических описаний в настоящее время не решен. Доказательство их правильности является лишь дедуктивным и заключается в указании непротиворечивости;

д) правильность конкретных семиотик, напротив, не может быть доказана дедуктивно, так как в конкретных семиотиках понятие знака относится к материальным, энергетическим явлениям, которые определяются лишь до порога их биологического восприятия (глазом, ухом и т. п.);

е) поэтому, с точки зрения современной семиотики, следует признать несостоятельными в самом подходе попытки формального определения, например слова, так как слово является элементом эмпирического уровня, тогда как формальное определение могло бы относиться лишь к идеальному слову, т. е. к модели слова. (Подобно этому, положение о том, что сумма углов треугольника равна 180° , имеет смысл лишь по отношению к идеальному, а не эмпирически наблюдаемому «этому», треугольнику). См. ниже, прим. 27.

[18] *К. Черри. О логике связи. Сб. «Инженерная психология», пер. с англ. М., 1964, стр. 228.*

[19] Это чрезвычайно важное для лингвистики положение было впервые отчетливо сформулировано у нас акад. Л. В. Щербой применительно к описанию значений некоторых слов («прямая», «золотник» и т. п.), он указал, что в таких случаях «точно (т. е. объективно. — Ю. С.) определенные понятия не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения». Поэтому, в частности, спектральный анализ звуков, анализируемое приборами восприятие фонем, ударения и проч. совершенно не относится к лингвистике как семиотической науке, объектом которой является только то, что дано человеку в непосредственном созерцании (и относительно чего, конечно могут строиться весьма абстрактные, гипотетико-дедуктивные и иные теории).

[20] В. Панова. Сестры. «Правда», 24.1.1965 г.

[21] А. Кирпичников. Мистерии. «Новый энциклопедический словарь», изд. Брокгауз-Ефрон, т. 26, стр. 701.

[22] Б. Брехт. О системе Станиславского. Б. Брехт. Театр. Пьесы статьи, высказывания в пяти томах, т. 5 (2). М., 1965, стр. 133

[23] Образцом такой работы является у нас книга: М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского, 1-е изд. М., 1929; 2-е изд., М., 1963.

[24] См. Н. Стяжкин. Гетерологичности парадокс. «Философская энциклопедия», т. 1. М., 1960, стр. 366.

[25] См. статьи «Парадоксы». «Философская энциклопедия», т. 4, М., 1967, стр. 209, там же подробное логико-математическое освещение вопроса. Более строгое изложение см. в книге: Х. Карри. Основания математической логики, пер. с англ. М., 1969, стр. 20—26.

[26] Н. Винер. Кибернетика. М., 1958, стр. 25, 159.

[27] Связь конкретных семиотик с абстрактной, показанная нами здесь на материале парадоксов Рассела, может быть прослежена и дальше, по той же логико-математической линии.

Например, различие в математике «актуальной бесконечности» (в смысле Кантора) и «потенциальной бесконечности» (в смысле Брауэра, Вейля) и дальнейшее выделение «конструктивной математики» имеет аналог в конкретных семиотиках. Старая семиология (включая Ф. де Соссюра) считала возможным познание знаковой системы без указания и описания перехода к ней от системы самого наблюдателя, человека, в частности его языка, в общем случае — всех знаковых систем (этнических, биологических, культурно-социальных), в которые наблюдатель включен. Это понимание равносильно признанию существования знаковых систем как данных, вне вопроса об их становлении. Современная семиотика ставит вопрос о подходе или переходе наблюдателя к объективному наблюдению. Например, при необходимости описать знаковые системы, к которым он сам принадлежит, человек-наблюдатель должен действовать путем последовательного, градуального отчуждения, последовательной объективации (см. подробнее выше, II, 2; III, 3). Поскольку при таком градуальном переходе неизбежно осознается и способ этого перехода, постольку конечный результат — описание данной знаковой системы — достигается одновременно с описанием последовательных этапов его достижения (поскольку знаковые системы основаны на принципе иерархии, то описание этапов есть в основе единообразный алгоритм перехода от одного этапа к другому). Это направление конкретной семиотики соответствует до некоторой степени конструктивной математике. Прежнее направление соответствует классической математике с ее

понятием «актуальной бесконечности». См. А. А. Марков. Конструктивное направление. «Философская энциклопедия», т. 3. М., 1964, стр. 50. Из новейшей литературы см. Ю. А. Петров. Логические проблемы абстракций бесконечности и осуществимости. М., 1967 (в обеих работах литература).

[28] См. М. Г. Ярошевский. История психологии. М., 1966, стр. 419.

[29] В. Шкловский. Сентиментальное путешествие. Л., 1924, стр. 129; В. Л. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960, стр. 166.

[30] R. Jakobson. Linguistics and poetics. «Style in language», ed. by T. A. Sebeok. Massachusetts Institute of technology, 1960.

[31] Определение знаковой ситуации, если его пытаются дать на основе принципа операционности, подпадает под действие этого семиотического закона. На этот частный случай, приводящий к неверному определению знаковой ситуации, указала Н. А. Слюсарева: знаковая ситуация есть результат процесса общения и не может быть отождествлена с самим процессом, как это делает А. Шафф, см.: Н. А. Слюсарева. О знаковой ситуации. Сб. «Язык и мышление». М., 1967, стр. 274—283.

В. Законы, зависящие от позиции наблюдателя. (б) Семантика

[32] В грамматике это было отчетливо сформулировано акад. Л. В. Щербой: «Активная грамматика» идет от смысла к его выражению, «пассивная грамматика» — от выражения к его смыслу.

[33] Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка, пер. с англ. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1962, стр. 318.

[34] О. В. Трахтенберг. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957, стр. 42.

[35] См., например, в указанной книге О. В. Трахтенберга (гл. II. «Номинализм и реализм»).

[36] В. Сало. Целебная флора. «Наука и жизнь», 1965, № 1, стр. 126.

[37] В. Шкловский. Искусство как прием. «Сборники по теории поэтического языка», т. II. Пг., 1917, стр. 4—5.

[38] Э. Т.-А. Гофман. Угловое окно. В книге: Э. Т.-А. Гофман. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. М., 1967, стр. 730.

[39] Акад. С. И. Вавилов начал свою замечательную книгу «Глаз и Солнце», посвященную, конечно, не семантике, а точным физическим вопросам, все же следующими

словами: «Сопоставление глаза и Солнца так же старо, как и сам человеческий род. Источник такого сопоставления — не наука. И в наше время рядом с наукой, одновременно с картиной явлений, раскрытой и объясненной новым естествознанием, продолжает бытовать мир представлений ребенка и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов. В этот мир стоит иногда заглянуть, как в один из возможных истоков научных гипотез. Он удивителен и сказочен; в этом мире между явлениями природы смело перекидываются мосты — связи, о которых иной раз наука еще не подозревает» (*С. И. Вавилов*. Глаз и Солнце (о свете, Солнце и зрении), 7-е изд. М., 1956, стр. 3).

Как «два плана в семантике», закон «микрокосм — макрокосм» подробнее описан для современного французского и русского языков в книге: *Ю. С. Степанов*. Французская стилистика, § 50.

[40] *М. М. Бахтин*. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965, стр. 160, 179.

[41] Там же, стр. 91.

[42] См., например: *Б. Б. Пиотровский*. Семантический пучек в памятниках материальной культуры. (К интерпретации росписей египетской до династической керамики.) Изв. ГАИМК, т. VI вып. X. Л., 1930.

[43] О цветообозначении писали многие: и лингвисты (*Л. Ельмслев*. Прологомены к теории языка. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, М., 1960, стр. 311), и философы (*Ф. И. Хасхачих*. О познаваемости мира. М., 1950, стр. 72), и литературоведы (*А. Н. Веселовский*. Из истории эпитета. В кн.: *А. Н. Веселовский*. Историческая поэтика. Л., 1940).

[44] *J. André*. Etude sur les termes de couleurs dans la langue latine, éd. Klincksieck, P., 1949, p. 18 (там же и о древнегреческом). Такое объяснение вопроса о цвете согласуется с общими современными представлениями о Гомере. См. *С. П. Маркиш*. Гомер и его поэмы. М., 1962.

[45] *Б. Б. Пиотровский*. О некоторых ошибках археологов в связи с учением Н. Я. Марра о семантике. Сб. «Против вульгаризации марксизма в археологии». М., 1953, стр. 121.

Часть II
Семантика —
Синтактика —
Прагматика

Книга
«В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА»

(1985 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет ничего более естественного, как представлять себе язык в виде пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи. Что это, метафора? Да, если мы хотим вообразить себе язык. Напротив, достаточно строгое представление, если мы хотим мыслить язык в терминах науки о знаковых системах, семиотики.

В семиотике язык описывается в трех измерениях — семантики, синтактики, прагматики. Семантика имеет дело с отношениями знаков к тому, что знаки обозначают, к объектам действительности и понятиям о них. Синтактика — с отношениями знаков друг к другу. Прагматика (дектика) — с отношениями знаков к человеку, который пользуется языком. В своем реальном бытии язык равномерно разворачивается в этих трех измерениях. (Нет необходимости говорить, что речь не идет о каком-то численном измерении, слово «измерение» здесь синонимов «ось», «координата», «параметр»; см. более полное определение в гл. VII.)

Сама трехмерность языка — главный источник языковых проблем для лингвистики, философии и искусства слова. Изучение языка в лингвистике, его осмысление в философии, его освоение в искусстве слова — более или менее одновременно и параллельно во всех этих областях — направляются также по трем названным осям. Но не по всем трем сразу.

По причинам, которые еще предстоит выяснить, в одну эпоху развивается одно направление, в другую — другое, в третью — третье. Можно сгруппировать различные подходы к языку в зависимости от предпочитаемого в них «измерения» как подходы семантические, синтактические, прагматические (дектические) — получится некоторая типология «философий языка», или «парадигм».

Термин «парадигма» употребил, по-видимому впервые, Т. Кун в начале 1960-х годов применительно к физике, понимая под ним общепризнанный образец постановки и решения научных проблем [Кун 1977, 11]. Понятие, которое мы здесь связываем с этим термином, несколько иное, и возникло оно гораздо раньше. М. Борн уже в 1953 г. писал: «Я не хочу сказать, что (вне математики) существуют какие-либо неизменные принципы, априорные в строгом смысле этого слова. Но я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях

человеческой деятельности, в том числе и в науке... Стили мышления — стили не только в искусстве, но и в науке» [Борн 1963, 227; в плане семиотики см.: Степанов 1971, 45; в плане поэтики: Степанов Г. В., 1978, 8].

Итак, под «парадигмой» мы понимаем здесь господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве, притом таким именно образом, что философские положения используются для объяснения наиболее общих законов языка, а данные языка в свою очередь — для решения некоторых (обычно лишь некоторых) философских проблем; так же и в отношении искусства: направление в искусстве, прежде всего в искусстве слова, формирует способы использования языка, а последние накладывают свой отпечаток (обычно лишь в некоторой степени) на искусство. «Парадигма» связана с определенным стилем мышления в науке и стилем в искусстве. Понятая таким образом «парадигма» — явление историческое.

Выражение «философия языка» мы употребляем здесь как синоним к термину «парадигма». Это, следовательно, не обозначение течений или направлений в философии, а название некоторых взглядов на язык (связанных, однако, с теми или иными философскими течениями). Оно сформировалось в конце XVIII — нач. XIX в. в ряду таких выражений, как «философия природы», «философия истории», «философия искусства», «философия права», для обозначения наиболее общих принципов устройства языка. Оно до сих пор в ходу среди лингвистов как в русском, так и в западноевропейских языках нем. Sprachphilosophie, франц. philosophie du langage) в значениях «философские проблемы языкознания» и «философские проблемы, связанные с языком». Еще более условным является, конечно, такое, например, выражение, как «философия имени»; оно употребляется здесь просто как сокращение более длинного выражения «такая «философия языка», которая рассматривает все свои проблемы с точки зрения имени и именования» (соответственно то же для выражений «философия предиката» и т.п.).

В этой книге мы выделили три «парадигмы» в указанном выше понимании: I. Семантическая парадигма («философия языка» сводится в ней к «философии имени»). II. Синтактическая парадигма («философия языка» сводится к «философии предиката»). III. Прагматическая (дектическая) парадигма («философия языка» сводится к

«философии эгоцентрических слов»). Вырисовывается еще некоторое количество межпарадигматических периодов — XVII и XVIII вв. в первую очередь.

В общем, когда материал излагается таким образом, в истории «парадигм» («философий языка» и поэтик) проступает некоторая закономерность: язык как бы незаметно направляет теоретическую мысль (философов, размышляющих о языке) и поэтический порыв (художников слова) поочередно по одной из своих осей — сначала семантики, затем синтактики, и, наконец, прагматики и, завершив этот цикл, готов, по спирали, повторить его снова. Необходимо еще раз со всей определенностью подчеркнуть: язык не является источником развития фило-

177

софии или искусства, но он в определенной мере (которую не следует преувеличивать) «придает изгиб» линии их развития. Язык в этом утверждении понимается не как тот или иной отдельный, конкретный, национальный, этнический, или, как еще говорят, «идиоэтнический», язык, а как человеческий язык вообще, рассматриваемый со стороны его общих свойств, логико-лингвистических констант. (Главная проблема этой книги не имеет, следовательно, ничего общего с проблемой так называемой гипотезы Сепира—Уорфа.)

Все «парадигмы» (как это подчеркнуто и в их названиях) односторонни, и когда одна сменяет другую, то, хотя весь процесс приближает нас к познанию объективной реальности, все же в известной мере одна односторонность сменяется другой. В этом смысле перед читателем — книга об односторонних подходах. Но такова природа семиотических проблем: они обнаруживают свою суть, будучи заострены до предела, в экстремальной проблемной ситуации или в остром художественном эксперименте. Это ощущали многие художники слова, упоминаемые в книге: Достоевский, Ибсен, а также символисты и другие модернисты. В частности, поэтому реализм, как наиболее полный, свободный от крайностей художественный метод, здесь является фоном анализа, а не его предметом.

(Последняя фраза отражает идеологическую обстановку 1985 года первого издания этой работы, и является моим (трусливым) ответом на угрожающий вопрос издательского редактора: «Почему же в вашей книге нет ничего о реализме?». Конечно, мы и тогда знали, что «трактовка реализма прямо связана с гносеологической трактовкой самой реальности, с тем, что, собственно, считать реальностью мира», — это

слова А. А. Федорова тиз его посмертно изданной замечательной книги [Федоров 1989, 11]. «Диалектические же материалисты» ни минуты не сомневались, что тут и «считать» нечего: реальность одна, и им известна. Потребовалось еще десятилетие, чтобы появилась смелая книга В. Руднева с ее специальными разделами «Понятие реальности» и «Русская литература XIX века без реализма» [Руднев 1996, раздел 3.3].)

Впрочем, «диалектико-материалистическая» философия в некоторой степени присутствует в нашей книге и как теория познания и как логика (диалектическая логика). Предмет исследования диалектики как логики — творчески познающее мышление, весь его категориальный строй; его логические структуры и соотношения их элементов — понятий, суждений, теорий; его прогнозирующая функция; принципы и закономерности формирования и развития знания. «Одной из характерных особенностей д[иалектики] как логики является то, что она исследует переходы от одной системы знания к другой, более высокой. При этом неизбежно выявляются диалектич[еские] противоречия, отражающие как противоречия в самом объекте познания, так и противоречия взаимодействия

178

субъекта и объекта познания, а также противоречивость в самом процессе познания. Особенно острую форму они приобретают на «границах» такой теории, к[ото]рая исчерпала свои объяснит[ельные] возможности, и требуется переход к новой. Этот переход предполагает разрешение противоречий между старой теорией и новой системой фактов... Допуская определенную] типологию разрешения противоречий д[иалектика] как логика не определяет однозначно результат разрешения: здесь происходит изменение содержания знания» [Философский энциклопедический словарь 1983, 157]. Читатель легко увидит, что это определение марксистской диалектики как логики почти программно выполняется в этой книге, разумеется в части, касающейся семиотических проблем, прежде всего проблем языка. Естественно, что одной из основных трудностей является при этом разграничение специального, общенаучного и собственно философского знания (или в данном случае лингвистики, семиотики, философии) — разграничение, которое автор старался последовательно проводить. И если оно не везде ему удалось, то это, разумеется, вызванный сложностью материала недостаток, а не установка.

И, конечно, автор далек от мысли, что его подход является исчерпывающим в такой сложной междисциплинарной области, которая даже не приобрела еще окончательного названия и именуется описательно с точки зрения взаимодействующих наук как «философские проблемы языкознания и семиотики» или как «языковые проблемы философии», «философские проблемы языка». Кроме принятого в этой книге подхода существуют еще по крайней мере следующие: от критического пересмотра проблем с позиций марксизма, поставленных в неопозитивизме [Козлова 1972; Брутян 1979]; от исследования одной-двух проблем, понимаемых как центральные [Колшанский 1975; Новиков 1982, 34—59]; от установления прямых аналогий между категориями марксистской диалектики, такими, как «отражение», «диалектическое противоречие», «количество», «качество» и др., и категориями языка [Панфилов 1982]; от установления собственно языковых категорий, существенных для философии, таких, как «социальная природа языка», «знак и значение», «типы мышления в связи с языком» и др. [Серебренников 1983]. По-видимому, будет правильным сказать, что марксистская концепция в этой области успешно развивается именно благодаря сосуществованию различных исследовательских подходов при общей методологической основе. В области исследования художественных методов и поэтик мы могли более определенно опереться на имеющиеся работы [Храпченко 1982].

Лингвистика представлена в этой книге главным образом лингво-логическими концепциями (которые существовали уже тогда, когда еще не было самой лингвистики) в их истории. Искусство слова представлено здесь своими поэтиками, каждая из которых в той или иной мере тоже «философия слова». Однако если интересующая нас поэтика самими творцами не объявлена и ее «литературного манифеста» не существует, а также в тех случаях, когда творчество не может быть сведено к какой-либо ограниченной поэтике (Достоевский, Ибсен, Горький), но

определенное художественное произведение или цикл с той либо иной поэтикой связаны, мы обращались к художественным текстам.

По мере накопления наблюдений все более стали проявляться идеи, которые, вероятно, теперь должны быть осознаны как «философские константы языка», присущие всем парадигмам во все времена. Назовем здесь только некоторые из них: 1. Идея «двух языков», на одном из которых люди говорят о явлениях, на другом — о

сущностях: «земное» и «божественное» слово в мифологические времена; народные языки и единый язык науки, латынь, в эпоху Возрождения; «два языка в теориях Пор-Рояля; реальные языки наук и «вещный язык у представителей логического позитивизма; звучащий язык и «язык молчания», апофатика, у Николая Кузанского и у феноменологов XX в. и т.д. 2. Идея «пропозициональных установок», т.е. выражений типа «Я думаю, что...», занимавшая Фому Аквинского, позднейших схоластов, Б. Рассела, философов Лингвистического анализа» и мн. др. 3. Идея количества имен» в языке, в особенности количества имен, которые способны охватить одно предложение (она специально моделируется в гл. VII этой книги), и нек. др.

Связанные со всеми ними лингвистические вопросы рассмотрены нами в другой работе [Степанов 1981], которая поэтому упоминается здесь особенно часто.

Несколько слов о стиле. В книге много цитат: мы хотели, как того требует исторический метод, чтобы звучали голоса самих участников историко-культурного процесса — мыслителей и поэтов. Кто-нибудь может спросить: но где же голос автора? Это то же самое, что требовать голоса дирижера в опере среди голосов солистов. Роль автора, как и роль дирижера, не в этом.

ГЛАВА I
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
(ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ КАК ВЫРАЖЕНИЕ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Семантика была первым из трех направлений, по которому устремились философы языка. Это произошло еще в античности, а возможно, даже в дофилософский период, в мифах о происхождении языка. В значительной степени по этому пути направилась и философия вообще. В основу очень многих философских вопросов были положены рассуждения об имени и его отношении к вещам, следовательно, с современной точки зрения — рассуждения о семантике. Философия имени — это пик изучения «чистой семантики», почти целиком освобожденной (мы бы сказали теперь — абстрагированной) от синтактики и прагматики (дектики).

В отечественной традиции термин «философия имени» утвердился книгой А. Ф. Лосева «Философия имени» [1927а], так что для определенного отрезка традиции это — самоназвание. Но мы применяем его и за пределами этого отрезка в обе стороны, более широко и, следовательно, более условно. Так мы называем всю ту философию языка, которая кладет в основу имя и его отношение к миру, рассматривая всё через призму этого вопроса.

Период философии имени в Европе документально засвидетельствован уже у Гераклита (род. ок. 544—540 г. до н.э.), в той мере, в какой мы находим у него учение о Логосе. В этот период греческое слово λόγος означает речь и слово со стороны как формы, так и содержания, смысл, саму мысль и, наконец, разум. По Гераклиту, вся природа устроена согласно «истинному рассуждению», или закону (это Гераклит и называет иногда логосом), открытие которого и составляет задачу философа. «Уже у Гераклита, — пишет С. Н. Трубецкой, — мы находим основное положение позднейшего идеализма: если природа познаваема «истинным рассуждением», или Логосом, если она сообразна ему, то, значит, в самом основании ее лежит разумное начало, Логос, иначе объективное познание немислимо» [Новый энциклопедический словарь, т. 24, стб. 798; см. также: Трубецкой 1906]. После Сократа, продолжает Тру-

бецкой, термин «Логос» получает главным образом значение «понятие», и в известном смысле всю аттическую философию после Сократа можно назвать «философией понятия». Мы же в той мере, в какой в ней можно выделить логико-лингвистические проблемы, называем ее тоже философией имени.

Как парадигма, т.е. как система, принятая сообществом ученых, философия имени начинается Платоном и Аристотелем и кончается вместе со схоластикой в XVII в. (Позже ее как целое продолжают отдельные философы языка, например А. Ф. Лосев, и, с другой стороны, отдельные понятия этой системы могут все еще приниматься массами ученых [см.: Верещагин, Костомаров 1980].) Этот научный период охватывает целый ряд общественно-исторических формаций и эпох в общественном развитии, науке и культуре, и если мы говорим о каком-то единстве парадигмы, то это именно единство взглядов на язык. Но, конечно, сквозь философскую картину языка проступает философская картина мира. Черты той и другой совмещаются, и Э. Жильсон, в другой связи, удачно назвал их «философскими константами языка» [см.: Gilson 1982; Джохадзе, Стяжкин 1981].

Взгляды на язык в философии имени соответствуют некоторым константам в общем представлении о мире — мире как совокупности «вещей», размещенных в пустом «пространстве». Представление о «пустом пространстве», или «месте», независимом от «вещей», в определенном смысле останется господствующим до появления в конце XIX — нач. XX в. новых физических воззрений и теории относительности. «Вещь», хорошо «определимая», солидная, независимая от отношений и доминирующая над ними, пребывающая в пустом «пространстве», или «месте», всегда может получить «имя». «Имя» связано не только с «вещью», но и с ее «сущностью». Как бы ни было имя как конкретное слово случайно, временно или условно, суть именованная всегда в закреплении сущности вещи, вневременной, неслучайной и безусловной. Язык и рассматривается как совокупность «имен вещей», открывающая путь к познанию сущностей.

С началом эпохи Возрождения возникает новая парадигма, основанная на идее эволюции. «Народный язык», противопоставленный латыни, развивающийся и достигающий необыкновенных красот художественного выражения, будет занимать умы людей Возрождения, начиная от Данте, Лоренцо Валлы и Макиавелли. Но это

будет совсем другая парадигма — не столько науки, сколько политики и искусства. Позже, принадлежавший к этой же парадигме Дж. Вико напишет: «Народные языки и буквы составляют собственность самого простого народа, почему и те и другие называются народными. А в силу такого господства и над языками и над буквами свободные народы должны быть господами

также и над законами» [Вико 1994, 382]. На протяжении нескольких столетий обе парадигмы будут сосуществовать, пока не приведут — через ряд опосредований — в XIX в. к представлению о двух различных языках — «языке науки» и «языке искусства» и, наконец, в наши дни к идее «ноуменального языка» и «языка феноменального».

Но философия имени, связывающая язык и науку, на протяжении всего этого периода остается господствующей. Ниже мы рассмотрим некоторые этапы этой парадигмы: Аристотель (384—322 до н.э.),

(ок. 233 — ок. 304), Петр Испанский (1210/20—1277), Оккам (ок. 1285—1349), Николай Кузанский (1401 — 1464) (отдельно остановимся на «философии имени» А. Ф. Лосева). Это даст нам возможность представить философию имени в некотором движении, хотя, как известно, большой подвижностью она не отличалась. Скорее, возникает впечатление, что неторопливо, на протяжении веков, углублялись одни и те же «вечные» вопросы и что, например, Аристотель был таким же живым собеседником для Порфирия, хотя между ними пролегло пять столетий, каким последний стал для Петра Испанского или Оккама тысячелетие спустя. Мы просто должны привыкнуть к иному темпу в философии имени, чем в философии языка нашего времени.

В философии имени все рассуждения пронизаны чувством единства бытия, и, пожалуй, этот дух в свою очередь создает ее собственное единство. От мельчайшей ячейки бытия философы имени протягивают нити к Единому, Единству, и, напротив, рассуждения о Едином и о мире неизбежно низводят их — по лестнице иерархии — к отдельной вещи и отдельному слову. Конечно, Единое, или бог Аристотеля либо Порфирия, не то, что бог схоластов-христиан, но «присутствие бога» объединяет их и отличает их воззрения от других философий языка.

Еще одна ее особенность — замкнутый, закрытый для непосвященных характер. Схоласты выработали особый способ рассуждения — особый «язык», можно было бы сказать, если бы не опасаться путаницы с этим словом, — во многом уже непонятный

для нас, который нужно расшифровывать. Схоласты (а впрочем, и Аристотель), например, серьезно обсуждают различие — на современный взгляд очевидное и тривиальное — между суждениями типа *Человек бежит* и *Человек состоит из семи букв*. Нам кажется, что достаточно было бы во втором случае писать слово *человек* в кавычках, чтобы избежать длинных рассуждений. Но все дело в том, что для древних и для схоластов слово — нечто единое и его буквы — такое же его качество, как и его смысл.

В парадигме философии имени мы подчеркнем три основные черты, делающие ее парадигмой, и главным образом эти черты мы и будем

рассматривать дальше. Во-первых, понятие имени служит для нее исходной точкой. Во-вторых, философия имени является в равной мере, именно ч силу того, что она есть философия имени, и философией сущности; и, быть может, поэтому над всеми понятиями, не всегда явно, доминирует понятие сущности. В-третьих, сущность, а значит, и соответствующая ей глубинная структура имени, а значит, в конечном счете и сама эта философия имеют иерархическое строение, понятия имени и сущности, сопровождает понятие иерархии.

Необходимо разграничить семиотический аспект понятия сущности, о котором и идет речь здесь и ниже, и исследование категории сущности как философской проблемы. Последнее приобрело четкие очертания в марксизме: диалектико-материалистическая категория сущности (как сущности самодвижения, развития явлений, их диалектической противоречивости) составляет сердцевину логики «Капитала» К. Маркса. Это понятие исследовано В. И. Лениным, в особенности в конспекте раздела «Науки логики» Гегеля «Учение о сущности». В другой работе он дает вывод: «В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в *самой сущности предметов...*» [Ленин, т. 29, с. 227]. Понятие сущности продолжает разрабатываться в марксизме [ср.: Садовский 1982]. Разумеется, понятие сущности в античной философии еще очень далеко от его диалектико-материалистической трактовки.

И, конечно, нужно иметь в виду, что здесь нет привычной нам пары «сущность — явление», что отсутствует, по крайней мере в средневековой философии имени, сама

связь этих понятий, отражающих с точки зрения диалектического материализма универсальные взаимосвязанные характеристики предметного мира.

Вернемся теперь к семиотическому аспекту проблемы.

1. ПОНЯТИЯ ИМЕНИ И ИМЕНОВАНИЯ

Имя — это слово или, реже, сочетание слов, называющее, именуемое вещь или человека. Собственно, проблемой философии языка является не столько имя, сколько процесс и отношение, завершаемые именем, — именование.

Имя противопоставляется словам других типов, другим частям речи. Только имя стоит в таком отношении к своему объекту, которое может быть названо отношением именованя. Глагол, и вообще предикат, конечно, стоит в определенном отношении к внеязыковой действительности, но не именует ее; нельзя сказать, например, что предикат «— больше, чем —» есть «имя чего-то»; это отношение естественнее называть термином «выражает». То же самое относится к предлогам и в еще большей степени к союзам. Про союзы вообще нельзя сказать, что

185

имеется какой-либо «объект» внеязыкового мира, к которому они стояли бы в каком бы то ни было отношении — именованя, выражения или указания, такого объекта нет. Междометия, разумеется, выражают эмоции человека, не именуя их (ах\ выражает удивление, но не является «именем удивления»). «Имена признаков» — прилагательные и наречия — составляют особую проблему, но очевидно, что если они и именуют, то во всяком случае не так, как само имя [ср.: Войшвилло 1967; Уфимцева 1980]. (См. в известном смысле итоговую книгу Д. И. Руденко [Руденко 1990].)

Имя всегда представлялось людям загадочной сущностью, первоосновой еще более загадочного явления — языка. Маркс прав, говоря о положении имени в контексте науки: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом» [Маркс, Энгельс, т. 23, 110]. Тем не менее вне науки люди во все времена рассуждали как раз противоположным образом, полагая, что знание имени открывает путь к знанию сущности. Размышляя об имени *Яков*, они могли по крайней мере задаваться вопросом, в честь кого назван Яковом данный человек, и из самого имени легко установить связь с библейской традицией.

С точки зрения семиологии этот обыденный образ мышления понятен: исторически наименование вообще тесно связано с именованем людей, а имя человеку никогда не дается вне связи с семьей и общественной традицией. Таким образом, имя человека — по крайней мере эта разновидность имен несомненно — указывает на нечто более общее, чем данный индивид, — на семью, род и традицию, сущности вполне реальные и несравненно более протяженные во времени и пространстве, чем индивид. Пожалуй, наилучшим образом это подметил Монтескье: «Имена — а они внушают людям идею чего-то, чему не суждено погибнуть, — весьма подходят для того, чтобы возбудить в каждом роде или семье желание продлить свое существование; есть народы, у которых имена определяют роды или семьи; есть также народы, у которых имена различают лишь отдельных лиц, но это хуже» («Дух законов», XXIII, IV). (И даже когда эта «семантика» личного именованя в именованем вообще не сохраняется, то ее «фактура», грамматика и проч., может сказываться на пути «от имени лица к имени вещи», такова, например, одна стержневая линия романской лексики [Степанов 1972].) Психологический опрос-анкета, проведенный среди современных взрослых москвичей, выявил следующие ассоциации — «образы имени»: *Сергея* — среднего роста, сильный, спортивный, добрый, веселый, озорной, но не обязательно умный, вызывает симпатию; *Саши* — одно из самых популярных мужских имен, оно нравится большинству; у Саши темно-русые волосы (ассоциации имени с цветом волос отмечаются постоянно),

186

светлые глаза, высокий рост, мужественный характер; он настолько симпатичен, что даже неважно, умный ли он; *Игорь* — темноволос, худощав, умен, красив, капризен и себялюбив, немужественный, плохой друг; но для старшего поколения Игорь другой: высокий, широкоплечий, светловолосый, добрый и мужественный [Черепанова 1984]. Но вернемся к лингвистической семантике.

Наилучшей минимальной схематизацией именованя является «семантический треугольник»: 1) слово (имя) связано с 2) вещью, эта связь есть именование, и с 3) понятием о вещи, эта связь есть выражение — выражение понятия словом. Далее под «вещью» мы понимаем равно и предмет и человека, вообще индивид, т.е. более формально, нечто, что в данной системе рассуждений не является множеством или признаком множества. (Тогда, конечно, возникает новая проблема — «понятие о данном

индивиде», «индивидуальное понятие», «индивидуальный концепт», но мы пока оставляем ее в стороне. Кое-что о ней будет сказано в разделе о «философии имени» А. Ф. Лосева в этой главе и гораздо больше в гл. VI.)

Семантический треугольник — наилучшая схема потому, что он выражает предельно возможную минимизацию отношения именованного, это схематизация минимальная, необходима и достаточна. Неоднократно ее упрекали в неполноте, неохвате всех возможных отношений, предлагали дополнить ее до «квадрата», «трапеции», «многогранника» и т.д. — во всех этих предложениях сквозит непонимание того, что необходима и достаточна именно минимальная схема, тогда как максимальным — нет числа. Лучшая неминимальная схема, созданная К. И. Льюисом, изложена в гл. VI, 2.

Итак, имя именуется вещь и одновременно выражает понятие о вещи. Но является ли имя тем самым «именем понятия»? Различение именованного в собственном смысле слова и выражения (к чему пришла новейшая философия языка, например Рассел) тем не менее в истории не всегда признавалось. Очень часто под именованном понималось отношение имени к понятию предмета, неважно, называли ли его при этом идеей, эйдосом, сущностью вещи или как-нибудь иначе.

Для такого широкого понимания именованного есть основания, и, может быть, даже сущность именованного заключена как раз в этом двойном отношении к вещи и к понятию о ней. Первые философские размышления над именем шли как раз в этом направлении. Такова философия имени у Платона, как мы увидим в следующем разделе.

Сущность именованного ближе всего к указанию. Собственно, именование можно определить как указание со снятой наглядностью, т.е. не осуществимое указательным жестом, но зато закрепленное системой языка раз и навсегда (иначе имя не отличалось бы от предложения). Следовательно, в этом смысле собственные (индивидуальные) имена являются

именами по преимуществу. Что касается общих (нарицательных) имен — «город», «человек», «книга» и т.д., то они удаляются от указания (причем, возможно, в разной степени, соответственно разным типам общих имен) и, следовательно, от именованного.

Эта тонкая деталь была осознана в средневековой схоластике и выражена в тезисе: *Nominantur singularia sed universalia significantur* — «Именуется единичное, а общее

означивается». Таким образом назначение общих имен было отделено от назначения индивидуальных и названо, в отличие от именованного в собственном смысле, означиванием, сигнификацией. Этот же тезис можно выразить иначе: можно назвать «это, данное, указываемое дерево», хотя бы соединив два слова — это дерево, но нельзя назвать «дерево вообще», «всякое дерево», имея в виду под словом «всякое» не разделительный смысл («всякое данное»), а собирательный («всякое вообще»); или же, говоря, что словом *дерево* мы именуем «дерево вообще», мы имеем в виду не вещь, ибо такой «вещи» нет, а понятие о ней и именуем его это последнее отношение и было названо в схоластике термином «сигнификация». Наконец, то же самое можно выразить еще иначе: собственные (индивидуальные) имена именуют вещи (и как следствие этого могут именовать понятия, концепты), в то время как общие имена именуют понятия, концепты и как следствие этого способны именовать вещи.

Отмеченная черта общих имен обнаруживается в их структуре в виде явления функции. «Функция», заключенная в семантической структуре общих имен, есть по существу способ, каким мы, зная смысл имени, должны отыскать (выбрать, отличить) в действительности некоторый предмет, соответствующий этому смыслу. Зная, например, смысл слова *дерево*, мы можем применить (приложить) это слово к любому дереву, наблюдаемому в действительности. (Класс деревьев образует «денотат», или «экстенционал», имени, в некоторых концепциях называемый также «значением».)

Это свойство имен, прежде всего общих имен, было обобщено в математической логике, начиная с Г. Фреге, как понятие функции. А. Черч выражает это так: «Если имя имеет денотат, то этот денотат есть функция смысла имени, то есть если дан смысл, то этим определяется существование и единственность денотата, хотя он и не обязательно должен быть известен каждому знающему смысл» [Черч 1960, 20]. «Денотат имени $N = f$ (смысл имени N) для всех имеющих денотат имен N » [там же, с. 27; ср.: Новиков 1982, 27—31]. Эта функция может быть выделена и абстрагирована как λ -оператор (лямбда-оператор) (см. также гл. VI, 3 и в Части I настоящей книги).

Слова «существование денотата» в данном контексте необходимо исключить, существование не вытекает из понимания общего имени как функции, и существование — совсем особый вопрос (Черч в этом от-

ношении следует точке зрения Рассела, но в настоящее время есть и альтернативные ей [см.: Целищев 1976]).

Понимание имени как функции отражает, хотя и в предельно абстрактной форме, самую суть именованного. В самом деле, легко увидеть теперь непрерывную линию филиации понятий: понятие именованного у Платона — сигнификации у схоластов — общего имени как функции у Фреге и Черча. Можно добавить в конце этого ряда и возникшее в самые последние годы понимание собственного, индивидуального имени как функции — «индивидуализирующей функции», например у Я. Хинтикки. Я думаю, что обобщенное понятие функции в математике в конечном счете опирается на устройство общих имен естественного языка и, может быть, даже происходит от них (мы вернемся к этому вопросу в гл. VI). Более полно сущность именованного мы сможем уяснить по этой линии, но не формально, после изложения «философии имени» А. Ф. Лосева.

В других отношениях общие имена до сих пор составляют нерешенную проблему, равно психологическую и логическую, — «Как возможны общие имена?» Впрочем, с некоторой переменной слагаемых тот же вопрос относится и к собственным именам: являете», таким образом, вообще проблемой — «Как возможно имя?»

Современные исследования, даже весьма тонкие, оставляют его по существу без ответа [см.: Горский 1961; Уемов 1963; Яновская 1972, 235; Серебренников 1977]. Или же, в лучшем случае, рассматривают, каким образом общее понятие и имя извлекаются путем повторения человеческого опыта из единичных восприятий и их именованностей. Исключение составляет концепция А. Ф. Лосева, который основывается на диалектике Гегеля и некоторых положениях Э. Гуссерля.

Именно Гуссерль, в рамках феноменологии начала XX в. (во втором из «Логических изысканий» 2-го тома), высказал существенное возражение против такой точки зрения. Критикуя теории абстракции Локка, Беркли и Юма, он справедливо указывал, что «подобие» индивидуальных предметов, на основе которого якобы создается общее понятие, не в состоянии объяснить само подобие, ибо выделение общего признака подобия предполагает подобие признака, подобие подобия признака и т.д. до бесконечности. «Различие между созерцанием красноты вот этого предмета и созерцанием какого-либо отношения подобия совершенно очевидно» [Husserl 1922, II, 196]. По Гуссерлю, необходимо различать акт узрения отвлеченных черт предмета и акт

узрения рода как единой идеи. Когда мыслят, по терминологии Гуссерля «мнят» (vermeinen), несамостоятельные признаки (черты, содержания, моменты) какого-либо

предмета, то тем самым лишь подчеркивают или выделяют индивидуальные признаки предмета. Настоящим же актом абстракции является только такой акт, которым человек «мнит» непосредственно само общее (общее понятие, общую идею, идеальное единство, род). При этом «не одно и то же, будет ли под такой абстракцией разумеется тот акт, который только связывает непосредственно общее имя с родовым единством и в котором общее имя является только предметом сигнификативной, т.е. обозначительной, интенции, т.е., так сказать, «замышляется», или же тот же акт, в котором общее не только сигнификативно «задумано», но и осуществлено, т.е. «дано», «присутствует» с очевидностью. Лишь этот последний акт абстракций] представляющий собой идеирующую или генерализующую абстракцию, является характерной чертой логического мышления» [Яковенко 1913, 120]. Нам кажется, вышесказанное феноменологически освещает понятие сигнификации. К сожалению, в новейших работах об абстракции и именовании феноменологические соображения Гуссерля, а также А. Ф. Лосева и др. не только не учитываются, но и не критикуются и даже не упоминаются.

Однако в современной психологии находилась хорошая параллель такому пониманию сигнификации имени. У. Найссер в специальной главе «Конкретные референты» в книге «Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии» [1981] так рассуждает о первоначальном приобретении имен в языке ребенка. Во многих случаях мать не только воспринимает то же самое, что и ребенок, но еще и произносит соответствующее слово, например собачка. «Как же должен распорядиться ребенок предлагаемой ему таким образом информацией? В такой момент счастливый малыш реализует одновременно два перцептивных цикла. Он собирает информацию о матери (она говорит) и о собаке (она только что вошла в комнату). Можно предположить, что в данное время его больше интересует собака. Новая информация является акустической, а это значит, что она может быть без большого труда включена в каждый из двух начавшихся перцептивных циклов. Разве не является в таком случае вполне естественным, что ребенок относится к звуку как к своеобразному атрибуту собаки? Разумеется, это не стабильный атрибут: никто не

произносит «собачка» с механической неизменностью часового механизма всякий раз, когда появляется это животное. Но в этом нет ничего необычного, поскольку большинство атрибутов предметов доступны для обозрения лишь спорадически. Хвост собаки нельзя видеть все время, ни одна собака не лает беспрерывно, тем не менее дискретность этой информации не мешает нам считать как то, так и другое неотъемлемой принадлежностью животного. Именно таким образом имена объектов, то есть те слова, которые чаще всего используются для их обозначения, включаются в состав предвосхищающих схем, посредством которых воспринимаются сами объекты» [там

же, с. 177]. У. Найссер добавляет, что предлагаемая им гипотеза не нова и в литературе уже отмечалось, что дети обращаются с названиями предметов так, как если бы они были неотъемлемыми свойствами этих предметов, и ссылается в этой связи на работы Л. С. Выготского.

С логической стороны сигнификация была по-новому освещена К. И. Льюисом [1983]. Он, в частности, показал, что предложение (пропозиция) не именуется положение дел, а сигнифицирует его. Тем самым Льюис присоединился к указанной выше схоластической (не номиналистической) традиции. Мы продолжим обсуждение именования при изложении его идей (гл., VI, 2). К настоящему времени термин «сигнификация» занял прочное место и стал совершенно необходимым.

В развитых языках, как естественных, так и искусственных, в имя может быть превращено — путем особой трансформации, так называемой номинализации — выражение любого типа: глагол — например, *бежать* — *бег*; любой предикат вообще — например, «— больше, чем —» трансформируется в «тот факт, что больше, чем —»; в имя трансформируется особая разновидность предикатов естественного языка, предикатив, например: рус. *В комнате холодно* → *В комнате холод*; прилагательные *красный* → *краснота*, *сверхпроводимый* → *сверхпроводимость*; целое предложение: *Я опаздываю* → *Тот факт, что я опаздываю...* или *То, что я опаздываю...* В этом смысле предложение иногда рассматривается как «имя факта или события».

На этом пути трансформаций могут возникать имена 2, 3, 4-го и т.д. порядка, например: рус. *здоровый*¹ → *здоровье*² → *оздаравливать*³ → *оздаравливаемый*⁴ → *оздаравливаемость*⁵, где *оздаравливаемость* может рассматриваться как «имя 5-го

порядка» (т.е. результат пятикратной языковой трансформации). Однако имена в собственном смысле слова не являются результатом никаких трансформаций, они именуют вещи прямо и непосредственно, они — «первичные», или «базовые», имена. Ниже рассматриваются только они, и, собственно, они-то и составляют проблему.

Является фактом — в известном смысле загадочным — естественных языков то, что первичные имена, даже когда они именуют объекты с явно выраженной в объективном мире функцией действия, признака, состояния, в языке никогда не отражаются в виде глагольной или предикатной функции, никогда не являются производными ни от глагола, ни от предиката, ни от «имени признака» — они действительно первичны. Имя руки не бывает производным от названия действия «хватать», «брать» или «подбирать» (хотя слав. *рука* и лит. *ranka* стоят в явной связи с названием действия «собирать», лит. *rinkti*, но этот глагол не источник имени, перед нами две равно первичные и параллельные формы одного корня); имя глаза не бывает производным от глаголов «видеть» или «смотреть», имя носа — от глаголов «нюхать» или «обонять»,

имя уха — от глаголов «слышать» или «слушать» и т.д. (здесь и далее кавычки, в которые заключены слова-примеры, означают, что мы рассуждаем не о словах русского или иного одного какого-либо языка, а о значениях, выраженных в данном случае словами русского языка, но имеющихся в любом естественном языке в формах его собственных слов). И также соответствующие глаголы, хотя бы, к примеру, названные выше, никогда не обозначаются производными от имен — это столь же «первичные» глаголы.

Напротив, в искусственных языках, даже в воровском арго, это происходит сплошь и рядом: в русском арго *ноги* — *подставки*, *подставочки*; *глаза* — *гляделки*; *теплушка* — это изба, где можно *обогреться*, где *тепло*; *печка* — место, где можно *погореть*; *пожар* — результат того, что уже *погорели*, т.е. арест, и т.п. И эти черты универсальны, они присущи любому арго — русскому, английскому, французскому [см.: Лихачев 1935]. Это, следовательно, черты платоновского совершенного языка, в котором сущность прямо соотносится с именем (см. гл. I, 2). То же самое имеет место и в более искусственной части естественного языка, т.е. в сфере производных слов, благодаря тому, что смысл слова (или выражения) складывается из смыслов компонентов, по

крайней мере в основной, базовой части: *наладчик* ‘мужчина, который налаживает (механизмы)’, *сверхпроводимость* ‘свойство проводить нечто (электричество) сверх меры’ и т.п. Еще нагляднее в языке науки: глаз там — *орган зрения*, нос — *орган обоняния*, рука — *верхняя конечность* и т.п. (Положение производного слова в естественном языке, проливающее свет на некоторые проблемы и формализованных языков, охарактеризовано в книге: [Кубрякова 1981, 5—21].)

Но, повторим, в базовой части естественного языка все обстоит иначе — так, как если бы смыслы слов связывались с их формой чисто условно и как если бы естественный язык соответствовал нашей модели «Язык-1», с двумя классами слов (см. гл. VII, 1).

Это обстоятельство (в числе многих подобных) привело к возникновению проблемы в форме следующего вопроса: имеется ли какая-либо действительно естественная, внеязыковая, онтологическая причина к тому, чтобы одни какие-то явления объективного мира всегда, в любом естественном языке назывались как вещи, т.е. именами, а какие-то другие явления всегда — как глаголы, признаки, предикаты, т.е. не именовались бы, а «выражались» иным способом?

Еще не так давно — но, правда, это была эпоха расцвета враждебной к философии имени «лингвистической философии», философии предиката — наметился полностью отрицательный ответ на этот вопрос. Э. Бенвенист, лингвист, в известной статье «Именное предложение» (1950) писал: «Противопоставление «процесса» и «объекта» не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект, не вос-

производят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу. Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает, исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие, вынужден будет скоро признать, что если «лошадь» — это объект, а «бежать» — процесс, то это потому, что первое — имя, а

второе — глагол» [Бенвенист 1974, 168]. (Отдельные — но именно отдельные — примеры привести нетрудно: скажем, русскому восклицанию *Дождь!*, где происходящее обозначено как объект, в английском и французском языках соответствуют известные глагольные обозначения процесса.)

В сущности, в утверждении Бенвениста нет чего-то радикально нового. Эта мысль, начиная с определенного времени, соответствующего упадку философии имени и утверждению философии предиката, постоянно возникала у философов языка. Так, в России уже Г. Г. Шпет писал: «Под «вещью» (ens) мы разумеем, с точки зрения языка, все, что может быть названо» [Шпет 1927, 94].

В контексте современной логики У. О. Куайн утверждает: «...любая теория по существу признает те, и только те объекты, к которым должны иметь возможность относиться связанные переменные, для того, чтобы утверждения теории были истинными» [Quine 1953, 13]; «быть — значит быть значением квантифицированной переменной» [там же]. (В специальном смысле тезис Куайна направлен против квантификации интенциональных контекстов, и в частности против понятия «индивидуальные концепты» [см. гл. VI, а также: Семантика модальных и интенциональных логик 1981, 252].)

Рассел привел, как ему казалось, окончательный довод в пользу той же мысли (независимо, конечно, от названных авторов), указав, что понятие «субстанция» является производным от понятия подлежащего предложения, а понятие «отношение» — от предиката предложения (подробнее см. гл. III, 2 и гл. IV, 3).

Никто не будет отрицать, что имеется определенная связь, или корреляция, между субстанцией (вещью) и субъектом (подлежащим), между отношением и предикатом. Но все это не снимает вопроса о том, имеется ли какое-либо внеязыковое, объективное, онтологическое различие между теми явлениями, которые тяготеют к тому, чтобы в любом языке всегда выражаться естественно и преимущественно предикатами, и другими явлениями, которые столь же естественно тяготеют к тому, чтобы всегда, естественно и преимущественно выражаться «вхож-

дениями в предикат», именами. И почему тогда не считать, в противоположность Расселу, Куайну и Бенвенисту, что не «вещь» является проекцией субъекта предложения, а, напротив, субъект предложения является объективным отражением

вещи? Проблема именованя предстает сегодня в конечном счете снова как проблема различения «вещей», «качеств (свойств)», «отношений».

В этой связи нужно упомянуть известные опыты исследования этих различий А. И. Уемовым. Отметив общепринятое различие «смысла» и «денотата, референции» (например, выражения «Вальтер Скотт» и «Автор «Веверлея» имеют один денотат, но разные смыслы), Уемов пишет: «Мы не претендуем на опровержение общепринятой точки зрения. Но все же хотелось бы, хотя бы для того, чтобы читатель лучше понял суть проблемы, посеять некоторое сомнение... Считается, что слова «Вальтер Скотт» и «Автор «Веверлея» обозначают один и тот же предмет... Но зададим такой вопрос: один и тот же предмет — Вальтер Скотт и голова Вальтера Скотта? Несмотря на то, что Вальтера Скотта мы не мыслим без головы, все же большинство скажет, что это, несомненно, различные предметы. Один из этих предметов часть другого. Имея всего Вальтера Скотта, мы имеем и его голову, но не наоборот. Здесь речь идет об отношении в пространстве, то есть об отношении тел. Но если иметь в виду Вальтера Скотта как систему всех тех качеств, которые его образуют, то к ним будет относиться как их часть и тот набор свойств, который мы называем «автором «Веверлея». Имея Вальтера Скотта во всей целостности его качеств, мы имеем и автора «Веверлея» Но не наоборот. Вряд ли имело бы смысл называть новорожденного автором «Веверлея», разве что только будущим. Но каждый знает, что быть будущим, например, доктором — это совсем не то, что быть настоящим... Поэтому не является ли требование обязательного различия смысла и значения выражений, восходящее к Фреге, результатом недоразумения, связанного со слишком узким пониманием вещи, отождествляющим ее с неким объемом, занимаемым в пространстве, то есть с телом?» [Уемов 1975, 457—459].

А. И. Уемов прав, связывая различие «смысла» и «значения» (денотата, референции) с «узким пониманием вещи». На наш взгляд, однако, все дело в том, что это узкое понимание и есть самое лучшее (наиболее верное из всех известных).

Еще раз язык помогает пролить свет на трудную проблему. Понятие «вещь», как об этом свидетельствует язык, — не только понятие системы именованя, существующее в лексиконе, в «номенклатуре» явлений, это еще и понятие, связанное с субъектом предложений. Но в отличие от Рассела я не ограничиваюсь этой чисто языковой (и, следовательно, чисто относительной) характеристикой, а связываю ее с дальнейшей. Субъект, т.е. имя вещи, естественнее всего мыслится в терминах пространства,

протяженности, тогда как предикат — в терминах длительности. Вот эти различия я склонен считать первичными. Они соот-

ветствуют и двум основным типам восприятия внеязыковой действительности — пространственному и временному. И наконец, последние находятся в причинной связи с двумя фундаментальными свойствами самой материи — пространством и временем (разумеется, также и с двумя типами координат, как физических, так и лингвистических: тремя координатами пространства и одной координатой времени).

Психологические наблюдения, например У. Найссера, хорошо совмещаются с этой идеей: «Звуки информируют нас о происходящих событиях. В то время как зрение и осязание позволяют нам обследовать стационарную среду, слух сообщает нам только о движении и изменении» [Найссер 1981, 166].

Как бы то ни было, отличное от понятий предиката и отношения, понятие имени как имени вещи и именованя как отношения имени к вещи, к субстанции и к ее «сущности» (понятию, идее) — необходимое понятие при освещении философских проблем, связанных с языком, в их истории. Это понятие возникло и всесторонне оформилось в философии имени, и, только осознав его в контексте этой парадигмы, можно понять, почему враждебная к ней следующая парадигма, «философия предиката», отбросила понятие имени и понятие сущности, а вместе с ними и понятие о самой вещи и начала переписывать историю этих проблем, прежде всего категории Сущность, со своей точки зрения — прежде всего под углом зрения категории Отношение. Этот пересмотр был начат Кантом и последовательно проведен Расселом (см. гл. IV, 3). Но мы в следующем разделе описываем эту парадигму, «философию имени», с ее собственных позиций.

Формализованное логически (как терм в составе предиката и как функция), но все еще не определенное по существу, имя по-прежнему мерцает загадочным светом перед исследователями языка.

2. «ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ» В АНТИЧНОСТИ.

ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ

Как уже было отмечено выше, для этой философии характерны две основные черты: 1) взгляд на учение об имени как на учение о сущности, 2) иерархия.

В философии языка Платона предполагается, что имя связано с сущностью вещи, ее идеей — «эйдосом» (εἶδος) и в силу этого имя, будучи всегда чем-то общим, способно именовать отдельные проявления сущности — отдельные вещи, «соименные» с данной сущностью.

Прекрасно резюмированы эти взгляды Платона Аристотелем в «Метафизике» (I, 6): «...Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо, считал он, нельзя дать общего определения чего-

—195—

либо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно постоянно изменяется. И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность к эйдосам существует все множество одноименных с ними вещей» [Аристотель 1976, 79].

Эта платоновская философия выражена в диалоге «Кратил»: С о к р а т. ... Ясно, что сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность, безотносительно к нам и независимо от нас... И давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природою предназначено» (386e—387d). Ясно, что в контексте этого рассуждения Сократа—Платона «в соответствии с природой» значит «в соответствии с сущностью вещи». Платон прекрасно понимает, что слова разных языков — греческого или варварских (эллины называли «варварскими» все языки, кроме своего собственного) все равно будут «даны правильно», несмотря на различные звуки, если они правильно относятся к сущности вещи (390a).

Язык, который в своих словах имеет именно такое отношение к сущностям вещей, тем самым, по выражению Платона, «подражает» вещам (Платон использует термин μιμίσις 'подражание'). И такой язык является «полностью правильным» или, лучше сказать, был бы таковым, если бы был вполне возможен (после «Кратила» Платон все более скептически смотрел на эту возможность). «Г е р м о г е н. ... Однако, Сократ, какое подражание было бы именем? С о к р а т. Ну, прежде всего, мне кажется, не такое, какое бывает тогда, когда мы подражаем вещам музыкой, хотя и тогда мы подражаем с помощью голоса; далее, и не такое, какое бывает, когда мы подражаем тому же в вещах, чему подражает музыка, — мне не кажется, что тогда мы даем имя. А утверждаю я вот

что: ведь у каждой вещи есть звучание, очертания, а у многих и цвет?.. Искусство наименования, видимо, связано не с таким подражанием, когда кто-то подражает этим свойствам вещей. Это дело, с одной стороны, музыки, а с другой — живописи... А подражание, о котором мы говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть еще и сущность (οὐσία) — как цвет, и все то, о чем мы здесь говорили?.. Так что же? Если кто-то мог бы посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, сущности, разве не мог бы он выразить каждую вещь, которая существует? Или это не так? Г е р м о г е н. Разумеется, так» (423d, e) [Платон 1968, 418, 468].

К концу жизни, в седьмом письме, Платон, не оставляя совсем своих взглядов кратиловского периода, все же стал с большим сомнением смотреть на возможность создания когда-либо и кем-либо такого «правильного» языка с совершенным отношением имени и сущности [см.: Перельмутер 1980, 145]. Однако можно сказать, что скептицизм Платона оправдан — и то лишь в известной мере — только по отношению к первичным, т.е. произвольным, именам (см. гл. I, 1). Что касается

—196—

имен производных, а также предложений, производимых, как и имена, по семантическим и синтаксическим правилам языка, то разве эти имена и предложения не реализуют платоновскую мечту о «совершенном» языке? И разве формализованный язык логики, в котором «концепт имени» (идея!) определяет и имя, указывая способ наименования предмета, и тем самым сам предмет (денотат), а предложение рассматривается как особая разновидность имени, не является в еще большей степени по-платоновски «совершенным» языком?

Именно в таком виде платоновская идея совершенного языка получила развитие в средневековой схоластике, в «Великом искусстве» (Ars magna) Раймунда Луллия (ок. 1235— ок. 1315). В свою очередь, идеи Луллия были продолжены Лейбницем. Недавно было показано их своеобразное развитие в России в трудах А. Х. Белобоцкого во второй половине XVII в. [Вомперский 1979] (см. также гл. II, 1).

Иерархия у Платона подробно исследована А. Ф. Лосевым. «Платонизм, — пишет Лосев, — есть всегда иерархия, и притом идущая сверху вниз; есть диалектика, идущая сверху вниз, от Единого, через Ум и Душу, к Космосу. Тут полная противоположность Гегелю, у которого диалектика есть эволюционное развитие по прямой линии, через все

большее и большее обогащение» [Лосев 1930, 653]. В дальнейшем Лосев показал это в комментариях к последнему русскому переводу Платона [Платон 1968—1972 (об иерархии см. комментарий к т. 1)].

У Аристотеля нет развернутой концепции языка, но соответствующие идеи развиваются у него в плане учения о сущности и других категориях. Термин «сущность» (οὐσία, от глагола 'быть, существовать') на протяжении разных текстов Стагирита употребляется в вариативных значениях. Как указывает автор «Словаря Аристотеля» (Index Aristotelicus, 1870), Г. Бонитц, большое разнообразие значений этого слова у Аристотеля проистекает не только из того, что он обозначает им соответствующие понятия в системах разных других философов в своем изложении, но «главным образом из того, что, по его собственному мнению, философия вообще состоит в исследовании сущностей, а поэтому не следует связывать это понятие с каким-либо одним родом вещей, исключая все остальные; напротив, по его мнению, следует некоторым различным образом приписывать ранг (dignitatem) сущности различным родам вещей; полностью обследовать использование Аристотелем термина «сущность» значило бы изложить всю философию Аристотеля» [Bonitz 1955, 544a, 5—51].

Однако не прекращается дискуссия о том, можно ли свести эти разные значения к некоторому общему значению, инварианту [см., например: Lalande 1972, 1049]. В. Ф. Асмус [1976, 353] и др., в частности А. И. Юрченко (в ряде докладов и устных сообщений), обосновали мнение, что существует разрыв между пониманием «сущности» в «Категориях» и в «Метафизике», восходящий к двум разным античным тра-

дициями, предшествующим Аристотелю, и в свою очередь давший начало двум разным течениям в средневековой философии. О последних мы скажем ниже, а здесь будем говорить об этом термине в том его виде, как он дан в «Категориях».

В «Категориях» Аристотель разделяет сущности на «первые, или первичные, сущности» (οὐσία πρώτη) и «вторые, или вторичные, сущности» (οὐσία δευτέρα). Первые сущности — это индивиды, индивидуальные существа или объекты, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; первая сущность «не сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в 26 каком подлежащем» (Катег., V, 2a) [Аристотель 1939, 7; далее цитируем по этому изданию]. Очевидно, что здесь термин «подлежащее»

берется с современной точки зрения в двух разных значениях: в утверждении «не сказывается ни о каком подлежащем» в значении «субъект высказывания»; в утверждении «не находится ни в каком подлежащем» в значении «субстрат». Если же принять во внимание, что Аристотель здесь не разделяет грамматическое подлежащее и субъект предложения в логическом смысле, то присутствует и это третье современное значение. Очевидно, что для Аристотеля два первых современных значения термина «подлежащее» — одно. Возникает сложный вопрос о том, как из этих аристотелевских терминов путем сложных опосредований в философии языка вышли различные современные термины; ниже мы остановимся на нем особо.

Вторые сущности — это роды и виды; «вторичными сущностями называются те, в которых, как видах, заключаются сущности, называемые [так] в первую очередь, как эти виды, так и обнимающие их роды; так, например, определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а родом для [этого] вида является живое существо» (Катег., V, 2a). Вторые сущности также могут быть подлежащим, в виде общих терминов «человек», «лошадь». Вторые сущности последовательным включением, подобно тому как «данный человек» или «данная лошадь» подводятся под вид «человек», «лошадь», включаются наконец в наивысший род «Сущность». Он есть категория Сущность.

Сущность существует сама по себе (per se), не требует для своего существования никакой опоры в чем-либо другом. «Общей чертой для всякой сущности является — не быть в подлежащем» (Катег., V, 3a). «Подлежащее» в этом утверждении берется опять-таки в обоих современных смыслах — как «субстрат» и как грамматическое и логическое подлежащее. Причем Аристотель говорит здесь о «всякой сущности», значит, о первой и о второй одинаково. Отсюда следует, что и первые сущности (индивиды), и вторые сущности (виды и роды), по Аристотелю, равно существуют объективно, онтологически. Это не значит, что они существуют одинаково. Напротив, первые сущности обладают бытием в наивысшей степени: «...если бы не существовало первых сущностей, не могло бы существовать ничего другого» (там же, 2b, 6). Вто-

рые сущности обладают бытием в меньшей степени, но тем больше, чем ближе они к первым сущностям: «Из вторых сущностей вид в большей мере сущность, чем род: он ближе к первой сущности» (там же, 7). Здесь, следовательно, возникает идея градаций бытия — иерархии бытия, — детально разработанная в схоластике, в частности у Дунса

Скота [см.: Джохадзе, Стяжкин 1981, 44]. У самого Аристотеля, подчеркнем это еще раз, все эти идеи выражены наиболее полно именно в «Категориях».

В той мере, в какой они принимаются (явно или неявно) или во всяком случае адекватно интерпретируются, можно говорить об одной линии, которую мы будем именовать «концептуализмом» (условно, поскольку в собственном смысле так называется только особое течение в средневековой философии; но традиция восходит к глубокой древности, воплощается в «Категориях» Аристотеля и продолжается в измененной форме после «концептуализма в собственном смысле», т.е. концептуализма средних веков, в философии и логике нового времени и наших дней). Среди представителей этой линии: глава школы перипатетиков Андроник Родосский (I в. до н.э.), Плотин (III в. н.э., «Enneades», VI, 1), Порфирий (III в., «Введение к “Категориям”»), Бозций (V—VI вв.), Иоанн Дамаскин (VIII в., «Диалектика»), Фома Аквинский (XIII в., «Summa theologiae»), Петр Испанский (XIII в., «Summulae logicales»), Николай Кузанский (XV в.), Р. Декарт (XVII в.), А. Х. Белобоцкий (XVII в.), Ф.-Х. Баумейстер («Метафизика», 1764), Я. П. Козельский («Философские предложения», 1768), Е. А. Бобров («Психологические воззрения древних греческих философов», 1910), У.Д. Росс («Aristotle», 1923), А. Ф. Лосев («Философия имени», 1927), Е. К. Войшвилло («Понятие», 1967), А. Н. Чанышев («Курс лекций по древней философии», 1981). Эта линия, на наш взгляд, наиболее адекватна учению Аристотеля о категориях, сущностях и иерархии бытия, как оно изложено в «Категориях».

Для перевода термина «усия — сущность» в аспекте «Категорий» общепринятым является лат. *substantia*, рус. сущность. Однако по ясно ощутимой внутренней форме и по происхождению лат. *sub-stant-ia* (букв. ‘под-стоящее, стоящее под’) соответствует другому греческому слову — *υπο-στάσις* и русскому (из греч.) ипостась. Философы Рима, как, по-видимому, следует из некоторых текстов Сенеки и Квинтилиана, уже осознавали это греческое слово как эквивалент «усия». Но его философское терминологическое употребление точно засвидетельствовано только в «Послании к Евреям» (1, 3) апостола Павла, где Сын божий назван образом ипостаси Бога-отца. Термин утвердился в языке философии Плотина (ок. 204—269/70) и христианских писателей той поры в учении о Троице в значении «одно из лиц св. Троицы». В «Диалектике» Иоанна Дамаскина (ок. 675—ок. 750), терминология которого оказала большое

влияние на терминологию русской религиозной философии, сказано: «Имя ипостась имеет двоякое значение. Иногда означает простое бытие; в этом смысле все равно, что сущность и ипостась. Поэтому некоторые Св. Отцы (отцы церкви. — *Ю. С.*) говорили природа или ипостась. Иногда означает ту сущность, которая существует сама по себе и отдельно: в сем смысле означает неделимое (индивид. — *Ю. С.*) то, которое различается числом, так Петр, Павел и некоторая известная лошадь... Посему неделимое получает имя ипостаси, в которой сущность пребывает действительно с случайными (признаками. — *Ю. С.*)» [Иоанн Дамаскин 1862, 65]. В применении к учению о св. Троице, видимо в силу того, что в латинском языке этот термин совпадал с термином «субстанция», западная католическая церковь заменила его термином *persona*, в то время как восточная церковь сохранила греческое слово «ипостась». Схоласты употребляют последнее в латинизированной форме *hypostasis* в значении «человек, индивид, лицо», в особенности «моральный субъект» [Lalande 1972, 427].

Вторая линия в учении о сущности намечена, как это ни странно, также у самого Аристотеля, прежде всего в «Метафизике». Здесь он в одном месте резюмирует так: «Итак, получается, что о сущности говорится в двух [основных] значениях: в смысле последнего субстрата, который уже не сказывается ни о чем другом, и в смысле того, что, будучи определенным нечто, может быть отделено [от материи только мысленно], а таковы образ, или форма, каждой вещи» (Мет., V, 8, 23—26) [Аристотель 1976, 157]. В латинском переводе В. Мёрбеке (Moerbeke) XIII в., которым пользовались многие знаменитые схоласты, это место выглядит так: «Accidit itaque secundum duos modos substantiam dici: subiectum ultimum, quod non adhuc de alio dicitur: et quodcumque hoc aliquid ens, et separabile fuerit. Tale verum uniuscuiusque forma et species» [цит. по изд.: *Metafisica de Aristóteles* 1982, 249].

В другом месте того же сочинения Аристотель говорит: «Формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность» (Мет., VII, 7, 33). Таким образом, здесь «первая сущность» нечто совсем другое, чем в «Категориях». И это иное понимание близко к тому, что Аристотель говорит в своей «Физике»: «материя близка к сущности и в некотором смысле есть сущность» (Физ., I, 9, 6 [Аристотель 1981, 80]). Применительно к каждой отдельной вещи, в реальных вещах, сущность в этом смысле есть

непосредственное единство материи и формы, сущность = материя + форма. В этом значении понятие «сущность» в латинском языке передается термином *essentia*.

В этой линии идей, начиная уже с самой «Метафизики» и далее, вплоть до наших дней, появляются выражения, явно невозможные в первой линии. Важнейшие среди них такие: «суть бытия данной вещи» — греч. *τό τί ἦν εἶναι*, буквальный латинский перевод — *quod quid erat esse*;

200

«суть данной вещи» — уже названное латинское *essentia*, кроме того, *quidditas*; и даже «сущность субстанции».

Термин *essentia* в начале этой традиции редок, он встречается у Цицерона и Сенеки, затем исчезает, появляется снова, и Августину (354—430) он кажется еще необычным. Августин часто отождествляет понятия «субстанция» (*substantia*) и «сущность» (*essentia*) и их оба с понятием «природа» (*natura*), при этом он считает, что, хотя все эти термины выражают одно и то же, *natura* — самый древний, *substantia* — более новый, а *essentia* — совсем новое слово [Майоров 1979, 414]. И. Дунс Скот (ок. 1266—1308) употребляет в значении *essentia* идущий от Ибн Сины (Авиценны) термин *natura communis* 'общая природа'. Греческий термин *τό τί ἦν εἶναι* как ответ на вопрос «Чем является?» (*Quid sit*) был передан на латинский язык (первоначально при переводе трудов Ибн Сины) как *quidditas*, чему в русской терминологии соответствует «чтойность» (от вопроса «Что есть?»). Термином *quidditas* широко пользуется Ч. Пирс в XIX—нач. XX в. в своих логических и семиотических трактатах. Термин *essentia* приобрел большое распространение с середины XIX в. в связи с развитием философии экзистенциализма как противопоставление термину *existentia* — «существование», ср. знаменитый тезис этой философии: «Существование (экзистенция) предшествует сущности (эссенции)».

У схоластов в этом ряду появляется еще один термин — *entitas* (от *ens* — «сущее»), означающий чаще всего *entitas tota* 'цельная реальность индивида (человека или вещи)', в противопоставлении его (индивида) *existentia* и его *haecceitas* «этости», «этовости» (от слова *haec* 'эта'), совокупности признаков, создающих единственность, уникальность индивида. Термин *entitas* использует У. Оккам в критикуемом им значении «общая сущность», т.е. «природа индивида», — понятие, которое он отвергает. От этого латинского термина происходят современные англ. *entity* и франц. *entité*.

Следует отметить, что, так как оба главных термина — *substantia* и *essentia* — в латинской терминологии соответствуют также одному греческому «усия», они нередко смешиваются. Например, Рассел, не принадлежащий к сторонникам первой линии в понимании сущности, критикует их понятие субстанции в своей «Истории западной философии», иногда понимая его как «эссенцию».

Термин «вторые сущности» в «Метафизике» вообще не употребляется. Это имеет серьезные последствия для понимания всей категории Сущность. В трактате «Категории» первые сущности последовательно включаются в иерархию видов и родов. Если же вторые сущности, как это имеет место в «Метафизике», не признаются, то вся иерархия категории Сущность именно как единой категории перестает существовать и все ярусы включений становятся чем-то вроде качеств первых сущностей. Действительно, с развитием этой точки зрения все большее разви-

201

тие получает категория Качество. Она поглощает все верхние ярусы иерархии Сущности (т.е. все, кроме первых сущностей) и все остальные категории, кроме Отношения (Соотнесенного). В «Метафизике» по большей части проводится именно такой взгляд, но как бы в его начальном виде — речь идет о трех основных категориях: Сущность, Свойство, Отношение (Соотнесенное). В таких логико-лингвистических системах XX в., как система Р. Карнапа, гипертрофия понятия «свойство» (а это видоизменение категории Качество) достигает предела: «класс» отождествляется со «свойством». Эту линию в трактовке категорий можно назвать номинализмом (условно, потому что номинализм в собственном виде формируется лишь в средневековой схоластике; но основания для такого называния всей этой линии с самого ее начала станут ясны после рассмотрения предикации).

К этой линии (явно или неявно) принадлежат: крайний «номиналист до номинализма» Антисфен, глава школы киников (V—IV вв. до н.э.), Мартиан Капелла («Семь свободных искусств», вок. 430 г. н.э.), Росцелин из Компьена (XI в.), У. Оккам (XIII—XIV вв.), Спиноза (XVII в.), Соломон Маймон («Категории Аристотеля», 1794), Ф. А. Тренделенбург («История учения о категориях», 1846), М. Н. Касторский (перевод на русский язык и комментарии «Категорий», 1859), А. И. Введенский («Логика как часть теории познания», 1909), П. С. Попов («Теория восприятия Аристотеля», 1922), Г. Ф. Александров (комментарии к «Категориям», 1939), Р. Карнап («Значение и

необходимость», 1947), А. С. Ахманов («Логическое учение Аристотеля», 1960), В. Ф. Асмус («История античной философии», 1965; «Античная философия», 1976).

В дальнейшем развитии учения Аристотеля немаловажную роль сыграло, по-видимому, одно историческое обстоятельство. С раннего средневековья до середины XII в. продолжается первый период схоластической логики, так называемая старая логика (*logica vetus*), основанная на идеях «Категорий» Аристотеля, Порфирия и Боэция, а это, как мы старались подчеркнуть, — в известной мере отдельная традиция [ср. также: Майоров 1979, 373]. Позднее, в середине XII в., после знакомства с другими частями «Органона» Аристотеля — «Топикой», «Аналитикой», «О софистических опровержениях», оживает до какой-то степени иная традиция и начинается период Новой логики (*logica nova*), в которой центр тяжести переносится на проблемы предикации, суждения и умозаключения. Именно с этим переломом, отвечающим потребностям становления позитивных наук, совпадает усиление номиналистической линии вообще и в трактовке категорий в частности.

Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на различия и даже, возможно, на некоторые противоречия в трактовке категорий в разных сочинениях Аристотеля, его логико-лингвистическая концепция представляет собой единое целое. (А. Н. Чанышев тоже считает возможным соединить обе концепции категорий — в «Категориях» и в «Метафизи-

ке», но в конечном счете находит все же в концепции категорий у Аристотеля неразрешимые противоречия [Чанышев 1981, 295].)

Единство всей системы Аристотеля обнаруживается еще и в другом отношении: мы хотим подчеркнуть единство учения о категориях, как оно изложено в «Категориях», с силлогистикой Аристотеля. В этой связи мы хотим вновь обратить внимание на две редко упоминаемые работы — книгу Г. Патцига «Аристотелевская силлогистика» [Patzig 1959] и рецензию П. С. Попова на эту книгу.

Сравнивая книгу Патцига с известной работой Я. Лукасевича [1959] о силлогистике Аристотеля, Попов отмечал, что при всех достоинствах последней в ней «утрачивается историческая перспектива и система оказывается неправоммерно модернизированной». Патциг же, превосходный знаток текстов Аристотеля и греческих текстов вообще, сумел выявить те исходные положения, которых недостает в анализе

Лукасевича. В частности, Патциг показал, что «силлогистика Аристотеля приложима лишь к той системе родо-видовых отношений, где для каждого рода существует еще более высокий род и для каждого подчиненного понятия существует еще другое понятие, в свою очередь ему подчиненное» [Попов 1961, 178].

Итак, Сущность, «усия» как фундаментальный термин философии имени утверждается, в линии «Категорий» Аристотеля, в следующем смысле: 0) Сущность как таковая, сама по себе; 1) сущность выступает в отношении различных переменных качеств вещи как их основа, как постоянство вещи, как субстрат (*υποκειμενον*); 2) в языке сущность, или субстрат, выступает как грамматическое подлежащее (*υποκειμενον*); 3) в мысли сущность выступает как субъект (*υποκειμενον*) простого категорического асерторического суждения. Все три признака Сущности взаимосвязаны, это не три значения одного слова, а три аспекта бытия Сущности и три аспекта понятия о ней.

Специальный аспект (1), выраженный греческим термином *υποκειμενον*, на латинский был переделан словом *suppositum*, которым широко пользовались схоласты (от него произошли англ. *supposite*, франц. *suppôt*, оба впоследствии вышли из употребления), схоласты произвели от него свой важнейший термин «суппозиция» (*suppositio*). Кроме того, тот же греческий смысл стал передаваться латинским *substratum*, букв. 'подстеленное' (англ. *substrate*, франц. *substrat*), русским (из латинского) «субстрат». Но в переводах Аристотеля и других древнегреческих авторов на русский язык в этом смысле употребляется тоже «подлежащее», что, конечно, сильно мешает современному читателю.

Аспекты (2) и (3), выраженные по-гречески также термином *υποκειμενον*, были переданы буквальными переводами на латинский — *sub-jectum* и на русский — «подлежащее»; в русском употребителен также термин «субъект» (из латинского).

В соответствии с различными аспектами аристотелевского понятия (не слова!) «сущность» мы будем употреблять:

	Греч.	Рус.	Лат.
—	0. ουσία	— сущность (в 2-х значениях)	— <i>substantia, essentia</i>
—	1. υποκειμενον	— субстрат	— <i>suppositum, substratum</i>
—	2. υποκειμενον	— подлежащее	— <i>subjectum</i>
—	3. υποκειμενον	— субъект	— <i>subjectum</i>

(Английские и французские термины являются производными от латинских)

Другие категории. Полный список категорий Аристотеля таков (слева направо дается греческий термин, его перевод на русский язык, его соответствие в традиционной — начиная со средних веков — латинской терминологии категорий, его соответствие в русской терминологии категорий):

1. Ὀυσία	‘Сущность’	Substantia	Сущность (Субстанция)
2. Ποσόν	‘Сколько многих?’	Quantitas	Количество
3. Ποῖόν	‘Какой?’	Qualitas	Качество
4. Πρός τί	‘В отношении чего?’	Relatio	Отношение (Соотнесенное)
5. Ποῦ	‘Где?’	Ubi	Где? (Место)
6. Πότε	‘Когда?’	Quando	Когда? (Время)
7. Κεῖσθαι	‘Находиться’	Situs	Положение
8. Ἐχεῖν	‘Иметь(ся)’	Habitus	Обладание (Состояние)
9. Ποιεῖν	‘Делать’	Actio	Действие
10. Πάσχειν	‘Претерпевать’	Passio	Претерпевание (Страдание)

Сущность стоит на первом месте; все другие девять категорий, по Аристотелю, суть то, что самостоятельно вне вещей не существует. Только Сущность называется у Аристотеля именем существительным, «усия», и только на эту категорию приводятся примеры в виде имен существительных (древнегреческого языка). Все остальные категории именуется или вопросами и иллюстрируются разными частями речи, но не именами существительными (категории 2—6), или словами, которые являются просто представителями, элементами соответствующего класса слов (категории 7—10). Название всех категорий в форме имен возникло только в латинских переводах Аристотеля и было заимствовано в русской традиции [лингвистический анализ категорий см.: Степанов 1981, 121 и след.]. Таким образом, уже сам перечень категорий по существу связан с языком и чреват отношениями предикации: имя есть по преимуществу подлежащее, все остальное — по преимуществу сказуемое или определение в составе неких возможных высказываний.

Сама Сущность называется иначе вопросом «Что это есть?» (Топика, 103b 22). Все другие категории, отвечая на другие вопросы, раскрывают сущности через их атрибуты.

Но категория Сущности имеет, как показал Порфирий, иерархическое строение — «дерево Порфирия». Устроены ли другие категории таким же образом? Вопрос этот очень важен для понимания всего остального: предикации, именования, сущности языка у Аристотеля и у схоластов. Но именно этот вопрос в истории логики не получил освещения или, вернее, в предположительной и неясной форме на него давались два различных ответа,

Как первый ответ предполагается, что каждая из категорий устроена подобно Сущности и имеет иерархическое строение. Иными словами, например, «данный, этот желтый цвет» составляет нижний ярус иерархии, подобный ярусу «отдельный человек» в категории Сущность; далее он включается в вид «желтый цвет», последний — в род «цвет», а он в свою очередь в наивысший род — в категорию Качество.

Однако такой ответ наталкивается на большие трудности. Дело в том, что иерархия Сущности («дерево Порфирия») — это не только схема родо-видового соподчинения понятий (и не только схема строгой дихотомии деления объемов понятий, как она иногда рассматривается в логике), а система логикилингвистической иерархии, обладающая целой совокупностью взаимосвязанных языковых и логических свойств [о них подробнее см.: Степанов 1981, 74 и след.].

В какой мере свойства категории Сущность, а следовательно, и свойства «дерева Порфирия» применимы к классификации явлений, подводимых под другие категории? Иными словами, являются ли другие категории изоморфными категории Сущность? Мнения исследователей на этот счет расходятся. У. Д. Росс [Ross 1930], А. И. Юрченко (в ряде докладов и устных сообщений) и др. отвечают на этот вопрос положительно. А. И. Юрченко прямо считает, что, вполне подобно Сущности, Качество имеет такую иерархию: например, «этот, данный белый цвет» (индивид) → «белый цвет» → «цвет» → «свойство» (впрочем, он допускает, что эта промежуточная ступень необязательна или, напротив, может быть разбита на несколько) → Качество. Подобно этому, хотя несколько сложнее, могут быть, по его мнению, иерархизированы и все остальные категории.

Эта идея восходит к глубокой древности. У Иоанна Дамаскина читаем; «...Нужно знать, что остальные девять сказуемых (т.е. категорий. — Ю. С.), исключивши сущность, хотя случайные, впрочем (здесь в значении ‘но’. — Ю. С.) каждое из них имеет как устанавливающие, так и разделяющие различия, и каждый род есть самый общий род и равным образом имеет подчиненные виды и частнейшие (самые частные. — Ю. С.) виды: ибо где есть род, там необходимо есть и виды и разделяющие различия» (Диалектика, гл. 37 [Иоанн Дамаскин 1862, 61]).

Однако в главах, трактующих о девяти остальных, кроме Сущности, категориях, приводится совсем другое по типу соотношение родов и видов, чем в Сущности (где

повторяется известная схема «дерево Порфирия»). Так, в гл. 51 о Качестве говорится: «...Иные у качеств принадлежат телам одушевленным и одаренным разумом; так познания и добродетели, болезни и здоровье, и сии качества называются именем и расположением. А иные принадлежат одушевленным и неодушевленным; так теплота, холод, форма, фигура, сила и бессилие; и они заключаются частью в возможности, частью в действии. Ежели в возможности, то производят силу и бессилие; ежели в действии, то или проникают предмет совершенно, так жар проникает весь огонь, белизна совершенно молоко и снег, и тогда производят состояние и качество страдательное; или только на поверхности, и тогда производят фигуру и форму. И так четыре вида качеств: имение и расположение, возможность и невозможность, состояние и качество страдательное, фигура и форма» [там же, с. 79]. Далее дается деление внутри каждого из этих четырех видов, имение отличается от расположения, возможность — от невозможности и т.д.

Таким образом, и у Иоанна Дамаскина иерархия остальных категорий не показана, и сомнительно, чтобы она была возможна. Ведь классификация Сущности, как она показана Порфирием, единственным и неизбежным образом, алгоритмически, подводит к наинижнему виду «человек», если идти «сверху», от вопроса «Что это есть?», или, напротив, столь же однозначно и алгоритмически подводит к категории Сущность, если идти «снизу», от «данного человека». При этом все остальные виды Сущности: животные, растения, неодушевленные тела (например, минералы), бестелесные предметы (например, знаки) — классифицируются столь же алгоритмически, но каждый вид на иной ступени деления. Иными словами, каждый вид в этой иерархии получает иную глубину определения — тем меньшую, чем он ближе к вершине иерархии. И эта различная глубина соответствует различной степени бытия, о чем было сказано выше.

Очевидно, что в других категориях в этом отношении все обстоит иначе. От понятия «данный желтый цвет» (в предположении, что такое понятие может существовать, для простоты рассуждения примем, что может) можно иерархически взойти до категории Качество. Но будут ли промежуточные ступени — виды и роды — естественными и единственными, как они естественны и единственны в категории Сущность? Если «данный желтый цвет» естественно подводится под «желтый цвет», а последний под «цвет», то под какой род подвести «цвет» до того, как мы подведем его под наивысший род — Качество? Точно так же будет обстоять дело со «звуком».

Имеется ли какой-нибудь общий род (до наивысшего рода Качество) у «цвета» и, например, у «звука»? Положим, что этот вопрос можно как-нибудь, с натяжкой, разрешить, опираясь на

то, что цвет и звук — это качества, устанавливаемые естественными органами восприятия (что само по себе является весьма сложной логико-лингвистической проблемой [см.: Wierzbicka 1980]). Но как естественным, единственным и алгоритмическим путем совершить нисхождение от верхнего яруса — Качество — к нижним? На одном из промежуточных ярусов деления мы неизбежно придем к тому, что качества восприятия — цвет, звук, температура и т.д. равно соподчинены одному и тому же высшему роду и образуют в этом ярусе не древовидное, не дихотомическое, а зонтичное членение. То же положение будет встречаться при других качествах, хотя, возможно, на других ярусах иерархии.

Можно избежать зонтичного членения, сведя его к дихотомическому, скажем, путем такого деления: Цвет — Не цвет (т.е. звук и прочие качества), затем Не цвет поделим на Звук и Не звук (прочие качества, кроме цвета и звука) и т.д. (Можно, конечно, то же дихотомическое деление провести иначе, поделив сначала Звук — Не звук, т.е. цвет и все прочее, а затем Не звук — на Цвет и Не цвет и т.д.) Но тогда возникает иной вопрос: на каком основании приписывать звуку (при первом делении) большую степень бытия, чем цвету? Или цвету (при втором делении) большую степень бытия, чем звуку? Ведь, как мы видели выше, степень бытия по Аристотелю и по Порфирию тем больше, чем ближе стоит сущность в иерархии к первой сущности. Это же надо предположить и для других категорий, если считать, что они устроены изоморфно Сущности. Так же, если только не еще сложнее, обстоит дело с другими категориями, например с категорией Место, поскольку здесь соотношение места с местонахождением самого говорящего образует не объективную, а субъективную и относительную характеристику места.

Поэтому в качестве второго ответа на поставленный вначале вопрос напрашивается следующее: все остальные категории, кроме Сущности, не имеют иерархического строения, во всяком случае такого родо-видового иерархического «древовидного» строения, как Сущность.

Общее основание этого различия заключается в том, что только Сущность существует независимо и сама по себе, тогда как все другие категории — только через Сущность. Поэтому отвлечение от индивидов по степени иерархии вверх приобретает два различных качества. Движение по иерархии Сущности, если понимать ее в смысле трактата «Категории», является отвлечением одновременно и логическим, т.е. происходит в понятии, и онтологическим, т.е. отвлекаемые ступени не перестают существовать онтологически, вне познающего рассудка, как присущие объективной действительности. Движение же вверх по иерархии, например категории Качество (если признать, что таковое может иметь место), является отвлечением лишь логическим, но не онтологическим, поскольку, по определению, другие категории, кроме Сущности, не имеют самостоятельного бытия. Следовательно, такая иерархия, как

—207—

«этот, данный белый цвет» → «белый цвет» → «цвет» → и т. д. является лишь логической иерархией понятий. Онтологически же ей должна соответствовать иная иерархия, в которой на каждой ступени качество выступает качеством какой-либо Сущности, а именно соответствующей ступени Сущности. Таким образом, эта вторая иерархия должна, скорее всего, иметь такой вид: «этот белый цвет, существующий в данном белом цветке» (или в любом другом непосредственно наблюдаемом белом предмете) → «белый цвет, существующий в группе однородных белых предметов» → «цвет как свойство окрашенных предметов, т.е. как свойство класса цветных предметов» → и т.д. Но такое подведение под категорию Качество не является категориальным подведением, а процессом иного рода — субсумпцией.

По субсумпцией (от лат. *subsumere* 'подчинять') традиционно (и справедливо) понимается подведение типа: желтые цветы, желтые платки, канарейки, золото, бронза и т.п. → Желтое. Сравнение субсумпции с категориальным подведением очень четко обнаруживает черты того и другого. С одной стороны, субсумпция отличается от категориального, родо-видового обобщения тем, что не требует рассудочного обобщения, усмотрения общего. Она, выражаясь феноменологически, не требует интенционального акта усмотрения общего, как его требует именование (см. гл. I, 1). Здесь необходимо лишь обобщение на уровне восприятия: объединяется все желтое. Субсумпция является эмпирическим собранием индивидов в класс. Именно поэтому обобщение субсумпцией, как правило, не приводит к имени, не является актом

именования. Класс, созданный субсумпцией, взятый как множество содержащихся в нем индивидов, т.е. поэлементно, обладает таким же максимумом бытия, как вообще всякий индивид, всякая «первая сущность».

С другой стороны, класс, созданный субсумпцией, как целое, т.е. именно как класс в целом, обладает минимумом бытия, как, например, совместное бытие желтых предметов. В этом пункте видно главное отличие категориального обобщения типа категории Сущность: в нем на каждой ступени иерархии соответствующий вид или род обладает максимумом возможного для этой ступени бытия. Например, совместное бытие канареек, или золотых предметов, или желтых цветов — каждой группы в отдельности — несомненно больше, чем совместное бытие всего желтого — канареек вместе с золотыми предметами и вместе с желтыми цветами. С точки зрения языка — не только древнегреческого, но Языка вообще — это различие соответствует тому, что категория Сущность отражает нечто «естественно предметное», естественные субъекты языка («подлежащие», сказал бы Аристотель), а все остальные категории — нечто «естественно непредметное», естественные предикаты. Мы подошли, следовательно, к проблеме предикации, которая, как уже и было сказано, коренится в скрытом виде в самом существе категорий.

—208—

П р е д и к а ц и я. Само общее название категорий, употребленное Аристотелем, говорит об их связи с предикацией. Понятие предикации как активного процесса, как акта приписывания признака субъекту, как акта создания пропозиции и высказывания в философии имени не было развито. Эта ущербность как раз и свидетельствует о подчинении синтактики семантике в общих представлениях о языке. Предикация понималась и описывалась статично, как перечень возможностей и классификация результатов. Эти понятия покрывались тремя терминами:

0.	κατηγορία	— praediamentum	— категория, род предиката
1.	κατηγορία	— praedicatum	— предикат, сказуемое
2.	κατηγοροῦμενον	— praedicabilem	— предикабилия, тип предиката

Греческие и латинские термины сохраняют единство, будучи производными от одного корня, но современные английские, французские и особенно русские термины этой группы расходятся, и поэтому нужно подчеркнуть их первоначальное единство. 1. Категория (от греч. *κατηγορεῖν* 'сказывать, говорить, утверждать') — это единица («таксон» в современном смысле) классификации предикатов по содержанию; тип, или

род, предиката по содержанию и термин «род» предиката здесь надо понимать в его аристотелевском смысле «Категорий» — как обозначение того, что объективно существует в действительности как нечто общее — род или вид — самих вещей. 2. Предикат понимается как данный, конкретный предикат того или иного предложения, в противопоставлении предиката субъекту. 3. Предикабилия, тип предиката, — это единица («таксон») классификации предикатов по логической форме.

Классификация предикатов по объективному основанию (категории) и классификация предикатов по логической форме (предикабилии) — две разные, независимые одна от другой классификации. Но в некоторых пунктах они пересекаются. Выделение этих пунктов пересечения, или совпадения, очень важно: в них фиксируются те виды предикации, где язык отражает объективные свойства действительности (по крайней мере по мнению философов имени), и они противопоставлены Другим видам предикации, где язык отражает лишь логические или внутриязыковые абстракции. Это важно поэтому и для понимания теории суппозиций.

Впервые классификация предикатов по логическому типу, как предикабилией, дана Аристотелем в «Топике» (Топика I, 4, 101b, 17—25 [Аристотель 1978, 350]), где установлены четыре класса: «собственный признак» (ἴδιον, proprium), «определение» (δρος, definitio), «род» (γένος, genus), «привходящий признак» (συμβεβηκός, accidens). Что касается «различительного признака» (διαφορά, differentia), то Аристотель здесь по каким-то причинам не считает необходимым упомянуть его особо.

Предикабилии Аристотеля могут быть классифицированы, как это сделано З. Н. Микеладзе, по двум признакам: 1) «взаимозаменяемость —

209

невзаимозаменяемость», т.е. простая обратимость — необратимость сказуемого с подлежащим; 2) «существенность—несущественность» сказуемого как признака подлежащего [Микеладзе 1978, 646]:

Взаимозаменяемые: существенные — 1. Определение; несущественные — 2. Собственный признак; Невзаимозаменяемые: существенные — 3. Род; несущественные — 4. Привходящий признак.

Примеры Аристотеля таковы (при этом надо иметь в виду, что для Аристотеля суждение имеет вид «S есть P», поэтому наиболее адекватной языковой формой суждения будет, по Аристотелю, «Нечто есть нечто»):

1. Человек есть живое существо, двуногое, живущее на суше.
2. Человек есть способное научиться читать и писать
(= Человек способен научиться читать и писать).
3. Человек есть живое существо.
4. Человек есть сидящее (= Человек сидит).

В обеих классификациях общим термином является «род», и это центральное звено всей философии имени. Роды существуют не только в предикации языка, но и объективно — как сущности (еще раз подчеркнем, что это точка зрения «Категорий», а не «Метафизики»), и именно в силу их объективного бытия предикация рода — центральный тип предикации; все остальные типы определяются, «центрируются» по отношению к роду. (Продолжение этой темы см. в Части III наст. Книги)

Позднее, в средневековой западной традиции, учение о «предикациях-категориях» стало подразделяться на три раздела: учение о «предкатегориях» (antepredicamenta), в качестве какового стало рассматриваться «Введение» Порфирия; учение о самих категориях (praedicamenta); учение о «посткатегориях» (postpredicamenta) — о способах обозначения предметов и о словах (сложных, определенных, неопределенных, о существительном и глаголе). Так у Абеяра, Петра Испанского и др. [Владиславлев 1881, Прил., 75].

Но нам кажется естественнее рассматривать классификацию Порфирия в том же ряду, что и учение о «посткатегориях», поскольку в обеих частях идет речь о языковом выражении предикации. Для этого имеются, как мы увидим, и фактические основания в текстах: «Введение» Порфирия — по существу первое изложение учения о «подстановках (суппозициях)». Итак, все, что следует — в логическом отношении — за «Категориями» Аристотеля: его собственная классификация предикабилией, ее развитие у Порфирия и средневековое учение о «подстановках терминов» — это последовательные этапы одного и того же общего учения о «суппозициях». И одновременно это — различные аспекты его содержания.

210

3. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКЕ.

ПЕТР ИСПАНСКИЙ И ОККАМ

Все исследователи схоластики в наши дни, желая связать ее с современной логикой или лингвистикой, вынуждены частично переводить ее положения на язык последних, а

частично подыскивать аналоги для них, всякий раз сопровождая эти переводы и аналоги оговорками о том, что дело обстоит только «по-видимому», «приблизительно», «по всей вероятности» так. Прямых аналогий почти нет.

Общая причина этого заключается в том, что между схоластикой и современной логикой существует разрыв, перерыв традиции: схоластика прекратила существование, можно даже сказать погибла, в XVII в., подобно тому как с наступлением ледниковой эпохи вымерла флора и фауна доледникового мира. Схоластическая логика не смогла перешагнуть рубеж нового времени, «поскольку она не могла найти обобщающий алгоритм, который дал бы возможность закрепить достигнутое и идти дальше» [Стяжкин 1970, 173]. А современная логика не протянула схоластам руку, она начала заново, на другом основании, во многом на основании логики Аристотеля.

Тем не менее аналогии, пусть не прямые, должны быть установлены. Собственно, это и есть задача общей теории языков — семиологии (семиотики), а следовательно, в какой-то мере и этой книги.

В схоластике по-прежнему, как и в предыдущий период, над всеми логико-лингвистическими проблемами доминирует «имя». В терминах философии имени ставятся и решаются проблемы именования, отношения имени и вещи, отношения имени и понятия о вещи, общих и индивидуальных имен, что выражают общие имена — объективные реальности или только идеи — в конечном счете все основные проблемы семантики. Что касается синтактики и синтаксиса, то эти проблемы решаются под углом зрения семантики, и ключевой термин здесь — суппозиция», подстановка имен [см. из новейших работ: History of linguistic thought... 1976, Signification et référence... 1982; Nuchelmans 1983].

К двум доминирующим чертам философии имени — к учению об имени как о Сущности и к иерархии — присоединяется третья — проблема универсалий. Все термины и все вопросы средневековой философии имени связываются в один узел в проблеме универсалий. Она была точно сформулирована в «Изагоге» Порфирия (иначе — во «Введении к Категориям финикийца Порфирия, ученика ликополитанца Плотина»). Порфирий писал: «Чтобы научиться аристотелевским категориям, необходимо знать, что такое род и что — различающий признак, что — вид, что — собственный признак и что — признак привходящий ... рассмотрение всех этих вещей

полезно и для установления определений и вообще в связи с вопросами деления (т.е. с вопросами деления понятий и с вопросами

классификаций. — Ю. С.) и доказательства... Я буду избегать говорить относительно родов и видов, — существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования» [Порфирий 1939, 53].

Работа Порфирия послужила связующим звеном между учением Аристотеля и доктринами схоластов с их «спором об универсалиях», который на протяжении веков вели целые поколения ученых. В споре схоластов утвердились три главные точки зрения: реализм — универсалии, т.е. роды и виды, существуют ante rem ‘до вещи’, как реальные сущности (realia) наподобие платоновских идей; номинализм — роды и виды существуют post rem ‘после вещи’, только как общие имена (nomina); концептуализм — роды и виды существуют in re ‘в вещи’, как сущности вещей. Сам Аристотель, колеблясь, как указал В. И. Ленин [т. 29, с. 327], между платонизмом и, в современной терминологии, материализмом, скорее всего склонялся к «концептуализму». Этот вопрос, как известно, специально исследовался [Трахтенберг 1957, 37].

В «Споре об универсалиях» отразилась в своеобразной форме борьба двух линий в философии — идеализма и материализма. Реализм был, в общем, формой идеализма. Номинализм выступал в средние века, по определению Маркса, «первым выражением материализма» [Маркс, Энгельс, т. 2, с. 142].

При этом в историческом исследовании нужно помнить также слова В. И. Ленина: «Конечно, в борьбе средневековых номиналистов и реалистов есть аналогии с борьбой материалистов и идеалистов, но и аналогии и исторически-преемственную связь можно установить еще со многими и многими теориями, вплоть не только до средних веков, но и до древности. Чтобы изучить серьезно связь хотя бы средневековых споров с историей материализма, потребовалось бы особое исследование» [Ленин, т.25, с. 37].

Здесь необходимо подчеркнуть (см. Предисловие) различие двух аспектов проблемы универсалий; мы ограничиваемся ее семиотическим аспектом, но за ним встает чисто философская проблема общего и отдельного. Для реализма характерен

отрыв общего от единичного, абсолютизация и превращение в некую «демиургическую» сущность, предшествующую единичному и творящую его, — линия объективного идеализма. Напротив, взгляд на единичное как на исходную категорию, на действительность как на совокупность единичностей, характерный для номинализма, прослеживается впоследствии в линии эмпиризма. Проблема общего и отдельного получила решение только в диалектическом материализме, который, отвергая оба идеалистических толкования общего и отдельного, исхо-

дит из признания объективности и единства общего и единичного, отдельного [ср. Философский энциклопедический словарь 1983, 447].

[Все сказанное в последних абзацах в 1985 г., году первого издания нашей работы, характеризует идеологические требования тех лет и относится скорее к истории «диалектического материализма», нежели к современной философии языка, где формируется Новый реализм. Концептуализм Аристотеля я понимаю как разновидность реализма, без всяких уничижительных эпитетов. С приведенной характеристикой номинализма, мне кажется, и теперь можно согласиться, — см. подробнее Часть III наст. книги.)]

Проблема универсалий является основой для понимания философии имени в средневековье, но одного этого основания недостаточно. Не менее важен вопрос — на первый взгляд технический — о суппозициях.

С у п п о з и ц и и. Латинский термин *suppositio* означает ‘подстановка термина’ (имеется в виду ‘подстановка в высказывание’) и является соответствием (или, быть может, даже переводом) греческого *ὑποθεσις*. Учение о суппозициях начинает развиваться после Аристотеля и приобретает центральное место в средневековой схоластической философии имени. По средневековой классификации оно относилось к *postpredicamenta* — к части логики, следующей за учением о категориях (см. гл. I, 2).

Учение о суппозициях явилось попыткой решать синтаксические проблемы при отсутствии самого понятия о синтаксическом измерении языка, на основе одной семантики. Однако это учение вряд ли можно назвать «ущербным», скорее оно свидетельствует о том, с какой большой глубиной можно проникнуть в синтаксические проблемы, исходя из семантики. По этой причине суппозиции снова оказались в сфере интересов современной лингвистики, когда она всю занялась семантикой.

Кроме того, в самом применении суппозиций следует видеть (что обычно не отмечается) начало — и даже уже довольно продвинутый этап — в развитии двух основных семиотических методов: метаописания, или метаязыка, и метода абстракции. Кратко поясним их. Пусть в распоряжении исследователя имеется некоторый язык *L*. Исследователь может рассматривать его как объект своего описания, т.е. как язык-объект, для описания которого в таком случае ему потребуется какой-то иной язык *L_M*, метаязык; здесь лежит начало метода метаописания. Но исследователь может рассматривать язык *L* и как инструмент описания, но только описания не другого какого-либо языка (в этом случае язык *L* просто стал бы метаязыком, как в уже упомянутом случае), а описания какой-либо системы ценностей, не находивших до сих пор выражения ни в каком языке. Последняя становится в таком случае как бы новой семантикой языка *L*, а сам он, абстрагируясь от своей прежней семантики, становится способом выражения нового содержания. Здесь лежит начало другого семио-

тического метода — метода абстракции, который, следовательно, не совпадает с понятием абстракции в обычном логическом смысле слова. На основе семиотического метода абстракции устанавливаются многие положения теоретической семиотики [см.: Степанов 1981, 21, 27; 1971, 91—101]; при формализации он выступает в виде эпитетории, противопоставляемой метатеории [см.: Карри 1969, 102, 186]. Простым примером метода абстракции является стилистика — использование данного языка для выражения таких нюансов содержания, которые его семантикой не предусмотрены заранее.

Первоначально оба семиотических метода возникли почти одновременно, потому что изложение суппозиций уже в ранней схоластике обычно сопровождалось обсуждением реальности родов и видов, а это не что иное, как проблемы «реализма» и «номинализма», и они относятся с современной точки зрения к «металогике» и «метаязыку». Термин «металогика», по аналогии с которым позднее был создан термин «метаязык», действительно, впервые был употреблен в связи с обсуждением этих проблем Иоанном [Джоном] из Солсбери в 1159 г. в его труде, названном по-гречески «*Metalogicon*» (лат. «*Metalogicus*»).

Чтобы охватить учение о суппозициях в некоторой его динамике, мы рассмотрим две его разновидности: более раннюю, принадлежащую Петру Испанскому и

изложенную в его «Summulae logicales» [цит. по изд.: Владиславлев 1881, Прил.; Ducrot 1976, 195 и след.] и более позднюю, принадлежащую У. Оккаму и изложенную в его «Summa totius logicae» [цит. по изд.: Ockham 1957; некоторые фрагменты см.: Антология мировой философии 1969, I (2); Teodoro de Andrés 1969]. Одновременно это — две концепции в двух разных философских традициях.

Петр Испанский продолжал учение Аристотеля как последователь Аверроэса, в вопросе об универсалиях и категориях он был, в общем умеренным реалистом, в некоторых отношениях он близок к византийской традиции: по-видимому, в наши дни еще не закончилась столетняя дискуссия о том, является ли «Суммула» Петра Испанского тем оригиналом, с которого сделан византийский перевод — «Синописис», приписываемый Михаилу Пселлу (1018—ок. 1078 или ок. 1096), или, напротив, «Синописис» Пселла послужил источником для Петра Испанского.

У. Оккам — последний крупнейший представитель номинализма и первый представитель англосаксонской традиции «лингвистической философии», впоследствии отмеченной такими именами, как Локк, Милль, Рассел, Айер и др.

В плане техники изложения у обоих авторов много общего: оба излагают суппозиции в дихотомической форме, следуя образцу Порфирия. Естественнее всего было бы представить для наглядности каждую из двух систем в виде «дерева», но это трудно по чисто техническим причинам, и нам придется излагать «деревья» в словесной форме (чита-

тель может для удобства рисовать дихотомическое дерево сверху вниз, начиная от термина «суппозиция»).

У Петра Испанского стоящая в вершине дерева 1. Суппозиция (suppositio) делится на две ветви: 1.1. суппозиция дискретная (discreta) и 1.2. суппозиция общая (communis); под первой он понимает способ (модус) подстановки собственного имени, например *Платон*; под второй — способ подстановки общего имени. 1.2. Суппозиция общая делится на: 1.2.1. естественную (naturalis) и 1.2.2. акцидентную (accidentalis), т.е. «привходящую» или «случайную»; под первой понимается подстановка общего имени вне контекста, например *человек*; под второй — подстановка общего в контексте. 1.2.2. Суппозиция общая акцидентная делится на: 1.2.2.1. простую (simplex) и 1.2.2.2. персональную (personalis); под первой понимается подстановка имени вместо его

означаемого, например «*Человек* есть вид», «*Всякий человек* есть животное» (подставляемые термины выделены курсивом); под второй понимается подстановка имени по крайней мере вместо некоторых существ, обладающих той природой, которая обозначена (сигнифицирована) именем. 1.2.2.2. Суппозиция общая акцидентная персональная делится на: 1.2.2.2.1. смешанную (confusa) и 1.2.2.2.2. определенную (determinata); под первой понимается тот случай, когда подстановка образует предложение, истинное по отношению ко всем существам, вместо которых подставлено имя, например «*Всякий человек* есть *животное*»; под второй имеется в виду такой случай, когда подстановка образует предложение, истинное по отношению по крайней мере к одному из существ, вместо которых подставлено имя, например «*Некоторый человек* смертен».

Дальнейшие трактаты Петра Испанского (с 8-го по 12-й) касаются различных, зачастую весьма важных, деталей суппозиций, некоторые из них являются аналогами таких существенных вопросов, как квантификация (в 12-м трактате — distributio) [см.: Владиславлев 1881, Прил., с. 95].

У Оккама дерево существенно иное. 1. Суппозиция делится на три ветви: 1.1. суппозиция материальная (materialis), 1.2. простая (simplex), 1.3. персональная (personalis). Под первой понимается, выражаясь современно, подстановка термина как имени его самого. Оккам говорит, что это подстановка термина не вместо того, что он означает, а вместо него как письменного или звукового знака. Под простой суппозицией Оккам понимает подстановку термина вместо его мысленного содержания — pro intentione animae; поскольку здесь он употребляет термин «интенция ума», то этот модус значения вполне можно сопоставить с «интенциональным усмотрением» в феноменологии Гуссерля (см. гл. V, 2); примером служит все то же предложение — «Человек есть вид» (суппозиция относится к «человек»). Поскольку Оккам номиналист, то интересно его понимание этого модуса: точнее, говорит он, здесь термин «человек» не означает своего мысленного содержания, а это мысленное

содержание и его звуковой знак — и то, и другое — знаки, означающие одну и ту же вещь, причем последний подчинен первому.

1.3. Персональная суппозиция — это тот случай, когда термин стоит вместо объекта, который он означает, независимо от того, является ли последний вещью вне

ума, звуком голоса или мысленным концептом; примеры — «Каждый человек — животное», «Каждое звуковое имя — часть речи», «Каждый вид — универсалия» и т.п. Персональная суппозиция делится на: 1.3.1. дискретную (*discreta*) и 1.3.2. общую (<*communis*); под первой понимается суппозиция, принадлежащая собственному имени индивида или указательному местоимению, взятому в качестве указания на конкретный индивид, например «Сократ — человек», «Это — человек». Оккам делает важное разъяснение: предложение «Это растение растет в моем саду» (1) ложно, и субъект не имеет здесь дискретной суппозиции, это становится ясным при сравнении с предложением «Одно растение (один экземпляр) этого вида (рода) растет в моем саду» (2), которое истинно и в котором суппозиция субъекта — дискретная суппозиция.

Отсюда Оккам делает вывод, который можно рассматривать как хороший аналог современного понятия «глубинная структура» в лингвистике и, нам кажется, как аналог понятия «пропозиция», отделенного от понятия пропозициональной установки, т.е. от модальности, выражения мнения и т.п. (ср. гл. V, 2,3). Он говорит: «Отсюда необходимо заметить, что когда предложение, которое является в его данном виде ложным (1), имеет тем не менее и какой-то истинный смысл (2), то тогда, если взять его в этом истинном смысле, его субъект и предикат должны подпадать под ту же самую суппозицию, что и в предложении, которое является истинным само по себе» (т.е. здесь — 2) [Ockham 1957, 71]. Иными словами, в приведенном примере предложение (2) является с современной точки зрения глубинной структурой предложения (1), содержащейся в нем чистой «пропозицией».

Сказанное здесь Оккамом является также ядром более широкого и общепринятого у схоластов (и вплоть до логики Пор-Рояля в XVII в.) понятия «экспонибилия» (*exponibilia*) — так называли те предложения, которые являются по существу сложными, но, поскольку их сложный состав не выражен во внешней форме, требуют анализа, «развертывания», «экспозиции» — отсюда и сам термин.

1.3.2. Суппозиция персональная общая (*communis*) делится на: 1.3.2.1. определенную (*determinata*) и 1.3.2.2. смешанную (*confusa*). Под первой понимается такая суппозиция, когда можно совершить нисхождение вплоть до индивидов (*ad singularia*) посредством дизъюнкции, как в правильном выводе, например: «*Homo currit, igitur iste homo currit, vel ille*» — здесь при переводе как на английский, так и на русский

язык возникают трудности, хотя и разного рода, объясняющиеся особенностями латинского языка, на котором, как обычно, написаны трактаты Оккама: ла-

тинский язык не имеет артикля (в отличие от английского), и общее имя, в данном случае *homo*, воспринимается в неопределенном смысле (в отличие от русского, где оно в подобных случаях воспринимается, скорее, как общее — «человек вообще»), ближе всего к латинскому будет такой перевод: ‘Некий человек бегаёт, следовательно, этот человек бегаёт или тот человек бегаёт’, но по-латыни «человек» в первой позиции сохраняет при неопределенном значении и общее значение. Для истинности этого предложения, замечает Оккам, достаточно того, чтобы какая-либо определенная единичная суппозиция была истинной («тот бегаёт», «этот бегаёт»), хотя бы все остальные были ложными. В этом пункте Оккам развивает свою теорию логического вывода.

1.3.2.2. Суппозиция персональная общая смешанная — это всякая персональная подстановка общего имени, которая не является определенной (*determinata*), т.е. определяется относительно последней как «немаркированный», беспризнаковый член противопоставления. Она делится на: 1.3.2.2.1. просто смешанную (*confusa tantum*) и на 1.3.2.2.2. смешанную и дистрибутивную (*confusa distributiva*), а последняя делится на: 1.3.2.2.2.1. смешанную дистрибутивную неподвижную (*immobilis*) и 1.3.2.2.2.2. подвижную (*mobilis*). Под первой понимается тот случай, когда можно совершить логическое нисхождение вплоть до индивидов без какой-либо замены частей предложения, под второй — тот случай, когда для такой операции необходима замена частей исходного предложения. (Мы видим, что это еще одна разновидность общего понятия «экспонибилия».) Пример Оккама на этот последний тип суппозиции таков: дано предложение «Каждый человек, кроме Сократа, бегаёт» — нисхождение, до индивидов совершается в такой форме: «Платон бегаёт, Ксенофонт бегаёт... и т.д. для каждого человека, не являющегося Сократом»; однако в последнем, единичном, предложении по сравнению с исходным, универсальным нечто опущено, а именно: опущено выражение, означающее исключение, вместе с термином, который этим выражением исключается. Нетрудно видеть в этих рассуждениях Оккама зародыш будущих лингво-логических построений Рассела — дескрипций, поисков референта и т.д.

Если оставить в стороне технику изложения, то по существу между суппозициями Петра Испанского и Оккама имеется очень значительное различие. Во-первых, бросается в глаза, что у Оккама отсутствует второй ярус иерархии, имеющийся в системе Петра Испанского, — разделение общих суппозиций на «естественные» и «привходящие», или «акцидентные». Это противопоставление у Петра Испанского называется латинскими терминами *naturalis — accidentalis*, которым в «Синописе» Пселла соответствуют термины *φυσική — κατά συμβεβηκόσ*; последний термин — тот же самый, которым в трудах Аристотеля называется привходящий признак (см. выше). Дело в том, что Петр Испанский, как и

— 217 —

Пселл, принимает положение Аристотеля о реальной наличности родов в природе (*φυσική, naturalis*), о родах как непосредственных выявлениях Сущностей и о приводящих признаках, более или менее случайных для выявления Сущностей.

Для номиналиста Оккама это разделение, конечно, совершенно несущественно, и он отбрасывает весь этот ярус иерархии. «Реальное существование, согласно Оккаму, — замечает В. В. Соколов, — принадлежит только единичным субстанциям, обладающим теми или иными качествами, а все остальные аристотелевские категории не имеют никакого соответствия в самой действительности» [Соколов, Стяжкин 1967]. Почти все 10 Категорий Аристотеля (кроме Отношения) Оккам стремится свести к одной — к Субстанции, причем понимая ее только как «первую сущность» — субстанцию, соответствующую единичным вещам. Так, например, о Действии (*actio*) он пишет: «*Nos nomen actio supponit pro ipso agente, ita ut haec sit vera: 'actio est agens', vel... talis propositio est resolvenda in aliam propositionem, in qua ponitur verbum sine nomine tali, ut ista: 'actio agentis est' aequivalet isti: 'agens agit' (Summ. log., I, cap. 57) — «Это имя *действие* подставляется вместо самого агенса, так что истинной является пропозиция 'действие есть агенс', или... такая пропозиция распадается [преобразуясь] в другую пропозицию, в которой появляется глагол без такого имени, так [например] следующая: 'действие принадлежит агенсу' эквивалентна такой 'агенс действует' Аристотелевские Категории, кроме «первой сущности» и Отношения (*Relatio*), оказываются для Оккама знаками операций ума, или, сказали бы лингвисты теперь, символами лингвистических трансформаций. Некоторые исследователи в последнее время вообще рассматривают Оккама как «философа языка» [см., например: Teodoro de Andrés 1969, 58, 70; ср.,*

однако: Стяжкин, Курантов 1978]. Но указанное различие выражает не столько динамику развития учения о суппозициях, сколько стабильное, почти вневременное различие двух систем взглядов.

О динамике учения говорит, скорее, передвижение признаков иерархии. У Петра Испанского на первый ярус иерархии выдвинуто противопоставление «дискретной» суппозиции, т.е. подстановки собственного имени, суппозиции «общей», т.е. подстановки общего/нарицательного имени; все остальное в системе Петра Испанского гласит только о подстановках общих имен. Это положение соответствует, по-видимому, тому, что в системе Аристотеля различаются первые сущности, в обыденном языке выражающиеся обычно собственными именами, и вторые сущности, выражающиеся общими именами. Но в системе суппозиций имеется и другое название для аналогов собственного имени — «персональная суппозиция», означающая именование в контексте предложения любых индивидов, как людей, так и вещей, как в единственном, так и во множественном числе. У Петра Испанского она играет подчиненную роль, занимая место в третьем ярусе иерархии.

— 218 —

Напротив, у Оккама именно этот тип суппозиций выдвигается на первый ярус и, собственно, служит самой начальной точкой отсчета при классификации суппозиций. В этом действительно можно видеть существенное развитие учения: Оккам осознает именование индивидов (каковы бы ни были эти индивиды — люди или вещи) как наиболее общий случай, в то время как именование людей посредством их личных имен, имен собственных, действительно лишь специальный частный случай. Далее Оккам прозорливо различает два основных вида такой «персональной суппозиции»: именование индивидов посредством имен собственных или посредством указательных местоимений («дискретная суппозиция») и именование посредством общих имен. Описание последнего, естественно, не может быть исчерпывающим, если сказать о нем только то, что оно использует общее имя (так как общее имя само по себе и именуется лишь общее неопределенный предмет), поэтому эта рубрика требует подразделения; оно производится в следующем ярусе иерархии. В нем Оккам противопоставляет «определенную, детерминированную» суппозицию общего имени суппозиции «смешанной», и все дальнейшее подразделение последней — это по существу вполне

современное учение о способах именовании индивидуальных объектов в предложении различными способами.

Итак, для Оккама профилирующая линия в классификации суппозиций — это последовательное уточнение именовании индивидов в рамках предложения (пропозиции), т.е., можно сказать, в современных терминах — проблемы референции и дескрипций.

Для Петра Испанского профилирующая линия иная — противопоставление подстановок «естественного», т.е. сущностного, характера, с одной стороны, и характера акцидентного — с другой; противопоставление подстановок для референции к индивидам (у него — «персональная суппозиция»), с одной стороны, и подстановок вместо смысла, обозначаемого, сигнифицируемого (у него — «простая суппозиция») — с другой. У Оккама последнее различие заранее оговорено и вынесено за рамки собственно классификации (отчего и получилось не дихотомическое, а тройное разделение первого яруса), а у Петра Испанского оно вклинивается в самую суть классификации на разных ее ярусах.

Классификация суппозиций Петра Испанского близка к самой сути учения Аристотеля о категориях, как оно выражено в духе «первой линии» в трактате «Категории». Суппозиции у Оккама, напротив, продолжают, скорее, «вторую линию», линию «Метафизики», сильно видоизменяют ее и открывают по существу новую эпоху лингвистической философии анализа, парадигму философии предиката.

4. «ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ» НА РУБЕЖЕ СХОЛАСТИКИ И ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ

В новом советском издании сочинений Николая Кузанского справедливо отмечено, что его философские идеи — принцип совпадения противоположностей, единства всего существующего, связи всего со всем, диалектики познания, — «представляют не только исторический интерес, они могут дать импульс не одному поколению философов-материалистов к разработке сложных проблем бытия и познания» [Николай Кузанский 1979, 45]. Вместе с тем Николай Кузанский, прямой продолжатель неоплатонических идей, преломленных через мистицизм И. Экхарта (ок. 1260—1327/28), — фигура противоречивая [см.: Соколов 1974; Чуева 1963, 71].

В сфере философии имени Николай Кузанский развивает две ее основные линии: 1) учение об имени как учение о сущности, 2) идеи иерархии. Как общее основание этой философии языка они освещаются в разных местах нашей книги (см. также в связи с А. Ф. Лосевым ниже); здесь мы скажем лишь о том, что нового у этого философа сравнительно со схоластами и в чем он предвосхищает философию языка новейшего времени.

В вершине иерархии сущностей Николай Кузанский полагает «максимум» (в котором можно видеть зародыш будущей гегелевской «идеи в себе», до ее «инобытия»). «Если максимум есть тот максимум просто, которому ничто не противостоит, то ясно, что ему не может подходить никакое собственное имя; ведь все имена налагаются, исходя из некоторой неповторимости смысла, благодаря которому одно отличается от другого, а там, где все вещи суть единое, никакое собственное имя невозможно. Гермес Тризмегист справедливо говорит: «Поскольку бог есть всеобщность вещей, ни одно имя не есть его имя собственное, иначе или бога пришлось бы называть всеми именами, или все называть его именем»... Так же и мы находили выше, что максимальное единство — то же самое, что все в единстве. Но еще более точным и уместным именем, чем «все в единстве», представляется «единство», недаром пророк говорит: тот день будет Господь един, и имя его — единое» («Об ученом незнании» I, 74—75 [Николай Кузанский 1979, 88; далее указываются страницы этого тома]. Не лучше ли было бы здесь в соответствии с русской философской традицией перевести «Единое»?». Эти положения предвосхищают один из тезисов Спинозы (см. гл. II, 2) и параллельный тезис А. Ф. Лосева (см. ниже). Но тот и другой развивают тезис Николая Кузанского в двух разных направлениях: Спиноза — по линии пантеизма и философии предиката, Лосев — по линии философии имени.

На этом основании Николай Кузанский излагает далее мысль, которую следует признать одной из самых актуальных для современной

семантики, — идею «неконтрастной теории значения». Он говорит: «С другой стороны, единство есть имя бога не в том смысле, в каком мы обычно именуем или понимаем единство, потому что как бог превосходит всякое понимание, так тем более он превосходит всякое имя. Имена налагаются сообразно нашему различению вещей движением рассудка, который много ниже интеллектуального понимания; рассудок не в

силах выйти за пределы противоположностей, и нет имени, которому в его движении не противопоставилось бы другое. Соответственно, единству в движении рассудка противоположно множество, или многочисленность. Богу подходит не это единство, а такое, которому не противоположны ни различие, ни множество, ни многочисленность. Такое единство и будет его максимальным именем, свертывающим все в простоте своего единства» [там же, с. 88—89].

В этом рассуждении Николая Кузанского очень важны три момента. Во-первых, источник. Основой всего рассуждения явно служит какая-то идея о «двух способах» именовании — земном (человеческом) и божественном. Нам кажется, источник ее надо видеть в древнейших мифах о происхождении языка. (Мы пользуемся здесь обзором, составленным Б. В. Якушиным [1984].) Согласно древнеиндийскому мифу, изложенному по частям в разных местах Ригведы, бог стал первым «установителем имен» (*namadhan-*, с этим термином можно сравнить др.-греч. *ὀνοματοθέτης*), но он ограничился тем, что дал имена младшим богам; начало же человеческой речи положили люди — первые великие мудрецы, которые занялись этим делом под покровительством Брхаспати, бога красноречия и поэзии. Но это отдаленная параллель.

Ближайшим источником послужила, вероятно, библейская традиция. Согласно Библии, «вначале было Слово» — акт созидания мира начинается божественным словом (ср. греческий Логос). Дальше библейский миф очень похож на древнеиндийский: создавая мир, бог выступает одновременно и как установитель имен. Но, опять-таки сходно с индийским мифом, он ограничил эту свою деятельность первыми тремя днями творения: в первый день был отделен свет от тьмы, и бог назвал свет днем, а тьму ночью; во второй день он создал твердь и назвал ее небом; в третий день — сушу и «собрание вод», назвав первое землей, а второе морем. Когда же творец перешел к созданию тварей — животных и растений, то он поручил именование Адаму, к которому привел всех животных полевых и птиц небесных (о растениях дальше не говорится), «чтобы видеть, как он назовет их», и «нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Библия, ст. 20).

Библейское предание приобретает новый вид у Ансельма Кентерберийского (1033—1109): божественное слово есть воплощение всепостигающего разума, созидающее сущности вещей, но, поскольку это сущности, созидаемые вещи не похожи на созидающие слова. Речь же самих

созданных тварей, людей, — нечто иное, она лишена всех качеств божественного слова.

Примерно таков идейный контекст рассуждения и у Николая Кузанского. Далее, на этой основе философ различает два слова (имени) «единство»: одно — слово обычного языка, можно даже сказать всякого языка, Языка вообще; как таковое оно противопоставлено другим словам — «множество», «многое». Здесь прежде всего Николай Кузанский формулирует принцип, согласно которому значения слов в языке мыслятся лишь в противопоставлении одно другому, оппозитивно. Это начало оппозитивной, или контрастной, теории значения, основной принцип которой («в языке нет ничего, кроме различий») был гипертрофирован Ф. де Соссюром и которая признавалась единственно возможной во всех направлениях структурализма.

Но мысль Николая Кузанского идет дальше: он рассматривает имя бога (второе имя «единство») как категорию, которая, как категория, не вступает ни в какие отношения оппозиции или контраста с другими сущностями и их именами. И вместе с тем это — семантическая категория. Таким образом, развертывая учение об имени бога, философ одновременно закладывает здесь основания иной, неконтрастной теории значения (см. далее ч. III, гл. II, 1).

Эта теория стала «черным животным» всех сторонников логического позитивизма, Рассела и философов «лингвистического анализа» в середине нашего века. На борьбу с ней они затратили много теоретических усилий и много желчи. Неконтрастные термины, а следовательно, и категории, и понятия «бытие вообще», «существование вообще» представители логического позитивизма отнесли к — по их мнению — «запрещенным уровням абстракции». Николай Кузанский, естественно, не признает никаких запретов на уровни абстрагирования.

В другом месте он весьма тонко и лингвистически обоснованно продолжает деление двух уровней абстракции в форме диалога:

Язычник. Не именуете ли вы бога — богом?

Христианин. Именуем.

Язычник. Истину вы при этом говорите или ложь?

Христианин. Ни то, ни другое, ни то и другое. Не истинно сказать, что это его имя, но и не ложно, потому что не ложно то, что есть его имя...

Язычник. Почему вы называете богом того, чье имя не знаете?

Христианин. Из-за подобия ему означаемого этим именем совершенства... Бог в нашей области — как видение в области цвета... От видения зависит всякое наименование в области цвета, но имя самого видения, от которого всякое имя, оказывается скорее никаким, чем каким-то. Вот, бог относится ко всему, как видение к видимым вещам

[Николай Кузанский 1979, 287] (см. аналогию со светом в гл. I, 5).

—222—

У этого рассуждения есть, кроме того, и социальное и лингвистическое основание — языковое табу, запрет именования. Во многих языках имена предков, начальников родов, душ умерших, зверей — предметов охоты и т.п. предполагаются как бы известными, но запрещенными к упоминанию; вместо запрещенного имени сущности следует произносить подставное — временное, случайное. «Подлинное» имя может быть с течением времени забыто, и тогда подставное имя навсегда остается в языке. Русское слово *медведь* букв. ‘*меду-ед, едящий мед*’ — такое подставное имя, табу, вместо какого-то иного, полностью забытого; возможно, что им было какое-то имя, родственное лат. *ursus*, др.-инд. *rksah*, др.-греч. *ἄρκτος*, которые все восходят к одному и тому же индоевропейскому корню и обозначают одно и то же животное.

Нам кажется, у Николая Кузанского формируется, но не формулируется следующее общее положение философии имени (оно станет потом основанием символизма, в частности поэтики русского символизма): Имя — подлинное имя — всегда одно по отношению к сущности вещи; оно выражает сущность, оно — Имя Сущности; но в конкретных языках и в еще более частных случаях отдельных словоупотреблений в них вместо этого Имени является множество более или менее случайных наименований; задача философа (и поэта) имени — через случайность и множественность именовании проникнуть к Имени и тем самым к Сущности.

Наше толкование может показаться слишком уж определенным. Но приведем в доказательство следующее место («Простец об уме», 58): «Если более тщательно рассматривать вопрос о значении этого наименования (*vocabuli*), то я полагаю, что таящаяся в нас способность заключать в понятиях первообразы всех вещей, называемая мною умом, вообще не может получить соответствующего имени (это к тому же идея метаязыка и метаимени, сходная с отношением видения к видимым цветам, о чем шла речь выше; метаимя не может быть именем языка-объекта. — *Ю. С.*). Как человеческий

рассудок не достигает сущности божиих творений, так не достигает ее и имя. Ведь наименования даются в результате движения рассудка. Именно на определенном основании мы называем одну вещь одним именем и ту же вещь на другом основании — другим; и в одном языке есть наименования, соответствующие предмету, в другом — более грубые и более отдаленные. Отсюда я усматриваю, что если соответствие наименования предмету может быть большим и меньшим, *точного наименования мы не знаем*» (перевод А. Ф. Лосева; курсив наш. — *Ю. С.*).

Далее Простец (а это сам автор) продолжает: «Поэтому, если погибнет человечество, человечность в качестве видового понятия, подлежащего наименованию (обозначим ее «человечность₁», как выше «единство₁». — *Ю. С.*), и в качестве сущности только для рассудка, которую рассудок обретает на основании сходства людей, перестает существо-

—223—

вать: ведь она зависела от человечества, которого нет. Однако из-за этого не перестанет быть человечность (обозначим ее как «человечность₂», подобно тому как выше «единство₂». — *Ю. С.*), через которую появилось само человечество. Эта человечность не подлежит наименованию как видовое понятие, то есть поскольку наименования даются в результате движения рассудка. Но она есть истина того, подлежащего наименованию, видового понятия. Поэтому, хотя отображение истины разрушено, истина остается у себя. И все, думающие так, отрицают, что вещь есть только то, что подлежит наименованию» [Николай Кузанский 1979, 393]. (См. выше в этой гл., разд. 1)

Мы уже отмечали (см. гл. I, 1) и увидим ниже (в связи с концепцией Рассела), как «философы предиката» настойчиво отрицают это положение философии имени: для них вещь есть лишь то, что подлежит именованию, то, что именуется языком как вещь или выступает в предложении как терм.

Напротив, эта мысль возрождается в современных семантических концепциях, связанных с интенциональной и модальной логикой, — таких, как «грамматика Монтегю» (о них будет речь ниже). Р. Монтегю идет даже так далеко, что утверждает: если грамматика, т.е. семантика и синтаксис, английского языка такова, как он, Монтегю, ее в еврей концепции представляет, то ни один носитель английского языка в принципе не может знать значений слов английского языка (т.е., если воспользоваться предыдущим примером, слов типа «человечности») [см.: Холл Парти 1983, 285].

Подобная концепция языка (а она же, в соответствии с первым положением философии имени, — и концепция сущности, и концепция бога) естественно влечет Николая Кузанского к «отрицательному богословию», к апофатике, т.е. к богословию, не изрекаемому в определениях. Непосредственным образом Николай Кузанский воспринял идею отрицательного, или апофатического, богословия от Экхарта. Но ее дальним источником является ранняя христианская патристика. Наиболее полное первое обоснование ее находят в анонимном трактате «Ареопагитики», написанном на греческом языке во второй половине V в. О боге там, в частности, сказано: «И вот, поняв это, богословы восхваляют его как безымянного и в то же время как носителя всякого имени» [Антология мировой философии 1969, I (2), 612]. (В настоящее время, в 1997 г., эту тему следует рассматривать в более широкой перспективе исихазма, в свете возрождения интереса к патристике Восточной церкви и ее новейших исследований, см. [Хоружий 1995; Сидоров 1996]. Но мы здесь вынуждены ограничиться своей ранее намеченной, более узкой темой.)

Следующее высказывание «Ареопагитик» могло бы до некоторой степени разрешить спор между сторонниками и противниками «неконтрастной теории значения»: «Теперь нам следует перейти к подлинной

—224—

сущности богословского наименования действительно сущего... Имя сущего распространяется на все существующее, но и превосходит его; имя жизни — на все живое, превосходя его; имя же премудрости — на все мыслящее, словесное и чувствующее и вместе с тем превышает все этого» [там же, с. 616]. У этого рассуждения «Ареопагитик» есть подлинное языковое основание: имя класса имен в некотором смысле не принадлежит к тому же языку, что имена, входящие в класс; это одно из неясных оснований «дерева Порфирия» [см.: Степанов 1981, 74, 336].

Апофатика в связи с символизмом стала краеугольным камнем к «философии имени» Лосева. Николай Кузанский в той же мере предшественник Лосева, в какой сам — наследник Платона и в определенном отношении Аристотеля. Поэтому резюме систем обоих великих греков, данное Николаем Кузанским, проясняет сущность его собственной системы и для нас служит введением к «философии имени» Лосева. Вот это резюме:

«Платон, взирая на образ создателя, наиболее совершенно присутствующий [именно] в способности умопостижения (в которой ум уподобляет себя божественной простоте), ее и положил начальным элементом и субстанцией ума, которая, по его утверждению, остается после смерти. Эта субстанция в порядке природы предшествует разумному познанию, но вырождается в последнее, когда отклоняется от божественной простоты, в которой все едино: и она хочет все созерцать в себе, как всякая вещь имеет бытие особенное и отличное от другого. Затем ум вырождается еще более, когда в движении рассудка он воспринимает вещи не в себе, но так, как форма существует в изменчивой материи, где ум не может достигать истины, но обращается к образу (учение об образе как символе — одно из оснований концепции Лосева. — Ю. С.). Напротив, Аристотель, который все рассматривал в качестве подпадающего именованию, каковое налагается в результате движения рассудка, делает начальным элементом рассудок и, вероятно, утверждает, что рассудок через науку, возникающую при помощи слов, восходит к разумному познанию, а затем к наивысшей ступени — к умопостижению. Поэтому он и полагает рассудок начальным элементом при восхождении к интеллекту; Платон же полагает умопостижение начальным элементом ее нисхождения. Таким образом, между ними не оказывается разницы, разве что в способе рассмотрения» (Простец об уме, 152—3; перевод А. Ф. Лосева) [Николай Кузанский 1979, 439—440].

Мы видим также в этом рассуждении отдаленный прообраз диалектики Гегеля. К одному тезису Николая Кузанского мы еще вернемся в связи с А. Ф. Лосевым.

—225—

5. «ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ» А. Ф. ЛОСЕВА

Учение Алексея Федоровича Лосева (1893 — 1988), если рассматривать его с точки зрения проблематики нашей книги, является семантическим учением об имени и охватывает все главные семантические назначения имени — от именованной вещи, через сигнификацию «эйдоса», «идеи» и «логоса» (понятия), вплоть до слова как формы символа и мифа. В этом смысле у Лосева идет речь о слове вообще, но, конечно, имеется в виду прежде всего имя («слово» и «имя» в основной части его концепции — синонимы). Предикаты и эгоцентрические слова, тяготеющие совсем к другим типам философии языка, у Лосева специально не рассматриваются и даже не попадают в поле его зрения.

Нужно очень ясно представить себе положение концепции А. Ф. Лосева в контексте философских идей. Иногда считают, что А. Ф. Лосев создал одну из самых оригинальных философских концепций XX в., соединив некоторые положения феноменологии, близкие к концепции Гуссерля первого периода, с диалектикой. Вернее, однако, будет охарактеризовать концепцию А. Ф. Лосева словами современного советского историка философии: «Конечно, в 20-х гг. философия А. Ф. Лосева носила идеалистический характер. Но было бы несправедливо приписывать ему такой идеализм, который не имеет ровно никакого отношения к материализму. В этот ранний период своего философского творчества А. Ф. Лосев скорее колебался между материализмом и идеализмом... Идею как модель для чувственной материи и как руководство к практическому действию, и человеческому, и космическому, А. Ф. Лосев впервые позаимствовал из античной космологической диалектики и из общеантичной тенденции к стихийному материализму. Решающую роль здесь сыграло приобщение в конце 20-х — начале 30-х гг. к марксизму-ленинизму, углубившее и расширившее диапазон материалистической трактовки идеи и поставившее А. Ф. Лосева на путь социально-исторического завершения философской системы» [Джохадзе 1983, 15—16]. Сам А. Ф. Лосев говорит: «Я хотел... дать очерк диалектической феноменологии мысли» [Лосев 1927а, 31; далее цитируются страницы этого издания].

Естественно, что «Философия имени» (первый вариант названия — «Диалектика имени») — основной труд А. Ф. Лосева, завершенный в 1923 г. (издан в 1927 г.), — по самому существу дела стала и «философией сущности» и основной частью философии вообще. «Почему все это является логикой имени, учением об имени, философией имени? О сущности мы ведь говорим не менее, чем об имени. Почему наше исследование мы не назвали философией или логикой сущности? Далее, не менее мы говорим о материи, о меоне. Почему бы нам не назвать наш анализ философией меона?» (с. 178). (Меон — от др.-греч. μῆν ὄν букв. 'не сущее'.)

Ответ на этот вопрос — резюме всей лосевской системы: «Возьмем диалектику сущности. Мы видели, что она имеет определенную диалектическую судьбу. Она сначала — число, и это есть первичное и наиболее общее определение сущности. («Сущность есть: 1) *одно*, единичность, стоящее выше определения и в этом смысле *сверхсущее*...» [Лосев 1927а, 107]) Можно, конечно, писать специально логику числа, но

эта логика числа, разумеется, не может быть равносильна логике сущности вообще. Далее, сущность есть эйдос. И это определение — не полное. Только в символическом и магическом мифе, как мы видели, сущность достигает своего полного определения. Но это как раз и есть имя. Что же лучше теперь: сказать ли, что мы занимались логикой сущности или логикой имени? Второе определение, конечно, гораздо богаче и полнее... Диалектически вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми ее подчиненными моментами. Но спросят: почему вы останавливаетесь на имени? Действительно, имя переходит дальше, становится инобытийным ... (Этот термин Лосева понятен в связи с известным гегелевским термином «инобытные идеи») Имя есть высшая точка, до которой дорастает первая сущность — с тем, чтобы далее ринуться с этой высоты в бездну инобытия» (с. 180).

И естественно тогда, что «... философия имени есть самая центральная и основная часть философии вообще (и не только философии!), и настоящий труд с тем же успехом можно было бы назвать «введением в философию» или «очерком системы философии». Я же скажу больше. Имя — как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще — есть также и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни, не только философии» (с. 181).

В первой части книги (I. Допредметная структура имени) Лосев рассматривает моменты сущности диалектически и динамически, как «порождение» (за 40 лет до «генеративизма» XX в.! Но сходно с «генеративизмом» Шеллинга 1800 г. и Гегеля): «Надо одну категорию объяснить другой категорией, так, чтобы видно было, как одна категория порождает другую и все вместе — друг друга, не натуралистически, конечно, порождает, но эйдетически, категориально, оставаясь в сфере смысла же» (с. 8). Это радикально разделяет его и Гуссерля.

Чтобы дальнейшее было понятным, надо иметь в виду, что для Лосева «только смысл есть бытие, а «иное» — не бытие» (с. 96); «иное» — это «не-сущее», меон (греч. «не-сущее») или, «выражаясь более грубым, хотя и более обычным языком, — материя» (с. 59).

Вначале существует только «смысл» и больше ничего. Смысл, противопоставляясь «иному», которое есть инобытие, граница и очертание смысла, получает инобытие, которое проходит различные ступени, а меон, соответственно этим ступеням, получает осмысление и одновременно

бытие. Этот процесс, знакомый нам по трудам Шеллинга и Гегеля, у Лосева есть не что иное, как иерархия смысла и бытия — обычная категория в учениях о сущности и в философии имени.

Все эти ступени иерархии, как у Платона от Единого, через Ум и Душу, к Космосу, — разные ступени слова, имени. На первой ступени оно — неживая вещь, на второй — органическое начало, растение, затем животное; далее — «умное имя» как сознание человека и, наконец, «сверхумное имя» как само себя создающее. «Между началом и концом — «нормально-человеческое» слово, которое, будучи разумной идеей, обрастает своими собственными меональными качествами, заимствованными из разных диалектических стадий имени вообще, как, например, звуковым телом, значением *hic et nunc* (здесь и теперь. — Ю. С.) и теми или иными психологическими вариациями. Все эти стадии, или ступени, — образы взаимоопределения смысла, или сущности, и «иного» (с. 96).

Но эти же ступени можно рассмотреть и статически, предметно, как «отложения» в смысловой структуре имени. Эта идея Лосева несколько напоминает понятие «осадка» (*sédimentation*) в системе М. Мерло-Понти (см. гл. V, 2), предвосхищает последнее. У Лосева этому вопросу посвящена вторая часть книги (Предметная структура имени). Здесь рассматриваются пять ступеней, или форм, «эйдетической предметности имени»: 1) схема (ср. современное понятие «структура слова»), 2) топое, или морфе (ср. корень, аффиксы слова), 3) эйдос в узком смысле, 4) символ, 5) миф. Эйдос здесь — полное смысловое единство слова, рассматриваемое в нем самом. Символ — отражение инобытия смысла в эйдосе. О мифе ниже будет сказано особо.

В заключение вводится понятие логоса, в сравнении с эйдосом. Если эйдос — живая данность смысла, то логос — это сущность самого эйдоса, его абстракция, понятие, совокупность перечислимых признаков, структура и метод подхода к сущности. «Эйдос имеет свою собственную логику, а именно диалектику» (с. 124), а «логика логоса» — это просто логика.

Последняя часть книги (Имя и знание) посвящена логосам и логикам разных дисциплин — эстетике, грамматике, мифологии и др.

Отметим в «Философии имени» еще некоторые моменты, которые (кроме уже названного понятия иерархии) связывают ее с другими философскими системами или противопоставляют им.

Образ света как основная иллюстрация. Вообще, Лосев в «Философии имени» против иллюстраций и примеров; система, подчеркивает он, должна быть понятна из нее самой [ср. об. этом также: Степанов 1981, 24]. Но есть одно исключение — образ света. «Представим себе сущее как свет. Тогда меон будет тьмой. Это — основная интуиция, лежащая в глубине всех разумных определений. Она наглядно воспроизводит взаимоотношение ограничивающего меона и ограниченного

сущего, о чем была речь выше. Ею необходимо руководствоваться во всех феноменолого-диалектических конструкциях сущего» (с. 60). Различные сочетания и градации света и тьмы и иллюстрируют разные ступени смысла.

Вообще нужно сказать, что соотношение света и тьмы является одним из наиболее показательных примеров языкового, семиотического в широком смысле, явления: связи «означаемого» и «означающего». В античности все представления об идеальном мире связаны с пониманием зрения, света, отражения в зеркале [подробно об этом см.: Степанов 1971, 129—133]. Да и сам термин «отражение», и далее «теория отражения», имеет в основе представление о простом явлении — отражении света от блестящей поверхности.

Но более непосредственно, и даже текстуально, эта мысль Лосева связана с «пирамидой света» Николая Кузанского (первым издателем его сочинений на русском языке был сам Лосев). «Вообрази пирамиду света проникшей во тьму, — пишет Николай Кузанский в сочинении «О предположениях», — пирамиду же тьмы — вошедшей в свет и своди все, что можно исследовать, к этой фигуре, чтобы с помощью наглядного руководства ты смог обратить свое предположение на скрытое, дабы, опираясь на пример, ты увидел Вселенную, сведенную к нижеследующей фигуре» [Николай Кузанский 1979, 206]. Здесь дается следующая фигура: два равнобедренных, вытянутых к вершине, треугольника вдвинуты один в другой, так что вершина одного касается изнутри основания другого; срединная часть получившейся фигуры, ромб, еще подчеркнута тем, что в каждом треугольнике, примерно на половине высоты, проведена линия, параллельная основанию. Один треугольник символизирует пирамиду света, в ее

основании написано «Единство»; другой — пирамиду тьмы, и в ее основании написано «Инакость». По левому ребру от «Инакости» вверх к «Единству» располагаются термины: «Первое небо», примыкающее к «Инакости», «Второе небо» — посредине, «Третье небо», примыкающее к «Единству». По правому ребру, в том же порядке, — «Низший мир», «Средний мир», «Высший мир».

Затем Николай Кузанский продолжает: «Обрати внимание на то, что бог, будучи единством, представляет собой как бы основание [пирамиды] света, основание же [пирамиды] тьмы есть как бы ничто. Все сотворенное, как мы предполагаем, лежит между богом и ничто. Поэтому, как ты наглядно видишь, высший мир изобилует светом, но не лишен тьмы, хотя тьма кажется исчезнувшей в свете из-за его простоты. В низшем мире, напротив, царит тьма, хотя он не совсем без света; однако фигура обнаруживает, что этот свет во тьме скорее скрыт, чем проявлен. В среднем мире соответственно средние свойства, так что если ты исследуешь промежутки порядков и пространства, то делай это посредством подразделений» [там же, с. 207].

Теперь нужно обратить внимание на то, что у этой идеи, которую не впервые, конечно, но так четко выразил Николай Кузанский, имеется и другая линия развития — чисто логическая (линия же которую продолжает А. Ф. Лосев, является «эйдетической», и о противопоставлении «эйдоса» и «логоса», «логики», будет сказано ниже). Она представлена в русской философии В. Н. Карповым (1798—1867). Карпов трактует соотношение «пирамид» чисто логически, как соотношение «объема» и «содержания» понятия. Констатируя известный логический закон (чем больше объем понятия, тем меньше его содержание), Карпов пишет: «Если бы... объем мы положили равным нулю, то содержание превратилось бы либо в неделимое (т.е. индивид. — *Ю. С.*) — предмет чувства, либо в сущность — предмет ума. А когда, на высшей степени отвлечения, содержание стало бы нулем, — мыслимое сделалось бы понятием онтологическим». Как это может получиться, что при одном и том же направлении сужения объема, к нулю, содержание может измениться столь различными способами, остается у Карпова не вполне ясным, но до некоторой степени, кажется, разъясняется его различением «материального» и «идеального» расширений. Здесь Карпов замечает: «Отсюда видно, что понятие развивается, во-первых, как бы сверху вниз, в виде пирамиды, — и это есть расширение материальное, производимое через ограничение понятия. Пирамидально

также растет оно и тогда, когда идет путем отвлечения, снизу вверх; только тут бывает расширение идеальное, — пирамида основанием обращается вверх. В первом случае понятие приближается к неделимому (индивиду. — *Ю. С.*), а в последнем — к бытию онтологическому» [Карпов 1856, 97].

Здесь Карпов помещает схему пирамиды из двух пересекающихся треугольников, как у Николая Кузанского. В основании одного треугольника, где у Николая Кузанского «Единство», у Карпова — «онтологическое понятие», «содержание=0»; в основании другого треугольника, где у Николая Кузанского «Инакость», у Карпова — «неделимое (индивид)», «объем=0». Что Карпов понимает под «онтологическим», разъясняется им так: онтологические существа — простые существа в формах пространства и времени, «ничего не имея наконец» (т.е. в процессе отвлечения) в себе, все содержат под собою, как чистые объемы, подобные Фихтеву «Я» или Платоновой материи — по платоновскому выражению, «обратное принятие всех вещей».

Идея Карпова, по существу идея чисто семантическая, находит далее синтаксический аналог — в идее Витгенштейна о форме предложения: предложение располагается между тавтологией (что аналогично карповскому «онтологическому понятию») и противоречием (это аналог карповского «неделимого») [см. об этом подробнее: Степанов 1981, 231]. В поэтическом виде Пирамида света» отразилась, как нам кажется, в известном «цветном сонете» Рембо (см. ниже).

«Л о г и к а э й д о с а» и «л о г и к а л о г о с а». Первая, как уже было сказано, по Лосеву, есть диалектика, вторая — просто логика. Их сопоставление изложено в связи с понятиями «объем» и «содержание». В логике (т.е. в «логике логоса») действует принцип обратного соотношения объема и содержания (чем больше объем, тем меньше содержание — как количество признаков, и наоборот). В эйдосе этот принцип не действует: «В эйдосе — чем больше мы перечисляем его «признаков», тем он становится сложнее, тем больше охватывает самого себя, тем большее количество моментов можно под него подвести... В эйдосе — чем предмет общее, тем индивидуальнее, ибо тем больше попадает в него различных признаков, тем сложнее и труднее находим получающийся образ. В логосе — чем предмет общее, тем формальнее, тем более прост, потому что тем более приходится выкидывать из него различных моментов и «содержания»... Так, с точки зрения эйдоса эйдос «живое

существо» богаче эйдоса «человек», ибо в эйдосе «живое существо» содержатся, кроме эйдоса «человек», и все другие виды живых существ. Содержание эйдоса «живое существо» шире «содержания» эйдоса «человек» — параллельно с увеличением «объема»... Только в формальной логике и может идти речь о разнице между «объемом» понятия и «содержанием» его; она возникает благодаря тому, что эйдос мыслится в модусе оформления и осмысления меона; то, что в эйдосе интуитивно мыслится как смысловое изваяние предмета, в логике дано как абстрактное перечисление признаков, как «содержание», а то, что в эйдосе совсем не мыслится — абсолютно-меональное окружение, — то самое в логосе, поскольку последний — форма осмысления эйдосом меона, играет роль принципа, ограничивающего значимость эйдоса в пределах данной степени взаимоопределения эйдоса и меона, и дано как объем понятия, причем совершенно делается понятным, что с увеличением этого объема, т.е. с уменьшением меонизированности эйдоса, «содержание», т.е. количество меональных моментов, уменьшается, а чем меньше объем, т.е. чем в большую тьму погружается эйдос, тем богаче «содержание» понятия, т.е. тем больше меоном захваченных элементов эйдоса. Понять все это сможет только тот, кто переживает конкретность и индивидуальность общего и для кого абстрактно то, что наиболее раздроблено и пестро. Для эйдетики — «живое существо» есть богатый эйдос, а «бытие» — эйдос еще более живой, более богатый и конкретный; вместе с этим «человек» для него гораздо более абстрактен, еще более абстрактен «европеец», еще более «француз» и — наивысшая абстракция — «француз, живущий в Париже в такое-то время и в таком-то месте». Обратное — для формальной логики» [Лосев 1927а, 127—129].

Л о г о с н е о б о с н о в ы в а е т с а м с е б я. «Он есть лишь метод объединения»; он лишь метод объединения смыслов согласно узреваемому в эйдосе. «А эйдос обосновывает сам себя, он — смысловая и цельная картина живого предмета» [там же, с. 131].

А п о ф а т и к а. Как уже было сказано (гл. I, 4), это понятие возникло первоначально в связи с так называемым отрицательным (по-гречески — апофатическим) богословием в патристике. Но уже у Николая Кузанского оно постепенно, через проблему отрицательного, апофатического определения бога и его имени, переходит в ту область, которую мы теперь назвали бы семантикой. Эта линия

развивается и Лосевым. Апофатика Лосева связана, по-видимому, еще и с некоторыми идеями Вл. Соловьева. Но мы проследим ее именно по семантической линии в связи с учением о символе. «Апофатика, — указывает Лосев, — предполагает символическую концепцию сущности» [Лосев 1927, 165]. Иными словами, речь идет о невыразимости сущности вполне через словесные определения и о символе как о максимально возможном в слове выявлении сущности.

В «Философии имени» Лосев использует символизм и апофатизм своей системы для противопоставления ее другим, прежде всего агностицизму и позитивизму. Он говорит: «Символизм есть апофатизм, и апофатизм есть символизм. Разорвав эти две сферы, мы получим или агностицизм с пресловутыми «вещами в себе», которых не может коснуться ни один познавательный жест человеческого ума, так что все реально являющееся превращается или в беспросветное марево иллюзий, или в порождение человеческого субъективного разума, или получим уродливый позитивизм, для которого всякое явление и есть само по себе сущность [Что мы в действительности и находим у Рассела, который изгоняет понятие «сущность» как *substantia*, чуть-чуть более терпимо относится к «сущности» как *essentia*, еще более терпимо — к «сущности» как *ens* (*entity*); представители логического позитивизма, тоже отрицая два первых, признают последнее как референт индивидных имен (*singular terms*)], так что придется абсолютизировать и обожествлять всю жизненную текучесть со всей случайностью и распространенностью ее проявлений. Только символизм спасает явление от субъективистского иллюзионизма и от слепого обожествления материи, утверждая тем не менее его онтологическую реальность, и только апофатизм спасает являющуюся сущность от агностического негативизма... Сущность есть, и явление есть. И вот явление проявляет сущность. Но не должны мы рассуждать так, что хотя сущность есть и явление есть, последнее не проявляет ее, и не так, что сущность есть, но нет никакого явления ее, от нее отличного, и не так, что явление есть, но нет никакой его сущности, от него отличной. Так символизм и апофатизм суть едино» [Лосев 1927а, 121—122].

Учение о символе перерастает в системе Лосева в учение о мифе. Перерастание это важно учитывать, потому что оно не исключительно лосевское, а в той или иной степени присуще всякой философии имени. Оно помогает понять, как символизм связан с современным мифом, и в частности то, почему символ в русском символизме и миф у Томаса

Манна соприкасаются в рамках поэтики, несмотря на разные мировоззрения авторов.

6. ПОЭТИКА ИМЕНИ. СИМВОЛИЗМ

6.0. Вводные замечания.

Поэзия, поэтика, семиотика имени

Духом символа проникнута вся философия имени. Не только учения схоластов о символике, как, например, энциклопедия Рабана Мавра (ок. 780—856), о которой, впрочем, нужно сказать несколько слов. Рабан Мавр сыграл большую роль в немецкой культуре и получил титул *praesceptor Germaniae* (наставник Германии). Его энциклопедия, обычно называемая кратко «*De universo*» («Обо всем мире»), в своем полном заголовке содержит по существу целую программу познания — «*De rebus naturalibus et verborum proprietatibus et de mystica rerum significatione*» («О природах вещей и свойствах слов и о тайном значении вещей»). Этот длинный объясняющий заголовок и сам замысел произведения — как бы первые предвестия немецкого средневекового символизма и позднейшего романтизма. В энциклопедию включены имена всех известных автору вещей — от конской сбруи и печного горшка до высших ступеней духовной иерархии. «Природы вещей» — не что иное как значения имен вещей, и чтобы познать сущности вещей, достаточно знать этимологию имен. По этой же причине, зная имя существа, нет необходимости специально удостоверять его существование. Пожалуй, это первый прообраз будущей проблемы «определенных дескрипций» Б. Рассела. Согласно Рабану Мавру, имена вещей могут быть противоречивы, но сущности, которые стоят за ними, ясны и несомненны, и задача ученого суметь указать путь от имен к сущностям. Слово «лев», например, может означать, с одной стороны, дьявола, с другой — Иисуса Христа, тем важнее уметь правильно истолковать смысл.

Не только в таких прямых «лексиконах», но во всех учениях схоластики, по крайней мере во всех тех, которые признают категорию «сущность» и ее иерархию и, следовательно, учат восходить от видимого мира к его сущности, царит понятие символа (исключение составляют, естественно, только доктрины крайнего номинализма, как, например, Оккама; эта линия приведет в дальнейшем к идее самодовлеющей ценности языка, к «синтаксической поэтике», «поэтике предиката», в частности к русскому формализму).

Признающие символизацию философские учения были не чужды эстетического любования своими символами. Эригена (ок. 810 — ок. 877) писал: «Видимые формы, созерцаемые либо в природе, либо в святейших таинствах божественного писания, не ради них самих созда-

ны... но являются образами незримой красоты», они «открывают уму чистые формы умопостигаемых вещей» [см.: Трахтенберг 1957, 42]. Последовательно развито учение о символе в «философии имени» Лосева.

Отвечающее философии имени искусство, не только средневековое, но и современное, видящее свою цель в поисках сущностей за видимыми формами явлений, можно назвать «поэзией имени». Это — «семантическая поэзия», в том смысле, в каком, по определению, семантика заключена в отношении знаков языка к объектам внешнего мира. Это — «семантическая поэзия», доведенная, если так можно выразиться, до предела и даже заглядывающая за предел: «поэты имени» стремятся пройти путь от слова к предмету и, как бы выполнив таким образом определение семантики, пойти еще дальше, проникнуть через предмет к сущности. Подобно Буратино в известной сказке, они рискуют проткнуть холст, пытаясь заглянуть по ту сторону явленной картины мира.

Поэзия — это практика, само творчество; поэтика — учение, доктрина, теория, но теория самих поэтов, осмысляющих свое творчество; семиотика поэзии — теория ученых. Поэтику и семиотику (искусства) можно рассматривать как две ступени абстракции, из которых семиотика — абстракция бóльшая. Но и поэтика и семиотика лишь следуют за поэзией, за практикой. Искусство предшествует теории искусства.

«Поэзия имени», символизм, в разной мере развивалась во все времена, но ее поэтика была осознана лишь в определенном течении искусства — в символизме 1880—1900-х годов во Франции и десятилетием позже в России. «Да, я знаю, мы не изобрели символ, — писал французский символист Анри де Ренье («Ответ на анкету», 1891 г.). — Но до сих пор символ лишь инстинктивно возникал у художника в произведении искусства, независимо ни от какого заранее обдуманного принципа, просто потому, что художник ощущал невозможность подлинного искусства без символа. Современное движение — иное: оно делает из символа основное условие искусства, из которого хотят изгнать все то, что называют, как мне кажется, проявлениями случайности (*les contingences*) — случайные черты среды, эпохи, отдельные события» (H. de Régnier,

Réponse à une enquête [цит. по изд.: Michaud 1969, 747]). «Поэтику имени» надо теперь брать в ее наиболее развитой форме, как поэтику символизма, и по этому «пику» судить о ее возможностях и ее общих чертах.

«Поэты имени», как их можно называть, символисты, как они сами себя называли, это — Малларме, Мореас, Морис, Бажю, Кийар, Мерриль, Гиль, де Ренье, Дюжарден, Кан, Вьеле-Гриффен и др. во Франции; Мокель, Роденбах, Метерлинк, Верхарн — в Бельгии; Вяч. Иванов, Блок, Брюсов, Белый, Мережковский, С. Соловьев, Бальмонт и др. — в России; отдельные, зачастую крупные, поэты — в других странах.

Теоретиков, «поэтиков» символизма, меньше — Малларме, Мореас и некоторые другие во Франции; Блок, Брюсов, Иванов — в России.

—234—

Семиотик символизма — один, Андрей Белый («Символизм», 1910; «Поэзия слова», 1922). Белый сделал попытку, исходя из поэзии символизма (практики) и его поэтики, произвести дальнейшее обобщение и создать общую теорию искусства (семиотику) (самого слова «семиотика» Белый не употреблял). В основе семиотики Белого — в полном соответствии с практикой символизма — лежит семантика; это попытка построить теорию искусства в одном измерении, опыт семантической теории искусства.

Точно так же в основе семиотики русского формализма, в соответствии с иной художественной практикой, главным образом футуризма и авангардизма, лежит синтактика; это также попытка построить теорию искусства в одном измерении — опыт синтактической теории искусства. И наконец, точно так же в основе работ французских семиотиков 1960—1970-х годов лежит, в соответствии с новой художественной практикой, одно измерение — прагматика (дектика); это опыт прагматической (дектической) теории искусства.

Полностью ни один опыт не удался; но все они взаимодополнительны. Может ли удасться их синтез — новый опыт семиотической теории искусства? Это вопрос открытый. Но, видимо, и здесь прежде синтеза в теории должна быть новая художественная практика.

Кроме «участников символизма» есть еще и «наблюдатели символизма» — исследователи, авторы зачастую капитальных работ. Одного из них нужно упомянуть с самого начала: Ги Мишо выпустил в 1969 г. (написанный в 1947 г.) прекрасно

документированный труд «Поэтическое достояние символизма» [Michaud 1969]. Вторую часть этой книги составил свод текстов — теоретические высказывания символистов и о символистах, вне этого свода уже труднодоступных; мы используем его ниже как источник, но со своей интерпретацией [везде далее: Michaud 1969].

Символизм как компонент искусства вечен (это справедливо отметил де Ренье). Но символизм как течение исторически ограничен и даже недолговечен. Он возник как реакция на другие, столь же ограниченные исторически течения, — натурализм в искусстве и позитивизм в философии. «Символисты, — писал Брюсов, — решительно отрицали такой метод творчества (натурализм. — Ю. С.), обращавший искусство в простое отражение жизни, и настаивали, что в истинно художественном создании за внешним конкретным содержанием всегда должно скрываться иное, более глубокое. На место художественного образа, определенно выражающего одно явление, они поставили художественный символ, таящий в себе целый ряд значений» [Брюсов, 1913, т. 21, с. 227—228]. Символисты пытались подвести под свои воззрения на искусство и новое философское основание, используя для этого враждебные позитивизму философские течения 1890—1900-х годов, а иногда и теософию.

—235—

Как и следовало ожидать, этот фундамент оказался непрочным, да и символизм как целое — быстротечным. Возможно, потому, что никакой одномерный язык искусства не может быть устойчивым. Уже к концу 1890-х годов, после смерти Малларме, распадается французский символизм, а после 1910 г. — русский. В 1913 г. Блок («Дневник», 10 февраля) писал: «Никаких символизмов больше, — один, отвечаю за себя» [Блок 1963, т. 7, с. 216].

Рассматривая учения символистов о поэтическом слове, нужно иметь в виду их внутреннюю противоречивость, отчетливо показанную в нашем литературоведении. По меткому наблюдению М. Б. Храпченко, узость и догматизм символистов проявлялись как раз в области «знаковых (семиотических) свойств» их искусства. Один из символистов, Эллис, еще в 1910 г. (в книге «Русские символисты») писал, что творческий дух, «отрешенный окончательно от чувственных явлений и сферы опыта, должен испытать величайшую пытку от невозможности выразить на понятном для других языке свои прозрения и откровения, ибо никакое художественное творчество немислимо без формы, а форма — без чувственного материала. Тогда-то и является

сатанинское искушение догматизировать, т.е. условно, аллегорически и безапелляционно фиксировать свои переживания, данные своего внутреннего опыта. Тогда символизм превращается в догматы положительной религии, в сектантство, в условно скомбинированные, чуждые всякой свободной, художественной и даже творческой ценности катехизисы, которые одновременно вещают своим мертвым языком и слишком много, и слишком мало, все и ничего» (с. 228). Прочитывая это место, М. Б. Храпченко замечает, что такие противоречия знаковых процессов творчества в симролизме не ограничиваются областью метафизических откровений, «они распространяются и на область тех претворений жизни в сказку, легенду, которые широко представлены в творчестве символистов» [Храпченко 1982, 276].

Наша цель в дальнейшем — кратко воссоздать здесь срединное звено, поэтику символизма, пунктирно прочертив от нее несколько линий в обе стороны — к семиотическим проблемам языка, особенно к философии имени, и к поэзии символизма. Мы кратко остановимся также на семиотике этого направления. Во множестве прямых высказываний и цитат нам хотелось бы, по возможности без посредников, заставить звучать голоса «участников символизма».

6.1. «Сущность» как предмет искусства. Символ

Для поэтов, как и для «философов имени», мир состоит из сущностей и явлений — из доступных наблюдению явлений и из скрытых за ними сущностей. По меткому выражению Ламартина, человечество — это ткач, который тклет полотно истории, но видит его лишь с изнанки; настанет день — ткач перейдет на лицевую сторону полотна, и перед

ним откроется грандиозная цельная картина, которую он своими руками творил на протяжении столетий, видя лишь хаос узелков и обрывков нитей.

Мир сущностей прекрасен, в нем господствуют красота, гармония и закономерность. Молодой Андре Жид (в те годы близкий к символизму) представлял этот мир, в «Трактате о Нарциссе» (1891), в виде рая: «Рай не велик, всякая форма, представленная в нем в своем совершенстве, цветет там только один раз, но в саду есть они все. Был он или не был, разве в этом дело? Если он был, он был таким. Все в нем кристаллизовалось с необходимостью, как раскрывается цветок, и все было в точности

таким, каким должно быть. Все пребывало в неподвижности (вот, пожалуй, черта, которая способна отпугнуть от рая. — Ю. С.), потому что ничто не желало стать лучшим. Только спокойный закон тяготения медленно производил изменение во всем. И так как никакой импульс не исчезает, ни в Прошлом, ни в Будущем, то Рай не произошел, — он просто всегда был.

Непорочный Эдем! Сад Идеи! В нем формы, ритмично и неуклонно, без усилий, раскрывали свое число; в нем каждая вещь была тем, чем она выступала в явлении; в нем доказывать что-либо было излишним. (Заметим здесь поразительную интуицию А. Жида: в определенном состоянии «возможного мира», например в нашей модели Язык-1, всякое предложение есть аналитическое суждение, его истина самоочевидна, доказывать что-либо нет необходимости, всякая вещь есть то, чем она выступает в явлении, ее сущность полностью выражается в явлении; «число» здесь, конечно, в пифагорейском смысле, как сущность вещи, так же и у Лосева. — Ю. С.)

...Поэт — это тот, кто видит. И что он видит? — Рай. Потому что Рай — везде, не будем принимать на веру видимости. Видимости несовершенны, они только бормочут об истинах, которые скрываются за ними. Поэт должен понять их с полуслова и — высказать. А разве Ученый делает что-либо иное? Нет. Он тоже открывает архетипы вещей и законы их смен; он воссоздает мир, идеально простой, в котором все связывается одно с другим закономерно» [Gide 1912, 13—18].

Возникшая под пером А. Жида, тема Нарцисса, который созерцает отражения в воде и не оглядывается на их оригиналы, была подхвачена Вяч. Ивановым. Своему стихотворению он дал название «Кочевники красоты» (1904) — выражение из этого трактата Жида, а эпиграфом взял фразу из неоконченного романа Л. Д. Зиновьевой-Аннибал: «Кочевники красоты — вы, художники». Иванов призывал художника верить явлениям и видимостям, но именно верить как символам:

О, верьте далее чуду	Художники, пасите
И сказке всех завес,	Грез ваших табуны;
Всех весен изумруды,	Минуя, всколосите —
Всей широте небес.	И киньте — целины!

В русской поэзии тех лет тема обновления искусства «кочевниками красоты» слилась с темой обновления жизни и с темой поднимающейся Азии, гуннов, скифов и орд. Кочевники оказались реальностью. Иванов продолжал и заканчивал свое стихотворение так:

И с вашего раздоля
Низриньтесь вихрем орд
На нивы подневоля,
Где раб упрягом горд.

Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!

Выделенную нами строку Брюсов в свою очередь взял эпиграфом к стихотворению «Грядущие гунны» (1904—1905), а в этом стихотворении, в обстановке революционного 1905 г., уже начиналась блоковская тема «Скифов». И уже темой обновленной Азии звучали те же мотивы в послереволюционной поэзии В. Хлебникова. Кочевники стали двойным символом — разрушителей-обновителей и в искусстве и в жизни.

Но таково свойство символа вообще, так понимали его и другие символисты [ср.: Долгополов 1980, 506]. В том же трактате о Нарциссе А. Жид писал: «Ученый разыскивает эти первичные формы путем медленной и робкой индукции, с помощью бесчисленных примеров, он останавливается на том, что дано в явлении, и, стремясь к полной уверенности, запрещает себе угадывать. Поэт же, зная, что он создает, угадывает за каждой вещью — и тут для него достаточно одного примера — символ, он знает, что данное в явлении — лишь повод для того, чтобы за этой завесой открыть истину». «Теперь понятно, — заключал А. Жид, — что я называю символом все, что дано в явлении».

Это основное положение было высказано несколькими годами раньше в «Литературном манифесте» символизма, составленном Ж. Мореасом (1886; он же, по-видимому, первый употребил термин «символизм» в новом значении): «Будучи враждебной всякому поучению, декларации, ложной чувствительности, объективному описанию, символическая поэзия стремится представить Идею в чувственной форме; последняя, однако, не самоцель, а средство для выявления Идеи, нечто подчиненное... Главная черта символического искусства в том, что оно никогда не идет до сгущения «Идеи в себе». В этом, искусстве картины природы, поступки людей, все конкретные явления выражаются не ради них самих, а рассматриваются как феномены, доступные восприятию наших чувств и предназначенные для того, чтобы указать на свои тайные, эзотерические связи с первичными Идеями» [цит. по: *Ecrits sur l'art...* 1981, 332].

Естественно, что понимаемое так искусство, мыслимое главным образом в одном измерении — семантики, без синтактики и без элемента «Я», есть прежде всего познание. Ему, быть может, недостает собственной красоты, красоты слова, но зато, будучи познанием, прежде всего познанием сущности и идеи, искусство символизма не

может выражать случайное, его предмет — необходимое. Искусство не говорит о случайном.

В своем знаменитом определении («Le Symbolisme», 1887 г.) Верхарн предостерегает от смешения современного символизма с языческим: «Современный символизм, в отличие от греческого, который шел от абстрактного к конкретному, идет от конкретного к абстрактному. В этом, как мы считаем, его высокое и современное оправдание. Некогда Юпитер, воплощенный в статуе, символизировал господство; Венера — любовь; Геркулес — силу; Минерва — мудрость. А теперь? Мы исходим из вещи — видимой, слышимой, чувствуемой, осязаемой, обоняемой, и извлекаем из нее намек на сущность через идею. Поэт смотрит на Париж, кишасый ночными огнями, раздробленный на бесконечное множество светящихся точек и колоссальные массы теней и пространств. Если он прямо передаст этот вид, как поступил бы Золя, т.е. опишет его улицы, площади, памятники, линии газовых фонарей, чернильные моря темноты, его лихорадочную пульсацию под неподвижными звездами, он создаст, наверно, весьма художественное впечатление, но нет ничего более далекого от символизма. Если же, напротив, поэт косвенно вызовет вид этого города в воображении, сказав «это огромная алгебра, ключ к которой потерян», то эта голая фраза, сама по себе, без всякого описания и перечисления фактов, воссоздаст Париж — светящийся, темный, громадный» [Michaud 1969, 753].

Здесь надо сказать, что в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1971, т. 6, с. 833, статья «Символизм») определение Верхарна цитируется таким образом, что получается, будто «алгебра без ключа» — это постоянное определение всякого символа, из чего делается вывод, будто символисты провозглашали непознаваемость мира. Между тем Верхарн продолжает: «Итак, символ всегда, через намек для воображения, очищается в идею; он — сублимация восприятий и ощущений; он ничего не доказывает, он порождает состояние сознания, он разрушает всякую *случайность* (курсив наш. — Ю. С.) (*il ruine toute contingence*), он — наивысшее и самое духовное, какое только возможно, выражение искусства» [Michaud 1969, 753].

Можно сказать, что понятие о неслучайном в эстетике символизма — это аналог понятия типического в эстетике реализма.

Мысль о том, что искусство символизма противостоит случайности, много раз встречается у Блока. Так, в Прологе к поэме «Возмездие» (1910—1920):

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.

239

Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Случайность господствует в мире явлений, и лишь ее видят глаза непосвященного. Но взор поэта проникает в мир сущностей, и там — случайности нет, там все — закономерность и гармония.

Малларме в период творческого расцвета разделял эту мысль, и тогда для него писание стихотворения было самым процессом победы над случаем: *le hasard vaincu mot par mot* — «случайность, побежденная слово за словом» («*Le Mystère dans les Lettres*»). Но вот наступает творческий спад, и, разочарованный в возможностях новой поэзии, Малларме думает иначе: лучшее, что может сделать поэт — умолкнуть! И в его последней поэме (1897), написанной за год до смерти, в заголовке, — противоположная мысль: «*Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*» — «Как бы удачно ни выпали игральные кости, случая никогда не миновать». Этот заголовок построен на двойном смысле французского выражения *un coup de dés*: 1) то, как выпали игральные кости; 2) удача» везение, счастливый случай. И эта двусмысленность выражает самую суть последнего, уже не символистского, убеждения Малларме: даже удача — не закономерность, а всего лишь счастливый случай.

6.2. Имя явления и имя сущности

Поиски имени или отказ от именованья — одна из тем Блока:

Без слова мысль, волнение без названья,
Какой ты шлешь мне знак,
Вдруг взбороздив мгновенной молнией знанья
Глухой декабрьский мрак?

.....
Что б ни было, всю ложь, всю мудрость века,
Душа, забудь, оставь...
Снам бытия ты предпочла от века
Несбыточную явь...
Чтобы сквозь сны бытийственных мечтаний,
Сбивающих с пути,
Со знаньем несказанных очертаний,
Как с факелом, пройти.

Декабрь 1911

Явления, события, вещи — «сны бытия» именуется словами русского (или французского, английского — любого) языка. Но «яви», пусть «несбыточные», — сущности именуется иначе. Или не именуется во-

240

все. Поэт знает о них, но еще не знает их, выбирает свой путь по ним, как по звездам, идет, «как с факелом» или «в лазури чьего-то лучезарного взора», — но они пребывают «знаньем несказанных очертаний». Если же поэт неустанно ищет их имя, как Блок в своих мирах, то это становится его поэтической судьбой.

В России эта тема была «предзадана» «предсимволистом» Владимиром Соловьевым. «На строгом языке моего учителя», как называл его Блок, это звучало так:

Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
Кто-то здесь. Мы вдвоем, —
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем.
Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы.
*Только Имя одно Лучезарной Подруги
Угадаешь ли ты?*

(процитировано и выделено Блоком) [Блок 1962, т. 5, 427]. Андрей Белый после завершения издания трехтомника Блока (в изд-ве «Мусагет», 1912 г.) первый угадал и синтезировал его творческий путь в краткой формуле: *Имя и путь*.

«Десятилетие, — писал А. Белый, — медленно выявляло подлинный центр качания маятника поэзии Блока; вспышки света и тьмы, Дева неба и Маска сливались в выражении третьего лика... Этот лик — лик России». Но к открытию этого имени Блок пришел лишь в третьей книге — «покрывало с «Имени» сорвано; названо Имя: Россия» [Белый 1922, 108, 121]. По существу все творчество Блока — грандиозный путь к этому одному Имени, через качания маятника, попеременно указывающего своими, все более

сильными, размахами то на одну, то на другую сущность, зачастую противопоставленные.

Но как именуются провиденные поэтом сущности, не только у Блока, но в более простых случаях, у символистов вообще?

Нам кажется, что здесь у символистов две тенденции. Одна — семантическое обособление слова, но без нарушения синтаксических связей. Семантика отдельных слов, в особенности ключевых для данного стихотворения, изолируется и углубляется до сверхчувственной сущности, но связи слова в контексте, его синтактика, оставляются нетронутыми, они даже оберегаются. Это тенденция русских символистов, в особенности ярко выраженная у Вяч. Иванова.

Андрей Белый отметил: «Пейзаж Вячеслава Иванова есть мозаика из прозрачных и непрозрачных кристаллов: гранение, разграждение, преломление блещущих хладнокаменных граней встречает нас в ней» [Белый 1922, 25]. Продолжая эту мысль, другие исследователи говорили о том, что вещный мир Вяч. Иванова похож на «геральдическую эмбле-

241

му», каждая вещь очерчена резким контуром и не сливается с другими. Было также тонко подмечено, что в связи с этим стоит особенность самого ивановского текста стиха, с ее «стихией громкозвучного, под архаику, слога, который сопрягает вакхические строфы, славянизмы, малоизвестную мифологическую образность и сложные, изобретенные автором прилагательные с элементами как аоворной речи, так и самыми изысканными стихотворными формами» [Толмачев 1994, 6]. Конечно, такой неслиянный ряд «означающих» гармонирует со столь же неслиянным рядом «означаемых», образов вещей. Характерно для него такое:

Сумеречно слепнут	Крепнут силой лунной
Луг, и лес, и нива;	Облачные дива
Лунной силой крепнут.	Неба паутины,
И затоны — тины	Полны светорунной.

Или, например, такое:

Я вспрынул, наг, с подушек пира,
Наг, обошел пределы мира
И слышал — стон, и видел — кровь.
Из «Кормчих звезд»

В «Кормчих звездах», как заметил А. Белый, Иванов — поэт существительных, количество их раз в десять превышает количество глаголов. Позднее Иванов развивает учение о глагольности всякого предиката, и соответственно этому его внимание переносится с существительного на глагол. «Мы присутствуем, — продолжает А. Белый, — при удивительном зрелище: при выступлении глаголов... из своих узких русл для потопленья «существительных» континентов; глаголы тут — действуют; розы — «дышат»; и — «шепчется» бор; весна плетет «сеть улыбок» и т.д. [Белый 1922, 43]. Но в конце концов, пройдя через динамику предиката, он от «примата динамики направляется к свету истины, ставшей статической («Res» религии, онтологический догмат)... градация колоритов пейзажа его убывает тут именно; пейзаж погружается во мрак» [там же, с. 49]. Иванов все же — «поэт существительных».

Отсюда, по наблюдению Аверинцева, следующие особенности ивановского стиха: во-первых, обилие сверхсхемных ударений; во-вторых, скопление согласных на границах слов; в-третьих, выдвижение на ключевые места слов односложных — ср. упомянутое *наг, сток кровь*. Все эти черты связаны между собой и все вместе допускают некоторое обобщение.

242

«Сверхсхемные» (по Аверинцеву) ударения можно трактовать иначе — как тенденцию к совпадению конца стопы и конца слова [об этой тенденции вообще в русском стихе см.: Jakobson 1979]. Почему эта формулировка представляется более обобщающей? Потому что в ней говорится не только о «строении схемы» стиха, но и об отношении практической речи, в которой ритм связан с концами слов и их групп, к речи стихотворной, в которой ритм связан еще и со стопой и строкой. Эта формулировка говорит о способе преобразования практической речи в речь поэтическую, стихотворную. И тогда становится возможным сказать, что ритмическая тенденция ивановского стиха венчает три его семантические черты: 1) обилие коротких, чаще корневых, слов, иногда просто односложных, в чем Иванов видел, как уже было сказано, проявление семантической самооценности слова; 2) идея о том, что корнеслово выражает глубинную сущность бытия, — идея, близкая к позднему тезису футуристов (см. гл. IV, 5); 3) стремление к архаизации стиха. Остановимся на последней.

Ямбический стих Иванова на слух зачастую почти неотличим от стиха конца XVIII — нач. XIX в., ср.:

Иванов:

Но к праху прах был щедр и добр

Из «Кормчих звезд»

Алексей Мерзляков (1778—1830):

Куда бежать, тоску девать?

Пойду к лесам, тоску губить.

Пойду к рекам, печаль топить,

Пойду в поля, тоску терять.

«Ах, дэвица-красавица!», 1806

Архаизирующая близость ивановского стиха к стиху XVIII в. не поражает слушателя лишь потому, что у Иванова часты трехсложные размеры, не характерные для конца XVIII — нач. XIX в., но и в этих размерах у него та же тенденция к совмещению конца стопы с концом слова.

Вторая тенденция символистского стиха почти противоположна только что рассмотренной. Но, как и первая, она связана в конечном счете с семантикой. Здесь надо снова подчеркнуть, что «поиски имени» были темой символистов лишь в их стремлении к сущности, а вовсе не в стремлении точно поименовать конкретное — вещи, явления, факты. В этом, «вещном», смысле символисты, напротив, зачастую отказывались от слова-имени, и поэтому вторая, может быть главнейшая, линия символизма — другая, не ивановская. «Поэты-парнасцы, — писал Малларме, — берут вещь целиком и показывают ее; тем самым

243

она лишается тайны; они отнимают у души читателя высшую радость — поверить, что они творят. Назвать предмет — значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения, которое состоит в счастье постепенного угадывания. *Внушить* (*suggérer*) — вот мечта и цель. Целиком воспользоваться этой тайной и позволяет символ: мало-помалу вызвать в воображении предмет, чтобы показать состояние души, или, напротив, указать на предмет и затем, расшифровывая его, высвободить нужное состояние духа» (Ответ на анкету [Michaud 1969, 774]).

Таким путем символисты приходят к новому пониманию именованного — когда целое стихотворение, поэма, упоминая отдельные имена вещей и явлений, становится всей длиной своего текста как бы одним новым именованном — именованном сущности. «Образы внешнего мира подобны словам того или иного языка. По отдельности неизвестно, на что они указывают; у них есть лишь какое-то латентное

значение. Но как только они гармонично соединены во фразу, каждое из них становится, если так можно выразиться, ориентированным, а все составленное ими целое выражает некий полный смысл. Произведение искусства — это как бы одна фраза, формы которой — слова; идея возникает естественным путем из таких согласованных форм. Есть заманчивая аналогия между этим пониманием и тем, что Стефан Малларме так удачно сказал о стиховой строке — «она из нескольких слов создает единое слово». Таким образом, все стихотворение — это одна фраза, а его строки — слова этой фразы» (A. Mockel, *Propos de littérature*, 1894 [Michaud 1969, 752]).

Отмеченное здесь символистами — это, конечно, то же, что «единство и теснота стихового ряда» в терминах Ю. Н. Тынянова, — общее (теперь) понятие теории стихотворной речи.

Вторая тенденция в целом — путь главным образом французского, в отличие от русского, символизма. И этот путь был задан с самого начала «первым символистом», или «предсимволистом» (это проблема для литературоведов), — Артюром Рембо (1854—1891). Как и Вяч. Иванов, Рембо применил принцип «раскованной семантики», но, в отличие от Иванова, он затронул и синтактику. Он назвал свой прием «слова, выпущенные на волю» («les mots mis en liberté»).

В «Озарениях» и в «Последних стихотворениях» (1872—1873) — и на этом творчество Рембо закончилось — он, как считают, отказался от синтаксически организованного слова, а следовательно, и от его логических связей во фразе (это и означало, что «слова выпущены на волю»). Но зато магическая сила слова возросла. Что значит, однако, отказаться от логических связей? Это стоит рассмотреть подробнее.

Ср. в разных переводах одно место из «Озарений» («Детство», II):

«Это она, за розовыми кустами, маленькая покойница. — Молодая умершая мать спускается тихо с крыльца. — Коляска кузена скрипит по песку. — Младший брат (он в Индии!) здесь, напротив заката, на

244

гвоздичной лужайке. Старики, которых похоронили у земляного вала в левкоях» (перевод М. П. Кудинова [Рембо 1982, 111]). Действительно, похоже на бред. Почти такое же впечатление и при втором переводе:

«Это она, мертвая девочка в розовых кустах. — Недавно скончавшаяся молодая мать спускается по перрону. — Коляска двоюродного брата скрипит на песке. —

Младший брат (он в Индии!) там, при закате, на лугу, среди гвоздик. — Старики лежат навьютяжку, погребенные у вала с левкоями» (перевод Н. И. Балашова [там же, с. 275]).

Все же, думается, Рембо не так неясен, как кажется. Здесь он сам дает ключ, взяв в скобки то, что относится к другому временному плану: «...младший брат (он в Индии!)». Тогда:

«Это она, за розовыми кустами, маленькая девочка (умершая). — Молодая мать (покойница) спускается с террасы. — Коляска кузена скрипит по песку. — Младший брат (он в Индии!) подальше, на фоне заката, на лужайке среди гвоздик. — Дедушка и бабушка (они лежат, выпрямившись, похороненные у вала с левкоями).

Рой золотистых листьев окружает дом генерала...» (перевод наш. Для сравнения оригинал: *C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. — La jeune maman trépassée descend le perron. — La calèche du cousin crie sur le sable. — Le petit frère — (il est aux Indes!) là, devant le couchant, sur le pré d'oeillets. — Les vieux qu'on a enterrés tout droits dans le rempart aux giroflées. L'essaim des feuilles d'or entoure la maison du général.*

Перед нами — один момент детства, запечатленный в памяти мальчика, который наблюдает всю картину из одной точки. Поэтому для него — девочка за кустами роз, брат в отдалении, и его силуэт виден на фоне заката, мать спускается с террасы, кузен подъезжает в коляске, тут же дедушка и бабушка, по-видимому сгорбленные. И на все это наложен второй временной план — те же люди, какими он знает их теперь, в момент писания: девочка — умерла, молодая мать — покойница, брат — в Индии, дедушка и бабушка — выпрямились (в гробу) и похоронены у вала с левкоями... — все ясно. Особенность только в том, что определения — атрибуты сущностей, относящиеся к разным моментам времени, даны рядом, без внешнего, синтаксического, разделения, подряд.

Впоследствии этой особенностью возможных миров займутся две новые философии языка (см. гл. IV, 5 и гл. VI, 4). Но Рембо и символистов в «раскованности слов» привлекало другое — раскованность семантики и раскованность ритмов.

Но так ли уж прием Рембо противопоставлен реализму? Не думается. Мы ведь знаем теперь метафору Ю. Олеши — тоже наложение двух одновременных образов: о Л. Сейфуллиной он думал как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями, а в гробу он увидел ее маленькой девочкой, которая

споткнулась и упала навзничь в клумбу с цветами («Ни дня без строчки». М.: Сов. Россия, 1965, с. 282).

6. 3. Ритмы

Ритмы мыслились символистами как нечто конкретное, как пульсация жизни, как связь поэзии с действительностью. Блок в июле 1919 г. писал: «Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные, мускулы, был *ямб*. Вероятно, поэтому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время» (Предисловие к поэме «Возмездие»). Знаменитый цикл Блока называется «Ямбы», ямбами написаны «Скифы» и многое другое, самое динамическое; мощная струя ямбов ведет к «Двенадцати».

Но здесь приходится сделать отступление и сказать, что в теперешних (главным образом отрицательных) представлениях о символизме учение о ритме понимается абстрактно, ритмы связываются с расплывчатым понятием «музыкальности» стиха, музыкальность — с музыкой вообще, а музыка вообще — с учением о музыке у философа Шопенгауэра. Все вместе образует унылую ретроспективу.

Некоторые основания проследить ее есть: символистские представления о ритме начали создаваться в эпоху (1860— 70-е годы), когда музыкальность стиха понималась, скорее, в духе романтической музыки — как нечто «красивое», «мелодическое», «таинственное», «меланхолическое». Возразят, что это уже не так мало. Да, но для символистов это еще далеко не все. Действительно, поэма Верлена «Поэтическое искусство» (написана в 1874 г., опубликована в 1882 г.) говорит о такой музыкальности в первую очередь:

De la musique avant toute chose
De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours...

О, музыки всегда и снова!
Стихи крылатые твои
Пусть ищут за чертой земного
Иных небес, иной любви.

(Пер. В. Брюсова)

Музыки прежде всего
Музыки еще и всегда!
Пусть твой стих станет летящим предметом,
Пусть чувствуют, как он отлетает от души в глубине аллеи,
Устремляясь к другим небесам, к другой любви...
(Буквальный перевод наш. — Ю. С.)

246

По мысли Шопенгауэра, все искусства представляют лишь отпечатки явлений, и только музыка несет непосредственный отпечаток вещи в себе, копию прообраза, который никогда не может быть непосредственно представлен. Шопенгауэр придавал музыке примерно такое же главенствующее положение в мире искусства, какое некоторые современные ученые придают математике в мире науки вообще. Считают, что эта идея Шопенгауэра оказала большое влияние на теоретика символизма Малларме. В какой-то мере это, несомненно, так, но эту меру нельзя преувеличивать. В теоретических рассуждениях Малларме «Тайна в произведениях слова» («Le mystère dans les Lettres»), действительно, музыка выходит на первый план, «невыразимое», «тайна» провозглашаются целью поэзии. Но — забывают прибавить — Шопенгауэр оказал влияние на символистов не только и, может быть, не столько сам по себе, сколько тем, что его теория казалась воплощенной в гениальном творчестве Вагнера. Музыка Вагнера, а не теория Шопенгауэра была подлинным источником размышлений символистов о музыке и ритмах.

Забывают, что тот же Малларме писал десятью годами раньше о Вагнере как о великом обновителе искусства («Richard Wagner. Rêverie d'un Poète français», 1886 г.) и что он дал следующее Определение поэзии: «Поэзия — это выражение посредством человеческого языка, сведенного к своему *основному ритму* (курсив наш. — Ю. С.), тайного смысла различных проявлений действительности: тем самым поэзия наделяет подлинностью наше пребывание [в действительности] и составляет единственную духовную задачу» («Définition de la poésie», 1884 [Michaud 1969, 715]).

Верхарн, отвечая на «Международную анкету о свободном стихе» (1909), написал: «Ритм — это самодвижение мысли. Для поэта всякая мысль, всякая идея, даже самая абстрактная, является в виде образа. Ритм и есть не что иное, как жест, походка или телодвижение этого образа.

Слова передают цвет, аромат, звучность образа. Ритм — его динамику или его статику. (Заметим, что ритм отделяется от звучности, следовательно, и от «музыкальности». — Ю. С.)

В силу старых формул, которые учитывали только слоговую меру стиха, поэт был вынужден сковывать всякий жест, походку, всякую позу своей мысли... Бывали счастливые случаи, когда форма подходила к образу, как перчатка к руке, но чаще этого не получалось. В перчатку пытались запихнуть руку до локтя и даже голову.

Новая поэтика отменяет неизменные формы и дает идееобразу право создавать собственную форму, по мере своего собственного развития, как река создает свое русло» [там же, с. 789].

Создание раскованного свободного стиха, верлибра, было одним из наивысших достижений поэтики символизма, можно сказать, национальным достижением, как во Франции, так и в России (в России сво-

247

бодный стих начала XX в. был не только созданием новых форм, но и оживлением некоторых традиционных форм русского стиха). «Свободный стих — это моральное завоевание, важнейшее для всякой поэтической деятельности. Свободный стих — не только стиховая форма, это прежде всего духовная позиция» (Ф. Вьеле-Гриффен «Моральное завоевание» [там же, с. 784]).

Вернемся теперь к Блоку. Мысли Блока о ритме, с которых мы начали этот параграф, развивались постепенно, по мере созревания его концепции культуры. Концепция «музыки и культуры» зародилась у поэта еще в юности, а в записной книжке под 29 июня 1909 г. находим уже вполне определенные положения: «Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего... Музыкальный атом есть самый совершенный — и единственный реально существующий, ибо — творческий. Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — мысль (текучая) мира... Музыка — предшествует всему, что обуславливает» (Записные книжки. М., 1965, с. 150).

В дневнике Блок записывает: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм» [Блок 1963, т. 7, с. 360]. Еще более определенно — в речи «О назначении поэта» (1921): «Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос — устроенная гармония,

культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос; их взращивает, между ними производит отбор культура; гармония дает им образы и формы...» [Блок 1962, т. 6, 161].

Конечно, эти мысли близки и к идеям Ницше о силе стихийности и о духе музыки, и к идеям других символистов. Так, Поль Клодель (в то время близкий к символизму) в своем «Поэтическом искусстве» (1903) писал: «Нет науки, кроме как об общем; нет творения, кроме как единичного. Метафора (и ее транспозиции в другие искусства — «валеры» в живописи, «гармонии» в музыке, «пропорции» в архитектуре), *базовый ямб* (курсив наш. — Ю. С.), с его соотношением сильной и слабой долей, разыгрывается не только на страницах книг, которые мы пишем, — это врожденное искусство всего, что рождается к жизни. И не говорите об игре случая. То, что вот эти сосны раположились кучкой, то, что гора имеет эту форму, — не более игра случая, чем Парфенон или бриллиант с искусной огранкой: их план — из более богатой и более мудрой сокровищницы планов» [Michaud 1969, 738].

Оригинальность Блока состояла в том, что в устроенном космосе он различил кроме культуры еще «цивилизацию» и противопоставил ее культуре. К цивилизации относится у Блока то, что утратило импульс естественного развития, утратило «дух музыки», омертвело. В об-

становке революции Блок связал цивилизацию с уходящим миром и культуру — со стихийным революционным порывом народных масс. В статье «Крушение гуманизма» (1919) он пишет: «Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую возвращается музыка... тот же народ, те же варварские массы. Поэтому не парадоксально будет сказать, что варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, когда обескрылевшая и отзвучавшая цивилизация становится врагом культуры, несмотря на то, что в ее распоряжении находятся все факторы прогресса — наука, техника, право и т.д.» [Блок 1962, т. 6, 111]; исход борьбы решен, продолжает Блок, новое движение, родившееся из духа музыки, «представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая

человеческая порода» [там же, с. 115]. (За рядом интересных деталей отсылаем читателя к статье: [Примочкина 1978].)

В 1918 г. Блок пишет свой знаменитый цикл, пронизанный идеей — и воплощением идеи — музыки, ритмов и ямбов: поэму «Двенадцать», «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция». Музыка и ритм здесь — воплощение силы и обновления жизни, ямбы — главный ритм, жизнеутверждающий ритм действительности (с хореем Блок связывал представление о гибели). В том же году Блок пишет «Искусство и революцию (По поводу творения Рихарда Вагнера)» — имя Вагнера снова возникает в этом контексте идей. «Двенадцать» — триумф раскованного «свободного» стиха, торжество «духа музыки», а «Интеллигенция и революция» — торжество мысли об этом, мысли, противопоставленной концепции Шопенгауэра.

С исчезновением символизма как литературного течения идеи символистов о музыке-культуре, о стихии жизни, о ритмах эволюции, о сходстве и противостоянии гения Вагнера и мысли Шопенгауэра не исчезли. Они с новой силой были подняты в творчестве Томаса Манна — в его «Волшебной горе», «Смерти в Венеции», в его статьях о Вагнере и в очерке «Шопенгауэр». (Здесь мы отсылаем читателя к работам А. А. Федорова о концепции музыки Рихарда Вагнера у Томаса Манна [Федоров 1977; 1981, 68, 114 и след.])

6.4. «Соответствия-корреспонденции»

Среди всех символов особую роль символисты отводили «соответствиям», или «корреспонденциям», — одинаковым показаниям разных чувств. Обычно зрение свидетельствует о свете и цвете, слух — о звуке, осязание — о поверхности, обоняние — о запахе, вкус — о вкусе. Но бывают случаи, когда одно чувство свидетельствует о чем-то, что обычно находится в сфере другого чувства: восприятие цвета вызывает представление о звуке, восприятие звука — представление о шероховатости

или гладкости и т.п. С психологической точки зрения это — явления так называемой синестезии. Но для символистов была важна не психология синестезии, а то, что при этом разные чувства свидетельствуют не только и не просто о вещи, как бывает обычно, когда показания разных чувств, комбинируясь, порождают восприятие и представление

о вещи, а как бы о чем-то, лежащем за пределами воспринимаемой вещи, — о ее «сущности».

Интересно отметить, что это понятие символистов противопоставлено идее позитивистов о том, что вещи — не более как «пучки», или «комбинации», ощущений (ср., например, у Рассела, см. гл. IV, 3).

Идея «корреспонденций» в современном виде была высказана шведским философом-мистиком Сведенборгом (1688— 1772), в литературе развита немецким романтиком Гофманом, а в теорию искусства ее ввел Бодлер. В очерке о выставке живописи «Салон 1846 года» Бодлер писал: «Не знаю, установил ли когда-нибудь какой-либо исследователь аналогий на прочном основании полную гамму цветов и чувств, но вспоминаю одно место из Гофмана, которое точно выражает мою мысль и должно понравиться всем искренне любящим природу: «Не только во сне и в легком забытьи, которое предшествует сну, но также и после пробуждения, когда я слышу музыку, я нахожу аналогию и глубинную связь между цветами, звуками и запахами. Мне кажется тогда, что все они рождены одним и тем же лучом света и необходимо должны соединиться в чудесном согласии. В особенности запах коричневых и красных ноготков производит магическое действие на мой организм: я погружаюсь в глубокие грезы, а вдалеке мне слышатся низкие и глубокие звуки гобоя» [Baudelaire 1954, 615] (Бодлер цитирует из «Крейслерианы» Гофмана, который говорит, скорее, не о ноготках (франц. *soucis*), а о гвоздиках).

Через несколько лет Бодлер сделал эту идею своей поэтической темой в сонете «Соответствия» («Correspondances» в цикле «Цветы зла», 1861 г.):

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe a travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Природа — это храм, в котором живые колонны
Издают время от времени неясные слова;
Человек идет там через лес символов,
Которые следят за ним понимающим взглядом...

(Буквальный перевод наш. — Ю. С.)

В этом сонете есть дальше знаменитая строчка: *Les parfums, les couleurs et les sons se répondent* — «Запахи, цвета и звуки отвечают друг другу».

Еще через 10 лет эта же идея стала темой Рембо в сонете «Гласные»:

А — чёрно, Е — белó, И — краснó, У — зелёнó,
О — сине, тайну их открыл я в некий день.
А — бархатный корсет кишаших насекомых
На куче нечистот, А — глубина и тень.
Е — белизна седин, палаток и тумана,
Нагорных ледников и девственных пелен.
И — сплюнутая кровь, сочащаяся рана,
И грешных алых губ проклятье или стон.
У — циклы и круги зеленых вод океана,
Покой лугов и трав, спокойная нирвана,
Раздумье мудреца над тихою водой.
О — трубный зов небес и скрежет мироздания,
Молчание миров и ангелов витанье,
Омега, ока луч лилово-голубой.

(Перевод наш. — Ю. С.)

На широком фоне поэтики Рембо сонет прокомментирован Н. И. Балашовым, который цитирует слова Верлена: «Я-то знал Рембо и понимаю, что ему было в высшей степени наплевать, красного или зеленого цвета А. Он его видел таким, и только в этом все дело». Получается, что «сила» сонета как раз в субъективной, т.е. с точки зрения символических соответствий ложной проекции идеи... Получается, что лучший хрестоматийный пример символистского стихотворения — это бессознательная («... поэту было в высшей степени наплевать...») мистификация... Рембо, повсеместно прославляемый за символику сонета «Гласные», не был в нем символистом» [Балашов 1982а, 259—260].

Между тем сходные и, следовательно, не абсолютно субъективные ассоциации отмечали и другие. Михаил Чехов писал: «Актёр должен глубоко почувствовать разницу между гласными, выражающими различные состояния человека, и согласными, изображающими внешний мир и внешние события (в слове гром, например, «грм» имитируют гром, а «о» — выражает потрясение человека, его стремление понять, осознать стихию)» [Чехов 1928, 16]. Здесь даже и качество «о» совпадает с тем, что сказано у Рембо. А сине-лиловый луч при раздрающем звуке — только уже не трубы, а скрипок — такой же, как у Блока (см. ниже, 6.5).

Но дело даже не в мере субъективности. Дело в том, что символ — понятие не научное, это — понятие поэтики; он всякий раз значим лишь в рамках определенной поэтической системы, и в ней он истинен.

Система сонета Рембо не была вскрыта, и даже вообще ее присутствие отрицалось. Между тем она есть, и выявляются ее опорные линии. Альфа, А — символ тьмы и материи, которая, градациями, уступает

место свету и духу. В омеге, О — высший свет. И — срединное и красное, символ человека, равно причастного обоим мирам — материи и духа. От альфы до омеги — «пирамида света», такая же, как у Николая Кузанского или у А. Ф. Лосева (см. гл. I, 4, 5). Символ «омега» впоследствии снова был использован (не обязательно взят у Рембо) Тейяром де Шарденом: «точка Омега» — цель духовной эволюции мира, точка, лежащая в будущем, она же — символ Христа Космического, или Христа Эволюции [Тейяр де Шарден 1965]. Таким образом, сонет Рембо читается теперь как сонет о мироздании [подробнее см.: Степанов 1984].

Кроме «корреспонденций» важнейший вид символов символисты находили в аналогиях. Как и символ, аналогия вообще — вечное средство художника, в особенности художника слова, она лежит в основе метафоры, эпитета, сравнения, параллелизма. Но у символистов роль аналогии особая. И здесь опять Бодлер, «предсимволист», дал точную формулировку: «У больших поэтов не бывает метафоры, сравнения, эпитета, которые не вписывались бы математически точно в данные обстоятельства, потому что эти сравнения, метафоры, эпитеты черпаются из неисчерпаемого фонда мировой аналогии (l'universelle analogie) и больше их неоткуда почерпнуть» (Бодлер, «Виктор Гюго» [Michaud 1969, 722]). Символисты употребляли даже термин «закон аналогии», и сама их поэтика в целом в равной мере могла бы быть названа, — даже, пожалуй, вернее, чем «поэтика корреспонденций», — «поэтикой аналогий» [о чувстве мира как целого у символистов см.: Ермилова 1975].

Теория и практика «корреспонденций» одобрена и принята, например, в современном балете, в опере-балете, в цветомузыке, начало которой положил еще композитор А. Н. Скрябин, в некоторых жанрах цветного кино.

Менее известно, что «корреспонденции» принимал Михаил Чехов для всех аспектов драматического театра (не только для цветового и музыкального оформления спектакля). Он, например, взволнованно писал под впечатлением от работы хирурга: «Почему же мы — актеры, творцы годами тренируемся в ловкости, легкости, пластике и не постигаем их даже в половину той силы, которая блещет в творчестве того, перед кем

бьется жизнь? Потому что для нас, для актеров, все мертво в нашем искусстве, все холодными глыбами обступает нас: декорации, костюмы, гримы, кулисы, рампа, зрительный зал с его ложами — все! Кто же убил все это вокруг нас? Мы, мы сами! Мы не хотим понять, что от нас самих зависит, живет или умирает вокруг нас наш театральный мир. Краски... разве они не могут жить? Могут! Взгляните на красную краску: она кричит и радуется, она возбуждает волю, она звучит, в ней слышится «ррррр». Синяя краска, напротив, спокойна, она углубляет сознание, благоговейные чувства рождает в душе... Взгляните на желтую — она излучается в стороны, не знает границ, из центра сияет лучами и не

позволяет обвести себя контурной линией. Зеленая краска, напротив, любит контур, границу и стремится к тому, чтобы ее ограничили. (Письменный, карточный стол ограничен краями и покрыт большей частью зеленым сукном. Это приятно для глаза, но попробуйте ломберный стол покрыть желтым сукном, ограничьте лучи желтой краски краями. Что увидит ваш глаз?) Краска живет, и актер должен знать ее жизнь...» [Чехов 1928, 133].

Не знаем, был ли знаком М. Чехов с теорией цвета и живописи В. Кандинского (книга Кандинского «О духовном в искусстве» вышла в свет на немецком языке в Германии в 1911 г.), но их мысли здесь поразительно близки и в целом, и в деталях.

«Если нарисовать два круга одинаковой величины, — писал Кандинский в упомянутой книге, — и закрасить один желтым, а другой синим цветом, то уже при непродолжительном сосредоточивании на этих кругах можно заметить, что желтый цвет излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку. Тогда как синий круг приобретает концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается». (Обязательно нужно иметь в виду, что у Кандинского все такие наблюдения входят в систему, теорию, и здесь мы извлекаем одно из них из контекста только для беглого сравнения с чеховским.)

Чехов продолжает: «...Краска живет, и актер должен знать ее жизнь. Он играет на красочном фоне и не знает, не чувствует, какая кричащая дисгармония живет в зрительном зале, когда он, например, играет лирическую сцену на красном фоне, или

философствует на желтом, или изображает гнев на синем... А формы на сцене? Их жизнь? Снова произвол художника (заметим ключевое понятие «произвол художника», ниже мы вернемся к нему. — Ю. С.). Как часто мы видим на сцене острые ломаные линии, среди которых играют сцены, насыщенные волевыми импульсами, и это звучит уродливо. Воля требует круглой, кривой и волнистой линии, и только мысль гармонирует с острым углом и с прямой или ломаной линией. А линия человеческого профиля? Знает ли актер, какое действие производит на зрителя его профиль и фас?» [Чехов 1928, 133—134].

Сопоставив эти высказывания, мы видим, что не само по себе явление «соответствий» привлекало художников, а открывающаяся через него идея необходимости, противостоящая и случайности происходящего, «случаю», и произволу художника. Необходимость — вот главная тема искусства, необходимость — вот что в «соответствиях» возникало перед символистами и художниками вообще и очерчивало для них контур новой поэтики.

6.5. Интенциональный мир

К понятию «интенциональный мир», введенному нами на модели Язык-2 (гл. VII), добавим теперь ценнейшее свидетельство Блока — его представление о подобном мире. Термины «возможный мир» и тем более «интенциональный мир» у символистов, конечно, не встречаются, они появились значительно позже (см. гл. VI, 3). Но понятие о «мирах», по которым проходит поэт, у Блока есть. Он посвятил этой теме доклад-статью «О современном состоянии русского символизма» (по поводу доклада Вяч. Иванова, 1910 г.) [Блок 1962, т. 5; далее указываются страницы этого издания].

Блок рассматривает свой мир в динамике, и, чтобы предупредить смешение динамики внутреннего мира поэта с его «внешней историей» (предметом истории литературы), о чем речь не идет, он говорит: «Прежде чем приступить к описанию тезы и антитезы русского символизма, я должен сделать еще одну оговорку: дело идет, разумеется, не об истории символизма; нельзя установить точной хронологии там, где говорится о событиях, происходивших и происходящих в действительно реальных мирах» (с. 426).

Вначале лир поэта дан как «теза»: «*Теза*: «ты свободен в этом волшебном и полном соответствий (т.е. «корреспонденций». — Ю. С.) мире». Твори, что хочешь, *ибо этот*

мир принадлежит тебе... Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... Отсюда — мы: немногие знающие, символисты» (с. 426). (Динамика внутреннего мира художника — теперь один из предметов семиотики.)

За «тезой» наступает «антитеза»: «Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим «анатомическим театром», или балаганом, где я сам играю роль наряду с моими изумительными куклами... Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декадентство*). Жизнь стала искусством, я произвел заклинания, и передо мною возникло наконец то, что я (лично) называю «*Незнакомкой*»: красавица кукла, синий призрак, земное чудо.

Это — венец антитезы. И долго длится легкий, крылатый восторг перед своим созданием. Скрипки хвалят его на своем языке» (с. 430).

Далее Блок добавляет один штрих, который есть, может быть, главная черта всякого интенционального мира: «Созданное таким способом — заклинательной волей художника и помощью многих мелких демонов, которые у всякого художника находятся в услужении, — не имеет ни начала, ни конца; оно не живое, не мертвое» (с. 430).

Сущее в воображаемом мире — не живое и не мертвое; это некое срединное бытие между реальностью и беспочвенной фантазией. Такой взгляд на произведения искусства разделял Лермонтов:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой...
«Портрет»

Идея Лермонтова восходит, как полагают, к сходной идее Шиллера, взгляды которого отражают некоторые основные положения эстетики Канта, и, наконец, сама идея «срединного бытия» — бытия между реальностью и фантазией — восходит к понятию древнегреческой философии «метаксю» (см. также гл. 1, 2). Это — ретроспектива по эстетической линии.

По линии логики интенциональный мир — это логически возможный, но не обязательно реально существующий мир. Его существа, его «сущее», следует мыслить как то, логическое определение чего не содержит в себе противоречия; так, данный,

нарисованный, скажем, мелом на доске квадрат принадлежит реальному, данному миру; «круглый квадрат» — есть чистая фантазия, соединение понятий «круглый» и «квадрат» несет в себе противоречие; понятие же «квадрат», имеющее известное логическое определение, и определение непротиворечивое, обладает существованием в интенциональном мире, даже когда никакой квадрат нигде не изображен, и, следовательно, не существует в данном реальном мире. Обозначение этих различных видов бытия составляет некоторую проблему. Если обозначить высшую степень обобщения по этой линии словом «бытие» (англ. being), тогда все, что обладает бытием, какого бы рода ни было это бытие, есть «сущее» (чему соответствует греческий термин *τὰ ὄντα*); то, что обладает бытием в интенциональном мире (в любом интенциональном мире), «субзистирует», а соответствующий вид бытия есть «субзистенция» (англ. to subsist, subsistence); то, что обладает бытием в реальном мире, «существует», или «экзистирует» (англ. to exist, existence), а соответствующий вид бытия есть «существование», «экзистенция» — это, следовательно, существование во времени, тогда как интенциональный вид существования — это существование вне времени. (Возможно, впрочем, что для некоторых целей модальных и интенциональных логик может потребоваться понятие существования в интенциональном смысле и притом во времени, тогда потребуются особый термин.) Изложенное здесь обозначение в основном соответствует терминологии раннего Рассела, как она изложена, например, в его работе «Проблемы философии» (гл. IX) [Рассел 1914]. (В приведенном здесь рассуждении термин «бытие» (англ. being) не имеет собственного содержания, а является лишь логическим обобщением, «шапкой», для двух частных — existential «бытие во времени» и subsistentia «бытие вне времени» или «бытие в вечности». Однако вообще для философии языка, особенно в связи с проблемами, рассматриваемыми в Части III настоящей книги, нужно иметь в виду, что этот «общий» термин в другой линии рассуждений имеет и собственное содержание. Так, если математические истины, числа, пропорции, геометрия идей, управляющих тварным миром, и т.п. принадлежат «тварной вечности», или «вечности эонической», имеют «субзистенцию», то «бытие» и, соответственно, «нетварная, божетвенная вечность» не могут быть определены ни существованием во времени (что самоочевидно), ни существованием вне времени как в «вечности тварной». Токае бытие и такая вечность трансцендентны названным. Они принадлежат Богу и не могут получить определения, подобного определениям других

видов бытия. Принцип апофатики (см. выше) «запрещает нам мыслить Живого Бога в соответствии с вечностью законов математики», — говорит В. Н. Лосский [Лосский 1991, 234]. В патристике Восточной церкви было предметом вековых дискуссий — какой вид бытия следует приписать Христу в отличие или в соглас с видом бытия, присущим Богу Отцу [см.: Спасский 1914, 172 сл.]. во всяком случае, в греческом языке патристики термин «истинно сущий» имеет два соответствующих значения, выделяемых в словарях под разными номерами.)

Вернемся к интенциональному миру, или мирам, Блока. Блок продолжает: «Ценность этих исканий состоит в том, что они-то и обнаруживают с очевидностью *объективность и реальность* «тех миров»; здесь утверждается положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть «наши представления», то есть что «теза» и «антитеза» имеют далеко не одно личное значение. Так, например, в период этих исканий оценивается по существу *русская революция...* в противовес суждению вульгарной критики о том, будто «нас захватила революция», мы противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений... тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах» (с. 431).

В рамках своего интенционального мира, даже многих миров, Блок оценивает «корреспонденции». На этапе «тезы»: «Миры, предстающие взору в свете лучезарного меча, становятся все более зовущими; уже из глубины их несутся щемящие музыкальные звуки, призывы, шепоты, почти *слова*. Вместе с тем они начинают *окрашиваться* (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является тот цвет, который мне всего легче назвать пурпурно-лиловым (хотя это название, может быть, не вполне точно). Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров, разгорается ослепительно — и пронзает сердце теурга. Уже начинает сквозить лицо среди небесных роз; различается голос...» (с. 427).

На этапе «антитезы» все меняется: «Как бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес; лезвие лучезарного меча меркнет и перестает чувствоваться

в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак

(лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням» (с. 428). «Для этого момента характерна необыкновенная острота, яркость и разнообразие переживаний. В лиловом сумраке нахлынувших миров уже все полно соответствий, хотя их законы совершенно иные, чем прежде...» (с. 429).

На фоне этих превращений миров развертывается составляющая их основное содержание любимая тема Блока: превращения Девы — Незнакомки — Мудрости-Софии, и в конце за всем этим встанет, как сказал Андрей Белый, один лик — Россия (см. гл. I, 2).

Творчество по законам логики в воображаемых мирах (в интенциональных мирах) — одна из основ новой поэтики. Мысль Блока — если наблюдать процесс с нашей, теперешней точки зрения — нашла соответствие в искусстве театра. Михаил Чехов выразил это, как всегда, в предельно точных терминах: «Наконец, еще одна мысль, одно ощущение стало овладевать мной. Это — ощущение творчества внутри самого себя. Творчество в пределах своей личности. Смутно угадывал я разницу между человеком, творящим *вне себя*, и человеком, творящим *в себе самом*. Я не мог тогда понять этой разницы с ясностью, с какой она выступает передо мной теперь (в 1927 г. — Ю. С.). По опыту я знал только об одном виде творчества: вне себя. Мне представлялось, что творчество не подвластно воле человека и направление его зависит исключительно от так называемого «природного предрасположения» [Чехов 1928, 119]. Показывая дальше, как ему удавалось мало-помалу овладевать творческой энергией, вызывать в себе волевой импульс, Чехов натолкнулся на тот же вопрос, который уже раньше возник перед французскими символистами, — о противостоянии творчества «случаю» (см. гл. I, б.1). Пессимизм «все яснее ставил перед моим сознанием свои невыносимые вопросы о цели, о смысле и пугал меня неразрешимостью вопроса жизни без нахождения закона справедливости, которая одна только может бороться с жестокостью и бессмыслицей *случая*» [там же, с. 120].

«Справедливость» в терминах Михаила Чехова, или «законосообразность», «оптимистическая сущность жизни», противостоящая «случайности», «случаю» как в самой жизни, так и в искусстве, — общая черта новой поэтики, которую начал создавать символизм.

У ранних, в особенности у французских, символистов рядом с этим положением существовала концепция так называемой «пассивной записи»: художник, как медиум, должен терпеливо ждать, пока скрытый мир не проявится через его сознание, — и тогда художнику останется только «записывать». Эта концепция справедливо критиковалась в наши дни с позиций противопоставленного творческого метода — реализма (см. Предисловие).

Концепция «пассивной записи» играет важнейшую роль в творчестве и в теории Михаила Чехова. Она связана, если перевести это понятие в термины Чехова, с «чувством целого», с «предощущением будущего художественного целого». «Как часто актеры, — пишет Чехов, — имея перед началом работы это предощущение будущего, не имеют при этом достаточной смелости для того, чтобы довериться ему и терпеливо ждать. Они выдумывают и вымучивают свои образы, изобретая характерность и искусственно сплетая ее с текстом роли и с выдуманными жестами и нарочитой мимикой. Они называют это работой. Да, конечно, и это — работа, тяжелая, мучительная, но ненужная. В то время как работа актера в значительной мере заключается в том, чтобы ждать и молчать не «работая» [там же, с. 32].

Про себя Чехов говорит: «Я никогда не выдумывал деталей и всегда был только *наблюдателем* (курсив наш. — Ю. С.) по отношению к тому, что выявлялось само собой из ощущения целого» [там же, с. 31]; играя, например, Муромского (в «Деле» А. В. Сухова-Кобылина), «остаюсь до некоторой степени в стороне от него и как бы наблюдаю за ним, за *его игрой*, за *его жизнью*, и это стояние в стороне дает мне возможность приблизиться к тому состоянию, при котором художник очищает и облагораживает свои образы, не внося в них ненужных черт своего личного человеческого характера» [там же, с. 148].

Таким образом, назначение и «пассивной записи» символистов, и «наблюдения со стороны» Чехова — одно и то же: освободить свое произведение от черт случайного. Кажется, что принцип Чехова выступает как своеобразный синтез подходов Станиславского и будущего, в то время еще не возникшего как реформатор театра, Брехта: Чехов не живет в образе, а изображает, как Брехт, но изображает не копию действительности, а явившийся ему образ.

Глава II
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVII В.
(МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

XVII в. не представляет единой парадигмы философии языка, это — период «нетипичный». Но что такое «тип» вообще?

Когда, к примеру, лингвисты говорят, что имеется определенное количество языков, распределяющихся, скажем, по двум типам — «номинативному», как индоевропейские, и «активному», как масса индейских, и примерно такое же количество языков, в которых черты того и другого типа смешаны и которые поэтому не образуют никакого типа, а являются лишь «промежутком» между типами, то что дает нам право говорить о первых типах? Не является ли более типичным состоянием языка, «типом» как раз второе — состояние невыраженности, недоведенности до предела резких и определенных черт? И, может быть, XVII в. — как раз типичное состояние философии языка, состояние «сuspенсии», смеси противоречивых признаков и незавершенных поисков определенности?

Как бы то ни было, XVII в. должен быть охарактеризован именно так. Еще продолжала существовать, вместе с остатками схоластики, философия имени (и все к тому же предвещало ей долгую, быть может вечную, хотя и периферийную, жизнь), и наряду с ней, отрицая ее, возникла философия Декарта — начало философии нового времени, чреватая новой, и даже не одной, парадигмой философии языка.

Беря как опору философии «мое Я», Декарт — одновременно и тем же самым мощным жестом — обезличил внешний мир. Мир предстал теперь лишь как механическая система, наделенная определенным количеством движения. Сам человек, за пределами его внутреннего «Я», его мышцы, аффекты, поведение, выглядел теперь как механизм. В области философии языка этот толчок в двух направлениях привел к возникновению двух парадигм.

С одной стороны, механический объективный мир для своего описания требовал языка как системы отношений, освобожденного от двусмысленностей, а вместе с ними и от красот, языка точного, ясного, рационального, формализуемого. XVII в. — время работ по искусственным формальным языкам, начатых Декартом и продолженных

Лейбницем с его замыслом универсального математически формализованного языка «characteristica universalis». Спиноза, со своей стороны, способствовал

созданию фундамента этих представлений. Все это получает завершение в XX в. во второй (после философии имени) парадигме — в философии предиката.

С другой стороны, «мыслящая субстанция», «Я», не менее властно требовала языка для описания состояний духа; более того, она требовала искать в самом языке его скрытую основу — «Я». Здесь коренится исходный принцип третьей парадигмы, развитой также лишь в XX в. и называемой нами философией эгоцентрических слов. Из «великих XVII в.» лишь один Паскаль мыслил в этом духе.

Духовную — философскую, научную, художественную — атмосферу этого века точно обрисовал Поль Валери, говоря о Декарте (его очерк возник из речи «Декарт», произнесенной на открытии IX Всемирного философского конгресса в Париже в 1937 г.; конгресс был приурочен к 300-летию выхода в свет декартовского «Рассуждения о методе»). Валери писал: «Вся его философия, осмелюсь сказать — вся его наука, геометрия и физика, невольно выдают, молчаливо предполагают, используют его понятие «Я». Нельзя не почувствовать, что его основной текст, «Рассуждение о методе», — это монолог, в котором страсти, идеи, жизненный опыт, честолюбивые устремления и умолчания продиктованы одним и тем же внутренним голосом. Погружая этот замечательный текст в духовную атмосферу его эпохи, нельзя не заметить, что этой эпохе предшествовало время Монтеня, что монологи последнего как бы известны принцу Гамлету, что дух сомнения витал в воздухе, насыщенном разногласиями, и что этот дух, отразившись в математически устроенной голове, скорее всего должен быть принять в ней вид системы и вылиться в конечную формулировку в том акте, который его же и выражает: «Я сомневаюсь, значит, я могу быть уверен по крайней мере в том, что сомневаюсь» [Valéry 1957, 818].

1. ДЕКАРТ И ЛЕЙБНИЦ

Среди написанного Рене Декартом (1596—1650) только один документ имеет прямое отношение к языку — письмо к аббату Мерсенну от 20 ноября 1629 г. В нем содержится идея искусственного универсального формализованного языка.

Мерсенн прислал философу напечатанный по-латыни проспект неизвестного автора касательно всемирного, или универсального, языка. Декарт в своем ответе резко критикует этот проспект и, как обычно, в ходе разбора формулирует собственные идеи. Автор предложений считал, в частности, что такой язык должен интерпретироваться с помощью словаря. Декарт замечает на это, что тут не было бы еще никакого новшества, что так обычно поступают все образованные люди применительно к любому языку. Суть дела, пишет Декарт, в грамматике: если в

грамматике такого языка не будет ни дефективных, ни неправильных склонений и спряжений, а все они будут установлены единообразно с помощью префиксов и суффиксов, записанных и определенных в словаре, то последний простолюдин сумеет пользоваться этим языком с помощью того самого словаря, о котором говорилось раньше.

Этот проект был почти буквально реализован Заменгофом (в 1887 г.) при создании им искусственного языка эсперанто.

Но Декарт невысоко оценивает такой утилитарный язык, он мечтает о философском языке и пишет: «Я считаю, что к этому можно было бы добавить одно Изобретение для образования исходных слов такого языка и придания им соответствующих свойств, так что этому языку можно было бы обучиться за весьма короткое время благодаря порядку, т.е. установив порядок между всеми мыслями, какие могут быть в человеческом уме, подобно тому как имеется порядок в числах. Как можно за один день выучиться называть на незнакомом языке все числа до бесконечности, а также записывать их, — а ведь это бесчисленное множество различных слов, — так же можно поступить и со всеми другими словами, необходимыми для выражения всего, что попадает в человеческий ум. Если это будет изобретено, я не сомневаюсь, что такой язык весьма скоро получит хождение во всем мире, ведь найдется масса людей, которые охотно затратят пять-шесть дней, чтобы взамен получить возможность быть понимаемыми всеми. Изобретение такого языка зависит от истинной философии, ибо иначе невозможно исчислить все мысли людей, расположить их в порядке или хотя бы только различить их, так чтобы они предстали ясными и простыми. Вот в чем, по моему мнению, самый большой секрет для того, чтобы овладеть нужной [для этого] наукой. Если бы кто-нибудь сумел объяснить, каковы те простые идеи, которые обретаются в

мышлении людей и из которых складывается все, что люди думают, и если бы с этим согласились все, то, смею надеяться, тотчас же появился бы всеобщий (универсальный, universelle) язык, весьма легкий для овладения, произношения и письма, и, самое главное, язык, который помогал бы разуму, представляя ему все предметы в таком отчетливом виде, что ему было бы почти невозможно ошибаться. Теперь же, напротив, едва ли не все слова, которыми мы владеем, имеют столь запутанные значения, к которым, однако, ум людей давно привык, что по этой причине он почти ничего не понимает как следует. Так вот, я утверждаю, что такой язык возможен и что можно открыть Науку, от которой он зависит, и тогда посредством этого языка простые крестьяне могли бы лучше судить об истине вещей, чем теперь это делают философы» [Couturat, Leau 1907, 13].

Идея комбинаторики понятий, интересовавшая уже Луллия, в XVII в. расширяется до идеи искусственного языка вообще. Возникшее в 1662 г. Лондонское Королевское общество (английская академия наук) организовало целый кружок ученых, задачей которых было создание искусст-

венного языка, приспособленного для систематизации и классификации знаний [см.: Кузнецов 1983, 30—31]. Девятнадцатилетний Ньютон отдал дань этой идее, придумав свой проект универсального языка (рукопись Ньютона 1661 г. была опубликована и обсуждена лишь в наши дни [см.: Elliott 1957]).

Изложенная выше картезианская идея всю жизнь занимала Лейбница (1646—1716). (Из-за этой главной линии связи мы и считаем возможным объединить здесь Декарта и Лейбница.)

Общие соображения Лейбница относительно основанного на Декартовой идее универсального языка (*characteristica universalis*) и связей этого проекта с логикой достаточно хорошо известны [см., например: Стяжкин 1967, 198—241]. Менее известны практические попытки Лейбница реализовать эту идею. Между тем он подверг семантическому анализу сотни обиходных слов и терминов философии на латыни, языке тогдашней науки. Анализ в понимании Лейбница — и это вполне современное понимание — означает, что термин должен быть сведен к уже определенным терминам и к некоторому, по возможности наименьшему, числу неопределяемых терминов. Свои семантические толкования Лейбниц сгруппировал в разделы, своего рода семантические

поля, а всю работу в целом назвал по-французски: «Tables des définitions» («Таблицы дефиниций»). (Впервые она была издана по рукописи в 1903 г. — «Opusculæ et fragments inédits de Leibniz. Par L. Couturat. P. 437—509 p., а ее большая часть переиздана с параллельным польским переводом в 1975 г. в Польше [Leibniz 1975].)

Приведем несколько примеров. В поле общих философских понятий, с которого начинаются таблицы, Лейбниц, разумеется в полном соответствии со своей философией, дает:

Ens, res quod distincte concipi potest — «*Сущее — вещь* — то, что может быть ясно понимаемо». (Мы думаем, что здесь допустимо также, ради большей естественности русского выражения, переводить *ens* как «сущность», имея, однако, в виду все сказанное о сущности в предыдущих разделах; здесь это, скорее, первая сущность.)

Existens quod distincte percipi potest — «*Существующее* — то, что может быть ясно воспринимаемо».

Abstracta sunt Entia, quae discriminant diversa praedicata ejusdem Entis — «Абстрактное — те сущие [сущности], которые отдельно представляют предикаты одного сущего». Пример Лейбница здесь: «Хотя случается, что один и тот же человек есть и ученый и благочестивый, однако нечто различное — ученость и благочестивость, которые называются абстрактными сущими [сущностями] и считаются присущими (*inhaerere*) человеку как субъекту [подлежащему, субстрату]». В квадратных скобках для уточнения добавляем термины, не содержащиеся в тексте Лейбница).

Concretum est cui Entia inhaerent, et quod non rursus inhaeret. Nam interdum fit, ut abstracta inhaereant aliis abstractis, v. gr. magnitudo calori, cum calor est magnus. Et

—262—

abstracta abstractorum indicantur adverbis: v. gr. calet valde, vel est calidus valde, id est habens calorem magnum... — «*Конкретное* есть то, чему присущи сущие [сущности] и что само ничему не присуще. Ибо иногда бывает так, что абстрактные сущие [сущности] присущи другим абстрактным, например «сила тепла» [букв. ‘великость тепла’], когда тепло сильное [большое]. А абстрактные абстрактных указываются наречиями: например, «греет сильно», или «сильно нагретый» [очень теплый], т.е. имеющий большое тепло». Здесь же Лейбниц делает примечание: «Следует различать *Ens concretum* — Сущее конкретное, то, о котором говорится, и конкретный термин *terminus concretus*. Когда мы говорим «сильное [большое] тепло», то здесь это большое, *magnum*

hoc, есть Сущее абстрактное, а именно тепло; но *magnum*, большое, есть конкретный термин».

Accidens est ens abstractum derivatum, et opponitur abstracto primitivo seu constitutivo, quod vulgo vocant formam substantialem, et voce Aristotelis dici posset... Entelechia... — «*Акциденция* есть сущее абстрактное производное, противопоставляется абстрактному первичному или конститутивному, обычно называемому субстанциальной формой, а по Аристотелю можно было бы сказать... энтелехией...»

Corpus est extensum resistens — «*Тело* есть протяженное, оказывающее сопротивление (т.е. то протяженное, которое оказывает сопротивление. — *Ю. С.*)» [там же, с. 8].

В поле, называемом «Модусы существования» («*Modi existendi*»), Лейбниц дает, в частности:

Независимый — такой, который по природе не требует ничего предшествующего себе и который не имеет чего-либо недостающего.

Зависимый — обратное предыдущему...

Иметь — говорится, что А имеет, а В имеется у А, если В существует так, что им может воспользоваться А» [с. 34].

В поле «Главные страсти» («*Passiones principales*») Лейбниц анализирует такие термины:

Восхищение (любование, *admiratio*) есть внимание к необычному (т.е. сосредоточение внимания на чем-либо необычном. — *Ю. С.*)

Любить — находиться в состоянии удовольствия из-за счастья другого или, если мы говорим, что некто или нечто любимо без рассудочного основания (*irrationalia*), — из-за его совершенства.

Независть — состояние удовольствия от противоположного предыдущему» [там же, с. 62] и т.д.

Внимание, лежащее в основе определения восхищения, само определяется в другом разделе, «Акты, пограничные со Страстями», как «размышление с желанием познания» [там же, с. 64].

Лейбницеvские таблицы заслуживают детального анализа, но здесь нам приходится ограничиться несколькими наблюдениями.

Лейбниц подметил, что термины, как и слова обиходного языка (латынь была все еще обиходным языком ученых), группируются в

поля, в каждом из которых легче подметить общее. Так, в последнем примере общим является «удовольствие», которое входит в разные определения; этот термин, следовательно, оставаясь словом описываемого языка, латыни, одновременно выступает в качестве семантического компонента определений (Лейбниц использует здесь особое свойство естественного языка [о нем см.: Степанов 1981, 129—130]). Это прием компонентного анализа, детально развитый впоследствии в лингвистике XX в.

Многие термины определяются взаимно, как конрадикторные, посредством термина «обратное» (*contra, contrarium*). Они могут быть осознаны как одно и то же, взятое в одном случае со знаком +, в другом —. Некоторые термины, однако, определяются хотя и взаимно и тоже через отрицание, но последнее носит иной характер. Это видно на следующем примере (из раздела «*Consentanea et Dissentanea*» — «Согласующееся и Несогласующееся»):

«*То же самое* — то, что может заменить само себя при сохранении истинности (*salva veritate*).

Различное — то, что иначе (*Diversa, quae secus*)» [Leibniz 1975, 38].

Здесь термин *secus* ‘иначе, иным образом’ означает тоже отрицание, но без подставления конрадикторного члена — просто отсутствие положительного члена; такое отрицание может быть уподоблено нулю (в лингвистике оно широко используется как обозначение ничем не отмеченного, «немаркированного» члена оппозиции).

Нам кажется, что в связи с этой работой Лейбница, как непосредственное продолжение этих идей, находится сочинение Канта «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин» (1763). Некоторые места в нем почти буквально напоминают Лейбница: «Отвращение можно назвать отрицательным желанием, ненависть — отрицательной любовью, безобразие — отрицательной красотой, порицание — отрицательной похвалой... Ошибка, в которую впадают многие философы, пренебрегая этим, очевидна. Известно, что в большинстве случаев они рассматривают зло как простое отрицание, между тем как из наших объяснений явствует, что существует зло как отсутствие (*mala defectus*) и зло как лишение (*mala privationis*), оно поэтому есть отрицательное благо. Не дать что-то — значит причинить зло тому, кто

нуждается в этом, но отнять, вынудить, украсть будет гораздо большим злом; изъятие есть отрицательное деяние. Нечто подобное можно указать и в логических отношениях. Ошибки суть отрицательные истины (не следует смешивать это с истинностью отрицательных суждений), опровержение есть отрицательное доказательство» [Кант 1964а, 97].

Основная проблема «Таблиц», только частично, вероятно, осознанная самим Лейбницем, связана с этими понятиями — «противоположное», т.е. «то же со знаком минус», и «иное», т.е. «не то же в смысле нуль». Сам термин «противоположное» (*opposita*) определяется как «то,

что не может ни одновременно быть, ни одновременно не быть» [Leibniz 1975, 38] (в том же поле, что предыдущие примеры). Очевидно, что это определение как-то соответствует, в остальной части философии Лейбница, тому различию, которое он проводит между «истинами факта» (это то, противоположное чему возможно) и «истинами логическими» (это то, противоположное чему невозможно). Определение «противоположного» явно не относится к истинам факта, но, отодвигаясь тем самым в план логики, оно вместе с тем как бы изъято из логических отношений. Похоже, что Лейбниц нащупал здесь какое-то явление, относящееся к интенциональному миру и подобное декартовскому «Я мыслю, следовательно, я существую».

У Канта гораздо более определенно различаются логические противоположности и реальные противоположности. Работа Канта сыграла большую роль в выработке его понятия антиномий и тем самым во всей системе его философии.

Хотя предметом семантического анализа Лейбница являются слова латинского языка его времени, за ними стоят как их фон соответствующие слова живых европейских языков с их повседневными употреблениями. Не говоря уже о конкретных словах, таких, как «чернила», «кафедра», «сладкий» (определяемый через «вкус сахара») и т.п., явно связанных с реалиями лейбницевого века, все определения аффектов и страстей пронизаны моральными представлениями этого времени, а вовсе не ассоциациями латинских слов с понятиями римской эпохи. Латинский язык выступает здесь лишь как покров, как средство отвлечься от слишком индивидуальных контекстов живых европейских языков, прежде всего французского и немецкого.

Действительно, в отличие от Декарта и сходно со Спинозой, Лейбниц интересовался не только искусственным языком, но и живыми языками своего времени. Если Спиноза подверг философскому истолкованию древнееврейский язык, то Лейбниц проделал ту же работу с немецким. Задолго до Гумбольдта Лейбниц начал говорить о духе языка (кажется, впрочем, не употребляя этого термина); он видел, например, «силу немецкого языка» в выражении конкретного и в сопротивлении «химерам нереальности», но в то же время, выступая теоретиком живого языка, видел и слабость немецкого языка — в отсутствии в нем, в его тогдашнем состоянии, слов для выражения абстрактных понятий логики, метафизики, этики, юриспруденции и, обращаясь к будущему, приглашал ученых создавать такие слова (отсылаем читателя к книге Сигрид фон дер Шуленбург, написанной в 1929—1939 гг. [Schulenburg 1973]).

Вернемся к Декарту. У него можно найти еще один, слабый, источник лейбницеvской системы определений — в Декартовых опытах определения страстей. В трактате «Страсти души» (в его II части) Декарт говорит о том, «каково назначение страстей и как их можно и с ч и –

—265—

с л и т ь (п. 52; разрядка наша. — Ю. С.)» [Декарт 1914, 153]. Для этого, по его мнению, следует только рассмотреть, сколькими разными способами наши чувства могут быть затрагиваемы их объектами. «Число простых и первоначальных страстей не особенно велико. Легко заметить, что их только шесть, а именно: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, а прочие либо составлены некоторыми из этих шести, либо суть их виды» (п. 69) [там же, с. 158]. Так, *удивление*, по Декарту, есть первоначальная страсть, оно не имеет противоположного и определяется очень сходно с тем, как это делает позднее Лейбниц: «Удивление есть внезапная неожиданность для души, побуждающая последнюю обсуждать внимательно предметы, которые кажутся ей редкими и выдающимися» (п. 70).

Но в целом «исчисление» страстей у Декарта только намечено; его задачей здесь было иное — установить взаимодействие души и тела и содержание «состояний души», страстей. Это наброски Декартовой психологии, а не логики.

Полтора или два десятилетия назад часть американских лингвистов, побуждаемая внутренними потребностями своего направления, генеративной грамматики, обратилась к Декарту. На этом эпизоде истории науки интересно остановиться. Выражая это

устремление к истокам, Н. Хомский писал, что, по его мнению, существовала глубокая аналогия во взглядах на язык между картезианской наукой XVII в. и генеративной лингвистикой. Он видел эту аналогию в трех конкретных положениях, которые выдвигал он сам и, по его мнению, также Декарт: 1) использование языка во всяком акте его употребления человеком носит новаторский, творческий характер, который невозможно объяснить подражанием каким-либо «моделям», существующим всегда в небольшом числе; 2) нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими-либо внешними или внутренними стимулами, доступными наблюдению; 3) каждый акт нормального использования языка обладает связностью и соответствием ситуации [Хомский 1972, 23].

Конечно, прямо эти утверждения нельзя найти у Декарта, и, безусловно, они явно относились не к языку, а к мышлению; вместо слова «язык» в них всюду можно подставить слово «мышление» без того, чтобы изменилось их содержание. Это выяснилось очень скоро. Уже в третьей главе той же книги (представляющей самостоятельную лекцию) Хомский писал: «Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик (в сознании каждого ребенка, впервые овладевающего языком. — Ю. С.) при заданных

—266—

ограничениях доступа к данным» [там же, с. 97]. Эта гипотеза явным образом связывалась с теорией врожденных идей Декарта, и в этом и заключалось действительное основание для аналогий с XVII в. Вполне понятно также, что постулируемая «врожденная структура» оказалась не чем иным, как генеративной грамматикой самого Хомского.

Но ко времени появления этой гипотезы Хомского в Европе уже существовала разработанная теория развития мышления (в онтогенезе), и в частности теория усвоения языка ребенком — «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже. Естественно, что гипотеза Хомского должна была войти с ней в конфликт. Дискуссия между представителями того и другого направлений продолжалась ряд лет, пока наконец оба направления не встретились, в окружении сторонников, за «круглым столом» для выяснения отношений

[материалы этой встречи см.: *Théorie du langage* 1979; Семиотика 1983]. Оба лидера признали, что между их теориями существует общее: обе постулируют «врожденное ядро» (*poiau fixe*). Но если Хомский видит его, как уже сказано, в своей генеративной грамматике, то Пиаже связывает его с функцией символизации, которая на определенном этапе развития индивида от ребенка до взрослого превращается в пропозициональную функцию. Этим указанный эпизод истории науки можно считать исчерпанным. (Его дальнейшие последствия, вполне актуальные, относятся уже к специальным областям психологии. Что касается языка, то нам представляются верными положения Пиаже, и мы старались исследовать понятие пропозициональной функции в языке и искусстве слова [Степанов 1981; 1983].)

Подлинное значение для философии языка и современной теоретической лингвистики имеют не «врожденные идеи» Декарта, а его концепция «Я».

Развивая свое положение «Я мыслю, следовательно, я существую» (*Je pense, donc je suis*), во Втором из «Метафизических размышлений» Декарт писал: «*Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent*» [Descartes 1960, 128] — «Но что я такое? Вещь, которая мыслит. Что такое вещь, которая мыслит? Это вещь, которая сомневается, которая понимает, которая представляет, которая утверждает, которая отрицает, которая хочет, которая не хочет, которая еще воображает и ощущает».

С одной стороны, эта декартовская «эnumerация», «полное перечисление», как он любил говорить, почти целиком отвечает типам «интенциональных актов, интенциональностей» у Гуссерля (см. ниже, гл. V, 2). Таким образом, опередив свой век, Декартово учение о «Я» стало первым камнем в фундаменте новой философии языка, «философии эгоцентрических слов» XX в.

С другой стороны, этот перечень предикатов довольно хорошо соответствует «субстанции» в «дереве Порфирия» (см. гл. I, 2) [см. также:

Степанов 1981, 74], начиная с его ветви «Тело», с тем коренным различием, что у Декарта это — субстанция как раз непротяженная, т.е. не тело. Декарт располагает субстанции в иерархию в соответствии с мерой их объективной реальности, их бытия. Таким образом, для Декарта (как он сам говорит об этом, в частности в «Третьих

возражениях», п. 9) бытие имеет степени, они же — степени совершенства, идущие вниз от высшей, от бога. И, поскольку это иерархия сущностей, это все еще философия имени. Она оставляет странное впечатление — человеческого тепла и космического холода одновременно. Как хорошо подметил Валери, «это прогрессия от нуля в позитивную бесконечность. Каждый термин этой упорядоченной последовательности получает свою долю объективной реальности от высшего термина, который передает ему часть своего совершенства, подобно тому как более теплое тело отдает часть своего тепла менее теплому, которое прикасается к нему» [Valéry 1957, 830].

2. СПИНОЗА

Языковая философия Бенедикта Спинозы (1632—1677) предстала теперь достаточно полно благодаря открытию заново его «Очерка грамматики еврейского языка» («*Compendium Grammatices linguae hebraeae*»), т.е. грамматики классического еврейского, в частности языка библейских текстов. Впервые очерк был опубликован в 1677 г. в посмертном собрании сочинений философа. Но, написанный по-латыни, с массой древнееврейских примеров и терминов и к тому же неоконченный, он оставался в существе своем непрочитанным. Положение изменилось, когда в 1968 г. очерк был переведен на французский язык и издан с комментариями [Spinoza 1968; ниже указываются страницы этого издания].

В некотором отношении Спиноза предстает в своем труде как «философ имени» и даже доводит постулат этой философии до крайности, рассматривая все части речи (кроме междометий и союзов) как имена. Однако одновременно в другом отношении он подрывает основы этой философии и выступает, как теперь видно в ретроспективе, первой крупной фигурой новой философии языка — философии предиката.

В гл. V («Об имени») он пишет: «В латинском языке речь делят на восемь частей, но применительно к еврейскому в этом можно усомниться. В самом деле, если исключить междометия, союзы и одну или две частицы, все слова еврейского языка имеют значение и свойства имени» (с. 65). Но уже определение имени у Спинозы весьма своеобразно. «Объясню теперь, что я понимаю под именем. Под именем я разумею слово, которым мы означиваем или указываем что-либо, подпадающее под наше понимание. А поскольку под понимание подпадают или вещи, их атрибуты, их модусы и

их отношения, или действия, а также их модусы и их отношения, то нетрудно собрать виды имен... Есть шесть

видов имен: 1) имя существительное, разделяемое на имя собственное и имя нарицательное, 2) прилагательное, 3) релятив или предлог, 4) причастие, 5) инфинитив, 6) наречие. Следует добавить также местоимение, которое замещает имя существительное» (с. 66—67).

Уже в связи с этим ключевым пунктом возникает вопрос (который затем можно отнести ко всем основным пунктам «Грамматики»): является ли «Грамматика» Спинозы еще одной сферой приложения принципов спинозизма — после метафизики, этики, политики еще и язык? Несомненно да, и это показывает в своем предисловии к ней Ф. Алькье. Но речь должна идти о чем-то большем.

Думается, что грамматика еврейского языка явилась для Спинозы и источником некоторых его философских идей.

Прежде всего еврейский язык, конечно, интересовал Спинозу в связи с толкованием библейских текстов. Об этом говорят прямые соответствия между «Грамматикой» и некоторыми частями «Богословско-политического трактата». В последнем Спиноза писал: «Не зная метода, мы ничего не можем определенно знать, чему хочет учить Писание, или святой дух. А этот метод истолкования Писания, коротко говоря, не отличается, по-моему, от метода истолкования природы, но согласуется с ним совершенно. Ибо как метод истолкования природы состоит главным образом в том, что мы излагаем собственно историю природы, из которой, как из известных данных, мы выводим определения естественных вещей, так равно и для истолкования Писания необходимо начертать его правдивую историю и из нее, как из известных данных и принципов, заключать при помощи законных выводов о мысли авторов Писания... Следовательно, общее правило толкования Писания таково: не приписывать Писанию в качестве его учения ничего, чего мы не усмотрели бы самым ясным образом из его истории... Она должна содержать *природу и свойства языка* (курсив наш. — Ю. С.), на котором книги Писания были написаны и на котором их авторы обыкновенно говорили...» [Спиноза 1957, т. 2, 106—107]. Это положение может рассматриваться как одно из первых по времени установлений герменевтики.

Спиноза сумел увидеть в языке вообще элементы картины мира ив еврейском языке — элементы особой картины мира, которая, по-видимому, представлялась ему наиболее адекватной картине мира, создаваемой его собственной философией. По нашему мнению, в этих положениях Спинозы впервые появляются весьма определенные элементы той гипотезы, которая получила развитие в XX в. в двух вариантах — как гипотеза «промежуточного мира» (*Zwischenwelt*), каковым представляется язык, как бы стоящий между действительностью и сознанием, созданная Л. Вейсгербером в Германии, и как «гипотеза языковой относительности», или гипотеза Сепира— Уорфа, в США. В связи с той либо другой Спиноза никогда не упо-

минался. Основной тезис обеих концепций, как известно, гласит, что тот или иной этнический язык активно, хотя и неосознанно для его носителей, формирует их представления об объективном мире вплоть до основных категорий времени и пространства; так что, например, эйнштейновская картина мира была бы иной, если бы она создавалась на основе, скажем, языка индейцев хопи [о первой гипотезе см.: Гухман 1961, о второй: Новое в лингвистике 1960]; только что появилось почти исчерпывающее двухтомное исследование [Радченко 1997]

Вернемся к основному положению спинозовской «Грамматики» — об имени. Обнаружив (или считая, что он обнаружил) в еврейском языке особое качество слов — их именной характер, возможность трактовать все их как имена, Спиноза воспользовался этим для далеко идущей реформы грамматики: для снятия исключений. «Так как грамматисты не поняли этого свойства еврейского языка, они сочли исключениями из правил множество вполне регулярных положений грамматики» (с. 65). Описание грамматики как вполне правильной системы, системы без исключений, Спиноза считает основной задачей своего очерка. И это вполне определенный аналог к основному положению спинозизма: к полному детерминизму мира. Если мир не знает исключений, то тем более не должно их быть в грамматике — отражении мира.

Интересен, конечно, вопрос: в какой степени мнение Спинозы об именном характере слов еврейского языка обосновано лингвистически? В известной мере обосновано. Действительно, в семитских языках корень слова — носитель вещественного значения — составляют обычно три согласных (редко два), а вхождения

и исключения гласных соответствуют изменениям грамматических значений, трактуемых у Спинозы как атрибуты субстанций.

Комментаторы указывают, что трактовка Спинозой имени бога, данная, правда, не в «Грамматике», а в «Богословско-политическом трактате», проливает свет на его общее грамматическое положение и, добавим, показывает, что Спиноза действует в этом случае вполне в духе философии имени. Более того, он буквально близок к Николаю Кузанскому (см. гл. II, 4). «...Бог говорит Моисею (Исход, гл. 6, ст. 2), чтобы показать особенную милость, ему оказанную: «и открылся Аврааму, Исааку и Иакову богом Шадай, но под именем моим, Иегова, я не был известен им»... Затем должно заметить, что в Писании не встречается никакого имени, кроме Иеговы, которое указывало бы на абсолютную сущность бога, без отношения к сотворенным вещам. Поэтому евреи и утверждают, что только это имя бога есть собственное, остальные же суть нарицательные; и действительно, остальные имена бога, будут ли они существительные или прилагательные, суть атрибуты, которые богу приличествуют, поскольку он рассматривается в отношении к сотворенным вещам или становится известным через них... Теперь, так как бог говорит Моисею, что он под именем Иеговы не был известен отцам, то следует,

что они не знали ни одного атрибута бога, который изъясняет его абсолютную сущность, но знали только его действия и обещания, т.е. его могущество, поскольку оно проявляется через видимые вещи» [Спиноза 1957, т. 2, 181—182; ср.: Николай Кузанский 1979, 88—89].

К этому месту текста Спинозы комментаторы добавляют, что в библейском тексте имя бога Иегова (Yehowah) обозначается только согласными YHWH; что касается гласных, то хотя раввиновская традиция добавила их в приведенном варианте, однако это именно добавление; отсутствие первоначальной вокализации означает, что полное имя бога, т.е. его согласные вместе с гласными, остается скрытым от человека. Эту лингвистическую особенность по существу и интерпретирует Спиноза [Spinoza 1968, 26].

Соответствия между «Грамматикой» и философией можно установить не только в пункте, касающемся имени, но и во многих других. Ф. Алькье указывает следующие. Предлоги, поскольку они трактуются у Спинозы как имена, могут иметь

грамматическое множественное число; тем самым, по Спинозе, предлог означает не отношение одной индивидуальной вещи к другой, а «интервалы», временные или пространственные, между вещами (гл. X). Грамматическое время (гл. XIII «0 сопряжении») охватывает, по Спинозе, только прошедшее и будущее, тогда как настоящее рассматривается лишь как невыделимая граница между тем и другим. В связи с инфинитивом как именем (гл. XII) и каузативными глаголами (типа рус. *поить* от *пить*, т.е. 'заставлять пить; делать так, что кто-либо пьет') встает вопрос о причинности в мире. В связи с возвратными активными глаголами типа рус. *мыться* (гл. XX) поднимается вопрос о непосредственной причине и т.д. — одним словом, многие вопросы доктрины спинозизма оказываются параллелью также и к вопросам грамматики еврейского языка.

Остановимся, для иллюстрации, на одном из них. В гл. XIV, касаясь спряжения глаголов, Спиноза говорит: «Я поместил повелительное наклонение, императив, прежде будущего, потому что будущее образуется по императиву. Кроме того, очень часто будущее употребляется вместо императива» (с. 142). Сама по себе связь этих двух грамматических форм не исключительная особенность еврейского языка; она встречается, например, в древнеиндийском языке вед, так называемом ведийском. Но комментаторы Спинозы склонны придавать этой черте особое значение, поскольку, согласно Спинозе, божественный порядок в мире имеет смысл как извещение о том, что произойдет, если человек совершит тот или иной поступок. Действительно, в гл. IV «Богословско-политического трактата» мы находим такое рассуждение о первородном грехе: бог открыл Адаму то зло, которое последует, если Адам вкусит от древа, но не открыл необходимости этого следствия. В результате Адам воспринял это откровение не как необходимую истину, а лишь как постановление, закон. Отсюда далее нетрудно проложить путь к тезису

Спинозы: свобода достигается сознанием необходимости (что, как известно, удовлетворяет лишь первой части марксистского определения свободы по Энгельсу [Маркс, Энгельс, т. 20, с. 116; ср. в кн.: Спиноза 1957, т. 1, с. 57]).

Таковы некоторые положения, связывающие рассмотрение философских проблем языка у Спинозы с традициями «философии имени». Впрочем, намечается уже и отход от нее: в утверждениях, что «все слова — имена», и в др. Ряд же тезисов Спинозы

представляет собой положения уже совсем другой парадигмы — «философии предиката».

Они группируются вокруг Спинозистского понимания сущности. Возьмем определения, данные в «Этике»: «Под *субстанцией* я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т.е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно было бы образоваться» [Спиноза 1957, т. 1,361]. Это определение субстанции похоже на определение сущности, как оно дается в «Категориях», с той существенной разницей, что определяемое здесь сразу связывается с представлением в сознании. Далее: «Под атрибутом я разумею то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность». Здесь сущность понимается, скорее, в духе «Метафизики». Поэтому для Спинозы вполне естественно выражение «сущность субстанции»; оно было бы абсурдом для философии имени, развиваемой в традиции «Категорий». Сущность здесь не что иное, как «пучок атрибутов».

И несколько выше: «*Конечною в своем роде* называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы». Рассел по этому поводу замечает, что для Спинозы конечные вещи определяются своими физическими и логическими границами — иными словами, тем, чем они не являются. «Всякое ограничение есть отрицание» [Рассел 1959, 590]. В этом пункте Спинозы видится, на мой взгляд, прообраз будущей центральной идеи структурализма, выраженной — на примере языка — Ф. де Соссюром: сущности языка определяются не своим положительным содержанием, а лишь негативно — тем, чем они отличаются друг от друга; сущность — не что иное, как пучок негативных отличительных признаков (так называемых дифференциальных признаков).

3. ПАРАДИГМА «ДВУХ ЯЗЫКОВ» И УЧЕНИЯ ПОР-РОЯЛЯ

Своеобразие грамматических учений (а возможно, и логики) Пор-Рояля в настоящее время кажется сильно преувеличенным. Скорее, мы должны рассматривать их как блестящий этап в долгой предшествующей традиции. Особенность этой традиции (см. гл. I, 0) заключается в том, что человеческий язык, язык вообще, рассматривается как состоящий из двух слоев, или языков: один — точный, ясный, упорядоченный,

закономерный, близкий к логике, общий для всех людей; другой, или, точнее, другие, ибо их много, — своеобразный у каждого народа, изменчивый, непоследовательный, полный причудливых правил на разные случаи употребления.

Собственно говоря, истоки этой традиции в неявной форме можно проследить уже в схоластике эпохи расцвета. В той мере, в какой схоласты говорят о суппозициях терминов, они говорят по существу о языке в первом смысле — о языке, близком к логике или даже о языке самой логики. Но ведь одновременно это какой-то отдельный язык — чаще всего латинский (хотя схоласты не исключали, по-видимому, что то же самое может быть выражено и на их родных языках — английском, французском, испанском и др.).

Еще яснее эта мысль проходит у так называемых модистов XIII—XIV вв. Под этим названием объединяют группу грамматистов схоластического периода, разрабатывавших учение о «модусах значения» («*modi significandi*»), откуда и название. По-видимому, одним их самых крупных среди них был Боэций Датчанин (Boethius Dacus; из-за двусмысленности латинского слова Dacus его имя иногда ошибочно переводят как 'Боэций из Дакии, или Дакийский', но Дакия — это современная Румыния). Он автор по крайней мере двух трактатов — «*Modi significandi*» и «*Topica*» («*Топика*»). Около 1270—1275 гг. Боэций, как и другие «модисты», стал рассматривать грамматику как науку (*scientia*), применяя к ней критерий «одна для всех языков». Естественно, что такая грамматика могла быть только логической. Тот же тезис выразил и Роджер Бэкон, который присовокуплял, что в языках мы имеем дело с проблемами двух родов (идея «двух языков»), но только проблемы первого рода, общие для всех языков, являются предметом грамматики. По-видимому, Р. Бэкон первый употребил термин «универсальная грамматика». Будучи логической, грамматика является не только универсальной, но и дедуктивной наукой. Боэций дал этому тезису точное определение: грамматика — это наука о речи, трактующая о правильных сочетаниях слов в предложениях посредством модусов означивания [см.: Bursill-Hall 1976, 172, см. также: Signification... 1982]. Тем самым идея двух языков уже незримо присутствовала, и оставалось ждать только благоприятных исторических условий, чтобы она проявилась в полном виде.

Эти условия возникли в XVI в., когда в Европе сложилась уникальная языковая ситуация: в одно и то же время и зачастую одними и теми же людьми, в первую очередь учеными, употребляются гуманистическая, т.е. близкая к классической, латынь, народная латынь довольно широкого обихода, национальные языки, причем в романских странах, чем ситуация еще более усложняется, эти языки, как ясно даже непросвещенному человеку, обнаруживают свое происхождение от латыни. На этом фоне возникает оригинальная языковая концепция испанского гуманиста Франсиско Санчеса «де лас Бросас» (1523—1601), т.е. из

города Бросы (по-латыни он именовал себя Sanctius Brosensis). Свой главный, труд, грамматику латинского языка, он назвал «Минерва» («Minerva seu de causis linguae latinae» — «Минерва, или о причинах латинского языка»).

Из априорно постулируемой разумности человека Санчес выводит принцип рациональности мышления и языка — *ratio* («разум, разумное основание, рациональная сущность»). Он считает, что посредством анализа предложения и частей речи можно выявить рациональные и поэтому универсальные основы языка вообще, универсального языка [см.: Малявина 1982, 145]. Универсально понятое предложение трехчленно: оно состоит из имени, глагола и частиц. Эта классификация Санчеса совпадает с аристотелевской (Санчес вообще находится под большим влиянием Аристотеля), в последней было тоже три члена: имя, глагол, союз («артрон»). Под «частицей» у Санчеса, как и под «членом» у Аристотеля, понимается целый класс разнообразных по грамматической роли слов — союзы, предлоги, артикли, союзные слова типа рус. *что* и т.д.

Реально наблюдаемые предложения в любом языке (в грамматике Санчеса приводятся примеры из испанского, итальянского, немецкого, голландского и других языков) требуют раскрытия универсальных компонентов: три универсальных члена реализуются в шести частях речи: имя, глагол, причастие, предлог, наречие и союз (последний здесь понимается уже в собственном смысле, более близком к современному пониманию этого термина).

Хотя в анализе конкретных предложений употребляется больше элементов, чем их имеется в универсальном, логическом предложении (шесть вместо трех), это лишь инструмент анализа; это не значит, что предложения конкретных языков более

расчленены и, следовательно, более ясно построены, чем универсальное, логическое предложение. Как раз наоборот. Предложения конкретных языков зачастую туманны, неопределенны, двусмысленны. Это объясняется главным образом двумя их особенностями: добавлением чего-то излишнего, ненужного для ясного выражения мысли и, напротив, сжатием и опущением чего-то, что в логически составленном предложении выражено в полном виде. Последнюю особенность живых языков Санчес называет эллипсисом (Л. А. Малявина считает учение об эллипсисе ядром всей концепции Санчеса). К этому надо добавить, что эллипсис у Санчеса является, по-видимому, приложением более общего учения схоластов об «экспонибилиях» (см. гл. I, 3). В свою очередь это понятие Санчеса превосхищает понятие «глубинной структуры» в лингвистике наших дней. Санчес, например, считает, что все предложения с непереходными глаголами должны разлагаться, т.е. представляться в полном логическом виде, как предложения с переходными глаголами и объектом: *Мальчик спит* = *Мальчик спит сон*, *Собака бежит* = *Собака бежит бег*. Этот способ

анализа находит реальную основу в языках разного типа — в русском и других индоевропейских имеется такой тип предложений, как *Горе горевать*, *Прожить жизнь*, *Петь песню*, где объект, как в анализе Санчеса, лишь повторяет смысл глагола (это еще и риторическая фигура, *figura etymologica*); в арабском языке способ Санчеса является довольно обычным приемом и т.д. Смысл всех этих приемов Санчеса заключается в том, чтобы восстановить логическую полноту выражения мысли.

Универсальный, логически правильный язык, восстанавливаемый через предложения реальных языков, сам по себе не выражен, его выражение и есть грамматика, которая понимается вслед за «модистами» как наука и называется у Санчеса «разумное основание грамматики» (*grammaticae ratio*), «грамматическая необходимость» (*grammatica necessitas*) (заметим это употребление модального логического термина, которое впоследствии стало частым при определении законов науки) и, наконец, «законная конструкция» (*légitima constructio*). Но Санчес делает новый шаг в создании, как мы теперь видим в ретроспективе, парадигмы «двух языков»: один из естественных языков стоит ближе всего к универсальному логическому, этот язык — латинский (для Спинозы таким языком был древнееврейский).

Если же вспомнить, что латинский язык, каким описывал его в своей грамматике Санчес, это не «кухонная латынь», а язык отшлифованный и тонкий, близкий к классической латыни Рима, то станет ясно, что для Санчеса латинский язык есть, насколько это вообще возможно, воплощение универсального логического языка, призванного служить прежде всего целям науки. Конкретные разнообразие живые языки — испанский, французский, итальянский, немецкий и т.д. — в противоположность этому будут языками быта, практической жизни, повседневного обихода и искусства.

Мы увидим далее, что опосредованным путем эта парадигма «двух языков», из которых один призван служить целям науки, а другой, или другие, — целям практического общения в обиходе, а также целям искусства, сохраняется вплоть до концепции Ф. Карнапа и философов — представителей логического позитивизма XX в. и после неудачи их проектов снова возникнет в концепции «ноуменального» и «феноменального» языков в наши дни.

Но ее ближайшим по времени к эпохе Санчеса воплощением стали учения Пор-Рояля во Франции. Мы говорим «учения» во множественном числе, потому что «Граматику» Пор-Рояля (полное название — «Грамматика универсальная и рациональная», 1660 г.) и «Логику» Пор-Рояля (1662) надо рассматривать как две ветви по существу единой лингво-логической концепции. Авторами первого труда были А. Арно (Arnauld) и К. Лансело (Lancelot), второго — тот же А. Арно и П. Николь (Nicole).

275

Санчес упоминается в «Грамматике» как предшественник, но, конечно, труд ученых Пор-Рояля стоит на высшем уровне, во многих отношениях — на уровне нашего времени. Главная идея «Грамматики», основанной на учении Декарта, заключается в том, что грамматика имеет подлинным предметом прежде всего универсальные закономерности выражения мысли в слове, в частности в предложении, и как таковая она является наукой. Грамматики отдельных языков по отношению к первой — это частные случаи, различия между которыми обусловлены конкретными особенностями каждого языка и его «обычая» (l'usage), и поэтому являются, скорее, «искусством» [подробнее о грамматическом учении Пор-Рояля см., например: Бокадорова 1982; изложение логики Пор-Рояля см.: Маковельский 1967]. Идеи универсальной грамматики XVII в. были продолжены в грамматиках французских просветителей XVIII в.

В общем, концепция «двух языков» представляется нам «малой парадигмой» философии языка, она прозябает на протяжении веков рядом с основной парадигмой каждого века, и в то время как основные парадигмы сменяют одна другую, «малая» лишь Меняет фаворитов в роли своего «первого», универсального логического, языка: у Санчеса им был латинский, у просветителей его место займет сама логика в формах любого конкретного языка, у Карнапа — «язык науки», у некоторых современных американских философов — «ноуменальный язык».

Среди языковых концепций XVII в. нужно упомянуть еще очень интересную теорию русского словесника А. Х. Белобочко, по происхождению поляка, работавшего во второй половине века (точные даты рождения и смерти неизвестны). В реконструкции В. П. Вомперского [1979] эта теория выглядит следующим образом. Белобочский разделяет литературный язык, или язык литературы — у него это, естественно, еще не различается, — на стили, каждый из которых связан с определенным жанром литературы. (Связь стиля языка, а иногда и особого языка с жанром литературы — обычное явление в старых литературных языках: в Древней Греции, как известно, был особый язык комедии, близкий к греческому языку Сицилии; особый язык трагедии; особый — лирики и самый особенный среди всех — язык гомеровского эпоса, не связанный ни с одним территориальным диалектом. Аналогичное явление имело место в Древней Индии середины III тысячелетия до н.э.: ведийский язык был языком священных текстов и обрядов, санскрит — языком эпоса и драмы, а также языком высших слоев общества, пракриты — языками низов.) Каждый такой стиль-жанр Белобочский называет «сенсом» (иногда также «энсом», от лат. *ens* 'сущность'). Над «сенсами» доминируют два «разума» — «литеральный разум», или «сенса», и Таинственный разум»; и тот и другой проявляется в письменных текстах, так что одновременно это и классификация текстов. Тексты «литерального разума, или сенса», — это произведения, адекватные

276

действительности (конечно, как это понимает Белобочский; но как бы он это ни понимал, само их выделение представляется нам чрезвычайно актуальным: здесь, пожалуй впервые, возникает прообраз современного понятия интенционального мира). Иными словами, языковые выражения в таких произведениях надо понимать буквально,

«литерально». (По-видимому, «разум» и «сенс» в сочетании с «литеральный» — одно и то же, потому что в этом разуме нет других сенсов.)

Что касается «таинственного разума», то он охватывает три «сенса» — «аллегоричный», «тропологичный» и «анагогичный», объединенные тем, что ни в одном из них основные выражения не понимаются буквально. «Аллегоричный сенс» представляет собой иносказание: «иносказание, еще есть таинство или подобие, когда в преобразовании глаголем где иное есть в гласе, а иное в разумении. Зане едино глаголется, а иное подразумевается» [цит. по: Вомперский 1979, 23]. «Тропологичный сенс» — это текст нравоучительный, морализирующий. «Анагогичный сенс» (от греч. ἀνάγω ‘вести вверх’) — это «высокий разум, к вышним есть ведущее глаголение, еже о воздании будущем и о тех, яко на небесе суть» [там же].

В настоящее время, когда язык художественной литературы семиотически изучается как язык особого рода, в котором термины и выражения имеют интенционал (смысл), но не влекут ни к каким внеязыковым реальным объектам (денотатам или референтам), как язык «возможных миров», концепция Белобоцкого представляется едва ли не самым интересным для истории взглядов на язык учением XVII в.

Пор-Рояль сыграл выдающуюся роль в европейской культуре вообще и в частности в теории языка. Однако последняя, представлявшаяся авторам Пор-Рояля единой, к концу XVIII в. раздваивается: поскольку «всеобщая» грамматика становится способом описания любого национального (вообще, «этнического») языка, она становится именно «способом анализа» и превращается в «грамматику логическую», в начале «логического анализа языка». Универсальные же черты языка ищутся теперь не только в его логике, они связываются с философским подходом к языку, чем закладываются основы для «философии языка» — для «грамматики философской». Свидетельством этого раздвоения явилась во Франции «Философская грамматика» Д. Тьебо [Thiébaud 1802]. На это обратил внимание М. Фуко (см. также [Степанов 1990]).

Глава III

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

В области философии языка XVIII в. — тоже межпарадигматический период, как и XVII в., но в ином роде. В XVII в. вообще отсутствует какая-либо парадигма философии языка, и взгляды Декарта, Лейбница, Спинозы, ученых Пор-Рояля вряд ли можно свести в этом отношении к какому-либо общему знаменателю, если, конечно, не считать этим общим совсем уже общую идею о наличии или по крайней мере о возможности некоего наилучшего рационального универсального языка. В XVIII в., несмотря на большое разнообразие взглядов на язык, все же можно установить две-три доминирующие линии, и между ними начинает складываться определенное, поддающееся довольно точной формулировке отношение.

С одной стороны, вырабатывается исторический взгляд на язык и существующие языки начинают рассматриваться как продукт развития языков, предшествовавших им в прошлом; этот взгляд вполне оформляется в самом конце века с открытием — понимается, европейцами для себя — литературного языка Древней Индии, санскрита, и с попытками возвести большинство новых европейских языков к нему как к предку; зарождается сравнительно-историческое языкознание. Но с точки зрения философии языка все это — изучение лишь внешней формы языка, как раз поэтому малоинтересное. С другой стороны, развиваются абстрактные логико-философские системы Фихте, Шеллинга и Канта, и некоторые черты языка в них предстают, в отрыве от внешней формы, как логические константы содержания — мышления.

Именно поэтому первую и вторую линии следует рассматривать как две стороны одного и того же, как начало двух подходов к языку — сравнительно-исторического (чисто языковедческого) и логического, которым в силу самой природы языка и логики предстояло в будущем слиться. Но это будущее — логико-философская парадигма естественных, обычных языков — еще далеко впереди, в середине XX в.

Однако уже в XVIII в., в философии шотландской школы, у Томаса Рида (1710—1796), и у знаменитого экономиста Адама Смита (1723—1790) возникают первые идеи

анализа повседневного языка с позиций «здравого смысла» [см., например: Грязнов 1979, 39].

Тот же подход — принцип историзма в его противопоставлении принципу рационализма и логицизма Декарта — провозгласил, возможно с наибольшей силой, не языковед и не логик итальянец Джамбаттиста Вико (1668—1744). Его главный труд «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) был первым философским сочинением на народном, итальянском, языке. Вико выдвинул взгляд на историю человеческого общества как на закономерный процесс, имеющий к тому же четко выраженные стадии. Он рассматривал их как круговорот, как движение по спирали, состоящей из трех витков, соответствующих детству, юности и зрелости отдельного человека: 1) божественная эпоха (безгосударственность, подчинение жрецам)» 2) героическая (аристократическое государство), 3) человеческая (демократическая республика или представительная монархия с буржуазно-демократическими свободами). Этим трем стадиям общества соответствуют три стадии языка: 1) иероглифический (священный, божественный, тайный) язык, язык немой, воплощаемый в жестах рук, мимике лица и движениях тела, имеющих естественную связь с сущностями вещей — идеями; 2) символический (героический) язык, реализующийся посредством сравнений, метафор, аналогий; 3) человеческий (письменный, народный, разговорный) язык — язык звуков, слов и высказываний. В выделении «тайного» и «символического» языков слышатся отголоски библейского предания (см. гл. I, 4) и заметно сходство с идеями XVII в., например с различными «сенсами» А. Х. Белобочко.

Своеобразие мысли Вико состоит в том, что эти стадии (сама по себе идея стадий выдвигалась разными мыслителями в разной форме), по-видимому, являются для него одновременно всевременными, панхроническими типами языка, или, точнее, типами знаковых систем. Если брать не отдельные высказывания Вико, которые часто кажутся поразительно современными, а этот его главный и общий лингво-философский тезис, то следует считать, что «основания новой науки» подготавливают создание «истории форм» разработкой философии различных форм символической деятельности человека, среди которых языку отводится центральное место» [Степанова 1978, 452].

При таком взгляде можно, как нам кажется, сопоставить типологию Вико с первыми попытками применения марксистской философии к обоснованию семиотики как науки о знаковых системах, выражающих идеологии, как это мыслил В. Н. Волошинов в 1929 г.: «Объективная социальная закономерность идеологического творчества, ложно истолкованная как закономерность индивидуального сознания, неизбежно должна утратить свое действительное место в бытии... Его действительное место в бытии — в особом социальном, человеком созданном знаковом материале... Наука об идеологиях ни в какой степени не зависит от психологии и на нее не опирается... Действительность идеологических явлений — объективная действительность социальных знаков»

[Волошинов 1929, 19—20]; «Вопрос о конкретных формах имеет первостепенное значение. Дело здесь идет, конечно, не об источниках нашего знания общественной психологии в ту или иную эпоху (например, мемуары, письма, литературные произведения), не об источниках понимания «духа эпохи», — дело идет именно о самих формах конкретного осуществления этого духа, т.е. о формах жизненного, знакового общения. *Типология этих форм* — одна из насущнейших задач марксизма» [там же, с. 28]. Но, конечно, в учении Вико мы имеем лишь самые общие черты будущей семиотики, и то их можно распознать только ретроспективно, от семиотики уже созданной, наших дней.

В целом XVIII в. в философии языка — век противоречивый. С одной стороны, в это время Вико выступает против рационализма Декарта за гуманитарное знание как средство познания человека, объявляя пагубным следствием картезианства то, что «ныне преследуется только одна цель — познание истины. Изучается природа вещей, потому что такое изучение *кажется точным* (курсив наш. — Ю. С.), не изучается природа человека, потому что, будучи свободною, она не поддается точному изучению» [Михайловский 1909, 79]. И Вико выступает здесь предшественником романтика Герадера (1744—1803) с его романтической философией языка. С другой стороны, французские просветители в своей «Энциклопедии» с блеском продолжают идеи рационализма и грамматики и логики Пор-Рояля, хотя и не могут избежать некоторых противоречий (в частности тех, которые отмечал Вико), но в то же время сами осознают их и стремятся превратить из слабости в силу в своей двойной теории языка. Логико-

философская линия — просветители — Кант — Гегель, основная в перспективе будущего, — будет здесь в центре нашего внимания.

1. ПАРАДИГМА «ДВУХ ЯЗЫКОВ» В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Нам кажется, что в философии языка просветителей самое интересное для той истории науки, которая пишется теперь, — их идея «двух языков» и ее конкретное воплощение. Как мы видели (гл. II, 3), уже ученые Пор-Рояля вполне осознали ту мысль, что наряду с логическим слоем языка, доступным научному познанию, существует какой-то иной слой, своеобразный в каждом национальном языке, — предмет риторического искусства. В большой французской «Энциклопедии» (1751—1780) и в связанной с ней «Методической энциклопедии», которая начала издаваться по завершении большой, эта мысль проведена уже вполне строго: «Грамматика может изучать два вида принципов строения языков. Первые присущи всем языкам, и их истинность неизменна; они относятся к природе самой мысли, служат анализу мысли и вытекают

280

из самой мысли. Истинность вторых лишь гипотетична и зависит от соглашений, свободно принятых и изменчивых. Последние принципы имеют силу лишь у тех людей, которые их приняли, но при этом не потеряли права менять их или совсем отказываться следовать им в том случае, если обычай (l'usage) предпочтет модифицировать эти принципы или вовсе их отменить. В соответствии с этим могут существовать «общая» и «частная» грамматики. Общая грамматика есть основанная на законах разума наука об общих и неизменных принципах устной и письменной речи во всех языках» [Encyclopédie 1789, 190].

Автором цитированной и большинства других филологических статей в обеих энциклопедиях был Н. Бозе (N. Beauzée). К концу века общая грамматика начинает осознаваться как грамматика преимущественно синтаксическая, как сказали бы впоследствии и Карнап и другие — как «логический синтаксис», или «синтактика» [см.: Бокадорова 1982, 120].

Что касается «частной грамматики», то она «является искусством подведения под общие и неизменные принципы устной или письменной речи произвольно

установленных обычаев форм отдельных языков» (в цитированной статье Н. Бозе). Грамматическая наука предшествует любому языку, так как ее законы вечны и универсальны, они определяют область возможного и лишь предполагают возможность появления конкретных языков. Здесь следует заметить, что это понимание языковых законов как возможностей на полтора столетия предвосхитило концепцию закона в современной лингвистике [Гипотеза в современной лингвистике 1980, 95]. Грамматическое искусство, напротив, вторично по отношению ко всем языкам, потому что «обычай» (l'usage) каждого языка должен существовать прежде, чем грамматисты будут соотносить их с законами общей грамматики.

Как показала Н. Ю. Бокадорова [1982, 120], понятия «искусство» и «наука» в этом контексте вполне соответствуют общей концепции Д. Дидро: «Если объект производится или воспроизводится, то собрание и техническое расположение правил, согласно которым это делается, называется искусством (l'art). Если же объект лишь рассматривается с различных сторон, то собрание и техническое расположение наблюдений, относящихся к этому объекту, называется наукой (la science)» [цит. по: Encyclopédie 1976, 50]. Однако сам термин «искусство» здесь еще довольно близок к средневековому термину «ars», как он понимался в различных «ars combinatoria», «ars magna», например у Луллия. Следовательно, и противопоставление «науки» этому понятию «искусства» не вполне то же, что современное.

Кроме того, при всей кажущейся ясности логико-философских определений и разграничений «Энциклопедии» в них имеются противоречия, связанные, как показала М. Г. Якушкина, с наличием двух ведущих тенденций: 1) линии, следующей универсалистской концепции

281

грамматики и логики Пор-Рояля, 2) линии, воплощающей эмпирико-материалистические тенденции философии Просвещения [Якушкина 1982, 154].

На наш взгляд, наиболее интересно, с далеко идущими последствиями, это столкновение двух линий проявилось в сфере определений, относящихся к «частной грамматике» как «искусству». С одной стороны, они определяются аналитически — как умение соотнести разнообразие «фраз» конкретных языков с единой логико-синтаксической формой, «пропозицией»; здесь нет и речи о каких-либо «свободно принятых соглашениях», напротив, такое «искусство» подчиняется не менее жестким

правилам, чем «наука»; «искусством» его можно назвать лишь в том смысле, что его предмет — единичное, индивидуальное, которое надо уметь свести к всеобщему. С другой стороны, аналогичные правила и определений подаются синтетически — как способ оформления речи, аранжировки ее частей, это уже, очевидно, зависит от воли отдельного человека и от «обычая», который можно изменять. В этом смысле в приведенном выше определении Н. Бозе идет до конца, утверждая, что люди могут «вовсе отказаться от того или иного обычая», — революционные идеи энциклопедистов здесь выражены вполне, применительно к языку.

Именно эта вторая линия оказалась впоследствии доминирующей в учениях французских семиологов (семиотиков) 1960-х годов М. Фуко, Р. Барта и др., согласно которым каждый относительно замкнутый язык литературного направления — классицизма, романтизма, классического реализма (и их подразделений) обладает своей «моралью», своим «этосом» (здесь был использован термин классической риторики, «этос текста», означающий представление о моральной личности автора данного текста). Этос может быть изменен, старый этос (ср. старый «обычай» у энциклопедистов) может быть вообще упразднен, и это будет означать революцию в языке литературы. Учение о языках художественной литературы становится учением об идеологиях и об их смене, учением о «семиотических революциях» (ср. также упомянутые выше идеи В. Н. Волошинова 1920-х годов).

Как бы то ни было, концепция универсального языка, в его отношении ко «второму» языку, оказалась проведенной очень последовательно, и благодаря этому в «Энциклопедии» (особенно в «Методической энциклопедии») мы имеем первый опыт двухрусской терминологии — один ярус, или уровень, терминов относится к логическому всеобщему уровню языка, а второй — к его этническому уровню, особенному в каждом этническом языке, и, следовательно, к речи (термин «этнический» принадлежит нам). Итак, на логическом уровне имеется: 1) синтаксис — 2) пропозиция — 3) терм (*syntaxe — proposition — terme*), а на этническом уровне: 1) конструкция — 2) фраза — 3) слово (*construction — phrase — mot*). Единицы языка, взятые как «слово», могут быть короткими и длин-

ными, легкими и трудными для произношения, гармонично звучащими и звучащими грубо, изменяемыми и неизменяемыми, исконными и заимствованными;

существительными и глаголами и т.д.; взятые как «терм», они должны характеризоваться значением и могут быть низменными или «высокими», точными и двусмысленными, адекватными и неадекватными и т.д. Во всем этом, кроме того, видно большое сходство с идеями XVII в., например с различием «сенсов» в теории Белобочкокого (см. гл. II, 3).

2. НЕКОТОРЫЕ ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ

КАНТА И ГЕГЕЛЯ

С именем И. Канта (1724—1804) связаны два положения, играющие важнейшую роль в современном комплексе философских проблем языка: 1) окончательная формулировка связи между функциями мышления (категориями) и формами суждений; 2) релятивизация введенного еще Лейбницем понятия «возможного мира». Первое из этих положений завершает классическую парадигму — «философию имени», придавая окончательную форму понятию сущности, или субстанции, играющему, как мы видели выше, столь важную роль в этой парадигме. Второе предвосхищает новую парадигму, образуя фундамент для нового понимания модальности, которое органически входит в создаваемые в середине XX в. философские концепции языка. Поэтому целесообразно рассмотреть их в историческом контексте.

К а т е г о р и и в о т н о ш е н и и к ф о р м а м с у ж д е н и й. Б. Рассел, выделяя основные линии истории западноевропейской философии, считал, что понятия «сущность» или «субстанция» вообще возникают в ней как производные от языка. Понятие субстанции, являющееся основополагающим в философии Декарта, Спинозы и Лейбница, — производное от логических категорий субъекта и предиката, в конечном счете субстанции суть то, что может быть подлежащим предложения. Правда, к этому языковому определению (которое он называет логическим) Рассел добавляет: «в дополнение к этой логической характеристике, субстанции существуют постоянно, если только их не разрушит божественное всемогущество (что, как каждый заключает, никогда не случится)» [Рассел 1959, 610].

Здесь Рассел излагает положения предшествующей парадигмы, «философии имени», с точки зрения своей собственной философии и своих взглядов на язык, в центре которых — понятие предиката; отношения между понятиями первой подмечены, им точно, но как бы в обратном направлении. (Что касается термина, то Рассел

использует здесь слово «субстанция» — общепринятый в западной философии латинский перевод греч. «усия», соответствующий русскому «сущность»;

однако «субстанция» и «сущность — усия» в некоторых отношениях вовсе не синонимы, см. гл. I, 2.)

В философии имени, как мы видели, принимается такой тезис: первично существуют сущности (субстанции), сущности именуется (сигнифицируются) именами, вследствие этого могут быть также именованы вещи. Понятие сущности связано с понятиями существенных и несущественных свойств (ср. выше у Аристотеля). Естественно, что, излагая историю западной философии с позиций своей собственной философии, Рассел должен был прийти к выводу о том, что прогресс философии связан с преодолением этого тезиса: «Эта проблема должна пройти через разные ступени разработки, прежде чем мы сможем изложить ее в терминах современной философии. Первый шаг, предпринятый Лейбницем, заключался в том, чтобы отделаться от различия между существенными и второстепенными свойствами, которое, как и многое из того, что схоласты заимствовали от Аристотеля, при первой же попытке точной его формулировки оказывается нереальным. Таким образом, вместо «сущности» мы получаем «все предложения, которые будут верны относительно данной вещи» (в общем и целом, положение данной вещи в пространстве и времени по-прежнему исключается)» [Рассел 1959, 486]. С той же точки зрения, своей философии, Рассел считал, что необходимо сделать «еще один шаг, а именно — нужно отделаться также и от концепции «субстанции». Когда это будет сделано, «вещь» должна будет превратиться в совокупность качеств, ибо исчезает всякое ядро чистой вещественности» [там же, 487]. (Что Рассел и делал в своих работах, см. гл. IV, 3.)

Здесь, как и в некоторых других случаях (см. Предисловие), необходимо отделить от собственно философской проблемы проблему семиотическую, которая и является далее предметом нашего рассмотрения. Интересно, что в этой связи Рассел нигде, кажется, не упоминает источник своей идеи — открытие Канта. В «Трансцендентальной логике» (§ 9, 10) (часть «Критики чистого разума», 1781 г.) Кант впервые определенно связал функции мышления с формами суждений и, следовательно, проложил путь, не рассуждая об этом специально, от форм суждений к формам языка. Кант писал: «Если мы отвлечемся от всякого содержания суждений вообще и обратим внимание на одну

лишь рассудочную форму суждений, то мы найдем, что функции мышления в них можно разделить на четыре группы, из которых каждая содержит три момента. Их можно хорошо представить в следующей таблице» (далее следует знаменитая кантовская таблица деления суждений) [Кант 1964а, 168 и след.]. Кант делит суждения так: 1. Количество суждений — общие, частные, единичные. 2. Качество — отрицательные, утвердительные, бесконечные. 3. Отношение — категорические (эта рубрика потребует нам специально), гипотетические, разделительные. 4. Модальность — проблематические, ассерторические, аподиктические (§ 9). Кант

продолжает (§ 10): «Та же самая функция, которая сообщает единство различным представлениям *в одном суждении*, сообщает единство также и чистому синтезу различных представлений в одном созерцании; это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием... Этим путем возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, а priori относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было перечислено логических функций во всех возможных суждениях: рассудок совершенно исчерпывается этими функциями, и его способность вполне измеряется ими. Мы назовем эти понятия, по примеру Аристотеля, *категориями*, так как наша задача вполне совпадает с его задачей, хотя в решении ее мы далеко расходимся с ним» [там же, с. 174].

Надо заметить, что в этом замечательном рассуждении Канта впервые в истории и логики и лингвистики определенно указывается на связь между «длинным семантическим компонентом суждения» (как мы его называем), или «формой суждения» (по Канту), и категорией. Таким образом устанавливается связь между наивысшим обобщением синтактики («длинным компонентом», «формой суждения») и таковым семантики («категорией») [см. также: Степанов 1981, гл. IX]. Далее следует не менее знаменитая таблица кантовских категорий. Интересно, однако, что в целом кантовская классификация категорий оказалась в отличие от его классификации суждений искусственной, противоречивой в деталях и малоэффективной на практике: она почти не применяется.

Но один ее пункт очень важен: мы говорим о 1-м пункте раздела «3. Отношение». В нем указаны категории: Присущность и самостоятельное существование; последней соответствует указанная тут же *substantia* (субстанция), а первой — *accidens*

(присущность к чему-то). Таким образом, Кант прямо поставил в соответствие категорию Субстанция (второй таблицы) и форму суждения, а именно Категорического суждения Отношения (первой таблицы). Это положение и является источником указанной выше идеи Рассела о том, что понятие «субстанция» — производное от языка (хотя еще у Аристотеля Сущность и Субъект поставлены в связь, но ведь до Канта идея этой «производности» еще окончательно не оформилась), и о том, что от этого понятия можно избавиться (ведь избавиться от него можно, только критически преодолев наиболее точную формулировку, в которой это понятие утверждается, т.е. формулировку Канта). Следует, пожалуй, напомнить, что избавиться от понятия субстанции Расселу, как и логическим позитивистам, не удалось.

Р е л я т и в и з а ц и я п о н я т и я « в о з м о ж н о с т ь ». До Канта существовало одно понимание возможности в отношении к действительности — лейбницевское. Лейбниц рассматривал возможность как фундаментальное понятие, определяя ее следующим образом: необхо-

димо только то, обратное чему содержит противоречие; возможно все то, что само по себе непротиворечиво. Действительность в отношении к необходимости и возможности Лейбниц рассматривал как частный случай из полного набора возможностей. Актуальный, существующий действительный мир Лейбниц к тому же считал наилучшей из всех возможностей (эти взгляды Лейбница играют большую роль в философии языка расселовского и витгенштейновского типа. Они рассмотрены нами раньше [Степанов 1981, 225 и след.], и здесь мы не будем к этому возвращаться). Возможность, возможные миры при понимании по Лейбницу есть некое абсолютное понятие, по существу совпадающее с логической возможностью.

Кант рассматривает возможное не как абсолютное, а как относительное (релятивизированное) понятие, как возможность относительно чего-то. При этом, по Канту, наиболее важным случаем этого «чего-то» является действительный мир. Новая концепция изложена им в сочинении «Единственно возможное основание для доказательства бытия бога» (1763). Здесь Кант формулирует такие положения: «Всякая возможность дана в чем-то действительном или как некоторое определение в нем, или через него как следствие» [Кант 1963, 410]; «Безусловно необходимо то, противоположное чему само по себе противоречие. Это, несомненно, правильное

номинальное определение. Но когда я спрашиваю, от чего же, собственно, зависит то, что небытие какой-нибудь вещи совершенно невозможно, я ищу реальное определение, которое одно только может быть полезно для нашей цели» [там же, с. 412].

Как указывают В. Н. Садовский и В. А. Смирнов [см. в кн.: Хинтиikka 1980, 26], в общем при построении семантики для современных стандартных и классических логик принимается лейбницевский взгляд, но кантовский подход развивается в таком важном течении неклассических логик, как концепция «возможных миров» Я. Хинтиikki.

Когда мы, в самой обыденной ситуации, рассуждаем о том, что может произойти завтра или через неделю, или о том, что уже произошло, но чего мы пока не знаем, и говорим: «Я думаю, что произошло то-то и то-то», мы рассуждаем о возможности относительно той минуты и того места (того «мира»), где мы живем, и имеем дело с кантовским (и хинтиикковским) понятием возможности (см. гл. VI, 3).

Еще две идеи Канта, имеющие отношение к философии языка, рассматриваются ниже — идея антонимии (гл. II, 1) и проект прагматики (гл. VI, 0.1).

Значение Гегеля (1770—1831) для освещения философских проблем языка определяется тем же, чем и его значение для философии вообще, и прежде всего одной из основных идей его диалектики: диалектически изложенная система логики совпадает во всем существенном с историческим путем философии.

«Я утверждаю, — писал Гегель, — что если мы освободим основные понятия, выступающие в истории философских систем, от всего того, что относится к их внешней форме, к их применению к частным случаям и т.д., если мы возьмем их в чистом виде, то мы получим различные ступени определения самой идеи в ее логическом понятии. Если, наоборот, мы возьмем поступательное движение само по себе, мы найдем в нем поступательное движение исторических явлений в их главных моментах; нужно только, конечно, уметь распознать эти чистые понятия в содержании исторической формы. Можно было бы думать, что порядок философии в ступенях идеи отличен от того порядка, в котором эти понятия произошли во времени. Однако в общем и целом этот порядок одинаков» [Гегель, 1932, 34].

В сущности, этот принцип лежит в основе и настоящей книги.

Кроме того, значение Гегеля для понимания философских проблем языка заключается в том, что его собственное диалектическое изложение логики может быть

прочитано как некоторая система порождения логических и в определенной степени лингвистических категорий (о фундаментальной связи диалектики с категориями языка и их развитием также, как известно, говорил В. И. Ленин).

Однако такое прочтение Гегеля — труднейшая задача, в настоящее время выполненная лишь в небольших фрагментах. Одним из таких новых фрагментарных прочтений центральной части гегелевской системы является «диалектика имени» А. Ф. Лосева (см. гл. II, 5). Но этот подход, скорее, завершает ссылкой на Гегеля старую парадигму «философии имени».

Нужно упомянуть об отношении Гегеля к проблемам языка и языковедения помимо его системы, которые, надо сказать, Гегеля мало интересовали. Но все же между основным тезисом Гегеля о саморазвитии Абсолютной идеи и основным тезисом В. Гумбольдта (1767—1835) о языке как деятельности есть несомненный параллелизм, и, вероятно, здесь имело место взаимовлияние. Все это остается, однако, еще очень мало изученным [см.: Постовалова 1982, 47; Рамишвили 1978].

Глава IV

СИНТАКТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА (ФИЛОСОФИЯ ПРЕДИКАТА КАК ВЫРАЖЕНИЕ СИНТАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

К концу XIX в. картина языка, созданная в предыдущий период в философии имени, воспринималась уже, скорее, как холст, не столько изображающий, сколько скрывающий действительность. Подобно Буратино, философы языка могли видеть на холсте очаг, огонь в нем и котелок с похлебкой, но уже знали, что холст занавешивает настоящий очаг, в котором нет ни котелка, ни похлебки. Мир перестал восприниматься как пустое пространство, в котором размещены солидные хорошо определимые вещи, каждая из которых, вместе с ее неизменной сущностью, называется каким-либо именем.

В своей первой работе, «Опыт о непосредственных данных сознания» (1889), молодой А. Бергсон, философ, которому было суждено отметить своей мыслью новую эпоху, писал: «Каждый день я смотрю на одни и те же дома и, зная, что это те же самые объекты, постоянно называю их тем же именем. Но если через некоторое время я сравню свое первоначальное впечатление от них с теперешним, то поражаюсь, насколько неповторимое, необъяснимое и, самое главное, невыразимое изменение совершилось в них» [Bergson 1938, 8].

Художник Клод Моне три года спустя, ничего не зная о размышлении Бергсона, отказывается употреблять имя «Руанский собор» в единственном числе. Он пишет свою знаменитую серию картин «Руанские соборы», изображая единственный Руанский собор в разные часы дня, при разном освещении как совершенно различные «вещи».

Открытие художников-импрессионистов, новый предмет живописи не объективная вещь, не игра воздуха и света на ее поверхности, не субъективное впечатление от нее, а единство одного, другого и третьего, «вещь — свето-воздух — впечатление», оказалось художественным аналогом понятия предиката.

Еще несколько лет спустя, подводя итог новым логико-лингвистическим исследованиям, Б. Рассел сказал, что теперь нельзя представлять себе мир состоящим из вещей, мир состоит не из вещей, а из событий, или фактов. «Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы. (Когда я говорю «факты не

могут быть именуемы», — это, строго рассуждая, бессмыслица. Не впадая в бессмыслицу,

можно сказать только так: «Языковой символ для факта не является именем»» [Russell 1959, 43]. Языковой формой для выражения факта является предложение (пропозиция), и предикат — его центр.

В течение 20—30 лет, на рубеже веков, создалась новая картина языка, соответствующая новой картине мира и ее философским константам. Прежде всего она отвечала, несколько отставая от них, новым физическим представлениям о мире. Согласно теории относительности Эйнштейна («частная теория относительности» 1905 г.), пространство и время объединяются в единую форму существования материи — пространство-время. Каждое событие определяется, иными словами — отличается от других, четырьмя координатами, тремя пространственными и одной временной, т.е. множество всех событий четырехмерно. Пространственные и временные отношения, «и в этом смысле само пространство и время, зависят от системы отсчета, по отношению к которой они определяются» [Философская энциклопедия 1967, 178].

В новой картине языка, в самом существе понятия предиката как ядра пропозиции о факте, кроются те же четыре координаты, а значит, и зависимость от системы отсчета. Но координата точки отсчета, сам говорящий, в этот период не осознается как отдельная, она присутствует в скрытом виде, как усредненная координата «всякого говорящего», носителя языка вообще. Она будет выделена особо и положена в основу всей картины лишь в следующей парадигме, в философии эгоцентрических слов.

Влияние математики и физики на глубинные представления о языке не прошло мимо внимания самих представителей новой лингвистической парадигмы. Рассел и Карнап, например, сами в той или иной мере были математиками или интересовались физикой. Рассел отметил, что математический подход к анализу таких, например, равенств, как $2 + 2 = 4$, был по существу лингвистическим, так как при анализе констатируется лишь, что 4 означает просто иным знаком то же, что $2 + 2$. «Физика, — продолжает Рассел, — как и чистая математика, тоже дала материал для философии логического (или, что в этом смысле то же самое, лингвистического. — Ю. С.) анализа... Обычный здравый смысл считает, что мир состоит из «вещей», которые сохраняются в течение некоторого периода времени и движутся в пространстве. Философия и физика

развили понятие «вещь» в понятие «материальная субстанция» и считают, что материальная субстанция состоит из очень малых частиц. Эйнштейн заменил частицы событиями» [Рассел 1959, 189].

Естественно, что вслед за этим переворотом во взглядах скоро возник вопрос: что же такое «факт» или «событие» в логическом смысле слова? Нельзя сказать, что и в наши дни, по прошествии нескольких десятилетий, он решен или хотя бы до конца ясно поставлен. В определенный период своей деятельности (позднее того, который мы упоминали в начале этого раздела) Рассел писал: «"Факт", в моем по-

нимании этого термина, может быть определен только наглядно. Все, что имеется во Вселенной, я называю «фактом». Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть *факт* (курсив наш; мы сейчас остановимся на этом сопоставлении или противопоставлении. — Ю. С.), и если одно утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно... Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными» [Рассел 1957, 177].

Понятие «событие» в этой связи предстает, скорее, как одна разновидность «фактов» (мы коснемся этого вопроса ниже). Но вот различие между «актом» и «фактом» здесь совсем неясно. А между тем оно играло важную роль в предшествующей философской традиции, связанной с философией имени. Термином «акт» (actus) схоласты переводили два термина Аристотеля — «энергея» как изменение в самый момент, в процессе его совершения, и «энтелехия» как совершившееся изменение и его совершенность, а следовательно, и как некое совершенство. Оба понятия Аристотеля связаны с понятием «сущность»: отличая «акт в потенции» от акта осуществленного, Аристотель сближает первый с сущностью; и энтелехия тоже связана с сущностью. Испытывая неприязнь к «сущности» как к понятию метафизическому, Рассел постарался не заметить и этого отличия «факта» от «акта».

Уже Фома Аквинский различал два вида предикации сообразно ее «принудительной силе» (термин в кавычках взят нами у Ч. Пирса): а) предикация, направленная на очевидное положение дел в мире — на то именно, что Рассел впоследствии будет называть «фактом»; б) предикация, направленная на неочевидное

положение дел — на то, например, которое выражено пропозицией после союза «что»: «Х считает, что...» Предикация первого вида принуждает сознание принять ее в максимальной степени, она, как стал выражаться Пирс, «обладает максимальной принудительной силой» [Семиотика 1983, 165 и след.]. Предикация второго вида принуждает сознание в гораздо меньшей степени, причем в различной (ср., например, «полагает», «считает», «сомневается», «хочет, чтобы» и т.д.) [Nuchelmans 1983, 48]. Предикация второго вида породила уже во времена Фомы Аквинского и особенно впоследствии большую логико-лингвистическую проблему, которой не обошел и сам Рассел в связи с пропозициональными установками. Именно с предикацией этого вида и связано прежде всего явление «акта», поскольку оно проявляется в языке. Но отражение этой проблемы в теории языка оставалось в эпоху Рассела и в значительной степени все еще остается и теперь делом будущего.

Итак, в новой картине мира и языка мир состоит не из «вещей», размещенных в его пустом пространстве; мир состоит из «фактов», или «событий»; каждое событие описывается «атомарным» предложением;

290

это описание является объективным, независимым от модальностей, вероятностей, мнений и т.п. — вообще от позиции наблюдателя-говорящего. Позиция человека-наблюдателя в мире фактов либо не учитывается, либо признается несущественной и усредняется. Предложение-пропозиция, описание «факта», создается предикатом и именами (термами), занимающими места, предусмотренные в предикате. Предикаты соответствуют не «вещам», а «отношениям» между вещами, и вместе с тем предикаты ре именуют этих отношений.

Одновременно претерпевает изменение центральное понятие философии имени, «сущность», — самая семантическая и, еще вернее, единственная семантическая из всех Категорий, установленных Аристотелем. Только сущности, а следовательно вещи, могут именоваться словами языка, и только к отношениям между сущностями (вещами) и словами может хорошо подходить определение семантики как отношений между знаками языка и объектами внешнего мира. Если сущность (по крайней мере в смысле Аристотеля и «философов имени») — самая семантическая из философских категорий, то имя — самая семантическая из категорий языка. Можно сказать, что философия имени изучает все остальные категории лишь в той мере и в том разрезе, в каких они

соотносятся с категориями сущности и имени. И тем самым эта философия изучает главным образом семантику, притом семантику, определенную указанным выше, узким, образом.

Все «философы предиката» испытывают непреодолимое отвращение к понятию сущности и вместе с этим определенное недоверие к семантике. Действительно, предикат — самая несемантическая из категорий в этом смысле. Предикаты не именуют чего-то вне языка (хотя несомненно имеют отношение к чему-то вне языка). Нельзя, например, сказать, что в русском предложении *Я — здесь* (или в английском *I am here*) слово *здесь*, *here* или весь предикат в целом: — *здесь*, — *am here*, является «именем места», хотя предикат в этом предложении — это предикат места. Предикаты и сами не именуются словами языка: столь же невозможно, как и в предыдущем случае, сказать, что слово *здесь* или *here* именует предикат — некую мыслительную сущность, которая имеет место в предложении. «Семантический треугольник», характерный для имени, «вещь — ее имя (слово) — понятие о ней», применительно к предикату, с одной стороны, остается — ведь налицо три его элемента: нечто во внеязыковом объективном мире (что является отношением между вещами), нечто в языке (что является языковым выражением объективного отношения) и некая мыслительная сущность, соответствующая первому и второму одновременно. Но, с другой стороны, треугольник как бы распадается — ведь это «первое» не «вещь», «второе» не «слово», а «третье» не «понятие» (эти рассуждения будут подробнее продолжены в следующем разделе).

291

Отношения между предикатами как особыми мыслительными единицами, их внеязыковыми объективными коррелятами во внешнем мире и их языковыми выражениями — отношения принципиально иного порядка, они вовлекают в свою сферу не только и даже не столько семантику, сколько синтаксис. С понятием предиката мы входим в сферу синтактики.

Почему это так, в общих чертах, «неформально» ясно уже из вышесказанного. Но можно поставить вопрос и более «строго». И тогда на него как бы прямо дает ответ А. Черч в своем «Введении в математическую логику» (1956): «Положение станет яснее, если вспомнить, что для всякой логической системы можно предполагать существование многих правильных интерпретаций, при которых правильно построенным формулам (т.е. выражениям формализованного языка. — Ю. С.)

приписываются различные денотаты и значения. Эти приписывания денотатов и значений могут быть осуществлены путем установления абстрактного соответствия, так что исследование этих приписываний относится к теоретическому синтаксису. Семантика начинается тогда, когда мы решаем вопрос о содержании правильно построенных формул путем фиксирования какой-то конкретной интерпретации системы. Отличие семантики и синтаксиса обнаруживается в особенном значении, приданном одной конкретной интерпретации и устанавливаемом этой интерпретацией приписывании денотатов и значений правильно построенным формулам. Однако в пределах формальной логики, включающей чистый синтаксис и чистую семантику, об этом особенном значении нельзя сказать ничего, кроме того, что оно постулируется как особое» [Черч 1960, 383].

До тех пор пока логика занималась языковыми вопросами в общей форме, ее отношение к семантике характеризовалось последней фразой в приведенном высказывании Черча. Но как только в новой парадигме философии языка обратились от логики к естественному языку, произошла фиксация «одной конкретной интерпретации системы», а именно естественного языка, и тогда семантика стала сочетаться с синтактикой, с «чистым синтаксисом», так, как об этом говорит Черч. Так обстоит дело, если рассматривать этот вопрос в перспективе движения от логики к языку. Если же рассматривать вопрос в иной перспективе — от изучения языка к логике, то происшедшее равносильно тому, что от семантики перешли к синтактике.

Можно, пожалуй, сказать даже так: разработка синтактики (в том числе и формального синтаксиса в духе, например, Р. Карнапа) была связана с открытием в недрах семантики не вполне семантической категории — Предиката.

Тем не менее в первое время после открытия предиката его исследование, как это часто бывает в науке, производилось все еще по старым канонам — семантически и изолированно. т.е. пословно. Еще не было

осознано, что само понятие предиката влечет идею всеобщей связи «фактов» в мире и связи «выражений» в языке, и этот первый период, пока это не было осознано, был периодом «логического атомизма». Под этим названием имеют в виду идеи раннего Рассела 1910—20-х годов и Витгенштейна времени «Логико-философского трактата», но к ним близки с семиотической точки зрения и работы Карнапа, в особенности до

начала разработки им модальной логики и прагматики (т.е. до 1950-х годов). Предикат в контексте этих идей трактуется в «минимуме отношений», «атомарно», и такая трактовка обрисовывает его в особом ракурсе (см. раздел 3).

Второй период характеризуется учетом всеобщей связи, «системности», в противопоставлении «атомизму» — это время «Философских исследований» Витгенштейна и «лингвистической философии» Айера, Остина и др., время введения понятия «общая дистрибуция» в американской и советской лингвистике и попыток описания всего языка и каждого его элемента лишь в сетке «внутриязыковых отношений» (см. раздел 4).

Всему этому предшествовали — полузаброшенные к этому времени и видимые, скорее, лишь как руины — античные традиции стоиков (см. гл. IV, 2).

В отличие от философии имени, которая достаточно едина и, разделяясь на такие течения, как реализм, номинализм, символизм и т.д., разделяется лишь сообразно разным ответам на одни и те же вопросы, философия предиката более разнообразна и многолика, на разных ее этапах в ней ставятся все новые вопросы. И тем не менее она нечто достаточно единое.

Параллельно с философией предиката, как мы будем условно именовать названные выше концепции, происходит оформление феноменологии, в частности феноменологии языка, некоторые идеи которой близки к идеям философии предиката, а некоторые открывают следующую научную парадигму — философию эгоцентрических слов (о феноменологии как философии языка, но уже в рамках другой парадигмы, см. гл V).

В сфере поэтики названным течениям (исключая, разумеется, стоиков), или по крайней мере основным идеям этих течений, отвечают различные поэтики — поэтика футуризма, поэтика русского формализма, поэтика В. Я. Проппа, в настоящее время наиболее актуальная. Все они, однако, могут рассматриваться как «синтактические поэтики», или «поэтики предиката», образуя «класс синтактических поэтик»; двум из них посвящены особые разделы.

1. ПОНЯТИЕ ПРЕДИКАТА

Мы опишем здесь некоторые существенные черты предиката с современной, и притом семиотической, точки зрения.

Другая точка зрения (ее можно назвать «словарной»), согласно которой типичные предикаты — это глаголы, а глаголы в сущности ничем не отличаются от имен, кроме того что именуют не предметы, а действия, должна была представляться устаревшей уже в период «логического атомизма». Уже классическая логика прекрасно знала тот факт, что предикаты по своей семантической сущности — явления иного порядка, чем имена; «Субъект есть по своему смыслу прежде всего единичное, а предикат — всеобщее» (Гегель, Наука логики, § 169. Но всеобщее, или общее, не именуется, а означивается — на этом стояли уже схоласты, см. гл. I, 1); «Способность суждения вообще есть способность мыслить особенное как подведенное под общее» (Кант, Критика способности суждения. Введение, IV). Даже когда одно и то же имя занимает то позицию субъекта (*Учителя много работают*) (1), то позицию предиката (*Мои родители — учителя*) (2), оно представляет совершенно разные семантические сущности — денотат, референт, экстенционал в первом случае, сигнификат, интенционал во втором. К тому же приведенные примеры, в которых, как кажется на первый взгляд, предикат — имя существительное, это лишь частные случаи предиката. После рассмотрения общего случая мы убедимся в том, что такие выражения, как «данный предикат — имя существительное» или «данный предикат — глагол», неточны.

Предикат в общем случае — это пропозициональная функция (иногда, но редко употребляют также термин «высказывательная функция»). Например, выражение «— есть учитель» является предикатом, т.е. пропозициональной функцией — в данном случае от одной переменной. Переменная (аргумент, терм, или имя) обозначена здесь прочерком. Приведенное определение действительно как в логике, так и в лингвистике. Из него, между прочим, сразу видно, почему неточно выражение «данный предикат — имя существительное».

Предикаты классифицируются в соответствии с количеством переменных (иначе — термов, актантов), входящих в каждый из них:

одноместные: «x — желтый», «x бежит» (*Лимон — желтый; Ваня бежит*);

двухместные: «x читает у» (*Ваня читает книгу*);

трехместные: «x дает у z-у» (*Ваня дает книгу Маше*);

четырёхместные: «x дает у z-у за w» (*Ваня дает деньги Маше за книгу*) — и т.д.

В общем случае в формализованном языке предикат есть n-местное отношение. Обычно если уж предикаты определяются таким образом и количество n достаточно велико (в естественных языках оно редко превосходит 4—5), то содержание предиката теряет какую-либо явную связь с семантикой естественных предикатов; предикат в таком случае

просто «n-ка» («энка», как «двойка», «тройка») предметов (термов), взятых в определенной последовательности. С таким абстрактным понятием предиката приходится иметь дело в модальных и интенциональных логиках (см. гл. VI, 3).

Напротив, одноместный предикат иногда выделяется как нечто совсем особенное, и поскольку в него входит лишь терм-субъект, то такой предикат иногда называют «нуль-местным». В естественном языке ему соответствуют качества и состояния (так, например, у Рассела, см. гл. IV, 3).

В лингвистике более обычным способом обозначения переменной является не латинская буква и не черта, а краткое описание переменной: например, «{Имя, обозначающее лицо} есть учитель». Получающееся при этом лингвистическое описание пропозициональной функции (или предиката) есть не что иное, как «тип предложения», «модель предложения», «структурная схема предложения» (предпочтительнее всего последний термин ввиду его однозначности). Замена переменной на постоянную (на имя) превращает пропозициональную функцию в предложение (например, *Мой брат — учитель*) (3).

Таким образом, предикат и пропозициональная функция (опять-таки как в логике, так и в лингвистике) — одно и то же, но как бы определенное с разной степенью детализации. Предикат определяется обычно в самом общем виде, без характеристики его переменных, а пропозициональная функция определяется как предикат и некоторая характеристика переменных — их «область определения».

Основания этого совпадения заключены в самом языке — в явлении «семантического согласования» между предикатом и субъектом предложения: так, в приведенных примерах (1), (2), (3) очевидно, что термом-субъектом может быть лишь объект, относящийся к классу «человек, лицо». Если это условие сформулировать явным образом, например сказав, что «термом данной пропозициональной функции может быть только объект, относящийся к классу «человек, люди», то мы получим

область определения этой функции. Последнее опять-таки будет действительно как для логики, так и для лингвистики. Однако, подчеркнем еще раз, и без такого явного определения пропозициональные функции, или предикаты, в естественном языке несут в самих себе указание на связь с теми или иными субъектами. Можно было бы подумать, что имеются предикаты, не несущие никакого указания на возможный субъект, например рус. *находиться ближе, чем* или просто *находиться*. Однако такое заключение было бы некорректным; вернее сказать, что такие предикаты несут указание на все возможные субъекты данного языка. В любом случае предикат в естественном языке должен оцениваться по соотносению с таксономией имен-субъектов, вообще — термов.

Таким образом, предикат отделяется от имени, даже когда имя занимает позицию предиката («справа от связки»: *Он — учитель*).

295

Более трудной задачей оказалось отделение предикатов от глаголов в смысле умения не смешивать предикаты с глаголами. Ее выполнили в 1950-х годах лингвисты Л. Ельмслев и Э. Бенвенист. Существо их решения состояло в следующем. Положим, даны два русских глагола, образующих пару: *защититься* — *защищаться* в смысле ‘обороняться’ и в новом смысле — ‘защищать свою диссертацию’; пока мы имеем возможность спрягать оба глагола параллельно, мы имеем дело действительно с глагольными единицами, но вот перед нами иной случай — *Защищается диссертация*, к которому не может служить параллелью выражение *Защитилась диссертация* (но только: *Была защищена диссертация*); здесь, следовательно, соединение глагола *защитить* и частицы *-ся* не образует единого глагольного слова; частица *-ся* в этом случае принадлежит предложению; что касается слова *защититься*, то оно соединяет в виде глагола две языковые сущности — глагол *защитить* и нечто, принадлежащее предложению, — морфему *-ся*»

Л. Ельмслев осознал такие частные случаи как общий случай: факт спряжения всегда (не только в примере, подобном русскому *-ся*) принадлежит предложению, или, сказали бы мы теперь, предикату; глагольное же слово указывает только на семантический признак предиката, на то, что этот признак, будучи отвлеченным от предиката и от предложения, представляется в виде отдельного слова — глагола [Hjemslev 1948]. Таким образом, если продолжить мысль Ельмслева, глаголы,

перечисляемые в словарях (в индоевропейских языках обычно в форме инфинитива), — это не «имена действий», а абстракции, созданные лингвистами [Бенвенист 1974, 289; см. также с. 167 и след.]. Глагол *есть* слово, совмещающее значение предиката и некоторое количество других признаков, вытекающих из семантики субъекта, объектов, трансформаций и перифраз данного предиката. Таким образом, предикаты — это особые семантические сущности языка, и они типизируются языком не в форме словарных единиц, глаголов, а в форме пропозициональных функций и соответствующих им «структурных схем предложений».

Пр о б л е м а и м е н о в а н и я. Предикаты не именуют. Или, во всяком случае, говорить, что «предикаты именуют», — значит употреблять глагол «именовать» в необычном смысле. В позиции предиката имя, даже то же самое имя, что и в позиции субъекта (это мы видели выше на примере со словом *учителя*), означает не предмет, а некоторое понятие. Поэтому если оно и «именует» нечто, то «именует понятие». Это действительно необычное употребление глагола «именовать». Правда, кажется, Оккам употребляет его (т.е. соответствующий латинский эквивалент) в таком смысле, но лишь там, где требуется подчеркнуть именование словом как материальным знаком его собственного содержания. Но в таком случае достаточно термина «сигнифицирует», уже введенного выше (см. гл. I, 1).

296

Б а з и с н ы е, и л и б а з о в ы е, п р е д и к а т ы. Они могут пониматься чисто семантически. В таком случае базисный предикат — это всегда «одноактантный», «нуль-местный» предикат, обозначающий свойство или состояние. В поверхностной форме индоевропейского предложения ему обычно соответствует непереходный глагол (*Иван спит*), прилагательное (*Иван высок*), причастие (*Окно разбито*) или «предикатив» типа *болен* (*Иван болен*). Все остальные предикаты при таком взгляде должны сводиться к базисным, и эта редукция, как, например, в семантическом языке А. Вежбицкой, приобретает зачастую причудливые формы (*Иван разбил окно молотком* = «Окно разбито + потому что + молоток пришел в соприкосновение с окном + ...» и т.д. [Wierzbicka 1972]).

Базисный предикат может пониматься и синтактико-семантически, т.е. формально: как предикат, не содержащий среди своих термов, или актантов, целого предложения [см.: Демьянков 1980]. Так, определяемый базисный предикат будет частным случаем

по отношению к определению Вежбицкой (по Вежбицкой, базисный предикат вообще не должен содержать никаких термов, кроме субъекта).

Мы, как уже было сказано, вводим в качестве базисных предикатов 10 категорий Аристотеля, отмечая особый статус категории Сущность, т.е., собственно, 9 следующих за ней категорий (см. гл. I, 2).

Категории Сущность, Качество, Отношение, поставленные во главе списка, являются с логической точки зрения основными. В известном смысле можно сказать, что каждая из них выступает основой одного из разделов формальной логики. «Сущность» (как «класс») — основой «логики классов» с рассматриваемым ею основным видом суждения « S есть P », где S и P — классы (экстенционалы). «Качество» — основа «логики свойств» (так мы условно называем логические системы, принимающие отождествление свойства и класса, как, например, у Р. Карнапа), которая рассматривает в качестве основного вида суждение $P(x)$, « x обладает свойством (качеством) P ». «Отношение» является основой «логики отношений», которая в качестве основного рассматривает суждение вида aRb « a стоит в отношении R к b ».

Базисные предикаты вступают между собой — в тексте — в линейные семантико-синтаксические отношения. Их в свою очередь можно типизировать, введя, например, понятие «суперпредикат». Если базисные предикаты действуют в пределах простого предложения (и поэтому в известном смысле верно определение Х. Б. Карри — «предикаты превращают имена в предложения»), то «суперпредикаты» действуют в пределах сложного предложения. «Сложное» понимается при этом как «составленное из простых». Поэтому можно сказать, что суперпредикаты превращают простые предложения в сложные.

К суперпредикатам естественно отнести прежде всего союзы типа *если, потому что, вследствие того что* и т.п. Но список суперпредикатов продолжает пополняться, так как открываются все новые языковые явления, которые оказываются при глубинном семантическом и синтаксическом анализе подходящими под этот разряд (см. также гл. IV, 2).

В американской лингвистике последнего десятилетия детально исследуются текстовые связи предикатов: как ориентировано предложение с данным предикатом, как оно связано с предшествующим дискурсом, с фоном всего дискурса, какова референция

субъекта при данном предикате и т.п. [см.: Демьянков 1982, 2047—2048]. В советских работах детально обследуется семантика [см.: Семантические типы предикатов 1982].

Нелинейные, внетекстовые отношения между предикатами базисного списка. Вообще говоря, между предикатами базисного списка не должно быть никаких отношений. Это утверждение оказывается просто следствием того, что предикаты этого списка являются или категориями (как в нашем списке, по Аристотелю), или «примитивами» (как, скажем, в списке А. Вежбицкой), следовательно, элементами и, следовательно, неопределимыми. Быть неопределимым — и значит быть неразложимым. Будучи неразложимыми, предикаты этого списка не сводимы ни к каким другим элементам и, значит, не сводимы друг к другу. Предикаты базового списка нельзя удовлетворительно описать чем-либо, подобным «компонентному анализу». Нельзя, например, утверждать, что как «мужчина» может быть семантически сведен к компонентам «человек» + «мужского пола» + «взрослый», так же и базовый предикат может быть каким-нибудь подобным образом сведен к компонентам, состоящим из других базовых предикатов: «место» не может быть сведено к «времени» и т.п. Однако в практике даже строгого логического анализа нечто, на первый взгляд похожее на эту операцию, постоянно проделывается, по крайней мере с тремя первыми предикатами аристотелевского списка. «Класс» (т.е. «Сущность»), «Свойство» и «Отношение» нередко выражаются одно через другое. В некоторых формализованных системах, «языках», действует так называемый принцип объемности, т.е. отождествления свойства с классом. Р. Карнап, как известно, видел даже в устранении «удвоения имен» (в устранении различия «имен свойств» и «имен классов») основную заслугу своего метода.

Однако операция, которая имеет при этом место (не всегда в явно выраженном виде), довольно своеобразна. На наш взгляд, наиболее удачно ее формулирует Р. Столл: «Любая форма $P(x)$ определяет некоторое множество A посредством условия, согласно которому элементами множества A являются в точности такие предметы a , что $P(a)$ есть истинное высказывание... Можно сказать, что решение вопроса, является ли данный предмет a элементом множества $\{x | P(x)\}$, есть решение вопроса, обла-

дает ли a некоторым определенным свойством (качеством)... В таком случае... каждое свойство определяет некоторое множество» [Столл 1968, 16]. Иными словами; при

переходе от предиката «Качества» к предикату «Сущности (Класса)» или наоборот исследователь выходит за пределы языка и устанавливает эквивалентность предикатов на основании эквивалентности объективных, внеязыковых ситуаций. В сущности то же самое обычно производят говорящие, когда заменяют выражение времени выражением места, например: *Мы позавтракаем в поезде* вместо *Мы позавтракаем в 12 часов* (если известно, что «Мы будем в поезде в 12 часов»).

Из всего сказанного выше напрашивается вывод, что предикаты, будучи категориями и будучи связанными со строением предложения в целом (а не с какой-либо его частью), не должны поддаваться контрастному компонентному анализу. Семантический анализ предикатов влечет радикальные изменения в семантической теории — он требует неконтрастной теории значения.

Как известно, идеи иной, «контрастной теории значения» были обобщены в рамках лингвистического позитивизма, в частности А. Айером. Согласно этой теории, элемент языка, например слово, обладает значением лишь в силу контрастирования с другими словами (ср. идею «чистых оппозитивных сущностей языка» де Соссюра). Что касается категорий, то они, согласно этим воззрениям, принадлежат к Запрещенным уровням абстракции», на которых принцип контраста утрачивает силу. Поэтому, в частности, категориальные термины, находящиеся на «неконтрастном уровне семантики», не контрастирующие один с другим, такие, как «бытие вообще», «Существование вообще», а также «прогресс», «материя» и др., рассматривались как лишенные смысла.

Построение универсальной классификации предикатов влечет за собой иные выводы. Заставляя признать Неконтрастный уровень семантики» (каковым и является семантика основных предикатов), оно вместе с тем заставляет признать осмысленность категорий предикатов и обобщение в них объективных явлений бытия.

Наконец, последняя проблема. Выше мы все время рассуждали о предикатах как о базисных предикатах, извлеченных из простого предложения. Однако не видно, кажется, никаких особенных логических оснований к тому, чтобы устанавливать категории (т.е. базисные предикаты) именно таким путем — извлекая их из простых предложений, как и поступал Аристотель. Можно попытаться извлекать их из сложных предложений, рассматривая как базисные предикаты «суперпредикаты», связывающие простые предложения в тексте. Такая возможность отвечала бы самому духу новейшей парадигмы — философии эгоцентрических слов, которая в то же время принимает за

основную языковую данность текст. Но осознали эту возможность еще стоики (см. гл. IV, 2).

Итак, подобно имени, предикат достаточно хорошо обследован логически и формализован. Но что он представляет собой по существу? В чем сущность акта предикации, столь неотъемлемого от мышления вообще? Этот вопрос всегда существовал рядом с логическим анализом языка как философский вопрос языка, иногда третируемый как «метафизический».

Даже Рассел (а именно он вместе с другими представителями логического позитивизма употреблял это нелестное имя «метафизика») не мог избежать этого вопроса. В поздних работах Рассел стал называть ту разновидность фактов, которая выражается пропозициональной функцией и предикатом, событием. «Мое мнение сводится к тому, что «событие» может быть определено как законченная совокупность сосуществующих качеств, имеющая два свойства: (1) все качества совокупности сосуществуют и (2) ничто вне совокупности не сосуществует с каждым членом совокупности. Я считаю эмпирическим фактом, что никакое событие не повторяется» [Рассел 1957, 117].

В настоящее время для адекватного описания семантики высказываний признается необходимой тройная категоризация (различение): «вещь» — «факт» — «событие». Факт определяется как нечто лишнее пространственно-временной актуализации и в этом смысле близкое к вещи; обычным языковым способом выражения факта является номинализация предложения (рус. *Тот факт, что мы с вами встретились; Наша с вами встреча*). Событие понимается как неповторимое пространственно-временное сочетание явлений; обычной языковой формой выражения события является полное предложение (*Мы с вами встретились наконец сегодня*). Однако с логической точки зрения вопрос до конца не решен. Понятие элементарного события, очень важное для многих пунктов теории языка (например, для описания русских глагольных видов), очень трудно определимо. Первые определения [Reichenbach 1948; Davidson 1967] вызвали большую дискуссию. Имеются как противники различения факта и события [Horgan 1978; Hornsby 1980], так и его сторонники [Арутюнова 1980; Hacker 1982].

В поздних работах Рассел склоняется к мысли, что структура синтаксиса в общем и целом отражает структуру мира [Russell 1980, 374]. Но это лишь общее утверждение.

По-видимому, Рассел чем дальше, тем больше отказывался от рассмотрения предиката по существу, и если мы хотим узнать об этом что-нибудь из его работ, то должны обратиться к ранним произведениям.

В период, предшествующий оформлению его понятия «событие», о котором мы упомянули, в «Логическом атомизме» 1924 г., он писал: «Атрибуты и отношения, хотя они, *может быть, и не поддаются анализу* (курсив наш. — Ю. С.), отличаются от субстанций, и именно тем, что они подразумевают некую структуру, и тем, что не может быть сигнифицирующего символа, который символизировал бы их отдельно от пред-

ложения. Так, символ для «желтый» (если для иллюстрации допустить, что «желтый» — это атрибут) — это не отдельное слово «желтый», а пропозициональная функция «x есть желтый», где структура символа показывает позицию, которую слово «желтый» должно занимать в предложении, если оно будет что-нибудь сигнифицировать. Аналогично этому отношение «предшествует» выражается как «x предшествует y-ку». Символ для простейшего возможного типа факта также имеет форму «x есть желтый» или «x предшествует y-ку», но только «x» и «y» уже не неопределенные переменные, как в первом случае, а имена» [Russell 1959, 44]. Это, может быть, и не вполне «сущностный», но все же анализ.

В еще более ранних работах Рассел делал попытки идти дальше и довольно четко обозначил контуры понятия «предикат», не проникнув, однако, в его сущность. Он писал: «Все наше знание а priori касается чего-то такого, что, говоря точно, не может существовать ни в духовном, ни в физическом мире. Это нечто может быть обозначено лишь теми частями речи, которые не являются существительными, это — качества и отношения. Предположим, например, что я в своей комнате. Я существую, и моя комната существует, но существует ли «в»? С другой стороны, очевидно, что слово «в» имеет смысл; оно обозначает отношение, в котором нахожусь я и моя комната. Это отношение, про которое мы не можем сказать, что оно существует в том же смысле, в котором существуют я и моя комната... Эти отношения... должны быть помещены в мир, который не есть ни духовный мир, ни физический. Этот мир очень важен для философии, а особенно для проблемы априорного познания» [Рассел 1914, 66].

В этом смысле Рассел был не так далек от Маха (от которого, впрочем, он, Айер, и другие сторонники логического позитивизма достаточно решительно отмежевались).

Действительно, всегда, начиная с открытия заново этой категории в начале XX в., предикат сущностно всегда понимался как некое совпадение «внешних», объективных отношений, существующих в мире, и «внутренних» отношений, существующих в акте предикации в нашем сознании.

Э. Мах еще в 1905 г. в книге «Познание и заблуждение» (гл. I) писал, соединяя «внешние» и «внутренние» элементы: «Все физическое, находимое мною, я могу разложить на элементы, в настоящее время дальнейшему разложению не поддающиеся: цвета, тоны, давления, теплоту, запахи, пространства, времена и т.д. Эти элементы оказываются в зависимости от условий, лежащих вне и внутри U (U — «пространственные границы нашего тела». — Ю. С.). Постольку, и только постольку, поскольку эти элементы зависят от условий, лежащих внутри U, мы называем их также ощущениями. Так как ощущения моих соседей столь же мало даны мне непосредственно, как и им мои, то я вправе те же элементы, на которые я разложил все физическое, рассматривать и как элементы психического. Таким образом, физическое и психиче-

ское содержат общие элементы, и, следовательно, между ними вовсе нет той резкой противоположности, которую обыкновенно принимают. Это становится еще яснее, когда оказывается, что воспоминания, представления, чувствования, воля, понятия строятся из оставшихся следов ощущений и с этими последними, следовательно, вовсе не несравнимы. Если я теперь называю всю совокупность моего психического, не исключая и ощущений, моим «Я» в самом широком смысле этого слова (в противоположность более тесному «Я», см. выше), то в этом смысле я могу сказать, что в моем «Я» заключен мир (как ощущение и как представление)» [Мах 1912, 104].

Если выделить в этом идеалистическом рассуждении Маха об «элементах» рациональное зерно, то оно заключено в том, что физическое и психическое, объективное и субъективное в определенные моменты должны содержать нечто общее. Предикат и предикация как раз и осознавались всегда как момент этой общности.

Так понимался акт предикации уже в системах объективного идеализма. Шеллинг в «Системе трансцендентального идеализма» (1800) утверждал: «Самое разделение на субъект и предикат вообще возможно лишь благодаря тому, что первое выступает в качестве созерцания, второе же — в качестве понятия. Таким образом, в суждении

понятие и объект первоначально должны быть противопоставлены, затем вновь соотнесены и положены в качестве равноценных. Но такое соотнесение возможно лишь благодаря созерцанию... Это созерцание должно примыкать, с одной стороны, к понятию, с другой же — к объекту» [Шеллинг 1936, 230].

Гуссерль, в рамках феноменологии, включил понятие предикации в систему понятий «жизненного мира» человека, мира «непредвзятых, непосредственных мнений» — Доха [докса] и выразил это так: бытие есть предмет доксы, а обладание бытием — предмет предикации (Das Sein ist Sache der Doxa und das Haben des Seins ist Sache der Prädikation); язык предстает как свидетельство бытия на основе восприятия, поэтому предикация не что иное, как переход к подлинному бытию (Die Prädikation ist somit nichts als der Übergang zum wahren Selbst) [Hülsmann 1964, 186, 189].

В этой не очень ясной, особенно без контекста, формулировке отчетливо ощущается одно — стремление схватить сущность предикации непосредственно, феноменологически, без логических абстракций.

И, пожалуй, наиболее ярко это стремление, уже оттолкнувшись от феноменологии, выразил Ж.-П. Сартр, правда на мрачном фоне экзистенциальной философии, какой она была в 1938 г. Герой сартровского романа «Тошнота» Антуан Рокантэн, молодой человек, подавленный одиночеством, отчуждением от всех, даже от случайных прохожих, внезапно ощущает Существование», «экзистенцию» — идет знаменитый эпизод с корнями дерева, изложение основной категории этой философии.

302

«У меня перехватило дыхание. Никогда раньше, вплоть до последних дней, я не мог даже отдаленно предчувствовать, что значит «существовать» [«экзистировать»]. Я был как все, как те, кто прогуливается по берегу моря в весенних костюмах. Как они, я говорил «Море есть зеленое. Белая точка, вон там — это *есть* чайка». Но я не ощущал, что оно существует, что чайка — «существующая [«экзистирующая»] чайка». Обычно экзистенция прячется. Она здесь, вокруг нас, она — это мы, мы не можем сказать двух слов, не говоря о ней, и все-таки не в силах дотронуться до нее. Когда я считал, что думаю о ней, видимо, я не думал ничего, голова была пуста, или, самое большее, в ней витало слово «быть». Или, может быть, вот что... как бы это сказать... — я мыслил *принадлежать*. Я мыслил так: море принадлежит к классу зеленых объектов. Или так: зеленый цвет принадлежит к качествам моря. Даже разглядывая вещи, я был на сто

километров от мысли о том, что они существуют. Стоят себе, как декорация. Я брал их в руки, они служили мне инструментом, я знал, как они будут сопротивляться моим рукам, но все это происходило на поверхности. Если бы меня спросили, что значит «существовать», что такое «экзистенция», я бы искренне ответил: ничего, так, пустая форма, которая прибавляется к вещам снаружи, ничего не меняя в их природе. И вдруг на тебе! Вдруг разом, как на ладони, — вот она, «экзистенция», вот оно — «существовать»! Экзистенция открылась, отбросила свои невинные манеры абстрактной категории: вот она, само тесто вещей... Вот этот корень, он вылеплен из экзистенции... Или, вернее, вот что: этот корень, эта решетка сада, скамейка, газон — все это исчезло... Различия вещей, их индивидуальность — все это была видимость, наружная покраска... Покраска спала, и остались жуткие тестообразные массы, хаос масс — голых, да голых! — в чудовищной, бесстыдной наготе...» (Sartre P. La nausée. P.: Gallimard, 1958, p. 179—180).

Не нужно, впрочем, принимать и описание Сартра как нечто новое и свежее для тех дней. Возможность такого ощущения бытия была предвидена в философии имени. А. Ф. Лосев, как бы прямо отвечая Сартру, уже в 1927 г. в «Философии имени» писал: «Когда мы говорим, что предмет требует для своего определения как сущего предмета некое окружение «иногое», дающего ему границу и очертание, то легко представить себе, что «иногое» есть в этом случае некая бесформенная материя, вроде воды или глины, «из» которой, «в» которой и «на» которой отпечатываются те или иные формы. Основной предпосылкой такого толкования «иногое» является представление его в виде самостоятельной вещи, хотя и бесформенной, но обладающей своими силами и своим собственным бытием. Это — *натуралистическая метафизика* (курсив наш. — Ю. С.), оперирующая в основе вещными аналогиями. Наперекор этому натурализму мы должны выдвинуть антиметафизическую диалектику, которая не отделяет меона от сущего по бытию, но включает меон как

303

момент определения самого сущего» [Лосев 1927, 52] (о меоне и других понятиях философии имени Лосева см. гл. I, 5).

Вызывая тем не менее столь неприятное «ощущение предиката», эта категория покинула философию предиката и вошла в последнюю парадигму — наших дней. Но это не значит, что в ней она не испытала изменений.

Традиция стоиков развивалась на протяжении веков. Часто ее делят на периоды: Стоя-1 — Зенон (334—262 гг. до н.э.), он считается основателем Стои, и Клеант (331—232 гг. до н.э.); С т о я-2 — Хрисипп (II в. до н.э.); С т о я-3 — Антипатр из Тира (I в. до н.э.), а также их менее известные ученики и последователи. Учение стоиков до сих пор в целом недостаточно реконструировано и во многих пунктах предстает перед нами в виде фрагментов, которые к тому же интерпретируются по-разному.

Чтобы вписать концепцию стоиков в контекст философии языка, необходимо, на наш взгляд, подчеркнуть следующие ее линии: лингво-логическая доктрина стоиков отличается от концепции Аристотеля, ведущей к средневековому концептуализму, и от платонизма, ведущего к средневековому крайнему реализму; от концепции стоиков пролегает путь к номинализму типа номинализма Оккама и, через его посредство, к англосаксонской «лингвистической философии» нового времени; опорной линией стоической концепции являются категории, совершенно отличные от Категорий Аристотеля; учение стоиков о категориях теснейшим образом связано с учением о высказываниях и, точнее, с синтактикой высказываний; в этом контексте у стоиков особое значение имеет ими же введенное понятие «лектон», прообраз современного понятия интенционала. На этих вопросах мы последовательно остановимся.

К а т е г о р и и. Против 10 Категорий Аристотеля стоики выставляют четыре категории совершенно иного характера (на первом месте — термин стоиков, на втором — буквальный перевод, на третьем — приблизительно соответствующий современный термин):

1. υλοκεῖμενον	— “субстрат (качественно не определенный)”	— субстрат; подлежащее
2. ποῖόν	— “какое” (подразумевается “какой субстрат”)	— качество
3. πῶς εἶχον	— “в каком состоянии находящееся” (также подразумевается субстрат)	— состояние

4. πρὸς τί πῶς εἶχον	— “в каком состоянии находящееся по отношению к чему” (все так же подразумевается субстрат, тем	— отношение
----------------------	---	-------------

самым все далее определяемым)

Над четырьмя категориями господствует еще одна, высшая — «неопределенное нечто» (το τί), качественно не определенная материя (ἄλογος ὕλη). Что касается четырех категорий, то уже из самого перечня видно, что они стоят в определенном отношении одна к другой. Но как истолковать это отношение?

Иногда считают, что «высшим родовым понятием для всех четырех стоических категорий является субстрат» [Каракулаков 1964, 86]. С этим можно согласиться только с очень большими оговорками: родо-видовое соотнесение здесь надо понимать не в аристотелевском смысле — категории стоиков — это не «роды бытия», — а чисто понятийно, как соотнесение понятий. Но тогда это мало что дает, и требуется какое-то дальнейшее уточнение. В качестве такого уточнения можно, казалось бы, принять мнение Б. Мэйтса: каждая предшествующая категория содержится в следующей и более полно определяется ею [Mates 1961, 18]. Тогда получается такая картина: от первой категории к четвертой увеличивается содержание признаков (с чем можно согласиться) и уменьшается объем (с чем согласиться вряд ли можно). Иными словами, получается так, что четвертая категория — это какая-то категория меньшего объема, чем первая, т.е. «субстрат, находящийся в каком-то состоянии по отношению к чему-то» (4-я категория), — это нечто иное, чем «субстрат» просто. Но это явный парадокс, так как стоики во всех четырех категориях имеют в виду одно и то же — все тот же «субстрат» и говорят лишь о его последовательном определении, точнее, о нарастании его определенности каким-то образом. Но каким именно образом, при упомянутых толкованиях остается неясным.

На наш взгляд, дело здесь в том, что отношения между категориями стоиков нельзя толковать как соотношения объема и содержания, их вообще нельзя толковать семантически, но только синтактически.

Высшая категория «неопределенное нечто», подлежащее-субстрат, качественно неопределенная материя, — это нечто, существующее до и вне всякого высказывания, до соотнесения с высказыванием. Из четырех остальных категорий первая — это подлежащее-субстрат, но уже взятое в отношении к высказыванию, однако еще до того, как оно совершилось; это «подлежащее возможного высказывания». Вторая категория, «качество», — это подлежащее-субстрат с его существенным признаком, с его

предикатом (взяты, как мы увидим ниже, на коротком пространстве простого предложения *Сократ пишет*). Третья категория,

«состояние», — это подлежащее-субстрат и признак-предикат, взятые в отношении к определенному состоянию, к моменту, к протеканию во времени в определенных данных обстоятельствах, т.е. простое предложение, развернутое обстоятельствами и определениями. Четвертая категория, «отношение», — это отношение данного развернутого предложения к другим предложениям, окружающим данное в связном тексте.

Именно при этом толковании будет наиболее естественно и просто понять постоянно упоминаемую комментаторами (зачастую с недоумением) связь между категориями и «частями предложения», называемыми «частями речи», и притом понять ее системно и однозначно. (У назывались лишь фрагменты такого понимания. Так, В. В. Каракулаков, высказывая сходное с данным здесь толкование второй и третьей категорий, выражает недоумение по поводу четвертой: «союзы» (в античном понимании — предлоги и логические союзы) «вряд ли могут быть соотнесены с той или иной категорией» [Каракулаков 1964, 86]. А. Ф. Лосев, напротив, считает, что четвертая категория определенно соответствует «союзам, предлогам, артиклям, а также, очевидно, всем морфологическим показателям склонения и спряжения, лежащим в основе всякой связной речи» [Лосев 1982, 181]. Морфологические показатели, на наш взгляд, к делу не относятся, потому что они есть везде: в выражении подлежащего самом по себе, в выражении подлежащего с простым сказуемым и т.д., тогда как у стоиков перечень категорий развертывается именно по нарастанию определенного синтаксического качества.)

П о н я т и е о т н о ш е н и я. Понятие «отношение» увенчивает всю систему стоиков; «всякое знание и мышление, по стоикам, получают свою последнюю конкретность в системе отношений» [там же]. В свете изложенного ясно, что эту «систему отношений» стоиков надо понимать синтаксически, как систему отношений, в которую отдельное слово-понятие включается посредством вхождения в простое предложение, простое предложение — посредством вхождения в развернутое, или в сложное, предложение, а последнее — в связный текст.

Параллельно этому развертывается у стоиков понятие «смысла речи», своеобразное понятие «лектон».

П о н я т и е « л е к т о н ». Слово «лектон» (отглагольное прилагательное от глагола, означающего 'говорить») обозначает у стоиков не сам процесс говорения, а, по тонкому замечанию А. Ф. Лосева, процесс «имения в виду». Под этим термином стоики понимали некоторого рода самостоятельную инстанцию, посредствующую между говорящим субъектом и называемой им, «имеющейся в виду» в процессе говорения вещь. Сообразно указанной выше системе отношений лектон может обладать разной степенью полноты: «неполный, или недостаточный, лектон» в одном отдельно взятом слове, например в глаголе без субъекта — *пишет*; «законченный, полный лектон» в сочетании преди-

ката с субъектом — *Сократ пишет*. Полнота лектона нарастает по мере усложнения высказывания, развертывания простого предложения в сложное и его включения посредством логических связок в текст.

А. Ф. Лосев комментирует это понятие следующим образом: «Абстрактное и всегда однозначное «лектон» отличается еще и от всякого рода психических или моральных состояний того субъекта, который что-нибудь высказывает. Предмет его высказываний хотя и порожден теми или другими психофизиологическими усилиями человека, тем не менее взятый сам по себе не имеет никакого отношения к ним. Не нужно думать, что здесь мы находим какое-то логическое чудачество. Наоборот, мы же сами пользуемся таблицей умножения, которая хотя и дана всегда только в результате наших психофизиологических усилий, тем не менее по смыслу своему вовсе не имеет к ним никакого отношения и может применяться когда угодно, кем угодно, где угодно и в отношении к любым предметам — как существующим, так и несуществующим. У стоиков это не было чудачеством, а было только уверенностью в очевидности и явленности обозначенного предмета» [Лосев 1982, 175]; «Стоическое «лектон» формулируется так, чтобы именно отразить все мельчайшие оттенки языка и речи в виде определенной смысловой структуры. В этом огромная и небывалая заслуга стоического языкознания» [там же, с. 180].

Стоическое понятие лектона — прообраз современного понятия интенционала, о котором много раз идет речь в настоящей работе (см. гл. VI, 2; гл. VII, 2 и др.). Подобно

интенционалу предложения в современном понимании, лектон стоит над истиной и ложью — является более общим, чем истина или ложь, тем, что стойки называли «безразличным».

Понятие лектона находит определенную параллель и в древнеиндийской логике, в особенности в понятии «знание» — «джнанани» (jñānani) школы навья-ньяя. «Знание» там означает примерно то же, что осмысленное «приписывание (признака)» в западной логической традиции, т.е. просто соотнесение предиката с субъектом — *Сократ пишет* или *Пишущий Сократ*, в то время как «утверждение» определяет некоторый факт и является или истинным, или ложным. Индийская логика с древнейших времен различала эти два понятия. Классический силлогизм в ней состоит из пяти членов:

1. Тезис: «На горе огонь».
2. Основание: «Ввиду дыма».
3. Пример: «Где дым, там и огонь, как в очаге».
4. Применение: «Также и здесь».
5. Заключение: «Следовательно, так и есть».

—307—

«Поскольку в этих санскритских конструкциях, — замечаете этой связи Инголлс, — отсутствуют личные глаголы, то без пояснений древних авторов вряд ли можно было бы догадаться, что два первых члена такого силлогизма являются приписываниями, а три других — утверждениями» [Инголлс 1975, 36].

Так называемая Новая логика, навья-ньяя, занималась более всего не таким пятичленным «выводом для других», а так называемым выводом для себя, сокращенным до трех членов. «Этот трехэтапный процесс, — продолжает Инголлс, — можно считать чем-то вроде неассерторического силлогизма. Об истинности или модальности его стадий трудно высказаться однозначно. Они не являются простыми фактами приписывания, поскольку логический вывод, даже если он делается для себя, все же является истинностной формой знания, а истинное знание (прама) определяется как знание, соответствующее тому, каков мир на самом деле. Но они не являются и утверждениями, поскольку иначе, по мнению наййиков, не было бы нужды прибегать к помощи пятичленного силлогизма. Для наййика «проникновения», «операции» и «выводы» (стадии силлогизма. — Ю. С.) суть просто «знания» (jñānani), и я буду

пользоваться этим термином, хотя он выглядит несколько неуклюже» [там же, с. 36; ср.: Жоль 1981, 159].

Части речи. «Средняя часть речи» — наречие. Вопрос о частях речи носит вспомогательный характер и мало интересует философию языка. К тому же в настоящее время на этапе античности он достаточно хорошо освещен в целом [см.: Robins 1951; 1966; Перельмутер 1980; см. также серию статей В. В. Каракулакова]. Ниже мы лишь кратко резюмируем его, но выделим одну деталь, которая кажется нам существенной, — вопрос о «средней части речи». (После двоеточия указываются части речи, принятые в данном учении; чтобы было ясно, из какой части речи предшествующего учения отпочковалась данная, сохраняется исходная нумерация и к ней лишь добавляются буквенные индексы; это, разумеется, не означает, что понятие о частях речи заимствовались одним ученым у другого, но иногда это могло иметь место. Читатель может для удобства изобразить сказанное в виде схемы, в которой одноименные части речи располагаются по вертикали и соединены линией [ср.: Robins 1966].)

Развитие частей речи можно представить суммарно следующим образом:

П л а т о н: (1) «онома», (2) «рема»; очень приблизительно первое значит «имя», второе — «глагол, сказуемое», но более адекватные соответствия становятся ясными лишь в исторической перспективе, когда прочитано все резюме до конца.

А р и с т о т е л ь: (1) «онома», (2) «рема», (3) «сюндесмос» и «артрон» («союз», «член» — отношения между этими терминами у Аристотеля крайне неясны).

—308—

С т о я-1: (1) «онома», (2) «рема», (3а) «сюндесмос» («союз» и «предлог»), (3б) «артрон» («сочленение», «член»).

С т о я-2: (1) «онома», (1а) «просегория» («общее имя», «имя нарицательное»), (2) «рема», (3а) «сюндесмос», (3б) «артрон».

С т о я-3: (1) «онома», (1а) «просегория», (1аа) «месотес» или (2а) «пандектес» («месотес-пандектес» — «срединная часть речи», нечто вроде 'наречия»), (2) «рема», (3а) «сюндесмос», (3б) «артрон».

После Стои-3 происходит перерыв традиции или, во всяком случае, ее сильное изменение, и у Дионисия Фракийского (170—90 гг. до н.э.), а также у Аристарха система существенно иная.

Д и о н и с и й и А р и с т а р х: (1) «онома», (1аа) «эпиррема» («наречие»; сам термин указывает на производность от «ремы», так что одновременно следовало бы обозначить эту часть речи здесь 2аа), (2) «рема», (2а) «метохе» («причастие»), (3а) «сюндесмос», (3аа) «протесис» («предлог»), (3б) «артрон» («артикл»), (3бб) «антономия» («местоимение»). Эта система в основном сохраняется у Аполлония Дискола (II в. н.э.) и в латинских грамматиках Рима — у Доната (IV в.) и в последней из них — грамматике Присциана (VI в.).

П р и с ц и а н: (1) *nomen*, (1аа) *adverbium* («наречие»), (1ааа) *interiectio* («междометие»), (2) *verbum* («глагол»), (2а) *participium* («причастие»), (3а) *coniunctio* («союз»), (3аа) *praepositio* («предлог»), (3б) — отсутствует, артикля в латинском языке нет, (3бб) *pronomen* («местоимение»).

Современные общеевропейские списки частей речи ближе всего к списку Присциана, с тем лишь существенным отличием, что из «*nomen*», имени, выделено еще «*adiectivum*», прилагательное. Но еще схоласты употребляют в этом значении термин «*appellativum*». Положение причастия, даже в традиционном списке, остается не вполне ясным: одни современные нам авторы относят его к глаголу, не выделяя специально, а другие выделяют. Исследования по современному русскому языку (например, И. К. Сазоновой) показывают, что значения причастий очень часто отличаются от значений соответствующих глаголов, настолько часто, что следует, быть может, рассматривать причастие в русском языке наших дней как отдельную часть речи (интересно было бы детально выяснить, по каким основаниям выделял его Присциан).

Что касается римских грамматик, то самый большой успех в будущем был сужден грамматике Доната. В России она получила хождение с 1522 г. в переводе Дмитрия Толмача. В Западной Европе она была в употреблении до начала XV в., последний раз, если мы не ошибаемся, она была издана в Испании, и там ее сменили уже новые, вполне современные для той поры грамматики — испанского языка Небрихи (1492) и латинского языка Франсиско Санчеса (1587). Последняя в особенности настолько пронизана глубокими лингво-философскими идеями, что мы рассматриваем ее особо (см. гл. II, 3).

В России, кроме того, и притом раньше, распространились также грамматические компиляции по древнегреческим источникам, например «0 восьми частях слова» (XIV

в.), и вследствие этого у нас создалась двойная грамматическая, а отчасти и логико-философская терминологическая традиция, что поддерживалось и особой ролью греческих текстов и терминов в православном богословии.

Вернемся к вопросу о частях речи в логико-философском плане. Достижением стоиков, утраченным после прекращения их традиции, следует считать различие в имени «имени» в собственном смысле, имени индивида, и общего, или нарицательного, имени, вполне соответствующее современным логическим представлениям.

Интересным в связи с частями речи является вопрос об имени сущности. Выше мы уже отмечали, что отказ от аристотелевского понимания категорий как «родов бытия» приводил к отказу прежде всего от категории Сущность и к ее растворению в категории Качество, которая в свою очередь поглотила все остальные категории. Завершение этого процесса мы находим в логике Карнапа, где — и это Карнап считал своей особой заслугой — снимается «удвоение имен», т.е. различие «имен классов» и «имен свойств». В системе Карнапа «класс» последовательно сводится к «свойству» применением так называемого принципа объемности [Карнап 1959; подробнее в лингвистическом плане см.: Степанов 1981, 19, 107, 213 и др.]. Иначе говоря, «именем сущности» в систематике Карнапа было бы не столько «имя класса», сколько «имя свойства, качества» (но, конечно, Карнап не признавал никаких Сущностей): для него это понятие «метафизическое». Началом же этого процесса «переименования сущности» следует считать логику стоиков — ведь в ней лектон предполагается выраженным тем более полно, чем длиннее и полнее его синтактика, контекст. В этом смысле можно сказать, что сущность лишается собственного имени и получает лишь косвенное, контекстное выражение, притом выражение, стремящееся к бесконечности: чем длиннее контекст, тем полнее выражается лектон.

Довольно наглядно эта редукция сущности к качеству выразилась и в вопросе о «средней части речи» — *μεσότης*. Под этим названием новая категория появилась впервые в Стое-3, у Антипатра, и к ней были отнесены лишь наречия, образованные от качественных прилагательных, но в дальнейшем в нее были включены и другие наречия, и она стала называться *παυδέκτης* — «содержащая все», нечто вроде «корзины, куда складываются различные вещи». Дионисий Галикарнасский свидетельствует, что наречие «месотес-пандектес» как часть речи было выделено из глагола и что это было сделано именно стоиками [Каракулаков 1964, 85]. Но наречие, как и прилагательное, с

которым оно тесно связано, в системе языка есть нечто производное от имени. Это отразилось, между прочим, и в окончательных представлениях о частях речи, и Аристотель, по-видимому, склонен был рассматривать наречия среди

имен. Поэтому передвижение наречия «месотес-пандектес» из сферы имени в сферу глагола, предиката, что и запечатлелось в его наименовании «средняя», как раз и было одним из моментов процесса переключения сущности в качество.

Дионисий Фракийский, полемизируя со стоиками, отказывается от резкого разделения имен на собственные и общие (нарицательные) и рассматривает и те и другие как сущности, пользуясь аристотелевским термином «усия»; собственное имя у него есть обозначение «особой сущности» («идия усия»), а общее имя — обозначение «общей сущности» («койнэ усия»), при этом первое прямо соответствует аристотелевской «первой сущности», а второе — «второй сущности» [Каракулаков 1964а, 329]. Во всем этом и заключается разрыв с традициями стоиков и оформление философии имени как «философии сущности».

Пр о б л е м а б а з и с н ы х п р е д и к а т о в. Она была упомянута выше (в разделе 1 этой главы). Поскольку для стоиков лектон выражается тем полнее, чем длиннее его синтаксический контекст, постольку, естественно, они не могли отдавать никакого особенного предпочтения поискам базисных синтаксических понятий в коротких контекстах, установлению «первичных предикатов» в смысле Категорий Аристотеля. Напротив, следовало ожидать, что стоики, скорее, займутся поисками таких понятий в длинных фрагментах синтаксиса. Это и было на самом деле.

Историк логики А. О. Маковельский пишет по этому поводу: «...Стоики в своей логике на первое место ставили гипотетическую пропозицию (условное предложение). Знак они определяли как правильное условие, которое является предшествующей частью условного предложения, порождающей заключение в условном силлогизме. В этом определении отношение между знаком и тем, что он обозначает, выражено в форме гипотетической пропозиции «Если Р, то Q». Если имеется такое отношение, то Р есть знак для Q. По учению стоиков, это отношение знаков к обозначаемым ими предметам является сущностью всякого рассуждения. В основе рассуждения лежит положение «если это, то и то», которое вытекает из более общего положения стоической системы,

согласно которому в природе все находится во взаимной связи, все детерминировано, всюду господствует строгая закономерность» [Маковельский 1967, 186].

Это положение стоиков опять-таки очень напоминает древнеиндийский силлогизм, в особенности два первых члена, «приписывания»: «На горе огонь» — «Ввиду дыма».

Это определение знака является необычным, потому что это — последовательно синтаксическое определение. Обычное же определение знака — семантическое «Aliquid quid stat pro aliquo» — «Что-то, что стоит вместо чего-то». По-видимому, не случайно к синтаксическому способу

определения значения, посредством условного предложения, вернулся К. И. Льюис в 1943 г. в работе, в которой впервые было дано строгое определение понятия «интенционал» [Льюис 1983] (см. также гл. VI, 2 настоящей книги).

3. ЯЗЫК В КОНЦЕПЦИЯХ Б. РАССЕЛА 1920—1940-х ГОДОВ

Рассел считал своей задачей рассматривать язык в двух отношениях: во-первых, так, как это необходимо для построения теории познания; во-вторых, так, как это необходимо для теории познания, развиваемой в духе и в традициях английского эмпиризма. Субъективно (что видно из разных его работ) Рассел осознавал это как одну и ту же задачу.

Но мы, по прошествии времени, считаем возможным разделить, с одной стороны, положения Рассела о языке, важный этап в эволюции взглядов на язык, имеющий непреходящую объективную ценность, и, с другой стороны, его попытку эмпирического обоснования этих положений о языке и о познании, исторически и философски ограниченную; она не представляет для нас особого интереса. Остановимся подробнее на положениях Рассела о языке, привлекая местами для сравнения сходные идеи Р. Карнапа и других авторов.

Если заслуга Л. Витгенштейна заключается в том, что он явно признал язык одним из оснований своей (по крайней мере) философии, то заслуга Рассела состоит в том, что он точно выразил, в чем именно язык создает основания для такой (его и Витгенштейна) философии. «Понятие значения, которое я принял в своих философских рассуждениях, берет начало в примитивной философии языка. Немецкое слово, означающее «значение», происходит от немецкого слова, означающего «указание» [Wittgenstein

1974, 56]. «Синтаксис и словарь оказали на философию влияние различного рода», — констатирует он в работе 1924 г. «Логический атомизм» [Russell 1959, 38]. Свою книгу «Разыскание о значении и истине» 1940 г. он заканчивает словами: «Результат, к которому я пришел, таков: полный метафизический агностицизм несовместим с сохранением понятия лингвистических пропозиций. Некоторые современные философы считают, что мы знаем много о языке, но ничего ни о чем помимо языка. Но при этом взгляде упускают из виду, что язык — такой же эмпирический феномен, как и всякий другой, и что человек, выступающий в метафизике агностиком, должен утверждать, что он не знает и того, когда он использует слово. Что касается меня, то я считаю, что — частично путем исследования синтаксиса — мы можем достичь существенного знания о структуре мира» [Russell 1980, 374].

В работах Рассела содержится несколько концепций языка, каждая из которых логически описывает лишь какой-то один фрагмент

—312—

естественного языка. В зависимости от того, как мы будем смотреть на степень связанности этих фрагментов в самом языке, по-разному предстает и степень связанности расселовских концепций языка. Их можно рассматривать, и как одну концепцию, состоящую из различных частей, и как несколько разных, максимум четыре. Нам представляется, что вторая точка зрения больше соответствует действительности, да к тому же и философские позиции Рассела за это время менялись — через «логический атомизм» до отказа от него. Однако некоторые константы во взглядах на язык у Рассела прочно сохранялись.

Четыре концепции, о которых мы говорим, следующие:

1. «Теория дескрипций», или «теория определенных дескрипций» (definite descriptions), изложенная первоначально в работе «Об обозначении» 1905 г. [Russell 1956]; ее суть сводится к демонстрации обманчивости имен в естественном языке, в особенности общих имен; смыслы общих имен логически должны быть описаны различными сочетаниями дескрипций и кванторов.

2. Концепция «пропозициональных установок» (propositional attitudes), суть которой сводится к тому, что простые пропозиции типа «Идет дождь» в естественном языке обычно окружены различными установками говорящих типа «Джон считает, что» + «Идет дождь»; Рассела особенно занимали установки мнения, или веры («Джон

считает, полагает, верит, что...»). Эта концепция изложена в работе «Разыскание о значении и истине» 1940 г. [Russel 1980].

3. Концепция «иерархии языков» (изложенная в той же работе); суть ее сводится к тому, что если логически описывать естественный язык как некое однородное целое, т.е. и простые пропозиции и пропозиции, окруженные пропозициональными установками на одних и тех же основаниях, то неизбежно возникает опасность логических парадоксов (и зачастую она реализуется). Основание парадоксов заключается в том, что в пропозициях, находящихся в сфере действия пропозициональной установки, — это так называемые интенциональные контексты — невозможны синонимические замены на общих основаниях и применения кванторов. Для избежания парадоксов необходимо выйти за рамки данного языка и логически описывать его извне, средствами другого языка, более высокого ранга — возникает иерархия языков.

4. «Теория типов» (theory of types), являющаяся логическим обобщением концепции иерархии языков. Но логические основания теории типов были открыты Расселом, по-видимому, раньше, чем ему стала ясна вся картина иерархии в естественном языке. Теория типов в уже весьма разветвленном виде изложена в совместной работе Рассела и Уайтхеда «Principia Mathematica» 1910—1913 гг., но ее лингвистический аспект подробно освещен лишь в статье «Логический атомизм» 1924 г. [перепечатано в кн.: Logical positivism 1959].

—313—

Этим логико-философским темам Рассела суждено было оставаться определяющими на долгое время. Как мы увидим ниже (в гл. VI), в современной логико-философской картине языка выступают две опорные линии: проблема квантификации в интенциональных контекстах и проблема собственных имен в семантике «возможных миров», а это непосредственное развитие названных выше понятий Рассела.

Что касается самого термина «предикат», то он появляется в работах Рассела не часто и в некотором специальном значении, о чем будет сказано ниже; однако по существу все расселовские взгляды на язык — это типичное выражение философии предиката, противопоставленной философии имени.

П о н я т и е и м е н и. Рассел испытывает как бы антипатию к триаде «имя — вещь — сущность вещи», и прежде всего к «вещи».

«Именно потому, что для меня отдельные наблюдения составляют источник фактуальных предпосылок (теории познания. — Ю. С.), я не могу принять для констатации этих предпосылок понятие «вещь»: оно уже предполагает известную степень устойчивости и поэтому может быть выведено только из некоторого множества наблюдений. Точка зрения Карнапа, который допускает понятие «вещь» в формулировке фактуальных предпосылок, на мой взгляд, означает игнорирование не только Беркли и Юма, но даже и Гераклита. Вы не можете дважды ступить в одну реку, потому что вас постоянно обтекает новая вода; но разница между рекой и, скажем, столом — только в степени. Карнап мог бы согласиться, что река — это не «вещь», но те же самые доводы должны были бы убедить его, что и стол — то же не “вещь”» [Russell 1980, 315]. Рассел заменяет понятие «вещь» понятием совокупности качеств, сосуществующих в определенной точке пространства-времени и воздействующих на наши чувства в виде восприятий. Поэтому на первый план у него выступает понятие «качество» — тенденция, уже отмеченная нами для английского номинализма в схоластике (в особенности у Оккама); здесь Рассел — верный продолжатель традиций английского эмпиризма.

Это естественно влечет к «разжалованию» имени. Даже собственное имя получает новую трактовку: «На практике собственные имена не даются отдельным кратким явлениям-событиям (*occurrences*, любимый термин Рассела. — Ю. С.), потому что большинство из них не представляет интереса. Когда у нас есть повод их упомянуть, мы делаем это посредством дескрипций, как, например, «смерть Цезаря...» [там же, с. 33].

Под дескрипциями Рассел понимает языковые выражения, выступающие в языке в функции имен и при этом иногда в форме имен, но в действительности не именуемые. Ведь, по Расселу, именование осуществляется по-настоящему только собственным именем. Примерами дескрипций являются такие выражения, как: *человек, тот человек, каждый человек, какой-то человек, теперешний король Англии, теперешний король Франции, центр массы солнечной системы в первое мгновение*

XX века и т.п. В работе «Об обозначении» Рассел показал, что дескрипции в действительности не являются обозначениями таких же Субстанций», каким присваиваются собственные имена; под дескрипциями скрывается в большинстве случаев логически иное содержание — некая пропозициональная функция, имеющая в

своем составе переменную (x). Например, предложение *Я встретил человека* (I met a man) должно быть логически записано как «Я встретил x, такого, что x обладает свойством «человечность» («человековость»)» (I met x and x is human).

Дескрипции, или, как Рассел называет их в работе 1905 г., «денотирующие фразы», сами по себе не имеют значения, потому что каждое предложение, в котором они встречаются, может быть переписано таким образом, а именно полным образом, что дескрипции из него исчезнут [Russel 1956, 51]. В этом утверждении (а это еще только 1905 г.!) уже содержится будущая идея семантического перифразирования (как, например, в семантическом языке А. Вежбицкой), идея семантического перифразирования с редукцией (как у сторонников логического позитивизма и школы «лингвистического анализа») и идея семантической референции и референции говорящего как двух различных типов семантического описания (развитая представителями модальных и интенциональных логик 1970—1980-х годов; см. гл. IV, 4; гл. VI, 3).

Далее в той же работе 1905 г. Рассел рассматривает различные вхождения дескрипций в связный текст, устанавливая их различные логические свойства в зависимости от того, какое это по порядку вхождение — первое, второе и т.д. Эта замечательная идея оказалась в дальнейшем неразработанной, между тем, как кажется, она позволяла бы описывать имена в так называемых интенциональных (косвенных) контекстах (вроде, например, значения именного выражения *своя бабушка* в предложении *Петр уже много лет назад считал, что Иван хочет поселиться у своей бабушки*). Порядок вхождения дескрипции в текст является отдаленным прообразом понятия «причинная история» имени (см. гл. VI).

Расселовская теория дескрипций уже сторонниками логического позитивизма, например Айером, была расценена (и справедливо) как теория естественного языка, основанная на обобщении черт лишь одного, притом достаточно специфического, фрагмента его системы. При этом Айер (в работе «Язык, истина и логика», 1936 г.) исходил из определенного понимания задачи: «Полное философское объяснение любого языка должно состоять, во-первых, в перечислении типов предложений, которые употребляются в данном языке, и, во-вторых, в описании отношений эквивалентности, действующих между предложениями разных типов» [Ayer 1980, 83]. Хотя понятие о том, что такое «один и тот же тип предложения», оказалось здесь выведенным слишком

поспешно и теперь оно не представляет никакого интереса, но определение в целом, несмотря на расплывчатость, в общем, верно.

Именно так понимают теперь одну из основных задач философии языка, но, разумеется, в марксизме к этому не сводится философское объяснение языка в целом.

В «Разыскании» 1940 г. проблема дескрипций дальше не разрабатывается, но возникает там в несколько иной связи. Поскольку основным именем Рассел считает, как уже было сказано, «собственное имя единичного явления-события», постольку в его иерархии языков, в особенности в первом, «объектном языке», возникает своеобразное явление — «нехватка имен».

Здесь нужно сделать отступление. «Нехватка имен» стала общей проблемой формализации языка, будь то формализации расселовского типа, или «описания состояний» Р. Карнапа, или описание возможных миров Я. Хинтикки. Последний даже прямо видит несовершенство карнаповских описаний в том, что при них требуется дать имя любому элементу универсума, что невозможно [см.: Хинтикка 1980,44] (см. также гл. IV, 4; гл. VI, 3; гл. VII, 0).

Что касается Рассела, то у него «нехватка имен» проистекает из того, что постоянно требуется выражать нечто, что не являлось объектом восприятия говорящего в виде «явления-события». Тогда это нечто или получает форму дескрипции (и возникает проблема, уже рассмотренная раньше), или выражается предложением с переменными. По замыслу Рассела предложение, содержащее переменные, может быть удостоверено как истинное или ложное путем сведения к «подтвердителю» (*a verifier*) — предложению без переменных. Предложение-подтвердитель есть то, на что указывает (*what indicates*) сводимое к нему любое предложение. Понятие предложения-подтвердителя, с одной стороны, было разновидностью общего для неопозитивистов понятия «предложение об опыте», «протокольное предложение», а с другой — оказалось начальной стадией в разработке понятия «денотат» или «референт» всего предложения в целом (соответствующие понятия для частей предложения, субъекта и предиката, к тому времени были уже достаточно исследованы Фреге).

Но здесь Рассел до конца проблему не решил. Ведь по Расселу даже такое предложение, как «Мне жарко», анализируется с помощью переменных. Положим, рассуждает Рассел, что мое восприятие моего собственного тела есть *a*, мое восприятие

вашего тела — *b*, моя «жаркость» — *h*, воспринимаемое мною отношение между *a* и *h* есть *H* (т.е. *Мне жарко* — «*aHh*»), тогда предложение «Вам жарко» имеет логическую форму «*bHh'*», которую я не могу произнести, поскольку в моем языке нет имени для *h'*.

Рассел обобщает свои наблюдения: «В случае «Вам жарко» я бы еще мог, если бы мой словарь был достаточным, образовать предложение без переменных, которое могло бы быть подтверждено (верифицировано) тем же самым явлением-событием, которое верифицирует мое

актуальное предложение; ведь то, что у меня не хватает собственных имен для этой цели, — это лишь чисто эмпирический факт. Другое дело в таком случае, как «Все люди смертны». Нельзя вообразить себе словаря, который мог бы выразить это без помощи переменных. Разница с первым случаем состоит в том; что для предложения «Вам жарко» единственное явление-событие является полным подтвердителем, в то время как во втором случае для подтверждения общего предложения необходимо много явлений... Мы увидим, что отношение мнения (веры) или отношение предложения к тому, на что оно указывает, т.е. к его подтвердителю (если таковой вообще имеется), часто является чем-то отдаленным и опосредованным причинной связью. Мы увидим также, что, хотя «знать» подтвердитель — значит воспринимать его, мы все же должны, если только не выхолостить понятие «знания» до последней степени, знать истинность многих предложений, подтвердители которых мы не можем воспринимать. Но такие предложения всегда содержат некоторую переменную на том месте, где помещалось бы имя подтвердителя, если бы наши способности восприятия были достаточно обширны» [Russell 1980, 224—225]. В другом месте Рассел, следуя известному восклицанию Лапласа (о том, что вероятность есть достоверное знание только для Всеведущего существа), замечает: «экстенциональная трактовка общих предложений невозможна, разве что для Существа, у которого есть имена для всего» [там же, с. 203].

Если говорить в терминах физики, то, по Расселу, можно сказать, что мы даем собственные имена некоторым непрерывным промежуткам пространства-времени, таким, как Сократ, Франция, луна. В прежнее время сказали бы, что собственное имя мы присваиваем субстанции или множеству субстанций, но в наши дни нужно искать другое выражение, чтобы обозначить объект собственного имени. Рассел тут же определяет собственное имя как имя нескольких явлений-событий, образующих серию;

собственное имя относится к ним только собирательно, но не раздельно (collectively, not severally) [там же, с. 33]. Скажем, собственное имя «Цезарь» означает целую непрерывную серию явлений-событий — Цезарь в такое-то мгновение и в таком-то месте, Цезарь в следующее мгновение и в соответствующем этому мгновению месте и т.д. Отдельные явления-события являются частями объекта собственного имени, но не экземплярами этого объекта (в этом отличие собственного имени от общего имени (class name), объекты которого — отдельные экземпляры класса). Когда мы говорим «Цезарь умер», то, в соответствии с этой точкой зрения Рассела, мы говорим, что одно явление-событие из той серии явлений-событий, которая была Цезарем, стала элементом класса смертей; это новое явление-событие называется «смерть Цезаря». Следовало ожидать, что общие имена Рассел тем более не должен рассматривать как «имена вещей»; и он действительно называет их «конденсированными результатами индукции».

Отсюда становится понятным, что в теории языка и познания Рассела две «вещи», обладающие одинаково воспринимаемыми в опыте качествами, являются одной вещью; господствует принцип «что неразлично, то тождественно» (Indiscernibles are identical). Сам Рассел считал этот принцип большим достоинством своей теории («Главное достоинство отстаиваемой мной теории состоит в том, что она делает тождественность неразличимых аналитической истиной» [там же, гл. VI]).

Этот принцип, на первый взгляд не столь уж важный сам по себе, действительно помогает вписать теорию Рассела в контекст философских проблем языка. С одной стороны, этот тезис Рассела прямо противостоит принципу Лейбница и Витгенштейна (как и многих других), согласно которому два существующих объекта отличаются один от другого своими внутренне присущими им свойствами, а не только своим положением в пространстве-времени. Лейбниц употребляет два различных термина — «неразличимое для восприятия» (франц. indiscernable) и «неотличимое по внутренней природе» (франц. indistinguishable) и лишь второе признает несуществующим, т.е. то, что неразлично по внутренней природе, то и есть одно и то же, не существует как различное. Рассел же свой принцип формулирует с помощью первого термина — «Indiscernibles are identical» и выступает здесь как последовательный эмпирист. В «Новых опытах о человеческом разумении» (II, гл. 27, § 1) Лейбниц устами Теофила говорит: «Хотя существует много вещей одного и того же рода, однако никогда не

бывает совершенно одинаковых вещей. Таким образом, хотя время и место (т.е. отношение к внешнему) служат нам для различения вещей, которые мы не умеем достаточно различать сами по себе, вещи все же различимы (distinguishables) в себе. Следовательно, сущность (le précis) тождества и различия заключается не во времени и месте, хотя действительно различие вещей сопровождается различием времени и места, так как они влекут за собой различные впечатления об одной и той же вещи» [Лейбниц 1983, 230] (ср. также: «Монадология», тезисы 8—9 [Лейбниц 1982, 414]).

Именно против «философии имени и сущности» Рассел направил основной удар: сведя, как он полагал, положение «Неразличимые тождественны» к разряду аналитических истин, Рассел замечает: «Попутно мы свели к эмпирическому уровню некоторые свойства пространственно-временных отношений, которые угрожали оказаться синтетическими a priori общими истинами» [Russell 1980, 103]. Вот где видел Рассел, как и все сторонники логического позитивизма, «угрозу» со стороны философии предшествующего периода: в признании ею синтетических истин a priori. В частности, поэтому вся эта философия третировалась ими как «метафизика» (о понятиях синтетических и аналитических предложений подробнее см. гл. VII, 1).

С другой стороны, тезис Рассела оказался как бы заранее противопоставленным будущему — в то время лишь смутно предчувствуемому — принципу прагматики-дектики, согласно которому само положение в пространстве-времени определяется отношением к «Я» говорящего субъекта. Рассел пренебрегает этим отношением к «Я». Таким образом, его теория является переходным звеном между чисто семантическими теориями (философией имени) и прагматическими, или прагматико-семантическими, теориями последнего времени, признающими роль координаты «Я» (таким, как, например, «грамматика Монтегю»).

Понятие предиката. Из своеобразного понимания имени вытекает и некоторое своеобразие в понимании предиката. «Для теории познания важно, — говорит Рассел, — знать, какого рода объекты могут иметь имена, предполагая, что имена существуют. Возникает соблазн рассматривать «Это — красное» (This is red) как субъектно-предикатную пропозицию. Но если мы так поступим, то придем к выводу, что «это» становится субстанцией, непознаваемым нечто, которому внутренне присущи предикаты, но которое тем не менее не идентично сумме своих предикатов. Такой

взгляд навлекает на себя обычные возражения по поводу понятия субстанции (т.е. возражения самого Рассела и сторонников логического позитивизма, уже отмеченные выше. — Ю. С.). Но у него есть некоторое преимущество в отношении к пространству-времени. Если «Это — красное» является пропозицией, приписывающей некоторое качество некоторой субстанции, и если субстанция не определяется суммой своих предикатов, то тогда «это» и «то» могут иметь в точности одни и те же предикаты, не будучи тождественными. Это обстоятельство может оказаться существенным, если мы захотим сказать, как нам обычно хочется говорить, что Эйфелева башня в Нью-Йорке (если бы таковая была там построена) не была бы идентична Эйфелевой башне в Париже.

Мое решение заключается в том, что «Это — красное» не является субъектно-предикатной пропозицией, а имеет строение «Краснота есть здесь», где «красное» — не предикат, а имя, и что то, что обычно называют «вещью», есть не что иное, как пучок сосуществующих качеств, таких, как краснота, твердость и т.п. Если, однако, эта точка зрения будет принята, то тождественность неразличимого становится аналитической истиной, а предполагаемая Эйфелева башня в Нью-Йорке будет в точности тождественна Эйфелевой башне в Париже, если они действительно неразличимы» [Russell 1980, 97] (ср. выше противоположный принцип Лейбница).

Это влечет Рассела, в свою очередь, к анализу пространственно-временных отношений, поскольку они одни служат теперь для различения объектов, совпадающих по качествам-предикатам. Для этого анализа Рассел вводит замечательное понятие «egocentric particulars» — термин, очень трудный для перевода: букв. 'эгоцентрические частные терми-

ны' или 'эгоцентрические частицы'. Рассел подводит под него такие слова, как «это», «то», «я», «ты», «здесь», «там», «сейчас», «тогда», «прошедшее», «настоящее», «будущее». Но, введя это новшество, оказавшееся впоследствии столь полезным для позднейших прагматических теорий, Рассел тотчас устраняет его из своей собственной теории. Путем довольно натянутого рассуждения он приходит к выводу, что выражения типа «Я есть...» могут быть сведены к выражениям типа «Это есть...», например «Это есть красное», а последние, как уже было показано, сводятся к утверждению качества типа «Краснота есть здесь». Таким образом, весь класс «эгоцентрических частиц»

сводится к суждению о восприятии и в конечном счете исключается: «Эгоцентрические частицы... не являются необходимыми ни в какой части описания мира, будь то мир физики или мир психологии» [там же, с. 115]. Таким образом, Рассел закрыл себе путь к лингвистической прагматике. Вопрос о прагматике снова встал перед ним в связи с проблемой пропозициональных установок, и там снова Рассел закрыл выход к прагматике, предложив такое своеобразное решение проблемы, которое на долгие годы определило по существу обходное, не прагматическое, а семантическое рассмотрение прагматических проблем (см. об этом ниже).

Вернемся к понятию предиката. По существу только одну группу предикатов Рассел называет этим именем — обозначения качеств типа «красный», «желтый», «твердый» и т.п. и при этом сводит предложения типа «Это — красное» к предложениям «Краснота есть здесь». Такие предикаты, когда он рассматривает их под определенным углом зрения в своей системе, а именно в их отношении к опытным данным, оказываются «именами». Несколько непоследовательно, при рассмотрении этого вопроса в общей, логической форме, т.е. с помощью понятия пропозициональной функции, Рассел сохраняет термин «имя» в его более или менее обычном употреблении. Сам он объясняет эту непоследовательность тем, что слова типа «красный», «твердый» и т.п. являются именами «в синтаксическом смысле» [там же, с. 95]. Двух- и многоместные предикаты типа «...находится перед...», «...дает (кому, что)...» называются у него не предикатами, а отношениями. Вопрос об отношениях как о чем-то отличном от собственно предикатов в «Разыскании» почти не затрагивается.

Напротив, подробнее и интереснее он намечался к освещению в «Логическом атомизме» 1924 г. (см. о расселовском понимании предикатов выше, гл. IV, 1).

В «Разыскании» 1940 г. Рассел по-прежнему использует понятие «факт» (оно, как мы уже говорили, «работает» хорошо), но дает ему следующую трактовку: «За пределами языка нет такого факта, как «вот квадрат в круге», или такого, как «вот красная фигура в синей фигуре». Нет фактов, «что дело обстоит так-то и так-то». Есть результаты восприятий, из которых путем анализа мы выводим пропозиции, «что дело об-

стоит так-то и так-то». Раз мы это понимаем, то нет вреда, если мы называем результаты восприятий (percepts) «фактами» [там же, с. 153—154]. Так мысль о непостижимости

явления «предиката» как бы обрамляет весь период логического атомизма — от первой формулировки понятия Предикат», как у Рассела в 1924 г., до только что приведенных размышлений.

Иерархия языков. Язык, по Расселу, реализуется в виде пропозиций о мире, как физическом, так и психическом (о мире физики и о мире психологии, что одно и то же). Пропозиции имеют различный вид, чему соответствует их глубокое внутреннее различие:

(1) «Роза красная», « x есть красное», в общей форме $R_1(x)$, — собственно предикатное, или монадическое, отношение;

(2) «Машина стоит перед домом», в общей форме $R_2(x, y)$, — не предикатное, диадическое отношение;

(3) «Мери дает книгу Джону», в общей форме $R_3(x, y, z)$, — триадическое отношение и т.д.; возможно $R_n(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ — « n »-ическое отношение;

(4) «"Роза красная" — истинно», в общей форме « $f R(x)$ истинно для некоторых R »;

(5) «Джон считает, что роза красная», в общей форме « A считает $R(x)$ ».

Пропозиции типа (1), (2), (3) Рассел считает «атомарными предложениями», максимально близкими к данным опыта (без посредствующих пропозиций); они образуют «первичный язык» (primary language), или «объектный язык» в логическом смысле, т.е. понимаемый как модель, приближение к соответствующему фрагменту естественного языка. Пропозиции типа (4), в которых утверждается истинность или ложность другой пропозиции, относятся к языку более высокого ранга — вторичному языку» (secondary language). Пропозиции типа (5) составляют совершенно особый класс выражений; Рассел назвал их пропозициональными установками (propositional attitudes); они также образуют язык более высокого ранга, чем первый, — может быть, входят вместе с предыдущим типом во второй, а может быть, их нужно выделить в язык еще более высокого ранга, в третий (здесь вопрос о ранге Рассел не рассматривает).

Язык первого порядка — «первичный», или «объектный», язык. Он состоит из объектных слов, выражающих непосредственно наблюдаемые качества, — «красный», «твердый», «горячий» и т.п., которые являются предикатами, но могут рассматриваться и как «имена» в синтаксическом смысле. В нем есть и некоторое количество собственных имен типа «Цезарь», «Брут». Употребляемые сами по себе, вне

пропозициональной функции, такие слова непосредственно утверждают наличие чувственного объекта или одного из множества таких объектов.

Объектные слова могут быть определены, по Расселу, логически, как слова, которые обладают значением, даже будучи взяты сами по себе, в изолированном виде; они могут быть определены также психологически, как слова, которые могут быть усвоены сами по себе, без предварительного знания других слов. Рассел указывает, что эти два определения в строгом смысле не эквивалентны и в тех случаях, где они вступают в конфликт, следует предпочесть логическое определение.

Интересно отметить, что уже на уровне первичного языка в рассуждении возникают проблемы актуальной и потенциальной бесконечности, которые в дальнейшем стали играть такую важную роль при создании конструктивной математики. «Оба определения могли бы стать эквивалентными, — отмечает Рассел, — если бы мы были вправе предположить беспредельное расширение наших возможностей восприятия. В самом деле, мы не можем воспринять тысячеугольник просто зрением, но способны легко представить себе его в воображении. С другой стороны, явно невозможно, чтобы кто-либо начал усвоение языка с понимания слова «или», хотя значение этого слова не усваивается путем формального определения. Таким образом, в дополнение к классу актуальных объектных слов имеется класс возможных объектных слов. Для многих целей класс актуальных и возможных объектных слов более важен, чем класс актуальных объектных слов» [там же, с. 66] (см. также здесь, гл. VI, 2).

«Объектный», или «первичный», язык не содержит таких слов, как «истинно» и «ложно», и логических слов, как отрицание «нет», «или», «некоторые», «все».

Все предложения в «первичном языке» являются атомарными. Со стороны формы атомарные предложения имеют вид (1), (2) или (3) (см. выше), а со стороны отношения к опытным, чувственным данным характеризуются тем, что составляют основной корпус эмпирических физических фактов; последние могут быть описаны атомарными предложениями или противоречащими им предложениями. Во время написания этой работы Рассела предполагалось, что все остальные физические утверждения могут быть сведены к таким базовым атомарным предложениям — «подтвердителям». Это была эпоха проектов «вещного, или объектного, языка», к которому можно было бы свести

все предложения науки; Ни один из проектов, не исключая и расселовского, не увенчался успехом (см. гл. IV, 4).

Относительно расселовского описания естественного языка через призму концепции иерархии языков нужно сделать еще одно специальное критическое замечание, которое сформулировал уже Айер в 1936 г. в упомянутой работе. Рассел придает слишком большое значение явлению логико-языковых парадоксов, считая, что — под угрозой парадокса — о структуре любого языка ничего не может быть сказано в рамках самого этого языка и что для этого требуется иной язык, более высокого

322

ранга. Айер полагал, что Карнап опроверг это положение на опыте, написав работу «Логический синтаксис языка» [Ayer 1980, 95]. Мы, однако, считаем, что опасения Рассела сохраняют силу, хотя и не являются действительным основанием для иерархии языков, даже в расселовском понимании последней [см.: Степанов 1981, гл. XIII].

Тем не менее «первичный язык» Рассела остался удачным, может быть самым удачным, образцом моделирования того определенного слоя языка, который сторонники логического позитивизма пытались моделировать с помощью «вещного языка».

В т о р и ч н ы й я з ы к. Вводя в своей иерархии этот второй слой, Рассел основывался на работе представителя львовско-варшавской логической школы А. Тарского «Понятие истинности в формализованных языках» (первый вариант на польском языке — 1933 г., немецкий перевод с важным добавлением «Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen» — 1936 г.). Тарский обосновал то положение, что слова «истинно» и «ложно» в применении к предложениям какого-либо языка для своего адекватного истолкования всегда требуют другого языка, более высокого порядка. Это не означает, что в «объектном языке» предложения не являются истинными или ложными, но означает, что предложения типа «Данное предложение (объектного языка) — истинно (ложно)» принадлежат не к объектному языку, а к языку второго порядка (см. пример 4).

Очевидно, что и сами слова «истинно» и «ложно» появляются только в языке второго порядка. Вообще слова, называющие слова какого-либо языка, принадлежат языку следующего порядка. Так, сам термин «объектные слова» принадлежит «вторичному языку». Поскольку логические слова «или», «некоторые», «все» и т.п.

принадлежат «вторичному языку», то термин «логические слова» относится уже к языку третьего порядка, «третичному», и т.д.

Далее, «вторичному языку» принадлежат отрицательные предложения. Рассел тонко подмечает, что отрицательные предложения в известном смысле аналогичны утверждению «Данное утвердительное предложение — ложно». Предложения «Это — масло» и «Это не сыр» принадлежат в действительности к разным уровням, так как первое может опираться на непосредственные данные чувственного восприятия, тогда как второе — нет [Russell 1980, 73].

И наконец, по аналогии с отрицанием трактуются и, следовательно, также отнесены к «вторичному языку» предложения со словами «все» и «некоторые».

«Эгоцентрические частицы», основанные на «Я — сейчас — здесь», в язык и на этом уровне не включаются. Рассел постоянно напоминает: «В развитом языке объектные слова, такие, как «горячий», «красный», «гладкий» и т.п., не являются эгоцентрическими» [там же, с. 127].

323

Но нужно отметить, что вместе с тем принцип «объектного языка», в котором говорящий («Я») не играет никакой роли, с введением «вторичного языка» уже нарушен. В самом деле: кто же является субъектом высказываний об истинности или ложности предложений объектного языка? Очевидно, не сам носитель «объектного языка», а кто-то, кто ему противопоставлен именно как носитель другого языка: у обоих языков не может быть один и тот же носитель, во всяком случае как тождественный самому себе в употреблении то одного, то другого языка. Тем самым принцип «Я», будущий принцип прагматики, негласно уже введен (см. также гл. VI, 2).

Это становится ясным прямо в контексте Рассела в связи с обсуждением высказываний типа (5) («Джон считает, что...»), и именно поэтому, хотя у Рассела прямо об этом не говорится, их следует, продолжая его же логику рассуждения, отнести к языку следующего, третьего ранга.

Я з ы к т р е т ь е г о п о р я д к а — «третичный язык». В его рамках возникают предложения типа «Джон считает, что идет дождь» и другие выражения такого же типа — «желает», «надеется» и т.п., за которыми следует выражение с союзом «что». Подробно они были впервые обследованы Расселом и получили у него название пропозициональных установок (propositional attitudes). (Я не знаю, говорит ли Рассел

где-нибудь, во всяком случае в «Разыскании» об этом нет ни слова, что прообразом понятия пропозициональных установок является учение Г. Фреге о семантике в косвенной речи [Frege 1892, 28].)

Для обсуждения этих предложений Расселу потребовалось уже различать то, что предложение указывает (и что у Карнапа получило название «экстенционал» предложения, а в некоторых лингвистических концепциях, в частности в нашей, называется «референт» или «денотат» предложения), и то, что предложение выражает (и что у Карнапа стало называться «интенционал» предложения, а в некоторых упомянутых лингвистических концепциях — «сигнификат» или «смысл» предложения). Последнее было одним из начальных, еще не вполне отчетливых описаний понятия смысла или интенционала предложения.

Путем длинного рассуждения (технические детали которого мы опускаем) Рассел приходит к выводу, что в предложении вида «А считает, что *p*», где *p* — предложение «объектного языка», после союза «что» объектом мнения, или веры, является в общем случае не предложение *p* в целом, со стороны его экстенционала и интенционала, а лишь интенционал этого предложения. Положим, имеется атомарное предложение *p* «Все двуногие существа, лишенные перьев, являются человеческими существами», истина которого гарантируется определением человеческого существа: «Это — двуногое существо, лишенное перьев»; подстановка определения в предложение *p* приводит к тавтологии. Положим

324

теперь, имеется предложение с пропозициональной установкой: «А считает, что есть двуногие существа, лишенные перьев, которые не являются человеческими существами»; отсюда никак не следует «А считает, что человеческие существа не являются человеческими существами». Здесь замена тождественного по экстенционалу выражения приводит к ложному утверждению. Следовательно, язык этого типа, т.е. с пропозициональными установками, не является экстенциональным языком.

Самого Рассела в этой связи особенно заботили принципы экстенциональности (является ли такой язык экстенциональным?) и атомарности (являются ли высказывания такого типа атомарными?), и он приходит к выводу, что принцип экстенциональности не оказывается ложным, но требует лишь правильного применения; что касается принципа атомарности, то вопрос представлялся ему не вполне ясным.

Мы, однако, обратим внимание на другие вопросы, на наш взгляд в настоящее время более важные.

Кто является носителем мнения? Рассел прекрасно показал, что если предложение *p* принадлежит «объектному языку», то предложение «А считает, что *p*» принадлежит языку более высокого ранга. Однако, не уделяя этому вопросу специального внимания, он, по-видимому, полагал, что это все тот же язык второго ранга. Но, как ясно из сказанного выше, предложение «Джон считает, что идет дождь» лишь по видимости принадлежит этому языку: сам Джон просто говорит «Идет дождь»; выражение же «Джон считает, что идет дождь» принадлежит кому-то, кто обсуждает Джона, например Мери. Но обсуждение того, является ли предложение «Джон считает, что идет дождь» истинным или ложным, экстенциональным или интенциональным, не может принадлежать Мери. Оно может принадлежать Расселу (или кому-то на его месте). В общем случае оно принадлежит языку третьего ранга (Ч. Моррис в работе 1938 г. считал, что можно объяснить — на наш взгляд, чрезвычайно запутанным путем — объединение всех подобных типов в одной системе естественного языка [Моррис 1983, 76]).

Таким образом, трактовка всего этого комплекса вопросов, связанного с пропозициональными установками, у Рассела просто означала одно и то же семантическое решение, но только как бы передвигаемое все выше и выше по шкале иерархии языков: в основе решения лежала теория типов самого Рассела.

Рассел не заметил совершенно нового основания, заключенного в самом языке: система координат говорящего «Я — здесь — сейчас» встроена в сам естественный язык и на определенном этапе должна быть введена в шкалу языков. Рассел закрыл для себя и для своих последователей этот путь, исключив им же открытый класс «эгоцентрических терминов» как «излишний для описания какого бы то ни было фрагмента мира или языка».

325

С введением этого принципа иерархия языков перестала совпадать с иерархией типов Рассела — в ней стали выделяться три основных типа, или ранга, языков: язык низшего ранга — преимущественно семантический; язык более высокого ранга — семантический и синтаксический; язык самого высокого из трех, третьего, ранга — семантический, синтаксический и прагматический. Но в чисто логическом плане эта

проблема начала освещаться значительно позже, в наши дни, с появлением новой области логики — семантики модальных и интенциональных логик. Это означало по существу переход к новой лингво-логической парадигме — философии эгоцентрических слов. Но начало положил писавший на эту тему почти в те же годы, что и Рассел, в своей иерархии языков Р. Карнап. А после него пропозициональные установки получили совершенно новую трактовку в аналитической философии [см. подробно: Дегутис 1983; однако мы в отличие от А. Дегутиса не считаем, что это иное решение является и более удовлетворительным].

4. ОТ ПАРАДИГМЫ «ДВУХ ЯЗЫКОВ Р. КАРНАПА К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ КОНСТРУКТИВИЗМУ

Концепция «двух языков», зародившаяся еще во времена схоластики в учениях «модистов» (см. гл. II, 3), утверждает, что в обществе существуют по крайней мере два языка: один — повседневный, особый у каждого народа, этнический, или национальный, подчиняющийся «обычаю», непоследовательный и своеобразный, другой — логический, строгий, одинаковый для всех народов, всеобщий, или универсальный, не выражающийся непосредственно, но присутствующий лишь как скрытый слой внутри первого языка и выявляемый в искусственных формах логического описания. Путем сложных опосредований, часть из которых упомянута выше (гл. III, 1), эта идея дошла до середины XX в.

В XX в. эта идея прошла следующие этапы: 1) Концепция «вещного языка», которому противопоставлен «метаязык», или «общий язык науки», т.е. язык, содержащий общенаучные термины. Это было общей точкой зрения сторонников логического позитивизма, а также Б. Рассела, получившей воплощение в различных проектах. Из них наиболее известен принадлежащий Р. Карнапу. Особенность этих проектов состоит в том, что отношения между двумя языками устанавливаются путем «правил корреспонденции» (соотнесения) между общенаучными терминами и терминами «вещного языка»; 2) концепция «лингвистического анализа», выдвинутая английскими философами (Г. Райл, Дж. Уисдом и др.) еще в начале 1930-х годов параллельно с проектами логического позитивизма, но затем, уже после падения последнего, развитая в концепциях «редукции» 1950-х годов (поздний Витгенштейн, тот же Райл, П. Стросон и др.); общая черта всех

этих концепций состоит в том, что два языка обнаруживаются в одном и том же повседневном языке, одна часть которого, таким образом, должна быть сведена, «редуцирована» к другой его части — к «реальным» терминам; место правил корреспонденции здесь занимают «правила перифразирования»; 3) концепция трансформационных, а вскоре затем, в обобщенном виде, «порождающих», или «генеративных», грамматик 1960-х годов. Ее особенность сравнительно с упомянутыми представлениями английской школы заключается в том, что правила перифразирования рассматриваются в очень абстрактном виде — как формулы грамматических преобразований, в то время как от лексикона отвлекаются (см. аналогично в «трансформационной логике» [Брутян 1983]).

Во всем этом движении от концепций первого типа ко второму и от него к третьему теперь, по прошествии полувека, заметна еще одна линия — от статических формулировок «корреспонденций» у Карнапа и других сторонников логического позитивизма к формулировкам «преобразований» у английских аналитиков и, наконец, к динамическим формулировкам «правил порождения» у генеративистов. В этом движении несомненно сыграло роль все нараставшее влияние конструктивного направления в математике, связанного с разработкой алгоритмических процессов. Поэтому все три упомянутых типа логико-лингвистических концепций могут быть объединены, по крайней мере по упомянутому признаку, под общим названием конструктивизма. Термин «конструктивизм» не является самоназванием указанного лингвистического направления (но является таковым в математике), но он необходим. Смогли бы мы создать общее представление о процессах развития науки, если бы основывались только на самоназваниях (и самоквалификациях) тех или иных научных течений? Например, учение акад. Н. Я. Марра должно было бы расцениваться в соответствии с его самоназванием и самоквалификацией как «новое учение о языке» и даже как «новое марксистское учение о языке». Напротив, «ньютоновская парадигма» в физике не имела бы права на такое название на том основании, что его не применяли ни Ньютон, ни современники и единомышленники Ньютона. Конечно, объединение под одним названием трех упомянутых выше направлений в какой-то мере уменьшает оригинальность каждого, но этого требуют факты, которые стали ясно видны по прошествии полувека.

Другой общей чертой этих трех направлений было, как уже сказано, стремление к редукции — к сведению одних языковых выражений к другим. В свете этих двух тенденций — редукции и конструктивизма — мы рассмотрим каждое направление в некоторых подробностях.

«Вещный язык», или «объектный», язык (thing-language, object-language) Карнапа. Сам этот термин сложился к концу 1930-х го-

дов. В № 1 и 2 первого тома «Энциклопедии унифицированной науки» 1938 г. он уже применяется в разных статьях как общепринятый. Но работы Карнапа, в которых дается его строгое определение, явились лишь завершающим этапом целого ряда проектов, из которых самый ранний относится к концу 1920-х годов — он принадлежал участникам Венского кружка и назывался тогда «феноменалистским языком», т.е. языком, описывающим непосредственно наблюдаемое, феномены. Этот проект «первичного языка» был вскоре отвергнут самими неопозитивистами из-за его субъективности (непосредственно наблюдаемое есть достояние лишь индивида). За этим последовали проекты «Протокольного языка», затем «физикалистского» и ряд других [их краткую историю см. в работе: Мудрагей 1975].

«Вещный», или «объектный», язык Карнапа — это тоже «физикалистский язык» в том смысле, что первичные определения терминов, обозначающих объекты, должны в этом языке вводиться так, как они вводятся в физике, т.е. посредством количественного указания физических параметров — температуры, давления и т.д. Но Карнап расширяет это язык, допуская в него также термины наблюдения типа «горячий», «холодный», «тяжелый» и т.п., экспликация которых не требует сложных технических средств, и термины, получившие название «диспозициональных предикатов» типа «растворимый», «упругий», «ковкий» и т.п. [Carnap 1938; Лахути 1962].

Всякий вновь вводимый термин нужно сводить к первичным терминам путем строгих процедур, заключающихся в истолковании этого термина посредством уже имеющихся, путем «сведения», «редукции» его к последним. Совокупность редукционных процедур для данного термина образует его «детерминацию». В сущности эти два понятия являются формальным аналогом условий использования термина, а следовательно, и аналогом понятия «значение». «Мы знаем значение термина, — писал Карнап в статье «Логические основания единства науки», — если

знаем, при каких условиях нам разрешается применять этот термин в каждом конкретном случае и в каком случае его нельзя применять» [Carnap 1938, 44].

«Вещный язык», по мнению Карнапа и других представителей логического позитивизма (это мнение обобщил Ч. Моррис в своей концепции семиотики, опубликованной уже в следующем, 2-м номере того же тома [см.: Моррис 1983]), способен составить базу «унифицированной науки». Иными словами, к «вещному языку» они предполагали возможным свести посредством редукции и детерминации все термины и утверждения науки вообще, т.е. биологии, психологии, социологии и т.д.

Ни один из проектов создания чистого «объектного языка» не увенчался успехом. Сам Карнап, делая примечание к своей статье «Старая и новая логика» (1930—1931), в 1957 г. писал: «Редукция научных понятий к чувственным данным или непосредственно наблюдаемым

свойствам... невозможна. Поэтому предложения языка науки в общем случае непереводимы в предложения одного из этих базовых типов; отношения между ними гораздо более сложные. Следовательно, предложение, выражающее научное утверждение (a scientific sentence), не может быть просто определено как истинное или ложное; оно может быть более или менее подтверждено на основе наблюдаемых данных. Таким образом прежний принцип верифицируемости, первоначально провозглашенный Витгенштейном, заменен более слабым требованием подтверждаемости» [Carnap 1959, 146].

Невыполнимость этой задачи послужила одной из основных причин крушения логического позитивизма как «философии науки». Однако что касается идеи «вещного языка» самой по себе, то надо сказать, что проект Карнапа был не так уж плох и, вообще говоря, не так уж далек от исполнения. Причиной неудачи послужила лишь чрезмерная «физичность» («физикализм») проекта, требование сводить все к терминам, определяемым способами физики, иными словами, его недостаточная «лингвистичность». Как показали лингво-логические исследования 1970-1980-х годов, в особенности А. Вежбицкой, слова и выражения естественного языка, взятого в широком диапазоне его повседневного употребления, вполне возможно свести к некоторому небольшому числу первичных неопределяемых терминов. Но только эти термины не должны вводиться физикалистским способом, их адекватное определение должно быть

лингвистическим. В системе Вежбицкой около 10—12 таких семантических «примитивов» (как она их называет), это термины «хотеть», «не хотеть» (отрицание неотделимо от содержательного примитива), «думать о», «воображать (представлять себе)», «говорить», «становиться», «быть частью», «нечто», «Я», «ты», «мир», «это». Они неразложимы и, следовательно, неопределимы (так как определение есть комбинация элементов значения), и они естественны, т.е. являются не терминами языка физики, а семантическими сущностями естественного, повседневного языкового и мыслительного опыта человека. Наконец, — это очень важная черта «семантических примитивов» — они извлечены не из словаря естественного языка, а представляют собой некоторые элементы высказываний естественного языка, не обязательно ассоциируемые с отдельным словом (ср. «не хотеть»).

С помощью таких «примитивов» Вежбицка успешно анализирует, т.е. сводит к элементам-«примитивам», достаточно сложные высказывания повседневного языка. Например, таким способом делается возможным объяснить значение слова «много» следующим образом: *У этого ребенка много игрушек = Этот ребенок имеет больше игрушек, чем любой ребенок, об игрушках которого ты мог бы подумать, желая представить себе игрушки этого ребенка* [Wierzbicka 1972, 74] (выделенные курсивом элементы объяснения являются сразу «семантическими примитивами», а все другие элементы могут последователь-

но быть сведены к терминам этого разряда. Разумеется, здесь мы эту редукцию опускаем. В наиболее полном виде система Вежбицкой изложена в работе «Язык мысли» [Wierzbicka 1980]. Во всем этом нетрудно видеть, как об этом говорит и сам автор, развитие известных идей Лейбница).

Оказались очень полезными и некоторые частные идеи Карнапа, связанные с его проектом «вещного языка». Например, понятие диспозиционного предиката оказалось аналогом особого явления естественных языков — таких глаголов, которые, обозначая свойства, достаточно определенно имплицируют свои субъекты и объекты. Так, глагол посыпаться в русском языке «в своем прямом значении имплицирует в качестве формального субъекта класс предметных переменных, область определения которых задается диспозициональным свойством дискретных масс (веществ) или совокупностей мелких предметов» — *посыпались песчинки, орехи, камни, книги, но не лошади, скалы,*

дома. При переносном употреблении того же глагола в обозначении событий признак отдельности, дискретности его субъекта, уже содержащийся в нем как в обозначении диспозиционального свойства, ограничивает класс таких событий отдельными, повторяющимися (дискретно-итеративными, как говорят лингвисты) событиями, поэтому можно сказать: *посыпались сообщения, новости, огорчения, награды, мелкие радости* и т.п., но невозможно: *посыпались надежды, страдания, кризисы* [Телия 1981, 40]. Как указывает В. Н. Телия, такие понятия, как «диспозициональный предикат», проливают свет на малоизученное явление естественного языка — связанное значение слова.

И е р а р х и я я з ы к о в у Р. К а р н а п а. Как и Рассел, Карнап естественно, в силу самой логики языка должен был натолкнуться на вопрос об иерархии языков. В простейшем виде он возник уже при рассмотрении «вещного языка» и общего языка науки (или языка каждой отдельной науки) как языков двух разных типов в их взаимоотношениях, т.е. он сразу возник как вопрос о переходе между различными языками иерархии. Соображения о переходе от одного типа языка к другому появлялись, конечно, и в связи с иерархией у Рассела, но Рассел, по-видимому, не придавал им особого значения и не ставил вопроса в общей форме. Карнап сделал именно это. Иными словами, он осуществил опыт формализации перехода от одного языка к другому в рамках определенной иерархии языков [см.: Carnap 1959a, т. I, раздел В].

Карнап ставит вопрос о формализации, о которой идет речь, в зависимости от вопроса об истинности предложений каждого языка в иерархии и устанавливает связь между языками по этой линии. Язык низшего типа в этой иерархии — код, например обычный телеграфный код. В этой системе может быть образовано конечное число предложений, т.е. соответствий между знаками кода и их «переводами», — каждое предложение на основе данного для него условия истинности.

Если же в системе может быть образовано бесконечное число предложений, то такие системы Карнап называет языковыми семантическими системами, т.е. языками.

Система S_1 имеет семь знаков: три — предметные константы A_1, A_2, A_3 , два — предикаты V_1, V_2 и два знака скобок — $(,)$. Эта система является аналогом «объектного языка». В ней формулируются следующие условия истинности:

- (1) $V_1(A_1)$ истинно, если Чикаго — большой город.
- (2) $V_1(A_2)$ истинно, если Нью-Йорк — большой город.
- (3) $V_1(A_3)$ истинно, если Кэрмел — большой город.
- (4) $V_2(A_1)$ истинно, если Чикаго имеет гавань.
- (5) $V_2(A_2)$ истинно, если Нью-Йорк имеет гавань.
- (6) $V_2(A_3)$ истинно, если Кэрмел имеет гавань.

От этой системы можно перейти к аналогу языка более сложного типа, к системе S_2 , которая является обобщающей по отношению к системе S_1 . Для построения S_2 формулируются пять частных правил обозначения и одно общее правило для условий истинности:

- (1) A_1 означает Чикаго.
- (2) A_2 означает Нью-Йорк.
- (3) A_3 означает Кэрмел.
- (4) V_1 означает свойство быть большим городом.
- (5) V_2 означает свойство иметь гавань.

(6) Предложение $V_1(A_1)$ истинно, если, и только если, десигнат A_1 имеет десигнат V_1 (т.е. объект, обозначенный через A_1 , имеет свойство, обозначенное через V_1).

От S_2 можно перейти к еще более сложной системе S_3 . Для этого в новой системе вводятся знаки действий и новые обозначения исходных констант — a , b , c и исходных предикатов — P и Q , а также новые формулировки условий истинности. От системы S_3 можно перейти к более сложной системе S_4 и т.д.

Таким образом, каждая более высокая система в иерархии является у Карнапа метаязыком для языка предшествующего уровня. Это понимание иерархии имело, на наш взгляд, и отрицательные последствия, когда началось изучение прагматики (см. гл. VI, 2).

Надо обратить внимание еще на одну особенность карнаповской иерархии — на возможности каждого языка описывать мир или миры. По существу эти возможности — не что иное, как возможности комбинаторно составлять предложения. В приведенном фрагменте это лучше всего видно на системе S_1 . В ней три предметные константы — A_1 , A_2 , и A_3 и два предиката — V_1 и V_2 (язык S_1 улавливает в мире только три предмета и два свойства), и количество предложений, которые с их по-

мощью можно образовать, равняется числу сочетаний каждой предметной константы с каждым предикатом, т.е. шести. Картина мира, которую язык S_1 способен создать, соответствует полному набору предложений — $A_1(V_1)$, $A_2(V_2)$... и т.д. до $A_n(V_m)$, где $n = 3$, а $m = 2$. Этот набор из шести предложений полностью приведен выше.

Однако этот набор представляет лишь тот случай, когда все шесть сочетаний, т.е. предложений, истинны. И это соответствует тому, что каждый предмет, поименованный константой, обладает каждым свойством, поименованным предикатом.

Если допустить отрицание, то возможности языка S_1 расширятся, он сможет описывать и такие случаи (картины мира), когда один, или несколько, или даже ни один предмет не обладает каким-либо свойством, или несколькими из свойств, или даже ни одним из свойств. Например, в приведенном выше случае из шести истинных и утвердительных предложений можно изменить предложение (1) так, чтобы оно читалось $A_1(\sim V_1)$, где знак тильды означает отрицание, т.е. предикат V_1 не принадлежит предмету, обозначенному константой A_1 , т.е. Чикаго не большой город. (То же предложение с аналогичным результатом можно изменить и иначе, оставив его в прежней записи — $A_1(V_1)$, но иметь в виду, что оно ложно, т.е. $A_1(V_1)$ ложно, если Чикаго большой город. Этот простой пример показывает тесную связь, существующую в языке вообще между понятиями «истина» и «утверждение», с одной стороны, и понятиями «ложь» и «отрицание» — с другой.)

Точно таким же образом можно поступить с каждым из предложений (1—6) в отдельности, или с несколькими из них сразу, или, наконец, со всеми ними. Картины мира, которые такие наборы из шести предложений будут в каждом из этих случаев описывать, можно называть картинами одного и того же мира, или Состояниями дел», или «положениями дел» в одном и том же мире, или, наконец, разными мирами. В только что разобранным примере, где предложение (1) или отрицательно, или ложно, а все остальные предложения утвердительны или истинны, «положение дел» естественнее всего было бы назвать именно особым миром: ведь если Чикаго не большой город, то это или какая-то иная страна, а не США, или это США, но в далеком прошлом. Сам Карнап предпочитает термин «описание состояний» (state description).

Если суммировать все случаи, т.е. тот случай, когда все предложения о мире утвердительны, когда отрицательно одно из них, когда отрицательны два из них... и т.д.

вплоть до случая, когда отрицательны все, то полученная картина будет «полным описанием состояний» в данном языке. В рассматриваемом языке S_1 , содержащем три индивидуальных символа (A_1, A_2, A_3) и два предикатных (B_1, B_2), получается $2^{2 \cdot 3} = 26$ систем (т.е. состояний).

Если же мы не допускаем таких случаев, когда все предикаты в описаниях состояния отрицательны, то количество возможных состоя-

332

ний будет равно $2^{6-1} = 2^5$. Вообще для n предикатов и m индивидов в первом случае число состояний равно $2^{m \cdot n}$, а во втором равно $2^{m \cdot n - 1}$.

«Полное описание состояний» обладает очень большой общностью. Оно применимо в разных целях (например, Л. Больцман применил его в физике для описания идеального газа). Мы уже отмечали его применимость в языкознании для описания структуры языка [Степанов 1966, 85—86]. Теперь нужно отметить его применимость к понятию возможных миров. «Полное описание состояний» будет описанием всех возможных миров, которые способен описать данный язык; каждое отдельное состояние из полного набора состояний будет соответствовать одному из возможных миров.

С этим понятием был связан ряд существенных достижений в рамках той логико-философской парадигмы, которую мы называем философией предиката. Но в новой парадигме, в философии эгоцентрических слов, в связи с разработкой модальных и интенциональных логик обнаружился недостаток, в частности проблема «нехватки имен», и трудная применимость «полного описания состояний», и были предприняты попытки серьезной модификации этого подхода [Хинтикка 1980, 43] (см. также здесь, гл. VI, 3).

В связи с темой нашей книги особенно интересен вопрос «нехватки имен», т.е. вопрос о количестве предметов и количестве свойств, которые способен охватить тот или иной язык в «полном описании состояний». Карнап, по-видимому, не уделял этому вопросу внимания, а между тем для построения адекватной картины языка он не менее, а может быть и более, важен, чем вопрос о количестве возможных состояний (см. также гл. VII, 0).

Картина языка в концепциях «лингвистического анализа». Под этим самоназванием известны концепции английской школы, порожденные идеями Л. Витгенштейна и развитые в работах Г. Райла, Дж. Уисдома, П. Стросона и др.

В основе их лежит понимание значения языкового выражения как употребления выражения, т.е. в общей форме — «значение есть употребление». Так, значение того или иного слова, в особенности общего имени или абстрактного термина, есть совокупность его употреблений.

Этот тезис имеет под собой реальное языковое основание в виде явления дистрибуции. Под дистрибуцией элемента языка понимается совокупность окружений данного элемента другими элементами (его же уровня, или типа), которые могут иметь место в высказываниях, текстах данного языка. Поскольку в определение дистрибуции входит выражение «может», это определение является лишь констатацией потенциальных возможностей языка. Действительная же дистрибуция устанавливается индуктивно, на основе наблюдений речи, и ее следует определить, скорее, как «реальные окружения, в которых данный элемент встретился в речи». Лингвисты 1950-х годов, особенно американ-

333

ские, уделили большое внимание установлению значений посредством дистрибуции; они разработали с этой целью строгие методические правила исследования и установили различные типы дистрибуции (дополнительная, контрастная, дистрибуция свободного варьирования [см.: Степанов 1975, 232—235; реальные результаты применения метода дистрибуции к анализу значений см. в работе: Апресян 1967]).

В итоге таких работ было выяснено, что дистрибуция способна обнаружить так называемые дифференциальные элементы значения, т.е. те компоненты значения, которые дифференцируют данный элемент, например слово, от других слов, — это в лучшем случае. Во многих случаях этот анализ вскрывает дифференциальные признаки лишь «с точностью до группы», т.е. лишь признаки некоторых классов слов, взятых как целое, и, хотя эти классы могут быть достаточно мелки, например включать по три-четыре элемента, тем не менее значение каждого элемента в отдельности, его «лексическое ядро», этим методом не улавливается. Примером, хотя и грубым, так как привести полное описание какой-либо дистрибуции здесь затруднительно, может служить следующая дистрибуция: *Я быстро... домой*. Выписанные элементы составляют дистрибуцию некоторого класса слов, элементы которого могут быть по одному, не все сразу, представлены на месте многоточия. Этот класс в русском языке состоит, как нетрудно видеть, из слов *иду, бегу, еду, спешу, лечу, пробираюсь* и может

быть, еще нескольких (в обобщенной форме их можно записать в неопределенном наклонении: *идти, бежать, ехать...*; *ходить, бегать, ездить...* и т.д.). Очевидно, однако, что приведенная дистрибуция вскрывает лишь то общее, что есть в значении всех слов данного класса, но не их индивидуальные особенности. Количество общих элементов последовательно может быть уменьшено, т.е. индивидуальность прояснена путем увеличения дистрибуций; так, дистрибуция *Я быстро... домой на велосипеде* устраняет из класса элементы *иду, бегу, лечу, пробираюсь*, а оставшиеся элементы *еду и спешу* получают новые признаки, т.е. более точное определение. Какая-то другая дистрибуция способна сузить класс еще более, даже до одного элемента. И все же, поскольку дистрибутивный анализ всегда определяет класс, состоящий хотя бы из одного элемента, лексическое ядро — собственное, индивидуальное значение слова и выражения — обычно остается невыявленным.

Поэтому и правила употребления слов (а они, само собой разумеется, основаны на дистрибуции, хотя бы ее при этом и не формулировали в явном виде) недостаточны, чтобы с их помощью можно было бы действительно описать значения слов какого бы то ни было языка. (Интересно отметить, что этот отрицательный результат заранее предвидел такой проницательный логик, как К. И. Льюис, см. ниже, гл. VI, 2.) Философы «лингвистического анализа» по-своему также осознали это явление и, продолжая настаивать на том, что «значение есть употребле-

334

ние», стали искать более адекватные способы выявить значение, по-прежнему не выходя из рамок системы языка и не обращаясь к внешнему миру.

Такой способ они нашли в явлении перифразирования (по-русски вначале в этом значении применялся термин «перифразирование» от «перифразировать», а в настоящее время — «перифразирование» от «перифраза»). И это стало открытием, предвосхитившим на многие годы современные работы по логике языка. Понятие «перифразирование» было сформулировано уже в статье Дж. Уисдома «Наглядное обнаружение» («Ostentation»). В настоящее время перифразирование применяется очень широко. Частным случаем перифразирования являются, например, так называемые глубинные семантические структуры предложений, а конкретным примером может служить приведенное выше описание слова «много» в системе А. Вежбицкой.

А. С. Богомолов замечает по поводу названной статьи Уисдома: «Аналитическая процедура состоит в перефразировке предложения S таким образом, чтобы его парафраза, S', более ясно раскрывала структуру факта, который она локализует. Однако действительная цель «перефразировки», как явствует из дальнейшего, — это перевод абстрактных понятий в те простейшие понятия, от которых эти абстракции были произведены... Но в таком случае... «поиски референта» общей семантики, а вместе с тем и «перефразировка» Уисдома — это лишь семантически-лингвистический вариант принципа верификации (неопозитивизма. — Ю. С.), требующей сведения (редукции) любой абстракции к непосредственным актам опыта или выражающим их «протокольным предложениям» [Богомолов 1973, 266]. Однако в отличие от сторонников логического позитивизма, исключавших неverified, «метафизические» предложения и понятия (вроде понятия «сущность») из сферы философии (да, собственно, и сама философия отождествлялась у них с метафизикой), философы «лингвистического анализа» старались переосмыслить метафизические понятия на основе разрабатываемого ими анализа языка.

Подверглись переосмыслению и те языковые факты, на основе которых появились понятие пропозициональной установки Рассела и соответствующие понятия в иерархии языков Карнапа. Высказывания типа «X мыслит, что p» (где вместо «мыслит» может быть «полагает», «считает», «верит» и т.д.) стали рассматриваться как эквивалентные высказыванию «X говорит: “p”» (аналогичную трактовку дает в своем «языке мысли» А. Вежбицка). Этому переосмыслению сопутствовали новые понимания предиката и значения. Предикаты рассматриваются не как термины, обозначающие объекты, а как термины классифицирующие объекты, обозначенные (поименованные) сингулярными терминами или связанными переменными. Значение рассматривается не как «платоническая сущность» наподобие числа,

335

которую языковому знаку остается просто обозначить, а как лингвистическая функция знака. С последним утверждением можно сравнить более общий и известный тезис: значение есть употребление [подробнее об этом см.: Дегутис 1983]. Предваряя последующее развитие идей, здесь можно заметить, что в последнее время некоторые философы языка снова стали склоняться к пониманию значения (интенционала) как «платонической сущности» вроде числа [см.: Семиотика 1983, 292, 296, 611].

Генеративные, или «порождающие», концепции 1960-х годов. Их объективным языковым основанием явилось понятие дистрибуции, охарактеризованное выше. Сравнительно легко проследить шаг за шагом превращение дистрибутивного анализа сначала в анализ предложения по «непосредственно составляющим», а затем в «анализ через синтез», через порождение предложения последовательными этапами, от символа S к непосредственно составляющим именным и глагольным группам и далее к их разветвлениям [см.: Новое в лингвистике 1962, 391—411].

Другим источником генеративизма, самими его сторонниками в то время недостаточно осознанным, послужили, как теперь ясно, идеи Л. Витгенштейна. В «Логико-философском трактате» он писал: «Структуры предложений стоят друг к другу во внутренних отношениях (5.2). Мы можем подчеркнуть эти внутренние отношения в нашем способе выражения, изображая предложение как результат операции, которая образует его из других предложений (основание [Base] операций) (5.21). Операция есть выражение отношения между структурами, их результатов и их оснований (5.22). Операция есть то, что должно произойти с предложением, чтобы образовать из него другие (5.23)» [Витгенштейн 1958].

Очень важно подчеркнуть недостаточно отмеченный в истории генеративизма момент: в то время как от идеи дистрибуции пролегал путь к идее внутреннего порождения (развертыванию) одного отдельно взятого предложения, от идеи связи предложений посредством операций (как у Витгенштейна) путь шел к концепции порождения одних предложений из других. Когда оба пути сомкнулись, образовался генеративизм.

Третье определяющее влияние шло от общих идей конструктивизма в математике, в особенности от исследования вычислительных процессов, алгоритмов. Стремление к динамическому представлению систем сразу нашло отклик в лингвистике, потому что в ней оно возникало вновь и вновь на протяжении всей ее истории — со времен Панини в Древней Индии до наших дней [Кубрякова 1980].

Идеи конструктивной математики, выраженные в конкретной форме понятий теории алгоритмов (или алгорифмов) А. А. Маркова в 1950-е годы, через несколько лет были почти целиком использованы в работах советских лингвистов по порождающим грамматикам.

А. А. Марков отмечал: «В математике принято понимать под алгорифмом вычислительный процесс, совершаемый согласно точному предписанию и ведущий от могущих варьировать исходных данных к искомому результату» [Марков 1951, 176]. Вводя затем понятия абстрактного и конкретного алфавитов, абстрактного и конкретного слова (причем под конкретными здесь понимаются употребления, входящие в текст соответствующих абстрактных единиц), Марков далее писал: «Будем говорить, что алфавит применим к слову P, если, исходя из этого слова и применяя алгорифм, мы получим в конце концов некоторое слово, на котором процесс оборвется. Об этом слове мы будем говорить тогда, что алгорифм перерабатывает в него слово P» [там же, с. 180—181]. В развитом виде генеративная грамматика не только порождает выражение или предложение языка, но и в отличие от просто алгоритмического процесса позволяет квалифицировать его грамматически, т.е. описать в системе категорий, принятых для описания этого языка. Поэтому результаты, достигнутые с помощью генеративных грамматик (после того, как этими грамматиками почти перестали заниматься), продолжают благоприятно сказываться на работах в других направлениях лингвистики (в порождающей семантике, категориальных грамматиках, грамматике Монтегю и др.).

Ср. следующее итоговое определение понятия «порождать», которое дает В. З. Демьянков: «о грамматике говорят, что она порождает множество предложений, цепочек и т.п., если с ее помощью можно перечислить все множество этих выражений, а также если любое выражение можно с ее помощью отнести или не отнести к данному множеству, определив для нее одну или более дериваций» [Демьянков 1979, термин 441].

Общие идеи конструктивизма в лингвистике оказались плодотворными. В настоящее время их следует связывать, по-видимому, скорее, с «лингвистическим конструированием». Ю. Н. Караулов по этому поводу пишет: «Лингвистическое конструирование — это не инженерная лингвистика, которая решает вполне определенные, конкретные задачи машинной обработки языка и его машинного использования, но тем не менее некоторые решения и инженерной лингвистики получены путем лингвистического конструирования. Лингвистическое конструирование — это совокупность обобщенных способов и приемов компиляции и комбинирования

«образцов решений проблем», экстраполяции уже имеющихся, готовых теоретических и практических результатов, полученных в разных областях лингвистики, и их прямого или эвристического использования для преодоления трудностей и решения проблем, возникающих в тех же или других областях при построении новых лингвистических объектов... Главный принцип лингвистического конструирования — «как сделать» тот или иной объект — только на пер-

вый взгляд может представляться чисто техническим по своему содержанию» [Караулов 1981, 17].

Работы самого Ю. Н. Караулова по алгоритмическому конструированию словарей могут служить примером применения идей лингвистического конструктивизма в нашей стране. А многочисленные работы по «порождающей семантике», «релятивной грамматике» и т.д. (более близкие к породившей эти направления «порождающей грамматике») — примерами применения идей конструктивизма в лингвистике и философии языка США.

В заключение нужно остановиться еще на одном важном итоге этого периода, имеющем непосредственное отношение к философии языка. Он стал ясен, когда начали философски осмыслять итоги порождающих грамматик, но по существу он не был следствием только этого осмысления, а как бы постепенно накапливался, начиная с работ Карнапа и с представлений о «двух языках» 1920-х годов, а может быть, и еще раньше. Мы имеем в виду осознание того, что описание языка может быть в одно и то же время естественнонаучным в одном отношении и гуманитарным в другом.

Пока речь шла о «двух языках», как это имело место в работах сторонников логического позитивизма 1920—1930-х годов, было более или менее ясно, что «верхний», абстрактный, логически упорядоченный язык поддается описанию как естественнонаучный объект, в то время как «нижний», повседневный язык есть объект гуманитарного знания (разумеется, «верхний» и «нижний» не несут здесь никакой оценки вроде «лучший» или «худший», а означают просто степень абстрактности). Но когда были исследованы и формализованы самые способы перехода от одного языка к другому (см. работы Карнапа конца 1930—1940-х годов), то ясность исчезла. Означает ли формализация карнаповского типа, что сам повседневный естественный язык становится естественнонаучным объектом (некоторые филологи видели в этом скандал)

или, напротив, язык науки тем самым обнаруживал свои тайные, глубоко «гуманитарные» черты (как стали считать семиотики)? Неизвестность рассеялась к концу описанного нами периода.

Формулировку, соответствующую воцарившейся наконец ясности, мы находим у Т. В. Булыгиной: «Формулируемые в синхронно-описательной грамматике правила представляют собой не объяснения дедуктивно-номологического типа, которыми оперируют естественные науки, а скорее концептуальный анализ, экспликацию имплицитного знания (которым владеет исследователь, поскольку он просто владеет своим языком. — Ю. С.) этих правил, точнее, знания дотеоретических правил, соответствующих теоретическим правилам, формулируемым в лингвистическом описании, или, по выражению А. М. Пешковского, «перевод интуиции в рациональные формы» [Булыгина 1980, 130].

Т. В. Булыгина напоминает в этой связи слова Ж. Бувереса (французского философа, занимавшегося методологическим обобщением современных лингвистических концепций) о том, что объяснение в генеративной грамматике — это, скорее, объяснение в смысле карнаповского термина «экспликация». Оно состоит преимущественно в замене того или иного довольно туманного интуитивного концепта (explicandum) точным формально выраженным концептом (explicatum). «Очевидно, в лингвистике, — заключает Т. В. Булыгина, — имеет смысл говорить о гипотезах (соответственно о подтверждаемости и т.п.) по отношению не к самой грамматике (и не к какому-либо конкретному грамматическому правилу), а к метаграмматике, т.е. по отношению к теории, утверждающей (истинно или ложно), что грамматика определенного типа... позволяет выразить максимальное количество возможных (лингвистически значимых) обобщений относительно языка» [там же, с. 131].

«Метаграмматики», или метаязыки, могут занимать разные ярусы в иерархии языков. Это хорошо видно на примере трех рассмотренных выше систем Карнапа. Если система S_1 — это «объектный язык», то его правила являются лишь более или менее формально перифразированными правилами употребления, которые интуитивно знает всякий носитель этого языка (если бы, конечно, такие носители существовали). Система S_2 — метаязык по отношению к S_1 — допускает верификации, подтверждаемость и т.д. как некая формально выраженная теория. Но поскольку в ее правилах истинности еще

упоминаются реальные объекты, хотя и опосредованно — в виде «десигнатов», то логическая верификация здесь ограничена. Система S_3 , являющаяся метаязыком по отношению к S_2 или мета-метаязыком по отношению к S_1 , еще более приближается к системе математического типа, к логистической системе, и т.д. Именно в смысле такой иерархии в описании языка градуально убывают свойства гуманитарного знания и нарастают свойства знания естественнонаучного типа.

Но за всем этим по-прежнему видно одно и то же радикальное различие: системы типа S_1 , естественные языки, имеют прирожденных носителей, и носители просто «знают» свой язык, в известном смысле можно сказать, что «язык вложил в их разум» некое знание; все же другие системы, типа S_2 , S_3 и т.д., имеют лишь изобретателей, и «они вложили в эти языки» свое понимание (термины и правила).

Этот вопрос не перестает волновать философов языка, он возникает вновь и вновь в форме попыток различить то сами рассудки и их носителей по степени рациональности, как у Р. Карнапа и А. И. Уемова (см. гл. VI, 2), то знание «в сильном смысле» — «знание» и знание в «слабом смысле» — «знание-знакомство» (нем. *wissen* и *kennen*), как у Я. Хинтикки.

5. «ПОЭТИКИ ПРЕДИКАТА», ИЛИ «СИНТАКТИЧЕСКИЕ ПОЭТИКИ»

5.0. Вводные замечания.

Формальные и содержательные поэтики

Слово «синтаксис» часто появляется в характеристиках и самохарактеристиках художественных течений начала нашего века. И притом без всякого влияния со стороны семиотических штудий, в которых — в настоящее время — явления искусства обычно описываются в терминах языка.

Русские поэты-кубофутуристы в своем манифесте 1914 г. («Садок судей», 11) почти на первом месте с гордостью декларируют: «Мы расшатали синтаксис» [Литературные манифесты 1929, 79].

Если абстракции В. Кандинского могут быть названы «семантикой» или даже «чистой семантикой» живописи, то кубизм в живописи искусствоведы метко называют «синтаксисом» (см. материалы выставки: «Москва — Париж. 1900—1930». М.: Сов. художник, 1981, с. 58).

Русские имажинисты той же поры провозгласили основой поэтики тоже кубизм, по-своему понятой: «кубизм грамматики — это требование трехмерного слова». «Плоскостное слово ныне постепенно, благодаря освещению образом, начинает трехмериться. Глубина, длина и ширина слова измеряются образом, смыслом и звуком слова. Но в то время как одна из этих величин — смысл — есть логически постоянное, две других — переходные (переменные. — Ю. С.), причем звук внешне переходное, а образ органически переходное. Звук меняется в зависимости от грамматической формы, образ же меняется об аграмматическую форму» [Литературные манифесты 1929, 106]. Отсюда у имажинистов аграмматическая форма вроде «Доброй утра!», или «Доброй утры!», или «Он хожу!»

По-видимому, здесь мы находим одно из первых утверждений о трехмерности языка. (Должен признаться, что я обнаружил его лишь в конце своей работы.) «Логически постоянное, смысл» здесь — семантика; «две переходные величины, звук и образ» — это синтактика; «аграмматическая форма» — это прагматика (дектика), понятая индивидуалистически — как произвол личного «Я» поэта. Поскольку имажинисты, в теории по крайней мере, придавали решающее значение третьему компоненту, их поэтику следует отнести к «парадигме эгоцентрических слов» (гл. VI, 4).

В отмеченных пунктах сближались не только футуристы и имажинисты, но были близки к ним и символисты. Последний по времени французский символист П. Клодель в своем «Поэтическом искусстве» (1903) писал:

«Как-то в Японии, подымаясь из Никко в Шузенжи, я увидел — в действительности на огромном расстоянии, но сближенные и соположенные линией моего взгляда — зелень клена и зелень одинокой сосны, образовавшие аккорд. Мои нижеследующие страницы комментируют этот *лесотекст* (*ce texte forestier*), в котором, в свете июньского дня, мне открылось ветвящееся и зеленеющее высказывание (*l'énonciation arborescente*) — новое Поэтическое (от греч. ποιειν 'делать') искусство мира, новая логика.

Старая логика имеет своим инструментом силлогизм, новая — метафору, новое слово, операцию, которая проистекает только из соположенного и одновременного существования двух различных вещей. Первая логика берет за отправную точку общее и абсолютное утверждение, приписывание — раз и навсегда — признака или атрибута

субъекту. Без уточнения места и времени — солнце светит, сумма углов треугольника равна двум прямым. Эта логика создает, путем их определений, абстрактные индивиды, устанавливает между ними неизменные сериальные отношения. Ее прием — именование, номинация. Когда все эти термины установлены, расклассифицированы по родам и видам в колонках ее перечней, проанализированы один за другим, она применяет их к любому заданному ей сюжету. Я сравню эту логику с первой частью грамматики, в которой определяются природа и функции различных слов. Вторая логика относится к первой как синтаксис» [Michaud 1969, 738].

Символизм выдвигает на первый план семантику, футуризм — синтактику, имажинизм — прагматику. Но в той мере, в какой все они выдвигают на первый план языковые закономерности своего искусства, их иногда сближают — равно все — как формалистов [ср., например: Мясников 1975, 339]. Тем не менее это три разных течения в искусстве и в поэтике. В этом разделе мы коснемся только того из них, которое ставит во главу угла синтактику, — футуризма.

В смысле, ясном из вышесказанного, поэтика футуризма может быть с самого начала, невзирая на возможные интерпретации отдельных деталей, названа формальной.

Но поэтики, рассматриваемые в их отношении к философии языка, обнаруживают не только свои формальные черты. Несомненно, например, что художники-импрессионисты, стремясь запечатлеть предмет в его переменном и исчезающем состоянии данного момента, исходят из такого же понимания мира, что и те философы, «философы предиката», которые отрицают неизменную «сущность» вещей и рассматривают вещь как «пучок свойств», или «пучок предикатов». В этом смысле поэтика импрессионизма обнаруживает те же черты содержания, что и философия предиката, — та и другая по-разному, на языке искусства и на языке философии, говорят об одном и том же.

Ниже мы рассмотрим одну (а возможно, кто-нибудь найдет и другие) такую поэтику, являющуюся содержательным аналогом философии предиката, поэтическую концепцию «человека без свойств».

Бесспорно, крупнейшая из синтактических поэтик содержится в учении русского формализма. Но она настолько заслонена более общими и более значительными положениями, образующими теорию искусства русской формальной школы, что

говорить о поэтике отдельно, как и рассматривать теорию искусства этой школы, в рамках настоящей книги нет, конечно, никакой возможности. Мы рассмотрим здесь более скромную поэтику — футуризма и В. Хлебникова, которую можно поместить между содержательными, как нижеследующая, и формальными

5.1 Поэтика «человека без свойств». Достоевский и Ибсен

Если вещь — лишь совокупность («пучок») сосуществующих свойств, то и человек — лишь пучок свойств. Задолго до того, как Рассел и другие философы его поры сформулировали первое из этих двух взаимосвязанных утверждений, великие художники слова уже обследовали второе. Мы имеем в виду два появившихся почти одновременно произведения — «Записки из подполья» (1864) Достоевского и «Пер Гюнт» (1866) Ибсена (в 1863 г. в Париже «Салон отверженных» ознаменовал пришествие импрессионистов, открывателей того же принципа в живописи). Не случайна их связь и во времени, и в пространстве, и в интенциональном мире идей. Оба возникли в ареалах мощного морально-этического движения — русском и норвежско-датском; оба, как мы увидим ниже, связаны с первыми импульсами экзистенциализма — в Дании сравнительно недавно скончался «философ экзистенции» С. Кьеркегор (1813—1855), а повесть Достоевского была признана впоследствии одним из главных произведений этой философии. И наконец, оба произведения были пробой новой поэтики — поэтики «человека без свойств». Пожалуй, в какой-то мере оба они экспериментальны. Хотя повесть Достоевского на два года старше драматической поэмы Ибсена, но начать целесообразно с последней, потому что если яркий веер вопросов развернут Ибсеном, то радикальное решение одного, главного вопроса дано Достоевским.

Пер Гюнт, деревенский парень, веселый и непутевый, сметливый и выдумщик, проходит через необыкновенные перипетии жизни: любит свою невесту и упускает ее; похищает во время свадьбы с другим и уносит в горы; бросает, впутывается в разную чертовщину в царстве троллей, бежит оттуда, бежит из родной деревни; отправляется на золотые прииски в Америку; торгует черными рабами; становится богачом и в один миг теряет все свое богатство; приобретает друзей из разных стран и лишается их в тот же момент, что и богатства, потому что взрывается принадлежащий ему пароход; оказывается один в пустыне и волею судьбы остается живым и становится обладателем

драгоценностей восточного паши; слывет за пророка и живет жизнью паши-пророка; наслаждается любовью наложницы, снова теряет все, делается уче-

ным-археологом, попадает в сумасшедший дом, ускользает из него, плывет морем на родину, в бурю терпит кораблекрушение, тонет, спасается и возвращается наконец, почти стариком, в родную деревню, где, оказывается, его ждет — безнадежно и вечно, и как бы вне власти времени — девушка, с которой он едва-то обменялся взглядом много-много лет назад...

Жизнь Пера предстает как цепь этих необычайных и вместе с тем типичных событий; в каждом из них раскрывается какая-то иная черта характера Пера, какое-то качество его души, зачастую противоположное предыдущему, и, раскрывшись, тут же вянет и перестает существовать, чтобы уступить место новому. Сколько может продолжаться этот процесс? Теряет ли Пер лишь свои «оболочки», свои видимые свойства и остается при этом «самим собой»? Или он теряет свойства своего внутреннего «Я» и в конце концов обречен стать «ничем»?

Вот вопрос, который чем дальше, тем больше, с самого начала, мучит Пера, и когда на него дан ответ, пьеса заканчивается. Как часто бывает у Ибсена, не конец приключений и жизненных испытаний героя, а раскрытие до конца главного вопроса и ответ на него знаменуют конец пьесы.

Проследим перипетии пьесы подробнее, сопоставив их с некоторыми тезисами Кьеркегора по его сочинению «Постскриптум к “Философским крохам,»» (Сопоставляются не тексты, а идеи Ибсена и Кьеркегора. Первый цитируется по изд.: Пер Гюнт: Драматическая поэма / Пер. А. и П. Ганзен. — В кн.: *Ибсен Г.* Собр. соч. М.: Искусство, 1956, т. 2; второй — по изданию, указанному в Литературе [см.: Kierkegaard 1949]). В оригинальном датском издании 1846 г. автором сочинения назван Йоханнес Климакус, а С. Кьеркегор указан лишь как издатель.). Начнем с того, что путешествия, предпринимательство, деятельность в разных странах, в конечном счете во всем мире — это для Пера Гюнта средство испытать полноту существования, раскрыть все возможности своего существа. Но одновременно, пока еще тихой нотой, звучит мотив утраты качеств: какой национальности Пер Гюнт? — Он уже этого не знает:

...Вы — норвежец?
Да, по рождению. По духу ж я —
Вселенский гражданин. Своей фортуной

Америке обязан; образцовой
Своей библиотекой — юным школам
Германии; из Франции же вывоз
Манеры, остроумие, жилеты;
Работать в Англии я научился
И там же к собственному интересу

Чутье повышенное приобрел.
У иудеев выучился ждать,
В Италии же к dolce far niente
Расположеньем легким заразился,
А дни свои продлил я шведской сталью.
(IV, с. 504)

Нечто подобное говорил и Кьеркегор: «...я не переставал подчеркивать, что наша эпоха забыла, что значит существовать и что значит «внутреннее». Она потеряла веру в то, что внутреннее обогащает бедное по видимости содержание, в то время как перемена во внешнем — это лишь средство рассеяния, за которое ухватываются пресыщенность и пустота жизни. Вот почему пренебрегают обязанностями, вытекающими из существования. Мимоходом выучивают, что такое вера, и считают, что знают. Затем бросаются к спекулятивной философии и снова промахиваются. Потом наступает черед астрономии, начинают бродить там и сям по всем наукам и по всем сферам жизни, но не живут. Поэты, для одного того лишь, чтобы развлечь своих читателей, слоняются по Африке, по Америке, черт знает где, в Трапезунде, в Руане (намек на одну из современных пьес. — Ю. С.), и скоро понадобится открыть какую-нибудь новую часть света, чтобы поэзия совсем не зачахла. А почему? Потому что все больше теряется внутреннее» [Kierkegaard 1949, 192].

В таких странствиях и в такой кипучей деятельности раскрываются — и исчезают — черты характера Пера, зачастую противоположные и, следовательно, все вообще — относительные.

Вот он — купец, но делает одновременно два дела — богоугодное и богопротивное:

Вот и придумал я такой исход:
Второе предприятие затеял,
Что б коррективом первому служило;
Ввозил в Китай весною я божков,
А осенью туда ж — миссионеров.
На каждого там сбытого божка
Новокрещеный кули приходился,

И вред нейтрализован был вполне.
(IV, с. 501)

Вот он — торговец черными рабами в Америке:

Купив на юге землю, я себе
Последний транспорт с неграми оставил;
Товар как на подбор был первосортный,

344

И у меня все прижились отлично,
Толстели, лоснились от жиру — мне
Да и себе на радость...

(IV, с. 502)

Вот он на борту судна, на пути домой. Начинается буря, судну и всем на нем грозит опасность, а Пер с презрением к матросам, которые боятся за свою жизнь, рассуждает:

Иметь ораву ребятишек, жить,
Как будто жизнь есть радость, а не бред...

(V, с. 568)

И тут же, видя людей за бортом, обращается к матросам:

Об этом ли раздумывать теперь?
Вы люди или нет? Спасайте ближних!
Иль шкуры подмочить свои боитесь?..

Пер сам трезво оценивает такие противоречивые состояния души:

До крайности дошедший ум есть глупость;
И расцветает трусости бутон
В цветок жестокости махровый. Правда —
Преувеличенная лишь изнанка
Ученья мудрого...

(IV, с. 532)

И обобщает это в тезисе о «золотой середине»:

Лишь крайность — худобы или дородства
Иль юности иль старости — способна
Ударить в голову, а середина
Лишь вызвать тошноту способна...

(IV, с. 527)

То же самое было и свойством Кьеркегора, о котором справедливо замечено, что, «органически не вынося золотой середины, он метался между крайними полюсами, преследуя свою мысль до конца, либо в сторону Христа, либо в сторону дьявола» [Тиандер, стб. 804]. Главное сочинение Кьеркегора так и называется: «Или — или» (1843).

Но в устах Пера Гюнта и этот общий тезис оказывается относительным и заменяется обратным:

И, в сущности, ведь что всего дороже,
Милее? Золотая середина!
(IV, с. 540)

345

И у читателя закрадывается мысль: не высмеивается ли здесь исподтишка и Кьеркегор, как постоянно высмеивается противник Кьеркегора — Гегель? Африканский эпизод полон сумбурными воспоминаниями Пера о каких-то философских сочинениях, цитат из прочитанных им книг, из Гете, и неожиданно — комическая строка: *И дернула нелегкая меня! Что нужно было мне на той галере*, (знаменитый стих из «Проделок Скапена» Мольера, II, 11: «Какого черта нужно было ему на той галере?»). Кульминацией всей этой комической абракадабры звучит реплика Бегриффенфельдта в сумасшедшем доме (сама его пародийная фамилия буквально значит 'понятийное поле'):

Сегодня в ночь, в двенадцатом часу,
Скончался абсолютный разум.

Эта и другие пародийные реплики — выпады против Гегеля похожи даже и по манере на тирады Кьеркегора вроде следующей: «"Логика" Гегеля со всеми его замечаниями производит такое же смешное впечатление, как если бы кто-нибудь показывал письмо с небес, а из письма торчала бы промокашка, свидетельствующая о его земном происхождении» [Kierkegaard 1949, 223].

Но в сумасшедший дом, где делается это открытие о кончине абсолютного разума, Пера Гюнта привела не случайность, а логика его характера — ведь перед этим он вознамерился постигнуть суть жизни через историю, став ученым-историком. Что это — снова пародия на Гегеля (абсолютный дух проходит стадию истории)? Или серьезная, как и предыдущие, параллель к Кьеркегору? Вопрос остается открытым, а может быть, — и то, и другое. Но у Кьеркегора есть сходная мысль, а в указанном сочинении ей посвящена целая глава — глава IV «Проблема «Философских крох»: Как вечное блаженство может быть основано на историческом знании» (хотя речь идет об истории религии).

Как бы то ни было, процесс продолжается, качества Пера Гюнта одно за другим выявляются и исчезают, показывая свою противоположность и относительность, и в

силу их полной относительности, в точности как у Кьеркегора, возникает наконец сомнение — от кого же они, от Бога или от Дьявола? В последнем действии, почти перед концом, дается, казалось бы, прямой ответ: от Дьявола. Он сформулирован устами посланника Чистилища, Худошавого:

Двоким образом ведь можно быть
«Самим собой»: навыворот и прямо.
Вы знаете, изобретен в Париже
Недавно способ новый — делать снимки
Посредством солнечных лучей, причем
Изображенья могут получаться

346

Прямые иль обратные, иль, — как
Зовут их, — негативы, на которых
Обратно все выходит — свет и тени.
Так если в бытии своем земном
Душа дала лишь негативный снимок,
Последний не бракуют как негодный,
Но поручают мне, а я его
Дальнейшей обработке подвергаю,
И с ним, при помощи известных средств,
Прямое превращенье происходит.
Окуриваю серными парами...

(V, с. 628)

Но еще раньше о чем-то подобном догадался и сам Пер Гюнт. Первое, что он увидел, подойдя к родной деревне, были похороны какого-то земляка, и он слышит, как Священник над свежей могилой говорит:

Теперь, когда душа на суд предстала,
А прах лежит, как шелуха пустая,
В гробу, — поговорим, друзья мои,
О странствии покойника земном...

(V, с. 583)

Пер подхватывает мысль о шелухе, которая так отвечает его собственному настроению, и чуть позже следует его знаменитый монолог о шелухе и луковице — символе. Пер берет луковицу и, отщипывая один листок за другим, приговаривает:

Вот внешней оболочки лоскутки —
Крушенье потерпевший и на берег
Волнами выкинутый нищий Пер.
Вот оболочка пассажира, правда,
Тонка, жидка она, но от нее
Еще пахивает Пером Гюнтом.
Вот золотоискателя листочки...

И, общипав все до конца, бросает остатки:

...Черту разве
Тут впору разобраться...

(V, с. 596)

Пер приходит, видимо, к выводу, что под оболочками и шелухой нет ничего, его «Я» вне шелухи внешних свойств не существует, оно и было самой этой шелухой. И сразу — как ответ на этот вывод:

347

Я ввысь хочу. На самую крутую,
Высокую вершину. Я увидеть
Еще раз солнечный восход хочу
И насмотреться до изнеможенья
Хочу на обетованную землю!
А там — пусть погребет меня лавина;
Над ней напишут: «здесь никто схоронен».
Затем же... после... будь со мной, что будет.

И в этот момент загорается ослепительное утро и односельчане Пера, идущие в церковь по лесной тропе, поют гимн утру и красоте мира:

Утро великое, благословенное,
Дивный таинственный миг...

(V, с. 631)

И, в гармонии с этим утром, в последних строчках драматической поэмы рождается, как мы уже знаем, другой ответ на поставленный вопрос — есть ли у Пера его собственное «Я»? есть ли оно у человека? — в словах Сольвейг: Пер всегда был и есть — он сам, «сам собой» — в ее сердце.

Читатель-зритель теперь волен решать, как смотрит на все это сам Ибсен. Но заключительные слова пьесы, слова Сольвейг, и светлая музыка Грига, лучший комментарий к пьесе, заставляют думать, что Ибсен согласен не с Пером Гюнтом, а с Сольвейг. Внешние свойства не исчерпывают сущности человека. И поэтому Ибсен восхищается своим героем.

Мне кажется, что такая пьеса не могла не быть экспериментальной. Одно место в тексте прямо говорит об этом. В пятом действии, во время бури, на корабле появляется — неизвестно откуда, неизвестно кто — таинственный Пассажир. Кто он — персонаж? Душа Пера? Автор? в один момент он ведет себя как автор:

П е р Г ю н т

Я не желаю умирать. Мне надо

На берег выбраться.

П а с с а ж и р

...На этот счет

Не беспокойтесь. В середине акта —

Хотя б и пятого — герой не гибнет!

(V, с. 583)

Здесь следует ремарка Ибсена: «Исчезает».

Но если хотя бы на один момент персонаж отождествился с автором, то перед нами уже новый тип пьесы, новый тип литературного про-

348

изведения вообще. Этот принцип был основным приемом Кьеркегора и получил у него развернутое обоснование.

Все свои основные произведения Кьеркегор выпустил под псевдонимами, каждый раз разными. Он так объяснял свою «многоименность» (такую же, заметим, как многоименность Пера Гюнта в его разных лицах):

«Моя псевдонимия или полинимия не имела случайной причиной мою личность (и, разумеется, не проистекала из страха перед юридической ответственностью...); у нее было сущностное основание в самом характере литературной продукции, которая, требуя реплик, психологического разнообразия индивидуальностей, требовала тем самым в поэтическом смысле безразличия к добру и злу, к серьезности и легкомыслию, к отчаянию и самодовольству, к страданию и радости и т.д. А такое безразличие ограничивается лишь психологически в воображаемом мире (*idéalement*), в реальном же мире никакое лицо не осмелилось бы и не могло бы себе его позволить в рамках морали этой реальности. Таким образом, написанное действительно принадлежит мне, но лишь постольку, поскольку я вкладываю в уста реальной поэтической личности, которая производит текст, ее концепцию жизни в том виде, в каком последнюю можно уяснить из ее реплик. Мое отношение к произведению еще более расплывчато, чем отношение поэта, который создает своих персонажей и одновременно является автором предисловия. Я действительно безличен или являюсь лично лишь суфлером в третьем лице, который в поэтическом смысле производит авторов, которые в свою очередь являются авторами своих предисловий и даже своих имен. Таким образом, в псевдонимных книгах нет ни одного слова от меня; мое суждение о них — это суждение

третьего лица; мое представление об их значении — это представление читателя, и у меня нет никакого частного отношения с ними, да и невозможно было бы иметь такое отношение при указанном двойном отчуждении содержания. Одно лишь слово, произнесенное лично мной от моего собственного имени, было бы равносильно нарушающему всю систему (*impertinent*) забвению моего собственного «Я», и уже одно это имело бы результатом, с диалектической точки зрения, уничтожение самого существа псевдонимии» [Kierkegaard 1949, 424].

Я думаю, что отношение Ибсена к своему произведению «Пер Гюнт» носит такой же характер и что Пассажир в V действии не сам автор, а псевдоним автора в кьеркегоровском смысле.

На страницах сочинения Кьеркегора много раз появляются слова «эксперимент», «экспериментальный». Одно из самых значительных упоминаний — в конце, где как раз мнимый автор (псевдоним) Йоханнес Климакус дает разъяснения читателю относительно своей личности («Все это сочинение, в порядке эксперимента, вращается вокруг меня самого, единственно и исключительно вокруг меня самого. Я, Йоханнес Климакус, находясь теперь в возрасте 30 лет...» и т.д.). Эксперимент и

349

псевдонимия взаимосвязаны. Но тогда — не оказывается ли в известном смысле «человеком без свойств» и сам автор? (К сходным выводам на другом материале приходит С. А. Исаев: по Кьеркегору, автор должен не «переставать быть экзистирующим», сохранить свое отношение к истине подлинным; это и обеспечивает псевдонимная форма изложения [Исаев 1979, 27].)

После Кьеркегора, Ибсена и Достоевского загадочные и сложные отношения автора и персонажей станут одной из главных проблем теории литературы.

Достоевский тоже мыслил в экспериментальном ключе и свою повесть, и свое отношение в ней к читателю. В журнальном, первоначальном, варианте она даже и не называлась повестью, этот подзаголовок был отнесен только ко второй части (часть I — Подполье, часть II — По поводу мокрого снега). Зато в журнале первая часть сопровождалась примечанием Достоевского: «И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе... В следующем отрывке (т.е. во II ч. — Ю. С.) придут уже настоящие «записки» этого лица о некоторых

событиях его жизни. Федор Достоевский» (здесь и далее цит. по изд.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: ГИХЛ, 1956, т. 4, с. 133).

Осмысление отношений автора — рассказчика — героя и читателя продолжается до самого конца: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которых он и друзьям не откроет, а разве только самому себе, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится... Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это» (ч. I, XI, с. 166).

И в самом конце делается ясно, что эта «форма» в старом смысле слова, как форма «записок», «повести», «романа», и постоянные отговорки от нее, т.е. форма в новом, экспериментальном смысле, связаны с героем: «Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, — ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни... Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение...» (II, X, с. 243).

Здесь, кажется впервые, в европейской литературе появляется термин «антигерой», и этот антигерой Достоевского — экзистенциальный человек. Это человек «без внешних свойств» и даже вообще «без свойств».

Он — «человек без свойств» не в том смысле, что никак не проявлял себя вовне, а в ибсеновском, пергюнгговском смысле: как только названо и проявлено какое-нибудь свойство, так тотчас следует его опровержение.

Нормальное состояние — болезнь: «Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего

прекрасного и высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья...» (с. 137).

Страдание — наслаждение: «...до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденье возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротить, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец,— в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, наслаждение!» (с. 138).

Глупость — красота: «Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво» (с. 140).

Искренность — ложь: «Даже вот что тут было бы лучше: это — если бы я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настроил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник» (с. 164).

Порядочность — трусость и рабство: «Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это — нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле» (с. 169).

Герой сам осознает, что он — человек без свойств: «О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в

себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен» (с. 147).

И по мере того как все свойства, одно за другим, проявляются и исчезают, приятные, неприятные, отвратительные, злые, безразлично какие, остается — как у сжавшегося в комок человека под худым плащом, по которому стекает холодный дождь,

— лишь одно неизменное, не окрашенное, ни злое, ни доброе, чувство: я существую. И всё. Но это и есть чувство существования, экзистенции.

Ибсен довел Пера Гюнта (и себя самого) до этого ощущения — до его последней оболочки и тут же отказался проникнуть дальше и дал его отраженным — в сердце Сольвейг, и оно предстало сияющим, утренним, оптимистичным, христианским.

Достоевский проник в самое его существо, и оно оказалось не утренним, не оптимистичным, не христианским. Ближе всего, как ощущение, оно к ощущению мокрого снега: «Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега» (с. 167).

Повесть полна экзистенциальных тем (т.е. таких, которые стали в XX в. темами экзистенциальной литературы).

Жизнь — «вонючая грязь» (ср. у Ж.-П. Сартра — *la pausee* «тошнота» — название его романа): «И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышшь; его об этом никто не просит; а это важный пункт... Несчастливая мышшь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков...» (с. 140).

Человек — насекомое (будущая тема Ф. Кафки в «Превращении»): «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым» (с. 135); «Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился» (с. 136); «Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору... Со мной поступили, как с мухой» (с. 173).

Перед человеком — стена (будущее название и тема новеллы Ж.-П. Сартра «Стена»): «Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний... Стена, значит, и есть стена... Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет про-

бить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (с. 142).

Бесцельное, беспричинное действие (*acte gratuit* у французских экзистенциалистов): «Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что 194 она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет...» (с. 146).

Воля — против целесообразности (именно этот пункт был главным образом противопоставлен Достоевским социальной теории Н. Г. Чернышевского, а впоследствии стал важным компонентом в понятии «социальной вовлеченности, ангажированности», *engagement*, человека, писателя, философа у французских экзистенциалистов; см. о Р. Барте, гл. V, 3): «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная (у «теоретиков социальной пользы», намек на Чернышевского. — Ю. С.), самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (с. 153).

Воля противопоставлена не только теориям социального блага, но и законам природы, враждебным и тупым: «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?» (с. 142).

И наконец, поскольку в нашей книге не раз возникала тема определения человека, к коллекции определений рядом с «человек — двуногое, лишненное перьев» (*a featherless biped*) можно прибавить определение по Достоевскому: «Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное» (с. 156).

К этим экзистенциальным темам Достоевский вернется еще раз и повторит их почти буквально, во вставном эпизоде — «Исповеди Ипполита» в «Идиоте» [см.: Степанов 1973].

В XX в. тема «человека без свойств» будет подхвачена и положена в основу целой поэтики романа австрийским писателем Р. Музилом (см. гл. VI, 4.1).

Одно место в «Записках» является как бы художественной иллюстрацией к одной из ключевых проблем философии предиката — проблеме предложений-тавтологий и предложений-противоречий. Тавтология определяется как предложение, истинное при любом положении дел, а противоречие — как предложение, ложное при любом положении

353

дел. Достоевский дает определение субъекта «всемирная история» и показывает, что, с точки зрения героя «Записок», он совместим с любым предикатом. Это — рассуждение, несомненно, в рамках экзистенциализма. Но интересно поразмыслить над его логической формой: тавтология это или противоречивое предложение, являющееся вместе с тем в определенном смысле истинным? Вот его определение:

«Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит!.. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь» (с. 157).

5.2. Поэтика русского футуризма и В. Хлебникова

Виктор, или, как он сам себя называл, Велимир, Хлебников (1885—1922) — наиболее яркий теоретик русского кубофутуризма; во всяком случае, о поэтике футуризма нужно судит по ее наивысшему достижению — поэтике Хлебникова.

В области поэтического языка футуристы начали там, где кончили — или прервали? — символисты. На Западе прием «слов на свободе» Рембо (см. гл. I, 6.2) был использован футуристом Маринетти, а в России Хлебников в начале своего творчества опирался на темы и тезисы Вяч. Иванова. Как вариации одной поэтической сюиты воспринимаются два произведения на одну и ту же, и не случайно, тему Азии — «Кочевники красоты» Иванова (см. гл. I, 6.1) и поэма «Азы из узы» (1920) Хлебникова. Ср. строки из последней:

О, Азия! Себя тобою мучу.
Как девы брови я постигаю тучу.
Как шею нежного здоровья —
Твои ночные вечеровья.
Где тот, кто день свободных ласк предрек?
О, если б волосами синих рек
Мне Азия обвила бы колени.
И дева прошептала бы таинственные пени...
А ты бы грудой светлых денег
Мне на ноги рассыпала бы косы.

354

— Учитель, — ласково шепча, —
Не правда ли, сегодня
Мы будем сообща
Искать путей свободней?

(Древнерусское *аз* — «я» у Хлебникова означает освобожденное я, осознающую себя личность, сбросившую узы рабства [Суганов 1976, 428]). Таким образом, в слове *Азия* для Хлебникова шифруется *Аз* и *Я*. В наши дни это стало названием из местной книги, в которой ставятся близкие проблемы: *Сулейманов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя*. Алма-Ата, 1975).

Уже первые четыре хлебниковские строчки говорят о принципиально новой поэтической установке — разрушении привычной сочетаемости слов, а следовательно, операции с синтактикой. Вяч. Иванов, принимая семантику языка как данное, стремился на ее основе совершить восхождение к сущностям, а Хлебников, разрушая данную семантику, стремится на основе синтактики создать новую семантику — своего собственного мира. Но это — не мир сущностей. Каков поэтический мир Хлебникова? Благодаря серии работ он в настоящее время в основном понятен [Дуганов 1974; 1976; Степанов Н. Л., 1975 и др.] (Когда наша книга уже находилась в печати, вышла фундаментальная монография В. П. Григорьева о В. Хлебникове [Григорьев 1983] и ряд

работ за рубежом, которые уже не могли быть здесь учтены.). Показано, что независимо от того или иного жанрового оформления — и к тому же жанры у Хлебникова смешиваются и взаимопроникают друг друга, — содержанием его поэзии в конечном счете оказывается эпическое состояние мира, чистая взаимосвязанность и взаимосоотнесенность смыслов. Дуганов считает, что в целом к Хлебникову применима характеристика, которую дает Гегель раннефилософским поэмам античности: «Содержанием здесь является Единое, которое в противоположность всему становящемуся и ставшему, особенным и отдельным явлениям, есть нечто непреходящее и вечное. Ничто особенное уже не удовлетворяет дух, стремящийся к истине и представляющий ее мыслящему сознанию вначале в абстрактнейшем единстве и первородности» (Гегель. Эстетика. М., 1971, т. 3, с. 424) [Дуганов 1976, 439; 1974, 425]. В этом смысле поэтику Хлебникова можно назвать, так же как и поэтику символистов, «поэтикой имени».

Но по способам достижения цели (операции с текстом и языком) — это совершенно иная, синтаксическая поэтика, общая у Хлебникова и остальных футуристов. Да и в целом русский футуризм возник как антагонист символизма. Исходя из той же, что и символисты, концепции «двух языков» — обыденного и поэтического, Хлебников шел дальше и в ином направлении. В статье «Наша основа» он писал: «Слово делится на чистое и бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной

355

звездный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи. Но для небоведа солнце — такая же пылинка, как и все остальные звезды. И это простой быт, это случай (случайность, как у символистов. — Ю. С.), что мы находимся именно около данного солнца. И солнце ничем не отличается от других звезд. Отделяясь от бытового языка, самовитое (т.е. поэтическое.

по терминологии Хлебникова. — Ю. С.) слово так же отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки. Так слово «зирь» значит и звезды, и глаз; слово «зень» — и глаз, и землю. Но что общего между глазом и землей? Значит, это слово означает не человеческий глаз, не землю, населенную человеком, а что-то третье. И это третье потонуло в бытовом значении

слова, одном из возможных, но самом близком к человеку... Можно сказать, что бытовой язык — тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность» [Хлебников 1933, 229—230].

Интересно, что два языка — «чистое слово» и «бытовое слово» — Хлебников противопоставляет на философском основании, так же как противопоставляются «объективная видимость», или «кажимость» (которая может быть и иллюзией и ложью), и подлинная реальность: например, вращение солнца вокруг земли является «объективной видимостью», действительностью же — вращение земли вокруг солнца [ср., например: Спиркин 1960, 255]. А существующий язык представляется, с точки зрения Хлебникова, частным случаем возможного, а поэтому воображаемого языка, подобно тому как геометрия Евклида может рассматриваться в виде частного случая «воображаемой геометрии» Лобачевского: «И если живой и сущий в устах народных язык не может быть уподоблен доломерию Эвклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров?» [Хлебников 1940, 323].

Возможный язык в наиболее чистом виде воплощается в «языке понятий»: «...Кроме языка слов есть немой язык понятий из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым). Так, слова Италия, Таврида, Вольты (земля волков), будучи разными словесными жизнями, суть одно и то же — рассудочная жизнь, бросающая тени на поверхности наречий и государств» [Хлебников 1933, 188]. Эта идея Хлебникова очень напоминает идею Лейбница о всеобщем языке понятий (см. гл. 11,1).

Кроме такого «всеобщего», или «звездного», языка, языка разума Хлебников, вместе со всеми футуристами, разрабатывал иную форму поэтического языка — язык «заумный», или «заумь». Истоки и примеры «зауми» футуристы видели в фольклоре, в различных заклинаниях

356

и заговорах, в глоссолалии сектантов, в детских считалках. В «зауми» звук слова призван непосредственно выразить эмоцию. С помощью «зауми» Хлебников пытался, например, передать «язык птиц» (славка: *бэботэу — вевать!*; вьюрок: *тьерти — едигреди!* и т.п.).

Но Хлебников размышлял и над соединением языка разума и «зауми» и представлял себе это в таком, например, виде: «Если взять одно слово, допустим, чашка,

то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком *Ч* (*чаща, череп, чан, чулок* и т.д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением *Ч*. Сравнивая эти слова на *Ч*, мы видим, что все они значат одно тело в оболочке другого; *Ч* — значит оболочка. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке — новым искусством, у порога которого мы стоим» [Хлебников 1933, 235].

Так конкретизировались в опытах Хлебникова общие декларации и манифесты футуристов, как, например, их Предисловие к сборнику «Садок судей» (1914):

«...Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны в следующем порядке:

1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.

2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.

3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.

4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание...

8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер — живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках — всякое движение рождает свободный ритм поэту.

9. Передняя рифма (Давид Бурлюк) — средняя, обратная рифма (В. Маяковский) разработаны нами.

10. Богатство словаря поэта — его оправдание.

11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.

12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты нами.

13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.

Мы новые люди новой жизни». Подписи: Д. и Н. Бурлюки, Е. Гуро, В. Маяковский, Е. Низен, В. Хлебников, В. Лившиц, А. Крученых [Литературные манифесты 1929, 79].

Может быть, уместно будет в заключение привести одно из стихотворений С. Кирсанова из «Поэмы Поэтов» (1939—1966), в котором ощущаются традиции футуризма:

Т е б е т а н ь е

Ты боярышня моярышня
 мне щебечешь — я творярышня
 но сказала — ни за что
 не рассказывать товарищам
 убежала как змея
 или ящерица
 ты не ты и не моя
 ты не настоящерица
 ты щебечешь я тебечу
 я земляк воробичу
 птиц летящих нам навстречу
 тебетанью обучу.

В качестве формального варианта синтаксических поэтик можно рассматривать теоретическую поэтику В. Я. Проппа [подробно см.: Семиотика 1983]. В настоящее время приемы содержательных и формальных поэтик обычно совмещаются [ср.: Мелетинский 1979].

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ (МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Феноменология существует и оказывает свое влияние на философию на протяжении всего XX в. — через свое ядро, учение Э. Гуссерля (1859—1938), которое получило большую известность еще при жизни философа (его первый феноменологический труд «Логические исследования» вышел в Германии в 1900—1901 гг.); через продолжающуюся посмертную публикацию его наследия («Husserliana» в Нидерландах, с 1950 г. вышло 12 томов); через работы его учеников и последователей (например, Г. Г. Шпета в нашей стране); наконец, в виде основанных на ней самостоятельных концепций (например, М. Мерло-Понти во Франции).

Будучи, с одной стороны, весьма оригинальным философским направлением, феноменология, с другой стороны, отразила в себе целый ряд тенденций буржуазной философии — начиная от общей критики психологизма в логике начала XX в., через некоторый параллелизм с логическим позитивизмом 1920—1940-х годов [см.: Мотрошилова 1978, 280] вплоть до теснейшей связи и даже соединения с экзистенциализмом в 1940—1950-е годы. Соответственно вырисовывается положение феноменологии в философии языка: с одной стороны, она представляет собой «мост» от философии имени — через философию предиката — к философии эгоцентрических слов (на этом ее значении мы остановимся вначале); с другой стороны, она выдвигает ряд своих собственных, оригинальных тезисов относительно языка, заявляя себя даже в качестве философии языка по преимуществу. Но эта заявка феноменологии остается до сих пор только весьма интересным проектом, не цельной концепцией, а лишь совокупностью нескольких частных положений (на некоторых из них мы остановимся во вторую очередь).

1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЯЗЫКУ, В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ

Существует контраст между начальными и конечными системами взглядов Гуссерля на язык, и именно потому, что они представляют собой «мост» между двумя философскими парадигмами. В начальный

период, в четвертом из «Логических исследований» (т. II), Гуссерль выдвигает идею нового, феноменологического подхода к языку. Взамен традиционной грамматики, оперирующей абстракциями, он предлагает основываться на эйдосах языка. Под эйдосом вообще он понимает сущность объекта, но не сущность в традиционном философском смысле (как, например, в схоластике), а инвариант чувственно воспринимаемой вещи, который остается неизменным в потоке вариаций и непосредственно постигается, «усматривается» феноменологической интуицией, «усмотрением сущностей» (Wesensschau). Основанное на эйдосах описание языка будет «эйдетикой» языка, универсальной грамматикой, фиксирующей формы значения, необходимые для языка вообще. Любой отдельный, конкретный язык предстает по отношению к описанному таким образом идеальному языку как его реализация, но реализация «черновая», как «черновик» идеального языка.

С одной стороны, здесь слышны глухие отголоски идеи «двух языков» — божественного и земного, в ее самом старинном виде, как, например, она встречается у Николая Кузанского (см. гл. I, 4). С другой стороны, ясны уже новые импульсы к поискам глубинного, невыразимого начала в самом человеческом существе, начала, связанного с языком. В дальнейшем эта идея будет в разных видах повторяться у экзистенциалистов — как различие «подлинного», т.е. внутреннего; неизречаемого, и «неподлинного», внешнего языков у Хайдеггера, как различие «немого», тоже внутреннего, и словесного, внешнего языков у Мерло-Понти.

Конкретно эти соображения развиваются в упомянутом очерке Гуссерля следующим образом. Сначала, используя довольно распространенную в его время лингвистическую идею о различии самостоятельных «категорематических» и несамостоятельных «синкатегорематических» форм языка (в эпоху Гуссерля она встречается, например, у лингвиста А. Марти, но восходит еще к схоластам), Гуссерль предлагает так же различать самостоятельные и несамостоятельные значения. Например, в выражении «муж и жена» значение слов «муж», «жена» будет самостоятельным, а значение союза «и» — несамостоятельным (сам очерк называется «Различие самостоятельных и несамостоятельных значений и идея чистой грамматики»). Исходными выражениями для Гуссерля — весьма современный подход — служат предложения. В предложениях должны быть выделены чистые формы

самостоятельных значений, или «формы-примитивы» (primitive Formen), т.е. формы самого предложения, а затем выделяются формы имманентного членения предложения — формы субъекта, предиката, сочленений (компликаций) и модификаций; эти формы указывают лишь границы, пределы вариаций реальных членов, т.е. «членений», предложений [Husserl 1922, II, 329—331].

Все эти соображения Гуссерля: об инварианте языковых сущностей, постигаемом через непосредственно наблюдаемые вариации; об идеальном языке, независимом от материальной субстанции, по отношению к которому конкретные языки предстают как материализованные «черновики», и др., — весьма близки к идеям Копенгагенского лингвистического кружка, в особенности В. Брёндаля и Л. Ельмслева. Работу последнего «Пролегомены к теории языка» (1943) [Ельмслев 1960] можно даже рассматривать как осуществление замысла Гуссерля (в действительности, конечно, «исторически», Ельмслев не имел к Гуссерлю никакого отношения). Мысли Гуссерля о том, что такая «чистая грамматика» описывает некое смысловое пространство, ограниченное с одной стороны бессмыслицей (zu vermeidenden Unsinn), а с другой — противоречием (zu vermeidenden Widerspruch), предвосхищают идеи Витгенштейна и современной семиологии языка [см.: Степанов 1981, 228].

Вполне оригинальным у Гуссерля в этот период было соответствующее его проекту представление о том, что язык является объектом сознания, и, значит, в мышлении язык выполняет роль подсобного средства памяти и общения.

По контрасту с этими начальными взглядами в последних работах Гуссерля, в частности в «Формальной и трансцендентальной логике», язык предстает как способ видения объектов, как «тело мысли». Эти идеи окажутся впоследствии очень близкими — возможно, источником — к тезису экзистенциалиста Хайдеггера «язык — дом бытия» (иногда Хайдеггер говорит: «язык — дом бытия духа»). Но сам Гуссерль развивает их в этот период в другом направлении, в том именно, к которому шла вся философия языка: он стремится разработать понятие «интерсубъективности» — понятие межличностных отношений и межличностного общения — как основе личности и как основе «Эго», которое дано в языке. В последний период феноменология языка определяется уже не как «эйдетика» языка, в рамках которой каждый конкретный язык должен быть осмыслен в качестве реализации идеального универсального языка, а как

выяснение отношений языка к говорящему субъекту, как «мой контакт с языком, на котором я говорю» [Merleau-Ponty 1965, 84]. Но это уже проблематика новой парадигмы — философии эгоцентрических слов.

В языке, утверждают феноменологи, как бы непосредственно даны все главные понятия и темы феноменологии; язык сам по себе уже есть «наивная предпосылка феноменологии» [Hülsmann 1964, 16]. Эта мысль оформилась уже в первых работах Гуссерля и не переставала интересоваться его до конца. Ее разделял и Мерло-Понти: «Проблема языка, явным образом и более чем всякая другая, заставляет нас задуматься над отношениями феноменологии и философии, или метафизики. Яснее, чем

всякая другая, эта проблема предстает одновременно как специальная и как содержащая в себе все другие, включая саму проблему философии» [Merleau-Ponty 1965, 102].

Попытки феноменологии заменить специальными научными вопросами общефилософские проблемы и в конечном счете занять место самой философии несостоятельны (так же, как и аналогичные попытки неопозитивизма). Даже в буржуазной философии феноменология осталась всего лишь одним из течений. Тем более ясна несостоятельность этих претензий в свете марксизма (см. Предисловие). Что касается самих специальных понятий феноменологии языка, то они имеют объективный источник и как семиотические вопросы заслуживают рассмотрения.

П о н я т и е и н т е н ц и о н а л ь н о с т и и е г о я з ы к о в ы е п а р а л л е л и .
Источником является понятие схоластики «intentio» ‘напряжение, устремление сознания, внимание’. Схоласты различали «первые интенции» — устремление сознания на предмет, а в них «первые формальные интенции» — сам акт устремления сознания и «первые объективные» — предмет сознания, и «вторые интенции» — устремление сознания на акт мысли, т.е. на «первые интенции»; в свою очередь и «вторые интенции» разделялись на формальные, интенции акта, и объективные, интенции мысленного предмета этого акта — мысль об акте мысли, мысль об объекте мысли, способность к мысли об объекте, определения объекта мысли в логическом отношении.

Немецкий психолог Ф. Brentano («Психология с эмпирической точки зрения», 1874) заимствовал это схоластическое понятие, развил его следующим образом. По Brentano, каждое душевное явление имеет свой предмет, но относится к нему неодинаковым образом: в представлении что-нибудь представляется, в утверждении —

утверждается, в отрицательном суждении отрицается, в любви любимо, в ненависти ненавидимо и т.д. Эта общая особенность разных душевных актов названа у него «интенциональным существованием предмета» (внутри душевного акта).

Беря за основу понятие Brentano, Гуссерль считает особенно важным то, что отношение сознания к предмету может принимать различный вид, зависящий уже не от предмета, а от типа сознания: воспринимать, судить (формировать суждение), ненавидеть, любить и т.д. можно один и тот же объект, который, однако, в этих отношениях становится разными предметами. Такие типы сознания можно различить в пределах самого сознания. Они называются общим термином «интенциональность» и различаются как ее виды, или модусы. Первый перечень их, разумеется под другим названием, дал Декарт (см. гл. II, 1). С лингвистической точки зрения можно сказать, что Гуссерль под этим названием по существу ввел «субъективные модусы значения», которые составляют некоторый аналог «объективным модусам значения». Последние, под названием «модусы значения», хотя и введенные еще схо-

ластами (у них — *modi significandi*), в контексте современной логики были описаны гораздо позже этой работы Гуссерля К. И. Льюисом в 1943 г. (см. гл. VI, 2).

Интересен, в частности, особый класс языковых выражений, где «модусы интенциональности» являются основным содержанием и специфически выражаются только формами этого класса. Речь идет о предикатах «состояния». Под термином «состояние», достаточно неопределенным, понимаются разные выражения, но мы имеем в виду предикаты «состояния», соотносимые только с субъектом «Я». В русском языке они выражаются формами особого предикативного слова (предикатива, который называется иногда тоже «категорией состояния»): *Мне холодно, жарко, весело, радостно, грустно, жалко, необходимо, боязно, тревожно*, а также *спится, думается, кажется, приходится* и т.п. В других языках им соответствуют иные, но в большинстве случаев также особые формы. Мне холодно должно быть описано как «Я ощущаю холод», но с той оговоркой, что «ощущаю» и «холод» здесь не даны раздельно. Поэтому аналитическое описание «Я ощущаю холод», как и англ. *I feel cold* (а ведь есть простое *I am cold*), — это лишь приближенное описание. Смысл простого выражения *Мне холодно*, как и англ. *I am cold*, франц. *J'ai froid* и т.п., нельзя свести целиком к аналитической записи. В этом и заключается важность понятия Brentano. Но Brentano в

отличие от Гуссерля, кажется, не говорит о связи таких языковых выражений с 1-м лицом, с «Я» говорящего. А в этом существе дела.

Выражения типа *Ивану холодно* совсем не могут быть описаны аналогично *Мне холодно*. Поскольку говорит об этом не Иван, а я, то аналитическое описание принимает здесь вид: «Я считаю, что + Иван ощущает холод», а это, очевидно, совсем не то же самое, что «Я ощущаю холод». Последнее в конечном счете, для выяснения симметрии двух описаний, можно представить как «Я считаю, что + Я ощущаю холод», но «Я считаю, что я ощущаю...» сливается в один акт сознания, в то время как «Я считаю, что Иван ощущает...», разумеется, не сливается.

Очевидно, что проблема интенциональных актов моментально подводит нас к проблеме описания модальностей типа «Иван считает, что...» Последние под именем «пропозициональных установок» стали одним из основных пунктов современной философской картины языка (см. о них гл. IV, 3 и гл. VI, 2). Однако в этом новом повороте темы феноменологическое различие двух типов выражений, и не только выражений, а значений и смыслов, было потеряно. А между тем Гуссерль выразил его довольно точно: психическое не познается восприятием как нечто внешнее по отношению к познавательному акту, оно переживается и в то же время есть это переживание. «Психическое не есть познаваемое в опыте, как являющееся: оно есть «переживание», в рефлексии сознательно усвояемое переживание» [Гуссерль 1911, 26]; «В психической сфере,

другими словами, нет никакого различия между явлением и бытием» [там же, с. 25].

Читателям, которые сомневаются в этом, предлагаем следующий вопрос: если Вы, читатель, боитесь чего-либо, то есть ли для Вас разница между «Я боюсь» и «Я считаю, что боюсь»? А если Вы влюблены, то что это — «Я влюблен» или «Я считаю, что влюблен»? Хотя, может быть, в последнем случае какая-то разница есть.

П о н я т и е з н а ч е н и я. Не только языковое высказывание, утверждает Гуссерль, но и любое познавательное «переживание» (восприятие, представление предмета) включает в себе «значение», «смысл». Значение определяется тем, что в «переживании» заключено отношение к предмету. Собственно говоря, это утверждение Гуссерля не является в полном смысле его открытием: одновременно с ним то же стали утверждать биологи и этологи (специалисты по поведению животных), изучавшие

восприятие у животных, например немецкий биолог Я. фон Иксюль в работе «Внешний и внутренний мир животных» (1909). Мы также считаем, что восприятие предмета как значения есть один из главных семиотических законов вообще [см.: Степанов 1971, 27 и след.; там же об Иксюле].

Но специфически гуссерлевское понимание, относящееся только к человеку, может быть проиллюстрировано интересной психологической параллелью У. Найссера. Сама постановка вопроса о представлении о предмете, пишет американский автор, по-видимому, независимо от Гуссерля, «предполагает, что функция восприятия состоит в том, чтобы информировать нас о вещах как о просто объектах: т.е. как о географически и физически определенных скоплениях вещества, которые остаются таковыми независимо от того, смотрим мы на них или нет. (Нам кажется, что такова точка зрения Рассела, когда он рассуждает о понятии «вещь». — Ю. С.) Это правда, но далеко еще не вся правда. В нормальном окружении большинство доступных восприятию объектов и событий обладают значением. Они предоставляют разнообразные возможности для действия... Эти значения могут восприниматься и действительно воспринимаются. Мы видим, что данное выражение лица представляет собой циничную усмешку, или что предмет на столе — ручка, или что вон там под надписью «Выход» есть дверь... Этот аспект восприятия долго был теоретическим камнем преткновения для психологии. Казалось очевидным, что стимулы сами по себе не могут иметь значения, поскольку они не более чем конфигурации света, звука или давления. Значение, должно быть, привносится воспринимающим после того, как он зарегистрировал стимулы...» [Найссер 1981, 90]. Далее Найссер опровергает эту точку зрения: «Инвариантные характеристики светового потока специфицируют, что пол позволяет ходить по нему, ручка дает возможность писать и т.д. Эти аспекты структуры оптического потока отличаются от тех, которые специфицируют положение, форму или дви-

жение, но они не менее объективны и никоим образом не являются производными от других. Трудность, связанная с этим определением, состоит в том, что предоставляемые объектом возможности — или, иначе, его значение — зависят от того, кто его воспринимает» [там же, с. 90—92] (показательно само название главы — «Значение и категоризация»).

В связи с понятием значения стоит еще одно важное феноменологическое понятие — понятие «жизненного мира» (Lebenswelt). Поскольку в результате феноменологической интенциональности и объективации возникает не реальный, объективный предмет, а «феномен предмета» с его «значением» для сознания, постольку и мир в целом как объект феноменологии складывается из таких «феноменов предметов». Таким образом, мир в феноменологии раскрывается как особый «жизненный мир», мир, складывающийся из мнений о мире, — *doxa*.

Тем самым Гуссерль со своей стороны создал аналог того, о чем в ту же эпоху стали говорить лингвисты различных ориентаций — от последователей Гумбольдта и Вейсгербера, неогумбольдтианцев, в Германии до Уорфа и Сепира в США: о «промежуточном мире» (Zwischenwelt), который складывается из значений языка и стоит между сознанием человека и объективным миром.

П о н я т и я и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т и, «Эго» и «alter Ego». Это, пожалуй, наиболее яркое и оригинальное нововведение Гуссерля. Оно прямо превосхищает современную парадигму философии языка — парадигму «эгоцентрических частиц» (в то время как, например, в понятии интенциональности, как мы видели выше, темы новой парадигмы вскрываются лишь при внимательном анализе).

На протяжении ряда работ Гуссерль ставил своей задачей феноменологически обосновать категорию «Я» («Эго») и категорию «alter Ego» («Я» другого) — начиная с лекций «Идея феноменологии» 1907 г., затем особенно в «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической философии» (т. 1) 1913 г. и, наконец, в «Картезианских размышлениях» 1931 г. Принимая за исходную точку декартовский принцип «Я» как мыслящей субстанции, Гуссерль подвергает категорию «Я» последовательной, поэтапной феноменологической редукции. Первый этап — «эйдетическая редукция»: все реальные образования сознания «берутся в скобки», феноменолог воздерживается от всяких суждений о реальном мире, фиксируя интенциональность на сознании как таковом; мир предстает теперь не как существующий, а как «феномен существования». При этом «Я» как участник мира переживаю свое отношение к миру, но отключаюсь от него, «беру в скобки», и тем самым мое конкретное «Я» также редуцировано. Этот этап редукции называется также

греческим термином «эпохе» (ἐποχή 'задержка, приостановка; воздержание от суждения').

Однако остается другой слой «Я», другое «Я», то именно, которое совершает редукцию, которое воздерживается и т.д., — это «чистое Я».

365

Таким образом «эпохе» выступает как универсальный метод восхождения к «чистому Я». Обработка «чистого Я» составляет второй этап — собственно феноменологическую, или «трансцендентальную, редукцию». Благодаря ей «чистое Я» предстает как очевидное само для себя, как необходимо существующее («аподиктическое»). Однако эта процедура гарантирует лишь уверенность (необходимость в существовании «Я», но не определяет его содержания. Смещение этих двух понятий Гуссерль ставит в вину Декарту: действительно, у Декарта «Я» определялось как «мыслящая вещь», «мыслящая субстанция» (res cogitans). Что касается «чистого Я» Гуссерля, то оно не вещь, оно не дано само себе так, как ему даны вещи.

На этом основании Гуссерль переходит к феноменологическому обоснованию «другого Я» («alter Ego»). «Я» других людей не даны моему сознанию подобно вещам: «другое Я» есть «Я» для него самого, и его единство с точки зрения феноменологии обосновывается не в моем сознании, как это происходит при представлении вещи, а в нем самом, в этом «другом Я». Иными словами, «другое Я» — также «чистое Я», которое не нуждается ни в чем для того, чтобы существовать; оно так же абсолютно существует, как существует «мое Я» для меня.

Это абсолютное существование «других Я», подобных «моему Я», даст впоследствии Сартру пессимистическую экзистенциалистскую тему его романов и философских сочинений. Но Гуссерля занимает другая проблема: как возможно обоснование «других Я» на тех же принципах, что и «моего чистого Я»?

Решить эту проблему до конца Гуссерлю не удалось. Критики справедливо отмечали, что для этого Гуссерлю пришлось бы, следуя собственным предпосылкам, признать некую сферу чистой «интерсубъективности», или некоего «абсолютного Эго», по отношению к которому «мое Я» и «другое Я» были бы равными частными случаями [Lyotard 1967, 36]. На наш взгляд, понимание «сферы прагматики» у Р. Карнапа, в его концепции формализованного языка, — это довольно полный формальный аналог «сферы чистой интерсубъективности» (см. гл. VI, 2). Гуссерль не пошел по этому пути,

он тяготеет к субъективному идеализму, пытаясь разрешить проблему исходя из категории «моего чистого Я».

Феноменологи последующего периода, особенно М. Мерло-Понти (а также психологи П. Гийом, А. Валлон и др.), распознали в этом тезисе языковые основания и развивали его именно в этом направлении, как, например, Мерло-Понти в курсе лекций «Отношения к другому у ребенка» 1950—1951 гг. (опубликовано позднее: «Bulletin de Psychologie», ноябрь 1964 г.).

В чем объективный языковой аналог понятия интерсубъективности Гуссерля? Думается, на этот вопрос можно ответить так: в наличии в языке Эгоцентрических частиц — слов «Я», «здесь», «сейчас», «это» — и в возможности каждого человека принимать их на свой счет в каждом

366

акте производства речи. Любой человек, обозначаемый в каких-то актах речи как «ты», «он» и т.д., в своих собственных актах неизменно выступает как «Я», и от этой точки соотнесения отсчитываются значения «здесь», «сейчас», «это» и все подобные (см. также гл. VI, 1).

П о н я т и е «п р о з р а ч н о с т и з н а к а». В самом простом случае это понятие разъясняется рассматриванием картины. В первое мгновение мы отдаем себе отчет, что перед нами полотно с нанесенными на нем цветными пятнами. Но вслед за тем мы начинаем видеть деревья, небо, людей, и притом не фигурки размером, скажем, с палец, каковыми они являются, будучи цветовыми пятнами, а людей нормального роста, среди нормальных деревьев и т.д. Материальная плоскость картины, пропустив наш взгляд сквозь себя, стала как бы «прозрачной».

Разумеется, наш взгляд может задержаться на ней именно как на плоскости полотна с цветными мазками, различая толщину слоя краски, следы кисти, следы отдельных ее волосков, направление мазка и т.п., но в этот самый момент мы перестаем видеть пейзаж и людей. Мы снова узрим их, перестав сосредоточивать свое внимание на материале. Это другая черта свойства «прозрачности»: мы воспринимаем содержание картины — и смысл знака, — только переставая воспринимать саму материю картины или сам знак.

Идея «прозрачности знака» возникает у Гуссерля по разным поводам, в разных воплощениях, применительно к разным явлениям психической и телесной жизни; в этом

смысле сам термин «прозрачность знака» является условным обозначением, поскольку за ним стоит особенность не только знака, но и многого другого. В сущности, Гуссерль открыл в таком виде один из общих законов психики. Так, еще во 2-м томе «Логических исследований» он отмечал: «...когда воспринимается внешний предмет (дом), то наличные в этом восприятии ощущения не воспринимаются, а переживаются... Если же затем мы обратим внимание на эти содержания (т.е. ощущения)... и возьмем их просто так, как они суть, то, разумеется, мы их воспримем, но не воспримем при этом через их посредство внешнего предмета» [Яковенко 1913, 144].

В учении об интересубъективности, развитом позднее, также присутствует понятие прозрачности, но оно относится тут не к знаку и не к восприятию предмета, а к переживанию моего «Я». В отличие от переживания предмета и от знака — но именно по аналогии с ними — «Я» оказывается «непрозрачным», и только благодаря этому качеству Гуссерлю удастся объяснить, каким образом возможно постижение «другого Я» как отличного от предмета. Для того чтобы постичь «другое Я» не как вещь, а именно как «Я» другого человека, я должен спроецировать в него свои феноменологические переживания, свойственные «моему Я» как субъекту; но сами эти переживания я не могу переживать так, как переживаются вещи, ибо я их не могу наблюдать со стороны. Таким образом, если переживания вещей, как мы только что видели на

367

примере с домом, являются «прозрачными», подобно знакам и картинам, то переживания моего «Я» самим мною не пропускают мою феноменологическую интенцию сквозь себя вовне, задерживают ее в себе, они «непрозрачны».

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что феноменология Гуссерля послужила «мостом» к новой парадигме философии языка и, не создав цельной концепции языка, снабдила новую парадигму несколькими важными для нее и тонко обработанными понятиями.

2. М. МЕРЛО-ПОНТИ И ФРАНЦУЗСКИЕ СЕМИОЛОГИ

1950—1960-х ГОДОВ

Полнее, чем у самого Гуссерля, родоначальника феноменологии, «конечные взгляды» на язык выражены у французского философа Мориса Мерло-Понти (1908—

1961). Мерло-Понти был «экзистенциальным феноменологом», и его концепция представляет собой попытку соединения феноменологии и экзистенциализма. Кроме того, как отметила Н. А. Слюсарева [1975, 165], немаловажна и третья компонента его концепции — стремление отойти от неопозитивистского формализованного анализа языка, объектом которого был язык науки, и обратить главное внимание на речь как на выражение глубинного индивидуального бытия человека. Проблемы языка трактуются Мерло-Понти в ряде статей, представленных в сборниках «Похвала философии» («Eloge de la philosophie et autres essais», 1965) и «Знаки» («Signes», 1960). Более подробно остановимся на очерке «О феноменологии языка» («Sur la phénoménologie du langage», 1951), включенного в оба сборника [далее цит. по: Merleau-Ponty 1965].

Мерло-Понти начинает с известного тезиса швейцарской и французской лингвистических школ о «дихотомиях» языка, сформулированного Ф. де Соссюром: язык как система, или код (langue), противопоставляется языку в действии, речи (parole), а существование языка во времени, диахрония, противопоставляется существованию языка в каждый данный момент, синхронии. Если, говорит Мерло-Понти, понимать феноменологию как психологию речи, то она внесла бы во взгляды на язык ничтожный вклад, не более существенный, чем психология обучения математике вносит в математику. Однако дело обстоит не так. Феноменология языка противопоставляется как диалектика «объективной науке о языке» в целом. На основе такого понимания феноменологии Мерло-Понти отрицает дихотомии де Соссюра. И это следует признать правильным.

В диахронии, справедливо утверждает Мерло-Понти, система языка не движется и не развивается глобально, в целом: в ней имеются зоны напряжения, устойчивости и зоны слабой устойчивости, последние и изменяются в первую очередь. В синхронии языка система также не

368

существует глобально, именно как система; в ней имеются зоны меньшей системности, лакуны, которые и подвергаются изменениям во времени, в диахронии, в первую очередь. Диахрония и синхрония не противопоставлены так, как это полагал де Соссюр. (Эти идеи неоднократно демонстрировались в теоретической лингвистике [см., например, кн.: Бенвенист 1974, 419, а также наш комментарий к ней].)

С устранением принципа дихотомий теряет смысл, по мнению Мерло-Понти, — с чем нельзя согласиться — и понятие универсального идеального языка; формы языка оказываются определяемыми не их идеальными соотношениями друг с другом, а лишь их способом употребления.

Как полагал Мерло-Понти, на этой основе (а в действительности помимо нее, ибо иначе они не могли бы быть верными), он формулирует целый ряд новых положений. Так, за 20 лет до Н. Хомского Мерло-Понти со всей ясностью утверждает тезис об усвоении языка ребенком: «Речевая потенция (*la puissance parlante*), которую ребенок приобретает с усвоением языка, не является суммой морфологических, синтаксических и лексических знаний: эти знания не являются ни необходимыми, ни достаточными для овладения языком, и акт речи, когда человек им овладел, не предполагает никакого сравнения между тем, что я хочу выразить, и понятийной организацией средств выражения, которые я использую. Когда я говорю, то слова и обороты, необходимые для того, чтобы завершить выражением мое смысловое намерение (мою сигнификативную интенцию), возникают у меня лишь в силу того, что Гумбольдт назвал «внутренней формой языка» (а [некоторые. — Ю. С.] современные исследователи называют *Wortbegriff* [‘словесное понятие’]), т.е. в силу некоторого стиля речепроизводства, к которому они относятся и в соответствии с которым организуются, причем так, что у меня не возникает необходимости представлять их себе. Существует некая «общезыковая сигнификация» (*une signification “langagière”*), присущая языку в целом, которая осуществляет посредничество между моим намерением, пока еще немым, и словами, и осуществляет его так, что высказанные слова могут удивить меня самого и раскрыть мне мою собственную мысль. Организованные знаки обладают собственным имманентным смыслом, который подчинен не принципу «я мыслю», а принципу «я могу». Это действие на расстоянии, присущее языку... является ярким случаем телесной интенциональности» [Merleau-Ponty 1965, 92].

Но если это так, то телесность и постоянство языковых знаков оказываются лишь видимостью, а их значение не раз и навсегда присуще им, а есть нечто, на что они лишь намекают, что никогда не содержится в них целиком и что я, говоря, постоянно «оставляю позади» (это положение окажется в центре внимания французских семиотиков 20 лет спустя).

Итак, «тематизация означаемого в языковом знаке не предшествует акту речи, а является его результатом» [там же, с. 96]. Мерло-Понти

дает прекрасную иллюстрацию: мы начинаем читать какого-нибудь философа, придавая его словам «обычный» смысл, но мало-помалу происходит незаметный сперва перевернутый, воспринимаемая нами речь начинает овладевать стоящим над нею языком, и употребляемые в ней слова приобретают новый смысл; с этой минуты мы поняли философа, а значения его слов утвердились в нас. «Я овладел значением, когда мне удалось внедрить его в аппарат речи, первоначально не предназначенный для него» [там же, с. 99]. «Освобожденный наконец от потуг речевого исполнения (*Vollzug*), его продукт (*Nachvollzug*) образует осадок (*sédimentation*), и я могу мыслить дальше него» [с. 100]. Положение о «семантическом осадке» — одно из самых оригинальных в концепции Мерло-Понти.

В очерке «Косвенный язык и голоса молчания» («*Le langage indirect et les voix du silence*», 1952 г. [цит. по кн.: Merleau-Ponty 1960]) Мерло-Понти развивает некоторые идеи предыдущего очерка. Он начинает как бы с опровержения «поисков референта», которым предавались неопозитивисты. «Говорить, — утверждает Мерло-Понти, — это не значит подставлять слово к каждой вещи. Если бы это было так, то никогда ничего не было бы сказано; мы не имели бы чувства жизни в языке и пребывали бы в молчании, знак исчезал бы перед лицом смысла, и мысль встречалась бы лишь с мыслью: то, что мысль хотела бы найти в выражении, и то, что ее выражает, было бы явным и эксплицитным. Напротив, часто у нас возникает такое чувство, что, говоря, высказывая мысль, мы не замещаем ее вербальными указателями, а что она воплощается («становится телом») в словах в целом» [там же, с. 55].

Мерло-Понти предлагает различать эмпирическое использование языка и созидательное, причем первое есть лишь результат второго. Созидательная речь — это подлинная речь (ср. понятие «подлинного» языка, соответствующего подлинному существованию человека, его «экзистенции», у Хайдеггера; оба философа противопоставляют «подлинный» и «неподлинный» язык). Подлинная речь свободна от смысла, заключенного по отдельности в словах, по существу подлинная речь есть молчание. Если подлинная речь — молчание и обозначает нечто в предметном мире или

в мысли, вещь или понятие, то это лишь ее вторичная возможность, производная от ее внутренней жизни [там же, с. 56].

Поэтому создатель речи, писатель, и художник-живописец в существе своей деятельности подобны друг другу. Писатель не ищет знака для готового значения, «язык ошупью пробирается вокруг интенции обозначения» [там же, с. 58]. Все это, естественно, ведет к тому, чтобы рассматривать «живопись как язык» [там же, с. 94]. В заключение Мерло-Понти высказывал одним из первых соображения о том, что и политическая мысль — это тоже в некотором смысле язык, подобно тому как языком можно считать живопись.

Тезисы «экзистенциальной феноменологии языка» Мерло-Понти оказались философским воплощением тех идей, которые, правда в иной

370

форме, тревожили умы французских литературных критиков, публицистов, искусствоведов, деятелей театра; вскоре эта иная форма получила название «семиологии», или, иначе, «семиотики».

Через два года после цитированного очерка Мерло-Понти литературный и художественный критик Р. Барт опубликовал эссе «Нулевая степень письма» («Le degré zéro de l'écriture»), которая стала первой работой по семиотике во Франции. Рассматривая различные языки художественной литературы — язык классицизма, язык романтизма, язык критического реализма, а также языки политики (он называет каждый такой язык «письмом»), Барт основывался на тех же идеях, что и Мерло-Понти, и многие его термины — те же самые.

Согласно Барту, идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма — классического и романтического. Но вот около 1850 г., после поражения революции 1848 г., происходит перелом, «писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания... Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся (французская. — Ю. С.) Литература — от Флобера до наших дней — превратилась в одну сплошную проблематику слова» [Барт 1983, 307]. «Литература воспринимается отныне не в качестве социально привилегированного способа общения, но в качестве оплотненного, углубленного слова, исполненного таинственности, ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно.

...Весь девятнадцатый век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы (ср. понятие «осадка» у Мерло-Понти. — Ю. С.). У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение (то же понятие. — Ю. С.), почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлеклось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флобер (мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса), создавший рабочую стоимость письма, окончательно превратил Литературу в объект: форма стала конечным продуктом «производства», подобно горшку или ювелирному изделию (это значит, что сам акт производства был «означен», иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей). И наконец, этот процесс конструирования Литературы-Объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию, — убийством: известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать Литература» (перевод Г. К. Косикова) [там же, с. 308].

Один из разделов книги Барта, «Письмо и молчание», под тем же названием «молчание», что и у Мерло-Понти, трактует вопрос о разрушении традиционного литературного языка у писателей-модернистов, таких, как Рембо и Малларме (и, прибавим мы, как Хлебников).

371

Дальнейшие перипетии этих идей, как удаchi, так и крушения, довольно широко обсуждались и обсуждаются в нашей литературе, к которой мы и отсылаем читателя [прежде всего к кн.: Семиотика 1983, где опубликован в переводе и названный очерк Р. Барта].

Нам важно здесь подчеркнуть, что упомянутые выше идеи переключили внимание философов языка с языка науки и обыденной жизни на язык художественной литературы. Эти идеи требовали естественного развития в сфере поэтики.

3. ПОЭТИКА ФЕНОМЕНОЛОГИИ. Р. ИНГАРДЕН

Мы имеем в виду не поэтику и художественное творчество, которые соответствуют феноменологическому восприятию мира, — примеров такого рода, иногда блестящих, можно найти очень много в зарубежной литературе и изобразительном искусстве (например, в знаменитом романе М. Пруста), — а только поэтику, которая прямо и

непосредственно отвечает феноменологическим понятиям о языке. А это очень небольшая область поэтики. К ней мы относим — а может быть, только они ее и образуют — работы польского феноменолога Романа Ингардена (1893—1970). В русском переводе они составили книгу «Исследования по эстетике» [Ингарден 1962].

Главное положение Ингардена — многослойность художественного произведения, как словесного, так и живописного и музыкального: а) то или иное языковое образование, в первую очередь звучание слова; б) значение слова или смысл какой-либо языковой единицы высшего яруса — предложения, абзаца; в) то, о чем говорится в произведении, — предмет, изображенный в нем в целом или в отдельной его части; г) тот или иной вид, в котором зримо (если идет речь о словесном произведении или о живописи) предстает перед нами предмет изображения [там же, с. 24]; в музыкальном произведении различаются слуховой предмет и слуховой вид [там же, с. 413].

Словесное произведение, отличаясь этим от живописного, разворачивается в двух измерениях: в одном измерении мы имеем дело с последовательностью сменяющих друг друга частей, фаз (назовем это аналогом синтагматики), а в другом — с множеством названных выше компонентов, выступающих совместно (назовем это аналогом парадигматики и отчасти семантики) [там же, с. 23]. Различение двух измерений и позволяет отнести поэтику Ингардена к типу «синтагматических поэтик», к которому принадлежит и русский формализм (однако сам Ингарден довольно резко противопоставляет свою поэтику формальной).

Наиболее оригинальной частью концепции Ингардена является понятие о «видах», соответствующее гуссерлевскому эйдосу. Говоря, например, о картине, Ингарден отмечает, что через группировку вещей в

пространстве картины группируются также и виды, в которых данные вещи выступают, и группирование видов тоже принадлежит композиции картины. «То же самое лицо», например, в одном сокращении (виде) может казаться «прекрасным», в другом — «отталкивающим»; в одном — «близким», в другом — «незнакомым».

Сходные мысли в рамках несравненно более яркой и органичной концепции искусства, ибо ее автором был не теоретик, а художник, творец, выражены М. Прустом (см. гл. VI, 4.4).

ГЛАВА VI ПРАГМАТИЧЕСКАЯ (ДЕКТИЧЕСКАЯ) ПАРАДИГМА (ФИЛОСОФИЯ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Новая парадигма философии языка характеризуется по сравнению с предыдущими двумя радикальными отличиями: 1) весь язык соотносится с субъектом, который его использует, — с «Я»; 2) все основные понятия, используемые для описания языка, релятивизируются: имена, предикаты, предложения — все рассматривается теперь как функции (хотя, конечно, разного рода). Первое возникает первоначально в гуманитарных сферах, второе — в логике, но в сущности это лишь две стороны одного и того же.

Однако это сильно затрудняет называние новой парадигмы. Конечно, ее можно было бы назвать «философией лингвистических функций», и это было бы достаточно точно. Но возражения заключаются в другом. Из трех выделенных нами парадигм первая, «философия имени», имеет самоназвание, которое мы и использовали. Вторая, «философия предиката», хотя это и не является ее самоназванием, была названа нами так в силу логики именования, заданной уже философией имени, — называть философию языка по тому основному понятию самого языка, которое считается в ней определяющим. Следуя этой же логике, новую парадигму надо было бы назвать «философией “Я”», но это влекло бы ассоциации с некоторыми системами идеализма. Не отступая от принятого принципа, можно назвать ее, идя от всего того класса слов языка, который включает в себя слово «Я» и лежит в основании новой парадигмы, а это — класс эгоцентрических слов. Остановимся на этом названии — «философия эгоцентрических слов».

Если философия имени может рассматриваться как пик семантики, а философия предиката — как пик синтактики, то новая парадигма стала пиком прагматики. Термин «прагматика», однако, далеко не самый удачный для обозначения всей той сферы, которая при этом имеется в виду. Поэтому нам придется заменить его иным и обосновать эту замену (в разделе 0.1). До тех пор (а иногда и после того, параллельно) мы будем продолжать употреблять термин «прагматика».

Эгоцентрические слова — это слова, ориентированные на «Эго», на говорящего субъекта: прежде всего «Я» и далее все, основанные на «Я», — «здесь», «сейчас», «это» и др.

Философия имени вообще игнорировала их существование; философия предиката, отметив и даже дав им — термином Рассела — точное название «эгоцентрические частицы», отмахнулась от порождаемой ими проблемы. Сам Рассел ошибочно полагал, что все эгоцентрические слова могут быть определены через слово «это» (в действительности оно далеко не элементарное слово, комбинирующее в себе указание на внешний объект и отсылку к «Я»), и еще более ошибочно заключал: «... сказанное показывает, что эти слова не являются необходимыми ни в какой части описания мира, будь то мир физический или мир психологический» [Russell 1980, 115].

Новая парадигма, напротив, поставила в центр внимания координату «Я», рассматривая ее как необходимую основу для всего остального. На координате «Я» зиждется анализ более общего и столь же важного для этой парадигмы понятия субъекта.

Само слово «субъект» имеет, как известно, два основных значения: во-первых, «познающий и действующий человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания и преобразования»; во-вторых, «подлежащее, субъект предложения». В семиологии литературы и искусства мы имеем дело прежде всего с первым: сам писатель — субъект творчества именно в этом смысле слова; в семиологии и философии языка — прежде всего со вторым: конкретный лингвистический анализ — это прежде всего анализ субъектно-предикатного строения высказывания. Пропасть между первым и вторым кажется огромной и труднозаполнимой. Однако проблема субъекта в современной философии языка характеризуется как раз стремлением преодолеть этот разрыв. Ниже мы в общих чертах попытаемся показать, как к точке соединения двух понятий субъекта семиологи шли двумя путями: от художественной литературы, с одной стороны, и от лингвистического анализа высказывания — с другой. Мы попытаемся также, хотя бы самыми общими штрихами, обрисовать обстановку этих поисков — духовную атмосферу эпохи.

Говоря, что движение началось от художественной литературы, а не от «анализа художественной литературы», мы не допустили оговорки. Напротив, мы хотели еще раз

подчеркнуть наш постоянный тезис: в семиологии искусства новое течение начинается не с новой теории и даже не с нового анализа старых фактов, а с появления нового в самом искусстве. Новое искусство предшествует новой семиологии. Новое искусство рождает своих семиологов.

Одна из основных линий новой, прагматической интерпретации высказывания — это «расслоение» «Я» говорящего на «Я» как подлежащее предложения, «Я» как субъект речи, наконец, на «Я» как внутреннее «Эго», которое контролирует самого, субъекта. И параллельно

этому расслаивается сама прагматика: на элементарную часть — «локацию» «Я» в пространстве и времени, на более сложную часть — «локацию» «Я» (уже «Я» усложненного как субъект речи) в отношении к акту говорения, наконец, на «локацию» высших порядков (которые уже и не должны называться просто локацией) — отношение говорящего «Я» к его внутреннему «Эго», которое знает цели говорящего и его намерения лгать или говорить правду и т.д. Но где истоки этой идеи? Они в искусстве.

Европейская литература нового времени (как мы видели выше на примере Ибсена, Достоевского и Кьеркегора в гл. IV) и в особенности европейский роман последовательно двигались к расслоению авторского «Я» на героя, на рассказчика о герое, на автора — повествователя о рассказчике и иногда еще далее. В знаменитом романе Пруста это движение достигло, пожалуй, кульминации — роман Пруста стал повествованием только об одном, внутреннем «Я» автора, которое даже не всегда сливается с тем «Я», которое воплощено в его теле. «Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне? Когда я видел какой-либо внешний предмет, то сознание, что я его вижу, как бы вставало между мной и им, окружало его тонкой духовной оболочкой, навсегда лишавшей меня возможности прямо прикоснуться к его материи; эта материя как бы тотчас испарялась, прежде чем я вступал с ней в контакт, подобно тому как раскаленное тело, которое приближают к влажной поверхности, никогда не может коснуться самой влаги, потому что между ними все время пролегает зона испарения» (M. Proust. *A la recherche du temps perdu*. Т. 1. *Du côté de chez Swann*, I, 11).

Как мы уже отметили, расслоение «локаций», в частности во времени, протекает параллельно расслоению «Я», и не случайно роман Пруста «В поисках утраченного времени» — это и повествование о различных и вместе с тем сосуществующих пластах времени — настоящего, настоящего мгновением раньше, настоящего чуть более отдаленного, прошедшего близкого, прошедшего отдаленного, наконец, прошедшего, утраченного навсегда. Но как только мы вступили в область «расслаивающегося времени», сразу можно обнаружить параллели этой идеи времени у Т. Манна («Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья»), в рассказах Ф. Кафки.

Вернемся, однако, к «различным “Я”». Здесь Пруст в своем художественном анализе проделал то же, что в это же время в своей философской системе произвел Гуссерль под названием процедуры «редукции», или «эпохе». В «Руководящих идеях к чистой феноменологии» (1913) и в «Картезианских размышлениях» (1931) Гуссерль утверждает, что даже в непосредственных аксиомах познания, таких, как «Я мыслю, следовательно, я существую» Декарта, в действительности имеется по крайней мере два субъекта, два «Я». Одно — то, которое мыслит, или,

376

как у Пруста, воспринимает мир, — «эмпирическое», «конкретное» «Я». Другое — то, которое как бы заставляет сказать «Я мыслю» или «Я воспринимаю мир». Первое, эмпирическое «Я» само принадлежит миру и, по Гуссерлю, должно быть устранено из теоретического рассуждения. Тогда и произойдет «феноменологическая редукция», совершится «эпохе», а оставшееся, «второе» «Я» послужит надежной основой философского анализа (см. гл. V, 1).

Интересные свидетельства о своем художественном процессе оставил М. Пришвин:

«Первый мой читатель — это я сам; когда проходит сколько-то времени, и я же делаюсь своим собственным судьей. Не раз случалось, что первый я, написавший в «самозабвении» что-нибудь, ходит удовлетворенный собой до тех пор, пока не является «я-сам», и, прочитав написанное, разрывает рукопись на мелкие клочки и бросает их в корзину. Так распадается в творчестве один и тот же человек на двух, на писателя и на читателя. Первое я — это мечтатель-писатель, второе я, или я сам, — это читатель и хозяин.

То же самое происходит потом и в обществе: я остаюсь как я, как писатель, и малопомалу определяется в обществе «ты», как читатель мой, или, как я его привык называть, «мой друг», в том смысле, что он есть как бы другой «я», живущий от меня отдельно, имеющий право суда над моими делами.

Эти два лица: писатель и читатель, я и мой друг, являются основными агентами творчества» (Дневники 1951 г., 15 июня. — М. Пришвин. Собр. соч. М., 1957, т. 6, с. 442).

Движущий философию языка в этом же общем направлении «прагматики», но более мощный и политически активный стимул исходил от театра Брехта. «В первые полтора десятилетия после первой мировой войны, — писал Брехт, — в некоторых немецких театрах была испытана относительно новая система актерской игры, которая получила название эпической вследствие того, что носила отчетливо реферирующий, повествовательный характер и к тому же использовала комментирующие хоры и экран. Посредством не совсем простой техники актер создавал дистанцию между собой и изображаемым им персонажем и каждый отдельный эпизод играл так, что он должен был стать объектом критики со стороны зрителей... Эпический театр дает возможность представить общественные процессы в их причинно-следственной связи» («Покупка меди. Уличная сцена») [Брехт 1965, 5 (2), 318]. Не случайно именно в теоретических работах Брехта появляются вполне семиологические термины, аналогичные терминам «означающее» — «означающее», применительно к актеру и его персонажу: «изображающий» — «изображаемый». Один из основных тезисов Брехта в противоположность классическому театру Станиславского гласил: «Не должно возникать иллюзии, будто бы изображающие тождественны изображаемому» [там

377

же, с. 327]; «Наряду с данным поведением действующего лица нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможными выбор и, следовательно, критику» («О системе Станиславского») [там же, с. 133].

Очень скоро с соответствующей иллюзией о «тождественности» означаемого и означающего и о «естественности» их связи было покончено и в лингвистической семиологии. Впрочем, еще довольно долго удерживалась другая — теоретическая — иллюзия, будто с этими заблуждениями о тождестве и естественности было покончено еще в системе Соссюра. Действительно, Соссюр утверждал произвольный характер

связи между означающим и означаемым в знаке и еще более определенно — между знаком и обозначаемым им предметом. Но забывали, что одновременно с этим Соссюр утверждал безусловную обязательность языкового знака для каждого отдельного говорящего и слушающего, необходимость для них беспрекословного принятия данной, а не иной связи означаемого и означающего. Вот с этим и покончил Брехт, сначала применительно к отношению «изображаемого» и «изображающего» в театре, а вслед за тем то же проделали философы языка и семиологи относительно языкового знака.

Проделанная в искусстве, а затем и в теории искусства релятивизация имела параллель — релятивизацию понятий имени и предиката в логике, с чего мы и начнем эту главу. Но прежде — несколько замечаний о термине «прагматика».

0.1. О термине «прагматика» и его замене термином «дектика»

В древнегреческом языке прилагательное *πραγματικός* (*pragmatikys*) означало: 1. ‘сведущий в государственных делах, политически опытный’; 2. ‘дельный, пригодный к бою, крепкий, сильный, энергичный’; 3. ‘разумный, деловой’; 4. ‘основанный на фактах, на делах людей’. Форма и все значения произведены от существительного *πράγμα* ‘исполненное дело; торговая сделка; акт; государственное дело’.

Особенно тесно связаны первое и последнее значения прилагательного; в таком виде они употребляются в знаменитом труде греческой древности — в «Истории» Полибия (между 210 и 205 — ок. 125 гг. до н.э.). В нем в разных местах говорится, что это «прагматическая история» — *ἡ πραγματικὴ ἱστορία* или «прагматический способ» изложения истории — *ο πραγματικός τρόπος*; тронов Сочинение Полибия послужило посредником, благодаря которому античный термин вошел в философию нового времени.

В 1798 г. Кант пишет «Антропологию с прагматической точки зрения» и дает следующее определение: «Учение, касающееся значения человека и изложенное в систематическом виде (антропология), может быть представлено с точки зрения или физиологической, или прагма-

тической. — Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека природа, а прагматическое — исследование того, что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам...

Прагматической она (антропология. — Ю. С.) становится лишь тогда, когда изучает человека как *гражданина мира*. — Поэтому даже значение человеческих рас, созданных игрой сил природы, считается не прагматическим, а только теоретическим мироведением» [Кант 1966а, 351—352].

Определение Канта прямо отвечает также и лингвистической прагматике, которая могла бы рассматриваться просто как специальный раздел общей прагматической антропологии. Особенно перспективным было бы тогда кантовское противопоставление «прагматического» «теоретическому»: лингвистическая прагматика должна быть противопоставлена абстрактной (логической) теории языка.

Но, к сожалению, значение термина не удержалось в этих рамках. Уже у Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма» (1800) фиксируется сдвиг термина (наметившийся еще раньше): «Всякая другая история, не принимающая характера всеобщей, может быть лишь *прагматической*, т.е. согласно понятию, выставленному еще древними, преследующей ту или иную практическую цель. И, наоборот, прагматичность всемирной истории представляется в себе противоречивым понятием» [Шеллинг 1936, 341]. «Прагматический» здесь приближается по значению к «практический, полезный для достижения той или иной цели в обществе».

В древности наметилась также вторая линия. В терминологии перипатетиков «прагматика» противопоставляется «логике». Рассуждение является логическим, когда оно исходит из общего и стремится установить общие истины, подходящие ко многим объектам. Напротив, рассуждение является прагматическим, когда оно основывается на особой природе данной вещи, *πράγμα* [Lalande 1972, 1269].

Обе линии своеобразно соединяются в термине «прагматизм» в 70-х годах XIX в. в учении американского философа Ч. С. Пирса. Первоначальной задачей Пирса было, по видимому, связать логику с общим учением о знаках посредством психологического компонента. В этой связи он сформулировал свое знаменитое положение: «Рассмотрите, каковы те мыслимые практические последствия, которые, как Вы полагаете, могут быть произведены объектом Вашего понятия. Ваше понятие о всех этих последствиях и есть Ваше полное понятие объекта» [Peirce 1905, 171].

В конце XIX в. положения, намеченные Пирсом, получили одностороннее развитие в философских доктринах У. Джемса и затем Дж. Дьюи. Для Джемса теории — это не «ответы на загадки», а программы и орудия для работы. Критерием истины являются

«польза» и «успех». Истинность высказывания состоит в том, что оно «полезно», «успешно

работает», «приносит удовлетворение». Термин «прагматизм» стал названием этого философского течения.

Пирс сделал попытку отмежеваться от него в самом термине и в специальной статье по этому поводу изменил название своей собственной доктрины на «прагматизицизм» (pragmaticism) [Peirce 1905, 167; 1905a].

Очевидно, что в силу своей связи с прагматизмом термин «прагматика» очень мало подходит для обозначения логико-лингвистических проблем, которые в настоящее время им обозначаются. И уже прямо противоположным по своему основному содержанию он становится в применении к лингвистическим проблемам искусства. Если еще можно как-то связать с американским прагматизмом и назвать «прагматическим» искусство О'Генри с его идеей успеха, счастливого конца — «хэппи энда», который оправдывает любые жизненные перипетии персонажей, то вряд ли можно найти что-либо более отличное от «прагматизма», чем лирика Ахматовой или роман Пруста. А между тем лингвистические проблемы, которые в связи с этим искусством возникают, в настоящее время как раз и должны были бы называться «прагматическими» — ведь в этом искусстве все соотносится с говорящим, с поэтом и его «Я».

Противоречие терминологии и существа дела становится кричащим, когда проблема рассматривается в обобщении, на абстрактном уровне. Философ А. Бергсон так определил художника типа Пруста: время от времени «по счастливой случайности рождаются люди, которые своими чувствами или своим сознанием менее привязаны к жизни. Природа как бы забыла связать их способности восприятия со способностью действия. Когда они смотрят на вещь, они воспринимают не для того, чтобы действовать, они воспринимают, чтобы воспринимать, только ради удовольствия» [Bergson 1946, 149]. Пришлось бы называть «прагматическими», с одной стороны, таких художников, как Пруст, Ахматова, и, с другой стороны, таких философов, как Дьюи, для которых «вся деятельность мышления сводится к подбору средств и способов для наиболее успешного решения проблемной ситуации, для преобразования ее в определенную, решенную ситуацию» [Мельвиль 1967, 337].

Если вернуться к логической линии, намеченной в термине «прагматика» в рассуждениях перипатетиков и в первоначальном проекте Пирса, то следует сказать, что эта линия приняла в работах неопозитивистов особое направление и прагматика стала определяться как «раздел семиотики, изучающий отношение использующего знаковую систему к самой знаковой системе» [Философская энциклопедия 1967, 338], т.е. так, как если бы в «самой знаковой системе» никак не было бы фиксировано «отношение говорящего». Но мы уже видели выше, что такое определение прагматики (как и соответствующие определения семантики и синтактики) как раз не отвечает существу логико-лингвистической проблемы: «отношение говорящего к языковой системе»

выражается — в естественном языке — в рамках самой этой системы (подробнее см. гл. VI, 2 [ср. также: Булыгина 1981]).

Таким образом, термины «прагматика», «прагматический» для рассматриваемой нами проблемы не подходят ни с какой точки зрения. Что можно предложить взамен? И где искать такой термин?

Здесь нужно обратить внимание на то, что термины для наименования класса слов, связанных с координатой «Я — здесь — сейчас», имеются почти в каждой концепции языка в философии (см. гл. VI, 1), но они не поддаются никакому обобщению. Из них нельзя извлечь никакого общего термина взамен термина «прагматика» для названия всей «прагматической координаты», всего данного измерения языка. Каждый из них обозначает одно какое-либо свойство названного класса слов, связанного с его нахождением на «прагматической» координате языка. Но что определяет координату в целом?

Если обратиться к двум другим координатам, названия которых представляются вполне приемлемыми, то нетрудно видеть, что приемлемы они именно в силу своей общности, в силу того, что называют не одно какое-либо свойство координаты, а ее функцию. «Семантика» своим значением (от греч. 'означаю') указывает на отношение знаков к объектам, притом так, что видно, каково это отношение, оно — «означивание». «Синтактика» (от греч. στήσις 'составляю', 'составленный') указывает на отношение знака к знаку, притом опять-таки таким образом, что видна суть этого отношения — «составление, присоединение».

Если искать термин для прагматики в этом направлении, то следует прежде всего поставить вопрос: какое отношение задает эта координата? По определению — отношение знаков к носителю языка. Но не просто к носителю, усредненному и обезличенному, а к носителю, выставляющему себя как говорящего, как «Я». Сущность этого отношения в том, что говорящий самим актом своего утверждения как «Я», присваивая в момент речи имя «Я», допускающее переменные референты, для обозначения себя и только себя, тем самым присваивает себе весь язык, накладывая на него координаты того времени, когда он говорит, т.е. настоящего времени говорения, того места, где он говорит, т.е. места произнесения речи, и заставляя слушающего принять эти координаты и сообразоваться с ними. В свою очередь слушающий, ставший говорящим, проделает ту же самую операцию присвоения.

Все наталкивает на то, чтобы в названии этой координаты языка отразить ее главное свойство — отношение языка к говорящему, заключающееся в присвоении себе языка в момент — и на момент — речи. Для этой цели подходят греч. глагол *δέχομαι* 'принимаю, принимаю в себя, воспринимаю' и прилагательное от него *δέκτικός* 'могущий вместить или принять в себя; восприимчивый'. Таким образом, названием всей координаты, всего данного измерения языка будет дектика.

1. ПОНЯТИЕ «ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ»

Как уже было сказано, эгоцентрические слова — это слова и выражения, которые ориентированы на «Эго», на «Я» говорящего. Прежде всего, это само слово «Я», затем «здесь» и «сейчас». Далее мы увидим, что к этому классу нужно отнести еще и другие выражения, но пока ограничимся основными.

Что значит «ориентированные»? Такие, которые могут быть понятны, только если каким-то образом указывают на «Я» того, кто говорит. Положим, кто-то говорит: *Пять лет назад я был еще плохим спортсменом*. На кого указывает Я? Очевидно, на двоих сразу — на того, кто говорит сейчас, подразумевается «Я₁ говорю: *Пять лет назад...*», и на того, кем этот «Я₁» был пять лет назад, — «Я₂».

Высказывание следовало бы перифразировать так: «Тот Я, который говорит теперь с вами (Я₁), пять лет назад был другим Я (Я₂), и Я₂ — «плохой спортсмен». Иными словами, «Я₂» — это «Я пять лет назад».

Из всего этого ясно по крайней мере, что «Я» способно раздваиваться, утраиваться, учетверяться и т.д. и что в определении «Я» как эгоцентрического слова, лежащего в основе всего класса, мы должны учитывать только одно «Я» — «Я в данный момент».

Но что значит «данный момент»? Очевидно, что это — момент речи и что он длится так долго, как длится сама данная речь. На протяжении всей речи говорящего, как бы долго она ни длилась, «Я» как эгоцентрическое слово есть «Я» того, кто говорит, и все время, пока он говорит, есть «настоящий момент». Все другие «Я» должны определяться по отношению к этому «Я» и к этому моменту, и, если они отклоняются от них, они должны определяться как другие слова, точнее — как слова с другими значениями.

«Здесь» означает «то место, где «Я» сейчас говорю (как бы мало или, напротив, как бы обширно оно ни было)». Последнее указание кажется излишним. Разве место «Я» не совпадает с границами моего тела? Нет. «Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была, еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне?» (см. гл. VI, 0). Это место может быть и гораздо большим, чем место, занимаемое телом. Психологи определенно указывают, что «каждый человек помещает самого себя как объект внутри своего символического окружения» и мыслит себя как такой объект далеко не всегда только в границах своего тела: мать, ребенок которой плохо ведет себя на людях, сгорает от стыда, как если бы она сама совершила нечто постыдное; человек, который только что, после долгих стараний, приобрел автомашину, способен страдать от царапины на кузове так, как если бы было ранено его собственное тело. Примеры можно легко умножить [Шибутани 1969, 182].

Не получается ли из сказанного, что «место, где я сейчас говорю», будет иногда «место в мыслях», иногда «место, совпадающее с моей автомашиной», иногда «место, в окружении тех людей, среди которых находимся мы — я и мой ребенок», и т.д.? Думаем, да. Но отсюда следует только, что определить «место, где я говорю», и, думается, в известном смысле всякое место вообще — задача еще более трудная, чем определить момент.

Б. Рассел считал главным эгоцентрическим словом «это», он полагал, что определяет его наглядно, как «то, что в момент употребления слова занимает центр внимания» [Рассел 1957, 126]. Но в действительности Рассел определяет таким образом

нечто сложное — акт употребления слова «это», такой, что в этом акте совмещаются указание на предмет и ориентация этого предмета по отношению к «Я» (которое и несет в себе «центр внимания»). Очевидно поэтому, что прежде должно быть определено само «я». Это мы и попытались сделать выше.

Тем не менее слово «это», конечно, тоже является эгоцентрическим словом, поскольку в его значение, или в указание посредством него, а это и есть его значение, входит ориентация на «Я», координата «Я». Таких слов и выражений можно подобрать гораздо больше. Например, говоря *Есть еще полведра* и *Есть уже полведра*, мы можем говорить об одной и той же вещи и об одном и том же количестве, но соотносим их в первом случае с предшествующим действием отливания, а во втором — с предшествующим действием наливания и, следовательно, косвенным образом с самими собой — со своим взглядом на положение дел и в конечном счете с положением своего тела. Подобные же отнесения к говорящему содержатся в различии вопросов типа русских *Разве?* и *Неужели!* и во многих других случаях [см.: Булыгина, Шмелев 1982]. Значения таких выражений получили название «прагматических», и точнее их следовало бы называть, как мы уже отмечали выше, «дектическими»: говорящий присваивает себе инвариантное значение выражения, тем самым привнося в него дополнительный компонент.

Для того чтобы очертить границы постоянного класса таких выражений в лексиконе, т.е. выражений, в которых координата «я» «встроена», присутствует всегда (хотя всегда, разумеется, относительно), в отличие от случаев речевых употреблений, количество которых может оказаться безграничным, целесообразно прежде всего применить критерий постоянных оппозиций. Таким путем устанавливается сначала слово «ты».

Не без влияния феноменологии на эту проблему обратил внимание французский лингвист Э. Бенвенист. Он удачно сформулировал ее в лингвистических понятиях в статье «0 субъективности в языке» (1958). «Субъективность», о которой идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта». «Мы утверждаем, — писал Бенвенист, — что эта «субъективность», рассматривать ли ее с точки зрения

феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть «эго», кто говорит «эго»...

Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты... Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему «я», становится моим эго, которому я говорю *ты* и которое мне говорит *ты*... Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: «эго» занимает всегда трансцендентное положение по отношению к «ты», однако ни один из терминов немислим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции «внутренний — внешний» и одновременно в отношении взаимобратимости. Бесплезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо» [Бенвенист 1974, 294].

В противопоставлении «я» и «ты», о котором говорит Бенвенист, скрыт кроме оппозиции еще один принцип. В самом деле, оппозиция предполагает просто сравнение двух предметов по одному общему для них основанию и осознание того, что остается сверх этого основания, как двух различных признаков, точнее — как одного и того же признака, взятого применительно к одному предмету со знаком +, а применительно к другому — со знаком —. Типичным случаем оппозиций (на основе которого это понятие действительно и было обобщено) служат противопоставления фонем; так, рус. «п» и «б» имеют общее основание — обе фонемы губные и смычные и различие — «п» глухая, а «б» звонкая. Различие может быть представлено снова в виде одного и того же общего признака, скажем «глухость», и тогда у «п» этот признак наличествует со знаком +, а у «б» со знаком —, т.е. «звонкость» есть «глухость со знаком минус». (Разумеется, это определение различий относительно; точно так же можно было приписать положительный признак к «б» как «звонкость со знаком плюс», тогда соответствующий признак «п» был бы «звонкость со знаком минус». Такой подход был применен И. Кантом к значению слов, см. гл. II, 1.)

Приблизительно в таком смысле оппозиция присутствует в противопоставлении «я» — «ты». Общим основанием здесь будет «занятость в акте речи», поскольку эти слова обозначают тех двух, и всегда только тех двух лиц, которые непосредственно

обмениваются репликами в момент речи. Различие можно определить, скажем, так: «ты» — это «я», взятое со знаком минус, «ты» равняется «не-Я».

Но, конечно, это описание, вообще говоря, лингвистически приемлемое, не вполне может нас удовлетворить; интуитивно мы ощущаем в

противопоставлении «я» и «ты» нечто более солидное. Это «нечто более солидное» есть просто тот факт, что «я» всегда есть синоним некоторого собственного имени — скажем, в данном акте моей речи я есть синоним имени *Ю. С. Степанов*; в Вашей, читатель, мысленной реплике по поводу сказанного мною я есть синоним Вашего собственного имени и. т.д. А собственное имя означает всегда некоторую отдельную субстанцию — Вас, меня, любого. Что касается «я» в противопоставлении «ты», то, взятое в этом отношении, оно означает переменный ориентир речи — «тот, кто говорит в данный момент», и этот ориентир может переходить от одной субстанции, означенной одним собственным именем, к другой, означенной другим собственным именем; субстанция, оставшаяся на данный акт речи без обозначения «я», получает на время этого акта обозначение «ты» по отношению к действующему в данный момент ориентиру — к «я» говорящего. Таким образом, «ты» — это «тот, кто сейчас, вслед за окончанием моего акта речи, получит право в свою очередь называться «Я», не получив моей субстанции». Как назвать такое отношение слов — передвижение слова «Я» на другую субстанцию, которая станет «Я» только в одном, не субстанциальном, отношении — в том отношении, что займет мое место в акте речи?

Прежде всего приходит на ум аналогия с карточной игрой, где «тот, кто ходит», «тот, у кого козырь», «покер» и т.п., в системе отношений, составляющих правила игры, есть всегда одно и то же место (подобно тому как «Я» в речи всегда есть место говорящего), но это место могут в каждом новом состоянии процесса игры — в «кбне» или «партии» занимать разные игроки — разные субстанции, приходящие из внеигрового, субстанциального мира. (Здесь ясно видно отличие разбираемых отношений от простой оппозиции. Фонемы, например «п» и «б» в русском языке, как раз могут быть сведены, на основе их общих признаков, к более общему месту в системе, некоторые лингвисты называют это более общее «архифонемой», в данном случае «П». Кроме того, в языковых оппозициях в большинстве случаев бывает так, что каждому члену соответствует своя субстанция, и она не заменяется другой: в данном

случае роль «п» и «П» выполняет звук, или звукотип, определенного материального состава, и эту роль не может выполнить материально другой звук. Когда при функционировании системы оппозиций в речи получается так, что некоторые признаки не проявляются, то возникает вопрос: как назвать данную субстанцию, например в конце слова дуб, где звучит [дуп], — перед нами фонема «п» или «б»? Фонологи бесконечно спорят по этому поводу, разделившись даже на этом основании на различные школы — московскую и ленинградскую.)

На аналогию с игрой постоянно наталкиваются философы языка, но нам кажется, что в данном случае можно обойтись без нее. В отношении слов «я» и «ты», которое мы рассмотрели выше, нет ничего уникального, оно постоянно встречается в языке в других случаях и есть

отношение метафоры. Действительно, при метафоре мы имеем дело с переносом наименования с одного предмета на другой (с одной субстанции на другую), так что одинаково поименованные субстанции уподобляются тем самым друг другу и вместе с тем продолжают мыслиться как разные субстанции. Дождь идет, солнце встает — как идет, встает человек; как сделал бы человек на месте этих объектов — дождя или солнца. Метафора — фундаментальное свойство языка, не менее фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка. Посредством метафоры говорящий (следовательно, всякий человек) последовательно вычленяет из мира, определяемого координатами «я — здесь — сейчас» — из тесного круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи, другие миры. Есть языки, в которых это вычленение запечатлено по этапам. Например, в латинском языке круг говорящего определяется словами *Ego — hic — nunc* (я — здесь — сейчас); ближайший к говорящему, круг собеседника, — словами *tu — istic — tunc* (ты — здесь около тебя — теперь или тогда недавно); далекий от говорящего, круг 3-го лица, — словами *ille — illic — tum* (он — там — тогда). Несмотря на различную языковую технику выражения (например, на отсутствие в русском языке особых слов, указывающих место около «ты» (Но, например, три различных «это» сохранились в сербскохорватской формуле: *evo мени, это теби, ено ньему* 'это мне, это тебе, это ему'; следовательно, рус. *это* первоначально означало 'это около тебя'.) и время, соответствующее тому, что этот

«ты» говорил), сами отношения универсальны и являются проекцией во все более отдаленный от говорящего круг одних и тех же трех координат его круга с центром «я»:

Я — здесь — сейчас

ты — около тебя — теперь

он — там — тогда.

(Эти отношения должны рассматриваться как основание грамматики естественных языков, о чем писал Е. Курилович и др. [см.: Степанов 1975, 139].)

Надо обратить внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство — на совпадение, в некоторых отношениях, наиболее удаленного от говорящего круга «он — там — тогда» и понятия «пропозициональных установок» Рассела. Напомним, что под этим термином понимается в узком смысле выражение позиции говорящего по отношению к тому, что он затем хочет сказать; например, *Джон считает, что...* есть пропозициональная установка, а то, что Джон выставляет как объект своего мнения, например: *...Мери ничего подобного не говорила*, есть пропозиция, объект установки.

Мы хотим подчеркнуть, что пропозиция, включенная в ту или иную пропозициональную установку, относится по существу к некоему миру,

386

определяемому координатами «он — там — тогда». Пропозиция, следующая после установки, и мир, определенный в названных координатах, — это один и тот же мир, просто описываемый в разных терминах. Действительно, нельзя ведь осмысленно употребить пропозициональную установку по отношению к миру «первого круга» говорящего, нельзя сказать чего-либо, подобного «Я считаю, что я сейчас говорю и что я нахожусь здесь».

В выражении пропозициональной установки после союза «что» не должен упоминаться мир, описываемый координатами «я — здесь — сейчас» (если, конечно, не имеются в виду раздвоение личности говорящего или какая-либо метафора, но если имеется в виду это, то тем самым мы имеем дело с «третьим кругом», только выраженным в поверхностно иной форме — в форме 1-го лица; такие случаи мы здесь не рассматриваем).

Поэтому пропозициональные установки в только что описанном широком смысле (т.е. включая пропозиции, следующие за выражением самой установки) — это

выражения, которые должны быть отнесены к классу эгоцентрических слов и выражений.

Таким образом, мы приходим к выводу, что между реальным миром, удаленным от говорящего, миром «он — там — тогда» (например, на корабле, находящемся в плавании далеко от нас), и миром лишь мыслимым, «интенциональным», нет непреходимой границы; дело, скорее, в ступенях отдаления.

Для наименования класса слов и выражений, связанного с координатами «я — здесь — сейчас» (хотя, что именно в него включать, может пониматься по-разному), в каждой крупной системе «философии языка» и логики появились специальные термины, в разных системах различные: «индексальные символы», или «символы-индексы» (indexical symbols) у Пирса; «эгоцентрические частицы», или «эгоцентрические частные термины» (egocentric particulars) у Рассела; «десигнаторы наличного бытия» (Dasein-designatoren) у Хайдеггера; «сдвигатели», или «шифтеры» (shifters), у Есперсена в книгах «Язык» (1922) и «Философия грамматики» (1924, в русском переводе — 1958 г.) — термин, впоследствии использованный Якобсоном; «автореферентные слова» (mots auto-référentiels) у Бенвениста; «знаково-рефлексивные слова» (token-reflexive words) у Рейхенбаха; «индикаторные, или индексальные, выражения» (indexicals) у Гудмена; «невечные предложения» (occasion sentences в противопоставлении eternal s., standing s.) у Куайна; «индексные выражения» (indexical expressions) у Бар-Хиллела и др.

Упомянув последний термин, Р. Монтегю говорит, что логическая прагматика, логический эквивалент прагматики естественных языков, может быть определена как исследование «индексных выражений, то есть таких слов и предложений, значение которых можно определить,

387

только зная ситуацию, в которой они использовались; примерами могут служить слова «я», «здесь», а также предложения, содержащие ссылку на время их произнесения» [Монтегю 1981, 255].

Индексальные выражения в общем виде описываются как функции. Понятие функции пронизывает все современные системы семантики и «прагматики» (этот термин мы теперь, когда ввели вместо него «дектика», употребляем часто в кавычках, которые в этом случае имеют то значение, которое видел в них акад. В. В. Виноградов,

говоря, что мы употребляем кавычки вокруг слова, когда хотим снять с себя ответственность за его употребление).

Так, например, Р. Монтегю ставит перед собой задачу описания «прагматики» естественного языка и выполняет ее по аналогии с «теорией моделей» в семантике следующим образом. Он строит сначала особый формализованный язык, который называет «прагматическим языком L », а затем дает его интерпретацию, которая и должна более или менее совпасть с «прагматикой» естественного языка. Он говорит: «При интерпретации прагматического языка L мы будем принимать во внимание возможные ситуации использования. Нет необходимости рассматривать их во всей сложности; вместо этого мы можем сосредоточить наше внимание только на тех чертах, которые влияют на значение используемых выражений. Таким образом, достаточно будет задать комплекс всех относящихся к делу аспектов подразумеваемых возможных контекстов использования. Мы можем назвать эти комплексы индексами, или... точками соотнесения» [Монтегю 1981а, 257]. Например, если единственными индексными выражениями в формальном языке являются временные операторы, то в качестве точек соотнесения берутся моменты времени высказывания. Если же этот язык, как в следующем ниже примере Монтегю, содержит еще и личное местоимение «я», то существенными моментами становятся два аспекта ситуации использования — говорящий и время произнесения, и тогда в качестве точек соотнесения естественно будет выбрать упорядоченные пары, состоящие из «я» и момента времени произнесения высказывания.

Если обозначить через I множество всех точек соотнесения для интерпретации, через U множество возможных объектов (возможных индивидов), а через i точку соотнесения, то можно дать следующее определение (читатель, не интересующийся формализацией, может его преспокойно опустить, удержав в памяти лишь одно: все это определение основано на понятии функции и функции от функции): «Возможная интерпретация для прагматического языка L есть упорядоченная тройка I, U, F — такая, что (1) I, U есть множества, (2) F — функция с областью определения L , (3) для каждого символа A в L F_A есть функция с областью определения I ; (4) если P есть n -местный предикат L , а i принадлежит I , то $F_P(i)$ есть n -местное отношение на U (то есть множество упорядоченных n -ок членов U); (5) если A — n -местный функциональ-

ный символ L , а i принадлежит I , то $F_A(i)$ есть $(n + 1)$ -местное отношение на U , такое, что для всех x_0, \dots, x_{n-1} , принадлежащих U , имеется в точности один объект y множества U , такой, что $\langle x_0, \dots, x_{n-1}, y \rangle$ принадлежит $F_A(i)$; (6) если N — n -местный оператор L , а i принадлежит I , то $F_N(i)$ есть n -местное отношение на множестве всех подмножеств I ... Я использую равным образом обозначения “ F_P ” и “ $F(P)$ ” для значения функции; это удобно тогда, когда, как в вышеприведенных случаях, значение функции само является функцией» [Монтегю 1981а, 259].

Иными словами, скажем, предикат понимается как отношение между двойками, тройками, n -ками членов множества объектов, и если это множество достаточно велико или тем более бесконечно, то это отношение естественно задать функцией, и т.д.

Конечно, само понятие «функция» здесь не то, что в математике начала нашего века, а это последнее кое-где сохранилось еще в школьных курсах, например при описании различных процессов, в элементарном изложении основ диалектического материализма и т.д.

Интересно привести в этой связи высказывание известного современного математика Дж. Литлвуда: «Что понимается под «функцией»? Я отвлекусь (имея в виду определенную цель) и приведу в интересах начинающего некоторые цитаты из книги Форсайта «Теория функций комплексного переменного». (Книга Форсайта была устаревшей уже в 1893 г., когда она только писалась, но моему поколению приходилось часто встречаться с таким положением.) Тот факт, что регулярность функций комплексного переменного объясняется тут же, только углубляет общий кошмар, но мне не хотелось бы лишать читателя известного интеллектуального наслаждения. (Мы приводим только часть цитат из Форсайта, выписанных Литлвудом, не испытав, впрочем, ни кошмара, ни особенного наслаждения. — Ю. С.)

Возникновение идеи функциональности вначале было связано с функциями вещественных переменных, и тогда эта идея была равнозначна идее зависимости. Так, если значение X зависит от значения x и не зависит ни от какой другой изменяющейся величины, то принято X рассматривать как функцию от x ; при этом обычно еще подразумевается, что X выводится из x при помощи ряда операций». Приведа еще длинные выписки, Литлвуд говорит: «В наше время, конечно, функция $y = y(x)$ означает, что имеется класс «аргументов» x и что каждому x поставлено в соответствие

1 и только 1 «значение» у. После некоторых тривиальных разъяснений (а может быть, и без них?) мы можем осмелиться сказать, что функция есть просто класс C пар (x, y) (с учетом порядка в скобках), подчиненный (только) тому условию, что x в различных парах должны быть различными. (И утверждение «между x и y есть зависимость R » означает просто задание класса, который может быть любым классом упорядоченных пар.) В наше время, кроме того, x может обозначать элемент любой природы так же, как и y (например, класс или высказывание)... Вот и все. Такая ясность

дневного света считается теперь сама собой разумеющейся, но она сменила мрак полуночи. (Несчастье состояло, конечно, в навязчивой мысли, что значение функции «должно» получаться из аргумента при помощи «серии операций» [Литлвуд 1978, 64—67].

Обобщение понятия функции, т.е. прежде всего отказ от представлений о функции как о серии операций, о процессе, было сделано в России Н. И. Лобачевским и позднее на Западе — Г.-Л. Дирихле (в 1837 г.). Однако, говорит Черч, на долю Г. Фреге осталось сделать два важных шага (в работе «Begriffsschrift» 1879 г. и последующих): 1) замена расплывчатого понятия переменного количества понятием переменной как символа особого рода; 2) допущение функций с произвольными областями определений и отказ от взгляда, будто аргументами и значениями функции могут быть только числа. В 1879 г. Фреге ввел понятие высказывательной, или пропозициональной, функции [Черч 1960, 29]. Но, как отмечает Литлвуд, полное равноправие для функций высказываний было достигнуто лишь в 1920-х годах.

Итак, все представления о языке, складывающиеся в современных модальных и интенциональных логиках, пронизаны разнообразными функциями, более того — понятие функции составляет самую основу системности этих представлений.

Вместе с функцией окончательно утвердилось понятие относительности языковых значений. Но, как мы видели выше, понятие относительности не внесено с понятием функции, а задано самим языком: его прообраз заключен в отношениях «я» — «ты» в актах речи. Всю историю вопроса можно теперь «переписать» логически: прочесть в обратном направлении и сказать, что наиболее «чистым», обобщенным понятием функции является именно высказывательная, пропозициональная функция и что ее прообраз задан языком в виде отношений «я» — «ты» в актах речи, где субстанции

(индивиды), скрывающиеся под ориентирами «я» и «ты», постоянно меняются (не в том смысле, что изменяется субстанция каждого, а в том, что одна субстанция занимает место другой), в то время как сами ориентиры образуют чисто реляционный каркас, постоянный и неизменный.

Все же в этой сложной новой картине, имеющей тенденцию, по-видимому, превратиться в картину полной релятивизации всего, что есть в семантике языка, возникает опасность потери ориентиров. В отличие от других случаев, когда об «опасностях» разного рода говорят обычно противники, а не сторонники той или иной концепции (очень много говорили, например, об «опасностях» структурализма критики структурализма), здесь трудности ощущают, видимо, сами творцы новой картины. Это выражается в том, что постоянной и общей темой новых работ становится тема — с иной точки зрения она могла бы показаться совершенно частной — поисков «твердых десигнаторов», собственных имен, которые остаются неизменными в потоке функций и переходов от одно-

го возможного мира к другому. Этой темы мы коснемся в некоторых подробностях ниже (гл. VI, 3).

Но здесь я хотел бы — в предварительном порядке — высказать, может быть, «еретическую» мысль: собственное имя индивида является прямым обозначением этого индивида и косвенным обозначением другого индивида — «Я», который обозначает первого. В таком случае собственные имена должны быть также отнесены к классу эгоцентрических слов.

Выскажем здесь лишь некоторые соображения, из которых, может быть, сложится в дальнейшем логическая часть теории собственных имен.

Прежде всего, собственное имя есть функция количества индивидов, из которых нужно выделить данного. Это можно заметить на европейских именах, которые имеют в некотором смысле одну и ту же структуру при всех различиях способов именованности. Индивид в малом кругу своей семьи, в «первом круге» говорящего, означает обычно одним именем — *Ольга, Дима, Питер, Жан* и т.п., и это имя дают родители. Тот же индивид в более широком круге, скажем, школьном, университетском, служебном, цеховом, именуется с прибавлением некоторого второго имени: в русском языке — отчества (*Ольга Николаевна*), в английском, французском, испанском и т.д. —

прибавлением сразу фамилии. Важно здесь, однако, не то, что в русском прибавляется столь специфическое указание на отца (обычно эта черта отвлекает внимание от главного при исследовании собственных русских имен), а то, что собственное имя становится двухместным, точно так же, как в английском, французском и т.д. обиходе. Примем средний состав «первого (семейного) круга», из которого можно выделить индивида одним именем, в 10 человек. Тогда прибавление в имени второго места дает возможность выделить индивида из 10 x 10, из 100 человек, и это примерно как раз то количество, из которого требуется выделять индивида в школе, в университете, в цехе и т.д. Прибавление третьего места, делающее собственное имя трехместным, позволяет выделить индивида из количества индивидов в 10 x 10 x 10 = 1000 человек, и поэтому трехместность собственного имени обычно достаточна для функционирования его в широких коллективах. Я думаю, что эта закономерность структуры собственного имени может быть достаточно удовлетворительно выражена логарифмической функцией: $\lg N$, где N есть количество людей, из которого нужно выделить данного индивида, а сам (десятичный) логарифм указывает на количество мест в структуре имени. Так, чтобы выделить индивида из коллектива в 1000 человек, необходимо ($\lg 1000 = 3$) трехместное собственное имя. Эта закономерность подмечена эмпирически, и возможно, конечно, что функция будет существенно другой для коллективов неевропейского типа, но, по-видимому, всегда можно установить какую-либо функцию.

391

Для выделения индивида из количества порядка миллиона человек — обычный случай юридической идентификации в практике, скажем, большого современного города — требуется шестиместное собственное имя. Для этого в европейских странах применяется обычно в качестве 4-й рубрики именованного указание на год рождения, в качестве 5-й — указание места работы, в качестве 6-й — адреса: (1) *Ольга* (2) *Николаевна* (3) *Иванова* (4) *1935 г. рожд.* (5) *Преподаватель Московского университета* (6) *Проживающая по адресу...* Рубрики 5-я и 6-я в зависимости от юридических обстоятельств могут меняться местами или опускаться, если окажутся избыточными. Кроме того, конечно, указание адреса, будучи точной локализацией индивида в пространстве, может оказаться достаточным для некоторых целей (например, при милицейском розыске — разыскивается «(некая) Оля, проживающая по адресу...»), и тогда другие рубрики будут избыточными. Но инвариантная структура собственного

имени сохраняется. При полной идентификации в масштабе многомиллионной страны требуется еще одна или даже более чем одна рубрика, например указание места рождения (*Ольга Николаевна Иванова, 1935 г. рожд., уроженка деревни Раменки Московской области...* и т.д.).

Чем более мест в собственном имени, следовательно, чем более официально это имя, тем более универсальны заполнения его мест: места с большими номерами — 4, 5, 6-е и т.д. — заполняются в разных странах аналогично. Но чем ближе к центру имени, тем большую роль играют национальные особенности и традиции.

И наконец, самое интимное звено имени — его первое место, личное имя — заполняется под влиянием семейных традиций, памяти о том или ином родственнике, под влиянием увлечений или даже настроения мамы или папы.

Сказанного достаточно, чтобы дать понять, в каком смысле мы говорим о собственном имени как о функции и как о косвенном обозначении самого именуемого — мамы, папы или государства и почему собственные имена должны быть отнесены к классу эгоцентрических слов.

2. НОВЫЕ ПОНЯТИЯ В РАБОТАХ К. И. ЛЬЮИСА

И Р. КАРНАПА 1950-х ГОДОВ

Можно определенно сказать, что новые идеи вошли в логическую концепцию языка через узенький мостик — через понятие об одной из пропозициональных установок Рассела, установку «мнения, или веры» (belief). Ближайшим образом с ней оказалось связанным понятие интенционала. Именно эти два понятия мы и рассмотрим в первую очередь, в том их виде, как они появились в работах К. И. Льюиса (1883—1964) и Р. Карнапа (1891—1970).

392

На наш взгляд, идеи этих авторов шли по пересекающимся, а не по параллельным линиям: Карнап, скорее, завершал предшествующую парадигму, в то время как Льюис открывал новую. На какое-то время их идеи пересеклись, и этот момент мы склонны фиксировать как начало новой парадигмы.

Новый подход к семантике был сформулирован в статье Льюиса «Виды значения» (или «Модусы значения» — «The modes of meaning», 1943 г.) [Семиотика 1983]. Взамен «треугольника» семантических понятий (см. гл. I, 1) Льюис предложил следующие

четыре: 1) *денотация*, или *экстенсия*, термина (ср. денотат, экстенсионал) — класс всех реально существующих предметов, к которым данный термин правильно приложим; 2) *компрегенсия* (иногда этот термин переводят на русский как «охват») — понятийное содержание термина, классификация всех непротиворечиво мыслимых предметов (не обязательно реально существующих), к которым данный термин правильно приложим; например, термин «квадрат» охватывает все мыслимые и реально существующие квадраты, но не охватывает круглых квадратов; 3) *интенсия* (ср. интенсионал) термина — правильное определение; традиционный термин «сущность» как *essentia*, подчеркивает Льюис, соотносим с интенсионалом; 4) *сигнификация* (ср. сигнификат) термина — та совокупность признаков, которая существенна для правильного именованя предмета данным термином; эта совокупность может не совпадать с совокупностью признаков, составляющей интенсионал; например, для правильного именованя чего-то как «овощей» в русском языке важна потенциальная возможность есть эти растения и плоды с солью (фрукты с солью не едят), но этот признак не входит в интенсионал русского слова *овощи*.

На основе изложенного Льюис предложил различать два вида значения. Лингвистическое, или языковое, значение (*linguistic meaning*) — это интенсионал, создаваемый отношениями данного выражения ко всем другим выражениям данного языка. Например, человек, изучающий французский язык по книгам и желающий узнать значение какого-либо слова, должен будет обратиться к словарю и установить сначала значение по определению в словаре, затем таким же образом установить значения всех слов, которые входят в это определение, и т.д. Льюис прозорливо замечает, что если бы эта процедура оказалась выполнимой (а практически она бесконечна), то в результате этот человек узнал бы все отношения данного слова к другим словам этого языка, но так и не узнал бы собственного значения этого и всех других слов; то, что он узнал бы, и есть лингвистическое значение [сходные мысли Р. Монтегю см. в кн.: Семиотика 1983, 285].

В этом примере Льюиса содержится прозорливое предвосхищение (а также критика) действительно проводившихся впоследствии в течение некоторого времени в США и в СССР лингвистических исследова-

ний по выявлению значений слов через их дистрибуцию, т.е. взаимную сочетаемость [хорошим примером такого исследования является кн.: Апресян 1967]. Как выяснилось в результате этих работ, существенная часть семантики слова — его лексическое ядро — таким способом не улавливается. Положение Льюиса также является критикой концепции английской философской школы «лингвистического анализа» Г. Райла, Дж. Уисдома, Дж. Остина и др. [ср.: Богомолов 1973, 262 и след.]. Льюиса иногда называют в нашей литературе «неопрагматистом»; это верно по отношению к логико-лингвистическому смыслу его работ, поскольку они закладывают фундамент лингвистической прагматики (дектики), но, по крайней мере из изложенной здесь работы, не видно, чтобы он был прагматиком в философском смысле.

Смысловое значение (*sense meaning*) основывается на работе воображения (как выражается Льюис, а точнее, как следовало бы сказать с точки зрения диалектической логики на прогнозирующей функции мышления (см. Предисловие); некоторые советские авторы называют подобные процессы мышления «опережающим отражением»). В логическом смысле это — интенсионал, создаваемый мысленным критерием, с помощью которого человек способен приложить или отказаться приложить данный термин к предъявляемой ему вещи (поименовать или не поименовать им эту вещь). Вслед за Кантом этот вид значения понимается как схема, т.е. правило, предписывающее приложение выражения к объектам, и предвосхищенный воображением результат этого процесса. Если, говорит Льюис, номиналисты в течение столетий сопротивлялись понятию смыслового значения и сводили значение только к лингвистическому, то они ссылались при этом на невозможность мысленно представить «кошку вообще» или «тысячеугольник». Но этого и не требуется. Достаточно иметь мысленную схему движения, например процесс счета сторон многоугольника, а 1000 сторон — лишь как предвидимый, воображаемый результат этого процесса. Разновидностью смыслового значения является, по Льюису, мысленный эксперимент, в частности такой, каким устанавливается непротиворечивость мыслимых вещей, что необходимо для понятия компрегенсии. Таким образом, понятие смыслового значения как схемы, пришедшее из логики, оказалось логическим коррелятом «схемы» в психологии Пиаже, Найссера и др. [см.: Степанов 1981, 235]. В частности, Найссер замечает: «Если умственные образы суть перцептивные предвосхищения, то описание

зрительного образа должно быть описанием того, что человек готов увидеть» [Найссер 1981, 181].

Поскольку смысловое значение связано с процедурой узнавания, то Льюис говорит о нем еще следующее: тот, кто способен таким образом приложить или отказаться приложить языковое выражение в любых мыслимых, т.е. воображаемых, обстоятельствах, полностью владеет смысловым значением. Благодаря этому определению льюисовское смысло-

вое значение можно связать с понятием «каузальная история», введенным в семантику позднее (см. ниже).

Остановимся теперь на краткой программной статье Р. Карнапа «О некоторых понятиях прагматики» (1955) [Карнап 1955]. Карнап считал, что прагматика — а время для этой дисциплины настало, подчеркивал он, — должна первоначально строиться как концептуальная рамка всего лишь для двух-трех понятий, в первую очередь интенционала и мнения (т.е. установки веры, *belief*), а затем расширяться, захватывая смежные понятия. Под интенционалом Карнап понимает, конечно, свой, «карнаповский интенционал», как он определен, в частности, в его известной работе «Значение и необходимость» [Карнап 1959]. Но поскольку он определяется в противопоставлении экстенционалу, т.е. в системе только из двух понятий (а не из четырех, как у Льюиса), то сравнительно с льюисовским это понятие более грубое. В общем (хотя, конечно, это еще большее огрубление), его можно уподобить «смыслу» выражения.

Понятие мнения, или веры, соответствующее пропозициональной установке веры у Рассела, Карнап определяет здесь довольно пространно. Он начинает с Черча, у которого вера понимается как отношение между лицом и пропозицией. По Черчу, следующий пример следовало бы записать так: *Джон считает* (установка веры), *что + Идет дождь* (пропозиция). Но, согласно Карнапу, это не прагматическое понимание, и нужно говорить об отношении между лицом и предложением (а не пропозицией) — установка веры должна характеризовать не положение дел и лицо, а употребление языка. Черчевское понятие (оно обозначено через В) может быть, по Карнапу, символизировано так:

$$V(X,t,p), \quad (1)$$

т.е. лицо X в некий момент времени t считает, что p. Все это понимается в слабом смысле, т.е. не предполагается ни то, что X создает факт своего «считания» — полагания чего-либо о чем-либо, ни то, что он способен выразить это словами, вербализовать. (Этот «слабый смысл» и соответствует, как мы сказали выше, такой картине языка, в которой носитель языка, в данном случае X, как и все другие, обладает знанием в меньшей степени, чем наблюдатель извне, в данном случае Карнап.)

Карнаповское понятие веры, обозначаемое через Г, символизируется следующим образом:

$$T(X, t, S, L), \quad (2)$$

т.е. лицо X в момент t считает предложение S языка L истинным (сознавая это или нет).

После этого определяется прагматическое понятие интенционала, выступающее связующим звеном между В и Т:

$$Int(p, S, L X; T), \quad (3)$$

т.е. пропозиция p есть интенционал предложения S в языке L для лица X в момент времени t.

В заключение своей статьи Карнап вводит понятие «высказывания» (*utterance*) как некоего «экземпляра» (a token) предложения, притом экземпляра «нормального». Эти понятия, хотя и едва намеченные, предвосхитили лингвистическую проблематику 1960-х годов — проблемы «нормальных, или отмеченных, предложений» и т.п.

В сущности, все здесь у Карнапа обстоит так, как в следующей картине, нарисованной А. Черчем. Представим себе людей, пользующихся формализованным языком, скажем, письменным формализованным языком, занятых выписыванием правильно построенных формул этого языка и составлением таких последовательностей формул, которые образуют цепочки непосредственных выводов или, в частности, доказательства. Представим себе далее наблюдателя, который не только не понимает этого языка, но вообще не верит, что это язык, т.е. не верит, что формулы имеют содержание. Он узнает, скажем, синтаксические критерии, в соответствии с которыми формулы признаются правильно построенными, и критерии, в соответствии с которыми последовательности правильно построенных формул признаются непосредственными выводами или доказательствами, но он думает, что наблюдаемая им деятельность есть просто игра наподобие игры в шахматы, решения шахматной задачи или раскладывания

карточного пасьянса и что целью игры является нахождение неожиданных теорем или остроумных цепочек выводов и решение головоломок такого типа: можно ли и как именно доказать некоторую формулу или вывести ее из других данных формул?

«Для такого наблюдателя символы языка имеют только то содержание, которое дается им правилами игры, — только такое содержание, которым обладают, например, различные фигуры в шахматах. Для него формула аналогична позиции на шахматной доске и имеет значение лишь как один из этапов игры, который в соответствии с правилами ведет к различным другим этапам.

Все, что может быть сказано о языке такому наблюдателю и понято им, пока он продолжает смотреть на использование языка просто как на игру, составляет (теоретический) синтаксис языка. С другой стороны, к семантике языка относится то, что можно понять, лишь зная, что правильно построенные формулы обладают содержанием в собственном смысле, т.е. что некоторые из них выражают суждения, или обозначают, или тем или иным путем принимают значения. Таким образом, изучение интерпретации языка как интерпретации называется семантикой» [Черч 1960, 60].

Но у Черча это как раз определение семантики в ее отношении к синтаксису в математической логике; мы хотим этим сказать, что Карнап мыслил прагматику именно по образцу своего же логического син-

таксиса и в этом смысле его план принадлежит старой парадигме философии языка.

В каком-то смысле прагматика действительно пошла первоначально по этому пути, в том смысле, что два названных понятия — «интенционал» и «мнение, вера» — сыграли определяющую роль. Но, кажется, реально построенная прагматика 1980-х годов — в работах Хинтикки, Монтегю, Крипке и др. — оказалась далекой от карнаповского замысла. По современным представлениям, прагматика встроена в систему языка, может быть, в самый ее центр. Карнап же смотрел на прагматику так, что его следовало понимать (во всяком случае, он так был понят) таким образом: «прагматика изучает отношение использующего знаковую систему к самой знаковой системе» [Философская энциклопедия 1967, 338] (впрочем, без ссылки на Карнапа). При таком понимании, как у Карнапа и как в «Философской энциклопедии», прагматика — это нечто вроде метаязыка, с помощью которого некий носитель знания наблюдает за языком-объектом и за его носителями, причем предполагается, что последние обладают

знанием в меньшей мере, чем наблюдатель. Все это — фантастическая картина. Но, нам кажется, это и имел в виду Карнап, когда в указанной статье писал: «Я полагаю, что базовые понятия прагматики лучше всего понимать не как бихевиористски определенные диспозиционные концепты (disposition concepts) в языке наблюдения, а как теоретические конструкты в теоретическом языке, введенные на основе постулатов и соотношенные с языком наблюдения посредством правил корреспонденции (rules of correspondence)» [Carnap 1955, 90]. (За определением понятия «диспозиционный концепт», для нас здесь не существенного, но игравшего довольно важную роль в системе взглядов Карнапа, мы отсылаем читателя к статье Д. Лахути «Диспозициональный предикат» [Философская энциклопедия 1962, 20].)

Как мы уже сказали, понятие метаязыка в отношении к языку-объекту у Карнапа является абстракцией некоего представления о действительном неравенстве интеллектов — интеллект тех, кто пользуется языком (языком-объектом), и интеллект того, кто наблюдает их и этот язык с позиций метаязыка, неравен: второй выше первых; и эта картина представляется нам фантастической. Какие выводы могут быть сделаны из нее в гуманитарной (или, скорее, антигуманитарной) сфере, показывает следующее рассуждение А. И. Уемова, которое как раз и является таким выводом в его в целом интересном послесловии к книге Л. Тондла: «Автор (Л. Тондл. — Ю. С.) признает возможность существования психических состояний, не находящихся языкового выражения. Вместе с тем, чем более развит интеллект, тем более тесной становится его связь с языком. В связи с этим возникает заманчивая идея определения меры рациональности психики. Такая точка зрения, несомненно, вызовет возражения, в частности, со стороны лингвистов (вышесказанное нами можно рассматривать как таковое. — Ю. С.).

Однако нам хотелось бы поддержать саму идею дифференциации связи языка и мышления применительно к различным психическим состояниям... Быть может, максимум рациональности сдвинут относительно максимума возможности адекватного языкового выражения. Эта возможность связана с тем, что язык создается людьми, психика большинства которых, естественно, не находится на максимальном уровне рациональности. Поэтому для меньшинства, достигшего этого уровня, может просто не

найтись языковых выражений, адекватно представляющих их психическое состояние» [Уемов 1975, 452—453].

Повторим еще раз, что идея Карнапа осталась, к счастью, в пределах старой парадигмы философии языка.

3. КАРТИНА ЯЗЫКА В КОНЦЕПЦИЯХ МОДАЛЬНЫХ И ИНТЕНСИОНАЛЬНЫХ ЛОГИК 1980-х ГОДОВ

Модальные и интенциональные логики, несмотря на довольно большое разнообразие концепций в них, представляют собой с логико-философской точки зрения достаточно единую сферу исследований. Об этом говорит и характер книг, которые часто являются сборниками статей разных авторов, читающихся как главы одной книги [ср., например: Семантика модальных и интенциональных логик 1981; Арутюнова 1982; *Contemporary perspectives in the philosophy of language* 1979]. (В последней представлены такие статьи, как «Референция говорящего и семантическая референция» С. Крипке, «Референция говорящего, дескрипции и анафора» К. Доннеллана, «Неоклассическая теория референции» Дж. Катца, «Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность» Б. Холл Парти, «Пересмотр понятия интенционала» У. Куайна и др.)

Мы подойдем к этим концепциям именно как к единой сфере, выделяя в ней прежде всего те понятия, которые являются преобразованиями соответствующих понятий философии предиката и прямым продолжением некоторых понятий К. И. Льюиса и Р. Карнапа. (Следующий раздел построен на соотношении основных понятий новой парадигмы с соответствующими понятиями концепции Б. Рассела, см. гл. IV, 3.)

П о н я т и е и м е н и. Собственно говоря, единого понятия имени в этой философии языка нет. Оно распалось еще в предыдущий период, будучи замененным, под влиянием концепций Рассела, различными комбинациями дескрипций и кванторов. Даже понятие собственного имени (сингулярного термина, имени индивида, индивидного имени), сохранявшее некоторые позиции у Рассела, оказалось сильно преобразованным. Теперь, как, например, в концепции Я. Хинтикки, исчезло само понятие обычного индивида и соответственно этому место собственного имени заняла индивидуализирующая функция. Следует кратко охарактеризовать взаимосвязь всех этих изменений с точки зрения философии языка.

В связи с понятиями имени в новой парадигме философии языка часто рассматривается следующая ситуация. Положим, я утверждаю:

(1) «Автор этого романа — талантливый человек». Субъект этого предложения выражен определенной дескрипцией в смысле Рассела; предложение в целом может быть истолковано двояким образом:

(1а) «Автор этого романа (кто бы он ни был, положим, я действительно не знаю, кто он, и не связываю с дескрипцией никакое определенное лицо) — талантливый человек». В этом случае дескрипция употреблена атрибутивно (с точки зрения Рассела, это дескрипция, референцией которой является пустой класс);

(1б) «Автор этого романа (вот он, я говорю об этом единственном лице, я только забыл его имя) — талантливый человек». В этом случае дескрипция употреблена референтно, с целью выделить единственное лицо и указать на него, она приближается по значению к собственному имени, и притом употребленному в функции указания (Рассел сказал бы, что это «логически собственное имя»).

Названное различие — атрибутивное и референтное употребление дескрипций — было предложено К. Доннелланом в 1966 г. [Доннеллан 1982]. Но очень скоро выяснилась его недостаточность. Положим, что ситуация, о которой идет речь, усложняется, и притом таким образом, как часто случается в действительном употреблении языка: я по-прежнему утверждаю (1б), но лицо, о котором я говорю, в действительности не автор этого романа; я хочу сказать, что этот человек талантлив, он действительно талантливый человек, но я неправильно называю его «автором этого романа», — получается, при той же форме, утверждение (1в). Что в таком случае можно сказать об истинности моего высказывания? Рассел и Фреге сказали бы, вероятно, что оно не имеет смысла. А если бы к тому же действительный автор романа (которого я вовсе не имел в виду) оказался лицом бездарным, то Рассел и Фреге сказали бы, что мое утверждение (1в) ложно. Между тем вся наша языковая и логическая интуиция говорит нам, что это не так: мое утверждение (1в), что человек, которого я имею в виду, талантлив, истинно; я только неправильно называю его (и я вовсе ничего не говорю о действительном авторе романа).

Рассмотрев ситуацию таким образом, С. Крипке дал решение, отличное от предложенного Доннелланом [Kripke 1979 (первая публикация — в 1977 г.)]. Положим, говорит Крипке, и в действительности чаще всего так оно и бывает, мой собеседник прекрасно понял, что я имею в виду (как, я полагаю, и читатель понял, что мы имели в виду в предыдущем параграфе). Чтобы логически описать эту ситуацию, сле-

дует ввести иные, чем у Доннеллана, различия, установив следующие два понятия: «семантическая референция» — референция, которую имеет определенная дескрипция в соответствии со смыслом своих компонентов — «автор», «этот», «роман», т.е. в соответствии с семантикой языка; «референция говорящего» — та референция, которую с помощью этой дескрипции устанавливает говорящий (статья Крипке так и называется — «Speaker's reference and semantic reference»). Крипке показал, что это различие не совпадает ни с различием атрибутивного и референтного употребления референций по Доннеллану, ни с традиционным (идущим от античности) различием выражений *de dicto* и *de re*, хотя между всеми ними имеются пункты пересечений и совпадений. Но все же как можно логически описать мое утверждение (1в)? Так: «Ю. С. Степанов считает, что + Автор этого романа — талантливый человек»; известно, кого он имеет в виду под дескрипцией «автор этого романа», и он прав. Таким образом, в общем виде референция говорящего логически описывается как дескрипция в непрямой речи, в интенциональном контексте, а последняя не является ни референтной, ни атрибутивной [ср.: там же, с. 12; Donnellan 1979].

Первем здесь рассуждение об имени, чтобы сделать не сколько замечаний общего характера. Хотя на первый взгляд кажется, что разница между решениями Доннеллана и Крипке лишь в логических терминах, однако в действительности она, по-видимому, более глубока. Решение Доннеллана по типу принадлежит к предыдущей, расселовской парадигме философии языка (хотя субъективно Доннеллан выступает против Рассела): язык рассматривается абстрагированным от ситуаций употребления, в частности не предполагается, что у человека, произносящего фразы с дескрипциями, есть слушатели. Тонко разбирается, «что значит данное высказывание» (*the sentence means*), но не учитывается, «что имеет в виду говорящий» (*the speaker means*). А между тем различие этих двух вопросов характеризует различие двух парадигм философии языка.

Крипке именно на этом различии, учитывая оба вопроса, основывает свой подход. Таким образом, он вводит в контекст логического анализа «теорию речевых актов», и имена ее создателей — Стросона, Грайса и др. — часто упоминаются в этой связи. Однако теория речевых актов играет при этом, скорее, роль источника материала и практических наблюдений; созданная под влиянием прагматических взглядов, сама по себе она стоит все еще вне глубокой философской традиции и далека от современной логики и философии языка.

Вернемся к понятию имени. В указанной статье [там же] вводится различие между «определенными дескрипциями» и «твердыми определенными дескрипциями» (*rigid definite descriptions*). Первые (в формульном обозначении они вводятся йота-оператором: $I x \phi(x)$) определяются как в общем виде «нетвердые»: каждая такая дескрипция выбирает

единственный объект (если таковой имеется) в каждом возможном мире, такой, что он имел бы свойство ϕ в данном мире (пустые дескрипции при этом не рассматриваются). Например, дескрипция «число планет», в некотором мире, где было бы восемь планет (этот мир не является действительным миром), имела бы денотатом число восемь, и в ситуации этого мира предложение «Число планет четно» было бы истинным относительно этой ситуации.

Вторые, «твердые определенные дескрипции» (в формульном виде, предложенном Крипке, они обозначаются видоизмененным знаком йота-оператора: $i x \phi(x)$) вводятся семантически следующим соглашением: пусть $i x \phi(x)$ имеет денотатом, по отношению ко всем возможным мирам, единственный объект, который в данном действительном мире имеет свойство тогда предложение «Число планет нечетно» (поскольку в действительном мире планет — девять) выражает необходимую истину. Теоретически оба вида дескрипций могут быть введены в рамках одного формализованного языка [там же, с. 10].

Можно заметить определенную связь между этими понятиями Крипке и понятиями Льюиса. Во-первых, оба типа крипковских дескрипций отвечают понятию коннотации, или интенционала Льюиса; вспомним, что последний, по Льюису, ограничивается любым правильным определением термина (см. выше). Во-вторых, оба типа дескрипций отвечают льюисовскому определению сингулярного термина: последний есть термин,

коннотация, или интенционал, которого исключает его приложение более чем к одной актуальной вещи. Наконец, в-третьих, имеется, по-видимому, связь, никем, кажется, не отмечавшаяся, между нетвердой дескрипцией Крипке и компрегенсией («охватом») Льюиса: последний термин Льюис определяет как классификацию всех непротиворечиво мыслимых вещей, к которым термин правильно приложим независимо от того, существуют эти вещи или нет. Но тогда естественно напрашивается также связь между твердыми дескрипциями и денотацией, или экстенционалом, по Льюису, который есть класс всех актуальных, или существующих, вещей, к которым термин правильно приложим.

Но в этом случае, конечно, возникает вопрос о правомерности выделения такого класса из одного элемента, так как это влечет необходимость ввести «понятие индивида», «индивидуальный концепт». Именно последнее понятие (независимо от его связи с льюисовскими) вызывало резкие возражения со стороны некоторых логиков — приверженцев старой парадигмы взглядов на язык (такие возражения как раз и являются одним из самых важных признаков этой парадигмы). (Особенно сильно протестовал У. Куайн, называя индивидуальные концепты «вредными порождениями мысли», «исчадиями тьмы» [Quine 1956].) Но это понятие нисколько не пугает, например, Хинтикку, о чем мы будем говорить ниже.

401

Уже из сказанного выше можно видеть, что центральное положение во всей этой проблематике занимает понятие имени, или, точнее, «именование индивида». Обнаруживается также тесная связь между: а) этим понятием, которое распадается по крайней мере на два — «нетвердые» и «твердые» дескрипции, б) понятием «интенциональный контекст», в особенности в) понятием контекста, или пропозициональной установки, со значением мнения, веры, г) понятиями «действительный мир» и «возможные миры», по отношению к которым определяется единственность индивида и соответственно твердый или нетвердый характер дескрипции, д) наконец, понятием «иерархия языков». Но определяющим пунктом во всем этом комплексе проблем, стержнем, на который нанизывается все остальное, является понимание имени как функции.

П о н я т и е п р е д и к а т а. Это понятие не играет в новой философии языка никакой особенной роли. Можно даже сказать, что оно в известной мере сливается с

понятием имени. Основание для этого было обнаружено (хотя тогда на него не обратили большого внимания) уже в философии предиката: предикат есть по существу то же, что пропозициональная функция, хотя и определенная некоторым более абстрактным образом (см. гл. IV, 1). И понятие имени теперь — разумеется, за пределами философии имени — тоже рассматривается как функция.

В формализованных языках уже давно, в соответствии с классическими концепциями Фреге и Черча, денотат имени рассматривается как функция смысла имени. Иными словами, если дан смысл, то этим определяется денотат, хотя, как тонко замечает Черч, последний и не обязательно должен быть известен каждому знающему смысл [Черч 1960, 20, 27]. Это положение в известной мере верно и для естественных языков, в особенности для их явно производных слов такого типа, как, например, рус. *укладчик* = тот, кто или то, что укладывает, или англ. *the speaker* = тот, кто говорит; говорящий [см.: Степанов 1964]. Дескрипции подчиняются этому определению. Производными понятиями от имени как функции являются два более частных специальных понятия: йота-оператор, или оператор дескрипции $x A(x)$ — «тот x , который имеет свойство A » (см. также выше в применении Крипке), и лямбда-оператор λx , или оператор абстракции, абстрагирующий саму функцию, заключенную в имени, это — «та функция, которая, будучи применена к смыслу имени x , дает его денотат» (см. также гл. 1,1).

Понимание и имен и предикатов как функций, влекущее в известной мере их отождествление, играет большую роль в рассматриваемой парадигме.

И е р а р х и я я з ы к о в. По-видимому, полнее всего она изложена у Я. Хинтикки, в частности в статье 1969 г. «Семантика пропозициональных установок» [Хинтикка 1980; см. также: Садовский, Смирнов 1980].

402

П е р в о п о р я д к о в ы й я з ы к, наиболее простой в иерархии, или первопорядковая логика, состоит, как обычно, из индивидуальных констант («имен») и предикатных констант (предикатов). В соответствии с только что отмеченной чертой всей данной парадигмы и те и другие понимаются как функции и объединяются в одну «функцию интерпретации» φ . Иными словами, функция интерпретации обладает следующими свойствами:

1) для каждой индивидуальной константы a первогопорядкового языка $\varphi(a)$ — элемент индивидуальной области I (она, как всегда, представляет собой совокупность объектов, о которых говорит этот язык);

2) для каждой предикатной константы Q (скажем, n -местной) $\varphi(Q)$ есть некоторое множество кортежей элементов области I длины n .

Хинтикка очень тонко подметил, что для такого первогопорядкового языка значение — это и есть референция (нет никакого «значения», отличного от референции сингулярных терминов и предикатных констант). А поэтому и теория референции является вместе с тем теорией значения [там же, с. 68] (нечто подобное имеет место и в нашем «Языке-1», описанном в гл. VII).

На наш взгляд, первогопорядковый язык, как он описан Хинтиккой, не исключает пропозициональных установок — они могут быть в нем выражены (хотя Хинтикка, кажется, предполагает обратное). Но это пропозициональные установки в смысле Черча, в самом «слабом смысле», как говорит о них Карнап (см. гл. VI, 2): говорящий на этом языке не знает, что он выражает пропозициональную установку; он может сказать: «Я считаю, что идет дождь» или «Джон считает, что идет дождь», но для него это предложение того же типа, что «Я вижу, что идет дождь», «Я слышу, как играет музыка», «Джон видит, как...» и т.п.

Следующий в иерархии (вверх) язык — это язык с пропозициональными установками. Здесь они понимаются в «сильном смысле» — говорящий знает, что он выражает пропозициональную установку, и в дальнейшем рассуждении имеется в виду не просто содержание этой установки, а именно тот факт, что некоторое лицо обладает ею. Для характеристики этого языка Хинтикка сразу вводит понятие возможных миров. Когда мы используем пропозициональные установки в этом языке, например говоря (a — субъект установки) « a знает, считает, помнит, надеется, хочет, что p », мы рассматриваем сразу несколько возможных состояний нашего мира в будущем или в прошлом. «Здесь кажется более естественным, — отмечает Хинтикка, — говорить о различных возможных состояниях нашего «действительного» мира, чем о нескольких возможных мирах. Однако с по-

жалуй, даже склоняет к предположению, что речь идет о чем-то гораздо менее привычном и реальном, чем это есть на самом деле. При нашем словоупотреблении всякий, кто когда-либо готовился к более чем одному направлению развития событий, тем самым имел дело с несколькими «возможными направлениями развития событий», или, иначе говоря, «возможными мирами» [там же, с. 74].

Приписывание пропозициональной установки некоторому лицу a связано с разделением всех возможных миров (различимых средствами данного языка) на два класса: один — возможные миры, согласующиеся с данной установкой, другой — несовместимые с ней. Например, в случае « a помнит, что...» к первому классу относятся возможные миры, совместимые со всем, о чем помнит a .

Каждый возможный мир (μ) содержит некоторое множество индивидов $I(\mu)$. Теперь интерпретацией индивидуальных констант и предикатов становится двухместная функция $\varphi(a, \mu)$ или $\varphi(Q, \mu)$, которая зависит также и от мира μ , о котором идет речь.

Субъект установки может иметь различные установки в различных мирах, о которых идет речь в рамках данного языка. Поэтому функция интерпретации становится отношением, которое с данным субъектом и с данным возможным миром μ ассоциирует некоторое множество возможных миров — альтернатив μ , становится отношением альтернативности. Обозначив установку через B , получаем две следующие формулировки:

$V_a p$ истинно в некотором возможном мире μ тогда, и только тогда, когда p истинно во всех альтернативах μ ; и, вторая формулировка, при выражении через функцию: $V_a p$ истинно в μ тогда, и только тогда, когда p истинно в каждом элементе множества $\varphi_B(a, \mu)$.

Хинтикка отмечает, что во всем остальном интерпретация осуществляется точно так же, как в первогопорядковом языке, и его семантические правила остаются действительными и здесь, включая и правила для кванторов, кроме тех случаев, где выражения для пропозициональных установок встречаются в области действия квантора [там же, с. 76]. Но это и означает, по нашему мнению, что хинтикковский первогопорядковый язык уже содержит в неявном виде пропозициональные установки, но только особого («слабого») вида: субъект установки (a) не знает, что он выражает установку; в сфере действия установки не должны встречаться кванторы. Может быть, есть и еще какие-то ограничения, которых мы пока не видим.

зиций логического и семантического анализа второе словосочетание значительно уместнее первого, хотя и приходится признать, что оно звучит несколько странно и,

Все-таки с точки зрения лингвистики реального языка во всем этом у Хинтикки остается какая-то большая неясность: если на языке, следующем в иерархии за первопорядковым, возможны высказывания типа «*a* считает (помнит, надеется и т.д.), что...», то кто их произносит?

Очевидно, не сам *a*. Но тогда возникает вопрос: произносящий это высказывание (положим, сам Хинтикка) является носителем этого языка или же рассматривает его извне, являясь носителем какого-то следующего в иерархии языка, метаязыка, по отношению к которому рассматриваемый язык выступает как язык-объект?

Все эти вопросы уже возникали в настоящей книге в связи с иерархией языков Рассела (см. гл. IV, 3). Но у Рассела было ясно, что язык, на котором возможно обсуждение пропозициональных установок, сам является языком высшего типа относительно того языка, которому принадлежат пропозициональные установки.

С точки зрения лингвистики возможно, однако, предположить и другое, а именно что Хинтикка в сущности рассматривает разные фрагменты одного и того же языка, но только под названием первопорядкового языка такой его фрагмент, в котором не встречаются пропозициональные установки, а во втором случае — другой фрагмент, в котором они встречаются, а в следующем разделе речь идет о третьем фрагменте того же самого языка: там Хинтикка рассматривает сингулярные термины и квантификацию в контексте с пропозициональными установками (это как раз название раздела). Если данное предположение верно, то «фрагмент» здесь совпадает с «возможными случаями употребления»: 1) сначала (первопорядковый язык) рассматривается употребление языка в простейших случаях — без пропозициональных установок (возможность которых, однако, предусмотрена всем строем этого языка); 2) затем речь идет об использовании того же языка в более сложных случаях — когда надо выразить пропозициональные установки; 3) наконец, рассматривается употребление того же языка в наиболее сложных случаях — когда в контексте с пропозициональными установками встречаются сингулярные термины и кванторы.

Второе предположение тем более правдоподобно, что вся эта работа Хинтикки направлена к установлению как бы «сквозных» — для всех и все более усложняющихся случаев — функций интерпретации, которые в результате и получают обобщение в виде «индивидуализирующих функций» (мы сейчас к ним вернемся).

Но, поскольку трудно решить, какое из двух предположений вернее, я склоняюсь к первому, т.е. рассматриваю три группы хинтикковских случаев как три различных языка, расположенных в определенной иерархии; впрочем, уже видно, что это иерархия не расселовского вида.

Т р е т и й я з ы к и понятие индивидуализирующих функций. Третий язык (или, может быть, третья группа употреблений того же языка) — это, как уже было сказано, язык, позволяющий правильно употреблять сингулярные термины и производить квантификацию в контекстах с пропозициональными установками. Что

это реальная проблема, показывают случаи действительного употребления языка. Ср. два случая применения сингулярных терминов в следующей реальной ситуации (пример, приведенный С. Крипке в указанной работе). Двое говорящих, А и Б, смотрят на некую пару и обсуждают, как нежно Он обращается с Ней, причем А считает, что Он — Ее супруг, а Б знает, что нет и что Ее действительный супруг груб и жесток с Ней:

1-й диалог. А. Ее муж нежен с ней.

Б. Нет, ее муж не нежен с ней.

Человек, о котором вы говорите, не ее муж..

2-й диалог. А. Ее муж нежен с ней.

Б. Он нежен с ней, но только это не ее муж.

В концепции Крипке ситуация должна быть описана таким образом. А использует выражение *ее муж* в обоих случаях одинаково, т.е. равно и как семантический референт, и как референцию говорящего А и соглашается с ним, но, зная, что логически он использует выражение *ее муж* только как семантический референт, и для референции к тому лицу, о котором говорит А, ему требуется другое выражение — *человек, о котором вы говорите*. Во втором диалоге Б сразу использует референцию говорящего А и соглашается с ним, но, зная, что это не семантическая референция, использует для нее местоимение *он*.

С нашей точки зрения, эта ситуация может быть описана и иначе: говорящий А говорит на собственном диалекте (идиолекте), который во всем совпадает с диалектом говорящего Б, кроме некоторых частных случаев: так, выражение *ее муж* означает у него другое лицо, нежели в диалекте Б. Возможно еще и третье описание: в двух индивидуальных «диалектах», А и Б, одно и то же лицо — тот мужчина, который

находится в данный момент с данной женщиной, называется по-разному: у А — «ее муж», у Б — «он».

Нам кажется, точка зрения Хинтикки была бы ближе всего к третьему описанию. Действительно, говорящие А и Б рассуждают как бы в разных мирах, в которых действуют разные пропозициональные установки: А считает, что этот мужчина — муж этой женщины; Б знает, что этот мужчина — не муж этой женщины. Чтобы не усложнять излишне описание ситуации, мы могли бы принять, что установка Б является простым отрицанием установки А: Б не считает, что этот мужчина — муж этой женщины. Тем не менее и А и Б говорят об одном и том же мужчине.

Эту задачу Хинтикка и разрешает в общей форме. Семантическая теория, говорит он, должна дать способы «перекрестного отождествления» индивидов, т.е. отвечать на вопросы о тождественности индивидов, принадлежащих к разным возможным мирам [Хинтикка 1980, 87]. Хотя мы рассмотрели только пример на употребление сингулярно-

го термина, но основное назначение хинтикковского понятия заключается в том, «чтобы придать смысл квантификации контекстов с пропозициональными установками» [там же, с. 91].

Для перекрестного отождествления вводится множество функций F , каждый элемент которого $f \in F$ выделяет из индивидуальной области $I(\mu)$ каждого данного мира μ не более одного индивида. При этом в некоторых случаях элементы множества F фактически можно рассматривать как имена или как индивидуальные константы, которые выделяют один и тот же индивид во всех возможных мирах, т.е. имеют один и тот же референт. В других же случаях удобнее пользоваться самими функциями $f \in F$, поскольку значение сингулярного термина определяется не столько случайно присущим ему референтом, сколько способом установления этого референта. Таким образом способ установления референта (определенная функция) становится самостоятельной семантической сущностью, становится, как сказали бы многие, интенционалом особого рода. В связи с этим возникает целый ряд важных логико-философских проблем.

Во-первых, как отмечает Хинтикка, использование этого понятия функции «хорошо подчеркивает один из наших чрезвычайно важных и нетривиальных врожденных концептуальных навыков, а именно способность распознавать тождество

индивида при различных обстоятельствах и при различных направлениях развития событий» [там же, с. 89].

Во-вторых, сами по себе «элементы F не являются элементами возможного мира; они не являются частью наших представлений о «содержании» этого мира. Они должны «иметь место» или, пожалуй, даже «существовать», они, безусловно, «объективны», но не играют никакой онтологической роли» [там же, с. 94].

Возникает соблазн трактовать такие функции как особый класс «индивидуальных концептов», но эти два класса не совпадают: индивидуализирующие функции, или функции отождествления, задают «способ индивидуализации», но не обязательно находят определенный индивид; с другой стороны, не каждому произвольному сингулярному термину рассматриваемой области $I(\mu)$, выделяющему в ней некоторый индивид, т.е. «обычный индивид», может сопутствовать функция из класса F [там же, с. 95].

Теперь можно вернуться к упомянутому вопросу: является ли система Хинтикки иерархией языков или обобщениями различных комплексов ситуаций использования языка? На основании изложенного нам ответ неясен.

Система Монтегю в этом отношении построена более прозрачно. Три координаты Монтегю, как они резюмированы В. З. Демьянковым [Демьянков 1982, термины 2569—2571], в основном совпадают, на наш взгляд, с тремя измерениями, о которых идет речь в нашей книге: 1) «координата отнесения» (assignment coordinate), т.е. «бесконечная последова-

тельность объектов, рассматриваемая как задающая значения переменных в выражениях типа «высок» или «А — сын В», — это координата семантики; 2) «координата контекста» (contextual coordinate), по существу «несколько координат — времени, места, говорящего, аудитории, указываемого объекта, предшествующего дискурса», — это расширенно понятая координата *синтактики*; по крайней мере «координата предшествующего дискурса» определенно относится к синтактике; 3) «координата возможного мира» (possible world coordinate), в которую «входят факторы истинности или ложности относительно конкретных возможных миров», — это координата *прагматики*.

У Монтегю его так называемый прагматический язык L является формальным метаязыком по отношению к естественному языку, хотя при интерпретации языка L «прежде всего мы должны определить множество всех возможных ситуаций использования» [Монтегю 1981a, 226] (см. также выше, гл. VI, 1). Иерархия языков у Монтегю представляет собой иерархию логических метаязыков, каждый из которых описывает соответствующие множества ситуаций использования. В порядке увеличения силы этих метаязыков естественными системами являются: 1) узкая модальная логика, т.е. содержащая только индивидуальные термы и логический оператор (необходимости); 2) прагматика, в которой содержатся произвольные внелогические пропозициональные операторы (одноместные или многоместные, но не связывающие переменных); 3) расширенная прагматика, которая содержит произвольные операторы, связывающие переменные; 4) второпорядковая система, набросок которой был сделан самим Монтегю; 5) системы высших порядков, построенные по этому образцу [Семантика модальных и интенциональных логик 1981, 316].

Система Монтегю более ясна в отношении иерархии: речь в ней идет об иерархии метаязыков. Но с лингво-логической точки зрения она менее интересна, чем система Хинтикки.

Понятие причинной истории, или каузальной истории (causal history), — одно из понятий новой семантики, ориентированной на прагматику (дектику). В сущности, прежде всего это понятие — неформальный аналог формального понятия твердого десигнатора и индивидуализирующих функций. Если говорящий (и в более общем случае всякий носитель языка) должен уметь отождествлять одного и того же индивида в разных возможных мирах, — а мы уже видели выше, что это понятие описывает некоторые весьма обычные случаи употребления языка, — то говорящий должен уметь связывать одно имя с разными превращениями одного индивида и, наоборот, разные имена, соответствующие разным ситуациям и мирам, — с одним и тем же индивидом. Примером первого может служить, скажем, такая ситуация: мы спрашиваем: *А как теперь Ванечка?*, и нам отвечают: *Спасибо, он уже Иван Иванович, женился, сам имеет сына, кста-*

ти тоже Ванечку. Несмотря на возможную путаницу и спрашивающий и отвечающий прекрасно понимают друг друга в силу знания «истории» имени *Ванечка* в их

идиолекте. Более сложный случай — имена родов и видов животных. Почему имя *kut* в наше время связывается с тем же животным, с каким связали его наши предки в незапамятные времена? Очевидно, потому, что имеется некая непрерывная история передачи имени — его «причинная история». И хотя наши предки, скорее всего, помещали кита в иной мыслимый мир (в некоторых языках, скажем в английском и русском, он прямо связывается с рыбами — рус. *рыба-kut.*, англ. *whale-fish*), а мы твердо знаем, что это млекопитающее, тем не менее мы прилагаем это имя к тому же животному, и, главное, мы уверены, что это то же самое животное.

Примером второй ситуации может служить такой случай, когда мы отождествляем как одного и того же индивида человека, которого называют то *Иван Иванович*, то *отец Ванечки*, то *завотделом*, то *наш толстяк* и т.п. Могут встретиться и ситуации иного рода — когда носитель языка должен уметь различать индивидов, обладающих одним и тем же именем типа нетвердой дескрипции: например, ее муж — *Она каждый раз приходила на Новый год со своим мужем* (но ее мужем был каждый раз иной мужчина).

Конечно, само явление, называемое теперь причинной историей имени, для исследователей семантики не ново. Оно известно в частном случае как «внутренняя форма слова» в концепции А. А. Потебни, как «этимология», как «семантическая история слова» и т.д. Его ближайшим прообразом является «порядок вхождения дескрипций в текст» в концепции Б. Рассела (см. гл. IV, 3). Новым в новом понятии является то, что оно связывает причинную историю с семантической структурой имени, а последняя освещается теперь существенно иначе, чем, скажем, во времена А. А. Потебни. В частности, большой и интересной проблемой является следующая. Если принять наиболее тонкую концепцию смысловой структуры имени, концепцию К. И. Льюиса, в которой выделяются четыре «модуса значения» (см. гл. VI, 2), то с каким из модусов связана фиксация имени на протяжении истории — с денотатом? интенционалом? компрегенсией? или сигнификацией? Мы видели выше, что уже со времен схоластов — и, в общем, справедливо — устойчивость имени связывали с его сигнификацией. Но теперь, когда рядом с этим семантическим понятием появились еще два — «интенционал» и «компрегенсия», не следует ли уточнить это утверждение? (На наш взгляд, конечно, следует.) В рамках новой парадигмы вопрос обсуждался, пока без окончательного результата, в целом ряде работ [см., например: Холл Парти 1983, там же библиография].

Вот, пожалуй, и все, что мы можем сказать о новой парадигме в рамках этой книги.

409

Не создается ли впечатление, что в области философских проблем языка постепенно снова возвращаются к уже оставленным вопросам, прежде всего к семантике, причем даже к семантике имени? Да. Нам кажется, что такое впечатление не обманчиво, а отражает самую суть дела. Завершив описание прагматики или находясь близко к его завершению, парадигма начинает новый виток спирали — описанием семантики, за которым последует, вероятно, описание синтактики, но уже обогащенное прагматикой, и, наконец, снова описание прагматики на новом, более высоком уровне.

Что значит, например, что начнется новое описание синтактики с учетом прагматики? Как это можно себе представить? Видимо так, что в описании будут учитываться все более длинные текстовые последовательности — не только предложения, но и их последовательности — абзацы, и не только абзацы, но и последовательности абзацев и т.д. И параллельно этому ситуация использования языка будет все более глубоко освещаться — по мере увеличения длины текста будет все более проявляться личность автора, характер его адресата, представления того и другого о мире и т.д. — все это станет предметом единого, унифицированного, строгого описания языка. (Но, конечно, слово «прагматика» не следовало бы употреблять, во всяком случае без кавычек, после того как введен термин «дектика»).

Чтобы перейти к поэтикам этой новой парадигмы, — а они связаны в особенности с понятием индивидов в разных возможных мирах, — вернемся еще раз к уже рассмотренной ситуации. Положим, Она каждый раз являлась на Новый год со своим мужем (но мужем был каждый раз иной мужчина). Разновидностью этой ситуации, относящейся к будущему, будет, например, следующая: Я ищу маляра, который будет делать мне ремонт; но при этом в одном случае я могу искать индивида, с которым я уже знаком и лишь на время потерял его, а в другом случае — еще не известного мне индивида, который должен удовлетворять единственному признаку — «он будет делать мне ремонт»; многие языки имеют средства, с помощью различных артиклей и наклонений, легко различить эти два случая, русский тоже — *Я ищу маляра, который будет делать...; Я ищу маляра, который сделал бы...*

Однако в общем случае, т.е. логически, при неограниченно возрастающем количестве индивидов и миров, описать эти различия оказывается сложной задачей. К

таким ситуациям можно отнести следующее высказывание Хинтикки: «Дело в том, что индивидуальная константа, встречающаяся в области действия некоторого оператора пропозициональной установки типа В (т.е. мнения, веры. — Ю. С.), не выделяет из множества всех индивидов какой-либо единственный индивид. Скорее, она выделяет по индивиду в каждом из возможных миров, которые нам приходится рассматривать. Попробуйте заменить эту константу индивидуальной переменной, и вы не сможете описать результат этой заме-

410

ны, даже используя все индивиды, по которым пробегает эта переменная. Поэтому мне кажется, что в данной ситуации вообще не существует однозначно определенных индивидов» [Хинтикка 1980, 82].

Подобные логические проблемы являются аналогами некоторых основных положений «поэтик эгоцентрических слов».

4. ПОЭТИКИ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ

4.0. Вводные замечания

Нет необходимости подробно говорить здесь (это сделано в гл. IV, 5), что соответствия между поэтиками и философиями языка могут быть соответствиями по содержанию и по методу (последние мы назвали формальными). Нет, разумеется, ничего общего с формальной стороны между утверждениями Хинтикки, которыми мы закончили предыдущий раздел, и следующим ниже стихотворением Лермонтова, но есть большое сходство в содержании. Индивиды в логическом возможном мире могут «расщепляться» в том смысле, что одному имени будет отвечать иной индивид, чем в действительном мире, или несколько индивидов, тогда как в действительном мире он был один. И разве не о чем-то подобном говорит стихотворение (1841) Лермонтова? Стихотворению предпослан эпиграф из Гейне (да оно и является свободным переводом из Гейне):

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt' es dem andern gestehn.
Heine

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали. —
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Последняя (выделенная нами) строчка, — а нам кажется, ради нее и написано все стихотворение, — содержит предчувствие новых реальных и трагических человеческих проблем в реальном разделенном на противопоставленные миры мире и предчувствие новых прекрасных поэтик.

Содержательные (различные) поэтики эгоцентрических слов — впрочем, все в той или иной мере связанные с поисками в области фор-

411

мы речи — это поэтика Музиля, поэтика Пруста и отчасти поэтика Горького в его автобиографической трилогии и в романе «Жизнь Клима Самгина». Сюда же нужно отнести отчасти теорию театра Брехта.

Формальные поэтики эгоцентрических слов — это разнообразные «малые» экспериментальные поэтики многих авторов и литературных течений XX в. — от русского имажинизма до «нового романа» во Франции. Формальные поэтики также в определенной мере связаны с поисками нового содержания, но последнее занимает в них гораздо меньше места по сравнению с поэтиками первого типа. Собственно говоря, «формальный» здесь означает «экспериментирующий над речью произведения», но экспериментирующий в особом направлении «эгоцентрических координат».

Параллельно сдвигам в художественном сознании быстро развивалась «теория художественной речи». Уже в книге В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» (Л., 1929) вся третья часть «К истории форм высказывания в конструкциях языка» посвящена вопросу о том, как на протяжении веков происходит постепенная переориентация речи изображаемого персонажа — прямых реплик или так называемой косвенной речи на новые координаты — на «Я» автора, вследствие чего возникают различные формы «несобственной прямой речи». В XX в. новые формы выдвигаются на центральное место в художественной литературе, и это значит, что вместе с ними выходят на первый план и соответствующие им новые поэтики. В той мере, в какой последние занимаются проблемой речи, они формальные поэтики, а заниматься этой проблемой по необходимости должны они все, это вытекает из самой природы новых речевых отношений. «"Чужая речь", — писал Волошинов, — это речь в речи,

высказывание в высказывании, но и в то же время это и речь о речи, высказывание о высказывании» [Волошинов 1929, 136]. Прообраз этого теоретического положения мы увидим в поэтике М. Горького (см. ниже).

В те же годы быструю эволюцию в направлении к эгоцентрическим словам (в нашей терминологии) проходит концепция художественной речи акад. В. В. Виноградова [1971]. «Образ автора, — пишет акад. Д. С. Лихачев, — как предмет изучения и в еще большей мере как особая сфера, в которой лежит объяснение единства различных стилистических пластов языка художественной литературы, был особенно существен для той новой науки о языке художественной литературы», которую создавал В. В. Виноградов [Лихачев 1971, 212]. Но «"образ автора", — отмечает другой исследователь взглядов В. В. Виноградова, — родился как дитя «языкового сознания», сначала почти не отличимое от родителя; как и «языковое сознание», свой первый и самый общий контур он получил в размышлениях над лирикой — Ахматовой, Есенина, Некрасова, И. Анненского, Вл. Соловьева, символистов. Но теперь в анализе поэзии Виноградов решительно переключается от «символики» к

412

«субъективности» [Чудаков 1980, 310]. А это переключение в свою очередь было связано с иной, не «синтаксической» философией языка вообще. А. П. Чудаков отмечает: «Для Виноградова... формальный метод, к которому он был так или иначе близок, не исключал внутреннего тяготения (невозможного для членов Оползня) к противоположному полюсу — феноменологическому. Напряжение между этими методологическими возможностями и обуславливало своеобразие его научной позиции начала 20-х годов» [там же, с. 312].

Учитывая опыт «теории художественной речи», мы постараемся, однако, ниже более непосредственно проследить некоторые, по большей части никем не отмеченные, параллели новой философии языка и ряда зачастую предшествующих ей и опережающих ее поэтик.

4.1. Поэтика «человека без свойств» в XX в. Р. Музиль

Войти в мир Роберта Музиля (1880—1942), пишет А. В. Карельский, одного из крупнейших австрийских и вообще немецкоязычных писателей XX в., — нелегкая задача. Музиль показывает мир сознания современного человека — и даже, сказали бы

мы, не один, а разные «возможные интенциональные миры», — и действие в его произведениях происходит, строго говоря, внутри этого сознания; через него преломлены все предметы и люди внешнего мира, оно их отбирает и располагает по значимости, оно их интерпретирует [Карельский 1980, 3]. Из всех художников слова XX в. Музиль, пожалуй, наиболее прямо создает своей поэтикой аналог логической концепции возможных миров.

Мы бегло упомянем лишь трехтомный роман Музиля «Человек без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften», 1930—1943), название и тема которого явно стоят в связи с «человеком без свойств» Ибсена и Достоевского (гл. IV, 5.1). Музиль по-своему последовательно шел к этой теме, очищая понятие «свойство» от слишком конкретных черт реальности. Новелла «Тонка» (1923) первоначально должна была называться «Человек без чувств»; позднее Музиль пишет рассказ «Человек без характера» и, наконец, параллельно — «Человек без свойств». Чувства — черты характера — свойства — таковы последовательные ступени восхождения от частного к общему.

«Ведь каждый житель страны, — писал Музиль в «Человеке без свойств», — имеет по меньшей мере девять характеров: профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознаваемый, неосознанный и еще, наверное, личный характер, который все их в себе объединяет, но они размывают его, и он, собственно, не что иное, как маленькая лощинка, затопленная водой многих ручейков»; десятый, последний характер противостоит всем остальным: «он разрешает человеку всё, кроме одного: всерьез воспринимать все эти девять характеров» [Musil 1980, 380]. Пожалуй, эта концепция ближе все-

го к ибсеновской в «Пер Гюнте». Но «человек без свойств» в музильевском романе — это уже продукт XX в.

В романе есть глава с названием «Если есть смысл действительности, то должен быть и смысл возможности». Она начинается словами:

«Если кто-либо хочет успешно пройти в открытую дверь, он должен учитывать тот факт, что двери имеют твердые косяки: этот принцип, согласно которому всегда жил старый профессор, есть всего лишь требование, вытекающее из смысла действительности. Но если есть смысл действительности и никто не оспаривает, что он

обладает полномочиями наличного бытия, то должно быть и нечто, что можно назвать смыслом возможности.

Тот кто им обладает, никогда не скажет, например: «Здесь произошло то-то и то-то, произойдет то-то и то-то, должно произойти то-то и то-то»; он устанавливает: «Здесь может или должно произойти то-то», а если ему объясняют, что дело обстоит именно так, как оно обстоит, он думает: «А могло бы быть и иначе». И смысл возможности можно определить именно как способность мыслить всё, что могло бы быть с такой же вероятностью, с какой произошло всё, что произошло, а то, что есть, не считать более важным, чем то, чего нет» [там же, с. 131].

Ульрик, герой романа, говорит: «В необозримой протяженности времени бог создал не одну только эту жизнь, которой мы сейчас живем, она ни в коей мере не истинна, она лишь одна из его многих — и, будем надеяться, осмысленных — попыток; он не вложил в нее для нас, для тех, кто не ослеплен данным мгновением, никакой обязательности» [там же, с. 13]. Понятно, почему мы рассматриваем поэтику Музиля в контексте философии возможных миров и эгоцентрических слов.

Возможный мир, «иное состояние» (der andere Zustand) — вот мир, или, точнее, миры, его романа, и им, естественно, соответствует герой, не обладающий раз навсегда закрепленными за ним свойствами одного данного, реального мира. Музиль был неудовлетворен психологизмом Гауптмана и Ибсена, потому что у них характеры были детерминированы обстоятельствами данного мира, психологически (кроме, конечно, Пера Гюнта). Музиль же хотел детерминировать характер этически, т.е. возможными, притом всеми возможными, обстоятельствами «возможных миров» [ср.: Карельский 1980, 19].

По-видимому, именно в таком, втором, значении следует понимать и слова Достоевского о себе: «я не психолог, а реалист в высшем смысле» (Биография, письма, заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 373). Быть писателем-реалистом «в высшем смысле» — значит описывать поступки персонажей как детерминированные не психологически и не обстоятельствами конкретной действительности (среды, обстановки и т.д.), а как детерминированные их, и соответственно автора, представлениями об этически должном, но, по отношению к действительности, лишь возможном мире.

4.2. Русский имажинизм —

«малая поэтика эгоцентрических слов»

Русские имажинисты 1920-х годов, главным образом теоретики — В. Шершеневич, А. Мариенгоф, Р. Ивнев, создали, главным образом в теории, поэтику имажинизма (от франц. *image* 'образ'). Имажинизм был слабым литературным течением, но провозглашенная им поэтика оказалась едва ли не первой «поэтикой эгоцентрических слов» (это название, разумеется, дали не имажинисты, а мы в этой книге). Вообще все поэтики модернизма — формалистов, футуристов, имажинистов, позднее структуралистов и даже, хотя в меньшей степени, символистов — некоторыми чертами, в особенности «операциями над словом», близки друг к другу. Для части поэтик — формалистов и символистов — этот факт уже отмечался [Мясников 1975]. Посмотрим теперь на их различия в отношении к слову в большем приближении.

Подобно футуристам и особенно Хлебникову, имажинисты устремлялись к глубинному образу слова: «Необходимо помнить всегда первоначальный образ слов, забывая о значении. Когда вы слышите «деревня», кто, кроме поэта имажиниста, представляет себе, что если деревня, то значит все дома из *дерева*, и что *деревня*, конечно, ближе к *древесный*, чем село. Ибо город это есть нечто огороженное, *копыто* копающее, *река* и речь так же близки, как *уста* и *устье*» (В. Шершеневич. Ломать грамматику, 1920 г. [Литературные манифесты 1929, 103]).

Подобно Рембо и символистам, и особенно Вяч. Иванову, имажинисты видели основное слово в имени существительном: «Существительное — это тот продукт, из которого готовится поэтическое произведение. Глагол — это даже не печальная необходимость, это просто болезнь нашей речи, аппендикс поэзии. И поэтому началась ревностная борьба с глаголом; многочисленные опыты Мариенгофа («Магдалина», «Кондитерская солнц»), Шершеневича (в «Плавильне слов», в «Суламифь городов») и др. наглядно блестяще доказали случайность и никчемность глагола. Глагол — это твердый знак грамматики (т.е. буква «ь», которая в то время была почти исключена из русского правописания. — Ю. С.): он нужен только изредка, но и там же можно обойтись без него... Поэтому так радостно встретить каждую неправильность грамматики, каждую аграмматичность.

Где дикий крик безумной одноколки,
Где дикий крик безумного меня»
[там же, с. 107].

«Существительное есть сумма всех признаков данного предмета, прилагательное — лишь один признак... прилагательное — это обезображенное существительное» [там же, с. 109].

«Протяните цепи существительных, в этом правда Маринетти (имеется в виду итальянский футурист. — Ю. С.)... Маринетти, потерявший когда-то фразу «поэзия есть ряд непрерывных образов, иначе она только бледная немочь», фразу, которую все книги имажинистов должны были бы носить на лбу, как эпитафия, уже требовал разрушения грамматики» [там же].

«Мы хотим славить несинтаксические формы. Нам скучно от смысла фраз: доброго утра! Он ходит!.. Нам милы своей образностью и бессмысленностью несинтаксические формы: доброй утра! или доброй утры! или он жожу!» [там же, с. 112].

Сходным образом В. Шершеневич рассматривает все части речи — от существительного до предлогов, возводя их в ранги сообразно степени аграмматичности. И тогда делается понятным — столь важное для имажинистов — отличие их от футуристов: «Не заумное слово, а образное слово есть материал поэтического произведения» [там же, с. 110]; «Когда-то Хлебников пытался найти внутреннее склонение слов. Он доказывал, что «бок» это есть винительный падеж от «бык», потому что бок — это место, куда идет удар, бык — откуда он идет. Лес — это место с волосами, а лыс — без волос. Он хотел доказать невозможное, потому что образ не только не подчинен грамматике, а всячески борется с ней, изгоняет грамматику» [там же, с. 106].

В своем требовании «аграмматической формы» русские имажинисты выступили предвестниками будущего французского структурализма в поэтике.

Необходимо все же, хотя бы бегло, коснуться общественной позиции имажинизма. В 1927 г. группа имажинистов распалась, а уже в 1928 г. В. Шершеневич писал: «Имажинизма сейчас нет, ни как течения, ни как школы.

Причины зарождения и кончины имажинизма закономерны, как и всё в истории литературы.

Имажинизм появился как противовес футуризму. Футуризм был возрождением натурализма. Исконная борьба натурализма с романтизмом должна была выдвинуть противника футуризму, и этим противником явился имажинизм.

Борьба была крепкая и насмерть» [там же, с. 127].

По-видимому, эта самооценка в основном верна. Но, устанавливая новый канон, имажинизм не мог не прийти в противоречие со своей романтической сутью и не распасться. Это уже задолго до того пророчили слова временного «имажиниста в теории» Есенина.

Еще в 1920 г. Есенин писал: «Они хотят стиснуть нас руками проклятой смоковницы, которая рождена на бесплодие; мы должны кричать, что все эти пролеткульты есть те же самые, по старому образцу, розги человеческого творчества. Мы должны вырвать из их звериных

416

рук это маленькое тельце нашей новой эры, пока они не засеки его. Мы должны сказать, так же, как сказал придворному лжецу Гильденштерну Гамлет: «Черт вас возьми! Вы думаете, что на нас легче играть, чем на флейте? Назовите нас каким угодно инструментом — вы можете нас расстроить, но не играть на нас». Человеческая душа слишком сложна для того, чтобы заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают... Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма, футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди» («Ключи Марии») [там же, с. 119].

Обращенные против всякого стесняющего канона в поэзии, эти слова разлили и имажинизм.

В заключение нужно лишь сказать, что лучшие образцы поэтической практики имажинистов, стихи самого Есенина, его «имажинистского периода», не имеют, к счастью, почти ничего общего с их теоретической поэтикой.

4.3. «Поэтика очевидца» в автобиографической трилогии и в «Жизни Клим Самгина» М. Горького

Уместно ли хотя бы упоминать имя великого писателя социалистического реализма рядом с именами модернистов? Разрешение на это дал сам Горький. «Поясняю, — говорил он, по свидетельству И. Груздева, — именуя себя самого «типичным», я титул этот отношу также и к бывшим товарищам моим: Андрееву, Арцыбашеву, Бунину, Куприну и еще многим. Пора отметить, что во всех нас было и есть нечто общее, не идеологически, разумеется, а — эмоционально. Догадаться о том, что именно это было, это я предоставляю критикам». К словам «и еще многим» Горький сделал примечание: «В. В. Вересаева — исключаю, ибо из всех нас он один наиболее устойчиво удержался в позиции «чистого» литератора» (И. Груздев. Мои встречи и переписка с Горьким. — Звезда, 1961, № 1, с. 159).

В примечании Горький указывает по крайней мере на одну из тех черт, которые составляли это «эмоционально общее» — не оставаться на позиции «чистого» литератора. Но ведь социально и политически и Вересаев не был «чистым» литератором в «башне из слоновой кости». Очевидно, Горький имеет в виду сам характер литературной продукции.

Мы считаем, что новаторская поэтика самого Горького в трилогии и «Климе Самгине» — это поэтика очевидца (и этим, в частности, она противостоит поэтике Вересаева, который творит по канонам «литературности»). «Позиция очевидца» помогает понять и стянуть в

417

пучок яркие своеобразные черты горьковской поэтики, отмечавшиеся некоторыми исследователями.

Отношение к «Я». Как мы (и не первые) уже отмечали, европейский роман нового времени, в особенности, вероятно, начиная со Стерна, неуклонно вычленил в своей форме различные «Я» — «Я» персонажа, «Я» рассказчика о персонаже, причем рассказчик в свою очередь персонаж, «Я» повествователя о рассказчике, «Я» автора, пишущего о рассказчике, а тем самым и обо всех остальных. У Горького же с необыкновенной силой представлены различные «Я» самого автора — расслоение «Я» переходит внутрь личности автора. Форма повествования о самом себе, автобиографии, как нельзя лучше способствовала этому. Обратимся к тексту «Детства» (здесь и далее

цит. по изд.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т. М.: ГИХЛ, 1951, т. 13). Эпизод, когда Алеша нападает с ножом на отчима, разговор с матерью:

«Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит...» (с. 185).

Н. К. Гей отмечает, что здесь мы явственно различаем два голоса, принадлежащих единому «Я» автора-рассказчика, — голос персонажа (Алеши в прошлом) и голос повествователя. «Столкновение этих голосов и становится структурой горьковского повествования. Первый голос: «Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что...» и т.д. Второй голос: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя...» [Гей 1977, 411].

Это верно, но расслоение «Я» идет глубже. В «первом голосе» уже два «Я» — одно «Я» несомненного и подлинного Алеши в момент события: «Зарежу вотчима и сам тоже зарежусь»; другое «Я» — перед союзом *что*: «Я... вполне понимая, что говорю, сказал ей, что...», это «Я» субъекта пропозициональной установки, типичный предмет изучения логиков. Но кто этот «Я» с точки зрения повествования? Это и не Алеша события, не тот Алеша, который кричит: «Зарежу!», и это не мудрый автор Максим Горький, который несколькими строками ниже говорит: «Вспоминая эти свинцовые мерзости...». Это «Я» Алеши, как бы осознающего себя со стороны. Но в какое время? Сколько ему, этому осознающему себя Алеше, лет? Ответить на эти вопросы невозможно, да они и не требуют точного ответа. Он и не молодой и не старый, он в промежутке между двумя — мальчиком и писателем. Это тот Алеша, которому принадлежат промежуточные строки приведенного абзаца: «Я думаю, что сделал бы это...; Даже сейчас я вижу эту подлую, длин-

ную ногу...» — видит, конечно, теперешний автор, но видит и тогдашний Алеша, разрыва нет: «Я вижу эту ногу (тогда) и вижу ее сейчас».

Членение «Я» естественно связано с расслоением временных планов. Уже первая сцена «Детства» привлекает с этой точки зрения внимание читателя и исследователей.

«В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет...

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов...

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом...» (с. 9).

Сколько лет тому, кто это говорит? Он мальчик или он писатель? И то и другое, то — в одной фразе («...лежит..., пальцы растопырены...»), другое — в другой («...черной гребенкой, которой я любил перепиливать...»). Почему не «люблю перепиливать», почему «любил»? Потому, что это уже взгляд из другого времени.

Более того, переплетаются не только два временных плана и два грамматических времени («...лежит... — я любил...»), но и два способа видения. Н. К. Гей точно формулирует: «Взгляд ребенка, но слово писателя... Выражение, словесное закрепление этих подробностей — из другого времени, чем сама изображенная сцена», это «сложная иерархия этих двух единств, за которой в литературе всегда стояла иерархия слова звучащего и слова письменного. Горький во многом вернул прозаическое литературное слово в естественную разговорную стихию, в стихию рассказывания; в то же время горьковское рассказывание не есть сказ или выработанные литературой XIX в. и особенное развитие получившие в прозе XX в. формы стилизации письменного повествования, подчас подчеркнуто нарочитые, под разговорную речь. (У Лескова и особенно у Ремизова.)» [Гей 1977, 412]. Это мы и называем рассказыванием рассказчика-очевидца.

«Горький сделал рассказывание, словесный эквивалент динамики жизни, — заключает Гей, — как бы равноправным предметом произведения наряду с непосредственным воссозданием фактов, явлений, событий. Рассказывание для Горького стало не только средством организации повествования (но прежде всего все-таки именно этим средством. — Ю. С.), но и в известном смысле особого рода

«персонажем». Из техники повествования и средства организации содержания произведения оно превращается в способ художественного мышления» [там же, с. 413]; в «Жизни Клим Самгина» — другое глубоко верное наблюдение Гея —

сама форма рассказывания, повествование, «становится моментом документализации».

Горьковский текст, особенно в «Климе Самгине», хотя местами это заметно уже в «Детстве» и в других частях трилогии, подчиняясь принципу документализации, начинает напоминать газетный текст, где без видимой внешней связи, — кроме той чрезвычайно сильной связи, что все это имеет отношение к сегодняшнему дню и очень важно сегодня, — сопоставлены факты и события разных сфер жизни и даже разных стран.

Принцип сказочного повествования «откуда ни возьмись» доминирует в первой части трилогии, и он там естественно мотивирован особенностями детской памяти: «...Во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек. — Ты откуда пришла? — спросил я ее» (с. 10). «Потом он вдруг исчез и его заменила бабушка» — типичная форма появления и исчезновения персонажей в мире «Детства». Но этот прием сохранится и в «Жизни Клим Самгина». Мотивировки появления персонажей, причинная связь, или, как можно сказать по аналогии с логикой, «причинная история» разных появлений одного и того же персонажа, отходят на второй план, мотивировки здесь — это требование самого повествования: так нужно, чтобы складно рассказать.

Вследствие этого при каждом новом появлении персонажи предстают как до некоторой степени новые личности; изменения совершились в них за пределами мира Алеши и рассказчика, и внезапно, «откуда ни возьмись», возникший персонаж приносит с собой нечто из нового мира; он каждый раз персонаж нового мира. В «Детстве» это особенно заметно при многократных появлениях и превращениях матери и одном, но решающем превращении деда.

В начале повести мать «чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки» (с. 10); «ее большое, стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос — вся она, мощная и твердая...» (с. 17).

В середине: «...Я поглядел им вслед, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова... Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан... Лицо ее показалось меньше, чем было прежде, меньше и блее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее... от нее исходил освежающий, вкусный запах... В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое...» (с. 127).

Чуть позже, и тоже внезапно: «Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув

кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!» (с. 136).

Еще чуть позже, перед новым замужеством: «Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался» (с. 163).

И в конце, опять внезапно: «Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня...» (с. 174); «Я ушел в сени, сел там на дрова и ооченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя...» (с. 175).

Тот же прием, уже постоянно и без какой-либо мотивировки памятью повествователя, действует на всем огромном пространстве романа «Жизнь Клим Самгина». Подмеченная М. Б. Храпченко [1982, 372] другая особенность этого романа самостоятельность многих его эпизодов, — очевидно, стоит в связи с рассматриваемым приемом.

«Клим не видел Сомову больше трех лет; за это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку... Иноков похож на придурковатого сельского пастуха. В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим» (т. 19, с. 271). Персонажи появляются внезапно

(хотя это внешне и мотивировано обстоятельствами приезда Клим) и предстают изменившимися до неузнаваемости, потому что они пребывают в независимых, отчужденных и непересекающихся мирах.

Уже к концу первой части мотивировки появления персонажей конкретными обстоятельствами их жизни все больше перестают играть роль и в противовес им усиливается внутренняя необходимость их появления в рамках художественного повествования — они необходимы как точки опоры в нескончаемом диалоге Клим с людьми и с самим собой. Вот кусок, который идет в пейзажном повествовательном стиле (он мог бы быть переписан во «вневременном настоящем» времени): «Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои... Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий... Маракуев, плохо притворяясь не верующим в то, что говорит, с о о б щ а л (езде разрядка наша; заметим несовершенный «пейзажный» вид глагола. — Ю. С.): подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым... Кобозев... в день коронации взорвет Кремль.

— Конечно, это похоже на сказку, — г о в о р и л Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. (Маракуев уже выступил из пейзажа; собственно, следо-

вало бы сказать «...— сказал Маракуев», ибо он выступил и «сказал» один раз; но этот однократный глагол слишком дисгармонировал бы с предыдущим описанием. Но уже следующая без перерыва фраза — с однократным глаголом. — Ю. С.) Лидия сердито п р е д у п р е д и л а его:

— Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе.
Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный...» (с. 439).

Вот и всё. Никто никуда не приезжал, не приходил и не сходилась — персонажи просто выступили из пейзажа, из фона, и — заговорили; сцена началась.

В эпизоде Ходынки, в конце первой части, встречи персонажей следуют одна за другой, что нельзя объяснить реальными обстоятельствами: десятки тысяч травмированных, потрясенных людей разбрелись по Москве. (Можем мы встретить в большом городе, в толпе нескольких своих знакомых подряд?) А между тем:

« — Я больше не могу, — сказал он (Клим, бредущий с Макаровым. — Ю. С.), идя во двор. За воротами остановился, снял очки... Макаров за воротами, удивленно (внезапность встречи! — Ю. С.) и вопросительно крикнул:

— Стойте, куда вы?

Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева, без фуражки, с растрепанными волосами...» (с. 453).

Через час или около того, выйдя из квартиры, «они шли пешком, когда из какого-то переулка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара...» (с. 459).

Эти неожиданные и почти невозможные встречи усиливают впечатление апокалиптического хаоса реального, «ходынского» мира.

В последней части романа, где уже нет деления на главы, в частности во французских сценах, неожиданные появления и исчезновения персонажей в поле зрения Клим начинают свидетельствовать уже не о чрезвычайности событий, а о постоянном хаосе жизни, как она предстает в сознании Клим.

Рассказ о речи у Горького еще не стал «речью о речи», непрямая, или «включенная» в авторскую, речь персонажа у него не встречается, — так и следовало ожидать в повествовании с «позиции очевидца», — но часто он рассказывает о речи персонажа. Этот горьковский прием широко известен, и мы лишь напомним, что имеется в виду: «Говорила она (бабушка. — Ю. С.), как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные» (т. 13, с. 15); «Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться» (там же, с. 25); «Трудно было понять, что говорит отец (Клим. — Ю. С.), он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том,

как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках» (т. 19, с. 18).

Замена смысла речи впечатлением от речи в «Климе Самгине» начинает играть все большую роль по мере продвижения от начала романа, это соответствует эгоцентризму и Клим и самого романа: повествователь-автор как бы отождествляется с Климом. То, что речь такого-то человека, скажем, «булькает» или «пенится», для Клим подчас оказывается важнее того, что она сообщает: «Вначале ее (Марины. — Ю. С.)

восклицания показались Климу восклицаниями удивления или обиды. Стояла она спиной к нему, он не видел ее лица, но в следующие секунды понял, что она говорит с яростью...» (там же, с. 225). Смысл речей, которые слышит Клим, перестает играть определяющую роль, теряется среди других элементов восприятия мира; и это еще усиливает ощущение непонятности и хаоса происходящего, которое рождают и другие элементы романа, такие, как внезапные появления и исчезновения людей в поле зрения Клина.

В инсценировке романа на сцене театра им. В. Маяковского в Москве речи персонажей подчас были как бы разделены на отдельные яркие реплики и в ином порядке снова розданы персонажам (не всегда тем, кому реплики принадлежат в романе); но это не отразилось отрицательно на инсценировке (т.е. если что и отразилось отрицательно, то не это); по-видимому, возможность такого «прочтения» отчасти коренится в поэтике романа.

Если сравнить статью на слово «говорить» из «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» (вып. 2. Д., 1977) и из «Словаря языка Пушкина» (т. 1. М., 1956), то бросается в глаза, что у Горького этот глагол окружен колоссальным (в совокупности) количеством наречий и других характеризующих слов, а у Пушкина выступает чаще всего кратко и по сравнению с горьковским говорением голо.

4.4. Эгоцентрическая поэтика М. Пруста

Марсель Пруст (1871—1922), автор грандиозного романа «В поисках утраченного времени», признан в своей национальной литературе, во Франции, как создатель величайшего шедевра и основоположник новой поэтики. Разумеется, здесь нет никакой возможности обрисовать эту поэтику во всей ее сложности и противоречиях. Мы остановимся лишь на нескольких ее чертах, которые непосредственно связаны с рассматриваемой парадигмой, — на ее «эгоцентризме». (Частично мы повторяем здесь свой комментарий ко 2-му тому романа [Степанов 1982]. Роман цитируется по полному французскому изданию в 3-х томах: *Proust M. A la recherche du temps perdu*. Т. 1—3. Р., 1954. Римская цифра в скобках обозначает том, арабская — страницу; перевод всюду наш.)

Следуя за Бергсоном, Пруст полагает материальным центром своего мира «образ своего тела». Бергсон писал: «Среди всех образов имеется один, находящийся в преимущественном положении; он воспринимается в своих глубинах, а не просто с поверхности; он является вместилищем аффектов и в то же время источником действия; именно этот образ я принимаю в качестве центра моего мира и в качестве физической основы моей личности» [Bergson 1954, 21]. Весь роман начинается с ощущения этого образа: иной раз, проснувшись среди ночи, «я в первое мгновение даже не знал, кто я, я испытывал только — в его первозданной простоте — ощущение, что я существую, какое, наверно, бьется и в глубине существа животного; я был простой и голый, как пещерный человек» (I, 5).

Но дальше в разных ситуациях, не подряд, но последовательно снимаются телесные пласты и остается внутреннее «Я», которое в свою очередь расслаивается на «Я» пишущего, «Я» вспоминающего, «Я» того, о ком вспоминают, на Марселя в детстве и т.д., пока не остается глубинное, предельное «Я» — «Эго». И, в сущности, о его перипетиях и идет речь. Оно — подлинный герой романа. И оно всегда — в настоящем, для него нет прошедшего. То, что прошло, что, казалось бы, должно было быть «Я в прошлом», — для Пруста уже другое «Я». «Я стал понимать, что умирать — это не что-то новое, что, напротив, начиная с детства, я уже умирал много раз. Если взять самое далекое время, то разве я не держался за Альбертину больше, чем за жизнь? Разве я мог тогда вообразить себя живущим, если прекратится моя любовь к ней? И вот — я ее больше не люблю, я перестал быть тем существом, которое ее любило, я стал другим существом, которое ее не любит. Я перестал любить ее, когда стал другим человеком. И вот же — я не страдаю от того, что больше не люблю Альбертину. И, конечно, в один прекрасный день не иметь больше тела — это никак не может показаться мне чем-то таким же статным, как когда-то казалось, что будет страшным, если я перестану любить Альбертину. А теперь — мне безразлично, что я ее больше не люблю! Эти происходившие одна за другой смерти, которых так боялось мое «Я», потому что они должны были его уничтожить, стали такими безразличными, нежестокими, когда они совершились и когда того, кто их так боялся, уже больше нет и он их не чувствует» (III, 1018).

И если одна из задач человека — избавиться от страха смерти и достойно встретить ее, то Пруст разрешил эту задачу: «Если мысль о смерти раньше омрачала мне любовь, то уже давно воспоминание о любви стало помогать мне не бояться смерти» — и далее следует приведенное выше место.

Отношения авторского «Я» к персонажам в романе оказались противоположными общепринятым. Обычно от всякого писателя-реалиста требуют, чтобы его персонажи в романе развивались, но развивается ли авторское «Я» — это никого не беспокоит. В романе Пруста все обстоит

424

наоборот — персонажи иной раз неподвижны, как статуи, иной раз возникают и исчезают и снова появляются уже как новые личности, преобразование которых совершилось где-то там, за пределами видимого мира художника (как в «Детстве» Горького), но зато авторское «Я» непрерывно движется, живет, вибрирует, развивается.

Естественно, что по отношению к «Я» как живому центру его мира персонажи и должны появляться, каждый раз после отсутствия на страницах романа, в виде новых личностей. То, что у Горького возникает как простое, хотя и яркое, следствие принятого способа повествования, у Пруста возводится в эстетический принцип. Одно из наиболее ярких превращений такого рода — художник Эльстир, в котором видят Ренуара или даже Ренуара, Моне и Гогена, а может быть, еще и Дюфи, вместе взятых. В первом романе цикла «В сторону Свана» он довольно часто появляется в светском кружке как некий «господин Биш», незначительное лицо, над которым подсмеиваются. Потом он исчезает со страниц романа, и вдруг, во втором романе, «Под сенью девушек в цвету», к удивлению читателя и самого автора, он возникает снова, и автор узнает его в ныне знаменитом художнике Эльстире. Можно сказать, что такие превращения личностей — это романский принцип. Но Пруст проецирует его в реальную жизнь.

Он считает, что личность человека способна бесконечно раскрываться, обнаруживая тем самым неисчерпаемое богатство творения. И поэтому, в зависимости от того, в какой момент она предстанет перед наблюдателем, она может быть принята за новую личность. Так, Пруст описывает свое впечатление от личности своего друга — офицера Робера де Сен-Лу: «Иногда моя мысль открывала в Сен-Лу некое более общее существо, чем он сам, «дворянина», которое, подобно внутреннему духу, двигало его членами, распоряжалось его жестами и поступками. В такие моменты, хотя и рядом с

ним, я оставался в одиночестве, как перед раскрывшимся передо мною пейзажем, гармонию которого я еще не постиг» (I, 736).

И на том же принципе Пруст основывает свои наблюдения над материей личности — над телом. Вот он, сам еще юноша, весело проводит время в кругу знакомых девушек на лугу или в роще, на курорте в Бальбеке: «Заря молодости, которая розовела еще на лицах этих девушек и уже сошла с моего, поскольку я был старше их, заливала своим светом все, что их окружало, и, как в живописи некоторых старых итальянских мастеров, выделяла самые незначительные детали их жизни на золотом фоне. В большинстве своем самые лица этих девушек представляли как бы еще размытыми в этом заливающим все золотистом свете зари, и их подлинные черты еще не проступили»; они проступают — и застывают — с возрастом очень скоро: «Конечно, когда женщина уделяет нам внимание, часы, проводимые около нее, окрашиваются, если мы ее любим, новым очарованием. Но она уже не предстает перед нами

425

всякий раз новой женщиной. Ее веселость остается чем-то внешним на ее уже навсегда неизменном лице» (I, 905).

Как у Горького, рассказ о людях сопровождается у Пруста рассказом об их речи. Местами целые страницы романа — это речь о речи. Любимые, симпатичные Прусту персонажи почти никогда не говорят прямо, за них говорит автор, и их речь сливается с его речью. Но когда персонажи говорят, то это значит, что они отчуждены от автора, и тогда их речь почти всегда вызывает ироническое отношение и производит слегка комический, как бы пародийный эффект. Зачастую он распространяется на окружающую такую пересказанную речь персонажа собственную авторскую речь, сливается с нею — возникает особый стиль литературной имитации, «пастиш». Пруст проявил себя как замечательный мастер такого подражания и выпустил целую книгу «Пастиши и смесь» (*Pastiches et Mélanges*), 1913).

Из похожей исходной точки, «эгоцентризма», у Горького и у Пруста возникают два различных стиля и две разные поэтики. У Горького Повествование очевидца» ведет к документальности и к активной, публицистической позиции автора.

У Пруста — к углубленному созерцанию происходящего, в конечном счете к углублению в свое внутреннее «Я»; и на этом пути, как бы противоположном первоначальному движению от «Я» к миру, сброшенные ранее оболочки «Я»

воздвигаются снова, все более и более отгораживая автора от текущей поверх этих оболочек жизни.

Здесь позиции Пруста и Бергсона снова совпали. Пруст идеально отвечал бергсоновскому представлению о писателе как о человеке, у которого природа забыла связать способность восприятия со способностью действия (слова А. Бергсона приведены в гл. VI, 0.1).

Но, правда, Пруст как бы прямо возразил на это (в письме к издателю Ж. Ривьеру): «Нет, если бы у меня не было интеллектуальных убеждений, если бы я хотел только вспоминать... то, будучи столь больным, не взял бы на себя труд писать. Но я хотел не абстрактно анализировать эту эволюцию мысли, а воссоздать ее, заставить жить» (M. Proust et J. Rivière. Correspondance. P.: Pion, 1955, p. 3). И это ему удалось.

В заключение следует отметить, что Пруст был тонким наблюдателем языка вообще, логики языка, и ему принадлежит, например, замечательное маленькое открытие, которое одобрили бы сторонники «глубинных семантических структур», — союз *несмотря на то что* «скрывает под собой» союз *потому что*: «Моя мать восхищалась, что он (маркиз, дипломат. — Ю. С.) был столь точен, несмотря на то что столь занят; столь любезен, несмотря на то что столь избалован светским обществом; ей не приходило в голову, что «несмотря на то что» — это всегда неопознанные «потому что» и что те же самые привычки позволяли маркизу де Норпуа выполнять его многочисленные обязанности и аккуратно отвечать на письма, блистать в обществе и быть любезным с нашей

семьей (точно так же, как старики удивляют бодростью для своего возраста, государи — своей простотой, а провинциалы — тем, что они в курсе всего)» (I, 438).

4.5. Элементы эгоцентрической эстетики в театре Б. Брехта

Суть дела заключается в том, что в театре Брехта не признается раз навсегда данная и закрепленная общественным установлением связь имени и вещи, видимости вещи и ее сущности, обычной оценки вещи и ее подлинной ценности. В буржуазном обществе «мать» — это та женщина, которая родила «сына» (или «дочь»), но уже у Горького в романе «Мать» в глубине скрыты другие взаимоотношения, и Брехт, инсценируя горьковский роман, показал это в явной форме: «мать» — это женщина,

которая, телесно родив «сына», духовно способна родиться от него. (Не лежит ли подобное ощущение в основе культа девы Марии?)

Брехт в каждой постановке перестраивает названные типы отношений так, как видит их социально активный художник, и в этом смысле в его эстетике театра заложен принцип «эгоцентризма».

Как мы уже отмечали (гл. VI, 0), в середине XX в. представление о несвободе говорящего «перед лицом знака», сущности которого — означаемое, означающее, предмет — связаны как бы беспрекословным социальным законом, сменилось представлением об известной свободе говорящего, в силах которого — в известных пределах — изменять эти связи. Отсюда до изменения социальных ценностей оставался только один шаг. Нечто подобное уже имело место в истории: во времена «Великой французской» — идеи революции были подготовлены революцией идей.

Брехт, отвергая «естественность» связи между изображаемым и изображающим, также преследовал глубокие социальные цели. Этим разрывом на сцене одновременно отвергалась «естественность», «единственность» поведения изображаемого персонажа и изображаемой жизни, показывалась возможность его иного поведения и в конечном счете возможность переустройства самой жизни.

В одной из своих теоретических работ («Покупка меди. Вторая ночь») Брехт устами Философа говорил: «Помните, что мы с вами собрались в мрачное время, когда отношение людей друг к другу особенно отвратительно, а преступные происки определенных групп людей окутаны почти непроницаемой завесой. Поэтому нужно особенно много раздумий и усилий, чтобы выявить подлинные общественные отношения. Чудовищный гнет и эксплуатация человека человеком, милитаристская резня и «мирные» издевательства всякого рода, охватившие всю планету, едва ли не стали чем-то обыденным... Очень многим войны представляются столь же неизбежными, как землетрясения, словно за

ними стоят не люди, а лишь стихийные силы природы, перед которыми род человеческий бессилён» [Брехт 1965, 311].

Сразу вслед за этим Брехт переходил к объяснению принципов нового театра. Его прообразом он считал уличные сцены, когда, скажем, свидетель несчастного случая показывает толпе, как это случилось. Свидетель-рассказчик так изображает поведение

шофера и пострадавшего, чтобы люди, не бывшие очевидцами, смогли составить себе полное представление о происшедшем и вынести свое суждение.

«Наш рассказчик, — продолжает Брехт, — выводит характеры целиком только из поступков действующих лиц. Имитируя их, он дает таким образом возможность сделать выводы. Театр, следующий в этом отношении его примеру, начисто порывает с привычным для обыкновенного театра обоснованием поступков — характерами, причем поступки ограждаются таким театром от критики, так как они с естественной закономерностью вытекают из характеров лиц, их совершающих. Для нашего уличного рассказчика характер изображаемого лица остается величиной, которую он не может и не должен полностью определить. В пределах известных границ он может быть и таким и иным — это не имеет никакого значения. Рассказчика интересуют те его свойства, которые способствовали или могли бы воспрепятствовать несчастному случаю» [там же, с. 322]. Неоднозначная детерминированность характера в воображаемом мире — вот о чем говорит Брехт и что объединяет его и Музиля и Пруста.

Для характеристик новых отношений между актером-«изображающим» и персонажем-«изображаемым» (эти термины аналогичны тем, которые применяются для характеристики двух сторон языкового знака, — «означающее» — «означаемое») Брехт предложил новый термин — «очуждение». Брехтовский термин *Verfremdung* — «очуждение», отличный от термина политэкономии *Entfremdung* — «отчуждение», в известной мере сопоставим с термином русской формальной школы «остранение»; в англоязычной литературе утвердился перевод *alienation, alienation effect* или «А-effect».

Возможность, которую предоставлял философии языка и поэтике театр Брехта, не преминули уловить позднейшие, в особенности французские, семиологи. Театр Брехта оказал непосредственное влияние на формирование семиологии Р. Барта. Сам Барт уже в 1956 г. писал: «Следует признать, что драматургия Брехта, его теория эпического театра, теория «очуждения» и вся практика театра «Берлинер Ансамбль» в отношении декорации и костюмов ставят явно семиологическую проблему. Ибо постулат всей театральной деятельности Брехта, по крайней мере на сегодняшний день, гласит: драматическое искусство должно не столько выражать реальность, сколько означивать, сигнифицировать ее. Отсюда необходимо, чтобы была известная дистанция между означаемым и означающим: революционное искусство должно принять извест-

ную произвольность знаков... Брехтовская мысль... враждебна эстетике, основанной на «естественном» выражении реальности» [Barthes 1964, 87—88]. 276

Один из ранних семиологических очерков Барта, признаваемый современными прагматиками образцовым по точности и афористичности (он занимает всего три страницы), был посвящен брехтовской инсценировке повести А. М. Горького «Мать» [там же, с. 143]. Известно, что одной из идей горьковского романа была идея пробуждения масс под влиянием революционной агитации, что в своеобразной форме и развил Брехт в своем спектакле, по-новому представив отношения «мать — сын».

Таким образом, в основу новой парадигмы, распространяющейся и на поэтику, начиная с 1950-х годов был положен тезис об отсутствии «естественной» связи между «означаемым» и «означающим» как двумя сторонами знака — материальной и психической, а также об отсутствии такой связи между знаком в целом (состоящим из означаемого и означающего) и предметом. Более того, этот тезис был дополнен положением об отсутствии сколько-нибудь «беспрекословной» социальной связи между тремя сущностями. Этим положениям суждено было сыграть значительную, в основном положительную, но кое в чем и отрицательную роль в дальнейшем развитии этой парадигмы.

В зависимости от того, какой, так сказать, «щели» придавалось решающее значение — «щели» между означающим и означаемым или «щели» между знаком и предметом, семиологический анализ в последующие годы осуществлялся по двум линиям. В первом случае акцент переносился на анализ психических ассоциаций между означаемым и означающим и на их перестройку в индивидуальном творчестве. Таким был, например, знаменитый этюд Барта «S/Z» (1970) о новелле Бальзака «Сарразин». Семиологические исследования по этой линии привели к соединению семиологии с психоанализом, причем точкой соединения явилась как раз проблема субъекта. Но здесь мы не будем дальше следовать за перипетиями семиологии. Упомянем лишь — деталь немаловажная для нашей темы, — что это привело к необходимости разработки лингвистики текста [ср.: Барт 1978].

Результатом всего этого развития стал следующий тезис: каждый акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая значение

(семантику); значение и субъект одновременно производится в динамике текста, в «дискурсе».

Итак, что же нового внесла новая парадигма философии языка в гуманитарную сферу?

Она разрушила фетишизм слова, особенно печатного. Она внедрила в умы относительную свободу человека «перед лицом знака». Она утвердила принцип «Человек — автор событий», но тут же ограничила его — «По крайней мере событий, заключающихся в говорении». Это

унизительное ограничение, несомненно, связано с тем, что со сцены сошли великие практики искусства — такие, как Горький или Брехт. Акцент переместился в «теорию искусства», к тому же в ее облегченном варианте «семиотики».

Для Декарта «Cogito» — «Я мыслю, следовательно, я существую» означало утверждение человека как мыслящего, через его мысль. И это послужило началом новой философии. В отличие от этого новым принципом становится «Loquor» — «Я говорю, следовательно, я существую». И при чтении многих современных работ по философии языка нельзя отделаться от впечатления, что «Говорить — это все, что они умеют делать».

ОБЩАЯ КАРТИНА ЯЗЫКА В СВЕТЕ ЭТАПОВ (ПАРАДИГМ) ЕГО ПОЗНАНИЯ. ТРИ МОДЕЛИ

0. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Мы изложили три наиболее общих подхода к языку в виде трех парадигм — «философии имени», «философии предиката», «философии эгоцентрических слов». Каждая из них представляет собой более или менее законченную логическую систему. Но являются ли их отличия только чем-то субъективным, т.е. отличиями во взглядах на язык? Как мы старались показать, — нет. Каждая из систем основывается на каком-либо объективном параметре языка, но лишь рассматривает его как доминирующий.

Можно ли из трех разных картин языка сложить одну целую? Представляется, что это можно сделать, используя модель, которая будет моделировать прежде всего те объективные параметры языка, которые легли в основу каждой парадигмы. Но затем модель должна быть построена таким образом, чтобы показать (смоделировать), как отвлечение, гипостазирование этих параметров языка, одного за другим, заставляет наблюдателя извне определенным образом смотреть на язык, принуждая его к определенной точке зрения, и как вовлечение другого параметра заставляет наблюдателя переходить к другой точке зрения. Мы полагаем, что это лучше всего сделать в виде трех разных моделей, первая из которых влечет вторую, а вторая — третью.

Остановимся теперь на некоторых технических вопросах. Мысль о том, что в одном естественном языке каким-то образом сочетаются языки разных логических типов, неоднократно приходила в голову логикам. Одним из первых, если мы не ошибаемся, ее высказал Б. Рассел, и сама его логическая теория типов восходит к этому наблюдению, а впоследствии и другие его идеи [см., например: Russel 1980]. Я. Хинтикка использует похожую мысль как одно из оснований своей концепции «возможных миров», в частности когда он выделяет для первоначального анализа семантики «первопорядковые» языки, а затем особым образом расширяет их [Хинтикка 1980, 69 и след.]. Обособление же с этой целью первопорядковых языков можно рассматривать как параллель к выделению в качестве особой области математической логики «узкого исчисления предикатов», или «чистого функционального ис-

числения первого порядка» [см., например: Черч 1960]. Но это уже — по отношению к естественному языку — параллель более отдаленная.

У Рассела и у Хинтикки обнаружение внутри естественного языка разных «языков» и построение для них различных логических аналогов связываются с понятием пропозициональных установок, т.е. выражений мнения, веры и т.п. (типа «Джон полагает, что...»).

Со своей стороны, исходя сначала из чисто лингвистических наблюдений, мы давно уже считаем, что грамматика естественного языка, в особенности такого развитого, как древнегреческий, русский или английский, может быть наиболее естественно описана как сочетание разных «слоев», «пластов» или «языков» в одной системе. Эта мысль, но взятая уже в более логическом аспекте, лежит в основе и трех моделей языка, предлагаемых ниже. Они, как нам кажется, позволяют наиболее естественным образом, по крайней мере естественным с лингвистической точки зрения, показать не только различия «языков» в системе одного языка, но и способ их соединения (именно последнее в представлениях Рассела и Хинтикки остается не вполне ясным). Так, в частности, мы думаем, что возможность выражать на каком-либо языке пропозициональные установки как критерий отличия такого, более развитого, языка от другого, более примитивного (причем и тот и другой сочетаются в одну систему), критерий достаточно сложный, покоится на некотором более простом основании. Последнее как раз и можно обнаружить в естественном языке при его предлагаемом моделировании. Возможность пропозициональной установки оказывается определенным образом связанной с тем, сколько имен (индивидуальных переменных) может охватить предложение данного языка, т.е. связанной со степенью пропозициональных функций этого языка. Если, например, это такой язык, что в нем возможны только предложения степени 1, типа «Клубника — красная», то и пропозициональные установки в нем невозможны.

Представленные ниже три модели, Язык-1, Язык-2 и Язык-3, позволяют моделировать на материале естественного языка и некоторые другие важные логические понятия, которые традиционно рассматриваются также и в философии. Кроме того, те же модели позволяют ввести и некоторые понятия поэтики.

Как уже было сказано, тремя измерениями языка являются семантика, синтактика, прагматика (дектика), предварительное определение которых дано в Предисловии. Ниже эти понятия будут объяснены более полным и естественным образом, через три модели языка. Мы увидим, что семантика заключается не прямо в отношениях знаков к объектам, а в отношениях знаков к объектам, как они, эти отношения, предстают через синтактику и прагматику; синтактика заключается не прямо в отношениях между знаками, а в отношениях между знаками, как эти отношения предстают через семантику и прагматику; прагматика же заключается не прямо в отношениях знаков к носителю языка, а в отно-

шениях знаков к носителю языка, как эти отношения предстают через семантику и синтактику. (Чтобы эти определения можно было кратко и вразумительно изложить, мы употребили в них слово «знак», но в действительности всюду имеются в виду, конечно, и знаки языка, и другие его элементы, например предложения, и язык в целом.) Эти определения уже были даны нами в других работах [Степанов 1981], но здесь мы введем их более пространственным и наглядным способом, используя прием, который можно назвать «принципом Лобачевского».

Н. И. Лобачевский считал, что основные понятия геометрии должны быть непосредственно заимствованы из опыта, а не «составлены», т.е. не быть результатом комбинации абстрактных понятий. Для заимствования из опыта Лобачевский наметил точный путь. Он предложил считать основным объектом геометрии тело, а основным отношением между телами их прикосновение. Все остальные основные понятия, такие, как «поверхность», «линия», «точка», «прямая», «плоскость» и т.д., должны быть определены через понятие основного объекта, «тело», и понятие основного отношения, «прикосновение». Сущность этого отношения — в движении, «прикосновение» совершается в движении, и соответствующее определение понятия вводится указанием способа производства «прикосновения». По существу Лобачевский вводит таким образом общий принцип порождения геометрических понятий. Так, в работе «Пангеометрия» (1855) Лобачевский пишет: «Вместо того, чтобы начинать геометрию прямой линией и плоскостью, как это делают обыкновенно, я предпочел начать сферой и кругом, которых определение не подлежит упреку в неполноте, потому что в этих определениях заключается способ, каким эти величины происходят. Потом я определяю

плоскость как поверхность, где пересекаются равные сферы, описанные около двух постоянных точек. Наконец, определяя прямую линию как пересечение равных кругов в плоскости, описанных около двух постоянных точек в той же плоскости» [Лобачевский 1956, 138].

Таким же путем пойдём мы здесь. В качестве основания выбираем явление языка, непосредственно данное в опыте, — высказывание; выделяем его абстрактную основу — пропозициональную функцию; затем конструируем три модели естественного языка, начиная с самой простой, — Язык-1, Язык-2 и Язык-3, различающиеся прежде всего своими высказываниями, а следовательно, и пропозициональными функциями; и, наконец, переходя от Языка-1 к Языку-2 и далее к Языку-3, вводим некоторые основные проблемы семантики, синтактики и прагматики (дектики). Модели, а затем переход от модели к модели, сама динамика этого перехода позволяют ввести основные понятия короче и яснее, чем их можно было бы представить, рассуждая на материале сразу всего языка во всей его сложности или на материале тех или иных абстракций.

Лингвист может спросить, являются ли эти модели, диахроническими, т.е. моделируют ли они историю языка. Нет. Моделируется последовательное возникновение определенных черт языка, сосуществующих в настоящее время, т.е. синхронических.

1. ЯЗЫК-1 (С СЕМАНТИКОЙ ТОЛЬКО)

Под Языком-1 будем понимать естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 1: на этом языке можно производить высказывания только степени 1, только уровня 1; имена этого языка группируются только в один класс; предикаты — тоже только в один класс. Конечно, такой язык лишь очень условно можно назвать естественным, и лучше скажем так: это очень бедный естественный язык.

На первый взгляд столь назойливое повторение числа 1 в разных характеристиках кажется либо случайностью, либо чем-то мистическим. На самом деле ни то, ни другое. Поскольку степень есть число термов в предикате, постольку степень 1 определенным образом связана с тем, что и класс имен здесь только один. Эти две единицы связаны с уровнем «один»,

конечно, не столь явным и более опосредованным путем. По мере изложения будет видно также, какая связь существует между этими свойствами Языка-1 и тем его свойством, что он обладает семантикой, но почти не имеет синтактики и вовсе лишен прагматики (дектики).

Степень 1 означает, что в высказывании только один терм, или актант; разумеется, что в таком случае этот терм — субъект. Предикаты в этом языке, следовательно, никогда не имеют объекта, и если предикаты — глаголы, то это глаголы всегда непереходные: *Кошка сыта*; *Кошка мурлычет* — типичные высказывания этого языка. Высказывание *Кошка лижет лапу* на этом языке уже невозможно.

Уровень (или порядок) 1 означает, что ни имя, ни предикат высказывания не могут быть сведены трансформацией к какому-либо другому более простому выражению: они сами предельно простые выражения 1-го уровня; выражения *Сытость кошки* или *В доме с кошкой — уют* на этом языке невозможны: первое потому, что *сытость* есть трансформация от *сыт*, второе потому, что слово уют есть замещение слова *уютно*, т.е. предикат второго уровня (порядка).

Имена этого языка группируются только в один класс; это означает: если мы примем вполне естественное условие, что классы имен соответствуют классам естественных объектов — что в этом языке можно говорить об объектах только одного класса, например о видах некото-

рых животных — о кошках, собаках, барсуках, лисах, медведях, курах, гусях, воронах и т.п. «Кошка», «собака», «барсук» и т.д. — имена этого языка. Говорить о животных на этом языке вообще нельзя: слово «животное» является именем класса, а не именем члена класса и отсутствует в этом языке. Отношение имени класса к именам членов класса составляет первую фундаментальную проблему семантики (1), с которой мы сталкиваемся в этой модели (в настоящей книге она специально не затрагивается [см.: Степанов 1981, 59 и след., 85 и след.]).

Предикаты этого языка также группируются только в один класс, именно тот, который содержит обозначения свойств объектов, названных именами этого языка (глаголы здесь выступают также как обозначения свойств): «мяукает», «лает», «кудахчет», «хрюкает», «умывается», «сидит», «бежит», «спит», «ест», «сыт», «болен»,

«красив», «зол», «лохмат» и т.п. Итак, предикаты здесь — это обозначения свойств.

Отличие предикатов

от имен связано с отличием свойств от вещей — вторая фундаментальная проблема семантики и философии языка вообще (2). Она рассматривается в связи с понятием имени (гл. 1,1,2; гл. V, 1), в связи с понятием предиката (гл. IV, 1, 3) и затрагивается в других разделах.

Естественно также принять условие, что свойства здесь понимаются как объективные свойства, не зависящие от мнения или психического переживания говорящего (о говорящем пока еще вообще не было речи). Поэтому «красив» и «зол» здесь такие же объективные свойства, как «лохмат» или «ест»; говорящий здесь всегда знает так же уверенно, является ли данное животное «красивым», как он знает, «лохмато» ли оно. Но по существу, поскольку все же предвидится вопрос об отличии объективных свойств (типа «лохмат») от субъективных («красив», «приятен»), здесь коренится новая семантическая проблема (3). В этой книге она затрагивается лишь попутно, в связи с понятием пропозициональных установок, например установки мнения, или веры (гл. IV, 3; гл. VI, 3 и др.). Вообще же это одна из самых существенных проблем семантики естественного языка, с ней связаны различные гипотезы о «языковой картине мира», вопрос о грамматических категориях и мн. др. В самом деле, можно, например, представить себе язык, — а это представление недалеко от действительных языков, — в котором объективные качества выражаются в одной грамматической категории, а субъективные — в другой. Тут мы оказываемся в самом центре этой проблемы. Модальность вообще, и в частности различие «модальностей вещей» (*de re*) и «модальностей высказываний» (*de dicto*), также, очевидно, относится к этому комплексу вопросов.

Теперь мы подошли к самой сути высказывания — к сочетанию имени (терма, актанта) с предикатом. В Языке-1 очевидно, что сочетание имени с предикатом основано на объективной связи объекта и его свойства. И это объективное основание единственно только и принимает-

ся в расчет в этом языке при образовании высказываний. Иными словами, Язык-1 — экстенциональный язык, имена и предикаты в составе его выражений, и в частности высказываний, заменимы при соблюдении только одного условия — сохранения того же

отношения имен к объектам и предикатов к свойствам. В этом языке действует, следовательно, принцип обычной, т.е. экстенциональной, синонимии. (Когда язык усложнится и этот принцип — принцип замены равного равным — перестанет действовать, т.е. язык не будет экстенциональным языком, то в области синонимических замен возникает новая проблема семантики, но пока здесь проблем нет.)

Сочетание имени с предикатом и его результат суть предикация, или пропозиция. Таким образом, сущность предикации, как мы ее понимаем, состоит в предцировании, т.е. в приписывании предиката имени в составе высказывания, на том основании, что объект имени в действительности обладает свойством, выражаемым предикатом. Отсюда проистекают два важных следствия.

Во-первых, предикация должна обладать непосредственной убедительной силой для рассудка. Ч.С. Пирс, который впервые открыл это свойство, назвал его «непосредственной убедительной рациональной силой» [Пирс 1983, 167]. Модель Языка-1 позволяет видеть, откуда проистекает это свойство: если класс имен соответствует классу известных носителю языка объектов, а класс предикатов соответствует классу столь же известных носителю языка свойств этих объектов, то данное сочетание предиката с именем содержит нечто уже известное слушателю из знания языка и действительности; новым для него будет только факт выбора говорящим именно данного сочетания из возможных. Поскольку носитель языка всегда знает значения имен и предикатов этого языка и всегда обладает некоторыми знаниями о мире, постольку предикация всегда будет обладать для него убедительной рациональной силой. Но степень непосредственности этой убедительности будет убывать по мере усложнения языка: чем большее количество классов объектов и свойств охватывает язык, тем труднее знать их, знание о мире все больше отстает от знания языка; мир предстает в ограниченном круге непосредственного или опосредованного опыта, а язык выходит далеко за этот круг; понимая сочетание имени с предикатом, слушатель все с большим трудом убеждается в их соответствии действительности. Это также семантическая проблема (4). Но, подчеркнем еще раз, названное соответствие в той или иной степени имеется всегда, в силу самого устройства языка: ни один язык не устроен так, чтобы его имена называли какие-то одни объекты, а его предикаты — свойства каких-то вовсе иных объектов.

Второе следствие касается различия аналитических и синтетических предложений. (Существует, как известно, два основных понимания «аналитичности» — «синтетичности» (истин, или предложений) — по Лейбницу и по Канту. Ниже эти термины понимаются по Канту: «Аналитические суждения высказывают в предикате только то, что уже действительно мыслилось в понятии субъекта, хотя не столь ясно и не с таким же сознанием» [Кант 1965, 80]; синтетические суждения содержат в предикате нечто такое, что в понятии субъекта еще не мыслится. Кроме того, с современной точки зрения деление на аналитическое и синтетическое может быть проведено лишь в пределах той или иной фиксированной семантической системы. О высказывании, взятом вне таковой, бессмысленно спрашивать, является ли оно аналитическим или синтетическим [Смирнова 1962, 358]. Существенные оттенки, возможно даже «третье понимание» названных терминов, внесены Пирсом [1960, 155, 188], который называет синтетические суждения «амплиативными», т.е. «расширяющими». Лейбницевское и пирсовское понимания, по-видимому, также могли бы быть здесь моделированы.)

В Языке-1 все предложения являются равно и аналитическими и синтетическими. Это ясно уже из предыдущего. Предложения заключаются в предцировании свойства объекту, причем и свойства и объекты существуют как независимые сущности (в силу первого признака Языка-1 его имена и предикаты описывают объективные сущности, не сводимые друг к другу), и в этом смысле предложения Языка-1 синтетические. Но в то же время они и аналитические, так как обладают непосредственной убедительной рациональной силой в максимально возможной степени: носитель этого языка знает, что данный предикат необходимо должен сочетаться с данным именем, поскольку в этом языке нет иных предложений, кроме необходимых. Различие между аналитическими и синтетическими предложениями появляется за пределами Языка-1 и возрастает в меру усложнения языка. Таким образом в Языке-1 наглядно моделируется то понимание проблемы аналитичности и синтетичности (5), которое гласит: «определенное суждение будет аналитическим или синтетическим лишь относительно данной языковой системы» [Смирнова 1962, 362].

По мере усложнения языка-модели в том направлении, о котором мы только что сказали, он начинает также моделировать различие между глубинными и

поверхностными структурами, и в частности между глубинными и поверхностными аналитическими предложениями (тавтологиями). В самом деле, пока носитель Языка-1 может непосредственно контролировать соответствие обозначений объектов и обозначений их свойств (имен и предикатов) действительным объектам и действительным свойствам объектов, т.е. усматривать это прямо из высказанного предложения, до тех пор носитель имеет в этом предложении и глубинную и поверхностную структуру одновременно (та и другая не различают-

ся). И если данное предложение — тавтология, то это одновременно и поверхностная и глубинная тавтология. Поскольку, как мы уже видели, в Языке-1 в сущности каждое предложение есть одновременно и аналитическое, и синтетическое, то аналитическими в узком смысле, тавтологиями, можно было бы назвать некоторый более узкий круг предложений Языка-1, такой, что даже самый факт сочетания имени и предиката, который произвел говорящий, слушателю уже заранее известен по тем или иным причинам, например оба находятся близко друг к другу, практически в одной точке пространства. Но по мере того как язык начинает охватывать все большее количество объектов и их свойств (причем оба этих процесса не обязательно должны идти параллельно — пример непараллельности см. в иерархии языков Р. Карнапа, гл. IV, 4), свойства аналитичности и синтетичности перестают совпадать, расходятся все дальше и одновременно аналитические предложения в узком смысле, тавтологии, бывшие прежде и поверхностными и глубинными сразу, становятся поверхностно нетавтологиями, оставаясь глубинно таковыми.

Аналогом одной из стадий этого процесса может служить первопорядковая логика, по поводу которой Я. Хинтикка замечает, что в ней все правильные логические выводы должны быть глубинными тавтологиями, но не все они поверхностные тавтологии. Из подобных фактов Хинтикка делает вывод: «Таким образом, в результате мы, по-видимому, впервые получаем четко определенное и интуитивно ясное понятие информации (в хинтикковском смысле. — Ю. С.), которое показывает, что правильное логическое или математическое рассуждение не является тавтологическим, а может увеличивать имеющуюся в нашем распоряжении информацию» [Хинтикка 1980, 59].

Итак, в Языке-1 все предложения равно и аналитические и синтетические; структура предложений — одновременно и поверхностная и глубинная структура;

можно представить себе более узкий класс аналитических предложений в узком смысле, тавтологий, одновременно и поверхностных и глубинных; по мере расширения Языка-1 (т.е. превращения его в какой-то иной язык, в нашем случае в Язык-2) эти свойства, попарно тождественные и притом образующие параллельные пары, начинают расходиться.

В Языке-1 нет логических слов типа «или», «некоторые», «все» — введение их составляет особую проблему. Но, таким образом, в Языке-1 не может быть и отрицания. Это можно представить себе так, что говорящие на этом языке не могут говорить об отсутствующем, они всегда говорят только о том, что есть. Это еще одна проблема (6), она рассматривается 286 выше в связи с иерархией языков Рассела (гл. IV, 3). Конечно, тут же возникает вопрос: в таком случае, т.е. при невозможности говорить об отсутствующем, могут ли говорящие на Языке-1 лгать? Эти и другие свойства предикации и предложения станут ясны после введения координат говорящего.

438

В Языке-1 говорящий присутствует только как «говорящий о чем-то», он не может говорить о себе самом: его имени — «я» нет среди имен объектов. И, следовательно, в некотором смысле он не присутствует в этом языке вовсе. Все, что произносится на этом языке, соотносится с говорящим самим фактом его говорения: когда говорящий говорит, он тем самым задает себя как существующего (хотя не может сказать об этом), задает свое время и место. При этом, естественно, время — это всегда время говорения, а место — всегда место нахождения говорящего. Координата «я — здесь — сейчас» задана в этом языке фактом говорения на нем, но не выражена, и нет никаких средств выразить ее на этом языке, т.е. сказать о ней. В полном смысле слова координата говорящего появится с противопоставлением координат: «я — здесь — сейчас» — «я — там — тогда» — «ты — там — тогда» — «он — там — тогда» и т.д. Но это будет уже другой язык (в нашей модели — Язык-3), а введение координат говорящего и эгоцентрических слов будет явлением прагматики (дектики) — новой проблемой (7) (она рассматривается в гл. VI).

Тем не менее предикация на этом языке существует, и возможность ее существования при отсутствии координат говорящего проливает свет на ее важнейшее свойство. Если рассматривать предикацию вне координат говорящего, то сама предикация, как и ее результат, пропозиция, — это не «истина» и не «ложь», она станет

тем или другим только в координатах говорящего. Но как возможность, предопределенная объективным основанием имен и предикатов, предикация выражает истину (невозможное было бы неистинно). Все сказанное составляет еще одну фундаментальную проблему семантики (8) (которая затрагивается в гл. IV, 2, 3; в гл. VI, 2, 3).

Следовательно, координаты говорящего — его «я», место и время, а также модальность и связанные категории не имеют отношения к сущности предикации и пропозиции, они накладываются на пропозицию, образуя, сочетанием этих двух слоев, высказывание.

Однако на Языке-1 возможны высказывания о прошлом, но только говорящий не будет знать, что это «прошлое», — оно будет таковым лишь для некоторого наблюдателя извне (если бы таковой нашелся). Для говорящего на Языке-1 прошлое должно представлять не как то же самое, что в «настоящем», сочетание предиката с субъектом, но только отнесенное к иному времени, а как сочетание субъекта с иным предикатом. Если в языке, имеющем координаты времени, один и тот же признак (предикат) может мыслиться в разных временах, то в Языке-1 одним и тем же мыслится само время — это всегда время говорения, а меняется признак (предикат). Например, чтобы выразить различие между *Собака лохмата* и *Собака была лохмата*, на Языке-1 вместо одного признака «лохматый» должно быть два признака: «лохматый₁» — «то,

439

что является лохматым в момент речи», и «лохматый₂» — «то, что было лохматым раньше».

В действительности, конечно, описание этого различия признаков должно было бы быть более сложным, поскольку понятия времени, а следовательно, и изменения, «теперь» и «раньше», не могут быть выражены на этом языке. Признак «лохматый₂» мог бы быть несколько точнее описан так: «то, что является лохматым, но не тогда, когда об этом говорится». Но поскольку носители Языка-1 не могут говорить об отсутствующем, то при этом следовало бы мыслить какие-то следы лохматости в момент говорения. Представление об этом воображаемом модальном различии могут дать некоторые факты естественных языков. Так, в языке тубатулабал (один из языков американских индейцев) различаются *hani·l* 'дом' и *hani·pil* 'дом в прошлом', т.е. «то, что было домом и больше им не является», но, несомненно, «то, что было домом в прошлом», должно в

момент речи не отсутствовать, а присутствовать в виде чего-то другого (вполне аналогично «следам лохматости» в нашей модели); в некоторых индоевропейских языках противопоставляется наклонение очевидца и наклонение неочевидца события и т.п.

Имя является именем объекта, предикат — обозначением свойства этого объекта, и то и другое — понятия семантические; поэтому сочетание имени с предикатом — тоже понятие семантическое. Назовем его термином «семантический длинный компонент», который выражает объективный элемент действительности, соответствующий принадлежности данного объективного свойства данному объекту.

Наличие семантических длинных компонентов в высказываниях несомненно, но их классификация, а значит, и название, квалификация того компонента, который присутствует в данном конкретном высказывании, — трудная задача. Она соответствует выявлению наиболее общих семантических категорий — более общих, чем по отдельности категории имен и категории предикатов. В более сложном языке, чем Язык-1, сравнительно нетрудно обнаружить по крайней мере различия некоторых длинных компонентов. Например, сравнивая два высказывания русского языка: *Человек стоит* и *Дерево стоит*, нетрудно видеть, что в первом проходит длинный семантический компонент «живое, активное», во втором — «неживое, неактивное». Частично эти компоненты (категории) могут совмещаться, что обнаруживается как совпадение высказываний по форме и содержанию, например в приведенной паре; частично же они резко противопоставлены, что обнаруживается в несовпадении по форме и содержанию высказываний *Человек встал* — *Дерево встало* (невозможно). Факт несовпадения как раз и говорит о том, что перед нами две различные категории.

Применительно к слабо развитому Языку-1 провести различие длинных компонентов — семантических категорий очень трудно, ведь

все они принадлежат к одному и тому же классу имен и предикатов, и трудно обнаружить контрасты. Тем не менее эта очень существенная проблема одновременно синтактики и семантики остается (9). В этой книге она не затрагивается, но подробно рассматривается в другой [Степанов 1981, гл. IX].

Таким образом, Язык-1 — это язык, развитый очень не гармонично — главным образом в отношении семантики; синтактика в нем почти целиком подчинена семантике, а прагматика (дектика) вовсе отсутствует.

Можно ли представить себе искусство на таком языке? Поскольку на этом языке нельзя говорить о «я» — главном элементе прагматики (дектики), то, очевидно, лирика на таком языке невозможна, так же как и драма, предполагающая прямую речь и диалоги между «я» и «ты». При некоторых дополнительных условиях можно было бы представить себе «эпос» как повествование о предметах действительности, охватываемых именами этого языка. Но такой «эпос» должен был бы быть очень скучен: он повествовал бы только о том, что и без того известно на практике и о чем говорится в обыденной практической речи носителя этого языка. К тому же без координат говорящего (которые появятся только в Языке-3) «эпос» нельзя было бы отличить от практической речи.

Все же, думается, искусство слова на этом языке было бы возможно и, как ни странно, должно было бы с самого начала принять весьма утонченный (с современной точки зрения) характер: оно должно было бы быть или символическим, или формальным. (Поскольку в искусстве при этом мыслимо более чем одно направление, то возможна была бы и борьба направлений, а следовательно, одно могло бы быть сочтено прогрессивным, а другое реакционным и т.д. — всё как в действительности! Словом, модель действует.) Не имея возможности ни говорить о «я», ни придавать метафорические значения именам (что было бы равносильно созданию новых Классов объектов), носитель языка должен был бы ограничиться тем, чтобы извлекать наслаждение из сочетаний одних и тех же знаков, комбинируя их каким-нибудь новым способом. Но так как и при этом синтактические перемещения запрещены или, во всяком случае, очень ограничены, то сочетания должны были бы касаться только формы, прежде всего звуковой, самих знаков. Если в практической речи этот язык разрешает своему носителю все сочетания имен с предикатами, то в поэтической речи носитель должен был бы ограничиться тем, чтобы выбирать имена и предикаты, скажем, созвучные друг другу (или, напротив, контрастные по звучанию). Если, например, в практической речи язык разрешает сочетания *Кот ежится*; *Барсук катится*; *Еж барахтается*, то «поэтическими» могли бы стать сочетания *Кот катится*; *Еж ежится*; *Барсук барахтается*. Подобно всякой рифме, эта внут-

ренности рифма подчеркивала бы более сильные связи признака и субъекта, не предусмотренные первоначальной семантикой языка. Теоретики поэзии на этом языке (если бы они были) могли бы видеть в этом свидетельство «познавательной роли искусства» и с полным правом утверждать, что «поэтическое», «художественное» высказывание, такое, как *Еж ежится*, обнаруживает новые качества ежа, незаметные в практической речи. Это символическое искусство (10). (Мы видели выше, в гл. 1,6.4, что аналогия едва ли не в большей степени, чем символ, выражает суть настоящего, исторического символизма.)

Поэзия на этом языке могла бы принять и иное, формальное, направление в виде, например, «синтаксического параллелизма» и «семантического параллелизма». «Простейший пример, — пишет Р. Якобсон об этих приемах в реальной поэзии, — в бесконечных путевых и рыболовных песнях кольских лопарей два смежных лица совершают одинаковые действия и служат как бы стержнем для автоматического, бессюжетного нанизывания таких самодовлеющих парных формул (Появление слов *я, ты* здесь, конечно, несущественно для модели, в которой они отсутствуют, это слова иллюстрации.):

Я Катерина Васильевна, ты Катерина Семеновна;
У меня кошелек с деньгами, у тебя кошелек с деньгами;
У меня сорока узорчатая, у тебя сорока узорчатая;
У меня сарафан с хазами, у тебя сарафан с хазами

и т.д. В русской повести и песне о Фоме и Ереме:

Ерему в шею, а Фому в толчки!
Ерема ушел, а Фома убежал,
Ерема в овин, а Фома под овин,
Ерему сыскали, а Фому нашли,
Ерему били, а Фоме не спустили,
Ерема ушел в березник, а Фома в дубник.

Различия между сопоставляемыми выступлениями обоих братьев лишены значимости, эллиптическая фраза *Фома в дубник* вторит полной фразе *Ерема ушел в березник*, оба героя одинаково бежали в лес, и если один из них предпочел березовую рощу, а другой дубовую, то только потому, что *Ерема* и *березник* — равно амфибрахии, а *Фома* и *дубник* — оба ямбы (ср. сказанное выше о созвучии имен и предикатов. — Ю. С.) [Якобсон 1983, 466]. Более детальные наблюдения над особенностями такой

народной поэзии показывают, что последние вполне можно было бы и дальше моделировать в духе модели Языка-1. Удвоение языковой характеристики Фомы — Еремы достигается путем употребления:

1) синонимов: Ерема кричит, Фома верещит;
Ерему сыскали, Фому нашли;

2) имен одновидовых (для данной ситуации) предметов:

У Еремы были гусли, у Фомы орган;
У Еремы деревня, у Фомы сельцо;
На Ереме зипун, на Фоме кафтан и т.д.;

3) части и целого или целого и части:

У Еремы клеть, у Фомы изба;
Ерема вошел в церковь, Фома в алтарь и т.д.;

4) названием симметричных предметов:

Ерема встал на крылос, Фома на другой.

В. В. Лепяхин резюмирует это так: «Фома является языковой тенью Еремы» [Лепяхин 1981, 68; ср.: Лихачев, Панченко 1976, 51]. Продолжая подобные наблюдения над «Повестью о Горе-Злочастии», тот же исследователь отмечает, что языковой повтор, параллелизм, сравнение, например действий человека с действиями животного, перерастают в персонификацию последнего, в создание двойника главного персонажа. «Процесс шел не от образа к языковым средствам, к языковому воплощению, а, наоборот, от языковой практики, от устойчивых языковых форм к их персонификации и образованию двойничества» [Лепяхин 1981, 72]. При этом в терминах синонимического параллелизма описаны не только главные персонажи, например братья Фома и Ерема, но и все, что их окружает: *Одна уточка белёшенька, а другая-то что снег* [Якобсон 1983, 465—466].

Если все подобные примеры могут быть обобщенно названы семантическим параллелизмом, то примеры, приведенные вначале (*У меня кошелек с деньгами, У тебя кошелек с деньгами*), — скорее параллелизмом синтаксическим. Но как назвать такое формальное искусство в целом — семантическим (принимая во внимание, что оно играет семантикой, не обращаясь к внешнему миру)? Или синтаксическим (поскольку основой игры оказывается параллелизм синтаксического построения)? Пожалуй, все-

таки семантическим, поскольку внимание художника направлено на параллелизм семантики, обрабатывается и варьируется именно семантика, а синтаксис выступает как неизменная и не поддающаяся варьированию основа (ведь никакие изменения построения в Языке-1 не разрешены); эта основа-синтаксис выражается здесь сама собой, без намеренного участия художника. Справедливо было замечено, что то в языке, что выражается самой его формой, в известном смысле — для носителя языка, не выражается вовсе [Витгенштейн 1958].

Не только семантический, но и звуковой параллелизм, возникший в модели, находит реальные соответствия в языке древнейшей индоевропейской поэзии; она свидетельствует тем самым, что символическое и формальное направления могут не только бороться, но и совмещаться.

443

Ф. де Соссюр, который много (хотя большей частью для себя, не для публикации) занимался вопросом о звуковой форме знаков языка, пришел к выводу, что от стихотворных созвучий (аллитераций, рифм всякого рода) нужно отделить созвучия совсем иного типа, назначением которых было выделение сакральных связей слов, особенно имени божества, восплаемого лица, умершего и т.п. Он назвал их анаграммами, и они виделись ему повсюду в древнейшем индоевропейском поэтическом и культовом слове. В одном стихе в эпитафии на гробнице Сципиона Бородатого:

Taurasia Cisauna Samnio cepit,

т.е. в переводе на классическую латинскую прозу — *Taurasiam, Cisaunam, Samnium cepit* 'Он взял (местности) Тауразию, Цизауну, Самний'. Соссюр находил зашифрованным, вразброс, по буквам *s-c-i-p-i-o*, имя *Сципион* – *Scipio*.

Соссюр писал: «Если... признается, что все слоги могут участвовать в звуковой симметрии, то тогда из этого следует, что такие звуковые сочетания никак не зависят от стиха и от его ритма и что данная поэтическая форма образуется сочетанием ритмической схемы стиха со вторым принципом, от него не зависящим. Чтобы удовлетворить этому второму условию формы *carmen* (латин., первоначально «ритмическая магическая формула, заклинание», позднее «песня, стихотворение». — *Ю. С.*), условию, которое совершенно не зависит от образования стоп и размещения ударений, я действительно утверждаю (и в дальнейшем это будет моим исходным

допущением), что поэт полностью отдавался звуковому анализу слов, который становится его обычным занятием: эта наука о произносимой форме слов с самых древних индоевропейских времен была причиной превосходства, особых качеств индийских *kavis*, латинских *vates* и т.д.» [Соссюр 1977, 639]. (Др.-инд. *kavi* 'мудрец, поэт' (здесь во мн. числе); латин. *vates* 'пророк, оракул, поэт'; пророчества обычно изрекались в ритмической форме.) Проблема «формальных поэтик» (11) рассматривается подробнее выше (гл. IV, 5).

Впрочем, не только «поэтика» Языка-1, но и весь он в целом довольно хорошо отвечает одному фрагменту протоиндоевропейского языка, восстанавливаемому сравнительно-историческим методом. Вот этот фрагмент.

Р е а л ь н ы й а н а л о г Я з ы к а - 1. Выше мы неоднократно убеждались в том, что какая-либо модель языка моделирует не весь естественный язык, а лишь один его фрагмент, но при этом сама модель имеет вид полного языка. Так обстоит дело, в частности, с каждым из «языков» (моделей) в иерархии языков Б. Рассела и Р. Карнапа. Именно в этом смысле мы говорим о реальном аналоге модели в данном случае: им является один фрагмент естественного протоиндоевропейского языка.

444

Еще в 1901 г. в статье «Агенс и пациенс в падежной системе индоевропейских языков» Х. К. Уленбек выдвинул положение о том, что исторически засвидетельствованной системе из восьми падежей (номинатив, вокатив, аккузатив, генитив, аблатив, датив, локатив, инструменталис) предшествовала в протоиндоевропейском другая система, лишь с двумя основными падежами. Уленбек назвал их активом и пассивом. Актив был падежом действующего лица, агенса, т.е. падежом субъекта при переходном глаголе: он характеризовался показателем *-s*. Пассив был падежом пациенса, т.е. безразлично лица или вещи, о которых нечто говорится, но которым не приписывается активного, переходного действия. Это был, таким образом, падеж объекта при переходном глаголе и падеж субъекта при непереходном глаголе, причем последнее и было его определяющей ролью. Падеж пассив характеризовался отсутствием специальных показателей, в его роли функционировала чистая основа, и только в основах на *-o* он приобретал показатель *-m* [Уленбек 1950].

Из изложенной теории прямо вытекало утверждение (самим Уленбеком не сформулированное): в протоиндоевропейском существовали три различных типа

предложения, т.е. три типа сочетания имени-субъекта с глаголом-предикатом: 1) активный субъект (лицо или подобное лицу) + переходный глагол (показатель субъекта -s); 2) неактивный субъект (вещь или подобное вещи) + непереходный глагол (показатель субъекта «нуль» или, в основах на -o, -m); 3) активный субъект + переходный глагол + неактивный объект (показатель субъекта -s, показатель объекта «нуль» или -m). Третий тип — явно комплексный и производный от двух первых. Любой из двух первых, взятый по отдельности, может рассматриваться как аналог Языка-1. Субъекты предложений первого типа составляли класс активных предметов, под который в языке протоиндоевропейцев попадали активно действующие взрослые люди, божества, активные силы природы, небесные светила, плодовые деревья и т.п. Этот класс в дальнейшем разделился на два грамматических рода — мужской и женский. Субъекты предложений второго типа образовывали другой класс — неактивных предметов, впоследствии преобразованный в грамматический средний род: неактивные люди, прежде всего дети, плоды («дети плодовых деревьев»), вещи. Каждому классу субъектов соответствовал свой тип предикатов-глаголов, хотя установить их в деталях гораздо труднее, чем классы субъектов-имен. Однако несомненные следы двух типов предложений сохранились в современных индоевропейских языках: в английском — 1) The man raises something ‘Человек поднимает нечто’, но 2) The wind rises ‘Ветер поднимается’, так же в литовском — 1) Vugas kelia kažką, но 2) Vejas kyliа — корни глаголов варьируются (В современном литовском языке также возможна форма Vejas kyliasi).

445

Более последовательно аналогичное разделение на два типа предложений с соответствующими делениями имен и глаголов проведено в языках так называемого активного строя, в частности во многих индейских языках. Интересно, что как раз в этих языках реально засвидетельствовано отсутствие категории времени, предсказываемое нашей моделью. По данным Б. Л. Уорфа, в языке хопи, например, можно различить только: а) действие, происходящее в поле зрения говорящего (соответственно в русском, например, *Он бежит*); б) действие, уже исчезнувшее из поля зрения говорящего, но являющееся для него фактом (рус. *Он бежал*), в хопи та же самая форма, что и в случае «а»; в) действие, восстанавливаемое говорящим по памяти (рус. *Он бежал*, та же форма), в хопи особая форма; г) действие, являющееся ожидаемым (рус. *Он будет*

бежать), в хопи особая форма; д) действие, являющееся законом, правилом (рус. *Он бегаёт*), в хопи особая форма.

Индоевропейский реальный аналог показывает, как мог бы развиваться такой язык дальше: достаточно, путем простого соположения в речевой цепочке, после предиката поставить второе имя (кроме имени субъекта), чтобы это имя превратилось в обозначение либо инструмента, посредством которого совершается действие, вышедшее за пределы субъекта, либо объекта, на который действие переходит. В действительности индоевропейский язык, по-видимому, так и развивался. В абстрактном представлении этому будет соответствовать то, что появятся высказывания степени 2, и это свойство будет моделировано ниже, в Языке-2.

2. ЯЗЫК-2 (С СЕМАНТИКОЙ И СИНТАКТИКОЙ)

Язык-2 — это такой естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 2. Как мы увидим ниже, это изменение по сравнению с Языком-1 связано с тем, что у Языка-2 появляется более развитая, чем у Языка-1, синтактика.

Степень 2 в высказываниях означает, что кроме термина-субъекта должен быть еще один терм, объект. (В нижеследующем рассуждении «объект» понимается как «терм», противопоставленный «субъекту», а не как «предмет внешнего мира», «вещь»; последние равно соответствуют и «субъектам» и «объектам».) *Кошка ловит мышь*; *Кошка ест мышь* — типичные высказывания этого языка. Так как все предикаты в них двухместные, то все глаголы здесь переходные.

Присутствие термина-объекта, отличного от термина-субъекта, естественно согласуется с другой характерной чертой этого языка: его имена группируются в два класса, указывающие на два множества объектов действительности; один класс составляет термины субъектов, второй — термины объектов. Естественно связать различающий их контрастный

446

признак с различием предметов в действительности, например с активностью предметов и особой первого класса, противопоставленной неактивности предметов и особой второго. Таким образом, различие субъекта и объекта в этом языке является семантическим признаком (и одновременно, конечно, признаком синтаксическим).

Кошка имеет свойства (признаки) ловить мышей, есть мышей, но мышь не имеет свойства ловить кошек, есть кошек; мышь в данном языке относится к предметам второго класса.

Теперь можно поставить вопрос о предикатах. Сколько их классов должно быть в этом языке? Наличие одного класса предопределено: это обозначения признаков тех объектов, которые обозначаются первым («активным») классом имен. Все эти предикаты — обозначения активных свойств, соответствующие переходным глаголам таких языков, как русский или английский, — «ловить», «есть» и т.п. Но что сказать о признаках второго («неактивного») класса? Приходится признать, что в Языке-2 объекты этого класса либо лишены признаков, но это было бы слишком далеко от естественного языка, либо характеризуются вторичными признаками, т.е. в зависимости от объектов первого класса, как трансформации предикатов первого класса: если, например, «ловить» — предикат первого класса предикатов, характеризующий объект первого класса объектов (Кошка ловит; способна ловить), то «ловиться» — предикат второго класса (Мышь ловится; способна быть ловимой). Это представление несколько ближе к естественному языку, примем его и ниже рассмотрим подробнее. (На самом деле в естественном языке при процессе развития типа «от Языка-1 к Языку-2» трудность разрешалась бы просто тем, что сохранялись бы все классы Языка-1; в языках североамериканских индейцев, так называемых активных, имена активного класса имеют свои предикаты, имена неактивного класса — свои, т.е. как в Языке-1, но при развитии в сторону номинативного строя, к переходным предикатам, изначальные классы не исчезают.)

Вернемся к классам имен Языка-2. Очевидно, однако, что взятый для иллюстрации признак слишком дробный, мелкий. Он соответствовал бы тому объективному положению дел, при котором Язык-1, рассмотренный выше, развивался бы таким образом, что единственный класс предметов, о котором можно говорить на этом языке (животные), дробился бы на все более мелкие классы (кошки, мыши, барсуки и т.п.); в то же время никаких других классов предметов помимо и вне класса животных в языке не появлялось бы. Такая линия развития имеет место в реальной истории, но если допустить, что только она одна и существует, то это, конечно, неестественный путь развития языка. Гораздо естественнее в первую очередь предположить, как это и имеет место в действительности, что рядом с одним классом (например, животных)

появляются другие, столь же крупные классы объектов, которые начинает охватывать этот язык, например класс растений. Поэтому для иллюстрации модели Язык-2 мы примем следующие два класса его объектов: класс «животные» (существовавший уже в модели Язык-1) и второй, новый класс «растения».

В высказываниях Языка-2 имена первого класса выступают всегда только субъектами, имена второго класса — только объектами. Типичными высказываниями будут, следовательно, такие: *Гусь ест траву; Кошка не ест траву; Свинья подрывает дерево; Синица обклеивает рябину* и т.п. (Чтобы здесь излишне не усложнять рассуждение, будем считать, что отрицание каким-то образом уже введено в модель, хотя, как мы видели в предыдущем разделе, это особая, четко формулируемая проблема.)

Появление второго класса имен (объектов) и второго класса предикатов (признаков объектов) изменяет уже отмеченные в Языке-1 проблемы семантики (1—11) и ставит новые.

Отношение имени класса к именам членов класса. Эта проблема обнаруживает тенденцию к своеобразному градуальному (рекурсивному) усложнению, но эта же тенденция содержит и зародыш решения. В Языке-1 имя «животные», обозначающее класс имен в целом, само отсутствовало. Его можно было бы представить себе только в метаязыке — в языке некоего наблюдателя извне, который поставил бы своей целью описать класс имен Языка-1 как целое. Что касается Языка-2, то появление второго, противопоставленного класса имен — «растения» создает контраст классов в пределах уже самого этого языка. Хотя имена «животное» и «растение» в Языке-2 по-прежнему отсутствуют, но место для этих терминов уже предопределено самим этим языком; будет поэтому вполне в духе модели представить себе дело таким образом, что носитель Языка-2 ощущает этот контраст и может дать ему название, например «животные» и «растения». Таким образом, Язык-2 чреват появлением общих терминов и, следовательно, превращением в Язык-3. Процесс носит рекурсивный характер в определенных пределах.

Исторически первой формулировкой отмеченного процесса было «дерево Порфирия» (ниже ветви одного уровня разделяются тире, а уровень от уровня — точкой с запятой; читатель легко может перевести описание в графическую схему):

0. Субстанция; 1. Бестелесная — 2. Телесная (Тело); 2.1. Неодушевленное — 2.2. Одушевленное (Живое); 2.2.1. Нечувствующее (Растение) — 2.2.2. Чувствующее (Животное); 2.2.2.1. Неразумное — 2.2.2.2. Разумное (Человек).

«Дерево Порфирия» было создано как описание первой из категорий Аристотеля — категории Сущность. Пределы процесса ограничены естественным языком, что хорошо отражено схемой Порфирия. Верхним пределом выступает понятие «субстанция», уже не имеющее естественного выражения в естественном языке. Нижним пределом выступает понятие «индивид» в сфере «человек», имеющее бесчисленное

448

множество выражений в естественном языке. Оба понятия являются предметом философии языка, начиная с античности и особенно в средневековье; в общей форме значение «имени класса» и «общего имени» рассматривалось многими в новое время (см. гл. I, 1; гл. IV, 3).

Имена класса «животные» выступают субъектами, а имена класса «растения» — объектами предложений в Языке-2. Поэтому, как уже сказано, типичными высказываниями являются здесь предложения типа *Гусь ест траву*; *Свинья подрывает дерево*. Высказывания с обратным употреблением терминов при том же предикате, т.е. такие, чтобы термин класса «растения» стал субъектом, а термин класса «животные» — объектом, невозможны. Невозможны, следовательно, высказывания *Трава ест гуся*; *Трава не ест кошку*; *Дерево подрывает свинью*; *Рябина обклеивает синицу* и т.п.

Этот запрет вытекает из ранее принятого (уже для Языка-1) соглашения: свойства, выражаемые предикатами, соответствуют объективным свойствам классов предметов. Таким образом, основная характеристика предикации, уже данная для Языка-1, в Языке-2 сохраняется.

Однако в Языке-2 ничто не мешает сделать терм-объект термом-субъектом при условии трансформации предиката; это как раз и будет соответствовать той особенности Языка-2, что в нем разрешены высказывания уровня 2 (или порядка 2). Проблема трансформаций и перифраз (12) в этой книге не затрагивается [о ней см.: Степанов 1981].

Уровень (порядок) 2 означает, что в этом языке некоторые высказывания могут быть получены из более простых, первичных высказываний уровня 1 (или, в обратной

последовательности, высказывания уровня 2 могут быть сведены к высказываниям уровня 1). Например, из высказывания уровня 1 *Свинья подрывает дерево* может быть получено высказывание уровня 2 *Дерево подрывается свиньей*. Здесь заложена возможность представить одно и то же объективное отношение предмета и признака двумя логически равноценными способами, по субъективному выбору говорящего (*Свинья подрывает дерево* — *Дерево подрывается свиньей*). Эта черта языка далее получит отражение в различии экстенционала и интенционала. Этот вопрос (13) рассматривается выше (гл. IV, 4; гл. IV, 2).

Координаты говорящего в Языке-2 по-прежнему отсутствуют; они появляются в том языке (Языке-3), где среди классов имен возникнет особый класс «я» и это имя сможет попеременно присваивать себе каждый носитель языка.

Существенной новой чертой Языка-2 становится сочетаемость. Конечно, всякое предложение есть сочетание субъекта с предикатом, но в Языке-1 — это именно лишь сопутствующая черта предложения.

449

В Языке-2, где имеется по два класса имен и предикатов, ничто не запрещает его носителю нарушить первоначальную сочетаемость и сочетать с субъектами одного класса предикаты, определяющие второй класс субъектов. Поскольку предикат выбирается при этом из класса, который не является первоначальным определением субъекта, то полученное таким образом предложение в системе Языка-2 уже не является аналитическим, но только синтетическим.

Таким образом, в Языке-2 существуют, казалось бы, предложения, являющиеся одновременно аналитическими и синтетическими, как в Языке-1, — это те именно предложения, которые основаны на «старой» сочетаемости субъектов с предикатами «своего» класса, и предложения синтетические, основанные на «новой» сочетаемости субъектов с предикатами «не своего» класса. Однако согласиться с этим можно лишь в том случае, если Язык-2 имеет какое-либо формальное средство различать «старую» и «новую» сочетаемость. Например, субъекты и предикаты «старой» сочетаемости имеют один морфологический показатель, а «новой» — другой; иллюстрацией может служить согласование по роду в русском предложении, т.е. наличие или отсутствие показателя *-а*: *Береза стар-а* — *Дуб стар-*; (согласование при мужском роде выступало наглядно в старой орфографии: *Дуб-ъ стар-ь*); другой иллюстрацией будет наличие или

отсутствие частицы *-ся* в предикате: отсутствие ее свидетельствует о «старой» сочетаемости (*Синица обклеывает рябину*), а наличие — о «новой» (*Рябина обклеывается*). Но если такая формальная черта не задана, то появление класса синтетических предложений, формально ничем не отличающихся от предложений, являющихся одновременно аналитическими и синтетическими, спутывает всю картину, и перед носителями Языка-2 встает проблема, аналогичная той, которую пытаются разрешить носители естественного языка, желая отграничить аналитические предложения от синтетических. (Остается вопрос, в который мы не будем сейчас углубляться: возможны ли при новом условии чисто аналитические предложения в Языке-2?)

По определению языка каждый из первоначальных классов субъектов означает некоторые предметы реального мира, имеющие в действительности те признаки, которые составляют класс их предикатов; между классом субъектов и классом предикатов существует связь, обусловленная реальным миром. Теперь, когда сочетаемость расширяется, и субъекты одного класса получают возможность сочетаться с предикатами не своего класса, естественное, обусловленное реальным миром основание их связи нарушается. Тогда что же выражают «новые» предложения?

Каждое из них выражает сочетание смыслов, не запрещенное правилами этого языка (и, следовательно, логически правильное), но, возможно, не определяющее никакой реальный объект в мире, описываемом Языком-2 в его «старых» предложениях. Это осмысленные

языковые выражения, не «увенчанные» объектами. Их естественно назвать интенционалами. В отличие от интенционалов реальные объекты, описываемые выражениями Языка-2, будем называть экстенционалами.

Если в Языке-2 становится разрешенной «новая» сочетаемость, описанная выше, то он перестает быть экстенциональным языком и становится языком интенциональным. Различие этих двух типов языков (14) в этой книге затрагивается в связи с пропозициональными установками (гл. IV, 3, 4).

По-новому предстает в Языке-2 проблема различения имен и предикатов. По определению имена в языке соответствуют вещам (предметам) в действительности, а предикаты — свойствам вещей в действительности. Но где критерий разграничения

«вещей» и «свойств» в самой действительности? Почему одно считается «вещью», а другое «свойством» вещи, а не наоборот?

Язык-1 заставлял смотреть на это различие именно как на условность, вызванную свойствами самого данного языка. Действительно, в Языке-1, где имеется только один класс объектов и соответствующий ему один класс свойств, вообще говоря, безразлично, представить ли объекты через их свойства или свойства через их объекты. Можно определить «кошку» как «тот, кто мяукает» или, напротив, определить «мяукать» как «свойство кошки». Иными словами, в Языке-1 полностью действует «принцип объемности»: свойство определяет класс, а класс может быть представлен его свойством, в некотором смысле — сведен к свойству.

Поскольку в Языке-1 существует только один класс имен, а противопоставленный ему класс слов — это класс предикатов, то, вообще говоря, даже с чисто лингвистической точки зрения второй класс тоже может быть назван классом имен, но только в синтаксическом (или синтаксическом) смысле. В самом деле, предикаты в этом языке как бы именуют свойства вещей, но только в отличие от имен вещей делают это в составе предложения. Рассел сформулировал подобный тезис почти афористически: «Такие слова, как «красный», «синий», «твердый», «мягкий» и т.п., являются, по моей мысли, именами в синтаксическом смысле» [Russel 1980, 95] (этот семантический вопрос (15) см. также в гл. IV, 3 и в гл. I, 1). Некоторые логики, занимавшиеся проблемами языка, положили эту черту в основание моделирования языка вообще [Карнап 1959]. Но язык открывает несравненно более сложную картину и возможности совсем иных путей. Применить отождествление объекта со свойством, т.е. «принцип объемности», даже к Языку-2 простым и естественным образом кажется невозможным.

В Языке-2 все имена по-прежнему определяют классы объектов. Что касается предикатов, то те из них, которые соответствуют «старой»

сочетаемости, также по-прежнему определяют классы объектов (в обоих случаях имеются в виду классы объектов, реально существующих в данном мире); но предикаты, соответствующие «новой» сочетаемости, перестают определять классы объектов в этом смысле, они определяют как реальные, существующие объекты, так и некие сущности, которые лишь могли бы существовать в мире. Иными словами, предикаты теперь определяют как экстенционалы, так и интенционалы, а последние не

обязательно «завершены» объектами. Если в Языке-1 « мяукает» всегда определяло класс «кошки», то в Языке-2 этот предикат определяет класс «мяукающие сущности» — как кошек, так и каких-то иных предметов, которые могут обладать признаком «мяукать», не являясь кошками (их можно назвать объектами в новом, широком смысле термина). Определение «X мяукает» адресует к «мяукающим объектам», в который включаются прежде всего «кошки» (а для обычного говорящего в практической речи и единственно только «кошки»). Определение «Кошка издает звук у» адресует к «объектам, являющимися кошками», этот класс пересекается с классом «мяукающие объекты», но может характеризоваться и иными признаками (например, *Кошка имеет хвост*). Если «кошки» объективно существуют в виде множества индивидов (в данном случае — вид кошек), то «мяукающие объекты» или тем более «объекты, имеющие хвост», существуют не как единый класс индивидов, а лишь как совокупности, собранные абстрагирующей деятельностью человеческого разума.

Благодаря этой черте в рамках Языка-2 возникает понятие интенционального, или возможного, мира, отличного от реального мира экстенционалов. Оно связано с тем, что интенционалы занимают срединное положение между выражениями языка и предметами внеязыкового, объективного мира. Тем не менее все три вида сущностей: 1) языковые выражения, 2) интенционалы, 3) реальные предметы — существуют. Но, естественно, «существование» тогда следует понимать в трех различных смыслах. Это было темой философии языка на протяжении столетий (см. гл. I, 2, 3, 4). Рассел (в «Проблемах философии» [Рассел 1914], т.е. в то время, когда он еще не отвергал понятие «сущности» за его «метафизичность») удачно резюмировал древнюю традицию в трех различных выражениях: существование вообще (все его виды) обозначается термином «существование» (англ. being); реальные предметы и языковые выражения (как чувственно воспринимаемые знаки, т.е. виды бытия 3 и 1) «экзистируют» (англ. exist, от лат. existentia); интенционалы же (вид бытия 2) «субзистируют» (англ. subsist, от лат. subsistentia). Логические и математические истины, числа (в платоновском понимании) также «субзистируют». В аспекте «существования» эта проблема (16) рассматривается в гл. I, а в аспекте «возможных миров» — особенно в гл. IV, 3.

Используем вместо примера с кошкой три выражения, заимствованных для наглядности не из Языка-2, а из вполне естественного языка: 1) *Победитель при*

Ваграме, 2) *Тот, кто победил при Ваграме*, 3) *Побежденный при Ватерлоо*. Все три определяют один и тот же индивид в реальном мире — Наполеон (экстенционал); они экстенционально тождественны. При этом (1) и (2) имеют один и тот же интенционал (смысл), они интенционально тождественны, в (3) — отличный интенционал.

В практической речи (мы все еще, для иллюстрации, находимся за рамками Языка-2, в естественном языке), где обычно отсутствуют длинные тексты и контексты, значение по экстенционалу играет определяющую роль, а иногда только оно вообще и играет роль. В какой-нибудь отдельной фразе, которой мы в беседе желаем намекнуть на Наполеона, мы можем безразлично сказать: *победитель при Ваграме* или *побежденный при Ватерлоо*. Но если речь идет о научном труде по истории, который мы, скажем, переводим с английского языка на русский, то мы никак не можем перевести выражение *победитель при Ваграме* выражением *побежденный при Ватерлоо*. Контекст играет здесь важную роль. Параллельно этому возрастает и роль интенционалов.

Наконец, там, где длинный контекст, дискурс является сам по себе целью сообщения, — например, в художественной речи, в романе, — понятие интенционала выходит на первый план, в то время как понятие экстенционала может играть роль очень незначительную. Например, какой-нибудь роман, повествующий об определенном периоде жизни Наполеона, может иметь весьма отдаленное отношение к реальному индивиду Наполеону, но зато интенционал «победитель при Ваграме» будет исключительным значением этого имени, а замена этого выражения на «побежденный при Ватерлоо» будет вообще бессмыслицей. (Но в «Озарениях» Рембо (см. гл. I, 2.6) так «склеены» персонажи двух разных миров на том основании, что они были одним и тем же лицом в действительном мире.)

Таким образом, каждый интенционал индивидного имени определяет некоторый индивид в некотором возможном, но не обязательно актуальном существующем мире. Каждый интенционал вообще определяет некоторую сущность, «вещь» возможного, хотя не обязательно актуального мира.

Сам же возможный мир — это мир, состоящий из предметов, индивидов, сущностей, соответствующих интенционалам какого-либо языка. Возможный мир создается средствами языка. Если, например, в естественном языке (который описывает актуальный мир) трем разным приведенным выше выражениям соответствует один

экстенционал — Наполеон, то в одном из возможных миров, который будет создан с помощью естественного языка таким образом, что каждому интенционалу будет приписан отдельный, соответствующий ему

индивид, не будет «одного Наполеона», а будет некий индивид, соответствующий «победителю под Ваграмом», и некий другой индивид, соответствующий «побежденному при Ватерлоо». При другом соглашении относительно языка этот воображаемый мир может быть разведен на два новых, также воображаемых мира, в одном из которых будет существовать только индивид, соответствующий первому интенционалу, а в другом — второму. Возможный мир строится по законам логики, он внутренне целесообразен и логичен, но его интенционалы не завершены экстенционалами, для них не находится существующих «вещей» в действительном мире. Все сказанное действительно и для Языка-2.

На Языке-2 возможна прекрасная содержательная поэзия. Ее основное выразительное средство будет состоять в новой сочетаемости субъектов с предикатами и, шире, в снятии ограничений на сочетаемость. Ее содержанием будет «интенциональный» мир смыслов, построенный по законам логики, но не обязательно «завершенный» реальными объектами.

Поэзия в этом смысле отвечает двум замечательным определениям ее — Лорки и Пушкина.

Лорка: «Однажды меня спросили, что такое поэзия. Я вспомнил одного своего друга и ответил: «Поэзия? Это союз двух слов, о которых никто не подозревал, что они могут сочетаться и которые открывают нам Новую тайну всякий раз, как мы их произносим совместно». Например, если вспомнить этого моего друга, то поэзия вот что: “Он — раненый олень”» (F. Garcia Lorca. Prosa. Poesia. Teatro. М.: Progreso, 1979). Частным результатом сочетания будет метафора — новое качество языка. (Г. В. Степанов считает это основным свойством поэзии самого Лорки [Степанов Г. В., 1979, 16], и в известной мере это — свойство искусства слова вообще [Храпченко 1983].)

Пушкин: «Между тем, как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе, и

что главное достоинство искусства есть польза... Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя» [Пушкин 1949, XI, 177]. «Предполагаемые обстоятельства» Пушкина, в которых, однако, господствует «истина», пусть «истина страстей», и есть «возможный мир» поэзии — интенциональный мир.

Пушкин указал и на традицию, к которой он присоединяется, — Кант и Лессинг. Кант в главе «Критика эстетической способности суждения» определяет «красоту» (как предмет искусства) как «форму целесообразности предмета, но без представления цели» [Кант 1966, 240]. «Целесообразность предмета» соответствует объективной закономерности

сти реального мира, «форма целесообразности предмета» — его место в логической картине мира, а «форма целесообразности без представления цели» — это и есть, в терминологии нашего рассуждения, не что иное, как интенционал. Положение Канта в неявном виде содержит две глубокие истины: оно говорит о существовании объективной закономерности в мире и о необходимости внутренней, логической закономерности в произведении искусства. Внутренне нелогичное произведение искусства не может отразить «объективную логику» мира.

Определения Канта и Пушкина говорят об общих свойствах интенционального мира. Вернемся теперь к его «мелкой мере» — к сочетанию слов, и прежде всего к сочетанию предиката с субъектом. Если сама суть поэзии в мире Языка-2 — это «новая» сочетаемость имен и предикатов, то ее результатом, продуктом будут новые предложения, относящиеся к интенциональному миру поэзии. Поскольку они уже осуществились (кем-то высказаны на Языке-2), их можно описать как класс и классифицировать на подклассы, — получится — в воображаемом мире Языка-2, — учение о существующих поэтических сочетаниях имен с предикатами, т.е. учение о постоянных сюжетах. Таким образом, Язык-2 моделирует некоторые черты синтаксических поэтик, которые подробнее рассматриваются выше (гл. IV, 5, ср. также в гл. V, 3).

Как и Язык-1, Язык-2 находит реальный аналог в протоиндоевропейском. Один класс имен можно отождествить с именами предметов, характеризующихся как класс «агенс, актив», другой класс — как «пациенс, неактив» (см. выше). Но в отличие от

поисков аналога Языка-1 здесь нужно не выбрать один из классов, а принять их одновременное наличие. Тем самым, в соответствии с теорией Х. К. Уленбека, принимается сосуществование двух типов предложений: 1) с активным субъектом и переходным глаголом, 2) с неактивным субъектом и непереходным глаголом. Но тогда нужно принять как необходимое следствие и сосуществование с ними третьего типа, где за переходным глаголом следовал объект (пассивный, пациенс).

Возникновение предложений уровня (порядка) 2, т.е. трансформаций, предусмотренное моделью Язык-2, также находит реальные аналоги, например пассив. Его прототипом служили двучленные предложения типа 2, т.е. типа рус. *Ветер поднимается*, а также *Человек рождается*, *Дом строится*, *Лес рубится* и т.п. Но так как рядом с пассивными предложениями такого типа уже существовали предложения степени 2 с двумя терминами, где второй терм обозначал «сопутствующий объект», то вскоре должен был естественным путем появиться трехчленный пассив типа рус. *Человек рождается женщиной*; *Дом строится рабочими*; *Лес рубится лесорубами*.

3. ЯЗЫК-3 (С СЕМАНТИКОЙ, СИНТАКТИКОЙ И ПРАГМАТИКОЙ— ДЕКТИКОЙ)

Продолжаем усложнять модели, следуя «принципу Лобачевского», т.е. подмечая динамику исходного состояния и вводя в следующую модель тот элемент, который отсутствует в предыдущей, но должен был бы появиться при свободном продолжении ее движения. Третья модель, Язык-3, отличается от предыдущей наличием элемента «Я». По-видимому, неслучайным совпадением является то, что, вводя элемент «Я» в рамках своей системы «трансцендентального идеализма», Шеллинг использует тот же принцип, что и Лобачевский, и даже говорит об этом почти теми же словами: «Если принцип философии сводится к постулату, то объектом постулирования служит здесь построение, самое первоначальное для внутреннего чувства, т.е. я, не такое, которое обладает той или иной определенностью, но я вообще, как самопорождение... Результат этот не обладает никакой силой вне построения, он вообще есть, только постольку строится, и в отвлечении от построения существует столь же мало, как и линия геометра... По той же самой причине сущность я столь же мало доказуема, как и сущность линии; можно лишь описать ту деятельность, при помощи которой я возникает» [Шеллинг 1936, 54]. Но рассмотрим все по порядку.

Язык-3 — это такой естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 3 или более.

Степень 3 показывает, что предикаты в этом языке трехместные (или вообще n -местные, где n больше или равно 3). *Петр купил машину у Ивана* (1); *Иван продал машину Петру* (2); *Машина продана Иваном Петру* (3); *Машина куплена Петром у Ивана* (4); *Машина куплена Петром у Ивана по государственной цене* (5) — типичные высказывания этого языка.

Уровень (порядок) 3 (или более) говорит о наличии в этом языке трехэтапных или более сложных преобразований выражений — от простого к сложному или в обратном порядке. Например, возможны следующие преобразования в сторону упрощения: (5) — (4) — (1), при этом на каждом этапе здесь высказывание остается трехместным, не переходит границу 3. Если же допустить (что вполне естественно), что преобразования могут переходить эту границу, то их ряд становится вполне аналогичным тому, с чем мы имеем дело в естественном языке: *Машина куплена Петром у Ивана по государственной цене* → *Машина куплена Петром у Ивана* → *Петр купил машину у Ивана* → *Петр купил машину*. Последнее высказывание двухместное, типичное для языка иной модели — Языка-2. Все приведенные преобразования — перифразы.

Следовательно, естественно принять, что Язык-3 включает в себя Язык-2. Можно также допустить, что Язык-3 включает в себя и Язык-1.

(Так, например, когда в действительности в индоевропейских языках развиваются преобразования с переходными глаголами типа *Старик пишет письмо*, то не утрачиваются предложения с непереходными типа *Карандаш пишет*; нечто похожее имеет место, по-видимому, в развитии «активных» языков североамериканских индейцев.) Но это допущение не обязательно; точно так же можно было бы раньше допустить, что Язык-2 включает в себя Язык-1, что тоже не обязательно, и мы этого не делали

Все же теперь — с целью избежать построения длинного ряда промежуточных моделей — можно принять именно это необязательное условие: Язык-3 включает в себя Язык-2 и Язык-1. Это значит, что высказывания и классы имен и предикатов, имеющиеся в Языках-2 и 1, имеются также в Языке-3. Однако суть Языка-3 связана именно с его собственной чертой — наличием высказываний степени 3 и уровня 3.

Но тогда понятие уровня (порядка) и связанное с ним понятие преобразования делаются — каждое — разнородными; они становятся, скорее, общими заголовками для некоторых подводимых под них явлений разной природы. Поскольку все это — следствие естественного процесса моделирования, то с этим приходится согласиться и, оставив термины «уровень (порядок)», «преобразование» как заглавные слова (как гипонимы), попытаться точнее определить не их, а подчиненные им более частные явления языка.

Трансформацией будем называть преобразование, оставляющее нетронутым термовую (актантную) структуру предиката и сохраняющее количество предметных мест в нем; при более жестком определении трансформации (которого мы в большинстве случаев и будем здесь придерживаться) можно требовать также сохранения и тех конкретных имен, которыми заполнены соответствующие места. Трансформация предохраняет предикат. Типичный пример трансформаций — преобразование актива в пассив: *Петр покупает машину* → *Машина покупается Петром*. Преобразование, затрагивающее актантную структуру предиката, прежде всего изменяющее количество актантных мест, будем называть перифразированием, перифразой [см.: Степанов 1981].

Язык со столь развитой системой различных преобразований, несомненно, отвечает какой-то целесообразности. Естественно видеть ее в потребности говорящих — каждого из них — представлять объективную ситуацию некоторым субъективным образом в зависимости от коммуникативных целей. Поэтому необходимо предположить, что такой язык выделяет и самого говорящего каким-то особым способом, которым не располагали Язык-2 и Язык-1. В естественных языках известны в основном два таких способа — во-первых, особое имя говорящего, «я», которое выделяет его из всех остальных носителей языка и

которое может быть присвоено на время говорения каждым из них; во-вторых, особые координаты говорящего, с которыми он соотносит свою речь. Эти две черты существенно отличают Язык-3 от предыдущих.

Имя говорящего, «я», одновременно является первой координатой говорящего в ряду из трех координат «я — здесь — сейчас». Но что является собственной семантикой

слова «я» — какая сущность внешнего мира? Этим вопросом знаменуется особая проблема семантики (17), которая рассматривается подробно в гл. V, 1 и гл. VI.

Все остальные координаты речи определяются по отношению к трем координатам говорящего в момент речи и в месте речи: «я — здесь — сейчас» является основой для координат «я — там — тогда», «ты — там — тогда», «он — там — тогда».

Введением координат значительно облегчается в языке проблема именования. Вместо «раздутых» классов имен и предикатов, в которых объективно один и тот же предмет или его свойство были представлены по несколько раз (как, например, «лохматый₁» и «лохматый₂» в Языке-1), как разные по отношению к говорящему, теперь устанавливаются «компактные» классы, а различие выражается наложением на одно и то же имя или один и тот же предикат (и на предикат в первую очередь) различных координат. Например, вместо двух предикатов «лохматый» появляется один, а вместо разных имен типа «дом сейчас» и «дом в прошлом» — одно имя *дом*, которое может употребляться в двух координатах — настоящего и прошедшего.

Естественно, что в таком языке, как этот, где говорящий получил переменное имя «я», он будет иметь и постоянное имя — *Ваня, Катя, Джон* и т.п. Таким образом, в Языке-3 появляется еще один, особый класс имен — имена носителей этого языка. (В Языке-1 и Языке-2 следует мыслить такую ситуацию, когда носители языка различают друг друга как наглядно данные, чувственно воспринимаемые объекты, но объекты безымянные, подобно тому как акт говорения — слушания непосредственно дан в опыте, но не может быть обозначен средствами языка. Там можно предположить и более сложную ситуацию — носители языка каким-то образом уподобляют себя тем объектам, которые в их языке имеют наименования, т.е. называют друг друга *Большой Бобр, Белая Кукушка* и т.п. Но это особый вопрос.)

Итак, в Языке-3 имеются все необходимые условия для того, чтобы в нем появились пропозициональные установки. В самом деле, чтобы можно было сказать «Джон считает, что...» (скажем, «Джон считает, что идет дождь»), нужно, чтобы тот носитель языка, который это говорит, имел возможность выделить Джона как объект наравне с объектом «дождь». Естественно, что этот носитель языка должен быть готов услышать нечто подобное и о себе, т.е. знать, что его можно именовать как отдельный объект, подобный Джону, дождю, кошке и т.п. Но именно этот процесс задан в форме переменного именования «Я».

Со времен специальных исследований феноменологов, особенно основоположника этого направления — Гуссерля, многие философы языка считают этот процесс, процесс «интерсубъективности», основным во всем названном комплексе вопросов. Эта проблема (18) рассматривается в гл. V, 1.

Но кроме «интерсубъективности» для «пропозициональных установок» следует предположить еще одно необходимое основание — возможность каждого носителя языка наблюдать говорение и общение других носителей со стороны — это в зародыше явление метаязыка, связанное с «пропозициональными установками» и с прагматикой» в целом. В работах Р. Карнапа и других авторов его периода «прагматика» связывалась в сущности именно с наличием некоего «наблюдающего со стороны разума» (19), см. в гл. IV, 4 и VI, 2.

Но мыслится ли в этом Языке-3 (а значит, теперь и в полностью естественном языке) сам говорящий с его «Я» как вечно неизменное, одно и то же «Я»? Или на него распространяется принцип изменения координат, т.е. вводятся некоторые «абсолютные координаты» и говорящий может (или должен) рассматривать себя как «Я сейчас», «Я тогда» и т.д.? Если предположить первое, неизменность «Я», то возникают некоторые парадоксы. Например, высказывание *Я ошибочно считал, что...* (в прошлом) представляется осмысленным (правильным), а высказывание *Я ошибочно считаю, что...* (в настоящем) лишенным смысла (неправильным), тогда как *Иван ошибочно считал, что...* и *Иван ошибочно считает, что...*, т.е. применительно к «не-Я», равно правильны. Эти проблемы семантики (20) стали предметом анализа лишь в самое последнее время, уже после того, как они стали — впрочем, тоже недавно — предметом искусства (см. гл. VI, 0.1 и далее).

Какое искусство можно вообразить себе на Языке-3? Какие новые черты искусства слова будут соответствовать двум новым свойствам языка — неограниченной возможности перифраз и введению координат говорящего? По-видимому, здесь следует представить себе много разных поэтик.

Как бы прямо парируя определение поэзии, данное Лоркой, которое так хорошо согласуется с Языком-2 (см. выше), русский имажинист В. Шершеневич в 1920 г. формулировал принцип «эгоцентрической поэзии» в духе возможностей Языка-3. Ориентируясь на координату «Я», на индивидуализм и произвол поэта, Шершеневич

писал: «В “нет никаких законов” — главный и великолепный закон поэзии. В самом деле: «Поэзия есть возвышенное сочетание благородных слов, причем эти слова сочетаются таким образом, что ударяемые и неударяемые слова гармонично и последовательно чередуются», — писал благородный дедушка поэтики, Ломоносов (а это близко к сказанному Лоркой. — Ю. С.). Что уцелело от этого пафосного определения?» («Ломать грамматику») [Литературные манифесты 1929, 103]. Шершеневич хотел, конечно, ска-

зать: ничего; он видел идеал поэзии в разрушении грамматики поэтического слова.

Он ясно понял, что главный удар — с позиций эгоцентризма — должен быть направлен против предиката: «Слово всегда беременно образом, всегда готово к родам. Почему мы — имажинисты (от франц. image ‘образ’. — Ю. С.) — так странно на первый взгляд закричали в желудке современной поэтики: долой глагол! Да здравствует существительное! Глагол есть главный дирижер грамматического оркестра. Это палочка этимологии. Подобно тому, как сказуемое — палочка синтаксиса» [там же, с. 106]. Эти и другие особенности «эгоцентрических поэтик» (21) подробнее рассматриваются в гл. VI.

Но можно представить себе совсем другую поэтику. Если в Языке-2 говорящий получил возможность строить элементы воображаемого мира — интенционалы, то в Языке-3 говорящий может построить этот мир в целом, соединив его элементы в цельную картину, и рассуждать о нем. Художник имеет средства отличить свой мир от мира другого человека. Если у двух интенциональных миров имеется некое общее основание, то они будут восприниматься как перифразы один другого. Следовательно, формальным признаком искусства на этом языке будет наличие или по крайней мере возможность перифраз. Наиболее показательным примером будет, пожалуй, перифраза-пародия:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Лермонтов. «Казачья колыбельная песня»

и парафраз:

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.

Некрасов, «Колыбельная песня
(Подражание Лермонтову)»

В чем отличие параллелизма, заключенного в перифразах, от параллелизма в Языка-1 типа

Ерему в шею, а Фому в толчки!

Ерема ушел, а Фома убежал

—460—

и т.д.? В Языке-1 можно было говорить одинаково о разных предметах (о Фоме и о Ереме), а в Языке-3 можно говорить по-разному об одном и том же предмете. Месяц Лермонтова и месяц Некрасова — один и тот же объект, но он «тихий и ясный» в мире Лермонтова и «тусклый», медный» в мире Некрасова. Интенциональный мир создается средствами языка.

Искусство, творимое на Языке-3, отличается и от искусства, создаваемого средствами Языка-2. В последнем существует «поэтический мотив» как постоянный предикат к переменным свойствам (вообще — актантам), существует и «поэтический сюжет» — как линейная последовательность мотивов (см. гл. VI, 4). Если места переменных, актантов, заполнены какими-либо постоянными, то «сюжет» превращается в конкретную басню (в таком виде басня описана А. А. Потебней [1905, 314 и след.]). Но, вообще говоря, носитель Языка-2, рассказывающий басню или слушающий ее, не имеет формальной возможности отличить ее от «практической» речи — от сообщения о том, что происходит в действительности. Практическое сообщение «Этой вороне бог послал вот этот кусочек сыру...» и «поэтическое» сообщение, повествующее о воображаемом мире, «Некоей вороне бог некогда послал некий кусочек сыру...», не различаются формально до тех пор, пока не появляются внешние приметы этого, такие, как слово «некий» в отличие от «этот». Если «этот» соотносит происходящее с координатой «здесь — сейчас», то «некий» — с координатой «там — тогда», причем в воображаемом мире. Эта возможность появляется лишь в Языке-3, и текст басни на этом языке должен отличаться от текста на Языке-2. Текст басни на Языке-3 может быть таким, как известная басня Крылова:

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала...

Слово *где-то* соотносит происходящее с миром, возможно и реальным, но лежащим за пределами актуальной ситуации речи. Что касается слов *было и на ту беду*, то они не указывают ни на какие объекты реального мира — они выражают отношение говорящего к описываемому им интенциональному миру: *Позавтракать было совсем уж собралась* в отличие от *позавтракать собралась* означает не реальный факт, а знание рассказчика: рассказчик, но не ворона знает, что завтраку не суждено успешно завершиться; рассказчик, но не ворона знает, что случится беда и что ее возвещает появление лисицы. Говорящий, подобно творцу, видит свой интенциональный мир как завершенное целое, знает начала и окончания его событий и имеет возможность — с помощью специальных слов — высказываться о них.

—461—

Говорящий может говорить от лица любого объекта — живого или неодушевленного, не опасаясь, что он будет смешан слушателем с этим объектом. Открыта возможность лирической поэзии. Более того, сам поэт в полном соответствии с древнейшим значением этого слова — латин. *vates*, др.-инд. *kavi* — оказывается человеком, голосом которого говорят лишённые дара слова другие — вещи, растения, животные и, если они того пожелают, боги. Мир молчаливой природы и скромных от природы людей, которые не могут сами рассказать о себе, был бы обречен на вечное молчание, если бы время от времени не находился поэт, голосом которого они говорят и который готов обречь себя на смерть, чтобы выполнить свое предназначение. Все это было сказано великими поэтами:

Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что, бессловесное, грохочет,
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым.
У меня не выяснены счета
С пламенем, и ветром, и водой...
Оттого-то мне мои дремоты
Вдруг такие распахнут ворота
И ведут за утренней звездой.

Ахматова. Из цикла «Тайны ремесла»

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает»

М. Пруст.: «...Вдруг меня охватило ощущение глубокого счастья, какого я почти не испытывал с детства... В стороне от дороги, в низине, по которой пронеслась наша коляска, я увидел три дерева, они служили, должно быть, входом в аллею; их рисунок показался мне знакомым, виденным, я не мог только вспомнить места, из которого они были перенесены сюда, но чувствовал, что раньше знал это место очень хорошо. Мое сознание как бы споткнулось, переходя от какого-то момента в прошлом, удаленного на много лет назад, к настоящему, пейзаж закачался, и мне показалось, что вся эта прогулка в коляске — вымысел; что местность, где мы проезжаем, — плод моего воображения; моя спутница — персонаж романа, а эти три старых дерева — настоящая реальность, к которой я возвращаюсь, как мы возвращаемся к реальному миру, подняв глаза от страницы книги и оторвавшись от ее вымышленного мира, куда совсем было перенеслись — во время чтения.

Я всматривался в эти деревья, я прекрасно видел их, но мое сознание чувствовало, что в них скрыто что-то, чего оно не может схватить... Как тени прошлого, они, казалось, просили меня взять их с собой, вернуть их к жизни. В их бесхитростных и взволнованных движениях ветвями я узнавал мучение любимого человека, который потерял дар речи, чувствует, что не может объяснить нам, чего он хочет, а мы не в силах этого угадать.

Коляска дрогнула и оставила их за поворотом дороги. Она отрывала меня от того, что, я знал, одно было истинным, одно могло сделать меня счастливым, она была — как моя жизнь.

Я видел, как деревья отстают, как, теряя надежду, тянут ко мне ветви, кажется, говорят: «То, чего ты не узнаешь о нас сейчас, ты не узнаешь уже никогда. Если ты бросишь нас здесь, посреди дороги, откуда мы хотели вырваться и соединиться с тобой, то часть твоего собственного существа, которую мынесли тебе, навсегда канет в небытие...» (М. Proust. *A l'ombre des jeunes filles en fleurs*. М.: Прогресс, 1982, с. 315—317).

Признак, которым отличается Язык-3, введенное в него измерение, обычно называется «прагматикой»; очевидно, что поэзия и искусство слова, подобные только что обрисованным, никак не могут быть названы «прагматическими». А между тем они основаны именно на этом свойстве языка. Термин «прагматика», неудачный с самого

начала, делается все более непригодным по мере расширения круга связанных с соответствующим понятием вопросов. Вместо него был предложен термин «дектика» (гл. VI).

Вернемся теперь к числу, характеризующему язык. Какие изменения произойдут в модели, если вместо числа 3 она будет характеризоваться числом 4? или 5? или любым сколь угодно большим числом n ?

Прежде всего, при неограниченно возрастающем n предикат степени n становится просто набором из n -элементов любой природы, взятых в определенной (упорядоченной) последовательности; он перестает отображать отношения специфической природы, фиксирующиеся в предикатах естественного языка, степень которых редко превышает 5. (Почему естественный язык выбирает и фиксирует лишь такие свойства действительности, которым соответствуют, в общем, не более как 5-местные предикаты, лингвистам еще предстоит выяснить.) Предикат степени n становится просто «энкой», как предикат степени 2 является «парой», степени 3 — «тройкой», степени 4 — «четверкой» и т.д., но в отличие от них «энкой», лишенной предикатной семантики; он становится функцией особого вида.

Но функцией особого вида становятся при этом и те элементы (термы, актанты, индивиды), которые упорядочиваются предикатом. Функция, определяющая предикат, и функция, определяющая индивиды, или имена, при этом процессе становятся в известном смысле функ-

циями одного и того же типа. Различие между именем и предикатом в некотором смысле исчезает. Эта чрезвычайно интересная проблема (22) в настоящей книге затрагивается лишь бегло (в гл. VI).

Развитый в этом отношении язык-модель, так сказать Язык- n , становится чрезмерно (по нашему мнению) большой абстракцией от предметного естественного языка, но зато (по общему мнению) делается удобным инструментом для моделирования возможных миров, интенциональных миров, модальных логик и т.п. (эта проблема (23) также затрагивается в гл. VI).

Таковы те приблизительно два десятка проблем (пронумерованные в предыдущем изложении, не очень строго, цифрами от 1 до 23), возникновение которых можно непосредственно наблюдать на модели «трех языков». Они являются проблемами

семантики, синтактики, прагматики (дектики), в совокупности свидетельствуют о трехмерности языка и служат резюме ко всем проблемам философии языка и поэтики, рассматриваемым в этой книге.

Надо также отметить, что большинство отсылок приходится на гл. I, IV и VI, в которых рассматриваются три основные парадигмы философии языка, и, напротив, у нас почти не было необходимости упомянуть проблематику «межпарадигматических глав». Этим лишний раз подтверждается более важная роль парадигм по сравнению со взглядами межпарадигматических периодов.

ЛИТЕРАТУРА

- Антология мировой философии. М., 1969, т. 1 (ч. 1, 2).
- Апресян Ю. Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
- Аристотель.* Категории. С приложением «Введения» Порфирия к «Категориям» Аристотеля. М., 1939.
- Аристотель.* Соч.: В 4-х т. М., 1976, т. 1; 1978, т. 2; 1981, т. 3.
- Арутюнова Н. Д.* Сокровенная связка: (К проблеме предикативного отношения). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 4.
- Арутюнова Н. Д.* Лингвистические проблемы референции. Вступит. статья. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 13.
- Асмус В. Ф.* Античная философия. 2-е изд., доп. М., 1976.
- Балашиов Н. И.* Рембо и связь двух веков поэзии. — В кн.: Артюр Рембо. Стихи. Сер. «Лит. памятники». М., 1982.
- Балашиов Н. И.* Примечания. — В кн.: Артюр Рембо. Стихи. Сер. «Лит. памятники». М., 1982а.
- Барт Р.* Лингвистика текста / Пер. с франц. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978, вып. 8.
- Барт Р.* Нулевая степень письма. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Белый А.* Поэзия слова. Пушкин. Тютчев. Баратынский. Вяч. Иванов. А. Блок. Пб., 1922 (см. также в кн.: Семиотика. М., 1983).
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика / Пер. с франц. М., 1974.
- Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. М. Л., 1960—1963.
- Богомолов А. С.* Английская буржуазная философия XX века. М., 1973.
- Бокадорова Н. Ю.* «Общая грамматика» XVIII века и современное общее языкознание. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, № 2.
- Борн М.* Состояние идей в физике. — В кн.: Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
- Брехт Б.* Театр. М., 1965, т. 5 (2).
- Брутян Г. А.* Трансформационная логика. Ереван, 1983.
- Брюсов В.* Полн. собр. соч. и переводов. СПб., 1913, т. 21.
- Булыгина Т. В.* Синхронное описание и внеэмпирические критерии его оценки. — В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Булыгина Т. В.* О границах и содержании прагматики. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1981, т. 40, № 4.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Диалогические функции некоторых типов вопросительных предложений. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, № 4.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. К развитию концепции слова как вместилища знаний. — В кн.: Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Межвузовский тематический сборник. Калинин, 1980.

465

Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. Пер. с ит. М. — Киев: REFL-book. ИСА, 1994.

Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем. М., 1958.

Владиславлев М. И. Логика. 2-е изд. М., 1881.

Войцивилло Е. К. Понятие. М., 1967.

Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.

Вомперский В. П. Стилистическая теория А. Х. Белобоцкого. — В кн.: Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов. Калинин, 1979.

Гегель. Соч. Л., 1932, т. 9; 1959, т. 4.

Гей Н. К. Многоголосие жизни и художественный метод М. Горького. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1977, т. 36, № 5.

Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Горский Д. П. Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961.

Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983.

Грязнов А. Ф. Философия Шотландской школы. М., 1979.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. — В кн.: Логос. М., 1911, кн. 1.

Гухман М. М. Лингвистическая теория Л. Вейсгербера. — В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.

Дегулис А. Проблема интенциональности в аналитической философии. — В кн.: Проблемы сознания в современной буржуазной философии. Вильнюс, 1983.

Декарт. Соч. / Пер. Н. Н. Сретенского. Казань, 1914, т. 1.

Демьянков В. З. Предикаты и концепция семантической интерпретации. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 4.

Демьянков В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста, вып. 1. Порождающая грамматика. М., 1979; вып. 2. Методы анализа текста. М., 1982 (Тетради новых терминов, № 23, 39).

Джохадзе Д. В. Алексей Федорович Лосев: Краткий очерк жизни и деятельности. — В кн.: А. Ф. Лосеву к 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983.

Джохадзе Д. В., Стяжкин Н. И. Введение в историю западноевропейской средневековой философии. Тбилиси, 1981.

Долгополов Л. К. В поисках самого себя: (К 100-летию со дня рождения Андрея Белого). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 6.

Доннеллан К. С. Референция и определенные дескрипции / Пер. с англ. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 13.

Дуганов Р. В. Краткое «искусство поэзии» Хлебникова. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1974, т. 33, № 5.

Дуганов Р. В. Проблема эпического в эстетике и поэтике Хлебникова. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 5.

466

Ельмслев Л. Прологомены к теории языка / Пер. с англ. — В кн.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1.

Ермилова Е. В. Поэзия «теургов» и принцип «верности вещам». — В кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX веков. М., 1975.

Жоль К. К. Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия. Киев, 1981.

Инголлс Д.-Г.-Х. Введение в индийскую логику навья-ньяя / Пер. с англ. М., 1975.

[Иоанн Дамаскин] Диалектика Св. Иоанна Дамаскина / [Пер. с греч.] М., 1862.

Исаев С. А. К вопросу о «косвенной» форме изложения в произведениях Серена Кьеркегора. — В кн.: Человек, сознание, мировоззрение: (Из истории зарубежной философии). М., 1979.

Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1963, т. 1; 1964, т. 2; 1964а, т. 3; 1965, т. 4 (1, 2); 1966, т. 5; 1966а, т. 6.

Каракулаков В. В. К вопросу о соотносительности частей речи стоиков с их логическими категориями. — Studii clasice (București), 1964, VI.

Каракулаков В. В. К вопросу о принципах выделения частей речи у Дионисия Фракийца. — Studii clasice [București], 1964а, VI.

Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.

Карельский А. В. Утопии Роберта Музиля. — В кн.: Musil R. Ausgewählte Prosa. Moskau, 1980.

Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике / Пер. с англ. М., 1959.

[Карпов В. Н.] Систематическое изложение логики. Соч. проф. В. Н. Карпова. 1856.

Карри Х. Б. Основания математической логики / Пер. с англ. М., 1969.

Козлова М. С. Философия и язык. М., 1972.

Колианский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.

Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971.

Кубрякова Е. С. Динамическое представление синхронной системы языка. — В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.

Кузнецов С. Н. Основы интерлингвистики. М., 1983.

Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. 2-е изд. М., 1977.

Лахути Д. Диспозициональный предикат. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1962, т. 2.

Лейбниц Г. В. Соч.: В 4-х т. М., 1982, т. 1; 1983, т. 2.

Ленин В. И. Еще одно уничтожение социализма. — Полн. собр. соч., т. 25.

Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии». — Полн. собр. соч., т. 29.

467

Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». — Полн. собр. соч., т. 29.

Лепяхин В. В. К вопросу о теме «двойничества» в древнерусской литературе. — Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate. Suppl. Dissertationes Slavicae... История, язык и искусство восточных славян в XI—XIII вв., Szeged, 1981.

Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. Сб. материалов. М., 1929.

Литлвуд Дж. Математическая смесь / Пер. с англ. 4-е изд. М., 1978.

Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи. — В кн.: Язык и мышление. М.; Л., 1935, вып. 3—4.

Лихачев Д. С. О теме этой книги. — В кн.: Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971.

Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. М., 1976.

Лобачевский Н. И. Три сочинения по геометрии. М., 1956.

Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927.

Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1927а.

Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.

Лосев А. Ф. Учение о словесной предметности (лектонУ в языкознании античных стоиков. — В кн.: Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.

Лукаевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики / Пер. с англ. М., 1959.

Льюис К. И. Виды значения / Пер. с англ. — В кн.: Семиотика. М., 1983.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979.

Маковельский А. О. История логики. М., 1967.

Малявина Л. А. Грамматика испанского гуманиста Ф. Санчеса как этап в развитии взглядов на язык. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, № 2.

Марков А. А. Теория алгоритмов. — Труды математического ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, 1951, т. 38.

Маркс К. Капитал, т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23.

Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. — Соч. 2-е изд., т. 2.

Мах Э. Философское и естественнонаучное мышление [1-я глава из кн.: «Познание и заблуждение»] / Пер. с нем. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. первый. СПб, 1912.

Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. М., 1979.

Мельвил Ю. К. Прагматизм. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1967, т. 4.

Микеладзе З. Н. Примечания. — В кн.: Аристотель. Собр. соч. М., 1978, т. 2.

Михайловский Н. К. Вико и его «Новая наука». — Собр. соч. Спб., 1909, т. 3.

Монтегю Р. Прагматика и интенциональная логика / Пер. с англ. — В кн.: Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981.

Монтегю Р. Прагматика. — В кн.: Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981а.

Моррис Ч. Основания общей теории знаков. — В кн.: Семиотика. М., 1983.

468

Мотрошилова Н. В. Феноменология. — В кн.: Современная буржуазная философия / Под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. М., 1978.

Мудрагей В. И. Концепция «унифицированной науки» в логическом позитивизме. — В кн.: Позитивизм и наука. М., 1975.

Мясников А. С. У истоков «формальной школы». — В кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX веков. М., 1975.

Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии / Пер. с англ. М., 1981.

Николай Кузанский. Соч.: В 2-х т. М., 1979, т. 1; 1980, т. 2.

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982.

Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1; 1962, вып. 2.

Новый энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон, т. 24.

Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.

Перельмутер И. А. Греческие мыслители V в. до н.э. Платон. Аристотель. Философские школы эпохи эллинизма. — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.

Пирс Ч. С. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa». — В кн.: Семиотика. М., 1983.

Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1968, т. 1; 1970, т. 2; 1971, т. 3 (1); 1972, т. 3 (2).

Попов П. С. Рец. на кн.: Patzig G. Die aristotelische Sillogistik. Göttingen, 1959. — *Вопр. философии*, 1961, № 3.

[*Порфирий*] Введение к «Категориям» финикийца Порфирия, ученика ликополитанца Плотина. — В кн.: *Аристотель. Категории*. М., 1939.

Постовалова В. И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Губольдта. М., 1982.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.

Примочкина Н. Н. Блок и проблема «механизации» культуры. — *Изв. АН СССР, сер. лит. и яз.*, 1978, т. 31, № 2.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1949, т. XI.

Рамишвили Г. В. Вопросы энергетической теории языка. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.; резюме на рус. яз.).

[*Рассел*] *Рэссель Б.* Проблемы философии / Пер. с англ. СПб., 1914.

Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы / Пер. с англ. М., 1957.

Рассел Б. История западной философии / Сокращ. пер. с англ. М., 1959.

Рембо А. Стихи. М.: Наука, 1982.

Руднев Вадим. Морфология реальности. Исследование по «философии текста». М.: Гнозис, 1996.

Руденко Д. И. Имя в парадигмах философии языка. Харьков: Основа, 1990.

Садовский Г. Разработана ли в марксизме категория сущности? — *Коммунист*, 1983, № 7.

Садовский В. Н., Смирнов В. А. Я. Хинтикка и развитие логико-эпистемологических исследований во второй половине XX в. [Вступит. статья] — В кн.: *Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования*. М., 1980.

Семантика модальных и интенциональных логик / Пер. с англ.; Сост. В. А. Смирнов. М., 1981.

Семантические типы предикатов. М., 1982.

Семиотика / Сб. переводов с англ., франц., исп. яз.; Сост. Ю. С. Степанов. М., 1983.

Серебренников Б. А. Номинация и проблема выбора. — В кн.: *Языковая номинация: Общие вопросы*. М., 1977.

Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983.

Слюсарева Н. А. Экзистенциализм М. Мерло-Понти и проблемы языка. — В кн.: *Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореца*. М., 1975, вып. 91.

Смирнова Е. Д. К проблеме аналитического и синтетического. — В кн.: *Философские вопросы современной формальной логики*. М., 1962.

Современная буржуазная философия / Под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. М., 1978.

Соколов В. В. Николай Кузанский. — В кн.: *История диалектики XIV—XV вв.* М., 1974.

Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.

Соколов В., Стяжкин Н. Оккам. — В кн.: *Философская энциклопедия*. М., 1967, т. 4.

Соссюр Ф. де. Анаграммы (фрагменты). — В кн.: *Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию* / Пер. с франц. М., 1977.

Спасский А. история догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учений о св. Троице). Изд. второе. Сергиев Посад 1914 (имеется репринт: М.: Новая книга, 1995).

Спиноза Б. Избр. произведения. М., 1957, т. 1, 2.

Спиркин А. Видимость. — В кн.: *Философская энциклопедия*. М., 1960, т. 1.

Степанов Г. В. Заметки об образном строе лирики Пушкина. — *Atti dei convegni Lincei*. 38. Colloquio italo-sovietico. Puškin poeta e la sua arte. Roma. Acad. nazionale Lincei, 1978.

Степанов Г. В. Федерико Гарсия Лорка. — В кн.: *Lorca F. García. Prosa. Poesía. Teatro*. Moscú: Progreso, 1979.

Степанов Н. Л. Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. М., 1975.

Степанов Ю. С. О предпосылках лингвистической теории значения. — *ВЯ*, 1964, № 5.

Степанов Ю. С. Основы языкознания. М., 1966.

Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971.

Степанов Ю. С. От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики. — В кн.: *Общее и романское языкознание*. М., 1972.

Степанов Ю. С. От стиля к мировоззрению. Экзистенциальные идеи у Л. Толстого. — В кн.: *Сб. докладов и сообщений лингвистического общества, III. Калинин, 1973, вып. 1.*

470

Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975.

Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность. — *Изв. АН СССР, сер. лит. и яз.*, 1977, т. 36, № 2.

Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения: (Семиологическая грамматика). М., 1981.

Степанов Ю. С. Марсель Пруст, или жестокий закон искусства. — В кн.: *Proust M. À l'ombre des jeunes filles en fleurs*. М.: Progrès, 1982.

Степанов Ю. С. В мире семиотики. [Вступит. статья] — В кн.: *Семиотика*. М., 1983.

Степанов Ю. С. Семантика «цветного сонета» Артюра Рембо. — *Изв. АН СССР, сер. лит. и яз.*, 1984, т. 43, № 4.

Степанов Ю. С. Пор-Рояль в европейской культуре. — В кн.: Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. Пер. с фр., коммент. и послесл. Н. Ю. Бокадоровой. Общая ред. и вступит. ст. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс, 1990.

Степанова Л. Г. Философия языка Дж. Вико. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1978, т. 37, № 5.

Столл Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории / Пер. с англ. М., 1968.

Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. М., 1967.

Стяжкин Н. И. Схоластика. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5.

Стяжкин Н. И., Курантов А. П. Уильям Оккам. М., 1978.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. М., 1965.

Теля В. Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М., 1981.

Тиандер К. Кьеркегор. — В кн.: Новый энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон, т. 23.

Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957.

Трубецкой С. Н. Учение о логосе в его истории. 2-е изд. М., 1906.

Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963.

Уемов А. И. Послесловие. — В кн.: Тондл Л. Проблемы семантики / Пер. с чеш. М., 1975.

Уленбек Х. К. Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков. — В кн.: Эргативная конструкция предложения; Сост. Е. А. Бокарев. М., 1950.

Уфимцева А. А. Семантика слова. — В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.

Федоров А. А. Концепция музыки Рихарда Вагнера у Томаса Манна. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1977, т. 36, № 4.

Федоров А. А. Томас Манн: Время шедевров. М., 1981.

Философская энциклопедия. М., 1960, т. 1; 1962, т. 2; 1964, т. 3; 1967, т. 4; 1970, т. 5.

Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983.

Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. Сб. избр. статей / Пер. с англ. М., 1980.

[Хлебников В.] Собрание произведений Велимира Хлебникова. Л., 1933, т. 5. Стихи, проза, записная книжка, письма, дневники.

Хлебников В. Незданные произведения. М., 1940.

Холл Парти Б. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. — В кн.: Семиотика. М., 1983.

Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. [М.:] Изд-во МГУ, 1972.

Храпченко М. Б. Собр. соч. М., 1982, т. 4. Художественное творчество, действительность, Человек.

Храпченко М. Б. Язык художественной литературы. — Новый мир, 1983, №9.

Целищев В. В. Логика существования. Новосибирск, 1976.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.

Черепанова Е. Образ имени. — Знание-сила, 1984, № 6.

Черч А. Введение в математическую логику / Пер. с англ. М., 1960, т. 1.

Чехов М. А. Путь актера. Л., 1928.

Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной речи первой трети XX в. — В кн.: Виноградов В. В. Избр. труды: О языке художественной прозы. М., 1980.

Чуева И. П. Критика идей интуитивизма в России. М.; Л., 1963.

Шеллинг Ф. В. И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.

Шибутани Т. Социальная психология / Сокр. пер. с англ. М., 1969.

Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: Вариации на тему В. фон Гумбольдта. М., 1927.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.

Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. — В кн.: Семиотика. М., 1983.

Яковенко Б. В. Философия Эд. Гуссерля. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. 3-й. СПб., 1913.

Якушин Б. В. Гипотезы о происхождении языка. М., 1984.

Якушкина М. Г. Лингвистические идеи энциклопедистов: (К понятию «современный период» в языкознании). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, №2.

Яновская С. А. Методологические проблемы науки. М., 1972.

Ayer A. J. Language, truth and logic. [S.I.:] Penguin Books, 1980.

Barthes R. Essais critiques. P.: Du Seuil, 1964.

Baudelaire Ch. Œuvres complètes. Bibl. de la Pléiade. P.: Gallimard, 1954.

Bergson H. Essai sur les données immédiates de la conscience. P.: Alcan, 1938.

Bergson H. La pensée et le mouvant. Genève, 1946.

Bergson H. Matière et mémoire. P.: P.U.F., 1954.

Bonitz H. Index Aristotelicus. В., 1955 (репрод. изд. 1870 г.).

Bursill-Hall G. L. Some notes on the grammatical theory of Boethius of Dacia. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. H. Parret (éd.). N. Y., 1976.

Carnap R. Logical foundations of the unity of science. — In: International Encyclopedia of Unified Science, vol. 1, N 1. Chicago, 1938.

Carnap R. On some concepts of pragmatics. — Philosophical Studies, 1955, vol. 6, N 6.

Carnap R. The old and the new logic. — In: Logical positivism. A. J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.

Carnap R. Introduction to semantics and formalisation of logic. Two volumes in one. Cambridge (Mass.), 1959a.

Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1979.

Couturat L. Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Extraits des manuscrits de la Bibliotheque royale de Hanovre. Par. L. Couturat. P., 1903.

Couturat L., Leau L. Histoire de la langue universelle. P., 1907.

Davidson D. The logical form of action sentences. — In: The logic of decision and action. N. Rescher (ed.). Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press, 1967.

Descartes R. Discours de la méthode. Extraits des Méditations métaphysiques. P.: Garnier, 1960.

Donnellan K. Speaker's reference, descriptions and anaphora. — In.: Contemporary perspectives in the philosophy of language. P. A. French et al. (eds). Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1979.

Ducrot O. Quelques implications linguistiques de la théorie médiévale de la supposition. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. H. Parret (ed.). Berlin; New York: De Gruyter, 1976.

Ecrits sur l'art et manifestes des écrivains français. Сост. Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова. Moscou: Progrès, 1981.

Frege G. Über Sinn und Bedeutung. — Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1892, Bd 100, H. 1.

Elliot A. W. Isaac Newton's «Of an Universall Language». — The Modern Language Review, 1957, 52.

Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature. P., 1789, T. 2.

Encyclopédie. Textes choisis: P.: Ed. du Seuil, 1976.

Gide A. Six traités. P.: Gallimard, 1912.

Gilson E. La filosofia en la Edad Media. Desde los orígenes patristicos hasta el final del siglo XIV. Madrid: Gredos, 1982 (ориг. изд.: Etienne Gilson. La philosophie au Moyen Age. 2-ème éd. P.: Payot, 1952).

Hacker P. M. S. Events, ontology and grammar. — Philosophy, 1982, 57.

History of linguistic thought and contemporary linguistics. Berlin; New York: De Gruyter, 1976.

Hjelmlev L. Le verbe et la phrase nominale. — In: Mélanges J. Marouzeau. P., 1948.

Horgan T. The case against events. — Philosophical Review, 1978, 87.

Hornsby J. Verbs and events. — In: Papers on language and logic. J. Dancy (ed.) Keele Univ. Library, 1980.

Hilsmann H. Zur Theorie der Sprache bei Edmund Husserl. München: Verlag A. Pustet, 1964.

Husserl E. Logische Untersuchungen. Dritte unveränderte Aufl. Bd I, Teil; Bd II, 2 Teil. Halle: Niemeyer, 1922.

Jakobson R. My metrical sketches. A retrospect. — Linguistics, 1979, vol. 17, N 3/4.

Kierkegaard S. Post-scriptum aux Miettes philosophiques. Traduit du danois par P. Petit. P.: Gallimard. NRF, 1949.

Kripke S. Speakers reference and semantic reference. — In.: Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.

Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 11-e éd. P.: P.U.F., 1972.

473

[Leibniz G. W.] Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Par L. Couturat. P., 1903.

Leibniz G. W. Tables des définitions. — In: Słownik i semantyka. Definicje semantyczne. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 39. Wrocław, etc.: Ossolineum, 1975.

Logical positivism. A. J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.

Lorca F. Garcia. Prosa. Poesia. Teatro. Moscu: Progreso, 1979.

Lyotard J.-F. La phénoménologie. P.: P.U.F. «Que sais-je?», 1967.

M. Proust et J. Rivière. Correspondance. P.: Plon, 1955.

Mates B. Stoic logic. Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 1961.

Merleau-Ponty M. Signes. P.: Gallimard, 1960.

Merleau-Ponty M. Sur la phénoménologie du langage. — In: Merleau-Ponty M. Eloge de la philosophie et autres essais. P.: Gallimard, 1965.

Metafísica de Aristóteles. Edición trilingüe por V. García Yebra. 2 ed., revisada. Madrid: Gredos, 1982.

Michaud G. Message poétique du symbolisme. P.: Nizet, 1969.

Musil R. Ausgewählte Prosa. Moskau: Verlag Progress, 1980.

Nuchelmans G. Judgment and proposition: From Descartes to Kant. Amsterdam; Oxford; New York: North-Holland Publishing Company, 1983.

Ockham. Philosophical writings. A selection edited and translated by Ph. Boehner. Edinburgh: Nelson, 1957.

Patzig G. Die aristotelische Sillogistik. Gottingen, 1959.

Peirce Ch. S. What pragmatism is? — The Monist, 1905, vol. 15, N 2.

Peirce Ch. S. Issues of pragmatism. — The Monist, 1905a, vol. 15, N 4.

Quine W. O. van. From a logical point of view. Cambridge (Mass.), 1953.

Quine W. O. van. Quantifiers and propositional attitudes. — The Journal of Philosophy, 1956, 53.

Reichenbach H. Elements of symbolic logic. N. Y.: Free Press, Macmillan, 1948.

Robins R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe. L., 1951.

Robins R. H. The development of the word class system in the European grammatical tradition. — Foundations of Language, 1966, vol. 2, N 1.

Ross W. D. Aristotle. L., 1930.

- Russell B.* On denoting. — In.: Russell B. Logic and knowledge. L., 1956.
- Russell B.* Logical atomism. — In.: Logical positivism. A.J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.
- Russell B.* An inquiry into meaning and truth. L.: Unwin paperbacks, 1980.
- Signification et référence dans l'antiquité et au moyen âge. M. Baratin, F. Desbordes et al. (ed.) — Langage, 1982, 65.
- Schulenburg S. von der.* Leibniz als Sprachforscher. Frankfurt a. M., 1973.
- Spinoza.* Abrégé de grammaire hébraïque. Introduction, trad, française et notes par J. Askénazi et J. Askénazi-Gerson. P.: J. Vrin, 1968.
- Teodoro de Andres S. I.* El nominalismo de Guillermo de Ockham coro filosofia del lenguaje. Madrid: Gredos, 1969.
- Théorie du langage. Théorie de l'apprentissage. Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Organisé et recueilli par M. Piatelli-Palmarini. P.: Ed. du Seuil, 1979.
- Thiébault D.* Grammaire philosophique. P., 1802.
- Valéry P.* Œuvres. T. 1. Bibliothèque de la Pléiade. P., 1957.
- Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt a. M., 1972.
- Wierzbicka A.* Lingua mentalis. Sydney, 1980.
- Wittgenstein L.* Philosophical grammar. Oxford: Blackwell, 1974.

Часть III Система и Текст

Эссе
«НОВЫЙ РЕАЛИЗМ»

(1997 г.)

**ТРЕТЬЕ ЧЛЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА СЕМИОТИКИ И ФИЛОСОФИИ
ЯЗЫКА: СИСТЕМА И ТЕКСТ ЭТО ЧЛЕНЕНИЕ КАК ОСНОВА
КОМПОЗИЦИИ НАСТОЯЩЕЙ, ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ КНИГИ**

Настоящая, третья, часть этой книги посвящена двум предметам. Один из них — достаточно общий — «ментальное пространство философствования».

Философствующие о языке часто удовлетворяются вопросами такой, т. е. очень большой степени общности (абстрактности), говоря языком кинематографистов — «общим планом». (Таков, пожалуй, обычный стиль французской философии, к примеру, ниже, в гл. V, 1, упомянутое эссе Ж. Дерриды.) Не избежим этого «плана» и мы здесь (в частности, понятия «пространств», «миров» будут нередко появляться на этих страницах). Но другой предмет, столь же обычно оставляемый без внимания, сколь обычно первый привлекает всеобщее внимание философствующих, — это «крупный план» (как, скажем, отдельное человеческое лицо в кинематографе), — это рассмотренные в большом приближении детали языка, из которых вырастают общие вопросы. Можно сказать, что эта часть книги — о мелких деталях как источнике крупных проблем. Первым таким вопросом является вопрос о языковых основах самих семиотических членений (включая и те, которые «общим планом» использованы в предыдущих частях этой книги).

В настоящее время общеизвестно (и даже является тривиальностью), что семиотический объект, как и объект философии языка, допускает различные членения, которые и выявляют его структуру. Менее обращают внимание на то, что, следуя различным членениям, мы создаем весьма существенно различные картины одного и того же объекта, в частности разные «пространства философствования». Как читатель мог убедиться, в предыдущих частях мы использовали членения на «Означаемое» — «Означающее» (I ч.) и на «Семантику» — «Синтактику» — «Прагматику» (II ч.). Здесь мы намерены использовать третье членение семиотического объекта, а именно — на «Систему» и «Текст». Как и в двух других случаях, данное имеет «языковое ядро», каковым являются, соответственно, «Парадигматика» и «Синтагматика», или «Код» и «Сообщение». Более узкое и специальное название того же противопоставления — при компьютерном подходе — «Off line» т. е. «Система», и «On line», т. е. «Текст».

Сам выбор членений — семиотическая проблема. Обратимся к простому, чисто языковому примеру. Систему противопоставлений, образующих фонологию такого языка, как русский, можно описать тремя-четырьмя основными членениями — по трем-четырем различным параметрам производства фонем (или звукотипов, это различие в данном месте для нас не важно) в речевом аппарате человека. Описания будут различаться, смотря по тому, в каком порядке мы располагаем параметры, с какого начинаем, делая его тем самым подчиняющим, и какие даем вслед за этим, делая их подчиненными. Например, так:

1) по способу (смычные, щелевые, аффрикаты, сонанты); т, д; с, з; ц; н, м, р; и т.д.; а уже далее, в установленных таким образом классах будут последовательно проводиться другие разбиения;

2) по месту (заднеязычные, зубные, губные): к, г, т, д; ф, в; и т. д.; т. е., скажем, выделенные на этом этапе заднеязычные (к, г) далее разбиваются на глухие и звонкие, еще далее на мягкие-твердые;

3) по участию голоса (глухие, звонкие): т — д; к — г; п — б; и т. д.

4) по наличию или отсутствию палатализации (смягчения) (мягкие и твердые согласные; передние или задние гласные): ть — т; дь — д; пь — п; бь — б; и т. д.

При том порядке разбиения, который только что (и лингвистически лишь грубо) изложен, первое разбиение, по способу, будет главным, остальные — подчиненными ему. Но можно представить себе и совершенно другой порядок, при котором главным будет разбиение по мягкости — твердости. (И он, действительно, лингвистически описан, — см. здесь ниже, гл. III, 1.) Каждый порядок разбиения находит свои основания, так, приведенный здесь первый — в том, что различие фонем по месту образования является одним из самых устойчивых и древних их параметров, оно существовало еще в общендоевропейском языке. Противопоставление по мягкости — твердости, напротив, исторически более новое, как говорят фонологи, в системе русского языка «наиболее молодое» (хотя само по себе оно тоже очень древнее и в индоевропейском отразилось как разбиение языков на «кентумные» и «сатэмные»). Разбиение «по месту», будучи поставленным на первый план, может иметь и совершенно иной смысл: так, древнеиндийские грамматисты классифицировали согласные фонемы своего языка, санскрита, начиная с гортанных и далее продвигаясь

«вперед» к задненебным, средненебным, зубным и, наконец, достигая самого переднего ряда — губных. И эта классификация, естественная и очень удобная, все еще используется в современных словарях, санскритско-русском, санскритско-английском и т. д.

В дальнейшей части данной книги мы используем новое (в том смысле, что оно еще не было использовано для последовательного описания семиотики и философии языка) членение объекта на «Систему» и «Текст». Оно является также и наиболее «молодым», поскольку имен-

но с ним связываются возникшие в последнее время и наиболее актуальные проблемы философии языка. Но и здесь кроется своя «проблема детали»: в то время как способы изложения «от системы» предполагают саму систему известной (в частности, и все приведенные приемы разбиения фонем предполагают, что набор фонем и их система известны или каким-то образом заранее установлены), само разбиение на «Систему» и «Текст» можно предполагать заранее известным лишь в самых общих и очевидных чертах, — например, в том, что текст связного сообщения, конечно, отличен от набора знаков, которые использованы в нем. Но что именно представляет из себя этот набор знаков, как он устанавливается, и т. д., — является задачей исследования. Этому вопросу посвящен особый раздел — гл. III, 1 и 2.

Но, каков бы ни был приоритетный параметр, который выбирает себе философ языка, — «Система» или «Текст», в любом случае он начинает с некоторых конкретных наблюдений над языком, чтобы затем совершить восхождение к более абстрактным предметам — к основаниям своей собственной системы (системы связного философствования), будь то либо «Система» в семиотическом смысле, либо «Текст». Некоторым проблемам такого восхождения от одного уровня к другому, от «наблюдения» к «логико-философскому представлению», отведен следующий раздел, глава I.

ГЛАВА I МЕТОД ВОСХОЖДЕНИЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ (ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА) К ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ (НА ПРИМЕРАХ)

0. Введение к примерам

Способы восхождения, названного в заголовке этой главы, т. е. приемы и методы, очень разнообразны и вряд ли могут быть сведены строго к одному. Мы надеемся, однако, что приводимые ниже примеры достаточно показательны и позволяют обобщить если не приемы до метода, то во всяком случае различные пути до некоторых общих принципов пути, т. е. «Метода» в том смысле, как он означен во Введении к этой книге.

По крайней мере один принцип, возможно, главный для философии языка, может быть сформулирован с самого начала: по-видимому, для каждого фундаментального (базового) логико-философского положения, к какой бы системе он ни принадлежал (Аристотеля, Декарта, Рассела и т. д.), может быть указан его прототип в естественном языке (том или ином). Этот принцип, на основе которого мы давно уже работаем (в частности, в соответствии с ним построена «Семиотика», составляющая I часть настоящей книги), в последнее время находит определенные параллели со стороны логиков, сравним: «Хорошо описанный синтаксически и семантически фрагмент естественного языка даст нам тем самым некоторый язык логики» [Садовский, Смирнов 1980, 24].

К этому мы рискуем присоединить еще один принцип, впрочем нашим собственным материалом в отличие от первого не столь аргументированный: по-видимому, каждое базовое (т. е. основывающее систему) логико-философское положение может быть сопоставлено с коррелятивными базовыми положениями других теорий в цепь трансформаций лингвистического типа, т. е. одно базовое положение преобразуется в другое (или само преобразовано из другого) таким же образом, каким производятся трансформации высказываний или систем в естественном языке. (Где, например, одно предложение может быть результатом трансформации другого, или одна система фонологии преобразованием предшествующей.) Первый же из нижеследующих примеров — Пример 1 — иллюстрирует этот принцип. Все Примеры в совокупности разъясняют оба названных принципа.

Осталось сказать кое-что о самом «способе примеров», т. е. о принципе экзemplификации. Он выявился со всей очевидностью уже в логико-философских концепциях 1940-50-х гг., и мы поставили этот вопрос лет пятнадцать назад следующим образом [Степанов 1981, 23—25].

Экзemplификацию нередко понимают только как «ученое выражение» для простого существа дела — приведения примера; экзemplифицировать — «привести пример» (подобно этому говорят, например, верификация» вместо «проверка»). В семиологической теории (В 1981 г. так мы называли свою концепцию философии языка.) это не синонимы. Привести пример можно для любого объяснения, и традиционные концепции как раз и ограничивались приведением некоторого, обычно небольшого, количества примеров для теоретических понятий, таких, как «падеж», «дополнение» и т. п., которые тем самым уже и казались окончательно подтвержденными.

В настоящее время в философии языка примеры не доказывают ничего. Формой доказательства является лишь концепция. «Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее» [Гегель 1959, 3]. Экзemplификация есть приведение примеров в рамках определенной, достаточно цельной и доступной формализации, системы. Иными словами, экзemplификация — это способ исключения абстракций для отдельных, но практически важных случаев.

Однако с логической точки зрения при экзemplификации дело обстоит не так просто. Р. Карнап, например, утверждает, что «экзemplификация в опыте требуется только для первичных предикаторов, с помощью которых интерпретируются другие», — для обозначений свойств и классов [Карнап 1959, 54]. Иными словами, если речь идет о формализованном языке, выражение «экзemplифицируется» (англ. «is exemplified») значит: «существуют объекты, для которых данный предикатор удовлетворяется», «существуют объекты, обладающие данным свойством». (Речь идет у Р. Карнапа только о предложениях этого языка.)

Но как быть в случае сложного выражения, например, предложения, составленного из более простых выражений? Можно ли привести для него «пример», т. е. реальный объект, удовлетворяющий этому предложению? И что может быть таким объектом — ситуация? Или только соответствие факту, т. е. «истина» или «ложь»?

Карнап колеблется, и его колебания отражают неопределенность логической и семиологической теории в этом пункте. Иногда Карнап склоняется к тому, чтобы допустить, что выражение языка (у него «десигнатор») может первично выражать смысл (у него «интенционал») только в том случае, если оно имеет экзemplификацию. Но если даны такие выражения, имеющие первичный смысл (интенционал), то мы можем образовать из них слож-

ные выражения, у которых будут сложные, производные смыслы (интенционалы), и применительно к последним, по мнению Карнапа, мы уже не нуждаемся в экзemplификации, чтобы понять их смыслы, потому что смысл сложного выражения устанавливается семантическими правилами системы с помощью смыслов составляющих выражений и того способа, которым эти выражения соединены [Карнап 1959, 69]. Такой взгляд ведет к тому — вообще говоря, правильному — тезису, что предложение не «отражает ситуацию», т. е. не устанавливает взаимно однозначного соответствия своих компонентов компонентам ситуации: имен — объектам, предикатов — отношениям объектов.

Тогда как предложение-высказывание связано с ситуацией? Карнап, как и Фреге, склоняется к тому, чтобы считать, что экзemplификацией предложения является «истина» или «ложь» (т. е. что предложение-высказывание так связано с ситуацией, что либо истинно по отношению к ней, либо ложно). И эту точку зрения мы также считаем правильной.

Но в таком случае, как же понять приведенное выше утверждение Карнапа, что предложения (и вообще сложные выражения, составленные из первичных) не нуждаются в экзemplификации? Мы полагаем, что они, так же как и все прочие выражения, нуждаются в экзemplификации, что, следовательно, суть предложения не только в его «смысле», но и в его «значении» — истинности или ложности по отношению к действительности. Но мы видим одновременно, что установить при этом способ экзemplификации — непростая задача. Таким образом, проблема метода перерастает в проблему содержания теории. Это снова возвращает нас к теоретическому вопросу — о соотношении семиологической грамматики с логикой и математикой.

С того времени, как были написаны вышеприведенные строки (1982 г.), вопрос об экзemplификации не только не отпал, но само это понятие стало предметом формализации. Она выполнена Я. Хинтиккой в ряде работ (см., например [Хинтикка 1980, 163]; [Садовский, Смирнов 1980, 20]). Положения Хинтикки рассматриваются ниже (Пример 2), здесь же укажем лишь суть дела. Как известно, формальный язык первопорядковой логики является «неразрешимым», т. е. отсутствует *эффективная* (т.е. реально выполнимая *аналитическая*) процедура, позволяющая установить его непротиворечивость (или, напротив, наличие противоречий). Хинтикка предложил такую формальную систему (так называемую «дистрибутивную нормальную форму»), в которой экзemplификация, приведение примера (у Хинтикки, скорее, *конструирование примера*), является как бы сокращением процедуры (длина которой в силу «неэффективности» заранее неизвестна). Таким образом, экзemplификация является важным шагом в открытии соответствующего свойства всей данной структуры, *синтетической* операций. («В силу

484

этого важной чертой синтеза является конструирование примера. Такое понимание анализа и синтеза, разработанное Я. Хинтиккой, позволило ему создать оригинальную концепцию соотношения аналитического и синтетического в человеческом познании» [Садовский, Смирнов 1980: 20].)

Характерной чертой современного стиля работ по логическому и концептуальному анализу языка в последние десятилетия стало приведение различных сконструированных примеров, часто в огромных количествах (мы столкнемся с этим в Примере 6). Сказанное выше об экзemplификации в ее формальном аспекте может считаться объяснением этого явления данным с логической стороны, — логическим аналогом этого «естественно-исследовательского» процесса в лингвистике.

Разумеется, такую роль экзemplификация может играть лишь при условии, что все рассуждение проводится в единой системе. В случае системы Я. Хинтикки, являющейся строго формальной, это несомненно. В случае различных современных логико-лингвистических анализов (типа работы Дж. Росса, — Пример 6), стремящихся к формальной строгости, это хотя и не доказывается, но, во всяком случае, аргументируется (можно сказать, «имплицитно аргументируется») — самым способом рассуждения (принадлежащего, к тому же, одному автору). Мы же здесь далее

применяем экзemplификацию (приводим примеры — 1, 2, 3... и т. д.) на разные случаи логико-лингвистических анализов самых разных авторов. Правомерно ли это?

Конечно, здесь это прежде всего — лишь прием, способ изложения некоторых проблем. Но он же и оправдан вполне системно (хотя и не формально), а именно оправдан презумпцией, что все логико-лингвистические (логико-лингво-философские) системы, хорошо построенные, выявляют как бы единую систему — внутреннюю логику самого языка, более высокого порядка, чем каждая из частных систем.

В специальном случае это именно так и формулируется. «Современное «плюралистическое» положение дел в логике свидетельствует не о том, что единой и универсальной логики не существует, а лишь о том, что исследователи располагают пока только отдельными, разрозненными фрагментами универсальной логики, не связанными в единое целое» [Петров, Переверзев 1993, 22].

Для нас же, в более общем случае, — это просто следствие нашего философского мировоззрения: системы знания (в частности, и «парадигмы» знания) сменяют друг друга не в полностью случайном порядке, а в порядке эволюции, приближения к информационному охвату мира познающим Человеком, — см. Введение к настоящей книге, о «принципе Паскаля».

485

Пример 1. Время в речевой цепи.

От «моделей Квятковского» к машине Поста

Предмет этого раздела — не «время как категория языка» (в грамматике, лексике и т. д.) и не «время в истории» (языка и общества), а время как таковое, как параметр самого строя языка, время в цепи речи и его представление исследователями и «философами языка».

Соотношение наблюдаемых объектов с теоретическими, мысленно представляемыми, абстрактными объектами характеризует не только языкознание, но и любую современную науку. Так, в физике его отчетливо определил еще И. Ньютон, говоря о понятии времени: «Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью. Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения мера

продолжительности, употребляемая в обычной жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год» (И. Ньютон. Математические начала натуральной философии, пер. А. Н. Крылова [Ньютон 1915—16, 30]). Здесь у Ньютона «обыденное время» соответствует уровню наблюдения, а «абсолютное, или истинное», — абстрактному уровню представлений.

Геометрия, оперирующая не конкретными наблюдаемыми геометрическими фигурами, например нарисованными мелом на доске точками и линиями, а абстрактными фигурами, тоже дает хорошую аналогию для различения уровней. Так, точное представление о геометрической точке дает следующий приводимый геометрами пример. Начертим при помощи линейки отрезок a_0 , длиной 1 дм. Разделим этот отрезок на десять равных частей и возьмем одну из них. Пусть это будет отрезок a_1 , равный 1 см. Этот отрезок опять разделим на десять равных частей. Теперь получим отрезок a_2 длиной 1 мм = 0,01 дм. Если мы попытаемся продолжить такой процесс деления, то должны будем скоро прекратить его из-за неразличимости видимого пространства: меловые штрихи начнут сливаться друг с другом. Однако в нашем представляемом пространстве не имеется никакого препятствия для продолжения этого процесса: здесь мы можем повторить его неограниченное число раз. Каждый из следующих после a_0 отрезков a_1, a_2, \dots будет находиться внутри предыдущего. Длина этих отрезков будет становиться все меньше и меньше (например, после сотого деления мы получим исчезающе малый отрезок a_{100} длиной 10^{-100} дм; это число изображается десятичной дробью с 99 нулями после запятой). Посредством повторения такого процесса деления мы как бы улавливаем «точку» как «место в пространстве, не имеющее протяжения», именно ту точку, которая является общей для всех отрезков a_0, a_1, \dots «Однако процесс перехода к идеаль-

ным образам состоит не только в абстрагировании, т. е. в исключении из рассмотрения несущественных свойств воспринимаемых объектов. Он сопровождается другой, совершенно противоположной тенденцией: добавлением к воспринимаемым объектам некоторых новых свойств... Для прямой такое добавление производится в направлении «микрокосмоса»: отрезок в результате многократного повторного деления понимается как континуум, состоящий из бесконечно большого числа точек» [Неванлинна 1966: 19-20].

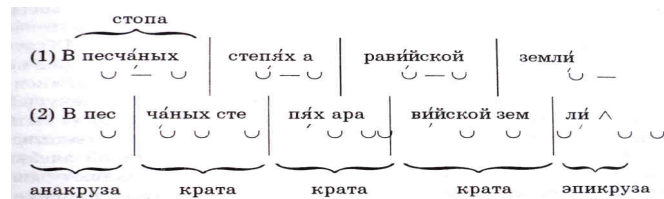
Совершенно так же и современная лингвистика различает в языке наблюдаемый уровень и представляемый, или абстрактный уровень. При этом очень важно подчеркнуть, что понятия, принадлежащие абстрактному уровню в лингвистике, не появляются только путем удаления некоторых признаков из понятий или представлений о конкретных наблюдаемых явлениях, но включают в себя и некоторые новые признаки, отсутствующие в последних. В общем понятия абстрактного уровня в лингвистике, например понятия различных «инвариантов» — фонем, морфем, значимостей, включают признак регулярности, особой упорядоченности, относительной неизменности, противопоставленный признаку изменчивости, вариаций, «естественного разброса» наблюдаемых явлений языка.

Аналогичное соотношение между наблюдаемыми и представляемыми объектами существует и в такой филологической дисциплине, как стиховедение. На абстрактном уровне различные стихотворные размеры могут быть отождествлены как разновидности одного и того же размера.

Мы здесь имеем в виду прежде всего систему анализа стиха А. П. Квятковского (1888—1967). Она прошла два этапа, составивших соответственно две ее части. В первой, разработанной еще в 1930-е гг., части Квятковский анализирует соотношение стиха с музыкой и разрабатывает музыкальные приемы нотации. Во второй части, составившей содержание его работы последних лет [Квятковский 1966], автор уделяет главное внимание новым, абстрактным приемам нотации. Именно они важны для нас в связи с темой данного раздела.

Свою систему Квятковский противопоставляет системе «классического» стиховедения, восходящей к реформе В. К. Тредиаковского. В последней первичной, кратчайшей мерой метрического анализа стиха является стопа, в системе Квятковского иная мера — крата. Для сравнения той и другой удобно взять трехдольники, поскольку стопа и крата совпадают только при анализе трехдольников, трехдольных размеров. Их основных разновидностей в классической, «стопной» системе, как известно, три: дактиль, амфибрахий, анапест. В системе Квятковского их также три, три «трехдольника» — 1-й, 2-й, 3-й. Кроме того, в системе Квятковского предполагается учет реально не звучащих долей стиха, но реально существующих в абстрактном метрическом ряду, их

обозначение — Λ (см. ниже). Соотношение обеих нотаций видно из следующего примера — амфибрахия (Лермонтов «Три пальмы»), первая строка — амфибрахий в классической «стопной» нотации, вторая — в нотации Квятковского, «трехдольник второй»:



Анакруза — безударные, предтактовые доли стиха, предшествующие первому метрическому акценту. Эпикруза — затактовые доли стиха, затактовые в том смысле, что следуют за последней полной кратой; эпикруза в системе Квятковского начинается последним акцентом в тактометрическом периоде (период — стих, представленный в абстрактной системе по Квятковскому); тактометрический период начинается анакрузой и заканчивается эпикрузой.

Подход Квятковского позволяет ему представить трехдольные размеры русского стиха в следующей единой системе:

Трехдольник 1-й		Ú U U	— дактиль, безанакрузная форма
Трехдольник 2-й	U	Ú U	— амфибрахий
Трехдольник 3-й	U U	Ú	— анапест

Схема Квятковского дает хорошую основу для различных модельных представлений. В частности, — это видно непосредственно из последней схемы, — можно рассматривать соотношение трех данных размеров русского стиха как их взаимное порождение, начиная с любой из строк, путем передвижения ударения. Напротив, можно рассматривать их порождение как движение реальной звуковой строки вокруг одного базового («абстрактного») ударения, остающегося неподвижным.

Что касается непосредственно темы данного раздела — реального и представляемого времени, то их соотношение моделируется самим Квятковским в виде так называемого «контрольного ряда».

«Контрольный ряд — пространственная модель тактометрического периода, в пределах которого образуются нормы реального стиха. Всякий правильный период

определяемого вида расчленяется на равновеликие части равномерными метрическими акцентами, которые выделяют элементные группы (краты), повторяющиеся в периоде определенное количество раз... Метрическая структура контрольного ряда состоит из одинаковых модельных ячеек (долей), позитивным наполнением их являются звуковые и паузные элементы стиха» [Квятковский 1966: 203]. Очень важно подчеркнуть, что контрольный ряд не является условным построением, всего лишь приемом описания, «конструктом» и т. п., — он всегда символизирует реальное время текущей речевой цепи; поэтому некоторые ячейки контрольного ряда могут быть не заполнены слогами, но нет ни одной ячейки, которая не соответствовала бы реальной доле времени (при отсутствии слога в такой ячейке она отмечается знаком Λ). Две следующие строфы представляют один и тот же контрольный ряд («трехкратный трехдольник третий», по терминологии А. П. Квятковского), но в первом случае каждой его клетке соответствует в наблюдаемой речевой цепи какой-либо слог, а во втором случае некоторые клетки заполнены лишь беззвучной длительностью — паузами (знак одного такта паузы — Λ).

Я те / бе niche / го не ска / жу
И те / бя не встре / вожу ни / чуть,
И о / том, что я / молча твер / жу,
Не ре / шусь ни за / что намек / нуть.
(А. Фет.)

Я по / кинул ро / димый Λ / дом.
Голу / бую о / ставил Λ / Русь.
В три звез / ды берез / няк над пру / дом
Теплит / матери / старой Λ / грусть.
(С. Есенин.)

Модели протекающего времени речевой цепи («модели Квятковского»), все еще недостаточно оцененные, могут быть широко использованы в дальнейших исследованиях.

Следует подчеркнуть одно обстоятельство, не подмеченное А. П. Квятковским, но очень важное для дальнейшего теоретического анализа: анакруза и эпикруза смыкаясь, дают полную крату (см. на первой из приведенных выше схем). Таким образом тактометрический период в полном виде может быть представлен в виде кольца, или бесконечно движущейся ленты, внутренняя структура которой получает различный вид в зависимости от остановки движения в той или иной ее клетке (доле). Здесь мы получаем основу для дальнейшей

формализации по схеме машины Поста и далее, возможно, по схеме машины Тьюринга [см.: Степанов 1990].

Машина Поста. Вообразим сначала некоторую модель счета: считающий стоит неподвижно у одного из столбов очень длинного забора и должен сосчитать все столбы. При этом элементарная операция счета будет заключаться в том, что считающий как бы смотрит на считаемые предметы (в нашем примере — на столбы забора) в некотором удалении от них, в одном случае «вправо», в другом «влево» от находящейся прямо перед ним точки.

Можно представить себе и дальнейшую абстракцию по той же линии, рассматривая такую операцию счета — в конечном счете прибавления единицы, при которой считающий вообще не может «коснуться» считаемого предмета, или «увидеть» его. Поскольку последний расположен как угодно далеко, «в бесконечности», от предмета, непосредственно «обозреваемого» считающим. В качестве такой абстракции мы предлагаем рассматривать так называемую «машину Поста».

Здесь мы в нестрогой форме излагаем некоторые места из одноименной книги В. А. Успенского [1988]. Машина Поста, как и ее близкий родственник — машина Тьюринга, представляет собой мысленную конструкцию (хотя в принципе ее можно было бы воплотить и «в металле»). Машина Поста состоит из ленты и каретки — считывающей и записывающей головки. Лента бесконечна и разделена на секции одинакового размера; порядок, в котором расположены секции ленты, подобен порядку целых чисел (сравним для наглядности обычную сантиметровую линейку). Каретка может передвигаться вдоль ленты вправо и влево. Можно представить себе каретку как одну секцию ленты, вырезанную из ленты и пустую, ее назначение быть считывающим «глазом» машины, для чего каретка при остановке должна полностью совпадать с какой-либо секцией. Работа машины происходит по той или иной определенной программе. Одна из программ решает так называемую «задачу прибавления единицы», т. е. получения числа $n + 1$, если на ленте машины имеется запись числа n (n — любое число).

При выполнении этой программы, точнее при ее составлении, возникает целая серия задач, охватывающих такие понятия, как «состояние» машины, «класс

состояний», «включение одного класса состояний в другой класс состояний», «объединение классов» и т. д., т. е. многие важнейшие математические понятия. Обобщением основного понятия — операции счета — выступает при этом понятие алгоритма. Таким образом «задача о прибавлении единицы» влечет целый ряд алгоритмических проблем.

Применим принцип машины Поста к другому объекту — к «моделям Квятковского». Возьмем вторую из приведенных выше схем (дактиль, амфибрахий, анапест) и представим себе теперь, что каретка ма-

шины не пуста, а содержит ударение, и, передвигаясь, помещает его на одну из клеток русского слова (в качестве такой клетки в простейшем случае можно рассматривать слог). Тогда, в зависимости от программ машина Поста будет порождать стиховые модели русского стиха, — в приведенном примере три названных размера, и станет формальным аналогом моделей Квятковского.

Здесь, однако, возникает одна общая проблема. «Задача на составление программы, приводящей от исходного данного к результирующему числу (в нашем случае оно может быть сопоставлено с номером слога в цепочке слогов слова. — Ю. С.) (и не приводящей ни к какому результату, если результирующего числа не существует), тогда и только тогда имеет решение, когда имеется какой-нибудь общий способ, позволяющий по произвольному исходному данному выписать результирующее число и не выдающий никакого ... результата, коль скоро результирующего числа не существует». Это утверждение получило название предложения, или постулата, Поста [Успенский 1988, 63]. Разумеется, в таком сравнительно простом случае, как «модель Квятковского» для дактиля, амфибрахия, анапеста, столь сложных вычислений не требуется. Но здесь речь идет о принципе. (К тому же, и в нашем случае вычисления могут потребоваться, если мы попытаемся обобщить такую модель на другие, в общем случае — на все, размеры русского стиха.)

Как принцип, постулат Поста очень важен, он играет эвристическую роль, позволяя установить, вычислима ли функция на машине Поста, до построения вычисляющей ее программы. «Он придает математической теории вычисляемых на машине Поста функций философское значение (мы можем сказать, лингво-философское значение. — Ю. С.), превращая ее в общую теорию вычисляемых

функций. Сам Пост следующим образом характеризует его значение...: «Сделано фундаментальное открытие, касающееся математизационных способностей Homo sapiens» [Успенский 1988, 77].

Поскольку, как мы сказали в самом начале (I, O), мы рассматриваем все приводимые здесь «Примеры», исходя из презумпции, что они представляют собой как бы фрагменты некоей единой, хотя еще и не открытой, «Логики языка», лингво-философское значение постулата Поста очень велико. Он позволяет выделить, применительно к этой Логике, если не две ее фундаментальные черты (впрочем, возможно, что следует говорить именно о них), то, во всяком случае, две стратегии ее исследования (можно сказать, ее «открывания») — обнаружение эффективных процедур в отличие от неэффективных. Мы столкнемся с этой проблемой уже в следующем Примере 2. (Напомним, что «вычислимость функции» — частный случай «эффективности процедуры».)

Рассматривая машину Поста в этой связи, можно было бы отнести ее и к соответствующему разделу (т. е. к Примеру 2). Однако у нее есть

491

и другое, может быть, более фундаментальное свойство: в программах машины Поста место команды должно совпадать с номером команды, таким образом, машина Поста моделирует последовательности во времени (в отличие, например, от вневременных разбиений фонем, приведенных в качестве примера во Вводных замечаниях выше), и место для упоминания о ней — именно здесь, где идет речь о времени.

*2. Пример 2. От «описания состояния» Карнапа
к «дистрибутивной нормальной форме» Хинтикки.
Некоторые предшествующие параллели у И. Канта
и В. Н. Карпова и Л. Витгенштейна*

Выше в этой главе (I, O) мы уже отметили, какой путь прошла проблема экземплификации за последние десятилетия.

С того времени как были написаны приведенные там абзацы (1981 г.), вопрос об экземплификации не только не отпал, но сам стал предметом логико-философской формализации. Последняя связана с формулировкой Я. Хинтиккой понятия дистрибутивной нормальной формы. С помощью этой формы описывается структура

логического первопорядкового языка (например, узкого исчисления предикатов), точнее структура совокупности предложений данного первопорядкового языка. Вот как излагает сам автор свои базовые понятия. Прежде всего составим перечень всех возможных видов индивидов, которые могут быть определены в терминах, имеющихся в рассматриваемом языке предикатов и связанных переменных. Они задаются следующими выражениями (сложными предикатами):

$$(\pm) P_1(x) \& (\pm) P_2(x) \& \dots \& (\pm) P_k(x).$$

Эти выражения называют Q-предикатами Карнапа. Их должно быть $2^k = K$ видов. Предположим, что мы как-то упорядочили их, составив список всевозможных Q-предикатов и решения (ответа на вопрос) для каждого из них, выполняется он или нет:

$$C_{t_1}(x), C_{t_2}(x), \dots, C_{t_k}(x).$$

От этих видов индивидов можно перейти к видам возможных миров, которые мы определим в результате последовательного движения (перебора) по упорядоченному списку всевозможных Q-предикатов и решения (ответа на вопрос) для каждого из них, выполняется он или нет. В результате описание таких «видов возможных миров» может быть представлено так:

$$(\pm) (\exists^x) C_{t_1}(x) \& (\pm)(\exists^x)C_{t_2}(x) \& \dots \& (\pm) (\exists^x) C_{t_k}(x)$$

492

Такие высказывания Хинтикка называет конституентами. Им можно придать более прозрачную форму. Так, предыдущее выражение может быть записано:

$$(\exists^x) C_{t_1}(x) \& (\pm)(\exists^x)C_{t_2}(x) \& \dots \& (\pm) (\exists^x) C_{t_{iw}}(x) \\ \& (x) [C_{t_1}(x) \vee (\pm)(\exists^x)C_{t_2}(x) \vee \dots \vee C_{t_{iw}}(x)],$$

где $\{C_{t_1}(x), C_{t_2}(x) \dots C_{t_{iw}}\}$ есть некоторое подмножество множества всевозможных Q-предикатов (статья «Поверхностная информация и глубинная информация» [Хинтикка 1980, 187]).

Результирующее представление этого подмножества как дизъюнкции конституент и есть дистрибутивная нормальная форма.

«Языковое ядро». Здесь мы прервем изложение Хинтикки, чтобы обратиться, — как мы стараемся делать здесь всюду, — к его прототипу в естественном языке.

Обратимся к уже известному нам явлению (I, O выше): каждая фонема противопоставлена каждой другой (~ знак противопоставления, его можно читать также: «... — не ...»):

[a] ~ [o], [y], [e], [и], [п], [б], [д]... и т. д.

[o] ~ [a], [y], [e], [и], [п], [б], [д]... и т. д.

[ф] ~ [a], [o], [y], [e], [и], [п], [б], [д]... и т. д.

Как мы знаем, фонемы целесообразно противопоставлять друг другу не аморфно, не диффузно, а четкими отдельными признаками. Будем считать, что для описания системы фонемы любого языка достаточно 12 признаков (по исследованию [Якобсон и Халле 1962]); причем каждый признак может либо присутствовать, либо отсутствовать (в этом случае он обозначается буквой со знаком ~):

1) гласный — негласный V — ~ V

2) согласный — несогласный C — ~ C

3) компактный — некомпактный (диффузный) K — ~ K и т. д., всего 12 пар.

Совокупность объектов называется в математике множеством (оно обозначается фигурными скобками). В данном случае мы имеем множество из 12 объектов {V, C, K... и т. д.}. Ограничимся пока двумя первыми признаками. Тогда любая фонема русского языка может быть помещена на следующей таблице в соответствующей точке: точка X, соответствует фонеме, которая обладает свойствами V и ~C; точки X₂, X₃, X₄ — фонемы, которые обладают свойствами ~ V и C (см. схему).

V	X ₁	
~V		X ₂ , X ₃ , X ₄
	~C	C

Слова и символы, обозначающие признаки, называются в математической логике предикатами (V и ~ C — предикаты). Высказывания о предмете составляются с помощью логических связок, например, таких:

„не“	ее знак	~
“и”	“ ”	&
„или“	“ ”	V
„если..., то...“	“ ”	⊃
„если и только если“	“ ”	≡

(Правила составления и преобразования таких высказываний — обычные в математической логике.)

Схемы, подобные приведенной, называются пространством признаков; в данном случае это двумерное пространство. Каждая клетка такого пространства называется элементом; в данном случае их четыре.

Относительно фонемы X₁, справедливо следующее высказывание:

$$V_{x_1} \& \sim C_{x_1}$$

а относительно фонем X₂, X₃, X₄ высказывания:

$$\sim V_{x_2} \& C_{x_2}, \sim V_{x_3} \& C_{x_3}, \sim V_{x_4} \& C_{x_4}$$

Здесь мы использовали два предиката (два признака) и противопоставили с их помощью одну фонему трем другим. Но эти три другие фонемы остались не противопоставленными друг другу; вспомним, что для полного описания необходимо 12 предикатов (признаков). В общем виде, если признаков n, то пространство будет n-мерным. В нем будет 2ⁿ элементов-клеток.

Для описания фонем p применяются 12 признаков, которые составляют множество {V1, C2, K3... и т. д. до 12}, поэтому пространство будет двенадцатимерным, а элементов в нем 2¹² = 4096. Каждый элемент — это определенное сочетание одного признака с несколькими Другими, выбранными из указанного множества с 12 членами. Всякое

множество, состоящее из членов другого множества, называется подмножеством этого последнего множества. В данном случае 12 членов одного множества могут соединиться друг с другом 4096 разными способами и образовать такое количество подмножеств. Поскольку каждое подмножество (в данном случае это элемент пространства) — это и определенное сочетание признаков фонем, то сколько возможно подмножеств, столько возможно и различных фонем. Этот пример показывает, как на этой основе можно классифицировать и описывать установленные фонемы.

Сходные методы позволяют описывать внутреннюю структуру уже установленного фонемного состава.

Вернемся к приведенной схеме, но представим себе теперь, что X₂, X₃, X₄ ..., X_k обозначают не фонемы, а отдельные различные звуки речи (различать их можно теми же двенадцатью признаками, которые используются и для различения фонем; на схеме мы ограничиваемся, как уже было сказано, двумя признаками из двенадцати). Для существования звука речи достаточно, чтобы он отличался от всех других звуков, т. е.

чтобы его можно было различить. Иными словами, существование каждого звука независимо от существования всех других.

Поэтому, если звуки $X_2, X_3, X_4 \dots, X_k$ образуют фонетическую систему данного языка, то высказывание о каждом звуке, например X_1 обладает признаком V , нельзя получить путем дедукции из высказываний о других звуках. Это явление называется независимостью состояний. Если звук X_1 имеет признак V , т. е. V_{x_1} , а все остальные звуки должны удовлетворять единственному условию — не смешиваться со звуком X_1 , то они могут занять в данном пространстве, изображенном в таблице, любые другие точки, кроме точки X_1 , т. е. могут расположиться в этом пространстве 2^{2k-1} различными способами. Тогда противопоставления звука X_1 другим принимают вид: $V_{x_1} \equiv V_{x_1} +$ любое состояние остальных 2^{2k-1} звуков, следовательно (V — знак «или»):

$$\begin{array}{l}
 VX_1 = (V_{x_1} \& C_{x_1} \& V_{x_2} \& C_{x_2} \& \dots \& V_{x_k} \& C_{x_k}) \\
 V(V_{x_1} \& C_{x_1} \& V_{x_2} \& C_{x_2} \& \dots \& V_{x_k} \sim C_{x_k}) \\
 V(V_{x_1} \& C_{x_1} \& V_{x_2} \& C_{x_2} \& \dots \sim V_{x_k} \sim C_{x_k}) \\
 V \dots \text{ и т.д.} \\
 V(V_{x_1} \& \sim C_{x_1} \& V_{x_2} \& \sim C_{x_2} \& \dots \& \sim V_{x_k} \& \sim C_{x_k})
 \end{array}
 \left.
 \begin{array}{l}
 z_1 \\
 z_2 \\
 \cdot \\
 \cdot \\
 z_1^{2k-1}
 \end{array}
 \right\}
 \begin{array}{l}
 \text{Полное} \\
 \text{описание} \\
 \text{состояний}
 \end{array}$$

«Полное описание состояний» в данном случае образует ту основу, на которой, проецируя различные фонемные и морфемные ограничения, можно получить полную картину парадигматической системы фонем.

Вообще, «полное описание состояний» (state description) обладает очень большой общностью. Оно аналогично, например, системе физика Больцмана, примененной им для описания «идеального газа» [Больцман 1953, 352, формула (90)]. (Русский термин «описание состояний» — «состояние» во мн. числе — как аналог английского state description представляется более адекватным, чем «описание состояния». Последний соответствует одному полностью определенному состоянию, «миру», т. е. одной реализации совокупности «состояний» — возможных миров.)

Вернемся к системе Я. Хинтикки. Далее, как показал Хинтикка, структуру рассматриваемой совокупности данного первопорядкового языка можно описать при помощи определенной древовидной структуры («дерева»); ее ветви обычно бесконечны, а каждый узел, т. е. место, из которого расходятся ветви, представляет собой конституенту в выше определенном смысле термина. Каждая конституента (в данном случае, уже — узел) находится на определенной глубине, сама подчинена вышестоящей

конституенте (узлу) и подчиняет («покрывает») нижестоящие конституенты (узлы) «Информация, дедукция и a priori» [Хинтикка 1980, 161].

Здесь и возникает у Хинтикки понятие «эффективности». Для определения противоречивости, или, напротив, непротиворечивости всей данной системы необходимо выявить наличие в ней противоречивых конституент. Однако, как говорит Хинтикка, в общем случае этого нельзя сделать эффективно (механически) в силу неразрешимости первопорядковой логики. В специальной терминологии, связанной с названной древовидной структурой, это утверждение выражается и иначе: неразрешимость первопорядковой логики связана с невозможностью заранее эффективно предсказать ту глубину, где появляется тривиально противоречивая конституента и, следовательно, все подчиненные ей также тривиально противоречивые конституенты (там же, с. 163).

Здесь, в качестве некоей замены эффективного построения, вступает в действие конструирование примера; важная роль этого исследовательского приема уже отмечена выше (I, 0).

В этой связи интересно отметить и иной случай, выявленный, как полагают А. Л. Блинов и В. В. Петров, в их «акциональной логике языка»; т. е. «логике действий»: «Из описанного выше (в контексте книги авторов. — Ю. С.) метода построения истинностных таблиц для формул нашего акционального языка следует, что существует эффективная процедура (именно, процедура вычисления соответствующей истинностной таблицы), которая для произвольной формулы Φ рассматриваемого языка дает ответ на вопрос, является ли Φ акциональной тавтологией» [Блинов, Петров 1991, 25]. (Сама процедура вычисления изложена на с. 21—25 их книги.)

Заключая этот небольшой экскурс о системе Я. Хинтикки в связи с темой нашей книги, следует сказать, что, как видно и из проведенного

обзора, Я. Хинтикка выступает как последовательный реалист, поскольку для него онтологические объекты лишь описываются (можно сказать, «открываются») в системе его логического языка, но не «порождены» ею. В другой связи то же констатируют российские интерпретаторы Я. Хинтикки: «Дух всех сочинений Я. Хинтикки и их основная цель — расширить возможности логического анализа человеческой познавательной деятельности, дающей нам все более адекватное понимание мира, —

несомненно свидетельствуют о его приверженности к реалистическому философскому направлению» [Садовский, Смирнов 1980, 31].

(Дальнейшее по линии «описания состояний» см. ниже в разд. 2 гл. IV.)

Поскольку выше в контексте приведенного рассуждения возник вопрос о построении истинностных таблиц, мы можем указать и другое языковое ядро этих логических построений, связанное с формой предложения (его, впрочем, можно рассматривать и просто как другую часть уже описанного выше).

Напомним прежде, что проблема формализации есть в конечном счете проблема истинности высказываний, подлежащих формализации.

Введем сначала понятие атомарного, или элементарного, или ядерного, предложения. В нашем смысле этих терминов (т. е. в том смысле, который позволяет увязать это понятие с тем, что изложено в гл. II настоящей книги о системе Аристотеля) атомарным предложением является предложение, построенное с одним из предикатов синтаксической таксономии (т. е. с предикатом одной из 10 категорий Аристотеля) и с одним из индивидуальных имен словарной таксономии (т. е. с индивидуальным именем группы «Вещи», «Растения», «Животные», «Люди») в качестве субъекта. Для большей простоты можно считать, что в атомарном предложении в качестве субъекта не допускаются метазнаки (типа «совокупность», «множество», «процесс» и т. п.), названия таксономических групп («вещь», «растение», «животное», «человек») и имена, являющиеся результатом словарных трансформаций (типа «бег» от «бежать» или «бегать»; «белизна» от «бел»; «приближение» от «ближе» или «приближать» и т. п.). Атомарные предложения не являются трансформами или перифразами других предложений. В широком смысле слова «свойство» они выражают свойства предметов. Под свойством понимается при этом не нечто психическое — как образ или отражение чего-то в сознании, а объективное — как то, что имеют сами вещи. *Снег бел; Я учусь; Москва больше Ленинграда; Кошка спит; Петя нарисовал кошку; Снег спит; Кошка бела; Кошка больше Ленинграда; Москва больше снега* и т. п. — примеры атомарных предложений.

Очень важно заметить, что, хотя атомарных предложений может быть очень много и даже много предложений в пределах одного типа — одного предиката, с которым сочетается много индивидуальных имен, это не

делает атомарное предложение функцией. Функцией остается предикат, если он допускает множество имен в качестве своего субъекта (и вообще в качестве своих термов). Но каждое атомарное предложение является не чем-то переменным, а постоянным.

К так понимаемому атомарному предложению можно применить следующие строгие определения: «Предложение, состоящее из предиката степени n , за которым следует n знаков индивидуальных постоянных, называется атомарным предложением»; «Атомарное предложение, состоящее из предиката, за которым следует индивидуальная постоянная, истинно, если, и только если тот индивид, к которому относится индивидуальная постоянная, обладает свойством, которое обозначается предикатом» [Карнап, 1959, 32—33]. Слова «следует за» в этих определениях следует понимать в применении к логической записи предложения, тогда как в естественном языке, разумеется, порядок следования предиката и индивидуальных имен определяется структурной схемой предложения. Сказанное предполагает также правила обозначения — они были введены выше в терминах системы Черча (аналогичные правила можно найти во многих других работах [см., например, Войшвилло 1967]).

Про каждое атомарное предложение можно сказать, является ли оно истинным или ложным. Если «р» атомарное предложение, то будет иметь место таблица истинности 1.

Написанное есть таблица возможностей истинности для одного атомарного предложения. Так, предложение *Снег бел* имеет две возможности истинности, и действительна первая, предложение истинно.

Р	Сказанное выше предполагает, что в исходной системе — в сочетаниях предикатов с именами — мы приняли самые слабые ограничения, исключив только метаимена, трансформы и некоторые другие. При таких слабых ограничениях предложение <i>Снег бел</i> будет расценено как истинное, а предложение <i>Снег черен</i> — как ложное. Эти условия определяют некие «возможные миры», может быть разные, похожие на земной мир, отраженный в естественном языке, поскольку в предложениях, описывающих эти возможные миры, участвуют те же имена и те же предикаты, что и в естественном языке, но миры уж очень широких возможностей, поскольку допустимы
И	
Л	

Таблица 1

сочетания всех индивидуальных имен со всеми первичными предикатами. Это миры, не знающие семантических ограничений.

Можно представить себе и иную систему — принять в исходной точке только некоторые сочетания имен с предикатами как семантически допустимые и тем или иным способом запретить остальные. В этой второй системе предложение *Снег бел* будет оценено как истинное,

предложение *Снег черен* — как ложное, а предложение *Снег спит* как запрещенное семантическими правилами, или бессмысленное. Такая система также описывала бы некий возможный мир, но мир, гораздо более близкий к действительному. Для дальнейшего исчисления логических возможностей нет необходимости накладывать предварительные сильные ограничения; достаточно принять самый слабый вариант, приведенный вначале.

Как уже было сказано, атомарные предложения являются независимыми, т. е. не трансформами, не перифразами других атомарных предложений [ср.: Витгенштейн 1958, 5.134]. Поэтому если дано два атомарных предложения — «р» и «q», каждое из которых может быть либо истинным, либо ложным, то для их сосуществования будет иметь место таблица истинности 2. Для сосуществования трех независимых атомарных предложений будет иметь место таблица истинности 3 (на следующей странице).

Таблица 2

р	q
И	И
Л	И
И	Л
Л	Л

Введем теперь понятие неатомарного предложения. Под ним будем понимать просто предложение, которое зависит от атомарных, ничего не говоря пока о его собственной форме (оно может быть и сочетанием атомарных предложений в одно сложное, и, будучи простым, просто стоять в отношении семантической зависимости от них). Неатомарное предложение «есть выражение согласования и несогласования с возможностями истинности элементарных предложений» [Там же, 4.4].

Так, если третье предложение в приведенной ниже таблице истинности (3), предложение «г», рассматривать как зависимое от предложений «р» и «q», т. е. как неатомарное, то его истинность определится только частью таблицы 3, а именно таблицей 4.

Если мы выпишем последнюю колонку в строчку, то пропозициональный знак неатомарного предложения будет «(ИИЛИ) (р, q)» [Там же, 4.442]. Это и есть условие

истинности предложения «г» при наличии в системе еще двух, атомарных предложений «р» и «q».

Для n элементарных предложений имеется L_n возможных условий истинности, т. е. L_n, возможностей согласования и несогласования с возможностями истинности n элементарных предложений:

$$\sum_{k=0}^{Kn} \binom{Kn}{k} = L_n$$

Таблица истинности (3) показывает для системы из трех фактически и логически независимых атомарных предложений полный набор возможностей. Таблица (4) описывает действительный для нашего мира набор возможностей при том же условии наличия только трех предложений.

Таблица 3

р	q	г
И	И	И
Л	И	И
И	Л	И
И	И	Л
Л	И	И
Л	И	Л
И	Л	Л
Л	Л	Л

Конечная формула описывает последнее, но при том условии, что количество предложений не ограничивается тремя, оно может быть любым — n. В приведенном выше рассуждении Л. Витгенштейна реализована замечательная мысль Г. В. Лейбница о возможных и действительных мирах. Лейбниц считал, что не существует никакой другой необходимости, кроме необходимости логической, и не существует никакой другой невозможности, кроме невозможности, обусловленной противоречием. Необходимо только то, обратное чему вызывает противоречие. Возможно все то, что само по себе непротиворечиво. Полный набор возможностей Лейбниц связывал с божественным разумом, а отношения между полным набором и реализованными возможностями представлял себе, по удачной формулировке Л. Кутюра, следующим образом: «Все возможное не может быть реализовано сразу, ибо возможные вещи не яв-

Таблица 4

р	q	г
И	И	И
Л	И	И
И	Л	Л
Л	Л	И

ляются совозможными, т. е. не могут быть взаимно совмещены. Поэтому выбор между возможностями не зависит от божественного разума, т. е. логические законы не зависят от вечной истины, но они зависят от его воли и от благодати провидения. Ему доступно все (что непротиворечиво), но он хочет лучшего (из одинаково возможных миров)» [Couturat 1901, 219]. По мнению Лейбница, существующий

мир — лучший из возможных миров.

Во взгляде Лейбница есть еще одна, все еще мало осознанная последующими исследователями замечательная идея. Если полный набор возможностей ограничивается только абсолютным противоречием — противоречивое невозможно, то и возможное не все может быть совозможным — возможным в одно и то же время. Но возможное может быть последовательно возможным в разные моменты времени. Таким образом, в исчислении возможностей

500

Лейбница, а далее и Витгенштейна, в неявном виде содержится идея эволюции как последовательного осуществления заведомо возможного.

В свою очередь, «описание возможностей» Л. Витгенштейна нашло аналог в системе Р. Карнапа. Замыслом Карнапа было построить «логическую систему», т. е. формальную систему, минимально связанную с семантикой (понимая под семантикой соответствие знаков и выражений системы элементам вещного, внеязыкового мира). В соответствии со своим замыслом Карнап изменяет некоторые моменты в подходе Витгенштейна. Вместо понятий «истина», «ложь» (И, Л) он использует понятия «утверждение», «отрицание» (заметим очень важное обстоятельство — естественно возникающую ассоциацию понятий «истина» и «утверждение» и, с другой стороны, «ложь» и «отрицание»). По-видимому, здесь пролегает путь к осознанию специфики отрицательных структурных схем в языке, которые, как мы видели выше, пока еще остаются в таксономии несистематизированными).

«Описание возможностей» Витгенштейна превращается у Карнапа в «описание состояний». В то время как описание возможностей по Витгенштейну представляет описание истинности и ложности предложений как их соответствий и несоответствий фактам, в «описании состояний» Карнапа понятие истинности раздваивается на описание логической истинности (L-истинности) и описание фактической истинности (L-истинности). Первое соответствует интенциональной сфере семантики, второе — экстенциональной (о последних см. здесь выше).

Вернемся к системе Витгенштейна. «Описание логических возможностей», о котором идет речь, Витгенштейн иначе называет «логическим пространством», или «логическим свободным пространством» (der logische Spielraum). Это пространство, как уже ясно из всего сказанного, имеет границы: «Условия истинности определяют

область, которую предложение оставляет факту» [Витгенштейн 1958, 4.463]. Но что понимает здесь Витгенштейн под «предложением»? Оно нечто иное, чем «элементарное», или атомарное, предложение. Это видно из следующего места: «Предложение есть выражение согласования и несогласования с возможностями истинности элементарных предложений» [Там же, 4.4]. Таким образом, «Предложение» в этом рассуждении — не первообразное, не элементарное, а выводное предложение. В свою очередь, выводное предложение можно трактовать двояко. Либо как сложное предложение, создающееся из двух или более элементарных предложений посредством логических связей, например союза и — конъюнкции. Такие предложения, создающиеся из элементарных, или атомарных, естественно называть «молекулярными», и этот термин действительно используется [Тондл 1975, 122]. Однако в системе самого Витгенштейна для такого ограниченного понимания выводного предложения, кажется, нет оснований. Либо выводным предложением (или «предложением»

501

по терминологии Витгенштейна, в отличие от его «элементарного предложения») может быть и само элементарное, или атомарное, предложение, когда оно рассматривается не как независимое (что делается в исходной точке для полного описания возможностей, или состояний), а ставится в зависимость от всех наличных предложений. Это фактически и сделано в таблице (4). Таким образом, термин «предложение», или тем более «выводное предложение», очень условен — он означает просто, что мы рассматриваем предложение (в том числе и атомарное) в сетке зависимостей от других предложений (хотя необязательно в смысле прямой выводимости, трансформации или перифразы из других предложений). Этому, в сущности, не противоречит и понимание «молекулярного предложения» у Тондла.

То же самое в ранее принятых нами терминах можно сказать иначе: первичные предикаты и построенные на их основе предложения являются атомарными предложениями; все они могут рассматриваться как независимые одно от другого; трансформации, перифразы и сложные предложения, образованные на основе атомарных, являются выводными предложениями; выводные предложения обнаруживают отношения эквивалентности, синонимичности разного типа друг с другом; тем самым и атомарные предложения — рассматриваемые в общей системе с выводными — перестают быть независимыми. Именно такое понимание

синтаксической системы является, на наш взгляд, аналогом полной системы Витгенштейна.

После этого нетрудно видеть, какова должна быть лингвистическая интерпретация «логического свободного пространства» и его границ. Рассматривая границы логического пространства, Витгенштейн сводит их к условиям истинности, которые, как он выражается «можно упорядочивать в ряд». Примеры такого упорядочения в ряд уже приводились: так, для предложения «г» таблицы (4) — (ИИЛИ) (р, q). При формулировке условий истинности в рамках той же маленькой системы могут обнаружиться два предельных случая — 1. (ИИИИ) (р, q); 2. (ЛЛЛЛ) (р, q). Первый случай характеризует предложение, которое истинно всегда, при любых условиях истинности, второй — предложение, всегда ложное, при любых условиях истинности. Первое предложение есть тавтология, второе — противоречие.

Витгенштейн обобщает такие наблюдения в следующей форме: «Группы условий истинности, принадлежащие к возможности истинности некоторого числа элементарных предложений, могут упорядочиваться в ряд» [4.442]. «Среди возможных условий истинности имеется два предельных случая. В первом случае предложение истинно для всех возможностей истинности элементарного предложения. Мы говорим, что условия истинности тавтологичны. Во втором случае предложение ложно для всех возможностей истинности. Условия истинности противоречивы. В первом случае мы называем предложение тавтологией, во вто-

502

ром — противоречием» [4.46]. «Тавтология и противоречие не имеют смысла...» [4.461]. «Но тавтология и противоречие не являются бессмысленными, они являются частью символизма, подобно тому, как „0“ есть часть символизма арифметики» [4.451]. «Условия истинности определяют область, которую предложение оставляет факту [4.463]» [Витгенштейн 1958].

Таким образом, семантическая сфера предложения может быть представлена в виде континуума, ряда, границами которого являются с одной стороны, тавтологическое предложение, которое мы назовем чистой формой, лишенной всякого содержания, и, с другой стороны, противоречивое предложение, которое мы назовем *чистым содержанием*, лишенным всякого ограничения, а следовательно, формы. (Мы увидим ниже, что это различие полностью соответствует некоторому фундаментальному

различию в таксономии словаря.) Определенная таким образом семантическая сфера предложения является общей формой предложения в семиологическом смысле слова.

Трансформации и перифразы вписываются в семантический континуум синтаксиса между его крайними полюсами, взаимно ограничивая друг друга в следующем порядке: *тавтология — трансформация — перифраза — противоречие*.

Этот ряд и является общим определением формы предложения в семиологическом смысле слова. Трансформации суть некоторый класс преобразований или вариаций атомарных предложений, ограниченный тавтологией, с одной стороны, и перифразой — с другой. Иными словами, пределом трансформаций как вариаций по денотату является тавтология. *Рабочие строят дом — Дом строится рабочими* — трансформация, но *Дом строится рабочими* с точки зрения общего содержания сигнификата — то же самое, что *Рабочие строят дом*. Тавтологии в естественном языке далеко не редкость и зачастую достаточно содержательны. Пределом трансформаций как вариаций по денотату, затрагивающих структурную часть смысла, сигнификат, является перифраза, поскольку различие в сигнификате соответствует, как мы видели выше, некоторому различию в структуре обозначаемой ситуации (хотя бы минимально в том, что меняется эмпатия говорящего). Так, *Рабочие строят дом* → *Дом строится рабочими* — трансформация, но *Дом строится рабочими* соответствует такой ситуации, когда эмпатия говорящего на стороне дома, и, следовательно, эта ситуация может быть семантически эквивалентно описана предложением: «То, о чем шла речь, то есть дом, строится рабочими». Но последнее — это уже перифраза к обоим первоначальным предложениям.

Перифразы суть некоторый другой класс преобразований или вариаций атомарных предложений, ограниченный трансформациями, с одной стороны, и противоречиями (т. е. предложениями, являющимися противоречиями) — с другой. Одним пределом перифраз как вариаций по

503

смыслу является трансформация. Это тот случай, когда перифраза ограничивается минимумом изменений, что в грамматическом плане соответствует изменению только залоговых характеристик предложения или только порядка слов в нем и т. п. Например, предложение *Дом куплен Иваном* может быть оценено как перифраза в отношении к *Дом купил Иван* и как трансформация к *Иван купил дом*. Противоположным пределом перифраз являются противоречивые высказывания об одной и той же ситуации, т. е.

такие, одно из которых содержит отрицание смысла другого, ср.: *Иван купил дом и вроде бы не купил его; Речка движется и не движется, Вся из лунного серебра* (Матусовский, «Подмосковные вечера»); *Ненавижу и люблю* (Катулл) и т. п. Такие высказывания далеко не редкость в естественном языке. При понимании их в чисто логическом смысле они становятся противоречиями (см. выше об антонимах).

На полюсе тавтологий находятся аналитические предложения. Аналитическими предложениями (в синтаксическом смысле) являются, например: «Каждое А, которое не есть В, не есть В»; «Каждый мужчина, который не женат, не женат»; «Каждый холостяк не женат». Аналитическим предложением в синтаксическом смысле (в отличие от семантического) является каждая логическая тавтология или каждая позволительная в языке подстановка тавтологии и каждое предложение, сводимое к вышеназванным предложениям при помощи синтаксических соглашений, действительных для данного языка. Синтаксические соглашения, или конвенции, устанавливают, что определенным термином можно пользоваться вместо какого-либо данного выражения [см.: Айдукевич 1958, 277].

На полюсе противоречия находятся синтетические предложения, соединяемые конъюнкцией, — предложения с перечислением, например: «Речка движется, и не движется, и поет, и играет, и стынет, и теплеет, и бурлит, и стихает, и серебрится, и светлеет и т. д.» Вообще говоря, весь словарь может быть перечислен таким образом в предикате одного синтетического предложения. Оно окажется предельно богатым по содержанию, но противоречивым, по крайней мере в том смысле, что его предикаты не могут быть истинными в одно и то же время. В некотором очевидном смысле такие предложения лишены также формы.

Данному определению семиологической формы предложения соответствует определение семиологической формы понятия в таксономии словаря. Для того чтобы обрисовать это соответствие последовательно, укажем сначала, что имеется полная аналогия между тавтологией и противоречием в систематике предложений Витгенштейна и двумя категориями в систематике понятия В. Н. Карпова, который выступает в этом отношении как последователь Канта. Чем больше объем понятия, тем меньше его содержание, и наоборот — чем больше содержание понятия, тем меньше его объем. Исходя из этого соотношения, Карпов логически продолжает оба про-

цесса «вверх» и «вниз». «Когда, на высшей степени отвлечения, содержание стало бы нулем, мыслимое сделалось бы понятием онтологическим» [Карпов 1856, 97]. Под онтологическим понятием Карпов понимает, таким образом, чистую форму, содержание которой равно нулю и которая тождественна «чистому объему». *Онтологическое понятие* Карпова соответствует *тавтологии* Витгенштейна.

Продолжая процесс «вниз», Карпов приходит к противоположному пределу, при котором объем становится равным нулю, а содержание превращается в бесконечно перечисляемую, неограниченную совокупность признаков — в индивид, или «неделимое». Понятие *индивида* у Карпова соответствует понятию *противоречивого предложения* у Витгенштейна.

Поскольку всякое определение объема и содержания понятия должно мыслиться в определенной системе, мы применим идеи Карпова к семиологической таксономической системе словаря. Применяя пределы Карпова к центральной части таксономии — к иерархии «дерева Порфирия», мы можем сказать, что верхний предел иерархии «Непредметные метазнаки» соответствует «чистому объему» и является аналогом тавтологии в синтаксическом смысле. В соответствующем разделе Словаря такие семантические сущности являются внутренним средством упорядочения лексической системы языка и в словарях используются в качестве первых слов словарных определений (*Коллектив — совокупность...; Стамеска — инструмент...; Куча — множество...* и т. д.).

Нижний предел иерархии словаря — индивид-человек («я») — соответствует «чистому содержанию» и является аналогом противоречивого предложения в синтаксическом смысле.

Если принять синтаксическую форму «А есть А» как наиболее естественное выражение тавтологии, то противоположный полюс — противоречие — будет выражен в форме «А есть не-А». Любое имя, повторенное в позиции субъекта и предиката, даст тавтологию — «Я есть Я»; «Учитель есть учитель»; «Кошка есть кошка»)2. Точно так же любое имя, взятое в позиции субъекта в положительной форме и повторенное в позиции предиката с отрицанием, даст противоречие: «Я есть не-Я»; «Учитель не есть учитель» («Учитель — это не учитель»); «Кошка не есть кошка» («Кошка — это не кошка»). В реальном употреблении такие предложения обрастают дополнительными

смыслами и в действительности не являются уже тавтологиями, ср.: Ты знаешь Петю: Петя — это Петя! и т.п.

Между этими двумя полюсами располагается основная масса именных предложений, или предложений частичного тождества (и, следовательно, частичного противоречия): *Я — учитель; Кошка — животное; Это животное — кошка*. Мы увидим ниже, что глагольные предложе-

505

ния, в которых устанавливается тождество двух имен посредством глагола (иного, чем связка быть), могут быть сведены к предыдущим: *Я стал учителем; Кошка принадлежит к животным; Это животное кажется кошкой*. Более того, многие другие, собственно глагольные предложения, например с переходным глаголом и объектом, разделяют свойства предложений, приведенных выше: предложение *Мальчик читает книгу* устанавливает частичное тождество «книги» и «мальчика» через посредство глагола: «читать» есть свойство мальчика и «быть читаемой» есть свойство книги. (Не столь важно, что в отношении к субъекту предложения, в данном случае к «мальчику», это свойство оказывается временным, а в отношении к объекту, «книге», — постоянным: книга, собственно, есть то, что предназначено для чтения. В других случаях отношения временной и постоянной присущности могут оказаться обратными: субъект будет обладать чем-то как постоянным признаком, а объект — тем же признаком как временным, например: *Земля здесь родит сорок центнеров на гектар*.) Таким образом, и глагольные предложения типа *Мальчик читает книгу* являются частично предложениями-тавтологиями и частично предложениями-противоречиями. Всякую меру соединения этих свойств, отличающуюся от чистой тавтологии и от чистого противоречия, мы назовем *отношением семантического согласования*. Подробнее это общее свойство предложения рассматривается в специальной главе.

Выше уже говорилось, что система Витгенштейна является развитием некоторых идей Лейбница, а система Карнапа, в свою очередь, развитием взглядов Витгенштейна. Теперь можно указать на своеобразное продолжение системы Карнапа в работе Б. К. Войшвилло 1976 г. Автор устанавливает связь между понятием «статистическая информация» (например, по Шеннону) и понятием «семантическая информация» (по Карнапу). Семантическая информация определяется следующим образом: имеется конечное множество исходных абстрактных возможностей, например множество

предложений, каждое из которых констатирует одно из возможных «положений дел» в «действительном» или «возможном» мире; каждому из предложений каким-либо образом приписана определенная вероятность; принятие одного из них, скажем предложения-высказывания А, обуславливает исключение некоторых возможностей; тогда сумма вероятностей остающихся (допустимых для А) возможностей рассматривается как вероятность $p(A)$ высказывания А; информация, содержащаяся в А, $i(A)$, будет:

$$i(A) = -\log p(A).$$

«Это соотношение, — замечает Е. К. Войшвилло, — может быть распространено на любые случаи, в которых есть возможность определить вероятность высказывания А независимо от того, каким образом

506

это достигается. В отличие от оценок информации в статистической теории информации, где используется частотное понятие вероятности, здесь имеется в виду логическая вероятность. Однако это различие не является существенным. Если, например, имеется простое высказывание вида $P(a)$ (о наличии у предиката а свойства Р) и может быть определена относительная частота появления Р в классе, к которому относится а, а тем самым и вероятность наличия данного свойства у данного предмета, то она должна совпасть с логической вероятностью данного высказывания» [Войшвилло 1976, 168].

Если никакое описание состояния (из возможных описаний состояний) не содержит некоторого высказывания и одновременно его отрицания (т. е. действует логический закон отрицания и логический закон исключенного третьего), то устанавливаемая при таком описании состояний информация является, по Войшвилло, экстенциональной: мы заранее принимаем, что в действительности не может быть противоречивых состояний, описываемых предложением и его отрицанием, т. е. в этом случае описывается «действительный мир».

Можно, однако, как предлагает далее Войшвилло, изменить понятие описания состояния таким образом, чтобы при его формулировке не принимать заранее какой-либо информации (т. е. сказали бы мы, оставить «максимум возможностей»). В таком случае устанавливаемая описанием состояний информация будет, по Войшвилло, интенциональной. Для этого, «оказывается, достаточно отказаться от предположения

априори, что в действительности действуют законы противоречия и исключенного третьего. Собственно, только эти законы, их конъюнкции и выводимые из них представляют собой утверждения о действительности, поскольку являются формулами нашего языка. Остальные выражают отношения между формулами» [Там же, 176]. В таком описании состояний могут быть, например, предложения, которым одновременно приписываются значения «истина» и «ложь». Описываемый таким образом мир является, сказали бы мы, «возможным миром» с максимум возможностей. Но, подчеркнем еще раз, соответствующее ему описание строится в конечном счете по образцу описания экстенциональной информации «действительного мира».

(В целом на изложенной выше основе в дальнейшем, несомненно, может быть произведена формализация понятий «трансформация» и «перифраза», причем одно будет лежать в сфере экстенциональной, а другое — в сфере интенциональной семантики. В настоящее время такие формализации отсутствуют; см., однако, о «перифразе» в работах [Martin 1978]; [Степанов 1981, гл. V, VI].)

С материалом этого раздела непосредственно смыкается, в какой-то мере служит его основой, материал раздела 5 главы III (о форме слова понятия).

3. Пример 3. «Бог есть любовь», «Любовь есть бог».

*Отношения тождества и два подхода
к лингво-философскому анализу языка —
историко-филологический и логический*

В этом разделе мы до некоторой степени подведем итоги тому, что было сказано о «логическом восхождении» от наблюдаемых фактов языка к их логическому представлению. Мы также попытаемся иллюстрировать («экземплифицировать»), а тем самым и аргументировать, два принципа, сформулированных в начале этой главы (I, 0): для фундаментальных логико-философских положений могут быть указаны их исторические языковые прототипы (т. е. в каждом случае их «языковое ядро»), а сами эти положения могут быть выстроены в логическую цепь трансформаций языкового типа. (Различные примеры, приведенные выше [Пример 2] от «описания состояний Карнапа» к «нормальной дистрибутивной форме Хинтикки», и др. лежат в той же линии рассуждения.)

Термин «отношения тождества» — это лишь условное название для целого класса довольно разнообразных отношений, существующих в действительности, и для целого класса типов предложений, существующего в том или ином наборе в каждом естественном языке. Тем не менее, будучи условным, это название не случайно, поскольку отражает нечто действительно присущее и отношениям, и предложениям, их выражающим.

В класс отношений тождества, или, точнее, «отношений типа тождества», входят отношения, открытые в самых разных науках: в математике — тождество в самом прямом смысле (знак «равняется» — «=»); отношения равенства и типа равенства; отношения наличия общей меры (общего множителя и др.), пропорции; отношения параллельности двух прямых; уравнения и каждый отдельный этап в решении уравнения; отношения подобия, симметричности, конгруэнтности и т. д.; в биологии — подведение особи под таксон, вид, род, класс; вообще — классификация; в лингвистике — подведение звукотипа и аллофона под фонему, вообще — отождествление аллофонов как вариантов одной фонемы; соответствующие процедуры в морфологии и грамматике; в логике — определения различных видов; эквивалентности выражений и т. д. Такая важнейшая проблема современной логики, теоретической лингвистики и философии науки, как проблема аналитического и синтетического, также имеет прямое отношение к проблеме тождества, более того — в некотором смысле может рассматриваться как ответвление последней. Это является и лейтмотивом данного раздела.

Обзор некоторых математических понятий, относящихся к этому классу, в философском контексте можно найти в работе С. А. Яновской 1936 г. [Яновская 1936]. Что касается класса предложений тождества,

то применительно к русскому языку он описан в работе Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1990].

Исключительно важную роль играют отношения тождества в морали и в этике (вообще в науке о морали). Предложения тождества, в том числе и приведенные в заголовке нашей статьи, часто служат формой того или иного морального принципа, вообще — формой утверждения некоторой истины.

Ярким примером, более чем примером — этапом соединения и синтеза проблем тождества, истинности, аналитического и синтетического знания с вопросами этики

является их сочетание в русской культурной истории в период так называемого русского Возрождения 1910-х годов. Выражением этого стал цикл работ Андрея Белого, объединенных темой символизма. Фрейбургская (или Баденская) школа, пишет А. Белый в «Эмблематике смысла», утверждает в качестве одного из своих теоретических оснований: «Истинное есть ценное» («Истина есть ценность»). Она объединяет этим суждением, собственно, два суждения — «Истинное есть должное», «Должное есть истинное», откуда следует: «Истинное есть ценное». Но, продолжает Белый, «во-первых, где в приведенном суждении субъект и где предикат? Суждение может быть прочитано и наоборот: ценное есть истинное. Во-вторых, есть ли приведенное суждение суждение синтетическое или суждение аналитическое в кантовском смысле?...» и т. д. [Белый 1994, 67]. И далее А. Белый развертывает с помощью этой критики собственную концепцию символизма. Конечно, рассуждение А. Белого не является логическим анализом, но нельзя отрицать, что в своеобразной форме «квазилогического» построения выступает оригинальная философско-этико-эстетическая доктрина.

В чистом виде отношения типа тождества, или просто «тождество», это, конечно, лишь тавтология «А есть А». Поэтому некоторые авторы не считали тождество интересным объектом изучения, особенно Л. Витгенштейн: «Между прочим: сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, — значит ничего не сказать...» [Витгенштейн 1958, 5.553]. Но такая точка зрения возможна только в абсолютно «синхронной» (в структуралистском смысле) системе, какова система Л. Витгенштейна. Если же система охватывает динамику, «диахронию», процесс, процедуры (в частности, процедуры открытия и доказательства), то тождество — это заключительный этап некоторой предшествующей серии отношений и выражающих их операций. В этом смысле тождество — интереснейший, более того, необходимый объект исследований.

Исторический «пик» этих отношений и операций связан с учением Лейбница, и рассуждение, которое прямо относится к нашей теме, т. е. к отношениям тождества, у Лейбница включено в этическое рассуждение (называемое «отрывком») «О свободе». Оно начинается словами: «С

древнейших времен человеческий род мучается над тем, как можно совместить свободу и случайность с цепью причинной зависимости и провидением. Исследования христианских авторов о божественной справедливости, стремящейся к спасению человека, еще больше увеличили трудности этой проблемы» [Лейбниц 1982, 312]. Решение Лейбница, коротко говоря, состоит в следующем. Во всяком истинном суждении, т. е. в суждении, выражающем как необходимую (логическую) истину, так и истину факта (относящуюся к индивидуальной вещи), предикат заранее присутствует в субъекте, поэтому всякое истинное суждение представляет в расчлененной форме субъект и соответствующий ему предикат, т. е. является аналитическим. (Строго говоря, в системе Лейбница синтетических суждений в собственном смысле термина вообще нет.) «Когда я все более сосредоточивал мысль, не давая ей блуждать в тумане трудностей, мне пришла в голову своеобразная аналогия между истинами и пропорциями, которая, осветив ярким светом, все удивительным образом разъяснила. Подобно тому как во всякой пропорции меньшее число включается в большее либо равное в равное, так и во всякой истине предикат присутствует в субъекте... Точно так и в анализе истин на место одного термина всегда подставляется равнозначный ему, так что предикат разлагается на те части, которые содержатся в субъекте. Но точно так же, как в пропорциях, анализ когда-то все же исчерпывается и приходит к общей мере, которая своим повторением полностью определяет оба термина пропорции, а иногда анализ может быть продолжен в бесконечность, как бывает при сопоставлении рационального и мнимого числа или стороны и диагонали квадрата, аналогично этому истины иногда бывают доказуемыми, т. е. необходимыми, а иногда — произвольными (*liberae*) либо случайными, которые никаким анализом не могут быть приведены к тождеству, т. е. как бы к общей мере» [Там же, 316].

Таким образом, то, что в системе Лейбница можно было бы назвать синтетическими суждениями, — это также аналитические суждения, но только с таким анализом, который представляет собой бесконечный ряд разложения, никогда не могущий быть завершенным.

Значительно позже, почти двести лет спустя после того как Лейбниц сформулировал свое решение проблемы тождества и проблемы аналитических суждений, что было одновременно фактом культуры и метафизики, эти же проблемы, в

частности и их лейбницевское решение, стали предметом философской логики. И здесь они быстро прошли несколько этапов. Сперва у Л. Кутюра и других авторов начала XX в. они обсуждаются в рамках логической системы (см. об этом, в частности, в превосходном изложении П. С. Попова [Попов 1960, 11]). Позже центр обсуждения смещается в сторону «семантической системы» и связывается с проблемами языка и метаязыка науки — см. завершающую целый период итоговую работу Е. Д. Смирновой [Смир-

нова 1962, 13]. И наконец, в наши дни те же вопросы заново поднимаются в связи с темой «научных парадигм» целых эпох — см. в книге В. Н. Катасонова [Катасонов 1993, 4, 9, 26 и след., 138].

Особенно интересен цикл вопросов, связанных с «семантической системой». Вывод Е. Д. Смирновой гласит: «О суждении, взятом вне той или иной семантической системы, бессмысленно спрашивать, аналитическое оно или синтетическое» [362]. Какова семантическая система? Этот вопрос можно задать и относительно системы Лейбница (в которой синтетических суждений нет), и относительно системы Канта (в которой деление суждений на аналитические и синтетические проведено очень последовательно и в которой к тому же выделяется базисный класс «синтетических суждений априори»; на последнем основывается, по Канту, философия как наука). Новый свет проливает на эту проблему исследование обычных словарей, которые могут рассматриваться как модель семантической системы и в которых действует «закон приращения смысла» (термин Ю. Н. Караулова). Закон этот состоит в том, что для описания слов, составляющих словарь, необходимо большее количество слов, чем количество слов, составляющее словарь. При этом добавляется и новый смысл, не содержащийся в описываемых словах. «Открытый характер лексики, ее непосредственная связь с бесконечностью реальности и является первопричиной того, что словарь порождает добавочный смысл, который находит отражение в появлении на выходе слов, не включенных в исходный набор» [Караулов 1976, 85 (раздел «Закон приращения смысла»)].

Но мы здесь, по соображениям ограниченности места, вынуждены оставить эту проблему в стороне, лишь только обозначив ее как весьма существенную и новую.

Сказанным обрисовалась тема тождества как «константы культуры». Контур ее — это «логическое» в «историческом», в истории культуры. Речь идет не о том, что у науки логики, как и у всякой науки, есть своя история, и не о том, что есть наука об истории культуры — культурология. Контур «константы» задаются не в рамках наук, а иным, еще мало исследованным явлением: почти всякий раз, когда в логике (как науке) формулируется какая-либо проблема, оказывается, что эта проблема уже возникала, но, конечно, не в логической форме — в реальной жизни, в истории культуры, зачастую в отдаленном прошлом, а иногда возникала в культуре в какой-то момент, лишь в будущем наступивший после соответствующего открытия в логике. Речь идет о культурно-логическом параллелизме, и параллелизм этот — не синхронный и, может быть, вообще не лежащий во времени, а вневременной или же всевременной, панхронический.

Языковое ядро. Вернемся к древнейшему пику отношений тождества в их внешнем выражении, к тому, который иллюстрирован

двумя предложениями нашего заголовка, и рассмотрим их более подробно в том же культурно-логическом параллелизме — сначала как факты языка и культуры, выраженные в культурных текстах, а затем как факты науки логики, выраженные в логических системах различных авторов.

1. Мэри Бойс в начале своей книги о зороастрийцах пишет: «Протоиндоиранцы почитали также нескольких „абстрактных“ божеств, у них вообще была склонность олицетворять то, что теперь мы назвали бы абстракциями, и считать их могучими, вездесущими божествами. Вместо того чтобы определять божественную персону изречением типа „Бог — это любовь“, индоиранцы начинали свою веру с того, что „Любовь — это бог“, и постепенно создавали на основе этого представления божество. Как далеко заходил процесс обрастания „абстрактного“ божества отличительными особенностями и мифами, зависело от того, насколько это божество было связано с жизнью людей и религиозными обрядами и насколько популярным оно от этого становилось» [Бойс 1987, 17—18]. Примером может служить Митра, который, будучи сначала олицетворением договора, договорных отношений, — от того же индоевропейского корня и рус. мир, — затем стал почитаться как божество справедливой войны, как великий судья, приобрел облик солнца и т. д.

То, о чем говорит здесь М. Бойс, — особенность не только индоиранской, но индоевропейской культуры вообще, лишь обостренно проявившаяся у индоиранцев. «Что такое вообще индоевропейские „малые боги“?» — спрашивает А. Мейе и отвечает так: «Это природное или социальное явление, которому придают особое значение. Божество — это не лицо, имеющее собственное имя, это само явление, его сущность, его внутренняя сила» [Meillet 1948, 30]. А. А. Потебня хорошо показал это в своей работе «О Доле и сходных с нею существах» [Потебня 1865]. Некоторые индоевропейские языки и культуры показывают, как далеко может зайти этот процесс. Так, древние латиняне при одном только виде работ — при пахоте — почитали около двух десятков богов: бог первого боронения почвы — Ueruactor, бог второго боронения — Reparator, бог третьего и окончательного боронения — Imporcitor, бог бросания семян — Insitor, бог запахивания после разбрасывания семян — Obarator и т. д. [Usener 1896, 76].

Конечно, здесь гипостазирется, возводится в сущность, функция божества — это общеизвестно. Но для нашей темы очень важен принцип гипостазирования, а это одновременно и принцип именования, или отождествления. Бог бросания семян — это «засеватель» = «тот, кто засеивает»; бог запахивания — это «запахиватель» = «тот, кто запахивает», и т. д., или, говоря иначе, «засеватель засеивает», «запахиватель запахивает» и т. д. В общем виде:

именем божества и его сущностью: у сущности божества в этом ряду нет иных признаков, кроме одного-единственного, того самого, который выделен и назван. Мы увидим далее тот же принцип рассуждения уже в науке — у средневековых схоластов, согласно которым «Разум разумеет», «Воля хочет («волит»)), «Зрение зрит», «Любовь любит» и т. д. (Мы рассмотрели этот принцип в общей форме, см. здесь ниже, раздел 2 гл. III.)

Иначе обстоит дело с «великими», «личными» божествами уже в развитых языческих культурах. Так, например, Аполлон в соответствии с различными функциями, которые ему приписываются, может быть «отвратителем беды», «отвратителем зла», «заступником», «целителем болезней», «попечителем» и т. д. Здесь действует совсем иной семиотический принцип: функция, предикат и имя (эти три элемента по-прежнему, как и в предыдущем случае, совпадают) уже не исчерпывают сущности божества:

сущность представляется чем-то более общим, непознаваемым и иногда даже неизвестным. (Древние римляне обращались к некоторым из своих божеств так: «Кто бы ты ни был, мужчина или женщина...») По отношению к сущности называемые признаки — лишь сопутствующие, «не сущностные». И точно так же имена: все имена в таких случаях называют лишь одну сторону божества, само же оно, несводимое к своим предикатам, именуется — если вообще именуется — лишь собственным, «личным» именем. (Мы увидим далее, что именно против такого понимания «сущности» бурно выступал Б. Рассел уже в рамках науки.) Отражение этих воззрений мы видим и в православном христианстве, где имеются различные святые, каждый со своими функциями, и где сама Богородица может быть и «благословляющей в дорогу» (Одигитрия), и «кормилицей» (Млекопитательница), и т. д.

Имена богов, таким образом, выступают как модель отождествления в культуре вообще. Обратимся теперь к некоторым другим конкретным проявлениям — применениям этой модели.

В исламе имеется канонический список «Девяноста девяти имен Бога» (на арабском языке):

1. al-Rahmān — Сострадатель
2. al-Rahīm — Милосердец
3. al-Malik — Царь
4. al-Quddūs — Святой
5. al-Salām — Источник мира
-
47. al-Wadūd — Любящий, Любвеобильный
-
93. al-Nūr — Свет
-
99. al-Sabūr — Терпеливый.

Этот список, с одной стороны, — «закрытый», так как в нем именно и только 99 предикатов (два из них в разных исламских традициях представлены вариативно, но эту деталь мы сейчас не рассматриваем), а с другой — достаточно обширный, чем навеивается мысль, что он не исчерпывающий в каком-то отношении. Но в каком именно? Как соотносится список имен бога с его сущностью? Этот вопрос, относящийся прежде всего к логике, исторически оказался в самом деле предметом теологических разысканий. «Главные дискуссии на протяжении VIII—XII вв. вызывала проблема качеств (атрибутов) Аллаха и их соотношения с его сущностью» [Ислам 1991, 19].

Обратимся теперь к христианству и посмотрим, в каком контексте, и еще точнее — в каком тексте, возникает это определение: «Бог есть любовь». Это, как известно, «Первое соборное послание св. ап. Иоанна Богослова».

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, — Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение — с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестив, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоан. 1, 1—5).

И далее: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (там же, 7—8).

И наконец: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (там же, 16).

Весь этот текст как бы пронизан предикатами — здесь и «слышать», и «видеть», и «осязать», и «пребывать в свете», и, наконец, «любить». Из всех предикатов Бога выделяются два — «Бог есть свет» и «Бог есть любовь». И стихи 7 и 16 гл. 4 показывают связь Бога и человека через эти предикаты: Бог есть свет, и человек, вступая в этот свет, пребывает в Боге; Бог есть любовь, и человек, познавая любовь, пребывает в Боге и Бог в нем. Таким образом, здесь гипостазируется предикат, который как бы охватывает, обнимает собой и Бога, и человека, но источник этого предиката — Бог. Применительно к этому случаю наглядно видна истинность утверждения Лейбница: все суждения аналитичны. Предикат «любовь» заранее принадлежит Богу как субъекту, поэтому аналитично предложение «Бог есть любовь». Если же человек определяется как «пребывающий в любви», то и предложение «Пребывающий в любви пребывает в Боге» также аналитично, уже по определению субъекта «человек».

2. Давайте теперь мысленно воссоздадим всю логическую цепочку, которая могла привести к таким результатам, т. е. к таким концептам, которые упомянуты в предыдущем разделе. Конечно, мы должны все время не упускать из виду, что

«результат» — это факт культуры, засвидетельствованный культурологическим анализом текстов, а иногда и прямо древними текстами, между тем как «цепочка, или процесс» — это «логическое», а не «историческое», это мысленная реконструкция, «конструкт». Эта цепочка такова:

(1) Бог любит → (2) Бог есть любящее → (3) Бог есть любовь → (4) Любовь есть бог.

В этом ряду фигурирует концепт «Бог» — нет необходимости говорить о том, что это понятие высшей сложности и уж, во всяком случае, не наглядное (не допускающее остенсивного определения). Сделаем поэтому следующий шаг в формировании нашего конструкта — «цепочка»: заменим здесь слово «Бог» словом «Я», означающим нечто гораздо более очевидное; порядок и все конструкции предложений сохраним при этом прежними:

(1а) Я люблю → (2а) Я есть (собственно, есмь) любящее → (3а) Я есть (есмь) любовь → (4а) Любовь — это я.

И наконец, сделаем еще один шаг в сторону наглядности, заменив «Я» на «это», а «любить» на «краснеть, краснеться» (в смысле: представлять взгляду человека как «нечто красное», как в рус. *Смотри, что-то там краснеется в траве*). Действительно, ничто не запрещает нам представлять себе «это» в виде указания на какое-нибудь конкретное явление, данное «мне — здесь — сейчас», например на ягоду земляники, краснеющую среди зеленой травы. Цепочка примет такой вид:

(16) Это краснеет(ся) → (26) Это есть краснеющее(ся) или (что то же) Это есть красное → (36) Это есть краснота → (46) Краснота есть это или (может быть) Краснота есть здесь и сейчас.

Когда эти ряды выписаны, мы замечаем, что в действительной истории мысли — в логике и философии прежде всего — каждое из звеньев было предметом анализа, хотя лишь в «свое время». Таким образом, факты действительной культурной истории (например, представления о боге) и логико-философские проблемы образуют два параллельных ряда, что само по себе уже достаточно интересно. Рассмотрим теперь второй из этих рядов — логико-философский. (Разумеется, нам придется лишь указывать на ту или иную философскую концепцию, не разбирая ее «изнутри», т. е. оперировать концепциями как «блоками».)

3. Эквивалентность, позволяющая соединить типы предложений (1) и (2), т. е. тождество этих типов, впервые установлена в логике Аристотеля, где «Я иду» рассматривается как тождественное «Я есть идущее».

Рассмотрим в этой связи одно очень важное место из его «Метафизики» (кн. 5, гл. 7, 117a 22—31):

«Бытие же само по себе приписывается всему тому, что обозначается через формы категориального высказывания, ибо сколькими способами делаются эти высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие. А так как одни высказывания обозначают сущность вещи (в данном издании менее точно: «суть». — Ю. С.), другие — качество, иные — количество, иные — отношение, иные действие или претерпевание, иные — „где“, иные — „когда“, то сообразно с каждым из них те же значения имеет и бытие. Ибо нет никакой разницы сказать: „человек есть здоровый“ или „человек здоров“, и точно так же: „человек есть идущий или режущий“ или же „человек идет или режет“; и подобным образом во всех других случаях» [Аристотель т. 1, 1976, 156].

«Категориальное высказывание» здесь означает высказывание, предикат которого принадлежит к одной из Категорий, Аристотелем же и установленных. В здесь же приводимом списке, т. е. в системе «Метафизики», их — 8, в других сочинениях Аристотеля их число — 9 или 10. Что касается парных выражений, которые Аристотель здесь уравнивает, считает тождественными, то в греческом языке его эпохи они передаются соответственно одно — причастием, другое — глаголом (например, «Человек есть здоровый» содержит причастие *hygiaínōn*, а «Человек здоров» — глагол *hygiaínei*).

4. Эквивалентность типов предложений (2) и (3), «Бог есть любящее» и «Бог есть любовь», и подобные пары стали предметом не только рассмотрения, но и прямой полемики между Декартом и Гоббсом, т. е. тысячелетия спустя после Аристотеля.

Это содержание «Второго возражения (Ко второму „Размышлению: О природе человеческого духа“»». «Размышления» принадлежат Декарту, а «Возражения» — Гоббсу. Последний начинает свое «возражение» так: «„Я — мыслящая вещь“ (это было тезисом Декарта. — Ю. С.). Это верно; именно из того факта, что я мыслю или — будь то наяву или во сне — воображаю, следует, что я нечто мыслящее, ведь предложения я мыслю и я — мыслящая вещь означают одно и то же (это следовало еще из системы

Аристотеля. — Ю. С.). Из того, что я нечто мыслящее, вытекает, что я существую, ибо то, что мыслит, не есть ничто. Однако, когда Декарт продолжает, т. е. дух, или душа, или ум, или разум, у меня возникают сомнения. Ибо вряд ли можно считать правильным такое умозаключение: *я ем нечто мыслящее*, следовательно, *я ем мышление*, или *я ем нечто понимающее*, следовательно, *я ем разум*. Ибо таким же образом я мог бы сказать: *я ем нечто прогуливающееся*, следовательно, *я ем прогулка*» [Гоббс, 1965, 414].

«Ответ» Декарта, приводимый тут же, показывает все превосходство гения. Но Декарт демонстрирует и «классическую» образованность,

и универсальность мышления: его ответ как бы в точности резюмирует то, как рассуждали и исламские теологи, говоря об Аллахе (см. выше), и Аристотель, говоря о «сущности». «Так как мы не можем познать субстанцию непосредственно из нее самой, а в состоянии сделать это только на основании того, что она является субъектом определенной деятельности, то вполне последовательным является тот общеупотребительный метод, согласно которому субстанциям, которые познаются нами как субъекты явно различных деятельностей, мы даем также различные названия, а затем проверяем, обозначают ли эти различные названия разные вещи или одну и ту же вещь» [там же, 416—418]. И далее Декарт настаивает на своем различении двух субстанций — «тела» и «духа, разума».

5. Эквивалентность предложений типа (3) и (4) стала предметом обширного исследования Бертрانا Рассела в его так называемых «Вильям-Джеймсовских лекциях в Гарвардском университете» 1940 г. (впоследствии они составили книгу «Разыскание о значении и истине», а наш вопрос — главу VI этой книги, см. [Russell 1980]). В действительности Рассел рассматривает только предложения типа (36) и (46) и именно потому, что его главной задачей является опровергнуть понятие сущности (в латинских текстах, в частности в цитате из Декарта, приведенной выше, этому соответствует слово «субстанция», которое надо понимать именно как «сущность»), но его рассуждение проливает свет и на все остальные звенья, т. е. на (3а) и (4а), (3) и (4).

Представим себе, говорит Рассел в упомянутой главе VI, что в Америке была бы построена еще одна Эйфелева башня, абсолютно тождественная парижской. Должны ли были бы мы считать эти две башни двумя «вещами» или «одной вещью»? Для тех, кто

признает «сущности», стоящие за наблюдаемыми качествами, — да, это две разные вещи. Для тех же, кто, как сам Рассел, в традициях «английского эмпиризма», никаких «сущностей» не признает и считает «вещами» лишь то, что он наблюдает, т. е. «совокупность свойств, существующих в данном месте в данное время», эти две башни «одна и та же вещь». Конечно, добавляет Рассел, в число «свойств» нужно включить также координаты времени и места, каковые точно такие же наблюдаемые факты, как и все другие свойства. Если будет доказано (т. е. «наблюдено»), что у двух башен разные системы координат, то мы должны будем — при всей их тождественности — признать их «двумя вещами».

Из этого рассуждения Рассел делает решающий лингво-философский вывод: «Неразличимое — тождественно» («Indiscernibles are identical»), а само это утверждение является аналитической истиной. («I should claim it as the principal merit of the theory I am advocating that it makes the identity of indiscernibles analytic» [Russell 1980, 103].) Это положение Рассела

противопоставляется наличию (Расселом отрицаемому) синтетических суждений априори, которыми, например, Кант обосновывал категории пространства и времени, категорический императив в морали, а также само существование метафизики как науки.

Здесь мы достигли самого важного, решающего пункта в нашем рассуждении, а именно: мы уже знаем (это достаточно общее положение в наше время), что понятия «синтетическое» и «аналитическое», в смысле знаний или истин, не могут мыслиться вне системы языка, т. е. они соотносительны с системой языка и являются различными в различных системах (см. об этом в упомянутой работе Б. Д. Смирновой). Таким образом, языковая система Рассела, в рамках которой он проводит свое рассуждение, и языковая система Аристотеля, Декарта, а также Лейбница совершенно различны.

Но вместе с тем все эти великие авторы мыслят и пишут на одних и тех же индоевропейских языках, более того — привлекают в помощь своим эпистемологическим анализам формы этих языков. Как объяснить это — действительное или кажущееся — противоречие?

Проведенный краткий обзор отношений и предложений тождества показывает, в частности, что естественный язык (в данном случае — индоевропейский) является

естественной средой возникновения метаязыковых (логических, метафизических) систем, притом самых различных — как таких, где имеются понятия «сущностей», так и других, где таких понятий нет; как таких, где имеются синтетические суждения и даже «синтетические суждения априори», так и других, где предполагаются лишь аналитические суждения различных видов и где, в частности, положение «неразличимое тождество» является аналитической истиной.

При всех этих радикально различных формулировках сам естественный язык, в рамках которого эти формулировки и создаются, не испытывает никаких радикальных преобразований, а лишь как бы «мягко поддается» различным использованиям.

б. Вернемся еще раз к примерам Рассела. Рассматривая предложения типа «Это — красное» (англ. «This is red»), он говорит: «Это — не субъектно-предикатное предложение, а предложение формы „Краснота есть здесь“ („Redness is here“), „красное“ („red“) — это имя, а не предикат; а то, что обычно называют „вещью“ есть не что иное, как пучок сосуществующих качеств, таких, как „краснота“, „твердость“ и т. п.» [Russell 1980]. Существо дела здесь в том, что предложение типа «Это — красное» сводится, по Расселу, к предложению «Краснота есть здесь». Но ведь это же самое реконструируется и в логической цепочке «культурных фактов» (см. выше).

Более того, история индоевропейских языков показывает, что именно такая редукция — но только в обратном логическом порядке — имела

место в исторической действительности. В архаической латыни в такой, например, ситуации, когда спрашивали о некотором тексте или предписании «Что это?», ответом было не «Это — закон», а предложение существования «Закон существует, закон есть» в значении «Это есть закон, это — закон» («Quid est?» — «Lex est» вместо «Id est lex» [Draeger 1881, 2, 184—185]). Относящиеся факты мы сейчас рассмотрим подробнее.

Одну группу таких фактов обнаружила и тонко проанализировала Анна Хэтчер в старофранцузском языке [Hatcher 1948].

Как полагает Хэтчер, в старофранцузском предложении типа «*ce est il*» — «это он» *il* было субъектом, а *ce* предикатом. В современном языке, напротив, *ce* — субъект (соответственно подлежащее), а *il (lui)* — предикат (сказуемое): *C'est lui* — «Это он». В соответствии с этим в старофранцузском находим необычную, с точки зрения говорящего на современном языке, связь вопроса и ответа: «*Qui est che la*», — *fait ele*, —

«Dieu?» Et dist Perchevaus li gentieus: «Pucele, je suis Perchevaus». «Кто это здесь, спрашивает она, — Господь бог?». И отвечает благородный Персеваль: «Девушка, я есмь Персеваль» (пример А. Хэтчер).

Современный русский язык в этом отношении аналогичен современному французскому, резко отличаясь от старофранцузского. Заявление «Я (есмь) Иван» в ответ на вопрос «Кто это?» кажется нам нелогичным, мы ожидали бы ответа «Это — я, Иван». В старофранцузском собеседник разрывает логическую последовательность вопроса и ответа, подставляя на место слова «это» — *se*, которое дано в вопросе и которое должно было бы служить подлежащим при ответе, слово «я» и делает подлежащим это последнее.

Однако, как ни мало логичным представляется нам этот ответ, он не случайность, а проявление общего закона. Как бы отчетливо ни ощущалась говорящим необходимость сделать слово «я» — *je* предикатом (соответственно сказуемым), а слово «это» — *se* субъектом (соответственно подлежащим), такой возможности до известного времени в языке не было, так как не все слова одинаково были способны стать подлежащим предложения.

Продолжая наблюдения, подобные сделанным А. Хэтчер, в интересующем нас отношении, мы можем заключить, что препятствие к тому, чтобы *se* стало подлежащим, лежит не только в абстрактном характере этого местоимения. Уже в старых памятниках находим *se* в качестве подлежащего: *Seo fut granz duels qued il en demenerent* (Alexis). — «Это было большое горе, которое они от того испытали»; *Seo fut damages et pechies* (Gormund). — «Это был ущерб и грех», и т. п.

Сравнивая эту группу примеров с примерами типа «*se suis je*», видим, что невозможность для *se* стать подлежащим предложения заключается не в абсолютной абстрактности этого слова (тем более, что оно, как и всякое местоименное слово, может в известных пределах менять

свое содержание в зависимости от контекста), а в его относительной абстрактности по сравнению со словами «я» — *je*, «он» — *il*, выступающими в связи со словом *se*. Во второй же группе примеров слово *se* выступает в связи с абстрактными именами существительными, его относительная абстрактность уменьшается, и оно делается способным стать подлежащим предложения.

Стремление к большей конкретности подлежащего по сравнению с другими членами предложения, особенно по сравнению со сказуемым, характерное для латинского и старофранцузского языков, мы назвали ранее «правилом подлежащего».

Рассмотрим языковые формулы отождествления, идентификации в латинском языке. Очевидно, что этими формулами будет не что иное, как все возможные формы ответа на вопрос *Quid est?* — «Что это?» или *Quis est?* — «Кто это?».

В случае, если отождествление происходит с первым лицом, т. е. с самим отвечающим, то формула ответа будет «*ego sum*» (1), которая так же нелогична, как и старофранцузское «*je suis Perchevaus*», так как основное значение латинского предложения — «я есмь, я существую»; но в данной ситуации это предложение приобретает совершенно другое значение «это — я». Ср. также: *Quis est qui me vocal?* — *Erus atque alumnus tuos sum* (Plautus. Captivi). — «Кто есть тот, кто зовет меня? — Я есмь твой повелитель и ученик (вместо: я, твой повелитель и ученик)».

Если отождествление происходит с третьим лицом и речь идет о человеке, то формула остается той же, меняется только личная форма местоимения. Если же нечто отождествляемое есть предмет, то возможны две формулы. Одна, наиболее распространенная, совпадает с предыдущими: *Quid est?* — *Lex est.* — «Что это? — Закон есть (существует)» (2). Другая, более редкая: *Id est lex.* — «Это есть закон» (3).

Предложение (3) гораздо чаще может иметь другое значение, являясь как бы омонимом к своему первому значению. Это второе значение есть ответ на вопрос *Quid est lex?* — «Что такое закон?» — «Это есть закон» (с логическим ударением на «это»). Но это значение не представляет для нас интереса, и мы его опускаем. Нас интересует первое значение.

Приведем другие примеры того же рода (примеры А. Дрэгера): *id tranquillitas erit* (Sen., Tranqu.); *tu istud paupertatem voca* (Sen., Tranqu.); *sivecura illud sive inquisitio erat* (Tas., Agr.). Во всех этих случаях можно подметить нечто общее, что объясняет, почему при ответе на вопрос «Что это?» в одних случаях отвечают предложением типа «*Lex est*», в других — «*Id est lex*». В приведенных примерах местоимение среднего рода всюду употреблено в связи с абстрактными именами существительными и именно поэтому получило возможность стать подлежащим. Мы находим здесь ту же тенденцию, что и в старофранцузском, с той разницей, что в латыни она еще не стала правилом, она еще исключение из прави-

ла. Само же правило состоит в том, что при ответе на вопрос «Что это?» употребляется название отождествляемого предмета как подлежащее, без всякого местоимения среднего рода при нем, тогда как по логике ответа имя существительное должно было бы быть сказуемым.

Если теперь сгруппируем все только что разобранные случаи предложений, являющиеся языковой формой отождествления, то получим следующий ряд предложений, выражающих однотипное суждение:

1. Ego sum — это я;
2. Lex est — это закон;
3. Id est lex — это закон.

Из этих трех предложений только третье (самое редкое в латыни) аналогично современному французскому и русскому, два первых совершенно оригинальны. В старофранцузском языке находим промежуточную ступень между латынью и современным французским: местоимение среднего рода уже введено в 1 и 2 типы, но продолжает оставаться сказуемым и глагол еще согласовывается с более конкретным *je, il*.

Современный французский язык обобщает все три типа предложений в одной языковой формуле: 1. C'est moi; 2. C'est la loi; 3. C'est la loi. Общая форма суждения получила здесь и общее языковое выражение.

Сравнивая латинские примеры друг с другом, видим, что там общая форма суждения находила каждый раз иное, не общее, а особенное, языковое выражение. Так, для ответа на вопрос «Кто это?» употреблялось предложение Ego sum в значении «Это я», при этом основным значением данного предложения было нечто другое, а именно: «Я есмь, я существую».

Таким образом, «правило подлежащего» (как мы его формулировали ранее) гласит: 1) при определении двух имен (включая местоимение) на роль подлежащего предпочтение отдается более индивидуально из них (или, как мы тогда выражались, более конкретному); 2) предел индивидуальности и конкретности исторически изменчив — он расширяется по направлению к современности, что связано с развитием трансформированных типов предложений [Степанов 1957; 1961]. Г. А. Климов считал возможным использовать эти выводы при формулировке своего положения об эволюции подлежащего в плане общей типологии [Климов 1973, 170]. Кроме того,

«правило подлежащего» можно дополнить еще одним положением: 3) суждение идентификации, содержащее индивидуальное имя, и суждение существования («X существует») в языке тесно связаны друг с другом; исторически они зачастую выражаются в одном и том же типе предложения, как мы видим это на примере из латыни, где Lex est «Закон есть» имеет два значения — «Закон существует» и «Это закон». Это дает основания полагать, что в синтаксисе функция идентификации (предложения тождества) лишь постепенно

формируется на основе функции существования (предложений существования).

Последнюю часть этого раздела можно резюмировать следующим образом: изложен способ распределения двух имен (или местоимений) на роли субъекта и предиката в предложении — соответственно мере их «конкретности»/ «абстрактности» относительно друг друга, это «способ балансовых весов».

В истории логики известен, однако, и другой способ определения рангов имен (лингвистически не только «имен» в собственном смысле термина, но также и местоимений) в отношении к их ролям «быть субъектом» и «быть предикатом», без их «взаимного взвешивания», а как бы по отношению к некоей абсолютной шкале, независимо от их соотношения друг с другом. Уже Аристотель (в «Первой Аналитике») отметил, что Категория — как наивысшее обобщение — не может быть субъектом высказывания, а индивидуальное имя («singular term», сказали бы современные «философы языка» английским термином) как низшее обобщение не может быть предикатом высказывания. (Наше дальнейшее рассуждение по этой линии будет продолжено в связи с системой Аристотеля, — гл. II, 2.)

4. Пример 4. Концепт «причина» и два подхода к лингво-философскому анализу языка — логический и сублогический (семиотический)

1. История логического анализа языка в Европе восходит к трудам Аристотеля и стоиков. На протяжении всего этого многовекового пути концепты «причина» и «цель» остаются непреходящим притягательным центром для исследователей. Подводя краткие итоги этого пути до 50-х годов нашего века, В. Краевский предложил классифицировать концепции причинности по термам, между которыми устанавливают это отношение

[Краевский 1967]. Лингвист легко заметит, что этот подход аналогичен дистрибутивному анализу в дескриптивной лингвистике, когда собственное содержание термина (слова) определяется через его окружение. Таким образом выявляются следующие главные концепции:

- (1) Вещь есть причина вещи (Аристотель).
- (2) Вещь есть причина события (Аристотель, Фома Аквинский).
- (3) Свойство есть причина события (Галилей, Ньютон).
- (4) Свойство есть причина свойства (Гоббс, Локк).
- (5) Состояние есть причина состояния (Лаплас, современная физика).
- (6) Событие есть причина события (Юм, современные философы).

— 522 —

Приведем вслед за В. Краевским несколько примеров. Концепция (1), в соответствии с которой одна вещь рассматривается как причина другой вещи, представлена у Аристотеля (Метафизика, кн. V, гл. П): отец — причина ребенка; скульптор — причина скульптуры и т. п. Под эту же концепцию можно подвести и другой вид причин, указанный Аристотелем: содержимое вещи, материал, из которого она сделана: медь — причина скульптуры, серебро — причина чаши. У Аристотеля указываются еще два вида причин — форма в отношении к материи; целевая причина (которая будет затронута нами ниже). «Человек» как причина чего-либо, что выделено у Аристотеля под общим концептом «вещь», в последующем историческом развитии концепта причины как раз не рассматривается как типичный вид причин. Но в аристотелевском понимании «человека как причины» содержится существенный понятийный компонент — «действующая причина». Этот компонент был выделен позднее, в средневековой схоластике, и в том или ином виде сохраняется в понятии причины и в наши дни.

Концепция (2) «вещь — причина события» представлена уже в античном мире, в частности тоже у Аристотеля. Мы находим ее и у Фомы Аквинского, Гольбаха, Гегеля, Гербарта, Зигварта, Виндельбанда и мн. др. Некоторые немецкие философы обосновывали эту концепцию этимологически, т. е. с современной точки зрения на путях концептуального анализа языка: они указывали, что немецкое слово *Ursache* 'причина' буквально значит 'прапредмет', 'правещь', а *Wirkung* значит одновременно и 'последствие, результат', и 'действие'.

Концепция (5) «состояние — причина состояния» в классическом виде выступает в космогонической теории П. С. Лапласа, который в своем «Опыте философии теории вероятностей» (1814) писал, что настоящее состояние Вселенной есть следствие ее предыдущего состояния и причина последующего. Однако в наши дни, как отмечают многие исследователи, сам вопрос о «причине состояния» кажется чем-то странным, идущим вразрез как с навыками разговорной речи, так и с языком науки. Мы, как и физики, спрашиваем скорее о причине изменения состояния, т. е. о причине события, чем о причине самого состояния. Понятно, что концепция (6) «событие — причина события» как в физике, так и в философии вышла на первый план. Она имеет классического представителя в лице Д. Юма, а в наши дни ее развивает Г. Х. фон Вригт. Последнему, в частности, удалось связать в рамках единой логико-философской концепции каузальные объяснения с телеологическими, т. е. понятие «причина» — с понятием «целевая причина» («Это случилось для того, чтобы произошло то-то») [Вригт 1986, 5, 70, 116 и след.].

Проведенный, хотя и краткий, обзор позволяет тем не менее выявить отчетливую эволюцию в понимании концепта «причина»: 1) «разноименные» категории, между которыми устанавливается это отношение,

— 523 —

сменяются «одноименными», и 2) статический подход сменяется динамическим: понятие «событие» выходит на первый план.

2. Современный логический анализ языка достиг большой тонкости, в частности, а может быть в особенности, в понимании категории причины. По знаменательному стечению обстоятельств, в том самом (1967) году, когда на русском языке была опубликована упомянутая итоговая работа В. Краевского, в США вышло исследование З. Вендлера [Vendler 1967]; (рус. пер. [Вендлер 1980]), ознаменовавшее новый этап. В известной мере работа З. Вендлера явилась ответом на одноименную статью Д. Дэвидсона [Davidson 1967].

Однако если Д. Дэвидсон все еще считает, что именно события имеют причины, то в концепции З. Вендлера категория причины соединяется с концептом «факт» и анализ переносится на этот последний:

- (7) Факт есть причина события.

Отметим несколько характерных черт концепции (7) «факт есть причина события»:
1) во-первых, от «одноименных» термов снова перешли к «разноименным», или «несимметричным». По остроумному определению З. Вендлера, отношение причины оказывается неким «мезальянсом» между полнокровным событием и худосочным фактом; 2) во-вторых, анализ теперь не ограничивается рассмотрением окружения — двух термов, между которыми помещается отношение «причина»; подлинное новшество З. Вендлера заключается в том, что от анализа того, что имеет причину, он переходит к самой «причине».

Новый взгляд звучит как афоризм: причины — это факты, а не события. Если бы причины, подобно следствиям, были событиями, остроумно замечает З. Вендлер, то тогда почему же нельзя даже вообразить, чтобы причины «происходили» или «имели место»; чтобы они «в определенное время начались, столько-то длились и внезапно закончились»; их нельзя «наблюдать» или «выслушивать», нельзя «записать на магнитофон»; они не бывают ни «медленными», ни «быстрыми», ни «внезапными», ни «продолжительными» и т. п.? Следует обратить внимание на одно обстоятельство, которое, если его не разъяснить, может стать причиной недоразумений. В одном месте З. Вендлер проводит такое рассуждение: в суде показания принадлежат свидетелям, мнение — судьбе, приговор — присяжным, но факты судебного дела не принадлежат никому, они предшествуют всем подобным мнениям. Таким образом, по смыслу этого рассуждения, в теории З. Вендлера факты «помещаются не в языке, а в мире». З. Вендлер следует здесь за Б. Расселом. «Все, что имеется во Вселенной, — писал Рассел, — я называю „фактом“». Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-

нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно... Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными» [9, 177]. Нужно, однако, помнить, что в контексте концепции Б. Рассела «факт» уже как бы заранее предопределен наложением языковой сетки на мир. Поэтому категория «факт» в некотором смысле совпадает с категорией «истинная пропозиция». Факты принадлежат одновременно и миру, и языку. (Подробнее этот вопрос рассматривается в специальном разделе ниже — гл. IV, 3.)

Итак, соединенные усилия разных исследователей (среди которых следует особо выделить специальную работу Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]) показали, что «факт (его значение) есть способ анализа событий действительности, имеющего своей целью выделение в них таких сторон, которые релевантны с точки зрения семантики текста» [там же, 162]; «ключ к пониманию «факта» следует искать не в независимой от языка действительности, не в положении дел или событиях, а в суждении о действительности» [там же, 157].

Поскольку сама категория факта мыслится лишь в отношении к какому-либо языку, то ясно, что и концепт причины в новой системе взглядов предстает как релятивизованный. Однако концепт причины теперь релятивизован не только относительно систем наблюдения или эксперимента, — такая релятивизация категории причинности в онтологическом смысле давно уже произведена в современной физике, — он релятивизован относительно системы языка. Следует говорить теперь, что причина — есть отношение, связывающее факт с событием в условиях правильного употребления данного языка. (Выражаясь более строго: факты есть референционно истинные пропозиции, в условиях, обеспечивающих их референционную прозрачность; такие условия создаются фиксированной системой какого-либо языка или «подъязыка» естественного языка. Это определение является модификацией определения З. Вендлера 1967 г. [Вендлер 1986, 272—273].) Нет концепта причины вне данного языка.

С концептом «причина», благодаря его соотносению с релятивизованным относительно языка концептом «факт», произошло то же, что произошло ранее с концептами «аналитическое суждение» и «синтетическое суждение»: в отличие от кантовского подхода, мы знаем теперь, что о высказывании, взятом вне той или иной фиксированной семантической системы, бессмысленным оказывается вопрос, является ли оно аналитическим или синтетическим [Смирнова 1962, 358].

Точно так же бессмысленно спрашивать, является ли данное нечто причиной данного события, вне рамок какого-либо языка, в которых сохраняется коррелятивность факта (излагающего причину) пучку «референционно эквивалентных истинных пропозиций, в условиях, обеспе-

чивающих их референционную прозрачность». На этом пути устраняются противоречия такого типа, как: что является причиной трагедии Эдипа: (1) «то, что Эдип женился на Иокасте» или (2) «то, что Эдип женился на своей матери»?

В «мире Эдипа» (соответственно в языке, описывающем этот мир) причиной является (1), в то время как пропозиция (2) в этом мире и в этом языке вообще лишена смысла. Напротив, в «мире Софокла» (автора трагедии) и «нашем мире», которые применительно к данной ситуации являются миром полного знания, причиной трагедии Эдипа является (2). Трагедия Эдипа разыгрывается в тот момент, когда Эдип внезапно переходит от одного мира к другому. (См. далее гл. IV, 3.)

3. «Сублогический» анализ — это то же самое, что семиотический анализ, или, вернее, раннее название последнего. Это название было введено Л. Ельмслевом в его знаменитой работе «Категория падежей» (1935—1937) [Hjelmslev 1935—1937]. Позднее оно было использовано Э. Бенвенистом — так он назвал свою статью о системе предлогов в латинском языке [Benveniste 1949].

Редактируя перевод этой статьи для русского издания 1974 г. [Бенвенист 1974], я заменил термин «сублогический» термином «логический» как по той причине, что первый требовал бы длинного комментария, так и потому, что к моменту издания русского перевода сам

Э. Бенвенист уже не употреблял этого термина, его заменил общепринятый термин «семиотический». Термин «сублогический» использовал также Ю. К. Лекомцев [Лекомцев 1962]. В настоящей книге мы вернемся к термину «сублогический анализ», потому что он, во-первых, возвращает нас к истокам и основам и, во-вторых, отчетливо соединяет этот тип анализа с «логическим» и вместе с тем — в рамках общности — противопоставляет их. На наш взгляд, синтез того и другого должен быть ближайшей целью.

В глоссематике Л. Ельмслева и, шире, в Копенгагенской школе (так как сходные положения развивал также В. Брэндал в своем основополагающем исследовании «Теория предлогов» [Brøndal 1950]) основным типом противопоставления языковых сущностей избирается $p \text{ и } r \text{ и } t \text{ и } c \text{ и } p \text{ и } a \text{ и } c \text{ и } я$, или партиципативное противопоставление, характерное для существующих в действительности естественных языков. Оно отличается от логического противопоставления контрадикторности, которое в общем

виде можно представить формулой $A / \text{не-}A$ (где косая черта — знак противопоставления). В отличие от последнего партиципативное противопоставление описывается формулой $A / A + \text{не-}A$. Примером такого противопоставления может служить противопоставление лексем «женщина»/«человек», имеющееся в разных языках. Логические противопоставления разделяются далее на 1) контрар-

ные, в которых противопоставляются полярные термины без отрицания, например «черный»/«белый» (по Ельмслеву, их формула a/b), и 2) контрадикторные — с отрицанием, например «черный»/«не-черный» (по Ельмслеву, в которых противопоставляются какой-либо определенный термин, с одной стороны, и полярный по отношению к нему + нейтральный термин — с другой; формула $a/b + c$).

(По нашему мнению, последнее развернутое описание Ельмслева относится, скорее, не к контрадикторному, более простому, отношению, а к контрарному. На элементарном уровне все эти типы противопоставлений еще недостаточно изучены. См. также ниже о логике Н. А. Васильева.)

Партиципативные противопоставления в глоссематике также далее разделяются на 1) простые партиципативные ($a/a + b + c$), 2) контрарно-партиципативные ($a + b + c/a + b + c$) (выделен термин, являющийся основным в члене, входящем в противопоставление), 3) контрадикторно-партиципативные ($a + b + c/a + b + c$) [Лекомцев 1962, 93—94]. Кроме того, в глоссематике вводится понятие «семантическая зона», каковых три — положительная, нейтральная и отрицательная. Например, при анализе падежных значений Ельмслев интерпретирует эти зоны соответственно как «приближение» (положительная) — «покой» (нейтральная) — «удаление» (отрицательная). Наложение зон на типы партиципации позволяет в единой сетке понятий описать различные семантические противопоставления, существующие как в лексике, так и в грамматике естественных языков.

Последнее особенно важно, так как если «логический» анализ оперирует материалом высказываний и, в меньшей степени, лексем, то «сублогический» анализ обращен в первую очередь на грамматическую семантику. По этой причине, а также потому, что партиципация составляет как бы субстрат логических отношений («подложена под них»), и был введен термин «сублогический». Некоторые очень важные преобразования в современной логике пошли таким путем, можно сказать —

«ельмслевским». Еще в 1910 г. Н. А. Васильев показал, что при описании суждений (имеется в виду классическая схема «логического квадрата») может быть устранено как раз отношение контрадикторности и все отношения между суждениями (описываемые с помощью логического квадрата) могут быть сведены к отношению контрарности. А это как раз то отношение, которое оказывается наиболее «сильным» и в теории Ельмслева. Поступив таким образом, Н. А. Васильев далее показал, что из четырех типов суждений, описываемых логическим квадратом — это $A : E :: I : O$ (где A и E стоят в отношении контрарности, а I подчинено A , так же как O подчинено E), — суждения типа I и O являются по существу одним типом. Таким образом, две нижние вершины квадрата на схеме Васильева соединились, и получился треугольник.

527

Васильев назвал его «логическим треугольником». Логическому треугольнику соответствует закон «исключенного четвертого», в то время как логическому квадрату — закон «исключенного третьего». Таким образом, Н. А. Васильев заложил по существу основы новой логики, которую он назвал воображаемой логикой или неаристотелевой логикой.

На этой основе Н. А. Васильев перешел к рассмотрению суждений. «Суждения распадаются на суждения о понятиях (правила) и на суждения о фактах. Эти виды суждений имеют каждый свою особую формальную логику. Так, для суждений о понятии имеют силу треугольник противоположностей и закон исключенного четвертого, для суждений о факте — квадрат противоположностей и закон исключенного третьего» [Васильев 1989, 52].

«Воображаемая логика есть логика, свободная от закона противоречия» [там же, 59]. Закон же противоречия, рассуждает далее Васильев, выражает несовместимость утверждения и отрицания: A не может быть $\neg A$. «Но когда мы спросим себя: а что же такое отрицание, то отрицание мы можем определить только так: отрицание это то, что несовместимо с утверждением». Так, красное мы называем отрицанием синего и говорим «Красный предмет — не синий», потому что красное несовместимо с синим. Если же нет несовместимости, то не может быть и отрицания. Когда мы мыслим не-красное, то мыслим синее, белое, желтое и т. д., — все то, что несовместимо с красным, но не мыслим сухое. Поэтому сухое не может быть отрицанием красного [там же].

Здесь Васильев высказывает очень глубокую мысль, не получившую развития в логике лингвистического исследования. В самом деле, последовательное применение отрицания (т. е. дихотомический принцип) возможно только в некоторой однородной семантической области, например в области цвета, отдельно — в области звука, в области фонем и т. д. Именно при таком ограничении положительное и отрицательное суждения несовместимы («Это — красное» и «Это — не красное»), а суждения с предикатами из разных областей бессмысленны («Это — не красное, а сухое»).

Васильев продолжает: «Так как закон противоречия есть следствие из определения отрицания, то строить логику, свободную от закона противоречия, — это значит строить логику, где не было бы нашего отрицания, сводящегося на несовместимость» [там же, 62].

Очень огрубляя, для того чтобы избежать здесь слишком подробного изложения воображаемой логики Васильева, сразу скажем, что «логика, где нет нашего отрицания, сводящегося на несовместимость», — это и есть ельмслевская «логика партиципации» с ее основным противопоставлением $A / A + \neg A$.

Точнее, конечно, было бы сказать, что на основании, постулируемом Н. А. Васильевым, возможны несколько или даже много логик. Сам

528

Н. А. Васильев развивает свою логику в одном направлении, Л. Ельмслев в другом (ничего не зная о логике Васильева). В. А. Смирнов указывает, что Н. А. Васильева уместно считать одним из предшественников неклассической логики наряду с Л. Брауэром, работа которого о недостоверности закона исключенного третьего вышла в свет почти одновременно с работой Васильева в 1908 г., и наряду с Я. Лукасевичем, исследование которого, приведшее к идее многозначных логик, появилось в том же 1910 г., что и первая статья Васильева [Смирнов 1989].

Все идеи, упомянутые нами здесь, высказанные разными исследователями и образующие очевидный комплекс, были в той или иной степени применены и к анализу понятия причины, о чем пойдет речь ниже.

Что касается «логического квадрата», то он оказался очень действенной схематизацией и для лингвистики — см. об этом специальный раздел в нашей работе [Степанов 1975, § 5]; о применении этой схемы к логическому анализу категорий «знания» и «мнения» — работу М. А. Дмитриевской [Дмитриевская 1988, 16].

4. «Сублогический» подход был весьма удачно применен к анализу латинских предлогов, выражающих причину, в упомянутой выше статье Э. Бенвениста (далее мы ссылаемся на ее русский перевод [Бенвенист 1974]).

Бенвенист констатирует несообразности в толковании значения предлога *proae* у разных исследователей. В пространственном значении этот предлог значит 'перед'. Если считать (как делает К. Бругман [Brugmann 1906—1911, § 692]), что причинное значение этого слова возникает из более конкретного пространственного, то мы приходим, как считает Бенвенист, к явному парадоксу. В самом деле, тогда *proae laetitia lacrimae prosiliunt mihi* (Plaut. Stich. 446) 'от радости у меня выступают слезы' должно было бы значить букв. 'перед радостью слезы выступают...', т. е. не «радость причина слез», а, наоборот, «слезы причина радости». Бенвенист, констатировав парадокс, отвергает все умозаключение Бругмана и строит свой анализ в другой методике — «сублогического» подхода в смысле Ельмслева.

Бенвенист очерчивает некоторое «поле» употреблений двух близких по значению и по форме предлогов — *proae* и *pro*. Далее он констатирует общую для обоих предлогов семантику и их дифференциальный признак. Общее — «впереди, в передней части какого-либо пространства»; дифференциальный признак у *pro* «с отрывом от остальной части этого пространства», т. е. именно 'перед', у *proae* «без отрыва от остальной части пространства (объект понимается как непрерывный)», т. е. «на краю, на пределе данного пространства». Именно это значение объясняет и все случаи типа *proae laetitia* «от радости», «на пределе радости», и все случаи сравнительного значения (ранее казавшиеся исключениями) типа фразы из Цезаря: *Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitatis*

sira contemptui est (В. Г. II, 30,4) 'у галлов (по причине) по сравнению с их высоким станом наш маленький рост вызывает презрение'. Причем при сравнении предлог *proae* присоединяется к тому из двух слов, которое выражает более высокую степень чего-либо по сравнению с другим. Ср. еще: *proae tepithesium est* 'по сравнению с тобой (она) — обезьяна».

Таким образом, значение причины у предлога *proae*, по Бенвенисту, действительно является отвлечением от его первоначального значения, но и первоначальное значение и отвлечение — иного свойства, чем в толковании К. Бругмана. Причинное употребление

этого предлога подчиняется жестким условиям: 1) при причинном *proae* всегда выступает слово, обозначающее какое-то чувство (радость, страх, ужас, печаль, усталость), т. е. отвлечение происходит от пространственного значения сначала в область чувств и уже в этой области — к значению причины; 2) это чувство воздействует всегда на субъект глагольного действия, т. е. причина и результат заключены в одном и том же человеке, в субъекте, так сохраняется признак «непрерывности», присущий и пространственному значению; 3) предлог *proae* в этих условиях выражает всегда только «крайнюю причину, предел» чувства (что свойственно и пространственному значению); 4) отсюда естественным образом происходит отвлечение к сфере сравнения, причем при предлоге ставится имя предмета или свойства, соответствующего большей из двух сравниваемых величин.

Э. Бенвенист обратил также внимание еще на одну существенную особенность предлога *proae* в причинном значении: он означает причину только в сфере чувств. Но Бенвенист не указал другой, не менее важной, особенности этого предлога: он обозначает всегда препятствующую причину и употребляется поэтому обычно в отрицательных предложениях (см. об этом у С. И. Соболевского [Соболевский 1948, § 627]).

Итак, если учитывать причинные предлоги, то в латинском языке мы имеем следующее поле причинности:

1) *proae*: причина, лежащая в сфере чувств и являющаяся причиной препятствующей (предикат — с отрицанием): *proae lacrimis loqui non possum* 'от слез не могу говорить';

2) *pro*: только в сложении *propter* [*pro* + *p(e)* + *ter*], где *pe* — усилительная частица, *ter* — суффикс наречия-предлога; причина может относиться как к материальной, так и к духовной сфере: *propter frigora frumenta in agris matitra non erant* 'по причине холодов хлеба в полях не были зрелые'; *propter tuum in me amorem confidit* 'благодаря твоей любви ко мне он доверяет';

3) *ob*: в прямом значении 'перед', в значении причины в ограниченном круге сочетаний — *ob metum* 'из страха', *ob eam rem* 'по этой причине', *ob eam causam* 'то же'; иногда имеет значение «целевой причины» (соотв. рус. ради) — *ob rem* 'ради дела, в интересе —

сах дела', т. е. когда материально причина еще не существует, но существует в ментальном мире — в предвидении;

4) *causa*: в разных сферах, поскольку само слово означает 'причина' и тем самым хранит ясную внутреннюю форму; также в роли «целевой причины» — *commodi sui causa* 'ради своей выгоды».

5) *gratia*: в значении целевой причины; поскольку само слово значит 'милость', то сфера употребления обычно «люди» или отвлеченные моральные понятия; пересекается с *causa*: *commodi sui gratia (causa)*;

6) *ergo*: обычно в сфере абстрактных моральных понятий, поэтому в нерасчлененном значении причины и «целевой причины»: *nominis ergo* 'ради (добротного) имени', *victoriae ergo* 'ради победы' — естественно, пересекается с *causa* и *gratia*;

7) *ab*: в исходном значении — исходная точка, позднее — активная сила, агенс глагольного действия; наконец, вводит агенса при пассивном обороте; следующие три группы примеров соответствуют, в общем, этим хронологическим пластам значений *ab*: 1) *doleo ab animo*, *doleo ab oculis*, *doleo ab aegritudine* (*Plant. Ci.* 60) 'я страдаю от боли в душе (букв. 'из-за, от души'), от глаз, от недуга'; 2) *calescit (anima) primum ab ipso spiritu* (*Cic. Nat. deor.* 2, 138) 'воздух разогревается сначала от самого дыхания'; 3) *superatmura bestiis* (*Cic. Fi.* 2, 111) 'мы превзойдены животными'.

Таким образом, «сублогический» анализ приводит к следующему выводу. В латинском языке «поле причинности», обслуживаемое несколькими предлогами, распадается на несколько почти не пересекающихся семантических сфер, которые естественно уподобить предметным областям, или областям определения функции причинности; каждая из этих областей обслуживается, в общем, одним каким-либо предлогом, который столь же естественно уподобить способу выражения функции причинности, или функтору.

(Группу синонимичных и действующих в одной предметной области предлогов *causa*, *gratia*, *ergo* следует считать семантически одним предлогом в трех разных лексических формах.)

Примечательным фактом является здесь распадение, казалось бы, единой сферы причинности на несколько предметных областей. Неожиданным следствием этого наблюдения оказывается то, что представление лингвистов, будто категория

причинности развивается путем абстракции в следующем порядке — «пространство (место)» → «время» → «причина», не соответствует данным языка. Верным является (по крайней мере для истории латинского языка) то, что категория причины возникает (возможно, одновременно и параллельно) в нескольких различных предметных областях путем абстракций различного типа в

каждой из этих областей. (Мы видели, сколь сложна и сколь своеобразна абстракция, приводящая к причинному значению предлога *grae*.)

Это явление естественно сопоставить с результатом, полученным на путях «логического» анализа: причины — это не события, а факты, коррелятивные не всему универсуму языка, а каждый раз какому-либо фрагменту («подъязыку»), ограниченному определенными логико-лингвистическими условиями (см. выше). Таким образом, по крайней мере применительно к концепту причины, происходит синтез «логического» и «сублогического» подходов. Но такой синтез кажется возможным и желательным и во всех других случаях.

5. Пример 5. «Шлиманн искал Трои».

«Вращение» семантического треугольника Фреге

В этом разделе мы продолжим обсуждение семиотической проблемы, начатое в книге «Семиотика» (см. в настоящем издании Часть I, III).

Речь идет о том, что в обычных естественных языках наряду с прямым употреблением имени, когда имя имеет денотатом «вещь», возможно и косвенное, когда денотатом имени становится то, что было смыслом имени (сигнификатом, концептом) при его прямом употреблении. Поскольку при обычном употреблении семантическая структура имени схематизируется треугольником, в вершинах которого помещаются соответственно «Имя» — «Концепт имени (сигнификат)» — «Вещь, объект (денотат)», то косвенное употребление имени при его схематизации можно назвать результатом «вращения» треугольника.

Ниже мы прокомментируем это положение Г. Фреге вместе с его изложением у А. Черча [Черч 1960] (далее страницы указываются по этому изданию). Вот как излагает положение Фреге Черч.

«Например, в предложении «Скотт является автором „Вэверлея“, имена „Скотт“, „Вэверлей“ и „автор „Вэверлея“ употреблены прямым образом. В предложении же „Георг IV хотел узнать, является ли Скотт автором „Вэверлея“ те же имена употреблены косвенным образом (тогда как имя „Георг IV“ — прямым). Далее, в предложении „Шлиманн искал местоположение Трои“ имена „Троя“ и „местоположение Трои“ употреблены косвенным образом, потому что искать местоположение Трои — это не то же самое, что искать местоположение другого города, определенного другим концептом, даже если эти два города и имеют одно и то же местоположение (что может быть и неизвестным ищущему).

По теории содержания собственных имен Фреге, которой мы придерживаемся, предложение „Шлиманн искал местоположение Трои“ утверждает, что некоторое отношение существует не между Шлиманном и местоположением Трои (как „предметом имени“, „денотатом“). —

532

Ю. С.) (так как Шлиманн мог искать местоположение Трои и при том условии, что Троя была лишь легендарным городом и ее местоположение никогда не существовало), а между Шлиманном и определенным концептом, а именно концептом, выражаемым именем „местоположение Трои“. Это, однако не означает, что предложение „Шлиманн искал местоположение Трои“ утверждает то же самое, что и „Шлиманн искал концепт, выражаемый именем «местоположение Трои»“. Напротив, первое предложение утверждает существование определенного отношения между Шлиманном и концептом, выражаемым именем „местоположение Трои“, и это предложение истинно; второе же предложение утверждает существование такого же отношения между Шлиманном и концептом, выражаемым именем „концепт, выражаемый именем местоположение Трои“, и это предложение, по всей вероятности, ложно. Отношение, существующее между Шлиманном и концептом, выражаемым именем „местоположение Трои“, не передается глаголом искать, и употребление этого глагола может ввести в заблуждение» [с. 345].

А. Черч прозорливо связал логический вопрос о косвенном употреблении имени — в данном случае — с семантикой глагола «искать». Это и будет началом нашего комментария, который можно озаглавить, как и в других соответствующих случаях, уже рассмотренных в «Примерах» выше, — языковое ядро этой логической проблемы.

Собственно говоря, глагол «искать», который издатели русского перевода книги Черча передали здесь курсивом, т. е. как слово русского языка, следовало бы передать прямым шрифтом в кавычках — как некое слово двух (по крайней мере) языков, русского и английского (в английском этому соответствует конкретное слово английского языка *to seek*, употребленное Черчем в оригинале его книги в этом рассуждении. Итак, речь пойдет о глаголе «искать» как о слове русского, английского и вообще индоевропейских языков, поскольку все эти языки в данном случае в формах соответствующих «конкретных национальных» слов выражают то же самое. Собственно, речь пойдет о концепте «искать».

Мы можем обнаружить в нем (как и в каждом из соответствующих «конкретных» слов разных языков) два концепта, или два существенно различных значения:

(1) рус. *Ищу учительницу пения* (скажем, в ситуации, когда я, бродя по школьному зданию, ищу женщину, являющуюся учительницей пения моей дочери);

(2) рус. *Ищу учительницу пения* (скажем, в тексте объявления о найме на работу; перифразой в данном случае будет: *Ищу учительницу пения для своей дочери*).

Языки, обладающие артиклями, выразили бы то же различие с помощью артиклей:

533

(3) исп. *Busco a la maestra de canto*;

(4) исп. *Busco maestra de canto* (или; *una maestra...*).

Вообще, современные индоевропейские (европейские) языки могли бы выразить вторые значения еле иначе:

(5) англ. *A singing-master wanted*;

(6) рус. *Требуется учительница пения*.

(7) исп. *Se busca maestra de canto*.

Наконец, в языках, регулярно противопоставляющих реальность и возможность, второе значение было бы точнее всего выражено употреблением наклонения нереальности (*Subjuntivo*), так в испанском:

(7) исп. *Se busca un pedagogo que sea maestro de canto* — «Ищу педагога, который был бы (была бы) учителем пения».

Таким образом, во всех приведенных парах примеров противопоставляются два обозначения человека с профессиональной точки зрения

а) человек, который уже известен как обладатель данной профессии.

б) человек, который подходит под описание «обладатель данной профессии». Второе, значение «б», могло бы быть интерпретировано и иначе — как виртуальная характеристика человека, в отличие от его реальной характеристики в примерах группы «а». Но виртуальная характеристика и есть не что иное, как «концепт имени» в противопоставлении денотату имени — «вещи». Именно это и утверждается в предложении «Шлиманн искал местоположение Трои».

Однако у указанных различий есть в индоевропейском языке и более глубокие, исторические основания, модификацией которых и являются приведенные. Как показал Э. Бенвенист, в индоевропейском существовали исконно два различных суффикса обозначения «деятеля» — безударный *-tor* и ударный *-ter*. Первый из них характеризовал человека как «автора», на основе совершенного им «акта», «действия», это обозначение типа причастия от того или иного глагола, нечто вроде «совершивший то-то». Второй, напротив, обозначал человека как «агенса», как носителя качества агентивности, присущего человеку на основе предназначенности, способности или необходимости к исполнению той или иной деятельности; такое обозначение часто проявляется как предикат, относящийся к будущему, к намерению или к склонности [Benveniste 1975: 62]. Яркие противопоставления такого типа находятся в древнегреческом языке: например, для имени существительного «врач» имеются два соответствия — *iatōr* «тот, кто совершил однажды акт исцеления (ср. рус. *исцелитель*) или совершает такие акты», против *iatōr* «целитель по призванию, по профессии, врач» (ср. рус. *врач Божьей милостью*).

Первый и очень тонкий опыт формализации таких различий находим в логико-лингвистической концепции Аристотеля (см. ниже, гл. II, 3)

6. Пример 6. «Я сказал Ивану в присутствии Петра, что не следует упрекать себя в том, что он провалился на экзамене».

Сложная референция в косвенных контекстах

«Косвенный контекст» — это часть сложного высказывания (вообще, часть текста), вводимая союзом что или иными способами (например, в русском языке способом «вводных слов»: по словам, по мнению, по убеждению такого-то...), указывающими, что эта часть не является прямой речью говорящего. При этом часто возникают большие трудности в отождествлениях языковых выражений «Я», «себя», «он» с конкретными

индивидами данной ситуации, т. е. трудности референции. Они существуют как для реальных носителей естественного языка (ср. полный неоднозначностей пример, приведенный в заголовке), так, и даже еще более, для исследователей, пытающихся формализовать или хотя бы четко описать правила референции, применительно к подобным случаям.

Одна из таких попыток, предпринятая в ряде работ Д. Дэвидсона и С. Крипке, заключается в логико-лингвистической формализации употребления собственных имен и аналогичных им индивидуальных обозначений (*singular terms*). В этой связи возникли известные противопоставления понятий «твердый, или жесткий, десигнатор» (*rigid designator*), однозначно определяющий индивида сквозь все взаимосвязанные миры, и «нежесткий десигнатор», теряющий такую силу при пересечении границы исходного мира.

Здесь мы продолжим обсуждение этой общей проблемы по другой линии, — как она возникла в «Семиотике» (Часть первая настоящей книги), При этом рассматривается основная трудность референции (точнее: интерпретации референции), состоящая в употреблении выражений «Я», «себя», «он (его, ему и т. д.)», т. е. в конечном счете, в уяснении того, кто является «автором события», о котором идет речь, и кто — «автором высказывания» об этом событии. Одно из наиболее полных описаний правил референции для таких случаев применительно к английскому языку было дано Дж. Р. Россом в его известной работе конца 1960-х гг. «On declarative sentences» (здесь по изд.: [Ross 1970]), которая все еще сохраняет значение (об этой статье как о важном этапе в проблеме «поисков субъекта» см. здесь ниже, гл. IV, 3.). Работа Росса содержит огромное количество примеров американского английского (около 120 примеров, большей частью сконструированных автором статьи), например, таких:

(1) That the paper would have to be written by Ann and Tom was obvious to a) Tom, b) him, c) Tom himself, d) himself

«Что текст должен был бы быть написан Айной и Томом, было бы очевидно а) Тому, b) ему, c) самому Тому, d) ему самому.

В данном случае обсуждается вопрос, какой из вариантов является приемлемым (вообще или хотя бы в некоторой степени), — в английском оригинале таковыми оказываются варианты «a» и «et». После этого Росс формулирует для случаев такого

типа следующее правило: «Если анафорическое местоимение предшествует эмфатическому возвратному (*emphatic reflexive* — *himself* в англ. грамматике. — Ю. С.), то первое может быть опущено, если оно управляется узлом NP (т. е. синтагмой «х говорит, что...» в глубинной трансформационной схеме «дереве» предложения. — Ю. С.), к которому оно стоит в анафорическом отношении» [Там же, 227].

Вообще, самое общее правило, выведенное Россом, гласит, что существует «Я» наивысшего уровня (хотя бы и не выраженное в тексте эксплицитно), на основе введения которого в глубинную структуру устраняются все поверхностные двусмысленности (с. 236, пункт 2.1.8). Но в таком случае все декларативные предложения должны рассматриваться как по существу перформативные «Я говорю, что...», т. е. как аналогичные по одному из своих параметров «чистым» порформативам: Клянусь; Обещаю; Нарекаю вас мужем и женой; и т. п. «Все декларативные предложения, выступающие в контекстах, где может появиться местоимение первого лица, являются производными (трансформами) от глубинной структуры, содержащей одно и только одно перформативное высказывание наивысшего ранга, чьим главным глаголом является глагол говорения» (с. 252).

Таким образом, Дж. Р. Росс фактически (по видимому, сам того не осознавая) создал «грамматику косвенной речи» для английского языка, полностью параллельную грамматикам «*Oratio obliqua*» классических языков древности (особенно латинского). Эти последние мы и будем далее рассматривать как языковое ядро логико-лингвистических концепций типа концепции Росса.

Кроме того, нужно отметить, что Росс применил также методику, полностью аналогичную той, которая возникла у исследователей категории «Причина» и описана нами выше (Пример 3), а именно — разбиение обследуемых контекстов на различные семантические области, или «области определения» (в терминологии Росса, — «*facets*», их 7):

1) главная — «*embedded clause*» (ср. франц. термин «*phrase enchâssée*») (рус. что-предложения);

2) *as for*-clause (рус. «Что касается того, что...»);

3) *picture-clause* (рус. «на картинке», «в статье», «в рассказе» и т. п.);

4) *according to*-clause (рус. «вводные слова»: «по мнению, по словам, по мысли и т. п. *такого-то*»);

5) *lurk-clause* («ситуации притворства», рус. пример *Я притворился, что...*);

6) *be damned if*-clause (пример: *I must be damned if I'll have anything to do with her*, «Будь я проклят, если затею что-нибудь с ней»);

7) иные выражения особой ситуации (пример: *Tom wigwagged that Ann could swim, but nobody believed him* «Том показал жестом, что Анна умеет плавать, но никто ему не поверил»).

Языковое ядро рассматриваемой проблемы — это «грамматика косвенной речи», *Oratio obliqua*, подсистемы языка, наиболее развитые в архаических (по отношению к современным) классических языках древности — латинском и древнегреческом и наиболее изученные в них. (Согласно общему семиотическому принципу, термин «грамматика» относится как к объективно существующему явлению — данной подсистеме языка, так и к его описанию у грамматистов.) Богато представлена эта подсистема также в современном живом литовском языке, где ее основой являются выражения косвенности речи через причастия, т. е. перифразы предикатов, предложений посредством причастий (ср. специальное исследование [Ambrasas 1979] и, на русском языке [Грамматика литов. яз. 1985, § 1059]). Этот способ, *conjugatio periphrastica*, «перифрастическое спряжение», используется также в латинском и древнегреческом, но в последних наряду с ним существует также вполне особая, синтаксическая подсистема косвенной речи, *Oratio obliqua*, в собственном смысле слова, ядром которой является не причастие, а оборот «Винительный падеж с инфинитивом», *Accusativus cum infinitivo*. На этой системе в латинском языке мы сейчас и остановимся, выделив — в предварительной формулировке — некоторые ее особенности как «правила». (Мы говорим «предварительная формулировка» применительно к логико-лингвистической системе, о которой сейчас идет речь; тогда как в обычных (учебных) грамматиках «правила» излагаются иначе, в другой системе, да, по существу, и являются другими правилами.)

Правило 1. Субъект приобретает форму местоимения *se*.

Латинское возвратное местоимение «*se*» 3-го л. в своей форме и значении не содержит ничего, кроме указания на субъект предложения, если этот субъект есть 3-е

лицо. Однако известное правило латинской грамматики гласит, что «se» указывает не на всякий субъект, присутствующий в высказывании, а на основной субъект, преимущественно на подлежащее. Как бы ни был длинен период, как бы далеко ни отстояло «se» от подлежащего и сколько бы названий других субстанций или лиц, действующих в качестве субъекта, ни было помещено в предложении между подлежащим и местоимением «se», это «se», как стрелка компаса, всегда указывает только на субъекта, которому принадлежит косвенная речь, т. е. на ближайшего (если данная речь встроена в другую со своим собственным субъектом). Эффект этот особенно поразите-

537

лен с точки зрения современных языков, в косвенной речи (Gic. Verg. act. 1, 14, 40): Cum praesertim planum facere multis testibus possim. C. Verrem in Sicilia inultis audientibus saepe dixisse: *se* habere hominem potentem, cuius fiducia provinciam gpoliaret, neque *sibi* soli pecuniam quaerere, sed ita triennium illad praeturae Siciliensis distributum habere, ut *secum* praecclare agi diceret, si unius anni quaestum in rem *suam* converteret. (Пример А. Дрэгера [Draeger 1878, 72]; ср. [Степанов 1961].) «Как я действительно могу показать перед многочисленными свидетелями (первое «Я» — главный субъект всего остального высказывания), К. Веррес в Сицилии в присутствии многочисленных слушателей неоднократно заявлял (Веррес — второе «Я», субъект первой «вставленной» косвенной речи, «вставленной» первым, главным субъектом, и одновременно субъект второй косвенной речи, вставленной в первую вставленную; именно на него, на Верреса, указывают все дальнейшие обозначения субъекта через «se»): он — человек могущественный, чье управление выжало средства из [вверенной ему] провинции, и не себе одному он искал денег, но так распределил трехгодичный доход с управления среди Сицилийцев, что может сказать, что с ним самим поступлено весьма благородно, если он на свои собственные нужды обратил доход одного [только] года».

Правило 2. Предпочтение пассивной формы в случае сложной референции.

Стремление сохранить отчетливую ориентацию на основного субъекта на протяжении длинного и сложного периода в латинском языке находим и в других случаях. Исследователи отмечают, что в латинском языке «употребление пассивной конструкции часто вызывается стремлением сохранить единство подлежащего в

сложном предложении: Tantis excitatis praemiis et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus proipinquisque inittuntur (Caes. B. G. 1, 6, 14)» [Яниш 1954,12] «Возбужденные столькими посулами, да и по собственному побуждению, многие поступают в войско или же посылаются туда родителями и родственниками».

Правило 3. Предпочтение пассивной формы при референции к неопределенно-личному субъекту. Известно следующее правило латинского синтаксиса: если при глаголах приказа, запрета и т. п. не названо лицо — адресат приказа, то Acc. cum Inf. имеет «пассивную» форму. «Однако, — отмечает С. И. Соболевский, — он и в этом случае Может иметь форму активную, если лицо, которому отдается приказание или запрещение, подразумевается из связи речи или если приказание или запрещение относится не к определенному лицу (которое было бы Указано в тексте. — Ю. С.), а ко всякому вообще человеку (и, следовательно, неопределенному человеку — Ю. С.) [Соболевский 1948, § 1029]. С. И. Соболевский сопоставляет два примера: *Receptui canere jussit* (Liv. 29. 7, 6) ‘Он приказал трубить к отступлению (подразумевается: трубачам)’,

538

но: *Caesar reeceptui cani jussit* (Caes. B. G. 7, 47, 1) — «пассивный» инфинитив, имеющий неопределенно-личные значение: ‘приказал, чтобы было протрубно к отступлению’. В известной мере такое употребление «пассивного» инфинитива может быть сопоставлено с употреблением пассивно-причастной формы в русском языке, смысл которой не столько в пассивизации, сколько в устранении определенности подлежащего: *Пробатарю Тушина было забыто* (Л. Толстой); *Свистнуто, не спорю, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно свистнуто, но... свистнуто очень средне* (М. Булгаков).

Ср. еще следующий случай: *Germani vinum ad se importari non sinunt* (Caes. B. G. 2, 15, 4) букв. ‘Германцы не позволяют вину импортироваться к ним’. Такие обороты должны пониматься не вполне так, как, казалось бы, следует из буквального русского перевода, а с неким подразумеваемым субъектом — известным из ситуации, но неопределенным в количестве и в качественных признаках множеством людей, «неким людям», мыслимым в качестве субъекта пассивного глагола, здесь — тех, кто импортирует вино: ‘Германцы не позволяют [неким людям] импортировать к себе вино’.

Грамматическое основание для такого понимания — в наличии инфинитива на *-ri*, который ориентирует на форму *-tur* с неопределенно-личным значением — не на пассив типа *vita vivitur* 'жизнь проживается», а на оборот типа *vitam vivitur* '[они, некто] проживают жизнь'.

Обороты с инфинитивом на *-ri* в таких случаях (т. е. как соответствие неопределенно-личному *-tur*) могут быть названы субъектно-ориентированными, неким субъектным спряжением.

В противоположность последним обороты с *-ndu-* могут быть названы объектно-ориентированными, своего рода объектным спряжением. Эта черта проявляется прежде всего в известных правилах «замены герундия герундивом» [Соболевский 1948, § 1112 и след.]. Суть этих замен, в общем, может быть сведена к тому, что, как только герундий (как соответствие инфинитиву) получает объект в вин. падеже, герундий должен быть заменен герундивом, который согласуется с объектом. Так, скажем, *consilium capiendi urbem* 'намерение взять город' трансформируется в *consilium urbis capiendae*. Правда, нельзя сказать, чтобы тенденция к объектному согласованию была единственной причиной такой трансформации. Как часто бывает в синтаксических преобразованиях, может действовать и не одна причина: в данном случае вторым импульсом оказывается тенденция к так называемому партитивному построению [подробнее см.: Степанов 1959]. Тем не менее результатом оказывается объектная ориентация глагола — очень сильная тенденция латинского синтаксиса [статистические данные см.: Соболевский 1948, 339, сноска].

С латинским правилом 2 интересно сопоставить одно правило английского языка, сформули-

рованное (в «предварительной» формулировке) Дж. Р. Россом в указанной выше работе [Ross 1970, 233]: «Если субъект глубинной структуры NP в каких-либо других NP в той же глубинной структуре являются кореферентными, то субъект первой NP может принять пассивную форму»; пример: а) Max expected Sue to wash him «Макс ждал Сью, чтобы она помыла его» (оставляем странный для русского читателя пример автора); б) «Sue was expected by Max to wash him «Сью ожидалась Максом, чтобы помыть его», — «b» неграмматично (неправильно). По-видимому, контрастность на поверхностном уровне английского правила по отношению к латинскому на глубинном уровне является,

напротив, как раз тождественностью: стремлением сохранить единство субъекта, избежать «умножения субъектов». Более непосредственно с английским правилом сравнимо известное русское определяющее «неграмматичность» (неправильность) оборотов типа «Глядя на это, у меня возникла мысль», «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа».

Резюмирующее Правило 4, скорее тенденция, чем четкое правило: избегать тем или иным способом смешения субъекта с объектом. Эта тенденция уже в древнейшей латыни [Степанов 1987] проявляется в неопределенно-личных конструкциях формы 3-го лица ед. числа на *-tur*. Известно, что исторически исходной формой были обороты типа *itur* 'идут', затем *factum itur* с супином 'идут, собираются делать', где мог употребляться вин. падеж, например: *ea factum itur* 'идут (собираются) делать это'; *vitam vivitur* 'проживают (свою) жизнь'. В самой конструкции здесь заложена возможность легкого превращения в чистый пассивный оборот, для чего достаточно замены вин. падежа им. падежом: *vitam vivitur* > *vita vivitur* 'жизнь проживается'. Однако в действительности эта возможность реализуется в латинском языке очень поздно [Wacknagel 1926, 113 и след.]. Таким образом, этот оборот долго остается ориентированным на субъект, причем субъект этот — неопределенно-личный и собирательный и даже не выраженный в самом предложении. Когда оборот превращается в пассивный, то пассивный характер нового субъекта, которым стал прежний объект (*vita*), сохраняется. Предложение значит: 'Некое множество людей (неопределенное и не обозначенное, но известное, подразумеваемое) проживает свою жизнь (таким-то образом)», ср. фр. *On vit sa vie*.

В косвенной речи в обороте Accusative cum infinitivo возможности переориентации на объект были, естественно, еще больше, чем в независимом предложении, так как и объект и субъект равно имеют форму вин. падежа. Однако и здесь ориентация на субъект отчетливо сохраняется, тем более что субъект этот здесь всегда «некие люди», ср. нем. *man*, фр. *on*, тогда как объект может быть самым разным [Соболевский 1948, § 1130].

Многие авторы [Линдсей 1948, 97; Эрну 1950, § 319] обсуждают в этой связи одно предложение из Катона в передаче Авла Геллия: *atque*

evenit ila, Ouirites, uti in hac *contumelia, quae* mihi per huiusce petulantiam *factum itur*, rei quoque publicae medius fidius miscrear, Quirites (N. A. X, 14) 'случилось так, Квириды, что в этом злосчастии, которое мне... собираются учинить, я...' и т. д. Здесь местоимение *quae* в им. падеже вместо *quam* стоит уже по «новому» правилу, как, скажем, *vita vivitur* вместо архаического *vitam*, но *factum* остается несогласованным с ним, — все предложение носит переходный, гибридный характер. В известной мере, по рассогласованности объекта и предиката, с ним можно сопоставить русский оборот *Надо земля пахать* [Степанов 1984].

При переводе такого оборота в косвенную речь его особенности у некоторых авторов сохраняются; так, у Теренция (Ad. 694):

Quid? Credebas, dormienti haec tibi confecturos deos?

Et illam sine tua opera in cubiculum iri deductum domum?

Как? Ты думал, что ты будешь спать, а тебе это сделают боги?

И введут ее (девушку) в дом без твоих стараний?

(Публий Теренций. 1954, ср.: Эрну, 1950. § 319).

Хотя здесь возможны были бы другие обороты, где *illa* было бы подлежащим, объектом герундия и т. д., но сохраняется оборот супин + *iri* для ориентации не на объект (*illa*), а на реальный действующий субъект. Собственно, семантический центр здесь лежит не в супине, а в неопределенно-личном («пассивном») инфинитиве.

В новых индоевропейских языках (современных европейских) эта система косвенной речи сохраняется лишь в виде скорее бессистемных пережитков. В большей степени в испанском, где все еще возможны такие обороты с двумя «вставленными» косвенными речами», как *Me escañó verles beber* (H. de Cisneros «Cambio de rumbo») букв. «Меня удивило а) видеть их, б) их пить», т. е. «Я удивился, видя их пьющими» (в старом русском языке XIX в. можно здесь было сказать именно с винит, падежом: «Я удивился, видя их пьющих»). (Выражаясь более точно, здесь мы имеем дело не с двумя «косвенными речами», а с двумя «косвенными ситуациями»: «Я вижу» + «Кого-то» + «делающим что-то». Ср. латин. *Video fratrem + Frater venit => Video fratrem venire* «Вижу брата» + «Брат приходит» => букв. Вижу брата приходить («Вин. с инф.»). В современном испанском и французском это все еще живые конструкции: исп. *Veo venir al hermano*; фр. *Je vois venir mon frère*. Ср. также при одном, «сквозным образом»

проходящем субъекте: исп. *Creo no poder venir* букв. «Думаю не мочь прийти», фр. *Je crois ne pouvoir venir*, «то же». В русском языке сохранились еще более редкие остатки некогда обширной системы, так у А. С. Грибоедова (в «Горе от ума» дейст. III, явл. 5): *Я полагала вас далёко от Москвы* = «Я полагала вас *быть* (Вин. с инф.) далёко от Москвы».

В современных языках эта архаическая система косвенной речи, основанная на своеобразных правилах морфологии синтаксиса, заменяется двумя новыми — системой прямого цитирования я системой «свободной косвенной речи» (фр. *style indirect libre*, англ. *free indirect discourse*). Последняя иногда называется также «несобственно прямой речью», но иногда эти два термина рассматриваются как принадлежащие к разным системам: «свободная косвенная речь» — как один из типов в классификации типов повествования, а «несобственно прямая речь» — в классификации языковых форм, употребляющихся в этом типе. Изучение этих явлений было начато в Европе Шарлем Балли, у нас В. Н. Волошиновым [Волошинов 1930] (ср. также [Падучева 1996, 335—361]).

Но эти новые и, как показывает само их название, свободные от морфологических ограничений системы мало что дают для изучения формального аппарата «косвенной» речи, который я был нашим предметом в этом разделе.

**СИСТЕМА. ОТ СИСТЕМЫ К ТОМУ, ЧТО ПО ТУ СТОРОНУ ОТ НЕЕ.
РЕАЛИЗМ — ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА. АРИСТОТЕЛЬ**

0. Вводные замечания

Реализм мы определим здесь широко (и намеренно без слишком четких ограничений) как течение философии языка, признающее существование за *выражениями языка* некоторых объективных (не психологических) *сущностей* — *вещей, концептов, логических истин* (а в некоторых специальных случаях и *истин этических*). Для реализма существенно, что объективные сущности не извлекаются из языка и не конструируются на его основе, хотя язык и предоставляет путь к их открытию и познанию (именно это — лейтмотив данной главы). Следовательно, как видно из только что сказанного, термин *реализм* толкуется в семье (в поле) взаимосвязанных терминов (выделенных здесь курсивом). Для нас важно прежде всего основное противопоставление — *реализм vs номинализм*.

Естественно, что в так понимаемом реализме (тем более, что нам придется касаться его общих черт на протяжении столетий) скрадываются некоторые внутренние тонкие различия: концептуализм Аристотеля (занимающий — в учениях Средневековья — некоторое промежуточное положение между реализмом в узком смысле и номинализмом), а также платонизм (в частности, платонизм современных математиков не-конструктивистского и не-интуиционистского направления) равно относятся к реализму в этом смысле. Более того, логико-лингвистическую концепцию Аристотеля мы рассматриваем как реализм в полном смысле слова (уступающий — по «силе» логико-лингвистических утверждений — лишь тринитарному богословию Восточных отцов церкви). «Тонкие» различия и другие определения реализма будут затронуты ниже, в гл. V.

1. Аристотель. Первая классификация

(Основная таксономия) предикатов.

Категории. Неконтрастный уровень семантики

Как уже сказано, концепцию Аристотеля мы рассматриваем как исторически первую систему реализма, полностью развитую во всех от-

ношениях. Некоторые ее основания затронуты во II части настоящей книги («В трехмерном пространстве языка») по отношению к членению «Семантика. Синтактика. Прагматика». Здесь концепция Аристотеля рассматривается в ином отношении — в членении «Система — Текст».

Основная идея этой главы следующая: в концепции Аристотеля развита именно «Система» (категоризация, парадигматика), в то время как «Текст», в той (небольшой) мере, в какой он вообще затрагивается, рассматривается как нечто производное от «Системы», т. е. главным образом — как совокупность некоторых универсальных категориальных черт.

К а т е г о р и и , б а з о в ы е п р е д и к а т ы .

В разных сочинениях Аристотеля список категорий приводится в разных вариантах, в самом пространном из них (Категории, IV, 1b; Топика, IX, 103b) он содержит следующие десять категорий (очень важно для дальнейшего заметить, что русский термин ближе к латинскому, чем к греческому):

1. Ὀυσία	Substantia	Сущность (Субстанция)
2. Ποσόν	Quantitas	Количество
3. Ποῖόν	Qualitas	Качество
4. Πρός τί	Relatio	Отношение (Соотнесенное)
5. Που	Ubi	Где? (Место)
6. Πότε	Quando	Когда? (Время)
7. Κεῖσθαι	Situs	Положение
8. Ἔχειν	Habitus	Обладание (Состояние)
9. Ποιεῖν	Actio	Действие
10. Πάσχειν	Passio	Претерпевание (Страдание)

По Аристотелю, эти категории представляют собой высшие сущности объективного бытия. Однако очень важен и эпистемический вопрос — как установлены эти сущности? Исследователи уже давно указывали, что категории Аристотеля тесно связаны с языком. Детальное рассмотрение их с этой точки зрения показывает, что в виде категорий у Аристотеля перечислены, причем в определенном порядке, все формы сказуемого, которые могут встретиться в простом предложении древнегреческого языка. Сам термин *κατηγορία* в узком смысле означает «сказуемое» от глагола *κατηγορεῖν* «сказывать, высказывать, утверждать»; этому значению соответствует и установившийся с древности латинский перевод: категория — *praedicamentum* «сказуемое».

Список категорий Аристотель предваряет замечанием: «Одни слова говорятся в связи, другие без связи. Одни в связи, как, например: человек бежит, человек побеждает; другие без связи, как: человек, бык, бежит, побеждает» (Категории II, 1a); «Из слов, высказываемых без ка-

кой-либо связи (курсив наш. — Ю. С.), каждое означает или сущность, или качество...» (Категории, IV, 1b). Далее следует приведенный выше список [Аристотель 1939, 3—4]. Таким образом, список категорий действительно представляет собой перечень предикатов-сказуемых, но уже извлеченных из формы их непосредственной данности — из предложения-высказывания и, следовательно, уже тем самым абстрагированных и обобщенных. Рассматривая формы этого абстрагирования у Аристотеля, мы сможем уяснить некоторые другие важные черты его системы, а вместе с тем таксономии предикатов вообще.

Когда Аристотель извлекает категории из сказуемых предложений, он должен назвать их в общей форме, и способы этого называния очень важны.

1. Первая категория — «Что», или «Сущность, Субстанция», — называется именем существительным с этим значением — οὐσία, и это единственная категория, которая названа таким способом. Ее имя представляет собой абстрактное существительное, образованное от основы причастия глагола «быть», — ‘сущее, существующее’ (ont-s-ia > ousia). В «Топике» это название дублируется вопросом «Что есть?» — букв, ‘что есть, чем является’.

Далее способ именования меняется. Категории 2—4 именуется в форме так называемых неопределенных местоименных прилагательных, которые во всем совпадают с вопросительными, кроме ударения, например: ποσόν ‘какого-нибудь количества’ — неопределенное прилагательное и πόσων ‘какого количества? сколько много?’ — вопросительное прилагательное.

2. «В каком-нибудь количестве»; местоименное прилагательное ποσόν ‘в каком-нибудь количестве’.

3. «Какого-нибудь качества»; местоименное прилагательное ποῖόν букв, ‘какое-нибудь’.

4. «В каком-нибудь отношении»; местоимение с предлогом πρὸς τί букв, ‘в отношении чего’, здесь, как и в категории 1, эта форма совпадает (кроме ударения) с

вопросительной; в обоих случаях форму называния категории можно считать формой косвенного вопроса, букв, ‘в каком отношении’ или ‘в каком отношении?’; примеры Аристотеля здесь — прилагательные в разных степенях: διπλάσιον ‘двойное, вдвое большее’, ἡμισυ ‘половинное’, μεῖζον ‘большее’.

Далее способ именования меняется еще раз — категории 5—6 называются в форме вопросов, которые сами не являются тем, что они называют, т. е. наречиями и словами-обстоятельствами.

5. «Где?»; местоименное наречие που в вопросительной форме, что видно из ударения.

6. «Когда?»; местоименное наречие или в вопросительной форме (так дает, например, словарь Лаланда [Lalande 1972, 123]), или в неопределенной форме лоте букв, ‘когда-нибудь’ (так дает берлинское издание 1831 г.); как и в случае категорий 1 и 4, различие обеих форм нейтрализуется в этой своеобразной форме косвенного вопроса, отсюда и колебания различных изданий; поскольку, однако, эта 6-я категория образует естественную подгруппу с 5-й, а в 5-й дана недвусмысленно форма прямого вопроса, то и данную категорию лучше всего перевести такой же формой, что и сделано здесь.

И наконец, для категорий 7—10 способ именования меняется еще раз — категории называются словами, являющимися представителями классов именуемых слов.

7. «В [каком-нибудь] положении»; глагол в форме инфинитива среднего залога κείσθαι букв, ‘лежать; находиться в каком-нибудь положении’.

8. «В [каком-нибудь] состоянии»; глагол в форме инфинитива ἐχεῖν букв, ‘находиться в каком-нибудь состоянии; иметь, иметься’; примеры — глаголы 3-го лица ед. числа перфекта среднего залога ὑποδέεται ‘обут’, ὀπλισταί ‘вооружен’.

9. «Делать, действовать»; глагол в форме инфинитива ποιεῖν ‘делать’; примеры — глаголы 3-го лица ед. числа настоящего времени активного залога τέμνει ‘режет’, καίει ‘жжет’.

10. «Претерпевать, подвергаться действию»; глагол в форме инфинитива πάσχειν ‘претерпевать; страдать’; примеры — глаголы 3-го лица настоящего времени пассивного (страдательного) залога — τέμνεται ‘он разрезается (его режут)’, καίεται ‘он сжигается (его жгут)’.

В этом смысле последние категории в системе Аристотеля вообще не имеют специальных общих наименований. Таким образом, список категорий предстает как своеобразно и последовательно градуированная шкала, в которой первая категория — «Сущность, Субстанция» имеет собственное общее наименование в форме имени существительного (напомним, что, по Аристотелю, лишь существительное — адекватная форма понятия), а все остальные получают наименования, отдаляющие их от наименования «Сущность, Субстанция», притом тем больше, чем далее стоят они от начала списка. Особого исследования (еще никем не предпринимавшегося) заслуживает способ именования Категорий через вопрос (Категории 2—6); в сущности, это даже и не наименование, поскольку вопрос — это не «имя». По-видимому, это обстоятельство стоит в тесной связи с тем, что Категории лежат «выше» контрастного уровня в семантике, на котором располагаются имена (см. здесь, далее). В последнее время этот способ снова использовала, в форме вопросительных место-

имений, акад. Н. Ю. Шведова, находя в нем базис для всей своей обобщающей семантической системы, см. [Шведова, Белоусова 1995].

Категория «Сущность» требует дополнительного комментария. Дело в том, что, по Аристотелю, сущности делятся на «первые», или первичные, и «вторые», или вторичные: «Сущностью, о которой бывает речь главным образом, прежде всего и чаще всего является та, которая не сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в каком Подлежащем; как, например, отдельный человек или отдельная лошадь. А вторичными сущностями называются те, в которых как видах, заключаются сущности, называемые так в первую очередь (т. е. первые сущности. — Ю. С.), как эти виды, так и обнимающие их роды; так, например, определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а родом для всего этого вида является живое существо. Поэтому мы здесь и говорим о вторичных сущностях, например, это — человек и живое существо» [Аристотель 1939, 7]. Выше Аристотель разъясняет, что значит находиться или не находиться в подлежащем: «Я называю „находящимся в подлежащем“ то, что, не являясь частью чего-нибудь, не может существовать отдельно от того, в чем оно находится... Некоторое белое находится как в подлежащем в теле (ибо всякий цвет — в теле)» [Там же, 4].

«Первые» сущности выступают в языке в виде имен существительных, прежде всего имен собственных, а также других индивидуальных имен (которые, в свою очередь, могут выступать в различной форме). «Вторые» сущности имеют вид общих имен существительных типа человек, животное, город.

Здесь можно сделать обобщение о трудности называния категорий. Поскольку категории выступают как нечто высшее по отношению к формам данного языка, следовательно, как знаки знаков, метазнаки, они должны иметь наименования, так или иначе отличные от знаков данного языка. Поскольку же наименование происходит с помощью самого данного языка, категории неизбежно именуется словами этого языка. Это большое неудобство, способное привести к недоразумениям (и, как мы увидим ниже, действительно приведшее к недоразумению Дж. С. Милля, когда он стал критиковать систему Аристотеля). Аристотель нашел остроумный выход, именуя категории так, как сказано выше. Однако и его способ имеет некоторые недостатки. Их можно было бы избежать, именуя категории сочетаниями двух слов естественного языка (например, русского или английского) — категория сущности, category of essence.

Но здесь возникают новые нежелательные последствия — двусмысленность указания принадлежности (родительный падеж в русском, предлог of в английском). Во многих случаях при таком способе мы будем в затруднении относительно того, имеется ли в виду сама категория или то, что ей подчинено. Р. Карнап по аналогичному поводу замечает, что, поскольку представляется желательной краткая формулиров-

ка и поскольку сочетания слов типа «свойство человек» (the property human) и «класс человек» (the class human) не согласуются с грамматикой английского языка и иногда бывают двусмысленными, он употреблял в своих ранних работах двойные кавычки, например «свойство „человек“». Но это употребление кавычек отличается от их обычного употребления. Поэтому в своих более поздних работах Карнап предпочитает способ заглавных букв, применяя его не только в связи со словами «свойство», «класс», но и в связи со словами, обозначающими такие объекты, как «отношение», «функция», «понятие», «индивид» и т. п.; он сохраняет и способ родительного падежа (форму с предлогом of). Иначе говоря, у Карнапа выступают как равноценные по способу обозначения — «свойство Человек» («Скотт имеет свойство Человек»), «понятие

эквивалентности» («the concept of equivalence»), «понятие Эквивалентность» («the concept equivalence») [Карнап 1959, 49].

Мы в дальнейшем применяем главным образом два обозначения типа категория сущности и категория «Сущность», или категория Сущность (без кавычек), как равноценные.

Что касается порядка категорий, то нет никаких сомнений в том, что перечень развертывается в полном соответствии с системой греческого языка — от именных форм к глагольным и одновременно от более независимых к более зависимым: 1 — имя существительное; 2, 3, 4 — имена прилагательные; 5, 6 — наречия и имена существительные в значении наречий; 7, 8, 9, 10 — глаголы, из них 7 и 8 — весьма специфические глагольные категории древнегреческого языка (отсутствием их полного соответствия в других языках и объясняется, как мы увидим ниже, часть недоумений по поводу категорий Аристотеля). Очевидно, что эти, и только эти формы Аристотель считал естественной категоризацией предикатов, которые затем и должны были подвергнуться логической обработке.

Прежде чем перейти к вопросам этой логической, а также лингвистической обработки, уместно сделать отступление относительно критики категоризации Аристотеля. В качестве примера такой критики остановимся на замечаниях Дж. С. Милля. Книга Милля «Система логики, силлогистической и индуктивной» была закончена в 1841 г. Вообще говоря, для нашей задачи нам достаточно показать, как критиковалась система Аристотеля, на любом примере. Но образец критики, данный Миллем, интересен по двум причинам. Во-первых, Милль избрал наилучший в данной связи способ критики, а именно: показать неудовлетворительность (с его точки зрения) критикуемой системы тем, что возможно построение другой системы, совершенно отличной от нее; Милль и предлагает свою систему. Во-вторых, система Милля — это «классическая для 19—20 вв. теория категорий с точки зрения эмпиризма» [Люсев 1962, 475]. Эмпиризм же, в особенности английский, тяготеет к

номинализму, тогда как концепция Аристотеля лежит в лоне реализма-концептуализма.

На категории Аристотеля Милль смотрит резко отрицательно. «Этот перечень, — пишет он, — соответствует просто тем грубым различиям, которые устанавливает между вещами повседневная речь; в нем нет (или почти нет) попытки проникнуть

философским анализом в рациональное основание даже и этих различий» [Милль 1914, 40]. Но мы тотчас видим, что Милль не заметил того действительно рационального основания, которое заключено в категориях Аристотеля, — основания, данного самим языком. Как и следовало ожидать, наибольшее недоумение вызывают у Милля категории 7 и 8 (которые мы будем подробно разбирать ниже). Милль пишет: «Нельзя считать, что правильно понято, например, „отношение“, если из этой категории исключены действие, претерпевание и положение. То же самое относится и к категориям *quando* (положение во времени) и *ubi* (положение в пространстве), так как между этим последним и „положением“ (*situs*) разница только в словах... С другой стороны, в перечне фигурируют только субстанции и атрибуты; в какую же категорию надо отнести ощущения или другие чувства и состояния духа, каковы, например, надежда, радость, страх? ощущения слуховые, обонятельные, вкусовые? удовольствия и страдания? мысли, суждения, понятия и т. п.? Вероятно, школа Аристотеля поместила бы все это в категорию *actio* (действие) или же в категорию *passio* (страдание, претерпевание). Это правильно характеризовало бы отношения активных состояний — к их объектам, и пассивных — к их причинам; но совершенно неверно определило бы их самих по себе как чувства или состояния духа. Чувства или состояния сознания нужно, конечно, отнести к числу реальностей, но их нельзя поместить ни в рубрику субстанций, ни в рубрику атрибутов» [Милль 1914, 40].

В связи с этим местом критики Милля нужно заметить, что «Положение» в категории 7 отличается от всех прочих «положений» (в том числе от положений, обозначаемых категориями «Где» и «Когда»): это положение субъекта, являющееся его состоянием или действием, не выходящим за его собственные пределы, — не «сидит где-то», а просто «сидит», «лежит», а также «рождается» и т. п. Что касается «состояний духа», то это особое содержание категории 8, и только ее. Правда, Аристотеля можно упрекнуть в одном — в том, что он недостаточно четко словесно отделил состояния духа от состояний тела, те и другие у него объединены в одной категории — 8. Но такой упрек можно было отнести только к словесной формулировке, тогда как по существу с точки зрения древнегреческого языка «быть обутым» и «быть разбуженным, бодрствовать» — это одно и то же, состояние самого субъекта (его тела или его духа), независимое от его положения в пространстве; и это «одно и то же» выражается одной и

той же формой — перфекта. Латинские переводчики и комментаторы передали это вполне

точно: латинское *habitus* означает все сразу — «положение, поза, состояние, способ поведения, осанка, внешность, наружность, костюм». Напротив, «Положение» в категории 7 — это состояние тела в пространстве («сидит», «лежит»), не составляющее принадлежность субъекта («субъект не обладает этим как свойством»), но и не переходящее на объект, вообще не выходящее за пределы субъекта. К тонким различиям этих категорий, доказывающим правоту Аристотеля перед его критиками, мы вернемся ниже.

Свою собственную систему Милль резюмировал в следующем виде: «Таким образом, в результате нашего анализа мы получаем следующий перечень, или классификацию, всех могущих иметь названия вещей:

1. Чувства, или состояния сознания.
2. Духовные сущности, испытывающие эти состояния сознания.
3. Тела, или внешние предметы, возбуждающие те или иные из этих состояний сознания, а также те силы или свойства, благодаря которым тела эти состояния возбуждают...
- 4 (и последнее). Последовательности и сосуществования, сходства и несходства между состояниями сознания. Эти отношения, хотя и признаются существующими между вещами, в действительности существуют между теми состояниями сознания, которые этими вещами возбуждаются (если это тела) или же иногда возбуждаются, иногда испытываются (если это духи)» [Милль 1914, 66].

Говоря суммарно, категоризация Милля отличается от категоризации Аристотеля следующими моментами. Во-первых, Милль повысил в ранге категорию «состояний духа» (не заметив, как уже было сказано, что она содержится в системе Аристотеля, но как соподчиненная с другими категориями). Эта операция была вызвана, конечно, не столько фактическими, сколько идейными соображениями. Милль, как верный последователь английского эмпиризма, вслед за Юмом считал, что «состояния духа», возникающие вследствие воздействия на сознание внешних вещей, или тел, ничего не говорят о состоянии самих этих вещей, или тел. Он специально отмечал (в конце

раздела о категориях): «Всякий объективный факт основывается на соответствующем субъективном и имеет для нас смысл (помимо соответствующего ему субъективного факта) исключительно только как название некоторого неизвестного и непознаваемого процесса, вызывающего данный субъективный, или психологический, факт» [Милль 1914, 67]. Аристотель же считал, что сочетающиеся в высказывании словесные формы выражают одновременно и мысли о вещах (в этом смысле и «состояния духа»), и сущности самих вещей; поэтому для Аристотеля его категории и являются «высшими родами бытия», чем они никак не могли быть для Милля. Для нас позиция Аристотеля, несомненно, ближе к истине, чем позиция Милля.

Во-вторых, уже в специальной части своей работы, не связанной непосредственно с его идейными установками (эта часть могла бы отвечать каким угодно идейным установкам), Милль, опять-таки следуя предшествующей традиции английской философии, начинает с анализа имен, чтобы затем перейти к анализу цельных высказываний. Аристотель, как мы уже видели выше, начинает с анализа суждения-высказывания, да в сущности и ограничивается им. И в этом также Аристотель сохраняет преимущество перед Миллем.

Говоря точнее, словами Ф. Энгельса об античной философии, Аристотель, подобно ей, сохраняет преимущество в целом, проигрывая в частностях.

В-третьих (и это именно та частность, в которой Милль выигрывает перед Аристотелем), Милль подробно исследует семантическое согласование между частями высказывания. И это вполне естественно: поскольку Милль начинает с семантического анализа отдельных имен, он должен на втором этапе осветить вопрос о том, как эти имена вступают в связь в составе высказывания. Хотя этот вопрос был поставлен в философии задолго до Милля (ср., например, учение о синтетических и аналитических суждениях у Канта), все же именно Милль уделил ему наибольшее внимание. К вопросу о семантическом согласовании мы будем неоднократно возвращаться ниже.

В категоризации Милля намечались — но самим автором не были осознаны — и некоторые семантические парадоксы. Парадокс скрывается в статусе «состояний духа или сознания», как он определен у Милля. С одной стороны, «состояния сознания» лежат в основе всех его категорий и в основе высказывания-предложения, как Милль его понимает. С другой стороны, «состояния сознания» — это особая, отдельная

категория. Подобный парадокс — когда одна и та же семантическая категория, сема, с одной стороны, неразрывно связана с другими категориями и тем самым не имеет самостоятельного существования, а с другой стороны, выступает в особой форме как сама по себе — возникает и в современных семантических описаниях. В простейшем виде его можно иллюстрировать таким примером. Сема «конец» неразрывно связана с семой «пространство» (*край, конец веревки* и т. п.) или с семой «время» (*вечер, конец зимы* и т. п.), так что следует говорить, по-видимому, о двух семах — «конец в пространстве», «конец во времени» или, может быть, об одной — «конец в пространстве и времени». Но, с другой стороны, сема «конец» имеет самостоятельную форму выражения, именно слово *конец*, и, следовательно, может оцениваться как самостоятельная, т. е. именно как сема (в том случае, если она выступает только в сочетаниях, естественнее оценить как сему все сочетание). Иными словами, естественный язык в одной своей части (в слове *конец*) выступает как метаязык к другой своей части (в словах *край, вечер* и соответственно в выражениях — *конец веревки* и т. п.).

Попытки обобщить категории Аристотеля, установить их иерархию неоднократно предпринимались в истории логики и философии. Прежде всего, обобщение своих категорий произвел сам Аристотель. В «Метафизике» (кн. XIV, гл. 2) он говорит только о трех категориях: «в одних случаях — это сущности, в других — состояния, в третьих — отношения». Это место нельзя понять без толкования.

Несомненно, что Аристотель установил здесь иерархию категорий названные три категории в каком-то смысле наиболее общие. Но нужно ли считать, что они образуют наиболее общие виды, а все остальные — их подвиды? По-видимому, так нужно понять А. Ф. Лосева, когда он говорит — по поводу не этого места, а основной схемы, — «что последние шесть категорий в таблице являются тоже только подвидами отношения» [Лосев 1962, 472]. Но это вряд ли так: ведь подведение под роды и виды противоречило бы самой сути категорий как неопределяемых понятий, во всяком случае понятий, не определяемых по классической форме «род + видовое отличие». Г. Клаус справедливо отмечает, что «классическая форма определения в некоторых случаях вообще непригодна. Это бывает, прежде всего, тогда, когда нет ближайшего рода, то есть при рассмотрении понятий, которые Аристотель называет «категориями». Так, например,

понятие „быть” нельзя определить, воспользовавшись классической формой, потому что здесь нет ближайшего рода. То же самое можно, разумеется, сказать и о ряде других понятий подобного типа» [Клаус 1960, 233]. Как показал Г. Патциг [Patzig 1959, 16—17], Аристотель в тех случаях, например, в анализе силлогизмов, где важно родо-видовое соподчинение понятий, тщательно отличает его от отношения между категориями и индивидуальными понятиями, так как последнее не является родо-видовым, поскольку категории и индивидуальные концепты в некотором смысле вообще не понятия. А. Ф. Лосев, по-видимому, следует здесь, скорее, линии стоиков.

В логике стоиков выделялись четыре категории: 1) подлежащее, или субстрат, 2) качество, 3) состояние, 4) отношение, причем все они, по истолкованию стоиков, соотносятся так, что каждая предшествующая содержится в следующей и более точно определяется ею [Mates 1961, 18]. Но это уже, скорее, не логическое, а чисто философское соотнесение, о чем говорит и то, что все эти категории у стоиков как бы поглощаются пятой, самой высокой категорией — «неопределенное нечто» (τό τί).

У Аристотеля это не так. Противоречит такому пониманию — как «видов» и «подвидов» — и греческий текст. Аристотель называет там эти три категории — 1) οὐσία, 2) πάθη, 3) πρός τί. Первое слово совпадает с наименованием категории 1 — «Сущность», третье — с наименованием категории 4 — «Отношение», хотя в передаче последнего есть трудности: переводчики последнего русского издания дают здесь «Соотнесенное», что довольно удачно [Аристотель 1976, 356; 1978, 66]. Что касается второго общего наименования, то оно не соответствует названию ни од-

ной категории. Ближе всего оно подходит к названию категории 10 — πάσχειν ‘претерпевать’, πάθη ‘претерпевание’, слово того же корня. Однако переводчики затрудняются в его передаче: в новейшем русском издании «Метафизики» это место передано так: «ведь одно сущее — это сущности, другое — свойства, третье — соотнесенное» [Аристотель 1976, 356]. Однако вернее, кажется, переводят А. В. Кубицкий в [Аристотель 1934, 244], А. С. Ахманов [Ахманов 1960, 161] и А. Ф. Лосев [Лосев 1962, 472] — не «свойства», а «состояния». Но в подробной таблице Аристотеля уже есть категория «Состояние» под другим термином — ἕξει (лат. habitus, рус. ‘обладание’). Таким образом, обобщая, Аристотель, очевидно, не подводит состояние в обобщенном смысле (πάθη) под «Состояние» как категорию 8 в таблице

(ἐξου) и вообще не подводит ни одну категорию из списка под другую как вид под род или «подвид» под вид.

На наш взгляд, вернее истолковать это обобщение иначе. Ведь в основе всей категоризации Аристотеля лежит выделение типичных предикатов. По-видимому, и при обобщении категорий он поступил таким же образом, т. е. выделил три предиката, которые счел более важными, существенными, более типичными, чем другие. По нашему мнению, три обобщенные категории соответствуют трем основным типам предикатов:

1) категория «Сущность» — предикату в предложениях тождества: *Сократ — человек; Лошадь — животное; Человек есть справедливое* и т. п.;

2) категория «Состояние (Претерпевание)» — одноместному предикату в таких предложениях, как: *Сократ сидит; Человек мыслит; Человек одет; Человек пробудился; Лошадь больна; Цветок увядает; Сосуд раскололся; Мама — в саду; Снег бел; Свадьба завтра* и т. п.;

3) категория «Отношение (Соотнесенное)» — всем двухместным предикатам в таких предложениях, как: *Человек убил оленя; Снег покрывает землю; Эта палка длиннее той* и т. п.

Более сложные случаи — трех-, четырехместные предикаты и т. д. — Аристотель рассматривал, по-видимому, как сводимые к более простым.

Итак, заключая рассмотрение категоризации Аристотеля, следует сказать, что Аристотелю удалось на основе анализа греческого языка его времени установить три основные категории — «Сущность», «Состояние», «Отношение», являющиеся одновременно категориями языка и категориями мысли; выявить достаточно полный набор подчиненных им категорий (таких, как «Время», «Место» и т. д.); наметить отношения между основными и подчиненными категориями не как родо-видовые, а как отношения предикатов соответствующих суждений-предложений.

Мы увидим ниже, что система Аристотеля требует лишь некоторых поправок и представляет надежную основу для дальнейших логи-

ко-лингвистических категоризаций и что такого же взгляда придерживаются современные логики.

Категории (1) «Сущность», (3) «Качество» и (4) «Отношение», поставленные во главе списка, являются с логической точки зрения основными. В известном смысле можно сказать, что они выступают основой соответственно трех разделов формальной логики: (1) «логики классов» с рассматриваемым ею основным видом суждения «S есть P», где S и P классы (экстенционалы); (2) «логики свойств» (так мы условно называем логические системы, основанные на отождествлении свойства и класса, как, например, у Р. Карнапа) с рассматриваемым ею основным видом суждения $P(x)$ «X обладает свойством (качеством) P»; (3) «логики отношений», которая в качестве основного рассматривает суждение вида aRb «a стоит в отношении R к b».

Базовые 10 предикатов могут быть проиллюстрированы типами предложений разных языков, что означает, что эти типы могут быть подведены под базовые предикаты. Ниже мы выборочно иллюстрируем их русскими примерами.

(1) «Сущность». Под эту категорию подводится обширная и довольно разнообразная группа предложений, которые мы (условно и здесь не детализированно) назовем предложениями «условного тождества»: *Земля — это третья от Солнца планета; Третья от Солнца планета — это Земля, Мой брат — учитель; Его мечта — летать; Учиться — необходимость*, и т. п.

(2) «Количество». Схемы с предикатом количества в русском языке достаточно своеобразны: *Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы* (Блок. «Скифы»); *Нас пятеро; Полок с книгами — три*. Но по крайней мере часть этих типов находит полные эквиваленты в других языках, ср. франц. *Combien êtes-vous?* «Сколько вас?» — *Nous sommes cinq* «Нас пятеро», букв. «Мы — пять».

(3) «Качество». Это более важный, и, по-видимому, более универсальный предикат, чем предыдущий: *Снег бел; Трава — зеленая*; Ребенок послушный. Формы с полным прилагательным *Трава — зеленая* в современном русском языке двусмысленны. Они могут рассматриваться как те же, что и формы с кратким прилагательным, как чистые формы качества (*Снег бел; Трава зелена*); но, с другой стороны, — как формы категории «Сущность», т. е. формы подведения под класс, с эллипсисом второго имени: *Трава зеленая* «(Эта) трава — зеленая (трава)». Здесь заключено естественно-языковое основание отождествления свойства и класса, используемое в формальной логике.

(4) «Отношение» («Соотнесенное»). Сюда относятся такие схемы, как *Москва больше Ленинграда; Оля ему ближе Пети; Петя Оле не брат*. Главные элементы, структурирующие схему, — сравнительные степени прилагательных, наречий и имена с относительными

значениями — «брат», «отец», «мать», «родственник», «сосед» (например, *Он нам сосед*) и т. д.

Предложения этого типа оказались в современной логике одним из фрагментов того материала, который заставил пересмотреть традиционную аристотелевскую форму суждения «S (есть) P». Действительно, в таких предложениях, как *Москва больше Ленинграда* или *Точка А лежит между точками В и С*, первый терм — имя не является единственным субъектом, все термы — субъекты: *Москва* и *Ленинград*; *точка А*, *точка В* и *точка С*. Суждения этого типа только весьма искусственной и искажающей операцией можно свести к классической форме суждения: «*Москва есть нечто большее, чем Ленинград*» или «*Точка А является лежащей между точками В и С*».

Такое сопоставление универсальных аристотелевских предикатов с конкретными формами того или иного языка можно продолжить (размеры книги не позволяют этого сделать). Мы остановимся, однако, лишь на двух категориях, которые вызвали наибольшие сомнения комментаторов в отношении их универсальности.

Категория (7) «Положение» названа в оригинале глаголом в форме инфинитива среднего залога — $\chi\epsilon\iota\sigma\theta\alpha\iota$ «лежать; находиться в каком-либо положении». Средний залог был важнейшей категорией древнегреческого языка и древних индоевропейских языков вообще, более важной, чем пассив, который от него происходит. Большая группа глаголов имела только форму среднего залога: «рождаться», «умирать», «лежать», «сидеть», «наслаждаться», «испытывать душевное волнение», «говорить» и т. д. Их значения легко поддаются обобщению: во всех глаголах среднего залога обозначаются действия, замкнутые сферой субъекта, не выходящие за пределы субъекта. Таким образом, типичные, первообразные и нетрансформированные предложения с глаголами среднего залога — это предложения с одноместным предикатом типа «Он сидит». (Мы видели выше, что это свойство не ускользнуло от внимания Аристотеля и получило у него превосходное обобщение.)

Среднему залогу наиболее резко противопоставлялся активный залог (пассив, как уже было сказано, возник позже на основе среднего залога). Семантическая сфера глаголов, имеющих форму актива, может быть определена именно в противопоставлении семантике среднего залога — как действия, не требующие замыкания в субъекте. Типичным предложением с глаголом в форме актива является предложение с двухместным предикатом типа «Он убивает оленя». Активный залог выделен Аристотелем в виде категории (9) «Действие». Но с категорией «Положение» непосредственно связано в списке Аристотеля не «Действие», а «Обладание».

Категория (8) «Обладание» («С о с т о я н и е»), названная в оригинале глаголом в форме инфинитива $\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota\omega$, лишь весьма не

точно переводится на русский язык словом «обладание». Греческий глагол означает не только «иметь», но и «иметься», буквально «находиться в каком-либо внутреннем состоянии». Например, $\acute{\epsilon}\chi\omega$ «держу, имею нечто», но $\kappa\alpha\kappa\omega\varsigma \acute{\epsilon}\chi\omega$ «нахожусь в плохом состоянии, чувствую себя плохо», букв. «плохо имеюсь». Латинский термин *habitus* является поэтому более точным соответствием, чем русское обладание. По поводу этой категории Э. Бенвенист тонко замечает: «Некоторая необычность этой категории, ставя нас сначала в тупик, разъясняется примерами: (*υποδεδεται „обут“, οπλαστα „вооружен“*). Ключ к интерпретации заложен в природе этих глагольных форм — форм перфекта» [Бенвенист 1974, 109]. К этому следует добавить, что перфект в типичном случае, в первообразном нетрансформированном предложении в индоевропейских языках и, в частности, древнегреческом, всегда соответствует одноместному предикату. Перфект и средний залог в этих языках тесно связаны, образуя сложную, но достаточно единую систему.

Таким образом, Аристотель с полным основанием, причем именно основанием, заключенным в языке, выделил на 7 и 8 местах две различные, но взаимосвязанные категории, образующие систему и противопоставленные системе из категорий 9 и 10. Категории «Положение» и «Обладание» в совокупности образуют категорию «Состояние субъекта», причем первая из них — «внешнее состояние субъекта» (его положение в пространстве, вообще материальное положение), а вторая — «внутреннее состояние субъекта» (состояние духа).

После этого утверждения может возникнуть вопрос: каким образом может быть универсальной категория, представленная такими далеко не универсальными формами, как средний залог и перфект индоевропейских языков? Действительно, если речь идет о морфологической форме, то и средний залог, и перфект в таком виде не знакомы многим языкам, да и в самих индоевропейских языках они оформляются в ходе истории и исчезают почти на глазах исследователей. Однако морфология — лишь средство, национально своеобразное и исторически изменчивое, оформления универсальных черт высказывания-предложения. Эта открытая Аристотелем совокупная категория, причем в обеих ее разновидностях, оказывается действительно универсальной семиологической категорией, представленной в самых различных языках и в языке вообще.

В грузинском языке, языке иной семьи и иной системы, три группы глаголов — чувственного восприятия (*verba sentiendi*), аффекта (*verba affectuum*) и обладания (*verba habendi*) объединяются в единую группу «инверсивных глаголов». Эта группа имеет общие формальные показатели — дательный падеж субъекта, инверсию показателей субъекта и объекта, наличие собственных форм только в ряду настоящего времени, в презенсном ряду. Переходные глаголы, «глаголы действия», в одном случае совпадают с инверсивными глаголами. Это происходит в так

называемой «3-й серии грамматических времен», в результативной серии, где глагол действия выражает не само действие, а его результат, т. е. «состояние обладания», и приобретает «аффективную конструкцию предложения», совпадающую с конструкцией инверсивных глаголов. (В 1-й серии времен, презенсной, переходный глагол действия имеет номинативную конструкцию предложения, а во 2-й серии, аористной, — эргативную конструкцию предложения [Кортава 1978].)

Многие языки индейцев Америки, а также некоторые языки Кавказа и другие сходны тем, что в каждом из них имеется группа «статических», или «стативных», глаголов, выражающих состояние, и противопоставленная им группа «активных» глаголов действия; этому противопоставлению глаголов соответствует двойное оформление имен и предложения. «В самое последнее время, — писал И. И. Мещанинов, — в результате длительного исследования более мелких яфетических языков Кавказа установлено, что в некоторых из них отмеченное выше противопоставление двух строев предложения (т. е. активного, или эргативного, и

стативного, или абсолютного.— Ю. С.) идет гораздо шире. Может иметь место противоположение всякого действия, даже непереходного, всякому выражению состояния, не только представленному именовым сказуемым, но и вербальным. В связи с этим выделяются глаголы действия, и подлежащее может стоять в активном падеже даже при непереходном глаголе. Абсолютный падеж подлежащего в предложении состояния еще теснее сближает здесь именовое сказуемое с вербальным при глаголах состояния. В основе лежит уже не наличие или отсутствие объекта, а смысловое значение предложения, противопоставляющее всякое действие состоянию» [Мещанинов 1948, 86; Климов 1977, 4].

2. «С у п е р п р е д и к а т ы». Если базовые предикаты действуют в пределах простого предложения (и поэтому в известном смысле верно определение Карри — «предикаты превращают имена в предложения»), то «суперпредикаты» действуют в пределах сложного предложения. «Сложное» понимается при этом как «составленное из простых (базовых)». Поэтому можно сказать, что суперпредикаты превращают простые предложения в сложные.

К суперпредикатам относятся прежде всего *кванторы*, т. е. различные языковые выражения, глубинная семантика которых соответствует логическим кванторам общности («все») и существования («существует такое X, что...»). *Квантор существования* не устраняет переменную, а лишь как бы покрывает ее, превращая из «свободной» в «связанную». Таким образом, под этим квантором содержится некоторая неопределенность имени. Это явление хорошо описано Г. Клаусом Клаус 1960, 73]. В русском языке предложения с квантором существования часто начинаются словом *есть*:

Есть речи — значение
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.
(Лермонтов)

Этот тип предложений нельзя смешивать с поверхностно сходным типом, где существование — в рамках простого предложения — утверждается как *свойство* или *качество* (т. е. здесь глубинная семантика иная — «данное X существует»):

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:

Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
(Тютчев)

В поверхностной структуре кванторы могут принимать форму и простого предложения, которое, следовательно, является в действительности сложным, — так обычно бывает при кванторе «все».

К суперпредикатам относится *отрицание*. Но следствием этого — довольно неожиданным, хотя и вполне системным — является то, что к суперпредикатам нужно отнести также и *утверждение*. Иными словами, в этой системе следует все предложения, не содержащие отрицания, рассматривать как имеющие кроме базового предиката еще и суперпредикат «Верно, что...» или «Истинно, что...». Иначе говоря, каждое утвердительное предложение в его глубинно-семантическом представлении имеет вид «Верно, что» + базовое предложение. Например, *В Арктике живут белые медведи* описывается как «Верно, что» + «В Арктике живут белые медведи» [Слинин 1970] (см. также в наст. книге ч. I, гл. III, А, 6),

К суперпредикатам относятся также *слова типа* «только», «даже», «тоже», «также» и подобные.

Наконец, к суперпредикатам можно отнести *союзы* и (по крайней мере некоторые) *союзные слова* — «потому, что», «для того, чтобы», «не..., а...».

Если общая идея предикатов как Категорий восходит к Аристотелю, то общая идея только что названного подхода обнаруживается в логике стоиков (см. ниже). В нашей стране на материале русского языка такой подход (в других терминах) обозначился в конце 1970-х годов (см. [Крейдлин 1979; Богуславский 1979]). В последнее время были изучены типы частиц (и вообще слов), имеющих «длинную» сферу действия в тексте (см. [Богуславский 1996]). Некоторые из них обладают способностью «создавать ментальный мир» в том смысле этого термине» о котором идет речь ниже в гл. IV настоящей книги; они являются

«миропорождающими» (ср. также [Богуславский 1996]). (Более общее понятие о «длинном компоненте» высказывания см. в наст. кн. гл. III 1, 2, 3.)

Но если это так, т. е. если к «суперпредикатам» и «длинным предикатам» нужно отнести союзы причины, следствия, цели, времени и т. д., то естественная аналогия

последних с предлогами заставляет отнести к таким же предикатам и предлоги, по крайней мере некоторые.

Это довольно неожиданное следствие из классификации. Однако оно вполне системно, так как выражения, состоящие из предлога и имени, во многих случаях естественно рассматривать как номинализации предложения, но не простого, а входящего в сложное. Так, *Они отказались от поездки из-за мороза* значит «Они отказались от поездки потому, что был мороз»; *Они опоздали из-за трамвая* значит «Они опоздали потому, что опоздал трамвай» или «...потому, что не было трамвая; случилась авария с трамваем» и т. п.

Список суперпредикатов продолжает пополняться, так как открываются все новые языковые явления, которые оказываются при глубинном семантическом и синтаксическом анализе подводимыми под этот разряд.

Коснемся некоторых логико-лингвистических проблем, связанных с созданием универсальной классификации предикатов и составляющих «линии напряжения» современной семантики и синтаксиса.

П р е д и к а т ы н е и м е н у ю т. Или во всяком случае говорить, что «предикаты именуют», значит употреблять глагол «именовать» в необычном смысле. Уже на примере со словом «учитель» выше мы видели, что в позиции субъекта имя называет, или именуется предмет действительности. Это и есть обычное значение слова «именовать». В позиции же предиката имя, даже «то же самое имя», означает уже не предмет, а некоторое понятие. Поэтому, если оно и «именует» нечто, то «именует понятие». Это, действительно, необычное употребление глагола «именовать», влекущее к недоразумениям и своеобразным логическим парадоксам. Подробно рассмотрев эту проблему, Е. К. Войшвилло предложил удачное выражение «представлять», т. е. предикат не именует, а представляет свое содержание [Войшвилло 1967, 49].

Продолжая эту линию рассуждений, целесообразно ввести два термина — «предикат» оставить за понятийной сущностью, которая при этом представляется, т. е. предикат — это и есть само содержание, предикат есть явление семантики; для языковой же формы, которая представляет это содержание, ввести какой-то иной термин, например «предикатор». В этой терминологии рассуждение Е. К. Войшвилло остается в силе, но приобретает такой вид: *предикатор представляет свой предикат.*

Подобное необходимое удвоение ряда терминов детально рассматривается Х. Б. Карри [1969, 63].

В рамках данной главы всюду понимаем под предикатом именно семантическую сущность, универсальную по своей природе. А способы конкретно-языкового выражения ее, различные в каждом конкретном языке, — предикаторы — мы специально не рассматриваем. Единственное утверждение насчет предикаторов, которое мы стараемся обосновать, заключается в том, что главные предикаторы — всегда типы предложений (или пропозициональных функций).

Отношения между семантическими предикатами базового аристотелевского списка. Вообще говоря, между предикатами базового списка не должно быть никаких отношений. Это утверждение является просто следствием того, что предикаты этого списка являются категориями, следовательно — элементами и, следовательно, неопределимыми. Быть неопределимым и значит быть неразложимым. Будучи неразложимыми, предикаты этого списка не сводимы ни к каким другим элементам, значит, не сводимы друг к другу. Предикаты базового списка нельзя удовлетворительно описать чем-либо, подобным «компонентному анализу». Нельзя, напри мер, утверждать, что как «мужчина» может быть семантически сведен к компонентам «человек» + «мужского пола» + «взрослый», так же и базовый предикат может быть каким-нибудь подобным образом сведен к компонентам, состоящим из других базовых предикатов: «место» не может быть сведено к «времени» и т. п. Однако в практике даже строгого логического анализа нечто, на первый взгляд похожее на эту операцию, постоянно проделывается, по крайней мере с тремя первыми предикатами аристотелевского списка. «Класс» (т. е. «Сущность»), «Свойство» и «Отношение» нередко выражаются одно через другое. В некоторых формализованных системах, «языках», действует так называемый «принцип объемности», т. е. отождествления свойства с классом. Р. Карнап, как известно, видел даже в устранении «удвоения имен» (в устранении «имен свойств» и «имен классов») основную заслугу своего метода.

Однако операция, которая имеет при этом место (не всегда в явно выраженном виде) довольно своеобразна. На наш взгляд, наиболее удачно ее формулирует Р. Столл: «Любая форма $P(x)$ определяет некоторое множество A посредством условия, согласно которому элементами множества A являются в точности такие предметы a , что $P(a)$ есть

истинное высказывание. ... Можно сказать, что решение вопроса, является ли данный предмет a элементом множества $\{x|P(x)\}$, есть решение вопроса, обладает ли а некоторым определенным свойством (качеством). ... В таком случае... каждое свойство определяет некоторое множество» [Столл 1968, 16—17]. Иными словами, при переходе от предиката «Качества» к предикату «Сущности (Класса)», или наоборот, исследователь выходит за пределы языка и устанавливает эквивалентность предикатов на основании эквивалентности объективных, внеязыковых ситуаций. В сущности, то же самое обычно производят говорящие, когда заменяют вы-

ражение времени выражением места, например, — *Мы позавтракаем в поезде* вместо *Мы позавтракаем в 12 часов* (если известно, что «Мы будем в поезде в 12 часов»).

Возможность базовых предикатов, извлеченных не из простого предложения. В самом деле, нет никаких особенных логических оснований к тому, чтобы устанавливать категории (т. е. базовые предикаты) отвлечением их от простых, а, скажем, не от сложных предложений. В таком случае роль базовых предикатов стали бы выполнять «суперпредикаты». Это в действительности и установили стоики, система которых оказывается поэтому дополнительной (в дистрибутивном смысле) к системе Аристотеля. Вот что пишет по этому поводу историк логики А. О. Маковельский: «... Стоики в своей логике на первое место ставили гипотетическую пропозицию (условное предложение). Знак они определяли как правильное условие, которое является предшествующей частью условного предложения, порождающей заключение в условном силлогизме. В этом определении отношение между знаком и тем, что он обозначает, выражено в форме гипотетической пропозиции „Если P , то Q “. Если имеется такое отношение, то P есть знак для Q . По учению стоиков, это отношение знаков к обозначаемым ими предметам является сущностью всякого рассуждения. В основе рассуждения лежит положение „если это, то и то“, которое вытекает из более общего положения стоической системы, согласно которому в природе все находится во взаимной связи, все детерминировано, всюду господствует строгая закономерность» [Маковельский 1967, 186]; ср. также [Степанова 1995, 130].

Возможность рассматривать как базовые «суперпредикаты», образующие связь простых предложений в тексте, явно отвечает устремлениям современной лингвистики текста, переживающей процесс становления, и эту возможность предстоит исследовать.

Из всего сказанного выше напрашивается вывод, что предикаты, будучи категориями и будучи связанными со строением предложения в целом (а не с какой-либо его частью), не должны поддаваться контрастному компонентному анализу. Семантический анализ предикатов влечет к «неконтрастной теории значения».

Как известно, идеи иной, «контрастной теории значения» были обобщены в рамках лингвистического позитивизма, в частности, А. Айером. Согласно этой теории, элемент языка, например, слово, обладает значением лишь в силу контрастирования с другими словами (сравним сходную идею «чистых оппозитивных сущностей языка» де Соссюра). Что касается категорий, то они, согласно этим воззрениям, принадлежат к «запрещенным уровням абстракции», на которых принцип контраста утрачивает силу. Поэтому, в частности, категориальные термины, находящиеся на «неконтрастном уровне семантики», такие, как «бытие вообще», «су-

561

ществование вообще», и др., рассматривались как лишённые смысла, «вводящие в заблуждение», даже как «ментальные монстры».

Построение универсальной классификации предикатов влечет к иным выводам. Заставляя признать «неконтрастный уровень семантики» (каковым и является семантика основных предикатов), оно вместе с тем заставляет признать осмысленность категорий и обобщение в них объективных явлений бытия и духа, — что и составляет сущность Реализма.

В то время как принципом Номинализма является извлечение концептов из языка, а оно возможно в силу контрастирования слов (и установления семантических оппозиций на этой основе), в противоположность этому само существование неконтрастного уровня семантики является аргументом в пользу Реализма (см. далее здесь гл. III и V).

2. Элементы учения о строении «короткого Текста» в концепции Аристотеля. Субъект и предикат простого предложения в отношении к «дереву Порфирия». «Языковое ядро» этого учения

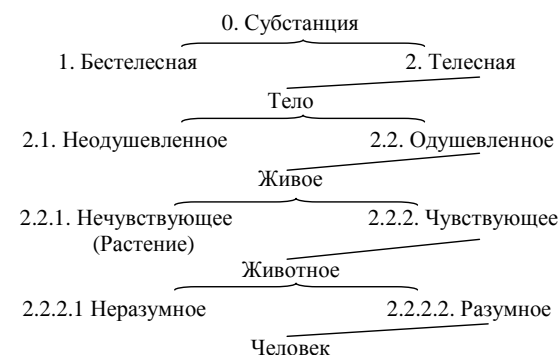
Основная идея этого раздела, этого «сюжета», как мы его понимаем, состоит в том, что имеется гармония между аристотелевской классификацией «сущностей» (или «субстанций» в позднейшей терминологии), с одной стороны, и ролью соответствующих имен в предложении, т. е. их способностью быть или субъектом или предикатом. Выше, в гл. I, 2 (Пример 2), мы рассмотрели эти способности к «ролям». Исходя из предложения — как соотносительные «веса» сущностей (соответственно, их имен) в составе предложения. Это было ответом на вопрос какая сущность из двух, соединяемых в предложении, «тяжелее», «весомее» для выполнения роли субъекта? «Ролевой вес» сущности (и ее имени) определяется по соотношению с другой сущностью. Здесь же мы дадим другой ответ на тот же вопрос, — исходя из некоторой абсолютной меры, данной как бы до всякого предложения (хотя последнее и участвовало у Аристотеля в открытии этой меры). Такой мерой является классификация сущностей (и их имен), содержащаяся в системе Аристотеля и уточненная (можно сказать, начально формализованная) комментатором Аристотеля Порфирием [Порфирий 1939] в виде «Дерева Порфирия» (см. схему 1).

Общее резюме «гармонии», о которой мы здесь говорим, следующее: чем ближе имя к вершине дерева, тем меньше его способность быть субъектом предложения и тем больше его способность быть предикатом. Напротив, чем ближе имя к низу дерева, тем больше его спо-

562

способность быть субъектом, и тем меньше — предикатом. В пределе: Категория (всякая Категория) может быть, в типичном предложении, только предикатом, индивидуальное имя — только субъектом.

Дерево Порфирия (Схема 1)

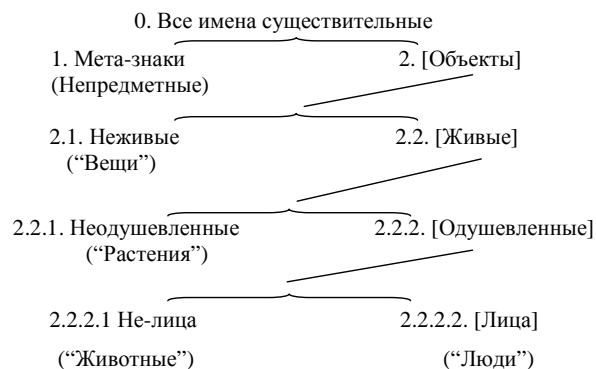


Для логико-лингвистических целей дерево Порфирия должно быть модифицировано. Модификация заключается прежде всего в устранении промежуточных наименований между ярусами — «тело», «живое», «животное». Дело в том, что если имена, содержащиеся в рубриках ярусов, являются именами анализируемого языка, то названия ярусов в дереве Порфирия — это имена метаязыка. Различие тех и других само по себе составляет весьма сложную проблему, которую мы здесь не рассматриваем; ясно только, что метаимен в классификации должно быть как можно меньше — имена между ярусами излишни. Однако совсем устранить метаимена невозможно, в частности, они должны остаться в наименованиях рубрик. При этом метаимена рубрик с нечетными но-

563

мерами (левых рубрик) — «неживые», «неодушевленные», «нелица» — являются грамматической номенклатурой, обычной в лингвистике. Но вместо этих метаимен — обстоятельство весьма примечательное — могут быть употреблены имена существительные общего значения, принадлежащие самому описываемому языку: например, рус. *вещи, растения, животные*. Что касается метаимен, служащих наименованиями четных (правых) рубрик, то подобрать им соответствующие имена естественного языка гораздо труднее. Но зато, поскольку каждая правая рубрика, кроме последней, подвергается дальнейшему делению, ее наименование (метаимен) является в некотором смысле менее необходимым, чем наименование соответствующей левой рубрики, и может, вообще говоря, быть исключено (процедура «исключения абстракции»). Эта возможность на схеме обозначена квадратными скобками (схема 2).

Семиологическая таксономия имен существительных
(Модификационное дерево Порфирия) (Схема 2)



Модифицированное дерево Порфирия представляет собой таксономию имен существительных естественного языка (их логико-лингвистическую классификацию). Оно обладает по крайней мере следующими четырьмя примечательными особенностями. 1) Будучи классификацией имен, оно отражает вместе с тем естественную, т. е. данную в природе,

564

классификацию объектов — на вещи, растения, животные, людей. Классификация таким образом подчеркивает, что, как гласил еще средневековый тезис, «Имена суть следствия вещей» (*Nominasunt consequentia rerum*). 2) Оно построено по родовидовому принципу; причем каждая рубрика, имеющая четный номер, позволяет продолжить деление по тому же дихотомическому принципу, и это одновременно деление рода на виды, в то время как каждая рубрика с нечетным номером в известном смысле является тупиком и не позволяет продолжить деление на тех же основаниях. Чем меньше нечетный номер, тем сильнее это отрицательное свойство рубрики. Рубрика «Вещи» выбывает из классификации уже на втором этапе, и следует ожидать, что она резко отличается по указанным принципам деления от последующих групп (что мы в действительности сейчас и увидим). 3) Поскольку все следующие за группой «Вещи» рубрики подчиняются родо-видовому принципу и одновременно это группы категории «Живые», то можно сформулировать кардинальное для языковой семантики положение: *родо-видовой принцип классификации (чего бы то ни было) является абстракцией отношений рода и вида в живой природе*. Отсюда делается понятным, почему «Вещи», как правило, не поддаются родо-видовой классификации. 4) Рубрики приведенной классификации как раз и являются теми различными «системами», о возможности которых мы упомянули выше и в которых отношение индивида и множества решается совершенно по-разному. В общем виде: чем больше порядковый номер группы, тем большую степень индивидуальности она задает (и требует) в языке для входящих в нее имен. Возвращаясь к свойству 3, это же положение можно высказать и иначе: понятие индивида в таксономии языка является абстракцией категории «особи» в живой природе и оно различно в зависимости от типов последнего; особь в мире растений отличается степенью и качеством индивидуальности от особи в мире животных.

Лингвистическая таксономия в виде модифицированного дерева Порфирия открывает возможности различных применений, но, в соответствии с темой данного

раздела, мы остановимся только на одном из них — на мере индивидуности имен в соответствии с разными группами таксономии.

В е щ и. Прежде всего нужно сказать, что имена вещей, как правило, исключены из процесса языковой индивидуализации: слова «стамеска», «молоток», «шкаф», «стол», «стул», «пальто», «кухня», «дача» и т. д. являются одновременно и именами класса и именами индивидов этого класса. Лишь в исключительных случаях они индивидуализируются, при этом чаще всего путем персонификации, т. е. на основаниях иной рубрики — «Человек». Так, в Средние века мечи имели имена людей (*Дюрандаль* — меч Роланда). Как только индивидуное имя дается вещи, оно тут же подпадает под действие тенденции к обобщению на

565

класс: *гарнитур «Светлана», туалетный крем «Наташа», автомобиль «Лада»* и т. п. — названия классов, а не индивидов.

Большой материал дают наблюдения над опытами исследовательской систематизации лексики в идеографических словарях-тезаурусах. При этом выясняется, что дихотомическое разбиение по принципу дерева Порфирия осуществимо на всем множестве слов, входящих в такой словарь. (См. об этом [Морковкин 1976, 183], хотя автор не указал, что использованная им схема является просто модифицированной схемой Порфирия. Напротив, Р. И. Розина в упомянутой нами работе [Розина 1982] утверждает, что реализовать схему Порфирия на множестве слов без остатка невозможно. Скорее всего, это различие мнений объясняется тем, что первый автор с концептуальным (семантическим) разбиением, а второй — с лексическим.) Нас особенно интересует, однако, не столько сами по себе эти факты (которых следовало ожидать), сколько следующее примечательное различие, предвидеть которое было бы значительно труднее. Группа слов, которые можно считать названиями «вещей» в собственном смысле слова — т. е. материальных объектов, созданных человеком или имеющих непосредственное отношение к человеку, — названия различных инструментов, орудий, зданий, профессий, социальных положений, общественных событий, бытовых предметов и т. п., *не поддается* внутреннему, т. е. в пределах группы, упорядочению по родо-видовому принципу. Такие слова образуют особые, по преимуществу так называемые «денотативные» группировки и требуют внутреннего упорядочения на иных основаниях: по отношениям части и целого; практического

назначения; материальной основы; способа изготовления; способа применения; способа воздействия на организм человека, его тело и органы чувств и т. д. [Караулов 1976, 132 и сл.], [Толикина 1976, 50 и сл.].

Примечательно, что сходное различие обнаружено в таком специальном словаре-тезаурусе, как тезаурус лингвистики. Отношения между единицами такого словаря, или «функции», «разбиваются на две большие группы по типу информации, которую они выражают. Первая группа — синонимы, корреляты, родо-видовые отношения — являются общелогическими отношениями включения и тождества. Вторая группа функций несет информацию о предметной области, которая описывается в тезаурусе [Никитина 1978, 44].

Все эти словарные наблюдения являются независимыми свидетельствами правильности отделения группы «Вещи» от группы «Живые».

Р а с т е н и я. Растения, грибы, фрукты, овощи идентифицируются обычно «с точностью до вида». *Рыжик, боровик, ромашка, антоновка, морковь* и т. п. означают одновременно и класс и любую особь этого класса (ср. также [Арутюнова 1976, 307]). (В лучшем случае противопоставляются не индивид и класс, а отдельный предмет и масса веще-

566

ства: *морковка — морковь, картофелина — картофель* и т. д.) В связи с индивидуализацией таких явлений в языке возникают по крайней мере две интересные проблемы.

Первая: обусловлена ли слабая мера индивидуности только соответствующей слабой мерой потребности человека различать индивиды в этой сфере, т. е. субъективно, или имеются объективные основания? Несомненно, имеет место и то, и другое. Глубокие мысли на этот счет высказали Гегель и Гете. Обратив внимание на слабую объективную степень индивидуности в растительном царстве, они связывали ее с малой противопоставленностью одной особи другой и, что особенно интересно, с малой противопоставленностью частей в пределах организма одной особи. Действительно, если индивидуализация человека по внешнему облику происходит прежде всего путем различения и противопоставления частей его тела (различны рост, комплекция, форма носа, разрез глаз, их цвет, рисунок губ и т. д.), то в организме отдельного растения сами части недостаточно противопоставлены друг другу. «Растение как первый сущий для

себя субъект, возникающий прямо из непосредственности, есть, однако, лишь слабая младенческая жизнь, еще не поднявшаяся в самой себе до различия... Господствующий в растительном царстве рост есть поэтому умножение самого себя как изменение формы; наоборот, рост животных есть лишь изменение величины, при котором образ остается одним и тем же... Рост растения... это не приход к себе в виде индивидуума, а размножение индивидуальности; единая индивидуальность является, таким образом, лишь поверхностным единством многих» [Гегель 1975, 399]. Ср. сходную мысль Гете: «Чем совершеннее становится существо, тем менее похожими друг на друга становятся его части» [там же, 667].

Вторая проблема состоит в определении класса в этой сфере. В самом деле, если мы не можем лингвистически достаточно индивидно определить особь, то можем ли мы, по крайней мере, лингвистически определить класс? И что с лингвистической точки зрения является здесь классом? В настоящее время следует, по-видимому, признать, что эта проблема является неразрешимой. Прежде всего, нужно отметить, что понятие «класс» в этой сфере обычно совпадает с понятием «вид» в его приблизительных ботанических соответствиях. То же справедливо и для большинства названий домашних животных. Но логическое определение значений таких имен в рамках системы языка, как показала А. Вежбицка, всегда не завершено и в принципе не может быть завершено: определение ограничивается обычно указанием ближайшего рода и затем некоторым, как правило небольшим, перечнем индивидных признаков вида. Это соответствует и обычной практике толковых словарей. Сравним: «Кулик — небольшая болотная птица с длинными ногами» (Словарь С. И. Ожегова). Полное определение значения таких слов тре-

бует не словарных дефиниций, а энциклопедических сведений. А. Вежбицка справедливо считает, что такие слова, как «кошка», «роза», «яблоко» и т. п. по своей семантической структуре аналогичны собственным именам типа *Иван*, *Джон*, *Лондон*. Подобно тому, как *Джон* значит в сущности лишь «человек, которого называют *Джон*», слово *кошка* также значит лишь «животное, которое в данном языке называют *кошка*». Поэтому, строго рассуждая, перевод таких слов в двуязычных словарях семантически имеет такой вид: «рус. *кошка* „животное, которое в русском языке называют кошка“ соответствует англ. *cat* „животное, которое в английском языке называют *a cat*”».

Напротив, перевод слов типа «стамеска», «отвертка», может быть дан на основе обычной словарной семантической дефиниции, поскольку за ней стоит очевидное тождество референции.

Ж и в о т н ы е. Многие животные, особенно не домашние, индивидуализируются с той же степенью, что и растения, и возникающие при этом лингвистические проблемы те же самые. Здесь, однако, играет роль степень подобия человеческому существу. Мелкие не теплокровные животные занимают дальний полюс на этой шкале, они обычно выпадают даже из классификации по роду, поскольку обычный человек, не специалист-зоолог, не в состоянии уловить их половые различия. Поэтому, например, в русском языке одни слова — *букашка*, *черепаха*, *змея* и т. п. всегда женского рода, другие — *червяк*, *жук*, *комар* и т. п. всегда мужского, но это различие, подобно роду в названиях вещей, не имеет видимого логического основания. При необходимости индивидуализировать их для каких-нибудь специальных целей прежде всего прибегают к различению по полу с помощью добавления соответствующих слов-определителей: *змея-самец*, *самка комара* и т. п. Л. Н. Степанова отмечает, что в испанском языке, отличающемся, как уже было сказано, плавной родовой классификацией, подобные характеристики в разговорной речи легко используются для индивидуализации людей, названных общим именем профессии; например, *asistente-hembra* «женщина ассистент», *asistente-macho* «мужчина ассистент», букв. «ассистент-самка», «ассистент-самец», как *gusano-hembra*, *gusano-macho* — «червяк-самка», «червяк-самец». Домашние животные индивидуализируются посредством кличек, аналогичных собственным именам людей. При этом также играет роль отмеченное выше подобие человеку: в общем случае собаки индивидуализируются больше, чем кошки, кошки больше, чем козы, козы больше, чем куры, куры больше, чем голуби и т. д. [Степанова 1972], см. подробнее ниже.

Л ю д и. Человек, разумеется, индивидуализируется в максимальной степени, и это обстоятельство ставит особую лингвистическую проблему.

Вопрос стоит, следовательно, так: имеет ли система языка какие-либо достаточно типизированные, постоянные способы различать индивиды под общей рубрикой «Человек»?

Было предложено несколько ответов, из которых мы упомянем четыре, кажущиеся нам особенно важными в данной связи.

Древние отвечали на этот вопрос, по-видимому, отрицательно, «таким образом, — писал Порфирий, — как субстанция стояла на самом верху, потому что раньше ее не было ничего, и являлась родом в наивысшей мере, так и человек представляет собою вид, за которым уже нет другого вида или чего-нибудь, способного дальше делиться на виды, но за этим видом уже идут те или другие индивидуальные вещи (ибо нечто индивидуальное есть Сократ и Платон и вот этот белый предмет), и он оказывается исключительно только видом, или — как мы сказали — видом в наивысшей мере» [Порфирий 1939, 57]. Если считать, что под рубрикой «Человек» идут уже только собственные имена людей, то это равносильно такому решению, как у Порфирия.

Однако наблюдения над таксономией имен в естественном языке подводят к иному, второму ответу.

Решение, навеянное языком (в частности, испанским — см. ниже), представляется достаточно общим, а отличия между языками в этом отношении заключающимися не в существе, но лишь в степени последовательности одного и того же решения. Сравним названия лиц и одновременно предметов человеческой деятельности в русском языке: *расклеиватель, крошитель, загуститель, расщепитель, уплотнитель, черпатель, рыхлитель, посыпатель, силосователь, известкователь, зумзумитель* и мн. др. Итак, второе решение заключается в том, что индивидуализация под рубрикой «Человек», помимо собственных имен и зачастую теми же формальными приемами, *происходит на принципах именованя вещей*, т. е. естественная таксономия языка в этом пункте переключает рубрикацию людей на рубрикацию вещей, открывая тем самым почти безграничные возможности индивидуализации лиц.

Третье решение предложено А. Вежбицкой. По мнению польской исследовательницы, имя «человек» и соответственно подчиненные ему индивидные имена, в частности собственные имена людей, скрывают две различные семантические сущности. Одну из них можно описать как «тело человека», а другую, если сейчас избегать слишком сложного толкования, можно просто противопоставить первой, не сводя ее, однако, к «духу» (скорее вторая семантическая сущность — это «тело и дух человека» одновременно). Различие между обеими сущностями вскрывается путем подстановок. Так, предложение *Адам лежит на кровати* семантически тождественно «Тело Адама лежит на кровати». Напротив, предложение *Адам получил диплом о высшем образовании* семантически не может быть описано как «Тело Адама получило

диплом о высшем образовании». Во втором случае перед нами, следовательно, другая семантическая сущность, скрывающаяся под именем *человек, Адам* и т. п. [Wierzbicka 1969].

Четвертое решение, которое мы можем предложить как достаточно общее, во всяком случае как способное объяснить многие семантические и грамматические явления естественных языков, заключается в том, чтобы семантические сущности, скрывающиеся под именем «человек» с его эквивалентами, разделить на два класса, или «вида». К первому из них относится «Я», показатель лица говорящего, ко второму все остальное. Это разделение особенно важно для классификации не столько имен, сколько глаголов и иных предикатов, в которых таким образом опосредованно вскрывается индивидуальность связанного с ними в предложении именного выражения. В самом деле, только часть предикатов может быть приписана лицу «Я» в своем основном значении. Таковы, например, так называемые «перформативные глаголы» — «клянусь», «обещаю», «обязуюсь» и т. п. Они являются актом клятвы, обещания, обязательства и т. д. только в том случае, когда произносятся от лица «Я». Выражения в 3-м лице типа «Он клянется» значат нечто совсем иное: «Он нечто говорит, и то, что он говорит, звучит как клятва».

Некоторые предикаты не могут быть — в своем основном, непереносном значении — приписаны лицу «Я». Таковы глаголы «плавиться», «литься», «течь», «трескаться», «раскалываться», «лопаться», «лущиться», «ломаться» и мн. др. Имеются языки, как, например, литовский (и, возможно, таким был протоиндоевропейский), где подобные глаголы отличаются особой морфологической формой спряжения.

Модальные глаголы различаются именно по этому принципу. «Субъективная модальность» может быть приписана лицу «Я» и выражена в самом предикате. Напротив, «объективная модальность» выносится вне предиката в «модальную рамку» и означает, в сущности, не модальность) а кажимость. Сравним: «субъективная» модальность — *Я могу прийти в любую минуту* = «У меня есть возможность, я в силах прийти в любую минуту»; «объективная» модальность — *Он может прийти в любую минуту* = «Может быть (модальная рамка), он придет сейчас или в любую следующую за тем минуту»; ср. еще «объективную» модальность таких выражений как *Дождь*

может начаться очень скоро = «Может быть (модальная рамка), дождь начнется очень скоро».

Индивидуальность, которую система языка скрывает под именем «человек», имеет полюс, индивидуальность в высшей степени — «Я» самого говорящего, и язык постоянно оперирует этим полюсом как мерой индивидуальности имен, субъектов предложений и, соответственно, их предикатов.

(Далее о логической проблеме соотношения «индивидуальности» и «функции» у имен (десигнаторов) — см. гл. IV, 2 в связи с дискурсом.)

«Языковое ядро» системы Аристотеля в свете современной лингвистики. Собственно, во всем сказанном выше, мы подчеркивали роль современных лингвистических анализов в осмыслении системы Аристотеля. Здесь же выделим лишь

570

два вопроса — о «гармонии» между иерархией имен, по Аристотелю, и ролями имен в предложении и тексте. Этот вопрос, как уже ясно из предыдущего, стоит в тесной связи с другим — с мерой индивидуальности имен. По обоим вопросам в последние годы были добыты интересные факты.

Проблема индивидуальности имени в парадигматике (в системе, или коде). Как уже было сказано выше, вопрос стоит так: может ли понятие «индивид» получить какое-либо достаточное общее логическое определение? Х. Карри указывает, что «термин „индивид“ означает объект, который — если рассматривать его в логике в данной системе — не является множеством» [Карри 1969, 41].

Это определение пригодно и для лингвистики. Однако с лингвистической точки зрения, проблема — как мы попытаемся ниже показать — заключается в том, что естественный язык обладает в своем словаре *несколькими системами*, в каждой из которых соотношение индивида и множества разрешается различно.

В типологическом плане проблема индивидуальности имен вообще тесно связана с проблемой именных классификаций в языках мира. Для нас подход к указанному общему решению был связан с обнаружением языка с почти идеальной гаммой ранжированности имен по степени индивидуальности. Таким языком оказался испанский. Л. Н. Степанова, исследовавшая категорию рода в нем, отмечает: «Лексико-семантическая система испанского языка, описанная с точки зрения категории рода, предстает как совокупность нескольких лексико-семантических разрядов (классов) слов.

Все разряды организованы вокруг одной и той же элементарной значимой оппозиции, но с особым в каждой группе отношением маркированности-немаркированности членов и с особой дополнительной семантической нагрузкой основной элементарной оппозиции... Лексико-семантические классы испанского языка, организованные вокруг категории рода, систематизировались в следующей классификации: Все имена существительные: (1) Неживые (вещи, имена действия, абстрактные имена) — Живые: (2) Неодушевленные (растения) — Одушевленные: (3) Не-лица (животные) — Лица: (4) Не-профессии (родство, собственные имена, фамилии) — (5) Профессии (специальность, род деятельности, занятие)» [Степанова 1972, 13].

Отмеченное своеобразие испанского языка — непрерывность именной классификации — объясняется особым строением категории рода в этом языке. Дело в том, что в латинском языке на определенном, сравнительно позднем этапе его истории суффиксальные родовые классы имен существительных, унаследованные в своей основе от индоевропейского состояния, стали деградировать, суффиксальные различия между ними сглаживаться, а на смену последним пришло в качестве показателя рода согласование с прилагательным. В поздней народной латыни

571

род существительного обнаруживался не столько морфологическим показателем — суффиксом существительного, сколько окончанием согласованного с существительным прилагательного; в общем случае — всякое имя, с которым согласовывалось прилагательное на *-um* > *u* (в испанском *-o*), было именем муж. рода, всякое существительное, с которым согласовывалось прилагательное на *-a* (в испанском *-a*), было именем женского рода (средний род исчез). Эта тенденция существовала во всех романских языках, но испанский провел ее особенно последовательно. В конечном счете, в испанском языке различие показателей *-o/-a* стало определять также различие родов самих лексем существительных, и развилось огромное количество парных существительных, имеющих — подобно прилагательным — общую основу и различающихся только показателем *-o/-a* (или нулем/*-a*). Например, *hermano/hermana* «брат» — «сестра»; *maestro/maestra* «учитель» — «учительница»; *obrero/obrero* «рабочий» — «рабочая» (т. е. женщина-рабочий); *trabajador/trabajadora* «трудящийся» — «трудящаяся» (т. е. женщина-трудящаяся). В других языках в таких случаях, как правило, имеется различие основ, ср. русск. *брат* — *сестра*, или полное различие

суффиксов, ср. русск. *учитель* — *учительница*. Это обстоятельство и обеспечило таксономическую непрерывность в лексике испанского языка, позволяющую представить последнюю в дихотомической классификации, — см. ниже о французском.

Позднее стало ясно, что эта естественная таксономия испанского языка, изложенная в виде дихотомии, полностью соответствует классификации субстанций, или сущностей, Аристотеля, в том виде, как ее представил комментатор Порфирий, — «дереву Порфирия» (см. схему 1).

Испанский язык, обладающий столь великолепной естественной и формально выраженной таксономией имен, непосредственно и под именем «Человек» скрывает не только собственные имена людей, но и организованные на том же основании названия профессий. В этом языке, аналогично и симметрично, противопоставлены «брат — сестра», «учитель — учительница», «мужчина-филолог — женщина-филолог», «птичник (лицо) — птичница», «молочник (лицо) — молочница» и т. п.: *hermano* — *hermana*, *maestro* — *maestra*, *filólogo* — *filóloga*, *gallinero* — *gallinera*, *lechero* — *lechera* и т. п., и собственные имена людей: *Claudio* — *Claudia*, *Emilio* — *Emilia*, *Nicolás* — *Nicolása*, *Pablo* — *Pabla*, *Manuel* — *Manuela* и т. п. Но в случае профессий одно из парных имен, а иногда и оба, равно и безразлично могут выступать также названиями соответствующих предметов — инструментов, орудий, помещений и т. п.: *молочник* — это и человек, и сосуд, *птичник* — и человек, и помещение (ср. выше русские примеры). Но, скажем, французский язык не обладает такой классификацией, в нем имена мужчин и женщин, как собственные, так и профессиональные, чаще резко различны — уже по корням, и суффиксам и основам. Ср. «брат — сестра»: исп. *hermano*—*hermana*, но фр. *frère* —

572

sœur; «учитель — учительница»: исп. *maestro* — *maestra*, но фр. *instituteur* — *institutrice*; собственные: исп. *Pablo* — *Pabla*, но фр. *Paul* — *Paulette*, и т. п. Исторически известный факт: когда эмансипированная писательница Жорж Саид захотела, оставаясь женщиной, взять себе для псевдоним имя *Georges*, ей пришлось пойти на компромисс и графически изобразить его особо — без «s»: *George* [Степанов 1972].

Проблема «меры индивидуности» в тексте (в «сообщении», в высказывании).

В американской лингвистике послегенеративистского периода преобладает синхронная «синтактико-семантическая стратегия». В ее рамках было предложено

несколько планов решений указанного вопроса. В концепции Э. Кинана устанавливается иерархия признаков субъекта — чем выше место признака в этой иерархии, тем больше оснований у группы имени, обладающей этим признаком, занять место субъекта (знак > означает «выше, чем»). Иерархия такова: свойства кода (позиция в предложении > маркировка падежа > глагольное согласование) > свойства «поведения и контроля» (опускание, передвижение, свойство менять падежные свойства, контроль над свойствами пересекающейся референции и т. п.) > семантические свойства (агентивность, автономное существование, селекционные ограничения и т. п.). По мнению Кинана, если в небазисном предложении группа имени имеет любые три свойства из указанных в иерархии, то она имеет и все свойства более высокого порядка. В концепции У. А. Фоли и Р. Д. Ван-Валина утверждается, что простое предложение (в том числе и входящее в сложное) имеет по меньшей мере один «пик референции», который определяется в иерархии признаков референциальности: говорящий > слушающий > человеческое существо определенное > человеческое существо вообще > одушевленное существо > неодушевленное. «Пик референции» отождествляется с субъектом предложения ([Keenan 1976], [Foley, Van Valin 1977]).

Уже из приведенных примеров видны особенности этой стратегии: в один ряд, в одну иерархию признаков субъекта выстраиваются признаки лексемы как единицы словаря — неодушевленность, одушевленность, личность и т. д., и признаки именной группы в предложении — говорящий, адресат речи и т. д. Такое рядоположение различных признаков представляется скорее недостатком и объясняется, по-видимому, отсутствием в американской традиции сколько-нибудь развитой теории словаря, лексикологии.

Иная, сравнительно-историческая стратегия характерна для европейской и российской лингвистики. Она основана на сравнительно-историческом обследовании разных типов предложения и «вхождений» лексем в них. При этом выясняется, что главной заново мерностью, препятствующей равномерной реализации всех (простых синтаксическом смысле) типов, является тенденция к запрету некото-

573

рых типов лексем в некоторых синтаксических позициях. Эта тенденция проявляется прежде всего как запрет на «абстрактные» субъекты в сочетании с «конкретными» предикатами или объектами (см. выше 1, 2). Тенденция носит в некоторой части

универсальный характер, а в некоторой является специфически индоевропейской. По своей способности занимать позицию субъекта в индоевропейском предложении имена образуют следующую иерархию (в порядке убывания этой способности): лексемы, означающие лица / людей вообще / животных / растения / вещи / абстрактные объекты (типа «необходимость»). При этом иерархия исторически расширяется: в древних индоевропейских языках она ограничена левой частью и с течением времени продвигается вправо. Мы обратили внимание на эту закономерность еще в 1961 г. (см. в наст. книге выше гл. I, 3 [Пример 3]). В настоящее же время ее можно определенно связать с перестройкой индоевропейских языков от активного строя, характеризующегося резким противопоставлением активных сущностей (прежде всего людей) и неактивных (прежде всего вещей), к строю номинативно-аккузативному, в котором эти противопоставления и одновременно ограничения на позицию субъекта устраняются. При указанном подходе иерархия строится как последовательно именная, лексическая.

Очень интересные результаты дал другой подход — совместное исследование именных и местоименных вхождений и их общая иерархизация. Первоначально этот подход вообще не связывался с проблемой лексических вхождений и рассматривался как проблема истории местоимений. Насколько нам известно, в индоевропеистике он впервые был четко сформулирован А. Н. Савченко в 1984 г.: местоимения и имена в протоиндоевропейском языке (на определенном этапе его развития) в своем склонении составляют две различные системы, основанные на совершенно разных принципах: местоименное склонение образовано в большинстве случаев двумя разными основами, имеющими значение прямого и косвенного падежей (система, характерная для номинативно-аккузативного строя); именное «склонение» основано на противопоставлении не падежей, а активной и неактивной форм (система, характерная для активного строя) [Савченко 1984]. А. Н. Савченко связал эту индоевропейскую особенность с аналогичными чертами языков иных семей (в его представлении, «ностратических») и тем самым показал ее типологически повторяющийся, а возможно, и универсальный характер.

На неиндоевропейском материале в русле того же подхода еще ранее было проведено исследование М. Сильверстейна 1977 г. [Silveistein 1977]. Материалом наблюдений австралийского лингвиста были явления так называемой «расщепленной

эргативности» (split ergativity), т. е. такие случаи, когда одни синтаксические конструкции оформляются по эргативному типу, а другие, в том же самом языке, по номинативно-

аккузативному типу (американо-индейский язык чинук, австралийский дирбал, подобные явления отмечены также в грузинском, пушту и многих других языках). М. Сильверстейн отказался от понятия «грамматическое, т. е. морфологическое, подлежащее (surface subject)», поскольку это понятие не константное, а вариативное, зависящее от строения той или иной именной группы в предложении (ср. аналогичный отказ в советской лингвистике [Степанов 1979, 337]). Он расположил потенциальные субъекты действий в единую иерархию, включив в нее не только имена объектов действительности, но и обозначения участников речевого акта, соответственно местоимения. Иерархия такова (слева направо; знаки + или — означают, соответственно наличие или отсутствие данного семантического признака: + tu / — tu / + ego / — ego / + собственное имя / — собственное имя / + общее имя, обозначающее человека / — общее имя, обозначающее человека / + одушевленное / — одушевленное /... и т. д. По М. Сильверстейну, иерархия начинается с tu (лат. обозначение для 'ты'), поскольку это наиболее относительное понятие, создаваемое только в акте речи, тогда как ego ('я') предшествует акту речи. Приложив эту иерархию к своему материалу, автор пришел к очень важному выводу: именные группы в вершине иерархии обнаруживают номинативно-аккузативную маркировку падежей (этот вывод совпадает с независимо позже полученным выводом А. Н. Савченко), в то время как именные группы в нижней части иерархии — эргативно-абсолютивную систему. Срединная часть часто бывает занята номинативно-дательными конструкциями.

Все эти данные существенно дополняют представления о собственно лексических и о местоименных вхождениях в протоиндоевропейское предложение. Помимо этого, из накопленных наблюдений можно извлечь важный методический принцип. Поскольку иерархия подвижна, а в индоевропейских языках границы субъектных вхождений к тому же расширяются, главные типы предложений, определенные выше, на разных этапах истории предстают с различным лексическим наполнением (в этом, между прочим, и состоит их расширение, пересечение, вообще — перифразирование) и

требуют, вообще говоря, даже при логико-лингвистическом анализе, предварительной исторической характеристики.

Возвращаясь к Аристотелю, мы должны сказать, что в суммарно очерченной им гармонии между иерархией имен («Деревом Порфирия») и ролями имен в предложении дан на основе примата «Системы» исторически первый опыт решения этой логико-лингвистической проблемы. Решение Аристотеля в свою очередь стоит в гармонии относительно «языкового ядра» — греческого языка его эпохи. (Одно добавление к этому пункту о «языковом ядре» указано в следующем разделе, 3.)

575

3. Элементы учения о строении «длинного Текста» в концепции Аристотеля.

Тексты как «речевые акты» и тексты как семантические единства, как «дискурсы».

Анализ последних в отношении к понятиям «сущностное» и «случайное».

Вторая таксономия предикатов — Предикабилии. «Теоретический силлогизм» и «практический силлогизм».

В сочинениях Стагирита развернута обширнейшая, всесторонняя концепция текстов. В «Риторике» тексты исследуются с позиций ораторского искусства, в отношениях оратора, «адресанта речи» к его слушателям, «адресатам». В «Топике» и в трактате «Об истолковании» — главным образом споры, дискуссии, диспуты, т. е., как сказали бы мы теперь, «диалогические речевые акты»; В «Аналитиках» — научные умозаключения. Однако всюду, сквозной «красной нитью» проходит интерес Аристотеля к вопросам истинности утверждений в ее многообразных отношениях к ложности. Именно эту профилирующую линию мы выбираем здесь для данного раздела кратко, «пунктирно», проследив ее на «кратких» же текстах, т. е. на простых предложениях, взятых, однако, в их отношениях к некоторой вне их лежащей более широкой системе.

Но что такое «текст» (одного автора, одного «адресанта») с современной точки зрения? Прежде всего, это некоторое речевое произведение, сообщающее нечто новое, до того неизвестное. Однако, как мы уже видели в предыдущих разделах, система Аристотеля строится не на понятиях «новое, еще неизвестное» и «известное», а совсем на другой системе — «сущностное, необходимое (в логическом смысле)» против «случайное, несущественное, несущностное». Таким образом, ответить на поставленный

вопрос — значит соотнести эти две системы понятий. Таково краткое предваряющее резюме этого раздела.

Чтобы «войти в сюжет», начнем с почти анекдотического примера. Абхазский язык, один из кавказских языков, имеет специфические предикативные структуры, напоминающие структуры некоторых «инкорпорирующих» языков: прямой объект, например «выращивать чай», определенным образом включается (инкорпорируется) в состав глагольного комплекса, а выражение объекта теряет самостоятельность. Но абхазский язык внезапно перестал употреблять эти структуры, когда потребовалось выражать непривычные объекты культивации — например, вместо чая — хлопок и кукурузу (введенные волюнтаристским распоряжением Н. С. Хрущева). До известной степени подобно этому французский язык часто выражает привычные объекты с «нулевым маркером» (т. е. без артикля), но если объект мало-мальски выходит из сферы привычного, то артикль восстанавливается: *faire escale* «сделать посадку (о самолете)»

576

или «сделать перерыв (в плавании, в путешествии)», но *faire une escale d'urgence* «сделать вынужденную посадку (перерыв и т. п.)».

В русском языке такое же различие существует лишь семантически, а не грамматически: *принять меры* (= «реагировать, действовать»), но *принять экстраординарные меры, незаконные меры*, и т. п. (синонимическую замену в виде одного слова подобрать, по-видимому, в последнем случае трудно).

Под какие общие категории можно подвести такие противопоставления объектов, упоминаемых в «тексте», как их категоризовать? Как «новое» в противопоставлении «старому»? Или «стандартизованное» против «нестандартизованного»? Или «привычное» против «непривычного»? Или «часто встречающееся» против «редкого»? Все эти категоризации применимы в анализе текста.

Но Аристотель применяет иное — «существенное» в противопоставлении «несущественному, случайному» пронизывает всю его систему.

В системе Аристотеля имеется две классификации выражений я з ы к а (т. е. прежде всего имен, а также глаголов и сложных словосочетаний, в том отношении, в каком они близки к именам): I. Категории, II. Предикабилии. Категории, строго говоря, не являются категориями языка, они — виды бытия и одновременно виды выражений языка, взятых по их отношению к видам бытия. (Категории Аристотеля подробно

рассмотрены нами выше в наст. книге: здесь, разд. 1, и Часть Вторая «В трехмерном пространстве языка», гл. I, 2).

П р е д и к а б и л и и (их система изложена главным образом в «Топике») — это выражения языка, взятые по их отношению к связной речи, к тексту, т. е. прежде всего именно по их свойству быть пригодным (или непригодным) для определения того или иного подлежащего, это — классы «определятельности сказуемого» по отношению к подлежащему, иначе — классы предизируемости (см. также превосходную их характеристику в Комментарий 3. Н. Микеладзе [Микеладзе 1978, 1978а, 646 и сл.]). Общая система предикабиллий такова — см. схему:

Схема 3



Классификации по Категориям и по Предикабиллиям независимы друг от друга, но соотносены. Каждое сказуемое может быть охарактеризовано одновременно по той и по другой классификации. В классификации Предикабиллий имеется некоторая внутренняя градация сказуемых по отношению к сущности вещи (грамматического подлежащего) Но сущность, сущностное — это одновременно и устойчивый признак вещи, означаемой подлежащим. Только одна рубрика — «Привходящее» (латин. accidens, accidentalis) занимает здесь исключительное положение. По Аристотелю, такое сказуемое означает случайный признак предмета (вещи) в контексте данной ситуации (ситуации, описываемой данным предложением текста). Интересно, что такой авторитетный философский словарь, как Словарь Лаланда, определяет этот термин так: «Accidentel: a) То, что принадлежит акциденцу, не эссенции («эссенция» в западноевропейской философской традиции, в общем, заменяет термин «сущность», хотя по существу и не совпадает с ним, см. в наст. кн. Часть II. — Ю. С.) <...>; б) То, что происходит случайным образом, по стечению обстоятельств (d'une manière contingente ou fortuite), противоположно необходимому. Поэтому, в бытовом языке, „то, что случается редко”»

[Lalande 1972, 13—14]. Таким образом, все приведенные нами выше возможности категоризаций фактически здесь используются одновременно. (Общий вопрос о «случайном» у Аристотеля хорошо исследован в работе [Зубов 1963, 85—94].)

Сам Аристотель дает «привходящему» такое определение, точнее — два определения: «Привходящее — это то, что хотя и не есть что-либо из перечисленного — ни определение, ни собственное, ни род, но присуще вещи, или то, что одному и тому же может быть присуще и не присуще, например, быть сидящим может и быть и не быть присуще — одному и тому же. Точно так же и бледность. Ибо ничто не мешает, чтобы одно и то же иногда было бледным, а иногда не бледным. Из приведенных определений привходящего второе лучше. В самом деле, когда приводят первое определение, то для того, чтобы понять его, необходимо заранее знать, что такое определение, и собственное, и род. Второе же есть независимое определение для познания того, что же есть само по себе то, о чем речь» [Аристотель 1978б, 354 (= 102 b, 4)]. Таким образом, Аристотель здесь подчеркивает связь «привходящего» с непосредственной данностью речи, текста.

Интересно отметить, что даже и здесь, где речь идет как бы уже о совершенно привходящем, тем не менее «языковым ядром» этого понятия оказывается одна категория древних индоевропейских языков, которая выражает абсолютно необходимую принадлежность. Дело в том, что «быть сидящим» — это глагол с характеристикой «только медиальный», medium tantum, выражающий действия, происходящие внутри субъекта, не имеющие пары выражения в виде «переходных» действий активного залога. Напротив, глаголы «только медиальный» противопо-

ставлены в системе глаголам типа «только активный», activum tantum выражающим активные действия, присущие субъектам как их неотъемлемые характеристики. В древних индоевропейских и, по данным реконструкции, в протоиндоевропейском к ним относятся: «жить», «идти», «ползти» «дуть», «течь», «гореть и жечь» и т. п.; т. е. «ветер» есть «то, что дует», «вода» — «то, что течет», «огонь» — «то, что горит и жжет», «змея» (букв. «ползущая») — «то, что ползет», «живое» — «то, что живет».

Таким образом и здесь, где Аристотелю нужно выбрать пример «привходящего», он, как бы подчиняясь какой-то неизбежной для него логике, все-таки неосознанно

выбирает нечто «необходимое, сущностное», — хотя и для ограниченного круга объектов.

В целом, по всем аристотелевским примерам, можно сказать, что Аристотель как бы «идеализирует» текст, т. е. сводит его характеристику к отношениям «существенных и «случайных» признаков объектов, о которых говорится в тексте некогда происшедшего события, со своим сюжетом, персонажами, их действиями; субъект же — в случае, когда басня используется как часть текста — представляет собой «субъект в высшем смысле», некоего человека — носителя «состояния сознания, морального вопроса», которое этот человек и пытается прояснить с помощью предцизируемой басни. (С другой исходной точки подобный вопрос возник также в работе [Падучева 1984].)

Сам Аристотель сделал басню предметом своего анализа в «Риторике» [Аристотель 1978б, 104 и сл.; 1393а и далее]. Но и здесь главная линия его анализа — сущностная: басню он рассматривает в связи с понятиями «пример», «изречение» и «энтимема»: «Энтимемы суть силлогизмы; <...> заключения и посылки энтимем, если отнять у них форму силлогизма, являются, можно сказать, изречениями», например:

Из мужей нет ни одного, который был бы свободен.

Это — изречение. Но оно делается энтимемой, если к нему присоединить следующее:

Один богатства раб, а тот — судьбы (Риторика, 1394b 5).

Что касается силлогизма, то категорический (т. е. безусловный) силлогизм основан на понятии «необходимость». Гюнтер Патциг, анализируя в своей известной работе Первую книгу Первой аналитики Аристотеля, показал, каким важным и разветвленным, нюансированным, оказывается это понятие в силлогистике Аристотеля [Patzig 1959, Кар. III]. Патциг также показал, что эта аристотелевская силлогистика является действенной (непротиворечивой) только в такой системе понятий, где к каждому понятию (соответственно — термину силлогизма) имеются два сопоставленных в иерархии понятия — одно более высокого ранга, подчиняющее, другое — более низкого ранга, подчиненное, т. е. именно так, как обстоит дело в системе «дерева Порфирия» (см. здесь выше, раздел 1). В этой системе (как, впрочем, и в естественном языке) не может быть предложений (утверждений) с Категорией в качестве субъекта (но толь-

ко в качестве предиката) и, напротив, предложений (утверждений) с индивидуальным (сингулярным) термином в качестве предиката (но только в качестве субъекта).

Конечно, если рассматривать дискурс, хотя бы и научный дискурс, в его современном понимании, но в духе категорической силлогистики Первой книги Первой аналитики, то мы придем к странному выводу, что всякий достаточно длинный текст, дискурс выражает (т. е. имеет своим предметом) отношения необходимости между вещами, т. е. их сущностные характеристики. Но это, конечно, не так: дискурс может говорить о чем угодно, а не только о сущностных характеристиках объектов речи.

Выход из этой, на первый взгляд парадоксальной, ситуации состоит в том, чтобы учитывать два следующих обстоятельства.

Во-первых, что должна существовать дополнительная к системе категорического силлогизма другая система. Ее основы заложены уже самим Аристотелем, поскольку значительная часть Первой аналитики посвящена анализу модальных силлогизмов, содержащих проблематические (возможные) и алдиктические (необходимые) посылки. Один вариант этой системы на современном уровне был развит под названием «модальной силлогистики» К. И. Бахтияровым, в связи с чем возникла более общая формальная система — «Силлогистика как логика точек зрения» (в работе [Бахтияров 1996]). «Семантика точек зрения аналогична семантике возможных миров в том отношении, что с ее помощью оценка «истинно» («ложно») расщепляется на множество конкретных оценок: «истинно с точки зрения *i*», «истинно с точки зрения *j*» и т. д. Благодаря этому для формул силлогистики удастся построить некоторое подобие истинностно-функциональной интерпретации логики высказываний». Так «высказывание Vx истинно с точки зрения *i*, если и только если x истинно с некоторой точки зрения *j*, наблюдаемой из *i*» [Бахтияров 1996, 6—7].

Во-вторых, — и это особенно важно для философии языка, — необходимо учитывать современное различие «теоретического (идеализированного) силлогизма» и «практического силлогизма» — различие, изученное Г. Х. фон Вригтом.

Само по себе понятие «практического силлогизма» как умозаключения, ведущего к действию (в то время как «теоретический силлогизм» ведет к новому знанию), находят уже у самого Аристотеля в «Никомаховой этике» (кн. 7, 5; 1147 а) (в следующей цитате мы опускаем особенности русского перевода данного издания — квадратные скобки,

добавления греческих терминов и т. п.): «Кроме того, людям дано также обладать знанием способом иным по сравнению с только что названным. Действительно, в обладании знанием без применения мы видим уже совсем другое обладание, так что в каком-то смысле человек знанием обладает, а в каком-то не обладает, как, скажем, спя-

щий, одержимый и пьяный. <...> Если высказывают суждение, исходящее из знания, это отнюдь не значит, что им обладают, <...> начинающие ученики даже строят рассуждения без запинки, но еще и без всякого знания. Так что высказывания людей, ведущих невоздержную жизнь, нужно представлять себе подобными речам лицедеев (актеров. — Ю. С.). И, наконец, на причину невоздержности можно посмотреть еще и с точки зрения естествознания. Одно мнение, т. е. посылка, касается общего, другое — частного, где, как известно, решает чувство. Когда же из этих двух посылок сложилось одно мнение, то при теоретической посылке необходимо, чтобы душа высказала заключение, а при посылках, связанных с действием, — чтобы тут же осуществила его в поступке» [Аристотель 1984, 197].

Фон Вригт как бы прямо продолжает из этого исходного пункта: «Я думаю, Энскомб (предшествующая фон Вригту исследовательница этого вопроса. — Ю. С.) правильно полагает, что практический силлогизм не является формой доказательства, что рассуждение этого типа *качественно* отличается от доказательного силлогизма. Тем не менее его свойства и отношение к теоретическому рассуждению сложны и до сих пор остаются неясными. Практический силлогизм имеет огромное значение для объяснения и понимания действия». Он «является той моделью объяснения, которая так долго отсутствовала в методологии наук о человеке и которая является подлинной альтернативой модели объяснения через закон.

Как подводящая (под закон. — Ю. С.) модель является моделью каузального объяснения и объяснения в естественных науках, так практический силлогизм является моделью телеологического объяснения в истории и социальных науках» [Вригт 1986, 64].

(Добавим, что эта проблематика в последнее время получила освещение в книге А. Л. Блинова и В. В. Петрова «Элементы логики действий» [Блинов, Петров 1991].)

ГЛАВА III

ТЕКСТ. ОТ ТЕКСТА К ТОМУ, ЧТО ИЗВЛЕКАЕТСЯ ИЗ ТЕКСТА. НОМИНАЛИЗМ — ВТОРАЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

0. Вводные замечания

Суть номинализма как философии языка состоит в том, что онтологические объекты не признаются существующими вне и до всякого языка (как в реализме), а некоторым образом извлекаются из языка, или конструируются на его основе. Главным языковым основанием при этом всегда считалось имя (латин. *nomen*, откуда и сам термин номинализм). Мы, однако, намерены показать, что при таком подходе и сама процедура извлечения предзадана языком. Этому вопросу, на который никогда не обращалось внимания при рассмотрении основ номинализма, и посвящен первый раздел настоящей главы. Следует ожидать, что по всем названным причинам (т. е. и потому, что непривычна его тема, и потому, что языковое основание рассматривается здесь в большом приближении к весьма мелким деталям языка, говоря языком кинематографистов — «крупным планом»), этот раздел покажется «философам языка» скучным и превосходящим меру их терпеливого чтения. Мы всё же считаем, что философия языка не может строиться только на общих соображениях, без внимания к фактам самого языка, зачастую очень «мелким».

Следующее предварительное резюме, возможно, облегчит чтение: реально звучащее высказывание представляет собой некую целостность, развертывающуюся во времени; в зависимости от того или иного членения этой целостности наблюдателем-исследователем устанавливаются единицы системы, которые, следовательно: а) не даны заранее, б) зависят от примененной процедуры деления целого. Собственно, это и есть языковое основание номинализма, — при условии, конечно (которое само не содержится в предмете членения), что никаких других единиц, данных исследователю до звучащего высказывания и его членения, не предполагается.

1. В плане выражения: длинный фонетический компонент; понятие фонемы зависит от естественного членения речи на слоги

Наиболее общим определением фонемы, подходящим, с теми или иными частными изменениями, к разным фонемным теориям, являет-

ся определение ее как кратчайшей части, или единицы, в фонологической оппозиции слов или морфем. Определенная таким образом фонема может соответствовать в наблюдаемой речевой цепи отрезкам разной протяженности — кратчайшему звуку речи, не кратчайшему звуку речи — дифтонгу или аффрикату, наконец, слогу. В этом ряду понятий разумеется, лишено смысла утверждение, что понятие фонемы может зависеть от понятия слога. Проблема, которую мы собираемся поставить, заключается совсем в другом.

Общеизвестно, что фонетическая система одного и того же языка в один и тот же момент времени нередко допускает несколько различных фонемных «решений». Возможность нескольких фонемных решений сама уже не может быть объяснена в терминах фонологических оппозиций слов и морфем. В таком случае возникает задача выявить ту объективную основу, которая остается незатронутой и неизменной при различных фонемных описаниях и которая позволяет судить о большей или меньшей адекватности каждого из них. Такова суть поставленной проблемы.

Уже из заголовка ясно, на каком пути мы намерены искать ее разрешения: мы полагаем, что такой объективной основой выступает слоговая организация языка. Если результатом фонемного анализа являются фонемы, единицы кратчайшие и одновременно абстрактные, продукт предельной сегментации речевого потока, то при возможности нескольких различных фонемных анализов одного и того же языка мы должны выйти за рамки системы фонем и рассмотреть систему слогов, единиц более конкретных и в подавляющем большинстве случаев более протяженных, чем фонемы, результат не предельного разложения речевого потока.

Предлагаемое разрешение проблемы является чисто теоретическим. Практически может оказаться, а в большинстве случаев в действительности и оказывается, что система слогов известна исследователю хуже, чем система фонем. Но принципиально это не меняет существа дела — обоснованного предположения, что именно система слогов объективно определяет фонемные решения, а не наоборот. Нашей задачей является показать принципиальную зависимость между тем и другим, притом зависимость однонаправленную, и по возможности выявить степень этой зависимости, а вовсе не настаивать на том или ином решении применительно к тому или иному отдельному языку. В дальнейшем в этой статье мы будем исходить из допущения

(впрочем, каждый раз более или менее обоснованного), что нам известны принципы слога деления и система слогов во всех обсуждаемых случаях. Начнем с краткой истории вопроса, которая покажет различие двух принципов описания — предельного (дискретного) и не предельного (недискретного) разложения.

I. В лингвистике последних десятилетий господствовало убеждение, что язык можно описать наилучшим образом, если за основу будут приняты элементарные, предельные сущности, из которых дедуктивным путем, через комбинации, оппозиции или трансформации, будут выводиться все остальные сущности. Убеждение это заходило так далеко, что даже слог, явление артикуляторное и просодическое, полагали возможным описывать в фонологических терминах. Например, Л. Ельмслев считал, что в целях построения общей абстрактной теории отношения между ударением и слогом должны быть «перевернуты»: «ударение» (accent) и «модуляцию» следует рассматривать как первичные категории, а слог — как производное от ударения, как такой минимальный сегмент, который характеризуется ударением¹. «Ударение» же в системе Ельмслева является предельной единицей абстрактного уровня, «кенемой», как и фонема. Н. С. Трубецкой рассматривал все просодические признаки, включая слога деление, как один из видов фонологических оппозиций. Слог определялся им, как и у Ельмслева, в качестве производного от более абстрактных фонологических понятий — от понятия оппозиции или от понятия гласного («сам же слог ни при каких обстоятельствах не может служить базой для определения гласного»)².

Однако, с другой стороны, в последние полтора десятилетия появились и все более давали себя знать противоположные тенденции — отказ от предельных, дискретных и абстрактных единиц как основы лингвистического описания. Например, в исследованиях по реконструкции лингвисты все чаще предпочитали пользоваться более конкретным, чем фонема, понятием «звукотипа»³. Это понятие, как известно, стало применяться и в так называемой «порождающей фонологии», которая оперирует не «фонемами», а «звукотипами», характеризуемыми в дихотомических признаках

¹ L. Hjelmslev, accent, intonation, quantité, «Studi baltici», 6, 1936—1937, стр. 7, 19.

² Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 210. Из более новых исследований в том же направлении см. интересную работу: В. И. Постовалова, Фонологическая структура слога (к методике описания). АКД, М., 1967, где, однако, фактически исследуется не слог, а абстрактная модель слога.

³ Ср., например: И. Г. Милославский, История правил сочетаемости согласных звуков в русском языке. АКД, М., 1966.

(гласный, согласный, компактный, диффузный, низкий, дизный и т. д.). Усиливалось внимание к просодическим явлениям, не укладывающимся в рамки предельных кратчайших единиц⁴. Были сделаны и попытки осмыслить это фактическое положение дел как проявление общего «недискретного принципа» лингвистического описания. В американской лингвистической школе еще в 40-е годы

584

этот принцип был намечен в начальной форме З. Харрисом⁵, но вслед за тем, по-видимому, заброшен. Несколько позже, и уже более обобщенно он был сформулирован в Женевской школе А. Фреем⁶. Как общий фонетический принцип он получил развитие в английской лингвистике в работах Дж. Ферса, Р. Робинса, Ф. Палмера и др.⁷. В советской лингвистике недискретный принцип развивался как в применении к реконструкции, В. В. Мартыновым⁸, так и в других отношениях⁹.

Следует отметить и особую, как бы срединную, тенденцию: признание элементов более крупных, чем предельные единицы-фонемы, но одновременно трактовку этих неопредельных единиц как фонем; таким путем возникает понятие «группофонем» или «силлабофонем».¹⁰

II. В свете общего недискретного принципа мы рассматриваем слог как основную конкретную антропофоническую единицу и определяем понятие слога независимо от фонологических понятий, антропоцентрически, с позиции говорящего человека. Слоги

⁴ Ср. интересную просодическую трактовку ряда фактов в работе: С. Д. Кацнельсон, Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966, стр. 84—85; 213.

⁵ Z. S. Harris, Simultaneous components in phonology, «Language», 20, 1944, стр. 181—205 (позднее включено в его книгу «Methods in structural linguistics», Chicago, 1951, стр. 132).

⁶ H. Frei, Langue, parole et différenciation, «Journal de psychologie normale et pathologique», avril—juin, 1952, стр. 137—157 (перепечатано в кн. «A Geneva school reader in linguistics», ed. by R. Godel, Bloomington — London, 1969, стр. 278—300).

⁷ См. сб. «Prosodic analysis», ed. by F. R. Palmer, London, 1970.

⁸ В. В. Мартынов, Славянская и индоевропейская аккомодация, Минск, 1968.

⁹ Ю. С. Степанов, Лексико-семантическая система языка в освещении недискретной лингвистики, «Лексико-семантическая система языка и методы ее исследования. Тезисы конференции, МГПИИЯ им. М. Тореза», М., 1971; его же, Ударение и метатония в литовском глаголе, «Baltistica. I Priedas», 1972.

¹⁰ Р. И. Аванесов, Из истории русского вокализма. Звуки I и Y, «Вестник МГУ», 1947, 1, перепечатано в кн.: А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, М., 1970, стр. 278—299; В. К. Журавлев, Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. (Докл. на V Международном съезде славистов). Минск, 1963; его же, Генезис группового сингармонизма в праславянском языке. АДД, М., 1965; его же, Группофонема как основная фонологическая единица, «Исследования по фонологии», М., 1966; ср. из новых работ: J. V. Hosper, The syllable in phonological theory, «Language», 48, 3, 1972; J. J. Spa, A propos du trait phonologique «syllabique», «Linguistics», 103, 1973.

— минимальные единицы, на которые возможно разделить речь паузами. Слоги — естественное деление речи, основанное на организации дыхания в процессе речи¹¹. Однако слоговое деление подчинено также специфическим законам каждого языка, и поэтому даже при одинаковой последовательности гласных и согласных может быть в разных языках различным. Легко заметить, что в нашем определении слог определяется не изнутри, а извне, как отрезок между паузами; в сущности определяется не слог, а сло-

585

деление. Для цели, поставленной в настоящей статье, не требуется ничего иного, более «точного» определения слога. (И тем более не требуется определения посредством инструментальных данных. Специальный прибор или машина в теоретической лингвистике нужны лишь для того, чтобы точнее установить, что в действительности слышит человеческое ухо там, где оно слышит нечто, например паузу слогораздела. Но они вполне бесполезны там, где нормальное человеческое ухо не слышит ничего; в таких случаях инструментальные данные не имеют отношения к лингвистике.) Данное определение соответствует тому, как в действительности поступают фонологи: например, в системе Р. И. Аванесова слогораздел определяется при скандированном произношении.

Такие явления, как дизность (палатализация) или бемольность (веляризация или лабиовеляризация), несомненно принадлежат слогу в целом. В простейшем виде, как непосредственная данность, они могут быть продемонстрированы на открытом слоге: *ki* — дизный, *ku* — бемольный. Когда в процессе описания языка переходят от слога к более абстрактным дискретным единицам, фонемам, то возникают три теоретические возможности. Во-первых, признак дизности (или, соответственно, бемольности) можно отнести одновременно и к гласному, и к согласному, продублировать его в обеих фонемах. Но так не поступают ни в одной фонологической теории: описание стало бы явно избыточным. Во-вторых, признак дизности (бемольности) можно отнести к согласному, тогда гласный будет свободен как от дизности, так и от бемольности и останется одним и тем же в обоих случаях. В-третьих, признак дизности (бемольности)

¹¹ Ср.: Н. И. Жинкин. Механизмы речи, М., 1958, стр. 18 и др.; Л. В. Златоустова, Фонетические единицы русской речи (экспериментальное исследование). АДД, М., 1970.

может быть отнесен к гласному, и тогда одним и тем же, беспризнаковым окажется согласный (см. табл. 1).

Таблица 1

Слог	1-й способ: признаки дизности и бемольности отнесены к гласному	2-й способ: признаки дизности и бемольности отнесены к гласному
Диезный <i>ki</i>	k' — i̇	k — i
Бемольный <i>ku</i>	k ^u — i̇	k — i ^u ([ы]) или [и]

Знаком i̇ обозначен гласный типа русского /ы/ в слове *мытьё* или испанского [U] в слове *шу* — краткое неогубленное [и] или очень заднее [ы].

Оба способа представления фонемной системы теоретически одинаково возможны. Эту возможность обнаруживает, например, современный русский язык. Наиболее распространенное описание фонем русского языка дается в основном в терминах

— 586 —

московской фонологической школы. При этом, как известно, выделяются коррелятивные ряды твердых и мягких парных согласных, гласные же не имеют коррелятивных рядов (*и, э, а, о, у*). Звуки [ы] и [и] расцениваются как варианты одной и той же фонемы [и]. Это описание на основе первого из названных способов.

Т. Р. Вийтсо представил интересный опыт описания фонемной системы современного русского языка на основе второго способа¹². Он выделяет один ряд согласных (твердый), а в гласных устанавливает два коррелятивных ряда, соотносительных по признаку переднего — заднего ряда: задние — а, и, о, у (или i̇ — в ударном слоге), передние — ä, ü, ö, i, e (или e — è — ε — в ударном слоге). Система Т. Р. Вийтсо не лишена некоторых противоречий, но они относятся скорее к морфологическим последствиям этого фонемного представления, чем к самому фонемному представлению. Так, форму типа *гвозди*, мн. ч. от *гвоздь*, естественно представить в этой системе как [gvozɟju], где [j] — фонема или однофонемная морфема. Но такому представлению мешает утверждение, что сочетание *ji* — а значит и *iy* — дает на поверхностном уровне сочетания типа *польёт, олады*, но не сочетания типа *полёт, гвозди*. Если же представить форму *гвозди* как [gvozdi], то мы получаем две различные

¹² Т. Р. Вийтсо, Об одной возможности описания фонологии русского языка, «Уч. зап. [Тартусск. гос. ун-та]», 139 («Труды по русской и славянской фонологии», VI), 1963, стр. 405—409.

морфемы мн. числа: одну в случае *гвоздь* — *гвозди*, другую в случае *дрозд* — *дрозды*, что, как известно, является неоправданным усложнением на морфемном уровне. Однако те или иные противоречия имеются во всяком фонемном описании, и в целом система, предложенная Т. Р. Вийтсо, вполне доказывает возможность такого представления для современного русского языка.

Древнерусский язык до эпохи «смягчения полумягких» и «падения редуцированных» (вполне определенно до XI в.) представляет собой иную языковую систему, в которой коррелятивные признаки дизности — бемольности с большей определенностью могут быть отнесены к гласным, а не согласным. Общепринята по крайней мере данная трактовка принципа дизности для звуков [и], [ы], в силу чего эти звуки рассматриваются для этого периода как самостоятельные фонемы, причем корреляция согласных по твердости — мягкости как фонологическая подсистема отсутствует¹³.

Следуя ретроспективно этой логике развития славянской системы, мы должны обнаружить в общеславянском позднего периода такую систему, которая однозначно соответствует второму способу описания. Это, как известно, и сделано Ф. Марешом. Он приходит к выводу, что последовательное проведение различия по заднему — переднему темб-

— 587 —

ру создало без остатка (*beze zbytku*) два ряда гласных — велярных и палатальных. Тем самым возникло определенное отношение между гласными, с одной стороны, и согласными и сонантами — с другой: те из них, которые были одинаковы по месту образования (изотопны), а также фонологически (темброво) параллельны с гласными, т. е. велярные и i̇, составили одну группу, остальные другую. При этой изотопности легко осуществляется ассимиляция, особенно когда у негласных фонем палатальный ряд не заполнен. Ассимиляция проходит всегда в направлении к признаковости, т. е. к палатализации¹⁴. В свете этой системы легко объясняются первая и вторая палатализации, а по мнению Ф. Мареша, также и перегласовка *o > e* (*logo : jogo > jego*).

¹³ См.: Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 284—291; Вал. Вас. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968, стр. 182, 328.

¹⁴ F. V. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vyvoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», 25, 4, 1956, стр. 450—451. Ранее соответствующие идеи высказывались А. А. Шахматовым (1915), Р. Якобсоном (1929), Н. Ван-Вейком (1950). Дальнейшее развитие см. в указанных работах В. К. Журавлева и В. В. Мартынова.

III. Теперь можно поставить более общий вопрос: в каких случаях следует предпочесть первое, а в каких второе решение? Почему (если не считать достаточной причиной орфографическую традицию) для современного русского языка предпочитается первое представление (признаки дизности и бемольности отнесены к согласным), а для праславянского многие авторы избирают второе (те же признаки относятся к гласным)?

Можно предположить, что существуют два объективных основания разной степени общности, причем как то, так и другое связаны с организацией слоговой системы анализируемого языка.

Первое основание заключается в степени аккомодации в пределах слога в данном языке. Под аккомодацией вообще мы понимаем уподобление друг другу гласного и согласного, соседствующих в речевой цепи. Языки со слабой аккомодацией в пределах слога естественно позволяют легко разорвать признак дизности (бемольности), определенно отнеся его в одних случаях к гласному, в других случаях к согласному. Французский язык является примером языка со слабой аккомодацией, где признак дизности определенно относится к гласному. В этом языке: можно установить два коррелятивных ряда гласных:

дизный ряд: i, e (é), a (patte), ð, ø, ù

недизный ряд: –, ε (è), a (râte), o, œ, u.

Согласные же во французском не имеют коррелятивных рядов. [Заметим, что, поскольку мы исходим из взаимодействия гласных и согласных, то термины «низкий — высокий», «компактный — диффузный», «бемольный — дизный», выражающие различные содержания в

дихотомической фонологии, для нас являются синонимами (т. е., например, «низкий» синонимично «компактный», «бемольный»). В совокупности они содержательно раскрывают значение термина «аккомодация».] Следует подчеркнуть, что речь должна идти именно об аккомодации в пределах слога. Так, литовский язык — язык вообще с очень сильной аккомодацией, ср. литов. *Vingis*, *Vingis* [вин'г'ис], то же слово в русском произношении [винг'ис]; русск. в *Паланге* [фпаланг'е], то же в литовском произношении [фпалан'г'е]. Однако в пределах слога литовская аккомодация менее сильна и менее единообразна, чем в русском (что завуалировано особенностями литовской графики —

ее единообразием). Ср.: заднебный *kiu* [к'у] — полная аккомодация; зубной *tiu* [т'у] — неполная аккомодация, глайд; губной *piu* [п'ју] — снятие аккомодации благодаря превращению глайда в согласный; например: *kiugo* 'прохудился', *tiulis* 'тюль', *piuvenos* 'опилки'.

Эти особенности литовской аккомодации не позволяют, с нашей точки зрения, устанавливать последовательные коррелятивные ряды твердых и мягких согласных фонем в литовском языке. Примером языка с сильной аккомодацией является русский. Именно это обстоятельство является той общей причиной, которая обуславливает в нем возможность двух различных фонемных решений. Все сказанное дальше относится прежде всего к языкам с сильной слоговой аккомодацией. Вопрос о том, насколько те же положения применимы к языкам со слабой аккомодацией, мы сейчас оставляем открытым.

Однако и древнерусский, и старославянский, и праславянский также являются, несомненно, языками с сильной слоговой аккомодацией, и тем не менее для них при тех же двух возможностях предпочтительнее второе решение, в то время как для современного русского предпочтительнее первое. Очевидно, что сильная аккомодация обуславливает лишь возможность обоих решений, но выбор одного из них должен быть обоснован иными факторами. Необходимо, следовательно, искать второе, более частное основание.

Искомое второе основание можно, как мы полагаем, сформулировать в следующем виде: для аккомодирующего языка с тенденцией к закрытым слогам должен быть предпочтен первый способ (два коррелятивных ряда согласных при одном ряде гласных), для аккомодирующего языка с тенденцией к открытым слогам — второй способ (один ряд согласных при двух коррелятивных рядах гласных). Праславянский — язык с почти безраздельно господствующей тенденцией к открытым слогам, древнерусский — язык с еще сильно выраженной тенденцией к открытым слогам, но с заметным переходом к иной тенденции, современный русский — язык с более сильной тенденцией к закрытым слогам. Этими различиями и должен быть объяснен выбор различных фонемных решений. При общем условии аккомодации, гласный, находясь между согласными, т. е. в закрытом слоге, находится тем

самым в несвободной позиции и его признаки обусловлены консонантным окружением, и этим объясняется выбор первого решения. В открытых слогах гласный находится в более свободной позиции, и этим объясняется выбор второго решения.

Теоретически предложенные здесь два решения фактически с одинаковым успехом применяются при описании таких языков, как аранта, лакский и, возможно, также в равной мере применимы к абхазскому¹⁵. Во всех случаях выделяется либо один неопределенный гласный [ə] с его основными вариантами — диззным и бемольным, либо три гласные фонемы. А. Мартине указал на типологический параллелизм общеславянского и французского в этом отношении¹⁶. В кашмири, по данным Д. И. Эдельман, три типа согласных (простой — палатализованный — лабиализованный) охватывают все локальные ряды согласных, кроме лабиальных, не принимающих лабиализации, и палатальных, не принимающих палатализации¹⁷. Вместе с тем отмечается тенденция к открытым слогам. Можно, следовательно, предполагать, что для кашмири окажутся одинаково адекватными оба способа фонемного представления. Таким образом, установление двух коррелятивных рядов гласных, диззного и бемольного, при одном ряде согласных может быть обусловлено двумя различными факторами — либо тем, что данный язык имеет слабую слоговую аккомодацию (как современный французский), либо тем, что язык имеет сильную слоговую аккомодацию, но при этом в нем действует тенденция к открытым слогам (таково положение в праславянском языке).

IV. Выше мы рассмотрели лишь две слоговые черты — диззность и бемольность (а говоря точнее, даже одну — диззность, так как для простоты мы отождествляли бемольность с недиззностью, что допустимо лишь в самом первом приближении). Теперь следует расширить проблему также и в смысле материала и поставить следующий вопрос: какие еще слоговые черты допускают аналогичную двойственную трактовку при фонемных решениях?

Прежде всего, очевидно, сюда следует причислить ларингализацию в ее разных конкретно-языковых проявлениях (аспирация, абруптивность согласных;

¹⁵ Дискуссию см.: М. А. Кумахов, Теория моновокализма и западнокавказские языки, ВЯ, 1973, 6.

¹⁶ А. Martinet, Langues à syllabes ouvertes: le cas du slave commun, ZfPh, 6, 1952.

¹⁷ Д. И. Эдельман, К типологии индоевропейских гуттуральных, ИАН ОЛЯ, 1973, 6.

ларингализация, «скрипучесть» гласных и т. д.). Аспирация («придыхание»), как показал Дж. Ферс, допускает, как и признаки диззности — бемольности в нашем понимании, суперсегментную трактовку. Ей объективно соответствует передача «придыхания» разным частям слога и даже слова в целом. Например, в восточном хин-

дустани (в тщательном произношении) *pəhyle*, в западном хиндустани (в быстром произношении) *pəhyle*, в пенджаби *pēylle*¹⁸. Другими примерами того же процесса могут быть произношение в американском просторечии слов с начальной группой *wh-* как [hw]: *where* [hwεê] и т. п., а также перенос придыхания в древнегреческом, ср. *ταχ-/θαχ-* (*ταχ-/thàk-*): *ταχύς* — *θάττων*.

Далее сюда же следует отнести фарингализацию с ее столь же разнообразными частными проявлениями, такими, как «гортанная смычка» (glottal stop) и другими.

Наконец, все вообще сонантические явления допускают, по-видимому, такую же суперсегментную, слоговую трактовку с вытекающей из нее возможностью двояких фонемных решений.

Попытаемся представить этот материал в некоторой системе, уточнив предварительно понятие «нейтрального слога», по отношению к которому оценивается диззность, бемольность, аспирация и т. д. Выше мы рассматривали диззность как явление, тождественное палатализации, а бемольность как явление, тождественное веляризации или лабиовеляризации. Таким образом, мы исходили по существу из оценки диззности и бемольности относительно некоторого типа слога, принимаемого за нейтральный. В общем виде гласный такого слога может быть представлен либо как ненапряженное среднее [a], как в русском сад, либо как любой гласный среднего ряда: английское [a], упомянутое выше [ĩ]. Диззность и бемольность мы рассматриваем как повышение или понижение по отношению ко всей зоне {[a], [ə], [ĩ]}, принимаемой в целом за нейтральную. (Это необходимо иметь в виду, так как иногда диззность и бемольность расцениваются как качества слогов соответственно: [ki] — [kĩ], русских [ки] — [кы], или также [кю] — [ку] в их отношении друг к другу.)

Однако разные типы согласных тяготеют к разным частям внутри этой зоны: естественным нейтральным слогом для губных будет /pĩ/, для зубных /tə/, для велярных /ka/. Причины этого лежат в соответствии друг другу собственных частот [p] и [ĩ], [t] и

¹⁸ J. R. Firth, Sounds and prosodies (1948), «Prosodic analysis», стр. 16.

[ə], [k] и [a]¹⁹. Это уточнение необходимо для более развернутого представления, которое может быть предложено в виде типологической таблицы (см. табл. 2).

Таблица 2

Дискретные фонемы начала слога	Недискретные (просодические) характеристики слога			
	Нейтральность	Диезность (палатализация)	Бемольность (лабиовеляризация)	Ларингализация
Губной [p]	[i] <i>pī</i>	[i] ¹ <i>pi</i>	[u] ¹ <i>pu</i>	[h] ¹ <i>ph</i>
Зубной [t]	[ə] <i>tə</i>	[i] ² <i>ti</i>	[u] ² <i>tu</i>	[h] ² <i>th</i>
Велярный [k]	[a] <i>ka</i>	[i] ³ <i>ki</i>	[u] ³ <i>ku</i>	[h] ³ <i>kh</i>

Подобно тому, как зона нейтральности включает в себя три разновидности, те же различия соответственно должны иметься в зонах диезности, бемольности и ларингальности. На схеме они обозначены цифровыми индексами. Так, например, аспирация («придыхание») может принять три разные формы: у губных $ph^1 > pf > f$, у зубных $th^2 > t\theta > \theta$, у велярных $kh^3 > k\chi > \chi$. Германское передвижение согласных, по-видимому, включает в себя три эти разновидности²⁰.

Для представления слоговых просодических явлений в полной системе необходимо иметь в виду еще следующее обстоятельство. Палатализация есть просодическое явление, вызывающее диезность всего слога, но может существовать и отдельная фонема, воплощающая качество палатальности в дискретном виде — /j/. Точно так же, наряду с лабиовеляризацией как просодическим явлением, ведущим к бемольности слога, может существовать дискретная лабиовелярная фонема /ɥ/ (она представлена, например, в праславянском и древнерусском, ср. литов. *údra* — русск. *выдра*, русские чередования *отец* — *вотчина* и т. п.). Таким же образом обстоит дело, по-видимому, со всеми сонантическими явлениями. Особенное внимание следует обратить на этот третий, дискретный, аспект в связи с ларингальностью. С одной стороны ларин-

¹⁹ См.: E. Fischer-Jørgensen. What can the new techniques of acoustic phonetics contribute to linguistics? (1958), «Psycholinguistics. A book of readings» ed. by Sol Saporta, New York, 1961, стр. 137; Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Халле, Введение в анализ речи, «Новое в лингвистике», 2, М., 1962, стр. 192; Л. В. Златоустова, Фонетические единицы русской речи, стр. 10—11.

²⁰ Еще в «романтический период» сравнительного языкознания эту классификацию «придыханий» создал в Германии Й. А. Канне, которого можно считать прямым предшественником Я. Гримма, см.: J. A. Kappe, Ueber die Verwandtschaft der griechischen und deutschen Sprache, Leipzig, Rein, 1804. О возможном соотношении трех хеттских ларингальных и трех и.-е. гуттуральных (h — h' — h⁰; k — k' — k^u) см.: Т. В. Гамкрелидзе, Хеттский язык и ларингальная теория, «Труды Ин-та языкознания [АН ГрузССР]», III. Серия восточных языков, 1960, стр. 89—90.

гальность — это просодическое явление, которое, как и все явления, рассматриваемые нами в этой системе, может быть фонологически отнесено либо к гласному, либо к согласному (два фонемных решения); с другой стороны, может существовать отдельная дискретная ларингальная фонема (или, возможно, несколько ларингальных фонем). Недостаточным разграничением этих трех реализаций ларингальности, несомненно, ча-

стично объясняется запутанность ларингальной теории в индоевропейском языкознании.

Анализ фарингальности и других сонантических явлений, который может быть проведен таким же образом, мы оставляем до другого случая²¹.

V. С точки зрения сказанного удастся в простой форме изложить известный дискуссионный вопрос о реконструкции ларингальных и гласных в протоиндоевропейском. Существующие по этому вопросу мнения можно сгруппировать в две наиболее общие гипотезы: а) протоиндоевропейский обладал тремя ларингальными ə₁, ə₂, ə₃ и одним гласным, который условно обозначим как a²²; б) протоиндоевропейский обладал одним ларингальным ə и тремя гласными — e, o, a. Представим исходные данные каждой гипотезы не в фонемной, а в слоговой форме:

1-я гипотеза

ə₁a-
ə₂a-
ə₃a-

2-я гипотеза

əe-
əa-
əo-

Нетрудно видеть, что здесь мы имеем дело с разновидностью той же самой ситуации, которая была описана выше (см. табл. 1). Имеется три типа слогов с общим слоговым просодическим признаком ларингальности: один нейтральный — əa или ə₂a, один диезный — əe или ə₁a, один бемольный — əo или ə₃o. Фонематически каждый может быть расчленен двумя способами. Здесь, как и в славянской ситуации, любое из двух решений теоретически возможно. Но перевес одному из них дают соображения о характере слогов протоиндоевропейского. Будем исходить из того, что индоевропейский

²¹ Эта работа позже была, действительно, выполнена, см.: Ю. С. Степанов, Д. И. Эдельман, Семиологический принцип описания языка, «Принципы описания языков мира», отв. ред. Б. А. Серебренников, В. Н. Ярцева, М.: Наука, 1976.

²² Заметим, что вслед за Э. Бенвенистом более принято обозначение e. Ларингальный ə может быть обозначен также черз h, как в табл. 2.

— аккомодирующий язык²³. Если это был аккомодирующий язык с тенденцией к закрытым слогам, нужно предпочесть первое решение. Если в этом языке преобладала тенденция к открытым слогам, то следует предпочесть второе решение. Обратимся теперь к проблеме структуры слога в индоевропейском.

Основной и прочно установленной категорией реконструкции индоевропейского является корень (соответственно основа и аффикс) —

593

единица морфологическая. Слог исследовался в плане реконструкции несравненно меньше. Можно указать лишь несколько работ последних десятилетий, в которых эта проблема специально рассматривалась²⁴. Как ни скудны наличные материалы, они, однако, позволяют с несомненностью заключить, что слоговая структура индоевропейского слова на разных стадиях индоевропейского периода (пра-, прото-, общиндоевропейский) менялась. Структура же корня для всего этого периода является, по самому определению корня, постоянной величиной. Центром всей проблемы оказывается, таким образом, вопрос об отношении структуры корня к структуре слога.

Можно указать две точки зрения на эти противоречивые отношения между корнем и слогом. Рассмотрим первую из них. На последовательных этапах индоевропейского происходит изменение состава слова в сторону его расширения (нефлективное слово; далее флективное слово с основой, равной корню; затем флективное слово с основой, усложненной аффиксами и т. д.). Количество слогов в основе увеличивается, и это приводит к некоторому сдвигу структуры слога, но центральная часть слова — корень сохраняет стабильную слоговую структуру, она лишь как бы «уплотняется», включая в себя в силу переразложения элементы, отходящие к ней от аффиксов. Наиболее последовательно эта точка зрения развита К. Боргстремом в указанной работе (1954). Отсюда следует вывод, что можно однозначно реконструировать слоговую структуру корня точно так же, как однозначно реконструируется (за известными исключениями) корень как морфологическая единица. Реконструкция К. Боргстрема такова: на ранней

²³ См.: В. В. Мартынов, Славянская и индоевропейская аккомодация, «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков [Тезисы докладов Научной сессии]», М., 1964, стр. 80—82.

²⁴ К. Ammer, Studien zur indogermanischen Wurzelstruktur, «Die Sprache», II, 2, 1952; W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin (Texas), 1952; С. Н. J. Borgström, Internal reconstruction of Proto-Indo-European word-forms, «Word», X, 2—3, 1954; В. В. Мартынов, Славянская и индоевропейская аккомодация, Минск, 1968; вопрос также затрагивался в ряде известных работ Е. Куриловича.

стадии протоиндоевропейского те элементы, которые для более поздних стадий выделяются как корни и первичные основы (корни с детерминативами), были односложными Словами; в последующем добавление морфем в некоторых случаях приводило к созданию многосложных слов. Корни и первичные основы имеют слоговую структуру CVCC или CCVC (возможно, CCVCC); при увеличении количества слогов появились структуры CVCVCV...²⁵. Из реконструкции К. Боргстрема следует, что протоиндоевропейский на ранней стадии был языком с закрытыми слогами, на более поздней стадии — языком с тенденцией к открытым слогам, но в результате — поскольку, по К. Боргстрему, состав корня и его слоговая структура одинаково стабильны и соотносятся в общем однозначно, — сосуществуют два основных типа корней соответственно с двумя основными типами слоговых структур.

594

Эта точка зрения, во многом существенно новая, тем не менее покоится на той же основе, что и взгляды А. Мейе. Корень был для Мейе однозначной величиной по самому определению (это утверждение справедливо и теперь), но слог Мейе мыслил как универсальную единицу. Он писал: «Гласная принадлежит целиком к тому слогу, центр которого она составляет; наоборот, согласная часто делится между двумя слогами, которые она отграничивает. Некоторые языки не допускают иной формы слогов, кроме простейшего типа, где каждая гласная отделена от другой только одною согласною. В индоевропейском — не то. Здесь согласный элемент может быть сложным...»²⁶. Таким образом, в сущности, по Мейе, вообще могут быть слоги только одного типа — закрытые (хотя бы закрывание и ограничивалось лишь начальной фазой — имплозией следующего согласного), разница же между языками может заключаться лишь в том, сколько согласных и какие именно помещаются между гласными, т. е. слогоделение сводится к морфологии. Эта точка зрения в настоящее время не может быть принята. На этой основе у А. Мейе устанавливаются в общем однозначные отношения между корнем и его слоговой структурой. Точка зрения К. Боргстрема отличается главным образом тем, что разным видам корней ставятся в соответствие разные для каждого вида типы слогов. Но отношение между корнем и слогом у К. Боргстрема остается постоянным.

²⁵ С. Н. J. Borgström, указ. соч., стр. 278—279, 282.

²⁶ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 160.

Увеличение числа типов объясняется при этом тенденцией к увеличению числа слогов в слове.

Вторая точка зрения, которую мы здесь формулируем в соответствии с нашими предпосылками, в одной части диаметрально противоположна первой. Корень по-прежнему принимается как неизменная морфологическая единица, но слоговая структура индоевропейского слова в целом, а следовательно, и корня, мыслится как постоянно изменяющаяся. Эта точка зрения имеет следующие основания. Во-первых, мы исходим из того, что слоговое деление, будучи антропоцентрической категорией, тем не менее не является универсально единообразным. Слоговое деление в разных языках может осуществляться по-разному даже при сопоставимых структурах речевых цепей. Ср. русское *актер* (по Р. И. Аванесову) и франц. *acteur* (по М. Грамону). Во-вторых, мы исходим из того, что количество слогов в индоевропейском слове остается (статистически) постоянным²⁷. Последнее должно рассматриваться как одно из фундаментальных положений индоевропейских реконструкций. Отсюда может быть сделан единственный вывод. Существует объективное противоречие между двумя группами факторов. Одной группой факторов

595

является постоянство корня как морфологической величины и статистическое постоянство корня как величины, исчисляемой в количестве слогов. Другой группой факторов, находящейся в противоречии с первой, является изменчивость типов слогов и типов слогового деления. Это противоречие разрешается непрерывным перераспределением слоговых границ в пределах слова, а следовательно, и корня. Разумеется, в лингвистическом смысле эту непрерывность следует мыслить как явление дискретное, допускающее рассмотрение по этапам.

Так, оба упомянутых фонемных решения соответствуют, по-видимому, двум различным хронологическим этапам реконструкции. Первая гипотеза (тройной ряд ларингальных при одном гласном) скорее всего отвечает древнейшему этапу протоиндоевропейского²⁸. Вторая гипотеза (упрощение рядов ларингальных и увеличение количества гласных) отвечает более позднему этапу. Упрощение тройного

²⁷ См.: С. Г. Чебанов, О подчинении речевых укладов «индоевропейской» группы закону Пуассона, «Доклады Академии наук СССР», 55, 2, 1947.

²⁸ Мы, следовательно, в этом отношении, хотя и на других основаниях, присоединяемся к точке зрения К. Аммера. Такую же реконструкцию, но по иным основаниям, принимал и Л. Ельмслев («Accent, intonation, quantité», стр. 43—57).

ряда гуттуральных (палатализованный — средний — лабиовеляризованный) с утратой либо палатализованного, либо лабиовеляризованного члена может рассматриваться как завершение этого этапа.

В соответствии с общим принципом реконструкции — единством «пространство — время», согласно которому различия в разное время на одной территории тождественны различиям в одно время на разных территориях²⁹, можно предположить, что каждое из двух названных решений соответствует двум различным диалектным ареалам индоевропейского, в одном из которых преобладала тенденция к открытым слогам.

2. В плане содержания: длинный семантический компонент; понятия субъекта и предиката зависят от членения высказывания

Предварительные замечания.

Предметом этого раздела будут некоторые соответствия между именами и предикатами в предложении, позволяющие вскрыть сущности более общие, чем единицы словаря и единицы синтаксиса, взятые по отдельности. Путь к их установлению, если говорить в самом общем виде, заключается в «челночной процедуре» — движении от синтаксиса к словарю и обратно и снова так же, пока круг общих категорий не обрисовывается достаточно определенно.

596

Взгляд на предложение-высказывание как на основную единицу общения, естественно, требует рассматривать его как нечто семантически единое, цельное. Если в этой единице выделяются части, слов, то на них следует смотреть так, чтобы видеть в каждой из них отражение одного и того же семантического целого. Иначе говоря, в каждом слове нужно видеть при этом нечто семантически общее с другим, сочетавшимся с ним словом. Назовем это явление *семантическим согласованием*.

Границы его заданы формой предложения, которая с семиологической точки зрения есть не что иное, как поверхностная часть содержания (см. гл. I, 2). Форма предложения, ограничивая содержание предложения тавтологией, с одной стороны, и противоречием — с другой, кладет тем самым пределы и семантическому согласованию. Собственно говоря, последнее представляет собой более глубокую часть

²⁹ Четкую формулировку этого принципа можно найти, например, в кн.: «Вопросы теории лингвистической географии», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1962, стр. 11.

семантики предложения, надстраивающуюся непосредственно над формой, следовательно размещающуюся в семантическом пространстве между тавтологией и противоречием.

Сам термин «семантическое согласование», впрочем, не вполне точен: буквально им утверждается, что семантическая общность слов существует заранее, до акта высказывания, у слов как единиц лексики, тогда как в действительности дело обстоит как раз наоборот — семантическая общность есть сущность акта высказывания, а предрасположенность отдельного слова к той или иной сочетаемости — лишь следствие, проекция этого свойства в сферу словаря, абстракция синтаксического свойства в сфере парадигматики.

В истории языкознания и логики возникали разные подходы к изучению этого свойства.

Аналитический подход, описание через анализ, или разложение, возник едва ли не первым. Во всяком случае, уже в средневековых учебниках мы находим весьма точные описания отдельных фрагментов языка с этой точки зрения. Так, было подмечено, что целый класс звуков, издаваемых различными существами, может быть описан, в сущности, как одно звукообозначение языка, один звук, дополнительные, специфические свойства которого зависят лишь от его носителя-субъекта, являются функцией субъекта. Следовательно, желая описать каждый звук этого класса в отдельности, мы должны указать лишь его общее свойство — то, что это именно звук, а затем добавить указание на то, каким субъектом он производится, например: *каркать* = «звук» + «ворона» (где слово ворона выступает как обозначение свойства); *крякать* = «звук» + «утка» (где *утка* — также знак свойства) и т. д. Приведем один из таких латинских списков полностью:

Comix cornicatur	‘Ворона каркает’
Agnus balat	‘Ягненок блеет’
Cicada stridet	‘Кузнечик стрекочет’
597	
Urupa dicit	‘Удод ухаёт’
Infans ejulat	‘Дитя плачет’, ³⁰
Ventus flat	‘Ветер дует’, ³¹

³⁰ Мы не находим более точного слова для перевода: это такой плач, когда ребенок еще не умеет говорить и даже смеяться, это плач, не противопоставленный смеху и речи, скорее «крик» (но слово *крик* нельзя использовать, так как это более общий, родовой термин).

Anser gingrit	‘Гусь гогочет’
Os halat	‘Уста дышат’, ³²
Mus mintrit	‘Мышь пищит’
Anas tetrinnit	‘Утка крякает’
Lupus ululate	‘Волк воет’
Ursus murmurat	‘Медведь ревет’.

Поскольку семантическое согласование является фактом, а предложения-высказывания, подобные приведенным, составляют — каждое некое целое, то, вообще говоря, нет никаких препятствий к тому, чтобы поступить наоборот — описать субъект как функцию его типичного звука. В таком случае ворона будет «то животное, которое каркает», т. е. *ворона* = «животное» + «каркать» (где каркать выступает как название определяющего признака или свойства); ягненок — «то животное, которое блеет», т. е. *ягненок* = «животное» + «блеять»; кузнечик — «то животное, которое стрекочет», т. е. *кузнечик* = «животное» + «стрекотать» и т. д.

Эти две возможности соответствуют двум способам формально-логического описания: либо класс описывается через его свойства, либо отдельное свойство задает класс. (Некоторые примеры таких подходов реально засвидетельствованы в истории культуры, например именовании божеств по их функции, — см. здесь гл. I, 3.)

Для естественного языка (как, впрочем, и для многих логических языков) более естественным является рассматривать класс вещей как первичную, объективную данность, обладающую многими свойствами, и рассматривать свойство как более абстрактное понятие, производное от класса. Выше, в разделе о денотатных и сигнификатных категориях в лексике, мы уже видели, что проще определить сначала группы денотатных и сигнификатных субстантивов, имен существительных, чтобы затем — по сочетаемости с ними — установить группы денотатных и сигнификатных глаголов.

Аналитический подход, подобный только что показанному, может быть применен, конечно, к любым другим сочетаниям. О выделении общего семантического компонента (на французском материале) со зна-

³¹ Имеется в виду звук дуновения; если сильный ветер «воет», то это тот звук, который производит слабый ветер.

³² Опять-таки имеется в виду звук дыхания, сходный со звуком дуновения.

чением «сила, высшая степень» применительно к наречным сочетаниям, со значением «осуществление» применительно к сочетаниям глагола с объектом см.: [Степанов 1965, 136—142]; Такие общие семантические компоненты могут быть отвлечены от большого количества словосочетаний данного языка и обобщены в виде «функций» или «семантических параметров» [см.: Апресян 1974].

Синтетический подход, или описание через синтез, развивался двумя путями — чисто филологическим и философским.

Что касается филологического подхода, то в его основе лежит замечательная идея — неоднократно подчеркиваемая нами в разных местах данной книги — о том, что имеется некое сходство или параллелизм в классификации имен и классификации предикатов (в частности, глаголов). Уже в классических работах по историческому синтаксису было установлено, что имена, с одной стороны, и глаголы — с другой, могут быть классифицированы на основании одних и тех же принципов; и, таким образом, эти классификационные принципы гласят по существу не только о разделении имен или глаголов на разряды, но и о соответствии разрядов имен разрядам глаголов или об их естественной предрасположенности сочетаться друг с другом в рамках одной синтагмы. В классической грамматике наиболее четким воплощением этого положения стал термин «genera verbi» — «роды глаголов», подобно «родам имен» (муж., жен., средн.).

В этой связи в своей обобщающей «Греческой грамматике» Э. Швицер писал, что выражение «genus verbi», употребляемое обычно в более узком смысле как синоним «диатезы» (состоящей из актива, медиа и пассива), основано на установлении параллелизма этих категорий с родами имен существительных (актив — муж. род, пассив — жен. род, медий — средн. род). То же выражение «genus verbi» в широком смысле, как «значения, которые способен выражать глагольный корень», отвечает, скорее, семантическим разрядам имен существительных, таким, как «лица», «животные», «растения», «орудия», «обозначения места» и т. д. [Schwyzer 1966, 217]. Понятие о «genera verbi» связано также с древнегреческим термином «диатеза», представленным уже в античной грамматике (у Дионисия Фракийского и Аполлония Дискола). Но если «роды глагола» выделяются главным образом как суффиксальные классы, то «диатезы» устанавливаются на основе различий серий окончаний (активных, медиальных). Отмеченное положение классических грамматик скрывало в

себе нечто значительно большее, чем просто указание на параллелизм в классификации именных и глагольных форм: по существу здесь предвосхищалась идея семантического согласования имени и глагола в синтагме, идея проходящего через всю синтагму «длинного компонента», а тем самым и идея семантической классификации синтагм («структурных схем» словосочетания и предложения). Но в рам-

ках самих классических грамматик общее значение этого положения осталось неосознанным.

С другой стороны, синтетический подход связан с философской традицией, идущей от Дж. Локка, Т. Гоббса и Дж. Милля, традицией английской логико-лингвистической школы. Подход с этой стороны заключается, говоря суммарно, в том, что сначала изучается значение имен, а затем — предложение, рассматриваемое как сочетание по крайней мере двух имен. «Уже по первому взгляду на предложение видно, что оно образуется из соединения двух имен» [Милль 1914, 16]. Причина соединения заключена в конечном счете в объективной действительности, где сложное явление, обозначаемое предложением, или, говоря иначе, созначаемое с именами, образующими предложение (именем в позиции субъекта и именем в позиции предиката), будучи одним и тем же явлением, обеспечивает адекватность соединения обоих имен. «Там, где состав явления доступен наблюдению, по большей части легко заметить, что в предложении утверждается или сосуществование одного явления с другим, или же следование их друг за другом. Где мы нашли одно явление, можно рассчитывать найти и другое, хотя обратной связи второго с первым может и не быть» [там же, 88].

Хотя аналитический и синтетический подходы, по-видимому, равно могут быть применены к одному и тому же языковому материалу, однако исторически получилось так, что аналитические приемы, указанные выше, больше всего использовались для изучения словосочетаний, притом вовсе необязательно предикативных, т. е. миную целое предложение. Синтетический же подход вырос как раз из задач изучения предложения как целого. После Милля эти положения развивал ряд представителей английской школы, в частности Л. Витгенштейн: «Мир распадается на факты» 11.21. «Атомарный факт есть соединение объектов (вещей, предметов)» [2.01]. «Образ есть факт» [2.141]. «То, что элементы образа соединяются друг с другом определенным способом, показывает, что так же соединяются друг с другом и вещи» [2.15]. «Конфигурации

простых знаков в пропозициональном знаке соответствует конфигурация объектов в положении вещей» [3.21]. «Предложение высказывает нечто лишь постольку, поскольку оно есть образ» [4.03]. «Предложение изображает такое-то и такое-то положение вещей» [4.031]. «Одно имя представляет один предмет, другое имя — другой предмет, и они связаны друг с другом. И целое — как живой образ — изображает атомарный факт» [4.0311]. «Возможность предложения основывается на принципе замещения объектов знаками» [4.0312]. «В предложении должно быть в точности столько различных частей, сколько их есть в положении вещей, которое оно изображает» [4.04] [Витгенштейн 1958].

Если сейчас говорить не о собственно логике, а о применении этих логических идей в языкознании, то развитие здесь пошло двумя путями. В одном течении развивался взгляд на предложение как на отобра-

600

жение, знак ситуации — знак особого рода. Эти концепции можно назвать знаковыми концепциями предложения. Так, В. Г. Гак писал: «Синтаксическая структура предложения не есть лишь грамматическое объединение слов, но является целостным отображением структуры ситуации — такой, какой представляет себе ее говорящий... Предложение (высказывание) следует, подобно слову, рассматривать как имя, как лингвистический знак особого типа. Различие между высказыванием и словом заключается в том, что высказывание обозначает отрезок ситуации в целом, включая и его основной элемент — процесс, оно непосредственно соотносится с конкретной ситуацией, то, что оно обозначает, объективно по отношению к системе языка. Слово обозначает элемент ситуации» [Гак 1968, 11]. Этот подход сыграл на определенном этапе очень плодотворную роль.

Однако в дальнейшем возобладали другое течение, — называя условно, «смысловые концепции предложения», — ориентированное в отличие от названного не на изучение отображения ситуации (а следовательно, референтов, «значений»), а на исследования закономерностей соединения «смыслов», входящих в состав предложения. В своих истоках оно было тесно связано с логической проблемой разграничения ложных и бессмысленных, т. е. нарушающих семантическую систему языка, предложений. В настоящее время в рамках этого подхода сформулировано большое количество достаточно четких правил, описывающих семантическое согласование в составе целого

предложения. Так, например, одно из «правил семантического соответствия подлежащего и сказуемого (точнее, субъекта и предиката пропозиции) основывается на выделении предикатов разных семантических уровней или степеней³³: так, предикаты первой степени сочетаются только с конкретно-предметным субъектом; предикаты второй ступени относятся к событийному субъекту» [Арутюнова 1974, 165]. Если, например, в так называемых связочных предложениях сказуемое выражено событийным именем, то семантическое согласование требует, чтобы и субъект был интерпретирован как имя события, независимо от того, чем он представлен в высказывании: *Разбитая чашка — твоя работа* = «то, что чашка разбита, — твоя работа» [там же, 166]. Синтетический подход используется и при изучении правил «сложения лексических значений» [ср.: Апресян 1972].

Синтетический подход вообще сохраняет черты своего происхождения — знание имен в значительной степени предшествует анализу предложения, т. е. это подход в русле реализма.

601

В истории лингвистики выдвигался и весьма интересный «третий путь», идущий, скорее, в русле номинализма. Он связан с именем испанского грамматиста XVI в. Франсиско Санчеса из Брос (1523 — 1601)» недавно заново открытого лингвистами. Его способ можно назвать способом семантического дополнения, но без специального исследования трудно сказать, насколько широка могла бы быть его сфера применения. Сам Санчес использовал его для того, чтобы соединить в рамках одного последовательного описания одноместные и двухместные предикаты, например: *Мальчик спит* и *Мальчик гоняет собак*. Санчес утверждает (кн. IV, гл. III), что всякий глагол должен быть переходным и иметь дополнение, хотя бы в форме существительного того же корня. Таким образом, выражение *Мальчик спит* может быть сведено по форме к выражению *Мальчик гоняет собак*, если семантически дополнить глагол: *Мальчик спит* = «мальчик спит сон» [Sánchez 1754, 538]. Конечно, получающиеся при этом семантические описания довольно необычны, но, нужно заметить, основаны на вполне реальных фразах естественных языков, так называемых

³³ В этой цитате выражения «уровень предиката» и «степень предиката» употребляются как синонимы. В тексте нашей книги в соответствии со многими логическими теориями, например Р. Карнапа, Х. Карри и др., мы различаем эти термины (см. об этом в гл. V, 2 и в гл. XII названной книги «Имена, предикаты, предложения»).

figura etymologica. Выражения этого типа были довольно широко распространены в индоевропейских языках и в виде пережитков сохранились повсеместно: ср. рус. *думу думать, дело делать, горе горевать, беду бедовать, зиму зимовать, ночь (пере)ночевать, (о)город городить*, а также и вполне *современные песню петь, собрать собрание, нарисовать рисунок* и т. п.; латин. *vitam vivere* букв. «жизнь жить»; франц. *vivre sa vie* «жить своей жизнью»; лит. *sapna sapnuoti* «видеть сон», букв. «сон спать» (ср. данное выше описание).

Анализ Санчеса в данном случае почти буквально совпадает с анализом номиналиста Оккама (см. здесь ниже 4). Мы к этому явлению подойдем прежде всего именно как к семантическому согласованию в пределах данного целого — предложения скорее, чем к сочетанию или сложению имен.

Семантическое согласование, длинный семантический компонент и контраст.

Если семантическое согласование (или семантическая сочетаемость) есть неотъемлемая черта всякого однословного высказывания, то согласуемая часть содержания должна получить название. В семиологической грамматике мы называем ее длинным семантическим компонентом.

Из сказанного выше видно, что длинный семантический компонент можно мыслить либо складывающимся из сходных семантических признаков сочетающихся слов (при синтетическом взгляде), либо извлекающимся из предложения как целого (при аналитическом взгляде). Здесь мы применим аналитический подход, в духе номинализма.

Для начала будем говорить не о содержании длинного компонента, а только о самом факте его наличия. Используем для этого достаточно

сложный вид предложения — предложение «Отношения», логической структуры aRb . Примером может служить следующее реальное русское высказывание: *Каяк легко может разорвать хохлач* (Г. Кублицкий. Фритъоф Нансен. М., 1956, с. 115). Если, не вдаваясь в анализ самого предиката, рассматривать предикат как нечто целое — R , то структура этого предложения такова: *каяк R хохлач*. Мы намеренно выбрали слова, которые можно считать неизвестными говорящему по-русски, чтобы сосредоточить

внимание на особенностях длинного компонента. Очевидно, что он указывает некоторую семантическую общность смыслов имен *каяк* и *хохлач*, обусловленную объективным отношением обозначенных ими предметов: «некий каяк способен рвать, а некий хохлач способен поддаваться такому воздействию, рваться» или, наоборот, «некий хохлач способен рвать, а некий каяк способен поддаваться такому воздействию, рваться».

Рассмотренный пример носит достаточно общий характер: длинный семантический компонент указывает только на семантическую связь, или общность в некотором отношении, двух смыслов, сам по себе не предрешая их роли в высказывании — будет ли одно из них субъектом, а другое объектом или предикатом. Мы тотчас видим, что для понимания и вообще интерпретации предложения этого недостаточно. Это хорошо символизируется знаком R , который не предрешает ролей членов a и b . Без указания ролей членов a , b или без уточнения отношения R выражение aRb не является осмысленным. Для интерпретации необходимо знать, какой из терминов выступает субъектом, а какой — объектом или предикатом.

Получить ответ на этот вопрос непосредственно из наблюдения ситуации в общем случае невозможно. Это хорошо понимал и Л. Витгенштейн: «Каждое предложение должно уже иметь некоторый смысл; утверждение не может придать ему смысл, потому что оно утверждает именно смысл. То же самое относится и к отрицанию» [Витгенштейн 1958, 4.064]; «Глагол предложения не есть «истинно» или «ложно» — как думал Фреге» [там же, 4.063]. Поэтому мы и не можем при анализе длинного компонента основываться на упомянутом выше «знаковом подходе» к предложению. Еще до того, как мы поймем, истинно предложение или ложно, мы должны убедиться, что оно осмысленно.

Для получения ответа на поставленный вопрос в достаточно общей форме, т. е. для понимания смысла предложения, необходимо знать еще нечто или 1) об именах, соединенных отношением R , или 2) об общих принципах строения предложений типа aRb , т. е. о строении отношений, скрывающихся под R , в данном языке. С некоторой точки зрения эти знания эквивалентны.

Если мы основываемся на знании имен, то мы должны знать, например, что в данном языке имена делятся по крайней мере на две большие группы — одна из них включает имена вместе с характери-

кой их отношений, т. е. в этой группе имена с языковой точки зрения характеризуются как aR , как источники возможных предикатов, а другая группа имен характеризует их вне отношений R , как, например, просто b . Тогда ясно, что субъектом в данном предложении будет то, из чего исходит данный предикат R . Например, если в данном языке *каяк* есть имя предмета, который способен рвать, то оно будет субъектом: *Каяк рвет нечто*; *Каяк рвет хохлач*. Если же в данном языке этим свойством обладает *хохлач*, т. е. это имя относится к указанной группе, то субъектом будет *хохлач* и предложение получит иную интерпретацию.

Если же мы основываемся не на предварительном знании имен, а — как мы и предположили вначале — на знании законов построения предложения (или, что то же самое, на способности его анализировать), то мы должны знать, где по законам данного языка возможно прерывание длинного компонента. Допустим, что в данном языке длинный компонент можно прервать перед вторым членом, тогда мы получим членение aR и b и a будет субъектом, а b — объектом или предикатом. Если же данный язык допускает только членение перед указанием отношения, то мы получим a и Rb (или bR , т. е. b). Например, если возможно сочетание *Каяк может рвать*, то субъектом будет именно *каяк*; если же возможно сочетание *Хохлач может рвать*, то субъектом будет *хохлач*. Если же возможны оба или неизвестно, какое именно (как и обстоит дело в данном примере), то остается только вероятностная интерпретация, или обращение к контексту, или разного рода пресуппозиции. Примером предложения, когда возможны оба случая, служит русское *Весло задело платье*.

Для предварительного разъяснения самого приведенного выше предложения заметим, что *каяк* — это лодка, а *хохлач* — это животное из породы моржей, и, значит, интерпретация предложения должна быть такой: «Хохлач (животное) легко может разорвать каяк (лодку)». Эта интерпретация основана, следовательно, на том, что в русском языке имеется группа «одушевленные имена», т. е. имена одушевленных существей, которая рассматривается как источник некоторых предикатов, а именно предикатов активного воздействия типа *рвать*, и группа «неодушевленных имен», т. е. имен неодушевленных существей, которая рассматривается по отношению к указанным

предикатам как лишенная их. К полной интерпретации этого примера мы вернемся ниже.

Продолжая установку на анализ высказывания, вернемся к длинному семантическому компоненту. Мы видели выше, что для интерпретации ролей членов a и b в предложениях структуры aRb нужно знать, сводимо ли такое предложение к структуре aR или bR , к одноместному предикату (в известном смысле — процедура, обратная той, которая была предложена Франсиско Санчесом, см. выше), и какой из членов

способен занять место субъекта в одноместном предикате. Именно этот член мы склонны интерпретировать и как субъект предложения «Отношения».

Однако это требование сведения предикатов с отношением к одноместным предикатам является очень сильным, и без него можно обойтись. В реальной системе языка достаточно знать, где на протяжении высказывания ослабевают роль длинного компонента.

Будем теперь рассматривать высказывание-предложение в большем приближении к реальности языка, а именно как нечто линейное при записи или (что в данном отношении то же самое) как нечто развертывающееся во времени. Запись aRb можно сохранить, но рассматривать ее уже при этом как запись реальной последовательности высказывания. Например, если мы говорим *Каяк рвет хохлач*, то запись этой линейной и временной последовательности будет aRb , где, следовательно, a — *каяк*, R — *рвет*, b — *хохлач*.

Мы констатируем, что длинный семантический компонент не в одинаковой степени выявляется на протяжении высказывания, что он ослабевает либо по направлению от a к b , либо по направлению от b к a . Иными словами, что в высказывании доминирует либо первый по порядку член, либо последний. Если отношение R мы интерпретируем здесь как «рвать» или «обладать способностью рвать», то роль этого длинного компонента ослабевает либо на члене b , *хохлач*, и тогда доминирует *каяк*, либо на члене a , *каяк*, и тогда доминирует *хохлач* (нетрудно заметить, что с иной точки зрения, т. е. если исходить из предварительного знания и классификации имен, это равносильно тому, чтобы сказать, приписывается ли в данном

языке активный предикат типа рвать как собственный признак имени *каюк* или имени *хохлач*).

В таком понимании свойств длинного семантического компонента — хотя оно и представлено здесь, может быть, в несколько необычной форме — по существу нет ничего необычного. Это лишь частный случай общего отношения языка, которое называется синтагматическим контрастом. Для того чтобы высказывание осуществилось во внешней форме, необходим достаточный контраст составляющих его фонем (который связан с оппозицией фонем в парадигматике, «на парадигматической оси»). Для того чтобы высказывание осуществилось в семантическом плане, необходим достаточный контраст составляющих его смыслов (который связан с оппозицией смыслов и выражающих их слов в парадигматике). В семантическом плане не может быть удовлетворительным, например, высказывание, представляющее собой тавтологию: контраст его частей недостаточен.

Иными словами, можно сказать, что длинный семантический компонент, проходя через все высказывание-предложение, все же подчинен отношению контраста — в какой-то части высказывания он ослабевает,

605

и эта часть начинает контрастировать с другой, порождая прообразы «субъекта» и «предиката».

3. Категории Канта как пример построения категорий по «длинному компоненту» высказывания-суждения

Кант и Аристотель — мыслители, стоящие в вопросе о Категориях на диаметрально противоположных позициях. И между тем оба начинают свои учения об этом предмете с формы выражения, т. е. с Языка. Но их отношение к Языку резко различно. Для Аристотеля формы языка (в его случае его родного греческого) выражают некие реальности — либо реальности мира, либо содержательные реальности сознания, «концепты». Кант естественного языка, в его случае — родного немецкого, в области философствования как бы вообще не замечает, смотрит «сквозь него» на «чистую форму» суждения и понятия. Но «чистая форма» оказывается у него все же «языком», языком логики.

Аристотеля Кант в этом вопросе едко критикует: «Но так как у него (Аристотеля) в вопросе о Категориях. — *Ю. С.*) не было никакого принципа, то он подхватывал их по мере того, как они попадались ему, и набрал сначала десять понятий, которые назвал *категориями* (предикаментами)... Затем ему показалось, что он нашел еще пять таких понятий, которые он добавил к предыдущим под названием постпредикаментов. Однако его таблица все еще оставалась недостаточной. Кроме того, в нее включены также некоторые модусы чистой чувственности (*quando, ubi, situs, a* также *prius, simul*) и даже один эмпирический (*motus*), которые вовсе не принадлежат к этой родословной рассудка, к тому же в ней среди первоначальных понятий перечислены также некоторые производные (*actio, passio*), а некоторые из первоначальных понятий не указаны вовсе» (Критика чистого разума) [Кант, 1964,176] (далее цитируем это же издание).

Сам Кант исходит, как ему кажется, из некоего общего принципа. Но для нас важно, что этот кантовский принцип есть логическая форма суждения, т. е. в конечном счете тоже «язык». «Если мы отвлечемся от всякого содержания суждений вообще, — рассуждает Кант, — и обратим внимание на одну лишь рассудочную форму суждений, то мы найдем, что функции мышления в них можно разделить на четыре группы, из которых каждая содержит три момента. Их можно хорошо представить в следующей таблице» (см. далее табл. 1).

Но что такое здесь «функция» (мышления или рассудка)? Это не что иное как связь субъекта и предиката суждения в акте суждения, благодаря чему выявляется общее между ними — «Подфункцией я разумею единство деятельности (рассудка. — *Ю. С.*), подводящей

606

различные представления под одно общее представление» (там же, с. 166). Но это и есть «длинный компонент», как мы его назвали выше который составляет первичную данность языка и в плане выражения (в слоге), и в плане содержания — в строении высказывания (см. выше III, 1 и 2). Кант продолжает: «Та же самая функция, которая сообщает единство различным представлениям *в одном суждении*, сообщает также единство и чистому синтезу представлений *в одном созерцании*; это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием [...] Этим путем возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, а priori относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было перечислено

логических функций во всех возможных суждениях: рассудок совершенно исчерпывается этими функциями, и его способность вполне измеряется ими. Мы назовем эти понятия, по примеру Аристотеля, категориями, так как наша задача вполне совпадает с его задачей, хотя в решении ее мы далеко расходимся с ним» (там же, с. 174).

В этом замечательном рассуждении Канта впервые в истории и логики и лингвистики определенно указывается на связь между «длинным семантическим компонентом суждения» («пункцией» в терминологии Канта), или «формой суждения» (также в его терминологии, которая в этой части стала затем всеобщей), с одной стороны, и категорией, с другой. Таким образом устанавливается связь между наивысшим обобщением синтагматики и синтактики — «длинным компонентом» и наивысшим обобщением семантики — «категорией».

Приведем теперь обе таблицы Канта.

Т а б л и ц а 1

Логические функции рассудка в суждениях
(рассудочные формы суждений)

1.	<i>Количество суждений</i>	3.
	Общие	<i>Отношение</i>
	Частные	Категорические
	Единичные	Гипотетические
2.		Разделительные
<i>Качество</i>		
Утвердительные		
Отрицательные		
Бесконечные		
	4.	
	<i>Модальность</i>	
	Проблематические	
	Ассерторические	
	Аподиктические	

Т а б л и ц е 2

Категории
1.
Количества
Единство
Множественность
Целокупность

2.
Качества
Реальность
Отрицание
Ограничение

3.
Отношения
Присущность и самостоятельное существование (substantia et accidens)
Причинность и зависимость (причина и действие)
Общение (взаимодействие между действующим и подвергающимся действию)

4.
Модальности
Возможность — невозможность
Существование — несуществование
Необходимость — случайность

Для современной философии языка очень важен третий пункт таблицы Категорий, где помещена категория Субстанции. Из всего контекста рассуждения Канта и из сравнения пунктов 1-й и 2-й таблиц ясно, что категория Субстанция извлечена Кантом из формы суждения, а именно из формы категорического суждения. Это и есть принцип номинализма. Здесь же мы видим источник идеи Рассела о том, что понятие «субстанция» — производно от языка. Это совершенно верно, но только в контексте номинализма — в рассуждении Канта и самого Рассела. Для Рассела, как известно, это послужило одним, если не главным вообще, основанием для того, чтобы «бороться за изгнание понятия „субстанции“» как понятия иллюзорного, вводящего в заблуждение и «метафизического». Следует; впрочем, напомнить, что избавиться от понятия (и от категории) Субстанции ни Расселу, ни логическим позитивистам не удалось, — разве что в ограниченных контекстах их собственных рассуждений на этот счет.

Небезынтересно также заметить, что в то время как классификация типов суждений Канта оказалась удачной и в настоящее время широко используется, его система категорий в целом неудачна, противоречива в деталях и малоэффективна в целом; в практике исследований она почти не используется.

Кроме сказанного выше, в учении Канта о категориях есть еще один очень важный для нас момент, его можно даже назвать вторым принципом кантовского «категорисозидания» — стремление к полней, шей и жесткой системности: каждую категорию 1-й таблицы Кант рассматривает не только по ее внутреннему строению, т. е. как внутреннее отношение между субъектом и предикатом в данной форме суждения,

но и по ее отношению к соседним формам ее группы и далее к нормам других групп: Таким образом, категории Канта оппозитивны и контрастивны по отношению одна к другой. По существу, система Канта, представленная в двух данных таблицах, это начало структурального подхода к семантике. В XX веке такой подход был продолжен в английской школе семантического анализа и превратился в так называемую «контрастную теорию значения». Ее основанием стал принцип: неконтрастивные категории, именно в силу своей неконтрастивности, введены неправильно и должны быть исключены из семантических рассуждений.

Напротив, система Категорий Аристотеля — гибкая, она такова, какой ее обнаруживает Язык по мере проникновения в него. Не случайно (как это подметил и Кант) Аристотель то присоединяет к 10 Категориям еще некоторые, выделенные по другому основанию (предикабилии), то среди 10 Категорий выделяет «наиболее главные». Категории Аристотеля неконтрастивны — «Количество» не противопоставляется «Качеству», первое просто отлично от второго; «Место» не противопоставляется «Времени», оно так же просто отлично от него, и т. д. И уж тем более Категории не противопоставляются одна другой по какому-либо единому основанию! Система Аристотеля влечет к неконтрастной теории значения (см. здесь выше, гл. II, 1).

4. Оккам — первый представитель номинализма Нового времени

Кант, с точки зрения философии языка, должен быть причислен к номинализму главным образом по его методу: как мы видели в предыдущем разделе этой книги, он извлекает свои категории прямо из линейной организации высказывания-суждения, т. е. из «текста» (хотя и из коротких его отрезков). Что же касается содержания категорий, здесь Кант обращается и к созерцанию, и к рассуждению, и к рассудку¹¹ к разуму, и в этом отношении он не является эмпиристом.

Оккам же (ок. 1285—1849) является и номиналистом, и эмпиристом, и его следует считать не только первой фигурой номинализма Нового времени, но и родоначальником английского эмпиризма. Поскольку в английской философской традиции номинализм и эмпиризм

тесно связаны, то Оккам — прямой предшественник английских философов языка XX века, в частности, Рассела.

Что касается метода, то здесь, напротив, Оккам действует вполне традиционно — как типичный схоласт своего времени. Как и для всех схоластов, для Оккама весьма важно учение о суппозициях. Это учение, рассуждая с современной точки зрения, является оригинальной формой описания семантической системы языка в логико-философском аспекте.

Латинский термин *suppositio* означает «подстановка», — имеется в виду подстановка одного слова (терма, термина) вместо другого в составе высказывания. Сам термин *suppositio* является соответствием или, может быть, даже прямым переводом греческого *υποθεσις*, букв. «подставка, подстановка», означающего также «гипотеза» и имеющего сложную концептуальную историю. Учение о суппозициях начинает развиваться после Аристотеля и приобретает центральное место в средневековой схоластической философии языка и в философии в целом. В рамках этого учения решались — именно путем подстановок и извлечения следствий из подстановок — проблемы соотношения общих, единичных и собственных имен; глубинной семантики имен разного типа, и т.п. Одновременно тем самым затрагивались и проблемы синтактики, — но все это при отсутствии в то время самого понятия о синтаксическом измерении языка, на основе одной семантики. Однако, это учение вряд ли можно назвать «ущербным», скорее оно свидетельствует о том, с какой большой глубиной можно проникнуть в синтаксические проблемы, исходя из семантики. По этой причине суппозиции снова оказались в круге интересов современной философии языка, когда она, отходя от формального синтаксиса, всю занялась семантикой.

Кроме того, в учении о суппозициях перед нами возникает первый очерк проблем метаязыка и метаописания. Сам термин «металогика», по аналогии с которым позднее был создан термин «метаязык», впервые возник под пером Иоанна (Джона) из Солсбери в 1159 г. в его труде, названном по-гречески «*Metalogicon*» (лат. «*Metalogicus*»), именно в связи с обсуждением реальности родов и видов, т. е. соотношения «реализма» и «номинализма».

Учение о суппозициях Оккама противопоставлено таковому Петра Испанского (после 1220—1277). Петр Испанский продолжал учение Аристотеля, окрашенное

тонами аверроизма; в вопросе об универсалиях и о категориях он был, в общем, умеренным реалистом и концептуалистом. В некоторых отношениях он близок к византийской традиции. В плане техники суппозиций у обоих авторов много общего: оба излагают суппозиции в дихотомической форме, следуя образцу Порфирия (см. выше, часть I, 3).

Но если оставить в стороне технику, то по существу между суппозициями Петра Испанского и Оккама имеется очень значительное разли-

чие. У Петра в центре, во втором ярусе его деления, имеется разделение общих суппозиции на «естественные» и «привходящие», или «акцидентные». Оно называется у Петра терминами «naturalis» — «accidentalis», в греко-византийской традиции, например, у Пселла, им соответствуют термины *κατά φύσιν* — *συμβηκός*; последний — тот же самый, которым в сочинениях Аристотеля называется привходящий признак (см. выше, гл. II, 3). Дело в том, что Петр Испанский, как и Пселл, принимает положение Аристотеля о реальной наличности родов в природе (почему и термин — «природный», «естественный»), о родах как о непосредственных выявлениях Сущностей. Напротив, «привходящие», «случайные» признаки — для выявления Сущностей «несущественны», именно «случайны».

Для номиналиста Оккама это разделение, конечно, совершенно не важно, и он отбрасывает весь этот ярус иерархии. Для Оккама реальное существование принадлежит только единичным субстанциям, а все остальные аристотелевские Категории не имеют никакого соответствия в реальной действительности, помимо ума и языка. Почти все 10 Категории Аристотеля Оккам стремится свести к одной, к Субстанции. Причем последняя понимается не как Сущность, а именно как Субстанция, как «первая сущность», соответствующая единичным вещам. Так, например, о Действии (Actio) он пишет: «Nec nomen actio supponit pro ipso agente, ita ut haec sit vera: 'actio est agens', vel ... talis propositio est resolvenda in aliam propositionem, in quononiturverbum sine nomine tali, ut ista: 'actio agentis est' aequivalet ista 'agens agit'» (Summ. log., I, cap. 57) — «Это имя действие подставляется вместо самого действующего, так что истинной является пропозиция „действие есть действующее”», или ... такая пропозиция распадается [преобразуясь] в другую пропозицию, в которой появляется глагол без такого имени, так [например] следующая: „действие принадлежит действующему“ эквивалентна такой:

„действующее действует”». Аристотелевские Категории, кроме «первой сущности» и Отношения (Relatio), оказываются для Оккама знаками операций ума, или, как сказали бы мы на современном языке логико-лингвистических работ, символами лингвистических трансформаций.

Этот пример анализа у Оккама очень близок к тому, что позднее предложил испанский грамматист XVI в. Санчес (см. выше, 2).

Указанное различие между учениями о суппозициях Оккама и Петра Испанского отражает не столько динамику и развитие учения (Оккам работал значительно позже Петра), сколько устойчивое, почти вневременное различие двух систем взглядов — номинализма и реализма.

В полемике с реалистами и концептуалистами своего времени, особенно с Дунсом Скоттом, Оккам отрицает общее как «сущность», не сводимую к «вещи» и существующую реально, но это отрицание у Оккама настолько детально проанализировано, включено в такие тонкие противопоставления и различения, что явилось, фактически, целой концеп-

цией, которую современные исследователи считают в прямом смысле слова «лингвистической концепцией». Собственно говоря, отрицание «сущности» у Оккама стало возможным именно в системе, благодаря созданию целой системы — *лингвистической философии*. Главный ее тезис точно сформулирован Э. Л. Радловым еще в начале нашего века. По Оккаму, универсалии (и, значит, «сущности») существуют лишь в душе, как представления, однако они не являются простыми продуктами воображения, фикциями (fictiones), они возникают вполне естественно, независимо от воли или разума, когда первичное интуитивное представление предмета в уме (intentio prima), путем вторичного акта напряжения ума, направленного уже на эти представления как объекты (intentio secunda), придает им предметное бытие в сознании. Этот вторичный акт Оккам называет «первой когнитивной абстракцией» (prima cognitio abstractiva) и — главный тезис, как его удачно формулирует Радлов — «это первое абстрактное познание имеет уже общий характер и служит знаком внешнего бытия, подобно тому, как дым есть знак огня или смех есть символ веселья» [Радлов б. г., стлб. 823]. Здесь делается виден один пункт номинализма вообще и номинализма Оккама в частности, на который не обращали особого внимания и в котором между тем кроется

исходная точка его опровержения: естественность обобщения; для обобщения нет необходимости в усилении — насилии ума, он предопределен. (Этот пункт хорошо объясняется с реалистических позиций.)

Новейшие исследования об Оккаме, существенно расширившие наши представления о его системе, о ее первоисточниках, о деталях скрытой полемики, о его логике и т. д., тем не менее чего-либо принципиально нового, кажется, не добавили. Все так же в центре изложений современных авторов находится пункт о «концепте как знаке» внешней реальности, подобном слову — знаку, означающему реальность в акте «интеллекции» — «intellectio ipsamet» (ср. испанский термин «la intellection») (см. в монографии с характерным названием «Номинализм Оккама как философия языка»: [Еписк.] Teodoro de Andrés. *El nominalismo de Guillermo de Ockham como filosofía del lenguaje*. [Teodoro de Andrés 1969]). Можно лишь сказать, что в новых исследованиях, в частности в упомянутой книге Теодоро де Андреса, все более усиливается, «поднимается в ранге» та линия философии Оккама, которая связана с «означиванием», «сигнификацией» действительности, вскрытом противопоставлении «сигнификации» проблеме «имени и именованья», составляющей лейтмотив русской «философии имени».

Из новых частных идей обращает на себя внимание мысль английского исследователя Э. А. Муди о резком разрыве между логикой и метафизикой в системе Оккама, — эту идею мы подробнее рассмотрим ниже. (Хотя Муди, на наш взгляд, при этом не-

справедливо утверждает, что «Оккам является номиналистом в логике, поскольку он реалист в метафизике» [Moody 1935]).

В русле номинализма и связанной с ним концепции Канта были разработаны тонкие и системные приемы анализа. В той мере, в какой они прямо относятся к современной философии языка, некоторые из них были затронуты выше — раздел 2 главы I (Пример 2), который может рассматриваться как непосредственное продолжение настоящего раздела.

5. Понятие и значение слова в системе, основывающейся на номинализме Канта.

Логика В. Н. Карпова (1856 г.).

Относительность понятия. Истоки современной формализации.

Назначение этого раздела — показать на ограниченном фрагменте языка и философии языка плодотворность некоторых линий номинализма и тем самым подготовить читателя к мысли, что современный Новый реализм (гл. V) не исключает некоторого синтеза реалистических и номиналистических идей. Материал этого раздела непосредственно смыкается с материалом раздела 2 главы I (Пример 2).

Форма содержания в языке не тождественна форме вообще, или поверхностной форме. Последней является в конечном счете звуковая форма высказывания или слова. Форма же содержания — это часть содержания. Формой содержания служит та часть содержания, которая непосредственно ассоциируется с поверхностной звуковой формой. Устанавливать эти ассоциации — трудная лингвистическая задача. Например, английское слово *breakfast* значит ‘завтрак’, что и является его содержанием. Однако непосредственно звуковой ряд этого слова выражает нечто иное, а именно *break-* — основа со значением ‘ломать, прерывать’ и *-fast* — основа со значением ‘пост’, что в сложении буквально значит ‘прерывание поста’ (в свободном виде оба элемента Сохранились в выражении *to break one's fast* ‘прервать, окончить пост; разговеться’). ‘Прерывание поста’ и есть форма содержания (значения) ‘завтрак’ в английском языке с исторической точки зрения. Однако в настоящее время эта форма говорящими не осознается и лингвистически не действует. Лингвист должен искать более реальные, синхронные и действующие семантические связи.

Если в словаре «завтрак» определяется как ‘утренняя еда, первый прием пищи на протяжении дня’ (в отличие от «обеда» — ‘дневной еды, второго приема пищи’, и «ужина» — ‘вечерней еды, третьего приема пищи’), то можно полагать, что семантический признак ‘еда’ окажется действительной формой содержания для слова «завтрак» в на-

стоящее время. Такие семантические ассоциации могут совершенно не осознаваться говорящими: неосознанность — свойство формы содержания вообще. Их выявление — лингвистическая задача.

Прежде чем продолжить рассуждение о форме и материи в мыслительном содержании, сделаем небольшое отступление от теории в историю вопроса. Для русского лингвиста учение о «внутренней форме» связывается прежде всего, конечно, с концепцией А. А. Потебни, и в значительной степени это справедливо. Потебня сформулировал в основе своей верное, но незаконченное учение о внутренней форме. Под нею он понимал «способ представления прежнего содержания в новом слове», если речь идет об отдельном слове [Потебня 1926]. Так, в слове *подснежник*, означающем цветок определенного вида и рода, представлено и прежнее содержание, т. е. содержание нескольких других слов, — *снег, под*, букв, ‘нечто, находящееся под снегом’. Таков же приведенный выше пример с английским словом, означающим «завтрак». С этой точки зрения внутренняя форма — это этимология слова, но только такая этимология, которая может быть ясна говорящему. Слова, воспринимающиеся как непроизводные, тем самым лишены и внутренней формы, например: *лев, заяц, плакать*.

В другом месте Потебня расширяет свое понимание внутренней формы до вообще «способов представления внеязычного содержания» в языке. «То, что по отношению к данному слову есть этимология, то по отношению к предшествующему (в речи. — Ю. С.) — синтаксис» [Потебня 1958, 47]. Потебня хочет здесь сказать, что синтаксис в плане речи, так же как этимология в историческом плане, оформляет для говорящего и слушающего предшествующее знание, но синтаксис оформляет предшествующее лишь непосредственно данному моменту в речи, в высказывании. Здесь Потебня близко подошел к учению о логической форме мысли в акте высказывания, но, по-видимому, не развил его. Тут же он включает в понятие внутренней формы и иное разделение — на «вещественное значение» и «грамматическую форму». С точки зрения этого расширения понятия внутренней формой будет уже значение грамматической формы; например, в русском языке слово *подснежник* — имя существительное муж. рода, иными словами, предмет, относящийся к разряду предметов муж. рода, и это грамматическое значение оформляет все остальное содержание слова. Таким образом, в учении Потебни намечены все аспекты понимания внутренней формы, но они не приведены в ясную связь друг с другом. Напротив, учение Канта о форме и материи мысли получило развитие и к нему постоянно возвращаются впоследствии вплоть до наших дней. Применительно к семантике слова это учение отразилось, например, в работе [Кацнельсон 1965].

Разработку этого учения в применении к содержанию слова и понятию — что для нас особенно важно в связи с вопросами о субъектах, предикатах, денотатах и сигнификатах — мы находим в работе после-

дователя Канта (в этом отношении), русского логика середины прошлого века В. Н. Карпова «Систематическое изложение логики» [Карпов 1856].

Выше на примере со словом «завтрак» мы видели, что его ближайшей ассоциацией по содержанию является слово «еда», которое по отношению к содержанию слова «завтрак» выступает уже в форме одного из его семантических признаков, ограниченного признаком ‘первая в день’ или ‘утренняя’. Как бы предвосхищая подобные наблюдения, В. Н. Карпов пишет: «Если всякое понятие рассудок мыслит под одним общим признаком и ограничивает его другими, в том же роде представлений как бы частными и отличительными, то чрез это он указывает нам в своем понятии форму и материю. *Формой* понятия называется тот общий признак представлений, по отношению к которому они найдены сходными с представлением понимаемого предмета и под которым этот предмет теперь мыслится» [там же, 89].

Форма понятия разъясняется следующим примером. Положим, представление Россиянина сравнивается с представлениями о Германце, Французе, Итальянце³⁴ и т. д., уподобляется им по признаку «Европеец» и, выходя таким образом из круга представлений в ранг понятий, мыслится под общим признаком «Европеец». В этом случае признак «Европеец» становится формой понятия «Россиянин». Такой признак, описывая круг однородных в данном отношении представлений, называется также *объемом*. Указанный признак в этом своем значении показывает, что все перечисленные представления (т. е. Германец, Француз, Итальянец) вместе с понятием «Россиянин» находятся, как выражается Карпов, «в понятии». Этот признак иначе называется внешней величиной, *quantitas extensiva*, понятия (ср. соврем. «экстенционал»).

«*Материю*» понятия составляют те признаки, которые, в отношении к иным родам представлений, были бы также общими, а теперь, относясь к уподобленным представлениям, являются частными и, как частные, служат ограничениями или отличительными чертами понимаемого представления. Так, например, признаки

³⁴ В соответствии с орфографией своего времени В. Н. Карпов пишет названия национальностей с большой буквы и в соответствии со своим собственным взглядом последовательно различает имя представления — без кавычек и имя понятия — в кавычках.

Россиянина, что он живет между Балтийским морем и Восточным океаном, что он принадлежит к племени Славян, исповедует православную христианскую веру и проч., надобно почитать материальными чертами понятия о нем, потому что они заимствованы не от сходства Россиянина с Германцем, Французом, Итальянцем и проч., а от сходства его с представлениями другого рода. Так как подобные признаки входят в самый состав понятия и из всех представлений в его объеме принадлежат ему одному, то понятие чрез них и в них получает свое *содержание*, а те роды представлений, по отношению к которым они удерживают значение признаков общих,

закключаются уже не в понятии, но *под понятием*. Например, признак, что Россиянин есть Славянин, содержится в понятии Россиянина, а Болгарин, Серб, Морав и проч., с которыми он был сравниваем, чтобы принять черту Славянина, заключаются под понятием „Славянин”» [там же, 90]. Материю, или содержание, понятия Карпов называет также внутренней величиной, *quantitas intensiva*, понятия (ср. соврем. «интенционал»).

При кажущейся простоте учение Карпова о понятии представляет собой достаточно сложную и гибкую систему, хорошо отвечающую лингвистическим задачам (сам Карпов не был чужд языковедческих склонностей и в другом месте своей книги дает интересную семантическую классификацию имен). Главная лингвистически существенная черта этого учения — относительность определения понятия, но относительность не безграничная. Мы уже видели выше и специально исследуем этот вопрос, здесь ниже, раздел 6, что значение (точнее — смысл) одного и того же слова в различных системах описания, в различных словарях может быть определено до некоторой степени различно при одном и том же составе признаков. Разница будет зависеть от иерархии признаков, или, выражаясь термином Карпова, от распределения формы и материи понятия. Так, лев может быть определен как: 1) хищник, 2) очень крупный, 3) с желтой гривой и т. д., или как: 1) млекопитающее, 2) хищное, 3) очень крупное и т. д., или же как: 1) животное, 2) млекопитающее, 3) хищное, или, наконец, как: 1) животное, 2) хищное и т. д.

Вообще, различие рода и видового отличия в известной степени относительно: видовое отличие можно истолковывать как признак рода, а род — как видовое отличие. Возьмем в качестве примера определение *Вороной — это лошадь черной масти* (1).

Семантически его можно описать (т. е. разложить, проанализировать) так: ‘Вороной — это лошадь черного цвета’. Если истолковать признак «черный цвет» как класс — что вполне обычно, — то окончательный анализ будет следующим: «Вороной — есть лошадь, входящая в класс предметов черного цвета». После этого понятия, входящие в предикат определения, можно поменять в ранге, т. е. истолковать род как видовое отличие, а последнее как род, и сказать: «Вороной есть предмет черного цвета, являющийся лошадью» (2). Однако между определением (1) и определением (2) есть существенное различие. В то время как «лошадь» объективно существует как класс — в природе, в общественной практике людей и соответственно в таксономии Словаря (в группе «Животные»), «предметы черного цвета» объективно существуют лишь в виде множества — вороные, галки, скворцы, уголь, черные глаза, смола и т. п., но как целое, как класс не выделены в практике людей и отсутствуют в таксономии Словаря [ср.: Клаус 1960, 232]. Здесь как раз и видна относительность самого явления «относительности определения» вообще и определения понятия в частности.

Относительность определения понятия, а следовательно, и значения слова как положительный фактор неоднократно подчеркивалась и другими логиками, но иногда и абсолютизировалась. Так, например, А. И. Введенский подчеркивал относительность необходимых и достаточных, т. е. существенных, признаков понятия в зависимости от точки зрения [Введенский 1923, 59—60]. Если не понимать при этом точку зрения как индивидуально-субъективную, то с тезисом об относительности определения понятия и значения слова в указанном выше смысле вполне можно согласиться. В частности, в связи с данными различных словарей мы говорили о том, что один и тот же термин-понятие в одном и том же общем или толковом словаре может получать различные определения в зависимости от сферы той или иной науки, ср. в «Большом Академическом Словаре русского языка»: *ванадий* — 1. В химии. Химический элемент, принадлежащий к группе фосфора. 2. В металлургии. Твердый металл, имеющий применение при изготовлении высококачественной стали (см. также ниже, разд. 6, пункт «В»).

Таким образом и по этой, лингво-философской, линии рассуждения мы приходим к тому же, к чему со своей стороны пришли логики, — к отрицанию понятия «универсальной предметной области» [см.: Бирюков 1963; Бессонов 1985].

Сочетаемость свойства слова обычно связаны прежде всего с начальными, верхними ярусами иерархии его семантических признаков — с формой его семантического содержания. Так, например, сочетаемость слова *завтрак* в русском языке связана главным образом с тем, что это: 1) еда, 2) первая или утренняя еда, и в гораздо меньшей степени связана с тем, что это: 3) еда, не содержащая супа, и т. д. Поэтому для лингвистики очень важно привести в соответствие иерархию семантических признаков слова, описываемого как единица словаря, с его семантической сочетаемостью в предложении. Именно в этом и может помочь различение формы и содержания понятия и значения (смысла) слова и понимание относительности этого противопоставления.

Если ограничиться сейчас самым главным, то можно сказать, что семантическая характеристика слова, изложенная в виде иерархии семантических признаков, должна — в общем и целом — отвечать месту этого слова в таксономии словаря.

Поскольку могут существовать разные системы словарной классификации, в частности перемещение признаков в системе одного и того же словаря, а также разные идеографические словари, то очевидно, что этими различиями и будет устанавливаться относительность определения понятия и значения слова. Вместе с тем при таком подходе делается вполне ясным и то, что эта относительность не имеет ничего общего с концепцией относительности, релятивизма познания. Предел относительности в определении, о которой идет речь, кладется самой объективной системой языка: относительность определения ограничена набором

617

и Системой общих имен данного языка, а это достаточно определенный и конечный набор. Сама же объективная лексико-семантическая система языка, в значительной степени недоступная непосредственному наблюдению, будет тем инвариантом, который стоит за различными вариативными системами словарей-тезаурусов или перемещений в рамках одного и того же словаря.

Против относительности определений понятия иногда выдвигались возражения. Таково мнение Е. К. Войшвилло [Войшвилло 1967, 149] (с концепцией которого в остальном мы вполне согласны). Кажется, однако, что эти возражения не вытекают из основного тезиса автора и что, напротив, с ним согласуется концепция относительности понятия и его определения в том виде, как сказано выше. Дело, по-видимому, в том, что

на объем Войшвилло смотрит иначе, чем В. Н. Карпов. Для последнего объем понятия — это его внешняя величина, в полном соответствии с латинским значением термина *quantitas extensiva* ‘сила растягивающая’ (т. е., например, для понятия «Россиянин» — это признак «Европеец» вместе с ограничивающими признаками), прежде всего ближайший род; содержание же понятия — величина внутренняя в соответствии с латинским значением термина *quantitas intensiva* ‘сила напрягающая, стягивающая’. Для Е. К. Войшвилло объем — это как бы внутренняя величина, хотя и ее «крайняя» часть: «Объемом понятия называют класс обобщаемых в нем предметов. Отдельные предметы этого класса (предметы, мыслимые в понятии, объекты мысли) называются элементами класса или частями объема понятия» [Войшвилло 1967, 164]. Если мыслить понятие (как Карпов) в его возможности подведения под различные более общие величины, роды, то, конечно, таких величин, родов и подведений может быть очень много, отсюда и относительность понятия и его определения — положение вполне естественное для лингвистики, поскольку она всегда мыслит слово с его значением как элемент некоторой более широкой системы. Если же мыслить понятие (как Войшвилло) как отражение некоторого класса предметов по их собственной сущности, вне отношения к чему-то более широкому и общему, лежащему вне этого класса, то, конечно, концепция относительности понятия неприемлема. Выражаясь лингвистически, можно сказать, что Карпов мыслит понятие, скорее, в виде «класс как целое», тогда как Войшвилло — в виде «класс как множество» (об этом различии в лингвистике см.: [Степанов 1975, 217—218]). Войшвилло выражает достаточно распространенную в математической логике точку зрения.

Почему мы склонны считать, что и при такой, как у Войшвилло, трактовке объема можно принять тезис об относительности понятия? Ответ на этот вопрос заключается в следующем. «Нетрудно видеть, что объем понятия — это не что иное, как множество истинности предикатного выражения, служащего словесной формой выражения данного понятия» [Войшвилло 1967, 165]. С этим положением естественно согласуется

618

тезис о многообразии форм понятий: «Каждое понятие представлено всегда некоторым общим именем. Однако одно и то же понятие может быть выражено в разных знаковых формах... Мы не связываем понятие с какой-либо определенной знаковой формой... Вообще говоря, любому имеющему определенный смысл m -местному предикату $A(x_1$

... x_m), где $m \geq 1$, соответствует понятие $(x_1 \dots x_m)$ А $(x_1 \dots x_m)$ » [там же, 173], т. е. понятие о таком предмете, который описывается соответствующим предикатом или же соответствующей пропозициональной переменной.

Но принятие этих двух тезисов как раз и равносильно положению об относительности понятия и его определения в изложенном выше смысле. Ведь если «одно и то же понятие может быть выражено в различных знаковых формах», а эти формы есть предикатные выражения, то дальше мы можем задать себе вопрос: чем могут различаться разные выражения, в частности разные предикатные выражения, для одного и того же понятия? И чем могут различаться выражения понятий разных уровней таксономии, например индивидуальных, общих и метаимен, в предикатной форме?

«Куайн неоднократно указывал, — пишет Р. Карнап,— на тот важный факт, что если мы хотим выяснить, какие объекты кто-либо признает, то мы должны обратить внимание больше на употребляемые им переменные, чем на постоянные и замкнутые выражения. „Онтология, к которой обязывает человека употребляемый им язык, охватывает именно те объекты, которые он рассматривает как входящие... в область значений его переменных”» (*Quine W. V. Notes on existence and necessity*. — «*Journal of Philosophy*», vol. 40, 1943, p. 118). По существу, я согласен с его взглядом» [Карнап 1959, 84]. Дальнейшее показывает, что Карнап согласен с Куайном в некотором специфическом смысле, по существу исключая вопрос о реальности «областей значений переменных» и тем самым об отношении языка к действительности и сохраняя за глаголом «быть» особое значение — «быть — значит быть значением переменной», т. е. в пределах данной языковой — естественной или искусственной — системы. Карнап переносит это положение на науку вообще: «существовать в научном смысле — значит быть элементом системы» [там же]. Но для естественного языка утверждение Куайна должно быть признано справедливым.

О том же писал и Л. Витгенштейн: «В том смысле, в каком мы говорим о формальных свойствах, мы можем теперь говорить и о формальных понятиях. (Я ввожу это выражение, чтобы сделать ясной причину смешения формальных понятий с собственно понятиями, которое пронизывает всю старую логику.) Тот факт, что нечто подводится под формальное понятие, как его объект, не может быть выражен предложением. Но это обнаруживается в знаке самого этого объекта. (Имя показывает,

что оно обозначает объект, знак числа — что он обозначает число, и так далее.)...

Выражение формального понятия есть пропозициональ-

ная переменная, в которой постоянным является только эта характерная черта. Эта пропозициональная переменная обозначает формальное понятие, а ее значения обозначают те объекты, которые подходят под это понятие. *Каждая переменная есть знак формального понятия* (курсив наш. — Ю. С.). Потому что каждая переменная представляет постоянную форму, которой обладают все ее значения и которая может пониматься как формальное свойство этих значений. Так, переменное имя „X“ есть собственно знак псевдопонятия *объект*. Там, где всегда правильно употребляется слово „объект” („предмет”, „вещь” и т. д.), оно выражается в логической символике через переменные имена... Это же относится и к словам „комплекс”, „факт”, „функция”, „число” и так далее. Все они обозначают формальные понятия и изображаются в логической символике переменными, а не функциями или классами (как думали Фреге и Рассел)» [Витгенштейн 1958, 4.126—4.1272]. (Здесь Л. Витгенштейн, в силу обычной для него самонадеянности, полагает, что впервые открыл понятие «формального понятия», между тем как оно прямо вытекает — в логическом смысле «вытекает» — из понятия «форма понятия» в логике Канта и В. Н. Карпова. На понятии «форма понятия» основаны также, в логическом, хотя и не обязательно в историческом, смысле, рассуждения С. Д. Кацнельсона и Е. К. Войшвилло, независимые от тезисов Л. Витгенштейна.)

Поскольку более общие в таксономической иерархии имена могут в определенных условиях выступать как переменные, они являются в этих условиях формальными понятиями для подводимых под них имен-понятий подчиненного ранга. Эти условия определяются типами предложений, в которых употреблена соответствующая переменная в виде общего имени, т. е. условия определяются некоторыми видами предложений. Так, предложение типа *Человек смертен* содержит слово *человек* как переменную, которая может быть заменена любым именем подчиненного в таксономии ранга — *Петр, завхоз, актер* и т. д. Напротив, предложение *Человек — животное*, обладающее речью содержит имя *человек* как обозначение целого класса, и последнее не может быть заменено в общем случае любым представителем (именем) класса. В третьем случае *Васька — человек, а не кот* слово *человек* несет сигнификатное

содержание, в некотором отношении равносильное признаку и, возможно, содержанию метазнака. В первом случае имя человек является «формальным понятием» для подчиненных имен, в двух других — нет. Поскольку мы говорим о языковой таксономии, все сказанное о «формальных понятиях», включая и положения Витгенштейна, следует здесь понимать в семантическом смысле. Иными словами, указанные положения относятся к семантической форме и семантической правильности. Что касается логической правильности (которую имеет в виду Витгенштейн), а также фактической правильности, то они требуют специальных, более жестких определений.

Другой из названных выше вопросов, связанных с относительностью понятия, т. е. с тем, чем различаются разные предикатные выражения одного и того же понятия, влечет за собой переход к проблеме синонимии предикатных выражений. Ею специально занимался Р. Карнап. Введя понятия «интенционал» (в соответствии с понятием «содержание») и «экстенционал» (в соответствии с понятием «объем»), Карнап показал, что «два предикатора имеют один и тот же экстенционал, если и только если они эквивалентны. Два предикатора имеют один и тот же интенционал, если и только если они логически эквивалентны» [Карнап 1958, 51]. Отсюда следует, что если два предикатных выражения описывают один и тот же объем, т. е., по Войшвилло, являются разными выражениями одного и того же понятия, а по Карнапу — эквивалентны, то отсюда еще не следует, что они логически эквивалентны. Иными словами, строго говоря, два предикатных выражения будут выражать одно и то же понятие, только если они логически эквивалентны. Существуют, кроме того, такие предикатные выражения, которые эквивалентны, но не логически эквивалентны; такие выражения должны рассматриваться как выражающие не одно и то же, а разные, хотя и близкие, понятия. (У Войшвилло эквивалентные и логически эквивалентные понятия в этом смысле, кажется, не различаются.) В лингвистике этому различению иногда способствует выражение «оттенок понятия» в отличие от «синоним к ...».

Если рассматривать предикатное выражение — по крайней мере простое, одноместное и первого уровня — как выражение некоторого объективного «свойства» — что вполне естественно и обычно делается в логике, — то это выражение однозначно задает некоторый класс, но обратное в общем случае неверно: одному и тому же классу может соответствовать несколько свойств и, следовательно, несколько предикатных

выражений в одном и том же языке. Эта констатация является более простым выражением того же, что сказано в предыдущем абзаце. В своих терминах Карнап выразил это так: «каждый интенционал единственным образом устанавливает экстенционал, но не наоборот» [Карнап 1959, 173].

Нет, однако, никаких оснований к тому, чтобы ограничивать выражение свойства, а следовательно, определение понятия одноместным предикатом. Напротив, мы знаем, что наиболее распространенной формой связи понятий являются многоместные предикаты, и они же наиболее распространенная форма синтаксических связей слов. Естественно рассматривать многоместные предикаты тоже как форму — хотя и более опосредованную — выражения понятий. Поскольку в многоместном предикате несколько мест для термов, то, следовательно, каждый терм в той или иной степени определяется через свое вхождение в предикат и, значит, через свое отношение к другим термам в нем. Этому логическому подходу естественно соответствует в определенной мере

дистрибутивный подход к анализу значения (значение каждого слова определяется: через его сочетаемость, в данном случае — через сочетаемость в рамках предиката).

Нужно обратить внимание еще и на другую лингвистическую параллель предикатного способа определений. Речь идет о том, что места термов в многоместном предикате всегда соответствуют некоторым падежам — падежам в прямом смысле термина, если язык флективный, как, например, русский, или падежам в глубинно-семантическом смысле (например, в смысле Ч. Филлмора), если язык нефлективный, например, английский. Исходя из этого, можно рассматривать падежную форму каждого слова как самостоятельное слово. В таком случае в словаре должны были бы фиксироваться как отдельные словарные единицы не только *стол, дом, человек* и т. д., но и *столу, дому, человеку; стола, дома, человека* и т. д. Конечно, этот теоретический подход очень противоречит нашему интуитивному представлению о слове. Однако противоречие не так велико, если мы подумаем о значениях слов и о понятиях. Практически и теоретически несомненен тот факт, что значений в лексической системе языка гораздо больше, чем слов. Но чем же, говоря вообще, различаются разные значения одного имени существительного, как не различными вхождениями в предикатные сочетания прежде всего?

Таким образом, намеченный подход не так уж странен и для лексикологии, и он, во всяком случае, не странен для анализа понятий в лексической системе. Ведь состав семантических признаков понятия, как было показано выше, существенно различается в зависимости от того, выступает ли данное слово-понятие в роли субъекта или в роли предиката. Но вхождение имен существительных в качестве термов в разные места многоместного предикатного выражения и есть основная форма этого различия. Идя от лингвистических наблюдений, мы подошли к тому же, что с логической точки зрения утверждал уже Л. Витгенштейн: «Установление значений пропозициональной переменной есть *указание предложений*, общим признаком которых является переменная. Установление значений есть описание этих предложений» [Витгенштейн 1958, 3.317]. Этот принцип, во всяком случае, должен был бы учитываться при анализе категории падежа.

Подведем некоторые итоги рассуждений о форме и содержании. Под содержанием в лингвистике в настоящее время понимают обычно совокупность семантических признаков, определенным образом упорядоченную, иерархизированную, — применительно к слову и предикатное выражение или некоторую совокупность предикатных выражений — применительно к высказыванию. Под формой содержания в духе современной философии языка естественно понимать некоторую часть этих признаков, непосредственно ассоциирующуюся с выражением (форма есть часть содержания). Эта часть признаков определяется в некоторой

системе, которая может быть различной (тезаурусно-идеографической для слова; или системой типа исчисления предикатов, или системой типа системы Карнапа, или их менее формальных эквивалентов — для высказывания, и др.). В лингвофилософской таксономии форма определяется на двух осях — в системе таксономической иерархии как место в ней данного слова и в сопоставленном ему предикатном выражении, пропозициональной функции, которая типизирует основную синтактико-семантическую роль слова. Таким путем могут быть оформлены и семантические сущности, не имеющие отдельного словесного выражения, т. е. не представленные в данном языке в виде отдельной лексемы. С содержательной стороны — по отношению ко всему семантическому содержанию слова — формой содержания будут признаки, стоящие в начале иерархии, или, точнее, предшествующие в ней месту данного слова.

б. Плодотворная идея номинализма: возможность различных семантических определений одного семантического объекта (плюрализм в современной лингвистике)

Идея, названная в заголовке этого раздела, отражает фактическое положение дел в современной лингвистике и философии языка — плюрализм систем описания, относящихся к одному и тому же объекту. Сама эта идея и фактическое положение дел как идея реализованная, конечно, противостоят наследию реализма, скажем, реализма аристотелевского типа, где ригидность Категорий (да, в значительной степени, и Предикабилей), разумеется, исключают какую-либо множественность систем описаний, строяемых на их основе. Таким образом, в указанном фактическом положении дел следует видеть прямое — и положительное — влияние номинализма.

Но мы здесь проследим плюрализм семантических описаний в более узком, хорошо определенном и хорошо ограниченном аспекте, — как плюрализм семантических определений того, что является «лексическим значением слова». Этот ракурс темы является прямым продолжением тех конкретных идей номинализма кантовского типа, которые являются предметом предыдущего раздела 5.

1. Элементарные семантические явления в языке как объективная основа различных систем семантического описания.

Прежде чем перейти к сложным вопросам соотношения объективной семантической системы языка и способов ее описания, целесообразно хотя бы коротко напомнить, как с точки зрения современной лингвистики представляется эта объективная система. В современной

семантике существуют два наиболее общих течения. Одно из них исходит из примата групп, систем, полей слов и рассматривает все другие вопросы как производные от этих (в частности, производным будет вопрос о лексико-семантическом варьировании отдельного слова). Другое исходит из примата отдельного слова в его лексико-семантическом варьировании и освещает другие вопросы как производные от первого (в частности, производной будет проблема лексико-семантических полей). Вся предлагаемая работа ориентирована на синтез различных направлений, поэтому уже в

следующем ниже предварительном очерке точка зрения выбрана так, чтобы не исключить, а напротив, облегчить их дальнейший синтез.

Элементарную ячейку системы семантики составляет единство трех элементов, так называемый «семантический треугольник»: внешний элемент словесного знака (последовательность звуков или графических знаков) — означающее связан, во-первых, с обозначаемым предметом действительности — денотатом (а также референтом, см. ниже), во-вторых, с отражением этого предмета в сознании человека — означаемым. Означающее представляет собой результат общественного познания действительности и обычно тождественно понятию, иногда представлению. Тройная связь «означающее — денотат — означаемое» составляет категорию значения, основную ячейку семантики.

В массе слов и словосочетаний, образующих словарный состав языка, а также в сфере грамматических преобразований, эти трехаспектные ячейки вступают между собой в закономерные, системные отношения. Системные отношения заключаются, прежде всего, в том, что эти ячейки уподобляются одна другой по какому-либо из трех своих элементов — по означаемому (тогда имеют место отношения синонимии), по означающему (возникает омонимия), по денотату и референту (возникает особая разновидность синонимии — трансформация и перифраз).

Отмеченный — и основной — аспект системности наиболее четко проявляется в пределах сравнительно небольших групп слов, объединенных в каком-либо одном отношении (синонимией) и противопоставленных в другом отношении (антонимией). Такие группировки, специфические для каждого языка, составляют структурные системы оппозиций, подобные (изоморфные и гомоморфные) системам оппозиций в фонологии и грамматике языка. Например, в русском языке группа слов ехать, идти, плыть, лететь — система оппозиций, так как все слова объединены признаком «передвижение человека» и противопоставлены признаками «по суше — не по суше», «с вспомогательными средствами — без вспомогательных средств». Такие признаки в пределах группы описываются как компоненты или семантические множители. Совокупность этих дифференциальных признаков, компонентов, или семантических множителей, каждого отдельного

слова образует структурную, или структурированную, часть в пределах его означаемого. Эта часть в различных системах описания имеет разные названия, мы называем ее

десигнат. Кроме совокупности дифференциальных признаков, или десигната, в означаемое слова входят интегральные признаки. В данном примере, для русского слова плыть его десигнат, состоящий из дифференциальных признаков, таков: '1) передвигаться, 2) не по суше, 3) без вспомогательных средств'; состав интегральных признаков: '4) по поверхности воды или в воде, 2) совершая определенные движения руками и ногами' и другие. Интегральные признаки не противопоставлены непосредственно соответствующим признакам других слов, они образуют «единичное», «индивидуальное» в означаемом данного слова. Список дифференциальных признаков всегда ограничен общей структурой данной группы слов (хотя может быть более или менее длинным, в зависимости от широты и структуры группы; он бывает предельно длинным в словаре тезаурусно-идеографического типа, см. ниже). Список интегральных признаков в принципе не ограничен, его неограниченность отвечает объективному неисчерпаемому характеру единичного и индивидуального, он может быть ограничен только практическими соображениями описания.

Совокупность дифференциальных признаков (десигнат) и интегральных признаков образует полный состав признаков лексического значения слова, или его сигнификат. Таким образом, сигнификат имеет структурированную часть, десигнат и более или менее открытую часть, состоящую из интегральных признаков.

Сигнификат, в общем, то же самое, что и понятие. Различие между этими двумя терминами определяется главным образом не их содержанием, а тем, что они принадлежат двум различным системам описания: первое — лингвистике, второе — логике. В том же значении, что и «понятие», употребляются иногда термины «смысл», «концепт». Эти последние отличаются от общего термина «понятие» главным образом тем, что с ними связываются дополнительные терминологические ограничения, вытекающие не из особенностей логики вообще, а той или иной конкретной логической системы. Например, можно сказать, что «концепт» — это то же самое, что «понятие», как оно понимается в системах типа системы А. Черча; «смысл» — это то же самое, что «понятие», как оно понимается в системах типа системы Г. Фреге, и т. д.

Выделение структурированной части в составе сигнификата особенно важно для лингвистики. Мы называем эту часть десигнатом. В системе де Соссюра этому в общем соответствует термин «valeur» — «абстрактная значимость». В теориях поля десигнат (или соответствующее понятие, обозначенное другим термином) будет соответствовать

дифференциальной значимости слова — тому в значении слова, что определяется противопоставлением данного слова всем другим словам поля. Понятие десигната очень важно и для теории номинации в тес-

ном смысле слова как теории языкового обозначения, названия. По-видимому, именно десигнат и есть тот минимум различительных признаков, который необходим для правильного, т. е. в соответствии с нормами данного языка, названия данным словом объективного предмета действительности (для того, чтобы словом петух мы назвали петуха, а не кошку). Таким образом, десигнат в общем соответствует понятию «минимум различительных признаков, необходимых для названия», которое получает иногда другие наименования в других концепциях.

Указанные элементарные группы слов могут в свою очередь соединяться в том или ином содержательном отношении одна с другой, образуя тематические группы, семантические и лексические поля. Например, все способы выражения понятия «долженствование» в данном языке образуют лексико-семантическое «поле долга». Выражение того же значения может быть и не лексическим, а грамматическим, например, выражаться в структуре предиката определенной схемы предложения. Поэтому лексико-семантические поля могут включать в себя и грамматические способы. Такое расширенное лексико-семантико-грамматическое поле имеет различные наименования, часто его называют «функциональным».

Полное описание лексико-семантической системы языка по этой линии приводит к созданию двух типов словарей — словаря тезауруса (или идеографического словаря тезауруса) и «тезауруса лексических параметров, или функций» (типа «каузация», «контрагент», «адресация» и т. д.). «Тезаурус лексических параметров, или функций» позволяет системно описать такие перефразирования как, например, *Мы накопили большой материал — У нас накопился большой материал*.

Напротив, углубленный анализ многозначного слова приводит к его расчленению на «лексико-семантические варианты», каждый из которых представлен отдельным значением в составе слова, как оно описывается в толковом словаре, и соответствующим этому отдельному значению типом контекста.

В содержательном отношении система языка состоит из двух «полюсов», или типов слов — обиходных, общеупотребительных и специальных, среди которых

важнейшее место занимают научные термины-понятия. Общей закономерностью семантического состава языка является то, что значения обиходных слов, имеющие общие признаки с научными понятиями, развиваются в сторону последних, постоянно стремятся слиться с ними как со своим содержательным пределом. Но это стремление остается лишь тенденцией развития, так как система научных понятий всегда опережает их и уходит вперед.

Особое место между обиходными (иначе, «языковыми», «наивными» и т. п.) понятиями и научными понятиями занимают так называемые

ключевые термины культуры, отличные для каждой эпохи, такие как *цивилизация, революция, демократия, наука, техника, личность, любовь, машина* и т. п. В их семантическом содержании сочетаются значения обиходных слов и господствующие в обществе идеи. Так, в древнерусском языке понятия и слова личность не существовало, а соответствующие ему признаки были рассеяны по разным словам *человекъ, людинъ, лице, доуша, соущество* и др. Этому соответствовало и отсутствие в древнерусской литературе жанра автобиографии, повести о самом себе, приемов индивидуального портрета. Слово личность появляется не ранее второй половины XVII в., а его содержание окончательно складывается только к 20—30-м годам XIX в. под влиянием философских и юридических доктрин и художественной практики этой эпохи.

Каждая из отмеченных здесь черт объективной семантической системы становится основанием (и при этом иногда абсолютизируется) в той или иной системе семантического исследования.

2. Противопоставленные системы семантического описания.

При противопоставлении семантических теорий имеется в виду, конечно, не их конкуренция (хотя и конкуренция, и полемика нередко имеют место), а противоположение их теоретических оснований, отвечающее объективным семантическим противоположениям в языке. Поступая так, мы следуем глубокой научной традиции Л. В. Щербы, который, как известно, находил в основе развитой лексикографической теории несколько основных типов противоположений: 1) словарь академического типа — словарь-справочник, 2) энциклопедический словарь — общий

словарь, 3) тезаурус — обычный словарь, 4) обычный словарь — идеологический словарь, 5) толковый словарь — переводный словарь, 6) неисторический словарь — исторический словарь. Противопоставления Л. В. Щербы сохраняют значение до сих пор. Однако в современной лингвистике в связи с общим расширением ее задач — от лексикографической практики и теории к созданию общей семантической теории языка — изменился и характер основных противопоставлений.

В настоящее время применительно к семантической теории целесообразно говорить не столько о различиях в типах словарей, сколько о различиях в типах описания значений, и, еще более конкретно, о различиях в типах определений значений (в типах «дефиниций»). Таким образом, критерием различения семантических теорий в нашей работе будет служить различие по категории «определение значения». С учетом этого мы полагаем возможным выделить следующие противопоставления, лежащие в основе (иногда в более или менее чистом виде, иногда в сочетании с другими теоретическими положениями) различных семантических теорий.

(а) П р о т и в о п о л о ж е н и е п е р в о е: диффузные определения — структурированные определения, или интегральные определения — дифференциальные определения.

Объективной основой этого противопоставления является то, что в означаемом словесного знака, в составе его сигнификата имеется более или менее четко структурированная часть — десигнат, обусловленная противопоставлением данного слова другим словам его лексико-семантической группы, и часть уникальная для данного понятия, менее структурированная или вовсе не обладающая какой-либо структурой (см. выше). Если структурированная часть сигнификата — десигнат может быть определена перечнем дифференциальных признаков, которые противопоставляют и одновременно объединяют данный десигнат с десигнатами других слов его группы, то в остальной части сигнификата признаки оказываются не дифференциальными, а интегральными, при сущими лишь данному сигнификату. Соответственно этому то же самое противопоставление может быть названо противопоставлением «интегрального определения» «дифференциальному определению». Необходимо подчеркнуть, что в каждом конкретном случае в противопоставленной паре речь идет об определении значения (или значений) одного и того же слова, и разница состоит лишь в том, что при

диффузном, или интегральном, определении это значение описывается как уникальное, а при структурированном, или дифференциальном, определении то же значение описывается как часть, ячейка или элемент некоей оппозитивной системы, состоящей из многих слов с общими для них признаками. В последнем случае значение, естественно, определяется через перечень признаков, входящих в десигнат, признаков дифференциальных, с опущением или с необязательным упоминанием признаков интегральных, перечисление которых является обязательным при первом подходе.

Приведем некоторые примеры. Глагол английского языка to say, описанный в диффузной системе определений, выглядит как совокупность некоторого количества отдельных, но связанных между собой значений, внутренне объединенных несколькими общими для них признаками. Признаки, присущие только этому глаголу (как общие для всех его значений, так и присутствующие лишь в некоторых из них), являются интегральными (см. описание в любом толковом словаре английского языка). Тот же глагол, описанный в структурированной системе (в данном случае, в системе Ю. К. Лекомцева [Лекомцев 1962]), выглядит как фрагмент некоторой системы из четырех единиц; используя знаки 1 для наличия признака и 0 для его отсутствия, Ю. К. Лекомцев кодирует фрагмент следующим образом: первый знак (1 или 0) относится к употреблению глагола при прямой речи, второй знак — при косвенной речи, третий знак — при наличии объекта определенного семантического характера (см. пункт 3), четвертый знак — при наличии имени адресата речи (хотя английский материал, по-видимому, мог

бы быть уточнен, мы оставляем его в авторской форме, так как для нас существенна здесь демонстрация метода); см. таблицу.

		VIII век	XIII-XIV век	XVII-XX век
сказать	1001	MAPELIAN →	QUETHEN →	TO SAY →
говорить	0100	CWEPEAN	SEYEN	TO TELL →
рассказывать	0110	SECZAN	TELLEN	
говорить (процесс речи)	0000	SPRECAN	SPEKEN	TO SPEAK →

Приведенный пример показывает, что дифференциальные признаки не обязательно должны быть чисто семантическими, но могут быть как в данном случае, синтаксическими и семантико-синтаксическими. В развитых системах, в отличие от

данного примера, описание ведется обычно по двум независимым линиям — по линии семантических признаков, образующих лексическое значение слова, и по линии сочетаемости слова, образующей его дистрибуцию. Это различие будет предметом противоположения «прямых» и «косвенных» определений ниже. Здесь речь пойдет главным образом о собственных семантических признаках слова (соответствующих его «прямоту» определению).

С этой точки зрения принцип структурированных определений значения получил наиболее полное выражение в так называемом компонентном анализе (см. известные работы А. Кребера, Ф. Лаунсбери, У. Гудинафа, О. Н. Селиверстовой и др.). Новейшие исследования показывают, что возможности этого, сравнительно давно возникшего, подхода далеко не исчерпаны. Работая на его основе, лингвист исходит из положения о том, что значение в его структурированной части (десигнате) складывается из различительных признаков, или признаков «качественного контраста». Он выбирает поэтому для исследования всегда группу слов, значения которых — по предварительным наблюдениям — складываются из общих или противопоставленных признаков-компонентов. Как отмечает автор одной из известных работ по этой методике, О. Н. Селиверстова, «результаты анализа подтвердили правильность сделанного предположения: хотя значения анализируемых слов не сводятся к различительным признакам, эти признаки играют в их знаковой информации ведущую роль, и выявление дополнительных, избыточных (точнее было бы сказать: интегральных. — Ю. С.) признаков было бы невозможно без установления различительных признаков» [Селиверстова 1976, 18].

Противопоставленная названному подходу идея «диффузности значения» никоим образом не может рассматриваться как пережиток деструктурного периода в лингвистике. Напротив, она, по-видимому» воз-

вещает своеобразную реакцию на крайности структурализма и имеет много общего с идеей «недискретного» анализа, неоднократно высказывавшейся нами. Принцип «диффузности значения» детально проанализирован в работе Д. Н. Шмелева. Иллюстрируя свои наблюдения русским словом земля, автор пишет: «В семантической структуре слова земля было бы затруднительно выделить главное, или «первичное», значение. Стержнем слова здесь оказывается не какое-то отдельное его значение, а те

семантические элементы, которые оказываются общими для всех значений слова. Эта общность опирается на тождество материального знака, обуславливая взаимопроницаемость объединенных значений, в ряде случаев реального употребления слова как бы незаметно переходящих друг в друга. ... Подобная „диффузность“ отдельных значений не создает затруднений для речевого общения, не делает высказывание двусмысленным, так как позиционная обусловленность различных значений многозначного слова сочетается с (также позиционно обусловленной) возможностью „совмещения“ некоторых из них в определенных контекстах».

Обобщая подобные наблюдения, Д. Н. Шмелев формулирует следующее положение: «Принцип диффузности значений многозначного слова является решающим фактором, определяющим его семантику. То, что лексикографические описания не отражают этого (более того, именно стремятся освободить словарные статьи от „неопределенных примеров“), существенно искажает представление о семантической структуре (очевидно, лучше было бы сказать: системе. — Ю. С.) описываемых слов» [Шмелев 1973, 78—80].

Другим видом (кроме упомянутых выше) структурированных определений являются тезаурусные описания. В чисто структурном представлении, таком, как приведенный пример Ю. К. Лекомцева или компонентный анализ, значение слова определяется главным образом относительно других слов той же группы и, следовательно, в признаках «одного яруса», как бы «по горизонтали» системы. Напротив, в тезаурусных описаниях, когда построен полный словарь-тезаурус данного языка, значение каждого слова определяется прежде всего указанием его включений в вышестоящие ярусы системы, как бы «по вертикали». Например, слово *молотилка* будет последовательно входить во все более общие рубрики: 1) сельское хозяйство, 2) общественная жизнь, 3) человек как общественное существо, 4) человек. Такие определения реализуют традиционную логическую форму определения «через ближайший род и видовое отличие» (подробнее см. ниже). Но если в обычном толковом словаре (например, С. И. Ожегова) *молотилка* определяется как «машина для молотьбы», т. е. в пределах только тематической группы «сельское хозяйство», то в тезаурусном словаре это слово будет последовательно соотнесено с группами 1, 2, 3, 4, и именно в этом смысле его определение будет «глубоким».

Уже из отмеченных здесь особенностей можно видеть, что компонентные определения и тезаурусные определения в известной мере предстают как дополнительные по отношению друг к другу. По-видимому, можно ожидать интересных результатов от их совмещения. Не менее, а может быть, еще более интересные результаты достигнуты на основе совмещения слабо структурированной лексико-семантической группы («поля») с тезаурусом [Морковкин 1970; Караулов 1976а; Mathiot 1967; 1968].

(б) П р о т и в о п о л о ж е н и е в т о р о е: мелкие определения — глубокие определения; тезаурусное определение как предельный случай глубокого и структурированного определения путем перечисления признаков.

Под мелкими определениями значения мы понимаем определения с небольшим числом признаков, под глубокими — определения с большим числом последовательно указываемых признаков (вряд ли нужно особо подчеркивать, что слова «мелкий» — «глубокий» здесь вовсе не имеют какого-либо оценочного характера, это только термины).

Объективной языковой основой этого различия является, очевидно то, что в системе лексики каждое слово может быть включено одновременно в малые и более широкие группы слов. Этим объясняется различная глубина структурированных определений — тезаурусных, компонентных или иных. Однако столь же очевидно, что и признаки отдельного понятия могут быть указаны и перечислены с различной степенью полноты, поэтому различие мелких и глубоких определений сохраняется и при диффузном подходе, когда включение слова в группы слов не играет большой роли. Таким образом, это противоположение не совпадает с противоположением структурированных — диффузных определений, а пересекается с ним. Вместе с тем, ниже будет отмечено естественное тяготение глубоких определений к определениям тезаурусного типа.

Указание признаков значения может быть либо непосредственное, путем их перечня, либо опосредованное — через указание сочетаемости (дистрибуции). Первые определения мы называем прямыми, вторые — косвенными. Подробнее это противоположение рассматривается ниже (пункт «е»). Здесь речь пойдет главным

образом о прямых определениях, причем следует отметить, что мелкие определения могут быть и косвенными, т. е. дистрибутивными.

Мелкие определения более или менее похожи в словарях самого различного типа. Напротив, углубление определений остро ставит проблему различения типов описаний. Можно выделить, по крайней мере, три следующих типа углубления определений.

И н к л ю з и в н о – с т у п е н ч а т ы й т и п. Наиболее полно в последнее время он был разработан А. А. Уфимцевой. Например, слово английского языка *eye* ‘глаз’ имеет три основных значения — три лек-

сико-семантических варианта: I — прямое номинативное значение ‘орган зрения живого существа’, II — ‘зрение’, ‘способность видеть’ (глазом), III — ‘кругозор’, ‘способность восприятия’ (умом). «Прямое номинативное значение (I лексико-семантический вариант) слова *eye* служит основой семантической производности только в следующем за ним II лексико-семантическом варианте — ‘зрение’, в то время как III лексико-семантический вариант ‘кругозор’ связан непосредственно не с I лексико-семантическим вариантом, а со II, имея общий с ним сигнификат ‘способность видеть, воспринимать’, но соотносясь уже с другим денотатом — не с «глазом», как в I и II вариантах, а с «умом». Следующим уровнем описания (соответственно, определения) семантики слова в этой системе будет указание признаков лексико-семантических парадигм, синонимических рядов, этот уровень в свою очередь включается в уровень семантических категорий, и т. д. Полный перечень признаков инклюзивно-ступенчатого определения, по А. А. Уфимцевой, имеет следующий вид [Уфимцева 1974, 67]:

- I. Прямое номинативное значение;
- II. Производное номинативное значение;
- III. Признак лексико-семантической парадигмы;
- IV. Признак семантических субкатегорий;
- V. Признак семантических категорий;
- VI. Признак семантического разряда;
- VII. Грамматические признаки.

Так, английские имена существительные «конкретные» по признаку VI — признаку семантического разряда разделяются на следующие четыре группы: 1) конкретные неодушевленные исчисляемые (предметы), 2) конкретные неодушевленные

неисчисляемые (вещества), 3) конкретные одушевленные лица (мир людей), 4) конкретные одушевленные нелюди (животный мир). Эти группировки во многом определяют семантическую сочетаемость и синтаксическое поведение относящихся к ним слов, а поэтому существенны при определении значения каждого слова.

С логической точки зрения этот тип определений обнаруживает интересные и еще не исследованные особенности. С формальной стороны он строится по типу «ближайший род и видовое отличие». Однако, как видно из приведенного выше перечня семи уровней, эти признаки относятся не к характеристике понятий-значений, а к характеристике имен (т. е. в лингвистическом смысле — слов). Таким образом, это — определения номинальные, но при этом построенные по тому способу (через род и вид), который в логике применяется обычно к определению понятий через признаки предмета, т. е. к определениям реальным.

При определении в системе «лексико-семантических вариантов» (как, например, в упомянутых исследованиях) прямое определение «ин-

клюдивно-ступенчатого» типа дополняется указанием дистрибуции и сочетаемости каждого лексико-семантического варианта, т. е. косвенным определением.

Последовательное описание обширного фрагмента русской лексики возможно на основе сочетания приемов прямого и косвенного определений — указания признаков, соответствующих тематической группе и указания дистрибуции [Новиков 1973; Селиверстова 1975]. Эти работы свидетельствуют не только о возможности сочетания двух систем определений, но и о том, что такое сочетание более адекватно описываемому объекту.

В «инклюдивно-ступенчатой системе» углубление определения может пойти, в дополнение к основному способу, еще и вторым путем — расширением набора признаков в пределах каждой ступени. (Это дополнение в действительности используется и играет весьма существенную роль, например, в системе А. А. Уфимцевой.) Здесь мы имеем сочетание с системой другого типа, которую сейчас рассмотрим подробнее.

С в о б о д н о - д и ф ф у з н ы й т и п. Для его иллюстрации воспользуемся уже отмеченным в другой связи примером с русским словом земля. Согласно Словарю под ред. Д. Н. Ушакова, *земля* — 1. Планета, на которой мы живем; 2. Переносное. В

мифологии и поэзии — реальная действительность, в противоположность миру идеальному, небу (книжн., поэтич., устар.); 3. Суша (в отличие от водных пространств); 4. Почва, верхний слой коры нашей планеты. Рыхлое рассыпчатое вещество темно-бурого цвета, входящее в состав коры нашей планеты (разг.); 5. Твердая поверхность, почва, по которой мы ходим, на которой стоим; 6. Страна, государство (устар.). Народ (старин.); 7. Территория с находящимися на ней угодьями, состоящая в чьем-н. владении, в собственности кого-л.; 8. Название различных красок (спец.).

Согласно Словарю С. И. Ожегова, *земля* — 1. Третья от Солнца планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца; 2. Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства); 3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность; 4. Рыхлое, темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты; 5. Страна, государство (высок.); 6. Территория с угодьями, находящаяся в чьем-н. владении, пользовании.

Сравнение хотя бы этих двух определений, в общем одинаковых по глубине, показывает, что при свободно-диффузном типе, не связанном соблюдением признаков структурной или тезаурусной классификационной сетки, углубление определения может существенно варьироваться.

Оно может углубляться за счет введения «дальнейших» в смысле А. А. Потебни признаков понятия, т. е. за счет постепенного перехода к системе научных понятий. При этом однако выбираются такие научные понятия, которые общеупотребительны или по крайней мере обще-

известны для образованных людей. Равно используя эту возможность, оба упомянутых словаря идут при этом различными путями. В Словаре под ред. Д. Н. Ушакова заметна тенденция к гуманитарной сфере, к «миру человека» — ср. 2-е значение, в то время как в Словаре С. И. Ожегова отчетливо проступает сближение с естественнонаучной сферой — ср. употребление в толковании слов-терминов *к о р а п л а н е т ы*, различие в *л а д е н и я* — *п о л ь з о в а н и я* (для того, чтобы соответствовать статусу колхозного землепользования в СССР, согласно которому земля не принадлежит колхозам, а находится в их вечном пользовании), ср. также 1-е толкование.

Возможность включать в определения в разной степени и пропорции понятия науки, притом либо гуманитарной сферы, либо сферы естественнонаучной, в

предельном случае выливается в противопоставление «конкретных определений» «абстрактным определениям» (подробнее см. ниже).

Далее, сравнение двух приведенных словарных статей служит иллюстрацией того более общего положения, что в определении свободно-диффузного типа на первое место может выдвигаться в известных пределах либо один, либо другой признак. Передвижение существенных признаков определения равносильно перестройке всего определения. В приведенном примере эта возможность иллюстрируется двумя 1-ми толкованиями. Словарь под ред. Д. Н. Ушакова трактует землю в 1-м значении как «планету, на которой мы живем», и, следовательно, дает антропоцентрическое определение. Напротив, Словарь С. И. Ожегова использует в толковании того же 1-го значения основные признаки научного понятия «земля» — 1) планета, 2) вращающаяся вокруг Солнца, 3) вращающаяся вокруг своей оси. Возможность передвижения признаков (она имеется не только в свободно-диффузных, но и в структурированных определениях) приводит к оппозиции определений с фиксированным признаком — определений с «плавающим» признаком, которая подробнее будет рассмотрена ниже.

Тезаурусный тип. На четкую связь между дефиницией и систематизацией в словаре идеографического или тезаурусного типа впервые обратил внимание Ш. Балли (1909 г.) [Балли 1961, 155]. В настоящее время в связи с успехами теории и практики тезаурусных и идеографических словарей (см. в упомянутой выше книге Ю. Н. Караулова) эта связь достаточно хорошо исследована. Хотя для вполне последовательного определения каждого слова по тезаурусному типу естественно опираться на законченный словарь-тезаурус данного языка, однако, вообще говоря, наличие такого словаря не обязательно для создания тезаурусных определений ограниченной глубины и для ограниченного фрагмента лексики. В любом случае тезаурусное определение можно считать глубоким и структурированным определением. Однако в полном виде эта характеристика может относиться только к таким

тезаурусным определениям, которые совмещены с развернутым компонентным анализом (ср. упомянутые работы М. Матье, В. В. Морковкина, Ю. Н. Караулова).

Опыт совмещения, представленный М. Матье, состоит из двух работ, первая из которых (1967 г.) содержит предварительные рассуждения (главным образом о формальном статусе слов и словосочетаний), а вторая (1968 г.) дает последовательное

описание семантики американо-индейского языка папаго (уто-ацтекской группы). М. Матье, как и Э. Бенвенист, А. А. Уфимцева и др., исходит из различия двух сфер языка — языка как системы и языка в действии, в процессе его использования. Однако вторую сферу автор далее разделяет еще на две: 1) использование системы языка для передачи сообщений и установления референции с теми явлениями действительности, которые служат непосредственным предметом речи, это «речевое поведение» (speech behavior); 2) использование системы языка для классификации конкретных явлений действительности, для установления общей системы референций с явлениями действительности вообще, это «номинационное поведение» (naming behavior). «Номинационное поведение» совпадает с системой обиходных понятий данной культуры, с тем, что в советской и европейской лингвистике обычно называют «обиходными понятиями», «бытовыми понятиями», «языковыми понятиями», «наивными понятиями» и т. п., в отличие от научных понятий, и что сама М. Матье называет «народной таксономией» (folk taxonomy). Это деление в общем совпадает с двумя указанными выше аспектами номинации: 1) номинация как реализация в речи тех классификационных принципов, которые заложены в системе языка; 2) номинация как развитие самих классификационных принципов языка (в создании нового слова, в словообразовании вообще) [Mathiot 1967, 13].

Последовательно вскрывая методом оппозиций и компонентного анализа классы «народной таксономии» языка папаго, М. Матье приходит к формулированию общего принципа каждого класса, этот принцип класса — так называемая «языковая тема» (theme of the language). Совокупность «языковых тем» составляет познавательное, когнитивное (cognitive) содержание семантики данного языка. Классификационные принципы, проявляющиеся во внеязыковом поведении, в других семиотических системах данного общества, составляют «культурные темы» (theme of the culture). Между «языковыми темами» и «культурными темами» М. Матье справедливо видит двустороннее взаимодействие. Интересно отметить, что ее работа может поэтому рассматриваться как фактическое преодоление «гипотезы Сепира — Уорфа». Автор пишет: «Обычное истолкование гипотезы Сепира — Уорфа исходит из того допущения, что когнитивная область языка непосредственно связана с культурой, влияя на поведение человека в сфере культуры. В предлагаемом же подходе это допущение заменяется другим; постулируются две си-

стемы «тем», связанные одна с другой в различной степени. Вместо прямой корреляции между ними устанавливается опосредствующий уровень. Это значит, что язык и культура окажутся связанными, по-видимому, лишь на более высоком уровне абстракции. Это значит также, что нельзя постулировать определяющей роли языка по отношению к культуре» [Mathiot 1968, 2].

К аналогичным выводам независимо и с других исходных позиций пришел в последнее время Ю. Н. Караулов. Он отмечает: «В исследовании свойств поля нам пришлось столкнуться с несколькими закономерностями, выразившимися в форме отрицательных характеристик: ... невозможность перехода от „языковой модели мира“ на более высокий уровень обобщения — к „концептуальной модели мира“ на основе чисто лингвистических приемов» [Караулов 1976, 275].

Независимые и сходные результаты М. Матъе и Ю. Н. Караулова подтверждают и высказанное нами ранее положение о границах и конфигурации складывающейся семиологической теории культуры. Когда ставится задача объединить в рамках такой единой теории данные языка и данные культуры, то, по-видимому, нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка. Речь должна скорее идти о том, чтобы выработать третий, более общий аппарат понятий, приложимых к лингвистической теории, с одной стороны, и к теории культуры, с другой [Степанов 1975, 573—577].

(в) П р о т и в о п о л о ж е н и е т р е т ь е: определения с фиксированным признаком — определения с «плавающим» признаком.

Значение этого противоположения для семантики, кажется, не отмечалось в теоретической лингвистике. Между тем его важность трудно переоценить.

Объективной языковой основой этого противопоставления является следующее явление. В пределах каждого относительно хорошо вычлняющегося фрагмента семантической системы данного языка (и, вероятно, в системе в целом) можно установить некоторый набор семантических элементов («компонентов», «сем», «множителей» и т. п.). Совокупность этих элементов составляет основную часть значения (десигнат) каждого слова. Например, если в определенном фрагменте лексики русского языка имеются элементы ‘быть существом’, ‘быть разумным’, ‘быть мужского пола’, ‘быть женского пола’, ‘быть взрослым’, ‘быть незрелым’, то:

‘существо’ + ‘разумное’ = *человек*

‘существо’ + ‘разумное’ + ‘мужского пола’ = *мужчина*;

‘существо’ + ‘разумное’ + ‘женского пола’ = *женщина*,

‘существо’ + ‘разумное’ + ‘мужского пола’ + ‘незрелое’ = *мальчик*; ‘существо’ + ‘мужского пола’ + ‘взрослое’ = *самец* и т. д.

В таком виде предстает обычный компонентный анализ. Однако при компонентном анализе в чистом виде не уделяется внимание тому в высшей степени существенному обстоятельству, что в семантической структуре каждого отдельного слова большую роль играет не только сам состав, или перечень, признаков, но и их порядок, их иерархия. Роль иерархии может быть замечена уже на простейших компонентных примерах приведенного типа. Ср.:

‘существо’ + ‘разумное’ = *человек*;

‘существо’ + ‘разумное’ + ‘мужского пола’ = ‘человек’ + ‘мужского пола’ = *мужчина*;

‘существо’ + ‘разумное’ + ‘мужского пола’ + ‘незрелое’ = ‘человек’ + ‘мужского пола’ + ‘незрелое’ = ‘мужчина’ + ‘незрелое’ = *мальчик*.

Определения, состоящие из одних и тех же признаков, но с различием в порядке или иерархии признаков и притом в таком случае, когда это различие не признается существенным, мы назовем определениями с «плавающим» признаком. Например, мальчик может быть определено либо как ‘мужчина’ + ‘незрелый’, либо как ‘человек’ + ‘мужского пола’ + ‘незрелый’. Определения на основе компонентного анализа часто являются определениями с «плавающим» признаком. Тезаурусные определения, естественно, будут определениями с фиксированным признаком.

Имеется и другое весьма важное обстоятельство. В зависимости от порядка, или иерархии, семантических признаков, той или иной комбинации из одних и тех же признаков будет соответствовать — в реальной, «наблюдаемой», «поверхностной» системе языка — иное слово. Подобные явления детально изучаются в настоящее время в логике и в лингвистике в связи с проблемой так называемых «пресуппозиций». Однако первые идеи на этот счет — притом в таком виде, который имеет непосредственное отношение к проблеме определений — были высказаны уже более столетия назад. Мы имеем в виду работу В. Н. Карпова, рассмотренную здесь выше (в разделе 5), где

проведено отчетливое разделение «формы» и «материи» (т. е. «содержания») понятия. Форма понятия — тот признак, который мы делаем главным, «материя» понятия — остальные признаки. Так, например, в понятии «лев» — «1) животное, 2) четвероногое, 3) чрезвычайно сильное, 4) плотоядное» и т. д. — 1-й признак составляет форму понятия, 2-й, 3-й, 4-й — «материю», или содержание, понятия. Взятая в другом отношении, подчеркивает В. Н. Карпов, та же совокупность признаков может иметь другую форму, например, на первое место будет выдвинут признак «четвероногое», еще другую — если на первое место пойдет признак «плотоядное» и т. д.

В относящейся сюда терминологии, а отчасти и содержании книги В. Н. Карпова сказалось влияние логического учения Канта с его разде-

лением в знании «формы» и «материи» (Stoff). Однако, с критической поправкой, — которая, впрочем, должна касаться скорее общих вопросов, чем непосредственно приведенного рассуждения, — последнее может рассматриваться как логическая основа определений с «плавающим» признаком. Эти мысли В. Н. Карпова представляются очень важными для современной семантики и заслуживают дальнейшего развития.

Естественно, что определения с фиксированным признаком тяготеют к глубоким и структурированным определениям, в то время как определения с «плавающим» признаком вполне реализуются лишь при диффузных и мелких определениях. Таким образом определения с «плавающим» признаком следует рассматривать как определенный, очень важный этап всякого прямого семантического описания — этап, предшествующий фиксации системы. Если система далека от тезаурусного типа, — как, например, толковый или большой синонимический словарь, — то определения с «плавающим» признаком постоянно присутствуют в ней, обуславливая одно из ее главных достоинств — нежесткость описания.

Определения с «плавающим» признаком являются логической основой такой важной категории лингвистического описания, как «оттенки» значения, или «оттенки» понятия. Два значения или понятия в этом смысле будут «оттенками» одного и того же или один другого, если они определяются одним и тем же набором признаков, но с частично различным порядком признаков, или одно отличается от другого наличием или отсутствием какого-либо признака (чаще всего не первых порядков). Таковы, например, совокупности признаков «1) животное, 2) плотоядное, 3) четвероногое и т. д.»

и «1) плотоядное, 2) животное, 3) четвероногое и т. д.». В первом случае совокупность признаков подходит под род «животные», во втором — под род «хищники». «Хищниками» с определенной точки зрения могут быть названы и растения, питающиеся насекомыми. В языке такие различные совокупности признаков, как уже было сказано, могут соответствовать разным словам-синонимам. Например, *воровать* определяется как совокупность признаков: «1) совершать преступление, 2) присваивать чужое, 3) посредством тайных, незаметных для владельца действий». *Красть* можно определить как: «1) присваивать чужое, 2) посредством тайных, незаметных для владельца действий, 3) совершать преступление». Признаки, стоящие далеко от начала ряда, могут нейтрализоваться. Поэтому можно сказать *Кот украл мясо*, но *Кот своровал мясо* обычно не говорят. (См. далее пункт «е».)

(г) П р о т и в о п о л о ж е н и е ч е т в е р т о е: денотативные определения — сигнификативные определения.

Объективной языковой основой этого противопоставления является то, что фонетическое слово в языке связано как с объектом (денотатом), так и с понятием об объекте (сигнификатом). Эта двусторонняя

связь обуславливает — по крайней мере в тенденции или в пределе — два различных круга в значении слова, два типа синонимии, два типа омонимии и т. д. В данной связи важно подчеркнуть, что это же объективное явление дает основу для очень существенного разграничения в семантике, контуры которого только начинают вырисовываться. Еще в работе 1964 г. мы обращали внимание на теоретическую возможность двух различных определений значения слова — по денотату и по сигнификату [Степанов 1964]. В ряде работ последнего времени это противопоставление начинает приобретать все большую определенность и все больше фактически использоваться для построения цельной системы семантического описания, ср. [Войшвилло 1976].

То же различие проходит в работе А. А. Уфимцевой. Правда, следует отметить, что «денотатом» в этой книге называется не предмет и не класс предметов, а «типизированное представление о соответствующем классе предметов», что, по-видимому, соответствует «минимальной совокупности отличительных признаков». Но когда эта оговорка сделана, дальнейшие наблюдения А. А. Уфимцевой представляются

очень ясными и адекватными. Автор пишет: «Те словесные знаки, которые, называя предмет, явление, указывают либо на денотат, либо на сигнификат, а часто и на то и на другое вместе, принято издавна относить к полнозначным, выполняющим все знаковые функции»; «определяющим для семантики именных лексем является обязательное наличие в их знаковом значении денотата и сигнификата, характер их взаимосвязи в рамках одного и того же означающего, доминирующее положение денотата над сигнификатом в одних и сигнификата над денотатом — в других»; «имена с денотативным и денотативно-сигнификативным значением мы относим к разряду имен, называемых конкретной лексикой; слова с сигнификативной и сигнификативно-денотативной основой значения составляют, по нашему мнению, абстрактную лексику» [Уфимцева 1974, 42]. Совокупность этих высказываний показывает, что противопоставление денотативных и сигнификативных определений приобрело системный характер и само послужило основой создания определенной системы семантического описания.

Наконец, в самое последнее время, в докторской диссертации Ю. Н. Караулова, указанное противопоставление было распространено на обширную семантическую систему тезаурусного типа и одновременно были вскрыты его своеобразные парадоксы. Остановимся подробнее на этой работе. Автор отмечает, что в процессе подведения группы слов (поля) под ту или иную рубрику, в процессе «ориентирования поля на ту или иную суперординату», исследователь сталкивается с именами, предполагающими перечисление подчиненных им и включающихся в них элементов. Эти имена, или суперординаты, могут быть словами двух противоположных типов. С одной стороны, это могут быть суперординаты типа *одежда* (для слов *юбка, рубашка, платье, носки*) и *мебель* (для

слов *стол, стул, шкаф*), с другой стороны, например, *двигаться* (для слов *ехать, идти, бежать, ползти*) или *животное* (для слов *волк, лиса, корова, собака, медведь*). Если первые носят ярко выраженный предметный денотативный характер и предполагают перечисление их составных частей, то вторые имеют десигнативную (точнее: сигнификативную. — Ю. С.) направленность и отражают логические родо-видовые связи. Таким образом, можно сказать, что *шкаф* — часть мебели, но нельзя сказать, что *ехать* — часть двигаться.

«Отношения между частями денотата, обозначенного именем поля, принципиально отличны от отношений между гипонимами, когда ядром является родовое имя. Указание рода, или суперординаты, всегда есть указание определяющей семантической связи между входящими в данное множество элементами, т. е. между гипонимами. Соотношение же часть — целое, свойственное денотативному имени, представляет собой обозначение определенной ситуации, а перечисление элементов этой ситуации составляет тематический класс. Гипонимы равноправны по отношению к суперординате, и каждый из них имеет самостоятельную ценность. В изолированном же виде каждый гипоним может выступать как заместитель суперординаты, или всего рода, поскольку обладает основными его свойствами, которые повторяются на всем множестве как семантическая связь. Так, цветком будет и *ландыш*, и *лилия*, и *гвоздика*, а каждая из птиц — *тиркушка, авдотка, лопатень, шилоклювка* — все это *кулик*. Когда же именем поля задана ситуация, то элементы ее неравноправны... *палец* не заменит *ногу*, а *носки* — *рубашку*. Денотаты, составляющие тематический класс, приобретают статус самостоятельности именно в недрах своего целого» [Караулов 1976, 221 и сл.].

Таким образом, денотативные (тематические, ситуативные) группы в идеографическом словаре принципиально неустранимы. Их необходимость диктуется наличием значительного количества таких слов, которые никуда, кроме таких групп, входить не могут.

«Структура тематических групп, или полей ситуативного характера, отличается от структуры десигнативных полей тремя особенностями. Во-первых, имена денотативного характера, называющие ситуацию, как правило не имеют синонимов (ср. *театр, мебель, почта*). Во-вторых, антонимы у имен такого типа весьма специфичны: ср. *город* — *село, театр* — *кино, голова* — *ноги*. И наконец, на месте видовых отношений между гипонимами в поле с именем ситуативного характера выступает перечисление составных частей данного имени как суперординаты». (Далее см. также пункт «е»).

Уже во всем приведенном в этой связи материале (и в прямой констатации А. А. Уфимцевой) можно наблюдать естественное тяготение определений денотативного типа к конкретной лексике, а определений сигнификативного типа — к лексике абстрактной. Однако последнее должно быть рассмотрено как особое противоположение.

(д) П р о т и в о п о л о ж е н и е п я т о е: определения конкретной лексики — определения абстрактной лексики.

Объективной языковой основой этого различия служит очевидное несходство таких слов, как *стул*, *продавать*, с одной стороны, и таких как *вероятность*, с другой. На первый взгляд кажется, что здесь мы имеем дело не с различиями определений, а только с разницей обозначаемых предметов. В действительности, однако, последняя настолько глубоко определяет противопоставление самих определений, что оно выходит за рамки вопроса формальной логики и становится сложнейшей общеполитической проблемой. Все рассматриваемые здесь противопоставления имеют не только лингвистический, но и философский смысл. Но данное противопоставление в этом отношении, пожалуй, превосходит все остальные.

Прежде всего можно было бы отметить, что нередко оно определяет не только научную точку зрения, но в конечном счете даже жизненную позицию ученого. Конечно, в таких случаях мы имеем дело с крайностями, над которыми иронизируют, но эти крайности показательны. Говоря о сторонниках «конкретной ориентации», «можно вспомнить, — пишет А. Траур, — об одном лингвисте — представителе этой школы, который с целью изучения пастушеской терминологии заставлял себя проводить долгое время в овчарне и не раз, в течение многих месяцев, жил вместе с пастухами. Разумеется, он мог избежать таким образом кое-каких фактических неточностей, но все же возникает вопрос, стоило ли это делать. Мы отнюдь не собираемся рекомендовать кому-либо строить теории о вещах, в которых он не сведущ, но вряд ли целесообразно тратить несколько лет жизни, чтобы выяснить некоторые подробности, касающиеся в конце концов весьма второстепенной области науки» [Траур 1972, 158]. Пример А. Траура относится к первым десятилетиям нашего века. В наши дни мы нередко встречаемся с другой крайностью, вроде углубленного семантического анализа русских слов *попрошайка* и *побирушка*. «До логического конца, — пишет А. С. Богомолов, — доводит эту тенденцию Джон Остин (1911—1960), многие из работ которого, по его собственному признанию, посвящены дотошному и детальному различению понятий, сводящемуся к спору о ненужных мелочах (splitting a hair). Пример этого — посмертно опубликованная статья „Три способа пролить чернила“, посвященная различению значения слов „умышленно“ (intentionally), „преднамеренно“ (deliberately) и „нарочно“

(on purpose). Может быть, это и интересно для филолога, но философия почерпнет отсюда слишком мало» [Богомолов 1973, 267].

Вернемся, однако, к истории вопроса. В лингвистике различие конкретной и абстрактной лексики породило два противоположных подхода, две школы, которые чаще всего называются немецкими терминами: первая — школа «слов и вещей», «Wörter und Sachen», вторая — школа «ключевых терминов культуры», «Schlüsselwörter». Школа «слов и вещей»

возникла в Германии в начале нашего века и, в различных видоизменениях, существует до наших дней. Школа «ключевых слов» представляет собой широкое течение в современной европейской лингвистике, переросшее в настоящее время в изучение «культурных концептов» и в ряде сфер сомкнувшееся с «историей ментальностей» (histoire des mentalités) — новой исторической дисциплиной. Провозвестником этой линии исследований стали работы К. Абеля по сравнительной лексикологии разных языков, например русского и английского и др. Так, в работе [Abel 1888] имеются разделы о понятиях «джентльмен» в Англии и «благородный», «дворянин» в России; о понятии «свобода» в России и Польше в сравнении с таковым в Древнем Риме, и др.

Существует объективное радикальное различие между конкретной и абстрактной лексикой. Слова, относящиеся к первой, всегда имеют денотатом отдельный предмет или явление действительности. Определение таких слов может быть дано посредством перечисления признаков предмета, объективное существование которых не вызывает сомнений. В простейшем случае (в случае так называемых остенсивных определений) на определяемый предмет может быть просто указано. Можно дать следующее определение. Конкретная лексика — это названия (имена и глаголы) чувственно воспринимаемых явлений действительности, которым может быть дано определение остенсивное (указание жестом), простейшее операциональное (физическое воспроизводство), заместительное операциональное (мимика, символический изобразительный жест, рисунок).

Слова, относящиеся к абстрактной лексике, не имеют денотата, который существовал бы в виде отдельного предмета объективной и непосредственно наблюдаемой действительности. Определение денотатов таких слов всегда есть та или иная операция над уже существующими понятиями.

В 30-е годы нашего века вся проблема уже была четко осознана представителями гуманитарных наук (мы пока еще не говорим о самой философии). Так, Поль Валери в 1936 г. писал: «Обычный философский лексикон в моих глазах имеет тот порок, что он неизбежно принимает видимость специальной терминологии, между тем как подлинно точные определения в нем столь же неизбежно отсутствуют; ибо нет точных определений, если эти определения не инструментальные (то есть такие, которые сводятся к действиям, например к показу предмета или к совершению операции). Невозможно иметь уверенности в том, что какие-либо единственные, единообразные и постоянные смыслы соответствуют таким словам, как *разум, вселенная, причина, материя, идея*. Из этого проистекает чаще всего то, что всякая попытка уточнить значение подобных слов заканчивается введением под тем же именем нового предмета мысли, который противопоставляется предыдущему в той мере, в какой является новым» [Valéry 1957, 874].

642

В более строгой логической форме проблема была поставлена только в западноевропейской и американской философии середины нашего века, в различных направлениях современного позитивизма. Следует подчеркнуть, что здесь приходится говорить не о решении проблемы, ибо позитивизм и не мог его дать в силу самих своих исходных философских установок, а именно о постановке проблемы.

Л. Витгенштейн, в общих рамках современного позитивизма, в период создания «Логико-философского трактата» (1921 г.) понимает значение как значение-объект и ищет решения на этом пути. Следовательно, — в общем, если говорить в аспекте интересующей нас проблемы, — он исходит из значения конкретной лексики, чтобы затем подойти к значениям абстрактной лексики как более специальному и производному случаю. Как известно, этот путь не привел к успеху. Напротив, в более позднее время, в период «Философских исследований» (вышли после смерти автора, в 1953 г. [Wittgenstein 1953]). Витгенштейн исходит из понимания значения как значения-употребления, и считает возможным рассматривать все проблемы значения, последовательно исходя из этого общего принципа. Новую постановку вопроса нужно признать определенным прогрессом. Действительно, при объектном понимании значения могут быть последовательно определены только значения конкретных слов, в то время как при понимании значения как употребления слова в языке могут быть

последовательно определены как значения конкретных слов, так и значения абстрактных слов. Этот принцип позволяет создать единую теорию значения, пригодную для теоретического описания всей лексики языка. (Ниже будет сказано о том, что и эта теория не свободна от известных противоречий и не решает всех задач, встающих в настоящее время перед логической и перед лингвистической семантикой.)

Полным аналогом этого логического подхода явилась в лингвистике дистрибутивная теория значения. В рамках этой теории значение каждого слова, как конкретного, так и абстрактного, более того, значение каждого языкового элемента, обладающего значением, оказалось возможным описать через указание совместной встречаемости (дистрибуции) слов в речи (или, соответственно, дистрибуции других значимых элементов). Проведение больших работ по описанию значений с помощью дистрибутивной методики (в общем повсеместно закончившееся к середине 60-х годов), действительно, доказало, что указанная возможность может быть превращена в действительность.

И, однако, как известно, дистрибутивная методика не удовлетворила исследователей, работающих в области семантики. Причина этого, казалось бы, парадоксального явления заключается, на наш взгляд, в двух обстоятельствах. Дистрибутивный принцип позволяет описать значение лишь с определенной, притом сравнительно небольшой, степенью

643

глубины. Дистрибутивная методика может вскрыть дифференциальные признаки значения, но не способна вскрыть интегральные признаки. Между тем последние, как уже было показано выше (см. пункт «а») составляют содержательное «ядро» понятия и поэтому играют важнейшую, нередко определяющую роль в семантике как естественного языка, так и во многих случаях в искусственных языках (ср. приблизительно сходное различие категории «смысла» как совокупности дифференциальных и интегральных признаков и категории «значения» как минимума различительных, дифференциальных признаков, например, в теории Г. Фреге). На слабую «разрешающую способность» дистрибутивного анализа в семантике указывал уже при самом его возникновении один из его основоположников З. С. Хэррис в 1957 г. Естественно, что эта отрицательная особенность дистрибутивного анализа должна была сильнее всего сказаться при описании значения абстрактных слов, терминов культуры, в

которых интегральные признаки особенно важны. Поэтому при изучении терминов культуры от дистрибутивного анализа практически отказываются.

Эта слабость остается и в тех значительно более сложных и усовершенствованных методах, которые в последнее время возникли на основе дистрибутивного, например, в «перифрастическом методе» (см. ниже).

В рамках логических теорий отмеченная здесь ограниченность внутриязыкового анализа (в логике он не называется дистрибутивным) была осознана очень рано и очень ясно (почему, между прочим, как мы увидим в дальнейшем, соответствующие лингвистические поправки и усовершенствования можно рассматривать как перенос в лингвистику того, что уже достигнуто в логике). Известно, что на всем протяжении своей деятельности Л. Витгенштейн сохранял «принцип редукционизма», т. е. требование сведения абстрактных понятий к «реальным» терминам, выражающим частное. На наш взгляд, этот принцип в теории Витгенштейна призван был сыграть еще особую роль, а именно как раз и восполнить недостаток интегральных признаков абстрактных понятий, который неминуемо возникал при их внутриязыковом, «дифференциальном» определении. Сведение же их к «реальным», объектным понятиям означало одновременно сведение их ко всему содержательному богатству единичного и особенного.

Таким образом мы подошли к проблеме прямого и перифрастического определения, составляющего суть последнего, шестого противоположения.

(е) П р о т и в о п о л о ж е н и е ш е с т о е: прямые определения — косвенные определения; перифрастическое определение как предельный случай глубокого и структурированного косвенного определения.

Выше (пункты «а», «б») мы уже упоминали о различии прямых и косвенных определений. Определения, в которых значение описывается

перечислением (перечнем) признаков содержания, мы называем прямыми. Определения, в которых значение описывается через соотнесение данного слова с другими словами — при том обязательном условии, что это соотнесение опосредовано одним или несколькими актами речи, — мы называем косвенными. Таким образом, компонентный анализ в чистом виде не является косвенным определением, поскольку соотнесение анализируемого слова с другими происходит вне актов речи, в парадигматике.

Напротив, описание значения слова через его сочетаемость, дистрибуцию, является типичным примером косвенного определения. Однако при этом дистрибутивные определения являются диффузными: значение описывается в них посредством указания неструктурированного множества совместных встречаемостей данного слова. Описание значения через трансформации является примером структурированного косвенного определения. Такой тип определений вырастает из диффузных косвенных определений, т. е. из определений дистрибутивных. История и теория развития трансформационных определений из определений дистрибутивных хорошо исследована в специальной литературе.

В этом разделе мы будем рассматривать основной тип косвенных определений, разрабатываемый в последние годы на основе косвенных определений диффузного (дистрибутивного) типа и далее слабо структурированного (трансформационного) вида и являющийся их дальнейшим развитием. Этим типом являются глубокие и хорошо структурированные косвенные определения — определения перифрастические. Именно они наиболее отчетливо противопоставляются прямым определениям.

Объективной языковой основой этого противопоставления является, во-первых, наличие в языке особого класса номинации — явлений косвенной номинации, т. е. именованного предмета не посредством слов — единиц, специально приспособленных для именованного, а посредством словосочетаний, высказываний-предложений, целых развернутых описаний (подробнее см. в других разделах настоящей книги). Однако косвенная номинация — сравнительно частный тип.

Во-вторых, и это главное, объективной основой указанного противопоставления является то, что значение слова (сигнификат) может быть представлено либо перечнем признаков (*лев* — '1. животное, 2. четвероногое, 3. очень сильное' и т. д.), либо как соответствие одному или нескольким высказываниям (*разгром* — '1. Кто-то разгромил, 2. Кого-то или что-то разгромили'). Такая же возможность имеется и при описании понятия. Ср. «Понятие — целостная совокупность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которой являются суждения о наиболее общих и в то же время существенных признаках этого объекта. Понятие, следовательно, не сводится, как это обычно принято в учебниках логики и философии, к дефиниции, т. е. к краткому указанию од-

них существенных признаков объекта, отраженного в понятии... Могут также сказать, что наша трактовка понятия отождествляет ату форму мышления с суждением. Да, в какой-то мере это именно так. Суждение есть форма мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь. Понятие есть форма мысли, в которой также непременно что-либо утверждается относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь. Это находит свое отображение уже в дефиниции» [Кондаков 1971, 393].

Из приведенного определения видна и личная точка зрения его автора, ее некоторая категоричность, и вместе с тем общая тенденция современной логики рассматривать уже само определение понятия в связи с суждением.

Аналогичная точка зрения находит отражение в современной лингвистике в виде учения о перифрастических определениях.

Перифрастическими, или косвенными, определениями мы называем такие определения значения слова, в которых значение описывается не перечнем признаков, а развертыванием содержания в одно или несколько высказываний, т. е. словосочетаний с предикацией.

Сравним два определения. Прямое словарное определение: «*Благодарный* — (в первом знач.) чувствующий или выражающий благодарность. *Благодарность* — (в первом знач.) чувство признательности к кому-л. за оказанное добро, внимание». Косвенное, или перифрастическое, определение: «*X благодарен Y-у за Z* = 'Считая, что Y сделал X-у добро Z, X чувствует себя обязанным компенсировать Z словесным признанием или ответным добрым поступком'» [Апресян 1974, 107].

Уже из сказанного выше следует, что между прямыми определениями и косвенными определениями должно существовать определенное соответствие (ср. новый опыт такого рода [Новый объяснительный словарь 1997]). Остановимся подробнее на вопросе о том, чем обусловлено и как может проявляться такое соответствие.

Прежде всего очевидно, что прямые определения с «плавающим» признаком или неглубокие прямые определения плохо поддаются установлению таких соответствий.

Хотя каждое из них, конечно, может быть приспособлено к тому или иному суждению, однако система соответствий при этом не может быть построена. Напротив, прямые определения, которые одновременно являются глубокими определениями и определениями с фиксированным признаком, т. е. содержат единообразную иерархию признаков, могут быть поставлены в связь с системой косвенных определений. Таким образом, условием для сближения прямых определений с косвенными является — со стороны прямых определений — наличие в них глубокой и единообразной для ряда определений иерархии признаков.

Посмотрим, что является условием для сближения со стороны косвенных определений. Очевидно, что эти условия симметричны условиям, предъявляемым к прямым определениям: косвенные определения должны содержать: 1) высказывания, построенные по одному и тому же образцу, 2) иерархию таких высказываний в пределах каждого семантического определения, т. е. единообразный порядок их следования.

Выполнить эти условия в реальной системе определений — как показала практика последних лет — далеко не просто. На первый взгляд кажется, что для выполнения первого условия достаточно сводить семантические предикаты к одним и тем же элементарным предикатам. Например, описывать значения таких различных глаголов как *копировать что-л.* и *зависеть от чего-л.* с помощью элементарного семантического предиката 'каузировать' (*копировать предмет* = 'создавать второй предмет, каузируя максимальное сходство между первым и вторым'; *зависеть от* — *X зависит от Y-a* = 'Y может каузировать изменения в свойствах или действиях X-a'). Однако огромную трудность составляет унификация различных дополнений и обстоятельств (с объектным, местным, инструментальным и т. п. значением), выраженных именными формами в составе высказывания. Выяснилось, что их унификация и унификация предикатов в узком смысле слова — это две стороны одного и того же процесса.

Наконец, если два первые условия выполнены, то отчетливо вырисовывается третье условие, необходимое для установления соответствия между прямыми и косвенными семантическими определениями. Это условие касается уже одновременно как тех, так и других определений. Мы сформулируем его следующим образом: должно быть семантическое соответствие между субъектами высказываний, составляющих систему косвенных определений, с одной стороны, и категориальными признаками,

составляющими систему прямых определений, с другой; иными словами, субъекты высказываний в первом случае должны подчиняться той же классификационной системе, что категории признаков во втором случае.

Кажется, что требование (хотя, по-видимому, эксплицитно не сформулированное) выполнено лишь в трех системах — в системе М. Матье, в системе А. Вежбицкой и отчасти в стандартной тезаурусной системе (например, типа системы Вартбурга—Халлига или Ю. Н. Караулова). Основное звено при этом составляет классификация объектов действительности и соответственно имен на категории «лица» — «не-лица». Это основное классификационное звено может быть включено в более широкие классификационные системы, например: 1) «одушевленные» — «неодушевленные», 2) «одушевленные»: «лица» — «не-лица».

Благодаря выполнению этого условия названные выше системы описания — прямого, с одной стороны, и косвенного, с другой, могут быть поставлены в достаточно полную связь одна с другой. В рамках настоя-

щей работы не представляется возможным показать эту связь сколько-нибудь детально, и мы ограничимся ее общей характеристикой.

Как показал Ю. Н. Караулов (см. выше пункт «г»), при построении словаря-тезауруса отчетливо выявляются две несводимые одна к другой группировки слов — 1) денотативная группировка (отражающая предметные связи слов, и в конечном счете — связи предметов в реальных жизненных ситуациях), 2) сигнификативная группировка (по терминологии Ю. Н. Караулова, «десигнативная»), отражающая логические (родовидовые и другие) связи сигнификатов слов (понятий). В семантическом языке системы А. Вежбицкой денотативная группировка будет в общем соответствовать субъектам стандартных высказываний, а сигнификативная группировка — их предикатам. (Мы констатируем здесь это соответствие, конечно, лишь в самой общей форме, поскольку подготовительные работы отсутствуют: ни А. Вежбицкая, ни Ю. Н. Караулов не ставили своей целью совмещение классификаций.)

Основанием, по которому две системы в указанном отношении совпадают, «языковым ядром» этого совпадения является следующая особенность естественного языка: денотативные имена тяготеют в естественном языке к позиции субъекта высказывания и подлежащего предложения, тогда как сигнификативные имена — к

позиции предиката. Как общая языковая закономерность это явление подробно рассмотрено нами выше (гл. II, 2) в терминах системы Аристотеля. Теперь нужно обратить внимание на то, что эта же самая закономерность проступает и в ином виде — в семантических определениях лексических единиц и в словарных группировках лексики. Здесь эта общая тенденция заключается в том, что имя из более конкретной и активной группы займет позицию подлежащего, имя из более абстрактной и менее активной — позицию объекта или предиката.

Это разбиение в общем совпадает с тезаурусным разбиением в системе Халлига-Вартбурга [Hallig, Wartburg 1963] (о последней можно также получить хорошее представление по работам [Караулов 1976а, 1976б]).

Это разбиение также, в общем, совпадает с распределением субъектов в ряду стандартных высказываний в семантических записях А. Вежбицкой: запись в ее системе строится таким образом, что конечным результатом всегда оказывается субъект состояния, не чреватого никаким переходом на другой объект, никакой каузации, вообще никакой «активностью»; исходным и промежуточными будут активные субъекты».

Поэтому в наиболее последовательной системе косвенных семантических определений), каковой является система А. Вежбицкой, не сохраняется ни понятия «прямого объекта», ни понятия «инструментального объекта», ни понятия «каузации как элементарного предиката» и т. д. Объект действия интерпретируется как субъект ситуации, каузи-

рованной другой ситуацией. Инструментальный объект интерпретируется как субъект высказывания с выраженным или невыраженным предикатом (*Адам разбил окно молотком — Адам разбил окно ударом молотка* и т. д.). Элементарные предикаты — это прилагательные и глаголы со значением состояния. Поэтому сама каузация интерпретируется не как элементарный предикат, а как союз, связывающий элементарные предикаты (*Адам разбил окно молотком = Окно разбилось, потому что молоток вошел в контакт с окном, потому что молоток двигался, потому что тело Адама двигалось, потому что Адам хотел, чтобы его тело двигалось, потому что Адам хотел, чтобы окно разбилось*). Благодаря такой редукции А. Вежбицкой удалось выработать стандартный тип высказывания для семантического описания: «модальная

рамка + (субъект + предикат)», в формульной записи — «М, что S есть P»; например, Верно, что окно разбилось [Wierzbicka 1969, 74—77].

Мы рассмотрели случаи достаточно хорошего совпадения между последовательно развитыми системами прямых и косвенных определений. В других случаях, а именно тогда, когда системы прямого и косвенного описания развиты либо недостаточно последовательно, либо, хотя и последовательно, но лишь на некоторых фрагментах лексикона, соотношение между ними все-таки тоже может быть установлено. Однако здесь речь идет уже о соединении в одном описании как бы двух его глав или двух частей, из которых каждая выполнена в иной системе. Удачными опытами совмещения являются упомянутые книги О. Н. Селиверстовой и Л. А. Новикова. Характерной чертой обеих указанных работ является то, что выделение компонентов происходит не путем установления парадигматических оппозиций, а путем установления оппозиций между классами синтагм, т. е. классами употреблений в контекстах. Сам термин «компонентный анализ» имеет здесь совершенно иное значение, чем в «классической» методике компонентного анализа (ср. выше пункт «в»).

Чрезвычайно важным методологическим следствием этого является преодоление на деле сосюрговской дихотомии «язык — речь». Действительно, по отношению к «классам употреблений в речи» лишен смысла вопрос, являются ли эти классы принадлежностью «языка» или «речи». Это положение ощущается обоими авторами. Справедливо отмечая невозможность относить так понимаемые «варианты» к «речи», О. Н. Селиверстова, однако, была склонна относить их к «языку»: «...и значение, и вариант значения принадлежат языку. К речевым вариантам можно относить контекстные информации, не удовлетворяющие правилам третьей ступени проверки, а также неустоявшиеся переносные употребления» [Селиверстова 1975, 36—38]. Очевидно, что здесь сказывалось просто давление привычной терминологии, по существу уже преодоленной.

Это обстоятельство, особенно если сравнить его с отмеченным выше критическим преодолением гипотезы Сепира — Уорфа в работах по компонентному и тезаурусному методу, еще раз доказывает ту истину, что общие положения лингвистики опровергаются и утверждаются не общими словами, а конкретными исследованиями.

Отметим еще одно из важных общих положений метода перифрастических описаний. Как уже было сказано, последний вырастает из дистрибутивного анализа, проходя затем ступень трансформационного анализа, подводящего к методу перифраз. Перифрастическое описание преодолевает один существенный недостаток дистрибутивного анализа.

В последнем, как было отмечено выше (ср. пункт «а»), фактически определялось лишь место каждого данного значения в семантической системе данного фрагмента лексики и в конечном счете в семантической системе языка в целом. Это место очерчивалось дифференциальными признаками на основе сочетаемости данного слова с другими словами. Собственное же, недифференциальное, «интегральное» ядро каждого значения (сигнификата) этим методом не описывалось и, более того, затушевывалось самое его наличие. Эта отрицательная особенность дистрибутивного метода до известной степени преодолевается в перифрастическом методе, так как в нем четко различаются лексическое значение слова и его сочетаемость. Перифрастическое описание в собственном смысле является описанием не сочетаемости слова, а его лексического ядра. Совершается переход к «портретированию слова» как к неповторимой, индивидуальной сущности языка.

Остановимся теперь на некоторых логических основаниях перифрастического метода и связанных с ними ограничениях.

В логическом отношении основой перифрастического метода является логическая теория «лингвистического анализа». В наиболее полном виде последняя разработана английской философской школой, вырастающей из учения Л. Витгенштейна. Анализируя работу представителя этой школы Д. Уисдома «Ostentation», А. С. Богомолов отмечает, что аналитическая процедура состоит здесь в перефразировке предложения S таким образом, чтобы его парафраза, S', более ясно раскрывала структуру факта, который она локализует. «Однако действительная цель „перефразировки“, как явствует из дальнейшего,— это перевод абстрактных понятий в те простейшие понятия, от которых эти абстракции были произведены. ... Формальный анализ имеет дело с функцией, единой для всего данного класса предложений. Материальный — раскрывает положение вещей. Лингвистический (перефразировка) или философский анализ выражает абстрактные термины через их „референты“, т. е. конкретные термины, от которых они были отвлечены» [Богомолов 1973, 266].

Этот анализ вскрывает существенную отрицательную особенность перифрастического метода — его «редукционизм». Наиболее явным

отрицательным следствием редукционизма является невозможность применить метод к описанию абстрактных терминов духовной культуры. Таким образом делается понятным отсутствие в работах по перифрастическому методу интуитивно приемлемого описания таких слов как *свобода, правда, цивилизация, закон, любовь* и т. п.

Впрочем, в силу отмеченной выше связи перифрастических описаний с развернутыми компонентными определениями, эта особенность принадлежит и последним.

В перифрастическом методе анализа уже начинают сказываться те самые ограничения, которые в полном виде проявились в его аналоге в логике. Приведенные выше рассуждения А. С. Богомолов заключает следующими словами: «Но в таком случае „новое“ определение лингвистического анализа (в логике. — Ю. С.) совпадает с процедурой „общей семантики“, этого *enfant terrible* современного позитивизма, известной под названием „поисков референта“. А через нее — и с традиционным для логического позитивизма и неопозитивизма вообще принципом верификации. Ибо „поиски референта“ общей семантики, а вместе с тем и „перефразировка“ Уисдома — это лишь семантически-лингвистический вариант принципа верификации, требующей сведения (редукции) любой абстракции к непосредственным актам опыта или выражающим их „протокольным предложениям“» [там же].

Отмеченные ограничения (а та или иная ограниченность присуща всякому семантическому методу) не мешают тому, чтобы рассматривать перифрастический метод как крупный шаг вперед в исследовании семантики. В настоящее время на его основе может быть поставлена задача составления «тезауруса семантических элементов» в смысле «семантических примитивов» А. Вежбицкой, а также, по-видимому, в смысле «функций, или лексических параметров» (типа «каузация», «ликвидация», «магнификация» — увеличение степени) и т. п. Такой тезаурус был бы параллелен тезаурусу слов-понятий. Таким образом перифрастический метод в развитом виде может рассматриваться как наибольшее на сегодняшний день обобщение семантических описаний, строящихся на основе косвенных определений, подобно тому

как тезаурусный метод, или идеографически-тезаурусный метод, является наивысшим обобщением описаний, строящихся на основе прямых определений.

В виде этих двух линий семантических исследований мы получаем две основные группы для типологической классификации семантических описаний.

3. Типология семантических описаний.

Как ясно из всего сказанного, в основу классификации семантических описаний мы кладем основную ячейку каждого семантического описания — способ определения значения слова. Поскольку выше уже

было показано, что основные способы определений находятся в аппозитивном соотношении, постольку делается очевидным, что типология семантических описаний может быть построена как всякая оппозитивная лингвистическая система. Мы должны, следовательно, обратиться к хорошо изученным оппозитивным системам, чтобы извлечь из их рассмотрения способ наилучшего построения данной системы.

Примером оппозитивной системы может служить фонемное описание любого языка, уже рассмотренное выше («Вводные замечания» к Части III настоящей книги).

Аналогичные вопросы приходится решать при построении любой классификационной системы по оппозитивному принципу. В данном случае мы должны решить три следующих вопроса: 1. Какие оппозитивные признаки из описанных в предыдущем разделе считать существенными для классификации семантических определений? 2. Принять ли классификацию на основе «плавающего» или фиксированного порядка признаков? 3. Если мы избираем фиксированный порядок, то какой именно, т. е. какие оппозитивные признаки мы считаем самыми основными для характеристики современных семантических описаний, а какие второстепенными, подчиненными первым?

Очевидно, что в данном случае все эти вопросы решаются лишь на основе практических соображений — на основе того, как мы оцениваем объективное состояние семантических исследований в настоящее время.

Внимательный обзор текущих семантических работ показывает, на наш взгляд, что наиболее четкое различие проходит между, с одной стороны, прямыми определениями, при условии, что они даются в достаточно структурированном виде и достаточно глубоки, а это свойство «тезаурусного метода», и, с другой стороны, определениями

косвенными, при том же условии, а это свойство «перифрастического метода». Таким образом, «тезаурусный метод» (или метод составления идеографических и тезаурусных словарей) и «перифрастический метод» (или метод составления «тезауруса лексических параметров, или функций») должны в классификации попасть в разные группировки. Это соображение заставляет в качестве первого признака классификации выбрать признак «прямые определения» — «косвенные определения».

Второе место мы отводим противопоставлению «диффузные определения» — «структурные (или структурированные) определения», который дает второй признак классификации. Иными словами, определения, отнесенные к двум разным группам на основании того, являются ли они прямыми или косвенными, должны быть далее, в пределах первой и второй группы соответственно, разделены по признаку «диффузные — структурированные». Прямые и диффузные определения — это, как мы видели, обычные определения толковых словарей, поэтому им и может быть дано второе название — «толковые определения». Напро-

тив, косвенные и диффузные определения — это определения через дистрибуцию, они могут быть иначе названы «дистрибутивными». Прямыми структурированными определениями будут определения «компонентные», а косвенными структурированными — определения через трансформации, «трансформационные».

В соответствии с общим принципом построения оппозитивной классификационной системы, нужно заметить, что на первое место мог бы быть выдвинут признак «диффузный — структурированный». Это означало бы, что мы считаем наиболее существенным в современной семантической теории именно это противопоставление, тогда как противопоставление «определения косвенные — прямые» менее существенно, в известных условиях может нейтрализоваться. Действительно, при определенной цели такая иерархия признаков могла бы иметь место, ибо в современных семантических исследованиях мы находим один очень важный разряд работ, в которых самым существенным оказывается обнаружить в языке (и соответственно описать) диффузные значения. Мы имеем в виду работы по семантической реконструкции. При реконструкции исследователь должен стремиться к тому, чтобы обнаружить в истории исследуемого языка такие высказывания (предложения), в которых современные различные значения представлены в слитом виде, не противопоставлены друг другу,

причем эта слитность относится и к сочетаемости (дистрибуции) в тексте, и к самому разделению значений в «словарной», парадигматической, системе значений слова. Если бы нашей целью было противопоставление исторической семасиологии синхронным семантическим исследованиям, то мы могли бы выдвинуть признак «диффузные — структурированные определения» на первое место. Нашей целью является, однако, классификация синхронных семантических работ. Поэтому мы отводим указанному признаку лишь второе место.

Мелкие определения тяготеют, как было показано выше, к определениям с «плавающим» признаком, в то время как определения глубокие обычно сочетаются с фиксацией признаков. Таким образом, любое из этих противопоставлений может быть взято как существенное. Поскольку, однако, определения с «плавающим» признаком, как уже было сказано, еще не достаточно изучены в семантической литературе, мы ограничиваемся одним первым противопоставлением, т. е. противопоставлением «мелкие определения — глубокие определения». Оно займет в нашей классификации третье место после признака «диффузные — структурированные» и будет подчинено последнему.

Признак «диффузности — структурированности» и признак «глубины», вообще говоря, могли бы поменяться местами.

В конце классификационной таблицы мы помещаем признак, соответствующий разделению определений на «денотативные» и «сигни-

фикативные». Как уже было сказано, последний классификационный признак, наряду с первым, несет основную классификационную нагрузку. Мы, следовательно, придаем большую важность этому классификационному признаку (см. пункт «г» раздела 2). Сигнификативные определения наилучшим образом удаются в системе прямых определений, при условии их достаточной глубины. Но одновременно это и определения понятия, связанного со словом. Денотативные определения, напротив, наилучшим образом удаются в системе косвенных определений, при условии также их достаточной глубины, главным образом в системе перифрастических определений. Но одновременно это и определения предмета, явления действительности или ситуации, как они обрисовываются через систему языка. Таким образом, две основные системы семантического описания — прямая и косвенная, в особенности в их развитых формах,

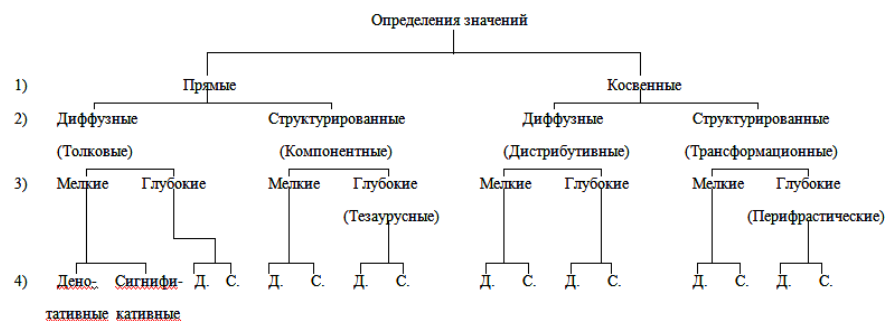
которым в классификационной таблице соответствуют конечные места, — предстают как взаимодополнительные.

Однако, по-видимому, нельзя говорить о простом соединении развитых перифрастических систем и тезаурусных систем, хотя бы потому, что каждая из них представляет собой определенное научное направление, отличное по теории и целям. Синтез должен начинаться на более ранних ступенях и представлять собой самостоятельный тип исследований.

Противоположение, соответствующее различию конкретной и абстрактной лексики, в таблице не использовано. Но если бы оно было использовано, то заняло бы место в самом конце классификационного списка, после денотативных и сигнификативных разграничений. Очевидно, что абстрактная лексика, в смысле основных терминов духовной культуры, будет лучше охвачена определениями прямой системы, главным образом сигнификативными и при этом глубокими. В то же время конкретная лексика, по-видимому, лучше описывалась бы в косвенной системе, при том же условии структурированности и достаточной глубины. Это последнее противопоставление и явилось бы в этом случае важнейшим. Мы оставляем его неиспользованным лишь потому, что считаем соответствующую работу еще не выполненной: описание абстрактной лексики языка, в особенности терминов духовной культуры, и социальных аспектов словаря вообще является важнейшей задачей лингвистики в области семантики. Мы позволяем себе закончить выражением надежды, что эта отмеченная здесь перспектива станет реальностью.

Сказанное здесь резюмируется в виде классификационной таблицы.

Типология семантических описаний, основанная на классификации используемых в них определений значений



ГЛАВА IV

МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ТЕКСТОМ — ДИСКУРС

0. Вводные замечания о «новом философствовании о языке».

Пространства и миры — «новый», «воображаемый», «ментальный» и прочие

Ключевое слово нового философствования («между» чем-то и чем» то) — «пространство». Оно возникло перед нами теперь в двух взаимосвязанных смыслах: 1) философия языка как пространство философствования вообще и 2) концепт «Пространство» в философии языка. Его близкий синоним — концепт «Мир».

Как всегда, мы применим сначала культурологический подход, чтобы поместить оба концепта — «Пространство» и «Мир» — в их естественную концептуальную среду.

И, странным образом, уже в ней мы находим отталкивание концепта «пространство» от концепта «время» — более слабое, но по существу то же, что интригует и самих философствующих, когда они пытаются взглянуть на себя со стороны: «Почему „пространство“, а не „время“?»

1. В культурологических исследованиях возникновение понятия «ментальные (воображаемые, возможные и т. п.) миры» и понятия «Мир — Вселенная» обычно никак не связываются и предстают как два различных процесса. Тем более, что в настоящее время они являются предметами двух различных наук — первый предметом логики (ср. понятие «возможных миров»), а второй предметом истории естествознания и техники, а также астрономии. Мы же, напротив, намерены показать, что в начальной точке, и долгое время после, это — один и тот же процесс концептуального развития. Вопрос об этом естественно возникает при обсуждении концепта 'Мир', иными словами, является в культурологическом отношении производным от последнего.

К сказанному нужно добавить, что концепт «ментальный, или воображаемый, мир» возникает также и в художественном творчестве и, соответственно, оказывается предметом еще и третьей науки — науки об искусстве (как бы ее ни называть — эстетикой, историей или теорией искусства, о чем спорят).

Вернемся теперь от этого «предисловия» к существу вопроса.

В русской жизни советского периода концепт 'Мир» приобрел огромное значение. Понятия реального мира, который нужно «переделать»,

и воображаемого мира, по мысленному образцу которого переделка и должна совершиться, как-то слились и образовали специфически «советский» концепт 'Новый мир'. В гимне советского государства, оставшемся затем гимном партии коммунистов, в «Интернационале», пелось:

Весь мир насилия мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!

По смыслу этого лозунга, «Новый мир» мыслился как некое зеркальное отражение «Старого мира», отражение-преобразование, — где все будет представлено «наоборот», как в зеркало правое делается левым: кто «был ничем», тот «станет всем». Но противопоставление это более сложное: оно одновременно и противопоставление реального (старого) только лишь возможному (будущему, новому).

В юридической форме то же самое причудливое противопоставление двух миров отражено в тексте Конституции СССР 1923 г. (далее цит. по: Конституция СССР. М., 1933):

«Раздел первый. Декларация об образовании Союза советских социалистических республик.

Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма» (с. 8).

Здесь «миры» получают синонимическое обозначение — «лагеря». Но противопоставляются они все тем же причудливым образом: с одной стороны — лагерь капитализма, вполне реальный, так как капитализм «построен» и существует; с другой стороны — лагерь социализма, существующий лишь в ментальном мире, так как социализм еще только предстоит «построить». Далее текст Конституции продолжает:

«Там, в лагере капитализма, — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма, — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира (здесь от *лагеря* снова происходит возвращение к *миру*. — Ю. С.) на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности

путем совмещения свободного развития народов с системой эксплуатации человека человеком оказались бесплодными...» и т. д. Напротив, «только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов» (с. 8—9).

Советским идеологическим новшеством было то, что понятия мир» как реального, существующего, как «лагеря», и мира ментального, воображаемого, «мира будущего», — слились. (Аналогичное принятие воображаемого будущего за реально существующее отмечено еще раз — в понятии «Социалистическая цивилизация».) Но сам концепт 'ментального мира» существовал в русской духовной культуре задолго до этого. Именно ему и соответствует множественное число слова *мир* — *миры* (так как в противном случае, т. е. в применении к реальному, существующему в действительности миру, множественное число, конечно, немислимо). У Пушкина:

Тебе он создал новый мир,
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.

У Лермонтова (без названия, 1841 г.):

Sie liebten sich beide, doch keine
Wollt' es dem andern gestehn.

Heine

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Они расстались в безмолвном и гордом страданьи,
И милый образ во сне лишь порою видали, —
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Последняя, выделенная нами, строчка — нам думается, ради нее все стихотворение и написано, — возвещает новое в русской и мировой поэтике понятие «иного мира», не просто «загробного», а мира иного существования. В самом деле, стихотворение Лермонтова представляет собой вольный перевод стихотворения Гейне (из которого Лермонтов и взял эпиграф). Но у Гейне стихотворение кончается смертью героев, а у Лермонтова совсем по-другому — их переходом в иной план существования.

Думается также, что этот мотив Лермонтова предвещает будущую страдальческую тему русской жизни и литературы — разделение мира на «миры» (как оно и возведено в советской Конституции 1923 г.), Разделение любящих существ — навек — между этими «мирами», тему эмиграции и изгнанничества.

Да и у самого Лермонтова эти мотивы, вероятно, связаны. Во всяком случае, как тонко подметил К. А. Кедров, «странник Лермонтова не знает надежды на возвращение. Его путь бесконечен, и смерть — лишь

658

продолжение земного пути. Его духовный мир — мир прощания и воспоминания... От любимой его отделяет бездна пространства, расширяющегося до Вселенной, и бездна времени, вмещающая вечность. Странник оставляет свою возлюбленную навсегда, как навсегда оставил он родную землю» [Лермонтовская энциклопедия, 1981, 295].

Но взглянем теперь на становление этого концепта более систематически. Речь идет, как мы уже сказали, о ментальном расширении первичного концепта, т. е. понятия 'Мир как обжитое место', и о параллельном формировании двух понятий — 'Ментальный мир' и 'Мир — Вселенная, У н и в е р с у м'. И, как нередко бывает и в других случаях, прообраз этого процесса, его модель, заданы самим языком в его внутреннем устройстве.

2. Языковые данные о предыстории этого процесса, «языковое ядро».

Предварительно нужно сказать, что, рассматривая эти данные, мы будем иметь дело с двумя подсистемами в устройстве языка — с *семантикой* и с *референцией*, а также с теорией той и другой. Теория семантики рассматривает значения языковых выражений, как они сложились на протяжении длительного времени и закрепились в системе языка. Теория референции (от англ. to refer «относить, соотносить с каким-либо объектом; ссылаться на что-либо; иметь в виду какой-либо объект») рассматривает приложения языковых выражений к объектам мира, как эти приложения складываются в актуальной речи, она исследует «возврат» сложившихся в системе языка выражений к действительности, о которой человек говорит в данный момент, в своей речи.

В семантике процесс освоения мира, о котором мы хотим говорить, прослеживается по линии грамматической категории, называемой категория «личности-безличности». Ею характеризуется субъект предложения и характеризуется именно так,

что представляется либо как отчетливо выделенный из окружающего его фона (такие предложения называются личными), либо как выделенный неотчетливо (предложения безличные). Сравним в русском языке: *В мешке у тебя ключи гремят* (личное) — *В мешке-то у тебя гремит* (безличное слабой степени) — *Ишь, как гремит; видно, гроза будет* (безличное сильной степени). Эта категория градуируется по линии пространственной определенности объекта, или, реже, пространственно-временной определенности, — т. е. как бы по линии *контуров вещи*, по степени ее выделенности из фона.

В древних индоевропейских языках сфера этой категории — как внешний, природный мир, так и внутренний — но тоже природный, не «ментальный» мир человека. Так, равно безличными будут русские предложения *На дворе морозно* и *На душе мерзко* (кстати, их предикаты

659

происходят от одного и того же и.-е. корня *merg- // *morg-, и, следомтельно, слова морозить и мерзить «вызывать отвращение», как бы «вызывать мороз в душе» — это, в сущности, варианты одного и того же слова). Такое же соотношение в словах *студно* и *стыдно*, и первое из них все еще употребляется в значении «стыдно» в псковских говорах. Подобно этому и латинское безличное *pudet* «стыдно» восходят к и.-е. корню *reu- // *ru- «резко ударять, стегать», к которому, с другой стороны, возводится нидерландское *fuen* «стегать веткой» (обрядовое действие на Рождество) и лит. *riáuti* «косить, резать». В таких примерах (их можно умножать сотнями) всюду перед нами предстает внутренний мир человека, освоенный по образцу внешнего. Но этот внутренний мир все еще не вполне «ментальный», это — не мир мыслей, логики, а мир неких внешних сил, вызывающих состояния духа и чувства.

Референция, в отличие от семантики, имеет дело не с пространственной определенностью вещи, а с логической определенностью. Так же как и категория «личности-безличности» в семантике, референция может градуироваться по определенности, но при этом результатом будет та или иная степень возможности идентифицировать вещь или лицо, о которых идет речь. Рассмотрим в качестве примера четыре русских предложения: (1) *Комната пахнет цветами*; (2) *В комнате пахнет цветами*; (3) *Здесь пахнет цветами*; (4) *Цветами пахнет*. По линии семантики — категории личности-безличности, безличность нарастает от (1) к (3); что же касается

референции, т. е. ответа на вопрос «что/где пахнет?», то она во всех случаях, в общем, одна и та же, — определенная (ответ: здесь; логический ответ: пространство, определяемое словом *здесь*).

По линии референции мир также осваивается человеком от «себя», от ближайшего пространства, — к пространству «вне себя», к более дальнему. Но результатом освоения оказывается уже создание не «мирочувств», а подлинно ментального, логического мира. Проследим этот процесс в деталях. В грамматике всех индоевропейских языков, а следовательно, и в протоиндоевропейском, отмечаются три различные грамматические подсистемы указаний, или дейксиса (от греч. слова, означающего «указание»): 1) «Я-дейксис», 2) «Ты-дейксис», 3) «Он- или Оно-дейксис».

В референционном пространстве 1-го лица, говорящего, «Я», осмысляются прежде всего субъективные состояния: *У меня голова болит* или *Мне руку больно*; *У меня неприятности*; *Не на улице жарко, а у меня жар*, и т. п. Что касается выражений с другими лицами — 2-м, 3-м (*У него голова болит* и т. п.), то следует предположить, что они возникали по аналогии с 1-м лицом, путем своего рода метафоры. В них констатируется не состояние человека (это возможно сделать только от первого лица, передающего свое впечатление или ощущение от того, что происходит с ним),

а заключения по аналогии, — а именно, по аналогии с лицом самого говорящего. При констатации внутреннего состояния только 1-е лицо является подлинной констатацией, высказывания относительно всех других лиц — лишь утверждения о внешнем сходстве с описываемым субъективным состоянием. Отношение высказываний от 1-го лица к высказываниям от 2-го и 3-го лица здесь вполне аналогично отношению между перформативными высказываниями типа *Я обещаю* и обычными утверждениями типа *Ты обещаешь*, *Он обещает*, только 1-е лицо выражает акт обещания.

Современная проблематика этого пространства рассматривается в гл. I этой части («Метод», Пример б).

В референционном пространстве 2-го лица слушающего, возникли, как можно предполагать, русские отрицательные экзистенциальные предложения со словом нет из **не** + **ть**, др.-рус. **не есть тоѡ**, **то**. Элемент **ть**, **тоѡ** естественно соотнести с сербохорватским -т-. Он значит либо «тот у слушающего, около тебя» (**ть** = **тый** 'тот'),

либо «находящийся тут, около тебя» (**тоѡ** 'тут, здесь'), либо, в силу контаминации, то и другое вместе.

С этим вопросом нужно связать гипотезу С. П. Обнорского о происхождении и соотношении русских форм 3-го лица наст. времени с -т- без -т-. В довольно сложном диалектном распределении форм с -т- и без -т- особенно обращает на себя внимание, писал С. П. Обнорский, начиная со старейших русских памятников, употребление в формах без -т- глаголов в безличных конструкциях типа **достон**, **подобае**, глагола бытия **к** или с отрицанием **нк**. «Итак, — заключал С. П. Обнорский, — если по своему значению отношение между формами 3-го л. наст. вр. с *t* и без *t* есть отношение глагольных образований с выражением в них связи глагола-предиката с определенным субъектом и без выражения таковой связи (когда субъект неопределен или когда его вообще нет в мысли), перед нами тот же параллелизм в категории глагольных образований, какой мы встречаем в соотношении членных „определенных” и кратких „неопределенных” прилагательных или соответственно — имен существительных в сопровождении или без сопровождения членом. Отсюда естественное предположение... о том, что по морфологическому строению формы на *t* должны были содержать в своей флективной части какие-то элементы местоименного происхождения. Этими придаточными элементами в древнерусском, как и в старославянском языке, и были **ть** и **-ть**, в которых, понятно, следует усматривать не что иное как обобщенные разновидности отдельных форм члена, т. е. по происхождению указательного местоимения **ть**, **та**, **то**» [Обнорский 1953, 135].

В референционном пространстве 3-го лица «пространстве наиболее удаленном от непосредственных собеседников — 1-го и 2-го лиц, формируются наиболее абстрактные экзистенциальные предложения, приобретающие безличную форму: рус. *Имеется*, англ.

There is, фр. *Il y a* букв. 'там есть, имеется' и еще более букв. 'там имеет', исп. *hay* из *ha* + *y* 'букв. там имеет' и т. п. В то время как английское выражение восходит к форме местоименной природы, родственной артиклю *the* и местоимению *that* 'тот', романские формы обнаруживают то же происхождение, что и рус. *имеется*, т. е. из личного глагола *имеет* плюс некая частица, отвлекающая глагол 3-го лица от его определено-личного значения. В романских языках этой цели служит глагол *habet* 'имеет' и частица *u* из лат. *inde* 'там', и процесс образования выражения засвидетельствован в текстах, ср. вульг.

лат. *habet inde* 'там есть, имеется', букв. 'имеет там'. Аналогичный процесс, еще плохо изученный, известен и русскому языку; так, у Крылова («Волк и журавль»): *Ему ни охнуть, ни вздохнуть / Пришло хоть ноги протянуть*, — вместо современного *пришлось*. Непонятным остается, каким образом вполне личная форма (пришло) могла выражать значение безличности.

Рассматривая эти особенности языка (русский выступает здесь, конечно, лишь как представитель человеческого языка вообще), мы должны подчеркнуть очень важные для культурологии особенности. Во-первых, ментальное, или «идеальное», или воображаемое, пространство формируется именно как пространство референции, т. е. в формах языка. Во-вторых, ему предшествует, под ним лежит, «его подстилает» (удачный английский термин — *underlies*) пространство семантики, т. е. мыслимое именно как видимое пространство, в котором размещены «вещи». В-третьих, в семантическом пространстве выделяется, таким образом, некоторое ядро — концепт 'место'. Обратим теперь внимание на это ядро.

В истории культуры неоднократно наблюдаются такие представления о месте, когда оно мыслится как некоторое «пустое пространство», в котором и можно размещать и передвигать «вещи». Но формы языка, о которых только что шла речь, говорят как будто бы о другом: «вещь» и «место», по-видимому, в древнейших, доисторических представлениях соединены.

Именно такое представление мы находим, притом уже в тонко обработанной концепции, у Аристотеля («Физика», кн. 4, гл. 4, 212а [Аристотель 1981]): «Место кажется чем-то особенным и трудным для понимания оттого, что имеет видимость материи и формы, и оттого, что в находящемся в покое объемлющем теле происходит перемещение движущегося [тела], ибо тогда кажется возможным существование в середине [объемлющего тела] протяжения, отличного от движущихся величин. [К этой видимости] добавляет нечто и воздух, кажущийся бестелесным: представляется, что место — это не только граница сосуда, но и лежащее между ними, как бы пустота. Подобно тому, как сосуд есть переносимое Место, так и место есть неподвигающийся сосуд». Но эту «кажимость» Аристотель тут же поправляет: «Первая неподвижная граница объемлющего [тела] — это и есть место.... Место [существует] вместе с пред-

метом, так как границы [существуют] вместе с тем, что они ограничивают» [Аристотель 1981, т. 3, с. 132].

Невозможность существования «места», или «пространства», независимо от материи (т. е. как бы «пустого места» независимо от «вещей», в нем находящихся) была, как известно, концептуализирована в теории относительности. С культурологической точки зрения интересно, однако, что прообраз этой идеи содержится уже у Аристотеля, и в предыстории всех концептов — в формах языка.

Но — подчеркнем еще раз — в дальнейшей истории культуры, т. е. после Аристотеля, идея «пустого пространства» и «пустого места» неоднократно возникала заново. (Сам концепт 'место' в русской культуре связан с *метка, кол*, центр «нашего мира».)

Аналогично тому — доисторическому — процессу, который запечатлен в формах языка, происходит — уже вполне «на глазах историка» — исторический процесс освоения пространства мира и параллельно с этим процесс создания ментального, логического мира.

Первичный концепт 'Мир как то место, где живем мы, «свои»' и концепт 'Мир — Вселенная, Универсум' связаны в самом прямом смысле слова отношениями расширения в пространстве: осваивается все более обширное пространство, черты первоначального «своего» мира распространяются на все более далекие пространства, а затем, когда физическое освоение за дальностью пространства становится невозможным, освоение продолжается мысленно, путем переноса, экстраполяции уже известных параметров на все более отдаленные расстояния. В сущности этот процесс довольно несложен, он напоминает логическую индукцию и совершается по принципу, который, выражаясь разговорным языком, можно описать словами: «Подобно тому миру, в котором я действительно живу (хожу, действую), устроен также более отдаленный мир, в котором я могу жить (двигаться, действовать), и еще более отдаленный мир, в котором я мог бы действовать (но вряд ли буду, так как он слишком далек), и еще и еще более отдаленный мир, в котором я никогда не могу быть, так как он слишком отдален, но который я могу себе представить точно таким же образом, как и все предыдущие, — но только лишь — и единственно — в мысли».

Черты обжитого мира переносятся на гораздо более широкий мир, где человека нет и где он, может быть, никогда не будет. Сказанное нами здесь — не метафора, этот процесс запечатлен по внутренней форме древнейших обозначений «вселенной, универсума». По прекрасному выражению К. Бака (а он, автор знаменитого «Словаря синонимов в главных индоевропейских языках», лишь обобщил этим выражением свои богатейшие наблюдения над проявлением данного концепта), большой мир, вселенная, космос, представляется человеку — в разных языках — как бы «наблюдаемым с земли». Даже в абстрактном философском контексте у Аристотеля («Метеорологика» 339a 20) [Аристотель 1981] со-

663

храняется эта внутренняя форма: ο περί τήν γήν ὅλος κόσμος «весь вокруг земли [лежащий] космос».

И та же форма проступает в старославянском (церковнославянском) слове **вѣселенаѣ**, др.-рус. **вѣселенаѣ**, совр. рус. *вселенная* букв. «заселенная» (ср. *вселять*), которое первоначально является просто переводом греч. *ὀϊκουμένη* «ойкумена», с тем же значением «обитаемый мир». Следовательно, первоначальное значение русского термина «вселенная» — это именно обитаемый, освоенный человеком мир ср.: **отъбъгошѣ отъ пѣстыни и по семѣ вънидошѣ въ вѣселенѣ землѣ** (Слово Меф. Патарского, 1345 г.) «когда он вышел из пустыни... и затем вошел в обитаемую землю».

Перенос параметров обитаемого мира на мир, только лишь осваиваемый, ярко запечатлен в развитии понятий о координатах пространства.

Этот процесс, который можно назвать «индукцией пространственных представлений», в философской форме был завершен к XVII в. Впрочем, некоторые исследователи считают, что уже стоики Древней Греции различали два понятия «мир» — «мир как „всё“» *τὸ πᾶν* и «мир как „целое“» *τὸ ὅλον*; под первым они понимали соединение «мира» и «пустоты», а под вторым систему «существующих» (вещей, людей, сущностей), связанных отношениями симпатии, — см. [Lalande 1972, 1167]. Однако пока система стоиков в целом остается не реконструированной, трудно сказать с уверенностью, соответствует ли это различие тому, о котором говорим здесь мы.

В XVII веке процесс различения «мира» и «универсума» засвидетельствован документально в трудах Б. Паскаля и Г. Лейбница. При этом выяснилось, что «пространственное расширение» представлений о мире порождает целый ряд

гносеологических и логических проблем, которые остаются весьма актуальными и в наши дни (и даже все более заостряют свою актуальность).

Одну из них афористически четко сформулировал Паскаль: «Пространством Вселенная (l'univers) охватывает меня и поглощает как точку; мыслью же я охватываю (= понимаю) ее» (Pascal. *Pensées*. Ed. Brunschwig, VI, 438 [Pascal 1960, 51]).

«Принцип Паскаля» положен в основу композиции настоящей книги (см. подробно — «общее введение» в начале книги).

Другая проблема, возникающая при расширении концепта 'мир' до концепта 'универсум', сформулирована Г. Лейбницем. В своем сочинении «Опыты теодицеи о благодати Божией, свободе человека и начале зла» он писал: «Я называю *миром* (monde) все следствия и всю совокупность существующих вещей, чтобы уже нельзя было утверждать, будто могут существовать еще многие миры (mondes) в разные времена и в Разных местах. Потому что все их в совокупности следует считать за один мир, или, если угодно, за один универсум (un univers)» [Лейбниц 1989, 13]. «Теодицея» написана по-французски, и приведенные здесь

664

нами в скобках термины оригинала — это обычные французские слова. Le monde — «мир» восходит к латинскому mundus, уже рассмотренному выше, l'univers «универсум» — к латинскому universum. Это последнее впервые ввел Цицерон для перевода греч. *τὸ ὅλον* «мир как целое», которое употребляли стоики. Цицерон образовал его, превратив в средний род и сделав существительным исконное латинское прилагательное трех родов universus, -a, -um, буквально значащее «весь повернутый к одному». Его исходной формой была, по-видимому, форма мн. ч. universi, характеризующая совокупность лиц или предметов, букв. «все повернутые к одному (к одной точке, к центру)». Наречие, образованное от этой формы, universim, означало «все вместе, единодушно, в одном порыве».

3. Р а з л и ч и е «м и р а» и «у н и в е р с у м а».

Различие «мира» и «универсума», введенное Лейбницем, стало в настоящее время одной из центральных и узловых (соединяющих многие другие вопросы) проблем логики и эпистемологии, — см., например, работы Я. Хинтикки, С. Крипке и др. Я. Хинтикка одну из основных своих работ на эту тему, «В защиту невозможных возможных миров» (1978), прямо начинает словами: «Одним из наиболее старых и

наиболее полезных понятий логической и философской теории модальностей является понятие возможного мира. Оно восходит по крайней мере к Лейбницу и позволяет нам очень просто истолковать основные модальные понятия» [Хинтикка 1980, 228]. С. Крипке развивает другую сторону этой проблемы. Исходя из различения «референции говорящего» и «семантической референции» (т. е. отношения имени к предмету, которое устанавливает говорящий, и отношения того же имени к предмету, которое заранее установлено системой языка), Крипке производит то, что можно назвать «релятивизацией концептов относительно системы языка».

В одном интересном частном случае к этой проблеме сводится трагедия царя Эдипа (к чему мы неоднократно возвращаемся в этой книге): является ли причиной трагедии то, что Эдип женился на женщине по имени Иокаста (которая в действительности, неведомо для него, была его матерью), или же причиной трагедии является то, что Эдип женился на своей матери (не зная того, т. е. зная эту женщину под другим именем — Иокаста)?

Но прежде — что такое причина? На протяжении веков, со времени Аристотеля, «причины» рассматривались как «вещи» («Отец — причина ребенка», — у Аристотеля), как «свойства», как «состояния», как «события». Утверждение З. Вендлера прозвучало в 1967 г. как подлинное открытие: «Причины — это „факты“, а не „события“» (см.: здесь гл. I, 4). Никто, справедливо замечает Вендлер, не может наблюдать или слышать причины, видеть их в телескоп или микроскоп, регистрировать посредством сейсмографа, записывать на магнитофон или на киноплён-

665

ку. Причины, в отличие от событий, не могут быть внезапными, быстрыми, неожиданными, предусмотренными, кровавыми, продолжительными и т. п.

Но тогда — что же такое «факт»?

Этот концепт рассматривается подробно ниже (раздел 3). Предварительно заметим только, что концепт 'факт' (а также всякий «факт» вообще) может быть определен только лингвистически и только относительно системы данного языка. «Представление о том, что факты первичны, а суждения, о них сделанные, вторичны, ошибочно», — пишет

Н. Д. Арутюнова, и с ней нельзя не согласиться. «Факты не существуют безотносительно к суждениям»; «Суждение структурирует действительность так, чтобы

можно было установить, истинно оно или ложно» (т. е. установить факт) [подробнее см.: Арутюнова 1988,155].

Обращаясь к трагедии Эдипа, мы не согласимся ни с З. Вендлером, ни с Н. Арутюновой (которые уже не согласны между собой) относительно того, в чем причина несчастья Эдипа. Не в том, — полагаем мы, — что Эдип женился на Иокасте (которая, как в дальнейшем оказалось, была его матерью), и не в том, что Эдип женился на своей матери (так считает З. Вендлер). И то, и другое утверждения повисают вне системы языка, — они не релятивизованы относительно какой-либо системы языка. В языке Эдипа первое утверждение осмысленно, но не является причиной трагедии, — это очевидно. Второе утверждение (Эдип женился на своей матери) не имеет смысла в языке Эдипа; оно сделано в другом языке, — в языке богов, которые знали все, или же в языке Вендлера и Арутюновой, которые узнали все потом. Причиной трагедии, т. е. фактом в языке Эдипа, является нечто совсем другое — то, что Эдип узнал, что Иокаста — его мать. Трагедия наступает в тот момент, когда Эдип от ограниченного знания (и также системы референции, присущей его языку) внезапно переходит к полному знанию (и к иной системе референции), т. е. к иному языку. Хотя, конечно, в обоих случаях внешней формой этих различных языков остается один и тот же этнический язык — древнегреческий язык, на котором говорят герои Софокла.

Но, как мы уже знаем (см. выше, гл. I, 4), причины — это факты, а не события. Таким образом, и концепт 'причина' (а также и всякая причина вообще) может быть адекватно определен только относительно системы языка, или, если это выразить иначе, адекватно определен лишь с учетом его относительности в системе языка.

Но 'причина' — один из фундаментальных концептов для понятия «мир». И если в разных мирах (например, Эдипа, с одной стороны, и греческих богов-провидцев, с другой) действуют разные причины, то это — разные миры. И связывают их отнюдь не временные следования, а пространственные соположения. Мысленно мы можем просто перейти из одного мира в другой, не прибегая ни к каким понятиям о времени и не дожидаясь, пока один мир сменит другой во времени. И с этой точки

666

зрения также, концепт 'пространство' кажется более фундаментальным, чем концепт 'время'.

Миры, которые мы рассмотрели в качестве различных примеров в этой части работы, все являются мирами ментальными. Но как охарактеризовать их отличия друг от друга?

Мы склонны сделать это так: референционно. Иными словами, различные миры, о которых идет речь здесь, — это миры референционно различные, обладающие разными системами референции, при одной и той же семантике. Проводя мысленный эксперимент, здесь мы как бы «вращали» эти миры, меняя их референцию, вокруг одной и той же, неизменной, оси семантики.

4. Попробуем теперь проделать иную операцию — оставить неизменной ось референции и изменять семантику. Тогда перед нами окажутся миры, референционно тождественные, но семантически различные.

На первый взгляд кажется, что это невозможно. Но следующий пример показывает, что это не так. Перед нами рассуждение «бытописателя русской церкви» Василия Розанова — статья «Русская церковь»: «Русские церковные напевы и русская храмовая живопись — все это бесплотно, безжизненно, „духовно” в строгом соответствии с общим строем Церкви. Богоматерь, питающая грудью Младенца-Христа — невозможное зрелище в русском православном храме. Здесь русские пошли против исторически достоверного слова Божия: например, хотя Дева-Мария родила Иисуса еще юною, никак не старше 17 лет, однако с Младенцем Иисусом на коленях Она никогда не изображается в этом возрасте. Богоматерь всегда изображается как старая или уже стареющая женщина, лет около 40...»; того же плана «такая искажающая истину тенденциозность, как представление Богоматери почти старухой; таково утверждение, что Богоматерь и „до рождения”, и „во время самого рождения”, и „после рождения Спасителя” оставалась девою, хотя в Евангелии сказано, что она принесла в храм двух горлинок, что делалось еврейками по окончании женского послеродового очищения, и, будучи жертвою за нечистоту этого процесса, не могло быть принесено Св. Девою без него... Но православные неодолимо гнушаются внесением „обыкновенного” в религию: и вопреки тексту Евангелия бурно утвердили так называемое „приснодевство” Марии, т. е. они, в сущности, как бы закрывали ладонью евангельское событие и сочинили на место его другое, свое собственное, чисто вербальное, словесное. В грамматике человеческого языка, конечно, никакого нет препятствия выговорить: „Пребыла девою в

родах”. Но от слова до дела — пропасть! Православные, и, конечно, опять только на словах, перепрыгнули через эту пропасть, сочинили свою вербальную концепцию Вифлеема» [Розанов 1992, 298—299].

Итак, вот что значит «вращать» ментальный мир по пространствам семантики, переходя из одного в другое, при неподвижной и неизменной оси референции.

Сказанное, кажется, можно обобщить, указав на уже наличные в философствовании «семантики», и на отличие «систем семантики» от систем референции». (Этот вопрос рассматривается ниже с учетом обобщающей работы Ж. Фоконье 1994 г. — разд. 2.)

5. Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, напомним о принципиальной — а в данном случае и фундаментальной двузначности основных терминов, типа «грамматика», «семантика» и т. п. «Грамматика» означает и объективное грамматическое устройство языка, и его описание. Поэтому возможны разные грамматики одного языка. Так же обстоит дело с «семантикой».

Итак, первая «семантика», с которой мы имеем дело в современном философствовании, — это семантика эйдетическая, или эйдетика. Но вопрос о ней настолько специален, что мы здесь ограничимся только его упоминанием и обратим внимание на то, что эйдетика связана с проблемой символа. Так обстоит дело в эйдетике А. Ф. Лосева, и по этой же линии, как кажется, устремились современные философы. Во всяком случае, в таком русле развивается рассуждение Д. И. Руденко в его разделе в названном выше томе «Философии языка».

6. Возникла, неожиданно бурно, семантика геометрическая. Кажется, именно так следует назвать концепции «идеальных сгибов» М. Хайдеггера и Ж. Делеза. Ограничимся и здесь лишь констатацией наличия и отошлем к книге [Подорога 1993].

В семантике геометрической мир предстает концептуализированным геометрически, в ментальных формах линий, углов, пересечений, — одним словом, в форме решетки кристалла.

И именно поэтому такая семантизация — лишь одна из возможных, и в сравнении с другой возможной — ущербна.

7. Эта другая семантизация, отличная от эйдетической, но оставляющая параллель к геометрической — семантика, концептуализующая ментальный мир по образцу живописи. Трудно назвать ее каким-либо одним термином, но, поскольку мы располагаем двумя прекрасными эссе в этом ключе — «Око и дух» М. Мерло-Понти и — в некоторых подходах — книгой «Глаз и солнце» С. И. Вавилова, я склонен назвать семантикой глаза.

Она отличается от геометрической тем, что в ней есть цвет и солнце. Книга С. И. Вавилова заканчивается словами:

«Глаз нельзя понять, не зная Солнца. Наоборот, по свойствам Солнца можно в общих чертах теоретически наметить особенности глаза, какими они должны быть, не зная их наперед.

668

Вот почему глаз — солнечен, по словам поэта» [Вавилов 1982, 130] Семантизация по этой линии влечет к проблеме биологических основ эволюции, единства мира и к проблеме «цели» в его устройстве, к проблеме телеологии. (Нас не оставляет надежда — и мы не оставляем надежду — еще вернуться к этим темам, может быть — на страницах этого издания.)

Но закончить следует, пожалуй, прекрасными живописными утверждениями Мерло-Понти из упомянутой книги.

«Классическая наука сохраняла чувство непрозрачности мира, именно мир она намеревалась постичь с помощью своих конструкций, и именно поэтому считала себя обязанной отыскивать для своих операций трансцендентное или трансцендентальное основание. Сегодня же — не в науке, а в широко распространившейся философии науки — совершенно новым стало то, что эта практика конструирования берется и представляется как нечто автономное, а научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приемов и процедур фиксации и улавливания... Отсюда всякого рода метания и не имеющие видимой цели попытки. Сегодня, как никогда, наука чувствительна к интеллектуальным модам» [Мерло-Понти 1992, 9—10].

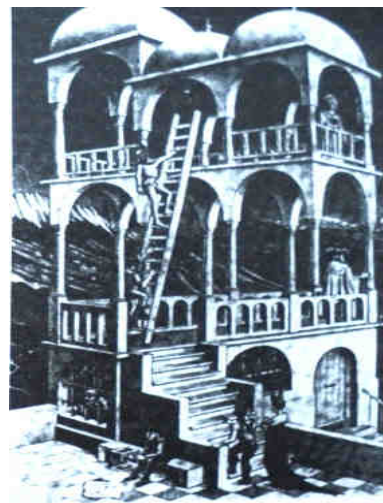
«Необходимо, — продолжает Мерло-Понти, — чтобы научное мышление — мышление обзора сверху (букв, «с высоты облета сверху». — Ю. С.), мышление объекта как такового — переместилось в изначальное «есть», местоположение, спустилось на

почву чувственно воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни, для нашего тела, — и не для того возможного тела, которое вольно представлять себе как информационную машину, но для действительного тела, которое я называю своим, того часового, который молчаливо стоит у основания моих слов и моих действий» [там же, 11].

Мерло-Понти выбирает поэтому то, что мы назвали «семантикой» (и «семантизацией») «по образу живописи». И линия уже не выглядит здесь «сгибом» или «изгибом», это нечто другое («глубина, цвет, форма, линия, движение, контур, физиономия образуют как бы крону Бытия, и все они вплетены в его ткань» [там же, 55]).

М. Мерло-Понти преподал манящий пример. Возникает желание последовать этому примеру и, как гласит китайский миф о художнике, исчезнувшем в собственной картине, — войти в собственный пейзаж и раствориться в нем.

669



М. Эшер (Эшер) (Голландия): Предмет, возможный в ментальном мире, невозможен в мире материальном. Сам рисунок как предмет искусства занимает скорее промежуточное положение между тем и другим миром.

670

1. Между Системой и Текстом — Дискурс.

Дискурс — языковое выражение «Мира» (любого из «миров»).

Термин «дискурс» (фр. discours, англ. discourse) начал широко употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин «функциональный стиль» (речи или языка). Причина того,

что при живом термине «функциональный стиль» потребовался другой — «дискурс», заключалась в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете. В то время как в русской традиции (особенно укрепившейся в этом отношении с трудами акад. В. В. Виноградова и Г. О. Винокура) «функциональный стиль» означал прежде всего особый тип текстов — разговорных, бюрократических, газетных и т. д., но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, в англосаксонской традиции не было ничего подобного, прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания.

Англосаксонские лингвисты подошли к тому же предмету, так сказать, вне традиции — как к особенностям текстов. «Дискурс» в их понимании первоначально означал именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях. Т. М. Николаева в своем словаре терминов лингвистики текста (1978 г.) под этим термином писала: «Дискурс — многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных (т. е. даже не синонимичных. — Ю. С.). Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность — письменная или устная» [Николаева 1978, 467]. Лишь значительно позднее англосаксонские лингвисты осознали, что «дискурс» — это не только «данность текста», но и некая стоящая за этой «данностью» система, прежде всего грамматика. «Первоначально, — писали в 1983 г. Т. А. Ван Дейк и В. Кинч, — теоретические предположения, основанные на том, что грамматика должна объяснить системно-языковые структуры целого текста, превращаясь, таким образом, в грамматику текста, оставались декларативными и по-прежнему слишком близкими по своему духу генеративной парадигме. Однако вскоре и грамматика текста, и лингвистические исследования дискурса разработали более независимую парадигму, которая была принята в Европе и в Соединенных Штатах» [Ван Дейк, Кинч 1988, 154]. Однако и в этой работе двух авторов по-прежнему доминирует чисто «текстовый» подход — на тексты смотрят, в общем, как «на речевые произведения», которых великое множество, может быть множество неисчислимое, и которые поэтому требуют выработки лишь общих принципов для своего понимания (для «своей грамматики»), но не реальных конкретных грамматик разных типов дискурса.

Между тем В. З. Демьянков в своем словаре «Англо-русских терминов по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста» (вып. 2, 1982 г.) сумел дать обобщающий на тот период эскиз того, что представляет собой «грамматика» и, шире, «мир дискурса». В. З. Демьянков писал (мы опускаем его многочисленные указания на отдельные работы, подтверждающие его обобщения): «Discourse — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который „строится“ по ходу развертывания дискурса, — это точка зрения „этнографии речи“, ср. предлагаемый (в одной из работ. — Ю. С.) гештальтистский подход к дискурсу. Исходная структура для дискурса имеет вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п. Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная информация и „не-события“, т. е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями» [Демьянков 1982, 7]. Это лучшее на то время определение дискурса показывает, что для понимания того, что такое дискурс, мы нуждаемся не столько в общих рекомендациях (которые ставили своей целью, например, Т. А. Ван Дейк и В. Кинч в упомянутой работе), — ведь дискурс описывается как всякий язык (а не просто текст), как всякий язык, имеющий свои тексты, — мы нуждаемся в хороших описаниях дискурсов, без которых не может быть продвинута и их теория. И такие описания не замедлили появиться. И еще на каком материале!

Мы имеем в виду — уже ставшую классической — работу франко-швейцарского лингвиста и культуролога Патрика Серио «Анализ советского политического дискурса» («Analyse du discours politique soviétique»; см. [Sériot 1985]).

П. Серио начинает свое исследование как историческое, показывая, какое воздействие оказал на русский язык «советский способ оперирования с языком» на протяжении десятилетий советского строя.

Что получилось в русском языке — новый язык? Новый «подязык»? Новый «стиль»? Нет, — гласит ответ П. Серио. — То, что образовалось в русском языке, должно быть названо особым термином — «дискурс». Мы, со своей стороны, предварительно разьясим это явление так: дискурс — это первоначально особое использование языка, в данном случае русского, для выражения особой ментальности, в данном случае также особой идеологии; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грам-

672

матику и особые правила лексики. И, как мы увидим дальше, в конечном счете в свою очередь создает особый «ментальный мир». Дискурс советской идеологии хрущевской и брежневской поры получил во Франции среди знающих русский язык наименование «langue de bois», «деревянный язык» (во Франции бытует также выражение «gueule de bois», явно сходное с упомянутым, но применимое обычно к тому, что человек ощущает у себя во рту при «крутом похмелье»).

Конечно, дискурс существует не только в явно обозначенной политической сфере. Скажем, — современный «русский речевой этикет» (так даже называются некоторые книги). Идет ли речь о нормах русского языка? Нет, — опять отвечает Серио. — Речь идет о нормах дискурса, которые авторы подобных работ желают выдать за нормы русского языка вообще. И это совершенно верное утверждение П. Серио. Автор ставит своей задачей «читать строки», а не «читать между строк»: дискурс — это прежде всего тексты (прежде всего, но как мы опять-таки увидим ниже — далеко не только тексты). П. Серио анализирует вплоть до мельчайших деталей два — «основополагающих» для названной эпохи — текста: Н. С. Хрущев «Отчет Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза XXII съезду КПСС» (1961 г.) и Л. И. Брежнев «Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIII съезду Коммунистической Партии Советского Союза» (1966 г.). В результате анализа выясняются две яркие особенности советского политического дискурса этой эпохи — так называемая «номинализация» и так называемое «сочинение» (т. е. сочинительные связи в некоторых частях предложения).

Номинализация — само по себе явление не новое, это одна из общих тенденций языкового союза, в который входит русский язык. Но в советском политическом дискурсе эта тенденция приобретает до крайности гипертрофированные масштабы и

преломляется особым образом. Вот типичный пример (из доклада Брежнева, по книге «Ленинским курсом», М.: Изд. Политич. литер., 1973, с. 313):

«Главным источником роста производительности труда должно быть повышение технического уровня производства на основе развития и внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов, широкого применения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации и улучшение производственного кооперирования предприятий».

Семантическим итогом таких бесчисленных номинализаций, т. е. замены личных форм глаголов их производными на *-ание, -ение, -ация* и т. п. является исчезновение субъекта, агенса того, о чем говорится. Все процессы приобретают безличный облик, хотя и не схожий с тем, который имеет «классическая» безличность в русском языке (например, *Меня так и осенило; Его будто бы ударило*, и т. п.). А после того как субъект устранен, возможны дальнейшие, уже чисто идеологические манипуляции с поименованными сущностями.

673

Сочинение другая особенность советского политического дискурса. Оно приобретает две основные формы — либо соединяются посредством союза «и» два понятия (или большее их число), которые в обычной русской речи, т. е. за пределами данного «дискурса», синонимами не являются: например, «партия», «народ» — результат «партия и народ». Либо, при другой форме сочинения, союз «и» вообще устраняется и логические отношения между соединенными понятиями вообще приобретают форму, не поддающуюся интерпретации: например, «партия, весь советский народ»; «комсомольцы, вся советская молодежь».

Результатом этой процедуры оказывается следующий семантический парадокс: огромное количество понятий в конечном счете оказывается как бы синонимами друг друга, чем и навеивается идея об их действительном соотношении в «жизни», о чем-то вроде их «тождественности». П. Серио приводит такой список сочиненных понятий — иллюстрацию парадокса [Sériot 1985,95]:

партия = народ = ЦК — правительство = государство = коммунисты = советские люди = рабочий класс = все народы Советского Союза = каждый советский человек = революция = наш съезд = рабочие = колхозники = беспартийные = рабочие совхозов = специалисты сельского хозяйства = ... и т. д. (мы пропускаем часть списка)... = народы

всех братских республик Советского Союза = общество = инженеры = техники = конструкторы = ученые = колхозное крестьянство = крестьяне = делегаты XXII съезда = народы других стран = все человечество = трудящиеся всех стран = весь социалистический лагерь = социализм = массы = миллионы.

Точно такое же соотношение касается и тех, кто произносит «отчетный доклад». Но здесь вопрос даже сложнее: «Что делает Хрущев или Брежнев, „выступая с докладом“?» — «читает доклад» (или: «зачитывает» его)? «произносит доклад»? «делает доклад»? и т. д. Очевидно, что все эти разные формы предполагают разное авторское участие, разную степень ответственности докладчика за текст доклада. И, совершенно подобно тому, что мы отметили выше при «номинализации», здесь происходит «исчезновение авторства» и одновременно «исчезновение ответственности»: официально приемлемо почти только одно выражение — «выступил с докладом».

С другой стороны, к тому же результату ведет и «сочинение», итогом чего оказывается, что «источником» текста является: я (= Генсек) = ЦК = вся партия = наша страна = мы, а его «получателем», «адресатом»: делегаты съезда = все коммунисты = народ = все прогрессивное человечество = все люди = мы [Sériot 1985,71].

Рассмотрим теперь некоторые общие признаки дискурса вообще.

Дискурс, по-видимому, создается не во всяком языке, иди, точнее не во всяком ареале языковой культуры. Мы увидим далее (в разделах

2 и 3), что дискурсы, в частности, «дискурс царя Эдипа», выделяются в древнегреческом языке соответствующей эпохи. Это связано, по-видимому, с наличием особого мифологического слоя в греческой культуре того времени. Но не является ли дискурс всегда, в том числе и в наши дни, выражением какой-то мифологии?

Во всяком случае дискурс не может быть сведен к стилю. И именно поэтому стилистический подход, создание стилистики как особой дисциплины в рамках изучения данного языка, — в настоящее время уже не является адекватным. П. Серио [Sériot 1985, 287] хорошо показывает это на примере сравнения русского политического дискурса с переводами его текстов на чешский язык. Возьмем, к примеру, такое высказывание из советского политического дискурса:

«В отличие от других форм организации общественно-производственного труда учащих школьная бригада помогает наиболее удачно решать задачи массового

вовлечения подростков и юношей в колхозное производство, обеспечения их труда педагогическим и агротехническим руководством, выполнения учащимися всего комплекса полевых работ, применения механизации».

Чешский перевод:

«Na rozdíl od jiných organizačních forem společenské výrobní práce žáku pomáhá školní brigáda nejzdařileji řešit úkol, aby byla dospívající mládež masově zařazena do kolchozní výroby, aby její práci bylo zajištěno pedagogické a agrotechnické vedení, aby žáci vykonávali celý komplex polních prací a aby bylo využito mechanizace».

Если подходить к сравнению этих образцов текста только с точки зрения языковой «характерологии» и сравнительной стилистики, как это предписывалось в духе соответствующего определения языка (см. пункт 5 в предыд. статье), то останется как раз неучтенным и неосознанным то различие, что русско-советские номинализации по-чешски передаются развернутыми фразами и, следовательно, в чешском языке не существует фундаментальная двусмысленность советского политического дискурса, которая отмечена выше.

Другая особая, конституирующая черта дискурса состоит в том, что дискурс предполагает и создает своего рода идеального адресата (как говорит П. Серио, un Destinataire idéal). Этот «идеальный адресат дискурса» отличен от конкретного «воспринимателя речи» (un récepteur concret), каковыми являются, в частности, все делегаты съезда КПСС, сидящие в зале заседаний съезда и слушающие отчетный доклад. «Идеальный адресат, — говорит П. Серио, — может быть определен как тот, кто принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдо-диалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все пресуппозиции. В самом деле, отрицать пресуппозиции было бы равносильно отрицанию правил игры и тем самым отрицанию за говорящим докладчиком его права на место оратора, которое он занимает».

Но каковы эти пресуппозиции? — Они показаны в предыдущем анализе. В частности, одной из самых сильных является следующая: номинализованные группы (номинализации вместо пропозиций, содержащих утверждение) являются обозначениями объектов (референтов), реально существующих, — однако их существование (т.е. утверждение существования) никем не производилось:

номинализации такого рода выступают как кем-то (неизвестно кем, — это остается в тени) изготовленные «полуфабрикаты», которые говорящий (оратор) лишь использует, вставляя в свою речь. П. Серио называет эти «полуфабрикаты»-номинализации специальным термином «le préconstruit», примерный перевод которого может быть таким: «предварительные заготовки», или, как мы уже сказали, «полуфабрикаты». (Во французском языке, например, сборные дома называются аналогичным термином «préfabriqué».)

Из этих особенностей дискурса вытекают новые требования к его логическому анализу. П. Серио демонстрирует это на следующем примере [Sériot 1985, 241 и сл.]. Допустим, мы имеем фразу (это подлинная фраза из доклада Н. С. Хрущева):

«Одержанные советским народом всемирно-исторические победы являются самым убедительным доказательством правильного применения и творческого развития марксистско-ленинской теории».

Обычный логический анализ, т. е. анализ в терминах пропозиций-утверждений, был бы таким:

- (1) советский народ одержал всемирно-исторические победы;
- (2) м.-л. теория правильно применяется / применялась / была применена. — *N* правильно применяет / применял / применил м.-л. теорию;
- (3) м.-л. теория творчески развивается / развивалась / развилась. — *N* развивает / развивал / развил м.-л. теорию.

Однако ввиду наличия в исходном контексте не пропозиций, а номинализации все эти утверждения и соответствующий силлогизм как бы заранее устранены, или, говоря теперь точнее в терминах анализа дискурса, заранее утверждены как не требующие доказательства, как «préconstruit».

В своей работе П. Серио создает эскиз нового типа логического анализа, применимого к советскому политическому дискурсу и, как мы полагаем, к дискурсу вообще. Эту часть исследования П. Серио мы здесь оставляем в стороне, — более подробно новый тип анализа будет освещен ниже, по данным, главным образом, так называемой «Пенсильванской школы» США, в особенности работ З. Вендлера.

В заключение этого раздела отметим лишь одну немаловажную для нашей книги деталь: так называемый «классический генеративный анализ» не дает адекватного результата в случаях, подобных только что рассмотренному. «„Классическая”

генеративная модель (т. е. модель синтаксиса, функционирующего без учета лексики, даже если она при

нимает во внимание „лексические ограничения”, des contraintes de sélection) дала бы в таких случаях анализ, основанный на представлении синтагматической последовательности (компонентов фразы. — *Ю. С.*) ... Такой анализ функционирует, на наш взгляд, путем атомизации поверхностных единиц» [Sériot 1985, 319 и сл.]. Между тем суть анализа, по справедливому выводу П. Серио, должна заключаться как раз в том, чтобы описать фундаментальную особенность дискурса данного типа — «амбивалентность», или «фундаментальную двусмысленность» (ambivalence ou ambiguïté) его именных групп-номинализаций. П. Серио удачно подошел к формулировке этой задачи.

Следующий шаг в ее решении был связан с работами «Пенсильванской школы» США и с новой трактовкой категорий «Факт» и «Причина».

Итак, что такое дискурс?

Подводя итог этому разделу, нужно сказать, что дискурс — это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это — «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс — это один из «возможных миров». Само явление дискурса, его возможность, и есть доказательство тезиса «Язык — дом духа» и, в известной мере, тезиса «Язык — дом бытия».

Поэтому ниже, в следующем пункте, когда мы перейдем к анализу категории «Факт», мы будем говорить не только о категориях в формах языка (это, со времени Категорий Аристотеля, основной принцип рассуждений о категориях), но и о категориях в формах определенных дискурсов, — а это уже некоторое новшество. Оно носит логико-лингвистический характер. Собственно говоря, его уже — если не предвидел (поскольку он занимался другими вопросами, нежели те, к которым мы хотим

применить его рассуждение) — то во всяком случае предварил Б. Рассел в своей теории типов, изложенной в его совместной с А. Н. Уайтхедом работе «Principia mathematica» (в 1-м томе, 1910 г.) и первоначально имевшей целью разрешить проблему логических парадоксов (ср., например, известный «парадокс лжеца» и др.). «Основной принцип этой теории, — резюмирует Х. Б. Карри, — состоит в том, что логические понятия (высказывания, индивиды, пропозициональные функции) располагаются в иерархию „типов“ и что функция может иметь в качестве своих аргументов лишь понятия, которые предшествуют ей в этой иерархии, но не принадлежат ее уровню» [Карри 1969, 47]. Поскольку всякое предложение, построенное по нормальной модели, мо-

677

жет быть сведено к некоторой пропозициональной функции (предикат при этом становится выражением функции, субъект и объекты ее аргументами), и поскольку дискурсы различаются типами своих предложений и, следовательно, своими пропозициональными функциями, то ясно, что это положение Рассела имеет также прямое отношение к логическому описанию дискурсов. Это делается тем более очевидным, если мы вспомним другие высказывания Б. Рассела по этому вопросу, например, следующее: «Если слова являются словами различных типов, то выражаемые ими значения также являются значениями различных типов». С другой стороны, в теории типов пересматривается обыденная, или «наивная» презумпция, что любое грамматически правильное предложение выражает некоторое осмысленное суждение.

Но с другой стороны это же утверждалось, в совершенно иных терминах и иной картине взглядов, в понимании языка «как системы систем» (язык, в сущности не система в семиологическом смысле слова, а именно система разных систем). Таким образом, то, о чем мы здесь говорим и о чем будем говорить ниже, является в некотором роде следствием из названного (и рассмотренного выше) понимания языка «как системы систем». Пункт же этот — открытие категории «Факт» (см. ниже, раздел 3).

2. Логические проблемы «внутри дискурса»:

«описание состояния», «тверды» и «нетвердые» десигнаторы, и др.

Будучи рассматриваемым в логическом плане, дискурс является одним из «состояний» внутри «полного описания состояний». Иначе говоря, эти понятия, а также восходящее к ним понятие «нормальной дистрибутивной формы» Я. Хинтикки (см. о

них гл. I, Пример 2) являются способами формализации дискурса. Говоря еще иначе о том же самом, дискурс — это возможный ментальный мир, или одно «описание состояния» как набор сущностей и их свойств, а также отношений между ними, которые действительны в данном мире.

Продолжая эту линию рассуждения, ситуацию можно определить с формальной стороны как частичное описание одного состояния, т. е. как подмножество составляющих его сущностей, свойств и отношений, выделенное из большего множества, «описания состояний».

Ядерными структурами здесь, если рассматривать их в плане современной когнитологии, являются «идеализированные когнитивные модели» и «фреймы» (а также родственные последним понятия «сценарии и т. п.). Совокупность этих структур составляет семантическую систему, семантику ментального мира, в то время как последний является формальной моделью дискурса.

678

Но не менее важной, а может быть, даже и определяющей структурой ментального мира, или дискурса, является вторая система — его система референции (как мы уже сказали выше, см. разд. 0 этой главы). Каждое ментальное пространство, рассмотренное в плане референции, является подобластью более общей системы референции, связанной посредством системных отношений, называемых коннекторами (англ. connectors), с другими подобластями (т. е. более мелкими ментальными мирами или ситуациями) внутри данного ментального мира, или ментального пространства (дискурса). «Сущностями» ментального мира (пространства) являются индивиды как роли и как принимаемые значения (values), и эти два проявления индивидов различны [Lakoff and Sweetser 1994, XI]. Сущностями, которые «населяют» ментальный мир, рассматриваемый в плане системы референции, являются индивиды, определенные либо полностью как индивиды, т. е. семантически, либо относительно их положения в дискурсе, в данном ментальном мире, т. е. референционно. Индивиды, определенные референционно, чаще всего совпадают с понятием роли. (Хотя это наше отождествление является лишь предварительным и вопрос требует специального исследования. «Местоположение Трои» в том смысле, как оно выражено в предложении «Шлиманн искал местоположение Трои», является примером «сущности, выраженной референционно», в «мире Шлиманна» — см. Пример 2 в разделе 2 выше. Можно поставить

интересный общий вопрос: когда имена, употребленные «косвенным образом» в смысле Фреге, являются сущностями, определенными референционно, как «роли», а не как «индивиды» в семантическом смысле, т. е. не как сущности, соотнесенные заранее и непосредственно с «объектом», «вещью» или «человеком-индивидом»?)

Определение и отождествление индивидов в системе семантики основывается на понятии «истинно». Имена и подобные им выражения, выделяющие индивидов, определяются семантически при условии истинности, т. е. соответствия сущностным («необходимым») свойствам индивида, являются «жесткими десигнаторами» (rigid designators). Напротив, дескрипции указывают прежде всего на «роли» и уже затем на «значения» (values). Поэтому дескрипция, указывающая на «роль», меняет свои «значения» (values) от одного мира к другому. Простой пример: «Я ищу *учительницу музыки моего сына*». Выделенное курсивом выражение является дескрипцией, и поэтому обозначенный им индивид, в отношении своих сущностных свойств, может быть не одним и тем же в разных мирах. Скажем, в этом году у моего сына одна учительница музыки, а в прошлом году была другая — другой человек; но в отношении «ролей» в обоих случаях индивид определен однозначно и правильно. (Именно такие случаи связаны с «непрямым» употреблением имен индивидов, по Фреге, см. выше пример со Шлимманом, искавшим

Трою, и далее связаны свойством «вращения» семантического треугольника — см. Часть первую наст. книги, «Семиотика», раздел III, А, 2.)

Референционные системы возможных (ментальных) миров, не связанные прямо с семантикой как отношениями «истинности», детально изучены в книге Жилия Фоконье «Ментальные пространства» [Fauconnier 1994], на предисловии к которой, принадлежащем Дж. Лакофу и Эве Свитцер, мы выше остановились. Приведем еще один пример, которым авторы названного Предисловия иллюстрируют проблемы, рассматриваемые Фоконье: I am taller than I am «Я выше, чем я есть».

В действительности, о чем авторы не упоминают, этот пример — перефразировка известного примера Б. Рассела, проанализированного им в другой связи: светский молодой англичанин приобрел новую яхту и, чтобы похвастаться, пригласил на нее своих друзей; один из приглашенных, желая уязвить хозяина, едва ступив на палубу, громко и подчеркнuto разочарованно произнес: «О, а я-то думал, что ваша яхта больше,

чем она есть»; на что хозяин спокойно ответил: «Нет, моя яхта не больше, чем она есть». Авторский пример содержит противоречие. Между тем тот же пример, помещенный в косвенный контекст (установки полагания, веры, мнения) противоречия не содержит:

John thinks I am taller than I am «Джон думает, что я выше, чем я есть (на самом деле)».

Этот пример отсылает нас к проблеме, уже затронутой выше (гл. I, раздел б, Пример б, в связи с концепцией Дж. Росса), но у Ж. Фоконье проблема помещена в более широкий контекст и рассмотрена более системно.

Для нас, в связи с темой этой книги, важно указать языковое ядро рассматриваемых теоретических проблем. Разумеется, языковым ядром является прежде всего само наличие ментального мира, или дискурса. Но не менее важно указать и языковые детали внутри дискурса. Обобщая, можно сказать, что теперь, когда различие «системы семантики» и «системы референции» хорошо установлено, мы обнаруживаем много частных языковых противопоставлений, подпадающих под это различие. Приведем несколько примеров.

Противопоставление производных слов — непроизводных слов. (В отечественном языкознании эта тема была, можно сказать, открыта работой Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1977] и целым циклом ее связанных с последней исследований: [Кубрякова 1981] и др.) Под производными словами, в данной связи это прежде всего имена (имена существительные нарицательные), понимаются слова, в своей форме выражающими свое производство от других слов (имен) того же языка. Под производными именами понимаются также словосочетания типа *жена брата, домашняя хозяйка, нож для консервных банок*, и т. п. Так, в обозначениях родства (индивидов): непроизводные *отец, мать, брат, сын, жена, муж, золовка, шурин, тесть, теща* и

т. п. — производные *брат отца, жена брата, отец жены* и т. п.; также производные в обозначениях профессий и социальных положений: *врач скорой помощи, хирургическая сестра, домашняя хозяйка, учительница пения, слесарь-водопроводчик* и т. п.; в обозначениях инструментов: *нож для консервных банок, гвоздодер, электрорубанок, отвертка против непроизводных рубанок, лопата, кирка, лом, стамеска* и т. п. При всем разнообразии таких противопоставлений все производные слова, в отличии от непроизводных, являются в той или иной степени дескрипциями (тогда как

непроизводные — в большей степени именами собственными). Ср. противопоставления высказываний, где все примеры с индексом «а» в большей степени дескрипции, а все примеры с индексом «б» ближе к собственным именам:

(1а) Мне нужен гвоздодер;

(1б) Мне нужна стамеска, — ее можно использовать как гвоздодер;

(2а) Я ищу учительницу музыки своего сына;

(2б) Я ищу прошлогоднюю учительницу музыки своего сына, кажется, ее звали Анна Ивановна;

(3а) Не обвиняйте ее в нарушении правил приватизации, она всего лишь домашняя хозяйка Анна Ивановна;

(3б) *Не обвиняйте ее в нарушении правил приватизации, она всего лишь Анна Ивановна.

Производные имена определяют предмет (индивида) прежде всего в той или иной мере по его функции, тогда как непроизводные — в той или иной мере по его индивидуности. Это различие имеет глубокие основания как в исторической степени индоевропейских языков (см. Пример 5 в гл. I, 5 выше), так и в системе концептов (см. о «мере индивидуности» в гл. II, 3 в связи с «деревом Порфирия»).

Как всегда при определении общих рубрик («категорий») для частных противопоставлений, и здесь возникает вопрос: «Какую категоризацию предпочесть?» (Мы столкнулись с ним уже при необходимости определить термин «Система» в самом начале этой части книги, см. «Вводные замечания».) Здесь этот вопрос принимает такой вид: «Не следует ли то же самое, отмеченное выше, противопоставление категоризовать иначе — как противопоставление «Случайное, привходящее» — «Сущностное»? Или, может быть, как «Явление» — «Сущность»? В общем виде, к языку вообще, такое противопоставление применить кажется трудным. В самом деле, если некую особу зовут Анна Ивановна, и она является учительницей пения, а я ищу учительницу пения своего сына (или для своего сына), то эта дескрипция выражает, скорее, сущность искомого индивида в данном (одном из возможных) мире. Но, при взгляде «сквозь миры», является ли функция «быть учительницей пения» «сущностью» индивида «Анна Ивановна»? А, быть может» это лишь случайный, привходящий факт ее биографии? Отметим, что с этим

может быть сопоставлено одно явление современного русского языка, отмеченное Т. Е. Янко (в ее устном сообщении): выражения типа *У него (что-то или кто-то)* означают актуальное наличие; выражения типа *У него есть (что-то или кто-то)* — виртуальное, потенциальное или ментальное присутствие. В контексте нашего рассуждения этому различию можно, по-видимому, приписать и другие признаки противопоставления:

(4а) У него есть (что-то), напр.; У него есть дети, автомобиль, гордость в характере — выражают «сущность», «существо дела», тогда как

(4б) У него сын (его зовут Алеша); у него автомобиль (а не дача), у него близорукость (а не дальновзоркость); у него гордый характер — выражают ситуативную индивидуальность и в этом смысле «явление», а не сущность».

Но — не меняются ли эти характеристики местами, — в зависимости от того, как мы понимаем (и определяем) «мир»?

Мы оставим попытку ответить на этот вопрос до общего раздела о «сущности» (гл. V ниже).

3. Между Системой и Текстом: выражения «Фактов»

Не будем сейчас вдаваться в определения «системы» в отличие от «текста» (или, что, в общем, то же самое, «кода» от «текста» или от «сообщения»; «парадигматики» от «синтагматики» и т. д. — мы полагаем, что все лингвисты достаточно ясно представляют себе это различие, и о нем уже много раз говорилось на предшествующих страницах этой книги). Возьмем только по одной единице того и другого, по такой единице, относительно которой ни у кого нет сомнения, что она определенно принадлежит — в одном случае к «системе», а в другом — к «тексту». В качестве единицы системы возьмем имя, а в качестве единицы текста — высказывание (в форме предложения). В таком случае, языковые выражения для «фактов» не принадлежат ни к тому, ни к другому, т. е. не являются ни именами, ни высказываниями. Конечно, сразу возникает вопрос, что мы называем «фактами». Но все дело в том, что вопрос «Что такое „факт“?» и вопрос «Что такое „выражение для факта“?» — это в действительности один и тот же вопрос. Таково предварительное резюме этого раздела. А теперь рассмотрим некоторые детали.

Языковой символ для факта не является именем. — Это главный тезис Б. Рассела периода «логического атомизма», т. е. 1920-х годов. Это же и начало той проблемы, которая занимает нас теперь. «Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы. (Когда я говорю „факты не могут быть именуемы“, — это, строго рассуждая, бессмыслица. Не впадая в бессмыслицу,

682

можно сказать только так: „Языковой символ для факта не является именем“)» [Russel 1959,43]. Что же является адекватным языковым символом для факта в теории Рассела тех лет? — Предложение (пропозиция), а именно — атомарное предложение.

Но тогда „факт“ и есть то, что выражает предложение, или пропозиция (все термины берем здесь в понимании Б. Рассела этого периода). За такими утверждениями стоит особое понимание мира: мир состоит не из вещей, а из событий, или фактов.

Позднее, в период работы над книгой «Человеческое познание. Его сфера и границы» (1948, рус. пер. 1957), Рассел определил «факт» без отношения к языку: «„Факт“, в моем понимании этого термина, может быть определен только наглядно. Все, что имеется во Вселенной, я называю „фактом“. Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит голова, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно. ... Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными» [Рассел 1957, 177].

Однако Рассел, как и следовало ожидать, столкнулся и с «фактами» не в своем собственном смысле слова, — скорее с «фактами как упрямыми вещами», а именно с тем фактом, что в естественном языке есть имена, некоторые из которых выражают то, что Рассел называл «фактом» в своем понимании: например, Солнце, Цезарь, Рубикон, переход, зубная боль ит. п. В теории Рассела не должно быть места именам как языковым символам для «фактов», а в естественном языке такие имена есть. Разумеется, создатель теории захотел выйти из этого затруднения.

И, действительно, в его работе 1940 г. — «Разыскание о значении и истине» (это так называемые «Уильям-Джемсовские лекции 1940 г., прочитанные в Гарвардском Университете», — таков подзаголовок книги), этот вопрос прямо поставлен (предварительно нужно сказать, что Рассел различает два главных термина — «имя» и

«отношение», под отношением он понимает самое существо предложения — структуру предиката). Итак, вопрос возник: «Can we invent a language without the distinction of names and relations?» — «Можем мы изобрести язык, в котором не было бы различия между именами и отношениями?» [Russel 1980, 94].

И Рассел откровенно отвечает: «По этому вопросу у меня мало есть что сказать. Может быть, и возможно изобрести язык без имен, но, что касается меня, то я совершенно не в состоянии вообразить такой язык. Конечно, это аргумент не решающий, разве что в субъективном отношении: он кладет конец моей возможности обсуждать проблему». Но проблема остается, и Рассел продолжает:

«Однако, в мою задачу входит предложить точку зрения, которая на первый взгляд может показаться равносильной устранению имен. Я

683

предлагаю устранить то, что обычно называют „индивидуальными обозначениями“ („particulars“), и удовольствоваться некоторыми словами, которые обычно считают „общими“ („universals“), такими, как „красное“, „синее“, твердое“, „мягкое“ и т. п. Эти слова, по моей мысли, являются именами в синтаксическом смысле. Таким образом, я стремлюсь не отменить им» на, а придать необычное расширение термину „имя“» [там же, 94—95].

Примером трактовки «имени в синтаксическом смысле» является расселовский анализ предложения типа «Это — красное», который он сводит к эквивалентности «Красное есть здесь».

Итак, резюмируя, несколько упрощенно можно сказать, что в теории Рассела, с 1920-х до 1940-х годов (хотя и не неизменно, хотя и с уточнениями), рисуется такая картина: мир состоит не из «вещей», а из «событий», или «фактов»; «события», или «факты», существуют объективно, поэтому соответствие им делает высказывания (пропозиции) истинными, а несоответствие — ложными; надо стремиться к тому (в научной теории), чтобы представить «события», или «факты», в «минимализованном» виде, как «кратчайшие отрезки пространства-времени» («portions of space-time»); наиболее адекватное языковое выражение для «факта» — не имя, а атомарное предложение (пропозиция). Пример: «Цезарь» как собственное имя влечет ложное понимание — представление о некоей «сущности» (Рассел решительно против понятия «сущности»), между тем как анализ — в соответствии с теорией Рассела — должен

привести нас к убеждению, что «Цезарь» есть серия «порций пространства-времени» — «Цезарь в данный момент», «Цезарь — вчера», «Цезарь, переходящий Рубикон» и т. п.

Языковой символ для факта не является предложением (пропозицией). Между этим утверждением, противостоящим тому, которое выражено в предшествующем разделе, можно было бы, по-видимому, установить ряд промежуточных звеньев, постепенно подводящих к данному и принадлежащих разным исследователям. Но мы сразу возьмем конечный результат — тот именно, который и выражен в приведенной форме. Опять-таки резюмируя и несколько упрощая, этот результат следует связать с блестящей работой Зено Вендлера «Причинные отношения» («Causal relations» [Vendler 1967]; рус. пер. [Вендлер 1986]).

Как показывает само название, Вендлер рассматривает в своей статье прежде всего понятие «причины», но путем к решению проблемы является установление того, что такое «факты». Конечный вывод Вендлера гласит: «Причины — это факты, а не события» [Вендлер 1986, 270, 275].

На первый взгляд, может показаться, что Вендлер понимает «факт» так же, как Рассел. Некоторые места его статьи заставляют считать, что он и сам так думал или, во всяком случае, не обратил внимания на существенное отличие. Так, например, в разделе III (с. 273 — здесь и далее указываем страницы русского перевода) он говорит: «То, что ут-

684

верждается, может быть фактом, но чье-либо утверждение не может быть фактом, а может только соответствовать факту», — сравним у Рассела: «...акт моего утверждения есть факт...» и т. д. (см. выше). Это отличие очень важно; если его проанализировать (такой анализ мы здесь опускаем), мы придем, по-видимому, к выводу, что теории Рассела и Вендлера не радикально различны, но, скорее, вторая является существенным развитием первой, и развитие заключается прежде всего в открытии новой категории — «категории факта».

Другое существеннейшее отличие состоит в разделении «события» и «факта». Это различие выясняется прежде всего через употребление соответствующих слов в естественном языке. (Здесь Вендлер разделяет основное убеждение Рассела: наблюдения над языком могут помочь нам понять, как устроен мир.) А именно: слово «факт» (точнее, слово «fact» в английском языке) имеет совершенно иную сочетаемость,

нежели слово «событие» («event» в английском языке), хотя в некоторой части их сочетаемости (дистрибуции) пересекаются; слово «факт» и сходные с ним подчиняются тем же ограничениям на сочетаемость, что и не полностью номинализованные группы, тогда как сочетаемостные ограничения слова «событие» (и слов его семьи) совпадают с ограничениями, характерными для полностью номинализованных групп. Так, например, группа *That he sang the song* и группа *His having sung the song* — это факты, а не события, тогда как группа *His beautiful singing of the song* — это событие, а не факт (с. 269—270).

К примерам Вендлера можно добавить примеры из других языков, скажем, французское: *Qu'il ait chanté cette chanson, est invraisemblable* — «(Утверждение) что он пел эту песню, — невероятно». Здесь неполнота номинализации выражается с помощью употребления наклонения нереальности вместо наклонения реальности — индикатива.

Довольно похожим образом выражается то же самое в русском языке, но в нем возможны вариации:

Что он пел эту песню, — (это) невероятно;

Чтобы он пел эту песню, — невероятно, —

второй способ полностью аналогичен французскому. (К одному тонкому различию, выясняющемуся в связи с этими примерами, мы вернемся несколько ниже).

Одно из самых точных описаний семантической сущности «фактов» было дано Н. Д. Арутюновой в статье [Арутюнова 1980] (с ясностью, несколько утраченной в составе книги [Арутюнова 1988]). Как известно, любое предложение (и соответствующая пропозиция) может быть трансформировано в выражение, подобное имени, т. е. претерпеть номинализацию. Однако номинализации, служащая описанию события, и номинализация, служащая описанию факта, существенно различны. З. Вендлер обратил внимание на то, что первая может быть полной, вторая же —

685

в принципе не может быть полной (см. также ниже). Н. Д. Арутюнова к этой сжатой и потому недостаточной формулировке прибавила целый перечень «фактообразующих» языковых признаков (их 6). Приведем только один из них: фактообразующее, фактуальное значение, в отличие от событийного, никогда не получает предикатов, извлеченных изнутри пропозиции. Например, пусть дано предложение (пропозиция) *Мы встретились вчера вечером*; его событийной номинализацией будет *Наша встреча*, а

предикатом к этому эквиваленту имени будет: *произошла вчера вечером*. Напротив, фактуальная номинализация того же предложения (пропозиции) иная — *Тот факт, что мы встречались вчера вечером...*, и предикатом к ней может быть только предикат из ментальной сферы (а не из сферы предметно-материального мира) — *всех удивило, является хорошим предзнаменованием, ничего не доказывает, всем известно* и т. п. Такие предикаты не содержатся в первоначальной, номинализуемой пропозиции, она номинализуется вся, целиком, и поэтому Н. Д. Арутюнова называет такую, т. е. фактуальную, номинализацию полной, в отличие от событийной — неполной. Таким образом, термины «полная» — «неполная» номинализация имеют при этом взгляде значение обратное тому, какое они получили у З. Вендлера [Арутюнова 1980, 352], хотя в дальнейшем [там же, 356] автор использует термин «неполная номинализация» и применительно к фактуальным преобразованиям, в другом смысле.

Итак, факты — это то, для чего наиболее адекватной формой является неполная — ив принципе не могущая быть полной — номинализация предложения-высказывания, в смысле Вендлера. В отличие от фактов, наиболее адекватной формой для события является предложение-высказывание или его полная номинализация. Номинализация же — это окказиональное имя. Таким образом, языковой формой для «факта» является нечто, стоящее на полпути, в «промежутке», между именем, с одной стороны, и предложением (пропозицией, высказыванием), с другой.

Не удивительно, что эта специфическая языковая форма соответствует специфическому содержанию. Вендлер очень хорошо выражает это в следующем пассаже (напомним, что «причины — это факты, а не события»): «...Если причины, подобно следствиям, являются событиями ..., то тогда почему же нельзя и помыслить о том, чтобы причины происходили или имели место, о том, чтобы они в определенное время начались, столько-то длились и внезапно закончились? Почему ни один мудрец не может наблюдать или выслушивать причины, ни один ученый не может смотреть на них в телескоп или регистрировать посредством сейсмографа...» и т. д. (с. 271). И Вендлер заключает: «Я могу только попросить логиков узаконить существование фактов, введя факт в число тех единиц, которыми они оперируют» (с. 276).

Вернемся теперь к приведенным выше русским и французскому примерам, рассматривая их как один и тот же тип выражений. Языко-

вое выражение «Что он пел эту песню...» (или «Чтобы он пел эту песню...», или его французский эквивалент) — именно в данной выше синтаксической позиции (т. е. так, что за данным выражением следует некая «рамка» — выражение утверждения, сомнения и т. п.) является выражением факта. Но следующая часть всего сложного предложения, т. е. — «... невероятно», «... это невероятно» или даже «... это ложь», либо подтверждает этот факт, либо подвергает его сомнению, либо, наконец, даже опровергает его. Таким образом, в последнем случае мы получаем на первый взгляд абсурдное (во всяком случае, парадоксальное) выражение «Этот факт есть ложь».

Это очень хорошо почувствовал З. Вендлер. «В английском языке нет слова для обозначения «фактоподобной» сущности, которая является результатом такого абстрагирования. Не говорить же, что предмет вашего утверждения — это «ложный» факт! Ощущается потребность в подобном родовом термине, обозначающем единство референционно эквивалентных пропозиций независимо от того, истинны они или ложны, однако я не могу подобрать приемлемый термин» (с. 274).

Но начиная с этого пункта рассуждение Вендлера, — я думаю, — направилось по слишком сложному пути, чреватому неясностями и даже ошибками. И причиной тому — английский язык. В английском языке, как мы видели выше на примерах самого Вендлера, наиболее адекватной формой выражения факта является некоторая разновидность (некоторый класс) форм на -ing, но в нем малоупотребительны выражения, подобные приведенным русским и нет ничего подобного французским, где «фактовость» выражается нейтрализацией наклонений — изъятием выражения из сферы реальности и тем самым его переносом в чисто мысленный, «ментальный» мир. Опираясь на формы русского и французского языков, мы прямо приходим к конечному выводу: факты есть предикативная связь двух явлений (субъекта и его предиката), выраженная в системе языка, но без соотношения с реальной действительностью во времени, т. е. до утверждения или отрицания. Французские философы языка 1970-х годов удачно выразили это (в другой системе рассуждений) в тезисе, или афоризме «L'inasserté précède et domine l'asserte» — «Неутвержденная предикация предшествует утвержденной и доминирует над ней».

Но это же самое является и определением для пропозиции. «В связи с этим встает очень сложный вопрос о том, в чем состоит различие между фактом и пропозицией», —

замечает Вендлер (с. 272). И он дает по существу верный, но очень сложный ответ (навеянный английским языком): факты референционно прозрачны, тогда как пропозиции, даже истинные, референционно непрозрачны» (там же).

И вот его конечное определение (которое мы приведем сначала по-английски): «As propositions are the result of an abstraction from the variety of paraphrastic forms, so facts are the result of a further abstraction from the variety of

687

equivalent referring expressions. A fact, then, is an abstract entity which indiscriminately contains a set of referentially equivalent true propositions» [Vendler 1967, 711], Русский перевод (наш, несколько отличающийся от опубликованного): «Подобно тому, как пропозиции представляют собой абстракцию от набора перифрастических форм, так же и факты представляют собой дальнейшую абстракцию от набора референционно эквивалентных выражений. Таким образом, факт — это абстрактная сущность, соответствующая конкретному классу референционно эквивалентных истинных пропозиций». (Это определение, очевидно, аналогично определению фонемы в американской традиции: фонема есть класс эквивалентных конкретных звукотипов — аллофонов.)

Но французский и русский языки позволяют достичь этого определения, кажется, более простым путем, более наглядно.

В самом деле, если «Что он пел эту песню» является выражением абстрактной сущности — пропозиции, но также и выражением факта, и если то же самое языковое выражение остается пропозицией в двух высказываниях —

(а) *Что он пел эту песню, — это истина (правда, факт);*

(б) *Что он пел эту песню, — это ложь,*

но является выражением факта только в первом из них (в «а»), то отсюда следует, что —

— выражения «а» и «б» несовместимы в рамках одного и того же рассуждения, т. е. в рамках употребления одного и того же языка (в данном случае, русского) в одной и той же системе рассуждений, в одном и том же тексте. Таким образом, факт есть пропозиция, истинная в рамках одного текста (который представляет собой особый случай употребления некоторого языка, особый «подязык», или, лучше сказать, дискурс).

Обычно в связи с подобными рассуждениями о «фактах» и «причинах» приводят знаменитый пример с трагедией Софокла «Эдип-Царь» и рассматривают причину трагедии Эдипа: является ли ею то, что Эдип женился на женщине по имени Иокаста (которая в действительности была его матерью, но Эдип этого не знал), или же причиной является то, что Эдип женился на своей матери. Мы приходим к ответу (иному, чем у Вендлера), следуя по намеченному выше пути. Выражение «Эдип женился на женщине по имени Иокаста» принадлежит миру Эдипа и греческому языку и — одновременно «подязыку» этого языка, которым пользовался Эдип и его окружение. Что касается выражения «Эдип женился на своей матери», то оно принадлежит также греческому языку, но иному миру — миру «всеобщего, универсального знания», которым обладали боги, но не Эдип и его близкие, и это иной «подязык» греческого языка. В языке Эдипа (в его «подязыке») это выражение вообще лишено смысла. Трагедия Эдипа наступает в тот момент, когда он внезапно переходит от своего мира к миру универсального знания.

688

Первое из приведенных выражений является «выражением факта» (или: «выражением для факта») в языке Эдипа, второе — «выражением факта» (или: «выражением для факта») в другом языке. Но оба выражения принадлежат греческому языку и являются выражением эквивалентных пропозиций в более широком мире — мире греческого языка.

Итак, «факт» есть результат представления некоторого действительного «положения дел» в системе данного языка, причем под «языком» необходимо понимать то, что сказано об этом выше, — дискурс. Нет фактов вне мира, но нет фактов и вне языка, описывающего данный мир, — вне дискурса.

Но тем самым у лингвистов и философов языка есть право сказать, что открыта новая категория — «факт».

«Я всецело присоединяюсь к предположению Дэвидсона, — говорит Вендлер в упомянутой работе, — что события следует относить к первичным элементам онтологии причинных отношений. В то же время мне бы хотелось сделать и следующий шаг в этих метафизических построениях, добавив к первичным элементам еще один, а именно факт. Языковое выражение причинных отношений, подобно многим другим языковым

сферам, заставляет предположить, что факты, наряду с объектами и событиями, также составляют первичную категорию нашей естественной онтологии. Многим из нас, привыкшим к строгим пустынным пейзажам, такое размножение первичных элементов покажется отталкивающим. К сожалению, джунгли есть джунгли, нравится нам это или нет» [Вендлер 1986, 264].

Рассел и, по-видимому, в значительной степени Вендлер работают в традиции «английского эмпиризма». Далеко не случайно для Рассела конечным «атомом» оказывается непосредственно эмпирически наблюдаемая «порция пространства-времени». Несомненно, с этим согласился бы крайний номиналист (и родоначальник английского эмпиризма) Оккам, для которого нет никаких иных сущностей, кроме «первых сущностей», непосредственно наблюдаемых «вещей» (тогда как «универсалии» являются порождениями рассудка).

Не удивительно ли, что эволюция по этой линии привела к открытию «новой сущности», «новой категории» — «факта»? Правда, это «сущность», являющаяся таковой только в системе языка.

Не присутствуем ли мы перед странным — и примечательным — совпадением этой эволюции с линией принципиального «платоника» отца Сергея Булгакова? В «Философии имени» (уже от одного названия с отвращением отвернулся бы Рассел) о. Сергей Булгаков написал: «Идеи суть словесные образы бытия, имена — их осуществление» [Булгаков 1953, 60].

ГЛАВА V МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ТЕКСТОМ. НОВЫЙ РЕАЛИЗМ — ТРЕТЬЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

1. Философия языка не знает границ, но языки философии языка знают.

Новый реализм в англосаксонских странах

Первый выпуск нашей серии «Философия языка: в границах и вне границ» (Харьков: Око, 1993), посвященный «парадигмам», Д. И. Руденко закончил замечательным вопросом: «В какой мере философия языка является „поводом“ для философствования как попытки ставить вопросы о бытии в целом, а в какой его „пространством“?» [см.: Философия языка 1993, 173].

Не прошло и двух лет, заполненных подготовкой второго тома [Вып. 2, 1994], как этот вопрос оказался в центре внимания «философствующих». Кажется, это определение звучит как название секты, «секты философствующих в языке». Но если и секты, то очень широкой, во всяком случае не только российской.

В самом деле, — только один пример, — Жак Деррида в чем-то вроде интервью, озаглавленном «Есть ли у философии свой язык?», говорит: «Итак, существует ли французская философия? Нет, менее, чем когда-либо, если рассматривать разнородность, а также конфликтность, отмечающую все так называемые философские выступления: публикации, доктрины, дискурсивные формы и нормы, связи с учрежденческими механизмами...» и т. д. Но, по-видимому, «да» в ином смысле. Все же можно говорить о чем-то, что придает «исключительность тому предмету, что зовется «французской философией». Она принадлежит некоей идиоме (мы бы сказали в переводе, скорее, — «некоему особому языку», «дискурсу». — Ю. С.), которую, как всегда, труднее заметить изнутри, нежели из-за границы. Идиома же, коли таковая имеется, никогда не чиста, никогда не выбрана или проявлена со своей собственной стороны, по справедливости. Идиома — всегда и только — для другого, заблаговременно присвоена (пересвоена) [Деррида 1993, 32—33].

Лейтмотив этой главы — «пространство», «ментальный мир», «дискурс», «язык» философствования о языке в современной России, и это — Новый реализм. Между тем в России, как нигде в мире, боятся говорить о своем собственном «языке философствования». Но о нем смело говорят за границей.

Французский швейцарец Патрик Серю, размышляя об истории структурализма (последний, впрочем, как философия языка, не будет нас здесь занимать), отмечает:

«Разумеется, можно выделить этапы этой истории, но важно также знать, где развивался структурализм, какими путями шло его развитие в разных странах, важно знать его *национальные варианты*. В данном случае нас будет интересовать *российский вариант*. ... Мы займемся обоснованием тезиса о том, что два главных русских представителя Пражского лингвистического кружка (Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон. — Ю. С.), будучи чрезвычайно далекими от той социологической модели, которую де Соссюр позаимствовал у Дюркгейма, опирались, подобно Шлейхеру, на *биологическую метафору*, с тем отличием, что эта метафора была совершенно эксплицитно антидарвиновской и что эта биологизирующая модель была тесно связана с особенностями русского восприятия дарвинизма» [Серю 1995, 323—324]. «Мы показали, — говорит Серю в заключение, — что структурализм русских пражан, полностью вписываясь в *атмосферу эпохи*, в то же время небезразличен и к *атмосфере места*, к интеллектуальной атмосфере России. Весьма расплывчатое понятие *атмосферы места*, места, которое находится одновременно в Европе и вне ее, позволяет верно поставить вопрос о соотношении частей и целого в европейской науке. Ведь прежний структурализм вовсе не находится на периферии европейской науки, наоборот, он находится в самом ее центре» (там же, с. 338).

Как мы уже сказали, сам структурализм не является здесь нашей темой. «Центр интереса» здесь — Новый реализм, притом, как это было неоднократно показано на предыдущих страницах, Новый реализм в его связи с философией языка. А эта связь яснее всего (если не говорить сейчас о России) обнаруживается в философии языка в англосаксонских странах, — прежде всего в США, а также, в меньшей степени, в Англии, где Новый реализм имеет давние традиции. Именно это — наша тема здесь. (Между тем как «новый реализм» в качестве очень широкого и разнообразного течения философии вообще, в частности, в Германии и Европе начала нашего века, — конечно, далеко выходит за рамки нашей темы.)

Н о в ы й р е а л и з м в С Ш А — истоки американской лингвофилософской традиции. В июле 1910 г. в США была опубликована небольшая статья «Программа и первая платформа шести реалистов» («The program and First Platform of Six Realists»

[Program 1910]), составленная шестью соавторами (Эдвин Б. Холт, Уолтер Т. Марвин, Уильям П. Монтегю, Ралф Б. Перри, Уолтер Б. Питкин, Эдвард Г. Спаулдинг [E. B. Holt, W. T. Marvin, W. P. Monteguc, P. B. Perry, W. B. Pitkin, E. G. Spaulding]). Позднее программа была развита и результат составил обширный коллективный том «The New Realism. Coöperative studies

in philosophy». N. Y.: The Macmillan Co., 1912, переизданный под тем же названием в 1925 г. [New Realism 1925] (далее указываем стр. этого изд.).

Программа и книга «шести реалистов» выдержаны в ярко «американском стиле»: не обращаясь к далеким традициям, авторы все начинают как бы заново, основываясь только на своем собственном «здоровом философском смысле». Декарт, Локк, Юм, Беркли, Кант, Мур, Рид [Reid], Brentano, Бергсон и Рассел (все, за исключением двух последних, упоминаются лишь бегло) — вот, в основном, и все, что авторы привлекли из европейской традиции. В указателе имен нет даже Платона.

«Историческое значение нового реализма яснее всего проявляется в его отношениях с „наивным реализмом“, „дуализмом“ и „субъективизмом“ (под последним понимаются и Кант, и Фихте, и Беркли, и Юм. — Ю. С.). Новый реализм — это прежде всего доктрина, занимающаяся отношением между процессом познания и познаваемой вещью» (с. 2). Причем в последнем отношении, как его ядро, выделяется ключевое понятие — принцип независимости (1), т. е. независимости познаваемой вещи от познания. Имеется особая глава «Реалистическая теория Независимости» («A realistic Theory of Independence»).

Само понятие «независимость» в этом смысле определяется вполне в духе американской школы — через уточнение употребляемых для этого слов: «1. Независимость есть отрицание зависимости (Independence is non-dependence); 2. Зависимость (dependence) — не то же, что отношение (relation), но особый тип отношения (relationship), при котором зависимое содержит, имплицитно или причинно вызывается либо имплицитно тем, зависимым от чего оно является; 3. Независимое (independent) может стоять или не стоять в каком-либо отношении, при условии, что оно не стоит в том отношении, как указано в пункте 2 выше»; 4. Объект сознания стоит в отношении к сознанию, но отсюда не следует, что он является зависимым (dependent) от сознания»... и т. д. (с. 151).

Следствиями основного положения в Новом реализме этого толка являются: эмансипация метафизики от эпистемологии (2); важнейшая роль анализа в разных смыслах этого термина, который, однако, является эмпирическим, не поддается строгому логическому определению, да и не нуждается в нем (с. 157) (3); тем не менее логический анализ признается важнейшей составной частью новой доктрины, чему посвящена особая глава «Реалистическая теория истины и заблуждения» («Arealistic Theory of Truth and Error») (4). Последнее положение (4) стало наиболее характерной чертой американского Нового реализма в последующие годы — как мы увидим это ниже.

Приведем теперь, в качестве иллюстраций, два-три специальных положения американского Нового реализма, важных для темы нашей книги.

Взгляд реалиста на логику. (Под логикой понимается вся логика в ее истории, в частности и концепция Аристотеля.) Логи-

692

ка, подобно другим наукам, дает нам информацию о некоторых терминах и отношениях между ними (классы; отношения между элементами и классом; между классами); особое место занимают пропозиции и их связи по импликации. Коротко говоря, логика занимается различными типами базовых отношений. При этом логика изучает нечто нематериальное в том же самом смысле, в каком это имеет место в математике или химии. Классы и их отношения, «истины» и «лжи» (truths and falsehoods) существуют в мире вне нас, их отношения существуют совершенно независимо от существования человека или его мысли. Логик изучает аспекты мира (классы; отношения, пропозиции), как делает это физик, занимающийся природой света, тяготения или электричества. «Но, — может спросить читатель, — не является ли логика наукой или искусством правильного рассуждения?» «Нет, — гласит ответ реалиста. — Логика не является этим. Логика не есть наука о познавательном процессе. Ее положения и формулы не есть законы мышления. Они также отличны от последних, как отличны от них понятия и отношения физики» (с. 52—56). Положения логики, как и математики, не существуют во времени в смысле «экзистируют», т. е. не экзистируют; но и те и другие «имеют бытие вне времени», «субзистируют» (do not exist, but have being, subsist). Реалист использует здесь классические термины схоластики, также Б. Рассела 1900-х годов, — латин. «existentia»,

англ. «existence» в противопоставлении к «subsistentia», «subsistence» (см. подробнее [Семиотика 1983, 41, 586]).

Взгляд реалиста на пропозиции. Под пропозициями понимаются логические отношения, абстрагированные от высказывания, развертывающегося, производящегося в реальном времени. «Пропозиции, а только они составляют науку, не являются событиями во времени. Они не приобретают бытие (they do not come into being or get created), скажем, студентом, который впервые узнает, что они истинны. Они открываются, а не создаются, как истинные, точно так же как Американский континент был истинно открыт, а не создан открывателями XV и XVI веков. Подобно этому математика как система истинных пропозиций была отчасти открыта человеком, но успех или неуспех такого открывания ничего не прибавляет и не убавляет от математики, не изменяет ее никоим образом. <...> Математика и любая другая наука являются науками только в силу двух оснований: потому что некоторые их пропозиции истинны и некоторые другие ложны, и потому что одна пропозиция имплицитно определяет другие» (с. 57). Мы увидим ниже прямое продолжение этого тезиса в американской философии языка наших дней.

Все соответствующие рассуждения и определения американских «новых реалистов» очень близки к тому, что утверждается и позже, в наши дни. Так, Я. Лукасевич [1959, 48] подчеркивает, что логика изучает вполне объективные отношения, не зависящие от человеческого ума и

693

мышления, т. е. логика не извлекает правил и законы мышления из наблюдений над мышлением, «логика имеет дело с мышлением не более, чем математика». Эти утверждения связаны с критикой психологизма, подобно тому, как это имело место и в американском Новом реализме, т. е. Лукасевич выступает здесь как «реалист».

Эта точка зрения не всеми разделяется. Так, Е. Д. Смирнова считает, что при этом «снимается вопрос о теоретико-познавательных предпосылках логики, так как сами логические отношения объективированы» [Смирнова 1996, 8]. На наш взгляд, здесь недостаточно разделены две различных положения: с одной стороны, логика, действительно, не является эмпирической наукой, каковой является психология (в этом отношении безусловно права Е. Д. Смирнова); но, с другой стороны, имеется правильное положение о наличии теоретико-познавательных предпосылок логики, и

первое не отменяет второго, как не снимается последний вопрос в отношении математики. Однако некий синтез двух названных положений (на наш взгляд, совершенно правильный) намечен и в контексте упомянутой работы Е. Д. Смирновой: «Можно строить различные системы формального вывода. Однако, какова бы ни была структура допускаемых способов рассуждения, в логике к ним предъявляется одно обязательное требование: они должны воспроизводить отношение логического следования» (там же, с. 10). Отношения логического следования и есть то, что «реалисты», в частности и американские, считали объективно существующим (объективной связью импликации между пропозициями) (см. выше).

Более определенно высказывается В. Н. Переверзев: «Концепция реализма в отличие от номинализма и концептуализма на протяжении всего периода становления логики как науки являлась плодотворной основой для разработки логических учений, ставших впоследствии классическими. В XX в. концепция реализма трансформировалась в концепцию логического реализма, суть которой в следующем: 1) идеи (эйдосы, универсалии, общие понятия и т. п.) суть объекты, ибо они представляют собой нечто целостное, на что можно указывать с помощью различных символов; 2) идеи суть абстрактные (лишь умопостигаемые) объекты, являющиеся непосредственным содержанием человеческого мышления и принципиально отличные от эмпирических объектов; 3) в логике прежде всего важен не вопрос о первичности или вторичности абстрактных объектов по отношению к эмпирическим объектам, а сам факт принципиального различия между ними» (этот вопрос относится к компетенции логической метафизики) [Переверзев 1995, 6]. Идеи, эйдосы, универсалии и т. д., одним словом концепты, рассматриваются как существующие объективно, хотя и в ментальном мире, как объекты, и в настоящей книге.

В замысле американского Нового реализма очень важна его моральная установка, которая резко отличает его других нацио-

нальных школ, прежде всего от французской, где, как мы только что видели выше в интервью Ж. Дерриды, имеется свой «язык», но нет духа единства. Но также и от современной российской, где нет ни общего «языка» (за исключением «языка» самих «реалистов»), ни духа единства. Он был утрачен в значительной степени и в англосаксонской философии языка (как об этом свидетельствует, в частности, книга Р.

Харрэ, — см. ниже). Но этот дух пронизывает замысел американских реалистов. Далеко не случайно ключевым словом в самой заголовке их коллективной монографии является слово «соöperative» (в орфографии того времени): «Соöperative studies in philosophy» — «Философские штудии в духе сотрудничества». Введение к книге начинается словами: «Новый реализм является в настоящее время, можно сказать, чем-то между тенденцией и научной школой. До сих пор, пока он признавался только своими врагами, он был не более как тенденцией. Но война пробудила „классовое сознание” (a class-consciousness), и теперь близко, если уже не настало, время, когда один реалист должен признать другого. Встала заря товарищества, пришло время и желание лучше понять друг друга и эффективнее сотрудничать, что и породило настоящий коллективный труд» (с. 1).

Этого духа естественно хочется пожелать и новому реализму в России (глава V, ниже).

Один интересный эпизод в развитии реалистических идей в англосаксонском мире. Таковым можно считать книгу английского автора Рома Харрэ «Разновидности реализма. Рациональная типология для естественных наук» (Rom Harré «Varieties of Realism. A rationale for the natural sciences» [Harré 1986], далее указываем страницы по этому изданию). Моральная атмосфера, которую несет с собой эта книга, совсем другая, нежели та, которую утверждали американские реалисты начала века и к которой привыкли и мы в России. В главе под названием «Наука как практика социального сообщества (общины, communal practice)» автор откровенно провозглашает товарный, более того — меркантильный (marketable) характер науки: «Что производит научное сообщество? Наивный ответ гласит: „Истину”. Но уже со времени Юма мы знаем, что этот ответ неудовлетворителен. ... Научное сообщество производит „тексты” (writings). Библиотеки, исследовательские учреждения, книжные магазины и т. д. наполнены продуктами научного сообщества. Как продукт, „текст” имеет определенную форму, он упорядочен в соответствии с общественными стандартами на „рациональность”, снабжен „данными” и подписан. Он носитель определенного престижа. Эти свойства продукта научного сообщества могут обсуждаться и оцениваться без всякого отношения к содержанию. „Символический капитал” научного сообщества — это его „репутация”. „Репутация” аналогична денежному капиталу» (с. 10). Научная репу-

тация — это качество, которое придает «тексту» товарную стоимость, собственно, — делает его товаром (marketable). «На протяжении всей своей книги, — провозглашает Харрэ», я буду постоянно возвращаться к критике „логического эссенциализма“ (последний, скорее, — форма «реализма». — *Ю. С.*), к критике той идеи, что сущность, эссенция, научного дискурса и научной практики представляет собой логическую структуру. Логика из эпистемологически значимой, внутренне присущей науке сущности, эссенции, превращается в социально мотивированный риторический инструмент, прием (device), и эта транспозиция полностью гармонирует с моей главной темой антиэссенциализмом» (с. 11). Свой подход автор квалифицирует как «философское исследование того морального порядка, который скрепляет научное сообщество» (с. 6). Легко понять, что при такой установке книга Харрэ является, по существу, попыткой опровержения всех видов научного реализма.

Тем не менее, Харрэ дает интересный опыт классификации «разновидностей реализма», прежде всего, разделяя естественные науки на три сферы, каждая из которых требует своей философии (своей философии объектов, онтологии): 1) сферы исследований объектов «общего опыта», 2) сферы исследования объектов возможного опыта, 3) сферы исследования объектов за пределами всякого возможного опыта, — к последним относятся новейшие теории физики.

В частном случае Харрэ предпринимает полезную, хотя и несколько доморощенную, попытку разделения современного научного, или логического, реализма на две ветви — «истинностный реализм» (truth realism), т. е. реализм, основанный на понятии логической истинности и его носителя — пропозиции, и «референционный реализм» (referential realism), т. е. реализм, основанный на понятиях «объект» и его «описание». «Вместо того, чтобы задавать себе вопрос „Являются ли утверждения данной теории истинными или ложными?“ и изошряться в описании различных, вполне человеческих, ограничений возможных ответов, я спрашиваю (и полагаю, что так же поступают в действительности ученые): „Существуют ли постулируемые вещи и свойства?“ Но не значит ли это то же самое, что считать, что определенные вещи являются истинами в отношении к вопросу об их существовании? Таким образом, в конечном счете референционный реализм — это и есть истинностный реализм, но только под другим именем» (с. 97).

Заключение автора имеет общее значение: «Новейшие дискуссии по теории референции сделали ясным, что возможна успешная референция к какому-либо объекту посредством дескрипции или дескриптивной фразы, которая не присвоена данному объекту. Ограничимся одним примером: можем ли мы выделить какое-либо лицо из множества лиц, скажем, на вечеринке, используя фразу „тот мужчина, который пьет джин с тоником“, даже если при ближайшем рассмотрении ока-

жется, что точнее было бы описать это лицо как „та женщина, которая пьет водку со льдом“? Этот простой пример показывает, что акт (успешной) референции не может быть адекватно описан в терминах истинности или ложности описания. Референция — это дейктический акт практики, посредством которого — подручными средствами — один человек привлекает внимание другого к чему-либо (кому-либо) в их пространстве общения. Это и делает возможным толкование теоретической науки в духе реализма» (с. 97).

Заметим, что аналогичный подход осуществляется в отечественных работах, например, в книге [Петров, Переверзев 1993, § 2.5].

Проблемы реализма в текущих американских работах. Как мы уже отметили выше, эти работы в значительной степени продолжают традиции Новых реалистов начала века, и некоторые исходные формулировки почти тождественны. Но теперь появился противопоставленный термин «антиреализм». «Антиреализм, термин, введение которого приписывается М. Даммиту, означает позицию тех философов, которые считают, что члены некоторого класса утверждений (statements) — класса, составляющего предмет дискуссий, — являются истинными или ложными, если и только если существуют критерии для определения их истинностного значения (truth-value). Реализм же означает взгляд, согласно которому утверждения, относящиеся к названному дискуссионному классу, являются истинными или ложными независимо от каких-либо соображений о существовании критериев соответствующего решения» [Synthese Library 1994, 93]. Из сказанного ясен данный главный вопрос дискуссий (1).

Этим проблемам и дискуссиям посвящен ряд коллективных сборников серии «Библиотека синтеза. Исследования по эпистемологии, логике, методологии и философии науки», издаваемой Я. Хинтиккой. Отметим два сборника этой серии — [Synthese Library 1994] и [Synthese Library, 1996], первый из них посвящен философии

М. Даммита (M. Dummett), второй — философии Д. Дэвидсона (D. Davidson). Помимо указанного выше главного вопроса — о реализме и антиреализме (1), в этом контексте рассматривается целый комплекс взаимосвязанных проблем — (2), (3), (4). Так, в первом из названных сборников профилируют два вопроса: существует ли жесткая (необходимая) связь между теорией истинности и теорией значения (the meaning theory)? (2); адекватна ли для данных целей теория истины А. Тарского? (3). Хотя сам М. Даммит редко напрямую связывает себя с антиреализмом, он, тем не менее, атакует реалистическую теорию по следующим двум пунктам. Во-первых, каждое имеющее значение предложение понимается как накладывающее некоторое условие на мир, а именно как условие соответствовать или не соответствовать этому миру (быть истинным или ложным), иными словами истинность понимается здесь клас-

697

сически, как соответствие принципу двузначности, и без отношения к вопросу о критериях истинности, т. е. к вопросу о способности распознать истину; Даммит против этого. Во-вторых, важным положением концепции М. Даммита является постулирование предложений с неопределенностью решения (undecidable sentences). Значение таких предложений не может быть связано с условиями истинности, понимаемыми классически [Synthese Library 1994, 79—80]. Это положение и является краеугольным камнем современного американского антиреализма, однако при этом возникает новый вопрос (4): не следует ли принять для дискуссионного класса, при условии отсутствия аффективных критериев решения (об истинности или ложности), точку зрения п л ю р а л и з м а, т. е. допустить адекватность равно реалистической и антиреалистической точек зрения? Во втором сборнике, посвященном философии Д. Дэвидсона, подробно рассматривается вопрос (3) о понятии истинности как ключевом термине теории значения и об отношении этого понятия к контексту известной теории А. Тарского [Synthese Library 196, VIII и сл.; 45 и сл.].

В целом, обсуждение этих вопросов в современной американской философии языка, наполненное огромным количеством частных и ссылок друг на друга, выглядит, скорее, как «семейное дело» группы исследователей. Из проблем, представляющих более общий интерес, в этом контексте можно выделить, пожалуй, вопрос (5) о позиции «третьего лица», не-участника акта общения, наблюдателя,

которое может рассуждать о наличии «значения предложения». Но это — старый, «классический» семиотический вопрос (см. Часть I наст. книги, «Семиотика»).

2. «Субъект умер — да здравствует субъект!».

Новая проблемная ситуация в гуманитарных науках во Франции и в России

(вводные замечания)

Пути к Новому реализму в Европе пролегают через иную ситуацию, нежели в англосаксонских странах, и в частности, в США. И язык философии языка в Европе несколько другой.

Собственно говоря, «вводными замечаниями» к этой теме может служить уже начальный раздел предыдущей главы IV (IV, 0). Там из общего «фона» философствования о языке проступили новые понятия, новые предметы философствования — «миры», «дискурс», «факт». В значительной степени они общи у европейских и американской школ. Здесь мы остановимся на некоторых понятиях, которые более специфичны для Европы, в частности, для французской и русской школ лингво-философского анализа, и это прежде всего понятие «субъекта».

698

В 1968 году, году «молодежной революции во Франции», Ролан Барт опубликовал свой «революционный этюд» «Смерть автора» (см. в [Барт 1989]), где констатировал полный перелом в структуре так называемой «художественной литературы» и ее отношениях с действительностью. Очень скоро проблема была осознана во всей ее гуманитарной широте и получила обобщенное название «la Mort du sujet» («Смерть субъекта»). Со своей стороны, мы несколькими годами позже могли уже констатировать ее связь с прагматикой и «поиски субъекта» на новых путях (см. ниже, раздел 3).

В настоящее время «проблема субъекта» характеризует весь комплекс гуманитарных наук. Особенно отчетливо она поставлена во «французской школе анализа дискурса», от философии (Л. Альтюссер) и нового психоанализа (Ж. Лакан) до семиотики (М. Фуко) и лингвистики (М. Пэшэ, Д. Мальдиё, П. Анри, Кл. Норман, П. Серио и др.).

В европейском масштабе она прослежена в работах В. Подороги [Подорога 1995а; 1995б].

С этой проблемой связана проблема формализации, т. е. поисковые стратегии в «философской логике» («грамматика Монтегю» и др.), в «семантической теории „модельной семантики“», «теории возможных миров» и «игровой семантики» (Я. Хинтикка). Ярко заявлена эта проблема в работах В. В. Петрова с соавторами: «...Необходима не прямая формальная репрезентация всех мыслимых и немыслимых внутренних состояний, а логическая модель этих состояний и всего „внутреннего мира“ интеллектуального субъекта в целом. Такая модель явилась бы важнейшей составной частью общей логической модели прагматики, основой для адекватной компьютерной формализации...» [Петров, Переверзев 1993,12].

В «литературоведении» (теперь в новой ситуации этот термин уже чисто условен) «проблема субъекта» в новом актуальном повороте представлена в цикле работ В. П. Руднева и его докторской диссертации [Руднев 1996а], а также его книге «Морфология реальности» [Руднев 1996б].

3. Из недавней предыстории Нового реализма.

В поисках прагматики (Проблема субъекта)

Я мыслю, следовательно, я существую
(Ренэ Декарт)

Я говорю, следовательно, я существую
(Козьма Прутков [?])

1. Границы прагматики как одной из трех частей семиотики были изначально определены ее соседством в рамках этой науки с семантикой, с одной стороны, и синтактикой — с другой. Поскольку синтактика

понималась как сфера внутренних отношений между знаками» а семантика как сфера отношений между знаками и тем, что они обозначал, — внешним миром и внутренним миром человека, то на долю прагматики оставалась сфера отношений между знаками и теми, кто знаками пользуется, — говорящим, слушающим, пишущим, читающим. Вико» очертании видны следы происхождения семиотики из средневекового «тривия» гуманитарных наук. Тривий (не единственный, но, может быть, важнейший предшественник современной семиотики) состоял из грамматики, логики (называвшейся тогда диалектикой) и риторики. Части тривия по задачам, которые в их

рамках ставились (если не по их решениям), вполне соответствуют частям семиотики: грамматика — синтактике, логика — семантике, а риторика — прагматике.

Особенность этого трехчастного плана состоит в том, что каждая часть мыслится как отдельная отрасль науки, во многом независимая от других. И эта особенность давала себя знать довольно долго. Даже в работах логических позитивистов 1930—1940-х годов, например у Р. Карнапа, еще мыслится возможным «чистый, или логический, синтаксис» (т. е. синтаксис чисто формальный) [ср. Карнап 1934], в то время как семантика выделяется в особую отрасль [ср. Карнап 1950], а прагматика еще в отдельную, третью (хотя у Р. Карнапа, например, уже обнаруживается своеобразная тенденция присоединять прагматику к семантике).

Все это сказывается на понимании прагматики и в настоящее время, точнее — на одном из двух или трех ее пониманий. Мы имеем в виду ту концепцию прагматики, согласно которой прагматика занимается особыми, только ей присущими вопросами, которыми не занимается синтактика и семантика, и вопросы эти — те же, что в традиционной стилистике и в еще более старинной риторике: выбор языковых средств из наличного репертуара для наилучшего выражения своей мысли или своего чувства, выражения наиболее точного, или наиболее красивого, или наиболее соответствующего обстоятельствам, или, наконец, для наиболее удачной лжи; для наилучшего воздействия на слушающего или читающего — с целью убедить его, или взволновать и растрогать, или рассмешить, или ввести в заблуждение и т. д. и т. п. Отличие новой прагматики от стилистики и риторики будет при этом состоять лишь в средствах: прагматика должна эмпирически описать, как поступает человек, решая для себя эти задачи в своем практическом пользовании языком, и затем теоретически обобщить эти наблюдения, в частности с применением новейших логических средств — деонтической, временной, модульной и иных логик.

Концепция, которую мы собираемся здесь пунктирно очертить, иная. По мере того как все более полно обрисовывался круг прагматических вопросов в первом, указанном выше понимании, становилось ясно, что средства для их практического осуществления и теоретического осмысления, сами языковые основы их лежат за пределами прагматики (в ее

«первом» понимании) — в синтактике и семантике языка. Если, например, говорящий может успешно солгать, то языковое основание этого прагматического действия лежит именно в семантике и синтактике — в той, в частности, особенности языка, что пропозиция, составляющая основу предложения-высказывания, сама по себе не является ни «истиной», ни «ложью», стоит над тем и над другим. Основания так понимаемой прагматики заключены в более общем свойстве языка, пронизывающем все его стороны, — в его «субъективности» [ср. Бенвенист 1974, гл. XXIII]. Как и при первом понимании, прагматика при этом включает широкий круг вопросов. В обыденной речи отношение говорящего к тому, что и как он говорит, — истинность, объективность, предположительность речи, ее искренность или неискренность, ее приспособленность к социальной среде и к социальному положению слушающего, и т. д.; интерпретация речи слушателем — как истинной, объективной, искренней или, напротив, ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение; в художественной речи — отношение писателя к действительности и к тому, что и как он изображает — его принятие и непринятие, восхищение, ирония, отвращение; отношение читателя к тексту и в конечном счете к художественному произведению в целом — его истолкование как объективного, искреннего или, напротив, как вводящего в заблуждение, мистифицирующего, иронического, пародийного и т. д. и мн. др.

Очевидно, что столь широкий круг вопросов уже сам по себе, в силу своего разнообразного состава требует поисков некоторого связующего звена или центра. Главный тезис, который мы намерены доказывать, состоит в том, что связующим звеном является центр субъективности языка — категория субъекта. Категория субъекта — центральная категория современной прагматики.

Но субъект, само собой очевидно, изучается также, среди прочих сюжетов, и в синтактике (синтаксисе), и в семантике. Значит ли это, что прагматика не имеет собственного объекта? В определенном смысле, да. В прагматике выделяются для исследования «в чистом виде» те проблемы, которые в «скрытом» или «снятом» виде проходят в семантике и синтаксисе. Прагматика не имеет собственного «объекта», но имеет собственный «предмет». Но этим она не отличается от других частей семиотики. Ведь предметом современной семантики являются не «отношения знаков к объектам», а «отношения знаков к объектам, как они (отношения) преломляются через синтаксис и

прагматику». Точно так же предметом современной синтактики (синтаксиса) являются не просто «отношения между знаками» (т. е. не формальные отношения, как они представлялись в формальном синтаксисе Карнапа), а «отношения между знаками, главным образом в речевой цепи, как они предстают через семантику и прагматику». (Мы развиваем здесь, следовательно, точку зрения на соотношение частей семиотики, уже высказанную нами

ранее; см. также здесь выше, разд. 6, гл. III, особ. пункты «в» и «е».) Но вернемся к субъекту.

2. Само слово «субъект» имеет, как известно, два основных значения: во-первых, «познающий и действующий человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания и преобразования»; во-вторых, «подлежащее, субъект предложения». В семиологии литературы и искусства мы имеем дело прежде всего с первым: сам писатель — субъект творчества именно в этом смысле слова; в семиологии языка — прежде всего со вторым: конкретный лингвистический анализ — это прежде всего анализ субъектно-предикатного строения высказывания. Пропасть между первым и вторым кажется огромной и трудно заполнимой. И однако, проблема субъекта в современной прагматике характеризуется как раз преодолением этого разрыва. Ниже мы в общих чертах попытаемся показать, как к точке соединения двух понятий субъекта семиологи шли двумя путями — от художественной литературы, с одной стороны, и от лингвистического анализа высказывания — с другой. Мы попытаемся также, хотя бы самыми общими штрихами, обрисовать обстановку этих поисков — духовную атмосферу эпохи.

Говоря, что движение началось от художественной литературы, а не от «анализа художественной литературы», мы не допустили оговорки. Напротив, мы хотели еще раз подчеркнуть наш постоянный тезис: в семиологии искусства новое течение начинается не с новой теории и даже не с нового анализа старых фактов, а с появления нового в самом искусстве. Новое искусство предшествует новой семиологии. Новое искусство рождает своих семиологов.

Современные лингвисты справедливо утверждают (как, например, В. З. Демьянков [Демьянков 1981, 371]), что одна из основных линий прагматической интерпретации высказывания — это «расслоение» «Я» говорящего: на «Я» как подлежащее

предложения, «Я» как субъект речи, наконец, на «Я» как внутреннее «Эго», которое контролирует самого субъекта. И параллельно этому расслаивается сама прагматика: на элементарную часть — «локацию» «Я» в пространстве и времени; на более сложную часть — «локацию» «Я» (уже «Я» усложненного как субъекта речи) в отношении к акту говорения; наконец, на «локацию» высших порядков (которые уже и не должны называться просто локацией) — отношение говорящего «Я» к его внутреннему «Эго», которое знает цели говорящего и его намерения лгать или говорить правду, и т. д. Но где истоки этой идеи? Они в искусстве.

Европейский роман Нового времени последовательно двигался к расслоению авторского «Я» — на героя, на рассказчика о герое, на автора — повествователя о рассказчике и иногда еще далее. На стадии знаменитого романа Марселя Пруста это движение достигло, пожалуй, кульминации — роман Пруста стал повествованием только об одном,

702

внутреннем «Я» автора, которое даже не всегда сливается с тем «Я», которое воплощено в его теле. «Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне? Когда я видел какой-либо внешний предмет, то сознание, что я его вижу, как бы вставало между мной и им, окружало его тонкой духовной оболочкой, навсегда лишавшей меня возможности прямо прикоснуться к его материи; эта материя как бы тотчас испарялась, прежде чем я вступал с ней в контакт, подобно тому, как раскаленное тело, которое приближают к влажной поверхности, никогда не может коснуться самой влаги, потому что между ними все время пролегает зона испарения» [Proust 1954, 84].

Как мы уже отметили, расслоение «локаций», в частности во времени, протекает параллельно расслоению «Я», и не случайно роман Пруста «В поисках утраченного времени» — это и повествование о различных и вместе с тем сосуществующих пластах времени — настоящего, настоящего мгновением раньше, настоящего чуть более отдаленного, прошедшего близкого, прошедшего отдаленного, наконец — прошедшего утраченного навсегда. Но как только мы вступили в область «расслаивающегося времени», сразу можно предположить параллели этой идеи времени у Томаса Манна («Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья»), во многих рассказах Ф.

Кафки — и эти параллели, действительно, указаны [см. Кафка 1963, 261; Ауэрбах 1976, 536].

Вернемся, однако, к «различным Я». Здесь Пруст в своем художественном анализе проделал то же, что в то же время в своей философской системе произвел Э. Гуссерль под названием процедуры «редукции», или «эпохэ». В «Руководящих идеях к чистой феноменологии» (1913) и в «Картезианских размышлениях» (1931) Гуссерль утверждает, что даже в непосредственных аксиомах познания, таких, как «Я мыслю, следовательно, я существую» Декарта, в действительности имеется по крайней мере два субъекта, два «Я». Одно — то, которое мыслит, или, как у Пруста, воспринимает мир, — «эмпирическое», «конкретное» «Я». Другое — то, которое как бы заставляет сказать «Я мыслю» или «Я воспринимаю мир». Первое, эмпирическое «Я» само принадлежит миру и, по Гуссерлю, должно быть устранено из теоретического рассуждения. Тогда и произойдет «феноменологическая редукция», совершится «эпоха», а оставшееся, «второе» «Я» послужит надежной основой философского анализа. В последнее время Гуссерль все чаще упоминается как один из основателей современной семиотики, но главным образом как автор идеи «прозрачности знака». Следовало бы вспомнить о нем прежде всего именно в связи с идеей «редукции».

Движущий прагматику в этом же направлении, но более мощный и политически активный стимул исходил от театра Брехта. «В первые полтора десятилетия после первой мировой войны, — писал Брехт, — в некоторых немецких театрах была испытана относительно новая систе-

703

ма актерской игры, которая получила название *эпической* вследствие того, что носила отчетливо реферирующий, повествовательный характер и к тому же использовала комментирующие хоры и экран. Посредством не совсем простой техники актер создавал дистанцию между собой и изображаемым им персонажем и каждый отдельный эпизод играл так, что он должен был стать объектом критики со стороны зрителей... Эпический театр дает возможность представить общественные процессы в их причинно-следственной связи» [Брехт 1965а, 318]. Не случайно именно в теоретических работах Брехта появляются вполне семиологические термины, аналогичные терминам «означающее» — «означающее», применительно к актеру и его персонажу: «изображающий» — «изображаемый». Один из основных тезисов Брехта в

противоположность классическому театру Станиславского гласил: «Не должно возникать иллюзии, будто бы изображающие тождественны изображаемому» [там же, 327]; «Наряду с данным поведением действующего лица нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможными выбор и, следовательно, критику» [Брехт 1965б, 133].

Очень скоро вслед за тем с соответствующей иллюзией о «тождественности» означаемого и означающего и о «естественности» их связи было покончено и в лингвистической семиологии. Впрочем, еще довольно долго удерживалась другая — теоретическая — иллюзия, будто с этими заблуждениями о тождестве и естественности было покончено еще в системе Соссюра. Действительно, Соссюр утверждал произвольный характер связи между означающим и означаемым в знаке и еще более определенно — между знаком и обозначаемым им предметом. Но забывали, что одновременно с этим Соссюр утверждал безусловную обязательность языкового знака для каждого отдельного говорящего и слушающего, необходимость для них беспрекословного принятия данной, а не иной связи означаемого и означающего. Вот с этим и покончил Брехт, сначала применительно к отношению «изображаемого» и «изображающего» в театре, а вслед за тем то же проделали семиологи относительно языкового знака.

Представление о несвободе говорящего «перед лицом знака», сущности которого — означаемое, означающее, предмет — связаны как бы беспрекословным социальным законом, сменилось представлением об известной свободе говорящего, в силах которого — в известных пределах — изменять эти связи. Отсюда до изменения социальных ценностей оставался только один шаг. Нечто подобное уже имело место в истории: во времена «Великой французской» — идеи революции были подготовлены революцией идей.

Брехт, отвергая «естественность» связи между изображаемым и изображающим, также преследовал глубокие социальные цели. Этим Разрывом на сцене одновременно отвергалась «естественность», «единственность» поведения изображаемого персонажа и изображаемой жиз-

ни, показывалась возможность его иного поведения и в конечном счете возможность переустройства самой жизни. Возможность, которую не преминули уловить позднейшие, в особенности французские, семиологи.

Театр Брехта оказал непосредственное влияние на формирование семиологии Ролана Барта. Сам Барт уже в 1956 г. писал: «Следует признать, что драматургия Брехта, его теория эпического театра, теория „очуждения“³⁵ и вся практика театра „Берлинер Ансамбль“ в отношении декорации и костюмов ставят явно семиологическую проблему. Ибо постулат всей театральной деятельности Брехта, по крайней мере на сегодняшний день, гласит: драматическое искусство должно не столько выражать реальность, сколько означивать ее (signifier). Отсюда необходимо, чтобы была известная дистанция между означаемым и означающим: революционное искусство должно принять известную произвольность знаков... Брехтовская мысль... враждебна эстетике, основанной на „естественном“ выражении реальности» [Barthes 1964a, 87—88].

Один из ранних семиологических очерков Барта, признаваемый современными прагматиками образцовым по точности и афористичности (он занимает всего три страницы), был посвящен брехтовской инсценировке повести А. М. Горького «Мать» [Barthes 1964b, 143]. Известно, что одной из идей горьковского романа была идея пробуждения масс под влиянием революционной агитации. Эту идею в своеобразной форме и развил Брехт в своем спектакле. У Брехта — и в этом состояло новаторство его постановки — оказывалось, что если в традиционном смысле слова «мать» — это существо, которое породило «сына», то в революционном смысле мать пробуждена к сознательной жизни своим сыном-революционером: «мать» — то существо, которое, материально произведя «сына», в духовном смысле произведено им самим. Само значение слова «мать» оказывалось при этом, очевидно, необычным, в известной мере обратным общепринятому.

³⁵ Брехтовский термин — *Verfremdung*, «очуждение» (отличный от термина политэкономии *Entfremdung*, «отчуждение»); в известной мере он сопоставим с термином русской формальной школы «остраннение»; в англоязычной литературе утвердился перевод *alienation*, *alienation effect* или *A-effect*.

Таким образом, в основу прагматики 1950-х годов был положен тезис об отсутствии «естественной» связи между «означаемым» и «означающим» как двумя сторонами знака — материальной и психической, а также об отсутствии такой связи между знаком в целом (состоящим из «означаемого» и «означающего») и предметом. Более того, этот тезис был дополнен положением об отсутствии сколько-нибудь «беспрекословной» социальной связи между тремя сущностями. Этим положениям суждено было сыграть значительную, в основном положительную, но кое в чем и отрицательную роль в дальнейшем развитии прагматики, а также семиологии в целом.

705

В зависимости от того, какой, так сказать, «щели» придавалось решающее значение — «щели» между означающим и означаемым или «щели» между знаком и предметом, семиологические анализы в последующие годы направлялись по двум линиям. В первом случае акцент переносился на анализ психических ассоциаций между означаемым и означающим и на их перестройку в индивидуальном творчестве. Таким был, например, знаменитый этюд Барта «S/Z» (1970 г.) о новелле Бальзака «Сарразин».

Семиологические исследования по этой линии привели к соединению семиологии с психоанализом Ж. Лакана, причем точкой соединения явилась как раз проблема субъекта. Но здесь мы не будем дальше следовать за перипетиями собственной семиологии Ролана Барта. Упомянем лишь — деталь немаловажная для нашей темы, — что это привело Барта, как и многих семиологов, к необходимости разработки лингвистики текста [Барт 1978]. Важно, что результатом всего этого развития стал следующий тезис: каждый акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая значение (семантику); значение и субъект одновременно производятся в динамике текста, в «дискурсе» [ср. Coward, Ellis 1977, 6, 105]. Этот тезис снова возвращает нас к лингвистике.

3. Уже Брехт указал некоторые чисто языковые средства, которые способствуют эффекту «очуждения» в его театре. При методе игры с неполным перевоплощением способствовать «очуждению» высказываний и поступков представляемого персонажа могут такие вспомогательные средства, как 1) перевод в третье лицо; 2) перевод в прошедшее время; 3) чтение роли вместе с ремарками и комментариями; 4) фразы с «не — а». «Простейшие фразы, в которых употребляется „эффект очуждения“, это фразы с „не — а“ (он сказал не „войдите“, а „проходите дальше“; он не радовался, а сердился),

то есть существовало некое ожидание, подсказанное опытом, однако наступило разочарование. Следовало думать, что... но, оказывается, этого не следовало думать» и т. д. [6].

По-видимому, неслучайным обстоятельством оказалось то, что современные семантики установили особую роль предиката отрицания и его разновидности «не — а», о которой говорил Брехт: «противопоставительный контекст способен оказывать разрушительное воздействие на многие закономерности, действующие в нейтральных условиях. Это в максимальной степени относится и к частице не, которая в контексте противопоставления ведет себя во многих отношениях иначе, чем в нейтральном контексте» [Богуславский 1979, 10; Богуславский 1996].

Приведенный пример весьма типичен. Во многих случаях *семантические свойства языковых единиц, помещенных в достаточно длинный и динамически развертывающийся контекст (дискурс), оказываются существенно иными, нежели семантические свойства тех же единиц,*

706

рассматриваемых в изолированном виде или в коротком контексте. Прежде всего речь идет, конечно, об основной единице — высказывании-предложении. Мы ограничимся лишь кратким указанием некоторых таких свойств.

1. Изменение «эмпатии» говорящего невозможно в границах одного предложения, оно ведет к перифразе того, что уже было сказано ранее, и знаменует как бы начало нового абзаца. Ср. *Иван продал машину Петру. Так вот, Петр купил машину у Ивана...* (эмпатия переходит от Ивана к Петру). Описаны уже семантические и даже «идеологические» функции таких перифраз [см., например, Kress, Hodge 1979, ch. 2,3].

2. Обобщение подобных наблюдений на достаточно длинные тексты привело к выработке понятия «фокуса связного текста». «Фокус» существенно отличен от «ремы» или «логического предиката» — понятий, применимых лишь в масштабе одного предложения. «Фокус» — это не только результат выбора референтов, а одно из значений, соотношенное с другими, в шкале возможных выборов, суть фокуса в его перемене. Эта функция может быть выражена грамматическим временем (ср. выше замечание Брехта о замене настоящего времени на прошедшее), некоторыми наречиями, специальными предикатами и т. д. «Фокус» соответствует фоновым суждениям такого типа, как «Это происходит в прошлом», «Это происходит внезапно», «Это происходит

во сне», «Это происходит, когда мои родители ушли» и т. д. [Ван Дейк 1978, 327]. На основе такого «семантического фокуса» связного текста выделяется далее несколько отличный от него «прагматический фокус», например переход от повествования к просьбе или приказанию.

3. В связном тексте могут существенно сдвигаться функции субъекта и предиката любого предложения. Если считать, что в типичном предложении субъект служит знаковым заместителем предмета действительности, а предикат не имеет референции к предмету и соотносит субъект со сферой понятий, то в предложении, включенном в дискурс, субъект может приобретать анафорические функции, отсылая к уже высказанному ранее. Ср. *Дверь открылась, и вошел какой-то человек. Вошедший оказался Иваном Ивановичем.*

4. В связном дискурсе может нейтрализоваться, стираться различие между констатирующим (ассертивным) и перформативным высказыванием. Если — применительно к изолированному предложению — считать, что типичные перформативы — это высказывания типа *Я клянусь* (лицо «Я» производит этим акт клятвы), а типичные констативы — это предложения типа *В Арктике живут белые медведи*, то различие между ними может утрачиваться в дискурсе. Констатив может выступать в роли «чистой пропозиции», а окружающий контекст выполнять функции утверждения этой пропозиции, т. е. функции, близкие к перформативу. Например, *Верно, что — В Арктике живут белые медведи.* Обобщение таких наблюдений привело к интересной попытке Дж. Росса

707

трактовать всякое предложение дискурса как содержащее имплицитный субъект «Я», т. е. *Я говорю, что* — вслед за чем следует высказывание. Попытка эта была встречена критически, но, по-видимому, непонимание было вызвано подходом критиков с иных позиций — с позиций изолированного предложения, а не с позиций прагматики и дискурса.

Здесь мы упоминаем об этом как об эпизоде истории вопрос, по существу же проблема, поднятая Дж. Россом, подробно рассмотрим в гл. I, 6 (Пример б).

5. Предложения с субъектом «Я» являются основным фокусом имплицитным или эксплицитным — дискурса и соответственно прагматики. Эти предложения существенно отличаются от предложений с субъектом «не-Я»: «Я»-субъекты не

устанавливают референцию к внешнему миру — «Я» одновременно и предмет внешнего мира, и субъект мышления, т. е. субъект понятийной сферы; далее, «Я»-субъекты не требуют индивидуности и индивидуализации: «Я» всегда — индивид в высшей степени; и, наконец, они не требуют пресуппозиции существования — существование говорящего утверждается самим актом его говорения.

Это положение соотносит проблемы прагматики и философии. Так, справедливо подчеркивая до сих пор не до конца решенные вопросы, связанные с логическим анализом декартовского афоризма «Я мыслю, следовательно, я существую», Ф. Реканати вводит понятие «прагматического парадокса». В отличие от известных «логических парадоксов» и «семантических парадоксов», под «прагматическими парадоксами» Реканати предлагает понимать противоречие, возникающее в самом акте говорения или мышления, если содержанием акта является отрицательное высказывание «Я не мыслю», «Я не говорю», но ведь одновременно это мыслится, говорится [Récanti 1979, 205].

Таким образом, дискурс имеет по крайней мере одно твердое логическое основание, одну незыблемую, главную пресуппозицию (major presupposition): существование «Эго» говорящего субъекта предопределено самим актом говорения. Все другие субъекты, в том числе и все другие «Я» говорящего (например, сам он в прошлом), требуют иных пресуппозиций.

Отсюда, между прочим, проистекают такие прагматические парадоксы, как: *Я ошибочно считал, что...* (в прошлом) — правильно; но **Я ошибочно считаю, что...* (в настоящем) — неправильно. Однако весьма затруднительно сказать, что здесь логически неправильного. Неправильность именно прагматическая.

Вот в таком примерно виде прагматика и выходит на первый план современной лингвистики. Думается, однако, что при этом происходит еще и нечто не вполне хорошее, может быть, даже несколько скандальное. Вернемся к эпиграфу.

708

Для Декарта «сogito» — «Я мыслю, следовательно, я существую» означало утверждение человека как мыслящего, через его мысль. И это послужило началом новой философии — весьма серьезной вещи. В отличие от этого новым принципом становится «loquor» — «Я говорю следовательно, я существую».

Итак, можно сказать, что содержание прагматики как семиологической дисциплины, по-видимому, начинает определяться. Если в старом смысле термина прагматика — учение об отношении знаков (и прежде всего слов) к пользователю языка, то современная прагматика — нечто иное. Прагматику теперь можно определить как дисциплину, предметом которой является связный и достаточно длинный текст в его динамике — *дискурс*, соотнесенный с главным субъектом, с «Эго» всего текста, с творящим текст человеком. Человек — автор событий. По крайней мере, событий, заключающихся в говорении.

4. Предчувствия Нового реализма.

Об одной платоновской идее в современной лингвистике

Ничто так не пугает буржуа (в том числе буржуа-лингвиста), как приключения здравого смысла в сфере идей. Между тем даже В. И. Ленин в своем конспекте гегелевских «Лекций по истории философии» отмечал: «Тидеман сказал, что Горгий зашел дальше, чем „здоровый (здравый) смысл“ человека. И Гегель смеется: всякая философия идет дальше „здорового смысла“, ибо здравый смысл не есть философия. До Коперника было против здравого смысла говорить, что земля вертится»³⁶.

Идея, которая способна (кое-кого) испугать, которая выходит на первый план в современной лингвистике и которую мы собираемся здесь кратко обсудить, такова: *носитель языка в принципе не может знать значений слов своего языка.*

Разумеется, что понимание этого афоризма зависит от понимания (далеко не бытового) слов «значение» и «знать», о чем дальше и пойдет речь. Но прежде подтвердим документально, что эта идея действительно существует. «Если какой-либо естественный язык, например английский, состоит отчасти из синтаксиса и семантики, то, согласно теории синтаксиса и семантики Монтегю, английский язык таков, что никакой природный носитель английского языка не может знать анг-

лийского языка»³⁷. (Кое-кто скажет, что это может произойти с английским языком, но ни в коем случае не с русским. Но мы обсуждаем здесь проблему в общей форме.)

Отдаленное предчувствие этой идеи заключалось уже в открытии относительности значения — в понятии «значимость» (*valeur*), введенном Ф. де Соссюром. Если «значение» (в современной терминологии «денотативное значение», «денотат», «экстенционал») — это указание на предмет или класс предметов, то «значимость» — это не прямое указание на предмет или класс, а относительное значение, зависящее от распределения значений между группой наличных в языке слов. Например, «зеленый цвет; цвет травы, листвы» — это значение русского слова *зеленый*, а «часть спектра, ограниченная частями, закрепленными за словами *желтый* и *голубой*», — это значимость слова *зеленый*. Уже при внимательном анализе понятия «значимость» можно было предвидеть, что с увеличением группы слов, определяющих значимость того или иного отдельного слова, говорящий может оказаться не в состоянии знать всю группу и, следовательно, он не будет знать значимости и данного отдельного слова.

Дальнейшее развитие этого понятия в лингвистике и в логике пошло как раз по пути расширения групп (множеств, ансамблей), определяющих понятие значимости и каждую отдельную значимость. Логически определенное понятие значимости стало называться «интенционалом».

В своей классической работе «Виды (или: модусы) значения» 1943 г. Кларенс Ирвинг Льюис так определял это понятие: «Интенционал (или коннотация) термина устанавливается путем правильного определения. Если все, что может быть правильно поименовано посредством *T* только при условии, что оно может быть правильно поименовано посредством A_1, A_2, \dots и т. д. до A_n , и если произвольный предмет, называемый с помощью составного термина A_1, A_2, \dots и т. д. до A_n , может быть также назван посредством *T*, тогда этот составной термин или любой ему синонимичный задает интенционал для *T*, и об этом термине можно сказать, что он обладает тем же денотатом, что и *T*»³⁸.

Естественно, что уже так понимаемый интенционал носитель языка может вовсе не знать, а между тем интенционал — сама реальность языка. Очевидно, что за этим пониманием сравнительно частного, хотя и важного явления — интенционала — стоит более общая идея: язык понимается как внесубъективная система, существующая в междусубъективном общении людей.

³⁸ Lewis C. I. The modes of meaning. — Philosophy and Phenomenological Research, 1943, vol. 4, p. 239; имеется рус. пер. в указ. изд.: Семиотика, М., 1983; см. с. 213.

³⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 244—245.

³⁷ Hall Partee V. Montague grammar, mental representations, and reality. — In: Contemporary perspectives in the philosophy of language / Ed. P. A. French, Th. E. Uehling, jun., H. K. Wettstein. Minneapolis, 1979, p. 196; имеется рус. пер. в изд.: Семиотика. Составл., вводная статья и ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983; см. 286.

Параллельно этому в лингвистике и логике развивалась другая идея, в известной мере противоположная первой, — значение предлагалось понимать как психическое состояние носителя языка, говорящего,

одним словом, индивида, субъекта. Некоторые факты языка располагали именно к такому пониманию значения (первое понимание было связано в основном с анализом лексики и пропозиций), среди них особое место заняли так называемые «пропозициональные установки», накладывающиеся на пропозиции. Понятие „пропозиционных установок” (propositional attitudes) было введено Б. Расселом, который объяснял его так: «Мы переходим затем к анализу «пропозициональных установок», т. е. веры, желания, сомнения и т. п. в том, что имеется такое-то и такое-то положение дел (соответственно, чтобы оно имело место). И для логики, и для теории познания анализ таких случаев очень важен, в особенности если идет речь о вере, или мнении (belief). Мы обнаруживаем, что вера в данную пропозицию не влечет употребления слов, а требует лишь, чтобы носитель этой веры находился в одном из возможных состояний, определенных главным образом, если не целиком, причинными отношениями. Когда появляются слова, то они „выражают” веру, а если они истинны, то они „указывают” на факт, сам по себе отличный от веры [в него]»³⁹.

Существование двух подходов к значению, равно опирающихся на факты языка — но на разные факты, — не могло не привести к парадоксам в теории значения (в семантике). Эти парадоксы можно пояснить на таком примере.

Семантика вообще определяется как отношение знаков языка к предметам. Как в таком случае определить семантику выражения, указывающего на веру, например, в высказывании *Джон считает, что идет дождь* семантику выражения *Джон считает, что...?* Очевидно, что в соответствии с общим определением семантики слово «считает» тоже выражает отношение к предмету, но этим предметом является состояния сознания Джона. Оно может быть объективно, т. е. семантически, определено только наблюдателем извне. Кто может быть этим наблюдателем? Разумеется, не сам Джон. Им может быть Мэри, «соседка», «врач» — словом, кто-нибудь, кто не является Джоном в этом контексте. Но таким образом получается — при определении значения слов типа «считает», — что всегда имеется один класс носителей языка, которые не знают

³⁹ Russell B. An inquiry into meaning and truth: The William James lectures for 1940. Delivered at Harvard University by Bertrand Russell. L.: Unwin Paperbacks, 1980, p. 21.

значения этих слов, — это тот именно класс, который обозначен именем субъекта при «считает». Действительно, положение довольно странное.

Тем не менее на определенном этапе развития теоретической семантики оно было взято за основу при определении значения терминов «вера, мнение» в общем случае. Стали считать необходимым рассмотрение данного языка в рамках более широкой языковой системы (метаязыка), у которой имеется свой носитель языка; семантикой терминов

«вера, мнение» в таком случае будет отношение «интеллекта — носителя метаязыка» к любому высказыванию языка-объекта. Такой подход получил название теоретической прагматики со времени работы Р. Карнапа⁴⁰. И соответствующее определение прагматики можно найти еще в сравнительно недавних работах, например в «Философской энциклопедии». Там прагматика определяется как «раздел семиотики, изучающий отношение использующего языковую систему к самой знаковой системе»⁴¹ — т. е. так, как если бы в «самой знаковой системе» (в языке объекте) не было бы никаких средств выразить и фиксировать «отношение говорящего». Но эти средства есть, и, поскольку они обнаруживаются, приведенное определение прагматики, призванное дополнить определение семантики, теряет силу.

Новый — на сегодняшний день, по-видимому, последний — этап в развитии этой проблематики характеризуется стремлением совместить прежние семантические и прежние прагматические подходы в одной системе. Этот этап может быть назван «семантикой модальных и интенциональных логик» — и так в действительности называется одна из последних публикаций на эту тему⁴². Говоря суммарно, этот этап характеризуется тем, что все знаки и выражения языка получают точно определенные интенционалы, которые, в свою очередь, определяются с помощью понятий «индексов, или точек соотнесения (точек референции)», указывающих на возможные моменты времени, места и говорящего «я» в произнесении высказываний. Но зато это единство достигается ценой того, что никакой носитель языка (а не только Джон, считающий, что идет дождь, но не знающий, что он «считает») не может знать интенционалов своего языка.

⁴⁰ Carnap R. On some concepts of pragmatics, — Philosophical Studies, 1955, vol. 6, p. 89—91.

⁴¹ ФЭ, 1967, т. 4, с. 338.

⁴² Семантика модальных и интенциональных логик: Пер. с англ. М., 1981.

После этого будет вполне понятным утверждение Б. Холл Парти, которым она заканчивает свою статью об интенциональной логике Монтегю: «Итак, мы пришли к выводу, что интенционалы лексических единиц — это не мысленные сущности и они не фиксируются свойствами психики носителей языка. Для философа, работающего в русле логической традиции, такого, как Монтегю или Томасон, подобный вывод ни в коей мере не является проблематичным. Ведь в этой традиции семантика всегда рассматривалась как дисциплина об отношениях между выражениями языка и внеязыковыми объектами, о которых говорят эти выражения, а не как дисциплина об отношениях между выражениями языка и действующими в сознании правилами и представлениями, выражающими языковую компетенцию носителей языка. ... Интенционалы сами по себе, как функции от возможных миров к объектам различ-

712

ного вида, являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам...»⁴³.

Это и есть платоновская идея. И указание на аналогию между интенционалом и числом позволяет установить ее точную параллель в современной математике. По этому поводу Х. Б. Карри пишет: «Представители одной из них (линий. — Ю. С.), известной под именем *платонизма*, утверждают, по сути дела, что понятия числа и множества существуют в действительности (независимо от нашего знания о них) и что классическая математика, хотя и нуждается в более серьезном обосновании, в действительности не является ненадежной. ... Вероятно, платонизм — это тот взгляд, которого более или менее подсознательно придерживается большинство математиков, не занимающихся специально вопросами обоснования»⁴⁴.

Тех, кого эта платоновская идея в лингвистике слишком пугает, можно утешить словами Барбары Холл Парти: «...интенционалы сами по себе... являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам, но то, чем определяется, что некоторый интенционал является именно интенционалом какой-то лексической единицы в каком-то естественном языке, — это должно зависеть от явлений и фактов, связанных с данным естественным языком, и, следовательно, должно зависеть от свойств людей — носителей этого языка»⁴⁵.

⁴³ Hall Partee В. Op. cit., p. 202; в рус. пер. с. 296.

⁴⁴ Карри Х. Основания математической логики. Пер. с англ. М., 1969, с. 27—28.

⁴⁵ Hall Partee В. Op. cit., p. 202, в рус. пер. с. 296.

5. Новый реализм в современной России («Три источника и три составные части»)

В в о д н ы е з а м е ч а н и я.

Цель этого раздела — ментально оформить новое течение философии языка в России и поименовать его. В ментальном мире, и в особенности в мире российского реализма, придание формы, именование — это и важнейшие этапы выявления сущности.

Отсюда проистекает первая особенность самого текста: при его посредстве группируются не люди (многие из которых, может быть, вовсе и не хотели бы соединиться между собой под наименованием «Новый реализм»), не люди — носители идей, а *идеи*. То есть идет речь об «оформлении» ментальном, а не «организационном». Группировка носителей идей давала бы в результате внешнюю историю философии, — и хороший опыт такого рода, в действительности, имеется: книга Вас. Ванчугова «Очерк истории философии „самобытно-русской“». Данная же глава имеет своим предметом внутренние, ментальные отношения. По-

713

что все особенности этого очерка — это одновременно и отличительные черты Нового реализма, как он складывается в России наших дней. (Прямо к только что отмеченной черте применимы слова Александре Блока об истории символизма: «Прежде чем приступить к описанию тезы и антитезы русского символизма, я должен сделать еще одну оговорку: дело идет, разумеется, не об истории символизма; нельзя установить точной хронологии там, где говорится о событиях, происходивших и происходящих в действительно реальных мирах» [Блок. Собр. Соч. в 8-ми тт. М.—Л., т. 6, 1962, с. 426]; «действительно реальные миры» здесь у Блока — это ментальные миры.

С самого начала необходимо сказать о различении понятий «источник» и «составная часть». Разграничению их служит время: то, что в дальнем от нас конце традиции является для нас «источником», то в противоположном, ближайшем к нам конце взятого временного отрезка — уже «составная часть». Конечно, при таком недискретном, дискурсивном характере понятий и граница между ними относительна и даже может зависеть от личной точки зрения того или иного ныне действующего исследователя. (Так, например, обстоит дело со столь важным источником, как Имяславие: даже в среде единомышленников одни считают его в настоящее время

«составной частью» своего философского мировоззрения, другие — и автор настоящего очерка также — лишь одним из «источников», хотя и очень близким к нам.) Дальнейший план этого раздела таков:

Три источника и три части: I. Философия языка как источник и определенное течение в современной философии языка, а именно семиотическая философия языка, как составная часть; II. Патристика Восточной христианской церкви как источник и определенное течение в ее современном понимании и изучении, а именно неопатристический синтез, как составная часть; III. Искусство и теория искусства, рассматриваемые совместно, в отношении «творец — истолкователь (критик, теоретик, историк искусства)», как источник, и определенное современное течение в этой сфере культуры, как составная часть. Ни сам этот (III), связанный с искусством подход, ни его современная часть до настоящего времени не имеют не только самоназвания, но и вообще какого бы то ни было специального названия, хотя бы данного «извне», но имеют блестящих представителей — от Леонардо да Винчи до русских символистов и до «философов иконы». Следует обратить внимание на особые логические отношения между названными тремя частями как отношения «семейного (или: фамильного) сходства», а также на некоторые другие черты Нового российского реализма — стиль философствования; мораль, и др.

714

У данного (нашего) текста есть и еще одна особенность, именно как «текста», — его словарный стиль. Прежде всего, неизбежная краткость: можно представить себе, что это ограниченная объемом статья некоего (возможно, лишь воображаемого) словаря философии. Под названиями «трех основных составных частей» описывается не полное их содержание, а лишь те их компоненты, которые в первую очередь служат соединению с другими частями. Также и эта особенность, казалось бы, чисто стилиевая, находит соответствие в самом содержании Нового реализма, тесно связанного с языком и проблемами языка. (Да, собственно говоря, и «стиль» вовсе не есть только явление формы: «стиль — отнюдь не только „почерк“, то есть нечто не касающееся других пишущих», — говорил Б. Брехт). Остановимся на этой особенности несколько подробнее.

Когда мы сопоставляем теорию с теорией таким именно образом, то аналогом их соотношения оказывается отношение значений слов в семантике естественного языка,

известное под названием соотношения «значений» и «значимостей». Если «значение» (в современной терминологии чаще «денотативное значение», «денотат», «экстенционал») — это указание на предмет или класс предметов, к которым относится данное слово при его правильном употреблении, то «значимость» (под названием «*valeur*» это понятие было введено еще Ф. де Соссюром) — это не прямое указание на предмет или класс, а относительное значение, зависящее от распределения всего поля значений (универсума) между группой наличных в языке слов, покрывающих данное поле. Например, «значением» русского слова *зеленый* является следующее: «зеленый цвет; цвет травы, листья». «Значимостью» же этого слова будет нечто иное: «часть спектра, ограниченная частями, закрепленными между словами *желтый* и *голубой* (см. подробнее выше раздел 4 — «Об одной платоновской идее в современной лингвистике»). Можно сказать, что при избранном нами способе сопоставления теорий сопоставляются их «значимости», а не их «значения».

То же соотношение можно выразить иначе, опять-таки используя систему языка, — как соотношение «интегральных» и «дифференциальных» признаков сопоставляемых объектов. Если говорить о «значении», то в приведенном примере понятие «цвет травы, листья» будет «интегральным» признаком семантики слова *зеленый*, его собственным, «внутренним» содержанием (которое, в свою очередь, может, конечно, представляться через дальнейшее разложение в виде совокупности признаков, — т. е. точнее нужно говорить здесь об интегральных признаках [во множественном числе]). Напротив, те признаки, которые противопоставляют зеленый цвет с одной стороны желтому, с другой голубому, будут «дифференциальными признаками» *зеленого*, составляющими его «значимость». Другим примером могут служить фонемы и звуки речи. Фонема описывается как совокупность «дифференциаль-

715

ных признаков», противопоставляющих ее всем другим фонемам в рамках данной системы — данного языка (т. е. универсума); это описание чисто структурное и относительное, синтезировать его акустически, в виде какого-либо отдельного звука в принципе невозможно. Что касается звука речи, то он описывается прежде всего в его «интегральных признаках», по его «собственному», «внутреннему» содержанию, и он может быть синтезирован на акустической аппаратуре или же просто «исполнен» человеком именно как звук речи.

Ниже теории, на которых базируется Новый реализм, его «источники», сопоставляются и противопоставляются другим теориям прежде всего по их «дифференциальным» признакам, т. е. как целое, как «блоки», и задачей является прежде всего сопоставить и соотнести их именно как блоки, по возможности не вдаваясь в их собственное, «внутреннее» содержание.

Но, конечно, для полноты описания такого сопоставления недостаточно. Ведь и сами теории — «источники» выбраны здесь по их «сродству», как части некоего более общего целого, по отношению к которому они являются лишь именно частями, или, можно сказать, «членами семьи». При таком взгляде между ними вскрываются еще и иные логические отношения, «отношения фамильного родства», которые и будут затронуты в последней части настоящего очерка.

А. Три источника и три составные части.

I. Философия языка как источник и семиотическая философия языка как составная часть.

С самого начала необходимо еще раз подчеркнуть, что «философия языка» как мы ее понимаем и как она выступает в качестве предмета настоящей книги — это условное название для философии просто — для определенного течения в философии, определяющей чертой которого являются наблюдения над языком, точнее — постоянное соотнесение философствования с данными языка. Новый реализм, по крайней мере в России, — это другое название того же самого философского течения.

Философская линия, внутри которой формируется Новый реализм, исторически может быть, по определению, охарактеризована как «реализм» и отчасти «концептуализм» в их широком философском понимании. Собственно говоря, концептуализм в каждом конкретном его проявлении «распределяется» между реализмом и номинализмом. Так, концептуализм Аристотеля есть в нашем понимании реализм, а концептуализм Локка примыкает к номинализму. Более узко и конкретно, так понятый реализм есть «философия сущности», «философия имени» — эти два наименования синонимичны. Эту линию можно описать по-разному, отталкиваясь от различных авторских описаний. В частно-

сти, мы могли бы использовать и свое собственное (см. в Части II настоящей книги гл. I — о «Философии имени»). Однако в данном случае уместнее, и этически и практически, вначале опереться на работы А. Ф. Лосева — философа, который сам является великой фигурой этой философии в XX веке.

Поскольку речь идет о ее ключевых понятиях — о «Сущности» и о «Вещи», восходящих к Аристотелю, процитируем из книги «Аристотель» [Лосев, Тахо-Годи 1982] (далее указываем страницы по этому изданию), где соответствующие определения уже выражены в точной тезисной форме.

«1. Если вещи действительно существуют, то необходимым образом существуют и идеи вещей, так что без идеи вещь не существует или сама вещь остается непознаваемой» (с. 204). В этом пункте Аристотель полностью следует Платону, «идея» вещи здесь — «эйдос»;

«2. Аристотель решительно критикует принципиальный отрыв идеи вещи от самой вещи»; «Этот тезис о пребывании идеи вещи внутри самой же вещи есть то основное и принципиальное, в чем заключается аристотелизм в его отличии от платонизма» (с. 206 и 209).

Это место в названной книге недостаточно развито, нужно еще добавить, что, по Аристотелю, в некотором смысле «синонимичны», «эквивалентны» термины (и понятия) «форма» как «эйдос» (εἶδος), форма как «определенность вещи», ее «чтойность», «то, чем она является» (τό τί ἦν εἶναι, лат. quidditas), и «сущность, данная непосредственно», «первая сущность» (οὐσία πρώτη), тождественная самой индивидуальной вещи, «вещь» (Μεταφυσικα, VII, 6, 1031b 31 и др. места). Вместе с тем, «сущность» имеет и другое существование, как «вторая сущность» (οὐσία δευτέρα), как род и/или вид, существующий лишь во множестве «первых сущностей», но тем не менее именно «существующий в реальности». (Подробнее см. в настоящей книге выше, гл. II.)

Таким образом, можно сказать, что различие между пониманием «идеи» у Аристотеля и у Платона заключается в степени и в характере отвлечения от индивидуальной «вещи»: у Платона «идея» дана в максимальном отвлечении, вообще — вне вещи; у Аристотеля же — в определенной иерархии существования, на высшей ступени она, как «сущность», есть Категория, а на средней ступени — «форма» или «эйдос». Эти особенности хорошо выявлены П. Д. Юркевичем в работе «Идея» (1859

г.): «С этой точки зрения мы не можем отделять сущность вещей от самих вещей, не можем говорить о передвижении или переходе сущности из идеального состояния в феноменальное. В этом предположении сама сущность была бы изменчива, могла бы принимать противоположные виды существования и не имела бы *необходимого* отношения к тому, что она есть сущность. Итак, сущность неотделима от вещи, которой она есть сущность; ее истинное и первоначальное бытие есть в этой самой феноменальной вещи: идея имманентна явле-

717

нию» [Юркевич 1990, 30]. Юркевич продолжает: «Противоречие между Платоном и Аристотелем в определении идеи и в изъяснении из не» мира явлений имеет свою основу внутри самой же идеи. Идея постигается, и, вероятно, по необходимости мышления, с одной стороны, как спокойный образец, как неизменный тип волнующейся чувственной действительности, с другой — как деятель, элемент и живая сила мира. При всяком развивающемся явлении мы мыслим то и другое: с Платоном спокойную норму развития, с Аристотелем — разумный ход и целесообразное движение его.

Таким же образом, если по Платону идее соответствует общее в явлениях, а по Аристотелю — *особенное*, то мы с равной легкостью сознаем присутствие божественной мысли как в общем, равномерном и однообразном движении частей мира, так и в жизненной, смешанной и беспокойной игре индивидуальной жизни» (там же, с. 33). (Аналогичным образом, но с большей детализацией в анализе терминов, рассуждают А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи — указ. книга, с. 214—215). (Поэтому возможен и отчасти у самого А. Ф. Лосева осуществлен синтез аристотелизма с неоплатонизмом.)

Здесь, в этом противопоставлении Аристотеля и Платона уже проступает одно тонкое и еще не полностью осознанное различие внутри русской философии, которое отличает Новый реализм от близких и — временами — параллельных течений, в частности от философии А. Ф. Лосева. Вообще с тонкими линиями противопоставлений мы в этом вопросе будем встречаться и дальше (например, в различии неопатристики Г. Флоровского и патристических штудий П. Флоренского). То различие, о котором идет речь сейчас, касается отношений логики и метафизики, или, шире, деятельностного и созерцательного подходов.

В самом деле, философская логика представляет собой деятельностный подход, это есть философствование, нацеленное на исследование, притом на исследование с воспроизводимыми приемами (т. е. другие исследователи могут повторить то же и в новом материале). Метафизика (мы берем этот термин вовсе не в его средневековом, а в современном понимании, о котором всюду и идет здесь речь) представляет собой созерцательный подход. То же различие можно выразить иначе: логика, в особенности логика без метафизики, есть «текст», метафизика — «код»; логика представляет «процесс», метафизика — «систему»; если воспользоваться компьютерной терминологией, логика — это информация «on line», метафизика — информация «off line». Гармонично развитые логика и метафизика дополняют друг друга. Но, вообще говоря, их отношения несимметричны: наиболее «сильные» системы современной логики, как правило, обходятся без метафизики (ср. положение в американском Новом реализме: раздел 1 выше); напротив, наиболее развитые системы метафизики не имеют при себе действенной логики. Например, трудно представить себе, какая логика могла бы сопутствовать

718

системе А. Ф. Лосева и системе имяславия (если не говорить, конечно, о «диалектической логике», которой не может быть придан вычислительный характер). И как можно было бы применить систему А. Ф. Лосева к иному материалу, чем у него? И кто вообще мог бы «повторить» его ход мысли?

Именно это различие и намечается, «просвечивает», уже в отмеченном выше понимании «идеи» у Платона и у Аристотеля. В то время как Категории Аристотеля с их родо-видовыми отношениями имеют коррелят в системе логического вывода, в силлогистике, категоризация Платона не имеет при себе никакой «логики». Вообще, показано, что силлогистика Аристотеля совместима только с такой системой (с такой «метафизикой»), где действует родо-видовой принцип, т. е. в конечном счете, только с системой Категорий самого же Аристотеля (см.: [Patzig, 1959, § 3]). Поэтому же Я. Лукасевич, развивая и модернизируя систему Аристотеля, принимает и его метафизику: логика исследует такие же объективные отношения, как отношения, изучаемые математикой, например, в сфере теории чисел: «Логика имеет дело с мышлением не более, чем математика. Вы, конечно, должны думать, когда вам надо решить математическую проблему. Но при этом законы логики к вашим мыслям имеют

отношение не в большей мере, чем законы математики» [Лукаевич 1959, 48]. Я. Лукаевич вполне последователен, отделяя собственно «логические законы» от «логики практического мышления», т. е. от «психологии мышления». (Но, нужно подчеркнуть, современная философская логика «работает» именно в этом промежуточном диапазоне между «логикой» и «психологией мышления».)

Более того, можно сказать, что гибель грандиозной системы Средневековой логики схоластов, сравнимая с катаклизмами Кювье и с гибелью динозавров, была связана именно с этим обстоятельством — с ее негармоничностью: в то время как «онтология» и «метафизика» (в виде тончайше разработанного учения о «суппозициях» терминов) были развиты до предела, «процессная логика», логика вывода, т. е. в конечном счете просто «логика», почти полностью отсутствовала. Пришедшая ей на смену номиналистская логика, основанная Оккамом, мало заботясь о метафизике, положила начало именно «алгоритмическому пути» развития знания, как в специальном, узком смысле — логического вывода, так и в широком смысле преемственности перехода от одной логической системы к другой. Глубоко верно наблюдение Н. И. Стяжкина: «Схоластическая логика не смогла перешагнуть рубеж, достигнутый с появлением „Logica Magna” Николетта из Венеции, поскольку она не могла найти обобщающий алгоритм, который дал бы возможность закрепить достигнутое и идти дальше» (см. [Стяжкин 1970, 173]).

Новый российский реализм, в общем и целом, тяготеет к «аристотелевской линии», в то время как родственно близкие течения, например, система А. Ф. Лосева, — к платонизму и неоплатонизму. Тем са-

мым Новый реализм включает в себя разработку «логики» вообще, философской логики и, в частности, специальных систем логики, в то время как концепции, тяготеющие к платонизму и неоплатонизму, скорее, чуждаются логической проблематики и сосредотачивают свое внимание на «метафизике» и «диалектической логике». Поэтому же Новый реализм находится в тесных отношениях с англосаксонской логикой номиналистского толка, хотя зачастую эти отношения носят характер творческих дискуссий, в то время как платонистские и неоплатонистские течения в русской философии стремятся, скорее, к «этнической самобытности», если не к изоляционизму. (Так, В. Н. Лосский часто говорит об «очищении аристотелизма», имея, как нам

кажется, в виду также и «очищение от западно-христианского» еретизма. Вопрос это» остается все еще недостаточно изученным и вообще во многом неясным. Ведь и на Западе решающий поворот от аристотелизма (и аверроизма) имел место: он засвидетельствован буллой папы Иоанна XXI от 18 января 1277 г., а этим папой был Петр Испанский, чье логическое учение о суппозициях прочно основано на Категориях Аристотеля [см. Часть II наст. книги].)

Вернемся теперь к базисным понятиям о «вещи» и «эйдосе вещи». А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи продолжают:

«3. Идея вещи, по Аристотелю, находится внутри самой же вещи. ... Этот тезис о пребывании идеи вещи внутри самой же вещи есть то основное и принципиальное, в чем заключается аристотелизм в его отличии от платонизма» (указ. соч., с. 209);

«4. Идея вещи, будучи чем-то единичным, как единична и сама вещь, в то же время является и обобщением всех частей вещи, является некоей общностью» (с. 209);

«5. Эйдос вещи, будучи некоей общностью и некоей единичностью, в то же самое время является и определенного рода цельностью. ... Удалите какой-нибудь один момент целостности, и она тотчас перестает быть цельностью. Удалите в часах стрелки, которые показывают время — и часы тут же потеряют свою цельность...» и т. д. (с. 213).

Здесь мы прервем это превосходное изложение ключевой проблематики, чтобы сосредоточиться на главной теме нашего очерка.

(Заметим, в виде отступления в культурологию Нового реализма, что упомянутый аристотелевский, или «сущностный», принцип, в лосевском изложении 4-й принцип, реализован нами в нашем «Словаре концептов русской культуры», который построен по «семиотическим эволюционным рядам», например, — «Древняя повозка» => «Карета» => «Автомобиль», — стрелки обозначают эволюцию ряда вещей: карета замещает собой повозку, автомобиль — карету. В таких рядах «дробление» вещей может быть продвинуто очень далеко, например — наряду с экипажами в их целостности можно рассматривать отдельно в аналогичных рядах их кузова, отдельно колеса, и т. д., и т. д. Единственным

пределом является предел, вытекающий из указанного принципа «целостности вещи»: нельзя рассматривать эволюцию «половинок колеса» или вместо эволюции тарелок — эволюцию половинок тарелок, и т. п. [Степанов 1997, 21 и. сл.].)

Интересно, что указанному принципу почти буквально противостоит (хотя сам принцип при этом не назван и вообще не входит в обсуждение) следующее рассуждение А. И. Умова. Отметив общепринятое различие «смысла» и «денотата, референции» (например, выражения «Вальтер Скотт» и «Автор „Веверлея“» имеют один денотат, но разные смыслы), Умов пишет: «Мы не претендуем на опровержение общепринятой точки зрения. Но все же хотелось бы, хотя бы для того, чтобы читатель лучше понял суть проблемы, посеять некоторое сомнение... Считается, что слова „Вальтер Скотт“ и „Автор «Веверлея»“ обозначают один и тот же предмет... Но зададим такой вопрос: один и тот же предмет — Вальтер Скотт и голова Вальтера Скотта? Несмотря на то, что Вальтера Скотта мы не мыслим без головы, все же большинство скажет, что это, несомненно, различные предметы. Один из этих предметов часть другого. Имея всего Вальтера Скотта, мы имеем и его голову, но не наоборот. Здесь речь идет об отношении в пространстве, то есть об отношении тел. Но если иметь в виду Вальтера Скотта как систему всех тех качеств, которые его образуют, то к ним будет относиться как их часть и тот набор свойств, который мы называем „автором «Веверлея»“. Имея Вальтера Скотта во всей цельности его качеств, мы имеем и автора „Веверлея“. Но не наоборот. Вряд ли имело бы смысл называть новорожденного автором „Веверлея“, разве что только будущим. Но каждый знает, что быть будущим, например, доктором — это совсем не то, что быть настоящим... Поэтому не является ли требование обязательного различия смысла и значения выражений, восходящее к Фреге, результатом недоразумения, связанного со слишком узким пониманием вещи, отождествляющим ее с неким объемом, занимаемым в пространстве, то есть с телом?» [Умов 1976, 467—459].

Конечно, в настоящее время контекст этого рассуждения устарел: теперь требуется более точно определять ситуацию, или «дискурс», или «мир», применительно к которой (к которому) ведется рассуждение и происходит замена выражения (имени) «Вальтер Скотт» на выражение (дескрипцию) «Автор романа „Веверлей“»; требуется различать собственные имена и дескрипции; требуется различать «твердые десигнаторы», определяющие объект в любом из взаимосвязанных «миров», и «нетвердые» — теряющие эту способность при переходе от одного «мира» к другому, и т. д. Но все же что-то в приведенном рассуждении А. И. Умова не лишилось интереса, и это что-то — его скрытая противопоставленность «принципу целостности» вещи в связи с ее эйдосом,

или сущностью. Очевидно, что автор этого рассуждения исходит из противоположного принципа, а именно: вещь тождественна совокупности ее качеств, есть

«пучок качеств». (Ниже мы столкнемся с таким же подходом в концепции Б. Рассела.)

Очевидно, что А. И. Умов, как и В. Рассел, стоит на позициях номинализма, тогда как мы изложили выше позицию реализма и концептуализма (последний — в этом отношении — мало чем отличается от реализма).

Номинализм является противостоящей концепцией в целом. Здесь, конечно, не место разбирать все пункты противостояния. Один из них мы только что упомянули. Упомянем еще лишь один — о природе того, что реалисты и концептуалисты называют «сущностью» и чего вовсе не признают номиналисты. Этот пункт мы рассмотрели здесь по Оккаму, последнему великому номиналисту Средневековья и первому номиналисту Нового времени, собственно — основоположнику английской аналитической философии, — см. здесь выше, гл. III, 4.

Семиотическая теория языка как непосредственно составная часть Нового реализма является логически более оформленной частью и в отдельных пунктах смыкается с «философской логикой», в одном из направлений последней — вовсе не только русской или российской. Именно эту линию, и то пунктирно, мы прочертим в настоящем очерке.

Вернемся к тому пункту, на котором остановились выше — на вопросе о «Сущности» и выделим для дальнейшего обсуждения его, так сказать, «подвопрос» — о тождестве-нетождестве сущностей, или, в иной формулировке, о различении сущностей, или, еще иначе, о различении «вещей».

Итак, существуют две основные концепции в понимании «вещи»: 1) «вещь» как совокупность качеств, или свойств, непосредственно данных в наблюдении в определенной точке пространства и времени, — Концепция номинализма, и, в частности, Б. Рассела; 2) «вещь» как совокупность качеств, стоящих в различном отношении к «сущности» и «существованию», и объединенная в целостность «сущностью», — точка зрения реалистов (вместе с концептуалистами), и, в частности, Лейбница.

П е р в а я. Б. Рассел пишет: «Именно потому, что для меня отдельные наблюдения составляют источник фактуальных предпосылок (теории познания. — Ю. С.), я не могу

принять для констатации этих предпосылок понятие «вещь»: оно уже предполагает известную степень устойчивости и поэтому может быть выведено только из некоторого множества наблюдений. ... Вы не можете дважды вступить в одну реку, потому что вас постоянно обтекает новая вода; но разница между рекой и, скажем, столом — только в степени. Карнап мог бы согласиться, что река — это не „вещь“, но те же самые доводы должны были бы убедить его, что и стол — тоже не вещь» [Russel 1980,315]. Отсюда стано-

вится понятным, что в теории языка и познания Рассела две «вещи» (в этом изложении следовало бы и слово «две» тоже взять в кавычки), обладающие одинаково воспринимаемыми в опыте качествами, т. е. «неразличимые» (англ. термин *indiscernible* «неразличимый; неприметный»), являются одной «вещью». Рассел провозглашает принцип «Что неразлично, то тождественно», «*Indiscernibles are identical*». Поскольку «неразличимость» входит в понятие «две неразличимые вещи», «*indiscernibles*» (по-английски во множ. числе) по самому определению того, что есть «вещь», постольку суждение «*Indiscernibles are identical*», «Что неразлично, то тождественно» — является, по Расселу, аналитическим суждением. (Или, в ином переводе: «Неразличимое есть тождественное», поскольку в русском языке множ. число прилагательного без существительного — «неразличимые» не допускается грамматикой.) Рассел понимает здесь «аналитичность», как это и общепринято в настоящее время, по Канту — как суждение, предикат которого содержится в субъекте до высказывания. Это положение Рассел считает «главным достоинством» своей теории. («Indeed, I should claim it as the principal merit of the theory I am advocating that it makes the identity of *indiscernibles analytic*», — с. 103)

В т о р а я т о ч к а з р е н и я. Ее представляет Лейбниц в его дискуссии с Локком. И это не случайно: Локк — крупнейшая фигура в той же самой линии, в линии английского эмпиризма, которую в нашем веке воплощает в своей системе Рассел. Интересно также заметить, что и мелкие темы и примеры в этой дискуссии — буквально те же самые, что позднее используют и Б. Рассел, и А. И. Уемов (тело человека и часть тела — мизинец и т. п.; люди на нашем земном шаре и люди на воображаемом земном шаре, во всем подобные земным, — пример Лейбница, который прямо сравним с примером Рассела о двух Эйфелевых башнях — в Париже и в Америке, и т. д.). Но во

всех этих случаях и примерах Лейбниц решает вопрос принципиально иначе. В «Новых опытах о человеческом разумении» соответствующая глава (XXVII, § 1) «О тождестве и различии» прямо начинается с утверждения общего принципа. Напомним, что под именем Филалета выступает Локк в изображении Лейбница, а под именем Теофила сам Лейбниц.

«Ф и л а л е т. ... Когда мы спрашиваем о чем-нибудь, *есть ли это та же самая вещь или нет*, то это всегда относится к одной вещи, существующей в такое-то время в таком-то месте. Отсюда следует, что одна вещь не может иметь двух начал существования и две вещи — одного начала по отношению к времени и месту.

Т е о ф и л. Помимо разницы во времени и месте должен всегда иметься внутренний *принцип* различия, и хотя существует много вещей одного и того же рода, однако никогда не бывает совершенно одинаковых вещей. Таким образом, хотя время и место (т. е. отношение к внешнему) служат нам для различения вещей, которые мы не умеем достаточно различать сами по себе, вещи все же различимы в себе.

Следовательно, сущность (*le pr cis*) (здесь это французское слово следовало бы перевести не как «сущность», а как «суть; существо дела». — Ю. С.) *тождества и различия* заключается не во времени и месте, хотя действительно различие вещей сопровождается различием времени и места, так как они влекут за собой различные впечатления об одной и той же вещи. Я уже не говорю о том, что скорее вещи должны служить нам для отличения одного места или времени от другого, так как сами по себе последние совершенно одинаковы, но вещи тоже не являются полными субстанциями и реальностями...» [Лейбниц 1983, 230].

Но на этом тема не закрывается. Рассел, как мы видели выше, рассматривает свой принцип «Тождественное — неразлично» как аналитическое суждение, — тем самым перенося всю проблему в плоскость философии языка. И это справедливо и глубоко обоснованно. Мы знаем в настоящее время, что понятия «аналитичности» — «синтетичности» зависят от системы языка, в рамках которого эти понятия (как и сами суждения) формулируются (см. в известной работе [Смирнова 1962] и в наст. книге ниже гл. IV, 2).

Какова же та языковая система, тот «язык» (в логическом смысле слова), в котором формулирует свою концепцию Б. Рассел? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно

произвести обращение ее положений и прочесть приведенное утверждение как исходное, а именно увидеть, что *не до него дано, а из него вытекает* известное представление Рассела о том, что такое «вещь»: «вещь» есть то, что представляет собой «пучок» различных свойств; понятие «вещи» есть абстракция (проекция в «систему», в онтологию) определенной позиции в составе суждения («текста») т. е. результат той же самой излюбленной номиналистами процедуры, которую мы подметили у Канта (см. выше, гл. III, 3).

Теперь делается понятным, что известное, значительно более позднее, положение У. Куайна является лишь более строгой формулировкой того же самого, что и у Рассела, методологического принципа; Куайн (в работе 1948 г.) утверждает: «Любая теория по существу признает те и только те объекты, к которым должны иметь возможность относиться связанные переменные, для того, чтобы утверждения были истинными»; «быть — значит быть значением квантифицированной переменной» [Quine 1953, 13]. Но это и есть точка зрения торжествующего номинализма!

На этом фоне делается вполне понятным, почему в системах номинализма существует разрыв между «логикой» и «метафизикой» (или «онтологией»). Да просто потому, что «онтология» не признается данной, она извлекается из «логики», экстраполируется в ментальный мир из логической системы.

Но зато какое удовлетворение приносит это создателям логик. Они становятся demiургами, творцами ментального мира! Они уподобляются Богу. С тем только маленьким отличием, что Бог создал реальный мир,

724

а они создают номинальные миры, и каждый раз приумножают свои сущности.

(Интересно было бы в этой связи заново проанализировать знаменитый тезис Оккама «*Entia non sunt multiplicanda (praeter necessitatem)*» «Сущности не следует преумножать (сверх необходимости)», часто вульгарно понимаемый. Но что имел в виду он под «сущностями» — «*entia*»? И что под «необходимостью»? Кажется, что великий номиналист гениально предвидел грядущие трудности им же намеченного номиналистического пути.)

Эта же черта поможет объяснить еще одну черту номиналистической науки — постоянные «революции» в ней. Еще бы! Каждая крупная система логики — это и новая «революция».

(Однако, этой иронической формой мы вовсе не хотим заслонить серьезной сути вопроса: каков же «алгоритм», по выражению Н. И. Стяжкина, в преемственности познания? Как же совершается преемственность научного знания по этой линии? Впрочем, и преемственность в различных смыслах этого термина тоже — по этой линии — отрицается. Сравним хотя бы тяготеющую к реализму «концепцию кумулятивности знания» и ее отрицание — теорию «несоизмеримости теорий»; «теорию научных революций» как «смены парадигм», Т. Куна.)

Совсем иначе соотносятся «логика» и «метафизика» в системе Лейбница. Главный тезис нашего краткого анализа следующий: в системе Лейбница нет места различению аналитических и синтетических суждений (в том понимании этих терминов, которое утвердилось начиная с Канта, следовательно, которое присутствует и у Рассела, см. выше); в некотором смысле синтетические суждения вообще не могут иметь места, все суждения являются аналитическими, в том смысле, что их предикат всегда содержится в субъекте. Однако различие между суждениями все же присутствует, в системе Лейбница они также распадаются на две различные группы: в одну группу попадают суждения, аналитичность которых доказуема, — это необходимые истины (логические, геометрические, арифметические); в другую группу попадают суждения, аналитичность которых не может быть доказана, — это «истины факта» (говорящие о конкретном, индивидуальном, например, о каком-либо историческом событии).

В реальном логическом исследовании, по Лейбницу, при работе с этими двумя типами суждений используются два различных закона, — которые и являются соответственно основаниями каждой из групп. В группе собственно аналитических суждений, логических истин, основанием служит закон противоречия. Он гласит: необходимо истинно все то, противоположное чему есть противоречие. Основанием суждений, или истин, факта служит закон достаточного основания, гласящий: «можно раскрыть основание всякой истины, или, иначе, ничего не происходит без достаточного основания».

725

Однако, как уже было сказано, суждения и той и другой группы являются — в принципе — аналитическими. Различие между ними заключается лишь в том, что в суждениях факта анализ никогда не может быть доведен до конца: перечень промежуточных предикатов и промежуточных оснований для установления тождества

между предикатом данного предложения и соответствующим признаком его субъекта не может быть закончен — поскольку речь идет об индивидуальных сущностях, об индивидах, которые не могут быть исчерпаны ни в какой дефиниции. Но, по Лейбницу, это различие не принципиальное, а, так сказать, практическое. Практически, анализ истин факта не может быть завершен, он уходит в бесконечность; теоретически же в нем, кроме уже данного отличия (редукции в бесконечность), нет никакого другого отличия от анализа необходимых, логических истин.

Лейбниц сравнивает анализ истин факта с дифференциальным анализом бесконечно малых (математические принципы которого он же сам и сформулировал). Другое его сравнение — с асимптотами, т. е. прямыми касательными к бесконечной кривой. (Во всем этом виден, конечно, общий дух математики XVII века, — см. об этом [Катасонов 1993].

Французский знаток творчества Лейбница Л. Кутюра по этому поводу задает несколько наивный вопрос: если мы умеем вычислять асимптоты, суммировать бесконечные ряды и давать синтез бесчисленного числа элементов, почему мы не могли бы исчерпать бесконечное разложение истины факта и доказать ее своего рода логическим интегрированием? Вопрос наивен, а потому и ответ неясен (см. об этом: [Попов 1960, 79], но ответ неясен и П. С. Попову). Ответ же заключается в том, что различие необходимых истин и истин факта, и, соответственно, двух способов анализа носит у Лейбница прежде всего методологический характер: Лейбниц различает логику и метафизику, и в его онтологии два типа сущностей — «логические» и «фактические».

Какой разум мог бы осуществить анализ истин факта, т. е. для человеческого разума анализ бесконечный? По Лейбницу, — только божественный разум, Бог.

Помимо анализа, между истинами необходимыми (логическими, математическими) и истинами факта есть, конечно, различие. Первые заключают в себе необходимость (противоположное им — невозможно). Вторые несут в себе именно возможность и реальность существования, они осуществились (но противоположное им — также возможно, в Другом мире; данный же мир есть, по Лейбницу, наилучший из возможных миров), — см. также здесь ниже, гл. VI, 3.

Мы видим, что все эти различия вытекают из онтологии Лейбница, как и само различие двух способов анализа и, в конечном счете, различие «логики» и «метафизики».

Как и следовало ожидать уже из вышесказанного, совершенно иначе, прямо противоположным образом, смотрит на это Б. Рассел. В полном соответствии со своей концепцией (эту особенность мы отметили выше), он утверждает, что «именно логические сочинения Лейбница определили его метафизику (а никак не наоборот) и, в частности, именно в результате рассмотрения отношения субъекта к предикату он пришел к своим монадам без окон» (см. франц. пер.: [Russel 1908, IV]; этот ход Рассела хорошо подмечен П. С. Поповым [Попов 1960, 67]).

Итак, мы приходим к выводу, что различие реализма (и вместе с ним реалистического концептуализма, когда иное не оговаривается) и номинализма заключаются не только в признании «сущностей» и в отрицании их, но и в том, что в реализме различаются «логика» и «метафизика» (или «онтология»), но при этом «логика» и «метафизика» гармонизированы относительно друг друга. Напротив, в номинализме между «логикой» и «метафизикой» существует разрыв. «Онтология» извлекается из «логики» (Ср. «Быть — значит быть значением связанной переменной», и т. п. тезисы.) Что касается метафизики, то она при этом постулируется в любом виде, зачастую именно «постулируется», или, чаще, просто отрицается. (Характерен тезис младшего и «менее масштабного» последователя Б. Рассела в этом отношении, А. Дж. Айера — из оглавления его работы «Язык, истина и логика», 1936 г.: «Раздел 1. Элиминация метафизики: В чем состоит цель и метод философии? Отбрасывание метафизического тезиса о том, что философия дает нам знание трансцендентной реальности. Кант также отбросил метафизику в этом смысле, но в то время как он обвинял метафизиков в игнорировании пределов человеческого познания, мы обвиняем их в неподчинении правилам, управляющим осмысленным пользованием языком» — [Ayer 1980, 37]. Тезис Айера как бы противопоставлен тезису американских Новых реалистов об «эмансипации метафизики»; см. выше раздел 1.)

В современной философии языка и философской логике затронутые нами вопросы редко рассматриваются непосредственно, разве что когда заходит речь об основаниях

этой области знания, т. е. о металогике. Однако не следует думать, что они вовсе ушли в небытие. Они проступают в современной философской логике в превращенном виде.

Предварительно нужно сказать, что современный мир философской логики, а это в сущности мир различных теорий семантики, характеризуется целым «пучком» общенаучных признаков, которые отличают современность, конец XX века, от предшествующих периодов (например, от эпохи структурализма). Эти признаки хорошо проанализированы в работе: [Демьянков 1995]. (Подчеркнем однако, что в этой работе речь идет по существу не о теориях, а об их признаках и главных тезисах, по которым теории пересекаются, взаимодействуют, противопо-

727

ставляются и т. д., — о таких как наличие «интерпретационного исчисления»; «композиционность»; «функционализм»; «языковое выражение не предмет, а действие», и т. п. Поэтому картина распределения самих теорий, их «личных» особенностей оказывается, скорее, размытой.)

Нас здесь будут интересовать не общие признаки современного периода, а именно классификация теорий семантики, наличных в этом периоде. Мы воспользуемся для этого прекрасной итоговой работой; [Сааринен 1986]. Э. Сааринен показывает, что теории различаются двумя основными параметрами — 1) тем, какие языковые феномены используются в данной теории в качестве основных фактов, 2) тем, как понимается сам термин «семантика». Первый вопрос теснейшим образом связан с «онтологией» теории, например — «является ли „событие“ достаточно ясной сущностью, чтобы включить его в онтологию в качестве одной из основных единиц?» (там же, 123]. Следуя ад данными этого автора, мы распределяем семантические теории на два основных класса.

К л а с с: 1) теоретико-модельная семантика («грамматика Монтегю»; «ситуационная семантика» Барвайза и Перри; ряд работ Хинтикки, и др.); 2) теоретико-игровая семантика (Хинтикка, Сааринен. Пикок, и др.); 3) эпистемическая семантика (Даммит, Кастаньеда, и др.). Именно этот класс семантик мы относим к общему направлению — в нашем понимании — реализма.

К л а с с: 1) критериальная (конструктивистская) семантика Бейкера и Хаккера; 2) семантика концептуальных ролей (Харман, Федор, и др.); 3) процедурная семантика

(Джонсон-Леерд, и др.); 4) интенционалистская семантика (Грайс, Шиффер, и др.). Этот класс теорий является, с нашей точки зрения, продолжением линии номинализма.

Когда такие философы («философы языка»!), как М. Даммит и Д. Дэвидсон, называют себя «антиреалистами», то речь идет скорее о некотором «специально американском» употреблении этих терминов: «реалистом» будет философ, признающий онтологические объекты существующими независимо от наличия или отсутствия эффективной логической процедуры их описания (таков же был и главный тезис американских Новых реалистов начала века, — см. выше, раздел 1); «антиреалистом» будет философ, не признающий такой онтологии без наличия соответствующей эффективной логики. Фактически, здесь, конечно, имеет место противопоставление «реализма» и «номинализма», но как бы проведенное не по основной, а по побочной линии — соотношения «метафизики» и «логики», о чем мы уже говорили здесь выше. К этим различиям присоединяются расхождения по линии понимания самой семантики, того, «что такое семантика».

В теориях первого класса доминантой являются абстрактные отношения референции между языком и его моделью; условия истинности; ключевым термином — «мир» («возможный мир» у Я. Хинтикки, «дей-

728

ствительный мир» у Д. Дэвидсона, и т. д.); семантика понимается при этом как отношение между выражениями естественного языка (и/или его модели) и объектами мира.

В теориях второго класса доминантой являются когнитивные структуры сознания (или «индивидуалистического», или «социального» в коммуникации); ключевым термином — «ментальная, концептуальная структура»; семантика понимается как отношение между выражениями естественного языка и ментальными структурами сознания.

Противопоставление двух типов семантик, двух традиций очень хорошо было выражено с позиций представителя «I класса»: «Итак, мы пришли к рассуждению, что интенционалы лексических единиц — это мысленные сущности, и они не фиксируются свойствами психики носителей языка. Для философа, работающего в русле логической традиции, такого, как Монтегю или Томасон, подобный вывод ни в коей мере не является проблематичным. Ведь в этой традиции семантика всегда рассматривалась как

дисциплина об отношениях между выражениями языка и внеязыковыми объектами, о которых говорят эти выражения, а не как дисциплина об отношениях между выражениями языка и действующими в сознании правилами и представлениями, составляющими языковую компетенцию носителей языка» [Холл Парти 1983, 296]; «интенционалы сами по себе ... являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам; но то, чем определяется, что некоторый интенционал является именно интенционалом какой-то лексической единицы в каком-то естественном языке, — это должно зависеть от явлений и фактов, связанных с данным естественным языком, и, следовательно, должно зависеть от свойств людей — носителей этого языка» [там же], см. подробнее здесь выше разд. 4.

Приходится признать, что при всей ясности таких конкретных утверждений (они, как правило, хорошо удаются представителям американской школы), общие отношения между реализмом и номинализмом там далеко не ясны. Конечно и сама эта общая проблема не ставится, не стоит в «центре интереса» этой школы. Но она к тому же и запутана более частным противопоставлением «реализма» и «антиреализма»: «реалисты» могут оказываться реалистами по основным положениям своей теории и номиналистами (т. е. «антиреалистами») по более частным, — например, по пониманию того, «что есть семантика» (см. здесь гл. V, 1). Возможно, впрочем, что понятия «номинализм» и «антиреализм» вообще не следует соотносить прямо — они принадлежат разным традициям и разным терминологическим системам.

Представляется, что более гармонично вопрос о соотношении конкретного семантического исследования с «философией языка» решается у молодых представителей последней (в духе Нового реализма) в рос-

сийской лингвистической школе; примером может служить работа К. А. Переверзева [Переверзев К. 1996].

Но вернемся теперь к статье финского автора, она кончается заключением: «Современные дискуссии в семантике, как правило, исходят из ошибочного допущения, будто существующие семантические теории соперничают друг с другом и, стало быть, являются взаимно соизмеримыми. Однако, как мы пытались показать выше, это верно лишь в немногих случаях»; «Встает вопрос: нельзя ли в этом царстве несоизмеримых семантических теорий предпринять шаг, который был бы аналогичен духу и ориентации

современной абстрактной логики. Другими словами: нельзя ли исследовать семантические теории на более абстрактном уровне — на таком уровне, который ориентирован не на абсолютную истину, а на отношения между данной теорией и точно определяемым (и варьируемым) множеством семантических свойств (причем под «семантическими свойствами» понимались бы любые свойства, которые могут иметь отношение к значению) [Сааринен 1986, 136].

Итак, не подлежит сомнению, что современные теории семантики (ядро философской логики и философии языка) должны рассматриваться на более абстрактном уровне как допустимые варианты... — чего? Некой еще более общей «метатеории»? Да. Но и чего-то еще более «существенного». Что это такое, — на это дает ответ тезис одного из представителей Нового реализма в России — В. В. Петрова: «Современное „плюралистическое“ положение дел в логике свидетельствует не о том, что единой и универсальной логики не существует, а лишь о том, что исследователи располагают пока только отдельными, разрозненными фрагментами универсальной логики, не связанными в единое целое» [Петров, Переверзев 1993, 22]. (Что авторы этой работы стоят на позициях «реализма» и их теория должна быть отнесена к «I классу» из упомянутых нами выше, — об этом говорит следующее их, вполне справедливое, утверждение: «На наш взгляд, необходима не прямая формальная репрезентация всех мыслимых и немыслимых внутренних состояний (субъекта. — Ю. С.), а логическая модель этих состояний и всего „внутреннего мира“ интеллектуального субъекта в целом. Такая модель явилась бы важнейшей составной частью общей логической модели прагматики, основой для адекватной компьютерной формализации различного рода „интенциональных“, „неэкстенциональных“, „эпистемических“ и прочих трудноформализуемых контекстов естественного языка» [там же, 12].

Заново поднимается этот круг вопросов и в недавно вышедшей книге Е. Д. Смирновой [Смирнова 1996]. Среди философских оснований этого исследования важнейшие — проблема истинности и проблема предметности. По крайней мере, в общем понимании этих проблем здесь имеется определенная близость к позициям Нового реализма. «Традиционно этот круг вопросов (о предметности. — Ю. С.), — отмечает автор.

(с. 13), — связан с философской проблемой универсалий, с борьбой платонистского реализма, номинализма и концептуализма. В целом встает проблема онтологических допущений, к которым обязывает принимаемая система логики, возникает вопрос об информативности самих логических законов и форм»; «Логика — теоретическая, а не эмпирическая наука. Но она не зависит лишь от конкретного содержания познания. Однако в процессе познания мы имеем дело не только с эмпирическими данными и „эмпирическими“ объектами, но и с результатами абстрагирующей познавательной деятельности людей, с конструированием идеальных объектов рассмотрения. Логика и принимаемые способы рассуждения „реагируют“ на это, в этом плане логика зависит от содержания познания, от принимаемых предпосылок познавательной деятельности» (с. 14); «Понятие истинности является центральным, основным понятием логической семантики. Суть дела заключается в *особом, отношении логики к понятию истинности*. ... Можно строить различные системы формального вывода. Однако, какова бы ни была структура допускаемых способов рассуждения, в логике к ним предъявляется одно обязательное требование: они должны воспроизводить отношение логического следования» (с. 9).

В признании сущностей, стоящих за логическим рассуждением (в только что упомянутом последнем случае, такая сущность — «отношения логического следования» как некий «объективный» инвариант), и, далее, в признании некоторых еще более общих предпосылок познавательной деятельности, более общих, чем «логическая система» и «ее онтология» по отдельности, и состоит общее основание целого класса современных логико-философских систем, к которому принадлежит и Новый реализм.

Коснемся теперь одного вопроса, оставленного без рассмотрения выше — вопроса о субъекте познания. (Последний, как мы увидим в дальнейшем, будет играть едва ли не главную роль во всей современной философии языка; он проступает и в современной американской школе — как вопрос о «наблюдателе» в решении семантических проблем.) Вернемся к двум указанным классам семантических теорий. В одном классе обобщению (моделированию) подвергаются эмпирические данные, в частности и данные об «эмпирическом» субъекте, действующем в той или иной семантической ситуации. В другом классе теорий обобщению (моделированию) подвергаются понятия о «гносеологическом субъекте», хотя последний во многих из них именно так и прямо

не называется. Но прежде подтвердим «документально», что это различие в действительности существует, и, более того, признается очень важным с позиции тех, кто близок к Новому реализму. Так, В. В. Петров и В. Н. Переверзев [1993, 12] пишут: «При исследовании различий между иллокутивными предложениями и предложениями, имеющими обычную субъектно-предикатную структуру, речь идет о смысло-

вом различии между предложениями, а не о различии между внутренними состояниями конкретного интеллектуального субъекта, использующего эти предложения в той или иной ситуации. Прояснению этого различия вряд ли помогут попытки построения символических структур» непосредственно репрезентирующих „реальные физические структуры мозга“. Тем не менее сам тезис, что при формализации прагматических аспектов естественного языка нужно каким-то образом учитывать внутренние состояния интеллектуального субъекта — пользователя языком, представляется бесспорным. Проблема заключается лишь в том, каким конкретно способом это сделать. На наш взгляд, необходима не прямая формальная репрезентация всех мыслимых и немислимых внутренних состояний, алогическая модель этих состояний и всего „внутреннего мира“ интеллектуального субъекта в целом».

В более поздней работе В. Н. Переверзев [Переверзев В. 1995, 61] уже прямо вводит термин «логический реализм» и начинает его определение с вопроса об «идеях», «эйдосах», «универсалиях» и т. п. как о «реальных объектах».

Мы, развивая рассуждение по этой линии, используем понятие «гносеологического субъекта». Гносеологическим субъектом будет, с этой точки зрения, в частности и субъект, с позиции которого исследователь, например, В. Н. Переверзев (взятый в отвлечении от его личностных свойств) строит металогику, т. е. систему, изложенную в названной книге. Но для нас здесь, т. е. в рамках Нового реализма в России, этот вопрос переключается во «Вторую составную часть» этого течения, в так называемый «Неопатристический синтез».

II. «Неопатристический синтез» как вторая составная часть Нового реализма в России.

Чтобы плавно переключиться к этой — непростой — теме, мы воспользуемся естественно возникшим в нашем рассуждении обстоятельством: тем, что в поле зрения

возникло понятие «гносеологического субъекта». И мы просто продолжим обсуждение по этой линии, чтобы затем сделать некоторые обобщения.

Предварительно заметим лишь, что сам термин «неопатристический синтез» и понятие введены С. С. Хоружим [Хоружий 1994; Хоружий 1995].

Что касается понятия «гносеологического субъекта», то предысторию этого понятия, т. е. его ближайшую историю уже как «составной части» Нового реализма, мы изложим здесь, опираясь на работу В. Зеньковского «Основы христианской философии» [Зеньковский 1992]. Вначале автор показывает его далекую историю, начиная с различения У Канта «субъекта рассудка» и «субъекта разума», основывающегося на различении «эмпирического субъекта» и «трансцендентального субъек-

732

та». Далее Зеньковский прослеживает судьбу понятия «гносеологический субъект» у Фихте и наконец у Гуссерля. Идеи же Гуссерля, заметим мы, смыкаются и со взглядами некоторых современных «философов и логиков», в частности уже упомянутых — В. Петрова и др. (см. написанное последним «Послесловие» в кн.: [Гуссерль 1994, 106].

Далее В. Зеньковский вскрывает основной признак «гносеологического субъекта» — его единство во всех индивидуальных (— эмпирических) сознаниях, как «единосущие человечества». Здесь В. Зеньковский и соединяет идеи философской логики с идеями «христианской философии» (в его понимании последней). «Разъясним эту идею „единосущия“, — пишет он, — пользуясь аналогией с тринитарным богословием. „Единосущие“ человечества не зачеркивает факта индивидуальных сознаний, *многоипостасности* человечества. Каждое индивидуальное сознание обладает некоей основой своего своеобразия, своей „отдельности“ — и это начало ипостасности, производное и ни из чего невыводимое, должно быть признано *метафизически* устойчивым, неразрушимым, бессмертным. Но самое понятие ипостаси *не должно быть абсолютизировано*: совершенно ведь неприемлем метафизический плюрализм, при котором было бы уже неосуществимо никакое единство. Источник единства разума должен быть понимаем в реальном соотношении единства человечества с началом ипостасности — т. е. немислим вне его многоипостасного бытия, как немислима и обратно ипостасность в человечестве вне его единой сущности (всечеловечества).

Ясно однако, что неверно и не нужно *ипостазировать эту единую сущность* — она является сущностью лишь для ипостасей» (с. 47). «Ни ипостаси сами по себе не являются „субъектом“ разума ни единая сущность всечеловечества не является субъектом разума (в чем, например, и ошибка учения кн. С. Трубецкого и вариантного учения кн. Е. Трубецкого). Субъектом разума является *нерасторжимая связь единой сущности человечества и его многоипостасного эмпирического бытия*» (с. 48).

Заключение В. Зеньковского к этой части прямо включается — в нашем понимании — в современную философскую логику: «Мы нашли „место“, где надо искать „субъект“ разума, субъект познания, — в понятии многоипостасной единой сущности всечеловечества дан нам ключ и к тому, почему познание *всегда* включено в эмпирическое сознание (т. е. вне его нет) и почему это познание надиндивидуально, невыводимо в ряде своих сторон из эмпирического сознания (т. е. трансцендентально)» [там же]. См. также о «принципе Паскаля» в нашем понимании во Введении к нашей книге.

Поскольку таким образом философия языка и философская логика — через понятие «гносеологического субъекта» — связываются с понятиями тринитарного богословия, мы совершаем естественный переход ко второму источнику и третьей составной части Нового реализ-

733

ма, которые в начале мы обозначили как «П. Патристика Восточной христианской церкви как источник и Неопатристический синтез как составная часть Нового реализма».

По глубоко справедливым словам В. И. Вернадского, каждое поколение исследователей заново пишет историю своей науки. Так же и в данном случае, нам следует говорить о патристике Восточно-христианской церкви не вообще и не в ее вековом историческом постижении, и конкретно лишь с того момента, который принадлежит «нашему поколению», хотя бы и понимаемому в широком смысле. Таким моментом, когда эта история начала писаться заново, мы склонны считать появление труда прот. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (Париж, 1937 г., переиздание: Вильнюс: Вильнюское правосл. епархиальное управл., 1991 [Флоровский 1991], далее страницы по этому изданию). Этим обстоятельством, между прочим, сразу указываются различил линии внутри современной русской философии, и лишь одну из

них, ту именно, которая и намечена о. Г. Флоровским, мы и считаем источником Нового реализма.

О самих же этих линиях хорошо сказано в Предисловии к «Путям», написанном прот. И. Мейендорфом: «Психологическим импульсом, вдохновлявшим Флоровского при написании его книг, было отвержение так называемой „софиологии“ во всех ее видах, особенно в трудах ее главных представителей, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова и о. П. Флоренского. Русская софиология представлялась ему разновидностью немецкого идеализма, своеобразным гностицизмом и вообще незаконным использованием философии для выражения христианских догматов. По-видимому, Флоровский и начал заниматься св. отцами именно потому, что „софиологи“ пытались представить свою мысль традиционной, а свое пользование философией — освященным примером отцов. Для Флоровского же, ни разу не вступившего в открытую печатную полемику со своим старшим (и уважаемым) коллегой, о. Сергием Булгаковым, основной смысл занятий патристикой заключался в том, что найти верный ключ к соотношению между светской философией и богословием» (указ. изд., Предисловие, с. 3).

В этой же линии идут рассуждения прот. В. Зеньковского. Обосновывая свой грандиозный замысел «Христианской философии», он критически оценивал опыт западной религиозно-философской мысли, как католической, так и протестантской. В обеих он находил резкое и неправомерное разделение философии и богословия. По Э. Жильсону, яркому представителю католической философии, «выражение „христианская философия“ имеет не больше смысла, чем „христианская физика“ или „христианская математика“». Согласно протестантскому теоретику Р. Мелю (R. Mehl), в общем, сходно: «Или философия есть просто оразумление Откровения и тогда она есть догматика и ей нужно отказаться от методов и построений философии, или она есть продукт чедовеческо-

го творчества — и тогда все ее утверждения покоятся только на естественном свете разума» («Lumen naturale rationis» — формула схоластов в противопоставлении истинам веры; ср. излюбленное выражение Декарта «Recherches de la vérité par la lumière naturelle», «Искание истины светом естественного разума»). «В отличие от позиции, занятой обеими ветвями западного христианства, — пишет В. Зеньковский, — мы защищаем идею христианской философии, так как решительно отвергаем то раздвигание

веры и знания, которое и на Западе явилось довольно поздно, как свидетельство *бессилия* христианского сознания, а на Востоке никогда не имело места. Христианство изначала было религией Логоса ... Заметим, что ап. Павел принадлежал к числу образованнейших людей своего времени, т. е. как раз был насыщен теми истинами „естественного разума“, которые так соблазнили Аквината, — и тот же ап. Павел звал к „обновлению ума“. Раннее христианство именно в силу этого, т. е. опираясь на то расширение познавательных сил, которое возведено в этих словах об „обновлении ума“, с самого начала ступило на путь рецепции из язычества того, что было приемлемо для христианского сознания. Это относилось к христианской *терминологии* (таковы термины *logos*, *pneuma* [греч. «дух». — Ю. С.]), к некоторым литургическим материалам и даже к догматическим вопросам (имею в виду использование у Великих Отцов некоторых принципов платонизма). Путь рецепции и есть путь христианской мысли, которая, опираясь сама на Откровение, на церковный разум, принимает все, что родилось вне христианства, если это согласуется с началами христианства» [Зеньковский 1992, 17].

Источниками по этой линии являются, помимо только что упомянутых работ Г. В. Флоровского и В. В. Зеньковского, известные книги: А. Ф. Лосев. Философия имени. М., 1927 (написана в 1923 г.); Прот. С. Булгаков. Философия Имени. Париж, 1953, и примыкавшие к этим книгам другие работы этих авторов.

Как уже было нами сказано, провести резкую демаркационную черту между «источниками» и «составной частью» здесь трудно; скорее, первые плавно переходят во вторую.

Непосредственной составной частью являются, прежде всего, современные исследования «имен», выражающих сущности патристики. Так, В. Зеньковский, кроме приведенных выше терминов («логос», «пневма»), далее в своем труде рассматривает под знаменательным для нашей темы — «онтологическим», могли бы мы сказать, — названием «Состав Бытия» такие понятия, как «Истина», «Красота», «Добро», «Святыня» с присущими им *типами существования* [Зеньковский 1992, т. II, ч. II, гл. 1]. А это те именно концепты, которые и мы, среди многих других, рассмотрели в своем «Словаре (концептуарии) русской культуры» [Степанов 1997]. (Что касается «типов, или видов, бытия, существования», то мы вернемся к ним

ниже, в разделе III.) Из других конкретных исследований по этой линии упомянем важнейшие: Е. М. Верещагин. К дальнейшему изучению переводческого искусства Кирилла и Мефодия и их последователей. Доклад. IX Междунар. съезд славистов. Киев. 1983 г. М.: 1982 (брошюра, ротапринт), и др.; цикл статей А. И. Юрченко — его переводы с древнерусского с комментариями «О Существо», «О ипостаси», «О Лице» и др. — журнал «Вопросы языкознания», 1988, № 2; его же «Ипостась» // *Философ, энциклопед. словарь*. М.: Сов. Энциклопед., 1983; Андрей Диакон. *Философические и геологические опыты*. М.: Книга, 1991 (особенно статьи «К проблеме категории „Сущность” по „Категориям” /Аристотеля/»; «Декарт исторический против Декарта легендарного: к проблеме понятия „субстанция» в картезианской философии»; «К проблеме философской категории „Материя”»; «К вопросу о некоторых аспектах развития современного православного христологического богословия», и др.); А. М. Камчатнов. О символическом истолковании и семантической эволюции слов *лице* и *образ* // *Герменевтика древнерусской литературы*. Сборник 5-й. М., 1992 (изд. Инст. мировой литер. и Общ. исследователей древней Руси); его же. *Лингвистическая герменевтика. На материале древнерусских рукописных источников*. М.: Прометей, 1995.

Что касается теории самого этого подхода, то в качестве составной части рассматриваемого нами течения может рассматриваться Неопатристический синтез (название, как уже сказано, введенное С. С. Хоружим), как направление богословской и культурфилософской мысли, выдвинутое в трудах Г. В. Флоровского. Общие задачи его в определении С. С. Хоружего предстают следующим образом: «Исходная идея Н. с. состоит в том, что для христианской культуры необходимое условие жизнеспособности и единственный путь плодотворного развития — постоянное возобновление творческой связи с духовным наследием Отцов церкви. Эта идея представляет параллель и вместе полемическую поправку к известному культурфилософскому тезису, согласно которому античная философия — вечный и уникальный исток философской мысли, и поддержание живой связи с ним — постоянная необходимость для последней» [Хоружий 1995, 366] (там же библиография).

В самое последнее время исследовательская — и созидательная работа по этой линии увенчалась изданием коллективной книги «С и н е р г и я. Проблемы аскетики и

мистики православия. Научный сборник под общей редакцией С. С. Хоружего» (М.: Дик, 1995). Сборник содержит, в частности, выполненный С. С. Хоружим «Аналитический словарь исихастской антропологии»; толкование терминов и понятий в нем является примером концептуального анализа языка (а это одна из задач современной философии языка вообще) в духе Неопатристического синтеза, в общем русле Нового реализма в России.

Имяславие и тесно соприкасающаяся с ним философия языка представлены прежде всего «могучей тройкой» первой половины нашего века — о. Павлом Флоренским, о. Сергием Булгаковым и А. Ф. Лосевым. Идеи А. Ф. Лосева в их соотношении с Новым реализмом составляют особую проблему, очень важную, но еще не исследованную. Укажем работы, которые могут служить базой для такого сравнения: цикл статей Л. А. Гоготишвили: *Абсолютная мифология* // *Русская философия*. Малый энциклопедич. словарь. М.: Наука, 1995; ее же. Лосев А. Ф. // Там же; Ее же. Лосевская теория авторства // *Начала*, 1994, № 2—4; В. А. Постовалова. *Наука о языке в свете идеала цельного знания* // *Язык и наука конца 20 века*. Под. ред. акад. Ю. С. Степанова. М.: РГГУ, 1995, а также к специальному номеру журнала «Начала», 1994, № 2—4 («Абсолютный миф Алексея Лосева». Вып. 2).

Здесь ограничимся тем, что отошлем читателя ко всем упомянутым работам.

III. Искусство и теория искусства (эстетика), рассматриваемые совместно, в отношении «творец — истолкователь (критик, теоретик, историк искусств а)» — как третья составная часть Нового реализма.

Эпиграфом к этой части могли бы послужить пророческие слова Достоевского о себе самом как о писателе: «Я не психолог, я реалист в высшем смысле». Действительно, если «психология» человека — обычно (и справедливо) понимаемый предмет реализма в художественной литературе, то не об этом предмете произведения Достоевского. Их предмет — высшие, «ненаблюдаемые» непосредственно реальности, которые главным образом и управляют поведением человека.

(Один тонкий театральный режиссер говорил мне, что если «реалистические» пьесы удобно ставить «по системе Станиславского», используя для организации мизансцен «элементарные физические действия-задания», то Достоевского так не

поставишь: как ни расставляй персонажей в физическом мире мизансцены, хоть «с точностью до обратного», суть мизансцены расстановка не выявляет.)

Как источник и как составная часть Нового реализма этот, «третий», компонент не имеет собственного имени. Более того — дать ему имя оказывается чрезвычайно трудной задачей. В этой третьей части не идет речь ни об «искусстве», ни о «теории искусства» по отдельности. «Искусство» берется здесь как выражение глубинных основ бытия и понимания бытия, или, по крайней мере, ощущения его. Также и «теория искусства», «история искусства», «критика» (как «последняя часть истории») не понимаются здесь в их традиционном смысле. Речь

737

идет о том, что «критик» («историк искусства», «теоретик») выражает себя и свое понимание бытия через свое отношение к уже созданному (творцом) произведению искусства; это своего рода «вторичная» форма выражения. Но идет ли речь о «первичном» выражения (творец) или о выражении «вторичном» (критик), в обоих случаях они рассматриваются здесь как явления одного порядка. Именно в этом качестве они и являются «источником» и «составной частью» Нового реализма.

Несколько точек «пунктирно» прочерченной истории.

Последний по времени синтез (мы оставляем пока в стороне свои собственные опыты на эту тему) представлен в цикле исследований В. В. Бычкова, прежде всего в его докторской диссертации «Эстетические идеи патристики» (1981 г.), — что уже вполне определенно связывает эту линию с указанной нами «второй частью» (см. выше). Как гласит словарь «Русские философы» (М.: Книга и бизнес, 1995, с. 99), В. В. Бычков «начиная с 1970 г. ведет исследования в области патристической культурологии и эстетики, русской религиозной эстетики XX в. На основе этих исследований Б. вводит в научный оборот понятие „православной эстетики“ (эстетики культур православного ареала) и исследует ее историю (и предысторию) от Филона Александрийского до П. Флоренского и С. Булгакова. Считает эту линию истории эстетики самобытной, отличной от пути и принципов западноевропейской эстетики. Одной из важных особенностей православной эстетики Б. считает ее принципиально нерелексивный, недискурсивный характер. ... Применительно к культуре XX в., «полагая, что здесь недостаточны традиционные дискурсивно-аналитические способы исследования, Б. разрабатывает особый метод философско-поэтико-медитативного

проникновения в арте-феномены и арте-факты современной художественной культуры; его результаты фиксируются им вербально в форме ПОСТ-адекватностей — специфического жанра постмодернистской эстетики. При его разработке Б. исходит из предпосылки, что дух и форма современного художественно-эстетического исследования должны быть конгруэнтны анализируемому феномену» (там же библиография В. В. Бычкова).

(Из других работ по этой линии, причисляемых нами к источникам, упомянем: Кн. Е. Н. Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе (очерки 1915 — 1918 гг.). Новосибирск: Сибирь и XX век, 1991 (есть и др. изд.); Л. А. Успенский. Богословие иконы православной церкви. Изд-во Западноевропейского экзархата, Московский патриархат, 1989. V. Lossky, L. Ouspensky. The meaning of Icons. N. Y., 1982 [работа 1952 г.]; В. В. Бычков. Духовно-эстетические основы Русской иконы. М.: Ладомир, 1995.)

738

Как мы увидим ниже, эти идеи очень близки к идеям других авторов, относимым нами к общему фонду Нового реализма. Но, конечно, наименование «православная эстетика» не может быть приложимо ко всему этому комплексу идей.

Аналогичные ментальные процессы происходят в современной французской культуре. Такие французские литераторы, как Жорж Батай, Морис Бланшо и особенно Ролан Барт, осмысливая «аватары» («мыслительные превращения») французской литературы, вырабатывали и новую форму для своих размышлений, новый тип «эссе». Так, Р. Барт, описывая, на фоне семиотики, «разрушение литературы», сформулировал свой знаменитый принцип замены «произведения» «текстом» «и в ряде собственных сочинений дал образцы этой трудноопределимой творческой деятельности, которая, хоть и сохраняет кое-какие признаки эссе (личностный характер высказывания, апелляция к литературным традициям, элементы дневниковой композиции), но в целом далеко выходит за его рамки, отнюдь не сливаясь ни с наукой, ни с беллетристикой. ... При этом эссе с необходимостью „преододело“ и само себя, превратившись у некоторых авторов в новую художественную форму, которой еще предстоит найти точное наименование» [Зенкин 1995, 798].

Но вернемся теперь вспять, в глубь истории (прочерчивая, как мы уже сказали, лишь «пунктирную» линию).

Леонардо да Винчи был, вероятно, первым художником — теоретиком Нового времени в интересующем нас отношении, хотя уже Вазари, как точно выразился В. Н. Лазарев, «ясно осознавал органическую связь ренессансной науки с техникой и искусством». «Наука есть второе творение, создаваемое рассуждением [разумом], живопись есть второе творение, создаваемое фантазией», — писал Леонардо. Приведа эти его слова, В. Н. Лазарев продолжает: «В обоих случаях Леонардо подчеркивает творческий характер науки и живописи. Но параллельно он оттеняет, что они ценны лишь постольку, поскольку не отдаляются от природы, от реальной действительности (в этом смысле следует понимать выражение — „второе творение“), а способствуют познанию действительности и осмыслению лежащих в ее основании законов» (Леонардо да Винчи. М.: Изд. АН СССР, 1952, с. 98). И в этом историческом пункте, как и в предыдущем, нас интересует ключевой концепт — «познание». Но теперь мы присоединяем к нему другие ключевые термины — «Сущность» и «Вещь» (с которых мы начали весь этот очерк, — см. ч. I). Объединяются они и у Леонардо под термином «cosamentale», «мысленная (ментальная) вещь». И третий, связанный с ними концепт — «Существование». Заинтересованного читателя отсылаем здесь к своей статье «Общность теории языка и теории искусства в свете семиотики» Изв. АН СССР. Серия литер. и яз., т. 34, № 1, 1975, или к статье «Быть, Существовать (в мире, искусстве, в языке)» в книге: Ю. С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.

ГЛАВА VI
(в качестве краткого заключения)
РЕАЛИЗМ И НОМИНАЛИЗМ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ.
ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И МОРАЛЬ
(О ФОРМЕ МОРАЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ)

0. Вводные замечания

Для раскрытия темы настоящего раздела нам снова потребуются уже введенные ранее (гл. IV) понятия «альтернативного мира» и его языка — «дискурса». Под первым термином понимается ментальный, мысленный мир, альтернативный какому-либо другому, в частном случае — нашему данному. Каждый мир альтернативен какому-нибудь другому и всем другим вообще. «Неальтернативных миров» нет.

Дискурс я и определяю именно как «язык альтернативного мира». По отношению к национальному или вообще этническому языку каждый дискурс следует понимать как «подязык» последнего, но такого синонима мы употреблять не будем, по причине его неприглядного стилистического облика.

Каждый альтернативный мир населен своими собственными персонажами — «существами» и «вещами», имеющими свои особые качества; в каждом мире могут совершаться лишь ему присущие «действия», происходить лишь в нем возможные «события». Если некоторые из этих сущностей — «существ», «вещей», «действий», «событий» — присущи также и другим мирам, то дело идет лишь о пересечении классов сущностей, и всегда найдется по крайней мере одна сущность, присущая исключительно одному миру. Сущность «Человек» есть в любом альтернативном мире, ну и в действительном мире — конечно. И именно поэтому — это такая сфера, где реалисты и номиналисты обречены не спорить, а взаимодействовать. И, как мы надеемся далее (хотя и на ограниченном материале) показать, — взаимодействовать этически плодотворно. Хотя «Человек» реалистами и номиналистами будет определяться неодинаково, для последних он, в некотором смысле, вообще не «сущность», но для тех и других он (это, во всяком случае, несомненно) онтологический объект, объект их онтологии. Но «параметризован» он не одинаково.

Как-то с замечательным, ныне покойным, литературоведом и философом А. А. Федоровым мы размышляли над определением человека.

(Анатолий Алексеевич тогда работал над своей книгой «Томас Манн. Время шедевров» [Федоров 1981].) Мы придумали следующее определение в стиле XVII века (а возможно, заимствовали его форму у какого-то писателя, — не помню): «Что за существо — человек? Это существо, которое всю жизнь копит деньги в кубышку, ссорится с женой, спит в ночном колпаке... и вдруг, в один прекрасный день, выходя из дому, видит, что мчащаяся карета готова раздавить играющую на улице девочку, — бросается под колеса и спасает ребенка! Вот что такое человек!». Но тут же мы решили, что наше определение определяет не одного человека, а двух разных — относящихся к разным мирам (хотя и проживающих в одном материальном мире).

Действительно, мы проходим каждый день сквозь толпу — а на самом деле, сквозь различные толпы, — во множественном числе; мы соприкасаемся локтями с десятками людей, но только некоторые из них принадлежат к нашему миру...

Естественно, что и моральные правила, этические предписания формулируются в каждом из альтернативных миров особо и зависят от его языка, т. е. от дискурса, а внутри последнего — от его логико-лингвистической основы, т. е. от главного и специфического для него типа суждения. Здесь мы рассмотрим четыре таких мира с их моральными предписаниями: 1) библейский мир, 2) мир обыденной жизни наших дней, 3) философский мир Канта с его собственной философской альтернативой — 4) миром Лейбница.

1. Логико-лингвистическая форма моральных предписаний в библейском мире

В интересующем нас отношении, основные сущности этого мира — «Человек» и «Бог»; человек и Бог противопоставлены, но они прямо общаются друг с другом. «Десятословие» («Декалог») — это и есть основные моральные предписания, данные Богом в прямом обращении к людям мира, прежде всего к Моисею, а через него ко всем остальным мужчинам. Сформулированы они в форме перформативов. (Эта лингвистическая форма, независимо, конечно, от библейского языка, стала одним из основных объектов современной теоретической лингвистики и философии языка, и наблюдения над ней позволили открыть ряд важнейших лингвистических закономерностей.) Не следует ли напомнить хотя бы некоторые из этих заповедей

(Исход, гл. 20): «13. Не убивай; 14. Не прелюбодействуй; 15. Не кради; 16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; 17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего...» и т. д.

Очень важной особенностью библейского дискурса, в том числе и в «Десятословии», является то, что положительные предписания и пред-

писания отрицательные, запреты, формулируются в двух разлита языковых формах, и эта особенность имеется во всех переводах Библии на европейские языки. Последние предписания, т. е. з а п р е т ы, разделяются на два больших разряда: а) запрет предпринимать какое-либо действие, превентив, и б) требование прервать, прекратить ум начатое или, по крайней мере, задуманное действие, и н г и б и т и в. Последнее различие очень важно: им подчеркивается — как сказали бы мы теперь — различие действий непредвидимых, необдуманных, спонтанных (а) от действий спланированных, совершенных уже заранее «уме» или «в сердце» (б). Христос в Нагорной проповеди говорит (Матфей, б): «27. Вы слышали, что было сказано: «Не прелюбодействуй»; 28. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».

Это различие весьма существенно в законодательстве разных современных цивилизованных стран: например, непреднамеренное убийство квалифицируется иначе, чем заранее обдуманное, преднамеренное.

Но языковая основа этого противопоставления издревле существует в индоевропейских языках. Так, в латыни с архаических времен ингибитив, т. е. повеление прервать уже начатое действие, уже начавшееся состояние, уже испытываемое чувство и т. п. выражается формулой *ne + fac* (т. е. отрицание *ne* и простой императив): *ne fle* (Плавт «Пленники», 139) «не плачь»; *ne time* (Плавт «Амфитрион», 674) «не бойся» («перестань же бояться»), и т. п. Напротив, превентив, запрет предпринимать и даже задумывать действие (т. е. в будущем), выражается формулой *ne + feceris* (т. е. отрицание *ne* и сослагательное наклонение, конъюнктив, в перфекте); эта формула заместила собой архаическую формулу, где на месте конъюктива перфекта стояла форма с суффиксом *-s*; *ne faxis*. О происхождении и значении этого оборота в латыни много спорят. Б. Б. Ходорковская, посвятившая этому большое

исследование, считает, что суть запрета в этом случае «состоит в обозначении действия, предшествующего его исполнению» [Ходорковская 1986,9].

Но в этой связи нужно также вспомнить, что в индоевропейском, и, в частности, в архаической латыни, вообще различались императивы, относящиеся к настоящему времени, т. е., сказали бы мы, к актуальному миру и императивы, относящиеся к будущему, т. е. к некоему иному, только возможному миру (это формы на и.-е. * -tō).

К. Х. Шмидт обобщил подобные факты и показал, что в индоевропейском, а также в картвельских языках, императив в собственном смысле строится на основах аориста; превентив, как правило, требует перфективных основ, а ингибитив имперфективных [Schmidt 1969].

Современные индоевропейские языки, вероятно, под влиянием библейского, сохранили эти особенности, хотя и в измененном виде. Т. е. само противопоставление осталось, но грамматические формы его реа-

742

лизации изменились, иногда на противоположные. Сравним в русском: библейские заповеди *Не убивай*; устар. (под влиянием церковно-слав.) *Не убий*; это превентивы; *Не желай жены ближнего твоего*; устар. форма (под влиянием церковно-слав.) *Не возжелай жены...*, и т. д., так же в живом разговорном языке: *Не пугай птиц* — превентив, несов. вид глагола; *Не пугай птичку* (в данный момент) — ингибитив, также несов. вид. Но, с другой стороны, *Смотри, не спугни птичку* — превентив к ближайшему будущему, сов. вид; это, скорее, не просто превентив, а превентив-остережение.

Сравним также франц.: *ne tue la mouche* «не убивай эту мушку», простой запретительный императив; *tu ne tueras pas* «не убий, не убивай», превентив в библейской заповеди. В соответствии с евангельским текстом греческого стоит, например (Матф. б. 27): в греческом оригинале будущее οὐ πορεύσεαι, в латинском простое будущее поn moechaberis, в старославянском будущее сов. вида *не прелюбы сотвориши*, в современном русском императив несовершенного вида *не прелюбодействуй*, во французском, по общему правилу французских переводов библейских текстов, как уже сказано, обычное (простое) будущее. Испанский язык вполне нормализовал древнейшее латинское противопоставление: простой (поло-

жительный) императив против запрета (в форме сослагательного наклонения настоящего вр.): *hazlo* «сделай (это)» — *no lo hagas* «не делай (этого)».

В библейской системе (дискурсе), таким образом, определяющим является прямое обращение Бога к людям в форме повелений и запретов, т. е. в лингвистической форме различных перформативов. Естественно, что эти формы невозможны в дискурсах, выражающих иные этические системы, где прямых обращений Бога к человеку быть не может. Библейский дискурс выражается в этнических формах различных языков, и поэтому некоторые его особенности могут быть поверхностно-языковыми, т. е. различаться от языка к языку. Таковыми в русском языке являются варианты *Не убивай* и *Не убий*; во французском *Ne tue pas* и *Tu ne tueras pas*.

Формулировки этических заповедей могут быть и не прямыми, т. е. выражаться в иных формах, нежели перформатив, описательно. Например, вместо *Не убий* можно сказать *Ты не должен убивать* или *Человек не должен убивать*, или *Убивать — это грех*. Однако последняя форма, естественно, не может иметь места в дискурсе, не знающем понятия «грех».

Таким образом, как мы видели из этого раздела, различие между дискурсами в том, что касается формулировок этических принципов, может проходить по разным уровням языка; оно лежит либо на лексическом уровне (например, невозможность формулировать принцип «Убивать — грех» в языках, где нет понятия «греха» и соответствующей

743

лексемы), либо пролегал где-то в более глубинном слое (мшжиу, различие разных видов запретов, связанное с различием перфективных и имперфективных глагольных основ); как мы увидим ниже, в разделах, посвященных этике Канта и Лейбница, различие может относиться и к самым глубинным уровням — к логико-лингвистическим основам того или иного дискурса.

Но прежде рассмотрим еще некоторые поверхностные характерные различия, связанные с обыденным дискурсом.

После библейского — для сравнения — мы погрузимся, можно сказать опустимся, в обыденный повседневный мир нашей действительности. Его главное отличие сразу бросается в глаза: здесь все размыто, ни один параметр не формулируется, а не называется четко и прямо: ни «законодатель» («Кто предписывает?»), ни «адресат

предписания» («К кому оно обращено?»), ни, часто, даже действия и поступки, подлежащие исполнению или запрету. Вспомним, например, обращение в вагонах пригородных поездов — «*В вагонах поддерживайте чистоту и порядок*», или в московском метро — «*Граждане должны располагаться по платформе равномерно*». Иногда запрет формулируется весьма конкретно и решительно: «*По газонам не ходить!*», «*Подача звуковых сигналов запрещена*», «*Курить воспрещается*» и т. п. Обычно такие тривиальные запреты и предписания объявляются в самой простой материальной форме в виде табличек или картонок с надписью, обращенных, в силу самой материальной ситуации, к узкому кругу людей, а именно — вступивших в данное пространство. Однако расплывчатость в этом случае остается с другой стороны: неясно, кто запретитель, и, иной раз, имеет ли он на это право. Хорошим тоном считается в таких ситуациях все оставлять как бы в тени: «*У нас не курят*».

Усиление неопределенности заметно уже и на легком изменении формул Десяти заповедей. Как уже было отмечено выше, в церковно-славянском стиле они формулируются в форме глаголов совершенного вида, т. е. выражают превентив, запрет на будущее: *Не убий; Не возжелай жены ближнего твоего*, и т. д. В современном же русском языке они выражаются глаголами несовершенного вида, т. е. выражают превентив и ингибитив, запрет на будущее и на настоящее, одновременно: *Не убивай; Не желай жены ближнего своего*, и т. д.

Однако для повседневного этического мира характерно и другое: наиболее фундаментальные этические нормы, от которых прямо зависит жизнь общества, обычно нигде в доступном виде прямо не формулируются. Конечно, трудно себе представить, чтобы где-то висела табличка «*Аборты строго воспрещены*», или чтобы рядом с бумажкой «*Не ставьте помойные ведра под окнами соседа*» была прилеплена бумажка «*Не прелюбодействуй с женами соседей*». Но дело в том, что подоб-

ные заповеди в современном российском обществе вообще нельзя найти где-либо четко сформулированными. В старой России Десять заповедей можно было найти в любом издании Катехизиса, их изучали в школе. Но сейчас, готовя этот текст, я не мог обнаружить их ни в одном печатном издании, вообще в печатном виде.

Кроме особых причин, корнящихся в современной российской жизни (на которых мы не будем здесь останавливаться), объяснение этому лежит в своеобразной

русской традиции. «Русское гражданское право как в своем историческом развитии, — писал историк права В. Нечаев еще в 90-х гг. прошлого века, — так и в современном состоянии, в противоположность римскому и новому западноевропейскому, характеризуется неопределенностью форм гражданско-правовых отношений и, особенно, невыработанностью отдельных правомочий и обязанностей, связываемых, для отдельных лиц, с наличием между ними того или другого отношения (субъективных прав и обязанностей, как говорят юристы). Это стоит в прямой связи с историческим складом русского гражданского общества и отношением его к власти, определявшей и определяющей теперь формы проявления правовой жизни» [Русское право 1991, 529—530]. Характерная черта российской жизни — всегда и теперь — незнание отдельным гражданином основных законов (да и формулированных этических норм) государства. «Наше законодательство, ... главным образом состоявшее в Высочайших указах и повелениях, сообщавшихся лишь подлежащему ведомству, для населения фактически было почти недоступным» [Гессен 1911—1915, стлб. 158].

«Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно»... Но смешно, действительно смешно. И на вещевых «блошиных рынках», которых теперь великое множество, читаем (табличку, конечно): «Торговать без разрешения не разрешается».

В общем, если попытаться определить самую общую черту обыденного дискурса в области этики, то нужно сказать, пожалуй, так: сокрытие источника предписания или повеления. Если бы речь шла о более красивой черте обыденной жизни, то подошли бы слова Анны Ахматовой о мире Летнего сада в Петербурге, а это ведь тоже особый мир, где

...шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.
И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт
(«Летний сад», 1959).

2. «Категорический императив» Канта (против «Моральной необходимости» Лейбница)

В этическом мире Канта, напротив, царит иная атмосфера — атмосфера полной ясности. И, собственно говоря, главное усилие Санта и направлено на то, чтобы установить полную ясность относительно источника абсолютного морального предписания — «категорического императива».

Мир Канта разделен на две сферы, две действительности. Одна действительность обыденная, с ее реальными, материальными действиями и поступками людей, где каждый человек выступает как «внешний человек»; она наполнена множеством разнообразных частных этических повелений — «гипотетических императивов». Другая действительность — непосредственно ненаблюдаемая, высшая, очищенная от материальных частных, где действует, притом действует ментально, «внутренний человек», каждый человек как «внутренний»; в ней царит один императив — «категорический».

Краткое отступление о терминологии. Терминов «внутренний» и «внешний» применительно к человеку в системе Канта нет. Их содержание у него распределено между терминами «человек ноуменальный» («человек как ноумен» — *homo noumenon*) в противопоставлении к «человек феноменальный» («человек как феномен» — *homo phaenomenon*) и «трансцендентальный», относящийся к априорным, внеопытным, условиям познания, в противопоставлении к познанию опытному, эмпирическому; частично с этими смыслами связаны также термины, особенно раннего Канта, «трансцендентный» в противопоставлении «имманентному». Поскольку мы сравниваем систему Канта с другими системами, нам требуются какие-то термины, не принадлежащие к самой кантовской системе; в качестве таковых мы и используем «внутренний» и «внешний» (о человеке). Они давно утвердились во французском философском языке в виде «*intérieur, interne*» в противопоставлении к «*extérieur, externe*». Так, Словарь Литтре фиксирует «*L'homme intérieur, l'homme spirituel, la partie de l'homme qui appartient à la spiritualité. L'homme charnel, la partie qui appartient à la chair et aux sens*» [Littré 1958, s. v. *Homme*] — «Внутренний человек, духовный человек, та часть в человеке, которая принадлежит духовности. Плотский человек, та часть в человеке, которая принадлежит плоти и чувствам». Различие между терминами «*intérieur*» и «*interne*» в самом французском философском языке трактуется по-разному; так, Словарь Лаланда определяет их оба как синонимы в одном отношении в значении «все, что существует лишь в силу того, что дано в сознании, или как относящееся к сознанию» [Lalande 1972, 330]. Концепт «внутреннего человека» имеет огромную историю. По-видимому, впервые он появляется в философском контексте у Плотина в понятии «внутренней статуи». У ап. Павла использован несколько раз: так (2-е Ко-

ринф., 4, 16) «Поэтому мы не унываем, но если и разрушается внешний наш человек, то наш внутренний обновляется со дня на день», — по-гречески здесь «внешний человек» $\acute{\omicron}$ $\acute{\epsilon}\xi\omega$ $\acute{\eta}\mu\acute{\omega}\nu$ $\acute{\alpha}\nu\theta\rho\omega\pi\omicron\varsigma$ букв, «вовне человек»; «внутренний человек» $\acute{\omicron}$ $\acute{\epsilon}\sigma\omega$ $\acute{\eta}\mu\acute{\omega}\nu$ $\acute{\alpha}$, букв, «внутри человек». В патристике необычайно тонкое и нюансированное осмысление получает сам концепт «внутреннего человека», в нем выделяются различные компоненты; так, например, у Епифания: «смесь духовного (*τὸν πνευματικῶν*) с душевным (от «душа», *ψυχικῶν*) и с материальным (*ὀψικῶν*), или, как говорят, смешивание внутреннего человека (*εἰσὼ ἄ*) со вторым и с третьим внешним (*ἔξω ἄ*) (Eriphanius Constantiensis. *Adversus LXXX haereses*, 36. 5) [Lampe 1987, 424]. При одном и том же противопоставлении терминов — $\acute{\epsilon}\sigma\omega$ или *εἰσὼ* «внутренний», $\acute{\epsilon}\xi\omega$ «внешний» — само содержание концепта варьируется; так «душа» понимается то как относящаяся к «внутреннему», то как к «внешнему»; современные исследователи также спорят о том, как следует понимать состав этого концепта в его истории. В патристике появляется также еще один термин — $\acute{\omicron}$ $\acute{\epsilon}\nu\delta\omicron\nu$ $\acute{\alpha}\nu\theta\rho\omega\pi\omicron\varsigma$ «внутренний человек», букв, «внутри человек»; он чаще означает «разум», «интеллект» (см. [Lampe 1987, 468]).

Совершенно не случайным обстоятельством является также единство термина «императив» — как обозначения повелительного наклонения, что мы рассмотрели выше на индоевропейских примерах, и как обозначение основного положения в этической философии Канта. Этим единством лишний раз, для данного случая, подтверждается то положение философии языка, что многие философские концепты развиваются из обыденного употребления слов и, следовательно, этимология есть одно из оснований концептуального анализа.

«Представление об объективном принципе, — говорит Кант, — поскольку он принудителен для воли, называется велением (разума), а формула веления называется императивом» («Основы метафизики нравственности», 1785 [Кант 1966, 251; далее указываются страницы этого издания]). «Все императивы, далее, повелевают или гипотетически, или категорически. Первые представляют практическую необходимость возможного поступка как средство к чему-то другому, чего желают (или же возможно, что желают) достигнуть. Категорическим императивом был бы такой, который представлял бы какой-нибудь поступок как объективно необходимый сам по себе, безотносительно к какой-либо другой цели» (с. 252). Категорический императив

«касается не содержания поступка и не того, что из него должно следовать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок; существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же могут быть какие угодно. Этот императив можно назвать императивом нравственности» (с. 254—266). «Таким образом, существует только один категорический императив, а именно: поступай только согласно такой максиме, руководств-

вуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (с. 260).

Эти положения связаны с условиями «мира Канта», о котором мы уже упомянули выше. Эту связь хорошо (кратко и тезисно) раскрыл В. Ф. Асмус в своей статье «Этика Канта» (вступит, статья к указ, изд.). «Оба противоречащих друг другу положения — и тезис свободы, и антитезис необходимости — могут быть вместе истинными, но в различных отношениях. То же самое действие, которое как относящееся к чувственно воспринимаемому миру всегда чувственно обусловлено, т. е. механически необходимо, в то же самое время как относящееся к причинности действующего существа, поскольку оно принадлежит к „умопостигаемому“ миру, может иметь в основе чувственно обусловленную причинность и, следовательно, может мыслиться как свободное» [Асмус 1966, 35—36].

Теперь мы подошли к вопросу о языковой форме категорического императива. Само собой разумеется, что здесь мы под «языковой формой» должны понимать уже не ту или иную форму высказывания того или иного этнического языка (немецкого или русского), а ее глубинное основание — логику-лингвистическую форму. В данном случае ею является синтетическое суждение априори.

Необходимо сделать отступление о терминах. «Синтетическое» и «аналитическое» в современной философии языка имеют два понимания — по Лейбницу и по Канту. Собственно, доминирует (и по сути является правильным) только второе; между тем как термин «синтетическое» применительно к системе Лейбница в некотором смысле вообще неправомерен, — об этом мы скажем ниже (разд. 3). По Канту, суждение является аналитическим, если его предикат уже содержится в субъекте (понятие или признак предиката содержится в понятии субъекта), а суждение лишь представляет это соотношение в расчлененном виде, аналитически. Суждение является синтетическим,

если оно присоединяет к понятию субъекта некий не содержащийся в нем с логической необходимостью признак. Например, суждение «Все тела протяженны» — аналитическое, так как признак протяженности содержится в понятии «тело». Суждение «Вселенная является расширяющейся» — синтетическое, так как признак «быть расширяющейся» не содержится логически и заранее в понятии «Вселенная».

(Естественный язык, например русский, дает массу примеров того и другого рода в самых основных своих формах. Так, имеются глаголы, которые можно назвать (и мы в ряде своих работ, действительно, называем) «переходными аналитическими», так как тот объект, который может при них мыслиться и в действительности иногда присоединяется в естественной речи, уже заранее содержится в понятии данного действия:

например, *играть* (игру, роль, пьесу и т. п.), «играть = производить игру; исполнять роль, пьесу». Имеются другие глаголы, которые можно назвать (и мы называем) «переходными синтетическими», так как объект, который может при них выражаться, не содержится заранее в понятии данного действия, а всегда присоединяется извне, «синтезируется» с обозначением действия в составе высказывания: например, *варить* (*мясо, картошку, краску* и т. п.). В «аналитических» глаголах понятие объекта может извлекаться из понятия действия: «песня» есть «то, что поется», *петь песню*, см. подробнее [Степанов 1977].)

В синтетических суждениях выражается акт опытного, эмпирического, т. е., по Канту, апостериорного, познания. Однако Кант выделяет одну специфическую группу суждений — синтетические суждения априори, которые являются, с одной стороны, синтетическими, но с другой стороны, априорными; это суждения, в которых представлены «в чистом виде» понятия пространства и времени, — по Канту, «априорные формы» познания. «Категорический императив» является своеобразным подклассом внутри класса априорных синтетических суждений. Сам Кант определяет эту форму так: категорический императив есть «априорное синтетически-практическое положение» [Кант 1965, 259]. Кант имеет в виду, что в этой форме связывается априорное веление свободной воли, с одной стороны, и максима практического разума, с другой. Естественно поэтому, что трудно, а скорее всего, невозможно, представить себе содержательную трактовку этой формы и тем более иллюстрировать ее примерами.

Частично об этом мы уже сказали выше словами самого Канта, но вот еще прекрасное толкование В. Ф. Асмуса: «Нравственный закон, как его понимает Кант, совершенно формален. Он ничего не говорит и не может говорить о том, какими содержательными принципами должно руководствоваться поведение. Всякая попытка использовать нравственный закон как предписывающий некоторое определение нравственного поступка по его содержанию кажется Канту несовместимой с самими основами нравственного закона: с его безусловной всеобщностью, с его полной независимостью от каких бы то ни было эмпирических обстоятельств и условий, с его автономией, т. е. независимостью от всякого интереса. ... Единственный принцип всех моральных законов и соответствующих им обязанностей состоит в „автономии воли“, в независимости от всякой „материи“ закона, т. е. от желаемого предмета, и вместе с тем в определении свободного выбора одной лишь всеобщей законодательной формой... Отсутствие понятия об „автономии“ нравственной воли привело, по мнению Канта, к крушению все предпринимавшиеся до него попытки обоснования этики» [Асмус 1965, 14—15].

В. Ф. Асмус как бы соглашается с Кантом в этом выводе и ставит его Канту в большую заслугу. Но вот как раз с последним и нельзя

749

согласиться. Если в самом деле этическую систему Канта можно в этом отношении рассматривать как шаг вперед по сравнению с предшествующими системами, в частности по сравнению с системой Лейбница, которая нас в этой связи особенно интересует, то в то же самое время это и «шаг в сторону» от некоей магистральной линии развития европейской этической мысли.

Сергей Булгаков прямо начинает соответствующий раздел своего трактата с противоположного тезиса: «Само собою разумеется, православие не знает автономной этики, которая представляет преимущественную область и своеобразный духовный дар протестантизма. Этика для православия религиозна, она есть образ спасения души, указуемый религиозно-аскетически» (глава «Этика в православии» его книги «Православие» [Булгаков 1991, 324]).

Наше резюме будет очень кратким. Этика Канта обосновывается его автономией свободной воли, а последняя выражается в форме «категорического императива»; эта форма есть синтетическое суждение априори (т. е. суждение того же вида и формы, что,

по Канту, и те суждения, которые делают возможными математику как науку и метафизику как науку). Но мы в настоящее время знаем, что понятия «синтетического» и «аналитического» могут мыслиться только в рамках той или иной языковой семантической системы (это положение показано и доказано в известной классической работе Е. Д. Смирновой [Смирнова 1962]). Таким образом, этика Канта имеет основанием некоторую языковую семантическую систему, дискурс, главной особенностью которой и является наличие в ней синтетических суждений априори. Что касается источника «категорического императива», то, пожалуй, можно сказать так: этот источник — разум и свободная воля самого человека, «внутреннего человека», и этот источник автономен. В этике Кант — философ протестантизма (и номинализма).

3. «Моральная необходимость» Лейбница

В дискурсе Лейбница, строго говоря, синтетических суждений вообще нет. Однако современные исследователи говорят — в известном, но только в известном смысле, справедливо — о различении синтетических и аналитических суждений по Лейбницу, т. е. все-таки выделяют «синтетические суждения по Лейбницу».

Дискурс Лейбница, если излагать его конспективно, состоит из двух видов истин — необходимых истин и истин факта. Необходимые истины — такие, противоположное которым невозможно, например: «Сумма углов треугольника равна двум прямым» (противоположное, т. е. «Сумма углов треугольника не равна двум прямым», — заведомо ложно). Истины факта — это такие истины,

750

противоположное которым возможно, например: «Александр Македонский победил Дария» (противоположное, т. е. «Александр Македонский не победил Дария», в принципе не содержит в себе ничего невозможного, хотя в действительности осуществилось первое). Необходимые истины всегда выражаются в аналитических суждениях, т. е. их предикат заранее, в принципе, содержится в субъекте (понятие предиката содержится в понятии субъекта). Аналитические суждения и по Лейбницу, и по Канту понимаются, в общем, одинаково.

Иначе обстоит дело с истинами факта. По Лейбницу, в силу самого устройства мира, они также выражают необходимые истины, но в ином смысле «необходимые»: мир устроен так, что из двух возможных событий (каждое из которых выражается

суждением факта) осуществляется все-таки только одно, в силу того, что в каком-то отношении оно — «лучшее» (не забудем тезис Лейбница «Все к лучшему в этом лучшем из миров»). У истины факта есть свое основание — закон достаточного основания. (В то время как необходимые истины основаны на законе противоречия.) Таким образом, и истины факта также — аналитические, т. е. выражаются в аналитических — по сути — суждениях: ведь и их предикат также содержится в их субъекте, хотя и на ином основании, чем это имеет место в необходимых истинах и выражающих их аналитических суждениях. Это и есть «синтетические суждения по Лейбницу».

Но если это так, то и аналитические суждения, выражающие истины факта (т. е. «синтетические суждения» в этом понимании), тоже могут быть подвергнуты реальному разложению, анализу, — точно так же в принципе, как и собственно аналитические суждения (выражающие необходимые истины). По Лейбницу, дело обстоит именно так.

Однако — и в этом пункте все величие Лейбница как создателя логико-философской системы — практический, т. е. доступный человеку, анализ в этих двух случаях различен. Анализ в первом случае, в случае необходимых истин и выражающих их аналитических суждений, всегда может быть доведен до конца (и тождество предиката с субъектом продемонстрировано). Анализ во втором случае мог бы быть доведен до конца только всеведущим субъектом, т. е. Богом; человек же, существо в своем познании мира ограниченное, может провести свой анализ только до некоторой степени, это анализ, уходящий в бесконечность, почему суждения второго вида и могут считаться для него, для человека, «синтетическими».

Компромисс между двумя видами анализа, а следовательно, и точку соединения между двумя видами суждений, Лейбниц нашел по аналогии со своим математическим открытием дифференциального исчисления (понятия «бесконечно малых»), — собственно говоря, эти два открытия — одно и то же открытие одного принципа анализа. «Когда я

все более сосредоточивал мысль, не давая ей блуждать в тумане трудностей, мне пришла в голову своеобразная аналогия между истинами и пропорциями, которая, осветив ярким светом, все удивительным образом разъяснила. Подобно тому как во всякой пропорции меньшее число включается в большее либо равное в равное, так и во всякой истине предикат присутствует в субъекте. ... Точно так и в анализе истин на

место одного термина всегда подставляется равнозначный ему, так что предикат разлагается на те части, которые содержатся в субъекте. Но точно так же, как в пропорциях, анализ когда-то все же исчерпывается и приходит к общей мере, которая своим повторением полностью определяет оба термина пропорции, а иногда анализ может быть продолжен в бесконечность, как бывает при сопоставлении рационального и мнимого числа или стороны и диагонали квадрата, аналогично атому истины иногда бывают доказуемыми, т. е. необходимыми, а иногда — произвольными (*liberae*) либо случайными, которые никаким анализом не могут быть приведены к тождеству, т. е. как бы к общей мере» («О свободе» [Лейбниц 1982, 316]). Итак, «синтетические суждения по Лейбницу» — это также аналитические суждения, но с анализом, уходящим в бесконечность.

В этике Лейбница в некотором смысле также содержится это логическое положение. Иными словами, мы сказали бы так: дискурс, соответствующий лейбницевскому этическому миру, опирается на следующее логико-лингвистическое основание: подлинно синтетических суждений нет (и тем более нет синтетических суждений априори), все суждения — аналитические; но одни из них допускают конечный анализ — это выражения необходимых истин; другие — лишь анализ, уходящий в бесконечность — это выражения «истин факта» или случайных истин; основанием первых является закон противоречия, основанием вторых — закон достаточного основания; моральные постулаты являются выражением необходимых истин, но таких, которые требуют бесконечного анализа, т. е. они основаны на законе достаточного основания.

Рассмотрим теперь эти положения более подробно. «Итак, — пишет Лейбниц, — истины разума бывают двух родов; одни из них называют *истинами вечными*, абсолютно необходимыми, так что противоположное им содержит в себе противоречие; это истины, логическая, метафизическая, или геометрическая, необходимость которых такова, что их нельзя отвергать, не впадая в абсурд. Существуют истины другого рода, которые можно назвать *положительными*, потому что они суть законы, данные природе Богом, или зависят от этих законов. Мы узнаем их или посредством опыта, т. е. *a posteriori*, или посредством разума и, *a priori*, т. е. из соображений соответствия, побудивших выбрать их. Это соответствие тоже имеет свои правила и свои причины; но именно свобод-

ное избрание Божие, а не геометрическая необходимость обуславливает соотносительное и вызывает его к существованию. Таким образом, можно сказать, что физическая необходимость основывается на моральной необходимости, т. е. на избрании премудрого существа, достойном его мудрости, и что как ту, так и другую необходимость надобно отличать от геометрической необходимости. Эта физическая необходимость и есть то, что дает порядок природе; она состоит из законов движения и из некоторых других общих законов, которые Богу угодно было даровать предметам при их создании. Однако верно, что Бог установил эти законы не без причины, потому что он ничего не избирает по произволу, по случаю или по чистейшему безразличию. Тем не менее эти общие основания добра и порядка, которые привели его к избранию этих законов, могут быть отменены им в некоторых случаях по более важным причинам высшего порядка» («Теодицея». [Разд.] «Предварительное рассуждение о согласии веры и разума» [Лейбниц 1984, 76]).

Эти положения разъясняются одним более частным рассуждением Лейбница — о природе зла. Здесь опять различаются необходимые истины, или геометрическая необходимость, — и основание зла именно таково, и физические и моральные истины, или моральная необходимость, — сюда относится зло в природе человека, и, наконец, истины факта, или случайность, — и это само явление зла, так сказать реализация возможности зла. «...В тварях и в их действиях, дурных или хороших, всякое совершенство и чисто положительная реальность непременно зависят от Бога, но их действительное несовершенство состоит в лишении и происходит от исконной ограниченности тварей; эту ограниченность они имеют по самой сущности своей даже в состоянии чистой возможности, т. е. в области вечных истин, или в идеях, которые представляются божественному разуму; ибо то, что не имело бы ограничения, было бы не тварью, а Богом. Тварь называется ограниченной, потому что есть границы, или пределы, ее величю, ее могуществу, ее знанию и всем другим ее совершенствам. Таким образом, основание зла необходимо, тогда как происхождение зла случайно, т. е. необходимо, чтобы зло было возможно, и случайно то, что зло действительно. Но благодаря гармонии вещей случайное переходит от возможности к действительности вследствие своей уместности в наилучшем порядке (мира. — Ю. С.), часть которого оно составляет» («Оправдание

бога на основании его справедливости, согласованной с прочими его совершенствами и всеми его действиями» [Лейбниц 1984, 480]; (разрядка моя. — Ю. С.).

Отсюда проистекает и требование, сказали бы мы, «практической морали» по Лейбницу: нужно так же искать достаточные основания для поступка, как они существуют в области «истин факта» в силу са-

мого устройства мира, каким его создал Бог. Можно сказать еще иначе: человек должен стремиться, в меру своих сил, познавать «достаточные основания», т. е. в ограниченном виде идти тем же путем, каким действовал Бог при создании тварного мира.

Пожалуй, эту идею хорошо выразил В. В. Соколов в своей вступительной статье к «Теодицея» Лейбница: «Свободная деятельность человека — это его деятельность в качестве сугубо духовного существа (сравним понятие «внутреннего человека» выше. — Ю. С.), каким он остается при учете всей сложной структуры необходимости. Один из важнейших аспектов моральной необходимости — деятельность человеческого субъекта по самосовершенствованию, его индивидуальное „стремление к лучшему“» [Соколов 1984, 45].

Если устремление к Современной философии языка способствует достижению хотя бы этой, лейбницевской цели, то задача настоящей книги уже выполнена.

ЛИТЕРАТУРА

К главе I

К разделу 0

- Гегель 1969 — *Гегель*. Феноменология духа. Пер. с нем. // Гегель. Соч. Т. 4, М.: Изд. соц.-эконом. литер., 1959.
- Карнап 1959 — *Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. Пер. с англ. М., 1959.
- Петров, Переверзев 1993 — *Петров В. В., Переверзев В. Н.* Обработка языка и логика предикатов. Новосибирск: Изд. Новосиб. унив., 1993.
- Садовский, Смирнов 1980 — *Садовский В. Н., Смирнов В. А.* Хинтиikka и развитие логико-эпистемологических исследований во второй половине XX века. Вступительная статья в: Хинтиikka 1980.
- Хинтиikka 1980 — *Хинтиikka Я.* Логико-эпистемологические исследования. Сб. избр. статей. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1980.
- Степанов 1981 — *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М.: Наука, 1981.

К разделу 1 (Пример 1)

- В этом разделе частично использован текст нашей книги «Основы общего языкознания», М., Просвещение, 1976, с. 215 и сл.
- Квятковский 1966 — *Квятковский А. П.* Поэтический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1966.
- Неванлинна 1966 — *Неванлинна Р.* Пространство, время и относительность. Пер. с нем. М.: Мир, 1966.
- Ньютон 1915—1916 — *Ньютон И.* Математические начала натуральной философии. Пер. акад. А. Н. Крылова. Птг., 1915—1916.
- Степанов 1990 — *Степанов Ю. С.* К построению общей модели русской речевой цепи и русского стиха // Язык: система и подсистемы. К 70-летию М. В. Панова. М.: Инст. рус. языка АН СССР, 1990. Успенский 1988 — *Успенский В. А.* Машина Поста. Изд. второе, перераб. М.: Наука, Главная ред. физико-матем. литер., 1988.

К разделу 2 (Пример 2)

- В этом разделе (на с. 26 и сл.) использованы несколько абзацев из нашей книги «Основы языкознания», М., Просвещение 1966, § 28, и (на с. 30 и далее) текст нашей книги «Имена, предикаты, предложения», М., Наука, 1981, с. 222 и сл.

- Айдукевич 1958 — *Айдукевич К.* Проблема обоснования аналитических предложений (резюме [на рус. яз.]) *Ajdukiewicz K. Le problème du fondement des propositions analytiques // Studia logica*, 1958, t. 8.

755

- Блинов, Петров 1991 — *Блинов А. П., Петров В. В.* Элементы логики действий. М.: Наука, 1991.
- Больцман 1953 — *Больцман Л.* Лекции по теории газов. Пер. с нем. Гос. изд. технико-теоретич. литер. М., 1953.
- Витгенштейн 1958 — *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. Пер. с нем. М., 1958.
- Войшвилло 1967 — *Войшвилло Е. К.* Понятие. М., 1967.
- Войшвилло 1976 — *Войшвилло Е. К.* Семантическая информация. Понятия экстенциональной и интенциональной информации // Кибернетика и современное научное познание. М., 1976.
- Карнап 1959 — см. в разд. 0.
- Карпов 1856 — *Карпов В. Н.* Систематическое изложение логики. СПб., 1856.
- Садовский, Смирнов 1980 — см. в разд. 0.
- Степанов 1981 — см. в разд. 0
- Тондл 1975 — *Тондл Л.* Проблемы семантики. Пер. с чеш. М.: Прогресс, 1975.
- Хинтиikka 1980а — *Хинтиikka Я.* Поверхностная информация и глубинная информация // Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. Сб. избр. статей. М.: Прогресс, 1980.
- Хинтиikka 1980б — *Хинтиikka Я.* Информация, дедукция и a priori // Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. Сб. избр. статей. М.: Прогресс, 1980.
- Якобсон, Халле 1962 — *Якобсон Р., Халле М.* Фонология в ее отношении к фонетике // Новое в лингвистике. Вып. II. М.: Изд. иностр. литер., 1962.
- Couturat 1901 — *Couturat L.* La logique de Leibniz. P., 1901.
- Martin 1978 — *Martin R. M.* Semiotics and linguistic structure. A primer of philosophic logic. Albany: State Univ. of New York Press, 1978.

К разделу 3 (Пример 3)

- Ранее частично соответствующая этому разделу статья автора была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (в составе коллектива),

проект 93-06-1094 и опубликована в сб. «Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре я языке». М., Наука, 1995, с. 41—51.

- Аристотель 1976 — *Аристотель*. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Тожество и подобие (Заметки о взаимодействии концептов) // Тожество и подобие: Сравнение и идентификация / Ин-т языкознания АН СССР. Проблемная группа «Логический анализ языка». М., 1990.
- Белый 1994 — *Белый А.* Эмблематика смысла // Андрей Белый: Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
- Бойс 1987 — *Бойс М.* Зороастрийцы: Верования и обычаи. Пер. с англ. М.: Наука, 1987.
- Витгенштейн 1958 — см. в разделе 2.

756

- Гоббс 1966 — *Гоббс Т.* Избранные произведения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965.
- Ислам 1991 — Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.
- Караулов 1976 — *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976.
- Катасонов 1993 — *Катасонов В. Н.* Метафизическая математика XVII в. М.: Наука, 1993.
- Климов 1978 — *Климов Г. А.* Очерк общей теории эргативности. М.: Наука, 1973.
- Лейбниц 1982 — *Лейбниц Г. В.* Сочинения в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982.
- Попов 1960 — *Попов П. С.* История логики Нового времени. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.
- Потебня 1865 — *Потебня А. А.* О Доле и сходных с нею существах // Древности / Тр. Моск. археолог. об-ва. Т. 1, вып. 1. М., 1865.
- Смирнова 1962 — *Смирнова Е. Д.* К проблеме аналитического и синтетического // Философские вопросы современной формальной логики. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
- Степанов 1957 — *Степанов Ю. С.* Проблема предложения в сравнительно-историческом синтаксисе // Вестник МГУ. Ист.-филолог. серия, 1957, № 2.
- Степанов 1961 — *Степанов Ю. С.* Подлежащее в старых романских языках. Глава из сравнительно-исторического синтаксиса // Вестник МГУ. Сер. Филология, журналистика, 1961, № 4.
- Яновская 1972 — *Яновская С. А.* О так называемых «определениях через абстракцию» // *Яновская С. А.* Методологические проблемы науки. М.: Мысль, 1972.

- Draeger 1881 — *Draeger A.* Historische Syntax der lateinischen Sprache. Bd. 2. Aufl. Leipzig: Teubner, 1881.
- Hatcher 1948 — *Hatcher A. G.* From «ce sui je» to «c'est moi» (the Ego as subject and as predicative in Old French) // Publications of Modern Languages Association. 1948. Vol. 63, N 4.
- Meillet 1948 — *Meillet A.* La religion indo-européenne // *Meillet A.* Linguistique historique et linguistique générale. P., 1948.
- Russell 1980 — *Russell B.* An inquiry into meaning and truth: The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. L.: Unwin Paperbacks, 1980.
- Usener 1896 — *Usener H.* Göttingen: Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896.

К разделу 4 (Пример 4)

- В этом разделе использован (с изменениями) текст нашей статьи из сб. «Логический анализ языка. Культурные концепты», М., Наука, 1991, с. 5—14.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Логические основы системы предлогов в латинском языке // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. Пер. с фр. М., 1974.

757

- Васильев 1989 — *Васильев Н. А.* Воображаемая логика: Избранные труды. М., 1989.
- Вендлер 1986 — *Вендлер З.* Причинные отношения. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18: Логический анализ естественного языка. М., 1986.
- Вригт 1986 — *Вригт Г. Х. фон.* Объяснение и понимание // *Вригт Г. Х. фон.* Логико-философские исследования: Избранные труды. Пер. с англ. М., 1986.
- Дмитровская 1988 — *Дмитровская М. А.* Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
- Краевский 1967 — *Краевский В.* Проблема онтологической категории причины и следствия. Пер. с польск. // Закон. Необходимость. Вероятность. М., 1967.
- Лекомцев 1962 — *Лекомцев Ю. К.* Основные положения глоссематики // ВЯ, 1962, №4.
- Рассел 1957 — *Рассел Б.* Человеческое познание: Его сфера и границы. Пер. с англ. М., 1957.
- Смирнов 1989 — *Смирнов В. А.* Предисловие // *Васильев Н. А.* Воображаемая логика: Избранные труды. М., 1989.

- Смирнова 1962 — см. в разд. 3.
- Соболевский 1948 — *Соболевский С. И.* Грамматика латинского языка. 1: Теоретическая часть. М., 1948.
- Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Benveniste 1949 — *Benveniste E.* Le système sublogique des prépositions en latin // *Travaux du Cercle Linguistique de.* Vol. 5: Recherches structurales. Copenhague, 1949.
- Bröndal 1950 — *Bröndal V.* Théorie des prépositions: Introduction à une sémantique rationnelle. Copenhague, 1950.
- Brugmann 1906—1911 — *Brugmann K.* Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Bd. 1.2. Th. 2. Aufl. Strassburg: Trübner, 1906—1911.
- Davidson 1967 — *Davidson D.* Causal relations // *The Journal of Philosophy.* 1967. Vol. 21.
- Hjelmslev 1935—1937 — *Hjelmslev L.* La catégorie des cas: Etude de grammaire générale // *Acta Jutlandica.* 1935 (1). VU; 1937 (2). IX.
- Vendler 1967 — *Vendler Z.* Causal relations // *The Journal of Philosophy.* 1967. Vol. 64, n°21.

К разделу 5 (Пример 5)

- Черч 1960 — *Черч А.* Введение в математическую логику. Пер. с англ. Т. 1. М.: Изд. иностр. литер., 1960. (Том 2 в печати не появился.)
- Benveniste 1975 — *Benveniste E.* Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. P.: Maisonneuve, 1975.

К разделу 6 (Пример 6)

- Волошинов 1930 — *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. Л., 1930.
-
- Грамматика литов. яз. 1985 — Грамматика литовского языка. Вильнюс: Мокслас, 1985.
- Линдсей 1948 — *Линдсей В. М.* Краткая историческая грамматика латинского языка / Пер. и доп. Ф. А. Петровского. М., 1948.
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Школа «Языки рус. культуры», 1996.
- Соболевский 1948 — см. в разд. 4.
- Степанов 1959 — *Степанов Ю. С.* О партитивном определении в латинском, испанском и французском языках // *НДВШ. Филол. науки.*, 1959, №2.

- Степанов 1961 — *Степанов Ю. С.* Подлежащее в старых романских языках (глава из сравнительно-исторического синтаксиса) // *Вестн. МГУ*, 1961, №4.
- Степанов 1984 — *Степанов Ю. С.* Оборот Земля пахать и его индоевропейские параллели // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.* 1984. Т. 43, № 2.
- Степанов 1987 — *Степанов Ю. С.* Следы архаических типов индоевропейского предложения в латинской косвенной речи // *Сущность, развитие и функции языка.* Отв. ред. Г. В. Степанов. М.: Наука, 1987.
- Теренций 1954 — *Публий Теренций.* Адельфы: Комедия / Введение и комментарий С. И. Соболевского. М., 1954.
- Эрну 1950 — *Эрну А.* Историческая морфология латинского языка. М., 1950.
- Яниш 1954 — *Яниш В. Б.* Наблюдения над развитием и употреблением форм пассива в латинском языке. Автореферат дисс. ... кандидата филол. наук. Киев, 1954.
- Ambrazas 1979 — *Ambrazas V.* Lietuviu kalbos dalyviu istorine sintakse. Vilnius: Mokslas, 1979.
- Draeger 1878 — *Draeger A.* Historische Syntax der lateinischen Sprache. 1. Bd. Leipzig: Teubner, 1878.
- Ross 1970 — *Ross J.* On declarative sentences // *Readings in English transformational grammar.* Ed. by R. A. Jacobs, P. S. Rosenbaum. Waltham (Mass.): Ginn and Co. A Xerox Co., 1970.
- Wackernagel 1926 — *Wackernagel J.* Vorlesungen über Syntax. Erste Reihe. 2. Aufl. Basel, 1926.

К главе II

- В этой главе в разделах 1—2 без дальнейших ссылок частично использован текст наших предшествующих работ: «К универсальной классификации предикатов» // *Изв. РАН, серия литер. и языка.* Т. 39, № 4, 1980; Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М.: Наука, 1981; Индоевропейское предложение. М.: Наука, 1989.

К разделу 1

- Аристотель 1934 — *Аристотель.* Метафизика. Пер. и примеч. А. В. Кубицкого. М.—Л.: Социально-эконом. изд., 1934.
-
- Аристотель 1939 — *Аристотель.* Категория. С приложением Комментария Порфирия. Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939.
- Аристотель 1976, 1978 — *Аристотель.* Соч. в 4-х т. М.: Мысль, 1976; Т. 2, М., 1978.

Ахманов 1960 — *Ахманов А. С.* Логическое учение Аристотеля. М., 1960.

Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Категории мысли и категории языка // Бенвенист Э. Общая лингвистика. Пер. с фр. М.: Прогресс, 1974.

Богуславский 1979 — *Богуславский И. М.* О соотношении семантических и синтаксических свойств некоторых ограничительных частиц в русском языке. Автореф. дисс.... канд. филол. наук. М., 1979.

Богуславский 1996 — *Богуславский И. М.* Сфера действия лексических единиц. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

Войшвилло 1967 — *Войшвилло Е. К.* Понятие. М., 1967.

Карнап 1959 — *Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. Пер. с англ. М.: Изд. иностр. литер., 1959.

Карри 1969 — *Карри Х.* Основания математической логики. Пер. с англ. М.: Мир, 1969.

Клаус 1960 — *Клаус Г.* Введение в формальную логику. Пер. с нем. М.: Изд. иностр. литер., 1960.

Климов 1977 — *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М.: Наука, 1977.

Кортава 1978 — *Кортава Ю. Г.* Глаголы обладания в грузинском языке // Проблемы внутренней и внешней лингвистики. М.: Наука, 1978.

Крейдлин 1979 — *Крейдлин Г. Е.* Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения). Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1979.

Лосев 1962 — *Лосев А. Ф.* Категории // Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1962.

Маковельский 1967 — *Маковельский А. О.* История логики. М., 1967.

Мещанинов 1948 — *Мещанинов И. И.* Глагол. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1948.

Милль 1914 — *Милль Дж. Ст.* Система логики силлогистической и индуктивной. Пер. с англ. 2-е изд. М., 1914.

Слинин 1970 — *Слинин А. Я.* Об итерированных модальностях в современной логике // Неклассическая логика. М.: Наука, 1970.

Степанова 1995 — *Степанова А. С.* Философия древней Стои. СПб.: Изд. КН, 1995.

Столл 1968 — *Столл Р.* Множества. Логика. Аксиоматические теории. Пер. с англ. М.: Просвещение, 1970.

Шведова, Белоусова 1995 — *Шведова Н. Ю., Белоусова А. С.* Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий. М.: Инст. рус. яз. им. В. В. Виноградова, 1995.

Lalande 1972 — *Lalande A.* Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 11-e éd. P.: P. U. F., 1972.

Mates 1961 — *Mates B.* Stoic logic. Berkeley and Los Angeles Univ. of California Press, 1961.

Patzig 1959 — *Patzig G.* Die aristotelische Syllogistik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1959.

К разделу 2

Здесь мы ограничимся своим кратким лингвистическим комментарием к схеме «Дерева Порфирия», по статье «Иерархия имен и ранги субъектов» (Изв. АН СССР. Серия литер. и яз. Том 38, № 4, 1979). Более подробно см. в нашей книге «Имена, предикаты, предложения», М., 1981. Превосходным комментарием к этой теме может служить также работа [Розина 1982].

Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 1976.

Гегель 1975 — *Гегель.* Философия природы // Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М.: Мысль, 1975.

Караулов 1976 — *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976.

Карри 1969 — См. в разделе 1.

Морковкин 1976 — *Морковкин В. В.* Смысловое членение универсума и классификация лексики // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. М.: Наука, 1976.

Никитина 1978 — *Никитина С. Е.* Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. М.: Наука, 1978.

Порфирий 1939 — Введение к Категориям финикийца Порфирия, ученика ликополитанца Плотина // Аристотель. Категории. Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939.

Розина 1982 — *Розина Р. И.* Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное). Научно-аналитический обзор. М.: Инст. научн. информации по обществ. наукам (ИНИОН), 1982.

- Савченко 1984 — *Савченко А. Н.* Древнейшие процессы в области личных местоимений в праиндоевропейском языке // Изв. АН СССР. Сер. литер. и языка. 1984. Т. 43, № 6.
- Степанов 1972 — *Степанов Ю. С.* От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики // Общее и романское языкознание. Р. А. Будагову в честь его 60-летия. М.: Изд. МГУ, 1972.
- Степанов 1979 — *Степанов Ю. С.* Иерархия имен и ранги субъектов // Изв. АН СССР. Сер. литер. и языка. Т. 38, № 4.
- Степанова 1972 — *Степанова Д. Н.* Категория рода и лексические дублеты в испанском языке. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1972.
- Толикина 1976 — *Толикина Е. Н.* Термин в толковом словаре (к проблеме определения) // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. М.: Наука, 1976.
- Foley, Van Valin 1977 — *Foley W. A., Van Valin R. D.* On the viability of the notion of «subject» in universal grammar // Proceedings of the Third Annual Meeting of the Berkley Linguistic Society. Berkley, 1977.
- Keenan 1976 — *Keenan E. L.* Towards a universal definition of «subject» // Subject and Top. Ed. by Ch. N. Li. N. Y.: Academic Press, 1976.
- Silverstein 1977 — *Silverstein M.* Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages. Ed. R. Dixon. Canberra, 1977.

- Wierzbicka 1969 — *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969.

К разделу 3

- В этом разделе мы частично используем, в переводе с французского, текст нашей статьи «Les relations inlet- et intra-pfédicatives sont-elles sémantiquement identiques? (Le problème des «champs de signification») // Cahiers de l'Institut de slavistique et de linguistique. Ed. par P. Sériot. Université de Lausanne. N 3, 1993. [«Внутрипредикативные и межпредикативные отношения. Являются ли они семантически тождественными? (К проблеме «областей значения»)»].
- Аристотель 1978а — *Аристотель.* Соч. в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. Аристотель 1978б — *Аристотель.* Риторика // Античные риторика. М.: Изд. Моск. Унив., 1978.
- Аристотель 1984 — *Аристотель.* Никомахова этика. // Аристотель. Соч. 8 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.

- Бахтияров 1996 — *Бахтияров К. И.* Массивы и циклы в логике с точки зрения информатики. Учебное пособие. М.: Моск. Госуд. агроинженерный университет, 1996 (ротапринт).
- Блинов, Петров 1991 — *Блинов А. Л., Петров В. В.* Элементы логики действий. М.: Наука, 1991.
- Вригт 1986 — *Вригт Г. Х. фон.* Объяснение и понимание // *Вригт Г. Х. фон.* Логико-философские исследования. Избр. труды. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.
- Зубов 1963 — *Зубов В. П.* Аристотель. М.: Изд. АН СССР, 1963.
- Микеладзе 1978 — *Микеладзе З. Н.* Примечания // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978.
- Падучева 1984 — *Падучева Е. В.* О семантических связях между басней и ее моралью (на материале басен Эзопа) // Паремнологические исследования. М.: Наука, Главн. ред. восточной литер., 1984.
- Потебня 1905 — *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
- Lalande 1972 — см. раздел 1.
- Patzig 1959 — см. раздел 1.

К главе III

К разделу 1

- В этом разделе без изменений перепечатывается наша статья: *Степанов Ю. С.* О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции // Вопросы языкознания, 1974, № 5, с. 96—106.

Дальнейшая литература к этому разделу указывается в постраничных сносках в тексте.

К разделу 2

- В этом разделе использован текст нашей книги «Имена, предикаты, предложения», М., Наука, 1981, гл. IX.

- Апресян 1972 — *Апресян Ю. Д.* Об одном правиле сложения лексических значений // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М.: Наука, 1972.
- Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974.
- Арутюнова 1974 — *Арутюнова Н. Д.* Семантическое согласование слов и интерпретация предложения // Грамматическое описание славянских языков. Концепции и методы. М.: Наука, 1974.

Витгенштейн 1958 — *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. Пер. с нем. М., 1958.

Гак 1968 — *Гак В. Г.* Проблемы лексико-грамматической организации предложения (на материале французского языка в сопоставлении с русским). Автореферат дисс. ... докт. филол. наук. М., 1968.

Милль 1914 — *Милль Дж. Ст.* Система логики силлогистической и индуктивной. 2-е изд. Пер. с англ. М., 1914.

Sánchez 1754 — [Sánchez de las Brosas, F.] *Sanctii Minerva seu de causis linguae latinae.* Amsterdam, 1754.

Schwyzler 1966 — *Schwyzler E.* Griechische Grammatik. 2. Syntax und syntaktische Stilistik. München: C. Beck, 1966.

К разделу 3

Кант 1964 — *Кант И.* Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6-и т. Т. 3. М.: Мысль, 1964.

К разделу 4

Радлов б. г. — *Радлов Э.* Номинализм // Новый энциклопедический словарь Брокгауз — Ефрон. Т. 28. Птг., б. г.

Teodoro de Andrés 1969 — *Teodoro de Andrés.* El nominalismo de Guillermo de Ockham como filosofía del lenguaje. Madrid: Gredos, 1969.

Moody 1935 — *Moody E. A.* The logic of William Ockham. L., 1935.

К разделу 5

В этом разделе с изменениями и дополнениями использована часть текста нашей книги «Имена, предикаты, предложения», М., Наука, 1981, гл. II, 5.

Бессонов 1985 — *Бессонов А. В.* Предметная область в логической семантике. М.—Новосибирск: Наука, Сибир. отдел., 1985.

Бирюков 1963 — *Бирюков Б. В.* Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике. М., 1963.

Введенский 1923 — *Введенский А. И.* Логика как часть теории познания. М.—Птг., 1923.

Витгенштейн 1958 — см. в разделе 2.

Войшвилло 1967 — *Войшвилло Е. К.* Понятие. М.: Наука, 1967.

Карнап 1959 — *Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. Пер. с англ. М., 1959.

Карпов 1856 — [*Карпов В. Н.*] Систематическое изложение логики. Сочинение проф. В. Н. Карпова. СПб., 1856.

Клаус 1960 — *Клаус Г.* Введение в формальную логику. Пер. с нем. М.: Изд. иностр. литер., 1960.

Кацнельсон 1965 — *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение и обозначение. М.: Изд. АН СССР, 1965.

Потебня 1926 — *Потебня А. А.* Мысль и язык. Харьков, 1926.

Потебня 1958 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М.: Учпедгиз, 1958.

Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М.: Наука, 1975.

К разделу 6

В этом разделе с изменениями использован текст нашей статьи: *Степанов Ю. С.* Номинация, семантика, семиология (виды семантических определений в современной лексикологии) // Языковая номинация. Общие вопросы. Отв. ред. Б. А. Серебренников и А. А. Уфимцева. М.: Наука, 1977.

Балли 1961 — *Балли Ш.* Французская стилистика. Пер. с фр. М., 1961.

Богомолов 1973 — *Богомолов А. С.* Английская буржуазная философия XX века. М.: Мысль, 1973.

Войшвилло 1976 — *Войшвилло Е. К.* Семантическая информация. Понятия экстенциональной и интенциональной информации // Кибернетика и современное научное познание. М., 1976.

Граур 1972 — *Граур А.* Слова и предметы (к вопросу о школах в семасиологии) // Общее и романское языкознание. Р. А. Будагову в честь его 60-летия. М.: Изд. Моск. Унив., 1972.

Караулов 1976а — *Караулов Ю. Я.* Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976.

Караулов 1976б — *Караулов Ю. Н.* Словарь как компонент описания языков // Принципы описания языков мира. М.: Наука, 1976.

Лекомцев 1962 — *Лекомцев Ю. К.* К вопросу о системности глаголов речи в английском языке // Проблемы структурной лингвистики. М.: Изд. АН СССР, 1962.

Морковкин 1970 — *Морковкин В. В.* Идеографические словари. М., 1970.

- Новиков 1973 — *Новиков Л. А.* Антонимия в русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). М., 1973.
- Новый объяснительный словарь 1997 — *Апресян Ю. Д., Богуславская О. Ю., Левонтина И. Б. и др.* Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
- Селиверстова 1975 — *Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. М.: Наука, 1975.
- Степанов 1964 — *Степанов Ю. С.* О предпосылках лингвистической теории значения // Вопросы языкознания, 1964, № 5.
- Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Семантическая реконструкция (в грамматике, лексике, истории культуры) // «Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguistics. Bologna — Florence, 1971 Ed. by L. Heilmann. II. Bologna, 1975.
-
- Уфимцева 1974 — *Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М.: Наука, 1974.
- Шмелев 1978 — *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, Ленингр. отдел., 1974.
- Abel 1888 — *Abel C.* Slavic and Latin. Comparative lexicography. L., 1888.
- Hallig, Wartburg 1963 — *Hallig R., Wartburg W. V.* Système raisonné des concepts pour servir de base à la lexicographie. 2-éd. Berlin, 1963.
- Mathiot 1967 — *Màihiot M.* The place of the dictionary in linguistic description // Language, v. 43, N3, 1967.
- Mathiot 1968 — *Mathiot M.* An approach to the cognitive study of language, International Journal of American Linguistics, vol. 34, 1968, № 1 (Special issue).
- Valéiy 1957 — *Valéry P.* Variétés. Svedenborg. Valéry P. Œuvres, t. 1. Paris: Pléiade, 1957.
- Wittgenstein 1953 — *Wittgenstein L.* Philosophical investigations. Oxford, 1953.

К главе IV

К разделу 0

В этом разделе частично использован текст нашей статьи: Степанов Ю. С. Пространства и миры — «новый», «воображаемый», «ментальный» и прочие // Философия языка: в границах и вне границ. Международная серия монографий. Ред. коллегия серии:

Ю. С. Степанов, В. В. Прокопенко, Ю. И. Сватко и др. Науч. ред. тома Д. И. Руденко. Вып. 2. Харьков, изд. «ОКО», 1994.

- Аристотель 1981 — *Аристотель.* Соч. в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1981.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988.
- Вавилов 1982 — *Вавилов С. И.* Глаз и Солнце. М.: Изд. АН СССР, 1982.
- Конституция СССР — Конституция СССР. М.: Госполитиздат, 1923.
- Лермонтовская энциклопедия 1981 — Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1981.
- Лейбниц 1989 — *Лейбниц.* Соч. в 4-х т. Т. 4. М. Мысль, 1989.
- Мерло-Понти 1992 — *Мерло-Понти М.* Око и дух. Пер с фр. М.: Искусство, 1992.
- Обнорский 1953 — *Обнорский С. П.* Очерки по морфологии русского глагола. М.: Изд. АН СССР, 1958.
- Подорога 1993 — *Подорога В. А.* Метафизика ландшафта. М., 1993.
- Розанов 1992 — *Розанов В. В.* Религия, философия, культура. М.: Республика, 1992.
- Хинтиikka 1980 — *Хинтиikka Я.* В защиту невозможных возможных миров // *Хинтиikka Я.* Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980.
- Lalande 1972 — *Lalande A.* Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 11-e éd. P.: P. U. P., 1972.

765

Pascal 1960 — *Pascal.* Pensée. Ed. R. Laffont, P.: 1960.

К разделу 1

- Ван Дейк, Кинч 1988 — *Ван Дейк Т. А., Кинч В.* Стратегии понимания связного текста. Пер с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М.: Прогресс, 1988.
- Демьянков 1982 — *Демьянков В. З.* Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста // Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов. 39. М., 1982.
- Карри 1969 — *Карри Х.* Основания математической логики. Пер. с англ. М.: Мир, 1969.
- Николаева 1978 — *Николаева Т. М.* Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М.: Прогресс, 1978.
- Sériot 1985 — *Sériot P.* Analyse du discours politique soviétique. (Cultures et Sociétés de l'Est. 2). P.: Institut d'études slaves, 1985.

К разделу 2

- Кубрякова 1977 — *Кубрякова Е. С.* Теория номинации и словообразование // Языковая номинация. Виды наименований. Отв. ред. Б. А. Серебренников и А. А. Уфимцева. М.: Наука, 1981.
- Кубрякова 1977 — *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М.: Наука, 1981.
- Fauconnier 1994 — *Fauconnier G.* Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural languages. Cambridge (Mass.): Cambridge Univ. Press, 1994.
- Lakoff and Sweetser — *Lakoff G. and Sweetser E.* Preface, in Fauconnier 1994.

К разделу 3

- Арутюнова 1980 — *Арутюнова Н. Д.* Сокровенная связка (К проблеме предикативного отношения) // Изв. АН СССР. Серия литер. и яз. 1980, № 4.
- Арутюнова 1980 — см. в разд. 0
- Булгаков 1953 — *Прот. С. Булгаков.* Философия имени. Париж, 1953.
- Вендлер 1986 — *Вендлер З.* Причинные отношения. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. Сост. В. В. Петрова. М., 1986.
- Рассел 1957 — *Рассел Б.* Человеческое познание. Его сфера и границы. Пер. с англ. М., 1957.
- Russel 1959 — *Russell B.* Logical Atomism II Logical Positivism. A J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.
- Russel 1980 — *Russell B.* An Inquiry into Meaning and Truth. The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. London, etc.: Unwin Paperbacks, 1980.
- Vendler 1967 — *Vendler Z.* Causal Relations // The Journal of Philosophy. 1967. V. 64. №21.

К главе V

К разделу 1

- Деррида 1993 — *Деррида Ж.* Есть ли у философии свой язык? // Комментарии. 1993, №2.
- Лукаевич 1969 — *Лукаевич Я.* Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959.
- Переверзев 1995 — *Переверзев В. Н.* Логистика. Справочная книга по логике. М.: Мысль, 1995.

- Петров, Переверзев 1993 — *Петров В. В., Переверзев В. Н.* Обработка языка и логика предикатов. Новосибирск: Изд. Новосиб. Унив., 1993.
- Семиотика 1983 — Семиотика. Составл., вступ. статья и общая редакция Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983.
- Серио 1995 — *Серио П.* Лингвистика и биология. У истоков структурализма: биологическая дискуссия в России // Язык и наука конца 20 века. Под ред. акад. Ю. С. Степанова. М.: Изд. РГГУ, 1995.
- Смирнова 1996 — *Смирнова Е. Д.* Логика и философия. М.: РОССПЭН, 1996.
- Философия языка в границах и вне границ. Международная серия монографий. Харьков: ОКО. Вып. 1, 1993; вып. 2, 1994.
- Harré 1986 — *Harré R.* Varieties of Realism. A Rationale for the Natural Sciences. Oxford: Blackwell, 1986.
- New Realism 1925 — The New Realism. Cooperative studies in philosophy. By Edwin B. Holt, Walter T. Marvin, and al. N. Y.: The Macmillan Co., 1925.
- Program 1910 — The Program and first Platform of six realists // Journal of Philosophy, Psychology, etc. 1910, vol. 7 (reprint: Appendix. In [New Realism 1925]).
- Synthese Library 1994 — Synthese Library: Studies in epistemology, logic, methodology, and philosophy of science. Managing ed. J. Hintikka. Vol. 239. The philosophy of Michael Dummett. Ed. by B. McGuinness, G. Oliveri, Dordrecht etc. Kluwer, 1994.
- Synthese Library 1996 — Synthese Library. Vol. 241. Language, mind and epistemology. On Donald Davidson's philosophy. Ed. by G. Preyer, J. Siebelt, A. Ulfing. Dordrecht etc. Kluwer, 1996.

К разделу 2

- Барт 1989 — *Барт Р.* Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. Составл., общая ред. и вступ. статья Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989.
- Подорога 1995а — *Подорога В. А.* Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии. М.: Ad Marginem, 1995.
- Подорога 1995б — *Подорога В. А.* Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995.
- Руднев 1996а — *Руднев В. П.* Теоретико-лингвистический анализ художественного дискурса. Автореферат дисс. ... докт. филол. наук. М., 1996.

Руднев 1996б — *Руднев Вадим*. Морфология реальности. Исследование по «философии текста». М.: Гнозис, 1996.

К разделу 3

В этом разделе использован текст нашей предшествующей работы. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (Проблема субъекта) // Ия. АН СССР, Серия литер. и яз., т. 40, № 4, 1981, с. 325—332.

Ауэрбах 1976 — *Ауэрбах Э.* Мимесис. Пер. с нем. М., 1976.

Барт 1978 — *Барт Р.* Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. Составл., общая ред. и вступит. статья Т. М. Николаевой. М.: Прогресс, 1978.

Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* О субъективности в языке // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. Пер. с фр. Под ред. со вступит. статьёй и комм. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс, 1974.

Брехт 1965а — *Брехт Б.* Покупка меди. Уличная сцена // *Брехт В.* Театр, Т. 5(2). М.: Искусство, 1965.

Брехт 1965б — *Брехт Б.* О системе Станиславского // *Брехт Б.* Театр. Т. 5(2). М.: Искусство, 1965.

Богуславский 1979 — *Богуславский И. М.* О соотношении семантических я синтаксических свойств некоторых ограничительных частиц в русском языке. Автореферат дисс.... канд. филол. наук. М., 1979.

Богуславский 1996 — *Богуславский И. М.* Сфера действия лексических единиц. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

Ван Дейк 1978 — *Ван Дейк Т.* Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. Составл., общая ред. и вступит. статья Т. М. Николаевой. М.: Прогресс, 1978.

Демьянков 1981 — *Демьянков В. З.* Прагматические основы интерпретация высказывания // Изв. АН СССР. Серия литер. и яз., т. 40, № 4, 1981, с. 368—377.

Карнап 1959 — *Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. Пер. с англ. М., 1959.

Barthes 1964a — *Barthes R.* Les tâches de la critique brechtienne // *Barthes R.* Essais critiques. P.: Du Seuil, 1964.

Barthes 1964б — *Barthes R.* Sur «La Mère» de Brecht // *Barthes R.* Essais critiques. P.: Du Seuil, 1964.

Carnap 1934 — *Carnap R.* Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.

Coward, Ellis 1977 — *Coward R, Ellis J.* Language and Materialism. Developments in semiology and the theory of the subject. L. and al., 1977.

Kafka 1963 — *Franz Kafka.* Lublická Konference 1963. Praha, 1963.

Kress, Hodge 1979 — *Kress G., Hodge R.* Language as Ideology. L. et al., 1979.

Proust 1954 — *Proust M.* A la recherche du temps perdu. T. I. Du côté de chez Swann. A l'ombre des jeunes filles en fleurs. P.: NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1954.

Récanati 1979 — *Récanati F.* La transparence et l'énonciation. Pour introduire à la pragmatique. P.: Du Seuil, 1979.

К разделу 4

В этом разделе использован текст нашей статьи: *Степанов Ю. С.* Об одной платоновской идее в современной лингвистике // Античная культура и современная наука. [В честь А. Ф. Лосева]. М.: Наука, 1985, с. 256—259. Дальнейшая литература указывается в тексте в постраничных сносках в соответствии с текстом названной статьи.

К разделу 5

Примечание.

В настоящий список литературы к разделу 5 не включены работы, составляющие предмет библиографического обзора в тексте (в конце данного раздела) и упоминаемые там со всеми выходными данными.

Гуссерль 1994 — *Гуссерль Э.* Идеи к чистой феноменологии. [С послесловием В. В. Петрова]. М.: Лабиринт, 1994.

Демьянков 1995 — *Демьянков В. З.* Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. Под ред. акад. Ю. С. Степанова. М.: Изд. РГГУ, 1995.

Зенкин 1995 — *Зенкин С. Н.* Новые тенденции во французской эссеистике [и др. очерки] // Французская литература 1945—1990 [Российская Акад. Наук. Инст. мировой литературы им. А. М. Горького]. М.: Наследие, 1995.

Зеньковский 1992 — *Зеньковский В., прот.:* Основы христианской философии. М.: Изд. Свято-Владимирского братства, 1992.

Катасонов 1993 — *Катасонов В. Н.* Метафизическая математика XVII в. М.: Наука, 1993.

Лейбниц 1983 — *Лейбниц.* Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Лейбниц. Соч. в 4-х томах Т. 2. М.: Мысль, 1983.

Лосев, Тахо-Годи 1982 — *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Аристотель. Жизнь и смысл. М.: Детская литер., 1982.

Лукаевич 1959 — *Лукаевич Я.* Аристотелевская силлогистика с точки зрения формальной логики. М., 1959.

Переверзев 1995 — *Переверзев В. Н.* Логистика. Справочная книга по логике. М.: Мысль, 1995.

Переверзев К. 1996 — *Переверзев К. А.* Семантика каузации на фоне лексической и пропозициональной типологий // Вопросы языкознания, 1996, № 5.

Петров, Переверзев 1993 — *Петров В. В., Переверзев В. Н.* Обработка языка и логика предикатов. Новосибирск: Изд. Новосиб. Унив., 1993.

Попов 1960 — *Попов П. С.* История логики Нового времени. М.: Изд. Моск. Унив., 1960.

Сааринен 1986 — *Сааринен Э.* О метатеории и методологии семантики. Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. Составл., общая ред. и вступит. ст. В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1986.

Смирнова 1996 — *Смирнова Е. Д.* Логика и философия. М.: РОССПЭН, 1996.

Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.

Стяжкин 1970 — *Стяжкин Н.* Схоластика // Философская энциклопедия. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1970.

Уемов 1975 — *Уемов А. И.* Послесловие // *Тондл Л.* Проблемы семантики. Пер. с чеш. М.: Изд. Иностр. литер., 1976.

Флоровский 1991 — *Флоровский Г.* Пути русского богословия. Вильнюс: Изд. Вильнюсского правосл. епархиальн. управл., 1991.

Холл Парти 1983 — *Холл Парти Б.* Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. Пер. с англ. // Семиотика. Составл., вступ. статья и общая ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983.

Хоружий 1994 — *Хоружий С. С.* Неопатристический синтез и русская философия // Вопросы философии, 1994, Ms 5.

Хоружий 1995 — *Хоружий С. С.* Неопатристический синтез // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995.

Юркевич 1990 — *Юркевич П. Д.* Идея // *Юркевич П. Д.* Философские произведения. М.: Изд. «Правда», 1990.

Ayer 1980 — *Ayer A. J.* Language, Truth and Logic. Penguin Books, 1980.

Patzig 1959 — *Patzig G.* Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Untersuchungen über das Buch A der «Ersten Analytiken». 2., verbess. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1959.

Quine 1953 — *Quine W. van O.* From a logical point of view. Cambridge (Mass.), 1953.

Russell 1908 — *Russell B.* La philosophie de Leibniz. Trad. de l'anglais par I. Ray. Avec un avant-propos par L. Lévy-Bruhl. P.: 1908.

Russell 1980 — *Russell B.* An Inquiry into Meaning and Truth. The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. L. etc. Unwin Paperbacks, 1980.

К гл. VI
К разделам 0—3

Асмус 1965 — *Асмус В. Ф.* Этика Канта // Кант И. Соч. в 6-и томах. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.

Булгаков 1991 — *Булгаков С.* Православие. Очерки учения православной церкви. М.: Терра, 1991 (репринтизд.: Р.: УМСА-Press, 1964).

Гессен 1911 — *Гессен В. М.* Закон (юрид.) // Новый Энциклопед. Словарь Брокгауз — Ефрон. Т. 18. СПб., 1911—1915.

Кант 1965 — *Кант И.* Основы метафизики нравственности // *Кант И.* Соч. в 6-и томах. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.

Лейбниц 1982 — *Лейбниц.* Соч. в 4-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1982.

Лейбниц 1984 — *Лейбниц.* Соч. в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984.

Петров, Переверзев 1993 — *Петров В. В., Переверзев В. Н.* Обработка языка и логика предикатов. Новосибирск, Изд. Новосиб. унив., 1993.

Русское право 1991 — Русское право // Россия. Энциклопед. словарь. Изд. Брокгауз — Ефрон. Репринт: Л.: Лениздат, 1991.

- Смирнова 1962 — *Смирнова Е. Д.* К проблеме аналитического и синтетического // Философские вопросы современной формальной логики. М.: Изд. АН СССР, 1962.
- Соколов 1984 — *Соколов В. В.* Философское значение «Теодицеи» Лейбница // Лейбниц. Соч. в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
- Степанов 1977 — *Степанов Ю. С.* Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. II.) // Изв. АН СССР. Сер. Литер. и яз. Т. 36, вып. 2. М., 1977.
-
- Ходорковская 1986 — *Ходорковская Б. Б.* Проблема сигматического аориста и становление системы времен в языках италийской группы. Автореферат... доктора филол. наук. М., 1986.
- Lalande 1972 — *Lalande A.* Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 10-e éd. P.: P. U. F., 1972.
- Lampe 1987 — A Patristic Greek Lexicon. Ed. by G. W. H. Lampe. Oxford.: Clarendon Press, 1987.
- Littré 1958 — *Littré E.* Dictionnaire de la langue française. Abrégé par A. Beaujean. Nouv. éd. P.; P. U. F., 1958.
- Schmidt 1969 — *Schmidt K. H.* Problème des Prohibitivsatzes // Studia linguistica et orientalia A. Pagliaro oblata. Т. 3. Roma, 1969.

Юрий Сергеевич Степанов

ЯЗЫК И МЕТОД

К современной философии языка

Издатель А. Кошелев

Корректор В. Ю. Гусев

Подписано в печать 11.01.98. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура «Школьная».
Усл. п. л. 63,21. Заказ № 3062 Тираж 1500.

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел. 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН.
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 17 ч.).
Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).